

Ш К І Л Ь Н А Б І Б Л І О Т Е К А



У К Р А Ї Н С Ь К А Л І Т Е Р А Т У Р А

Т. ШЕВЧЕНКО

ХУДОЖНИК

ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА
УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тарас
ШЕВЧЕНКО

ХУДОЖНИК

*Повісті,
автобіографія,
щоденник*

Харків
«Фоліо»
2012

ББК 84.4УКР
Ш 37

Серія «Шкільна бібліотека української та світової літератури»
заснована у 2010 році

Тексти друкуються за виданням:
Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: у 12 т. —
К.: Наук. думка, 2001—2003. — Т. 3, 4, 5

Примітки та коментарі *Л. В. Ушкалова*

Художник-оформлювач *Ю. Ю. Романіка*

Схвалено для використання
у загальноосвітніх навчальних закладах
(лист МОНмолодьспорт України № 14.1/10-69 від 13.01.12)

План-проспект серії затверджено
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Громадська Рада серії
В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман, В.М. Голенко,
В. М. Горбаль, М.М. Добкін, І.Ф. Драч, В.Г. Кремінь,
О.С. Онищенко, М.В. Попович, Д.В. Табачник (голова),
О.А. Удод, Я.С. Яцків

ISBN 978-966-03-5461-6
(Шкільна б-ка укр.
та світ. літ-ри)

© Л. В. Ушкалов, передмова
та коментарі, 2010
© Ю. Ю. Романіка, художнє
оформлення, 2012
© Видавництво «Фоліо»,
2012

КНЯГИНЯ

Село! О! сколько милых, очаровательных видений пробуждается в моем старом сердце при этом милом слове. Село! И вот стоит передо мною наша бедная, старая белая хата, с потемневшею соломенною крышею и черным дымарем, а около хаты на прычилку яблуня с краснобокими яблоками, а вокруг яблони цветник, любимец моей незабвенной сестры, моей терпеливой, моей нежной няньки!¹ И у ворот стоит старая развесистая верба с засохшею верхушкою, а за вербою стоит клуня, окруженная стогами жита, пшеницы и разного всякого хлеба; а за клунею, по косогору, пойдет уже сад. Да какой сад! Видал я на своем веку таки порядочные сады, как, например, Уманский² и Петергофский³, но это что за сады! Гроша не стоят в сравнении с нашим великолепным садом: густой, темный, тихий, словом, другого такого сада нет на всем свете. А за садом левада, а за левадою долина, а в долине тихий, едва журчащий ручей, уставленный вербами и калиною и окутанный широколиственными темными зелеными лопухами; а в этом ручье под нависшими лопухами купается кубический белокурый мальчуган, а выкупавшись, перебегает он долину и леваду, вбегает в тенистый сад и падает под первую грушею или яблонею и засыпает настоящим невозмутимым сном. Проснувшись, он смотрит на противоположную гору, смотрит, думает и спрашивает сам у себя: «А что же там за горою? Там должны быть железные столбы, что поддерживают небо! А что если бы пойти да посмотреть, как это они его там подпирают? Пойду да посмотрю, ведь это недалеко».

Встал и, не задумавшись, пошел он через долину и леваду прямо на гору. И вот выходит он за село, прошел царыну, прошел с полверсты поля; на поле стоит высокая черная могила. Он вскарабкался на могилу, чтобы с нее посмотреть, далеко ли еще до тех железных столбов, что подпирают небо.

Стоит мальчуган на могиле и смотрит во все стороны: и по одну сторону село, и по другую сторону село, и там из темных садов выглядывает трехглавая церковь, белым железом крытая, там тоже выглядывает церковь из темных садов и тоже белым железом крытая. Мальчуган задумался. Нет, думает он, сегодня поздно, не дойду я до тех железных столбов, а завтра вместе с Катрею: она до череды коров погонит, а я пойду к железным столбам; а сегодня одурю Микиту (брата)⁴, скажу, что я видел железные столбы, те, что подпирают небо. И он, скатившись кубарем с могилы, встал на ноги и пошел, не оглядываясь, в чужое село; к счастью его, ему встретились чумаки и, остановившись, спросили его:

— А куда ты мандруеш, парубче?

— Додому.

— А де ж твоя дома, небора че?

— В Киреливци⁵.

— Так чого ж ты идеш у Морынци⁶?

— Я не в Морынци, а в Киреливку йду.

— А колы в Киреливку, так сидай на мажу, товарищу, мы тебе доведемо додому.

Посадили его на скрыньку, что бывает в передке чумацкого воза, и дали ему батиг в руки, и он погоняет себе волю, как ни в чем не бывало. Подъезжая к селу, он [увидел?] свою хату на противоположной горе и закричал весело:

— Онде, онде наша хата!

— А коли ты вже бачиш свою хату, — сказал хозяин воза, — то и йды соби с Богом!

И, снявши меня с воза, поставил на ноги и, обращаясь к товарищам, сказал:

— Нехай иде соби с Богом.

— Нехай иде соби с Богом, — проговорили чумаки, и мальчуган побежал себе с Богом в село.

Смеркало уже на дворе, когда я (потому что этот кубический белокурый мальчуган был не кто иной, как смиренный автор сего, хотя и не сентиментального, но тем не менее печального рассказа) подошел к нашему перелазу. Смотрю через перелаз на двор, а там, около хаты, на темном зеленом бархатном шпоруше, все наши сидят себе в кружке и вечеряют; только моя старшая сестра и нянька Катерина не вечеряет, а стоит себе около дверей, подперши голову рукою, и как будто посматривает на перелаз. Когда я высунул голову из-за перелаза, то она вскрикнула: «Прыйшов! прый-

шов! — и, подбежав ко мне, схватила меня на руки, понесла через двор и посадила в кружок вечерять, сказавши: — Сидай вечерять, приبلудо!» Повечерявши, сестра повела меня спать и, уложивши в постель, перекрестила, поцеловала и, улыбаяся, назвала меня опять приблудою.

Я долго не мог заснуть; происшествия прошлого дня мне не давали спать. Я думал все о железных столбах и о том, говорить ли мне о них Катерине и Миките или не говорить. Никита был раз с отцом в Одессе и там, конечно, видел эти столбы. Как же я ему буду говорить о них, когда я их вовсе не видал? Катерину можно б одурить... нет, я и ей не скажу ничего. И, подумавши еще недолго о железных столбах, я заснул.

Через два-три года я уже вижу себя в школе у слепого Совгиря (так назывался наш нестихарный дьячок)⁷, складавающего «т му, м ну». И, проскладавши, бывало, до «т ля, м ля», выйду из школы на улицу, посмотрю в яр, а там мои счастливые сверстники играют себе на соломе около клуни и не знают, что есть на свете и дьяк, и школа. Смотрю, бывало, на них и думаю: «Отчего же я такой бесталанный, зачем меня, сердечного, мучат над этим проклятым букварем?» И, махнувши рукою, дам драла через цвынтарь в яр к счастливым на светлую, теплую солому, и только что начну свои гимнастические упражнения на соломе, как идут два псалтырника, берут меня, раба Божия, за руки и обращают вспять, сиречь ведут в школу, а в школе, сами здоровы знаете, что делается за несвоевременные отлучки.

Совгирь-слипый (слепым его звали за то, что он был только косою, а не слепой) был в нашем селе дьячком — не то чтобы стихарным, настоящим дьячком, а так соби, приблудою. Предшественник его, Никифор Хмара, тоже был у нас нестихарным дьячком; только раз у тытаря на меду захворал ночью, а к утру и помер, Бог его знает отчего. А Совгирь-слипый случился тут же у тытаря на банкете, да, не долго думаячи, в следующее же воскресенье стал на клиросе, пропел обедню, прочитал апостола, да так прочитал, что громада и сам отец Касиян только чмокнули. Вот так после обедни громадою был провозглашен слипый Совгирь дьячком и с честью, подобающею его сану, введен был в школу, яко в свою дидивщину. Великий человек громада! Поселился он в своей школе, и школяры, в том числе и аз, невелий, пошел к нему за наукою.

А собою был он росту высокого, широкоплечий и смотрел бы настоящим запорожцем, если бы не был косой; даже свою незаплетенную косу носил он как-то вроде чупрыны.

Нрава он был более сурового, нежели веселого. А в отношении житейских потребностей и вообще комфорта он был настоящий спартанец. Но что мне более всего в нем не нравилось, так это то, что, когда, бывало, в субботу после вечера начнет нас всех, по обыкновению, кормить березовою кашею, — это все еще ничего, пускай бы себе кормил, нам эта каша была в обыкновение, а то вот где, можно сказать, истинное испытание: бьет, бывало, а самому лежать велит, да не кричать, а не борзясь⁸ и явственно читать пятую заповедь⁹. Настоящий спартанец!

Ну, скажите, люди добрые, рождался ли когда на свет такой богатырь, чтобы улежал спокойно под розгами? Нет, я думаю, такого человека еще земля не носила.

Бывало, когда дойдет до меня очередь, то я уже не прошу о помиловании, а прошу только, чтобы он умилосердился надо мной и велел меня, субботы ради святой, придержать хоть немножко; иной раз, бывало, и умилосердится, да уж так отжарит, что лучше б и не просить о милосердии.

Мир праху твоему, слипый Совгирю! Ты, горемыка, и сам не знал, что делал; тебя так били, и ты так бил и не подозревал греха в своем простосердечии! Мир праху твоему, жалкий скиталец! Ты был совершенно прав!

И вот я, к несказанной моей радости, кончил «*Мал бех*»¹⁰, т. е. кончил псалтырь, поставил, по обыкновению, кашу братии с грошами, совершил сей священный обряд неукосненно по всем преданиям старины и на другой же день принялся мелом выводить примерные каракули на крашеной доске, сиречь я уже был не псалтырник, а скорописец.

В эту-то почти счастливую для меня эпоху случилось преобразование школе: прислали к нам из самого Киева стихарного дьячка. Совгирь-слипый сначала было поартачился, но принужден был уступить перед лицом закона и, собравши всю свою мизерию в одну торбу, закинув ее на плечи, взял п а т е р ы ц ю в руку, а тетрадь из синей бумаги с сковородинскими псалмами¹¹ в другую и пошел искать себе другой школы. А братия моя по науке, аки овцы от волка рассыпашаяся, так они от нового стихарного дьячка, зане пьяница бе паче всех пьяниц на свете. Тяжко противу рожна прати!¹² И я, терпеливейший из братии, наконец взял свое орудие —

таблицу, перо, каламарь с мелом и пошел восвоаяси с миром, дивясь бывшему¹³.

С этого времени начинается длинный ряд самых грустных, самых безотрадных моих воспоминаний! Вскоре умирает мать, отец женится на молодой вдове и берет с нею троих детей вместо приданого. Кто видел хоть издали мачеху и так называемых сведенных детей, тот, значит, видел ад в самом его отвратительном торжестве. Не проходило часу без слез и драки между нами, детьми, и не проходило часу без ссоры и брани между отцом и мачехой; меня мачеха особенно ненавидела, вероятно, за то, что я часто тузил ее тщедушного Степанка. Того же года отец осенью поехал зачем-то в Киев, занемог в дороге и, возвратясь домой, вскоре умер.

После смерти отца один из многих моих дядей¹⁴, чтоб вывести сироту в люди, как он говорил, предложил мне за ястие и питие пасти летом стадо свиное, а зимою помогать его наймиту по хозяйству, но я другую часть избрал.

Взявши свою таблицу, каламарь и Псалтырь, отправился к пьяному стихарному дяку в школу и поселился у него в виде школяра и работника. Тут начинается моя практическая жизнь. Пробывание мое в школе было довольно не комфортабельное; хорошо еще, если случались покойники в селе (прости меня, Господи), то мы еще кое-как перебивались, а не то просто голодали по нескольку дней сряду. Вечерком иногда, бывало, я возьму торбу, а учитель возьмет в десную посох дебелий, а в шуйцу сосуд скудельный (мы и жидкостями не пренебрегали, как-то: грушевым квасом и прочая), и пойдем под окнами воспевать «Богом избранную», иной раз принесем-таки кое-что в школу, а иной раз и так насухо придем, разве только что не голодные.

Я знал почти всю Псалтырь наизусть и читал ее (как говорили слушатели мои) выразительно, т. е. громко. Вследствие такого моего досужества не был в селе похоронен ни один покойник, над которым бы я не прочитал псалтыри. За прочтение псалтыри я получал кныш и копу деньгами. Деньги я отдавал учителю как его доход, и он уже от щедрот своих уделял мне пятака на бублики, и это был единственный источник моего существования. При таких, можно сказать, умеренных доходах я не мог жить открыто и одевался даже не щегольски, как прилично званию школяра; ходил я постоянно в серенькой дырявой свитке и в вечно грязной бессменной рубашке, а о шапке и сапогах и помину

не было ни летом, ни зимою. Однажды дал мне какой-то мужик за прочтение псалтыри на пришвы ремню, да и то от меня учитель отобрал, как свою собственность.

И много, много мог бы я рассказать презанимательных и назидательных вещей на эту тему, да рассказывать как-то грустно.

Так пролетели четыре жалких года над моею детской головою.

Потом воспоминания мои принимают еще печальнейшие образы. Далеко, далеко от моей бедной, моей милой родины

Без любви, без радости
Юность пролетела¹⁵.

Не пролетела, правда, а проползла в нищете, в невежестве и в унижении. И все это длилось ровно 20 лет.

В продолжение моего странствования вне моей милой родины я воображал ее такую, какую видел в детстве: прекрасною, грандиозною, а о нравах ее молчаливых обитателей я составил уже свои понятия, гармонируя их, разумеется, с пейзажем. Да мне и в голову не приходило, чтобы это могло быть иначе. А выходит, что иначе.

После двадцатилетних испытаний я немного оперился и, разумеется, полетел прямо в родимое гнездо. Вскоре передо мною засверкали давно знакомые мне беленькие хатки. Они как будто улыбались мне из темной зелени.

Может ли быть место в этих милых приютах нищете и ее гнусным спутникам? Нет! А иначе человек был бы не человек, а простое животное. С этим сладким убеждением я проехал почти всю Черниговскую губернию, нигде не останавливаясь. Из города Козельца¹⁶ мне нужно было взять в сторону от почтовой дороги — взглянуть поближе на мой эдем и даже выслушать сию печальную и правдивую повесть.

Город Козелец не отличается своею физиономиею от прочих своих собратий, поветовых малороссийских городов. В истории нашей он тоже не играет особенной роли, как, например, заднипрянские его товарищи, разве только что в 16[63] году здесь была собрана знаменитая Черная рада¹⁷. Словом, городок ничем не примечательный; но проезжий, если он только не спит во время перемены лошадей или не закусывает у пана Тихоновича, то непременно полюбуется величественным храмом грациозной архитектуры растрел-

левской¹⁸, воздвигнутым Наталией Розумихою¹⁹, родоначальницей дома графов Разумовских.

В шести верстах от г. Козельца, в селе Лемешах²⁰, в бедной хатке, на сволоке, или балке, читаешь: «Сей дом соорудила раба Божия Наталия Розумиха, 1710 року Божого». А в г. Козельце в величественном храме читаешь на мраморной доске: «Сей храм соорудила графиня Наталия Разумовская в 1742 году». Странные два памятника одной и той же строительницы!

В Козельце нанял я пару немудрых лошадок вместе с рыжим жидком и поехал себе проселком, куда мне нужно было. Это было уже в сентябре месяце. С утра был день только серенький, а к вечеру стал и мокренький; время шло к ночи, нужно было где-нибудь приютить себя на ночь, а по дороге не только корчмы — и мизерного шинку не видно.

Не доезжая Трубежа, или, по-местному, Трубайла²¹, нам показалось на косогоре село. Подъезжаем ближе — и действительно — село, только погорелое, и ничего живого на черной улице не видно. А за греблею, по ту сторону Трубежа мы увидели между вербами и едва начинающими желтеть садами белые хаты. Проехали мы по плотине мимо двух шумящих мельниц и очутились в большом козачьем селе. Чистые большие хаты и неразрушенные тыны свидетельствовали о благосостоянии обитателей, но первая к царыне хата своею миловидностью мне особенно приглянулась, так что я решил просить себе в ней приюта на ночь. Дождик моросил таки порядочно, а хозяин приветно улыбающейся хаты стоит как ни в чем не бывало, стоит себе, облокотясь на тын, в новом нагольном тулупе, курит коротенькую трубку и, улыбаясь, смотрит, как его любимцы, круторогие половые волы, наслаждаются в огороде капустою. Увидевши в окно такое святотатство, из хаты выбежала хозяйка и сквозь слезы закричала:

— Чего же ты стоишь, недолюде старый, и смотришь, как добро нивечить скотына? Чому ты ее не заженеш в загороду?

— Я ее тридцать лет загонял, пускай теперь другие загоняют, — ответил хозяин совершенно равнодушно и продолжал курить трубку.

— А! Боже мий с тобою! — снова закричала хозяйка. — Да ты хоть бы кожух скинул, видишь дождь идет!

— Так что ж? Пускай себе идет с Богом!

— Как что ж! Кожух изнивеchiш!

— Так что ж, пускай себе изнивечу, у меня другой есть.

— Хоть кол на голове теши, а он все свое править, — сказала хозяйка и побежала выгонять с огорода скотину. Хозяин посмотрел ей вслед и самодовольно улыбнулся.

Мне очень понравилась его совершенно хохлацкая выходка, и я, высунувшись из брички, приветствовал хозяина с добрым вечером, на что он отвечал:

— Добрывечир и вам, люды добри! А чи далеко Бог провадыть? — прибавил он, надевая шапку.

— Та недалеко, а все-таки сегодня не доидемо, — сказал я, вылезая из брички, и прибавил с расстановкою: — А чи не можна б у вас, дядюшко, пидночувать?

— Чому не можна? Можна, Боже благословы! Хата чимала, а мы добрым людям ради. — И говоря, он отворил ворота, и бричка всунулась во двор.

— Просымо покорно до господы! — сказал мне хозяин, когда я вошел на двор, и заметно было, что он старался выговаривать слова на русский лад. Я вошел в хату; в хате было почти темно, но все-таки можно было видеть, что хата была просторная и чистая.

— Просымо покорно, садовитесь, — говорил хозяин, показывая на лаву. — А я тым часом скажу свой старий, щоб що-небудь нам засвитыла, — прибавил он, уходя из хаты.

Через минуту вошла в хату старушка со свечой и, поставив ее на столе, тихо отошла к двери и, сложа руки на груди, молча остановилась. Она была в чистом чепце и в таком же немецком платье. Меня это удивило. «Каким родом, — подумал я, — очутилось подобное явление в мужицкой хате?»

Вскоре за старушкой вошел и хозяин в хату, неся на руках плачущее дитя. Дитя, увидя старушку, зажало губки и, улыбаясь, протянуло к ней свои крошечные ручонки.

— Возьмы его, Микитовна, до себе, — говорил хозяин, передавая дитя старушке. — Бач, воно мужика боиться, сказано — панська дытына, — прибавил он, глядя его по головке своей костлявой и широкой рукою.

У меня в кармане были леденцы; нужно заметить, что я этот продукт постоянно имел в кармане во время моих поездок по Малороссии. Заметьте, что ничем нельзя так скоро задобрить моего угрюмого земляка, как приласкать его дитя, и я часто не без пользы употреблял эту тактику. Я подал леденец дитяти; оно сначала посмотрело на меня своими не-

обыкновенно большими глазами, потом молча взяло леденец и, улыбаясь, воткнуло в свои розовые губки.

Тут я мог поближе взглянуть на дитя и на старушку. Старушка показалась мне живой картиной Жерар Доу²², а дитя — это был херувим Рафаэля²³. Меня поразила эта чистая, тонкая красота дитяти; мои глаза остановились на этом прекрасном создании. Старушка отнесла дитя в сторону и перекрестила, вероятно, от дурного глазу, а хозяин, подойдя ко мне, сказал:

— А что, не правда ли, что панская дытына?

— Прекрасное дитя, — ответил я и подал дитяти еще один леденец. Хозяин заметно был доволен моими гостинцами и, подходя к старушке, сказал:

— Дай лышень мени его, Микитовна, а ты пиды та скажи мойй старий, чи не найде вона там чого-небудь нам по-подвечиркувать, та, може, колы не лыха буде, то й тее... по чарочци... догадується, Микитовна? Мы, добродию, люды прости, — сказал он, обращаясь ко мне. — У нас нема ничего такого солодкого, ни того чаю, ниже того сахару, а так просто, по-простому.

Старушка вышла из хаты, а он, с ребенком на руках подходя ко мне, сказал:

— Отепер подывитесь на его, добродию, правда, що хороше? Сказано — княжя́.

— Да как же очутилося у вас княжеское дитя? Расскажете мне, ради Бога! — спросил я с удивлением.

— Нехай вам, добродию, Микитовна розкаже, бо тут, не вам кажучи, була настоящая комедия. Вы бачилы отам, за Трубайлом, погориле село?

— Видел, — ответил я.

— Так добре, що видели. Вот то самое село було колысь оцёго дытяти матери, та и выгорило. А вона, его маты... Та я не розкажу вам, як воно там выгорило: мене тойди дома не було, то я и не бачив его. Нехай Микитовна сама розкаже; вона бачила, то вона и знае, як воно диялось.

Между тем старушка вошла в хату и чистой белой скатертью поверх килыма накрыла стол, достала с полыци восьмиугольный расписанный графин с водкою и рюмку и поставила на стол; потом принесла на деревянной тарелке, тоже разрисованной, кусками нарезанного чабака²⁴ и паляныцю. И все это было сделано ею тихо, чинно, так что, глядя на нее, можно было наверное сказать, что она

выросла и состарилась не в мужицкой хате. Потом взяла на руки ребенка и отошла в сторону, а хозяин сказал ей:

— Микитовна, когда положишь спать дытыну, то зайды до нас, нам треба буде розпытать у тебе дещо. Та скажите там мой старий, нехай нам вечерю готуе, та не галушки або кулиш, — бачите, у нас чужи люды!

Старушка вышла из хаты, а он вслед ей прибавил:

— Зайдить же до нас, Микитовна, як упораетесь.

— Хорошо, зайду, — отвечала она из сеней.

Выпивши по одной, а потом и по другой, хозяин мой стал словоохотнее. Он разговорился до того, что, сам не замечая, рассказал мне всю свою биографию. Рассказал мне, между прочим, как он, будучи парубком еще, был в погоньцях под французом²⁵ и воротился из Неметчины голый голым, с одним батогом в руках, и как потом пошел в наймы до попа, и как после трудом и разумом разбогател и сделался из бездомного сироты-наймита первым хозяином в селе. Словом, через час времени я, не допытываясь, узнал всю его самую сокровенную историю.

Но что мне особенно в нем понравилось — что он, рассказывая свою обыкновенную историю, касался как бы мимоходом своих богатырских подвигов, и не подозревая в них ничего необыкновенного.

А между тем старушка принесла нам вечерю и сама повечеряла с нами. Помолившись Богу после вечери, хозяин, обратясь к старушке, сказал:

— Теперь, Микитовна, розкажить нам про свою княгиню, як воно там у вас диялося. А с самого начала, — прибавил он, — наточить нам с кухоль сливянки — воно, знаете, веселише буде слухать.

Через минут пять старушка возвратилась в хату с порядочным стеклянным глечиком в руках.

Поставивши глечик на стол, сама она села на скамейку и, помолчав немного, проговорила, вздохнувши:

— Про ее бесталанье, Степановичу, про ее тяжкую, горькую долю я готова каждый день, каждую годину рассказывать всему свету, чтобы весь свет знал про ее горькие кровавые слезы и казнил ее кровавыми слезами, — и она тихо заплакала.

Мы выпили по рюмке сливянки, а старушка, утерши слезы, начала так:

— Не умею сказать, сколько минуло тому лет, только это случилось давно, еще до француза; я была еще тогда такою

с т р ы г о ю, когда покойный Демьян Федорович, царство ему небесное, пришел из-под француза. Они служили в каких-то козаках, а в каких именно, не умею вам сказать. Знаю только, что в козаках, и больше ничего. Батюшку своего, Федора Павловича, царство ему небесное, они не застали в живых. Осмотревшись дома около хозяйства, поправили, что нужно было поправить, а что не нужно, то и так оставили. Тогда же они выстроили и два витряка, вот что на горе стоят. Они только и уцелели ото всего добра. Построивши витряки, да и задумали свататься и высватали они аж за Остром²⁶ у какого-то Солонины Катерину Лукьяновну. Вот весною засватались, а после першой пречистой и повенчались; и полгода не был женихом, голубчик мой. После их свадьбы меня и взяли в двор, в покой. Долго я плакала и скучала за своими домашними, а после привыкла, когда побольше подросла. На другой или на третий год... кажется, на третий, дал им Бог дитя. Назвали его Катериною, а меня приставили к нему нянькою. С той поры и по сие лютее время я не разлучалась с моею бесталанницею ни на один час. Она у меня на глазах выросла, и замуж вышла, и...

— Та годи вам плакать, Микитовна! — сказал хозяин с участием. — На все те воля Божия, слезами только Бога гни- выте.

Старушка, помолчав немного, продолжала:

— А какой хозяин! Какой пан добрый! Душа какая праведная была! И все пошло прахом. Бывало, покойный Катеринич²⁷ приедет к нам из Киева, да только подивуется, а уж можно сказать, что Катеринич даром никого не похвалит. Да, правду сказать, было чему и подивоваться. Село всего-навсе сорок хат, а посмотрите, чего в этом селе нет! И ставы, и млыны, и пасики, и вынныця, и броварь, и скотыны разной, а в коморах, — и, Господи! — разве птичьего молока нет, а то все есть. А по селу так любо было по улице пройты: хаты чистые, белые; казалось, что в нашем хуторе вечная великодная неделя.

Люды ходять соби по улице или сидят под хатами, обу- тые, одетые. А дети бегают по улице в беленьких сорочечках, точно янгелята Божии. О, ох! и где это все девалось? Правда, и Катерина Лукьяновна была хозяйка, но все-таки не то, что сам.

Бывало, каждое Божее воскресенье или праздник какой запросят покойного отца Куприяна на «Отченаш» да и вы-

ставят двенадцать графинов и все с разными настойками. А отец Куприян, царство ему небесное, по «Отченаше» выпьет, бывало, из каждого графина по рюмке, да как дойдет уже до последнего, то и скажет: «Вот это хорошая водка, ее и будем пить». А водки, правду сказать, все были одинаково хорошие, да он, покойник, был уже такой чудной, любил иногда, царство ему небесное, и пошутить.

— Чудный, чудный-таки был покойник, — говорил хозяин, наливая в рюмку сливянки. — А чтобы, сказать, пьяного, так я его никогда не видал. Бог его знает, или это уже натуру такую добрую Бог даст человеку, или человек уже сам приспособится, не знаю. А что, Микитовна, если б и вы з нами выпылы чарочку сливянки, воно б, може, и полегшало.

Старушка отказалась от сливянки и, немного помолчав, продолжала свой рассказ:

— Катерине Демьяновне пошел уже другой годочек, как воно в первый раз на ноги стало. Я привела ее за ручку в гостиную, где они поутру пили чай. Господи! что тут было радости! так и рассказать не можно. Катерина Лукьяновна взяли ее на руки и, поцаловавши, тут же и сказали, что ни за кого на свете не выдадут ее замуж, как за князя или какого генерала! Ох! так же оно и случилось на наше безголовья.

А какие люди сватались! Нет таки, дай ей князя или генерала. Вот тебе и князь!

— Да, таки нечего сказать, хороший князь! — перебил хозяин. — Дался он ей, бедной, знать себя.

— Стало оно вырастать, стали его учить сначала грамоте, а потом — и, Господи! — чему они его не учили? Бывало, жаль посмотреть на бедное дитя: и шить, и вышивать, и прясть, и нитки сучить, а раз сам так послал ее, бедную, и коров даже доить. Бывало, сама иногда вскинется на него. «Что ты, — говорит, — делаешь с бедным ребенком? Разве мы ее за мужика что ли готовимо?» — «А может, и за мужиком придется жить: будущее кто знает?» — бывало, скажет сам, да и замолчит. А она ему: «Ты бы лучше для нее фортепяны купил в Киеве». Купили и фортепяны на контрактах²⁸. Привезли с фортепянами и учителя; не умею сказать, поляк ли он был, или немец, не знаю, только он говорить совсем не умел по-нашему; бывало, скажет слово, так слушаешь да хохочешь. Вот он ее в год или в два и выучил играть на тех фортепянах, да как, бывало, заиграет моя лебедонька, так только сидишь, слушаешь, слушаешь, да и заплачешь. А она

возьмет да и переменит песню, да как ударит горлыцью или метелыцью. Согрешила я, грешная, не вытерплю, бывало, да как возьмуся в боки, да и пойду, да как пойду? Только пидлога ломится. А она играет, бывало, да хохочет. Однажды нас и застала сама. Да как прикрикнет на нее. «Ты, — говорит, — что это делаешь? Разве этому тебя учили играть? Только инструмент портишь своими мужицкими песнями. А ты, цындря, не знаешь, где коров доят, то будешь знать!» Я, разумеется, испугалась и стала себе в угол, да и стою, как будто меня и в комнате нет.

— А вы таки, Микитовна, булы колысь, нигде правды сховать, таки добре дзындзюрысти, — сказал хозяин, наливая рюмку сливянки.

— Просты мене, Господы! Сказано — молодость, а в молодости чего не случается. А бывало, когда моя пташечка Катруся совсем выросла, то как только лягут спать паны после вечери, а мы и выйдем тихонько в сад, гуляем, гуляем, до самого света гуляем. А месяц так и светит, как будто днем. А она еще, бывало, возьмет да и запоет: «Не ходы, Грыцю, та на вечерницю», — та тихо, тихо, та сладко, так бы вот, кажется, и слушала б ее, слушала б, до самого б свету слушала б.

— Помню, хорошо помню, — сказал хозяин, — раз иду я вночи коло вашего саду, только слушаю, что-то поет, только не «Грыця», а другую какую-то песню. Я остановился и так простоял, как прикованный до тыну, до самого билого дня. Ничого сказать, прекрасно было слушать, как вона, бывало, заспивае.

— А поутру, спала ли, нет ли, вспорхнет, что твоя пташечка, и снова поет, и снова веселится, и никто, опроче меня, не знает, что ночью диялось. Ах, вот что я было чуть-чуть совсем не позабыла: есть тут, голубчики мои, недалеко от нашего села на Трубайли хутор майора Ячного. Вы его, Степанович, знаете, самого майора? Он и теперь еще здравствуе, благодарение Богу. А что за хозяин! Так и покойному нашему Демьяну Федоровичу не уступит. Правда, у него только всего-навсе десять хат на хуторе, так зато и хаты! Зато и люды! Что хата, то семья — душ десять. Известное дело, в добри та в роскоши живут. А у самого майора ставочок, млыночок, садочок, витрячок, а домик — что твоя писанка: чистенький, беленький, только смотри да любуйся. А что же, если б у него еще и хозяйка была б жива, а то он сам за всем

хозяйничал. Правда, был у него сынок, но то, что еще, можно сказать, дытына, да и то не на глазах росло, а было где-то в школах, не знаю — в Киеве, не знаю — в Нежине.

А были они с нашим покойным великие приятели, бывало, или наш у него, или он у нашего, куска хлеба не съедят врозь, все вместе. На праздники приезжал к нему гостить и сын из школы, и только слава, что приезжал к отцу, а у нас, бывало, и днюет и ночует, и с моею Катрусей, бывало, и в поле, и в саду, и в покоях, одно без другого никуда. Я, бывало, гляжу на них та и думаю: «Вот вырастает парочка, так так, что на диво. Они просто одно для другого на свет божий родились». Так думал и майор, так думал и наш Демьян Федорович, а про детей и говорить нечего; да все так думали. Да не так думала Катерина Лукьяновна. Она спала и видела своего зятя или князя, или генерала, а о других и думать не хотела. Бывало, когда ему, бедному, приходило время отправляться в школу, то Катруся моя уже за неделю начинает плакать, а когда он уедет уже совсем, то она, бедная, просто в постель сляжет и долго после того не ест, не пьет ничего, — Бог ее знает, чем она и жива была.

Так-то они, мои голубяточки, росли, росли, да и выросли вместе, да и полюбились, сердечные, на свое безголовья.

Господи! я уже в домовыну смотрю, а когда вспомню про них, моих пташечек, то как будто снова молодею. Бывало, уже перед тем, как им надо расставаться, сойдутся себе в саду, станут где-нибудь под липою или под берестом, обнимутся, поцелуются и долго-долго смотрят друг другу в очи, а слезы у обоих из очей так жемчугом и катятся, — знать, они чувствовали, бедные, что не дадут им жить одному для другого.

Вот он уже кончил свою школу. Покойный губернатор Катеринич взял его к себе в Киев, определил его в какую-то палату. Не умею уже вам [сказать], для чего он его определил в палаты. Вот он пробыл уже год в той палате, а на другой год приезжает к нам в гости да и давай сватать мою Катрусю. Демьян Федорович, царство ему небесное, таки сразу согласились. И говорят, что лучше мужа нашый Кати не найдты и за морями. И правду говорили. Так что ж сама?.. Не Катруся сама, Боже бороны! А сама Катерина Лукьяновна? Уперлысь и руками, и ногами. «Как? — закричит, бывало.— Чтобы я свою единственную дочь отдала за хуторянина, за гречко с я! Нет, лучше я ее в гроб положу, чем увижу ее,

мою милую Катеньку, на хуторе Ячного! Что она там будет делать — индыков кормить, гусей загонять? Нет, не для того я ее на свет породила, не для хутора Ячного я ее воспитывала!» Фыркнет, бывало, и запрется в свои покои на целый день. А он сам около нее и так и сяк. Нет, хоть и не подходи — знай свое провадыть: князя или генерала, да и только! Покойный Демьян Федорович хотел уже было без ее согласия перевенчать, да, зная, Бог не судил ему это доброе дело. О Рождестве он заболел, вернувшись из Козельца, а на середохрестний и Богу душу отдал.

Господи! и теперь страшно вспомнить! Как он, уже на вечной постели, просил ее, чтобы не отдавала Кати ни за князя, ни за генерала, а чтобы отдала ее за молодого Ячного или за кого другого, только за свою ровню. Нет, таки поставила на своем.

На тот грех, как раз в чистый четверг²⁹, вступила драгунья в Козелец, да и заквартировала по хуторах и по селах на все лето.

Да и драгунья ж это была! Чтобы она к нам никогда не возвращалась. Да, таки дала знать себя эта проклятая драгунья! Не одна чернобрывка умылася слезами, провожавши эту иродову драгунью. В одном нашем селе осталось четыре покритки. А что же в Оглаве? да в Гоголеве?³⁰ Там, я думаю, и не пересчитаешь! Горе нам! Горе нам з тымы драгунами!

Да и теперь страшно вспомнить. Раз сыдымо мы ввечеру все трое в гостиной; я, кажется, карпетку вязала, Катерина Лукьяновна сидели так, а Катруся книжку читала, да такую жалобную, чуть-чуть не заплакала: про какого-то запорожца Киршу или про Юрия³¹, не помню хорошенько, только очень жалобно. Вот уже дочиталась она, моя рыбонька, как того Юрия-запорожца закувалы в кайданы и посадылы в темныцю, только глядь, смотрим, входит в комнату драгун, высоченный, усатый, а морда, неначе тее решето, гладка та червона, здавалась червонишою од воротныка, що пришитый до его мундира. «Я, — говорит, — такой-то и такой, князь Мордатый!³²» — «Мы сами видим, что ты мордатый, — думаю себе. — «Я, — говорит, — покупаю овес и сено; нет ли у вас овса и сена продажного?»

— Есть, — говорит Катерина Лукьяновна, — прошу садиться.

Вот он себе и сел, а мы с Катрусею ушли в другую комнату дочитывать книжку. Только что начали читать, а в ком-

нату входит Катерина Лукьяновна и говорит: «Вот тебе, Катенька, и твой суженый».

Мы как сидели, так и обмерли. Как уже у них было в тот несчастный вечер и как он сватался, мы ничего не знали. Только с того самого вечера князь к нам начал ездить каждый божий день и рано, и вечером. А молодого Ячного, когда придет он, бывало, из Киева, и на двор не пускали. Ходит, бывало, бедный, поза садом да плачет. А мы, глядя на него, и себе в слезы.

Что ж! И помогли слезы? А ни-ни. Катерина Лукьяновна таки поставила на своем. Как раз через год после смерти Демьяна Федоровича, на велькодных святках, просватала за князя мою бесталанницу Катрυσю.

— И можно таки сказать, что бесталанница: ото всего добра, ото всей роскоши только и осталось, что два витряка, да и сама еще, Бог знает, останется ли в живых, — говорил хозяин, как бы сам про себя, наливая рюмку сливянки.

— А вот как было, Степановичу. На Фоминой неделе их и повенчали. Плакала, плакала она, моя бесталанница, да что! Знать, так Господу угодно было. Не умолила она Его, милосердного. Знать, Господь Бог любя наказует!

На другой день после свадьбы переехал он к нам из Козельца, и денщик его Яшка, такой скверный, оборванный, тоже с ним переехал. И только и добра было с ними, что преогромная белая кудрявая собака, юхтовый зеленый кисет и длинная трубка.

С того же дня и началось новое господарство.

На этом слове старушка остановилась и, помолчав немного, перекрестясь, сказала:

— Господи! прости меня, непрощенную грешницу! За что я осуждаю человека, ничего мне злого не сделавшего... А как подумаю, так он и мне таки немало наделал зла. Он, прости ему, Владыко милосердый! — тут она снова перекрестилась, — он, душегубец, загубил мое единственное сокровище, мою одну-единственную любовь! Я никогда никого на свете так не любила, как полюбила ее, мою горькую бесталанницу. Одна моя единая радость, одно мое единое было сладкое счастье! видеть ее счастливою замужем. И что же? Слезы! слезы! слезы! и посрамление! А все мать! Всему, всему причину одна родная мать: захотелось ей, видишь ли, свою единственную дочь увидеть княгиней! Ну, вот тебе и княгиня! Любуйся теперь на свою

княгиню! Любуйся на свое теперь прекрасное село, на свой сад зеленый, на свой дом высокий! Любуйся, Катерина Лукьяновна! Любуйся на свои хорошие дела! Ты, ты одна все это натворила!

Старушка от избытка чувств умолкла, а хозяин, немного погодя, сказал:

— Та цур ий, Микитовна, не згадуй ее, нехай ий лихо сныться; розкажуйте, що там дальше буде.

— Ох! я не знаю, как мне уж и рассказывать! потому что тут пойдет все такое срамное, скверное, что и подумать грешно, а не то что рассказывать!

— Розкажуй уже, Микитовна, до краю, а то так не треба було и зачинать, — говорил хозяин, наливая рюмку сливянки и поднося ее рассказчице.

— Спасыби, спасыби, Степановичу, я вже моими слезами пьяна.

— А не хочете, то як хочете, а мы з добродием так выпьем; а вы тым часом розкажить, як воно зачалось у вас те новее господарство? — говорил хозяин, потчуя меня сливянкой.

— А началось вот так, — проговорила старушка и, помолчавши, почти закричала: — Ну! скажите вы мне, люди добрые! чего ей, грешнице, недоставало? Пани на всю губу. Всякого добра и видимо и невидимо, купалася в роскоши! Так же нет, мало, дайте мне зятя князя, а то умру, як не дасте. Добула, выторговала, купила себе князя, продавши свою дочь. О матери! матери! Вы забываете свои страдания при рождении дитяти, когда так недорого продаете это дитя, которое вам так дорого обошлось!

Старушка замолчала, а хозяин сказал:

— Все воно так, Микитовна, а мы все-таки не знаем, как у вас началось новое господарство!

И она спокойно продолжала:

— А началось воно так, Степановичу, что князь в комнатах завел псарню; вот так началось новое господарство! Всякий божий день пиры да банкеты, бывало, свету божия не видишь от табачного дыму, а о прочем и говорить нечего. А еще, бывало, как зазовет к себе на охоту всю свою драгуню из Козельца, то Господи и упаси! Наедут пьяные, грязные, скверные такие, что не дай Бог и во сне таких увидеть. Да еще всякий возьмет себе по денщику, такому же скверному, как и сам, и не день, и не два, и не три, а целую

неделю гостят. А что они за эту неделю наделают в комнатах, так я и рассказать стыжуся. С вынынець, настоящий свынынець! Так что, бывало, вымываем да выкуриваем после них целый месяц. Отут-то я только узнала, что значит драгуния! А Катерина Лукьяновна смотрит на них да только себе улыбается, и больше ничего.

Не прошло и месяца, как он уже все к себе забрал в руки. Ключи от коморы и лёху были у его поганого Яшки. Так что ежели чего захочется Катерине Лукьяновне, то нужно было просить Яшку. Отут-то она в первый раз отроду заплакала, отут-то она увидела своего князя таким, каким его надо было матери видеть прежде. Но она, гордая, и виду не показывала, что она все видит; а когда, бывало, придется уже ей до скруту, немоготу, то она хоть через великую силу, а все-таки улыбнется и поворотит все в жарты (в шутку).

А Катруся, моя бедная Катруся! сидит, бывало, в своей комнате и день и ночь, да так рекою и разливается. А он (и это не один раз) приедет в полночь из Козельца пьяный, да привезет с собою жида с цимбалами, всех подымет. «Танцуйте, — кричит, — хохлацкие души. Танцуйте! А не то всех вас передую!» Мы, бывало, с Катрусеею убежим себе в сад летом, а зимою не раз мы ночевали в мужицкой хате.

— Мне только вот что кажется чудным, — перебил ее хозяин, — как вы не догадалися его пьяного задушить, да сказали б, что умер с перепоею или просто сгорел.

— Э, так, думаете, и сказать легко! А грех! а Страшный суд, Степановичу! Нет, пускай себе умирает своею смертию, Бог ему и суд, и кара, а не мы, грешные!

— Так воно-то так, Микитовна, а бывает и вот еще как: одному разбойнику на исповеди в Киеве чернец задал такую покуту. «Возьмы, — говорить, — непрощенный грешныче, два камени, свяжи их докупы сырыщевым ремнем, перекинь через плечо, и когда ремень перервется, тогда твои грехи будут прощены». Отож, идет он с тымы камнями через кладовыще и видит, что на свежей могиле блудный сын мать свою проклинае. «Господи! — говорит разбойник, — не одного я доброго человека послав на тот свет, дай пошлю и отого злодея-ругателя». И только что убил его, ремень как ножом перерезало. Вот что! — прибавил он значительно. — Так что же у вас там дальше происходило, Микитовна? — сказал он, подвигая к себе кухоль с сливянкою.

— А происходили, Степановичу, с пивы, та плясы та полунощные банкеты. И добанкетовалися до того, что к концу зимы нечего было на стол поставить. Драгуния, знаете, наедет голодная, так тут хоть ма китру пустую поставь на стол, то и ту съедят. Все, что ни поставь, бывало, как метлою метут. А когда не успеем, бывало, собрать вовремя посуды, то и посуда полетит под стол. Сказано — пьяни люди! А сам сидит себе за столом, та знай в ладоши бьет, та кричит «ура!!». Сначала я не понимала этого слова и думала, что он сердится и ругает своих гостей, а вышло, что он рад был, когда они пустошили добро.

Вот так-то они всю зиму просодомили та прогоморрили, а весною, смотрим, наше поле не зеленеет; ни трава, ни жито, ни пшениця не зелениют. Пришли и зеленые святки (Духов день), а поле черное, как будто на нем ничего и не сеяно. Уже и молебствовали, и воду в крыныцях святылы. Нет, ничто не взошло. Посеяли яровое, и зерно в земле погибло. Народ заплакал, скотина заревела с голоду, и, наконец, собаки завыли и разбежались. И Господь его знает, откуда эти волки взялися, — и днем и ночью так, бывало, и ходят по селу. Это было горе! всесветное горе! Но нам было горе двойное. Одно то, что люди в селе пухли от голоду и здыхали, як ти собаки, без святои исповеди и причастия (отец Куприян сам занедужал). А другое наше горе было то, что наш князь, ничего этого не видя, назовет к себе гостей, свою драгунию из Козельца, и с людьми, и с лошадьми, и с собаками, да и кормит их, и поит целый месяц. А до того ему и дела нет, что у мужиков ни одной крыши не осталось: всё скотина съела. Лесу даже не осталось ни одного дерева живого; все деревья — и дуб, и ясьень, и клен, и осыка, уж на что верба горькая — и та была оскоблена и съедена людьми. О Господи! что-то голод делает с человека! Посмотришь, бывало: совсем не человек ходит, а что-то страшное, зверь какой-то голодный, так что и взглянуть на него нельзя без ужасу! А дети-то, бедные дети! просто пухлы з голоду; лазят, бывало, по улице, как щенята, и только и знают одно слово: «Папы! папы!»

Вы, может быть, думаете, что у нас хлеба не было? Мыши его ели в скирдах и в коморах, лет пять можно было б прокормить не только наше село, а весь Козелец. Так что ж ты будешь делать? Не дает людям. «Лучше, — говорит, — продам, когда вздорожает, а люди нехайдохнут, от них прибыли

мало». Катруся моя бедная заикнется, бывало, сказать слово про людей... «Молчать! — закричит он на нее, как на свою белую собаку. — Разве я не знаю, что делаю!» Она, бедная, и замолчит: выйдет в другую комнату, да в слезы, а я, на нее глядя, и себе туда же. Что будешь с ним делать? Сказано — зверь, а не человек! И Бог ее святой знает, как она еще, бедная, дитя выносила?

Она была тогда уже на износе, этим самым дитям, что вы сегодня здесь видели (говорила она, обращаясь ко мне), и когда, бывало, он заснет пьяный, то она, дрожа, на цыпочках, пройдет мимо его в свою комнату, упадет на колени перед образом скорбной Божией Матери, помолится и так горько заплачет, так горько, так тяжело, что я и не видала никогда, чтоб люди так плакали. Мне даже страшно делалось. А когда он поедет на охоту с своею драгуниею, тогда мы возьмем себе по мешку хлеба печеного, — я еще, бывало, говорю ей: не берите, не подымайте через силу, вы сами видите, какие вы, я одна понесу. — «Ничего, — говорит, — Микитовна (она меня тоже Микитовною звала), — ты только показуй мне, у кого есть маленькие дети и старые, немощные люди». Вот мы и пойдем по хатам. Господи! чего я там насмотрелася! Поверите ли, что голодная мать вырывает из рук хлеб у своего умирающего дитяти! И волчица, я думаю, этого не делает! Что значит голод!

Раз зашли мы в одну хату. О! я этой хаты, пока живу на свете, не забуду! Отворили мы двери — на нас так и пахнуло п у с т к о ю. Входим и видим: посередине хаты на полу лежат двое худых-прехудых детей, только колена толстые. Одно уже совсем скончалось, а другое еще губками шевелит, а около них сидит мать, простоволосая, худая, бледная, в разорванной рубахе и без з а п а с к и; а глаза у нее — Господи! какие страшные! И она ими не смотрит ни на детей, ни на кого, а так, Бог знает на что смотрит. Когда мы остановились на пороге, она как будто взглянула на нас и закричала: «Не треба! не треба! хлиба!» Я вынула из мешка кусок хлеба и подала ей. Она молча обеими руками схватила его, задрожала и поднесла к губам умершего дитяти и потом захохотала! Мы вышли из хаты.

— Да, ты-таки, Микитовна, видела на своем веку багато дечого! — говорил хозяин, с участием глядя на старушку.

— И не говорите, Степановичу! Не приведи Господи никому того видеть, что я видела.

— Господь его милосердный знает, — продолжал хозяин, обращаясь ко мне, — как это воно все мудро да хитро устроено на свете! Я про себя скажу: меня эти проклятые голодные года просто на ноги поставили.

У меня своего хлеба таки было довольно, та у людей еще прикупил, как будто знал, что будут неурожаи. Вот как настал голодный год, ко мне все и сунулись за хлебом. Я хотя и вчетверо продавал дешевле, нежели паны жидам продавали, а все-таки выручил порядочную копейку. Чумаки мои одну зиму зимовалы з худобою на Дону, а другую перезимовалы за Днистром, а там голоду не було; воны, слава Богу, и чумаки вернулись живи и здоровы, да еще и соли, и рыбы мени привезлы, а хлиб святой дома проданый. Вот у меня и гроши, и скотина, слава Богу, жива й здорова. Так и Бог его знает, как это воно так делается на свете, так дивно! — прибавил он, обращаясь к рассказчице.

— Такой уже ваш талан, Степановичу, — сказала она, вздыхая. — За то вам Господь и посылает, что вы в нужде людей не оставляете! Вот хоть бы и я теперь: если бы не вы, куда бы я приклонилася с этою бедною сиротою? Хоть с горы та в воду...

— Господь с вами, Микитовна! Мы свои люди! С кем же нам делиться, как не с вами! А тым часом продолжайте, Микитовна, а то, може, нашему гостеву и заснуть треба, — говорил он, на меня поглядывая.

— Кое-как прошло лето, — продолжала старушка. — Осени мы и не видели, разом наступила зима, да лютая такая, да жестокая. И холод, и голод разом посетил нас. Лес, ободраный весь, высох, а князь, наш хозяин, запретил его на дрова рубить. «Кто, — говорит, — хоть веточку срубит, того, — говорит, — в гроб вгону. Лес славный, сухой, летом примуся, — говорит, — палаты себе строить. Я люблю простор, мне нужен дворец, а не лачуга хохлацкая, в которой я теперь гнезджуся, как медведь в берлоге!» И люди, бедные, и мерзли, и мерли. А что с ним будешь делать? Сказано, — пан, что хочет, то и делает.

На первой неделе Филипповки разрешилась она, бедная, от бремени и не хотела взять мамку, а сама кормила свое дитя. Вскоре после крестин поехал он в Козелец к товарищам и прогостил у них целую неделю. Отдохнули мы без него немного, слава Богу. Только ночью, мы уже спать легли, приезжает он, ломится в двери да кричит. Я вскочила,

отворила дверь, достала огня; только смотрю, какая-то женщина с ним в картузе и в офицерской шинели. Как крикнет он на меня: «Что ты, — говорит, — глаза вытаращила? Пошла вон, дура!» Я и ушла в свою комнату.

На другой день, за чаем, он сказал Катрусе:

— Знаешь, душенька, какой сюрприз мне сделала сестрица? Не написавши мне ни слова, что хочет с тобою лично познакомиться, взяла да и приехала, как говорится, не думавши. Такая, право, ветреница. И вообрази себе, на перекладных ведь приехала, — настоящая гусар-баба. Просто одолжила! Вчера, вообрази себе, подхожу я к почтовой станции, смотрю, тройка у ворот стоит совсем готовая. Я остановился. Дай, думаю, посмотрю, кто такой поедет. Только смотрю, выходит дама. Я, знаешь, этак того... ты прости меня, душоночек, — проклятая привычка! Смотрю... и представь себе мой восторг! Это была моя сестра! Тут мы, разумеется, бросились в объятия друг другу.

— А я и не знала, что у тебя есть сестра! — проговорила Катруся.

— Как же, есть, и не одна, а две. Одна замужем за графом Горбатовым, — та постоянно живет в столице, при дворе, она бы тоже ко мне прикатила, но, знаешь, нельзя: она слишком заметна при дворе. Я тебе, душенька, свою сестрицу сейчас представлю.

Как полотно побледнела моя бедная Катруся; она, верно, бесталанная, догадалась, какая это будет сестрица. Через минуту он ввел под руку женщину, не знаю — молодую, не знаю — старую: за белилами та румянами нельзя было узнать.

— Рекомендую тебе, душенька: княжна Жюли Мордатова.

И она вертляво поклонилась, проговорила что-то, не знаю — по-русски, не знаю — по-польски; я ничего не разобрала, да Катруся, думаю, тоже, потому что она ей и голову не кивнула, а только побледнела пуще прежнего.

— Ты извини ее, друг мой, она у меня еще институтка, по-русски почти слова не выговорит, а в высшем кругу в русском языке никакой нет надобности. Да я про себя скажу: я до двадцати лет не умел по-русски двух слов сказать. У нас, в Грузии, почти все равно, что и в столице, никто по-русски не говорит, все по-французски. Такая мода, мой друг! Мы и свою крошку в столицу в институт пошлем, не правда ли?

Катруся не могла далее вытерпеть. Она молча встала и ушла в детскую, и я ушла за нею. А Катерина Лукьяновна осталась одна со своими князьями.

Я была бы счастлива, Степановичу, если бы я забыла то, что у нас творилось в доме... Но Бог меня, не знаю за что, памятью покарал.

После этой проклятой сестры я ни на одну минуту не оставляла моей Катруси, да и она, моя бесталанница, с той поры ни шагу не выступала из своей комнаты.

Господи! Святая Катерино Великомученице³³, страдала ли ты так, как она, моя бедная Катруся, страдала? Бывало, день плачет, ночь плачет. Я уже не знала, что с нею и делать. Вот она плакала, плакала, да и начала уже в уме мешаться. Я хотела было ребенка отнять от груди, нет, не дает. «Умру, — говорит, — с ним вместе, нехай мене в одну труну положат с ним, пускай, что хотят, делают, а я его никому не отдам!» Что же мне было делать с нею? Я так и оставила дитя. Смотрю только, бывало, да плачу! Катерина Лукьяновна тоже, бывало, зайдет в нашу комнату, посмотрит на свою княгиню — и, хоть была гордая, заплачет и выйдет из комнаты.

А тут же рядом в других комнатах песни та музыка, точно в корчме на перекрестном шляху. А жидовка Хайка, что князь назвал своею сестрицею, так и носится с драгунами, и поет, и пляшет, и всякие фигуры выделывает, отвратительная, даже трубку курила!

Катруся моя бедная сначала показывала вид, что ничего не видит и не слышит; а после уже ей, сердечной, невольно стало, да что станешь делать с таким иродом? У нашей сестры, сказано, одни слезы, ничего больше не осталось. А слезы что? вода! Ох! не одну реку пролила она этой горькой воды! А он, как ни в чем не бывало, зайдет к ней иногда да еще спрашивает: «Как ты себя чувствуешь?» Как будто ослеп, прости ты меня, Господи! не видит, что ее, бедную, едва ноги носят.

— Не послать ли, друг мой, в Козелец за полковым штаб-доктором? — «Не нужно», — скажет она да и замолчит. «Ну, как знаешь; это твое дело, а не мое, я в твои дела, друг мой, никогда не мешаюсь», — скажет, бывало, и уйдет, хлопнувши дверью.

Только мы и свет Божий видели, когда, бывало, он уедет куда-нибудь недели на две, на три к своим товарищам драгунам. Тогда мы без него вымоем, выскоблим полы и выветрим

хоть немного покои, а то просто конюшня конюшнею. Раз он тоже ночью приехал и привез с собою другую сестру, уже не жидовку, а полячку или цыганку, кто ее знает, — помню только, что была черная. И хотел тоже рекомендовать Катрусе, только она его и в комнату не пустила.

Зима уже близилась к концу. Как раз на середохрестный мужики наши, собравшись громадою, пришли к нему просить зернового хлеба для посева. Что, ежели, говорят, Бог уродит, то они ему его доброе возвратят седмерицею. Куда тебе! И выговорить слова не дал, прогнал их, бедных, да еще и собаками притравил. Хотела было вступить за них сама Катерина Лукьяновна, да как он гаркнет на нее. «Молчать! — говорит. — Не ваше дело, я сам знаю, что я делаю. Я в ваши чепцы да кофты не мешаюсь, так прошу не вмешиваться и в мои распоряжения». — Сказавши это, кликнул своего Яшку и велел закладывать тройку, чтобы ехать куда-нибудь к своим драгунам.

Когда он уехал, Катерина Лукьяновна пошла в клуню, чтобы выбрать полускирдок жита и пшеницы, да и велеть смолотить мужичкам для семян: она думала, что он по своему обыкновению долго проездит. Посмотрела около клуни — и половины скирд хлеба не досчитала. «А куда же все это делосся?» — спрашивает она у токового. А токовой отвечает, что сам князь по частям все жидам продавал, да половину уже и продали. И солому, и полу — все продали жидам, а жида, разумеется, солому — драгунам, а полу (мякину) — нашим же мужикам, — а они, бедные, и полове были рады! Катерина Лукьяновна выбрали одну скирду жита, а другую пшеницы и велели мужикам молотить. «Только поскорее, — говорит, — молотите, а то приедет князь, так он не даст вам ничего». Так и сталося. На другой день, только что начали молотить, глядь! — въезжает сам на двор. «Что вы делаете, мошенники? — крикнул на них. — Как вы посмели? Кто вам приказал? Я вас!» Да как выхватил нагайку у кучера или у Яшки, да как принялся молотников молотить так, что ни одного на току не осталось, все разбежались.

Досталосся же и Катерине Лукьяновне за эту молотьбу! Она, бедная, три дни с постели не вставала!

После этого он уже все дома бенкетовал, никуда не ездил аж до Зеленых свят. А на самой Зеленой неделе и выехал он куда-то с своим Яшкою. Катерина Лукьяновна опять послала за мужиками и велела им намолотить хоть

сколько-нибудь ярового хлеба для посева, потому что, благодаря Бога, дожди перепадали и земля таки порядочно позеленела. Только что принялись они молотить просо и гречиху, как в тот же день возвращается он сам, а за ним видимо и невидимо драгуния, как орда тая за Мамаем³⁴, валит. Кто на мужицком возу, а кто так просто без седла верхом, а денщики — те, бедные, пешком и босяком, только с трубкою да кисетом в руках, плелись за своими драгунами.

Как только что на порог он вступил, кликнул своего Яшку и приказал ему, чтобы к трем часам был готов обед на 50 персон, к трем часам непременно, а ужин ввечеру на 100 персон, тоже чтоб был готов непременно. «Для обеда и для ужина стол накрой в саду. Полно, — говорит, — в этой конюшне валяться, теперь можно и на подножный выйти». А червонцами так и гремит в карманах. «Да слушай, — говорит, — скажи приказчику, чтобы завтра всех мужиков выгнал хлеб молотить. Нужно весь перемолотить, сколько его ни есть».

Вот тут-то мы и догадались, [откуда] у него червонцы взялись. «Неужели он весь хлеб продал? — говорит Катерина Лукьяновна. — Что же люди, бедные, посеют?»

А драгуния тым часом со всею своею мизериею, не заходя в покои, отправилась прямо в сад и покотом на траве лежала и сквернословила да трубки курила, пока он не велел вынести им водку. Все стулья и столы тоже в сад вынесли; велел было и из спальни все забрать, да мы замкнулися и не пустили его к себе. Он выругался за дверью по-своему, по-московскому, и оставил нас в покое.

Пока приготавливали обед, драгуния гуляла по саду и пила водку, расставленную чуть ли не под каждым деревом в больших графинах. А другие гости тоже пили водку и в карты играли; наш князь с ними тоже пил и играл в карты и все червонцы, что получил от жида как задаток за хлеб, проиграл, потому что бросил на землю карты и вышел из-за стола, а товарищи его захохотали. Все это я в окно видела.

Смеркало уже, когда Яшка с другими денщиками начали накрывать на стол. Поставили столы, а на столы положили длинные доски, простые дубовые доски, и покрыли их холстом, потому что у нас хоть и была длинная скатерть, но Катерина Лукьяновна не дала ее, чтоб не испортили иногда пьяные гости, а скатерть была дорогая. Поставили на столе в трех местах свечи, а чтоб светлее было, то по концам

длинного стола зажгли смоляные бочки. И только что вся драгуния села за стол, откуда ни возмись полковые трубачи, да как грянут, так только земля задрожала! Не успели они и одного маршу проиграть, смотрю, клуня наша загорелась: смоляные бочки так [и] сыплют искры на скирды и на клуню, а гости смотрят и, привычно, пьяные, знай хохочут да кричат «ура!»

— Катрυσю, — говорю, — сердце мое, посмотрите, — говорю, — клуня наша горит, что мы будем делать? — Смотрю, а она — неживая. Я к Катерине Лукьяновне, и та без чувств лежит. Я на нее брызнула холодной водой, она очнулась. Спасайте, говорю, Катрυσю с младенцем, а то сгорит. Скирды уже все загорелись, скоро дойдет и до дому. Насилу-то, насилу мы ее в чувство привели, взяли ее под руки и вывели из дому. Я хотела было дитя взять у нее, но она его из рук не выпускала и только шептала: «Не дам, никому не отдам, сама его похороню». Мы испугались, она как-то страшно все это шептала. Мы повели ее через греблю, прямо к вам, Степановичу, в хату, дай вам Бог доброе здоровье, — сказала она, обращаясь к хозяину. — И уже из вашей хаты я видела это проклятое пожарище.

И Господь его знает, откуда тот ветер взялся. Снопы так прямо и летели на будынок из скирд. А потом ветер как будто переменялся, когда загорелись будынки, и поворотил прямо на хаты. Через минуту все село запылало. — Пропали мы, — говорю я мой Катрусю; а она, моя бедная, лежит, только головою мне кивает и языка во рту не поворачивает. — Катрυσю! Катрυσю! — кричу я. Не слышит. Я стою ни жива ни мертва. — Катрυσю! — едва проговорила я. Она вдруг вскочила, посмотрела вокруг себя, да как бросит своего бедного ребенка на пол. И как закричит не своим голосом, да и ну на себе волосы рвать. Я вижу, что она не в своем уме, взяла дитя и вынесла в другую хату. А ее, бедную, мы со Степановичем кое-как уласкали, да завернули ее в рядно (в простыню), да и стали лить ей холодную воду на голову. Она пришла в себя, да и говорит: «Не буду, не буду!» — А что? и чего не буду? — она и сама не знала, что говорила. Потом она захохотала, потом начала петь, а потом запела, да так жалобно, так страшно запела, что мы выбежали из хаты. Так она, бедная, промучилась до самого рассвета. Перед зарницею она немного успокоилась, а я тем временем села у окна и смотрела, как наше бедное село догорает. Над ним кое-где

только дым дымился, ничего не осталось! И дом, и клуня, и село — все пропало. Остались одни дымари да печи от господского дому, а от мужичьих хат и того не осталось, потому что у них не каменные. Остался только сад, почерневший от дыму; стоит себе в стороне, да такой черный и страшный, что я и смотреть на него боялася.

Заплакала я, грешная, глядя на это пожарище. Что будешь делать! На все Его святая воля! Разбудила я Катерину Лукьяновну и говорю ей: что же мы теперь будем делать? Где мы приютимся? Куда мы денемся с нашею бедною Катрусеею? «А что?» — говорит она. А то, говорю я, что она не в своем уме, что она помешалася. — «А ребенок?» — говорит она. Ребенка, говорю я, я от нее отняла, а то она его чуть было не задушила. Вскочила она и, простоволосая, выбежала на двор и кричит, чтобы бричку скорее заложили. Только видит, что двор чужой, — она и замолчала, посмотрела на ту сторону гребли, ахнула, затрепетала и, как неживая, упала ко мне на руки. Когда пришла в себя, то сказала: «Где же княгиня? (Она всегда ее так называла.) Покажи мне ее». Мы пошли в комору, где была заперта Катруся. Когда мы вошли к ней, то она, бедная, сидела на полу в одной рубашке и с растрепанной косою и вся как огонь горела, несмотря на то, что в коморе было довольно-таки холодно; в руках держала она свое искомканное платье и прижимала его к груди своей. Когда мы вошли, она взглянула на нас и шепотом сказала: «Спит». Мы вышли из коморы. Страшно было смотреть на ее, бедную, а Катерина Лукьяновна как ни в чем не бывало, и не вздохнула даже. А не кто другой, как она, она сама всему причина. Не осуди ее, Господи, на твоём праведном суде!

Помолчавши немного, она обратилася ко мне и сказала: «Марино! нужно достать где-нибудь экипаж и лошадей да отвезти ее в Чернигов или в Киев. До Киева, кажется, будет ближе, но где мы лошадей и экипаж достанем? Хоть бы бричку какую-нибудь». А лошадей, говорю я, нам и Степанович даст. Только брички у него нет, а простая мужицкая повозка есть. «Попроси, — говорит она, — хоть простой повозки».

Я выпросила у Степановича, спасибо ему, и коней, и повозки. Наложили мы в повозку сена да покрыли рядом и положили ее, бедную, в повозку; около нее села сама Катерина Лукьяновна, да и повезли ее в Киев, в Кирилловский

монастырь³⁵. Вот тебе, Катерина Лукьяновна, и княгиня. Теперь любуйся ею.

Старушка замолчала и тихо заплакала, а хозяин прибавил:

— Да, таки нечего сказать, хорошая княгиня!

— А что же случилось с князем? — спросил я.

— А Господь его знает! — отвечала старушка. — Перед Велькоднем драгуня выступила в поход из Козельца, то, может быть, и он выступил с нею. Только мы его с той ужасной ночи уже не видали.

— И князь хороший! нечего сказать, — прибавил хозяин. — Хоть бы дитя проведаль! Проклятый!

— Господь с ним, Степановичу, пускай лучше не проведывает! — сказала старушка и, выходя из хаты, пожелала нам покойной ночи.

На другой день поутру, пока жидок мой подмазывал бричку и закладывал свои тощие лошади, [я] сидел под хатою на призьбе и смотрел на противоположный берег Трубежа, на грустные остатки погоревшего села, невольно восклицая: «Вот тебе и село! Вот тебе и идиллия! Вот тебе и патриархальные нравы!» И тому подобные восклицания срывались у меня с языка, пока бричка не высунулась на улицу. Поблагодарив хозяина за его бескорыстное гостеприимство, я отправился своей дорогой.

Через несколько дней я был уже в Киеве, и, поклонившись святым угодникам печерским, в тот же день посетил я Кирилловский монастырь. И увы! лучше было б не посещать его. Я слишком убедился в горькой истине печального этого рассказа, так неотрадно приветствовавшего меня на моей милой родине.

МУЗЫКАНТ

Если вы, благосклонный читатель, любитель отечественной старины, то, проезжая город Прилуки П[олтавской] г[убернии], советую вам остановиться на сутки в этом городе, а если это случится не осенью и не зимою, то можно остаться и на двое суток. И, во-первых, познакомьтесь с отцом протоиереем Илиею Бодянским¹, а во-вторых, посетите с ним же, отцом Илиею, полуразрушенный монастырь Густыню², по ту сторону реки Удая³, верстах в трех от г. Прилуки. Могу вас уверить, что раскаиваться не будете. Это настоящее Сенклерское аббатство⁴. Тут все есть. И канал, глубокий и широкий, когда-то наполнявшийся водою из тихого Удая. И вал, и на валу высокая каменная зубчатая стена со внутренними ходами и бойницами. И бесконечные склепы, или подземелья, и надгробные плиты, вросшие в землю, между огромными суховерхими дубами, быть может, самим ктитором насажденными⁵. Словом, все есть, что нужно для самой полной романической картины, разумеется, под пером какого-нибудь Скотта Вальтера⁶ или ему подобного писателя природы. А я... по причине нищеты моего воображения (откровенно говоря) не беруся за такое дело, да у меня, признаться, и речь не к то[му] идет. А то я только так, для полноты рассказа, заговорил о развалинах Самойловичевого памятника.

Я, изволите видеть, по поручению К[иевской] а[рхеологической] комиссии⁷ посетил эти полуразвалины и, разумеется, с помощью почтеннейшего отца Илии, узнал, что монастырь воздвигнут коштом и працею несчастного гетмана Самойловича в 1664 году⁸, о чем свидетельствует портрет его яко ктитора, написанный на стене внутри главной церкви.

Узнавши все это и нарисовавши, как умел, главные, или святые, ворота, да церковь о пяти главах Петра и Павла, да еще трапезу и церковь⁹, где погребен вечная памяти до-

стойный князь Николай Григорьевич Репнин¹⁰, да еще уцелевший циклопический братский очаг, — сделавши, говоря, все это, как умел, я на другой день хотел было оставить Прилуки и отправиться в Лубны осмотреть и посмотреть на монастырь, воздвигнутый набожною матерью Еремии Вишневецкого-Корибута¹¹. Сложил было уже всю свою мизерию в чемодан и хотел фактора Лейбу послать за лошадьми на почтовую станцию. Только входит мой хозяин в комнату и говорит: «И не думайте, и не гадайте. Вы только посмотрите, что на улице творится». Я посмотрел в окно — и действительно, вдоль грязной улицы тянулось две четырехместные кареты, несколько колясок, бричек, вагонов разной величины и, наконец, простые телеги.

— Что все это значит? — спросил я своего хозяина.

— А это значит то, что один из потомков славного прилуцкого полковника, современника Мазепы, завтра именинник¹².

Хозяин мой, нужно заметить, был уездный преподаватель русской истории и любил щегольнуть своими познаниями, особенно перед нашим братом, ученым.

— Так неужели весь этот транспорт тянется к имениннику?

— Э! Это только начало. А посмотрите, что будет к вечеру: в городе тесно будет.

— Прекрасно. Да какое же мне дело до вашего именинника?

— А такое дело, что мы с вами возьмем добрых тройку коней да и покатаем чуть свет у Дигтяри.

— У какие Дигтяри?

— Да просто к имениннику.

— Я ведь с ним не знаком!

— Так познакомитесь.

Я призадумался. А что в самом деле, не махнуть ли по праву разыскателя древностей полюбоваться на сельские импровизированные забавы? Это будет что-то новое. Решено. И мы на другой день поехали в гости.

Начать с того, что мы сбились с дороги. Не потому, что было еще темно, когда мы выехали из города, а потому, что возница (настоящий мой земляк!), переехавши через удайскую греблю, опустил вожжи, а сам призадумался о чем-то, а кони, не будучи глупы, и пошли роменскою транспортной дорогой, разумеется, по привычке. Вот мы и приехали в село

Иваныцю¹³. Спрашиваем у первого встретившегося мужика, как нам проехать в Дигтяри?

— В Дигтяри? — говорит мужик. — А просто берить на Прилуку.

— Как на Прилуки? Ведь мы едем с Прилук.

— Так не треба було вам и издыть з Прилуки, — отвечал мужик совершенно равнодушно.

— Ну, как же нам теперь проехать в Дигтяри, чтобы не возвращаться в Прилуки? а? — спросил я.

— Позвольте, тут где-то недалеко есть село Сокирынци¹⁴, тоже потомка славного полковника. Не знает ли он этого села?

— А Сокирынци, земляче, знаеш? — спросил я у мужика.

— Знаю! — отвечал он.

— А Дигтяри от Сокирынець далеко?

— Ба ни!

— Так ты покажи нам дорогу на Сокирынци, а т[ам] уж мы найдем как-нибудь Дигтяри.

— Ходим за мною, — проговорил мужик и пошел по улице впереди нашей удалой тройки.

Он повел нас мимо старой деревянной одноглавой церкви и четырехугольной бревенчатой колокольни, глядя на которую, я вспомнил картину незабвенного моего Штернберга «Освещение пасок»¹⁵. И мне грустно стало. При имени Штернберга я многое и многое воспоминаю.

— Оце вам буде шлях просто на Сокирынци! — говорил мужик, показывая рукою на едва заметную дорожку, блестящую между густой зеленой пшеницей.

Замечательно, что возница наш в продолжение всей дороги от Прилуки до Иваныци и во время разговора моего с мужиком все молчал и проговорил только, когда увидел из-за темной полосы леса крытый белым железом купол:

— Вот вам и Сокирынци! — и опять онемел. Это общая черта характера моих земляков. Земляк мой, если что и впопад сделает, так не разговорится о своей удали, а если, Боже сохрани, опростофилится, тогда он делается совершенной рыбой.

В Сокирынцах мы узнали дорогу в Дигтяри и поехали себе с Богом между зеленою пшеницею и житом.

Товарищу моему, кажется, не совсем нравилось такое путешествие, тем более, что он имел претензию на щеголя. (А надо вам заметить, мы были одеты совершенно

по-бальному.) Он, как и возница наш, тоже молчал и не проговорил даже: «А вот и Сокирынци!» — так был озлоблен пылью и прочими дорожными неудачами. Я же, несмотря на фрак и прочие принадлежности, был совершенно спокоен и даже счастлив, глядя на необозримые пространства, засеянные житом и пшеницею. Правда, и в мое сердце прокрадывалась грусть. Но грусть иного рода. Я думал и у Бога спрашивал: «Господи, для кого это поле засеяно и зеленеет?» Хотел было сообщить мой грустный вопрос товарищу — но, подумавши, не сообщил. Когда бы не этот проклятый вопрос, так некстати родившийся в моей душе, я был бы совершенно счастлив, купаясь, так сказать, в тихо зыблемом море свежей зелени. Чем ближе подвигались мы к балу, тем грустнее и грустнее мне делалось, так что я готов был повернуть, как говорится, оглобли назад. Глядя на оборванных крестьян, попадавшихся нам навстречу, мне представлялся этот бал каким-то нечеловеческим весельем.

Так ли, сяк ли, мы, наконец, добрались до нашей цели уже перед закатом солнца. Не описываю вам ни великолепных дубов, насажденных прадедами, составляющих лес, освещенный заходящим солнцем, среди которого высится бельведер с куполом огромного барского дома; ни той широкой и величественной просеки или аллеи, ведущей к дому; ни огромного села, загроможденного экипажами, лошадьми, лакеями и кучерами, — не описываю потому, что нас встретила, перед самым въездом в аллею, бесконечная кавалькада амазонок и амазонов и совершенно сбила меня с толку. Но товарищ мой не оробел; он ловко выскочил с телеги и хватски раскланивался со всею кавалькадою, из чего я заключил, что он порядочный шутник. По миновании амазонок, амазонов и, наконец, грумов или жокеев, я тоже вылез из телеги, расплатился с нашим возницею, сказавши ему на вопрос: «Де ж я буду ночувать?» — «В зеленый диброви, земляче!» После чего он посвистал и поехал в село. А мы скромно пошли вдоль великолепной аллеи к барскому дому. Но чтоб придать себе физиономию хоть сколько-нибудь похожую на джентльменов, зашли мы в так называемый холостой флигель, отстоящий недалеко от главного здания, где встретили нас джентльмены самого неблагопристойного содержания.

Обыкновенно бывает, что люди после немалосложного обеда и нешуточной выпивки предаются сновидениям, а у них как-то вышло это напротив. Они скакали, кричали

и черт знает что выделывали, и все, разумеется, в шотландских костюмах¹⁶.

Цынизм, чтобы не сказать мерзость, и больше ничего.

Виргилий мой¹⁷ добился кое-как умывальника с водой и лоханки, и мы, в коридоре умывши свои лики и согнавши пыль с фраков посредством встряхиванья, отправились в сад в надежде встретиться с хозяевами.

Надежда нас не обманула. Мы вошли сначала в дом и, пройдя две залы, очутились на террасе, уставленной роскошнейшими цветами; спустившись с террасы и пройдя дорожкой, тщательно песком усыпанной, через зеленую площадь (из патриотизма называемую левадою), вошли мы в сад, к немалому моему удивлению, не в английский и не в французский сад¹⁸, а в простой, естественный дубовый лес, или в дуброву. И если б не желтые дорожки блестяли между старыми темными дубами, то я совершенно забыл бы, что нахожусь в барском саду, а не в какой-нибудь запovedной дуброве. Виргилий мой подвел меня к высокому раскидистому огромному дубу и показал мне на стволе его небольшое отверстие вроде маленького окошечка, сказавши: «Посмотрите-ка в это оконце». Я посмотрел и, разумеется, ничего не увидел. «Посмотрите пристальнее». — Я посмотрел пристальнее и увидел что-то вроде иконы Божией матери. И действительно, это была икона иржавецкой Божией матери¹⁹, как мне пояснил мой Виргилий, врезанная в этот дуб знаменитым прилуцким полковником год спустя после Полтавской битвы²⁰.

Слушая пояснения сего исторического факта, я и не заметил, как мы вышли опять на леваду, где и встретили хозяина и хозяйку, окруженных толпою улыбающихся гостей своих.

Виргилий мой, довольно ловко для уездного преподавателя, расшаркнулся перед хозяином и хозяйкой, причем хозяин протянул ему покровительственно указательный палец левой руки, украшенный дорогим перстнем. Виргилий мой с подобострастием схватил его палец обеими руками и рекомендовал меня как своего друга и ученого собрата. Я в свою очередь тоже расшаркнулся, надо сказать правду, довольно по-ученому, то есть по-медвежьи, после чего толпа гостей увеличилась двумя членами.

Не описываю вам ни хозяйки, ни хозяина, потому что во время нашей аудиенции на дворе было почти темно, сле-

довательно, подробностей рассмотреть было невозможно. А как ни будь хороша картина в целом, но если художник пренебрег подробностями, то картина его останется только эскизом, на который истинный знаток и любитель посмотрит и только головой покачает. И отойдет со вздохом к портретам Зарянка²¹ восхищаться гербами, с убийственной подробностью изображенными на пуговицах какого-нибудь вицмундира.

Во избежание помавания главы знатока и любителя окончанных картин, я ограничусь только первым впечатлением, что, по мнению психологов, самая важная черта при изображении характеров.

Первое впечатление, произведенное на меня хозяйкою²², было самое приятное впечатление, а хозяином — напротив. Но это, быть может, указательный палец левой руки, так благосклонно протянутый моему приятелю, был причиной такого неприятного впечатления.

Веселая толпа гостей тихонько двигалась к дому, уже освещенному ярко внутри. А на террасе, между роскошными цветами и лимонными деревьями, только еще разноцветные фонари развешивали.

Лишь только хозяин с хозяйкой вступили на террасу, как крепостный оркестр грянул знаменитый марш из «Вильгельма Телля»²³, после марша сейчас же, не переводя духу, полонез, и бал начался во всем своем величии.

Некий ученый муж, кажется, барон Боден²⁴, поехал из Тагерана к развалинам Персеполиса²⁵ и описал довольно тщательно свое путешествие до самой долины Мардашт²⁶. Увидевши же величественные руины Персеполиса, сказал: «Так как многие путешественники описывали сии знаменитые развалины, то мне здесь совершенно нечего делать»²⁷.

Я то же могу сказать, глядя на провинциальный бал, хотя мое путешествие не имело цели описания провинциального бала и не было сопряжено с такими трудностями, как путешествие из Тагерана к развалинам Персеполиса, да и сравнение, надо правду сказать, я делаю самое неестественное; да что делать, — что под руку попало, то и валяй.

Любую повесть прочитайте современной нашей изящной словесности, везде вы встретите описание если не столичного, то уж непременно провинциального бала, и, разумеется, с разными прибавлениями насчет нарядов, ухваток или манеров и даже самих физиономий, как будто природа для

провинциальных львиц и львов особенные формы делала. Вздор! Формы одни и те же, и львицы и львы одни и те же, и ежели есть между ними разница, так это только та, что провинциальные львы и львицы немножко ручнее столичных, чего (сколько мне известно) писатели провинциальных балов не заметили.

Следовательно, все балы описаны, начиная от бала на фрегате «Надежда»²⁸ до русской пирушки на немецкий лад, где устьсысольские ребята немножко пошалили²⁹.

И в отношении провинциального бала я могу сказать смело, что мне совершенно нечего делать, как только любоваться свежими, здоровыми лицами провинциальных красавиц.

Одно меня немного озадачило на этом бале, именно то, что не видно было ни одного мундира, несмотря на то, что в Прилуцком уезде квартировал стрелковый баталион. Не постигая сей причины, я обратился к моему Виргилию.

А Виргилий мой в эту самую секунду выделявал в кадрили па самым классическим образом.

Я терпеливо ожидал конца последней фигуры кадрили, а между тем разгадывал вопрос предположениями.

«Может быть, — думал я, — они того? Но нет, это профессия принадлежит более гусарам и вообще кавалерии, а ведь они пехотинцы, да еще с ученым кантом³⁰. Нет, тут что-нибудь да не так». — В эту минуту кадрили кончилась, и вспотевший мой Виргилий подошел ко мне.

— А! какво пляшем! — проговорил он, утираясь.

— Ничего, изрядно, — отвечал я рассеянно. — А вот что, — сказал я ему почти шепотом, — отчего это военных нет на бале?

— Их почти нигде не принимают, тем более в таком доме, как дом нашего амфитриона³¹.

«Странно!» — подумал я. И, подумавши, спросил:

— А барышни ничего?

— Ничего.

— Таки совершенно ничего?

— Совершенно ничего!

В это время заиграли вальс, и ментор мой завертелся с какой-то аппетитною брюнеткой.

А я, протолкавшись кое-как между зрителей и зрительниц, т. е. между горничных и лакеев, столпившихся у растворенных дверей, вышел на террасу и думал о том, [что]

Мы подвигаемся заметно.

Бал был увенчан самым роскошным ужином и не спрыснут, не запит, а буквально был залит шампанским всех наименований. Меня просто ужаснула такая роскошь.

После ужина амфитрион предложил гроссфатер³², что и было принято с восторгом счастливыми гостями.

Гроссфатер начался и продолжался со всей деревенской простотой до самого восхода солнца.

Красавицы! особенно красавицы вроде героинь покойного Бальзака³³, т. е. красавицы не первой свежести, не советую вам танцевать до восхода солнечного. Власть, утвержденная при свете свечей над нашим бедным сердцем, распадается при свете солнца, и обаяние, навеянное вами в продолжение ночи, сменяется каким-то горько-неприятным чувством, похожим на пресыщение. Но вы, алчные пожирательницы бедных сердец наших, в торжестве своем и не замечаете, как близится день и могущество ваше исчезает, как тот прозрачный туман, разославшийся над болотом.

Так думал я, оставляя веселый, непринужденный гроссфатер и пробираясь между дубами к нашему лагерю (гости не помещались в зданиях; разбивалось несколько палаток в конце сада, что и означало лагерь, или, ближе, цыганский табор). Приближаясь к палаткам, блестящим на темной зелени, я, к немалому моему удивлению, услышал песни и хохот в одной палатке. То были друзья-собутыльники, предпочитавшие мирскую суету уединению, нельзя сказать совершенному. Я кое-как прокрался в свою палатку, наскоро переменял фрак на блузу и скрылся в кустах орешника.

Я не знал, что к саду примыкает пруд, и мне показалось странным, когда густые, темные ветви орешника стали рисоваться на белом фоне. Я вышел на полянку, и мне во всей красе своей представилося озеро, осененное старыми берестами, или вязами, и живописнейшими вербами. Чудная картина! Вода не шелохнется — совершенное зеркало, и вербы-красавицы как бы подошли к нему группами полюбоваться своими роскошными широкими ветвями. Долго я стоял на одном месте, очарованный этой дивною картиною. Мне казалось святотатством нарушить малейшим движением эту торжественную тишину святой красавицы природы.

Подумавши, я решился, однако ж, на такое святотатство. Мне пришло в голову, что недурно было бы окунуться раза два-три в этом волшебном озере. Что я тотчас же и исполнил.

После купанья мне так стало легко и отрадно, что я вдвойне почувствовал прелесть пейзажа и решился им вполне насладиться. Для этого я уселся под развесистым вязом и предался сладкому созерцанию очаровательной природы.

Созерцание, однако ж, не долго длилось; я прислонился к бересту и безмятежно уснул. Во сне повторилась та же самая отрадная картина, с прибавлением бала, и только странно — вместо обыкновенного вальса я видел во сне известную картину Гольбейна «Танец смерти»³⁴.

Видения мои были прерваны пронзительным женским хохотом. Раскрывши глаза, я увидел резвую стаю нимф, плескавшихся и визжавших в воде, и мне волею-неволею пришлось разыграть роль нескромного Актеона-пастуха³⁵. Я, однако же, вскоре овладел собою и ползком скрылся в кустарниках орешника.

В одиннадцать часов утра посредством колокола сказано было холостым гостям, что чай готов (женатые гости наслаждались им в своих номерах). На сей отрадный благовест гости потянулись с своих уединенных приютов к великолепной террасе, украшенной столами с чайными приборами и несколькими пузатыми самоварами и кофейниками.

Не успел я кончить вторую чашку светло-коричневого суропа со сливками, как грянул вальс, и в открытые двери в зале я увидел вертящихся несколько пар. «Когда ж они навертятся?» — подумал я. И, сходя с террасы, встретил своего Просперо³⁶, который сообщил мне по секрету, что сегодняшней вечер начнется концертом, чему я немало обрадовался, хоть, правду сказать, многого и не ожидал. Я, однако же, ошибся.

Вскоре после вечерней прогулки гости собрались кто в чем попало, т. е. кто в сертуке, кто в пальто, а кто держался хорошего тона или корчил из себя англомана, такие пришли во фраках. А о костюмах нежного пола и говорить нечего. Это уже всему миру известно, что ни одна, в какой бы степени ни была она красавица, не задумается раз двадцать в сутки переменить свой костюм, если имеет в виду встретить толпу, хотя бы даже уродов, только не своей породы. Прошу не погневаться, мои милые читательницы, — это не сочинение, а неопровержимый факт.

Гости собрались и заняли свои места, разумеется, с некоторою сортировкой: что покрупнее, выдвинулось вперед, а мелочь (в том числе и нас, Господи, устрой) поместилась

кое-как впотьмах, между колоннами. Когда все пришло в порядок, явился на подмостках вроде сцены вольноотпущенный капельмейстер, довольно объемистой стати и самой лакейской физиономии. «Ученик знаменитого Шпора!³⁷» — кто-то шепнул возле меня. Еще миг, и грянула «Буря» Мендельсона³⁸. И, правду сказать, грянула и продолжала греметь удачно. Меня задел не на шутку виолончель. Виолончелист сидел ближе других музыкантов к авансцене, как бы напоказ (что, действительно, и было так).

Это был молодой человек, бледный и худощавый, — все, что я мог заметить из-за виолончеля. Соло свои он исполнял с таким чувством и мастерством, что хоть бы самому Серве³⁹ так впору. Меня удивляло одно: отчего ему не аплодируют. Самому же мне начинать было неприлично. Что я за судья, да и что я за гость такой? Бог знает что и Бог знает откуда. Что скажут гости первого разбора!

Между тем «Буря» кончилась, и я услышал произносимые вполголоса похвалы артисту такого рода:

— Ай да Тарас! Ай да молодец! Недаром побывал в Италии!

Пока оркестр строился, я успел узнать от соседа кое-что о заинтересовавшем меня артисте. Начался увертюра из «Прециозы» Вебера⁴⁰. И я, к удивлению моему, увидел виолончелиста со скрипкою в руках почти рядом с капельмейстером. И теперь я его мог лучше рассмотреть.

Это был молодой человек лет двадцати с небольшим, стройный и грациозный, с черными оживленными глазами, с тонкими едва улыбающимися губами, высоким бледным лбом. Словом, это был джентльмен первой породы. И вдобавок самой симпатической породы.

Когда он исполнил арию Прециозы, я не утерпел, закричал «браво!» и изо всей мочи стал аплодировать. Все посмотрели на меня, разумеется, как на сумасшедшего. Я, однако ж, не струсил и продолжал хлопать и кричать «браво!», пока, наконец, воловьи глаза самого хозяина не заставили меня опомниться.

Оркестр снова строился, но я, не ожидая услышать что-нибудь лучшее лучшего, вышел из зала в сад. Ночь была лунная, теплая и спокойная. Я бродил около дому недалеко, и до меня долетали из хаоса звуков чудные звуки виолончеля или скрипки. И образ грустного артиста с своею меланхолическою улыбкою носился как бы живой передо мною.

Где я его видел? Где я с ним встречался? — спрашивал я сам себя. И после долгого напряжения памяти я вспомнил, что я видел его во время обеда, с рукой, обернутой салфеткой, за стулом самого хозяина.

Мне сделалось почти дурно после такого открытия.

Музыка затихла, и я пошел через левую дорожку по дорожке [к] старосветским таинственным дубам. Пройдя немного, я услышал тихий шорох шагов за собою, оглянулся и узнал преследующего меня виолончелиста. Я обратился было к нему с вопросом, но он предупредил меня, схватил мои руки и со слезами прижал их к губам своим.

— Что вы? Что вы? Что с вами случилось? — спрашивал я его, стараясь освободить руки.

— Благодарю вас! благодарю! — говорил он шепотом. — Вы! вы один-единственный человек, который слушал меня и понял меня! — Он не мог продолжать за слезами. Я молча взял его под руку и привел к дерновой скамейке, устроенной вокруг столетнего развесистого дуба.

Долго мы сидели молча, наконец он заговорил:

— Вы со мной очень милостивы.

В это время раздался голос, называвший его по имени.

— Идите в виноградную беседку, — сказал он, вставая. — Я сию минуту приду к вам.

И он поспешно удалился. Глядя вслед ему, я думал: вот вдохновенный миннезингер XII века⁴¹. Как мы недалеко, однако ж, ушли от благородных рыцарей-разбойников того плачевного века. А просвещение идет себе вперед крупными шагами.

Я встал со скамьи и пошел по дорожке, ведущей к виноградной беседке. Не знаю почему, а я не надеялся услышать от него его безотрадную повесть, как это обыкновенно бывает, и я, слава Богу, не совсем ошибся. Правда, он передо мной высказался даже, может быть, больше, нежели сам хотел, но то не простой наш бедный язык, которым он заговорил со мною, — то были чудные, божественные звуки, в которых отразились стоны рыдающего непорочного сердца.

Пришел он ко мне в беседку с виолончелью и, не сказав ни слова, начал настраивать инструмент. И вроде пробы, как бы шутя, проиграл знаменитую каватину из «Нормы»⁴². У меня дух захватило при этих звуках.

Не отнимая смычка от струн, он заиграл одну из задушевных мазурок вдохновенного Шопена⁴³. Кончивши

мазурку, он едва внятно проговорил: «Вот у нас свой бал». Проиграл он еще несколько мазурок Шопена, одну другой лучше, одну другой задушевнее.

К концу последней мазурки я заметил сквозь виноградные листья безмолвные лица многочисленных слушателей. То были горничные, лакеи и фореиторы приезжих господ. Они оставили окна, в которые глазели на немецкие танцы вымуштрованных господ и госпож своих, и пришли послушать, как Тарас играет.

Орфей мой, отдохнув немного и настроив свою лиру, повел медленно смычком по струнам, и полилася полная сердечной сладкой грусти моя родная мелодия на слова:

Котылыся возы з горы,
А в долини стали⁴⁴.

Проигравши тему, он вариировал ее на тысячу ладов, и так вариировал, что я ничего подобного в жизнь мою не слышал, да, кажется, и не услышу никогда. Слушатели вокруг беседки в продолжение игры не пошевелились, и, когда он кончил свои чудные вариации, слушатели долго еще слушали, не переводя духа, разразились, наконец, общим вздохом и снова замолчали.

Я молча взял его за руки и знаком просил его выйти из беседки. Мы вышли и долго молча ходили по дорожке, как бы бояся заговорить. Наконец я, овладевши собой, спросил его:

— Где вы учились?

— Сначала дома.

— А потом?

— А потом барин с барыней ездили за границу и меня с собою брали, и, пока они жили в Берлине, я ходил несколько раз к Шпору⁴⁵. И больше нигде не учился.

— Да ведь Шпор играл на скрипке.

— Я на скрипке у него и учился. Скрипка и есть мой настоящий инструмент, а виолончель — это уже так.

— Что же вы намерены теперь с собой делать? Ведь вы настоящий великий артист!

— А что мне с собою делать? Повеситься, ничего больше.

Правду сказать, я и сам не мог ему ничего лучшего предсказать.

— Прошедшего лета, — заговорил он, — приезжал к нам из Качановки Глинка⁴⁶, слушал мою игру на скрипке

и на виолончели, хвалил меня и просил барина, чтобы отпустил меня на волю. Они обещали ему, но тем, кажется, и кончилось.

— Не унывайте, молитесь Богу. Даст Бог, все устроится.

— Я не отчаиваюсь, Михайло Иванович, кажется, добрый такой, на него можно надеяться.

— Совершенно можно, если только он про вас не забыл. Напишите вы ему письмо.

— Написать-то я напишу, да как же я перешлю его? Ведь я адреса не знаю.

— Я знаю, и вы передайте письмо мне. Напишите письмо сегодня, а я завтра буду в городе и подам его на почту.

В это время мы подошли к беседке, и он спросил меня, наклонясь к виолончели:

— Не сыграть ли вам еще что-нибудь?

— Весьма вам благодарен. Вы устали, отдохните немного и приготовьте к завтраму письмо.

И мы расстались.

После ужина (перед восходом солнца), раскланявшись с хозяином и хозяйкой, я, не заходя в табор, пошел в село нанять лошадь с телегою для совершения обратного путешествия до города или хоть до почтовой станции. Но увы! во всем огромном селе ни лошади, ни телеги не оказалось. Нечего сказать, мужики зажиточные! Пьяницы, я думаю, да лентяи по большей части, а то как бы не найтись во всем селе одной лошади с телегою. Удивительный народ наши мужики: не припугни его, так ничего и не будет. А вас, однако ж, как видно, чересчур припугнули, подумал я, глядя на обнаженное село.

Делать нечего, отправился я к жиду в корчму и нанял у него (разумеется, за жидовскую цену) клячу на пять верст до какой-то фермы. А там, уверял меня жид, хоть четверку можно нанять до самой Прилуки.

С помощью услужливого Тараса Федоровича (виолончелиста) мы уложили кое-как свою мизерию и выехали из села по дороге в Прилуку.

— Скажите мне, что это такое за ферма, на которую он нас теперь везет? — спросил я у своего полусонного ментора.

— Ферма? Это хутор Антона Адамовича. Прекраснейшие люди, т. е. он и Марьяна Акимовна. Прекраснейшие люди. Заедем, непременно заедем! Я уже их давно не видел.

— Пожалуй, заедем. Мне теперь заодно уж шляться, пока не выберусь на почтовую дорогу.

— Не будете жалеть. Антон Адамович презамечательный человек. Он, изволите видеть, начал и кончил свою службу во флоте лекарем. Путешествовал раза два вокруг света, оставил службу. Получает себе полный пансион. Да теперь privately занимает место домашнего лекаря у нашего амфитриона, а он ему вдобавок еще и хутор подарил со всеми угодьями. Чего ж еще? Живи да Бога хвали.

— И давно он уже живет здесь?

— Да будет лет около десяти с небольшим.

— Что они, семейные люди?

— Нет, только вдвоем. Правда, под их непосредственным надзором воспитываются две дочери помещика, премиленькие дети, и они-то, можно сказать, и заменяют им настоящих детей. Одной, я думаю, будет уже лет около шести, а другая годом меньше.

— Что же их не видно было на бале? Ведь они, я думаю, уже качучу танцуют. А это, вы знаете, какое украшение бала.

— Нет, я думаю, что они еще качучу не танцуют. И, знаете, мать хочет их воспитать в совершенном уединении и после выпустить их на свет совершенно невинных, как двух птенцов из-под крылышка. Знаете, мне эта идея чрезвычайно нравится. Нравственно-философская и, можно сказать, поэтическая идея. Как вы думаете?

— Действительно, поэтическая идея, но никак не больше. Я не подозревал, однако ж, чтобы у Софьи Самойловны были дети. Она еще так свежа.

— И прекрасна, прибавьте!

— Действительно, прекрасна.

В это время повстречался нам мужик и, снявши свой соломенный брыль, поклонился. И когда мы проехали мимо его, то он все еще стоял с открытой головой и смотрел на наш экипаж. И, вероятно, думал: «Чорт его знае, що воно таке — чи воно паны? Чи воно жида?» Паны, да еще из балу возвращающиеся.

Конечно, вы знаете лубочную картинку, изображающую, как жида на шабаш поспешают. Много было общего между этою картинкою и нашим экипажем — пожалуй, и пассажирами. Как же тут было мужику не остановиться и не полюбоваться таким величественным поездом? А надо вам сказать,

что пыль не скрывала нашего великолепия, потому что мы двигались шагом, и только наши особы торчали из глубокой жидовской брички, а сам хозяин шел пешком, погоняя свою тощую клячу.

Несколько раз до меня долетали какие-то жидовские слова, со вздохом произносимые нашим возницею. И так часто повторял он одну и ту же фразу, что я невольно ее затвердил. И просил его перевести мне ее, на что он неохотно согласился, уверяя меня, что [то] были нехорошие слова.

«Такие скверные, — прибавил он, — что о них и думать нехорошо, а не то, чтобы еще их говорить». Когда же я ему посулил гривну меди на водку, то он, посмотревши на меня недоверчиво, сказал:

«Уни хушавке мес. По-вашему будет означать, что живой человек без денег — все равно, что мертвый».

Настоящая жидовская поговорка.

Вот мы и едем себе тихонько по дорожке между прекраснейшей зелени, освещенной утренним солнцем. Роса уже немного подсохла, и кузнечики начинали в зеленом жите свой шепот. Такой тихий, такой мелодический шепот, что если бы меня не укусила муха за нос, то я непременно бы заснул. Согнавши проклятую муху, я невольно взглянул вперед. Боже мой, да откуда же все это взялось? Представьте себе, из зеленой гладкой поверхности, можно сказать перед самым [носом], выглянули верхушки тополей, потом показались зеленые маковки верб. Потом целый лес расстлался под горою, а за ним во всю долину раскинулось, как белая скатерть, тихое светлое озеро.

Прекрасная, душу радующая картина!

Я растолкал своего товарища и показал ему рукою на великолепный пейзаж.

— Это ферма Антона Адамовича. Мы тут встанем и пойдем через рощу пешком, а он пускай остановится около млына под горою.

Сделавши наставление жиду, мы пошли к роще, но в рощу мы не так легко попали, как думали, потому что она обведена довольно широким рвом, а противоположная сторона рва защищена живою изгородью, т. е. усажена крыжовником.

Взявшись с приятелем под руки (чего я, между прочим, терпеть не могу), пошли вдоль изгороди, установленной высокими роскошными тополями. Из-за тополей кой-где просвечивалась молодая березовая рощица или темнел стройный

молодой дубняк. То вдруг стройный ряд тополей прерывался усевшимся над самым рвом старым дубом, протянувшим свои живописные ветви далеко за ров, на самую дорогу.

Пройдя добрые полверсты, мы дошли до угла изгороди и поворотили влево по тропинке, идущей параллельно со рвом под гору. При этом повороте нам открылось во всей красе своей тихое светлое озеро, окаймленное густым зеленым камышом и раскидистыми огромными вербами. Подойдя к озеру, мне так и хотелось окунуться раза два-три в его прозрачной воде. Но вожатый мой заметил мне довольно основательно, что подобное действие было бы неприлично. Тем более, что в это время мы подошли к воротам парка, осененным двумя старыми вербами. Мы без труда отворили ворота и вошли в парк. Длинная тенистая дорожка вела к дому, вдали белеющему сквозь ветви. Не доходя до дома, мы в стороне, недалеко от дороги, между деревьями увидели человеческую фигуру в белой полотняной блузе, в соломенной простой шляпе и с сигарою в лице.

— Антону Адамовичу имеем честь кланяться! — закричал вожатый.

Фигура в блузе приподняла шляпу и, вынувши сигару из лица, сказала:

— Добро пожаловать!

Мы подошли друг к другу поближе. Это был сам хозяин парка или фермы. Свежий коренастый старик самой немецкой физиономии. Я был отрекомендован моим разбитным путеводителем со всеми прилагательными, на что Антон Адамович с добродушной улыбкой протянул мне руку и проговорил:

— Очень рад.

Я с своей стороны проговорил тоже какую-то лаконичную вежливость, и мы вышли снова на дорогу. Не успели мы ступить несколько шагов, как к нам выбежали из-за куста цветущей душистой черемухи две белокурые прекрасные девочки лет пяти или шести и бросились к Антону Адамовичу, крича:

— А что, испугали! Испугали!

Антон Адамович молча указал им рукою на нас, и девочки оставили его и спрятались за куст черемухи.

Тем временем мы вышли на зеленую площадку, примыкающую одной стороной к озеру, а другой к крылечку чистенького беленького домика, кругом усаженного кустами сирени.

Дивное впечатление произвела на меня эта грациозная картина.

Вслед за нами девочки выбежали на лужок, а из дома на крылечко [вышла?] молодая, прекрасная собою женщина, с книгою и с зонтиком в руке, и пошла к детям. Это была гувернантка-француженка, как я после узнал.

Мы вошли на крылечко, и хозяин предложил нам отдохнуть в тени, а сам пошел в дом.

Я на досуге залюбовался на детей, играющих на зеленом лужке, и, правду сказать, на стройную, величественную фигуру прекрасной гувернантки, залюбовался до того, что не заметил, как к нам вышла на крылечко сама хозяйка.

Я, поклонившись, извинился в своей рассеянности.

— Ничего, ничего, любуйтесь. У нас, слава Богу, есть на что полюбоваться. — И она лукаво улыбнулась и обратилась к моему товарищу. Тот начал было рекомендовать меня, но она ему сказала нецеремонно:

— Не беспокойтесь, мне уже Антон Адамович отрекомендовал. А вы лучше расскажите, каково вы повеселились на бале.

И приятель мой пустился описывать ей бал, а я тем временем стал рассматривать нецеремонную хозяйку дома.

Это была лет тридцати пяти, по крайней мере, прекрасно сохранившаяся брюнетка, с большими выразительными карими глазами, с довольно свежим для ее лет румянцем на полных щеках, со вздернутым носом, с прекрасными белыми крупными зубами и с едва отвисшим подбородком. А в целом она была настоящий тип малороссиянки; даже голос ее, и особенно произношение, напоминал мне мою землячку, какую-нибудь чиновницу средней руки или высокой руки протопопшу, несмотря на то, что она была одета как настоящая барыня.

— А нуте вас с вашим балом, — проговорила она скороговоркой. Остановилась в дверях да и затараторила: — Прошу покорно в покои. Вы хоть из балу сегодня, а, верно, еще чаю не пили. Правду сказать, и мы еще только что поднялись.

Я пошел вслед за хозяйкою. А товарищ мой, как человек знакомый с местностью, пошел отыскивать жида и распорядиться насчет помещения.

В первой комнате, довольно большой, встретил нас Антон Адамович, уже не в полотняной блузе, а в сером пальто из летнего трико, и просил меня садиться без церемонии.

— А вы, Марьяна Акимовна, пошлите свою Ярину просить к завтраку Адольфину Францовну с детьми.

На зов Марьяны Акимовны явилась горничная, скромная и миловидная, в деревенском костюме. И, получивши приказание от Марьяны Акимовны на чистом малороссийском языке, вышла из комнаты.

Через несколько минут вошла в комнату гувернантка с двумя девочками, а за нею и мой товарищ. И все мы уселись вокруг стола, увенчанного изрядным самоваром.

Если бы я не знал, чьи это были дети, то я подумал бы, что Марьяна Акимовна была им настоящая мать, — так мило, так матерински мило она ухаживала за ними. И, к немалому моему удивлению, она, обращаясь к гувернантке, разговаривала с нею по-французски. «Вот тебе и чиновница средней руки! Вот тебе и протопопша высшей руки!» — подумал я. Я был просто очарован Марьяной Акимовной, и если б она обращалась к своей Ярине (кажется, единственной прислуге) хоть на великороссийском диалекте, то я подумал бы, что я имею счастье видеть перед собою по крайней мере графиню или хоть просто даму высшего полета.

Такова сила предубеждения против своего родного наречия.

За чаем я случайно узнал имена двух девочек; одну, кажется, старшую (потому что они обе одинакового роста), звали Лизой, а другую Наташей. И так они были похожи одна на другую, что, пересадив их с места на место, то и не знал бы, которая из них Лиза, а которая Наташа. А обе они были чрезвычайно похожи на свою милую маменьку.

Хозяйка, между прочим, обратилась ко мне и спросила, понравился ли мне концерт в Дигтярях?

— Ведь уж, верно, там не обошлось без концерта? — прибавила она.

Я отвечал утвердительно.

— А каков виолончелист! Не правда ли, прекрасный?

— Превосходный! — отвечал я.

— Это наш большой приятель, и, кроме того, что он артист превосходный, но нужно знать, что он и человек самого нежного, самого благородного сердца. Но что будешь делать? — прибавила она со вздохом. — Лиза и Наташа плачут, когда не видят его два дня сряду. А про Адольфину Францовну и говорить нечего, — сказала она шутя и поцаловала

гувернантку в загоревшуюся щеку. Из чего я заметил, что она понимает по-русски.

Мне было чрезвычайно приятно слышать подобный отзыв о человеке, которого я с одного разу полюбил, как что-то близкое моему сердцу.

После чая Антон Адамович обратился к нам и просил в свою хату.

— Я к ним только в гости захожу, а хата моя там, в саду.

И он взялся за свою шляпу. И мы последовали его примеру.

Белая, соломой крытая хата, к которой нас привел Антон Адамович, стояла между фруктовыми деревьями и служила кабинетом Антону Адамовичу и вместе караульней. Чисто немецкая штука!

Хата Антона Адамовича, как вообще малороссийские хаты, разделялася сенями на две половины: собственно на хату с комнатою и на так называемую комору. В коморе, освещенной одним окном, помещалась у него аптека и библиотека. В сенях — лаборатория; это можно было заключить из стоявшего на широком камне алембика, реторты⁴⁷, стеклянных и глиняных банок. Стены светлицы, или кабинета, были украшены луками, стрелами, томагауками⁴⁸ и другими орудиями дикарей, что и свидетельствовало о кругосветном странствовании Антона Адамовича.

Около стен стояло две кушетки, а между ими, у стены, простой дубовый стол и на нем электрическая машина.

— Не угодно ли будет отдохнуть с дороги, а я пока наведаюсь в Дигтяри: ведь я их домашний медик. До свидания.

И он оставил нас в своем кабинете совершенными хозяевами.

— Не думал я, отправляясь на бал, попасть в кабинет ученого путешественника и вдобавок путешественника скромного, — подумал я вслух, когда мы остались одни.

— Да это что еще! — сказал мне товарищ. — Вы загляните в комнату, — вот где редкости.

И, действительно, редкости. Во всю длину комнаты, около стены, дубовый широкий стол уставлен разнообразнейшими и красивейшими раковинами тропических морей. А посередине стола, как раз против окошка, плоский ящик в аршин длины и ширины со стеклянной крышкой, заключавший в себе нумизматические редкости Антона Адамовича.

Между разной формы и величины монет я увидел австрийский талер 17 века с глубоко вдавленным клеймом, изображавшим московский герб⁴⁹.

— Не правда ли, любопытная монета? — сказал мне товарищ, указывая на талер, — или лучше сказать, любопытно[e] клеймо.

— Но что оно значит, это клеймо? — спросил я его.

— А вот, извольте видеть, когда в 1654 или 5-м году ходил наказным гетманом Иван Золотаренко с полками малороссийскими добывать Смоленска московскому царю⁵⁰, то, не знаю, почему-то наши козаки не захотели брать жалованья московскою монетою; вот им и выдали австрийскими талерами, положивши московское тавро на каждый талер.

Налюбопытствовавшись редкостями Антона Адамовича, я вышел в сад, оставивши своего товарища помечтать наедине, то есть маненько приуснуть.

Я обошел весь сад или, лучше сказать, парк и не мог довольно налюбоваться прелестью деревьев, чистотою дорожек и вообще истинно немецкой аккуратностию, с какой все это содержится. Например, у кого вы увидите, кроме немца, чтобы между фруктовыми деревьями были посажены арбузы, дыни — и даже кукуруза? В Германии это понятно, но у нас это просто непостижимо.

Из саду вышел я на греблю, усаженную вербами, полюбовался чистенькой, аккуратной мельницей об одном шумящем колесе, и, пройдя плотину, я очутился в селе. Село всего-навсе, может быть, хат двадцать. Но что это за прелесть! Что ни хата, то и картина.

«Вот, — подумал я, — и не великое село, а весело[e]». Попробовал я у встретившегося мужика спросить, можно ли будет нанять у них лошадей до Прилуки.

— Можно, чому не можна, — хоть пару, хоть две пары, так можна!

— Хорошо, так я зайду после, поторгуюсь.

— Добре, поторгуйтесь.

За селом я увидел панскую клуню, или господское гумно, уставленное скирдами разного хлеба. Подходя к гумну, я встретил токового, и он показал подведомственный ему ток, или гумно. Я как не агроном, то и смотрел на все поверхностно и расспрашивал также поверхностно. И из всего виденного и слышанного мною заключил, что не мешало бы

записным агрономам поучиться кой-чему у Антона Адамовича или хоть у его токового.

Насчет винокурни, когда спросил у него, почему, дискать, Антон Адамович, имея столько хлеба, не построит себе винокуренку, хоть небольшую, [токовой ответил?]:

— Бог их святой знает — я и сам им говорил, что построить хоть небольшую. «Зачем, — говорить, — что[бы] пьяныщ голых пускать по свиту? Не нужно!» Они у нас такие чудные, и, Боже сохрани, как они того проклятого вина не любят.

— Действительно, странный человек. Ну, а мужики у вас в селе есть-таки пьющие?

— Ни одного.

— Прекрасно! Куда же вы сбываете свой хлеб?

— А куда сбываем? Никуда больше, как у Дигтяри. Видите, паны там бенкетуют, а мужики голодают. Да еще мало того: в селе, кроме корчмы, что ни улица, то и шинок, а в каждом шинке, для приману людей, шарманка играет. Вот мужик бедный и пропивает последнюю нитку под немецкую музыку. Сказано — мужик дурак.

«Зато паны умудрились! О филантропия!» — подумал я и простился с токовым.

Подходя к гребле, я невольно остановился полюбоваться старыми вербами, опустившими свои длинные зеленые ветви в светлую прозрачную воду. А из-за этих роскошных ветвей, с противоположной стороны пруда, выглядывает из темной зелени беленький, улыбающийся домик Антона Адамовича, и как красавица любит свою прелесть перед зеркалом, так он любит собою в прозрачном тихом озере.

«Благодать!» — подумал я и пошел через греблю к кокетливому домику.

К этому времени Антон Адамович возвратился от своих пациентов и, к великой моей радости, привез с собою милого моего виртуоза, и с виолончелью. Мы встретились с ним при входе в сад и дружески приветствовали друг друга, как самые старые знакомые.

К нам подошла Марьяна Акимовна и нецеремонно взяла меня за руку и сказала:

— Вы должны быть благороднейший человек, коли полюбили нашего милого Тараса Федоровича. От души вам благодарна.

Я молча поцаловал ее руку. В это время подходил к нам Антон Адамович.

— Посмотри, посмотри, что наш гость делает! — сказала она, обращаясь к мужу.

— Ничего, ничего, — говорил Антон Адамович, улыбаясь. — А не лучше ли будет, если мы пойдем да с борщом покуртизаним? Как вы думаете, Марьяна Акимовна?

— И в самом деле лучше. Прошу покорно, господа, — сказала она, обращаясь к нам, и мы пошли обедать.

Многие ли из вас, господа, имеющие хоть одну крепостную душу, посадят рядом с собою крепостного человека, хоть бы этот человек был величайший гений в мире?

Ручаюсь, что ни одного не найдется, кроме истинно благородного Антона Адамовича.

Тарас Федорович сидел между шалуньями Лизой и Наташей, и они ему, бедному, покоя не давали во время обеда. Чудное! благородное равенство! Вот бы как надо людям жить между собою. Да что же ты будешь делать? Нельзя. Между прочим, я услышал несколько французских фраз, произнесенных Тарасом Федоровичем — с гувернанткою. Этим окончательно полонил меня мой милый виртуоз.

После обеда мы, т. е. мужчины, отправились к Антону Адамовичу в хату покурить. Но так как [я] человек некурящий и виртуоз мой оказался таким же, то мы пошли себе гулять по саду, пока не вышли на небольшую лощину, на которой стоял небольшой стог свежего сена. Не устоял я против такого могучего соблазна. Снявши галстук и сертук, прилег, опустил на ароматное сено. И за мною, разумеется, и товарищ мой тоже. А чтобы дрема не одолела, я повел издали речь о двух девочках, живших, так сказать, на хлебах у почтеннейшего Антона Адамовича.

— Какие милые, прекрасные дети! — сказал я.

— И, прибавьте, счастливые дети. Я не знаю, что бы из них было, — продолжал он, — если б не существовало около нашего роскошного села этой фермы и этих добрых, благородных людей!

— Да, в самом деле, расскажите мне, что это за оригинальная мать, которая воспитывает своих детей таким образом. Мне кажется, что в этом возрасте детям никто не может заменить матери.

— Марьяна Акимовна им совершенно ее заменила. Вот что: Софья Самойловна, мать их по названию, великосветская дама. А главное — красавица. Красавица, которая конфузится, когда ее кто спросит о здоровье ее детей. Для нее

это все равно, что сказать: «Как вы, Софья Самойловна, подурнели». И притом, как дама светская, она после каждого бала (а их у нас в году бывает три, а в високосный и четыре) должна отдать визиты своим гостям, а гостей, вы сами видели, сколько наехало, — а 17 сентября так вдвое столько наедет, несмотря ни на какую погоду, потому что она сама тогда бывает именинница⁵¹. Пока отдаст визиты, смотрит — другой бал готовится, там третий. Так и год проходит. А там, если выбирается время, надо и в Петербург съездить. «А то, — говорит, — между этими хохлами совсем очерствеешь». Так сами посудите, до детей ли ей при такой жизни? И, по-моему, она лучше ничего выдумать не могла, как отдать их на руки Марьяне Акимовне.

— Я с вами согласен, что она умно сделала; но хорошо ли, это другой вопрос.

— Конечно, здесь сердце матери спрятано под себялюбием светской красавицы. Я слышал, однако ж, она недавно как-то о них вспоминала. Года через два она хочет их отправить в Смольный институт⁵². В Полтавском⁵³, говорит, они хохлачками сделаются.

— И то правда. Как же она не побоялась их отдать Марьяне Акимовне? Или она думала оградить их французенкою-гувернанткою да немкою-горничною?

— Какое! Немецкая горничная сама скоро сделается хохлачкою, а про гувернантку и говорить нечего. Послушайте, что я вам расскажу. Адольфине Францовне вздумалось учиться говорить по-русски. Вот Марьяна Акимовна и ну ее учить, — да вместо того чтобы по-русски, выучила ее по-малороссийски. Софья Самойловна чуть было не поссорилась из-за этого с Марьяной Акимовной. И знаете, что еще: она прекрасно поет некоторые наши песни. Будем ее просить, чтобы она нам хоть одну спела.

— Непременно.

— Вон они! Вон они! — услышали мы невдалеке детские голоса. И едва успели мы надеть сертуки, как подбежали к нам Лиза и Наташа и, ухва[тивши] за полы сертука Тараса Федоровича, потащили в сад, приговаривая: — Пойдемте! пойдете! Вас мама просят играть.

Пройдя несколько шагов вслед за арестантом, я увидел прислонившуюся к дереву Адольфину Францовну и, подойдя к ней, сказал ей какую-то любезность по-малороссийски, на что она, сделавши милую гримасу, очень незастенчиво

отвечала мне: «Спасыби». Мы пошли вслед за детьми, разговаривая как короткие знакомые. Между прочим, в доказательство своего знания в малороссийском языке, [она] прочитала мне два стиха:

Катерыно, серце мое,
Лышенько з тобою⁵⁴.

И с таким милым выражением прочитала она эти стихи, что не зная, что она француженка, то я, не запинаясь, сказал бы, что она моя истинная землячка.

Любезничая с mademoiselle Адольфиной по-хохлацки на французский лад, мы немного отстали от детей и арестованного артиста. И когда подошли к дому, то наш артист уже на крылечке играл на скрипке плясовую малороссийскую песню. А Лиза и Наташа перед крылечком, с поднятыми ручонками, как бы прищелкивая, танцевали, приговаривая:

Гоп-чук, гречанькы,
Гоп-чук, печении⁵⁵.

Антон Адамович, сидя на крылечке, добродушно улыбался, а Марьяна Акимовна брала поочередно детей на руки [и] целовала с самой искренней материнской нежностью. Поодаль стояла немка-горничная и, увлекшись живым мотивом песни, прищелкивала в такт пальцами.

Одни простодушные счастливицы могут группировать из себя подобную картину.

В саду, кроме хаты Антона Адамовича, была еще небольшая хатка с навесом, и вместо завалин стояли вокруг решетчатые деревянные скамейки, а перед хаткою — старая липа, тоже со скамейкою вокруг, только не деревянною, а дерновою. Хатка — это была мастерская или рабочая Марьяны Акимовны. Здесь сушились фрукты, варились варенья и созидались разные великолепные настойки и наливки. А под липою Марьяна Акимовна отдыхала по трудах.

В эту хатку на все лето выносилось фортепьяно, потому что Марьяна Акимовна, несмотря на свои прозаические годы и занятия по части спитобной и съедобной, осталась в душе артисткой и любила в часы досуга забывать свое прозаическое насущное существование и уноситься в мир созвучий, в небесные пределы божественной фантазии.

Часто и долго, сидя под липою, слушал и добрый Антон Адамович, куря свою сигару, слушал — и холодные практические думы таяли, как снег перед лицом весеннего солнца.

Немецкая фантазия оживала, сигара гасла во рту, и старик молодец.

В эту-то заветную хатку Марьяна Акимовна просила своих гостей чай пить.

После чаю в хатке зажгли свечи. М-ле Адольфина без всяких просьб и уговариваний, как это обыкновенно бывает с порядочными барышнями, села за фортепьяно, а Тарас Федорович вооружился виолончелью. И, после нескольких аккордов, тихо, стройно, как будто с неба, раздалась одна из божественных сонат божественного Бетгоvena.

Мы все остались под липою и в продолжение сонаты сидели, притая дыхание; даже резвые дети — и те прильнули к Марьяне Акимовне, затихли и только, улыбаясь, посматривали друг на друга.

За сонатой Бетгоvena были сыграны с одинаковым мастерством и чувством две сонаты Моцарта и после некоторые места из знаменитого «Реквиема»⁵⁶. И в заключение совершенно неожиданно:

Ходыть гарбуз по городу⁵⁷.

Дети запрыгали около Марьяны Акимовны. А Антон Адамович пошел в хатку закурить сигару.

Тарас Федорович такие раскинул вариации на этот полувеселый, полугрустный мотив, что дети опять молча прильнули к коленям Марьяны Акимовны, а у Антона Адамовича опять сигара погасла.

Многие ли из людей в блеске и роскоши проводят свои длинные вечера так нецеремонно-просто и так возвышенно-изящно, как мы, простые, почти бедные люди, провели этот незабвенный вечер? Я думаю, немногие. И выходит, что истинно прекрасное и возвышенно-духовное не нуждается в ремесленных золоченых и даже золотых украшениях.

Кончивши вариации, артисты наши вышли из хатки и обратились с просьбою к Марьяне Акимовне, чтобы она сыграла для них что-нибудь. Она отказывалась. Мы присоединились к ним — решительно ничего не помогло. Завтра, говорит, я вам сыграю, а то сегодня это значит — после меду хрену. Пойдемте лучше гулять. [В]он, смотрите, из-за деревьев луна выглядывает. И с этими словами вошла в хатку, погасила свечи, притворила и замкнула двери, и все мы, весело разговаривая, пошли любоваться, как полная луна из-за мельницы и из-за старой вербы выглядывает и отражается в темной прозрачной воде.

Я совершенно был очарован и декорацией, и этими добрыми, простыми людьми.

Долго мы еще гуляли по саду вдвоем с Тарасом Федоровичем, — он меня просто приворожил к себе.

Он (как это обыкновенно бывает с доверчивыми добряками) рассказал мне историю своего печального детства, без всякого с моей стороны домогательства (как это тоже обыкновенно бывает с пишущей братиею). Он рассказал мне потому, что я его со вниманием или, лучше сказать, с участием слушал.

— Отца, — говорил он, — я не помню, и мать моя мне никогда о нем ничего не говорила. Хаты у нас своей тоже не было, и мы, как у нас говорят, жили в соседях, то есть переходили от одного мужика к другому, пока я начал ходить. Тогда она, как стала уже свободнее, то хотела было наняться у кого-нибудь на год, но ее никто не хотел нанять, не знаю почему: может, из-за меня или потому, что она была такая худая и бледная. Только обойдя все село без успеха, нанялась наконец у жида в корчме. Не могу вам сказать, сколько именно лет она служила у жида, только знаю, что я уже был порядочный мальчуган, когда она умерла, — а умерла она, сколько я припоминаю, от чахотки. И, как теперь помню, за несколько дней перед смертью пришла в свой чулан или, лучше сказать, стойло в стодоле, слегла и уже больше из стойла не выходила. За несколько минут перед ее смертью я принес ей воды в кружке. Но она уже пить не могла и говорить также, а только поманила к себе рукою, и когда я нагнулся к ней, она едва-едва прикоснулась к моей голове рукою, поцеловала меня, и две слезы выкатились из ее потухающих очей. Она тихо вздохнула и умерла.

Сотский похоронил ее [за] тот рубль, что оставался у жида, ею не полученный. А я шлялся по селу, пока не пристал к партии нищих. Между нищими был слепой кобзарь, или бандурист; ему и рекомендовали меня как мальчика скромного. Он и заменил мною своего прежнего вожака.

И, знаете, мне понравилось мое новое положение, [по] тому что я имел хоть какой-нибудь, а все-таки приют. А еще больше мне понравился слепец, которого я водил. Он был еще молодой человек и, помню, чрезвычайно сухощавый и с длинными пальцами. А в особенности мне нравилось, когда он сам для себя, медленно перебирая струны бандуры, тихонько напевал:

Что-то необыкновенное представлялось моему детскому воображению в звуках и в словах этой унылой песни.

Вот такой же, как и теперь, был в Дигтярях бал, с тою только разницею, что тогда и для нищих обед готовили, а теперь уже не готовят. Вот и мы с толпами нищих пришли на обед. Вот мы сидим себе под деревом, и в ожидании обеда, настроивши кобзу, заиграл мой кобзарь. Нас народ так и оступил. Вот он играет, а я смотрю по сторонам и вижу, к нам [идут?] господа, и с барышнями. Толпа, разумеется, расступилась перед господами, и сама Софья Самойловна подошла ко мне и, потрепавши меня по щеке, проговорила: «Какой хорошенький! — и, обратясь к господам, сказала: — Я его непременно возьму к себе в пажи».

Так и случилось. На другой день я был уже в числе многочисленной дворни. Но как я, не знаю, почему-то оказался неспособным для должности пажа, то меня начали учить пению, и я оказывал успехи. А потом стали учить и играть сначала на скрипке, а потом и на виолончели. Вот вам моя простая история, — прибавил он и замолчал.

— Грустная, правду сказать, история.

— Что делать — прошедшее мое, действительно, грустно, но настоящее так безнадежно, так безотрадно, что если б не эти благородные люди, то я не знал бы, что с собою делать.

— Не отчаивайтесь, друг мой, любите свое прекрасное искусство, и Господь успокоит вашу страждущую душу и пошлет вашему терпению счастливый конец.

— Не знаю, найдет ли мое письмо Михайла Ивановича в Петербурге.

— О, наверное, он никуда не уехал, это было бы известно.

— Да и можно ли надеяться, чтобы мое письмо могло иметь успех?

— Без всякого сомнения. Я очень хорошо знаком с Михайлом Ивановичем. Это добрейшее, благороднейшее создание, словом, это самый благодушный артист. Еще вот что. Я завтра расстанусь с вами надолго, а быть может, и навсегда, но вы, и эти добрые люди, и эти часы, проведенные вместе с вами, так дороги моему сердцу, что для меня было бы величайшим подарком ваши хоть коротенькие письма. Прошу вас, извещайте меня хоть изредка. А о результате вашего

письма Михаилу Ивановичу вы непременно меня уведомяте. Я вам завтра сообщу свой адрес.

И он обещался мне вести дневник и посылать его каждый месяц ко мне вместо писем. «Мне так приятно вам открываться во всем, и вы с таким вниманием слушаете меня, что я и тогда буду воображать, что рассказываю вам лично о моих впечатлениях».

В хате Антона Адамыча светился еще огонь, когда мы подошли к ней, но движения уже никакого не было. Виргилий мой так усердно храпел, что за хатую было слышно. Вскоре и мы ему начали вторить.

На другой день поутру я пошел было на хутор нанять лошадей с повозкою для перевезения себя с товарищем в Прилуку, но Антон Адамович догнал меня уже на гребле и воротил в дом, говоря, что порядочные люди так не делают. А Марьяна Акимовна и слышать не хочет, чтобы вы ранее трех дней оставили нашу ферму. Дети — и те даже заплакали, услышавши о таком вашем неделикатном поступке.

От Марьяны Акимовны я выслушал еще убедительнее рацию. «И не думайте, — говорила она, — и не помышляйте. Как на свете живу, то еще не видала, чтобы порядочные люди на другой же день из гостей уезжали, да еще и на мужицких конях. Этого не токмо что у нас, я думаю, и у немцев не водится. Так, Антон Адамович? Ты ведь немец. А?» — «Такой я немец, как ты немкиня», — проговорил Антон Адамович и засмеялся.

— Вот и Тарас Федорович останется у нас, — продолжала Марьяна Акимовна. — Ему теперь, после балу, совершенно там делать нечего. А Адольфина Францовна обещается нам петь сегодня малороссийские песни. А дети обещаются вам танцевать хоть целый день гречаныки.

— И метельцу, мамаша, — проговорили разом обе девочки.

Противустоять не было возможности, и я сдался. Виргилий мой заговорил было о службе, об обязанностях, о попечителе.

— Уж хоть бы вы молчали, а то разносились с своим попечителем, право, ей-богу! А еще старый знакомый. Пойдемте лучше в мою хату чай пить, а то с вами не сговоришься.

Переглянулись мы с Виргилием и пошли молча за Марьяной Акимовной.

Прогостили мы еще два дня у этих добрых людей, и в это время удалось мне сделать карандашом несколько видов счастливой фермы и почти одними чертами всю нашу компанию, — а на первом плане Наташу и Лизу, танцующих гречаньки. Все это едва-едва набросано. Но вот уже проходит двадцатый год, как любовался я этой живой картиной. А, глядя на этот эскиз, я как будто снова люблю эту живую картину и даже слышу скрипку и прищелкивание пальцами немецкой горничной.

Мне кажется, никакое гениальное описание лиц и местности не может так оживить давно минувшее, как удачно проведенных карандашом несколько линий. По крайней мере, на меня это так действует.

На четвертый день нашего пребывания на благодатной ферме, часу в десятом утра, проводили нас, как самых близких своих друзей, гостеприимные и счастливые обитатели фермы со всем своим домом; даже Наташу и Лизу взяли с собой. И проводили не только через греблю, даже через село, до самой клуни. Тут мы уселись в спокойную нетычанку⁵⁹ Антона Адамовича, запряженную парюю добрых коней, и покатались по гладкой извилистой дорожке.

Долго стояли друзья наши на одном месте и махали нам платками, а одна из девочек, чтобы виднее виден был ее платок, вскочила на плечи Антону Адамычу и преусердно махала своим платком. Нетычанка покатила быстрее и быстрее, и группа наших друзей [стала] едва заметна на горизонте. Еще четверть версты, маленькая ложбина — и друзья исчезли за горизонтом. Я взглянул еще раз назад, выехавши на пригорок, но, увы, кроме клуни и скирд, на горизонте ничего не было видно.

Мне стало грустно, так грустно, как будто расставался с своими родными на долгое, на неопределенное время. Оно так и случилось.

Во всю дорогу приятель мой молчал, чему я был очень рад, потому что не чувствовал в себе способности вести самый пустой разговор. Вскоре на горизонте показалась нам Прилука, а несколько ближе из-за темного лесу выглядывали главы, белым железом крытые, соборной церкви Густынского монастыря⁶⁰.

Проезжая мимо этого обновляющегося замка-монастыря, меня чрезвычайно неприятно поразила новая, еще неошту-

катуренная четырехугольная башня с плоской крышей, точно каланча⁶¹.

— Что это такое за урод торчит? — спросил я у своего приятеля.

— Это колокольня вновь отделанной домашней настоятельской церкви, что над малыми воротами.

— И, верно, какой-нибудь досужий костромской мужичок смастерил этакую штуку?

— Нет, извините, не мужичок, а настоящий патентованный художник!⁶²

— Как же он мастерски подделался под византийский стиль!

— Не извольте смеяться над нашим художником. Его торопят и денег не дают. А вот когда поедете из Прилуки в Нежин, так увидите в селе помещицы Н. настоящий храм царя Соломона, этим художником сооруженный. Уже на что наш просвещенный знаток и покровитель искусств, можно сказать меценат наших дней, Н., и тот посмотрел да только рот разинул, а про преосвященного и говорить нечего!

— Честь и слава вашему художнику!

Тем временем мы въехали в город. А через час я уже попрощался с почтеннейшим педагогом, прося его для пользы науки записывать все, что касается археологии и вообще народного характера, как-то: пословицы, присказки, песни, предания и тому подобное. А наипаче просил его по временам извещать меня о наших добрых друзьях на ферме. Он обещался мне все исполнить по мере сил своих.

И мы расстались, и расстались надолго.

Расставаясь с моим путеводителем, не думал я тогда, что я с ним надолго-долго расстануся. Я тогда думал, что авось-либо в будущем году поеду снова по Малороссии по поручению Киевской археографической комиссии, буду в Чернигове, а из Чернигова поеду через Нежин в Прилуку и по дороге посмотрю хваленый храм, воздвигнутый коштом помещицы Н. и трудами патентованного художника, архитектора Н., а в Прилуке погощу денек-другой у моего Виргилия, и, если можно будет, навестим по-прежнему достойнейшего Антона Адамовича и Марьяну Акимовну и полюбуемся их прекраснейшею фермой.

Так я тогда думал. А вышло, что человек распределяет, а Бог определяет. А вышло то, что я в продолжение двадцати

лет (со дня выезда моего из Прилуки) не только что не видел Киева, Чернигова, Нежина, Прилуки, и моего автомедона⁶³, и фермы, и всего, что я там видел прекрасного, — я в продолжение двадцати лет не видел моей милой родины — ни даже звука родного не слышал.

Вот что иногда судьба с нами делает!

После двадцатилетнего моего странствования по нечужим краям возвращаюсь я в Малороссию и, проезжая смиренный город Прилуки, вспомнил я серенький домик на углу грязных улиц и велел ямщику, или почтарю, остановиться у этого мизерного домика. Вылез я с телеги, вхожу на дворик. Меня встречают два мальчугана; я спрашиваю, здесь ли живет Иван Максимович С.

— Здесь! — отвечают оба разом мальчуганы.

— Дома он?

— Нет! Они в училище.

— А есть ли у вас дома кто-нибудь постарше вас?

— Есть маты дома, только они опочивают. Мы ее разбудим?

— Не нужно, не будите. Я после зайду.

И я поехал на почтовую станцию.

День был прекрасный и уже клонился к вечеру. И я, сложивши вещи свои, т. е. чемодан и котомку, на крылечке станционного дома, а дорожную отдавая смотрителю, просил его не торопиться с лошадьми.

Учредивши все таким образом, я уселся на своей мизерии, т. е. на чемодане, и принялся рисовать прекрасно освещенную вечерним солнцем каменную церковь, довольно неуклюжей, но оригинальной архитектуры, построенную полковником прилуцким Игнатом Галаганом⁶⁴, тем самым, что первый отложился от Мазепы и передался царю Петру, за что и был, по смерти полковника Носа⁶⁵, возведен в звание прилуцкого полковника и одарен великими маестностями в том же полку.

Пока я срисовывал сей памятник знаменитого полковника, солнце повисло над горизонтом, и толпа школьников показала на улице. А за толпою школьников, в некотором отдалении, появилась на улице и тощенькая, согбенная фигурка, с зонтиком вместо палки в руке. Это был мой Виргилий, и я почти побежал к нему навстречу.

Долго мы стояли среди улицы друг против друга, и наконец, после подробных припоминаний, он протянул мне руку

и сказал: «Антикварий! Антикварий! Так это вы? А я было уже вас совсем похоронил. Да как же вы переменялись! Со всем было не узнал!»

— Спасибо еще, что хоть вспомнили!

— Да я вас всегда вспоминал, — да только по наружности не узнал. Прошу же вас покорнейше навестить меня в моей убогой келии.

И мы, разговаривая, подошли медленно к воротам серенького, давно знакомого мне домика.

У ворот, как это обыкновенно бывает в маленьких городах, стояла в землю вросшая скамейка. И мы молча посмотрели на нее и сели.

— Да, так вот вы и попутешествовали, — проговорил он грустно, — и свет Божий посмотрели. Чай, и за границей не раз побывали. А я, как залез в этот темный [угол], так и на свет Божий не показываюсь: сижу себе, можно сказать, без всякого движения.

И долго мы беседовали, вспоминая каждый из нас свое прошедшее. И, между прочим, он мне рассказал: он вскоре после нашего расставанья женился на благородной и прекрасно воспитанной, хотя и бедной, девушке. «И думал я с нею век свой прожить в счастии и любви. Но Бог судил мне в одиночестве век свой коротать». И старик заплакал.

— Братец! — раздался женский голос из-за ворот. — Идите в комнаты, пора вечерять, дети спать хотят.

— Накормите их, сестрица, и уложите, а мы еще немного здесь посидим. Сестрице! — прибавил он. — С нами гость сегодня вечеряет, то вы бы там что-нибудь лишнее, хоть карасика поджарили. Да и послали б Феклу, знаете, насчет того, сестрице.

— Пошлю, братец.

— Да... На третьем году, — продолжал он с расстановкой, — нашего блаженства она оставила меня навеки. Правда, я не совсем еще сирота: она оставила мне малое дитя свое, для которого, можно сказать, и прозябаю я. В тот самый год у сестры моей муж скончался скоропостижно и оставил ее тоже с маленьким сиротою. Вот мы с нею и сошлись в один куток, да и делим свое горе, как нам Бог помогает. Детей, я думаю, с Божиею помощью, в гимназию... а там...

— Братец, — раздался снова женский голос из-за ворот, — идите в комнаты. Надворе роса и холодно, а вы только во фраке.

— Сейчас! сейчас, сестрице! Пойдемте в нашу хату, а то и в самом деле как бы нам с вами не простудиться. Ведь мы с вами не можем похвалиться молодостью, цветущей здоровьем. Пойдемте.

И мы оставили скамейку и молча вошли в комнату.

Комнатка, в которой я двадцать лет тому назад провел несколько дней на холостую ногу, комнатка была та же, да не та. Бедность та же, да только бедность эта была умытая и принаряжена женскою рукою.

На чистеньком полу чистенькие половики, у окон беленькие занавески, на окнах бальзамины и герань в горшках. Стол, дощатый диван, табуретки липовые те же самые, да как-то иначе смотрели. Что значит женская рука в домашнем быту даже аккуратного мужчины!

В быту гражданских мужчин это еще не так резко бросается в глаза, как у военных. Например, зайти вы в комнату холостого офицера, изба избой, так и несет от нее псиной и табачищем. А у женатого офицера тоже изба, да только в этой избе сундук, на котором у холостого денщик спит с собакою, у женатого он покрыт ковриком и заменяет диван. На дощатом столике, вместо табачницы и гвоздя для ковьярания трубок, пестренькая ярославская салфеточка, зеркальце и какое-нибудь женское рукоделье. Словом, в семейной жизни, даже в бедности, есть какая-то свежая материальная прелесть, а о нравственной прелести я и не говорю.

Из другой комнаты вышла к нам старушка в черном платье и в белейшем чепчике, такая милая, чистенькая старушка, какую я редко встречал на своем веку.

— Рекомендую вам: моя сестрица, Марья Максимовна.

Я поклонился.

— А они, сестрице, мой старый добрый знакомый N. N.

Я снова поклонился, а она проговорила:

— Прошу садиться.

Я сел. А Иван Максимович заглянул в другую комнату и, обращаясь ко мне, сказал:

— Какая у меня добрая, умная, догадливая сестрица. Представьте, мне и в голову не пришло, чтобы предложить вам с дороги чаю, а ведь это как приятно. Я просто живу у нее, как у Бога за дверьми. Ну, попотчуйте ж нас, моя дорогая, моя бесценная хозяйка. А дети спать уже легли, сестрице?

— Уже легли, братец, — отвечала старушка, ставя на стол чашки с чаем.

— Ну, хорошо, я вам завтра их покажу. А по которому уже годочку им пошло теперь, сестрице? Они у нас, знаете, однолетки, — прибавил он, обращаясь ко мне.

— Да вот на Петра и Павла минет по двенадцатому.

— Уже по двенадцатому! Боже мой, с какою быстротою летят наши старые лета! — проговорил он как бы с самим собою.

— Двенадцать! Двенадцать! Да!.. — почти вскрикнул он, ударивши себя по лбу ладонью. — Чуть-чуть было не забыл! У меня есть письмо на ваше имя, еще до моей свадьбы полученное мною. Так и лежит нераспечатанное. И знаете от кого?

— Не знаю, — отвечал я.

— От нашего почтеннейшего, благороднейшего Тараса Федоровича. Помните виолончелиста у Антона Адамовича на ферме?

— Боже мой, как не помнить! Я только хотел было спросить об нем у вас.

— Все расскажу, дайте время. Много трогательного и даже поучительного в жизни этого достойного человека. У меня даже есть записаны некоторые случаи из его жизни. Я, знаете, сам хотел было на старости лет пуститься в литературу. Да как прочитал Марлинского⁶⁶, так у меня и руки опустились. Что за блестящий, что за гениальный слог! Сестрице! потрудитесь там вынуть из нижнего ящика комода пачку бумаг, веревочкой перевязанных.

Старушка не замедлила внести порядочную пачку бумаг, сахарной веревочкой перевязанную, и, отдавая их брату, спросила:

— Эти, братец, бумаги?

— Эти, сестрица, благодарю вас. Вот, — сказал он, обращаясь ко мне, — вот сколько перепорчено бумаги, а все это литература виновата.

И, развязавши бумаги, он стал их перелистывать. И, оставаясь на лоскуте синей бумаги, он сказал:

— А помните ли, вы меня тогда просили записывать все, что я ни услышу, касающееся поэзии и философии нашего простого народа? Помните?

— Помню, — я говорю.

— Вот я исполнил вашу просьбу. Здесь вы много премудрости найдете... Да где же это письмо? Уж не потерял ли я его? Нет, нет, вот оно. Я посылал его в Киев на ваше имя, а мне, знаете, и возвратили его. Вас уже в Киеве не было.

И он подал мне пожелтевший конверт, говоря:

— А знаете что? Сегодня у нас среда. Погостите у нас до воскресенья, а в воскресенье пустимся мы с вами в путешествие — помните, как когда-то. Только не на бал, а просто-запросто на ферму. Там вы лично увидите и автора сего письма. А до воскресенья я разберу эти лоскуты, а может быть, и вам кое-что прочитаю.

Я согласился и, после долгих упрашиваний со стороны брата и сестрицы остаться ночевать у них, взял письмо и отправился на почтовую станцию.

Случалось ли вам читать письмо, написанное вашим искренним другом и полученное вами пятнадцать лет спустя? Кто не читал подобного письма, тому напрасно бы я стал рассказывать и описывать впечатление, произведенное на меня письмом моего достойнейшего друга Тараса Федоровича. Впечатление невыразимое. Впечатление, которое только тот понимает, кому случилось читать подобное письмо.

Главный эффект такого письма тот, что вы как будто только что проснулись и читаете строки, только вчера написанные, а пятнадцать лет вам покажутся каким-то неопределенным сновидением.

Вот что писал мне мой бесталанный друг:

«Я был близок к смерти или, лучше сказать, к помешательству, когда мы приехали в Петербург и я узнал, что Михайло Иванович уже другой год за границею⁶⁷. Вот причина, почему мое письмо, которое вы ему переслали, осталось без всяких последствий. О! как горько! Как невыразимо горько нам, когда наши прекрасные, блестящие надежды разбиваются молотом неумолимой судьбы!

Я обещался писать вам сейчас же, как только узнаю, какой бы ни был результат моего письма Михайлу Ивановичу. И вот уже проходит третий год, как я только что собрался с духом написать вам о своих так безжалостно разрушенных надеждах.

После бала или, лучше сказать, после того концерта, что вы мне так чистосердечно аплодировали и вследствие которого концерта я вас так полюбил, как родного моего брата, — так после этого бала, недели две спустя, у нашей Софьи Самойловны показался прыщик на левой щеке. Она его расцарапала. Из прыщика сделался веред. А из вереда к августу месяцу сделалась рана такая, что она едва ее рукою

закрывала. Вообразите себе ее положение. Красавица — и не прошло месяца, как на нее смотреть нельзя было. Красавица, заметьте, такая, которая именем матери пожертвовала красоте своей. Не страдал так величайший музыкант Бетговен, когда оглох, и не страдал так великий наш Буонаротти, когда ослеп⁶⁸, как она, бедная, страдала.

В половине августа решено было ехать в Петербург. В числе квартета и я был назначен. Радость мою только вы можете понять. Я думал: вот когда настал конец моим страданиям. А страдания только что начинались. Поехали мы. Дорогою и сам захворал. И, не доезжая Великих Лук⁶⁹, на станции Сыруты⁷⁰ умер. Думаю, что она его во гроб вогнала своими капризами. И, правду сказать, ничего в свете не может быть ужаснее, как внезапно обезображенная красавица. Гиена, просто гиена.

По приезде в Петербург, разумеется, было не до гостей и не до квартетов. Лакейская же моя обязанность была не велика. Уберу поутру комнаты, да и марш на целый день, куда глаза глядят.

О, лучше бы я никогда не видал свету Божьего, чем видеть его, чувствовать и не сметь ни чувствовать, ни смотреть на него.

После того дня, в который я узнал, что Михайло Иванович за границей, я заболел — сначала лихорадкою, а потом горячкою, и месяц спустя я увидел или сознавал себя в Петровской больнице, что на Петербургской стороне⁷¹.

Меня стали посещать по средам и по субботам товарищи мои, лакеи-виртуозы.

И во едину из суббот сказали мне, что наша Софья Самойловна скончалася под ножом какого-то знаменитого хирурга и мы остались сиротами.

Я плохо поправлялся, так плохо, что даже сам главный доктор Кох⁷², проходя мимо моей койки, и не останавливался.

Весною, однако ж, я мог уже прогуливаться по длинному широкому коридору. А в мае месяце меня уже в полдень и в сад выпускали часа на два.

Надо вам сказать, что в Петровской больнице есть и женское отделение, в третьем этаже. И женщин выздоравливающих тоже выпускают в полдень погулять в саду.

Вот однажды я сижу на скамейке. Подходит ко мне больная в тиковом халате и в белом чепчике или таком же

колпаке, как и я. Мы просидели молча, пока служитель не загнал нас в палаты.

На другой день была погода хорошая, и нас снова послали гулять в полдень. Походивши немного, я присел на скамейке. Вчерашняя дама снова приходит и садится около меня. Я как-то нечаянно взглянул ей в лицо и увидел, что она была красавица, но только такая исхудалая, такая грустная, что у меня сердце заболело, на нее глядя. Я не утерпел и спросил ее:

— О чем вы так грустите?

— О том, я думаю, о чем и вы: о здоровье.

Я не удовольствовался ее ответом и, немного помолчав, сказал ей: «Здоровье ваше возобновляется, да о здоровье так и не грустят, как вы грустите».

— Да, это правда, — сказала она и закрыла глаза рукою.

Служитель опять загнал нас в палаты.

Несколько дней сряду шел дождь. И я скучал, не видя моей знакомой незнакомки. Наконец дождик перестал, и нас опять выпустили в сад. Я прямо пошел к скамейке, и, к удивлению моему, на скамейке уже сидела моя грустная знакомка. Я ей поклонился, она мне тоже, с едва заметною, но такую грустною улыбкой, что я чуть было не заплакал.

— Вы, должно быть, страшно несчастны? — сказал я ей, садясь на скамейку.

— А вы счастливы? — спросила она, взглянув на меня так выразительно, что я затрепетал. И, придя в себя, взглянул на нее, а она все еще смотрела на меня с прежним выражением.

— Всмотритесь в меня, — сказала она.

Я силился посмотреть на нее, но не мог вынести устремленного на меня взгляда ее глубоко впалых больших черных очей.

— Неужели вы меня не узнаете? — спросила она едва внятным шепотом.

— Не узнаю, — ответил я.

— Так я, должно быть, страшно переменялась? — И, немного помолчав, сказала:

— Ну, так вспомните Качановку и 23 апреля 18... года⁷³. Что, вспомнили?

— Боже мой! неужели это вы, m-lle Тарасевич⁷⁴?

— Я, — едва она проговорила и залилася горькими слезами.

На другой день мы снова с нею встретились у заветной скамейки, и она мне рассказала свою грустную историю.

Я и без того писать или выражать свои мысли на бумаге не мастер, а как буду пускаться в отвлеченности да в отступления, то письму моему и конца не будет. Но гнусная история, которую мне про себя рассказала бедная m[-lle] Тарасевич, должна заставить и немного говорить, и глухого слушать.

О, если бы я имел великое искусство писать! Я написал бы огромную книгу о гнусностях, совершающихся в с. Качановке.

Не помню, в какой именно книге я начитал такое изречение, что если мы видим подлеца и не показываем на его пальцами, то и мы почти такие же подлецы. Правда ли это? Мне кажется, что правда!

С этого я и рассказываю вам историю m[-lle] Тарасевич и качановского пана. А вы с нею что хотите, то и делайте. А если напечатаете, то это будет самое лучшее. Только перепишите ее по-своему, потому что у меня складу недостает.

Была у нас помещица П[рилуцкого] уезда, богатая помещица, душ около 4000, бездетная вдова, старушка, добрая такая, благочестивая, да Бог ее знает, что ей вздумалось: раз поехала она в Киев на поклонение да и вышла замуж за молодого человека, красавца собою, некоего г. Арновского⁷⁵. (Она, может быть, бедная, в годах заматерелая, о наследнике чаяла, — не знаю.) И сказано: человек из ума выжил — передала все свое имение, вместе с собою, в руки молодого красавца мужа. А он, не будучи дураком, повернул все по-своему. И то правда, ведь не на старухе же он женился, а на ее деревнях. Кроме разных улучшений по имению, от которых мужички запищали, он завел у себя оркестр (это прекрасно), сначала наемный, а потом и крепостной. Выстроил великолепный театр. Выписал артистов. И завел театральную школу, разумеется, крепостную. Пирам и банкетам конца не было. Старушка была в восторге от своего молодого мужа. Когда же собственные актрисы подросли и начали уже играть роли любовниц и одалисок, то он, смотря по возрасту и наружным качествам, учредил из [них] гарем на манер турецкого султана. Разумеется, подобное заведение в тайне не могло процветать, только странно, что последняя об нем узнала старуха жена. А узнавши все это, занемогла, бедная, от ревности и вскоре Богу душу отослала. На смертном одре

она простила своего вероломного мужа и со слезами просила его исполнить ее последнюю волю, т. е. положить капитал в банк и на проценты его воспитывать трех сирот-девиц в Полтавском институте. Он, разумеется, поклялся в точности исполнить волю умирающей.

Он ее и исполнил, да только по-своему.

После смерти жены его выбрали предводителем дворянства⁷⁶, как человека достойного и благонамеренного. Он тут же у себя в уезде нашел не трех, а пять сироток и завел у себя в селе благородный пансион. Нанял учителя, какого-то отставного поручика, и гувернантку без аттестата, а главный надзор за нравственностью воспитанниц поручил сестре своей, грязной и красноносой старухе.

Когда сиротки стали подрастать, то им, кроме русской грамоты, стали преподавать и изящные искусства, то есть пение, музыку (игру на гитаре), танцы и сценическое искусство. И все это, разумеется, свои же крепостные наставники и наставницы.

В число этих-то несчастных воспитанниц попала и m[-lle] Тарасевич. Когда они уже порядочно подросли, то, которые покрасивее были, сделались, по ходатайству главной надзирательницы, украшением гарема — не как рабыни, а как благородные султанши. M[-lle] Тарасевич хотя была и красивее всех их, умнее и благороднее, а главное, была тошенькая и потому-то не обратила на себя ласкового султанского взора. Не завидовала своим счастливым подругам (потому что они и на балах являлись и танцевали, и на театре являлись перед многочисленными гостями, разумеется, с крепостными артистами; да и в самом деле, не образов[ыв]ать же для них сироток-мальчиков благородного происхождения). Она, бедная, ничему этому не завидовала. А возьмет, бывало, себе потихоньку какой-нибудь роман из библиотеки да спрячется где-нибудь в саду, читает его да плачет. Так она прочитала все романы, какие только были в библиотеке, и вышло то, что она не знала, что с собою делать; пуще прежнего похудела, — так и думали все, что умрет. Уже и в постель было слегла, на ладан, как говорят, дышала. Уже (поверите ли) и крест надмогильный сделали, хотели было и гроб делать, да боялись, чтобы не укоротить, потому что люди, когда умирают, то, говорят, вытягиваются. А крест сделали сажени в две вышины, дубовый; выкрасил его домашний живописец зеленою краскою и на одной стороне намалевал

распятие, а на другой скорбящую Божию мать. А внизу прибил железную доску и написал на ней: «Здесь покоится раба Божия Мария Тарасевич, воспитанница г. Арновского, скончавшаяся 18... года, ...месяца, ...числа». Только случилось так, что она выздоровела, а умерла любимая горничная сестры г. Арновского. И умерла, говорят, не своею смертью. Она гладила утюгом своей барыне платье в воскресенье, да немного опоздала: уже во все колокола прозвонили, а платье не было готово. Вот барыня рассердилась, выхватила у нее из рук утюг да и хватъ ее нечаянно по голове так, что та, бедная, тут же и ноги протянула. Правда ли, нет ли, наверное не знаю. А крест я сам собственными глазами видел и надпись читал. И, знаете ли, такой крест — это своего рода картина, особенно на убогом сельском кладбище, где все крестики Бог знает какие: то пошатнувшиеся, а то и совсем упавшие, а то и просто десяток-другой могил совсем без крестов. А тут вдруг фигура, да еще и какая фигура! Я думаю, г. Арновский сам рассчитывал на этот эффект: смотрите, дискать, как мы своих воспитанниц хороним! А вышло, что похоронили не воспитанницу, а горничную. Ну, да это все равно, лишь бы крест даром не пропал.

— Музыкантская была в одном флигеле с нашим пансионом, — так продолжала свой рассказ больная. — И когда я начала выздоравливать и понимать себя, то мне чрезвычайно приятно было слушать, когда они сыгрываются. Моему больному воображению представлялся какой-то необыкновенно чудный мир, особенно, когда весь оркестр, как лес или море вдали, шумит, и из этого неопределенного ропота выходит какой-нибудь один инструмент, скрипка или флейта. О! я тогда была выше всякого блаженства. Звуки эти мне казались чистейшею, отраднейшею молитвою, выходящей из глубины страдающей души. О, зачем я выздоровела, зачем навеки не осталась в том болезненно-блаженном состоянии!

В доме было прекрасное фортепьяно, и когда я могла уже выходить, то пошла прямо к нашему капельмейстеру и просила его, чтобы он меня научил читать ноты и показал первые приемы на фортепьяно. Он... О, я давно прокляла его за науку! Зачем открыл он мне тайну сочетания звуков, зачем открыл мне эту божественную, погубившую меня гармонию!

Я быстро поглощала его первые уроки. Так что не успели у меня на вершок волосы отрасти (я больна была горячкой), как я уже быстрее его читала ноты и вырабатывала свои пальцы на сухих этюдах Листа⁷⁷.

Но не одни звуки питали мое больное сердце. Мне нравилась сцена. Я прочитала все, что было в нашей библиотеке драматического (репертуар нашего домашнего театра мне не нравился), начиная с «Синеуса и Трувора» Сумарокова⁷⁸ до «Гамлета» Висковатова⁷⁹. Я дни и ночи бредила Офелией. А делать было нечего: я для своего дебюта принуждена была выучить роль дочери Льва Гурыча Синичкина⁸⁰. Успех был полный. И я окончательно погибла!

Когда видели вы меня в Качановке, я уже тогда бредила петербургской сценой; домашняя для меня была слишком тесна. На несчастье мое, того же лета заехал к нам Михайло Иванович Глинка⁸¹. Он тогда выбирал в Малороссии певчих для придворной капеллы.

Увидевши меня на сцене и услышавши мой голос и игру на фортепьяно, он решил, что я великая артистка. А я — о горе! мое горе! — я простосердечно ему поверила. Да и кто бы не поверил на моем месте?

Не заметили ли вы тогда у нас на бале молодого, весьма скромного человека, с большими выпуклыми глазами, со вздернутым носом и большим ртом? Это был художник Штернберг. Он тогда у нас все лето провел.

Кроткое, благороднейшее создание!

Однажды я (мне аккомпанировал сам Глинка) пела для гостей из его еще не оконченной тогда оперы «Руслан и Людмила» арию, помните, в чертогах Черномора поет Людмила⁸²? Только что я кончила петь, посыпались аплодисменты, разумеется, не мне, а автору. А когда все замолкло, подходит ко мне Штернберг со слезами на глазах и молча целует мои руки. Я тоже заплакала и вышла вон из зала. С тех пор мы с ним сделались друзьями. Я часто для него в сумерки пела любимую его арию из «Прециозы». И он каждый раз, слушая меня, плакал.

Спустя два года после моих успехов в Качановке г. Арновский со своею сестрицею начали собираться в Петербург на зиму. Я, разумеется, начала проситься с ними. Они долго не соглашались. Наконец, он согласился с условием. Но с каким условием! Вы понимаете меня?? Да! понимаете! И знаете что? Я согласилась! О! будь я проклята! проклята!

и проклята! Я все забыла для искусства и для столицы, все! всем пожертвовала! И вот результат моей великой жертвы! — нищая! в больнице и вдобавок под именем его крепостной девки.

Она за слезами не могла говорить.

На другой день я услышал от нее подробности такого рода. Впрочем, они так гнусны, что гнусно их и повторять.

Скажу вам вкратце конец ее бедственной истории. Приехала она в Петербург уже беременною и через несколько месяцев, не выходя из квартиры, разрешилась мертвым ребенком. После родов заболела горячкой. А г. Арновскому нужно было ехать в свою Качановку, вот он ее и отправил в Петровскую больницу под именем своей крепостной девки.

Вот вам и вся недолга.

Я пробыл еще две недели в больнице и каждый день, в урочные часы, выходил в сад, и садился на заветную скамейку, и дожидался несчастной больной.

Какой же в самом деле подлый эгоист человек вообще, а в особенности я. Мне стало на душе легче, я видимо стал поправляться после ее исповеди. Это значит, я доволен был, что есть несчастнее меня.

Страдальцы! воображайте так, и вы будете хоть на полграмма менее страдать.

Я каждый день спрашивал у знакомого мне служителя из женского отделения: «Что № такой-то?» И он отвечал мне совершенно равнодушно: «Лежит». За день перед моей выпиской из больницы спросил я у служителя: «Что № такой-то?» — «В покойнице!» — ответил он мне и пошел за своим делом, быть может, за длинную плетеною корзиною, вроде гроба, чтобы другого уже нестрадальца вынести в покойницкую.

На другой день, выписавшись из больницы, я просил позволения похоронить труп такой-то №, такого-то. И мне было позволено.

Я пригласил своих товарищей. (Вы помните, что нас было четверо привезено в Петербург, т. е. квартет.) И мы вынесли ее на Смоленское кладбище⁸³. А после панихиды пропели «Со святыми упокой» да бросили земли по горсти в ее вечное жилище, и больше ничего.

Вскоре после этого прислал нам управляющий именем плакатные билеты⁸⁴, и мы остались еще на год в Петер-

бурге. И знаете, что мы сделали? Прикинулись немцами да и пошли по улицам спотешать добрых людей своим искусством. И знаете, нам хорошо было, мы почти что каждый [день?] по рублю серебра домой приносили.

За исключением харчей и квартиры, я каждое воскресенье получал рубль серебра. И каждую неделю я был два-три раза в театре (разумеется, в райке), откладывая каждую неделю полтину серебра на непредвиденный случай, т. е. для Серве. Т. е. приобрести несколько его этюдов для виолончеля. А главное, самого его послушать. В газетах давно уже публикуют, что он непременно будет к Великому посту в Петербурге. Дай-то Бог. Мне как-то страшно становится, когда я подумаю, что я буду слушать Серве. Неужели слава так могущественна?

Приближается зима, и наши уличные квартеты должны будут прекратиться. Что нам делать? Товарищи мои хотят бросить искусство и искать лакейских должностей. А мне бы хотелось удержать их от этого соблазна. Да как удержать?

С этой благой мыслию пошел [я] однажды на Крестовский остров⁸⁵ в немецкий трактир, поговорил с хозяином, что так и так, есть у меня квартет богемцев, можно ли им будет прийти в воскресенье попробовать счастья в вашем заведении? Хозяин согласился. И мы в первое же воскресенье спотешали вальсами почтеннейшую публику, как истинные чехи. И спотешали не без пользы. Мы в один день достали себе пропитание на целую [неделю] с избытком. Товарищи мои ободрились. Следующее воскресенье нам еще лучше повезло. А следующее еще лучше, потому что уже настала настоящая зима.

Тут же, в трактире, мы стали получать заказы через содержателя трактира на вечеринки, на свадьбы и т[ому] подоб[ное]. Товарищи выбрали меня подрядчиком и казначеем. И мы зиму прожили припеваючи.

С Песков⁸⁶ мы перебрались к Николе Мокрому⁸⁷. Квартира у нас была уже не одна маленькая комнатка, а две большие с прихожей.

В свободное время, в продолжение зимы, я проштудировал всего Ромберга⁸⁸ и Серве, что мог достать. Большой театр⁸⁹ посещал я постоянно два и три раза в неделю, и хоть из райка, а я видел и слышал все, что было лучшего в ту зиму в столице.

Прошла наконец и бешеная Масляница. Прошла и первая неделя Великого поста.

О незабвенная афиша!

Надо вам сказать, что я часто делал большой крюк, чтобы пройти мимо которого-нибудь театра, собственно для того, чтобы прочитать афишу.

В воскресенье был я на соборном проклятии в Казанском соборе⁹⁰. Вышел из церкви, перехожу Невский проспект. И издали вижу, что что-то белеет за проволочной решеточкой у подъезда дома г[оспожи] Энгельгардт⁹¹. Я прибавил шагу. Подхожу к подъезду или, лучше, к проволочному ящику, и мне показалось, что я вижу самого Серве и Вьетана⁹². А это были только буквы. Долго я читал эти заветные буквы, пока добрался до настоящего их смысла. А смысл был такой, что Серве дает концерт сегодняшней же день. Начало в 7 часов вечера. Я сейчас же купил билет. И целый день ходил по Невскому проспекту, заходя иногда к Александринскому⁹³ и Михайловскому⁹⁴ театру прочитать афишу.

В 6 часов вечера я уже был в зале. Зала уже была вполуполу освещена, и я вошел в нее первый. Швейцар, впуская меня в залу, сначала пристально осмотрел меня с ног до головы. Потому, вероятно, что я вовсе не был похож на человека, для которого 5-рублевая депозитка ничего не значит. Ну, да Бог с ним, пускай думает, что хочет.

Публика начала собираться, и к половине седьмого зала уже была полна. Меня пронимала дрожь. Но когда кто-то около меня сказал: «Уж семь часов», — я затрепетал, а сердце у меня обдалось каким-то холодом. Как будто в одно мгновение теплая кровь оставила его и вместо крови потекла холодная вода.

Увертюра кончилась, которую я не слушал. Оркестр отдохнул. Поправился. И через несколько мгновений выходит Серве и за ним Вьетан.

Боже мой! я не слышал да и не услышу никогда ничего прекраснее!

Лист перед Серве — фанфарон, простой механик, ремесленник перед художником, больше ничего.

Я смутно помню, как я вышел из залы. И как пришел домой. Помню только, что товарищи отняли у меня виолончель и спрятали.

С того вечера я уже не беру виолончеля в руки и звуков его слышать не могу. Для меня это все равно, что ножом по сердцу.

[В] продолжение поста я читал только афиши. И только раз был в Большом театре, когда давали ораторию Гайдна

«Сотворение мира»⁹⁵. Это истинное сотворение мира. Только для Большого театра слишком громко: трудно слушать. Тут нужно по крайней мере Михайловский манеж⁹⁶.

Еще давали концерт в Патриотическом институте⁹⁷, в котором участвовал, между многими знаменитостями, и граф Вельегорский⁹⁸.

Чего бы я не отдал, чтоб послушать его! Но, увы! свет сей не для всех равно создан!

Как раз в Великую субботу позвали нас всех четырех в часть и объявили нам, что помещик требует нас к себе в деревню и чтобы мы приготовились к следующей среде выступить в поход с севастопольской партией.

К среде мы были совершенно готовы. И рано утром в среду вышли за толпою колодников из ворот Литовского замка⁹⁹ с инструментами за плечами и грустно, молча потянулись к московской заставе¹⁰⁰.

Не описываю вам путешествия нашего, потому что оно нестерпимо однообразно и отвратительно гнусно.

На третий месяц нашего путешествия с толпою злодеев мы прибыли, наконец, в Прилуку.

Странное и страшное чувство обуяло меня при виде родного места.

Я долго не решался послать из острога к нашему доброму Ивану Максимовичу. Наконец, через великую силу превозмог ложный стыд и страх и послал за ним тюремного служителя. Через полчаса явился Иван Максимович и взял меня на поруки.

В продолжение целой ночи мы глаз не смыкали, сообщаясь друг другу, как родные братья после долгой разлуки. Между прочими новостями он мне сообщил, что промотанное и разоренное имение покойного г. купил с публичного торгу г. Арновский, и что хотел было взять Лизу и Наташу к себе на воспитание, но Антон Адамович отдал только Лизу, а Наташу у себя оставил, и что m-lle Адольфина оставила их вместе с Лизою.

На другой день я оставил Прилуку и ночевал на ферме. На ферме все, как было и прежде, только Лизы и m-lle Адольфины недостает. А хозяйева ее, кажется, и помолодели, и подобрели.

Солнце уже спускалось за горизонт, когда я подходил к ферме. Мужички, попадавшие мне около села, приветствуя меня с добрым вечером, посматривали на меня и, снявши шапки, крестились. Меня это немало удивляло.

«Что бы такое значило, что они крестятся?» — спрашивал я сам у себя, входя в село. Играющие на улице дети, завидя меня, бросали игры и, остановясь около хаты, молча посматривали на меня, а которые были постарше, те крестились. Я хотел было подойти к ним и узнать причину благоговения к моей особе, но дети разбежались.

Я пошел далее, и уже на гребле попалась мне навстречу старушка и, перекрестясь, остановила и спросила у меня:

— Куда же вы гробык несете? У Дигтярях священник умер, поховать никому буде, бо нового попа ще не прыслано.

Тут-то я только догадался, что они скрипичный ящик мой принимали за детский гроб.

Подойдя к самым воротам сада, я остановился в раздумьи, заходить ли мне к ним или пройти мимо. И только было решил на последнее, как послышался мне детский голос в саду. Это был голос Наташи. Я отворил ворота, но войти в сад все еще как бы боялся. Только Наташа, увидя меня, закричала:

— Мамо! мамо! Нищий пришел! (Марьяну Акимовну она мамою звала).

— Где ты видишь нищего? — спросила ее Марьяна Акимовна, выходя из-за дерева.

— Он за воротами. — И они подошли ко мне на несколько шагов. И Наташа бросилась ко мне, крича:

— Мамо! мамо! Это не нищий, это наш Тарас Федорович!

Меня и в самом деле немудрено было принять за нищего: оборванный, запыленный, с палкою в руке и с ящиком за плечами. Марьяна Акимовна подошла ко мне, посмотрела на меня, взяла меня за руку, сказавши: «Войдите», — и заплакала. У меня ноги подкосились, и я упал на землю и зарыдал, как дитя. Наташа побежала за Антоном Адамовичем, и через несколько минут мы уже все трое шли к дому и все трое плакали. Наташа тоже плакала, разумеется, бессознательно. Впрочем, ей уже 12 год.

И что это за дитя, если б посмотрели! Это такая красота, такая детская прелесть, какой мне не удавалось видеть даже на картинах.

Подходя к дому, Антон Адамович почти что вырвал меня из рук Марьяны Акимовны и повел в свою хату.

— Подождите меня здесь, — сказал он мне, сажая меня на стул в своей хате. — Я сию же минуту, — прибавил он уже за дверью.

В хате его было все по-прежнему, даже запах, воздух был прежний, и мне казалось, что я вчера только вышел из этой комнаты.

Через минуту вошел мальчик с умывальником и бельем, а за ним и сам Антон Адамыч, неся в руках свое серенькое пальто и прочие принадлежности туалета.

— А сапоги найдете здесь, в этой комнате, — сказал он, указывая на боковую дверь. — А когда все кончите, приходите чай пить. Мы вас ждем! — прибавил он, уходя из хаты.

Преобразившись, я пошел в дом. На крыльце встретила меня Наташа и, схватя за руку, закричала:

— Мамо! мамо! Посмотрите, я его и не узнала! — И с этими словами ввела меня в комнату. И, сажая меня на стул около стола, прибавила: — Садитесь вот здесь, как раз против меня и против мамы. Мы на вас будем смотреть. Ведь мы вас давно не видали!

Я осмотрелся кругом и сел. С минуту длилось молчание. Марьяна Акимовна, молча глядя на меня, заплакала и проговорила:

— Теперь нас только трое. А, помните, было пятеро.

И, наливая чай, рассказала знакомую уже мне историю с прибавлением, что m-lle Адольфине чрезвычайно не хотелось расставаться с ними и что они ее насилу уговорили перейти к г. Арновскому, что она там будет необходима для Лизы, потому что Лиза такая бойкая. «Что Наташа против Лизы? Это просто ангел у меня, а не дитя», — прибавила она, целуя Наташу.

Марьяна Акимовна начала было спрашивать меня о моих похождениях, но Антон Адамыч перебил ее, говоря, что для этого будет завтрашний день, а что сегодня нужно спросить у гостя, не хочет ли он есть и спать?

После ужина пошел я в хату, где уже для меня была приготовлена постель.

«Боже мой! — подумал я. — За что эти добрые люди так полюбили меня? Встречал ли отец с матерью с такой любовью своего сына после долгой разлуки, как они меня встретили? Добрые, благородные люди!»

На другой день поутру Антон Адамович съездил в Дигтари и исходатайствовал мне позволение у управляющего остаться на ферме по случаю болезни.

Весь август месяц я прожил в кругу этих добрых людей, совершенно как сын у отца и матери. И совершенно забыл

о моем грустном пребывании в Петербурге и о моем горьком странствовании, несмотря на то, что я каждый день повторял свои рассказы.

В раю праведники едва ли так блаженствуют, как я теперь блаженствую.

Наташа от меня совершенно не отстает. Просит меня, чтобы я ее учил на фортепьяно, хотя она сама не хуже играет. Просит меня учить ее по-французски говорить, а сама мне поправляет. А когда я по вечерам рассказываю о моих приключениях на этапах, она плачет пуще самой Марьяны Акимовны. Просто она меня чарует своею привязанностью ко мне.

В четвертый раз принимаюсь я за письмо это и не знаю, удастся ли мне хоть теперь кончить. Просто свободной минуты не имею. Представьте, что мы сидим иногда напролет ночи в уютной хатке Марьяны Акимовны, она за фортепьяно, а я со скрипкою.

Виолончель я думаю совсем оставить. Да и у кого хватит духу играть на ней, слышавши Серве?

Конец моему блаженству близится: на днях я оставляю ферму и являюсь к моему новому властителю. Не предчувствую ничего для себя доброго впереди. А впрочем, все в руках Божиих.

Я это письмо так долго писал, что наконец привык к нему, и мне грустно стало, когда я его кончил. Я мысленно никогда не расставался с вами, но в это время я с вами просто жил и открывал вам все мои мысли и чувства, и теперь, как подумаю о предстоящей мне жизни, — а в ней предвижу я много для себя грустного, и грустное это некому будет передавать, — то мне теперь уже тяжело.

Напишите мне хоть три слова, напишите только, что вы получили мое письмо, и я буду счастлив.

Прощайте, незабвенный друг мой, не забывайте преданного вам и бесталанного музыканта N.

Ферма

18... года августа ... дня».

По прочтении письма я думал было заснуть хоть немного с дороги, но не тут-то было. Передо мною стоял, как живой, мой бедный музыкант с своей виолончелью и, глядя на меня, грустно улыбался, и так грустно, что я хотел было до-

стать огня и прочитать снова его печальное послание, только смотрю — в окнах уже белеет. Я накинул на себя шинель и вышел на крылечко. Не прошло пяти минут, как подходит ко мне Иван Максимович и, после обоюдных приветствий, жалуется мне, что ему тоже всю ночь не спалось и что он давно уже ходит и посматривает, не выйду ли я.

— Мне, не знаю почему, казалось, — говорил он, — что и вам тоже не спится. Я хотя и не читал письма Тараса Федоровича, но знал, что оно невеселое, не правда ли?

— Правда! — отвечал я. — Даже очень невеселое.

— И оно, конечно, вам заснуть не дало?

— Действительно так.

— Я так и думал. Но это все ничего, а вы послушайте, что после с ним было!.. А впрочем, я вам лучше прочитаю. Я, знаете, на старости туды же пустился в литературу. Да что, думаю, ведь не святые же горшки лепят. Предмет же и сам по себе интересный, а если его обработать, так это выйдет просто роман. Вот я и принялся... А сестрица, я думаю, давно уже нас с самоваром дожидает. Ей, бедной, тоже что-то не спалось в эту ночь. Впрочем, это с нею часто случается. Пойдем-ка, это будет лучше литературы!

И действительно, старушка нас дожидала с чаем, только не в комнатах, а в садике, в летнем кабинете братца. Садик заключал в себе несколько тощих фруктовых деревьев и дощатый чулан, приткнутый к соседнему забору. Это-то и был летний кабинет Ивана Максимовича.

Несмотря, однако ж, на нищету этого садика, в нем было так все уютно, так спокойно, что я невольно позавидовал бедному Ивану Максимовичу.

Напившись чаю под кустом цветущей бузины, Иван Максимович повел меня в свой кабинет. Усадил на дощатом обнаженном диване и, вынимая из столика бумаги, сказал:

— Теперь мы в тиши уединения займемся литературою. Вот эти бумаги, — сказал он, откладывая в сторону несколько листов, мелко исписанных. — Эти бумаги принадлежат вам. Помните, вы просили меня когда-то собирать для вас все, касающееся истории, философии и поэзии нашего народа. Тут всего есть понемногу. Исторические сведения, касающиеся собственно города Прилук, сообщил мне покойник отец Илия Бодянский. А прочее я записывал где попало. А вот это уже чистая литература, — говорил он, разбирая другие бумаги.

— Я описываю все случившееся с нашим музыкантом со дня его выезда в Петербург, со слов его же самого, только украшаю иногда слог на манер Марлинского (божественный писатель!). Даже и название даю моему рассказу вроде незабвенного Марлинского, т. е. «Музыкант, или Две сиротки». Помните Лизу и Наташу? Они у меня тоже играют немалую роль. Так с чего же нам начать? Он вам, верно, в письме своем описал все, хотя вкратце, по день прибытия своего на родину?

— Действительно, все, — сказал я, — кроме обратного своего путешествия из столицы.

— То есть следования по этапам. Я так и думал, потому что и мне немало стоило труда выпросить у него некоторые подробности этого, можно сказать, живописного путешествия.

И Иван Максимович улыбнулся своей остроте.

Так я начну вам именно с путешествия.

— Уже вечерний солнца луч залил величественное и широкое ложе реки Луги¹⁰¹ (так начал читать Иван Максимович), и когда мы перешли бесконечно длинный и разными вавилонами на сваях воздвигнутый мост через едва выглядывавшую из камышей реку Лугу, то лучезарный Феб уже скрылся за горизонтом в объятиях Фетиды¹⁰². Но так как в полярных странах летние ночи бывают довольно ясны, то мы засветла еще вступили в город Лугу¹⁰³. Нас, разумеется, препроводили в острог... Но тут, знаете, картина не авантажная, — говорил Иван Максимович, — и потому-то я ее не описываю. По-моему, чисто изящного произведения не должны касаться картины грязные, хоть это теперь, к несчастью, вошло в моду. Но я все-таки люблю придержаться классического стиля. Да и где нам, старикам, переделывать себя.

Вот они (я вам буду простые происшествия рассказывать, а что коснется поэзии, то уже прочитаю), так вот они на другой день у этапного командира испросили позволение, потому что у них была дневка и к тому же день праздничный... Так вот они и испросили позволение (разумеется, предложивши ему часть заработка) пройтись по улицам с инструментами и дать несколько концертов.

Предприятие (несмотря на то, что город Луга, можно сказать, нарочито невеликий), предприятие их увенчалось полным успехом, так что, несмотря на значительную часть

приобретения, отделенную ими командиру этапа, у них хватило пропитания до самого Порхова¹⁰⁴. Близ Порхова я описываю (по его же рассказу) длинную тонкую возвышенность вроде циклопического вала, по которому тянется почтовая дорога почти до Порхова, потом самый Порхов и величественную Шелонь¹⁰⁵, на левом берегу которой высятся древние развалины замка¹⁰⁶.

На счастье их, в Порхов они пришли как раз на Духов день. Пошли по улицам на другой же день с музыкою, как и в Луге это сделали. Но только Порхов не Луга; тут их забросали гривенниками. Один приказчик какого-то мыловаренного завода Жукова (знаменитого табачного фабриканта)¹⁰⁷ разом выкинул три цалковых. Им так повезло в Порхове, так, что они уже нанимали на каждом этапе лошадку с телегою для своих инструментов до самых Великих Лук. А из Великих Лук у них уже своя была лошадка, правда, немудрая, но все-таки своя.

Так как они приближались к стране постоянно голодной, то есть к Белоруссии, то, кроме инструментов, от города до города [лошадка] везла за ними и порядочный запас печеного хлеба.

Трогательные картины случалось ему видеть в сей убогой стране. Знаете, голод, нищета, разврат и гнусные спутники разврата. Все это я описываю в назидательном тоне.

Так, например, когда они проходили чуть ли не Усвят¹⁰⁸, то, вместо того, чтобы арестантам подать милостыню, толпа мальчишек с толстыми коленами бросилась к арестантам и стала просить хлеба. А когда увидели, что им давали хлеб наши артисты, за мальчишками бросились и взрослые, и старики. Голод не знает стыда.

Пройдя страну сетования и плача, они вступили наконец в благословенные пределы нашей милой Малороссии. И наконец в нашу скромную Прилуку. В тот же вечер пили мы чай с нашим милым, дорогим музыкантом и дружески беседовали в этой самой беседке.

— Теперь вот что я вам скажу. Вы извините меня: я человек, знаете, обязанный службою.

— Сделайте милость, распорядитесь, как вам угодно, — сказал я ему.

— Я вот что сделаю, — говорил он. — Я схожу ненадолго в училище, а вы читайте мою рукопись. Тут вы встретите несколько подлинных писем Тараса Федоровича, в кото-

рых он изображает большею частью состояние души своей и прочие домашние обстоятельства. И еще знаете что: я забегу на станцию и скажу, чтобы принесли и ваши вещи сюда, и мы с вами так и прокочем до воскресенья, а в воскресенье и на ферму вместе. В е н е?¹⁰⁹ — прибавил он, сжимая мою руку.

— Benissimo¹¹⁰, — ответил я, и мы расстались.

Рукопись, правду сказать, пугала меня, зато письма, в ней помещенные, меня чрезвычайно интересовали, а потому я и принялся за нее. Письма были вклеены в рукопись, а потому-то мне их не трудно было и отыскать. И первое из них такого содержания.

«Я обещался вам, мой незабвенный Иван Максимович, извещать вас по временам как о себе самом, так и о предметах, меня окружающих. И вот уже скоро наступит третий год, как я пресмыкаюсь у ног моего нового властителя, и только теперь вспомнил я данное вам обещание. Мое горе такого рода, что само себя питает и не любит утешения. Простите меня, добрый Иван Максимович, за такое выражение. Но что делать? Истина! Теперь мне лучше, и так лучше, что я могу беседовать с вами.

Что это вы к нам никогда не заглянете? То-то бы наговорились. Приезжайте-ка, да и супругу вашу привозите. У нас 23 апреля праздник. Ведь вы прежде таки любили увеселения — я этой любви обязан и знакомством моим с антиквариетом, помните? Где-то он теперь, бедный! Напишите мне, если получите об нем какое известие.

Вчера я возвратился с фермы. Я там гостил три дня. Впрочем, я там никогда меньше трех дней не гощу. Вот мое одно-единственное счастье. И правда, великое счастье! От сотворения мира, я думаю, ни одному страдальцу [не удавалось?] так заживлять свои сердечные раны, как я их заживляю в кругу этих благородных людей.

А Наташа, вообразите себе, так меня полюбила, что, когда я уезжаю, она, бедная, навзрыд плачет. И что это за девочка! Что это за чудное создание! И в этих годах (ей четырнадцатый год) сколько глубокого чувства и недетского ума. Она полюбила музыку, и так полюбила, что дни целые проводит за фортепьяно. И, представьте, она до сих пор не знает, что она сирота. Правда, при Марьяне Акимовне трудно ей это узнать, потому что она для нее больше, нежели мать родная. Зато и Наташа вполне ее вознагражда-

ет свою детскою безотчетною любовью. А Антон Адамыч просто не знает, где и посадить свою Наташу. Представьте, он для нее целый день не выходит из своей лаборатории, чтобы вечером потешить Наташу какою-нибудь замысловатою игрушкой. Я вам рассказываю то, что вы сами недавно видели. Мне говорили, что вы недавно с супругою вашею гостили у них. Как жаль, что я не знал, а то бы непременно отпросился.

Странная, однако ж, психологическая задача. Например, Лиза, [как] две капли воды похожа на Наташу, и я ее каждый день вижу, а не могу любоваться ею, как Наташею люблюсь. Она, мне кажется, слишком бойкая, более похожа на мальчика, ни к кому не привязывается, неохотно учится и музыки не любит.

Что бы это значило? Детство их было совершенно одинаково, а теперь такая разница.

M-me Адольфине, как вам известно, в тот же год отказал г. Арновский. И знаете за что? Гнусный сластолюбец! Он не мог обольстить ее и выгнал из дому, назвавши при всех распутною девкою.

Бог ее знает, где она теперь. Доброе, непорочное создание. Вы знаете, что я ей обязан французским языком. И теперь только узнал я ему настоящую цену. Библиотека у нас состоит почти вся из французских книг, хоть, правду сказать, более из романов. Но все-таки лучше, нежели ничего.

Да, m-me Адольфина была необходима для Лизы. Бедное дитя! Чему она выучится, что усвоит себе хорошее от своей воспитательницы, безграмотной, старой, подлой девки? Это почтеннейшая сестрица г. Арновского. Она отделила ее от общества пансионеров и перевела к себе. И все это, я подозреваю, по приказанию брата. Гнусные люди! Лиза чрезвычайно быстро вырастает. Г. Арновский пишет, чтобы его нынешний год не ждали из-за границы. Он ведь еще в прошлом году уехал принимать ванны от какой-то застарелой болезни.

А знаете что? Приезжайте-ка 26 августа на ферму. Вы знаете, в этот день Наташа именинница¹¹¹. Уверяю вас, будет весело. Приезжайте, я хоть посмотрю на вас.

К этому дню я готовлю несколько квартетов, т. е. я с товарищами моего странствования. Только чур, не проболтайте, если раньше нашего приедете. Я хочу сделать это в виде сюрприза.

Антон Адамыч готовит для нее же иллюминации и щит с ее вензелем. Щит будет поставлен между кустов, а за щитом поместится наш квартет. Не правда ли, хорошо придумано?

Еще я приготовил для Наташи сюрприз. Не знаю только, понравится ли ей. За ноты я не боюсь; я ноты просто печатаю. А фронтиспис¹¹² меня беспокоит. Я, видите ли, как умел, переписал на веленовой бумаге¹¹³ «Серенаду» Шуберта¹¹⁴ и украсил заглавный лист собственным изделием. Скопировал, правда, с какого-то ничтожного романа. Ну, да это ничего.

Приезжайте 26 августа. Бога ради, приезжайте! Только непременно вместе с супругою».

Едва кончил я первое письмо, как вошел ко мне Иван Максимович, запыхавшись:

— Фу, как устал! Почти бежал всю дорогу. Боюсь, не соскучились ли вы? А, да вы читаете. Прочитываете. Что, как-ково, а? По-стариковски, не правда ли? Слог! слог главное, а прочее само собой придет. Не так ли?

— У вас слог прекрасный!

— Устарел маненько. Что же делать, мы и сами устарели. Не так ли?

Я в знак согласия кивнул головою, а он, взглянув на рукопись, сказал: «А, так вы на письме остановились? Продолжайте, продолжайте».

— Я уже кончил письмо.

— Кончили? — И, немного помолчав, он проговорил: — Да, оно кончается приглашением меня на именины Наташи. С моей незабвенною... — И он замолчал и отвернулся.

— Музыка... иллюминация... Наташа! — приходя в себя, говорил он с расстановкою. — Да, прекрасно, торжественно-прекрасно было. Нет, мы лучше прочтем. Этот праздник у меня торжественным стилем описан.

— Братец! пожалуйста обедать! — раздался голос сестрицы.

— И в самом деле, лучше пойдемте пообедаем. А потом уже придем и прочитаем.

И мы пошли обедать.

Не знаю, дело ли то было аппетита, или дело просто сердечного радушия, или просто борщ с сушеными карасями (который так гениально варят мои землячки), — не знаю, что именно было причиною, знаю только, что я преплотно пообедал и еще плотнее заснул после обеда.

Вещи мои были принесены с почтовой станции, и [я] поселился до воскресенья в беседке гостеприимного Ивана Максимовича. И во время его отсутствия прочитывал простосердечные письма моего непорочного музыканта.

Второе письмо, предлагаемое здесь, было писано спустя два с лишним года после первого.

«М[илостивый] г[осударь] Иван Максимович!

В последнем письме своем вы повторяете свою прежнюю просьбу, чтобы я записывал из уст нашего народа, как вы пишете, все, что касается его философии, поэзии и истории. Благодарю вас, что вы напоминаете мне об этом. Это значит, что ваше горе вполовину уменьшилось, что вы, наконец, вспомнили и нашего антиквария и, наконец, меня, вашего искреннего друга. Антиквария нашего и я помню хорошо, только Бог его знает, где он теперь находится. А я для него, или все равно для вас, записал на днях дивную песню.

Иду я однажды по самой большой улице в селе и, правду сказать, иду к корчме, чтобы посидеть с добрыми людьми на завалине: не услышу ли чего-нибудь поучительного. Только иду и вижу: по самой середине улицы идет пьяная баба и, как видно, не убогая. Идет и во все горло поет, поглядывая на высунувшиеся на улицу хаты:

Упылася я,
Не за ваши я.
В мене курка неслася,
Я за яйца выпылася^{115!}

Это ли не философия? Это ли не поэзия?

Мне хотелось сделать вариации на эту тему. Но, увы! музыка не в силах выразить этого великого сарказма.

Вы теперь, как видно из вашего письма, немного успокоились после вашей невознаградимой потери. Бейте лыхом об землю, як швець мокрою халявою об лаву, та приезжайте в воскресенье на ферму. А я приеду туда с виолончелью и буду играть для вас целый день. И все ваши и мои любимые малороссийские песни.

Я вам, кажется, не писал еще о виолончели? Чудный! дивный инструмент! И я не знаю, где он мог его достать за такую ничтожную цену?

В прошлом году наш поправившийся г. Арновский возвратился из-за границы и между многими диковинными

игрушками привез и виолончель. Боже мой, что это за игрушка! Только одна душа человека может так плакать и радоваться, как поет и плачет этот дивный инструмент. Мастер, создавший его, не кто иной, как сам Прометей. Я спать ложуся и кладу его около себя. Это моя любовница, моя жизнь, мое я. И если б я был два раза раб, то за этот инструмент продал бы себя в третий раз. О, я теперь совершенно забыл Серве.

А если бы видели, что делается с Наташей, когда я заиграю на этом божественном инструменте! Она цепенеет — и больше ничего.

А Марьяна Акимовна уверяет меня, что я на скрипке лучше играю, нежели на виолончели. Но это она говорит только так. Она сама не может равнодушно слушать виолончели.

Разносился я, однако ж, с своею виолончелью, как дурень с писаною торбою. А о главном-то чуть было и не забыл.

Предчувствия мои сбылись. Едва оживший г. Арновский ухаживает уже за Лизой собственной персоною. Как видно, усердие милой сестрицы не имело успеха.

А Лиза и знать ничего не хочет. Бегает по залах, бьет горшки со цветами, ломает стулья. Совершенный ребенок. А этому ребенку, заметьте, 17 годов. Меня одно только утешает, если я не ошибаюсь: что если и успеет г. Арновский, то этот успех обойдется ему не так-то дешево.

Мне по крайней мере не случалось еще встречать так сильно развитой природы в Лизанькины лета. Это совершенная женщина!

Сестрица г. Арновского в тупик становится перед ее выходками.

Что, если бы хоть какое-нибудь образование этой девушке? Это была бы совершенная Семирамида¹¹⁶ или Клеопатра¹¹⁷.

Месяца два тому назад однажды сидят они все трое за обедом молча и только поглядывают друг на друга исподлобь. Кушанья подавали только для формы, никто к ним и не прикоснулся. А я от нечего делать (стоя за стулом Лизы) стал всматриваться в лицо г. Арновского. Руина! совершенная руина! Он не старик еще, но опередил даже дряхлых стариков. Повисшие, едва сжимающиеся губы, полуоткрытые бесцветные глаза, желто-зеленый цвет лица и вдобавок серые, жиденькие волосы и глухота делают его чем-то отвратительным, чем-то на полипа похожим.

Обед кончился, Лиза, выходя из-за стола, заплакала и, обращаясь к г. Арновскому, сказала: «Прикажите заложить лошади, или я пешком уйду к Антону Адамовичу».

«Быть беде», — подумал я. И не ошибся. Через несколько дней дворня шепотом заговорила о женитьбе барина на Лизавете Павловне. А еще через несколько дней явились уже и подробности, сопровождающие всякую будущую свадьбу.

Из Прилуки между тем приехал стряпчий г. Арновского И. П. Ярмола. Пробыл у нас двое суток и уехал так, что его почти никто и не видал.

Это тоже что-нибудь да значит!

Не прошло и месяца после этого происшествия, как сестрица г. Арновского засуетилась, забегала, всю дворню подняла на ноги и своим благородным воспитанницам приказала приготовить самую лучшую пьесу к свадьбе.

«К свадьбе! — подумал я. — Стало быть, между Лизой и г. Арновским это вещь возможная. Странно!» Я на другой же день съездил на ферму, рассказал все виденное и слышанное. Антон Адамович сказал: «Хорошо». А Марьяна Акимовна только головой кивнула.

Свадьба совершилась тихо. Ждали гостей много, но собрались только ближайшие соседи. Театра тоже не было. Хотели было дать концерт, да тоже до завтра отложили.

Завтра прошло тоже без особых приключений, а послезавтра управляющий получил приказание от г[оспожи] Арновской приготовить экипажи, людей и лошадей для поездки в Киев.

Все это происшествие вам покажется невероятным, фантастическим, как и самому мне оно показалось. Но вспомните, что Лиза выросла под непосредственным смотрением распутной старой девки. Вспомните это, и неестественное замужество Лизы делается самым натуральным. Грустно только смотреть на это милое создание, так бесчеловечно нравственно изуродованное. В ней и тени не видно той ангельской прелести, какая так свойственна ее возрасту. Воспитательница, однако ж, ошиблась в своих расчетах. Цель ее была развратить Лизу до такой степени, чтобы она была способной выйти замуж за ее отвратительного братца. В этом она успела. Но главное, ей надоедал братец своим самовластием, и ей нужно было сокрушить эту власть. Она и сокрушила. Т. е. она сделала Лизу полной, независимой помещицей всего имения, прежде принадлежавшего г. Арновскому. Для того и приехал

стряпчий из Прилуки. Дело в том, что когда Лиза сделалась помещицей, то, вместо половинной власти и состояния, предложила своей наставнице место ключницы у себя в доме.

Рассчитавшись так с своей милой наставницею, она вручила полную власть своему управляющему над домом и всем имением. Она взяла своего дряхлого мужа и отправилась в Киев, якобы пользоваться тамошними минеральными водами.

В доме оставалось все по-прежнему. Хозяйка обещалась зиму провести в имении. А до зимы, следовательно, мне в доме было нечего делать. И я, пользуясь сим добрым случаем, отпросился у управляющего месяца на два в Дигтяри, т. е. на ферму.

И вот уже третий день я разыгрываю моцартовские сонаты в хатке Марьяны Акимовны на моем милом виолончеле.

Как тепло, как хорошо мне в кругу этих милых моих друзей. Наташа день ото дня становится все краше и милее. И что за умница, что [за] скромница! Просто прелесть. Она, знаете, со мною хочет этикетничать, держать себя прилично взрослой девице. Но никак не может: важничает, важничает, да вдруг схватит с меня шляпу, побежит и спрячется в кустах. Я ищу ее, а она перебегает из куста в куст, пока устанет. А потом пойдет жаловаться Марьяне Акимовне, что я ей покою не даю, что она на мой соломенный брыль без смеху смотреть не может. Милое! прекрасное создание! Глядя на нее, иногда я себя чувствую выше человека. Таким безгранично счастливым существом, каким человек никогда быть не может.

С некоторого времени, я замечаю, она начинает задумываться. И почти плачет, когда я играю ее любимую серенаду Шуберта.

Марьяна Акимовна предлагает Антону Адамовичу поехать с Наташею на зиму в Киев. Но Антон Адамович упорно молчит и только головою потряхивает. Раз было сказала Марьяна Акимовна:

— Ну, коли не в Киев, так хоть в Качановку к Лизе.

Но он на нее так посмотрел, что с тех пор о Лизе и помину не было.

Я совершенно понимаю и оправдываю мысль Марьяны Акимовны. Но никак не могу равнодушно вообразить себе Наташу в кругу незнакомых ей людей. Мне делается страшно за нее. Она такая живая, впечатлительная. И ей уже семнадцать лет. Ей предстоят большие опасности впереди.

Вот еще что меня немало удивило. Когда я рассказал с подробностями про свадьбу Лизы, Наташа равнодушно дослушала мой рассказ, проговорила:

— Несчастливая она! — и залилась слезами.

Неужели она в эти лета так глубоко успела заглянуть и уразуметь, в чем состоит истинное наше счастье?

Я завтра поеду в Качановку за партитурой Мендельсона «Сон в Ивановскую ночь»¹¹⁸. Наташа еще не слыхала ее. Я положу для нее эту чудную симфонию для фортепьяно и баса.

Приезжайте когда-нибудь в праздник, и вы послушаете. А между тем напишите о себе хоть пару слов с нашим посланным, напишите хоть только, что вы получили мое послание.

Преданный вам ваш Музыкант»

На оставшемся от письма чистом полулисточке бумаги вроде примечания было написано рукою Ивана Максимовича так:

«30 июня, в день Петра и Павла¹¹⁹, ездил я в гости на ферму и гостил два дня с великим удовольствием. Виолончель с фортепьяно — это такая божественная гармония, что вечно бы слушал ее и не наслушался, особенно, когда они вдвоем исполняют эту волшебную серенаду. Я, впрочем, думаю, и не без основания, что, кроме гармонии звуков, между ими существует высочайшая гармония самых нежных чувств. Мне даже об этом сама Марьяна Акимовна косвенно намекнула, когда они играли серенаду. Она обратилась ко мне и, взором показывая на музыкантов, шепнула:

— Не правда ли, парочка? Как вы думаете?

Я, разумеется, в знак согласия кивнул головою.

Другой раз, когда мы гуляли по саду и они вдвоем шли впереди нас и о чем-то тихо разговаривали, Антон Адамович, глядя на них, проговорил, как бы сам с собою:

— Во что бы то ни стало, а я ему добуду свободу.

— Благородное чувство! — подумал я. — Это значит стать выше предрассудков века. Давно пора бы всем так думать и чувствовать. Но увы! гордыня обуяла нас. А как бы они счастливы были! Я всякий бы день ездил на ферму любоваться на их счастье. Я тут не вижу ничего невозможного. Все будет зависеть от Антона Адамовича. А сомневаться

в искренности и чистосердечии этого благородного человека — значит не верить в Бога. Подождем! увидим!

В следующем за письмом повествовании собственного изделия Ивана Максимовича продолжают рассуждения в этом же роде, т. е. в роде филантропическом, только уже слогом возвышенным, обработанным, таким слогом, что я с трудом прочитал полстраницы. Настоящий Марлинский. Мир памяти его.

Перевернув несколько листов красноречивой рукописи, я открыл еще одно письмо музыканта, писанное год спустя после предыдущего.

Письмо начинается так:

«Незабвенный Иван Максимович!

Я так счастлив, так бесконечно счастлив, что едва могу писать вам, а писать необходимо, потому что счастье задушит меня, если я не выскажусь. Но с чего же вам начать? Дайте прийти в себя. Да начну с того, что прошедшей осенью возвратился из Киева г. Арновский, совершенно больной и без жены. Елисавета Павловна бросила его в Киеве на попечение сестрицы, а сама уехала с каким-то гусаром на маневры в Вознесенск¹²⁰, да и не возвращалась. А уже из-за границы, кажется, из Вены, написала управляющему письмо, чтобы он всю дворню и музыкантов распустил на оброк, кто пожелает, а остальных обратил бы в хлебопашцев. Благородным воспитанницам выдал бы по тысяче рублей и тоже распустил бы. А дворовых девушек выдавал бы замуж с приданным по сту рублей, хоть за солдат. Г. Арновскому и сестре его выдавал бы по сту рублей в месяц, и больше ничего.

Жалко и отвратительно было смотреть на этого изуверченного сластолюбца, когда он смотрел на сборы в дорогу своих воспитанниц и не мог остановить этих сборов. Ему не хотелось расставаться с своими жертвами, и он плакал в бессилии. Он пошел было к ним во флигель проститься с ними, но они перед ним двери заперли. Достойная благодарность развратителю.

Елисавета Павловна, может быть и бессознательно, но вполне справедливо и достойно наказала своего развратителя. Я в душе ей благодарен. За одну бедную Тарасевич его следовало бы сделать каторжником. Если совесть его проснется когда-нибудь, то она забичует его лучше всякого палача.

Только мне не верится в присутствие совести в развращенном сердце.

Оркестр наш почти весь пущен на оброк и отправился в Киев. Выбрали было меня капельмейстером, но я решительно отказался и выпросил себе у управляющего место лесничего в Дигтярях. Эта должность как раз пришлась по мне: брожу себе целый день по лесу, как будто дело делаю, а к вечеру отправляюсь на ферму. Виолончель осталась со мною. Слушатели мои — самые искренние слушатели, и я просто блаженствую. Если бы ко всему этому прежняя резвость и беззаботность Наташи, я был бы совершенно счастлив. А то она, бедная, такая грустная ходит, что я плачу, на нее глядя.

Марьяна Акимовна тоже будто бы переменялась. Тоже чего-то по временам задумывается и сучает. Один только Антон Адамыч по-прежнему молчит и добродушно улыбается. В отношении же меня они все ласковы по-прежнему. Только что-то как будто бы скрывают.

Меня это мучит, и я по целым дням иногда хожу по лесу и плачу, сам не знаю отчего.

Несколько дней тому назад Антон Адамович ездил к нашему управляющему и возвратился чрезвычайно весел, так весел, что заставил меня с Наташей играть «Горлыцю», а сам чуть было танцовать не пустился.

А между прочим, все-таки ни слова никому не говорит о причине такой радости.

Через неделю после этой радости Антон Адамович, не сказав никому ни слова, уехал опять к управляющему, а к вечеру того же дня прислал записку, чтобы его не ждали вечером, что он с управляющим уехал в Полтаву.

Мы, разумеется, ахнули и минут пять не могли проговорить ни слова, только смотрели друг на друга. Наконец проговорила первая Марьяна Акимовна:

— Что же это он сделал со мною? Вот уже тридцать лет, слава Богу, и мы с ним не разлучались ни на день единый, а тут взял да и уехал, и хоть бы сказал слово. Вот до чего я дожила, горькая!

И, минуточку помолчав, она тихо заплакала. Наташа тоже, и, взявшись за руки, они пошли в покои.

Я как вкопанный остался на месте. И долго бы простоял еще, если бы Наташа не позвала меня в комнаты.

После долгих рассуждений и предположений, зачем и для чего так, можно сказать, воровски уехал Антон Адамович

в Полтаву, я вызвался сейчас же съездить в Качановку и узнать все положительно на месте. А чтобы им не страшно было без мужчины, я ходил на мельницу и пригласил старого мирошника на ферму в виде сторожа и собеседника. (Наташа чрезвычайно любила слушать его старые сказки и прибаутки.)

На рассвете я возвратился на ферму из Качановки, не узнавши ничего. Конторские писаря, пользуясь отсутствием управляющего, перепились пьяны и на вопрос мой отвечали: «Уехали в Полтаву», — и больше ничего.

Наташа заснула. А Марьяна Акимовна ждала моего возвращения у ворот сада и, завидя меня, подбежала ко мне с вопросом: «Что?» Я, хоть и горько мне было, сказал ей, что в Качановке никто ничего не знает.

— Идите же в его хату та отдохните с дороги, — сказала она мне и, закрыв лицо руками, тихо пошла к дому.

«Бедная женщина, — подумал я, глядя ей вслед. — Неужели так тесно сдружилась ты с ним, что не можешь один день прожить без него? Счастливая, завидная твоя доля. И многие, многие жены тебе вправе позавидовать. А тебе еще больше, счастливый, благородный старче, должны завидовать мужья-горемыки».

Прошел день, другой, наконец и третий, а об Антоне Адамовиче ни слуху ни духу. На ферме все так притихло и приуныло, что я боялся и подумать о музыке.

Марьяна Акимовна все дни ходила взад и вперед по одной дорожке и только молча вздыхала. А Наташа ей вторила.

Казалось, что мы уже навеки расстались с нашим Антоном Адамовичем. В продолжение дня Марьяна Акимовна заходила в его хату, чего прежде никогда не делала, обмахивала платком пыль с электрической машины и с других вещей, садилась на кушетку и плакала. Словом, она походила на самую нежную любовницу.

В продолжение этих дней я только и слышал от нее, и то она говорила как бы сама с собой:

— Ну, слыхано ли на свете такое горе? Уехать в такую даль и не сказать жене ни слова! О, я несчастная!

Дни проходили медленно, а вечера еще медленнее. А 26 августа быстро близилось. Я думал было прежде о сюрпризах для дня ангела Наташи. Но после этого случая я так растерялся, что совершенно обо всем забыл.

Я ездил еще раз в Качановку и хотел было проехать в Прилуку, к поверенному Елисаветы Павловны. Но мне сказали в Качановке, что и он уехал вместе с ними.

Вот уже и 25 августа, а на ферме будто бы ничего не бывало, ни малейшего движения. О предстоящем празднике и помину нет.

Я вспомнил про месячную розу в Дигтярях в оранжерее, которую я давно выпросил у садовника для дня ангела Наташи, и, не сказав никому ни слова, отправился пешком в Дигтяри. Возвратился я с цветком на ферму уже вечером, и вообразите мою радость: Антон Адамович сидел за столом между Марьяной Акимовной и Наташей и, по обыкновению улыбаясь, пил чай.

— А, и вы пришли! — сказал он, увидевши меня. — Садитесь-ка, я вам расскажу, что я видел в Полтаве.

Я сел, и несколько минут прошло в молчании.

— Ну, рассказывай же, — проговорила Марьяна Акимовна, — беспутный, что ты там видел в твоей скверной Полтаве?

— А что я там видел? Грязь — и больше ничего!

— А что же ты там делал столько времени?

— Тоже ничего!

— Зачем же ты ездил туда, ветрогон ты старый?

— Так. Прогуляться.

— Так, прогуляться! Слышите, люди добрые? Так, прогуляться! Ах, ты, седая, старая голово! И это тебе не совестно так мучить меня на старости лет?

И Марьяна Акимовна поцеловала его так нежно, так простосердечно, как самая нежная мать целует покорное дитя свое.

Вечер прошел тихо и весело.

На другой день проснулись все рано, а Антон Адамович раньше всех и, разбудивши меня, сказал:

— А что, ты приготовил что-нибудь для именинницы?

— Приготовил, — проговорил я.

— Ну, так вставай же, одевайся и пойдем поздравим, — она уже бежит по саду.

Я наскоро умылся, оделся и, взявши свою розу, пошел к дому вслед за Антоном Адамовичем. Наташа, увидя нас, побежала в комнаты.

Мы вошли вслед за нею. А она уже сидела за чайным столом, как ни в чем не бывало, около Марьяны Акимовны и просила сухарика к чаю.

Я поздравил ее, преподнес ей свой скромный подарок. Антон Адамович поздравил тоже и, вынув из бокового кармана сложенную вчетверо бумагу и подавая Наташе, сказал ей:

— Вот тебе гостинец из Полтавы.

Сказавши это, он, улыбаясь, сел около нее.

Наташа долго молча читала бумагу и, не дочитавши, выпустила ее из рук и со слезами бросилась обнимать и целовать Антона Адамовича. А мы с Марьяной Акимовной с изумлением посматривали друг на друга.

Наконец я поднял бумагу, посмотрел на нее, и... то была моя отпускная!

Все, что ни сказал бы я вам про свои ощущения в эту великую минуту, все бы это и тени не было похоже на то, что я чувствовал.

— Виолончель тоже наш, — проговорил улыбаясь Антон Адамович.

Я упал перед ним на колени и целовал его руки, обливая их слезами.

— Ну, Наташа, теперь за тобою очередь, продолжай, — сказал Антон Адамович, обращаясь к Наташе. — Возьми эту бумагу и отдай нашему другу и скажи: вот, мол, тебе мое приданое. А мы с Марьяною скажем: Боже вас благослови!

Все четверо мы бросились друг к другу и залились слезами.

И вот уже более недели, как мне мое счастье спать не дает. И знаете, кто все это сделал? Наташа! моя милая, моя бесценная Наташа! Она предпочла меня и знатным, и богатым. Меня, крепостного музыканта. И, открывшись во всем своим благородным благодетелям, просила их делать с нею, что найдут лучшим. А добрый, молчаливый Антон Адамович, не долго рассуждая и не говоря никому ни слова, решил по-своему одним разом. Он заплатил за мою свободу с виолончелью 2500 рублей¹²¹. Если бы г. Арновский был моим владыкою, этого бы никогда не случилось. Спасибо тебе, Елисавета Павловна. Тебе и во сне не снится, что ты, хотя совершенно невинная, причина моего настоящего блаженства.

Теперь Антон Адамович хлопчет об определении меня в канцелярию дворянского предводителя — уж это я и сам не знаю для чего. А когда это сбудется, тогда мы с вами будем видаться по крайней мере раза три в неделю. А пока приезжайте в воскресенье на ферму и полюбуйтесь на совершенно счастливых людей.

Преданный вам Музыкант N»

Дочитавши это самым счастьем написанное письмо, я впал в какую-то болезненную задумчивость. Боже мой, неужели это была зависть? Нет, я не завидовал никому на свете. Это было горькое, невыразимо горькое чувство одиночества. Я чуть не заплакал от внутренней боли. В то время как я собирался плакать, вошел ко мне Иван Максимович и спросил:

— Ну что, далеко уже прочитали мое немудрое повествование?

— Все прочитал, — ответил я.

— И описание свадебного пира?

— Нет, не читал.

— Так прочитайте, непременно прочитайте. Потому что я, можно сказать, больше всего рассчитываю на эффект этого великолепного изображения.

— А скажите, Иван Максимович, старики еще живы?

— Здоровехоньки. А о счастья и говорить нечего. А если бы видели, что за внучку им Бог послал! Совершенный ангел Божий!

Я снова задумался.

— А знаете что, Иван Максимович? — спросил я его через минуту.

— А что?

— Отпустите меня завтра одного на ферму, а сами в воскресенье приезжайте.

— Ни за что. А коли уж вам так загорелось, то и я завтра могу с вами ехать. Да что вам так вдруг...

— У меня уж характер такой: я ужасно люблю смотреть на счастливых людей. И, по-моему, нет прекраснее, нет усладительнее зрелища, как образ счастливого человека.

— Это совершенная правда.

На другой день мы были на ферме. И я видел и был совершенно счастлив счастьем этих простодушно благородных людей! Видел и свидетельствую истину сего неложного сказания. Аминь.

15 января 1855

НЕСЧАСТНЫЙ

Крепость Орскую местные киргизы называют Яман-Кала¹. И это название чрезвычайно верно определяет физиономию местности и самой крепости. Редко можно встретить подобную бесхарактерную местность. Плоско и плоско. Для киргиза, конечно, это ничего не значит, — он сроднился с этим пейзажем. Но каково для человека, привыкшего в окружающей его природе видеть красоту и грацию, и очутиться вдруг перед суровым однообразным горизонтом неисходимой, бесконечной степи? Удивительно, как неприятно такой пейзаж действует на одинокую душу новичка.

Крепость Орская как нельзя более в гармонии с окружающей ее местностью. То же однообразие и плоскость. Только и отделяется немного от общего колорита крепости — это небольшая каменная церковь на горе, заметьте, на яшмовой горе. Под горою с одной стороны лепятся грязные татарские домики. А с другой стороны, кроме таких же грязных домиков, инженерный двор с казематами для каторжников. Против инженерного двора длинное низенькое бревенчатое строение с квадратными небольшими окошками; это баталионные казармы, примыкающие одним концом к деревянному сараю, называемому экзерцисгауз², а другим концом выходящие на четырехугольную площадь, украшенную новою каменною церковью и обставленную дрянными деревянными домиками. «Где же самая-то крепость?» — спросите вы. Я сам два дня делал такой же самый вопрос, пока на третий день, по указанию одного старожилы, не вышел в поле, по направлению к меновому двору, и не увидел едва приподнятой насыпи и за ней канал. Канал и насыпь сравнительно не больше того рва, каким у нас добрый хозяин окапывает свое поле. Вот вам и второклассная крепость.

Налюбовавшись досыта на это диво фортификации, я уже перед вечером возвращался через слободку на квартиру. И, поворота за угол бедной лачуги, я увидел идущую толпу

солдат с балалайкою и бубном Толпа против лачуги остановилась, из толпы образовался кружок, грянула лихая песня с бубном и присвистом, и из толпы послышалось:

— Ай да помещик! Ай да дворянин! Орел! Просто орел!

Такие восклицания меня остановили. Я уже думал было подойти к веселым ребятам и полюбопытствовать, что там такое за помещик, только в это время толпа расступилась, не прерывая песни, и впереди ее явился в разорванной рубахе статный белокурый юноша и, ловко подбоченясь, пошел вприсядку.

Меня поразила наружность этого юноши. Что-то благородное было в нем и что-то низкое, отталкивающее. Я не мог его рассмотреть подробно, мне что-то мешало смотреть на него, и, отходя прочь от толпы, я спросил у солдата, который мне показался трезвее своих товарищей:

— Кто это такой у вас так славно пляшет?

— Несчастный! — ответил мне солдат скороговоркою и поспешил за толпою.

Слово «несчастный» странно как-то было произнесено солдатом. Мне показалось, что он этим словом называет какое-то сословие, а не то, что оно собственно выражало.

После я узнал, что там и кроме солдат так произносили это слово, а когда я освоился с ним, то я и сам его произносил точно так же.

Человек сам не замечает, как он быстро осваивается с людьми, его окружающими.

В продолжение ночи мне все мерещился белокурый молодой атлет и слышались слова: «Ай да помещик, ай да дворянин!»

На другой день пошел я разузнать, кто такой это[т] несчастный. И я, разумеется, не мог узнать ничего, потому что он не один, как мне после сказали, находится в Орской крепости.

Был какой-то праздник, и я от нечего делать пошел побродить по безотрадным окрестностям крепости. И перед вечером, возвращаясь домой, как раз у кирпичных заводов повстречал кучку веселых ребят с бубном и с балалайкой и знакомого незнакомца-плясуна и услышал те же самые возгласы. Чтобы не упустить его опять из виду, я отозвал одного солдата в сторону и потихоньку спросил, как прозывается дворянин, что пляшет. Он мне сказал его фамилию, и я на другой же день в баталионной канцелярии прочитал

его грустную конфирмацию. Это был юноша, написанный в рядовые по просьбе родной матери. Это происшествие меня сильно заинтересовало, но как разгадать подобную загадку? Я лучше ничего не мог придумать, как познакомиться с самим субъектом и узнать от него самого всю истину. И как же я ошибся, увы!

Это было что-то вроде идиота. Трезвый, он упорно молчал. От одной рюмки водки он пьянел и начинал проклинать мать свою, самого себя и все, что его окружает. Одна пляска для него имела еще какую-то прелесть, а больше ничего.

Я попробовал было его со стороны образования, и он мне такую чепуху загородил, что лучше было б и не пробовать. Однажды приходит он ко мне навеселе и видит у меня развернутую книгу на столе. «Что это вы почитываете? — спрашивает он. — „Мертвые души“? — а, это сочинение Эжена Сю³. — «Точно так», — ответил я.

Немного, я думаю, найдется моих читателей таких, которые бы мне поверили, что это было действительно так, а это было действительно так.

Так вот такая-то Яман-Кала: сама по себе она неказистая, а вмещает в себе такие редкие субъекты, что не мешает их описывать самым тщательным манером.

В одной из центральных губерний нашего неисходимого отечества, близ уездного городка N., вдоль большой дороги вытянулись в ряд серые бревенчатые, с закоптелыми волоковыми окнами⁴ избы, и этих серых изб я насчитал штук более 200. Выходит, село по величине порядочное. Но на взгляд далеко не такое. И странно: кругом дремучие леса, а в селе ни одной избы хоть мало-мальски порядочной: та без клетки, та без сеней, та пошатнулась, а та совсем повалилась. Кругом все растет и зеленеет, а в селе, как говорится, хоть шаром покати, — ни одного деревца. Или мужикам запрещено сажать деревья, или Бог их знает. Может быть, и сами не хотят, а помещику и невдогад их заставить, благо у самого под рукою английский парк со всеми причудами. А дети, когда выбегут на улицу посмотреть на проезжающего, так это только слава, что дети: медвежата, просто медвежата.

Посередине села церковь с высоким шпилем колокольни, довольно затейливой архитектуры и мало свидетельствующая о вкусе зодчего, а может быть, и самого ктитора. Около церкви была когда-то ограда, о чем свидетельствуют

полуразрушенные каменные столбики, не в дальнем один от другого расстоянии и кругом запачканные грязью, надо думать, свиньями во время почесыванья.

И церковь, и село, и полунагие закопченные дети — словом, все являет из себя вид весьма живописный. Совершенно во вкусе Ван-Остада⁵ наших подающих надежды *tableaugenr'истов*⁶.

Проехавши село, в левую сторону, недалеко от почтовой дороги, на горе видны барские хоромы с бельведером⁷, окруженные темным лесом, а лес обведен, по крайней мере со стороны почтовой дороги, глубоким и широким рвом с живою на валу изгородью.

Сквозь деревья мелькает светлый пруд, или из-за группы лип мелькнет угол китайской беседки, или куст акаций, или другое что-нибудь, вроде Клеопатриной иглы⁸, воздвигнутое на память дружбы и любви. Словом, прелесть. Так бы вот и соскочил с телеги, перепрыгнул бы через живую изгородь, да и пошел писать по всем направлениям роскошного барского сада.

Я, правду сказать, так и сделал. Но это было давно. Теперь уж я подобной штуки не выкину. Я тогда прошел из конца в конец весь парк, и меня, как теперь помню, поразила страшная тишина. Я видел великолепный дом, павильоны, беседки, качающуюся раскрашенную лодочку на краю пруда, под наклонившимися деревьями, и посередине пруда гордо плавающих пару лебедей. Но не видел ни одного человека, который бы оживлял эту изысканную картину. На меня неприятно подействовало такое отсутствие человека. Это все равно, [что] прекрасный пейзаж, не оживленный человеческой фигурой. Я даже раскаивался, что входил в этот заколдованный парк.

О, если б я знал тогда, что когда-то придется мне писать историю обитателей этого роскошного уединения! Я бы тогда не ограничился одним поверхностным взглядом, а постарался бы проникнуть и в хоромы, и всюду, куда только можно проникнуть, всюду бы заглянул, и, может быть, тогда моя история была бы и полнее, и круглее. Но прошлого не воротить. Ограничимся тем, что теперь имеем.

Проехавши версты две, я спросил тогда у ямщика: «Чье это село мы проехали?»

— Господское.

— Знаю, что господское! Да господина-то как звать?

— Помещик Хлюпин.

— Что, он сам, видно, мало живет в своем селе?

— Только за оброком приезжает. И то не каждый год.

Этим сведения мои тогда и кончились.

После этого спустя десятка три лет встретился я в Орской крепости с несчастным однофамильцем названного мне ямщиком помещика, и после двух-трех вопросов я узнал от молодого человека, что он единственный его родной сын и наследник знакомого мне села и парка.

Дело было вот как. Ротмистр Хлюпин, отец этого несчастного юноши, не расположен был вовсе жениться, но обстоятельства заставили, и он женился на богатой и немолодой вдове, взявши за нею в приданое описанное мною село.

Вдова, родивши ему сына, а потом дочь, поживши мало после этого происшествия, переселилась к праотцам, завещавши имение детям. А отца над ними как бы опекуном оставила. Старуха, как видно, не хотела, чтобы он снова женился, да еще, пожалуй, и на молодой. Но ротмистр, как он вообще не имел расположения к семейной жизни, и, взявши птенцов своих, сироток, с причтом нянек и мамок, отправился в Питер. Долго ли, коротко ли он вел там холостую жизнь, не знаю. Только, как он ни близорук был в отношении детей, увидел, однако ж, что детям нужна мать, т. е. необходимо жениться.

С такою-то благою мыслию однажды он вышел со двора. Идет он по Литейной⁹, выходит на Невский, глядь, навстречу ему, словно заря алая, словно лебедь белая, так и выплывает по тротуару. Замерло ретивое у старого гусара. И во сне ему не снилася никогда такая красавица, какую он теперь увидел.

«Что ж, — думает гусар и отец семейства, — попытка не шутка, спрос не беда — попробуем! Ливреи же за нею не видно, помешать некому».

И он поплелся вслед за красавицею. Долго она его водила по разным переулкам, наконец, завела его чуть не к Таврическому саду¹⁰, да в один самый мизерненький домик с двумя крошечными окошечками и шустрь перед самым его носом, а он и остался на улице, да еще и на грязной.

Простоявши с добрый час против домика и махнувши рукой, пошел обратно.

Тут бы, казалось, и всему происшествию конец. Вот то-то и нет, тут только, можно сказать, начало самой истории или, лучше сказать, начало самого зла.

Подвернись эта история другому военному, а не в отставке гусару, разом бы все покончил, да и концы в воду. Ротмистр мой, хоть тоже слыл решительным малым, однако кончил тем, что после многократных и бесплодных хождений на Пески¹¹ решился, наконец, послать сваху в заветный домик. Сказано — сделано. И счастливейший ротмистр с красавицей супругою катит в свое поместье. А дети с няньками и мамками и со всякой рухлядью вслед за ними.

Здесь, я думаю, не мешает рассказать хоть вкратце, кто такая вторая супруга решительного ротмистра. А вот кто она такая.

Отец ее служил прапорщиком в каком-то пехотном полку, расположенном на Волыни, да и влюбился в какую-то хорошенькую панянку. Дело могло бы тем и кончиться, да случился грех, его заставили жениться; он не прекословил, женился и выступил за ротою в поход. Войска в то время начали стягиваться к Вознесенску. На последней дневке перед Вознесенском молодая жена прапорщика разрешилась от бремени дочерью — Мариєю.

Три или четыре года бедная прапорщица с ребенком шлялася за своим прапорщиком или, лучше сказать, за ротою, пока, наконец, от недостатка, горя и всяческих лишений не впала в чахотку и вскоре умерла.

Безумная и трижды безумная девушка, решающаяся влюбляться и выходить замуж за армейского, не только за прапорщика, за поручика даже, если только он не ротный командир. За ротного командира и то много нужно решимости, чтобы идти замуж. Тут должна быть истинная, настоящая любовь. По-моему, это такая великая со стороны женщины жертва, что мало-мальски порядочный мужчина не должен бы ее не только помогать, но даже и желать.

Похоронивши свою мученицу-жену и сдавши денщику дитя на руки, прапорщик пустился на обывательских роту догонять. По службе ему как-то не везло, у начальства он был не на выгодном счету: товарищи его давно уже подпоручиками и поручиками, а он все еще прапор. Что бы такое значило, Бог его знает. По службе он молодец, лишнюю рюмку не пьет. Разве только что рановато маненько женился. Дак кому какое дело! Вот он думал, думал, да и начал испивать маненькую, потом большенькую, и еще, и еще большенькую, и кончилось тем, что ему, горемыке, предложили в отставку. Он попросился в перевод в какой-нибудь

линейный баталион¹². Его и перевели в 23 пехотную дивизию, расположенную, как известно, в Оренбургском крае¹³.

Пока то да се, глядь, а дочке уже пошел десятый годочек, а она, бедная, и грамоты не знает. Да и где узнаете ее? Отцу некогда, денщик безграмотный, а деревенские мальчишки выучили ее в бабки играть.

Он, бедняк, думал: придет в Оренбургский край, поселится где-нибудь в одном месте и займется воспитанием дочери. Не тут-то было. Не успел он осмотреться на новом месте, как его командировали в одно из степных укреплений. Беда, да и только!

Делать нечего, пошел он и в степное укрепление.

Кто не видал этих степных укреплений, тому советую прилежно молиться Богу, чтобы и не видеть их никогда. Кроме отчуждения ото всего, что хоть маленький имеет нарек на образование, — теснота и лишения всевозможные, а о нравах и говорить нечего.

Так вот в такое-то гнездо попал мой бедный прапорщик со своею уже двенадцатилетнею дочерью. На другой же день она прослыла в укреплении кантонистом¹⁴ в юпке.

Она, действительно, была девочка красивая, умная и бойкая, хоть и мальчику ее лет, так впору. На горе, он привез с собою еще в виде няньки какую-то старушонку, безобразную и донельзя распутную. Так что когда они, бывало, подгуляют вдвоем с нянькою, то Маша убежит в женатые казармы да там и ночует. Бедное дитя! Ее какой-то солдат и грамоте выучил.

Так прошло два года, роты сменились. Маша выросла и удивительно похорошела, и больше ничего. И то правда, главное есть, а об остальном — кому какое дело?

Возвратясь к своему баталиону, отец хотел было приняться за свою Машу. Да Маша уже не та — ей уже пятнадцатый год.

— Ну что ж, — рассуждает невзыскательный отец, — за писаря и так сойдет.

А пока он так рассуждал, Маша росла, росла и выросла красавица на диво: не только что за писаря, хоть и за генерала, так не стыдно.

Какой-то чиновник, не помню, по питейной, не то по таможенной части, только не военный, — об этом тогда еще и в городе говорили, — так какой-то гражданский чиновник, да чуть ли не из пограничной комиссии, приехал в город по

делам службы, увидел где-то Машу и влюбился. Узнал, что и как, и чья, и где живет, да, не рассуждая много, сунул пьяной няньке пять цалковых, она ему и спроворила.

Он уехал по делам службы в Петербург и Машу взял с собою, а там ее и бросил, потому что ему нужно было опять куда-то ехать.

Такими-то путями она очутилася в Петербурге. А как очутилася на Песках, тут уже история другая.

Но эту другую историю я готов хоть и не рассказывать, потому что в ней, кроме отвратительного, ничего нет. Как бы там ни было, а Маша, хоть и едва грамотная, а выдержала свою роль лучше всякого синего чулка¹⁵.

Так вот кто такая вторая супруга моего удалого ротмистра.

Теперь мы ее уже будем звать Марьей Федоровной.

На другой же или на третий день после свадьбы Марья Федоровна настояла на том, чтобы сейчас же ехать в деревню, и она на это имела основательные причины: в деревне кто ее узнает, какого она поля ягода, а живя в городе, да еще и в столице, придется поддерживать мужнины знакомства. Они у него, быть может, все графы да князья. Бог его знает. Он человек богатый, все случиться может, а она, как говорится, и ногой ступить не умеет. Хорошо еще, что солдат грамоте выучил, а не то и того бы не знала.

Так или почти так рассуждала Марья Федоровна, и рассуждала, правду сказать, довольно верно; по всему видна, что она имела [ум] практический или положительный. Не прошло и месяца, как она вступила в роль провинциальной барыни-хозяйки, как у нее все задвигалось и заходило.

Ротмистр мой только смотрит да глазами похлопывает. А как она приняла у себя с визитом мелкопоместных соседок, так только ахнули. Но кто прежде всех в доме на себе почувствовал ее влияние, так это сам ротмистр. Он до того сузился перед нею, что стал больше походить на лакея, нежели на барина.

На детей она сначала не обращала никакого внимания, пока не почувствовала себя беременною. А с той поры и они поступили в ее ведомство, и они, бедные, стали чувствовать какую-то тяжесть. Девочка еще кое-как резвилась, а мальчик, бедный, тот совсем затих. Он, как говорили, весь в отца пошел. И отец тоже хорохорился до первой остратки, а как на него прикрикнули хорошенько, так он — тише воды, ниже травы.

Во избежание же следующих остросток, которые он во множестве предвидел впереди, переселился он во флигель неподалеку от дому и зажил настоящим анахоретом. Сначала приходил он в дом пообедать, поужинать или просто спросить о здоровьи дражайшей половины, но впоследствии совсем оставил свои визиты; даже у человека, который приносил ему обед, он не спрашивал о здоровьи Марьи Федоровны. Детей своих он видел только по праздникам и то с позволения жены. Впрочем, сильного стеснения в быту своем он не чувствовал или, лучше сказать, не мог чувствовать. Большую часть дня он проводил или на псарне, или на конюшне. Или же упражнялся в благородном занятии стрельным из пистолета в цель, которую устроил у себя в кабинете на случай дурной погоды. Надо заметить, что в этой комнате, кроме стула и цели, ничего не было, даже трубок и книжки, развернутой на 14 странице¹⁶. И я не знаю, почему он называл ее кабинетом!

После первых припадков беременности, как я уже сказал, она начала обращать внимание на мужниных детей. Внимание это выразилось так. Она каждый день исправно начала посещать детскую, что прежде делала в продолжение месяца один раз. Потом начала учащать свои визиты, потом приходила смотреть, как кормят и чем кормят детей, как спать кладут, как поутру их умывают, как одевают. Большого попечения родная мать своим детям оказывать не может. А странно: дети ее не любили и даже боялись; бывало, если только заплачет которое из них, то няньке стоит только сказать: «Мама́ идет», — и дитя в одно мгновение переставало плакать. Ту же тактику употребляли няньки, когда дети слишком разрезвятся, хотя это случалось весьма редко. Они смотрели настоящими сиротками, особенно мальчик. И девочка, сначала такая резвая, румяная, заметно побледнела и присмирела с той поры, как за нею начали так заботливо ухаживать.

Есть люди, которых все любит и все к ним ласкается: даже, говорят, их и бешеные собаки не кусают. К числу таких людей принадлежал и знаменитый Вальтер Скотт.

А есть опять люди, которые ко всем ласкаются, а их все или ненавидят, или боятся и ненавидят. К числу таких людей принадлежит и моя Марья Федоровна.

А может быть, и независимо от этой антипатии есть еще что-нибудь такое, почему мачеха детям кажется ненавистною.

Что бы там ни было, только дети под непосредственным блюдением Марьи Федоровны бледнели и худели. А когда она встречалась с своим благоверным ротмистром, то только и речей было, что про детей. Так что он уже начал ее просить, чтобы она поберегла себя, что дети, даст Бог, и без нее вырастут.

Лето проходило, близилась осень. Дети давно уже ходили, а летом их не выпускали в сад побегать, бояся простуды: пруд, дискать, близко, сыро. Настала осень, и детей стали посылать в сад гулять, потому что теперь воздух холоден и пруд не может иметь влияния никакого, по физике Марьи Федоровны. А по физике ротмистра — совершенно все равно. Лишь бы его борзые не хворали, потому что скоро начнется травля зайцев. А до детей ему какое дело, на то у них есть мать.

А между тем в селе показалась оспа. Нежному родителю и в голову никогда не приходило, что дети его из такой же плоти и крови, как и чужие дети, и что их так же само может постигнуть эта язва, как и чужих, кому не привита оспа, детей. В Петербурге об этом не подумали, а в деревне и вовсе позабыли, и вот дети в оспе.

Марья Федоровна с горя сама даже слегла в постель и велела заколотить все окна и двери и окуривать покои уксусом; у ней у самой заботливый родитель позабыл привить оспу, а сама она, бедная, теперь только вспомнила. Вспомнила и захворала, а к тому еще и на износе.

Дом был окружен, как зачумленный, куревом; детей перенесли к отцу во флигель. Бедный ротмистр чуть с ума не сошел. Наконец все кончилось благополучно. Только мальчик ослеп, потому что у него и прежде глаза краснели и гноились. А девочка ничего, выходилась, хоть и попорченою немного. «Но это ничего, — говорила нянька шепотом, — зарастет. Слава Богу, что сама барыня захворали, а то и она бы осталась без очей, как вот барчонок».

А между тем роды близились. В доме все ходило на цыпочках, разумеется, кроме акушерки-профессорши, уже месяца три распорядившейся, как в своем собственном доме. Все молчало и трепетало. А благоверный ротмистр, в ожидании, лягавого щенка дрессировал. Наконец все кончилось благополучно, Марья Федоровна разрешилася сыном, который и был во святом крещении наречен Ипполитом.

Обряд крещения был совершен отцом протоиереем, нарочно для этого случаю привезенным из города. Восприни-

мали младенца, кроме дворянского предводителя и других, поважнее, помещиков и помещиц, даже и командир стрелкового батальона, в то время квартировавшего в их городе. Глядя на фалангу восприемников и восприемниц, можно было подумать, что ротмистр для такой радости готов с целым светом породниться или, по крайней мере, со всем уездом.

Пир по этому случаю был задан на славу. Была мысль у ротмистра устроить и сельский праздник для мужичков, но так как это случилось зимою, то хороводы и отложены до будущего лета.

А вместо сельского праздника он предложил своим гостям, кому угодно, облаву на медведя. Желающие оказались все, не исключая и батальонного командира.

После родов Марья Федоровна страдала ровно шесть недель. Не подумайте только, чтобы она физически страдала, ничего не бывало, она на третий день после родов готова была на какой угодно гимнастический подвиг. Она страдала нравственно, и именно потому, что была в доме особа, которая распоряжалась совершенно всем и даже ею самою. Это была акушерка. А для Марьи Федоровны пытки не было хуже, как повиноваться кому бы то ни было.

Наконец эти мучительные шесть недель кончились. С крестом и с молитвою акушерку выпроводили и двери заперли. Марья Федоровна вздохнула свободно и, принявши бразды правления, велела позвать к себе мужа.

Прошло полчаса — супруг не является. Марья Федоровна бесится и посылает сказать, что она его ждет. Посланный возвратился и сказал, что они только что побрились и изволят одеваться.

Надо вам заметить, что ротмистр считал себя птицей высочайшего полета и для него этикет, даже в отношении жены, была чуть ли не первая заповедь. У себя дома он бирюк бирюком, готов даже с собаками и поест из одного корыта. Но что касается вне дома, тут он совершенная метаморфоза, как выражается один мой приятель. А дом жены своей или квартиру — ротмистр боялся только проговорить самому себе, а в душе совершенно сознавал, что квартира жены для него чужая.

— Насилу-то выбрились! — так встретила Марья Федоровна своего ротмистра.

— Нельзя же, друг мой, приличие!

— А вот что, друг мой! Тут не приличие, а вот что: как-вы ваши дети?

— Слава Богу, ничего!

— Каково Коле?

— Ничего. Ослеп. Совершенно ослеп.

— То-то, ослеп. Я вам говорила, что нужно будет оспу привить. Не послушали. — Соврала: никогда не говорила.

— Не помню, когда вы мне говорили. Или я забыл.

— Забыли, сударь. Ну, да не в том дело. А вот что: у вас там помещение хорошее для них?

— Не совсем, друг мой! Тесновато.

— Не будет тесновато. Пускай они остаются с тобою. А бывшую их детскую я велю переделать для нашего сына. Понимаете?

— Понимаю, понимаю, мой друг!

После продолжительного безмолвия:

— Да вот еще что я хотела сказать. Нянек я беру к себе. А для них, как они уже взрослые, то можно будет взять двух девок из деревни.

Муж охотно согласился. Ему эти няньки не нравились, особенно младшая: дотронуться нельзя, кричит, как будто ее укусили, да еще грозит барыней. «А этих я заставлю плясать по своей дудке втихомолку», — так рассуждал ротмистр, подходя к колыбели спящего шестинедельного своего сына.

— Не правда ли, какое милое создание! — говорила Марья Федоровна, приподымая занавеску.

— Прекрасное! Позволь поцеловать его, друг мой!

— Нельзя, разбудишь. — И она опустила занавеску. — Ступай теперь домой и пошли ко мне приказчика, я велю привести ко мне всех девок из села и выберу нянек.

— Зачем тебе беспокоиться, друг мой, я сам выберу.

— Хорошо, хорошо, ступайте! Я знаю, что делаю.

И супруги расстались.

Отцу сильно не нравилось постоянное пребывание детей в его уголке (так называл он свой флигель): все-таки хлопоты. А с другой стороны, так и нравилось. Т. е. нравились будущие няньки. «Ведь она не пришлет же мне каких-нибудь квазимодов¹⁷ в сарафанах». Так он полагал, и ошибся.

На другой день ввели к нему во флигель таких двух красавиц, что он только ахнул.

— Ну, одолжила! — проговорил он, с ужасом глядя на неумытых новобранок.

- Зачем вы пришли? — спросил он их.
- Нянчить, — отвечали они в один голос.
- Хороши, нечего сказать.
- Какие есть, барин.
- Ну, хорошо, ступайте домой.

Девки только повернулись к дверям, как дверь растворилась и в комнату вошла сама Марья Федоровна. Ротмистр спрятался в другую комнату, потому что он был в утреннем пальто.

— Полно дурачиться, — говорила входя Марья Федоровна, — я не для комплиментов пришла. Наденьте что-нибудь да выйдите скорее ко мне.

Ротмистр явился в форменном сюртуке и ловко раскладывался, спрашивая о здоровьи и самой Марьи Федоровны, и новорожденного.

— Ничего, слава Богу, здоровы. А ваши каковы?

— Ничего, слава Богу.

— Покажите-ка мне их! А вот — прошу любить и жаловать, — говорила она, показывая на нянек.

— Друг мой, да откуда ты выкопала этих уродов?

— Ничего. Достоинство няньки не в красоте, а в кротости. Пойдемте.

Пройдя сени, они вошли в большую комнату, наполненную щенками всех пород и возрастов. Когда Марья Федоровна зажала нос платком, ротмистр проговорил:

— Ничего, друг мой. Я привык, это моя страсть.

За комнатую со щенками прошли они что-то вроде чулана. Это была комната нянек. А за чуланом уже растворилась детская, немногим больше чулана, об одном окне комната. Полуодетые дети и няньки с ними играли в жмурки. То есть они прятались, а слепой Коля их искал. Когда вошла в комнату Марья Федоровна, няньки остолбенели. А маленькая Лиза схватила слепого брата за руку, шепнула ему: «Мама!». Коля задрожал и стал прятаться за сестру, а сестра, в свою очередь, за брата.

Марья Федоровна быстро оглянула комнату и едва заметно улыбнулась. Потом, обратясь к детям, проговорила:

— Не бойтесь меня, мои крошечки, я вам гостинца принесла. — И она им вынула по леденцу из ридикюля. Подавая Коле леденец, она хотела заплакать и, улыбнувшись, сказала:

— Бедное создание! Что вы с ним намерены делать? — спросила она мужа.

— Ничего, — ответил тот равнодушно.

После этого она обратилась к нянькам и сказала:

— А вы, дуры! Только знаете детей баловать. Убирайтесь вон отсюда! А вы, мои милые, оставайтесь здесь вместо их, — сказала она, обращаясь к новобранкам.

— Слышим, барыня, — отвечали те. И начали снимать свои зипуны.

— Мне пора. Я думаю, мой генерал уже проснулся. Прощайте, мои крошечки, — сказала Марья Федоровна, обращаясь к детям. — Пойдемте, — сказала она нянькам и, закрывши нос, вышла из детской.

Ротмистр молча вышел вслед за нею, но в большой комнате, окруженный разномастными и разнородными щенятами, остановился в раздумьи и вдруг, как бы осененный мыслию свыше, хлопнул себя ладонью по узенькому лбу [и] воскликнул:

— Нет, друг мой, этому не бывать! Я в твои дела не мешаюсь, так не мешайся же ты и в мои. — И с этим словом он вышел из комнаты, не обращая ни малейшего внимания на визг щенят.

До самого почти обеда ходил он по кабинету, заложа руки за спину или останавливаясь перед мишенью, и складывал руки на груди à la Napoleon и даже позицию принимал Наполеона. И в этом положении он был невыразимо смешон. Центр мишени, казалось, поглощал всего его, — так он пристально вперял в него свои серенькие бессмысленные глазки.

Несколько раз брался он за пистолет, отходил от мишени к стулу, становился в позицию. Прицеливался и опускал пистолет без выстрела.

— Нет, не могу! — Проговоривши это самым отчаянным голосом, долго тер себе ладонью лоб, потом опускал руки в карманы и принимался ходить взад и вперед.

Наконец, спросил он себе побриться. Потом умылся розовой водой и оделся самым изысканным манером. Остановился перед трюмо, при[нял] важную позу и грозную физиономию, посмотрелся несколько минут, взял шляпу и пошел к жене, как он думал, объяснить по поводу семейных неудовольствий (под этим словом он разумел безобразных няnek).

Марья Федоровна предвидела это критическое посещение и приготовилась. Она надела темно-синее бархатное платье, в котором ротмистр так любил ее видеть, и, взявши малютку на руки, встретила его в гостиной.

Грозный Юпитер исчез, а перед нею стоял самый обыкновенный ротмистр и сладко улыбался.

— Говори, душенька: «Bonjour, papa»¹⁸, — говорила она, целуя ребенка и поднося его мужу. — Теперь и ты, друг мой, можешь его поцеловать.

Ротмистр безмолвно приложился.

— А знаешь ли, друг мой, какой я сон сегодня видела? Что будто бы твой Коля и наш Ипполит уже взрослые и оба гусары. И какие молодцы! Просто прелесть, особенно Ипполит; две капли воды на тебя похож. А ведь и в самом деле, — прибавила она, лукаво улыбаясь, — если всмотреться в него хорошенько, он, действительно, будет на тебя похож. Милочка! — И восторженно она поцеловала ребенка.

После этого все, что тлело в маленьком сердце ротмистра, совершенно погасло. Даже няньки представлялись ему более образные, нежели как они на самом деле были.

— Надеюсь, ты сегодня у меня обедаешь? — сказала Марья Федоровна, уходя с ребенком в детскую.

— С удовольствием, мой друг! — проговорил ротмистр. Но друг его уже был в третьей комнате и ничего не слышал.

Ротмистр был совершенно счастлив и, развалясь в широких мягких креслах самым великосветским манером, совершенно беспечно насвистывал из «Фрейшица» песню: «Ах, что б было без вина!»¹⁹ И бил такт лайковой палевой перчаткой по колену.

Марья Федоровна вышла к обеду уже в другом платье, не менее прежнего великолепном. Это окончательно уничтожило бедного ротмистра, потому что это было совершенно в тоне высшего общества, которого ротмистр считал себя (Аллах ведает почему) не последним членом.

После обеда они расстались, как расстаются самые нежные супруги в первый день после свадьбы, в заключение даже поцеловались, а такого происшествия бедный ротмистр и не запомнит.

Придя домой, он, не раздеваясь, перецеловал всех щенят в восторге, а о детях даже и не подумал. Раздевшись, погрузился он в мягкую перину и, полежавши немного, тяжело вздохнул. А о чем он тяжело вздохнул, Бог его ведает.

Убаюкавши таким образом на первый раз своего мужичка-дурачка, Марья Федоровна продолжала такую же тактику до тех пор, пока он не освоился совершенно с безобразными

няньками. Она тогда повела с ним другую политику. Она посылала его с визитами к соседям, чтобы, говорит, не одичать и с добрыми людьми не раззнакомиться.

— И я бы поехала с тобой, но, ты видишь, у меня ребенок на руках, его нельзя же бросить.

— Правда, мой друг, — говорил он, — ты оставайся с ним, он, видишь, какой милый крошка. Я за тебя перед нашими добрыми соседками извинюсь.

— Только вот что! — говорила она, когда он собирался кому визит делать. — Ты, пожалуйста, никого не приглашай к себе, пока я кормлю. (Она сама кормила своего сына.)

— Никого, друг мой, — говорил он, садясь в коляску. И, выехавши из дому раз, он не возвращался в него по месяцу, а иногда и по два. А где он пропадал, об этом знали только его верные слуги — кучер и лакей. Они, может быть, барыне и рассказали [бы] некоторые любопытные похождения своего шаловливого барина, как, например, в губернском городе, в некоторых трактирах; да барыня их об этом не спрашивала. Ей какое дело до любопытных пождений своего пусто-голового мужа? Она подвигается к своей цели верно, она и довольна.

А цель ее была такая... Но нет, зачем прежде времени развязывать торбу? Может быть, там, Боже сохрани, такое спрятано, что совестно и подумать, а не то что прежде времени показывать да рассказывать. А лучше уже, коли начали читать, мои терпеливые читатели, то читайте до конца, а тогда и сами узнаете, какого сорта сатана сидел в прекрасной голове Марьи Федоровны.

Одна из безобразных няnek, та, которая неуклюжее и безобразнее, оказалась доброю и скромною женщиною, и Марья Федоровна, заметя это, наказала ей строго смотреть только за Лизанькою. А к Коле и не подходить.

А той, которая была грубее, злее и прожорливее, наказала строго смотреть за слепым Колей и не давать ему шалить, а главное, обедаться. Бедный! несчастный мальчик! Он давно бы умер с голоду, если б сестра и ее нянька не оставляли для него от своего обеда и не кормили его тихонько по ночам, когда его прожорливая нянька спала.

Ротмистру так понравились визиты, что он в дом к себе и не заглядывал. Когда случится поблизи где-нибудь, то пришлет записку, попросит денег, белья или чего там понадобится. Разумеется, ему все это отпускалось беспрекословно.

Так прошло несколько лет, т. е. года три или четыре. Все шло своим чередом, т. е. шло так, как угодно было Марье Федоровне.

Однажды — это было осенью, не помню, в котором месяце — барская коляска подъехала к дому, и ротмистра из нее не высадили, как это обыкновенно делается, а вынесли на руках, как это делается только в критических случаях. Марья Федоровна, увидя это, злобно улыбнулась. Она подумала, что он пьяный. Потому что только этой еще ему добродетели и недоставало, а теперь и этой украшен. Оказалось, однако ж, то, чего Марья Федоровна и не подозревала.

Дело в том, что у одного богатого соседа по случаю какого-то семейного праздника съехались гости, в том числе и наш ротмистр заехал. После разных увеселений собрался порядочная кавалькада охотников и выехала в поле русаков попугать. Разумеется, ротмистр тут был из первых. Он даже хотел было за своими борзыми послать, но ему заметили, что это невежливо, и он пустился с чужими. Случилось так, что он первый поднял зайца, и, разумеется, он же и доконать его должен. Вот он и пустился во весь опор вслед за борзыми. Только, на его несчастье, случилась канава в поле; борзые-то ее перепрыгнули, а лошадь со всадником прямо в канаву, да собой его и накрыла. К тому же еще в канаве была вода, уже тонким льдом покрытая. Он, бедняк, кроме того, что ушибся, да еще и в холодной воде окунулся, так что когда его вытащили оттуда, то он уже едва дышал, таким его и домой привезли.

Так вот какая случилась история.

Сейчас же послали в город за медиком, а на другой день и за попом. А на третий день, перед вечером, благословив своих несчастных детей и поручив их блюдению и заступничеству Марьи Федоровны, послал [он] свою гусарскую душу на лоно Авраамле²⁰.

Как ни кратковременна была его болезнь, однако ж Марья Федоровна успела сделать все форменно, что нужно было для обеспечения своей будущности и своего сына, т. е. он третий наследник общего имения, а она и опекунша, и полная хозяйка во всем.

Марья Федоровна похоронила своего обожаемого супруга в тени березовой рощи, близ прозрачного пруда, и при похоронах выказала необыкновенные свои сценические способности. Она так сыграла роль неутешной вдовы, что самые

равнодушные соседи, глядя на нее, рыдали, а бедных сироток, особенно Колю, чуть в слезах не утопила, а поцелуям и числа не было. И если б сострадальные соседи не удержали ее, она бы непременно бросилась в могилу. Но, спасибо, не допустили, а взяли ее на руки и почти мертвую внесли в дом и уже в доме насилу привели ее в чувство нашатырным спиртом (одеколон не помогал).

Когда же пришла она в себя, и увидела себя одну в своей спальне, и услышала отдаленные голоса поминающих соседей, она едва заметно улыбнулась и сама с собой шепотом проговорила:

— Главное само собою устроилось. А их я сама пристрою.

И, вставши с постели, она тихонько пошла в детскую к своему милому Ипполиту.

Около вечера гости навеселе разъехались по своим захолустьям, совершенно уверенные, что Марья Федоровна самая несчастная женщина во всем мире.

А Марья Федоровна, чтобы уверить их еще больше в своем ничем не тешимом горе, на другой день велела согнать со всего села баб и девок: «А мужиков не трогать, — сказала она, — они пусть делают свое дело», — согнать на господский двор с лопатами и мешками.

Когда собрались девки и бабы с помянутыми орудиями, она, вся в черном и в слезах, повела их на могилу своего незабвенного ротмистра и повелела (подобно Ольге над Игорем) сыпать курган²¹.

Работа началась. И в продолжение двух или трех недель черный курган высился над прахом незабвенного ротмистра.

Марья Федоровна сама лично распоряжалась работами и при работах рекою разливалась, как говорили простосердечные работницы. Но искреннее и чистосердечнее никто так не плакал и не проклинал и покойника, и Марию Федоровну, как сами работницы. И правду сказать, они на это имели полное право.

Морозы уже доходили до 10 градусов, а они, бедные, выходили на работу, как говорится, в чем Бог послал. И на все это чувствительная, неутешная Марья Федоровна смотрела совершенно равнодушно. Смело можно сказать, что этот памятник любви и воспоминаний был полит кровью и самыми непритворными слезами.

Многие — что я говорю, многие — никто не поверит, что я рассказываю истину, кроме тех, которые были зрителями, такими же, как и я, этой курьезной трагикомедии.

В скором времени разнесся не по всему уезду, а по всей губернии слух, что Марья Федоровна такая-то не показывается даже своим людям и выходит из дому по ночам на могилу своего мужа и там плачет от вечерней до утренней зари.

За достоверность этих слухов и я ручаюсь.

Она, действительно, ходила по ночам, несмотря ни на какую погоду, ходила на курган и там, не скажу плакала, а во всеуслышание выла.

Так она ходила выть на могилу до тех пор, пока сердобольные соседки, утешая, не сказали ей, что Лизе и Коле уже по осьмому пошло.

Тут-то она как будто опомнилась. «Проклятые приятельницы, — подумала она, — будто я не знаю, что делаю». Делать нечего, нужно было переменить роль и из нежной супруги сделаться нежной матерью.

Не медля нисколько, она разослала просить к себе на прощальный праздник мелкопоместных и крупноречивых своих соседок, — что она-де, Марья Федоровна, везет барышню в Смольный монастырь²² и желает проститься со своими добрыми соседками. А что сама она потому-де их не может посетить, что с детьми постоянно занята.

Слетелися соседки. Погостили, позлословили денька два и разлетелися по уезду благовестить о беспримерных добродетелях Марьи Федоровны и о истинно ангельской прелести и скромности Лизы.

А Лиза была просто деревенская осьмилетняя девочка. И вдобавок загнанная.

Марья Федоровна была в восторге от своей выдумки и на другой неделе после прощального пира, в одно прекрасное утро, велела заложить [в] крытую бричку, в которой покойник по ярманкам ездил, когда был еще ремонтером²³, тройку лошадей, взяла с собою своего Ипполита, уже четырехлетнего мальчугана, и безмолвную Лизу, и больше никого — ни слуги, ни служанки — совершенно налегке отправилась в Петербург определить Лизу в Смольный, а коли удастся, то и в Екатерининский институт²⁴.

Приехавши в Петербург, она остановилась на любимых своих Песках, у задушевной своей приятельницы Юльи Карловны Шошер, «ведки из Випорх»²⁵. Эта Юлия Карловна

Шошер была вдова 14 класса²⁶ и имела свой собственный домик с мезонином на Песках. Кроме доходов с домика, она получала еще за свои профессии порядочный доход. А профессии ее были разные. Она и поношенным дамским платьем торговала, и лотерейные билеты разносила, и детей принимала, и сватала, и просто... да мало ли какие есть на свете профессии, всех не перечтешь.

На счастье Марьи Федоровны, мезонин был пустой, — она и расположилась в нем.

В нижнем же этаже, в четыре окна и дверью на улицу, помещалось что-то вроде модного магазина. Хотя и трудно предполагать подобное явление на Песках, но я сужу по тому — что это был действительно модный магазин, а не что-нибудь другое — по тому, что на одном окне постоянно на болванчике шляпка торчала, а в прочих окнах тоже постоянно красовались молодые румяные девицы с какой-нибудь работою в руках.

Марье Федоровне сама судьба помогает. Она только думала о подобном заведении, а заведение само очутилось под носом.

Она позвала к себе Юлию Карловну.

— Юлия Карловна! — спросила она. — А кто это у вас в доме содержит модный магазин?

— Моя землячка, тоже из Випорх и тоже чиновница, Каролина Карловна Шпек.

— Я привезла с собою крепостную девушку, чтобы отдать в модный магазин, так чем далеко ходить, поговорите с нею, не может ли она взять у меня эту девушку. Только мне бы не хотелось платить за нее, а не может ли она взять на число лет, т. е. с заслугой.

— Может, очень может. Прекрасная, преблагогородная дама. Я сейчас пойду к ней.

И Юлия Карловна, сходя вниз по узенькой лестнице, коварно улыбалась, быть может, рассчитывая на будущий барыш, потому что они вдвоем с Каролиной Карловной содержали двусмысленный модный магазин.

На другой же день был контракт заключен. Лиза, вместо Смольного монастыря, отдавалась в виде крепостной девки Акулины на десять лет в руки корыстолюбивой старой отворотительной чухонки²⁷.

Когда Лизу взяла к себе Каролина Карловна и назвала ее в первый раз Акулькой, бедная девочка заплакала и сказала,

что она не Акулька, а Лиза. Ее выпороли, и бедная Лиза согласилась, что она действительно Акулька, а не Лиза.

Пристроивши таким образом Лизу, Марья Федоровна заказала для своего милого Ипполита несколько пар детского платья разного покроя и на разные возрасты до четырнадцати лет.

Когда платье было готово, она, чтобы не прожиться даром в столице, собралась и уехала, поцеловав, благословила бедную Лизу на безотрадную сиротскую и мученическую жизнь.

Соседки удивились, когда весть пронеслась, что Марья Федоровна возвратилась из Петербурга, и, разумеется, взапуски полетели поздравлять Марью Федоровну с благополучным успехом. И когда стали они удивляться, что так скоро все случилось, то она понесла им такие туры на колесах²⁸, что те слушали да только ахали. Между прочим, что сам Лонгинов²⁹, как только она подала прошение, приехал к ней на квартиру и, взявши с собою Лизу, сам повез ее прямо в Екатерининский институт.

Простодушные соседки, принявши все это за чистую монету, разъехались по уезду и усердно с прибавлениями передавали всем и каждому то, что наговорила им досужая Марья Федоровна.

А Марья Федоровна, отдохнувши после дороги, занялась хозяйством, т. е. поверила приказчика, ключницу и прочие должностные лица, вошла в мельчайшие экономические подробности, как самая опытная хозяйка.

Нужно заметить, что при жизни мужа она была расчетлива и бережлива, а со смертью его она сделалась настоящая скарета, под тем предлогом, что все это не ее, что она только опекунка бедных сирот и что за каждую утраченную кроху она должна перед Богом отвечать.

Часы же досуга она посвящала на одеванье и раздеванье в привезенные из Петербурга наряды своего ненаглядного Ипполита.

Когда Лизу увезли в Петербург, тогда слепой Коля совершенно осиротел. И положение его сделалось еще хуже. Тогда, бывало, или сестра, или ее нянька ему, бедному, хоть что-нибудь оставят съесть. А теперь приносят ему оглодки из дому, да и те прожорливая нянька истребляет. А сама запрет его в комнате да и уйдет на целый день в село на посылки. Хорошо еще, если щенка бросит ему в комнату,

все-таки лучше: по крайней мере, он слышит живое что-то около себя.

В короткое время он, бедный, так исхудал и пожелтел, что даже Марья Федоровна испугалась, когда его однажды случайно увидела. Но она только испугалась, а положения его все-таки не улучшила. Правда, прислала ему новый демикотонный сертучок, навырост сшитый, и такие же брючки.

В этой-то великолепной обнове нянька повела его в село показать своим родственникам. Родственники, должно быть, были люди мягкосердые и зажиточные, — накормили его кашей с молоком и на дорогу дали ему вотрушку, которая не достигла своего назначения, будучи вырвана из рук у него хитрою собакою.

На другой день он упросил няньку взять его с собой опять в гости. Она и взяла. Только дорогой вспомнила, что ей нужно было зайти к знакомой, а ей почему-то не хотелось его туда вести. Вот она усадила его под забором на улице, наказав строго не сходить с места: «А то тебя собаки съедят». Распорядившись так, пошла к своей знакомой, да там и пропала.

Долго он сидел под забором молча и только тихо улыбался, когда поворачивал лицо к солнцу. Наконец он начал плакать, сначала тихо, а потом громко. На плач его сбежались деревенские дети и, окружив его, долго смотрели на него, не зная, что оно и откуда оно. Наконец два-три мальчика повзрослее предложили ему идти к [ним] в избу. Но он отвечал им, что он слепой, дороги не видит. Один мальчуган, побойчее, взял его за руку и повел к своей избе и дорогою, для потехи товарищей, заставлял его на ровном месте скакать, говоря ему: «Скачи, здесь яма или лужа».

После многих перескоков, наконец, привел его мальчик в свою избу. В избе старуха накормила его щами и пирогом с кашей, отвела на барский двор и представила самой Марье Федоровне. А Марья Федоровна, предупреждая несчастье, могущее случиться от подобного своевольства, велела его выпороть хорошенько при себе лично, чтоб не бродяжничал-де.

Долго после этого бедный Коля не выходил из своей конуры.

Однажды в воскресенье благовестили к обедне, и звуки колокола тихо долетали до бедного Коли. Он молча с улыбкою слушал, пока звуки затихли, а потом спросил свою няньку:

— Что это такое гудело?

— Вишь, гудело! Это не гудело, а к обедне благовестили, — отвечала с неудовольствием нянька.

— К какой обедне? — немного помолчав, спросил ее Коля.

— Известно, к какой. Богу молиться в церкви.

— В какой церкви? (Заметьте, Коле пошел уже двенадцатый год.)

— В какой? Вон, что в селе.

— Пойдем и мы туда.

— А забыл, как онамедни... Хочешь еще?..

Коля вздрогнул и замолчал.

Каждый день Коля прислушивался, но звуки колокола не долетали до его конуры. Наконец в следующее воскресенье он опять их услышал и радостно воскликнул: «Опять загудело!»

— Так что ж, что загудело?

— Нянюшка! Голубушка! Родная ты моя! Поведи меня в церковь!

И он так жалобно и трогательно просил ее, что та, наконец, тронулась его мольбами и, приодевши его во что Бог послал, повела в церковь.

В продолжение обедни Коля стоял как окаменелый. Его сильно поразило никогда не слыханное пение и чтение. И когда прерывалось то или другое, то он, как бы все еще слушая, тихонько склонял голову и едва заметно улыбался. Обедня кончилась, а он все еще стоял на одном месте и дожидался пения. Наконец нянька взяла его за руки и вывела из церкви, сказавши, что для него другой обедни не будут петь.

Мужички дивились на своего слепого барчонка и вместе удивлялись, что ни один из них не видел, чтобы слепой барчонок хоть раз в церкви перекрестился. Первое, чему учит мать-христианка едва начинающее лепетать дитя свое, это складывать три пальчика, креститься и произносить слово «Бозья».

У бедного Коли рано взяла судьба эту нежную наставницу, а мачеха об этом забыла, и так он, уже двенадцатилетний мальчик, не знал ни одной молитвы и не умел даже перекреститься!

Священник не мог и подозревать этого. Тем более, что священник являлся в доме только в известные дни в году, ему платили, как медику за визит, и больше ничего. И большая часть наших помещиков на таком точно расстоянии,

как и Марья Федоровна, держит сельских священников. Это истинная правда! И это невыразимо грустно!

После обедни [священник] зазвал к себе Колю, познакомил его с своим сыном Ванюшей, годом старше Коли, и, покормивши обедом, дал ему просфирку и наказал няньке, чтобы она его каждое воскресенье приводила к обедне.

Неделю целую Коля почти не спал, все прислушивался колокола. Наконец, дождался: в следующее воскресенье зазвонили к заутредне. Он в восторге закричал: «К обедне! К обедне пойдем, няня». — А няня его спала. Он нащупал ее постель, разбудил ее и просил, чтобы она вела его в церковь.

— Ах ты, полунощник неугомонный! — закричала нянька спросонья. — Какая теперь церковь? Благо слепой, так тебе все равно, ночь ли, день ли.

И, поворотившись на другой бок, сейчас же захрапела. Коля, немного помолчав, принялся плакать и проплакал до благовеста к обедне. Тут снова он принялся просить свою няньку, чтобы вела его к обедне. На этот раз нянька согласилась.

Священник зазвал его после обедни опять к себе, и угощал по-прежнему обедом, и наказывал, чтобы он не ленился посещать храм Божий. Коля сказал ему, что он готов идти в церковь, как только колокол заслышит, но что нянька не хочет его вести. Священник пригрозил няньке, что если она его не будет водить в церковь, то он ей причастия не даст. Нянька испугалась. И с тех пор Коля после нескольких ударов в колокол исправно являлся в церкви.

Прошло не более полугода с тех пор, как Коля начал посещать церковь и священника, как он знал уже наизусть заутредню, обедню и вечерню, несколько десятков псалмов, все воскресные Евангелия и почти все послания апостола Павла. А Ванюша-попович, подруживши с ним, выучил его [читать?] наизусть молитвы утренние и на сон грядущий. А кроме всего этого, он не нуждался в провожатом; он сам ходил и в церковь, из церкви заходил к священнику и от него возвращался в свою конуру совершенно как зрячий, так что няньке оставалось только спать.

Иногда приходил к нему гостить Ванюша-попович и приносил с собою или Псалтырь, или Священную историю. А если была погода хорошая, то они гуляли по саду или купались в пруде.

Так прошло и еще лето. Ванюшу-поповича отвезли в семинарию. Бедный Коля опять осиротел. Зато читал он

наизусть Псалтырь, Священную историю и изучил все тропинки в саду.

Марья Федоровна зорко следила за его необыкновенными способностями и не мешала им развиваться, не видя в том никакого препятствия сделать со временем своего Ипполита настоящим хозяином имения.

Ипполитушка тоже выросстал, как преслаутый богатырь, не по дням, а по часам, и купался, как говорится, как сыр в масле. Зачерствелая ко всему, Марья Федоровна к сыну своему была бесконечно нежна. Позволяла ему все, что только позволяет дитяти глупо любящая мать. Ему уже кончалось десять лет, а мать и не думала начинать его учить грамоте. «Выучится еще, — говорила она соседкам. — Зачем прежде времени изнурять дитя». И дитя продолжало развиваться между няньками и между горничными.

Однажды священник, проэкзаменовав Колю первую кафизму³⁰, заставил его прочитать в церкви в субботу за вечерней. Коля прочитал, как будто бы по книге. В воскресенье прочитал заутреню и «Первый час», а за обедней — «Часы» и 25 псалом³¹. Прихожане и сам священник восхищались чтением Коли. Только некоторые набожные старушки заметили, что хорошо-де слепой барчонок читает, только больно жалостливо.

Церковь для его души сделалась одним-единственным прибежищем, куда он приходил, [как] к самому милому другу, как к самой нежной матери. Возвышенные простые наши церковные напевы потрясали и проникали все существо его. А божественная мелодия и восторженный лиризм Давидовых [псалмов] возносил его непорочную душу превыше небес.

Так укреплялася и мужала его детская душа для грядущих ужаснейших страданий.

Священник, а в особенности причет церковный, любил его, как безмездного и самого усердного помощника. Часто, например, случалось, что он придет и сидит около колокольни во ожидании вечерни или заутрени. Пономарь, приняв благословение от священника на благовест к вечерне, идет, отпирает церковь, а его посылает на колокольню благовестить. Он и благовестит себе, пока трижды пятидесятый псалом³² не прочитает.

Или случится покойник в селе, дьячка просят Псалтырь прочитать над покойником, а он попросит Колю. И Коля, взявшись за полу или за палку, идет за мужиком, куда его

приведут; придет, станет, прочитает «Трисвятое», «Приидите» и начнет с «Блажен муж»³³, даже до «Мал бех»³⁴, — хоть бы тебе в одном слове ошибся! А старушки, слушая его, плачут, потому что он читал чрезвычайно выразительно и в голосе его было что-то задушевно-трогательное.

Как же его было не любить причетникам?

А бывало, настанет Великий пост, то он [по] целым дням и домой не приходил. Зайдет, бывало, к дьячку или священнику, пообедает, а там, глядишь, и на повечерие пора благовестить. А после благовесту становится посередине церкви и начинает читать большое повечерие. И когда дойдет до «С нами Бог», остановится, переведет дух и чистым сердечным тенором с расстановкою прочитает: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог»³⁵.

Без сердечного умиления слушать нельзя было, когда он прочитывал эту молитву.

После повечерия, когда священник прочитал отпуск и Коля вместе с дьячком и священником тихо и уныло пел: «Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь Божия»³⁶, — редкий из прихожан, выходя из церкви, не заплакал.

Марья Федоровна видела в Коле слепого идиота и больше ничего. Не мешала ему хоть, ежели хочет, даже и поселиться на колокольне. Одевала она его, по ее мнению, для слепца даже франтовски, т. е. две пары демикотонного платья в продолжение года, полдюжины рубаш домашнего холста и прочее. Чего ж больше! Квартира — целый флигель. По ее выражению, хоть собак гоняй. Одно только, что Бог зрение отнял, так она этому не причина.

Соседки сначала говорили ей, что не мешало бы его отдать в институт слепых, все-таки лучше.

— Э, матушка! — отвечала она им. — Зрения ему не возвратят, а слепого чему они его научат?

Соседки, разумеется, противуречить не смели ей и единоголосно соглашались с такими практическими доводами.

Вследствие такой-то политики Коля был предоставлен на произвол случая. И хорошо. Случай сроднил его невинную, восприимчивую душу с святыми словами и звуками. И он, возвышаясь духом в звуках божественной гармонии, был тысячу раз счастливее тысячи тысяч зрячих людей, чего, разумеется, Марья Федоровна не могла подозревать. А иначе она, пожалуй, запирала бы его в своей конуре на время богослужения.

Так как для него не существовало дня, то Коля часто проводил летние ночи или в саду, или под колокольнею, читая вслух свой любимый псалом: «Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие»³⁷.

Крестьяне сначала боялись ходить ночью мимо колокольни, думали, что мертвец какой-нибудь неотпетый сам по себе отходную читает. Но после, когда узнали, что это слепой барчонок пробавляется, то проходили в полночь мимо церкви, даже и не крестились.

Некоторые, разумеется более или менее независимые, а потому и дерзкие, вольнодумки-соседки напоминали иногда Марье Федоровне, что Ипполитеньке уже четырнадцатый годочек, что пора бы его уже и грамоте учить. «Дуры вы, — думала Марья Федоровна, — с своею грамотою; ведь он столбовой дворянин, помещик — да еще и помещик какой! 1000 душ чистогану. Не по-вашему — три с половиною души, да и те три раза заложены и перезаложены. Вот оно что. К нему, неграмотному, вы же, грамотные, придете да в ноги поклонитесь».

Таковыми видимыми аргументами доказывала она бесполезность грамоты для своего милого Ипполитеньки. Однако ж, как ни глубоко она веровала в свои доводы, а все-таки в одно прекрасное утро послала в экономическую контору за писарем Федькою и велела ему учить Ипполитеньку грамоте. «Так, для проформы», — говорила она.

Ипполитушка, кроме того, что был самый избалованный ребенок, оказался еще и необыкновенно туп. Ученику, разумеется, ничего, а крепостного учителя таки частенько водили на конюшню. (А на конюшню известно зачем водят.) Бедный Федька мучился, мучился с своим пустолобым учеником, наконец, хватился за ум. Однажды Ипполитушка в числе игрушек принес в учебную комнату и несколько медных пятаков. Федька смекнул делом. Расспросил у ученика, откуда он взял эти кругленькие игрушки, и тот сказал ему, что у маменьки под кроватью полный мешок лежит этих игрушек.

— Так вот что, Ипполитенька, — сказал вкрадчиво Федька. — Хотите вы совсем не учиться?

— Хочу, — отвечал ученик весело.

— Так подарите мне сегодня эти игрушки и ступайте гулять на целый день. А завтра, когда придете учиться, то приносите еще, и, если можно, захватите побольше. Только

смотрите, чтобы маменька не видала, а то она все-таки будет заставлять вас учиться.

Напрасно наставник хлопотал: ученик уже давно имел ясное понятие о художестве, называемом воровством. Нянька Аксинья уже года три как пользуется от своего питомца краденым сахаром, конфетами и разными лакомствами, в том числе изредка и медными круглыми игрушками. Следовательно, предосторожности были совершенно лишние.

На другой день, по условию, ученик принес учителю штук десять пятаков — и был свободен от ученья. На третий день сумма была увеличена, на четвертый день тоже. День за днем продолжалось то же и то же — так что к концу месяца мешок уже был пустой.

Когда объявил ученик своему наставнику об этом истинно печальном происшествии, то наставник, подумавши немало, сказал:

— А не заметили ли вы, Ипполит Иванович, где у маменьки хранятся такие же игрушки, только беленькие?

— Не знаю, не видал! — отвечал ученик.

— А когда не знаете, так садитесь учиться!

— Я завтра же узнаю, — завопил испуганный ученик, — и принесу тебе сколько угодно, только не учи меня.

— Хорошо, посмотрим. Идите гулять, только помните: до завтрашнего дня.

А на завтрашний день понадобились на что-то медные деньги Марье Федоровне. Она к мешку, а мешок пустой.

Горничных и нянек налицо. Явились те и другие.

— Вы! — говорит Марья Федоровна, — такие и сякие, деньги из мешка вытаскали?

— Нет, барыня, мы и не видали.

— Розок! — крикнула она лакею.

Явились розги и еще два лакея. Началась пытка. Перебрали всех. Аксиньи не было дома, послали и за ней. Приходит Аксинья и говорит: «Да вы, — говорит, — барыня, за что людей мучите? Барчонок-то деньги перетаскал своему учителю».

Дорого же поплатилась бедная Аксинья за свою дерзость. Ей было отпущено вдвое против прочих.

Отпустивши горничных, Марья Федоровна пошла по комнатам искать Ипполитеньку. Но Ипполитенька, как ни был туп, смекнул, однако же, что недаром девки благим матом завывали, и, не дожидаясь конца вытью, убежал в сад. После

тщетных поисков в комнатах Марья Федоровна разослала всю дворню и сама пошла искать Ипполитеньку. А он, не будучи дурак, пока есть не хотелось, сидел в кустах, а когда увидел, что обед пронесли к слепому Коле, и себе пошел к нему во флигель и без церемонии истребил его скудную трапезу. Но, увы! Тут его за трапезою и накрыла сама Марья Федоровна.

И досталось же бедному Коле за укрывательство вора! Кроме ругательств, попреков и угроз, ему не велено было давать ничего, кроме куска черного хлеба и ковша воды, впредь до разрешения.

Нежно, ласково, настояще по-матерински, выведала Марья Федоровна от Ипполитеньки, когда и кому он отдавал деньги. И, узнавши все обстоятельно, велела Федьку-наставника выпороть хорошенько и отдать на скотный двор до Кузьмы и Демьяна. А там в город, да и в солдаты. Сказано — сделано.

Теперь оставалось подумать о Ипполитеньке, что с ним делать. Ведь ему уже шестнадцатый год пошел, а эти изверги его в деревне, пожалуй, испортят. Нужно отвезти его в Петербург и отдать в какой-нибудь благородный пансион. Так думала Марья Федоровна, так и сделала.

Оставивши наказ, или инструкцию, приказчику насчет управления имением, она вооружила снова ремонтерскую бричку и, взявши милое чадо свое и любимую его няню Аксиною, отправилась в Петербург, не простившись даже с самыми близкими и самыми долготрапезными соседками своими.

Теперь ей незачем сообщать им, куда она намерена отдать своего сына на воспитание. Да и то еще: их, пожалуй, пригласи, а они проведуют еще как-нибудь о поступке Ипполитеньки. Тогда на всю губернию ославят вором, а того, дуры, не рассудят, что он еще дитя!

Приехавши в Петербург, она остановилась не на Песках, как можно было предполагать, а в Ямской слободе³⁸, около церкви Ивана Предтечи³⁹, на постоялом дворе.

На другой день она отправилась сама поискать квартиру, потому что на постоялом дворе и неудобно, и грязно, а главное, дорого; она же намеревалась остаться в Петербурге по крайней мере года два, если не более.

Выйдя за ворота, она перекрестилась на церковь (с некоторого времени она сделалась чрезвычайно набожна) и, не переходя Лиговки⁴⁰, пошла к Знаменью⁴¹. У Знаменья оста-

новилась, посмотрела вдоль туманного Невского проспекта, помечтала немножко о своем давно прошедшем и, перейдя Невский проспект, пошла на Пески, прямо к известному домику с четырех окнах с мезонином.

В одном из окон этого домика торчала на болванчике та же самая шляпка, что торчала и назад тому десять лет. А в прочих окнах торчало по девушке, как будто они десять лет и с места не сходили. В числе этих девушек была и Лиза; но уже не та восьмилетняя, рябенькая, безмолвная Лиза. А сидела у окна, сложа руки и опустила на высокую грудь кудрявую прекрасную голову, девятнадцатилетняя, вполне развившаяся, как роза, пышная красавица.

На свежем, молодом ее лице и следов не осталось прежних рябин, нужно было близко и внимательно присматриваться, чтобы их заметить.

В то самое время, как проходила мимо окон Марья Федоровна, Лиза подняла свои длинные бархатные ресницы, взглянула в окно и побледнела. Она, бедная, узнала свою мачеху. И ей разом представилося все ее горькое, гнусное прошедшее.

Она закрыла лицо руками, хотела встать со стула, но не могла. Приподнялася еще раз — и без чувств повалилася на пол.

Подруги подняли ее и унесли за ширмы.

Марья Федоровна, проходя мимо окна, и не подозревала, что она была причиною такой катастрофы. Она вошла себе спокойно на давно знакомый ей дворик, подошла к известной лачуге близ помойной ямы и постучала в маленькую, наскоро сколоченную, но уже весьма ветхую дверь. Дверь с каким-то дребезжаньем отворилась, и перед нею явилась Юлия Карловна с опрокинутою чайною чашкою в руке. (Юлия Карловна к бесчисленным своим профессиям прибавила еще одну — гадание на кофе.) После первых ахов на пороге Марья Федоровна была введена в хижину, и тут же торжественно старые приятельницы поцеловались.

Когда Юлия Карловна пришла в себя от внезапного потрясения и усадила свою дорогую гостью на полусломанном стуле, тогда представила ей молодую, стройную и весьма бледную девушку с черными большими и заплаканными глазами, всю в черном.

— Рекомендую вам, — сказала Юлия Карловна, обращаясь к Марье Федоровне, — моя хорошая, можно сказать,

приятельница, мамзель Шарнбер, тоже моя землячка, только по отце. Из хорошей фамилии. Я им сейчас гадала на кофе, и так прекрасно, так прекрасно выходит, что лучше требовать нельзя, а они все не верят и плачут.

— Я уж два года верила, — тихо проговорила девушка.

— Так как же, матушка, и по десяти лет ждут, да не плачут, — с неудовольствием проговорила Юлия Карловна. — Что ж делать? Такая ваша судьба. А коли наскучило так дожидаться своего суженого, то я давно предлагаю, переходите ко мне в дом. Если не хотите вместе с барышнями, то займите мезонин. Я с вас не бог знает что возьму. И мне прибыль, и вам не в убыток.

Девушка заплакала и едва проговорила: «Прощайте!» — вышла из комнаты.

— Прощайте. Заходите завтра. У меня будет свежая гуца, я вам еще поворожу, — говорила Юлия Карловна, провожая свою пациентку глазами. И когда та притворила за собою дверь, Юлия Карловна прибавила:

— Больно горда! Подожди еще годик-другой своего возлюбленного, небось переменишься, проситься будешь — не пуцу, черт ли тогда в тебе. Ты и теперь смот[ришь] старухой, а тогда на тебя никто и взглянуть не захочет.

— Вот, Марья Федоровна, вот где истинное несчастье, — обратилась она к своей гостье, как бы умоляя о сострадании. — Видели вы? Ведь, можно сказать, красавица собою, благородных родителей дочь. И пропадает, ни за что пропадает, и так-таки и пропадет. А кто? Сами же родители и виноваты, никто другой!

Жили они, матушка вы моя, в Кронштадте⁴² при должности, и при хорошей должности, при каких-то магазинах. Каждую неделю вечера давали. И повадился к ним в дом какой-то мичман. Ну, известное дело, молодой мужчина, молодая девушка, увиделись раз, другой и влюбились друг в друга. А там и до греха недолго. Так и случилось. Бывало, в доме танцы да плясы, а они незаметно выйдут на двор или на улицу, да укроются шинелью, да воркуют, что твои нежные голубки. А мать-то сама, чай, с молодыми офицерами амурничает. Я отца и не виню. Не мужское дело смотреть за дочерью. А мать, мать всему причина. Она видела, старая дурище, что молодой человек около дочери увивается. Что бы спросить: «А что тебе, голубчик, надо? Когда так только, куры-муры, так вот тебе и двери. А коли на сурьез пошло,

женись». А то думают: «Ничего, пускай себе молодые люди побалуют. Он человек благородный, лишнего себе ничего не позволит». А вот он и не позволил, благородный-то человек. Дело-то сделал, да и перевелся в Астрахань⁴³ или куда-то еще дальше. А сами-то тогда только заметили, когда начали соседи пальцами на дочку показывать. А вечер-то сделают, залы осветят, а гостей-то никого, разве два-три пьяные ластовые⁴⁴ забредут. Видят, что дело-то плохо, давай из Кронштадта убираться. Теперь вот в Петербурге и проживается без места. А она, дура, ворожит. Да, много я тебе выворожу! Приедет он тебе сейчас, держи карман! Не видал он, вишь, краше тебя. Говорю: «Переходи ко мне, пока еще хоть что-нибудь осталось». А то так ведь состарится. Ох, горе, горе, как подумаю! — прибавила она со вздохом.

— Вот что, Юлия Карловна, — сказала Марья Федоровна после долгой паузы. — Я к вам имею великую просьбу.

— Какую, Марья Федоровна? Все на свете для вас!

— Найдите для меня небольшую квартирку, так комнатки три. И, если можно, чтобы близко был какой-нибудь благородный пансион. Я, знаете, привезла сына.

— Есть, есть благородный пансион. Мадам... мадам... как бишь ее... квартира... квартира... — И она начала считать по пальцам дома всего квартала, в котором находился благородный пансион мадам N. — Ну, да как-нибудь найдем, — прибавила она, подобострастно глядя на Марию Федоровну.

— Вы мне сделаете большое одолжение. Только не больше — комнатки три. Я совершенно разорилась, совсем теперь без денег. Скотские падежи, да неурожаи, да пожары совсем меня доконали. — И Марья Федоровна чуть-чуть не заплакала.

— Ах! да! — сказала она после длинной паузы. — Чуть-чуть было не забыла. Ну, что моя Акулька у вас поделывает? Я думаю, уже большая выросла?

— Пребольшущая! И какая мастерица! И какая красавица, просто прелесть! Только она что-то все сучает.

— Молода, ничего больше. А вот что, Юлия Карловна, не сделаете ли вы ей партию? Она мне теперь не нужна. Я буду жить в Петербурге, а здесь своя швея только лишняя тяжесть. Сами знаете.

— Партия-то ей давно находится, только я без вас не смела, а написать вам — не знала куда: адрес, что вы оставили покойной Каролине Карловне, затерялся, так вот и не знала,

что делать, пока вас самих Бог не принес к нам. А партия вот такая, — продолжала она. — Кухмистер, на пятьдесят человек стол содержит, все чиновники, по пяти целковых в месяц. Шутка, какой капитал. Так нет, не хочет. Примазывается еще к ней какой-то пьянчужка чиновник, правда, молодой человек, только, видно, голь-голо. Не знаю, так ли он к ней приходит или и впрямь сватать хочет, не знаю.

— Лучше было б, если б за кухмистера, верный кусок хлеба по крайней мере. Ну, а когда не хочет, так, пожалуй, и за чиновника. Я, пожалуй, и приданое маленькое могу дать. Устройте это дело, Юлия Карловна, я вам буду весьма благодарна.

— Постараюсь для вас, Марья Федоровна, непременно постараюсь. Куда же вы?

— Я пойду, мне пора. — И Марья Федоровна начала собираться.

— Да подождите минуточку, сейчас кофе будет готов.

— Нет, благодарю вас. Другой раз. Прощайте! Не забудьте же насчет квартиры.

— Не забуду, не забуду, Марья Федоровна!

И приятельницы расстались.

Возвратясь на квартиру, Марья Федоровна застала своего Ипполитушку играющим в бабки с дворниковым белокурым румяным мальчуганом. Это был первый урок на поприще образования Ипполитушки. Он этого великого искусства во всю жизнь бы не мог постигнуть в деревне, а в столицу не успел приехать, как на другой же день постиг, что такое значит свинчатка⁴⁵.

Дня через два понаведальась Марья Федоровна к своей приятельнице узнать насчет квартиры. Квартира была приискана усердной Юлией Карловной именно такая, какая ей была нужна: и светленькая, и уютненькая, а главное, дешевенькая и почти рядом с благородным пансионом, т. е. с приходским училищем.

Выпивши чашку кофе, или, лучше сказать, цикорию, у своей приятельницы, они пошли посмотреть квартиру. Проходя через дворик, они услышали в модном магазине дребезжащие звуки фортепьяно и пронзительно визжащий женский голос и вторивший ему хриплый мужской бас, твердо и внятно выговаривавший слова песни:

Во лузах, лузах, лузах,
В монастырских лузах⁴⁶.

Приятельницы переглянулись и, улыбнувшись, вышли на улицу. Дорогою Юлия Карловна жаловалась на неприятности и хлопоты, сопряженные с подобным заведением, особенно в таком захолуствии, как Пески, куда порядочный человек боится и заглянуть. «Хорошо еще, — говорила она, — если эти беспокойства вознаграждаются, а то хоть ваша Лиза, то бишь Акулька, бог ее знает, что с нею сделалось: совершенная деревяшка — ни приласкаться, ни слова сказать, сидит себе, как заколдованная. Я не знаю, что с ней и делать. Ни себе, ни людям, только даром хлеб ест».

— Замуж, замуж ее, Юлия Карловна, — говорила Марья Федоровна. — И чем скорее, тем лучше.

— Да кто возьмет ее из такого места?

— Возьмут, только посулите приданое. А уж как бы я вам была благодарна, Юлия Карловна, если бы вы ее хоть как-нибудь пристроили. Да... — как бы вспомнивши, прибавила Марья Федоровна. — О чем думала, то и забыла. Нет ли у вас, Юлия Карловна, знакомого какого-нибудь чиновника, мне нужен стряпчий, только, знаете, недорогого, потому что дело грошовое, из одной амбиции тягаюсь, уступить не хочется.

— А как же, есть, есть. Прекрасный человек, а уж делец какой, так просто прелесть. Только немножко горького придерживается. Ну, да это ничего, кто его теперь не придерживается? Да если бы не он, не сдобровать бы мне с вашей Ли... Акулькой.

— А что такое?

— Да помните, моя товарка, с которой мы вместе магазин содержали, дитя наговорило ей бог знает чего, а она сдуру и ну... Чуть-чуть было не утопила, да, слава Богу, умерла. А все-таки я благодарна Кузьме Сидорычу.

Марья Федоровна шла молча, как бы что-то соображая, и, перейдя на цыпочках грязный переулок, обратилась к Юлии Карловне [и] сказала:

— Ведь у меня дело самое ничтожное. Нет ли у вас какого-нибудь простого писаря? Я сама буду ему говорить, что писать.

— Есть и писарь, из самого главного штаба. И уж как он за вашей Акулькой ухаживает, так просто прелесть. А знаете что? — прибавила она, подумавши. — Чего долго хлопотать? Вы посулите ему что-нибудь, вот вам Акульке и карьера.

В это время они подошли к весьма не новому домику с билетиком на воротах, который гласил, что здесь отдается

квартира и угол. Они постучали в затворенную калитку. На стук вышла, вместо дворника, дряхлая старушка в чепце и впустила их во двор.

Квартира оказалась как раз по руке Марье Федоровне: и светленькая, и уютненькая, точь-в-точь как говорила Юлия Карловна. Только одно... немножко дороговато: десять рублей серебром в месяц с дровами. Этак недолго, пожалуй, и покотиловку проживешь. Она попробовала было заговорить с хозяйкой дома о том, что она почти нищая, что она вдова беззащитная. Но хозяйка была непоколебима, а чтобы скорее покончить, она сказала, что она сама сирота бесприютная и вдова беззащитная и что ей укрывать и кормить не из чего. «И если б вы были не женский пол, а мужской, то и за двадцать бы целковых не пустила, потому что наше дело женское, все случиться может».

Марья Федоровна молча вынула рубль и, отдавая хозяйке, сказала сухо: «Квартира за мной, я завтра переезжаю».

И, действительно, на другой день она угощала уже Юлию Карловну хоть и жиденьким, но настоящим кофе у себя на новосельи.

Аксинья, нянька, успела уже поссориться с хозяйкой, а Ипполитушка, упражняя свои руки в метании бабки, выбрал мишенью белого петуха, тщательно перебиравшего мусор на дворе. Удар был просто гениальный. Бедный петух только крыльями судорожно потряс и тут же ноги протянул.

— Ай да свинчатка! — воскликнул Ипполит в восторге. — Недаром маменька гривенник заплатила!

О трагической кончине белого петуха быстро дошли слухи до ушей хозяйки. В доме поднялся содом, и такой, что если б не посредничество Юлии Карловны, то Марье Федоровне пришлось бы [в] тот же день очистить уютненькую квартирку. Дело, однако ж, кончилось полтинником.

Это неприятное происшествие имело ту свою хорошую сторону, что оно напомнило Марье Федоровне о том, зачем она приехала в столицу. Она тут же обратилась к Юлии Карловне и просила ее, чтобы она завтра же, если можно, прислала к ней на дом какого-нибудь учителя из благородного пансиона, что она намерена сначала дома, приватно Ипполитушку приготовить, а потом уже совсем в пансион отдать.

Сказано — сделано. На другой же день явился педагог из приходского училища, и уговорились они, чтобы Ипполитушка ходил к учителю на квартиру до обеда и после обеда,

что для него будет так веселее, потому что у педагога училось на квартире еще несколько мальчиков.

И это дело кончено. Теперь оставалось еще одно и чуть ли не самое трудное. Марье Федоровне необходимо нужно уведомить письмом одну свою protégé⁴⁷, соседку, о смерти Лизы, случившейся как раз в день ее приезда в Петербург. Кто же ей напишет такое хитрое письмо? Самой написать, так, пожалуй, засмеют, потому что она едва может кое-как свою фамилию нацарапать. Просить рекомендованного писаря ей бы не хотелось, тем более что он еще и знаком с Лизою, хоть он и не знает, что она Лиза, а черт его знает, может быть, и знает! Нет, ему нельзя доверить такую важную корреспонденцию.

— Ах я дура! — воскликнула Марья Федоровна после долгого размышления. — Да чего же я думаю? А учитель-то на что?

Сейчас же послала Аксинью просить учителя к себе. Когда тот явился, то она, под видом испытания, просила его написать коротенькое письмо, а [о] чем писать, то рассказала ему на словах.

Педагог выслушал и, подумавши немало, сказал:

— Тема сурьезная, нужно обдумать. Я сначала так только набросаю, а потом уже, если опробуете, то и перебелю. Завтра будет готово!

— Хорошо, так вы принесете ко мне, когда будет готово. И они расстались.

Через день или через два явился педагог к Марье Федоровне с великолепною рукописью под мышкой. Хозяйка просила его садиться, он смиренно сел на стул и развернул манускрипт, образец каллиграфии. Марья Федоровна, полюбившись почерком, просила педагога прочитать. Он прочитал или, лучше сказать, продекламировал свое произведение. И когда кончил, то не без самодовольствия взглянул на Марью Федоровну и почтительно передал ей рукопись.

Марья Федоровна осталась письмом весьма довольна и, позвавши Аксинью, приказала ей сварить кофе. А в ожидании кофе просила еще раз прочитать письмо, только не так громко.

Ободренный столь лестным вниманием, он прочел еще раз, правда, без того сильного выражения, но зато с более тихим и глубоким чувством. Так что когда он прочитал фразу: «И ее милый взор скрылся от меня навеки», — то Марья

Федоровна даже платок поднесла к своим глазам. Это, разумеется, не ускользнуло от взоров счастливого автора и было для него паче всяких благодарностей.

Марья Федоровна, угостивши сочинителя, попросила рукопись себе на память, а за труды предложила ему (правда, дорогонько, но ведь он не простой писарь) рубль серебра. Сочинитель великодушно отказался, сказавши, что он награжден ее благосклонным вниманием выше всякой награды.

Отпустивши еще несколько любезностей насчет чувствительности сердца и образованности ума своей покровительницы, т. е. Марьи Федоровны, педагог раскланялся и вышел.

На другой день Марья Федоровна сама понесла письмо на почту и там уже поймала какого-то почталиона, и попросила его взять штемпельный конверт и запечатать письмо и адрес написать.

— И эта забота кончена, — сказала она, выходя из почтамта.

Теперь осталась одна, последняя и самая большая забота — устроить карьеру Лизы, и тогда она совершенно спокойно может заняться воспитанием Ипполитушки.

Время шло своим чередом. Прошло уже полгода, прошло и еще несколько месяцев, а карьера Лизы все еще не сделана. Юлия Карловна ежедневно заходит к Марье Федоровне на чашку кофе и сообщает ей самые неинтересные новости, а о свадьбе Лизы никогда ни слова. Самой же ей заводить речь не хотелось, чтоб не показать виду, что ее это интересует. Правда, она намекала несколько раз, так, мимоходом, и Юлия Карловна тоже отделялась мимоходом. Она не знала, наконец, что и подумать.

А Юлия Карловна тем временем увивалась около нее, как около золотого истукана, восхищалась познаниями и досужеством ее ненаглядного, уже богатырски сложенного юноши, но все это делалось совершенно по-пустому: Марья Федоровна хотя и частенько получала из деревни деньги, но ей показывала только с пятью печатями пакеты и отделялась чашкою кофе и куском пирога по воскресеньям.

Юлия Карловна терпела и ждала, а на досуге благовестила в своем квартале, что приятельница ее Марья Федоровна не кто иная, как генеральша и темная богачка. Вследствие таких слухов у Марьи Федоровны образовался порядочный кружок знакомых и даже приятельниц. Правда, иные из них,

увидевши, что генеральша дрожала над куском сахара и чашкой кофе, сочли за лучшее не поддерживать такого высокого знакомства; другие же, в том числе и Юлия Карловна, держались правила — терпение все преодолевает. Правило это не совсем, однако ж, оправдывалось: Марья Федоровна была просто, что называется, кремень. Приятельницы, впрочем, не унывали. Они были люди такого сорта, которые, если узнают, что ты человек денежный, хоть ты им своих денег и не показывай, они все на тебя будут смотреть, как на Бога, и молиться и кланяться тебе, как самому щедрому Богу.

Юлия Карловна, однако ж, оказалась не так терпелива, как можно было ожидать от иностранки. Она, не совсем уповая на будущие блага, затеяла историю такого свойства.

После долгих ожиданий и глубоких соображений она сама себе сказала: «Да что же я за дура такая, сижу сложа руки да смотрю на нее? Что я, разве девку-то даром что ли выкормила? Да еще и пристрой, говорит, карьеру сделай — и все это так, ни за грош. Да и девка-то еще бог знает, кто такая, не то Лиза, не то Акулька, сама не знаешь, как и называть». Подождавши еще несколько месяцев, и подождавши втуне, она решилась поближе познакомиться с Аксиньей, горничною и кухаркою Марьи Федоровны, так, на всякий случай, — ее профессия такого свойства, что ей всякое знакомство к лицу. Однажды она так, совершенно случайно, встретила с Аксиньей в мелочной лавочке. И просила Аксинью зайти к ней хоть завтра, если удосужится, хоть на минуточку, что она хочет поговорить с ней насчет одного весьма интересного дела. Аксинья охотно согласилась, но дело в том, что она не знала квартиры Юлии Карловны. Марья Федоровна, в случае крайней нужды, посылала или Ипполитушку на квартиру Юлии Карловны, или сама ходила к ней, но Аксинью не посылала: она боялась, и не без основания, встречи ее с Лизою. Как же быть ей теперь? Юлия Карловна подробно описала ей все улицы и переулки и с мельчайшими подробностями свой домик.

Аксинья, дождавшись воскресенья, пораньше убралася и отправилася к обедне. Все хорошо, все улицы и переулки она помнит, а дом-то она и забыла, как он прозывается; но по приметам кое-как добралась и до дому. А чтобы больше убедиться, что это именно тот дом, который ей нужен, она зашла посмотреть в окна, не сидят ли девушки (одна из главных примет дома). Подошла она к первому окну, взглянула,

видит: наклонившись за какой-то работой, девушка, лицо совсем закрыто. Она постучала в окно с намерением спросить Юлию Карловну. Девушка подняла голову, взглянула на Аксинью и побледнела. Аксинья тоже переменялась в лице. После минутного молчания девушка едва внятно проговорила: «Аксинья!»

Аксинья вздрогнула: ей показалось что-то знакомое и давно забытое в этом голосе. Но она стояла, все еще не раскрывая рта. «Аксинья! — повторила Лиза. — Или это не ты, а только так, сон?..» — «Нет, это я, я, Аксинья, ваша нянька, когда помните». — «Помню! помню!» — проговорила Лиза и выбежала к ней на улицу.

Долго они, обнявшись, стояли на улице, не говоря ни слова, пока одна из подруг Лизы, находя, что подобная сцена среди бела дня и среди улицы неприлична, вышла к ним и уговорила их войти в комнату. В комнате встретила их сама Юлия Карловна, нечаянно тут случившаяся. Юлия Карловна сейчас смекнула, что их оставлять наедине нельзя, потому что они сдуру могут все ее предначертания испортить. А потому она, поздоровавшись довольно фамильярно с Аксиньей, повела их в свою комнату, усадила по углам и принялась варить кофе.

Несколько раз Лиза и Аксинья, глядя друг на друга, принимались плакать. Юлия Карловна, глядя на них, и себе плакала. Когда же они начинали разговаривать, то Юлия Карловна старалась всячески помешать им. Она находила всякое между ими объяснение несоответствующим ее глубоким планам.

Угостивши кое-как кофеешком, она проводила Аксинью за ворота и крепко-накрепко наказала, чтобы она не проговорила, что видела Лизу. «А тебе когда только свободно, заходи к нам, Аксиньюшка!» — прибавила она, прощаясь.

Аксинья, простившись с Лизой, ушла.

Юлия Карловна призадумалась. Позвала Лизу к себе в комнату, посадила около себя и с ласкою кошки начала ее расспрашивать. «Скажи мне, милая Акулина, — говорила она, — что ты припомнишь о себе, когда ты была еще в деревне?»

— Я помню только, что меня звали не Акулькой, а Лизой, что мы жили с братом в одной комнате, что брат мой Коля был несчастный, слепой мальчик и что у него сначала была нянькой вот эта Аксинья, а потом ее мачеха взяла к себе,

а ему, бедному, прислала какую-то злую деревенскую бабу, которая ему есть не давала; так я его, бедного, с нею и оставила. Жив ли он теперь, несчастный? — И Лиза заплакала.

— Ну, а больше ничего не помнишь? — спросила Юлия Карловна.

— Помню еще, и никогда ее не забуду, нашу мачеху. Я здесь ее как-то раз увидела на улице и чуть не умерла со страха!

— А не помнишь ли ты, какой губернии и какого уезда ваше село?

— Ничего не помню.

Юлия Карловна не нашла нужным более продолжать свои расспросы, надела салоп и что-то засаленное, вроде шляпы, выслала Лизу из комнаты, заперла двери и вышла на улицу.

Аксинья, возвращаясь из гостей домой, еще на улице услышала шум из своей квартиры. «Уж не воры ли, Боже сохрани, забрались?» — едва проговорила она и бросилась опрометью в калитку, взбежала на лестницу, отворила дверь. И глазам ее представилась сцена, едва ли когда-нибудь прежде ею виденная, разве мимоходом, и то около кабака.

Разъяренная, как бешеная кошка, с пеною на губах, с сжатыми кулаками, стояла Марья Федоровна в наступательном положении, а против нее в оборонительном положении, в позиции античного бойца, стоял Ипполитушка. При входе Аксиньи Марья Федоровна как бы опомнилась, опустила кулаки и прошептала: «Ах ты изверг!» — и, обратясь к Аксинье, сказала:

— Сходи ты, позови ко мне этого глупого учителя. Хорошему научил он Ипполитушку.

Аксинья вышла из комнаты.

Этой почти трагической сцене предшествовало вот какого рода происшествие.

Отпустивши Аксинью к обедне, Марья Федоровна и сама пошла в церковь. Хотела было и Ипполитушку взять с собой, но у него нечаянно голова заболела, и он остался дома. А оставшись один, он отпер гвоздем маменькину шкатулку (он необыкновенно двинулся вперед на пути просвещения) и занялся отыскиванием в ней того секретного ящичка, в который маменька деньги прячет. Он уже вполне постигал, что такое значат деньги. К тому же он на прошедшей неделе удивительно был несчастлив и в бабки, и в три листика⁴⁸. Пробовал было поставить на кон Греча грамматику⁴⁹,

не берут; попробовал было в орлянку⁵⁰, и тут не повезло; просто хоть в петлю лезь, а в долг не верят. А еще называются друзьями! Пробовал просить у маменьки, и выговорить не дала. Что же ему и в самом деле оставалось делать? Разумеется, красть. А чтобы недалеко ходить, он решился первый этюд сделать над маменькиной шкатулкой, но, как еще неопытный и нетерпеливый вор, поторопился и забыл о мерах предосторожности, т. е. забыл двери на крючок заложить. И в самую ту минуту, когда секретный ящик сделался для него уже не секретным, как в ту самую минуту тихонько вошла Марья Федоровна и остолбенела от ужаса.

Через полчаса явилась в комнату Аксинья, а вслед за нею и педагог в новом вицмундире и с самой праздничной физиономией. Но как же длинно вытянулся этот улыбающийся образ, когда приветствовала его раздраженная, аки львица, Марья Федоровна такими словами:

— Наставники! Прекрасные наставники! Покорно вас благодарю! — И она не могла продолжать от злости. А бедный педагог стоял, разиня рот и вытараща глаза.

— Покорно вас благодарю! — продолжала Марья Федоровна, едва переводя дух. — Да... наставили, научили, просветили дитя! Смотрите, любуйтесь вашим просвещением! Он, мое дитя! мое единственное дитя! по милости вашей, сударь, — вор, грабитель, а того смотри и разбойник! И все-му этому вы, вы одни причиною, вы научили его обокрасть меня и после вам передать украденные деньги.

— Сударыня! — проговорил, задыхаясь, педагог. — Вы лжете! Вы просто бешеная баба и больше ничего! Я с вами и говорить не хочу, прощайте!

И он обратился к двери. Марья Федоровна не ожидала от смиренного педагога подобной рыси и так была ею озадачена, что совершенно растерялась. И пока собралась с духом, педагог был уже за воротами.

— Беги, догони, проси на минуточку, пускай взойдет, — говорила она, толкая Аксинью за двери. Аксинья побежала с лестницы, и она вслед за нею.

Через минуту педагог уже сидел на диване и хладнокровно слушал длинную повесть о подвигах и досужестве гениального ученика своего. Дослушавши с начала до конца сие повествование, он спросил:

— А зачем вы его в продолжение прошедшей всей недели не присылали ко мне учиться?

— Как не присылала? Он каждый день аккуратно ходил к вам. Даже и обедать не приходил домой!

— И в глаза не видал я его с самого воскресенья!

— Где же это ты пропадал, а? — обратилась было Марья Федоровна к Ипполитушке, но Ипполитушки и след пропал.

По долгом рассуждении, как исправить зло, решено было продолжать учение, потому что Ипполитушка, по словам учителя, не утвердился еще в письме и в русской грамматике. А во избежание его несвоевременных прогулок положено было, чтобы Аксинья отводила его поутру в школу и приходила за ним ввечеру.

Так и сделано. В понедельник поутру многие обитатели смиренного переулкa заметили восемнадцатилетнего юношу в курточке а l'enfant⁵¹, идущего в школу, а за ним пожилую служанку, несущую кожаный мешок с книгами и грифельную доску. Пока Ипполитушка ходил один, никто его не замечал, а как пошла за ним Аксинья, все пальцами стали показывать. Странно!

Правильное и однообразное хождение за Ипполитушкою вскоре наскучило Аксинье, и она однажды ему предложила прогуляться в другую школу, т. е. к Юлии Карловне.

Первый визит ему не совсем понравился, хотя его и потчевали леденцами, но зато второй визит пришелся как раз по нем. Юлия Карловна, чтобы свободнее поговорить с Аксиньей, отвела его к своим девицам и строго наказала им, чтобы гость не соскучился. Аксинья насилу могла его вытащить оттуда, так ему понравились девицы. Так понравились, что он начал из школы бегать к прекрасным сиренам.

Сирены вскоре начали просить у него денег за доставляемые ему радости. «Денег? А где их взять, этих проклятых денег?» — так думал он. «Хоть бы маменька скорее умирала, авось-либо не легче ли бы мне было», — так продолжал он думать.

Пока Ипполитушка забавлялся с девицами, Юлия Карловна, угощая цикорием простодушную Аксинью, узнала от нее все, что ей нужно было знать насчет Лизы. Узнала даже и губернию, и уезд, и село как зовут. И, узнавши все это, сообщила своему знакомому писарю из главного штаба, который уже готовился держать экзамен на аудитора⁵².

Будущий аудитор, узнавши такие секреты про свою милую Лизу, чуть с ума не сошел. «Это просто слепая богиня фортуна», — как он выразился в восторге.

На женитьбу, однако ж, Юлия Карловна не иначе согласалась, как только с уступкою половины приданого, которое он со временем получит за Лизю.

Писарь, разумеется, на все согласился беспрекословно.

В заключение она научила его написать просьбу на имя обер-полицмейстера⁵³, и они расстались.

Теперь оставалось уверить Лизу, что Аксинья — баба дура и что она все наврала, что она действительно Акулька, а не Лиза, и не барышня, а настоящая крепостная девка и что ей теперь предстоит такая карьера, что она, если не глупа будет, со временем может быть и высокоблагородной.

— Что ж, согласна ты, Ли... Акулька? — спросила она ее.

— Согласна, хоть за трубочиста согласна. Только не держите меня в этом омуте.

— Вот уж и омуте. Дом как дом. Не узнала еще, что впереди будет.

— Хуже не будет.

— Вот тебе и благодарность. Ах ты негодная! Вишь, отъелася чужого хлеба... потаскушка! Деревенщина!..

И они чуть-чуть не подрались.

Наругавшись досыта, они, наконец, помирились, и, любезно выпивши по чашке кофе, Юлия Карловна наскоро оделася и вышла со двора, а счастливая невеста, оставшись одна, горько зарыдала. Юлия Карловна с доброй весточкой отправилась прямо к Марье Федоровне и застала ее в самом счастливом расположении духа: она получила из деревни порядочную пачку ассигнаций с известием, что слепой барич упал в канаву или в какую-то яму и изломал себе ногу.

После первых лобызаний приятельницы уселись на диване, и Юлия Карловна, немного помолчав, сказала:

— Ну, матушка Марья Федоровна, насилу-то я ее уломала. Вишь ты, за писаря, говорит, не хочу, подавай ей чиновника.

— Ах она мужичка! — проворчала Марья Федоровна. — Вишь, чего захотела, чиновника! А как возьму в деревню да отдам за пастуха на скотный двор!

— Да то ли еще она толкует. Говорит, что она не крепостная девка, а благородная.

Марья Федоровна изменилась в лице.

— Ну, да я ей показала, какая она благородная. Просто-запросто по щекам, да и заставила молчать.

— И прекрасно, — проговорила Марья Федоровна.

— Да вот еще что: жених-то артачится. Меньше, говорит, тысячи рублей не возьму.

— Ах он писаришка! Тысячу рублей за крепостной девкой! Да где это видано?

— Да вишь ты, она и ему натолковала, что она не простая, а благородная.

Марья Федоровна опять смешала[сь] и, подумавши немного, сказала:

— Не возьмет ли он хоть половину?

— Я уже ему семьсот давала, и слушать не хочет.

— Не знаю, как и быть, — проговорила, как бы сама с собой, Марья Федоровна.

— Да как быть? Давайте тысячу, да и концы в воду.

— Хорошо, я согласна, только после свадьбы.

— А он просит теперь же, а без денег и в церковь не идет. А с деньгами хоть сейчас под венец.

— Ну, черт его возьми, отдайте ему деньги, а я вам после возвращу.

— Да у меня и рубля за душою нет.

— Как же нам быть? Разве последние отдать? Да с чем же я сама-то останусь? Ну, дьявол с ним, скорее бы только разделаться. Зайдите ко мне завтра, Юлия Карловна, — прибавила она, как бы опомнившись.

— Хорошо, зайду. Только завтра непременно, потому что в воскресенье можно будет и под венец. А сегодня, знаете, четверг. Нужно поторопиться.

— Так знаете что, зайдите ко мне через час. Или подождите, я посмотрю, не найдется ли у меня дома. — И она ушла в другую комнату. Вскоре раздался звук замка, и Юлия Карловна улыбнулась. Через несколько минут вышла Марья Федоровна с пачкою ассигнаций в руках.

— Как раз только, сколько нужно, — говорила она, отдавая ассигнации Юлии Карловне. Та бережно взяла деньги и, внимательно пересчитавши, положила в свой грязный мешок.

— Теперь милости просим на свадьбу. Приходите хоть в церковь.

— В церковь зайду.

— Приходите. У Знаменья будут венчаться, в 4 часа после обеда.

— Хорошо, непременно зайду.

И они расстались. Юлия Карловна, спускаясь с лестницы, прошептала: «Знает кошка, чье мясо съела». А Марья Федоровна, оставшись одна, свободно вздохнула и тоже прошептала:

— Ну, слава Богу, отделалась.

Отделалась, да не совсем, можно было б прибавить.

Долго ходила она по комнате, заложа руки за спину, как настоящая львица. Потом вдруг остановилась посередине комнаты и со всего размаху хлопнула рукой себя по лбу и вскрикнула:

— Ах я дура!! Аксинья! А, Аксинья! — Вбежала испуганная Аксинья.

— Что ты, дура, глаза-то вытаращила? Беги ворота скорее Юлию Карловну. — Аксинья выбежала.

— Тысячу рублей! Ах я дура, дура... — разговаривала сама с собой Марья Федоровна. — Тысячу рублей! Без расписки, безо всего. И кому же? Какой-нибудь... фи! стыдно и выговорить. Да что это со мною случилось? Нет, она меня непременно околдовала. Ну что, если она отопрется? А отопрется, это я наверное знаю. Ну, да черт с ними и с деньгами, пускай их куда хочет деваает, лишь бы мне эту потаскушку с рук сбыть. А то она у меня как бельмо на глазу... В воскресенье в четыре часа. Пойду, непременно пойду...

И она снова заложила руки за спину и заходила взад и вперед по комнате во ожидании Аксиньи.

А Аксинья между тем, добравшись до дому Юлии Карловны, встретила у самой калитки с Лизою.

— Здравствуй, Аксинья! Как хорошо, что ты зашла, а мне тебя очень нужно было видеть.

— Здравствуйте, барышня! Мне нужно Юлию Карловну!

— Да ее нету дома, с утра еще куда-то ушла... А вот что, Аксинья! Ты говоришь мне, что я барышня, а я такая же крестьянка крепостная, как и ты. Только ты... честная, а я... — И Лиза не могла говорить далее.

— Что вы! Что вы, Лизавета Ивановна! Да вы настоящая честная, благородная барышня.

— Да кто тебе это сказал, что я барышня?

— Ах, Боже мой! Кто сказал! Да разве не сама я вас на руках выносила? Кто сказал! Вот прекрасно!

— А Юлия Карловна говорит, что ты все врешь, что ты меня только смущаешь.

— Смущаю? Вру? Я вру? Да наплюйте вы ей в самое лицо. Я вру? Да я присягу приму. К губернатору пойду.

К самому государю... Вишь, держит благородную барышню, как какую-нибудь, прости Господи, девку непотребную... да я же и вру... Нет, я докажу ей, что я еще не врала.

— Вот что, Аксинья! — перебила ее Лиза. — Ведь она меня замуж отдает.

— Что ж, и с Богом! Святое дело, коли благородный человек, потому что вам не за благородного выходить не годится.

— Он теперь еще так только, писарь. А скоро будет и благородный...

— То-то вот, чтоб непременно был благородный, а то как можно!

— Да я рада хоть за палача, только бы мне вырваться из этого содому... — И Лиза заплакала.

— Что вы! Что вы, барышня! Перекреститесь! Такие слова говорите — за палача.

— Ах, Аксинья! Аксинья! Если б ты знала, что я терплю здесь, ты бы не то сказала.

В это время дверь на улицу растворилась и выглянула на улицу какая-то небритая физиономия в галунах, крикнула: «Лиза!» — и дверь снова захлопнулась.

— Идите, барышня, вас зовут. И я побегу: меня, чай, барыня-то ждет не дождется. Прощайте.

— Прощай, Аксинья! Приходи на свадьбу.

— Приду! Непременно приду! — говорила Аксинья, перебегая улицу.

— Где это ты таскалася? — таким вопросом встретила ее Марья Федоровна.

— Да я ее не догнала. Бегала на дом, и дома нет. Говорят, как ушла с утра, так и не приходила.

— Так ты успела уже и дом ее проведать? Ах ты, негодная тварь! Да знаешь ли ты, что это за дом такой? Потаскушка ты эдакая!

— Дом как дом, ведь туда и Ипполит Иванович изволят ходить...

— Что?..

— Там и наша барышня Лизавета Ивановна живут!..

— Что?

— Я говорю, что там...

— Молчи, язык отрежу!.. Пошла вон!

И Аксинья вышла.

С Марьей Федоровной сделалась истерика. А к вечеру она слегла в постель. На другой день обступили одр ее

бескорыстные приятельницы и посоветовали ей на ночь напиться малины, что она и сделала. Хотя от этого ей ничуть не легче стало.

В воскресенье, однако ж, как ей ни трудно было, она вышла со двора ровно в три часа. Хотела было и Ипполитушку взять с собой, но он ушел к учителю повторять урок. На улице попался ей извозчик (явление редкое на Песках). Она спросила его, что возьмет до Знаменья. Тот сказал ей: гривенник; она выругала его и поплелась пешком. После вечерни часов до шести сидела она у церковной ограды, а о свадьбе и слуху не было. Наконец, она встала и поплелась домой, говоря про себя: «Они в другой церкви перевенчались. Сем-ка я пройду мимо дома Юлии Карловны». И она пошла мимо дома Юлии Карловны. Далеко еще не доходя до дому, она услышала музыку и песни. «Так и есть, свадьба», — подумала она. Она весело подошла к самым окнам. Взглянула в комнаты, и что же она увидела? О, позор и ужас! Ее милый и пьяный Ипполитушка, в разорванной рубашке, без подтяжек и прочего, для чего выдуманы подтяжки, плясал тоже не совсем с трезвою, разухабистою барышнею комаринского под звук унылый фортепьяно. (Вот где он получил первые уроки в сем великом искусстве, которому так чистосердечно удивлялись солдаты в крепости Орской.)

Полюбовавшись на свое милое единственное чадо, на своего будущего помещика, она кое-как перешла на другую сторону улицы и села на панели отдохнуть. В это время калитка отворилась, и на улицу вышла сама Юлия Карловна с каким-то военным писарем. На улице он ловко, настояще по-писарски раскланялся и пошел в одну сторону, а Юлия Карловна в другую.

«Так у них ничего не бывало», — подумала Марья Федоровна и, собравшись с силами, встала на ноги и позвала Юлию Карловну.

Та подошла к ней как ни в чем не бывало. Раскланялась и спросила о здоровьи.

— Здоровье-то мое еще не так плохо, как вы со мною плохо поступаете. Да что и в самом деле, — прибавила она, возвыся голос, — что я вам, дура какая, что ли, далась? Где же свадьба?

— Какая свадьба?

— А что говорили, у Знаменья?

— Ах, да... и забыла. Ну, еще успеем перевенчать, было бы приданое готово.

— Какое приданое?

— Да такое, какое я вам говорила. Тысячу рублей!

— Да ведь я вам отдала.

— Вы мне должны были по контракту. За Акульку и отдали. А теперь припасайте приданое для Лизаветы Ивановны Хлюпиной. Понятно вам теперь?

Марья Федоровна не дослушала и, верно бы, грянулась о мостовую, если б Юлия Карловна ее не поддержала. Всю эту сцену Лиза видела из окна, и когда дошло дело до обморока, то она выбежала на улицу и, подбежавши к трогательной группе, стала пособлять Юлии Карловне приводить в чувство Марью Федоровну.

Придя в себя, Марья Федоровна оглянулась вокруг себя и, не сказав ни слова, плюнула в лицо Юлии Карловне, пошла быстро по улице.

— Что это значит? — спросила Лиза у Юлии Карловны.

— Сумасшедшая, больше ничего!

И они проводили ее глазами до угла переулка и пошли домой.

Марья Федоровна совершенно растерялась. Так часто самый смелый, самый предприимчивый злодей падает духом от одного слова, изобличающего его злодейства.

Она от бешенства рвала на себе волосы, грызла себе руки, была немилосердно Аксинью и проклинала своего милого Ипполитушку, который, во избежание чего-нибудь вещественнее проклятий, несколько дней и домой не являлся, а где он обретался, этого никто не ведал. Наконец она немного поуходилася и серьезно захворала.

Приятельницы снова хором посоветовали ей напиток малины. Она напилася, но малина не помогла, и ромашка тоже не помогла. Приятельницы охали и больше ничего. Так прохворала она месяца два. Приятельницы одна за другою ее оставили. Ипполитушка по несколько дней глаз не показывал, Аксинья одна, как верная собака, ее не оставляла.

А Юлия Карловна с будущим аудитором вот что придумали. Они написали письмо от имени Марьи Федоровны в село к священнику, со вложением пятирублевой депозитки, чтобы он вытребовал из консистории метрическое свидетельство о рождении и крещении Лизы.

Немало удивился отец Ефрем, получивши такое послание. Недавно он читал письмо, исполненное слез и воздыханий о смерти Елисаветы Ивановны, и панихиду уже отслужил за упокой ее души. А теперь требуют свидетельство о рождении и крещении. «Странно», — подумал он и послал пономаря в город за гербовой бумагой, а сам пока рассказал попадье своей о странном приключении. Попадья не замедлила сообщить о сем управительше, а управительша соседке однодворке, а соседка однодворка покровительствующей ей помещице, а помещица помещикам. Так что пока отец Ефрем получил из консистории Лизино свидетельство, то уже вся губерния знала об этом странном происшествии, и всякий, разумеется, толковал его по-своему, но к самой истине никто и не приближался.

Отец Ефрем, получивши свидетельство, отослал его по приложенному в письме адресу, т. е. на имя Юлии Карловны.

Юлия Карловна, получивши сей драгоценный документ, показала его будущему аудитору, и решено было немедленно приступать к делу, т. е. приступить к Марье Федоровне, чтобы выдала еще тысячу рублей на свадьбу.

Сначала написали письмо. Но на письмо ответа не последовало, потому что Марья Федоровна читала только печатное, а скорописному не училась, постороннему же лицу она боялась показать письмо: она догадывалась, что письмо в себе ничего хорошего не заключало.

В одно прекрасное утро Юлия Карловна явилась за ответом сама лично и, после пожелания доброго утра, сказала:

- Я к вам, Марья Федоровна.
- Вижу, что ко мне. А за чем бы это?
- Зачем... гм, зачем? За деньгами, Марья Федоровна!
- Что я вам должна, что ли?
- Должны, Марья Федоровна!
- А много ли, нельзя ль узнать?
- Всего-навсе тысячу рублей!
- Опять тысячу рублей?
- Точно так, Марья Федоровна!
- Ах ты, душегубка! Ах ты, кровопийца! Ах ты...

Тут уж она такие посыпала причитанья, что ни словами сказать, ни пером написать. Юлия Карловна хоть бы тебе бровью пошевелинула, как будто эти причитанья совершенно не ее касались.

— Так вы не даёте тысячи рублей? — сказала она, когда

Марья Федоровна немного поуходилась.

— Не даю! И не даю! — отвечала та.

— Как угодно! Значит, я завтра же могу объявить оберполицеймейстеру насчет Лизы...

Марья Федоровна только взглянула на нее, но не сказала ни слова. Юлия Карловна тоже молчала. Так прошло несколько минут. Потом Марья Федоровна молча встала, сняла со стены образ и, подавая его Юлии Карловне, сказала:

— Клянитесь мне ликом святого мученика Ипполита⁵⁴, что вы завтра же все покончите!

Юлия Карловна произнесла: «Клянусь», — и даже перекрестилась по-русски.

Марья Федоровна вынула из шкатулки пачку дипозиток и, отсчитавши тысячу рублей, молча отдала деньги Юлии Карловне, а та так же молча приняла их, пересчитала и, положивши в мешок, сказала:

— До свидания, Марья Федоровна.

— Нет, не до свидания, а совсем прощайте, я завтра уезжаю в деревню.

— Да вы хоть до воскресенья подождите! В воскресенье непременно повенчаем.

— И без меня повенчаете. Прощайте!

— Ну, как хотите. Прощайте, когда не угодно. — И Юлия Карловна удалилась.

В следующее же воскресенье тихо, скромно совершился обряд венчания в Знаменской церкви. В числе прочих любопытных и Марья Федоровна была в церкви. И когда было все кончено, она подошла к Лизе и поздравила ее со вступлением в законный брак.

Лиза вскрикнула и упала в обморок. А Марья Федоровна скрылась в толпе.

Весело возвратилась она на квартиру и отдала приказание Аксинье собираться в дорогу.

— Довольно, будет с меня, — прибавила она, — навеселилась я в этом проклятом Петербурге. Теперь осталось оженить Ипполитушку, и мое дело кончено, — говорила она сама с собой.

Аксинья, видя доброе расположение своей барыни, попросилась со двора и получила позволение. Марье Федоровне и в голову не пришло, что Аксинья просилась на свадьбу к Лизавете Ивановне.

Свадьба была шумная, и больше всех отличался на свадьбе Ипполитушка. И к рассвету так наотличался, что его тут же и спать уложили.

На другой день Ипполитушка чувствовал себя дурно. И еще дурнее почувствовал он себя, когда ему сказали, что он заложил свой макинтош⁵⁵ Юлии Карловне за три целковых, чтобы сделать подарок невесте. Ипполитушка, подумавши немного, отправился к Юлии Карловне, пал перед нею на колени и вымолил у нее курточку и плащ до вечера только. Юлия Карловна сжалилась.

Кое-как оделся он и вышел на улицу. Куда же теперь идти? Он опять призадумался, и призадумался не на шутку. К матери он боялся глаз показать. А три целковых нужно к вечеру достать. А то Юлия Карловна и на порог к себе не пустит с пустыми руками, а это для него хуже всего на свете.

Думал он, думал, да и выдумал вот такой несложный, а между прочим, верный проект.

«Маменька теперь, — думал он, — уж третий месяц больна и со двора не выходит, следовательно, могут поверить, что она умерла. И если я, не заходя домой, обойду всех ее знакомых и попрошу, кто что может, на погребение матери, неужли не наберу три целковых? У, какой вздор! Да одна майорша Потаскуева даст три целковых. Ура! Прекрасно! Я же тебе докажу, поганая чухонка, что я честный человек».

И, одушевленный этой истинно гениальной мыслью, он почти побежал вдоль улицы.

На другой день, часу в десятом, начали собираться приятельницы на вынос тела покойной Марьи Федоровны. Представьте себе их изумление, когда их встречала мнимая покойница, просила садиться и благодарила за память. Она думала, что приятельницы провели о ее скором выезде и пришли проститься с нею. Вскоре она сильно разочаровалась. Одна, а за ней и другая, а за другой и третья приятельницы не выдержали и высказали настоящую цель своего посещения.

Марья Федоровна, как ни крепилась, однако ж не могла дослушать красноречивую повесть о похождениях своего единственного Ипполитушки. Выгнала вон своих сердобольных приятельниц и послала Аксинью за учителем. Явился скромный педагог. Она попросила его написать объявление в полицию о пропаже сына. Когда объявление было готово, она сейчас же отправила его в часть, а педагогу дала двугри-

венный и просила купить лист гербовой бумаги в 15 коп. серебра.

В тот же день перед вечером дали знать из части о овце обретшейся и спрашивали, что с нею делать. Она этого квартального, который пришел ей дать знать о блудном сыне, просила написать к кому следует бумагу о принятии ее сына в городскую тюрьму на сохранение.

На другой день Ипполитушка путешествовал с шнурком на руке, искусно прикрытым коротеньким плащом, и с полицейским хожалым прямо в Литовский замок.

В тот же день после обеда сидел за столом у Марьи Федоровны смиренный наставник и искусно изображал на гербовом листе прошение на высочайшее имя о написании в рядовые сына Ипполита вдовы помещицы Марьи Хлюпиной за неуважение к матери.

На прошение не замедлило воспоследовать соизволение, и в одно прекрасное утро вышел Ипполитушка из Литовского замка с партией арестантов на Московскую дорогу.

Не успел еще Ипполитушка пересчитать этапов между Москвою и Петербургом, как [к] Марье Федоровне пришел тот же самый квартальный и объявил ей, что она арестована в собственной квартире по предписанию управы благочиния. И это случилось именно в тот день, когда она собиралась оставить навсегда противный Петербург.

Квартальный вежливо раскланялся и исчез, оставив за собою след, т. е. полицейского солдата у ворот.

Неделю спустя после свадьбы Лизу вооружила Юлия Карловна и благоверный супруг ее бойко, четко и дельно написанным прошением и послали в канцелярию министра внутренних дел. Прощение было принято самим министром, рассмотрено и пущено в дело. По справкам оказалось, что прошение, как ни казалось с первого раза неправдоподобным, оказалось истинным. Марью Федоровну арестовали и произвели следствие. По следствию она оказалась преступною в угнетении детей своего мужа и в намерении лишить их наследства в пользу своего сына Ипполита. За все это судом приговорена она к заточению в отдаленный девичий монастырь на вечное покаяние.

Так кончились злые ухищрения Марьи Федоровны, и она теперь, лишенная всего, даже личной свободы, в тесной, мрачной келье издыхает, как отравленная крыса в норе, как выразился автор «Путешествия Гулливера»⁵⁶.

Елисавета Ивановна, приведя дела свои к благополучному окончанию, выехала из столицы вместе с супругом своим, уже не простым писарем, а коллежским регистратором. Юлия Карловна просилась было тоже с ними в деревню, в виде маменьки или хоть ключницы, но ей решительно отказали, и она осталась по-прежнему содержательницей известного заведения.

Во всем уезде или, лучше, во всей губернии была известна история Лизиных грустных походов, вследствие чего чувствительные соседки помещицы встретили ее с распростертыми объятиями, как героиню истинно романическую.

Вскоре заброшенное село начало обновляться. Муж Лизы оказался весьма порядочным человеком, а через год и порядочным сельским хозяином, так что брошенные части хозяйства пришли в движение и приносили свою пользу.

Словом, все воскресло с прибытием Елисаветы Ивановны. Но сильнее всех почувствовал ее присутствие бедный слепой Коля. Она с ним ни на минуту не расставалась, ухаживала за ним, как самая попечительная нянька и самая нежная сестра.

Церковь посещал он по-прежнему и по-прежнему с любовью исполнял обязанности дьячка и пономаря. Это было его самое задушевное и единственное занятие. Часто, возвращаясь ночью поздно от всенощной, он тихо и невыразимо грустно пел:

«Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь Божия, сохрани мя под кровом Твоим»⁵⁷.

1855

20 февраля

КАПИТАНША

В 1845-м, в том самом году, когда наводнением до половины разрушило город Кременчуг, а Крюков¹ остался невредим, а в Киеве так даже к Братскому монастырю вода поднялася², — так в этом критическом году, в конце марта месяца, выехал я из Москвы по Тульскому, тогда только что открытому шоссе³. Ехал я (заметьте, на почтовой перекладной телеге) две недели до Тулы, да до Орла неделю, итого три недели. А что я вытерпел в эти три недели, так этого никакого перо не в силах описать. Одно только скажу вам, что я не из описания какого-нибудь туриста, а из собственного опыта знаю, что стóбит тарелка шей и ломоть хлеба на почтовой станции. То, будучи практически знаком с комфортом почтовых станций, я, выезжая из Москвы, нагрузил порядочную корзину всяким соленым и копченым добром. И что же! Всю эту благодать я должен был бросить на второй станции, т. е. в городке Подольске⁴, потому что все это, и да[же] я сам, окунулося несколько раз в грязной снежной воде. Благоразумие требовало возвратиться в Москву, но поди же ты, толкуй с упрямой головою (между нами будь сказано, я таки не отстал от своих земляков в этой добродетели, т. е. в упрямстве, что мы из вежливости называем силою воли). Итак, от Подольска до Тулы пропутешествовал я на пище святого Антония⁵, а от Тулы до Орла на той же самой пище, потому что город Тула хотя и славится ружьями и гармониками, но колбасною лавкой не может похвалиться; словом, я в Туле, и то с трудом, нашел соленого судака, привезенного с берегов синего Дона, или с берегов Урала, или же с берегов матушки Волги. С таким-то провьянтом доехал я до города Орла. Остановился я было в гостинице, тут же около почтовой станции, да на другой день как пересчитал свою казну, так только ахнул! У меня всего-навсе было наличных трехрублевая депозитка да мелочи два четвертака, а из Москвы я взял с собою ровно сто рублей серебром; с такую суммою

как не доехать из Москвы до Киева? А вот же случилось так, что я только до Орла доехал, а там, т. е. в Орле, и сел, как рак на мели. Я призадумался не на шутку. И после сугубых размышлений пошел я искать постоялый двор. Опять горе — Ока и Орлик⁶ затопили не только все постоянные дворы, но и большую часть самого города. Возвратился я в свой номер еще грустнее, чем из него вышел; в раздумьи сел у окна и смотрю на улицу, а по улице плетется запряженная парюю невзрачных лошадок большая крытая телега, а около нее с кнутиком в руке идет небольшого роста, пузатенький, с рыжей бородкою мужичок. «А, приятель! — думаю себе, — тебя-то мне и нужно!» Я отворил окно и крикнул:

— Эй! Мужичок! Молодец! — Мужичок остановился, снял шапку, и, посмотревши на окна гостиницы, увидел меня и сказал:

— Ты, барин, кличешь?

— Я.

— А что те надоть? — спросил он.

— А вот что. Ты извозчик?

— Вестимо, что извозчик!

— А которой губернии?

— Тутошной губернии, барин. А уезда Митровского⁷.

— А не желал бы ты, любезный, на празднике дома побывать? (Это было на шестой неделе Великого поста.)

— Как не желать, барин. Вестимо, желаю; да как порожнем пустишься один?

— А хочешь, я тебе седока найду до Глухова⁸?

— Как не хотеть. Да мне, пожалуй, хоть и до Москвы.

— Да ты знаешь ли, где Глухов?

— Как не знать. За Митровским. Мы и в Киеве бывали не раз.

— Много ли же ты возьмешь?

— С пуда, что ли, барин?

— Пожалуй, хоть и с пуда.

— По два с полтинкой, барин!

— Хорошо, согласен. Только с тем, чтобы деньги получить в Глухове.

— А задаточку, барин?

— Да там же, в Глухове, и задаточку.

Мужичок почесал в затылке и, посмотрев на меня с минуту, спросил: «А когда ехать, барин?»

— Да, пожалуй, хоть сейчас.

— Сейчас, барин, нельзя. Маненько лошадок покормить надоть.

— Да где же ты их кормить станешь? Как тебя найти?

— Да здесь же, на улице. Вишь, постоянные дворы все залило водою, где кормить станешь? — И, говоря это, он приворотил к забору и начал откладывать лошадки. Я вышел к нему на улицу, осмотрел телегу. Телега была поместительная, крытая сплошь, вроде жидовской брочки.

— Какой же ты товар перевозишь в этой посудине? — спросил я его.

— Да какой товар? Вот теперь хоть и вашу милость повезу. А сюда какую-то барыню привез. Из Митровска. К детишкам, что ли, приехала. В училище каком-то али корпусе, говорит. Да уж и злющая же, Бог с ней, то и дело дерется с девкой.

— А как думаешь, выедем сегодня али не выедем? — Мужичок посмотрел на солнце и сказал:

— Лучше, барин, переночуем.

— Пожалуй, переночуем.

И я от нечего делать пошел шляться по городу. Проходя мимо табачной лавочки, я увидел между выставленными на окне [товарами?] с разными изображениями табачные картузы и гармонику. Я не предвидел большого разнообразия в моем путешествии. Дай-ка, мол, я куплю гармонику, буду хоть детей спотешать на по[стоялых] дворах. Купил я гармонику и возвратился на квартиру. А на квартире, отдохнувши после прогулки, я задал себе такой вопрос: а что если у моего приятеля в Глухове, на которого я надеюсь, как на каменную стену, не случится денег, что я тогда стану делать? Правда, у меня в Глухове есть и другой приятель, на которого наверняка можно рассчитывать, потому что он одной фарфоровой глины продает тысяч на сто в продолжение года, так как на него не понадеяться? Но дело в том, что он пан на всю губу, как говорится. У него к обеду иначе выйти нельзя, как во фраке. А это-то мне и не нравилось. Оно и в сам деле смешно: жить в деревне и наряжаться каждый день, — черт знает что! Хорошо еще, ежели похороны, или свадьба, или другой какой семейный праздник. А так — это больше ничего, как самое нелепое подражание аглицким лордам.

Итак, по долгом размышлении, я написал письмо в Киев и просил, чтоб выслали мне денег в г. Глухов, а адресовали

на имя не того приятеля, что продает фарфоровую глину, а на имя соседа его, ротмистра в отставке такого-то.

Устроивши все, как следует порядочному человеку, я на другой день до восхода солнца погрузился в фургон и благополучно прибыл на постоялый двор, отстоящий от города Орла двадцать пять верст.

Здесь было бы очень кстати описать со всевозможными подробностями постоялый двор; но так как это *tableau de genre*⁹ описывали уже многие, не токмо прозою, но даже и стихами, то я не дерзаю соперничать ни с кем из этих досужих писателей, ни даже с самим гомерическим описанием в стихах постоялого двора, напечатанного, не помню, в каком-то журнале, где и сравнивается это описание с «Илиадою»¹⁰.

В г. Кромы¹¹ мы прибыли ночью и до рассвета выехали; следовательно, о городе Кромах мне тоже нечего сказать, разве только, что за тарелку постных щей с меня взяли полтину серебра, собственно за то, что я не поторговался прежде. Вот все, что я могу сказать о г. Кромах.

Солнце уже довольно высоко поднялось, когда я проснулся в своем фургоне. Проснувшись, я высунул голову посмотреть на свет Божий и спросить у Ермолая (так звали моего извозчика), далеко ли до постоялого двора?

— А вот спустимся за горку, там будет и постоялый двор.

Я посмотрел вокруг, думал, что и в самом деле где-нибудь увижу хоть маленькую горку, — ничего не бывало: равнина, однообразная равнина, перерезанная черною полосой почтовой дороги, утыканной кой-где ракитником и пестрыми столбами, именуемыми верстами.

Незавидный, правду сказать, пейзаж. И если принять в соображение мое небыстрое путешествие, то он покажется даже скучным. Что будешь делать? Читать нечего. Думать не о чем (в то время я повестей еще не сочинял). Вот я полежу, полежу в фургоне, да и вылезу из него, пройду версту-другую пешком, да и опять в фургон, поиграю на гармонике, а Ермолай попляшет. Он почти не садился на облучок, но постоянно шел себе с кнутиком около лошадок, и когда я наигрывал на гармонике, то он принимался плясать. Сначала тихо, потом быстрее и быстрее, а когда приходил в азарт, то, обращая ко мне, почти вскрикивал:

— Почаще, барин! Почаще, барин!

Я ему и почаще заиграю, а он почаще пропляшет, а там, глядишь, и постоянный двор.

Так-то мы с Ермолаем коротали и время, и дорогу до самой Эсмани (первая станция Черниговской губернии)¹². Не успеешь переехать границу Орловской губернии, как декорация переменялась. Вместо раKITника по сторонам дороги красуются высокие развесистые вербы. В первом селе Черниговской губернии уже беленькие хатки, соломой крытые, с дымарами, а не серые бревенчатые избы. Костюм, язык, физиономии — совершенно все другое. И вся эта перемена совершается на пространстве двадцати верст. В продолжение одного часа вы уже чувствуете себя как будто в другой атмосфере. По крайней мере, я себя всегда так чувствовал, сколько раз я ни проезжал этой дорогой. Едучи из Киева через Чернигов, хотя и чувствуешь себя по ту сторону Десны уже не в Малороссии, но там все-таки есть хоть небольшая интонация, а между Эсманью и [Глуховым?] совершенно никакой.

Проехавши версты две или три [за] Эсмань, я увидел вправо, недалеко от дороги, уже не серый бревенчатый, с крепкими воротами постоянный двор, а белую, под соломенной крышей, между вербами, корчму. Вид этой первой корчмы мне напомнил еще в детстве слышанную мною песню, которая начинается так:

Ой у поли верба,
Пид вербою корчма¹³.

Засветла можно было бы еще приехать в Глухов, но мне так понравилась эта корчма, что я просил Ермолая остановиться в ней и переночевать, на что он охотно согласился, потому что в корчме, как он говорил, все дешевле, нежели в городе.

Поравнявшись с самой корчмою, мы остановились, и я увидел человека, не обращавшего на нас совершенно никакого внимания. Человек этот одет довольно странно: в серой солдатской шинели, подпоясанный, вместо пояса, свитым из соломы жгутом, в черной бараньей шапке и с граблями в руках. Я вылез из телеги и, подойдя к нему, спросил:

— Что, ты хозяин?

— Авжеж, хозяин, — отвечал он, едва взглянувши на меня.

— Что же, у тебя сено есть?

— Авжеж есть.

— И овес есть?

— Авжеж есть.

— А поужинать будет ли что?

— Авжеж буде. — И он обратился к извозчику и совсем неласково сказал ему:

— Чого ж ты там стоиш, московська вороно, чому не заизжаеш? — И он пошел отворять ворота корчмы.

Мне понравился мой оригинальный земляк как содержатель заезжего дома на большой дороге. Особенно после орловских дворников, которые встречают тебя за полверсты, снимают шапку, кланяются, божатся, что у них все есть, кроме птичьего молока, а на поверку окажется только овес и гнилое сено, а поужинать или пообедать, особенно в Великом посту, и не думай: подадут тебе щей с вонючим постным маслом, да и сплуют полтину серебра, коли вперед не поторгуешься.

Пока несловоохотный хозяин отворял и затворял ворота своей корчмы, я пошел размять ноги, онемевшие от долгого сиденья.

Корчма была тщательно выбелена, а около окон обведено было желто-красноватой глиной; примыкающий к корчме сарай, или так называемая стодола, тоже аккуратно вымазана желтой глиной; вообще вид корчмы показывал, что через несколько дней будет у людей великий праздник. По другую сторону корчмы я увидел изгородь, примыкавшую к самому строению, — небывалая вещь около корчмы. Я подошел поближе. За изгородью две женщины копали гряды, и одна из них что-то рассказывала, а другая так звонко, чистосердечно смеялась, что я сам невольно рассмеялся. Та, которая рассказывала, была женщина уже не первой молодости, а которая смеялась — только что расцветшая чернобровая красавица и, казалось, была дочерью первой, а не подругою.

Не успел я рассмотреть их хорошенько и послушаться гармонического смеху красавицы, как из-за угла корчмы показался сам хозяин и позвал их в хату варить вечерю. Я и себе последовал за ними в хату. У дверей встретился я с хозяином. Он мне пожелал доброго здоровья и просил войти в светлицу. Я вошел в пространную, чисто выбеленную хату, разделявшуюся во всю длину ее, как стеною, кафельною печью. Около стен кругом стояли лавы, или скамейки, а между ними возвышался дубовый, чисто вымытый стол. На стене в углу висел образ, украшенный свежю вербою и засохшею мятой и васильками.

— Просымо садиться, — сказал хозяин, снимая шапку. — Здесь мы сами живемо, — прибавил он, — а для такого народу у нас есть другая хата.

— А что, хозяин! — спросил я его, садясь на скамье, — Можно у вас достать водки?

— Чому не можно! Вам полкварти чили всю квартиру? — спросил он.

— Хоть полкварти на первый раз.

— Добре, — сказал он и вышел из хаты. Вскоре возвратился он с рюмкою и графином. А за ним шла с тарелкою и полотенцем в руках веселая огородница. Это была самая очаровательная брюнетка, шестнадцати или пятнадцати лет. Стройная, гибкая, как молодая тополь. Волосы ее, густые, блестящие, были повязаны черной лентой и украшены свежим зеленым барвинком.

Она покрыла край стола полотенцем, поставила тарелку с какой-то соленой рыбой, положила на стол два куска белого хлеба и, улыбнувшись, удалилась из хаты. Проводивши глазами красавицу, я обратился к хозяину:

— А что, земляк, не выпить ли нам по рюмке водки?

— Чому не выпить? — отвечал он и сел на скамейке.

Я выпил водки и хозяина попотчевал. Немного погодя, я еще попотчевал его и спросил:

— Ты, кажется, хозяин, служил в солдатах?

— Авжеж служил.

— То-то ты так важно и по-русски говоришь!

— Отак пак! У Владимирской губернии квартировали шесть лет, та шоб не выучиться говорить по-русски.

Добряк не заметил моей шутки. За то я ему налил еще рюмку водки.

— А что, я думаю, ходил и под француза? — Этот вопрос я сделал ему потому, что заметил у него голубую ленточку, нашитую на шинели¹⁴.

— Авжеж ходыв! — ответил он.

— Немало же ты их, проклятых, пересажал на штык?

— Ни одного.

— Отчего же это так случилось? — не без удивления спросил я его.

— Я был музыкантом!

Это меня еще больше удивило, потому что в физиономии его и вообще в приемах не заметно было ничего такого, что бы обличало в нем виртуоза.

— На каком же ты инструменте играл? — спросил я его.

— На барабане, — отвечал он, не изменяя тону речи.

«И на этом звучном инструменте едва ли ты отличался», — подумал я, глядя на его честный выразительный профиль. А он сидел себе на скамье, согнувшись, и болтал ногами, как это делают маленькие дети. Я рассчитывал (и довольно основательно), что услышу от него о каких-нибудь богатырских подвигах во время стычек, о какой-нибудь частной проделке, о которой нигде ничего не прочитаешь, да[же] и в «Записках русского офицера»¹⁵. Ан не тут-то было: он был музыкантом и, вдобавок, не лгуном. Но я все еще не терял надежды. Предложил ему рюмку водки, на что он охотно согласился, и, когда он полосую шинели вытер свои белые усы и крикнул, я спросил его как бы случайно:

— А в немецких землях и во Франции таки довелось побывать?

— Довелось?.. У самый Франции два года кватыривалы.

— Как же ты разговаривал с французами?

— По-французки, — отвечал он, не запинаясь и, немного погодя, продолжал: — Я и по-французкому, и по-немецкому умею. Еще в десятом году, когда йшли мы из-под турка¹⁶, одын венгер выучив мене, царство ему небесное. Я, сказавши правду, по-всякому умею, — прибавил он самодовольно. — Например, стоимо мы лагерем-таки под самым Парижем. Тут и пруссак, тут и цысарець, и англичанин, як той рак червоный, и синеполый швед. И бог его знае, откудава той швед прыйшов! До самого Парижа его не видно было, а тут мов из земли вырос. От воны гуляють по лагерю та меж собою по-своему розмовляють. «От, — говóрять, — дасть Бог, завтра вступимо в Париж, а там, камрад, и махен вейн, и закусымо, камрад, и мамзельхен либер¹⁷, — и всёго вволю». А я хожу соби меж нумы, ус покручую да думаю: «Не хвалитесь, камрады, побачым, що з того буде!» Через день чи через два одилы нас, выстроилы, перевелы через Париж церемониальным маршем, не дали и воды напыться — уже верст 20 за Парижем дали нам дух перевесты. От я подхожу до цысарця та й говорю ему по-цысарскому: «А що, камрад, Париж важный, — говорю, — город, и вейну, и мамзельхен, всего, — говорю, — вволю».

— О, дер дейфель¹⁸, — говорит. — Чтoб он им дотла выгорив!

— То-то, — говорю ему по-цысарски, — не хвалыться було, йдучи на рать...

— А что, земляк, есть какая-нибудь разница между французским и немецким языком? — спросил я его.

— Малность разницы! Так что ежели умеешь добре по-немецки, то и с французом можно поговорить. Малность разницы, — прибавил он, покручивая свои белые усы.

В это время занавеска в нише отдернулась и вошла в комнату со свечой в руках та самая женщина, которую я видел мельком на огороде. Это была по-городскому опрятно одетая, уже немолодая женщина, высокого роста, с живыми черными и глубоко впалыми глазами и вообще приятным и выразительным лицом. Она поставила на стол свечку, взглянула на моего собеседника и, обратясь ко мне, сказала чистым великороссийским наречием:

— Не потчуйте его, сделайте одолжение, а то он вам и отдохнуть не даст. Иди-ка ты лучше ложися спать, — сказала она, обращаясь к нему.

— Мовчы ты, копытанша! ма... — и, минуто спустя, улыбувшись, прибавил: — Матери твойей чарка горилки!

Женщина молча посмотрела на него и скрылась за занавеской.

— Что это, жена твоя? — спросил я его.

— Жена, — ответил он.

— Зачем же ты ее зовешь капитаншею?

— Это я так, жартуючи... А по правде сказать, так вона и есть копытанша. Да еще не простая, а лейб-гвардейская, — прибавил он как бы про себя, и так тихо и скоро, что я едва мог расслышать и понять.

Меня сильно подстрекало расспросить у него, почему она капитанша, да еще и лейб-гвардейская. Но он так невесело опустил на грудь свои белы[е] усы, что мне казался всякий вопрос про капитаншу неуместным и даже дерзким. Недолго мы сидели молча. Из-за занавески явилась опять та же женщина и поставила на стол уху с какой-то мелкой рыбки, очень вкусно приготовленную. Я поужинал, поблагодарил хозяев и пошел в свой фургон спать. Долго я, однако ж, не мог заснуть: мне не давало спать слово «капитанша». Со мною, впрочем, это часто случается, да, я думаю, и со всяким. На каком-нибудь самом простом слове построишь целую драматическую фантазию не хуже прославившегося в этом фантастическом роде почтенного Н. К[укольника]¹⁹. Так случилось и теперь. Слово «капитанша» разделилось у меня уже на акты, сцены, явления, и уже чуть-чуть не развязалась

драма самой страшной катастрофой, как начали смежаться мои творческие вежды, и я заснул богатырским сном.

В продолжение моего путешествия от Орла до этой интересной корчмы я просыпался каждое утро в дороге. Догадливый Ермолай никогда не будил меня, да и незачем было будить. Я вручил ему мою трехрублевую депозитку еще в Кромах, после дорогих щей, и он всю дорогу рассчитывался за съеденное и выпитое мною на каждом постоялом дворе, а [я] себе спал сном праведника и просыпался всегда в дороге. Просыпаясь под стук колес и легкое качанье телеги, иногда снова засыпал и просыпался уже на постоялом дворе.

После неоконченной драмы на слово «капитанша» проснулся я на другой день уже не рано и, к немалому моему удивлению, не чувствовал ни покачиванья телеги, ни холодного утреннего воздуха; прислушивался и не слышал ничего вокруг себя, ни даже постукиванья колес.

«Неужели мы уже проехали станцию? — подумал я. — Да нет, не может быть. Ведь мы должны быть теперь у приятеля моего в деревне около Глухова, а не на постоялом дворе. Да, правда, я ему вчера дорогу не рассказал, а он, дурень, не разбудил меня, когда из корчмы выехал». — Решивши так мудро сей вопрос, я снова было задремал, но Ермолай, вероятно, подслушал мое решение, подошел к телеге и сказал:

— Барин! а барин!

— Что, Ермолай? — отозвался я.

— Вы спите? — спросил он.

— Сплю, — ответил я.

— Пора вставать.

— Хорошо, встану. Не случилось ли чего-нибудь?

— Ничего не случилось, слава Богу, все обстоит благополучно.

— Так что же! Ну, и обедай с Богом!

— Какой тут обед, барин! У нас нечем и за вчерашний ужин расплатиться; я деньги все, и свои и ваши, израсходовал!

— Будто ничего не осталось?

— Ни копейки!

«Плохо», — подумал я и потом спросил Ермолая:

— А лошади у тебя сыты?

— Лошади сыты, дворник ничего не знает, отпускает все, что ни спросишь.

— Хорошо. Поди же скажи ему, чтобы самовар нагрел, я сейчас приду.

Ермолай удалился.

В трактир в Туле приходит ко мне какой-то не совсем трезвый человек и предлагает новое одноствольное ружье за три рубля серебром. Я, чтобы отвязаться от него, посулил ему рубль. Он вышел было за двери, не сказавши ни слова. Немного погодя опять вошел в комнату, спросил меня, что я шучу с ним или сурьезно говорю. Я сказал, что сурьезно. Он немного подумал и сказал: «А коли сурьезно, так вот вам вещь, давайте деньги». Я отдал ему рубль, а ружье положил на столе, и не посмотревши даже на него хорошенько, как на вещь совершенно мне ненужную. Мог ли я предвидеть тогда, что это ружье, почти насильно купленное, разыграет такую важную роль, какую я ему теперь назначил?

Вылез я из своей подвижной спальни, пошел к колодцу, умылся, охорошился кое-как и вошел в комнату. На столе уже стоял самовар, и вчерашняя капитанша вытирала чистым полотенцем большую фарфоровую чайную чашку. Я приветствовал ее с добрым утром, на что она мне отвечала тем же.

— А где же ваш хозяин? — спросил я.

— А он рано еще уехал к помещику, у которого мы эту корчму нанимаем.

— А как прозывают этого помещика, и далеко ли он от вас живет?

— Оставной ротмистр N. N., а живет он почти что около самого города.

«Да это и есть мой приятель, моя единая надежда», — подумал я и, обратясь к хозяйке, спросил, как она думает, скоро ли ее хозяин возвратится назад.

— Я думаю, скоро, если его не задержит Виктор Александрович²⁰. Ему там нечего долго делать — отдать деньги и получить бочку водки. Да вам что его дожидать, вы и со мною можете рассчитаться.

«В том-то и дело, что не могу», — подумал я и вслух прибавил:

— Мне бы хотелось еще раз с ним повидаться и побеседовать. Он должен быть добрый старик!

— Прекрасный человек! — с заметным волнением сказала она.

— Жаль, если я его не дождуся. А впрочем, мне торопиться некуда. Не хотите ли со мною чашку чаю вы[пи]ть?

— Благодарю вас покорно, мы уже чай пили! — [про-] говорила она с едва заметным наклоном головы.

Мне чрезвычайно нравилось в этой простой женщине голос ее, ее простая, грациозная манера и самая безукоризненная чистота, начиная с головного платка до башмака. Пока я придумывал средство, как бы ее задержать в комнате, она сложила и положила на стол полотенце, а сама скрылась за занавеску.

Напившись чаю, я вышел на двор полюбоваться весенним апрельским утром, но это утро уже кануло в вечность, а место его заступил апрельский теплый, прекрасный полдень.

Я обошел кругом корчму и остановился у изгороди. За изгородью, как и вчера, копали гряды мои знакомки. Я обратился с вопросом к старшей.

— Что, это дочь ваша? — спросил я ее.

— Дочь! — отвечала она, но как-то несмело.

— А как ее зовут?

— Елена.

— Елена! — спросил я девушку. — Умеешь ли ты играть на гармонике?

— Нет, не умею, — отвечала она, запинаясь.

— А хочешь, я тебя выучу?

— А где же вы гармонику возьмете?

— Это не твое дело. Ты хочешь ли только учиться?

— Хочу, выучите! — сказала она, краснея.

Я вынес гармонику, и лекция началась. Ученица оказалась весьма понятною, чему мать ее заметно радовалась.

Мы так прилежно занялись гармоникою, что не заметили, как приехал хозяин домой и как, подходя к нам, крикнул:

— Отака ловысь! Люды добри до плащаныци знаменаются, а воны он що выробляють! — И, подойдя ко мне, взял у меня из рук гармонику, повертел ее в руках и сказал:

— Славна штука! Де ви ии купылы?

— В Орле, — отвечал я.

— И дорога? — спросил он, отдавая мне гармонику.

— Рубль серебра я заплатил.

— Гм! А ну, заграй ты, Олено!

Я подал девушке гармонику, и она взяла на ней несколько аккордов. Старик улыбнулся и, обращаясь ко мне, спросил:

— Чи не продажня у вас оця музыка?

— Продать-то я ее не продам, а когда хочет Елена, так я подарю ей эту музыку. А ты, старина, коли хочешь, купи у меня ружье.

Старик задумался, а я продолжал:

— Ружье славное, настоящее тульское.

— А на чорта оно мне, ваше тульское ружье, когда я и стрелять не умею?

Я отозвал его в сторону и объяснил, в чем дело. Он выслушал меня, усмехнулся и весело сказал:

— Олено! музыка наша! Несы в хату!

— Только слышите, — прибавил я, — я гармонику дарю, а не продаю.

— Добре! Добре! — весело говорил старик. — Просымо мылосты в хату. Идите и вы, хозяйки мои нечепурни! — прибавил он, обращаясь к женщинам.

Женщины оставили свои гряды, и мы все гурьбой отправились в хату. Впереди важно выступал наш хозяин. Он был одет уже не по-вчерашнему, в солдатскую шинель, а в синем тонкого сукна жупане, перепоясан красным широким поясом и в черной смушевой высокой шапке. В этом наряде он был похож на старинного малороссийского горожанина или на зажиточного козака.

Мимоходом я шепнул Ермолаю, чтобы он закладывал лошадей, а войдя в хату, я спросил хозяина, застал ли он дома Виктора Александровича. Он отвечал мне, как на самый обыкновенный вопрос, что застал дома и что он собирается к какому-то соседу на праздник. «Сказано, холостой человек, одинокий, — прибавил он, — то ему и праздник не в праздник. Всего наварено, напечено, наготовлено, а ни з ким систы пообидать». — «А вы, добродию, жонаты чи ни?» — спросил он меня.

Я отвечал, что нет.

— Женитесь, добродию, непременно женитесь, бо скучно буде старитысь одынокому.

Пока мы разговаривали с хозяином, хозяйка накрывала стол, а Елена за занавеской играла на гармонике. Когда уже на стол была поставлена водка и закуска, в это время вошел в комнату Ермолай и сказал, что лошади готовы. Я велел ему принести ружье, а тем временем расспрашивал, как ближе проехать к Виктору Александровичу. Хозяин, рассказавши мне со всеми подробностями дорогу, предложил выпить рюмку водки и закусить на дорогу. Я отказался, ссылаясь на Великую субботу, а в сущности потому, что было еще рано. Хозяин отказался от моего ружья и предложил деньги за гармонику. Я, разумеется, тоже отказался. После многих

упрашиваний выпить и закусить на дорогу и что Бог простит дорожному человеку и тому подобное, я, однако ж, не поддался их доводам и простился с ними, как с старыми знакомыми, и поехал искать хутор Виктора Александровича.

Не доезжая версты две до города Глухова, в правой стороне от большой дороги чернеет небольшая березовая роща, а к этой рощице вьется маленька[я] дорожка. Эта дорожка привела меня прямо к усадьбе Виктора Александровича.

Усадьба или хутор Виктора Александровича скрывался, как бы за скромной занавесью, за этой рощицей. Приближаясь к роще, мне послышался какой-то неопределенный шум; шум усиливался по мере моего приближения; еще немного, и я явственно мог расслушать, что шум этот происходит от каскада падающей воды. И, действительно, я не ошибся: между белыми березовыми стволами кое-где просвечивала блестящая вода. Выехавши из рощи, передо мною открылся широкий пруд и плотина, полузакрытая старыми огромными вербами. По ту сторону пруда, почти у самого берега, выглядывали из-за деревьев белые хатки и отражались в воде. Между крестьянскими хатками белела под почерневшей соломенной крышей с гнездом гайстра, или аиста, большая, о четырех окнах, панская хата, или будынок, а перед нею стоит огромный развесистый вяз. За хутором по косогору раскинулся фруктовый сад, окруженный старыми березами. На самом косогоре, на фоне голубого неба, рисовалась ветряная мельница о шести крылах, а влево от мельницы, за пологой линией косогора, на самом горизонте в фиолетовом тумане едва заметно рисовался город Глухов.

Между вербами вдоль плотины медленно прохаживался сам хозяин этого скромного пейзажа, в смушевом тулупе, крытом серым немецким сукном, подпоясанный красным поясом и в черной смушевой шапке. Увидя мой фургон, выдвигавшийся из рощи, он остановился и, заслонив рукою, как бы козырьком, глаза от солнца, смотрел на мой неуклюжий экипаж.

— Виктор Александрович! — закричал я ему, не показываясь из своей буды. Он стал всматриваться еще внимательнее.

— Здоровы ли вы, Виктор Александрович? — закричал я ему, все еще не показываясь.

— Да какая же сатана кричит там и не вылезит на свет Божий? — отозвался он, как бы сердясь.

— Это не сатана, а это я, Виктор Александрович, — говорил я, вылезая из телеги.

— Так ты бы так и говорил! А то кричит, кричит, а не показывается. — И мы, обнявшись, поцеловались.

— Ай да молодец! — воскликнул он. — Ай да козак! Спасибо, спасибо! А я уже думал, что ты непременно обманешь. Думал уже было сегодня на ночь пуститься к Семену Максимовичу праздник встречать, а вот ты и приехал. Спасибо, спасибо тебе, теперь не нужно и фрак доставать.

— Ну, как вы поживаете? что поделываете, Виктор Александрович?

— Да что поделываю! Вот другую неделю, как поднял шлюз, да и гуляю день и ночь на гребле, как собака на цепи. Бог его знает, откуда эта вода прибывает? Так и поддает, и поддает! — говорил он и, взявши меня под руку, прибавил: — Ну, теперь просымо до хаты. — А ты, приятель, — сказал он, обращаясь к Ермолаю, — отправляйся прямо на конюшню, спроси там кучера Артема и бери у него все, чего душа твоя пожелает!

Панская хата, как снаружи, так и внутри, отличалась только своими размерами и ничем больше. Да и сам пан, правду сказать, малым чем разнился от своих подданных; разве только тем, что носил красную шелковую рубашку и черные плисовые шаровары, а по праздникам надевал фрак и ездил обедать к своему церемонному соседу²¹. Больше ничем. Воспитывался он, правда, в Нежинском лицее, в одно время с незабвенным нашим Гоголем, потом служил в каких-то гусарах²², и служил с таким успехом, что и тени в нем не осталось прежнего воспитания. Он уже лет пять как оставил службу, но и теперь непрочь был погусарить при удобном случае и жаловался только на упадок физических сил, т. е. на головную боль после попойки. Но это, я думаю, происходило вследствие недостатка практики. Как настоящий бандурист, играл он на бандуре. И в часы досуга занимался сочинением чувствительных малороссийских романсов, из числа которых один положен на музыку известным нашим композитором Глинкою²³. И чтобы сохранить самобытность в литературе, не читал он ровно ничего, кроме басен Федра, переведенных во время оно знаменитым Барковым²⁴, да еще кое-когда заглядывал в «Царь, или Спасенный Новгород» Хераскова²⁵. Словом сказать, он совершенно оградил себя от всякого подражания на поприще литературы. Для полноты

его характера надо прибавить, что, ведя уединенную жизнь в самых привольных местах для охотника, он был заклятый враг охоты и охотников называл не иначе, как живодерами и псарями.

Приятель мой не отличался изящными манерами и привлекательной наружностью, но в его смуглом, изрытом оспою лице было столько веселого прямодушия, что нельзя было смотреть на него без удовольствия, особенно когда он рассказывал малороссийский анекдот или передразнивал кого-нибудь из своих соседей: самой естественной мимикой владел он в высшей степени.

Был он уже мужчина не первой молодости, но нельзя было назвать его и старым холостяком, хотя он уже и близился [к] категории сих последних. Он так освоился с своим одиночеством, что о женитьбе и помину не было. На современное воспитание барышень вообще и соседок в особенности он смотрел по-своему, то есть косо. И, судя по его оригинальному взгляду на предметы, нельзя было предполагать, чтобы он когда-нибудь женился, а вышло иначе: не дальше как через год после моего свидания с ним он женился, и, как в литературе, так и в этом деле, он поступил самобытно.

Нужно прибавить, что среди своих подданных он был как отец среди семейства: брал от них только то, что ему необходимо было для дневного существования, прихотей же он не знал никаких, и вообще его расходы были чрезвычайно ограничены. С этой стороны он был достоин подражания.

— Бабуся! — крикнул хозяин, войдя в хату. На зов его вошла опрятная, чистенькая старушка в деревенском платье.

— Самовар! чаю! и прочее... догадалась? — Старушка кивнула утвердительно головою и вышла из хаты.

— Какой же ты добрый человек, если бы ты знал, так просто я и сказать не умею! — говорил он, обнимая и усаживая меня на дубовую широкую лаву, или скамью. — Да этакого другого человека и с фонарем теперь не найдешь. Дать слово и сдержать его? Право, не найдешь!

Я молча пожимал ему руку и кивал головою. Пока мы менялись любезностями, а тем временем зашумел самовар на столе и опрятная бабуся вытирала стаканы, а хозяин, оставя меня, принялся раскупоривать бутылку, на ярлыке которой красовались готические буквы, изображавшие слово «КОНЬЯК».

— Жаль, что не застал ты здесь стрелкового батальона, — говорил он, ставя на стол раскупоренную бутылку, — на прошлой неделе выступил только. А что за лихие ребята, большею частию шведы! Чудо, что за народ! Воспитаны, образованы, а уж кутнуть или загнуть угол, так просто что твои гусары. Особенно поручик Штрем, просто гениальная голова!

Пока он воздавал похвалы поручику Штрему и компании, бабуся налила в стаканы чаю, и мы подсели к столу. После первого стакана чаю Виктор Александрович обратился ко мне и сказал:

— Расскажи же ты мне про свое путешествие. Ведь ты человек наблюдательный. Я думаю, много интересного подметил?

— Самое интересное, — сказал я, — из всего моего путешествия — это ваша корчма около Эсмани, а особенно корчмарь, ваш посессор.

— А! это Яким Туман! Так вы таки познакомились с ним?

— Я у него ночевал. Да еще и в долг вдобавок.

— Как так в долг?

И я в ответ рассказал ему историю моих финансов.

— Плохо, — сказал он рассеянно и, немного помолчав, сказал: — А знаете ли, этот старый инвалид, Яким Туман, презамечательный человек и вдобавок оригинал совершенно в малороссийском характере. Он не рассказывал вам про свое знакомство с Блюхером²⁶ или как они через Париж промаршировали?

— Про Париж рассказывал, а про Блюхера нет!

— Как же это так? Верно, жена помешала?

Я подтвердил его догадку.

— И он, верно, назвал ее капитаншею?

— Действительно, так.

— Видишь, как я изучил моего орендара, или, как ты говоришь, посессора. Знай же, что под этой грубою корою скрывается самая возвышенная, самая благородная душа! Жена его, которую он шутя называет капитаншею, это его воспитанница с самого нежного детства. Я вам на досуге расскажу эту историю. Он сослуживец и однополчанин моего отца, и покойник мой без сердечного умиления не мог рассказывать его похождения. А лучше всего я подарю тебе рукопись, написанную со слов покойного батюшки; там ты

не найдешь ни одного слова фантазии, нагая истина. Я думал было напечатать ее, да после раздумал. Пожалуй, еще какой-нибудь Барон Брамбеус²⁷ остриться на мне вздумает или просто назовет ее пустою выдумкой, а это для меня пуще ножа острого. А ты ее, пожалуй, напечатай, только под своим именем, чтобы я был в стороне. Я завтра же тебе ее доставлю, она у меня где-то спрятана. Я сам не помню, надо спросить у бабуся: бабуся у меня всему хозяйка. А дочку его видел? — прибавил он, улыбаясь.

— Видел, — сказал я.

— Что, не правда ли, красавица?

— Действительно, красавица. И хоть она одета по-крестьянски, но несколько не похожа на крестьянку!

— На крестьянку! Гм. Она похожа на царевну! а не на крестьянку. А как ты думаешь, — прибавил он, пристально глядя мне в глаза, — можно ли такому важному человеку, как, например, я, назвать ее своею женою, а?

— Почему же и не так, — сказал я, — если она и во всем так прекрасна, как наружностью!

— Решительно во всем, — сказал он восторженно. — Я сердечно рад, что встретил хоть одного человека одних мыслей со мною насчет истинной независимой семейной жизни. А то приличие да приличие, и вся жизнь основана на взаимном обмане, т. е. приличии. Провались они и с своим приличием! — прибавил он, допивая стакан чаю.

— Одно, что мне в ней показалось странным, — говорил я.

— А что такое?

— А то, что она для корчмы слишком невинна. Она, например, до сегодняшнего дня не знала о существовании гармоники. Настоящая дикарка!

— Вот именно это мне в ней и нравится! Как же это она сегодня сделала такое важное открытие? Уж не с вашею ли помощью?

— Именно с моею. Я подарил ей гармонику.

Он посмотрел на меня исподлобья и, покручивая усы, сказал:

— Черт вас носит с вашими гармониками, только добрых людей развращаете. Ну, скажи на милость, к лицу ли ей, такой принцессе, твоя глупая гармоника? Ведь она ее обезобразит. Это все равно, что орловскую увесистую бабу посадить за клавикорды Лихтенталя²⁸! Сегодня же отберу и в

печку брошу! «Бабусю!» — крикнул он. Вошла бабуся. «Пошлите в корчму Максима, чтобы он принес мне музыку... Или нет, не нужно. Я сам поеду. — И он поспешно надел шапку и, выходя из комнаты, сказал: Бабусю! найди та отдай им ту синюю бумагу, помнишь, что я недавно читал Илье Карповичу?»

— Помню, — сказала бабуся. — Хорошо, что вы сказали, а то я хотела ее сегодня употребить по хозяйству.

— И хорошо бы сделала. Отдай же теперь им, когда не успела в дело употребить. Прощайте! — сказал он, обращаясь ко мне, и вышел, порядочно хлопнувши дверью.

Мне было как-то неловко, так неловко, что я думал было позвать Ермолая и велеть вооружать колесницу, но раздумал, потому именно, что не на что было подняться, и волею-неволею я должен был извинить оригинальной и совершенно хуторянской выходке моего амфитриона. А себя оправдывал я тем, что и не такие выходки нам частенько в жизни приходится извинять, и не только по службе, а так, как говорится, по стесненным обстоятельствам, и даже без всяких обстоятельств.

Пока я предавался таким великодушным мыслям, бабуся принесла и положила передо мною на стол довольно объемистый сверток синей бумаги, перевязанный розовой ленточкой, и молча начала убирать со стола стаканы.

Закуривши сигару (я в то время еще курил сигары), [я] развязал и развернул сверток, сел около стола на лаве, с умыслом не позволяя себе никакого комфорта или просто горизонтального положения, чтобы не сделать в своем роде [не]вежливости и не заснуть пред лицом автора на первой же странице его скромного творения.

Я принялся читать. Заглавие было такое:

КАПИТАНША,
ИЛИ ВЕЛИКОДУШНЫЙ СОЛДАТ

Рассказ самовидца

Даровавши мир Европе, войска наши маршировали во-свояси; в том числе маршировал и наш удалый пехотный полк N. Полковой адъютант наш был хватище на все руки. Например, наша братья-простота спустили все немкам да француженкам; иной и родительское благословение хватил побоку сгоряча. А он себе втихомолочку ковал денежку

за денежкой да разные, как мы тогда называли, безделушки собирал; а эти безделушки были не что иное, как редкости, золото и алмаз, — больше ничего!

Между прочими редкостями вывез он на родину и жокея француза, или, как он его еще называл, паж. Ну, жокей или паж — это совершенно все равно. Дело только в том, что этот паж был удивительной красоты мальчик и стыдлив, как самая непорочная девица. Звал он его Альфредом или Альбертом, не помню хорошенько, а только знаю, что полковые музыканты называли его Володькой, а за музыкантами, признаться, и наша братья, официю имеющие, тоже его Володькой называли. Свое родное, знаете, как-то к сердцу ближе, особенно когда не побываешь на родине годика два-три. Верите ли, когда мы вступили в пределы России, то первый постоялый двор, как он ни грязен, мне показался лучше всякого французского отеля. Все это, конечно, предрассудок, но как для кого, а для меня самый этот предрассудок имеет свою какую-то прелесть. Адьютант наш жил, как вообще живут скупые, то есть на замке; у него бывали товарищи разве только за делом, и то за весьма важным делом, следовательно, его домашняя жизнь мало кому была видима. Носились, однако ж, слухи, что он вместе с Володькою и чай пьет и ужинает (он обедал каждый день у полкового командира), но это были пока только слухи. Один-единственный человек, который ежедневно посещал квартиру адъютанта, — это барабанный староста²⁹. Он приходил к нему не столько по обязанности, сколько для Володьки.

Барабанный староста этот был природный наш брат хохол и оригинал, какого мне другого и встречать не удавалось. Он вообразил себе, что лучше его не только во всем полку — во всем корпусе никто французского и немецкого языка не знает, а когда спросишь его, бывало, есть ли какая разница между языками французским и немецким, он пресурьезно ответит:

— Малность. Ежели кто добре знае французкий язык, то может говорить и по-немецки.

И этот-то чудак во время похода взялся выучить Володьку русскому языку, а он столько же знал русский язык, сколько наш хуторянин, не выдавший русской бороды никогда; хотя и квартировал он шесть лет во Владимирской губернии, но это ему мало помогло, он все-таки остался настоящим хохлом. Еслибы Володька вздумал сурьезно от него научиться

русскому языку, то был бы похож на того англичанина, которому вздумалось выучиться по-русски говорить, и, чтобы достигнуть скорее своей цели, он поселился на лето в деревне и договорился с попом, чтобы тот его выучил к зиме настоящему, коренному русскому языку. Поп его и выучил церковному нашему языку. Англичанин зимою возвращается в столицу и в модном салоне отпустил какое-то бонмо³⁰ на церковном языке. Барыни так и покатались со смеху. Англичанин оторопел: он совсем не такого ожидал эффекта от своего бонмо: переконфузился, бедняк, и не мог понять, что бы это значило. Да после уже ему растолковали.

С французиком Володькой могло случиться то же самое, что и с чудачком британцем, однако ж этого не случилось, а случилось вот что. В продолжение похода французик, несмотря на угрюмый и молчаливый нрав барабанщика, так к нему привязался, как только может привязаться дитя к матери. Чудные вещи совершаются в природе. Например, Туман (барабанный староста так прозывался, и мы его так будем называть) был совершенно не в французском характере человек, а полюбился ветреному французу, да еще как полюбился! — просто как родной. Есть что-то тайное, незримое, намекающее нам на наши будущие несчастья, но мы не в силах понимать эти немые намеки, а потому и страдаем. Французу тоже его ангелом-хранителем была подсказана эта симпатия к человеку простому, грубому, чуждому, казалось, всякого возвышенного чувства, а вышло, что все мы ошибались, а француз угадал.

Володя, или французик, как я сказал, был скромный и даже застенчивый мальчик со всеми, кроме Тумана. А с ним он такие штуки выделывал, как, может, случалось вам видеть играющего молодого котенка со старым котом: что бы ни делал молодой котенок, а старый только глаза жмурит. Так и Туман: что бы ни выделывал с ним Володя, а он только смотрит на него и улыбается. Разве уж он очень ему надоест своими шалостями или просто отдохнуть не дает после ротного ученья и покурить трубочку на свободе, так он поворотится на другой бок и проговорит: «А шоб ты ему опряглось...» — да, не кончивши нехорошей фразы, остановится, перекрестится и скажет: «Господи, прости мене грешного, оно сирота, да еще и на чужине, а я его лаю». И, как бы ни уставши был, встанет, пойдет, достанет где-нибудь творогу и прочего и примется вареники лепить для своего Володи,

чтобы тем хоть сколько-нибудь загладить вину свою перед ним. Адъютант, хоть видимо и не поощрял, но втайне был доволен взаимною их привязанностью, да иначе и быть не могло. Володька что еще? — почти дитя, да еще между чужими людьми, долго ли избаловаться? К такому возрасту все льнет одинаково — и худое, и хорошее, а он был уверен, что от Тумана он не выучится ничему худому, потому что Туман во всем полку слыл за человека самого аккуратного и самого честного, а что он угрюмый, так это ничего: иной и ласково смотрит, а кусает, как гиена.

Вступивши в пределы нашего возлюбленного отечества, остановились мы на зимние квартиры. Володя начал скучать и как-[то] чудно переменился в лице. А что еще чуднее, так это то, что он своего широкого плаща никогда не снимал, а так и спал в плаще. Уже не играл, как котенок, с своим угрюмым другом, а упадет к нему на грудь, да так и обольет ее слезами. Туман хотя всячески баловал и старался его развеселять, но мало успевал. Мы думали сначала, что это просто тоска по родине и больше ничего, со временем пройдет, а вышло иначе. Адъютант, взявши отпуск, уехал с родными повидаться, а Володе нанял в местечке у жида квартиру и оставил его на попечение барабанного старосты. Мы этому тоже не могли надивиться. Отчего бы не взять мальчика с собою? Он все бы таки немного порассеялся. Но мы это приписали его скупости, больше ничему.

Не знаю почему, но французенок этот нас всех интересовал, в особенности меня. В [нем] было что-то привлекательно симпатическое. И когда он остался без своего патрона и не показывался на улице, то я как будто что-то потерял и всякий раз, когда увижу Тумана, спрашивал о французе. Туман сначала отвечал мне, что Володя скучает, а потом начал отвечать, что Володя нездужает. Много раз подмывало меня зайти проведать Володю да поговорить с ним о его родном Париже: может быть, ему и легче бы стало; так что ж вы будете делать с глупою фанабериею³¹? Как, дискать, я, будучи офицер, пойду с визитом к какому-нибудь, положим себе, хоть и французу, а все-таки лакею? О воспитание! С отъявленным чиновным мы приветливо раскланяемся на улице, принимаем у себя в доме с самою обязательною улыбкою, предлагаем стул и первое место за семейным столом и не боимся, что эта ядовитая тварь своим дыханием заразит детей наших. А [по]встречайся с нами на улице простой

человек, нечиновный, который своим бескорыстием и прямою, быть может, нам же оказывал услуги, да мы на него и не взглянем, а если и взглянем, то так благосклонно, что лучше б и не взглядывали. И это у нас называется приличие! Мерзость, ничего больше! Мы хуже браминов. Тот по крайней мере издыхать будет, а у парии воды не попросит, чтобы не быть ему ничем обязану. А мы?.. Впрочем, на эту тему целые томы написано, так не лучше ли оставить, потому что я ничего нового сказать не умею. Да и замечено не раз, что великие теоретики не всегда бывают такие же и практики; я это говорю в отношении филантропов и моралистов. То чтобы не попасть в эту же категорию, то я возвращаюсь к французскому Володе.

Прошло месяца два после уезда адъютанта. Он в полку не имел никого близкого или приятеля, следовательно, мы об нем никаких известий не имели. Квартировал я вместе с нашим штаб-лекарем. И сидим себе вдвоем ввечеру да читаем какую-то французскую книгу, — не помню, какую именно, — только денщик докладывает, что барабанный староста просит позволения взойти. «Позови», — говорю.

Туман вошел бледный и перепуганный.

— Что скажешь, Туман? — спросил я.

— К их высокоблагородию!

— Что же тебе нужно? — спросил лекарь.

— Володька умирает, ваше высокоблагородие. Помогите! Только это не Володька, ваше высокоблагородие, а женщина!

— Как женщина!? — спросили мы в один голос.

— Так, просто женщина, и теперь страдает родами.

Лекарь наскоро оделся и ушел вслед за Туманом. Долго он не возвращался, или это, быть может, так мне показалось, потому что я его с нетерпением ожидал. Наконец он пришел. «Ну что?» — спросил я его.

— Ничего, разрешилась, — ответил он. — Младенец здоров, будет жив, а она, бедная, сильно пострадала, едва ли выдержит.

Поутру пришел Туман и объявил нам, что она умерла вскоре после ухода их высокоблагородия.

Дали знать о случившемся полковому командиру. Тот велел на другой день похоронить ее и предать это дело забвению. Полковница хотела было взять дитя на воспитание, но Туман не уступил. Он говорил, что он перед Богом будет

отвечать за это дитя, что она когда умирала, то целовала его руки и все на дитя показывала, т. е. просила его, чтобы не покидать ее дитя. «И я не должен покидать его», — говорил он. И так сделал. Он с помощью фактора в тот же день нашел кормилицу, передал ей ребенка и заплатил деньги.

Хотелось нам узнать, кто такая была покойница, но ничего не узнали; бумаг совершенно никаких при ней не оказалось. Должно быть, или какая-нибудь кочующая актриса, или просто из модного магазина субретка³². Бог ее знает.

Теперь, я думаю, не совсем еще поздно будет познакомиться вас покороче с моим неуклюжим героем. Но лучше поздно, нежели никогда, — говорит мудрая пословица.

В 1809 году запасные войска наши были расположены частью в Бессарабии, частью в Херсонской губернии, в том числе и наш полк. Я тогда только что кончил курс наук в Шляхетном кадетском корпусе³³, как меня, едва обмундировать успели, послали в действующую армию, т. е. в запасные войска. Прибыл я в полк, поступил в роту. Ротный командир и поручил мне, между прочими занятиями, только что прибывших в роту с полсотни рекрут обучить фронту. В числе рекрут был и А[ким] Туман.

Едва ли самая упрямая цыганская кляча перенесла столько побоев, сколько этот бедный рекрут, а дело вперед не подвигалось ни на шаг. Наука парню не далась. Шесть месяцев прошло, а он как ни в чем не бывало. А собою он был видный, здоровый, молодой, без всякого качества, как говаривал капрал, только с норовом. А правду сказать, так мы сами сноровки не знали, как обращаться с рекрутами, особенно с моими земляками. Владиславлев в то время не издавал еще памятной книжки для штаб- и обер-офицеров, в которой помещено весьма дельное наставление доктора Н. на этот предмет³⁴. Вскоре был заключен с турками мир, и нашему полку приказано было двинуться вовнутрь России. Итак, мы на Тумане только напрасно хворост переломали. Наша рота двигалась вместе с полковым штабом, следовательно, и с полковой музыкой. Походом наш недобитый рекрут познакомился с барабанщиком; тот и давай ему на дневках открывать таинства своего искусства. Что же вы думаете? Не дошли мы еще до назначенного нам места, как наш Туман, или, как солдаты его называли, медведь, выбивал на барабане зорю, да так искусно, что сам учитель

завидовал. Ротный командир видит, что медведь не совсем бестолков, предложил ему быть форменным барабанщиком. Туман охотно согласился и с таким жаром и, можно сказать, увлечением предался своему любимому искусству, что когда под Бородином³⁵ убили у нас барабанного старосту, то он занял его место. Что значит призвание! Уразумей мы в нем это призвание с самого начала, и фура хворосту не пропала бы даром.

Последующие события в служебной и частной жизни моего героя не так примечательны, чтобы их стоило описывать. Разве только, если верить его собственным словам, рассказать о том, как он познакомился с Блюхером, и как он ему по-немецки предлагал стакан шнапсу, и как Туман по-немецки же от шнапсу отказался и попросил у его высокопревосходительства стакан вейну, в чем, разумеется, ему и не было отказано. Принимая в соображение характер знаменитого полководца, все это могло случиться так, как рассказывает Туман: но я как не был свидетелем этой сцены, то и не ручаюсь за истину этого курьезного происшествия.

Святое времячко было для нашего брата, военного человека! Бывало, как поставят полк на зимние квартиры, так тут он и корни пустит. Зим десять с места не сойдет, так что наша братья наполовину переженятся. Что я говорю, наполовину? Все переженятся, если только невест в околотке хватит. Да, в то время невесты не засиживались, как теперь. Да что теперь? Не успеет полк, как говорится, места нагреть, глядь, его турнули на другой конец России, — какая тут женитьба! Дай Бог хоть познакомиться как-нибудь. А солдат? Просто блаженствовал. Иной ловкий парень так сживется с хозяевами, что просто делается членом семейства, если не больше. Одно только, что было больно не по нутру нашим солдатикам, это форма, т. е. обмундирование. И действительно, страшно было смотреть, когда его, бедного, одевают в полную боевую амуницию. Два одевают третьего, а когда оденут и поставят на ноги, так уж и стой. А уж если, Боже сохрани, споткнулся да упал, так уж так и лежи: сам не встанет, нужно опять два человека, чтобы поставить его на ноги. А ко всему этому прибавьте белого сукна шинели; это такая была обуза для солдата, что он, бедный, не знал, что с нею делать: вместо того, чтобы защититься от непогоды шинелью, он должен ее защитить. В настоящее время русский солдат в отношении обмундировки просто богдыхан

китайский³⁶. Мундир только его немножко безобразит. Ну, да и этот недостаток со временем заменят чем-нибудь по-благопристойнее.

Кто про что, а солдат про амуничку. Так и я: увлекся крагами да кутасами³⁷, а о главном-то и забыл. Вот как было.

По обычаю того времени полк наш прозимовал в одних и тех же квартирах восемь зим с лишком. Варочка (так называл Туман свою воспитанницу) росла не по дням, а по часам. И что это за прелестное дитя было! Просто совершенство детской красоты. Вот уж я пятый десяток коротаю, а не видал еще другого такого очаровательного дитяти. И ко всему этому — тихое, скромное, совершенный ангел небесный. Оно если и позволяло себе иногда детскую резвость, так только с одним своим татом (так называла она угрюмого Тумана). И самая нежная мать не может ласковее улыбаться своему дитяти, как угрюмый Туман улыбался, лаская свою кудрявую Варочку. Мне часто случалось его видеть, сидящего под хатюю на завалине и ласкающего на коленях свою Варочку. Мне всегда эта сцена напоминала прекрасную гравюру, изображающую усатого рыцаря в кольчуге с прекрасным младенцем на руках. Дитя треплет его за усы, а он ему ласково улыбается. Точь-в-точь Туман с своею Варочкою. Счастливый Туман! А правду сказать, он вполне заслуживал этого счастья.

Взявши на свое попечение дитя, он начал с того, что перестал курить трубку и пить водку. Хотя он не был никогда записным пьяницей, но при случае от добрых людей не отставал. Отказавшись от единственных прелестей солдата, он все-таки немного уэкономил для своей Варочки. Простыми ломовыми трудами в жидовском местечке не много возьмешь; нужно было думать о каком-нибудь ремесле. Вот он, понадумавшись хорошенько, принялся сапоги тачать. Тачает он их год, другой, а на третий приносит он мне показать опойковые сапоги собственного изделия. Да какие сапоги, я вам скажу! Хоть столичному мастеру, так в нос бросится. Я, признаться, не поверил его досужеству и велел ему сделать для себя сапоги; он и сделал. Посмотрю — еще лучше: на ноге сидит просто как вылитый сапог. Я рекомендовал его товарищам. Туман ретиво принялся работать, и не прошло году, как Туман уже работал на всех офицеров в полку и даже на самого бригадира, который, как известно, все еще щеголял в парижских сапогах и думал уже

было заказывать в Варшаве. Так вот какой из неуклюжего и, как думали, глуповатого Тумана вышел мастер. Правда, что редко встречаются в русском человеке две эти добродетели, т. е. и мастерство, и трезвость, однако ж встречаются, и вот вам доказательство — Туман. Зато он жил, как и иному офицеру дай Бог так жить: квартира у него лучше квартиры офицерской (он нанимал у шляхтича отдельную хатку в саду; не помню, что платил). Нянька у него нанятая опрятная старушка, тоже чуть-чуть ли не шляхтянка. Себе он только и отказывал в вине и в трубке, а больше ни в чем. А про Варочку и говорить нечего: выбежит, бывало, на улицу, что твоя куколка разрисованная, — куда шляхетские дети! Просто замарашки перед ней. А сам Туман так только и показывался на ученьи, нигде больше его не увидишь: сидит себе и день и ночь за своими сапогами да песенки попевает.

Человек трудолюбивый, по-моему, самый счастливый человек на свете, особенно если труд его имеет такую возвышенную, такую благородную цель, как труд этого простого, этого безграмотного человека. Завидую и всегда буду завидовать тебе, счастливый благородный труженик.

Старушка, Варочкина нянька, между прочими добродетелями, была еще и грамотная, по-польски, разумеется, почему я и заключаю, что она должна быть шляхетского рода. И когда Варочке пошел пятый или шестой год, — не помню хорошенько, помню только, что она уже говорила чисто и внятно и еще немножко картавила, что выговору ее придавало особенную прелесть, — старушка нянька на досуге принялась показывать грамоту Варочке. Туману понравилось, что Варочка его будет читать, да еще по-польски, и удовольствие свое он выразил тем, что на первой в местечке ярманке купил шерстяной какого-то темного цвета платок, тулуп и козловые сапоги, да сверх этого подарил ей полкарбованца. Старушка была в восторге, и благодарностям конца не было. Сначала Туман было подумал: «К чему ей грамота? Что она за панна такая?» Но, посмотревши на дитя, нашел, что она действительно панна, [и], махнувши рукой, сказал: «Нехай соби учиться, уमितыме до ладу хоть Богу помолыться». А так как простодушный Туман не находил большой разницы между языками немецким и французским, то так само и между грамотой польской и русской: все равно, абы читала.

Однажды, — это уже было вскоре перед нашим выходом из благословенного местечка, — иду я по улице мимо квартиры Тумана и вижу: Туман сидит под хаткою на завалине в своем пестром мундире и с барабаном между колен (должно быть, только что пришел с ученья). Перед ним стоит Варочка и просит у него барабанные палки. Он ей подал, она взяла палки да как приударит поход, так что твой барабанщик. Я просто удивился: настоящая «Сорка regimentu»³⁸, что в прошлом лете в Ромне польские актеры представляли. Но нужно было видеть самого Тумана: ни один, я думаю, любитель музыки не слушал с такою любовью симфонию Бетговена, с какою он слушал и любовался своей Варочкой.

Это мне напомнило другой эстамп, такой самой величины, да чуть ли и не одного мастера, — на котором изображен был рыцарь, также в кольчуге, обучающий мальчика бить на барабане. Только переменить костюм, и будет та самая картина.

Варочке уже минуло семь лет, когда нашему полку приказано было двинуться по Смоленской дороге. Туман как бы предвидел эту катастрофу, обзавелся лошадыю и повозкой, так что, когда приказали выступить в поход, наша братья втридорога платила за паршивую лошаденку, и то трудно было достать, а Туман только улыбается, глядя на запыхавшихся факторов и на наши сборы. Кое-как мы собрались, и в одно прекрасное утро полковой штаб и моя рота выступили из благодатного местечка. Проводы были пышные. Да и как не быть им пышным? Простоявши столько времени на одном месте, многие солдатики не только коханками — детками обзавелись. Ну, да это картина не в моем вкусе, и я не буду описывать вам ни слез, ни рыданий, ни судорожных объятий; скажу только, что первый переход наш длился целый день и половина моей удалой роты ночевала на дороге.

Мы двигались той самой дорогой, по которой так недавно промчался гений войны со всеми ужасами. В городах, особенно в Борисове³⁹ и Красном⁴⁰, были видны еще следы войны, а в селах как будто ничего не бывало; только и следу, что у мужичков в банях на каменках заменен был булыжник чугунными ядрами. В одном Смоленске оставались еще целые улицы в развалинах. А собор уже возобновлялся⁴¹.

В Смоленске скупился наш полк, и после инспекторского смотра распустили нас на зимние квартиры. Так как я командовал гренадерскою ротою, то вместе с полковым

штабом остался в Смоленске, а прочие роты расположились в окрестных селах. Туман с своею Варочкою тоже оставался в Смоленске.

Несмотря на то, что половина города была еще в развалинах, дворянства к зиме съехалось много, и мы на развалинах древнего Смоленска зиму провели шумно и весело. Маменьки, вероятно, рассчитывая на полковую холостежь, навезли невест, да прехорошеньких; но, увы! решительно некому было сватать: наша молодежь, как и прежде еще [я] имел честь докладывать, вся переженилась. Признаюсь, грешный человек, меня самого тогда подмывало повторить узы Гименея⁴², да жаль стало Викторика, а ему в ту зиму только пошел четвертый годочек. А в этом возрасте для дитяти, я по себе знаю, что значит самая лучшая мачеха. А если, Боже сохрани, навяжется сатана в виде ангела неземного, тогда что делать? Итак, я подумал, подумал, да и рукой махнул. После я слышал, что предмет моих воздыханий сочетался браком с каким-то безногим богачом Энгельгардтом⁴³, и через год он уехал за границу, а она за другую. Я только Богу помолился, когда услышал такую интересную новость.

Квартиру я в полуразрушенном Смоленске успел захватить порядочную и недорогую. Была одна комната совершенно лишняя, и я предложил ее Туману с тем, чтобы он, как человек трезвый и аккуратный, присматривал за моим мизерным хозяйством. Да и Варочке его будет веселее, и Викторик мой без меня скучать не будет. Нянька и гувернантка у меня была прекрасная и грамотная женщина, и Варочка в продолжение зимы шутя выучилась русской грамоте, да и Виктор моего выучила азбучке. В Великом посту он уже пребойко читал по верхам. А Варочка каждый божий день поутру и ввечеру читала вслух, в присутствии всех, утренние и вечерние молитвы. Счастливый Туман плакал от умиления, слушая, как его Варочка читает такие прекрасные молитвы, о которых он, человек темный, прежде и понятия не имел; особенно когда начнет она читать «Помилуй мя, Боже» и дойдет до стиха «Сердце чисто созижди во мне, Боже»⁴⁴, он положит земной поклон и сквозь слезы поцелует в темя свою умную Варочку. Зато нянька моя уже не нуждалась в башмаках, у нее всегда в запасе было пар шесть лишних, — на случай походу, как говорил Туман. А Викторик мой каждое воскресенье щеголял в новых сапогах. Я скажу ему, бывало: «Зачем ты ему, Туман, так часто сапоги переменяешь?» —

«Росте, ваше благородие, то и переменяю». Добряк уверял меня, что ребенок может так вырасти в продолжение недели, что ему необходимо сапоги переменять. Я раз было попробовал взять какой-то материи на платьице для Варочки, да и сам не рад был: туман мой так расходился, что чуть было с квартиры не сошел. Насилу уломал я его — такой чудак! «Обижаете, — говорит, — ваше благородие» — да [й] баста. «У вас, — говорит, — у самых росте дытына, а вы на чужих дитей тратытесь. Я чоловік рукомесленный, у меня завсигда буде, а вы де возьмете, як Бог не дасть здоровья? Хорошо еще, як пенсии дослужитесь, а то [й] так выпустять».

В продолжение зимы я коротко узнал этого простого, благородного и в высшей степени бескорыстного человека.

Весною выступили мы из Смоленска по Московской дороге. За обозом моим и за людьми я поручил надзирать Туману и был совершенно спокоен. В походе всяко случается. Не везде для тебя все приготовлено, иной раз и натошак за-снешь, что станешь делать? Но в этом походе я был как [у] Бога за пазухой. Бывало, не успеем прийти на место, у Тумана уже все готово: и для меня и для детей квартира, и самовар кипит, и ужин готовится, и лошадям всего вволю. И Бог его знает, как это он все успевал? А с мужичками, несмотря на свое хохлацкое произношение, никто лучше его ладить не умел. Удивительный человек!

В Москве скупилась вся наша дивизия, и бывший тогда еще корпусный наш командир, покойник Сакен⁴⁵, после инспекторского смотра отдал приказ по корпусу, чтобы всех неграмотных унтер-офицеров обратить в рядовые. Не знаю, что ему вздумалось, покойнику? Из этого вышла такая безладница в ротах, что и Боже упаси; особенно нам, ротным командирам, наделал он хлопот своим приказом. Безграмотных унтер-офицеров, действительно, было много, но зато это были люди самые расторопные и трезвые — две ничем не заменимые добродетели солдата. Так этаких-то людей мы должны были заменить грамотными пьяницами и ворами. Тут-то я только узнал, что значит так называемый грамотный русский человек. Эти грамотеи попадают в солдаты большею частью из помещичьих сельских писарей. Мужички наши недаром говорят: «Не буде добра и правды на земли, поки пысьменным очи не повылазять». Только вследствие глубокого презрения к этим грамотеям могла родиться подобная поговорка. Что бы подумал про моих земляков великий рев-

нитель народного образования Ланкастер⁴⁶, когда бы он знал, что у них существует такая варварская поговорка? Подумал бы, что земляки мои не люди, а пародия на людей. И был бы несправедлив. Общая грамотность в народе — величайшее добро, но где на 100 один грамотный — величайшее зло. Я ничего не знаю безнравственнее и отвратительнее сельского писаря; он первый грабитель бедного мужика, лентяй, пьяница, сосуд всех мерзостей и первый развратитель простодушного мужичка, потому что он Святое Письмо читает.

Покойный Основьяненко в своем «Шельменке, волостном писаре»⁴⁷ только легкий очерк набросал этого отвратительного типа. И такими-то грамотеями снабжают помещики нашу славную армию. И, наверно, покойник Сакен не отдал бы такого приказа, если бы он хоть неделю побыл экономом в помещичьем селе.

С званием барабанного старосты Туман соединял и скромное звание унтер-офицера, гордился и дорожил этим званием, как собственную личную заслугою. Но, увы! как человек неграмотный, должен был спороть только что купленные в Москве дорогие не мишурные, а настоящие серебряные галуны. И их пришлось спороть и бросить в помойную яму, так, ни за что спороть, потому только, что он неграмотный разбойник. Глубоко было задето самолюбие бедного Тумана. Как развенчанный Наполеон, ходил он молча несколько дней, не принимая пищи.

Нашему полку назначена была квартира в Муроме⁴⁸, и мы собирались в поход. Я просил его принять снова команду над моим мизерным хозяйством. «Возьми себе ундира, — сказал он, едва удерживая слезы, — а то рядовой вас дорогою окраде». Я сам чуть не заплакал и не в силах был повторить моей просьбы. Отпуская его, я был так неосторожен, что предложил ему синенькую⁴⁹ на водку. Зарыдал он, бедняк, плюнул на мою ассигнацию и вышел из комнаты. На другой день привели его из Арбатской части в полковой штаб едва-едва движущегося. Когда спросили его, где он пропадал, он только мог выговорить: «Водки! а то здохну!» Дали ему стакан водки и заперли в пустую комнату. Я испугался за него, но, слава Богу, мой страх был напрасен: Туман благополучно отрезвился и больше не повторял утехи в горе; только до самого Мурома шел он молча, как помешанный. В Муроме вдруг Туман пропал. Я спрашиваю, где он? Говорят, в госпитале. Я пошел навестить его. Прихожу, отворяю дверь в палату,

и что же? Вот уж такой гравюры я не видал, да, я думаю, такой картины и на свете нет. Самому великому художнику не представлялось такое прекрасное и оригинальное видение. На койке в лазаретном халате и колпаке сидит Туман, а на коленях у него сидит Варочка с азбучкою в руках и складывает вслух тма, мна, а за нею тихонько басом повторяет Туман. Увидя меня, он смешался и, вставши, ответил на мое приветствие [и] прибавил, краснея: «Варочка оце мени „Помилуй мя, Боже” читала». — «Вот уж и „Помилуй мя, Боже!» — сказала Варочка наивно. — Вы еще и склады бог знает как читаете!» — «Цыть, дурне!» — сказал торопливо Туман, дергая ее за рукав. Варочка сконфузилась, взглянула на меня, потом на него и с упреком сказала: «Разве я неправду говорю? Думала завтра „аз, ангел” показать, а теперь и послезавтра не покажу, просидите вы у меня всю неделю на „тме, мне”». И [с] последним словом выбежала из палаты. Туман посмотрел ей вслед и с досадой проговорил: «От тоби на!» А обратясь ко мне, прибавил: «Воно бреше, ваше благородие». Я видел ясно, что оно не бреше, но показал вид, что я не догадываюсь, в чем дело, и спросил его: «Что, она постоянно при тебе находится?» — «Нету, ваше благородие, у фельдшарши находится, а до мене забижить на яку мынуту, та й знову до фельдшарши. Таке непосыдяще!» — прибавил он, опуская глаза. «Клевещешь! Клевещешь, Туман. Я знаю, что ты делаешь. Да зачем же от меня скрывать? Разве худое дело учиться грамоте?» Туман с удивлением посмотрел на меня и, помолчавши, сказал: «Худое, ваше благородие, очень худое! Скажите, чи бачили вы, щоб дытя, блазень, учило старого чоловіка?» И бедняк почти заплакал. А спустя минуту стал меня просить, чтобы я никому не говорил о его грамоте. Я дал ему слово молчать. Предложил ему денег, но он сказал, что у него свои еще тянутся. Простившись и пожелав ему успеха, я вышел из палаты. «Алмаз, а не человек», — думал я и не жалел даже, что этот алмаз в коре, — так он мне нравился в своем естественном виде. Хотел было я сделать сравнение с червонцем Крылова⁵⁰, да раздумал: такие натуры, как Туман, едва ли в состоянии переродиться, т. е. переобразоваться.

Штаб-лекарь наш подсмотрел тайну Тумана и не выписывал его из госпиталя, пока он сам не просился. Через месяц является ко мне Туман с улыбающимся лицом (что было ему совсем не к лицу) и с азбучкою за обшлагом и просит

меня, чтобы я послушал, как он читает. Я послушал его: изрядно читает и заповеди, и все, что есть в букваре. Я подал ему «Устав о гарнизонной службе», он и «Устав» читает. Я в тот же день отрекомендовал его адъютанту, а он бригадиру, и через месяц Туман нашел снова свои московские дорожные галуны, переселился ко мне на квартиру и снова принял в свои руки мое хозяйство.

Случилось так, что в тот самый [день], когда Туман торжественно нашивал свои нефальшивые галуны, и мне вышло повышение: я произведен был в майоры, а командиру первого батальона вышла отставка; я и должен был принять от него батальон. Хотя я по-прежнему остался одиноким, но хозяйство мое поневоле должно было увеличиться. И такой человек, как Туман, был для меня необходим, а тем более, что Викторика своего отправил я в Нежин к сестрице, чтобы она приготавливала его для лица⁵¹. Следовательно, и Варочка, как дитя, для меня тоже была необходима, потому что я без Викторика страшно скучал, и она, точно ангел Божий, явилась в моем доме.

Да, не обинуясь, можно было уподобить ее ангелу Божию. Такой красоты неописанной я уже не увижу более! А кротость! Истинно ангельская кротость. Ей уже было лет одиннадцать с небольшим, и она мне чрезвычайно живо напоминала покойного Володьку, т. е. свою несчастную мать. Улыбка, голос, глаза — все было как [у] бедной матери. Только у Варочки все это было смягчено кротостью и непорочностью. Хотелось мне ее приохотить к книгам, но для ее возраста в то время какие можно было книги достать! Издавался в то время журнал под названием «Благонамеренный»⁵². Я прочитал в «Московских ведомостях»⁵³ объявление и, увлекшись таким благородным названием, и выписал его собственно для Варочки, да как прочитал первую книжечку, так остальные уже и не разрезывал; так их у меня в ларе и мыши съели.

Во время пребывания Тумана в госпитале Варочка подружила с фельдшершею и теперь почти ежедневно ее посещала. Мне эти визиты были не по сердцу, и я несколько раз говорил Туману, что эта дружба до добра не доведет, но он, бог его знает почему, не обращал на мои слова внимания. Я прибегнул было к хитрости, т. е. приохотить ее к чтению и тем заставить ее сидеть дома. Но хитрость моя не удалась. А Варочка тем временем росла и хорошела.

На третьем или четвертом году нашей благополучной стоянки в городе Муроме переведен был в наш полк, за какие-то проказы, капитан гвардии N. N., лет двадцати пяти, красавец собою, богач и самой благородной, аристократической фамилии, человек образованный, деликатный и самый беспардонный кутила, а в то время это была не последняя добродетель, и Давыдов⁵⁴ несправедлив, приписывая эту благородную страсть одним гусарам, — наша братья, пехотинцы, нисколько им не уступали.

Молодое офицерство наше все так к нему и прильнуло. А про барышень и говорить нечего: все, сколько их было в Муроме и около Мурома, все разом влюбились. Ну, положим так, их дело молодое, неопытное, им простительно, а то барыни! Матери взрослых детей — туды же сунулися соперничать с своими дочерьми! Господи! какую страшную силу имеет золото на сердце человека! А к тому еще он хорошо говорил по-французски, читал наизусть и даже пел некоторые песни Беранжера⁵⁵, что порядочный француз постыдится петь их в холостой пьяной компании, а он, молодец, пел их в муромских гостиных, и нежному полу так нравились эти недвусмысленные песни, что их наизусть выучивали и в гени сирени, под аккомпаниман гитары и соловья, певали их безбожно уныло. Простодушные, они и не подозревали, что они пели. Они думали, что ангелы, если разговаривают между собою, то непременно на французском языке и поют такие же песни, как и предмет их нежной страсти.

Вскоре после появления этого хвата барыни и барышники, если обращались к кому с вопросом, то вместо имени и отчества произносили «мсью», и это было так обще, что свежий человек непременно подумал бы, что все муромское народонаселение говорит по-французски.

Вот когда открывался случай благоприятный блеснуть Туману своим познанием французского языка. Но увы! он бедный плебей, а то аристократия! Да еще какая аристократия? Уездная! А это, я думаю, всем известно, что английская аристократия самая гордая и щекотливая, но в сравнении с нашей уездной она ничего не значит. Хотя французские пленные солдаты часто попадали в ее недоступный [круг], но то французские, дело совсем другого рода.

Одна хорошая моя знакомая, женщина уже не первой молодости, примерная, можно сказать, жена и примерная мать семейства, — по образованию она была немногим выше

своих согражданок, но здравого практического смысла и безо всякого жеманства, что мне в ней особенно нравилось, — однажды она стала мне описывать добродетели и образованность нашего гвардейца. Я, слушая ее, думал, что она шутит, слушал ее и молча улыбался, но она, не обращая внимания на мои улыбки, увлеклась так панегириком, что начала выхвалять глубокие его познания в русской истории. Я тогда и рукой махнул. Ну, статочное ли дело, чтобы русский барич того времени, да еще и гвардеец, знал что-нибудь, кроме французского языка? А то еще и отечественную историю! Карамзин тогда начал издавать свою знаменитую историю⁵⁶, так он, вероятно, слышал об ней в столице, да и пустил в ход свои познания между непорочными муромками. Бедные муромки! И еще беднейшие муромцы!

Когда женщина, которая почиталась образцом ума и семейных добродетелей, и та увлеклась удалым капитаном, какое же влияние он имел на обыкновенные умы и добродетели! Влияние сильное, до того сильное, что не прошло году, как мужья молодых жен и отцы молодых дочерей почти начали убеждаться в сильном влиянии капитана на их жен и дочерей. И когда полку нашему назначен был поход в Москву по случаю коронации⁵⁷, то отцы и мужья перекрестились и свободно вздохнули, а жены и дочери зарыдали.

И горькие рыдания, и свободные [вздохи] остались напрасными: капитан заболел и до выздоровления остался в Муроме.

Каков же был ужас маменек и их милых дочерей, метивших на капитана как на самую выгодную партию, когда к нему (в отсутствие наше) приехала жена и теща и застали его не на одре болезни, а в кругу собутыльников. Теща начала было ему приличную случаю проповедь, но он ее остановил такими словами: «Вы, кажется, умная женщина, а такие глупые вещи говорите. Ведь вы видели, вы знали, кому вы отдавали свою единственную дочь, так о чем же вы мне теперь толкуете?» Старушка посмотрела на него, заплакала и, взявши свою единственную дочь, отправилась восвояси, а он, хохоча, кричал им вслед: «Куда торопитесь? Не угодно ли со мною пообедать?» Каков молодец!

Несмотря, однако ж, на все это, влияние его на нежный пол продолжалось, так что бедные мужья и отцы не видели других средств избавиться от опасного капитана, как написать просьбу государю от лица всего конглава и слезно просить, чтобы за

примерные добродетели капитана перевел бы его снова в гвардию. Не знаю, по их ли просьбе или по чьей другой, только он, проживши еще два года, был переведен, только не в гвардию, а в город Вологду⁵⁸ под надзор полиции. А в продолжение этих двух лет он разыграл еще с десяток слезных мелодрам и последнюю, самую патетическую, содержания следующего.

Выходя в Москву, вагенбург⁵⁹ и прочие полковые тяжести нам приказано было оставить в Муроме, из чего и следовало заключить, что мы вскоре возвратимся на прежние квартиры. Офицеры, которые имели порядочные квартиры, оставили [их] за собою; я и свою квартиру тоже за собой оставил, а при ней мебель и прочую громоздкую мизерию. Полковой командир, спасибо ему, уважил мою просьбу и отдал в мое полное распоряжение Тумана, а я Туману отдал в полное распоряжение свою квартиру и все к ней принадлежащее. Прощаясь с ним, я наказывал ему пуще своих глаз беречь Варочку и как можно реже позволять ей посещать фельдшершу.

«Потому, — говорю, — что ты сам знаешь, что за зверь остается в городе. Неравно как-нибудь она ему на глаза попадет, тогда она пропала». — «Бога гневите, ваше высокоблагородие! — сказал он. — Воно еще дытына!» Я замолчал, зная по опыту, что никакие доказательства не в состоянии поколебать упрямого земляка моего. А заметьте, что этой дытыне миная уже пятнадцатый год.

Сходили мы в Москву и возвратились назад благополучно. В Муроме тоже все по-старому; квартиру я свою и прочее добро нашел в отличнейшем порядке, иначе и быть не могло. Варочка встретила меня с самой детской непритворной радостью. А Туман, отрапортовавши мне о благополучии, благодарил меня, что я его оставил в Муроме, потому, говорит, что он в продолжение этого времени, кроме того [что] выучился выводить все цифры на бумаге, да еще зашиб препорядочную копейку: весь город наделил сапогами, а последний весь почти месяц работал на одного капитана. «Ну, начало сделано», — подумал я. «Не приходил ли он к тебе иногда сапоги примеривать?» — спросил я. «Приходил, ваше высокоблагородие, раз несколько приходил». «Плохо», — подумал я и отпустил простодушного добряка, не сказавши ему первый раз ни слова.

На другой день спросил я его, кто рекомендовал его капитану? Туман немножко замялся и сказал: «Признаться сказать, ваше высокоблагородие, фельдшарша».

— А что я тебе говорил, выходя в Москву, а? — спросил я.

— Помню, ваше высокоблагородие.

— Нет, не помнишь, забыл. Припомни и подумай хорошенько, что из всего этого может выйти. А что, он видел у тебя Варочку?

— Видел, ваше высокоблагородие.

— И говорил с нею?

— И говорил, ваше высокоблагородие.

— И за сапоги платил не торговавшись?

— Не торговавшись, ваше высокоблагородие, даже вперед сколько угодно денег предлагал, только я не брал, — не треба було.

— Видишь, Туман, как я все знаю. Слушай же. С сегодняшнего дня, Боже тебя сохрани, если тыпустишь хоть за ворота без себя Варочку. Прощайся с нею навеки! Слышишь?

— Слушаю, ваше высокоблагородие!

— То-то же, слушай и не забывай. А то и тебя, и меня с тобою Бог накажет за наше нерадение. За чужое дитя мы больше отвечаем перед людьми и перед Богом! Ступай себе, Туман, за своим делом, — сказал я в заключение своей проповеди.

— Спасыби за науку, ваше высокоблагородие, — сказал растроганный Туман и вышел.

После этого он каждое утро, рапортуя мне о благополучии по хозяйству, рапортовал также и о похождениях своих с Варочкою. Похождения их — и то раз или два в неделю — на берег реки Оки, к рыбакам, или так просто для проходки, и иногда к фельдшерше на чашку чаю — тем и ограничивались их похождения. Да еще раз в неделю, т. е. каждое воскресенье, ходили они к обедне в церковь Святых угодников.

А в городе между тем, т. е. в кругу дворян, и даже в мирном кругу купеческом, история за историей повторялась, и самого скандального содержания. А главным действующим лицом всех этих новелл был, разумеется, наш беспардонный капитан. К зиме в городе, по примеру прошлых зим, составилась дворянский клуб, или собрание. На первом, на втором [бале] в собрании я хотя и был, но не заметил ничего необыкновенного, а прочие заметили и мне уже после сообщили, что на балах не показывалась ни одна уездная львица, а причину тому был не кто другой, как все же

наш беспардонный капитан. Исамые прескверные анекдоты сочинялись по случаю неявления на бале львиц. А смиренные овечки, на которых он не обращал внимания, скромно варьировали эти анекдоты, чувствительно взирая на изверга капитана.

Я постоянно ходил к обедне в церковь Святых мучеников Бориса и Глеба, что в Благовещенском монастыре⁶⁰, и вдруг что-то мне вздумалось пойти к обедне в церковь Фрола и Лавра⁶¹. Прихожу, перекрестился, гляжу — предчувствие меня не обмануло: капитан тут, а перед ним шагах в двух Варочка, а около нее фельдшерша и что-то шепчет ей на ухо, а [та] ставит свечки перед образами. Капитан так пристально смотрел на затылок и толстые темно-русые косы Варочки, что не заметил, как [я] прошел мимо его и почти рядом с Варочкой остановился.

Странная и непонятная вещь; отчего, например, дома я каждый день любовался красотой Варочки, и ни разу не бросались мне в глаза такие милые и, можно сказать, пластические подробности, как в церкви; например, на белом изящно округленном затылке прозрачно выющиеся кудри. Я вам скажу, это такая сатанинская прелесть, против которой не в силах человек устоять. Я перекрестился и двинулся несколько шагов вперед.

По окончании обедни на паперти встретился мне капитан, и ему, как я заметил, ужасно хотелось зайти ко мне на квартиру, но я искусно отманеврировал, раскланялся с ним на перекрестке и пошел по направлению к квартире полкового командира, где его хоть и принимали, но весьма осторожно, потому, правду сказать, что командир наш был уже старик, и вдобавок израненный старик, командирша еще баба хоть куда, а вдобавок еще и немка, так оно, знаете, [опасно?] было пускать такого зверя в дом, каков был капитан.

На другой день после рапорта спросил я у Тумана: «Который теперь будет год Варочке?»

Он долго считал по пальцам и наконец сказал: «3 Варвары симнадцатый пошел».

«Гм... семнадцатый! — подумал я. — Опасно...» И я рассказал ему, что я вчера заметил в церкви и каких от этого последствий ожидать можно и даже должно. Туман долго молчал, повеся голову, потом вздохнул и проговорил, как бы про себя: «Морока, та й годи!» И, помолчавши, продолжал: «Порадьте, ваше высокоблагородие, що мени з нею ро-

быть?» — «А что робить? Найти порядочного человека да выдать замуж, другого средства я не знаю». — «Замуж... замуж... — говорил он шепотом. — Замуж, — продолжал он тем же тоном. — За кого? Ни за кого! — сказал он, возвыся голос. — Пропаду! Я здохну, як та стара собака, без неї, ваше высокоблагородие!» — «Ну, так сам женись». — «Не можна, ваше высокоблагородие. Грех от Бога, вона моя дытына. И люды пальцями на мене показуватымуть. «Бач, — скажуть, — старый дурень, для чого выкохав байстря» . И он снова опустил голову и задумался. Глядя на него, мне самому взгрустнулося. «Хорошо было бы, — подумал я, — если бы все родные отцы так любили своих детей, как этот бедняк приемыша». «Ну, что же ты придумал, Туман?» — спросил я его. «Ничего, ваше высокоблагородие». — «Так пока и не придумывай ничего, только смотри за нею хорошенько, может, даст Бог, опасность пройдет».

Я это говорил потому, что шалости капитана становились похожими на денной разбой и полковой командир два раза уже аттестовал его как человека неисправимого и вредного полку.

Прошло лето, настали темные долгие вечера осенние, а с ними и сопутницы их — грязь и скука. По вечерам, бывало, Туман сидит в своей комнате перед стеклянным глобусом, наполненным водою, и голенищу тачает, а в углу около столика Варочка тоже или за работой, или читает в сотый раз житие Варвары-великомученицы. И всякий раз, когда она прочитывала имя Диоскора⁶², Туман плевал и шептал себе под нос: «Собака!» У них была еще и другая назидательная книга — это житие святых Петра и Февронии⁶³, тут, в Муроме, в Благовещенском монастыре, нетленно почивающих⁶⁴; но эту книгу она реже читала, потому, может быть, что Варвара-великомученица ее патронка. И я, бывало, по пробитии зори, отпущу фельдфебелей и, закуривши трубочку, зайду к ним, и так тихо, мило пройдет у меня время до ужина, как никогда ни прежде, ни после не проходило оно в блестящих гостиных.

Здесь прилично было бы нарисовать красавицу Варочку наподобие Сивиллы Куманской Кипренского⁶⁵ или просто юную красавицу, при свече читающую книгу, во вкусе фламандского мастера Рембрандта⁶⁶. Но, признаюсь откровенно, эта задача не по мне, притом же я и враг великий художников-самоучек, а в этом деле я был ниже всякого

самоучки. Я, подобно юноше-поэту, по целым часам не сводил с нее моих очей, и бог знает какие мысли [роились?] в моей седой голове. А между прочими и такие. У меня в детстве была страсть к живописи, но как отец мой был настоящий суворовский солдат, то он о живописи и вообще о изящных искусствах имел самое грубое понятие или, лучше сказать, никакого. Мать моя была несравненно образованнее отца, и, как женщина, по природе своей она хотя безотчетно чувствовала прелесть нерукотворного создания и ей любо было подмечать во мне то же самое чувство, но чтоб посвятить [меня] какому-либо искусству или науке, она об этом и подумать не смела. Раз как-то, показывая ему мой рисунок, она сказала: «А что, если бы его отдать в Академию художеств? Может быть, из него вышел бы славный живописец?» — «Что?? — сказал он, сердито взглянув на нее. — Живописец?.. Маляр?.. Ты, кажется, пьяна была и не проспалась. Живописец?.. Ха-ха-ха... Живописец?.. Да ты подумай, мудрая голова, дворянское ли дело в красках пачкаться. В Академию... вместе с холопами! Прекрасную карьеру выбрала ты своему сыну, прекрасную, нечего сказать». И, взявши меня на руки, прибавил: «Нет, брат Саша, ты у меня будешь настоящий суворовский солдат».

Спустя год после этой сцены меня отвезли в Шляхетный кадетский корпус, и из меня действительно вышел настоящий солдат и больше ничего. И я теперь думаю, как хорошо было [бы], если бы я был живописцем: я бы на полотне передал прелести Варочки отдаленному потомству, подобно, как Рафаэль обессмертил свою Форнарину⁶⁷ или как Гвидо Рени целомудренную Беатриче Ченчию⁶⁸. Но об этом теперь и толковать нечего.

Странно как-то случается с людьми. Человек, например, дальновидный — он за год, за два предвидит опасность и все меры, все средства употребляет, чтобы отвратить от себя несчастье, день и ночь не спит, слух и зрение, и все существо его постоянно бодрствует настороже, а в самую минуту опасности возьмет да и заснет, да как заснет? Как самый счастливый человек.

Вот точно так же теперь случилось и с нами. Время уже близилось к Рождественским святкам. Туман, как обыкновенно это бывает, завален был работой. Я даже на это время просил адъютанта, чтобы не тревожить его на ученье; думаю себе: пусть человек при случае заработает себе какой-нибудь

лишний грош. Вот однажды, отпустивши фельдфебелей, я, по обыкновению, закурил трубочку, надел архалук⁶⁹ и пошел к Туману. Прихожу, он работает перед стеклянным глобусом; на столике в углу горит свеча и уже порядочно нагорела, перед свечой на столе лежит развернутая книга, а Варочки нет. Ну, что бы мне было догадаться и спросить, давно ли она вышла. Да что и спрашивать: нагоревшая свеча ясно показывала, что давно. А я еще снял со свечи и сел себе, ничего не подозревая, начал спрашивать Тумана, много ли он пар уже кончил, и сколько еще надеется кончить к празднику, и какую цену он берет: смотря по давальцу и лицу или со всех одинаково? На что он отвечал весьма основательно: «Однаково, бо одинаково и работаю». Потом, ни с сего ни с того, перешли к воспоминанию о заграничных наших похождениях, потом о тульчинских маневрах⁷⁰ и, наконец, свернули речь о покойном Володе. «Да, — говорит Туман, — недаром сказано: волос довгий, а разум короткий. И то сказать, — прибавил он, — молоде, дурне, а може, ще и сирота, доглядить було никому». И он взглянул на то место, где должна была сидеть Варочка. Он заметно изменился в лице, не сводя глаз с догоравшей свечи и развернутой книги. «Не в чим не реве, аж ии и дома нема», — проговорил он едва слышно и, обращаясь ко мне, сказал: «Я думаю, чом вона не читае, аж ии и в хати нема». И он быстро встал на ноги и с работою в руках вышел из комнаты. Минут через десять он возвратился встревоженный. Я спросил у него: «Ну, что?» И он только шевелил губами, но слова произнести не мог; наконец кое-как шепотом проговорил: «Нема!» Я в свою очередь тоже вскочил на ноги и сказал ему: «Беги к фельдшерше». А сам наскоро оделся и пошел к городничему дать знать о случившемся и просить, чтобы он принял свои меры. Но что значила полиция в то время в уездных городах? Ровно ничего. Возвращаюсь я домой, захожу к Туману, и, я думал, что он возвратился уже, — ничего не бывало: он, как я его оставил, так и остался на том месте, как окаменелый. Я спрашиваю его, был ли он у фельдшерши, и после нескольких повторений он мне едва проговорил: «Ни». Я оставил его и еще раз обошел все комнаты, раза два справлялся в людской, на кухне; я искал ее, как мы обыкновенно ищем затерянную какую-нибудь мелкую вещь, раз десять в одном и том же месте. Посмотрел во всех углах, за комодом, под диваном и, убедившись наконец, что ее

нигде нет, думал было лечь заснуть. Не тут-то было. Только что сомкну глаза, передо мною является или капитан, или Варочка. До самого свету корчился я на постели, как карась на сковороде. На рассвете я встал и пошел посмотреть, что Туман делает, потому что я его оставил ночью в самом жалком виде. Отворяю тихонько дверь и вижу в комнате едва мерцающий огненный свет, — это догорала свеча перед стеклянным глобусом; а по сю сторону того же глобуса на своем рабочем табурете сидел Туман, подперши голову обеими руками. Сначала я подумал — он спит, и хотел выйти из комнаты; но он поднял голову, посмотрел на меня и едва слышно проговорил: «Нема!» И так проговорил страшно, что я не на шутку за него испугался. Он снова опустил голову на руки, а я тихонько вышел из комнаты, будучи вполне уверен, что никакое участие не в состоянии было разбудить его от этой страшной летаргии. А спросить бы в самом деле у психологов, каково действует на душу самое искреннее участие в таком страшном критическом состоянии, в каком теперь находилась душа моего бедного Тумана. Я про себя скажу: в полугоре на меня благодетельно действовало даже не искреннее, а так, дружеское участие. А во время самого истинного горя, когда душа наша прячется в самый темный угол, куда и собственная мысль наша проникнуть не смеет, о, тогда всякое, самое нежное, самое искреннее участие делается лютейшею отравой. Вот почему я не решился утешать несчастного Тумана.

Пошел поутру к городничему узнать, не открылось ли какого следа. Дорогою повстречался мне знакомый и после первых приветствий спрашивает: «Как это так случилось, что у вас дворовая девка пропала?» Я не ответил ему ни слова, воротился назад домой, к городничему незачем было ходить. И действительно, он только и умел сделать, что в тот же день благовестили во всех переулках о нашей покраже. После этого какой тут след откроешь?

Три дня и три ночи просидел несчастный Туман на своем табурете, не подымая головы. Я испугался и советовался с доктором, и благоразумный доктор велел только окно или дверь открыть на несколько часов. (А это было, как я уже сказал, зимою.) Я по части врачебных наук совершенно невинный и из усердия взял да и растворил тихонько и окно, и дверь. Проходит час, другой, я все заглядываю то в дверь, то в окно и думаю: что выйдет из этой операции? Смотрю, уже так бу-

дет перед вечером, Туман начал вздрагивать, а через час встал, оглянулся кругом, затворил окно и дверь, походил с полчаса по комнате, вздрагивая и едва слышно говоря: «От тоби й на!» Потом он лег или, лучше сказать, упал на свою койку, укрылся тулупом, и мне показалось, что он уснул. Я подумал: «Слава тебе, Господи!» И пошел тоже немного отдохнуть. Не успел я выпить чаю, денщик докладывает мне, что: «Туман мечется, стонет и вас к себе просит». Прихожу я, спрашиваю: «Что с тобою, Якиме?» — «Ничого! Спына! Холодно! Душно! Що знаете, го те й робить!» Я вижу, дело плохо, послал за доктором, а сам остался с ним. Он несколько раз обращался ко мне и кричал: «Пить! Дайте пить, а то згорю!» Я подавал ему чайной чашкой квасу, и он немного успокаивался. Пришел лекарь, пощупал пульс, посмотрел на своего брегета с секундною стрелкою⁷¹ и сказал: «Горячка. Отправьте его сейчас же в госпиталь». Я его сейчас же и отправил.

Месяца два с лишним пролежал бедный Туман в госпитале. Сам лекарь начинал уже сомневаться в его выздоровлении, особенно в последние дни горячки или, как говорят, перелома болезни. Однако железная его натура превозмогла, и он к концу первого месяца мог уже без посторонней помощи вставать с постели, а к концу второго бодро уже гулял по коридору и все есть просил, в чем, разумеется, ему отказывали.

Я же во время болезни Тумана делал все, что мог сделать, чтобы открыть хотя темный след нашей беглянки. Я устроил своих лазутчиков, и самых неусыпных. Мне фельдфебеля каждый вечер доносили подробнейше о всех движениях капитана, — каждый шаг его был виден, был на счету у моих верных агентов. Но ни малейшего следа, как в воду канула. И не один я, а все в городе указывали на капитана. Да что ты станешь делать? Преступник налицо, а доказательств никаких. И поневоле злодея, зверя назовешь человеком.

Туман уже начал поправляться, когда из Владимира приехал жандармский офицер, взял нашего капитана и повез в Вологду. Я, однако ж, все еще не терял надежды; я написал частное письмо вологодскому полицеймейстеру, прося его, чтобы он уведомил меня, кто именно приедет с таким-то капитаном, и в особенности, в числе его прислуги не будет ли молодой девушки — тут я описал приметы Варочки. Через полгода, однако ж, не раньше, получил я письмо от вологодского полицеймейстера, в котором были описаны с

большими подробностями как сам господин, так и его прислуга и, между прочим, горничный козачок Климка.

«Помянутый козачок Климка через четыре месяца бежал от капитана и теперь неизвестно где обретается. Вот все, что я могу вам, милостивый государь, сообщить о капитане. Девушки же, — продолжает он, — о которой вы пишете, никакой с ним не прибыло в наш город. Поговаривали сначала, что помянутый козачок Климка будто бы переодетая женщина, но это бабьи сплетни, ничего больше. Я по тому сужу, что как бы ни был человек развратен, а все-таки не решиться на такое законопреступное дело. Да и то еще опровергает клевету сию, что у женщины, как у создания и физически, и нравственно слабого, не достанет духу на такой решительный поступок, как, например, бежать, на это и мужчина не всякий решится. Нахожу ненужным писать вам о капитане: уповаю, что вы его хорошо знаете. Разве только скажу, что он ни на волос не изменился».

Письмо, как обыкновенно, заключено искони принятою вежливостью, и больше ничего.

«Вологодский полицеймейстер должен быть простодушный добряк, — подумал я. — Как-таки можно не поверить [в] бабьи сплетни, как он говорит, на деле? Как можно было сомневаться в законопреступном поступке капитана, прочитавши его формуляр? А он, наверное, его читал. Простота, ничего больше!»

Что же мне теперь оставалось делать? Я вполне был уверен, что Климка-козачок — не кто иной, как наша Варочка. Бедная! Она свою участь унаследовала от своей матери. Как бы и ей не пришлось кончить, как покойница кончила. Но где она теперь? Сидит, я думаю, в пошехонской⁷² или в другой какой тюрьме да кормит вшей. А может, ее уже и на свете нет. После долгого раздумья решился я послать объявление в «Московские ведомости»; «Губернские ведомости» в то время еще не печатались. Сделавши это, я решился поделиться моими надеждами с Туманом. Решился, говорю, потому что Туман, хотя и совершенно оправился от горячки, и, несмотря на то, что восемь месяцев прошло с тех пор, как Варочка пропала, а он все еще был похож на помешанного. Он и до того был [не]речист, а теперь совсем онемел. Бросил свое ремесло и по целым дням просиживал в своей комнате, подперши голову руками. Я одного боялся, чтобы он не начал пить. Однако ж, слава Богу, этого не случилось.

Я не утерпел, однако ж, предполагая, что надежда освежит его скорбящую душу. Однажды поутру, после рапорта о благополучии по хозяйству, рассказал я ему о моем открытии. Долго он стоял передо мною молча, опустя голову. Я прошелся несколько раз по комнате, он, как статуя, не шевелился. Я хотел ему что-то сказать, только смотрю, а у него из-под опущенных ресниц слезы как горох покатались. Потом он вздохнул и едва слышно проговорил: «Капитанша!» И, поворотя налево кругом, вышел из комнаты. Я посмотрел ему вслед и горько раскаялся в моей опрометчивости.

Это было осенью. В полку были дозволены годовые и полугодовые отпуска. Туман на другой день приходит и говорит, что он представлен в отпуск на полгода, и просит меня, чтобы я не препятствовал. «Схожу, — говорит, — додому, чи не легше буде». — «Иди, — я говорю, — с Богом». И наказываю ему, чтобы, когда будет идти через Глухов, чтобы зашел на мой хутор посмотреть, что там делается: «Добре, зайду». Через неделю ему выдали билет, и он, простившись со мной, ушел.

Напрасно ожидал я результата от моей публикации, — ничего не вышло. Спустя месяца три после ухода Тумана в отпуск, в одно утро докладывают мне, что Туман приехал. Я удивился, что так скоро. Выхожу на двор, смотрю, из небольшой одноконь рогожаной кибитки высаживает Туман закутанную и в нагольном тулупе женщину с ребенком на руках. Туман, увидя меня, весело проговорил: «Найшов! найшов! ваше высокоблагородие!» И действительно, это была Варочка. Но какая разница между прежней Варочкой! Обветренная, худая. Она отдала ребенка на руки Туману и, как помешанная, бросилась к моим ногам и зарыдала. Дитя проснулося на руках у Тумана и заплакало, и он, приглубившая его, понес в свою комнату. Я поднял рыдающую Варочку и повел ее вслед за Туманом.

На другой день Туман принял опять в свои руки мое хозяйство, и все у нас в доме пошло по-прежнему. Однажды после рапорта я спросил его, где он нашел свою Варочку? «Де найшов? — отвечал он мне. — В М о л о з и⁷³, в тюрьме». Любопытство мое не совсем было удовлетворено его ответом, но я знал, что он не охотник был до подробностей, то и не спрашивал его. Некоторое время Варочка никуда не выходила из своей комнаты, и даже от меня она пряталась; мне тоже как-то казалось неловко к ним заходить. У Тумана

я каждый день спрашивал о ее здоровьи и о здоровьи дитяти, и он отвечал мне: «Благодарить Господа милосердного! Обоим здорови». Я соскучился по Варочке, и однажды, отпустивши фельдфебелей, я зашел к ним в комнату, и, как прежде бывало, Варочка читала житие Варвары-великомученицы, а Туман сидел против нее и нянчил на руках Еленочку. Я никогда не забуду эту истинно нравственную картину!

После моего визита, на другой день, Туман пришел ко мне по обыкновению и после рапорта сказал: «Ваше высокоблагородие! Я думаю ожениться, щоб люды головою не кивалы та пальцями на нас не показувалы».

«Благороднейший ты человек», — подумал я и в тот же день испросил ему у полкового командира позволение, а в следующее воскресенье я присутствовал на свадьбе Тумана в виде посаженного отца.

Варочка и после свадьбы долго еще все была грустная, задумчивая и никуда не выходила, кроме церкви. Тумана она по-прежнему называла своим татом и часто плакала, глядя на него, когда он ласкал ее Еленочку, как будто свое родное дитя. Мало-помалу она как будто начала забывать свое прошедшее, стала заходить в мои комнаты, сначала в мое отсутствие, а потом и при мне. Белье мое и все, что требовало женского глаза, она взяла под свою опеку, и лучше и аккуратнее хозяйки требовать нельзя было. Однажды поутру приходит она ко мне с Еленочкой на руках, веселая такая, счастливая. Я предложил ей чашку чаю, посадил около себя и стороною повел речь о том, как она убежала и где была спрятана капитаном до поездки в Вологду? Сначала спросил я ее, бывает ли она у фельдшерши.

— Никогда не бываю, — отвечала она.

— Почему же ты не бываешь? — спросил я. — Вы были такие короткие приятельницы!

— Хороши приятельницы! Она гнусная, лукавая женщина! Если бы не она, я бы до сих пор ничего не знала. Это она все наделала. — И Варочка заплакала.

Немного погодя я сказал: «Да, таки порядочных хлопот ты нам тогда наделала. Бедный Туман чуть в могилу не отправился. Но я до сих пор не могу понять, где ты была спрятана, потому что я тогда все мышьи норки перерыл в городе. Расскажи, сделай одолжение, как это так случилось?»

— А вот как, — сказала она, утирая слезы. — Помните, в тот день первый снег выпал. Фельдшерша, будь она про-

клята, подговорила меня покататься с нею вечером; я и ушла к ней без спросу и свечу и книгу оставила на столе; думала: сейчас ворочуся, и никто не будет знать, где я была. Прихожу я к фельдшерше, а у нее самовар на столе. Она налила мне чашку чаю: чай был такой вкусный, что я попросила и другую, а потом и третью, и мне стало так хорошо, так весело, что я готова была плясать. Я про все на свете тогда забыла. В это время против окон на улице остановились сани. Мы вышли, сели и поехали. Долго мы ездили по городу, так долго, что мне спать захотелось, и так захотелось спать, что я не помню, как я и заснула. Проснулась я в теплой комнате. Было темно, только в маленькие скважины сквозь ставни пробивался свет. Я стала припоминать вчерашнее катанье, но только и могла припомнить один чай и фельдшершу, и то, как во сне. Вскоре отворилась дверь, и ко мне вошла деревенская старуха со свечою в руках, и я спросила ее, где я? «У добрых людей», — отвечала она. «Как же я здесь очутилась?» — «Тебя на улице подняли: знать, шальные кони из саней выбросили. Не нужно ли тебе чего?» — спросила она, ставя на стол свечу. «Не нужно ничего», — отвечала я, и старуха взяла со стола свечу и вышла вон, защелкнувши на крючок двери за собою. Я все думала, где я и что со мною хотят делать? Долго я думала и, наконец, опять заснула. Когда проснулась я во второй раз, то уже свету в скважинах не видно было, голова у меня не то что болела, а кружилась хуже всякой боли. Я стала плакать. Вошла опять та же самая старуха со свечой и начала меня утешать, предлагая мне чаю и разных лакомств. Я отказывалась и только просила ее, чтобы она сказала мне, где я. Спрашивала про вас, про тата, про город наш, далеко ли он. Старуха отвечала, что ни вас, ни тата не знает, а про такой город побожилася, что отроду и не слыхивала. Потом предложила она мне чаю, я отказалась; предложила ужин, я тоже отказалась. И старуха зажгла лампадку перед образом и вышла из комнаты. Я вскочила с постели и бросилась к двери, но старуха успела их защелкнуть на крючок. Немного погодя послышался за дверью мужской голос. Голос был мне знакомый, но я не смогла припомнить, где я его слышала. Голос спрашивал: «Ну что, ей лучше теперь?» И старуха отвечала: «Все равно, батюшка, бредит и мечется». — «Ну, хорошо, — говорил тот же голос. — Я ей завтра лекаря пришлю». «Неужели это они обо мне говорят? Неужели я в самом деле нездорова?» — подумала я. Лекарь, однако ж, не приходил, и я успокоилася.

Долго, долго я сидела в этой проклятой тюрьме. Я чуть было с ума не сошла от скуки. Кроме отвратительной старухи, я во все это время никого не видала. Только уже за день перед тем, как взять ему меня с собою, вошла ко мне фельдшерша с узлом в руке. Я, как родной матери, обрадовалась ей. Она принялась меня утешать и сулить мне бог знает какие радости в будущем, с тем только, чтобы я во всем ей покорилась. Она предложила мне остричься и одеться в мужское платье. Я было отказалась, но она пригрозила мне вечною тюрьмою, и я повиновалась. У ней с собою были ножницы, и она сейчас же остригла мои косы. Господи, как я тогда плакала! Потом вынула из узла мужское платье и одела меня, и только начала было восхищаться мною, как я хороша в этом наряде, как вошла старуха и сказала: «Приехали». Мы поспешно вышли на двор. Уже было темно. За воротами стояло две кибитки — одна большая, а другая поменьше. Усадила меня фельдшерша в большую кибитку, перекрестила, и лошади тронулись с места. А остальное вы уже знаете, — проговорила она и заплакала.

Вскоре началась польская революция, и нашему корпусу велено было двинуться в Литву. Я отослал, что было лишнее, к себе домой, на хутор, и уговорил Тумана, чтобы он и Варочку с ребенком отпустил ко мне на хутор с обозом. Он так и сделал. И мы двинулись в поход налегке. По окончании кампании я взял отставку в чине полковника, а в скором времени вышла отставка и Туману. И он пришел ко мне на хутор. Я думал было его сделать у себя приказчиком, но так как мне самому делать было нечего около моего мизерного хозяйства, то я и отдал ему в содержание корчму, что около Эсмани, бесплатно, за прежние его услуги. И Викторкови моему завещал то же делать, когда меня не станет.

— Что я и [буду?] делать до конца дней моих.

Виктор N. N.»

Прочитавши этот рассказ, я призадумался, и в воображении моем грубый ветеран-корчмарь преобразился в такого человека-христианина, как дай Бог, чтобы [все?] были хоть немножко похожи на него.

Отрадное это размышление прервано было восклицанием: «Черт знает что!» Дверь растворилась, и в комнату вошел мой приятель, держа в руках мою гармонику и повторяя: «Черт знает что! Я думал, что он ей что-нибудь доброе пода-

рил. Полтина! Больше полтины не стоит. — И увидя у меня свою рукопись в руках, как бы опомнился и сказал: — Что, какова повесть? Али ты ее еще не дочитал?»

— Как раз перед вашим приездом кончил, — отвечал я.

— Ну, как, по-твоему, стоит напечатать? или нет?

— И очень даже!

— Вот то-то и есть! А они, дурни, думают, что, не читавши ничего, то ничего и не напишешь. А вот же и написал.

— Позвольте мне переписать ее, так, для памяти? — сказал я.

— Вот еще, переписывать! Возьмите так, как есть, и хоть напечатайте ее. Только с тем, как я вам и прежде говорил, чтобы не выставять моего имени.

Я дал слово. На дворе уже было темно. Напившись чаю, мы поговорили еще немного, оделись и поехали в город, в исторический Николаевский собор⁷⁴ «Деяния» слушать.

После заутрени приятель мой поехал к себе на хутор, как он говорил, по хозяйству распорядиться и, как после оказалось, затем только, чтобы соблюсти долг приличия, т. е. натянуть фрак на независимые плечи. Я же, как никого не имел знакомых и не имел охоты знакомиться, то нашел эту церемонию лишнюю и остался в городе во ожидании обедни. Погода (что весьма редко случается в это время года) стояла хорошая, улицы были почти сухи, и я пошел шляться по городу, отыскивая то место, где стояла знаменитая Малороссийская коллегия⁷⁵ и где стоял дворец гетмана Скоропадского, тот самый дворец, в котором он чествовал Данилыча⁷⁶, когда он заехал поблагодарить гетмана за гостинец, т. е. за город Почеп⁷⁷ с волостию, а Данилыч, не будучи дурак, да к Почепской волости и отмежевал посредством немецкой астробии сотню Бакланскую, Мглинскую и половину Стародубовской, да и заехал в Глухов благодарить гетмана. А простоватый Ильич, ничего не ведая, знай угощает своего светлейшего гостя, аж поки светлейший гость, в знак благодарности, велел скласть на площади против дворца каменный столб и вбить в него пять железных спиц: одну для гетмана, а прочие для старшин, если они хоть заикнутся перед царем про немецкую астробию. Однако ж старшины не уstraшились и, будучи в Москве, пожаловались на грабителя, за что наперсник и был штрафован.

Но где же эта площадь? Где этот дворец? Где коллегия с своим кровожадным чудовищем — тайною канцеляриею⁷⁸?

Где все это? И следу не осталось! Странно! А все это так недавно, так свежо! Сто лет каких-нибудь мелькнуло, и Глухов из резиденции малороссийского гетмана сделался самым пошлым уездным городком.

Благовест к обедне прервал мои невеселые вопросы, и я, перекрестясь, пошел в Николаевскую церковь, единственный памятник времен минувших. На площади догнал я чумацкий воз, везомый парюю великанами, серыми волами. В возу сидели две женщины в белых свитках — одна в лентах и в барвинковых цветах, а другая повязанная шелковым платком. Рядом с волами шел высокого росту мужчина в черной кирее и черной же смушевой шапке, с батогом в руке. Из воза выглядывал еще белый большой узел; это была завернутая в белую скатерть пасха со всеми принадлежностями.

Поравнявшись с возом, я немало удивился, узнавши в путешественниках моих старых знакомых — Тумана и его фамилию. Волы остановились, я со всеми ими похристосовался. И, беседуя о том, что Бог послал погоду и день такой хороший для такого великого праздника, мы тихонько приблизились к церкви.

После обедни на цвынтари, или на погосте, приятель мой не без умиления облобызал дюжины две православных христиан и христианок, взял меня за руку и подвел к только что вышедшему из церкви небольшому толстенькому человечку в губернском мундире, с румяным добродушным лицом, и, похристосовавшись с ним, сказал, указывая на меня: «N. N. такой-то». Я поклонился, а приятель прибавил: «Карл Самойлович Стерн, эскулап наш уездный. Ему так нравится наш истинно христианский обычай, что он каждый год надевает мундир и является к обедне. Собственно для этого праздника хочет принять нашу православную веру, — да нет, я думаю, соврет. Извини, Карл Самойлович!» Немец добродушно улыбнулся, и мы расстались.

Приехали мы на хутор, и я, войдя в комнату, или в светлицу, немало удивился, не видя ничего такого, чем бы можно было разговеться. Хозяин, заметя мое удивление, вывел меня в сени и молча показал на небольшую дверь, ведущую, как я думал, в сад. Я отворил дверь, и изумленным очам моим представился не сад, как я воображал, а огромный дощатый сарай с маленькими окнами, примкнутый к самому дому. Это была зала пиршеств, как я после узнал. Посередине

сарая стоял бесконечный стол, покрытый белой скатертью. И, Боже, чего на этом столе не было! И все это было в самых гомерических размерах. Бабуся, вертевшаяся около стола, казалась мухой против колоссальной пирамиды из теста, называемой паской. По сторонам пирамиды, как египетские сфинксы, по несколько в ряд лежали не поросята, а целиком зажаренные огромные кабаны с корнями хрену в зубах. И все прочее в таких размерах, даже водка и сливянка стояли по краям стола в больших барылах (бочонках), покрытых салфетками. Словом, все было циклопически, так что, если бы проснулся великий слепец хиосский⁷⁹, так и он только бы ус покрутил, больше ничего. Да, может быть, подумал бы, что на хуторе ждут Кадма⁸⁰ с товарищами.

Хозяин, ходя по зале (так называл он сарай), поглядывал то на стол, то на меня и самодовольно улыбался.

«За чем же дело стало? Чего тут еще недостает? — думал я. — Можно бы, кажется, приступить и к делу, или он кого дожидает?» Я хотя и не был голоден, но и равнодушно не мог взирать на все сии блага, особенно на порося и на бабу, — точно московская кубическая купчиха, белая, румяная, — ну так бы и проглотил всю разом. А хозяин, как ни в чем не бывало, ходит себе да только улыбается. Полчаса, если не больше, прошло в ожидании. Я начал уже припоминать анекдот про царя и его любимого боярина, как тот верный боярин проворовался в чем-то перед царем. Добрый царь не хотел для открытия истины употребить в дело огня и железа, а продержавши суток с трое в темнице без хлеба и воды своего верного боярина, потом велел подать себе миску добрых щей, жареного поросенка и позвать боярина к допросу. Что же вы думаете? За ложку щей да за хвостик поросенка во всем боярин повинился. Вины, правда, я за собой никакой не сознавал, но мне невольно думалось, не хочет ли приятель мой и надо мной такую штуку выкинуть, как тот царь над своим верным боярином. Так в чем же я перед ним провинился? В эту самую секунду дверь отворилась, и вошла в залу бабуся с тарелкою в руках; в тарелке была священная вода и кропило из сухих васильков. Входя в залу, бабуся скороговоркою сказала: «Уже на гребли!» Приятель мой вышел в сени. Вскоре послышался на дворе стук колес, и минуты две спустя вошел в залу священник при епитрахили, сопровождаемый хозяином и церковниками. За клиром вошел Туман с своими домочадцами,

а за Туманом чинно, без шума, разглаживая усы, пошли мужички и через минуту наполнили собою весь сарай. После священнодействия священник, а за ним хозяин, а потом уже я похристосовались со всеми предстоящими и, разговевшись кусочком черного хлеба, приступили, кто к чему имел поползновение. Теперь только объяснилось, для чего в таких гигантских размерах было приготовлено съедобное и спитобное. Приятель мой (за что я с ним десять раз похристосовался) буквально следовал слову златоустого витии и любви и смирению первобытных христиан. Тут не было раба и владыки, тут был самый радушный хозяин и самые нецеремонные гости.

Проводивши священника и крепостных своих гостей, он усадил за стол меня, Тумана с фамилией и сам сел между нами, сказавши: «Отепер разговеемся!» Против меня сидела Еленочка с матерью, и теперь только я рассмотрел ее с должным вниманием, — это была настоящая, только-только что расцветшая красавица. Густые темно-каштановые волосы, заплетенные в две косы и перевиты[е] зеленым с синими цветами барвинком, придавали какую-то особенную свежесть ее изящной головке. Тонкая белая рубаша с белыми же прозрачными узорами на широких рукавах ложилась на плечах и на груди такими складками, какие не снились ни Скопазу⁸¹, ниже самому Фидию⁸². Словом, передо мною сидела богиня красоты и непорочности. Рядом с Еленочкой сидела мать ее, когда-то Варочка, а теперь Варвара Ивановна, как называл ее сам хозяин. А около нее сидел Туман, с улыбкою покручивая белые усы свои. Я смотрел на него не как на простого корчмаря-ветерана, а как на рыцаря великих нравственных подвигов, как на человека-христианина в самом обширном смысле этого слова. И, признаюсь, завидовал ему. Он в моих глазах казался совершенно счастлив, да иначе и быть не могло. Человек, так высокоблагородно исполнивший свои обязанности в отношении к ближнему, даже в нищете и одиночестве должен быть счастлив. А его старость была окружена достатком и самыми искренними, самыми нежными друзьями. Не случалось мне видеть такого изящного произведения скульптуры или живописи, которое так бы успокоительно-сладко привлекало мои глаза к себе, как кроткое, спокойное лицо этого седого доблестного героя добродетели. Озеров вполне чувствовал эту прелесть, сказавши устами Эдипа:

Мой не увидит взор
Ни мужа кроткого приятного чела,
Которого рука богов произвела⁸³.

Встали мы из-за стола тихо, скромно, как будто из-за обыкновенного обеда, помолились Богу, и Туман, взяв свою смушевую шапку, взглянул на жену и стал прощаться с хозяином. Туман вообще неговорливый, но на этот раз он был совершенно немой за столом. Я думал было завести разговор о Блюхере или о Бонапарте, но, взглянув на него, мне мысль моя показалась просто тривиальной. Единственное слово, что я от него услышал, и то уже на дворе: когда он посадил свою фамилию в чумацкий воз и волю тронулись с места, то хозяин, стоя на пороге, спросил его: «Так на Фоминой, батьку?» — «Эге», — ответил Туман и пошел за возом.

Вечеру, за чаем, приятель мой вопреки своей натуре был задумчив. Я сделал ему каких-то два-три вопроса, да потом и себе начал барабанить по столу пальцами. Уже бабуся и свечи подала, уже убрала и самовар с принадлежностями, а мы все сидим, не двигаясь, да барабаним по столу. И не знаю, долго ли бы продолжалось это барабанное упражнение, если бы я не вздохнул, так себе, от нечего делать. Приятель мой поднял голову, взглянул на меня и засмеялся. Насмеявшись досыта, сказал он:

— Послушай! Мое дело хозяйское, мне есть о чем задуматься и вздохнуть. Ну, а ты какого черта вздыхаешь?

— Хозяин невольно передает свои впечатления гостям, — отвечал я.

— Правда, правда твоя! А знаешь ли что?.. — проговорил он и замолчал.

— Буду знать, коли скажешь.

— У меня к тебе великая просьба есть. Дай слово, что исполнишь, — скажу.

— Дам слово, если скажешь, какая просьба.

— Прогости у меня до Фоминой недели.

— Не могу.

— Вот то-то и есть. Заставил меня открыть секрет, а теперь и назад. Это не похоже на порядочного человека!

— Какой же тут секрет? — спросил я.

— А такой секрет, — отвечал он, подумавши, — что на Фоминой неделе я думаю венчаться, а тебя прошу быть у меня шафером, или, по-нашему, боярином. Ну что, согласен?

Я, как был в то блаженное время человек совершенно независимый, то, не долго думая, и сказал ему: «Согласен».

— Вот это по-дружески! — говорил он, пожавши мою руку так по-дружески, что я чуть не закричал.

— Теперь же ходимо вечерять! — прибавил он, вставая.

Тучная вечеря и нелицемерное возлияние развязали язык моему приятелю и открыли его сердечный тайник. Он сначала высказал мне свои самые естественные понятия о семейной и политической жизни человека, о его назначении вообще как создания прекрасного и разумного, и как он может быть независим, а следовательно и счастлив в своей кратковременной жизни, ни малейше не нарушая гармонии общества себе подобных. Он так увлек меня своими суждениями, что я в нем начал видеть самого натурального, самого естественного мудреца, чуть ли не выше самого Сократа⁸⁴. Но как мудрецу и вообще человеку трудно и, кажется, вовсе невозможно указать самому точку, через которую не должно переступить, то и приятель мой незаметно перешел к утопии и начал мне доказывать, что грамотность, особенно в женщинах, особенно вредит благополучию человечества. Я думал было, что источник такой идеи был вино, обильный источник сливянки, пока он не заключил своих доказательств такими словами:

— Я надеюсь, и не без основания, что я буду совершенно счастлив с моей женою, и именно потому, что она неграмотна!

— Ты — может быть, но этого нельзя сказать про многих, и я первый не скажу про себя.

— Потому что многие, в том числе и ты, ничего больше, как нравственные уроды.

«Вот тебе й на!» — подумал я и, помолчавши, спросил:

— Как твой старший боярин, имею ли я право спросить у своего князя, кто же это такая будущая счастливая княгиня?

— Секрет, до последнего дня секрет! А то ты, пожалуй, станешь меня разочаровывать.

Долго мы сидели за столом молча, изредка поглядывая друг на друга и на бутылку со сливянкой, и, когда увидели, что на сухом дне бутылки ничего достойного внимания не оказалось, встали из-за стола и, выразительно пожавши друг другу руки, пошли спать.

В продолжение недели мы с приятелем закусывали, завтракали, обедали, вечеряли и спали. Много и много пере-

говорили мы о разных совершенно посторонних предметах, в том числе и о современной литературе, за которой он, как и всякий порядочный человек, следил довольно внимательно, что меня немало удивило, потому что я, кроме варварского перевода басен Федра, ни одной книжки не видел в его доме. Кроме современной литературы, у нас часто заходила речь о тонкой современной политике Меттерниха⁸⁵, но о предстоящей свадьбе ни полслова. Я раз было, вопреки вежливости, заикнулся о сем щекотливом предмете, но приятель мой был нем, аки рыба, приказал заложить бричку и, не сказавши мне до свидания, сел и уехал, бог знает куда.

Прошла наконец бесконечная для меня Святая неделя, прошла и половина Фоминой. Приятель мой уехал в среду поутру и пропадал до самого вечера. Возвратясь ввечеру домой, он молча надел фрак, причесался, посмотрел в зеркало и сказал, обращаясь ко мне: «Я готов. Одевайся скорее, поедем». Я тоже оделся. Сели в бричку и поехали в город прямо в Николаевскую церковь. Церковь была освещена, священник в облачении, посередине церкви нагой, а дьячок, разглаживая усы, чуть-чуть не возглашал «Исаия, ликуй». Не успел я осмотреться, как двери растворились и вошла Еленочка, сопровождаемая Туманом и матерью. Войдя в церковь, она перекрестилась, смело подошла к навою и стала на свое место. Я, когда увидел ее поближе и ярче освещенною, так только ахнул: так она была торжественно прекрасна. Обряд кончился, и я не без зависти поздравил моего счастливого приятеля с новой жизнью, с новой радостью. А на другой день, поблагодаривши за хлеб-соль моего приятеля, я уехал в Киев.

БЛИЗНЕЦЫ

Всему просвещенному миру известно и переизвестно, что понедельник — день критический, или просто тяжелый день, и что в понедельник всякий более или менее образованный человек не предпримет ничего важного: он лучше пролежит целый день; хотя бы там, как говорится, само дело просилось в руки, он перстом не пошевелит. Да и в самом деле, если хорошенько рассудить, если мы из-за презренного серебряника надругаемся над священными преданиями старины, что же тогда из нас будет? А выйдет какой-нибудь француз или, чего Боже сохрани, куцый немец, а о типе, или, так сказать, о физиономии национальной, и помину не будет. А по-моему, нация без своей собственной, ей только принадлежащей, характеризующей черты похожа просто на кисель, и самый безвкусный кисель.

Но, увы! не так думают прочие. Например, наше военное сословие далеко отстало от современников на пути просвещения. Они, например, не веруют вовсе в понедельник и легкомысленно называют этот священный завет отцов и дедов наших бабьими бреднями. Боже мой! Боже, вот до чего мы дожили. А попросил бы я это усатое сословие заглянуть, например, хоть бы в «Письмовник» знаменитого Курганова¹. Там именно сказано, что еще древние халдейские маги и звездочеты², а за ними и последователи учения Зороастрова³ неукосненно веровали в критичность понедельника. Так вот, поди толкуй ты с беспардонною военщиною. Военный, вполне военный человек, он лучше загнет лишний угол или возьмет у жида лишнюю бутылку самодельного рому, так называемого клоповика, чем [захочет] выписать мудрую книгу какую-нибудь, хоть, например, «Ключ к тайнствам природы» Э к к а р т с г а у з е н а⁴ с прекрасными рисунками знаменитого нашего Егорова⁵. Так где тебе! И слушать не хотят.

Я все это речь веду к тому, терпеливый читатель, что, поругавши освященные многими и премногими годами ве-

рования предков наших, именно в понедельник, рано утром, из уездного города П. и губернии тоже П.⁶ выступил в поход не то гусарский, не то уланский полк, не помню хорошенько; помню только, что сбор в трубу трубили, поэтому и надо думать, что полк был кавалерийский, а если б был пехотный, то сбор били бы в барабан.

Входит и выходит из села или городка полк — это два великие события, а особенно, если полк, чего Боже сохрани, простоит на квартирах хоть несколько дней; тогда выход его сопровождается слезами и очень часто самыми искренними слезами. Я это говорю только в отношении прекрасного пола. А насчет мужей и женихов я не говорю ни слова. И ни слова также не скажу о выходе реченного кавалерийского полка из реченного города Переяслава, разве только, что многие мирные гражданки провожали полк, хотя погода не совсем благоприятствовала, по[тому] что шел затяжной дождь, или, как назвал его покойный Гребенка, ехидный⁷, сиречь мелкий и продолжительный. Но, невзирая на этот ехидный дождь, многие из гражданок провожали усачей своих до села N., другие — до местечка Борисполя⁸, а остальные, и самые бескорыстные, провожали даже до пределов киевских, то есть до переправы на Днестре. А когда полк благополучно переправился, то и они, поплакавши немного, тоже переправились через Днепр и разбрелися по великому городу Киеву и скрыли свои преступления и стыд в глухих притонах всякого разврата.

Таковы результаты продолжительной стоянки самого благовоспитанного полка.

В тот же понедельник, поздно вечером, молодая женщина возвращалась в город Переяслав по киевской дороге и, не доходя до города версты четыре, как раз против Требрятних могил⁹, свернула с дороги и скрылась в зеленом жите. Перед рассветом уже она вышла из жита на дорогу, неся на руках что-то завернутое в серую свитку. Пройдя немного по большой дороге, она остановилась у поворота и, подумавши немного, кивнула выразительно головою, как бы решаясь на что-то важное, пошла быстро по маленькой, поросшей спорышом дорожке, ведущей к хутору старого сотника Сокиры.

На другой день поутру рано, т. е. во вторник, вышла пани Прасковья Тарасовна Сокириха покормить собственноручно всякую живность, как-то: цесарок, гусей, курей и т. д.,

а голубей будет довольствоваться уже сам пан сотник Никифор Федорович Сокира. Представьте же ее ужас, когда она, выходя на ганок, т. е. на крыльцо, из покоев, увидела около ганку серую свитку, шевелящуюся, как будто бы живую. И в испуге ей показалось, что свитка будто бы плачет, как дитя. Долго она смотрела на серую свитку, слушала, как она плачет, и сама не знала, что делать. Наконец, решила пригласить Никифора Федоровича.

Никифор Федорович вышел, что называется, неглиже. Однако все-таки в широких китайчатых красных шароварах.

— Посмотри, посмотри, мой голубе, что это у нас делается, — говорит испуганная Прасковья Тарасовна.

— Что же тут у нас делается? Я ничего не вижу, — говорит Никифор Федорович.

— А свитка, разве не видишь?

— Вижу свитку.

— А разве не видишь, что она шевелится, как будто живая?

— Вижу. Так что ж, пускай себе шевелится, Бог с нею.

— Каменный ты человек. Разве не надо посмотреть, отчего она шевелится, а?

— Ну, так посмотри, коли тебе хочется.

— А тебе не хочется?

— Нет.

— Так вот же посмотри ты прежде, а потом и я посмотрю.

— Хорошо.

И с этим словом он подошел к свитке, развернул ее осторожно и — о ужас! Он не мог выговорить ни слова, только указал выразительно пальцем на развернутую свитку и стоял в этом положении с минуту, а очнувшись от изумления, вскрикнул:

— Параско!

Старушка бросилась к нему и также в изумлении остановилась перед развернутой свиткой с поднятыми руками. Немного простояв в этом комитрагическом положении, она воскликнула:

— Святой великомучениче Иване Воине¹⁰, что ты с нами делаешь? — И, обратясь к Никифору Федоровичу, сказала: — Вот видишь, я недаром видела во сне двух маленьких телят. Я тебе говорила, что что-нибудь, а непременно да случится. Ну, благодарим тебе, Господи наш милосердый, — прого-

ворила она, крестясь и бережно подымая вместе со свиткой двух красненьких малюток, — наградил-таки ты нас, Господи, на старости лет.

— Неси ж их, Парасковие, в дом наш, а я тым часом пошлю в город за Притулыхою, пускай она их по-своему в травах искупает, да, может быть, и еще что нужно им сделать.

— Ах! и в самом деле! Посмотри, у их, сердечных, и пупки зеленою соломинкою перевязаны.

— Ну, так отнеси ж их! А я пошлю Клыма за Притулыхою, — сказал не совсем спокойно Никифор Федорович и пошел отдавать приказание.

Надо вам сказать, что эта старая добрая чета, проживши много лет в мире и благополучии, не имела ни единого детища, как говорится в сказке о Еруслане Лазаревиче: «Смолоду на потеху, под старость на помощь, а по смерти на вспомин души»¹¹. Они, бедные, долго и усердно молились Богу и надеялись, наконец, и надеяться перестали. Они вже думали, сердечные, хоть бы чужое дитя воспитать за свое, так что же будешь делать? Хоть и есть бедные сироты, так добрые люди разбирают, а им не дают, потому что они, видите, паны, а с паныча, говорят они, добра не будет. Еще прошлою весною ездил Никифор Федорович в местечко Березань¹², прослышавши, что там после бедной вдовы осталось двое сирот, мальчик и девочка, так что ж? И тех взял барышевский¹³ тытарь, человек вдовый и бездетный, а богач темный. Так и вернулся ни с чем домой Никифор Федорович. И вдруг великой своей благодатью Господь посетил их праведную и добродетельную старость.

Радостно, неизреченно радостно встретили они и проводили вторник. А в среду перед вечером приехал к ним искренний друг их, Карло Осипович Гарт, таки аптекарь переяславский, и, по обыкновению приложившись к руке Прасковьи Тарасовны и поздоровавшись с Никифором Федоровичем, понюхал из раковинной табакерки, которую прислал ему в знак памяти друг его и товарищ, тоже аптекарь в Аккермане¹⁴ или в Дубоссарах¹⁵, Осип Карлович Шварц. Понюхал табаку и, садясь на скамейку перед ганком, сказал почти по-русски:

— У наш городе новость новость догоняет. Сегодня Андрея Ивановича приглашали свидетельствовать женское тело, случайно найденное в Альте¹⁶, около вашего хутора,

а вы, верно, ничего этого не знаете? — Сделавши такой вопрос, он снова открыл раковинную табакерку и воткнул в нее два пальца. Хозяева значительно переглянулись между собою и молчали. А Карло Осипович продолжал:

— Да, когда я был еще студентом в Дорпате¹⁷, там тоже тогда стояла кавалерия, а когда вышла из Дорпата, так тоже три или четыре трупа женских принесли из полиции к нам в анатомический театр. Полиции все равно, они не знают, что для нашей науки удобнее мужское тело, а женское не так удобно: много жиру, до мускула не доберешься.

— Вот что! — прервала его Прасковья Тарасовна. — У меня к вам просьба, Карло Осипович, чи не пожалуете вы к нам кумом? Нам Господь деточек даровал.

— Как так? — вскрикнул изумленный Карло Осипович.

— Так, просто, около ганку нашли вчера двух ангелов Божиих.

— Удивительно! — воскликнул снова Карло Осипович и опустил руку в карман за табакеркою.

— А я попрошу еще и Кулыну Ефремовну. Она тоже немка, вот вы и породнитесь.

— Нет, она совсем не немка, она только из Митавы¹⁸. Но это ничего. Я очень, очень рад такому случаю.

Карл Осипович, обрадованный таким приятным предложением, не мог, по обыкновению, провести вечер с своими искренними друзьями, вскоре распрощался и уехал в город, чтобы известить Кулыну Ефремовну о предстоящем событии. Расставшись с Карлом Осиповичем, старики несколько времени смотрели друг на друга и молчали. Первая нарушила молчание Прасковья Тарасовна.

— Как ты думаешь, Никифоре, не отслужить ли нам в следующую субботу панихиду по утопленнице? Ведь она должна быть их настоящая мать.

— И я так думаю, что настоящая. Только нужно будет подождать до Клечальной субботы, а то Бог ее знает, быть может, она самоубийца¹⁹, то как бы еще греха не наделать.

— Хорошо, подождем. Теперь уж недалеко Зеленое воскресенье. Да... посмотри, пожалуйста, какого завтра святого, как мы назовем своих детей, ведь они обое мальчики.

Никифор Федорович достал киевский «Каноник»²⁰ и, вооружась очками, начал перелистывать книгу, ища июня месяца. Найдя месяц и число, он в восторге перекрестился и воскликнул:

— Парасковие! Завтра святых соловецких чудотворцев Зосима и Савватия!²¹

— А нет ли еще других каких?

— Да зачем же тебе других еще? Ведь это святые заступники и покровители пчеловодства.

Он еще раз перекрестился, закрыл книгу и положил ее под образа. Нужно вам сказать, что Никифор Федорович был страстный пасичник, и вдобавок искусный пасичник. Поэтому Прасковья Тарасовна и не смела сказать, что имена были не совсем в ее вкусе.

Вскоре после этого старики молча повечеряли и, помоляся Богу, разошлись спать — Никифор Федорович в комору, а Прасковья Тарасовна в свою светлицу, где, разумеется, были помещены и маленькие близнецы.

Таким-то важным для добрых стариков [событием] был ознаменован выход кавалерийского полка из города Переяслава.

Для краткости этой истории не нужно было бы описывать со всеми подробностями ни хутора, ниже его мирных обитателей, тем более, что история сия весьма мало, так сказать, мимоходом их касается. Настоящие же мои герои вчера только увидели свет Божий. Так что же, спрашиваю вас, можно сказать интересного про них сегодня? А потому-то я, подумавши хорошенько, и решился описать и хутор, и его мирных обитателей для того токмо, чтобы терпеливый мой читатель или читательница могли ясно видеть, чем и кем было окружено детство и отрочество моих будущих героев. Пословица справедливо гласит: «Каков из колыбельки, таков в могилку»²². А вот мы и увидим, в какой степени эта пословица справедлива. Еще говорят, что живые детские впечатления так живучи, что умирают только вместе с нами, и что воспитанием ничего не сделаешь из юноши, если его детство было окружено грубою декорацией и такими же актерами, и что детство, проведенное на лоне божественной природы и на лоне любящей прекрасной матери и христианина отца, — что такие прекрасные впечатления неоторимой стеною станут вокруг человека и защитят его на дороге жизни от всех мерзостей коловратного света.

Посмотрим, в какой степени можно верить сей непреложной истине.

Чтобы избежать оригинальности, которую так любят щегольнуть юные повествователи наших дней и которые, возлюбив всем сердцем и всем помышлением французские уродливые повествования, наперерыв подражают им и в простоте юного и уже отчасти растерзанного сердца верят, что они оригинальнее самого полубога А. Дюма²³ (блаженны верующие, я же неверующий Фома), начну старыми словами²⁴ повествование мое тако.

Сначала опишу со тщанием место, т. [е.] пейзаж; потом опишу действующих лиц, их домашний быт, характеры, привычки, недостатки и добродетели, а потом уже, по мере сил, приступлю к драме, т. е. к самому действию. Метода, или манера, эта не новая, но зато хорошая манера. А хорошее, как говорят, не стареет, исключая хорошенькую кокетку, которая, увы! увядает преждевременно.

Начнем же так. На правом берегу хотя и скудной, но знаменитой реки Альты расположен хутор старого сотника Сокиры, верстах в четырех от города Переяслава, словом, против того самого места, где бешеный честолюбец, окаянный Святополк, зарезал родного праведного брата своего Глеба²⁵, и на этом же месте, по сказанию Конисского, совершилась кровавая, или Тарасова, ночь в 1547 году²⁶. Так против этого святого места расположен хутор сотника Сокиры, сам по себе не очень живописный, по причине опрятности, доведенной до педантизма. Но зато окрестности окупались чистым рюисдалевским пейзажем²⁷. Берега Альты устланы зеленым высоким камышом, так что самую реку и не видно, разве только против Сокириного хутора. Густые зеленые камыши разрезаются на широком пространстве группами широковетвистых верб и старых осокоров. На левом берегу Альты выглядывает из-за зеленых верб небольшая беленькая церковь, воздвигнутая иждивением христолюбивых граждан г. Переяслава над тем самым каменным столбом, который знаменовал место убийства невинного Глеба. За оградой церкви до самого города расстилается равнина, засеянная житом и пшеницею и густо уставленная историческими могилами. И чем ближе к городу, тем могилы выше и гуще, так что городского валу издали совсем не видно и весь город кажется на могилах построен. Сам же город Переяслав, как и вообще города, издали кажется в тумане, но над городом из тумана выходила белая осьмиугольная башня, увенчанная готическим зеленым куполом с золотою главою. Это соборный храм прекрасной, грациозной,

полурококо, полувизантийской архитектуры, воздвигнутый знаменитым анафемой Иваном Мазепой в 1690 году²⁸. Другая же темная деревянная башня с плоской осьмиугольной крышей полуотделяется от серенького фону. Это Успенская церковь, прославленная в 1654 году принятием присяги на верность московскому царю Алексею Михайловичу гетманом Зиновием Богданом Хмельницким со старшинами и с депутатами всех сословий народа украинского.

Далеко за городом синеют высокие днепровские горы.

Геральдический дуб дома Сокиры не восходит до баснословной вышины и насажден в темной дворянской дуброве дедом Никифора Федоровича Карпом Сокирою, голштинцем, возвратившимся из Петербурга после кончины императора Петра III²⁹ не, по примеру прочих голштинцев, наг и гладен, а с порядочным мешком голландских червонцев, с чином гвардейского ротмистра и с правом потомственного дворянина. Возвратясь в свой родной Переяслав, он, [к] его великой радости, беспрепятственно женился на дочери тогдашнего полковника переяславского цыгана Иваненка³⁰ и получил за женою в приданое хутор со всеми угодыями и несколькими сотнями [десятин] пахотной и луговой земли на берегах речки Альты.

Через год же или через два оставил свою молодую жену и годовалого сына, записался портупей-майором в себулдинцы³¹ и ушел с полком за пределы Малороссии. Вскоре начали себулдинцев обращать в регулярные войска, чему немало сопротивлялся и майор Сокира, за что с прочими супротивниками и был казнен в четырех городах, на четырех площадях в один день. Право же дворянства было оставлено его малолетнему сыну. Так трагически кончил свою карьеру насадитель родословного дуба дома Сокиры Карпо Сокира, голштинец.

Юный Федор Сокира, оставшись единственным наследником прав и состояния отца и единственным сыном чадолюбивой матери, оказался порядочный мальчик, несмотря на заботливость нежной матери. Он изрядно выучился читать печать церковную и гражданскую, письму и благозвучному церковному пению, и всему этому выучил его добронравный соборный дьяк Степан Перепельца, невзирая на все увещевания нежнейшей матери.

В то счастливое время, хотя дворяне и не находили надобности в просвещении или, лучше, им не приказывали

просвещаться, однако ж юный Федор бессознательно чувствовал благо просвещения и неотступно просил маменьку, чтобы она отвезла его в Киев и отдала учиться в бурсу³².

После долгих настоятельных просьб сына маменька, наконец, решила отвезти его в киевскую бурсу. Определивши его в бурсу, отдала под надзор тогдашнему инспектору бурсы, или академии, отцу Дионисию Кушке, старцу суровому и богобоязненному; а отдала она его для того под надзор, чтобы дитя малое не выучилося иногда воровству и разбойничеству.

На бурсацкой скамье или на подольском базаре³³ подружился он с знаменитыми впоследствии Иваном Левандою³⁴, Григорием Гречкою³⁵ и тогда уже философом Григорием Сковородою³⁶, а больше ничем не ознаменовалась его бурсацкая жизнь. Учился он хорошо, а кончил тем, что [когда] однажды, приехавши славные запорожцы на подворье свое в Киев провожать товарища своего Ярмолу Кичку в Межигорский монастырь³⁷, устроили брату приличное прощание со светом, то есть закупили на Подоле горилку, разлили ее в ушаты и с цеховою музыкою пошли торжественно в Межигорье, потчюя встречного и поперечного братскою горилкою из мыхайлыка³⁸, а прощавшийся со светом брат знай себе танцует впереди музыкантов, — прельстился такою прекрасною картиною уже не совсем юный Федор Сокира и, не долго думавши, прыгнул с высокой стены Братского монастыря (ворота для такого случая были заперты) и присоединился к запорожской братии. После этого происшествия след его оказался на Великом Запорожском Лугу, и в числе запорожских депутатов, вместе с Головатым, он является Екатерине Великой³⁹. Потом является на нецеремонном обеде у генерала Текелия⁴⁰. И, по уничтожении низового запорожского войска, возвращается благополучно в город Переяслав с чином капитана и правами потомственного дворянина.

Отслуживши панихиду по своей матери, он зажил добрым селянином на своем родовом хуторе и в непродолжительном времени женился.

В это-то счастливое время возобновил он свое школьное знакомство с соборным протоиереем Григорием Гречкою, а через него и с знаменитым уже витиею Иваном Левандою и уже с настоящим философом Григорием Сковородою. А между тем сын его первородный, Никифор, выросал. А отец, заболтавшись с мистиком-философом, думал, думал, как бы про-

светить сына, да, не додумавши, взял да и умер. А юный сын, что называется, и остался в дураках.

Но благому провидению угодно было заступить прекрасного и безродного юношу от мрака невежества, а быть может, и вынести из пучины разврата. И [оно] послало ему благочестивого и премудрого просветителя и заступника в лице отца Григория Гречки, протоиерея Переяславского.

Если не можешь ты говорить о ближнем доброго, то о худом его не говори. Евангельское правило, но, увы! не всегда удобоприменимо в жизни нашей, исполненной греха и клеветы. Мне же, как ретивому поклоннику святой правды, необходимо сказать несколько слов о матери юного Сокиры, таких, что хоть бы и не говорить. Добрая слава для нас свята, но для женщины и тем паче; она же, к несчастью, не пользовалась доброю славою, а быть может, и пото[му прославилась] на всю область Переяславскую, и была похищена из дому родительского Федором Сокирою, и тайно обвенчалась за границею, т. е. за Днепром, в Трахтемирове⁴¹. Следовательно, они сочетались по увлечению, а брак по увлечению, всем известно, редко бывает счастлив. Так, может быть, кумушки-голубушки отчасти и не совсем клеветали. Как бы то ни было, но только отец Григорий рассудил, что лучше будет взять дытыну на свои руки. И, по-моему, он поступил благоразумно и великодушно, потому что я плохо верую в воспитание самых добродетельных матерей, тем более, если у них одно-единственное дитя.

Так как юному Сокире подходило к седьмому году, то отец Григорий в одно пасмурное утро продиктовал мальчику молитву перед началом учения и развернул перед ним букварь. Каково же было его удивление, когда мальчик, не запинаясь, прочел ему всю азбуку. «Добрый знак», — подумал отец Григорий и показал ему буки аз — ба и т. д. Заметя вскоре понятливость и добронравие в мальчике, он начал его учить, кроме славянского, еще трем языкам: еврейскому, греческому и римскому. Он, вероятно, предполагал из него сделать доктора по крайней мере любомудрия, сиречь философии. Но юноша, не подозревая великих планов своего великого учителя, подвизался себе втихомолку и на десятом году возраста бегло читал Давида, Гомера и Горация⁴². А на одиннадцатом году возраста поздравил своего наставника с Новым годом на всех четырех языках, прочитавши

ему вирши, написанные в Киевской д[уховной] а[кадемии] в честь митрополита киевского Серапиона⁴³ на четырех языках. Наставник, в восторге обнявши ученика, проговорил:

— Зерно упало на добрую землю.

Но все-таки предположение сделать из Сокиры философа всех наук не сбылось.

На пятнадцатом году своего возраста начал он учиться у своего учителя музыке. Отец Григорий знал, что [для] вящего облагорожения сердца человеческого необходима музыка. И для того просил письмом друга своего философа Сквороду показать своему любимцу начальные основания музыки. Философ не медлил явиться в Переяслав с своими неразлучными друзьями, с флейтою и собакою, и с успехом начал преподавать сладкозвучие. И с таким успехом, что с небольшим через год они уже вдвоем с учеником [распевали] разные канты и дуэты. А в день ангела отца Григория, после ужина, к великому восторгу гостей, спели они, с аккомпаниманом на гусях, сатирическую песню Сквороды, которая начинается так:

Всякому городу нрав и права,
Всяка имеет свой ум голова⁴⁴.

Сокира молодой, действительно, делал большие успехи в познании музыки, если принять в соображение истинно философскую небрежность преподавателя. Мистик-философ, бывало, наденет на себя серую свитку, накроет голову соломенным брылем, флейту в руку и марш куда глаза глядят. А верный спутник его за ним. Бывало, пойдет в Березань, в 30 верстах от Переяслава. По дороге зайдет на древнюю высокую могилу, называемую *В ы б л а*⁴⁵, и зайдет на могилу единственно за вдохновением. И, почерпнувши из недр ее малую толику сего, богам единым свойственного дара, спешил делиться сею благодатию с другом своим Якимом Лукашевичем⁴⁶ в Березани. Проживя неделю у друга, идет навестить другого, а там третьего, а через месяц, смотришь, он уже в Киеве. Сидит с другом своим Иваном Левандою на скамеечке у ворот и читает импровизированную диссертацию о связи души человеческой с светилами небесными⁴⁷, а вития наш знаменитый, независимо от дружней диссертации, готовит к следующему воскресенью проповедь. Проживя немало в Киеве, он очутится в Стайках⁴⁸, а оттуда в Трахтемирове, а там через день и в Переяславе. Препод-

давши урок музыки, снова пускался навещать друзей своих, только уже через Яготин⁴⁹ до Полтавы и далее.

Гречка намерен был уже писать к Бортнянскому (также своему товарищу по бурсе)⁵⁰, потому что видел в молодом Сокире решительный гений музыки и голос архангельский, но судьбе угодно было совершенно иначе распорядиться.

Быстро приближался событиями чреватый 1812 год, а юному Сокире скончился 19 со дня рождения.

Наконец, разрешился от бремени своими чудовищами-чадами страшный 12 год. Как жертва всесожжения, вспыхнула святая белокаменная, и из конца в конец по всему царству раздался клич, чтобы выходили и стар и млад заливать вражескою кровью великий пожар московский⁵¹.

Достиг этот судорожный клич и до пределов нашей мирной Украины. Зашевелилася она, моя родная маты: зашевелилося охочекомонное и охочепешее ополчение малороссийское⁵². Не выдержал мой юноша, разбил Псалтырь и гусли. Бежал и в городе Пирятине⁵³ записался в полк под начало пирятинского полковника Николая Свички⁵⁴.

Узнавши все и вся, Гречка просил письмом друга своего Николая Свичку не покидать его питомца на кровавом военном поприще, что друг исполнил, как заботливый отец. Назначив юноше первый уряд, полковник Свичка с полком своим выступил из славного города Пирятин на супротивного галла и на двадесят язык⁵⁵.

Когда полк проходил через г. Переяслав, то отец Григорий во главе духовенства встретил воинство у стен града, осенил его крестным знаменем и оросил святою водою. Когда же подошел к чаду души своей, то, возведя горе полные слез очи, проговорил: «Господи, заступи тебя и сохрани тебя».

Когда кровавые события пришли к желанному концу и зубастого французского зверя заперли в английскую конуру⁵⁶, то и наше славное воинство разбрелось по хуторах и селах и, сложа доспехи бранные, взялося за плуги и рала.

В половине 15 года возвратился Сокира в родной свой Переяслав с чином сотника и, [к] великой своей скорби, не нашел в живых своего благодетеля отца Григория. Он нашел только в городской ратуше духовное завещание покойника на свое имя, в котором незабвенный благодетель отказал ему часть своей библиотеки, состоящей из дорогих изданий древних классиков, еврейскую Библию, французскую энциклопедию⁵⁷ и рукописный экземпляр летописи Конисского⁵⁸,

на первом листке которого было написано собственною рукою преосвященного тако: «Юному моему другу и собрату Григорию Гречке, доктору богословия и других наук, на память посылает смиренный г. Конисский». Кроме библиотеки, отказал он ему еще дорогую скрипку и свои любимые гусли с изображением на внутренней части двух пляшущих пастушек с посошками и пастушка, под липою у ручья играющего на флейте.

С самого начала он отслужил панихиду по праведной душе своего благодетеля, и, перенесши на опустелый свой хутор драгоценное наследство (мать его тоже скончалась), он начал приводить свою дедовщину [в порядок], и, уладивши на скорую руку что мог, он пригласил духовенство и сначала освятил собором возобновленную оселю, а потом собором отслужили панихиду о успокоении душ отца, матери, и всех ближних родственников, и ближайшего, искреннейшего своего друга и благодетеля отца Григория. По совершении богослужения, по примеру предков своих, он накормил разного чина людей около 1000 душ, исключая все городское духовенство и шляхетный класс.

Когда он остался на своем хуторе один, скучно ему стало. Долго, несколько месяцев скучал он и не знал, что с собой делать. Только однажды вечером и вспомнил он святое изречение: «Не удобно человеку жити единому»⁵⁹.

На другой день рано, оседлавши коня, поехал он в Сулимовку⁶⁰. Там у него, когда он еще не ходил на войну, росла на примете маленькая девочка у небогатого панка. Презрзя обычаи отцов, он без посредства сватов переговорил с отцом, с матерью, а тут же с невестою, та, не говоря худого слова, после Р[ождества] Х[ристов]а и перевенчались.

После такой скоропостижной свадьбы невозможно было рассчитывать на семейные радости, а вышла благодать, да и благодать-то еще какая. Во-первых, молодая жена Сокиры — красавица, да еще и красавица какая! дай Бог другому хоть во сне увидеть такую красавицу. А во-вторых, самого чистого, непорочного сердца и нрава тихого и покорного. Одним словом, над нею и внутри ее было Божие благословение. Одно, что можно было сказать про нее не то чтобы худое, но немного смешное. Ей, бедной, удалось прошедшее лето погостить месяц у своих богатых родственниц в местечке Оглаве⁶¹. А родственницы эти только что возвратились из Киева, или, лучше сказать, из какого-то киевского пансио-

на. И были чрезвычайно образованны. Тут-то она, бедная, и пошатнулась. От них-то она узнала, что грамоте их учат не для одного молитвенника, а еще кое для чего. И что высшее блаженство благовоспитанной барышни — это носить лиф как можно выше и обворожать кавалеров. А песень-то, песень каких восхитительных она у них позанялась — и как «стонет голубок»⁶², и как «дуб той при долине, как рекрут на часах»⁶³, и как «пастушка купается в прозрачных струях», и как «закричала ах! увидевши нескромного пастуха»⁶⁴, и даже «О Фалилей! о Фалилей»⁶⁵ и ту выучила. Да и как же было не выучиться от таких образованных барышень! Они же, волшебницы, еще и на гитаре играли. Это бросилось в глаза молодому мужу. Но он рассудил, что самое лучшее — не обращать на ее песни внимания: попоет, попоет, да и перестанет, если некому будет [слушать] ее модных песен. А иногда так даже и подтрунивал. Особенно, когда проходил день втихомолку, без песен.

— Что же это ты, Параско, — скажет, бывало, — сегодня целый день молчишь? Хоть бы спела какую-нибудь иностранную песенку.

— Какую там выдумал еще иностранную?

— Ну, хоть как та «пастушка полоскалась в струях».

— Не хочу. Сам, коли хочешь, пой.

— Хорошо, и я спою.

И он медленно раскрывал гусли и, тихо аккомпанируя на них, пел своим чарующим тенором с самым глубоким чувством:

Не ходы, Грыцю, на ти вечерныци...

И когда кончал песню, то жена падала в его объятия и заливалась горчайшими слезами. А он тогда говорил ей, цалюя:

— Вот это настоящая модная песня.

Так он ее мало-помалу и совсем отстранил от современного просвещения. А о богатых образованных родственниках и о их модных песнях с тех пор и помину не было.

Ласками и насмешками он довел ее до того, что она сама начала смеяться над стрекозиными талиями переяславских панночек и по долгом размышлении оделась в национальный свой костюм, к величайшей радости своего мужа.

И, Боже мой! Как она хороша была в родном своем наряде! Так хороша, так хороша, что если бы я был банкиром,

по крайней мере таким, как Ротшильд⁶⁶, то я иначе не одевал бы свою баронессу.

Но, увы! не всем нам судьба судила вкусить в жизни нашей таких великих радостей, какими упивался Сокира. И он вполне ценил эту благодать Божию.

Любуясь своей красавицею Параскою, он не забывал и физических своих потребностей, или, лучше сказать, они сами за себя напоминали. Осмотревши сначала свою дедовщину, он по долгом размышлении решил, что пахотную землю [надо] отдать с половины сулиминским козакам. При хуторе крестьян не имелось. Он, правда, и рад был, что их не имелось. (Он смотрел на этот класс нашего народонаселения истинным филантропом.) Побережье реки Альты оставил он за собою ради домашней скотины и выкашивал тучные луга т о л к о ю. В липовой же роще и леваде, прилегавшей к самому хутору, он решился возобновить отцовскую пасику. И это сделалось его любимую мечтою. Да и, правду сказать, что может быть невиннее из всех промыслов наших пасики? Он не медля написал в Стародуб⁶⁷, чтобы к весне прислали ему пасичныка. Тогда еще не было Прокоповича⁶⁸, теперь славного пчеловода. И, следовательно, нужда заставляла обращаться к самоучкам пасичныкам.

Учрежденная им в липовой роще пасика с помощью еленского старообрядца год от году множилась и в продолжение пяти счастливых лет умножилась до 5000 пней. Господь благословил его начинание. Теперь он был паном на всю губу. Пасикою своею он отстранил от себя всякое корыстное и необходимое соприкосновение с людьми, а с тем вместе и все пошлое и низкое.

Счастливый, стократ счастливый человек, умевший отстранить от себя все недостойное человека и довольствоваться только благом, приобретенным собственными трудами.

Такой счастливец был Никифор Сокира.

В бытность свою в немецких землях он не мимоходом замечал немецкий сельский быт и теперь приноровил его к своему хутору. Та же немецкая чистота и порядок во всем. Правда, что нашего брата художника не поражал своею наружностью хутор Сокиры, зато нехудожника поражал порядком.

Из всех славянок землячки мои чернобровые пользуются вполне заслуженною славою опрятных хозяек. Но у мадам Сокиры эта статья была доведена до крайней степени. Ей обыкновенно, бывало, и во сне снится, что у нее в доме пол

не вымыт или в кухне не смазан. Так чтобы эта дрянь не возмутила ее невинного сна, то она заставляла Марину каждый божий день пол вымыть, да еще и выскоблить. И достаточно, кажись. Так нет, а еще и киевским песком посыпать, таким песком, какой вы найдете не у всякого губернатора и в канцелярии. Она сама его привозила каждый год из Киева, когда ездила туда к 16 августа⁶⁹.

Карло Осипович говаривал всегда и всякому, что если он видел рай на земле, так это именно в доме Прасковьи Тарасовны, а больше нигде.

В пасике отражалась та же чистота и порядок, что и в доме. И как были кстати тут Вергилиевы «Георгики»⁷⁰, которые любил прочитывать Никифор Федорович, лежа под соломенным навесом. Ни одна душа во всем Переяславе не знала, что старый пасичнык (его так прозвали за его тихий нрав и медленную походку), что старый пасичнык читал в подлиннике Вергилия, Гомера и Давида. Примерная, удивительная скромность! Я сам, будучи его хорошим приятелем, часто гостил у него по нескольку дней и, кроме Конисского летописи, не видал даже бердичевского календаря⁷¹ в доме. Видел только дубовый шкаф в комнате и больше ничего. Летопись же Конисского, в роскошном переплете, постоянно лежала на столе, и всегда заставлял я ее раскрытую. Никифор Федорович несколько раз прочитывал ее, но самого конца ни разу. Все, все мерзости, все бесчеловечия польские, шведскую войну, Биронового брата, который у стародубских матерей отнимал детей грудных и давал им щенят кормить грудью для своей псарни⁷², — и это прочитывал, но как дойдет до голштинского полковника Крыжановского, плюнет, и закроет книгу, и еще раз плюнет.

Раз как-то я приезжаю к нему с книжкою «Украинского вестника», в которой были напечатаны Гулаком-Артемовским две оды Горация (гениальная пародия!), и, прочитавши оды «До Пархома»⁷³, мы от чистого сердца смеялись с Прасковьей Тарасовной. А он отворил дубовый шкаф, вынул оттуда книгу в собачьем переплете и, раскрывая ее, проговорил: «А ну, посмотрим, верно ли оно будет с подлинником». И тут-то я только увидел перед собою латиниста, эллиниста и гебраиста и полнешенек шкаф книг, вмещающих в себе словесность всего древнего мира.

А он, прочитавши вслух подлинник, закрыл книгу, поставил ее на свое место и, ходя тихо по комнате, читал про себя:

— Превосходно! И в точности верно! — проговорил он вслух.

Я и прежде глубоко уважал его за его во всех отношениях возвышенный характер, а теперь я, благоговей, исчезал перед его чисто рыцарскою скромностию.

— Что же это мы все как воды в рот набрали? — проговорила Прасковья Тарасовна. — Хоть бы повечерять, пока засвита.

— А что ж, когда вечерять, так и вечерять, я и на то готов.

Ужин был подан на ганке, и к концу его показалась из-[за] темного Переяслава полная красавица луна. Мы все трое замолкли и только переглянулись между собою. Картина была так хороша, что только в немом благоговении можно было созерцать ее.

Меня пригласил с собою Никифор Федорович в пасику ночевать, на что я, разумеется, и согласился охотно.

Не было другой такой ночи в моей жизни, да, верно, и не будет. Долго беседовали мы с ним о разных предметах и случайно коснулись моей слабой струны, народных наших песень. Ни один профессор словесности в мире не прочитывал [так] своей лекции о значении, влиянии и достоинстве народных песень. И с какой глубокой любовью изучил он слова и мотивы наших прекрасных задушевных песень.

— Да, — говорил он, — после этой трогательно простой прелести наших песень что значат уродливые создания современных нам романсов? Кроме безнравственности, ничего более. — И чрезвычайно деликатно коснулся песень покойного своего учителя музыки Сковороды. Он сказал: — Это был Диоген наших дней⁷⁴, и если б не сочинял он своих винегретных песень, то было бы лучше. А то, види[те] ли, нашлись и подражатели. Хоть бы и князь Шаховской⁷⁵ или Котляревский. В своей оде в честь к[нязя] К[уракина]⁷⁶ — сколок Сковороды. Только та разница, что учитель мой, как истинный философ, никому не льстил.

«Энеида» Котляревского в то время еще не была напечатана⁷⁷.

Я, как собиратель народных песень, много записал у него вариантов и самих песень, нигде мною прежде не слыханных.

Ко всем его прекраснейшим качествам принадлежит его наипрекраснейшее качество: он был в высокой степени религиозен. Любимейшим его чтением был Новый Завет. Он всем сердцем своим и всем помышлением своим сознавал и глубоко чувствовал священные истины евангельские. Каждое воскресенье и каждый праздник он ездил к обедне с женою в соборный храм Благовещения⁷⁸. Вместе с прекрасной, гармонической архитектурой храма на него действовало и пение семинаристов. Но когда поставили в храме новый иконостас, гармония архитектуры исчезла. И он стал ездить к обедне в Успенскую церковь, в ту самую, в которой в 1654 [г.] генва[ря 8] дал присягу З[иновий] Б[огдан] Х[мельницкий] со всякого чина народом на верность московскому царю Алексею Михайловичу. Но когда, возобновляя исторический памятник этот, из шести куполов уничтожили пять, экономии ради, то он стал ездить к Покрову. Церковь во имя Покрова, неуклюжей и бесхарактерной архитектуры, воздвигнутая в знамение взятия Азова П[етром] П[ервым] полковником переяславским Мировичем⁷⁹, другом и соучастником проклинаемого Ивана Мазепы. В этой церкви хранится замечательная историческая картина кисти, можно думать, Матвеева⁸⁰, если не иностранца какого. Картина разделена на две части: вверху — Покров пресвятыя Богородицы, а внизу — П[етр] П[ервый] с императрицей Е[катериной] I, а вокруг их все знаменитые сподвижники его. В том числе и г[етман] Мазепа, и ктитор храма во всех своих регалиях.

Прослушавши литургию, Никифор Федорович подходил к образу Покрова и долго любовался им и рассказывал своей любопытной Прасковии, что такие были за люди, под кровом Божия Матери изображенные.

Иногда он рассказывал с такими подробностями про Даниловича и разрушенный им Батури⁸¹, что Прасковья Тарасовна наивно спрашивала мужа: «За что ж она его покрывает?»

Как ни переполнена чаша счастья, а всегда найдется место для капли яду.

Для полного счастья Сокире чего бы не доставало? А ему не доставало самого высшего блаженства в жизни — детей.

Лет шесть уже минуло, когда на хуторе у старого сотника Сокиры, невзирая на отца протоиерея и прочий чин духов-

ный, Никифор Федорович вынул свою скрипку (потому что гусли не соответствовали песне) и заиграл, припевая:

Ой хто до кого, а я до Параски⁸².

Причем Прасковья Тарасовна плюнула и вышла из покою. А Карло Осипович и Кулына Ефремовна, не говоря ни слова и также невзирая на чин духовный, схватившись за руки, да и пошли выплясывать:

O mein lieber Augustin⁸³.

И в тот же вечер другая пара, кум с кумою, едучи в город от Сокиры, пели тихонько в два голоса:

Одна гора высокая,
А другая блызька⁸⁴.

А отца протоиерея и братию на ту ночь положили спать в новой коморе, потому что ночь была бурная, так что[б] чего, Боже сохрани, не случилось. Карло ж Осипович и Кулына Ефремовна, поплясавши в свое удовольствие и сказавши хозяевам «gute Nacht»⁸⁵, сели в свою беду⁸⁶ и поехали в город, разговаривая себе тихонько и все по-немецки.

То был великий и радостный день для бездетного Никифора Федоровича и Прасковьи Тарасовны. Они в тот день окрестили и усыновили двух близнецов-подкидышей и [так] бучно отпраздновали крестины, что повивальная бабка долго после того говорила, что «родилась, окрестилась и умру — не увижу таких хороших крестин, как были у старого сотника».

Минуло шесть лет после такого великого события в доме Сокиры, когда перед вечером сидели они, т. е. хозяева, на ганку с нерушимым другом своим Карлом Осиповичем. Перед ними на темно-зеленом лужку, примыкающему к самой Альте, резвилось двое детей в красных рубашках, точно два красные мотылька мелькали на темной зелени. С крылечка все трое молча любовались ими, и казалось, что у всех трех собеседников вместе с зрением и мысли были устремлены на детей. После продолжительного созерцания первая нарушила молчание Прасковья Тарасовна.

— Рассудите вы нас, голубчику Карло Осипович, что нам делать. Я говорю, что дети еще малые. А Никифор Федорович говорит: «Это ничего, что малые, а учить надо». Где же тут, скажите-таки Х[риста] ради, правда? Ну, еще хоть бы годочек подождать, а то думает после Покрова уже и начинать.

— Да, да, начинать, давно пора начинать, — сказал Карло Осипович. — Я давно думаю об этом.

— Святая Варваро-великомученице⁸⁷! Бойтесь ли вы Бога, Карло Осипович?

— Боюсь, очень боюсь, Прасковья Тарасовна, и скажу вам, что когда мне было только пять лет, то я уже читал наизусть кой-что из Шиллера⁸⁸. Покойный Коцебу⁸⁹ сказал раз, когда я ему прочитал его стихи наизусть, что из меня будет великий поэт. А на деле вышел маленький фармацевт. Вот что, Прасковья Тарасовна. И великие люди иногда ошибаются.

— Да это ничего, пускай себе ошибаются, только рассудите сами: после Покровы!

— Да, да, чем скорее, тем лучше.

«Ну, догадалась же я, у кого защиты просить», — подумала Прасковья Тарасовна, но не проговорила. А Карло Осипович, нюхая табак, приговаривал:

— Да, да, надобно учить. Ваша пословица говорит, что «за ученого двух неученых дают, да не берут».

— Так вот что. Мы вас, Карло Осипович, слушаем, как самого Бога. Подождите, мои голубчики, хоть до Филипповки. Там даст Бог пост, время такое тихое, — им, моим рыбочкам, все-таки легче будет.

— До Филипповки... Как вы думаете, Карло Осипович, можно подождать? — проговорил Никифор Федорович.

— Нельзя. «Жизнь коротка, а наука вечна», — говорит великий Гете⁹⁰.

«Господи, что я наделала? — подумала Прасковья Тарасовна. — Зачем я ему говорила о детях? Теперь уж, я знаю, добра не будет». — Ну, уж вы там себе как хотите, — проговорила она вслух, — а я вам до Филипповки не дам детей мучить.

— Хоть кол на голове теши, а она свое, — проговорил Никифор Федорович. — И скажи, откуда ты такой природы набралась?

— Да от вас же и набралась. Вы по-моему ничего не хотите сделать, то я и по-вашему тоже не хочу.

В это время дети подбежали к крыльцу. И Карло Осипович, лаская их, спросил:

— Ну, что ты, Зося, хочешь грамоты учиться?

Зося бойко сказал:

— Хочу.

— А ты, Ватя? Тоже учиться хочешь грамоты?

— Тоже хочу, — отвечал запинаясь Ватя.

— Вот видите, Прасковья Тарасовна, — сказал Карло Осипович, — а вы останавливаете их стремление!

— Та ну вас с Богом, Карл Осипович! Я уже не останавливаю. Только надо придумать, — говорила она, целуя и обнимая детей, — как это все устроить.

— Это правда, — сказал Никифор Федорович. — Вот что, Карло Осипович. Вы живете в городе и по профессии своей встречаетесь с разного класса людьми. Не встретится ли вам иногда семинарист, хоть и не очень ученый, только бы не бойкий. Договорите его для наших детей.

— С большою радостью буду искать такого человека. У меня есть один знакомый семинарист, большой охотник химические опыты делать. Ну, такой не годится. А я у него буду выпрашивать.

— Сделайте милость, Карло Осипович. Вот мы их и посадим за тму, мну, моих голубчиков, — говорил Никифор Федорович, лаская детей.

Об этих детях как о будущих героях моего сказания я должен бы попространнее о них распространиться, но я не знаю, что можно сказать особенного о пятилетних детях. Дети, как и вообще дети: хорошенькие, полненькие, румяные, как недоспелая черешня, и больше ничего. Разве только, что они похожи друг на друга, как две черешневые, едва зарумянившиеся ягоды. А больше ничего.

После взаимных пожеланий покойной ночи Карло Осипович сел в свою беду и уехал в город. А Никифор Федорович, благословивши на сон грядущий детей, пошел в свою пасику. А Прасковья Тарасовна, уложивши детей и прочитавши молитвы на сон грядущий, зажгла ночник и тоже отошла ко сну.

По обыкновению своему Прасковья Тарасовна к 16 августа отправилась в Киев и, возвратясь из Киева, между прочими игрушками и святыми вещами, как-то: шапочкой Ивана многострадального⁹¹, колечками Варвары-великомученицы и многим множеством разной величины кипарисных образков, обделанных искусно фольгою, и между прочими редкостями она показала детям никогда прежде не привозимые для них игрушки. Да с виду они и не похожи на игрушки, а просто две дощечки, обернутые кожею. Каково же было

их удивление, когда она развернула дощечки и там они увидели зеленые толстые листы бумаги, испещренные красными и черными чернилами. Радости и удивлению их не было конца. Невинные создания! Не знаете вы, какое зло затаено в этих разноцветных каракулях. Это источник ваших слез, величайший враг вашей детской и сладкой свободы. Словом, это букварь.

В ожидании 1 октября Прасковья Тарасовна сама исподволь стала учить разуметь таинственные изображения и за каждую выученную букву платила им сладким киевским бубличком. И, к немалому ее удивлению, дети через несколько дней читали наизусть всю азбуку. Правда, что и наволочка с бубличками почти опустела, что и заставило Прасковью Тарасовну приостановить преподавание. «Да притом же, — думала она, — уже близко и Покрова, так пускай же они, мои голубята, хоть это малое время на воле погуляют».

Светлый горизонт юной свободы моих героев покрывался тучами. Гроза быстро близилась и, наконец, как раз на Покрова, часу в 9-м утра, разразилась громом Карла Осиповича беды и явлением самого Карла Осиповича, а за ним, о ужас! — и явлением чего-то длинного в затрапезном халате и в старой и короткой фризовой шинели (вероятно, шитой на вырост). Это был не кто другой, как сам светоч, или, проще, учитель, вырытый Карлом Осиповичем из грязных семинарских аудиторий.

Степан Мартынович Левицкий, как лицо соприкосновенное сему повествованию, то не мешает и о его персоне сказать слов несколько.

Он был один из многих сыновей беднейшего из всех на свете диаконов, отца диакона Мартына Левицкого, не помню хорошенько, из Глымязова⁹² или из Ирклиева⁹³, только помню, что Золотоношского повета.

Странные и непонятные распоряжения судьбы людской! Хоть такое, например, можно сказать, дикое распоряжение: Никифору Федоровичу, человеку достаточному, не послать за все его молитвы ни единого, что называется, чада, а беднобеднейшему диакону завалить ими и без них тесную хату. И, как на смех, одно другого глупее и уродливее. Хоть бы, например, и предстоящий теперь перед лицом Никифора Федоровича научитель: безобразно длинная и тощая фигура, с такими же неуклюжими костлявыми руками; лицо опойкового

цвета, с огромнейшим носом, выдавшимся вперед длинным, заостренным подбородком и с немалыми висячими ушами и вдобавок с распухшей нижней губой, так [что] очертаний рта нельзя было определить; очертания глаз тоже определить трудно, потому что они были заплывшие от сновидений. Внутренние достоинства Степана Мартыновича были в совершенной гармонии с наружными. Так, например, спросил его однажды профессор на экзамене: «А ты, Степа, скажи, что помнишь; я и тем буду доволен». И Степа, подумавши немало, сказал: «Я помню, как был пожар за Трубежом, да еще потом у Андрушах⁹⁴». — «Ну, хорошо, Степа, с тебя и это достаточно». Он никогда не просился на праздники домой, зная хорошо, что праздники обходят их полуразрушенную хату. А проводил праздник в тех же холодных, грязных классах, где провожал и Великую четырехдесятницу. Случилось как-то, что еще несколько товарищей остались на праздник в семинарии и, как добрые дети, послали своим родителям по письменному поздравлению с праздником, прося, в заключение витиеватого послания, прислать им к празднику того-сего по мелочи. По примеру братии и Степа вздумал рукосотворить послание своим нищим родителям словесы такими (по титуле):

«Дражайшие родители!

При отпуске сего листа из северного города, богоспаемого Переяслава, я остаюся ваш сын». И, подумавши, прибавил: «Я поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю, чтобы вы мне ради Р[ождества] Х[ристов]а прислали хоть ворочок пшена да кусок сала, а из лакомства хоть шкаповые сапоги и...» Тут он опять задумался, а коварный друг его, Лука Нестеровский, подкрался да и выхватил недоконченное письмо, показал его всей братии, — и пошла потеха. С тех пор его иначе и не звали, как «пожар в шкаповых сапогах». А он себе хоть бы кому слово сказал. Так молчком и отделался.

Пока рекомендовал Карло Осипович своего protégé⁹⁵ Никифору Федоровичу, наймичка Марина внимательно смотрела на новое лицо и, рассмотревши его хорошенько, толкнула тихонько Прасковью Тарасовну и шепотом спросила, показывая глазами на Степана Мартыновича:

— Чи воно живе?

— Живе, — отвечала Прасковья Тарасовна и вышла из покоя, а за нею и Марина последовала.

— Вы мою просьбу переборщили, Карло Осипович. Я просил вас рекомендовать для детей наших учителя только не бойкого, а вы привезли какого-то дида.

— Ничего лучше быть не может для изучения алфавита малых детей, Никифор Федорович, — говорил Карло Осипович. — Для этого нужен только говорящий автомат, больше ничего. А где вы найдете, позвольте вам сказать, лучше этого экземпляра? Это просто золото для ваших малюток.

— Быть по-вашему. Так мы сегодня только уговоримся, а с завтрашнего дня и начнем с Богом.

— А почему же не сегодня? — спросил Карло Осипович.

— Потому, не во гнев вам будь сказано, что горбатого только могила исправит. Вы, что с вами ни делай, как родились немцем, так и в могилу сойдете тем же немцем.

— А вы, небойсь, пойдете в могилу турком или французом?

— Я дело другое, я, слава Богу, живу дома, а вы, Карло Осипович, на чужой стороне, следовательно, и не должны забывать, что у нас сегодня большой праздник, а в нашем приходе еще и храмовой.

— Так вы, значит, едете помолиться Богу? Хорошее дело, а я привезу вам его завтра рано. Насчет же условий мы уже с ним условились: карбованец в месяц и два гарнца пшена, а по окончании азбучки — халат хоть какой-нибудь да пару сапогов. Согласны?

— С удовольствием.

И они расстались.

На другой день, т. е. 2 октября, явился Степа один на хуторе и, прочитав обычную молитву, принялся за дело. И с той поры каждый божий день, какая бы погода ни стояла, дождь ли, снег ли, ни на что не смотря, шагал наш педагог из хутора и на хутор, поутру и ввечеру, не прибавляя и не убавляя шагу, как заведенная машина. Учение букваря, благодаря понятливости детей, быстро двигалось вперед. И Никифор Федорович, к великому удовольствию своему, на деле увидел справедливость замечаний Карла Осиповича и многожды благодарил его за машину. И странная вещь: дети до того резвые, что не токмо Прасковья Тарасовна, сам Никифор Федорович не мог их успокоить, а только являлся учитель на двор, они делались такими же: безмолвны и недвижимы, как и он сам. И в продолжение урока сидели, как заколдованные, не смея даже согнать мухи с носу. А между тем от учителя

в продолжение урока они слова не слышали постороннего. И это-то, я полагаю, и была причина их околдования.

К 1-му декабря, т. е. в продолжение двух месяцев, был выучен букварь до последней буквы, даже и «Иже хочет спастися»⁹⁶. Прослушавши учеников своих последний урок, Степа торжественно встал, взял детей за руки и, подведя к Никифору Федоровичу, сказал:

— Букварь пришел к концу. Хоть экзаменуйте.

— Без всякого экзамена верю. Но что мы будем делать дальше, добрейший наш Степан Мартынович? Не возьмете ли вы до праздника показать им гражданскую грамоту?

— Могу показать. Даже можно начать хоть сегодня, только бы азбучка была.

— Нет, сегодня и завтра пускай они погуляют. А начнем послезавтра.

— Хорошо, — сказал Степа, взял картуз и поковылял в город. На лице его заметно было что-то вроде самодовольствия. Придя в город, он явился в аптеку и, увидя Карла Осиповича, сказал с расстановкою:

— Совершил!

Карл Осипович дружески пожал его костлявую руку, благодаря за услугу, и попросил его остаться обедать, забывая, что Степан Мартынович никогда ни с кем вместе не обедал. Даже в общей столовой брал себе обыкновенно галушек в миску и отходил в угол. Простившись с Карлом Осиповичем, вышел он на площадь, держа в руке полученные за труды два карбованца (халат, сапоги и прочая он прежде получил). Ходя по базару, он останавливался, смотрел вокруг себя и снова продолжал шагать по базару. Пройдя через базар, он машинально пошагал за Трубеж, осмотрелся вокруг, своротил на золотоношскую дорогу и, передвигая медленно ноги, скрылся за Богдановой могилой⁹⁷.

Немало изумилися на хуторе, когда в назначенный день не явился учитель, и не могли придумать, что бы это значило. Вечеру приехал на хутор Карл Осипович. К нему обратились с вопросом, но и он не мог дать удовлетворительного ответа. Он только удивился такой неаккуратности. Карл Осипович справился в семинарии, но там забыли, как и зовут [его]. Только школьник какой-то закричал: «Это, должно быть, “пожар в шкаповых сапогах”». Вся аудитория громко засмеялась. Карл Осипович с тем, разумеется, и вышел.

Наконец, 6 декабря, рано утром, явился он на хутор, прося извинения за отлучку.

— Где же вы были? — спросил его Никифор Федорович.

— Носил родителям деньги в Глымязов.

— Какие деньги?

— А что от вас получил. Мои родители вас благодарят за покровительство.

Никифор Федорович с умилением посмотрел на его неуклюжую фигуру. Он никогда не позволял себе никаких над ним шуток, но после путешествия его в Глымязов смотрел на него с уважением. Занятия его пошли обыкновенным порядком. К праздникам дети довольно бегло читали гражданскую печать. И даже выучили наизусть виршу поздравительную (это уже были затей Прасковьи Тарасовны). Пришел, наконец, и Свят-вечер. Его пригласили вместе с ними святую вечерю есть. Тут уже он не мог отказаться. А перед тем, как садиться за стол, позвал его Никифор Федорович в свою комнату и возложил на рамена его новый демикотоновый сертук и вручил ему три карбованца. У Степы слезы показались на глазах. Но он вскоре оправился и сел за вечерю.

Ночь перед Р[ождеством] Х[ристовым] — это детский праздник у всех христианских народов, и только празднуется разными обрядами: у немцев, например, елкой, у великороссиян тоже. А у нас, после торжественного ужина, посылают детей с хлебом, рыбой и узваром к ближайшим родственникам, и дети, придя в хату, говорят: «Святый вечир! Прыслалы батько и маты до вас, дядьку, и до вас, дядыно, святую вечерю». После чего с церемонией сажают их за стол, уставленный разными постными лакомствами, и потчуют их, как взрослых. Потом переменяют им хлеб, рыбу и узвар и церемонно провожают. Дети отправляются к другому дяде, и когда родня большая, то возвращаются домой перед заутреней, разумеется, с гостинцами и с завязанными вроде пуговиц в рубашку шагами.

Мне очень нравился этот прекрасный обычай. У нас была родня большая. Бывало, посадят нас в сани да и возят по гостям целехонькую ночь.

Я помню трогательный один Святый вечер в моей жизни. Мы осенью схоронили свою мать. А в Святый вечер понесли мы вечерю к дедушке и, сказавши: «Святый вечир! Прыслалы до вас, диду, батько и...» — и все трое зарыдали. Нам нельзя было сказать «и маты».

После ужина просили Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна Степана Мартыновича отвезти с детьми вечерю

к Карлу Осиповичу. Он, разумеется, не отказался, тем более, что он чувствовал на себе новый демикотонный сертук. Возвратясь благополучно из города с детьми, пригласили его ехать вместе к заутрене. Прослушав заутреню у Покрова, к обедне он пошел в собор, где, разумеется, были и оставшиеся на праздники семинаристы. Чтобы торжественнее блеснуть своим сертуком, он выпросил у пономаря позволения снимать со свечей во время обедни.

И в Степе пошевельнулася страстишка!

Когда после праздников явился на хутор Степа, его не узнавали. Он переродился. Он начал говорить, чего прежде за ним и не подозревали. Спросили его, как он во время праздников веселился. «Весело», — говорит. «У кого бывал?» — «Родителей, — говорит, — посетил». Он опять спутешествовал в Глымязов, чтобы оставить там подаренные к празднику три карбованца, а вместе с тем и блеснуть своим новым сертуком.

Мало-помалу в нем начали (кроме букваря) [обнаруживаться?] и другие познания. Оказалось, что он четыре правила арифметики знает как свои пять пальцев, только бессознательно; русскую грамматику знает не хуже самого профессора, только бесприложительно, да для хорошего учителя это и лишнее.

Великое дело поощрение! Одни только гениальные натуры могут собственными силами пробить грубую кору холодного эгоизма людского и заставить обратить на себя изумленные глаза толпы. Для натуры обыкновенной поощрение — как дождь для пажити. Для натуры слабой, уснувшей, как Степа, одно простое внимание, слово ласковое освещает ее, как огонь угасшую лампаду.

Демикотонный сертук, а более — ласковое обращение Никифора Федоровича разбудили слабые, спавшие силы души в неоконченной организации Степана Мартыновича. В нем оказались не только способности простого учителя, но он оказался еще и латинист немалый. Хотя тоже вроде автомата, но довольно внятно для Никифора Федоровича в пасике, под липою лежа, читал Тита Ливия⁹⁸.

По ходатайству Никифора Федоровича, преосвященный Геден⁹⁹ выдал ему стихарь дьячка и место при церкви Св. Бориса и Глеба, что против хутора. С тех пор Степан Мартынович зажил паном, до того дошел, что, кроме юхтовых сапогов, никаких не носил. В доме же Никифора Федоровича он

сделался необходимым членом, так что без него в доме как будто чего недоставало. Правда, что в нем остроты и бойкости мало прибыло, но выражение лица совершенно изменилось. Как будто освежело, успокоилось и сделалось невыразимо добрым, так что, глядя на его лицо, не замечаешь дисгармонии линий, а любишься только выражением. Великое дело сделал ты, Никифор Федорович, своим сертуком и тремя карбованцами. Ты из идиота сделал существо, если не высокомыслящее, то глубоко чувствующее существо.

Зося и Ватя между тем учились и росли. А росли они, как сказочные богатыри, не по дням, а по часам. А учились они тоже по-богатырски. Но тут нужно принять в соображение учителя. Степан Мартынович показывал им не по своему разумению, а как напечатано, и сам себе говорил иногда: «Не я буду виноват, не я его печатал». На тринадцатом году это были взрослые мальчики, которым можно было дать по крайней мере лет пятнадцать. И так между собой похожи друг на друга, что только одна Прасковья Тарасовна могла различить их. И это сходство не ограничивалось одною наружностью, они ходили друг на друга всем существом своим. Например, Ватя хотел учиться, и Зося тоже; Зося хотел гулять, и Ватя тоже. Все, кто посещал хутор сотника Сокиры, не говоря уже о Карле Осиповиче, все были в восторге от детей, а о Никифоре Федоровиче и Прасковье Тарасовне и говорить нечего.

Однажды вечером нечаянно приехал на хутор Карл Осипович и застал хозяев чуть не в драке.

— Ну, та нехай, нехай уже буде по-твоему, — говорил скороговоркою Никифор Федорович. — Выбирай, какого сама знаешь.

— Нет, вы выбирайте. Я ничего не знаю, я им просто чужая.

В это время вошел в комнату Карл Осипович, и Прасковья Тарасовна обратилась к нему:

— Вот! Вот пускай хоть они нас разделят.

— Вы до сих пор не делились. Чем же вы вздумали теперь делиться, скажите? — проговорил Карл Осипович, став в угол свою палку и шляпу.

— А вот чем, Карл Осипович. Мы уже порешили, — говорила Прасковья Тарасовна, — чтобы одного нашего сына определить в военную службу, а другого по штатской. Так теперь не разделим их, кого куда.

— Обоих по штатской, но сначала нужно их чему-нибудь научить.

— И я так говорю, — проговорил спокойно Никифор Федорович.

— Господи! Вырастут, так научатся. Отец Лука и теперь не надивуется их познаниям. Да теперь же им скоро по четырнадцатому году пойдет, нужно думать что-нибудь.

— Я думаю сделать из них пока хороших семинаристов.

— А я офицеров.

— Быть по-твоему, делай себе офицера. А я пока семинариста. Теперь, значит, дело стало за тем, кому быть семинаристом, кому офицером. Пускай же решит судьба. Кинем жребий, а вы будьте свидетелем, Карл Осипович.

Кинули жребий, и по жребию выпало Зосиму быть офицером, а Савватию семинаристом.

С того вечера Прасковья Тарасовна как будто бы начала предпочитать Зосю Вате. Разумеется, в мелочах. Однако ж эти мелочи заметил, наконец, и Степан Мартынович и говорил однажды в пасике, после чтения Тита Ливия, что это нехорошо, что одной матери дети, что должно быть все равно. Он говорил это про себя. А Никифор Федорович слышал про себя и горько улыбнулся.

Через год после этого происшествия решено было общим советом везти Зосю в Полтаву в кадетский корпус¹⁰⁰, а Ватю определить в гимназию в той же Полтаве. Сказано — и сделано.

В одно прекрасное утро, то есть часу около десятого, из хутора выехала туго нагруженная бричка, так туго, что четверка здоровых лошадей едва ее двигала. За бричкою ехала простая телега одноконь, тоже нагруженная и покрытая воловьей шкурой по-чумацки. Это были запасные харчи. Вперед же на своей беде рысцою поехал в город Карл Осипович, чтобы прилично встретить дорогих гостей на пороге своего дома. Сзади же транспорта шагал, как бы конвоируя его, Степан Мартынович и говорил про себя: «Напрасно. Напрасно, ей-богу. Лучше бы в семинарию, и я мог бы быть еще полезен. А для их пользы я готов снова поступить в семинарию». Так рассуждая, Степан Мартынович наткнулся на телегу с харчами и тогда только ясно увидел, что не одна телега, но и бричка тоже остановилась перед домом Карла Осиповича. У старого холостяка еще раз закусили на дорогу, чем Бог послал у старца в кельи. А для аппетита Никифор

Федорович должен был выпить рюмку водки с гофманскими каплями¹⁰¹. После закуски простились и начали грузиться в бричку. Причем Карл Осипович не забыл Зосе и Вате сунуть в карман по коробочке мятных лепешек. Транспорт тронулся и скрылся за углом. Карл Осипович и Степан Мартынович тоже расстались. Карл Осипович остался дома, потому что нужно было рецепты отпустить. А Степан Мартынович пошел на хутор, потому что он теперь на хуторе полновластный владыка. Но владычество свое, кроме ключей от коморы, он готов передать Марине. И, как во дни оны феодальный дукат какой-нибудь, готов был пешком путешествовать — не в Палестину, разумеется, а только в Полтаву. Того ради, чтобы, если нельзя будет лично присутствовать при приемном экзамене, то хоть стороною нельзя ли будет делать какое-нибудь влияние на это дело, так близко касающееся его благородного сердца. Придя на хутор, он сказал Марине:

— Благодушная Марино! Я пойду в Андруши: преосвященный приехал и присылал за мною. Есть дело. Так ты не отлучайся из дому. И если я там заночую, так это ничего. Ты не тревожься. Все будет благополучно. — И, не давши времени сделать какое-либо возражение благодушной Марине, он сказал: «Прощайте» — и вышел за ворота. Проходя через город, он вспомнил, что с ним не было ни копейки денег. Для этого он снова воротился на хутор, взял карбованец денег, повторил наставления Марине, с прибавлением, что если он и другую ночь заночует в Андрушах, так чтобы она не беспокоилась. Сказал и ушел.

Если Никифор Федорович воображает, что его верный Степа лежит теперь под липою в пасике и читает вслух Тита Ливия, то он сильно ошибается. Степан Мартынович, забыв все на свете, кроме вступительного экзамена своих питомцев, удвоенным шагом мерял Пирятинскую дорогу. В Яготине он подночевал и, вставши на заре, к поздней обедне был уже в Пирятине. Пообедавши куском хлеба и таранью и отдохнувши немного под церковною оградой, он бодро пустился в путь и слушал всеобщее бдение в лубенском монастыре, перед ракою святого Афанасия, патриарха александрийского¹⁰². Переночевал в странноприимной и тут выслушал от какого-то переходящего богомольца легенду о успении святого Афанасия в сидячем положении. И о том, что дочери лютого Еремии Вишневецкого-Корибута снился

сон, что она была в раю и ее оттуда вывели ангелы, говоря, что если она своим коштом выстроит храм Божий в добрах своих близ города Лубен, то поселится уже на веки вечные в раю. Она и соорудила храм сей¹⁰³. Тут только рассказчик заметил, что слушатель его давно играет на валторне. И рассказчик не медлил слушателю вторить, взявши октавою ниже, из чего и вышел преизрядный дуэт. Рано поутру мой пилигрим вышел за Сулу и пустился через знаменитое урочище N. прямо в Богачку¹⁰⁴. Только воды напился около корчмы, что на Ромодановском шляху¹⁰⁵. Отдохнувши в Богачке у странноприимной старушки Марии Ивановны Ячной, он ввечеру уже отдыхал под горою у переправы через Псел, что в местечке Белоцерковке¹⁰⁶. Тут еще на пароме какой-то остряк паромщик спросил его: «А что, я думаю, в Ерусалим правуете, странниче? Зайшли б до нашей пани Базилевской та попросилы б на ладан. Вона богобоязненна пани, може, ще й нагодуе вас хоч борщем [з] рыбою из Псла». Степан Мартынович как бы не слышал сарказма перевозчика. И, отдохнувши во время переправы, он, помолясь Богу, пустился в путь и в полночь очутился близ Решетиловки¹⁰⁷. Но чтоб не приняли его за вора, рассудил отдохнуть под вербою. Купивши бубликов на базаре за три шагы и искупавшись в речке N., пустился в путь, пожеывая бублички, и не отдыхал уже до самой Полтавы.

А Никифор Федорович, путешествуя, что называется, похозяйски, не в ущерб себе и коням, на другой день, оставивши Яготин, или, лучше, гришковскую корчму, не доезжая Ягодина, оставил Пирятинскую дорогу влеве и поехал Гетманским шляхом через Ковалевку¹⁰⁸, в Свичкино Городище¹⁰⁹ навестить при таком удобном случае друга своего и сына своего благодетеля полковника Свички — Льва Николаевича Свичку, или, как он называл себя, огарок, потому что свичка згорела на киевских контрактах.

Об этих знаменитых контрактах я слышал от самого Льва Николаевича вот что: что покойному отцу его (думать надо, с великого перепою) пришла мудрая мысль выкинуть такую штуку, какой не выкидывал и знаменитый пьяница К. Радзивилл¹¹⁰. Вот он, начинивши вализы ассигнациями, поехал в Киев и перед съездом на контракты скупил в Киеве все шампанское вино. Так что, когда начались балы во время контрактов, хватать! ни одной бутылки шампанского в погребах. «Где девалось?» — спрашивают. «У полков-

ника Свички», — говорят. К Свичке — а он не продает. «Пьйте, — говорит, — так, хоч купайтесь в йому, а продажи нема». Нашлися люди добрые и так выпили. После этой штуки Свичкино Городище и прочие добра вокруг Пирятина начали таять, аки воск от лица огня¹¹¹. Поэтому-то наследник его справедливо называл себя огарком.

Прогостивши денька два в Городище, они на третий день двинулись в путь и к вечеру благополучно прибыли в Лубны. Так как в Лубнах знакомых близких не было, то они, отслужив в монастыре молебен угоднику Афанасию, отправились далее. Хотелось было Никифору Федоровичу проехать на Миргород, чтобы поклониться праху славного козак-вельможи Трощинского¹¹², но Прасковья Тарасовна воспротивилась. А он не охотник был переспаривать. Так они, уже не заезжая никуда, через неделю прибыли благополучно в Полтаву. А тем временем наш дьячок-педагог обделал все критические дела в пользу своих питомцев, сам того не подозревая.

В самый день прибытия своего в Полтаву он отправился в гимназию (к кадетскому корпусу он боялся и близко подойти, говоря: «Все москали, може, ще й застрелять») и узнал от швейцара, где жительствоует их главный начальник. Швейцар и показал ему маленький домик на горе против собора. «Там, — говорит, — живет наш попечитель».

Степан Мартынович, сказав: «Благодарю за наставление», — отправился к показанному домику. У ворот встретил его высокий худошавый старичок в белом полотняном халате и в соломенной простой крестьянской шляпе и спросил его:

— Кого вы шукаете?

— Я шукаю попечителя.

— Нащо вам його?

— Я хочу його просить, що як буде Савватий Сокира держать экзамен в гимназии, то чтоб попечитель не оставил его.

— А Савватий Сокира хйба ридня вам? — спросил старичок улыбаясь.

— Не родня, а только мой ученик. Я для того и в Полтаву пришел из Переяслава, чтобы помочь ему сдать экзамен.

Такая заботливость о своем ученике понравилась автору «Перелицованной Энеиды». Ибо это был не кто другой, как Иван Петрович Котляревский. Любя все благородное,

в каком бы образе оно не являлось, автору знаменитой пародии сильно понравился мой добрый оригинал. Он попросил к себе в хату Степана Мартыновича и, чтоб не показать ему, что он самый попечитель и есть, то привел его в кухню, посадил на лаву, а на другой, в конце стола, сам сел и молча любовался профилею Степана Мартыновича. А Степан Мартынович читал между тем церковными буквами вырезанную на сволоке надпись: «Дом сей сооружен рабом Божиим N, року Божого 1710»¹¹³. Иван Петрович велел своей леде¹¹⁴ (старой и единственной прислужнице) подавать обед. Здесь же, в кухне. Обед был подан. Он попросил Степана Мартыновича разделить его убогую трапезу, на что бесцеремонно он и согласился, тем более, что после решетилловских бубликов со вчерашнего дня он ничего не ел.

После борщу с сушеными карасями Степан Мартынович сказал:

— Хороший борщик.

— Насып, Гапко, ще борщу! — сказал Иван Петрович.

Гапка исполнила. После борщу и продолжительной тишины Степан Мартынович проговорил:

— Я думаю еще просить попечителя о другом моем ученике. Тоже Сокире, только Зосиме.

— Просите, и дастся вам¹¹⁵, — сказал Иван Петрович.

— Зосим Сокира будет держать экзамен в корпуси кадетскому. Так чи не поможет он ему, бедному?

— Я хорошо знаю, что поможет.

— Так попросите его, будьте ласкави.

— Попрошу, попрошу. Се дило таке, що зробить можна, а вин хоч не дуже мудрий, та дуже нелукавий.

Степан Мартынович в это время вывязал из клетчатого платочка и выбрал из мелочи гривенник, сунул в руку Ивану Петровичу, говоря шепотом:

— Здасться на бублычки.

— Спасыби вам, не турбуйтеся.

Степан Мартынович, видя, что гривенника его не хотят принять, завязал его снова в платочек, повторил еще два раза свою просьбу и, получа в десятый раз уверение в исполнении ее, он взял свой посох и брыль, простился с Иваном Петровичем и с Гапкою, вышел из хаты. Иван Петрович, провожая его за ворота, сказал:

— Чи не доведеться ще раз буты в наших местах. То не цурайтесь нас!

— Добре. Спасыби вам, — сказал Степан Мартынович и пошел через площадь к дому Лукьяновича¹¹⁶, чтобы оттуда лучше посмотреть на монастырь¹¹⁷ та, помолясь Богу, и в путь. Долго смотрел он на монастырь и его чудные окрестности. Потом посмотрел на солнце и, махнув рукою, пошел по тропинке в яр с намерением побывать в святой обители. Но как тропинок много было, ведущих к монастырю, то он, спустя[сь] с горы, призадумался, которую бы из них выбрать самую близкую, и выбрал, разумеется, самую дальнюю, но широкую. Своротя вправо на избранный путь, он вскоре очутился на убитой колесом неширокой дороге, вьющейся по зеленому лугу между старыми вербами и ведущей тоже к монастырю. Пройдя шагов несколько, он увидел сквозь темные ветви осокара тихий блестящий залив Ворсклы. Дорожка, обогнувши залив, вилась под гору и терялась в зелени. Вокруг него было так тихо, так тихо, что герой мой начинал потрухивать. И вдруг среди мертвой тишины раздался звучный живой голос. И звуки его, полные, мягкие, как бы расстилались по широкому заливу. Степан Мартынович остановился в изумлении. А невидимый человек [продолжал] петь. Степан Мартынович прошел еще несколько шагов, и уже можно было расслушать слова волшебной песни:

Та яром, яром
За товаром,
Манивцями
За вивцями¹¹⁸.

Вслушиваясь в песню, он незаметно обогнул залив и, обойдя группу старых верб, очутился перед белою хаткою, полускрытой вербами. На одной из верб была прибита дощечка, а на дощечке намалевано белой краской пляшка и чарка. Под тою же вербою лежал в тени человек и продолжал петь:

Та до порога головоамы,
Вставай рано за воламы.

А около певца стояла осьмиугольная фляга, похожая на русский штоф, с водкою на доньшке, и в траве валялися зеленые огурцы. Певец кончил песню и приподымаясь проговорил:

— Теперь, Овраме, выпый по трудах.

И, взявши флягу в руку, он посмотрел на свет, много ли еще в ней осталось духа света и духа разума.

— Эге-ге, лыха годино! Що ж мы будемо робить, Овраме? Неповна, анафема!

И при этом вопросе он кисло посмотрел на хатку, и лицо его мгновенно изменилось. Он бросил штоф и вскрикнул: «Пожар в сапогах»!

Степан Мартынович вздрогнул при этом восклицании и встал с призбы, где он расположился было отдохнуть.

— «Пожар в сапогах! Пожар в сапогах!» — повторял певец, обнимая изумленного Степана Мартыновича.

Потом отошел от него шага на три, посмотрел на него и сказал решительно:

— Никто же иной, как он. Он, «пожар в сапогах». — И, пожимая его руки, спросил: — Куда ж тебе оце несе? Чи не до владыки часом? Якщо так, то я тобі скажу, що ты без мене ничего не зробиш! А купиш кварту горилки, гору переверну, не тилько владыку.

И действительно, говоривший был похож на древнего Горыню¹¹⁹: молодой, огромного роста, а на широких плечах вместо головы сидел черный еж; а из пазухи выглядывал тоже черный полугодовалый поросенок.

— Так? Кажи!

— Я не до владыки, я так соби, — отвечал смущенный Степан Мартынович.

— Дурень. Дурень. За кварту смердячої горилки не хоче рукоположиться во диякона. Ей-богу, рукоположу. Вот и честная виночерпия скаже, что рукоположу. Я великою сылою орудую у владыки.

— Так как же я без харчи до Переяслава дойду?

— Дойду, дойду, дурню... Та я тебе в одын день по пошти домчу.

Степан Мартынович начал развязывать платок. А певчий (это, действительно, был архиерейский певчий) радостно воскликнул:

— Анафемо! Шинкарко, задрипо, горилки! Кварту. Дви. Тры. Видро!! Проклята утробо!

Степан Мартынович, смиренно подавая гривенник, который возвратил ему Иван Петрович, сказал, что деньги все тут.

— Тсс! Я так тилько, щоб полякать ии, анафему.

Водка явилась под вербою, и приятели расположились около малеваной пляшки. Певчий выпил стакан и налил моему герою. Тот начал было отказываться, но богатырь-бас

так на него посмотрел, что он протянул дрожащую руку к стакану. А певчий проговорил:

— А еще и дяк!

И он принял пустой стакан от Степана Мартыновича, налил снова и посекундачил, т. е. повторил, обтер рукавом толстые свои губы, проговорил усиленным [басом] протяжно:

— Благословы, владыко...

Степан Мартынович изумился огромности его чистого, прекрасного голоса, а он, заметя это, взял еще ниже:

— Миром Господу помолимся...¹²⁰ Тепер можна для гласу. — И он выпил третий стакан и, сморщась, молча показал пальцем на флягу. И Степан Мартынович не без изумления заметил, что фляга была почти пуста. Отрицательно помахал головою.

— Робы, як сам знаеш, а мы тым часом... — И, крикнувши, он запел:

Ой ишов чумак з Дону¹²¹

.....

И когда запел:

Ой доле моя, доле,

Чом ты не такая,

Як инша, чужая? —

из маленьких очей Степана Мартыновича покатались крупные слезы. Певец, заметя это и чтобы утешить растроганного слушателя, запел, прищелкивая пальцем:

У недилю рано-вранци

Ишли наши новобранци,

А шинкарка на их морг:

Иду, братыки, на торг¹²².

Кончив куплет, он выпил остальную водку, взглянул на собеседника и выразительно показал на шинк. Безмолвно взял флягу Степан Мартынович и пошел еще за квартою, а входя в шинок, проговорил:

— Пошлет же Господь такой ангельский глас недостойному рабу своему.

И пока шинкарка делала свое дело, он спросил ее:

— Кто сей, с которым возлежу?

— Се бас из монастыря, — отвечала она.

— Божеский бас, — говорил про себя Степан Мартынович.

— Якбы не бас, то б свыней пас, — заметила шинкарка. — Пьяныця непросыпуша.

— Оно так, но, жено, басы таики и повынни быть.

— А вы тоже бас? — спросила шинкарка.

— Нет, я не владею ни единым гласом.

— И добре робыте, шо не владеете.

Через полчаса явился опять в шинок с пустой флягой Степан Мартынович, и шинкарка, наполняя ее, про себя сказала: «О[т] пьють, так пьють!»

Возвратясь под вербу, он поставил флягу около баса и сам лег на траве вверх брюхом, подражая боговдохновенному басу. Бас же, не говоря ни слова, налил стакан водки и вылил ее в свою разверстую пасть. Пощупал траву около половинки огурца и поднес пустые пальцы ко рту. Пробормотал: «Да воскреснет Бог!»¹²³ — и, обратясь к Степану Мартыновичу, сказал почти повелительно:

— Дерзай!

И Степан Мартынович дерзнул. Бас и себе дерзнул и уже не искал закуски, а только щелкнул языком и проговорил:

— Эх, якбы тепер отец Мефодий. От бас, так бас. А все-таки мене не перепье!

И он выпил еще стакан. Фляга опять была пуста. Он посмотрел на Степана Мартыновича и показал на шинк. Но Степан Мартынович побожился, что у него ни полпенязя в кишени. Тогда бас бросился на него и, схватя его за руку, вскрикнул:

— Брешеш, душегубец, бродяга! Ты паству свою покын[ув] без спросу владыки и блукаеш тепер по дебрях та добрых людей грабыш. Давай квартиру, а то тут тоби и аминь!

— Поставлю, поставлю, отпусти только душу на покаяние, — говорил запинаясь Степан Мартынович.

Бас, выпуская его из рук, лаконически сказал:

— Иди и несы!

Степан Мартынович, схватя флягу, бросился в шинок и почти с плачем обратился к шинкарке:

— Благолепная и благодушная жено! (Он сильно рассчитывал на комплимент и на текст тоже.) Изми мя от уст львовых и избави мя от руки грешничи¹²⁴. Поборгуй хотя малую полкварти горилки.

— А дзусь вам, пьяныци! — сказала лаконически шинкарка и затворила двери.

Вот тебе и поборгувала! Выходит, что комплименты не одинаково действуют на прекрасный пол. Ошеломленный такою

выходкою благолепной жены, он долго не мог опомниться. И, придя в себя, он долго еще стоял и думал о том, как ему теперь спастись от руки грешници. Самое лучшее, что он придумал, упасть к ногам баса и возложить упование на его милосердие. С этой мыслию он подошел к вербе, и — о радость неизреченная! — бас раскинулся во всю свою высоту и широту под вербою и храпел так, что листья сыпались с дерева, как от по-свисту славного могучего богатыря Соловья-разбойника.

Видя такой благой конец сей драматургии, герой мой не медля яхся бегу, глаголя:

— Стопы моя направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие¹²⁵.

Пройдя недалеко под гору, он свернул с дорожки и прилег отдохнуть под густолиственной липою и вскоре захрапел не хуже всякого баса.

Благовест к вечерне разбудил моего героя. Проснувшись, он долго не мог понять, где он. И, начиная перебирать происшествия целого дня, начиная со старичка в белом халате и брыле, он постепенно дошел до трагической сцены под вербою и благополучного конца ее. Тогда, осенив себя знамением крестным, он встал, вышел на дорожку, и дорожка привела его к самым стенам монастыря. Вечерня уже началась, уже читал чтец посередине церкви первую кафизму¹²⁶, а клир пел: «Работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему с трепетом»¹²⁷. Немалое же его было изумление, когда он в числе клира, именно на правом клиросе, увидел своего богатыря-баса. Как ни в чем не бывало, ревел себе, спрятавши небритый подбородок в нетуго повязанный галстук.

При выходе из церкви бас заметил своего protégé и дал знак рукою, чтобы он последовал за ним. «Ну что, если, Боже чего сохрани, опять туда? Погиб я», — думал он и следовал за басом, как агнец на заклание. Однако же это случилось вопреки опасениям его. Они вошли в огромную трапезу, где уже братия садилась трапезовать, а певчие садились за особенный стол. Бас молча указал место и своему protégé. В трапезе было почти темно. И когда зажгли светочи, то, увидя среди себя моего героя, весь хор воскликнул:

— Пожар в сапогах!

Они все его знали еще по семинарии. После трапезы повели его в свою общую келию и, узнавши, что он завтра намерен принять обратный путь в Переяслав, все единогласно предложили ему место в своем фургоне, объяснив ему, что

завтра после литургии владыка отъезжает в Переяслав, т. е. в Андруши, и что они, его певчие, туда же едут по почте. Тут раздумывать было не к чему, тем более, что в кармане у моего бедного героя гулб.

На другой день, часу в четвертом пополудни, фургон, начиненный певчими, несся, вздымая пыль, по Переяславской дороге и, подъехав к корчме близ хутора Абазы, остановился. Дисканты просили пить, а басы просили выпить. Герою моему тоже хотелось было вылезть из фургона вместе с басыми. И о ужас! Из корчмы в окно выглядывала, кто бы выдумали? Сама Прасковья Тарасовна. Он повалился на дно фургона и молил дискантов накрыть его собою. Мальчуганы все разом повалились на него и так накрыли, что он чуть было не задохся. Слава Богу, что басы недолго в корчме проклажались. Басы, учиня порядок и тишину в фургоне, велели почтарю рушать, а сами громогласно запели: «О всепетая маты, а все пивныки в хати»¹²⁸. К ним присоединили и свои ангельские голоса дисканты, и вышла песня хоть куда.

Так весело и быстро продолжали они путь свой без всяких трагических приключений, кроме разве что в яготинском трактире басы общими силами поколотили первого баса, покровителя Степана Мартыновича, за буйные поступки, а потузивши, связали ему руки и ноги туго, положили его в фургон и в так[ом] плачевном положении привезли его в Переяслав.

По прибытии в Переяслав Степан Мартынович благодарил хор за одолжение и, простивши[сь] с ним, зашел к Карлу Осиповичу, попросил у него полкарбованца для необходимого дела... И, получа желаемое, зашел он в русскую лавку, купил зеленую хустку с красными бортами и пошел на хутор, размышляя о своем странствовании, исполненном таких, можно сказать, драматических и поучительных приключений.

Подойдя к самым воротам хутора, он не без изумления услышал женский голос, поющий:

За тры шагы пивныка продала,
За копийку дудныка найняла.
Заграй мени, дудныку, на дуду,
Нехай свого лышенька забуду¹²⁹.

«Это Марина. Это она», — подумал Степан Мартынович и вошел на двор. Войдя тихонько в кухню, он остолбенел от соблазна и ужаса. Марина, пьяная Марина, обнимала и целовала почтенного седоусого пасичныка Корния. Он не мог выгово-

речь ни слова, только ахнул. Марина, отскочивши от пасичныка, схватила его за полы и принялась плясать, припевая:

Ой мий чоловик
На Волощину втик,
А я цип продала
Та музыки найняла¹³⁰.

— Марино! Марино! Богомерзкая блуднице растленная, что ты робыш? Схаменыся! — говорил Степан Мартынович. Но Марина не схаменулась и продолжала:

Ой заграйте мени,
Музыканты мои,
А я вам того дам,
Що вы здру не бачилы — и-гу!

И запела снова:

Упылася я,
Не за ваши я;
В мене курка неслася,
Я за яйца выпылася¹³¹.

— Цур тобі, отыди, сатано! — вскрикнул он и, вырвавши полы из рук веселой Марины, побежал в пасику. Найдя все в хорошем порядке, он лег под липою вздохнуть от треволнений. «А может быть, они во время моего странствия уже и законным браком сочетались, а я поносил ее блудницею непотребною». И в раскаянии своем он уснул и видел во сне бракосочетание Марины с Корнием-пасичныком и что он был у сего последнего старшим боярином.

Солнце уже зашло, когда он проснулся. И придя на хутор, он нашел ворота затворенными, а кухню растворенную и на полу спящую Марину, а пасичнык Корний под лавою тоже храпел. Он посмотрел на них и сострадательно покачал головою. И, выходя в сени, сказал:

— А хустку все-таки треба ей отдать. Она женщина богобоязненная.

На другой день отдал он ей хустку и просил, чтобы она никому ни слова не проговорила о его отсутствии. А она просила его, чтобы он тоже молчал о вчерашнем ее поведении. И они поклялись друг другу хранить тайну.

По истечении пяти с половиною седмиц возвратились после долгого отсутствия благополучно на свой хутор

и Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна. Радостно отворял им ворота Степан Мартынович, высаживал из брички и вводил в покои. Когда суматоха немного утихомирилась, а к тому времени подъехал на своей беде и Карл Осипович, то уже перед вечером собрались все четверо на ганку, и началось повествование о столь продолжительном странствовании. Сначала взяла верх Прасковья Тарасовна, а потом уже Никифор Федорович. Прасковья Тарасовна начала так:

— Попрошавшись с вами, Карл Осипович, в среду, а в четверг рано мы были уже у Яготыни. Пока Никифор Федорович закусывали, я с дитьмы вышла с брички та и хожу себе по базару. Только смотрю, на базаре стоит какой-то круглый будынок, и столбы кругом, кругом¹³². Меня диты и спрашивают: «Маменька, что это такое?» Я и говорю: «Ей-богу, деточки, не знаю, надо будет спросить кого-нибудь». Смотрю, на наше счастье, идет какая-то молодыця. Я и кричу ей: «Молодыце! А йды, — говорю, — сюда». Она подошла. «Скажи, голубко, что это у вас там на базаре стоит?» Вона и говорыть: «Церков». — «Церков, — думаю соби, — чи не дурыть вона нас?» Только смотрю, и крест наверху, на круглой крыше. «Господи, — думаю соби, — уж я ли церков у Киеве не видала, а такой, хоть побожиться, так, я думаю, и в Ерусалиме нет».

Из Яготина заехали мы в Городище. Прекрасный человек Лев Николаевич! А какие у него деточки, просто ангелы Божии, особенно Наташа. Особенно когда запоет — просто прелесть, да еще и пальчиками прищелкнет. И так полюбила моего Зосю, что заплакала, когда прощались. Были в монастыре в Лубнах, заказывали молебен святому Афанасию. Точно живой сидит за стеклом, мой голубчик. Вот церковь, так церковь. Хоть с нашим Благовещением рядом поставить.

— Только не ставь рядом нашего нового иконостаса, — перебил ее Никифор Федорович.

— Ну, та я уж там этого не знаю. В Хороле тоже ночевали. Только я, признаться, его и не видала, какой он там, той Хорол. Проспала себе всю станцию, проснулась уже в Вишняках¹³³ за Хоролом¹³⁴. Там-то мы и ночевали, а не в самом Хороле. Село огромное, только такое убогое, что страх посмотреть. Помещик, говорят, пьяныця непросыпуца, живет десь, Бог его знает, в Москве, говорили, или в Петербурге,

а управитель что хочет, то и делает. Как-бо его зовуть, того помещика, кат его возьми? Никифор Федорович, вы чи не припомните?

— N., — сказал Никифор Федорович, — Оболонский.

— Да, да, N., так и есть N. А церковь какая прекрасная вымурована за селом. Как раз против господского дому. Говорят, какая-то генеральша Пламенчиха¹³⁵ вымуровала над гробом своего мужа. Праведная душа! Еще в Белоцерковке тоже ночувалы и переправлялись на пароме через реку. Я страх боялся: паром маленький, а бричка наша — слава Богу. Белоцерковская пани, говорят, страшно богата, а ест только одну тарань, и то по скоромным дням. А с железного сундука с червонцами никогда и не встает, так и спит на нем. Говорят, когда загорелся у нее магазин с разными домашними добрами, — говорят, полотна одного, десятки, возов на сто было, и можно было б хоть половину спасти. Что ж вы думаете? Не велела. «Раскрадут, — говорит, — лучше пускай сгорит». Тьфу, какая скверная!

В Решетилровке церков с десять, я думаю, будет, и живут все козаки. Перед самую Полтавою обедали в корчме. И только что лег отдохнуть Никифор Федорович, приезжают архиерейские певчие.

Степан Мартынович завертелся на стуле.

— Входят в корчму, и один как заревел: «Шинкарко, горилки!» Я так и умерла со страху. Отроду не слыхала такого страшного голоса. А собою здоровый, высокий, а на голове волосы, как щетина, так и торчат. А про самую Полтаву я и рассказать не умею. Рассказывайте уже вы, Никифор Федорович.

Тоже явление необыкновенное: жена отказывается говорить в пользу мужа.

— Хорошо, я уже все до конца доскажу. А вы б тым часом похлопотали коло вареников. Карл Осипович и Степан Мартынович, я думаю, что не откажутся повечерять с нами?

Оба слушателя в знак согласия кивнули головами. А Прасковья Тарасовна встала и ушла в комнаты.

— Да, — начал Никифор Федорович, — благословение Господне не оставило-таки наших деточек. Я, правду сказать, никогда в Полтаве не бывал и не имею там никого знакомых. Только по слуху знал, что попечителем гимназии наш знаменитый поэт Котляревский. Я, узнавши его квартиру, отправился прямо к нему. Представьте себе, что он

живет в домике сто раз хуже нашего, просто хата. А прислуги только и есть, что одна наймишка Гапка да наймит Кирик. Сам он меня встретил, ввел в хату, посадил с собою рядом и начал меня спрашивать, какое мое до него есть дело. Я ему сказал. И прошу его помощи. Только он усмехнулся и спрашивает: «Как ваша фамилия?» Я сказал: «Сокира».

— Сокира, Сокира, — повторил он. — У вас двое детей — Зосим и Савватий? — Степан Мартынович сидел как на иголках. — Котляревский продолжал: «Одного вы хотите определить в гимназию, а другого в кадетский корпус?» — «Так точно», — говорю я. Но спросить его не посмел, откуда он все это знает. «Вы, кажется, удивляетесь, — говорит он, — что я знаю, как ваших детей зовут». — «Немало, — говорю, — удивляюсь». — «Слушайте, — говорит, — я расскажу вам историю». — Степан Мартынович задрожал от страха.

— «Однажды я гуляю себе около своих ворот», — начал было он рассказывать. Только в это время вошел высокий лакей и говорит, что княгиня Р[епнина]¹³⁶ просит к себе на чай. Он сказал, что будет. А я, взявши шапку, хотел проститься и уйти. А он и говорит мне: «Не гневайтесь на меня, зайдите завтра поутру, да приведите и козачков своих». Степан Мартынович вздохнул свободнее. «Да что же [я] тороплюсь? Время терпит, — говорит, — а история в трех словах. Да, так гуляю около ворот, смотрю, подходит ко мне...» При этом слове Степан Мартынович повалился в ноги Никифору Федоровичу и возопил:

— Пощадите меня, раба недостойного, я преступил вашу святую заповедь. Я оставил ваш дом и бежал во след ваш в самую Полтаву.

Никифор Федорович понял, в чем дело, и, целуя Степана Мартыновича, поднял на ноги и усадил на стул. И, когда успокоился, он рассказал всю историю, как ему рассказывал сам попечитель.

— Господи, прости меня, окаянного, а я, недостойный отрешить ремень сапога его¹³⁷, я... я дерзнул мало того, что сесть с ним рядом, но даже и трапезу разделять. И, паче еще, гривенник давал ему за протекцию моих любезных учеников. И, просты, просты мене, Господы! С таким великим мужем, с попечителем, и рядом сидеть, как с своим братом! Ох, аж страшно! Завтра же, завтра иду в Полтаву и упаду ему в ноги. Скажу...

— Не ходите завтра, — сказал Никифор Федорович, — а на то лето поедем вместе.

— Нет, не дождусь, умру до того лета, умру без покаяния. О, что я наделал!

— А вы наделали то, что через вас теперь дети наши приняты на казенный счет: один в гимназию, другой в корпус. Вы так полюбились Ивану Петровичу, что он мало того, что через вас определил наших детей, а еще посылает вам в подарок свою «Энеиду» с собственноручным надписанием. И мне тоже, дай Бог ему здоровье, тоже подарил свою «Энеиду» и тоже с собственноручной надписью. Пойдемте лучше в хату, тут уже темно, а в хате я вам и книгу вручу, и свою покажу.

Не описую вам восторга Степана Мартыновича, когда он собственными глазами увидел книгу и прочитал: «Уважения достойному С. М. Левицкому. На память И. Котляревский». «И фамилию мою знает, о муж великий!» И рыдая он целовал надпись.

После ужина Карл Осипович уехал в город, и на хуторе все уснуло, кроме Степана Мартыновича. Он, взявши свою книгу, на човни переправился через Альту, пришел в свою нетопленную школу и, засветя каганец, принялся читать «Энеиду». И прочитал ее до конца. Солнце уже высоко было, когда взошел к нему в школу Никифор Федорович, а каганец горел, и Степан Мартынович сидел за книгою.

— Добрый день, друже мой! — сказал он, входя в школу.

Степан Мартынович поднял голову и тогда только увидел, что каганец напрасно горит.

— Добрый день! Добрый день, Никифор Федорович! А я все прочитывал книгу. Неоцененная книга! Когда-нибудь в пасике я вам ее вслух прочту. Чудная книга!

— Именно чудная! Вот в чем моя речь. Что мы теперь, друже мой, будем делать? Ведь мы теперь с вами одинокие! Учить вам теперь некого, а мне некого экзаменовать. Что мы будем теперь делать, а?

— Я и сам не знаю, — сказал с расстановкою Степан Мартынович.

— Я думаю вот что. Возьмите у меня набор десять или два десятка пней пчел и заведите себе пасику, хоть тут же, около своей школы. Да и пасишникуйте, а я тоже буду пасишниковать. А когда Господь многомилостивый благословит ваше начинание, тогда возвратите вы мне мои пчелы. А тым часом мы будем в гости ходить один к другому. Согласны?

— Паче всякого согласия.

— А коли так, то примите от меня и моей жены сей недостойный подарок за ваше бескорыстие и истинно христианскую любовь к нашим бедным детям. — И он вручил ему кусок гранатового сукна, примолвя: — Я за кравцем Беркою послал уже в город. Сшійте себе к Покрову добрый сертук и прочее».

Степан Мартынович держал сукно в руках, смотрел на него и не мог выговорить слова.

— На Покрова как раз будет шесть лет, как вы в первый раз явились у меня в доме.

Со слезами благодарности принял дорогой подарок Степан Мартынович, и они вышли из школы. На хуторе встретил их Берко-кравец с треугольным аршином в руках. Снял он мерку с Степана Мартыновича, причем ему не раз приходилось становиться на цыпочки, потому что он был непомерно невелик ростом, а Степан Мартынович непомерно велик. Снявши мерку, он тут же принялся кроить. На дом кравцам небезопасно давать целиком такой дорогой материал: как раз будешь без полы или без рукава. Прасковья Тарасовна тоже вышла посмотреть, как будут сертук кроить, и тоже вынесла подарок недешевый, якобы от детей из Полтавы. И, подавая его Степану Мартыновичу, говорила:

— Вот этот черный шовковый платок для шии Зося прислал вам. А это Ватя: тоже шелковая дорогая материя на жилет вам к Покрове.

Принимая столь неценные подарки, Степан Мартынович говорил, рыдая от полноты сердечной:

— Что ти принесу или что ти воздам?¹³⁸

Надо заметить, что Степан Мартынович говорил на трех диалектах. Чисто по-русски. И, когда обстоятельства требовали, а иногда и без всяких обстоятельств, чисто помалороссийски. В положениях же патетических — церковным языком и почти всегда текстами из Священного Писания.

Пока он проливал слезы благодарности, Прасковья Тарасовна вынесла из комнаты два куска холста, говоря:

— А это вам будет на рубашки. Это вже от меня принять не откажитесь. Сошьет же вам хоть и наша Марина, а мы ей дамо годовалую свинку за работу.

Степан Мартынович был выше всякого счастья. Закрыв лицо руками, он безмолвно вышел на крыльцо, сел на ступеньку и рыдал, как малое дитя.

Вскоре вышел и Никифор Федорович и, взявши его за руку, сказал:

— Мы вам думали сделать доброе, а вы плачете. Не обижайте же нас, сырых стариков, Степан Мартынович.

— Я в радости постелю мою слезами моими омочу¹³⁹.

— Ну, так пойдете в пасику. Ляжете там хоть на моей постели та и мочить ее сколько угодно.

Степан Мартынович встал и молча последовал за Никифором Федоровичем.

Придя в пасику, Никифор Федорович вынул из кармана мелок и отметил буквою Л десять ульев, говоря:

— Боже благослови ваше начинание, — и прибавил, показывая на улы: — Примите в свою собственность, Степан Мартынович.

— Дайте мне хоть дух перевести. Вы меня умертвите вашими благодеяниями.

Они сели под липою. И при сем случае Никифор Федорович прочитал изрядную лекцию о пчеловодстве. А в заключение сказал:

— Трудлюбивейшая, Богу и человеку угоднейшая из всех земнородных тварей — это пчела. А заниматься ею и полезно, и Богу не противно. Этот смиренный труд ограждает вас от всякого нечистого соприкосновения с корыстными людьми. А между тем ограждает вас и от гнетущей и уничтожающей человека нищеты.

По моим долгим опытам и наблюдениям я дознал, что пчела требует не только искусного человека, но еще кроткого и праведного мужа. Вы же в себе вмещаете все сии добродетели.

И с упованием на Бога и святых его угодников Зосима и Савватия будет благословенно и приумножено ваше начинание!

Степан Мартынович в благоговейном молчании слушал. Никифор Федорович продолжал:

— Нынешнее лето на исходе, уже, слава Богу, сентябрь на дворе. Следовательно, вам теперь нечего и думать пасику заводить. А вы уже начните с будущей весны. А теперь только выберите для пасики место и обсадите его какими-нибудь деревьями, хоть липами, например. А я, даст Бог, положивши пчелы зимовать в погреб, съезжу недели на две, на три в Батури. Там, около Батурина где-то, живет наш великий пасичник Прокопович. Послушаю его разумных

наставлений, потому что я теперь думаю исключительно заняться пасикою.

На другой или на третий день после этой разумной беседы, поутру рано, ходил около своей школы Степан Мартынович в глубокой задумчивости с «Энеидою» в руках. Он с нею никогда не разлучался. После долгой думы он отправился на хутор. И, увидя Никифора Федоровича, также в созерцании гуляющего и тоже с «Энеидою» в руках, он после пожелания доброго дня, сказал:

— Знаете, что я придумал?

— Не знаю, что вы придумали.

— Я придумал, по примеру прочих дьячков, завести школу, т. е. набрать детей и учить их грамоте.

— Благословляю ваше намерение и буду споспешествовать оному по мере сил моих. — А помолчавши, он прибавил: — А пасики все-таки не оставляйте.

— Зачем же? Пасика пасикою, а школа школою.

Получив такое лестное одобрение своему предположению, он с того же дня принялся хлопотать около своей школы, укрыл ее новыми снопками, позвал двух молодых и велел вымазать внутри и снаружи белую глиною. А сам между тем недалеко от школы рыл все небольшие ямки для деревьев без всякой симметрии. Соседки, глядя на все эти затеи Степана Мартыновича, не знали, что и думать про своего дьяка. И, наконец, общим голосом решили, что дьяк их, решительно, женится; но когда увидели его на Покрова в суконном гранатовом сертуке, тогда в одно слово сказали: «На протопоповне». Каково же было их удивление, когда после Покрова их дьяк пропал и пропал недели с три, а когда нашелся, то не один уже, а с четырьмя мальчиками — так лет от семи до десяти. Все это было для соседок непроницаемою тайною, между тем как дело само по себе было очень просто. Степан Мартынович побывал дома в Глымязове и привез с собою двух маленьких братьев и двух племянников обучать их грамоте на собственный кошт. Фундамент школы был положен. Слава о его педагогическом великом даровании (разумеется, не без участия Карла Осиповича) давно уже гремела и в Переяславе, и за пределами его и окончательно была упрочена принятием близнят Сокиры в гимназию и корпус. При таких добрых обстоятельствах к Филипповке школа его была полна учениками и в изобилии снабжена всем для существования необходимым, а близлежащий хутор (не Со-

киры, а другого какого-то полупанка) с десятью хатами был наполнен маленькими постояльцами разных званий.

Деятельности Степана Мартыновича раскрылось широкое поле. И он был совершенно счастлив.

Вскоре после Николы возвратился Никифор Федорович из Батурина от Прокоповича. И, к немалому удивлению своему, увидел он недалеко около школы порядочный кусок земли, усаженный фруктовыми деревьями, и в нескольких местах кучи хворосту и кольев. То было приношение тароватых отцов учеников его, по большей части наумовских и березанских козаков.

Наступила зима, занесло снегом и хутор Никифора Федоровича, и школу Степана Мартыновича. Но между заметами снегу, между школою и хутором, видны были сначала только формы огромных ступней Степана Мартыновича, а потом образовалась и утопанная дорожка. После дневных трудов Степан Мартынович каждый вечер приходил на хутор, как говорил, почить от треволения дневного. Приходу его всегда были рады, особенно Прасковья Тарасовна. И, действительно, было чему радоваться: в подлунной не было другого человека, который бы с таким если не вниманием, то, по крайней мере, терпением выслушивал в сотый раз повесть с одними и теми же вариантами, повесть о странствовании Прасковьи Тарасовны в Полтаву и обратно. Прибавляла она иногда к своему повествованию эпизод, почти шепотом, иногда и погромче, если видела, что Никифор Федорович занят чем-нибудь или просто читал летопись Конисского. Тогда она почти одушевлялась, рассказывая о том, как они, возвращаясь из Полтавы, приехали к Успению в Лубны, в самый развал ярмонки, и ввечеру ходили в театр и видели там, как представляли «Козака-стихотворца». Тут она брала тоном ниже: «Прелесть! Просто прелесть! Настоящий офицер той козак-стихотворец. А Маруся — барышня, та й годи. Не налюбуюся, бывало. Да к тому еще запоет:

Нуте, готовьте пляски, забавы¹⁴⁰.

Ну, барышня, да и только, как будто вчера из Москвы приехала. А как дойдет до слов: «Ему Маруся навстречу бежит», да и пробежит немножко и ручки протянет, как будто до офицера... чи то, до козака-стихотворца, я не вытерплю, бывало, просто зарыдаю, так чувствительно».

— Что это там так чувствительно? — спросит, бывало, Никифор Федорович, когда расслышит.

— Я розкажую, как мы в Лубнах...

— Знаю, знаю. Козака или офицера-стихотворца видели. Плюньте на эти рассказы, Степан Мартынович, да садитесь поближе, я вам прочитаю, как ходили наши козаки на Ладожский канал да на Орель¹⁴¹. Линию высыпать. А вы бы лучше сделали, Прасковья Тарасовна, если б велели нам чего-нибудь сварить повечерять.

Заметить надо, что Никифору Федоровичу страшно не понравился знаменитый «Козак-стихотворец». Он обыкновенно говорил, что это чепуха на двух языках. И я вполне согласен с мнением Никифора Федоровича. Любопытно бы знать, что бы он сказал, если бы прочитал «Малороссийскую Сафо». Я думаю, что он выдумал бы какое-нибудь новое слово, потому что слово «чепуха» для нее слишком слабо. Мне кажется, никто так внимательно не изучал бестолковых произведений философа Сквороды, как к[нязь] Ш[аховской]. В малороссийских произведениях почтеннейшего князя со всеми подробностями отразился идиот Скворода. А почтеннейшая публика видит в этих калеках настоящих малороссиян. Бедные земляки мои! Положим, публика — человек темный, ей простительно. Но великий грамматик наш Н. И. Греч в своей истории р[усской] словесности¹⁴² находит [в них], кроме высоких эстетических достоинств, еще и исторический смысл. Он без всяких обиняков относит существование козака Климовского ко времени Петра I¹⁴³. Глубокое познание нашей истории!!

По прочтении эпизода из летописи Конисского друзья повечеряли и разошлись.

Так или почти так проходили длинные зимние вечера на хуторе. Иногда приезжал и Карл Осипович нанюхаться табаку из своей раковинной табакерки и уезжал не вечерявши, разве только иногда выпьет рюмочку трохимовки и закусит кусочком бубличка, а иногда так и совсем не закусит.

Время близилось к праздникам. Степан Мартынович уже начал распускать своих школяриков по домам. Уже и кабана, и другого закололи на хуторе. Прасковья Тарасовна собственноручно принялася за колбасы и прочие начинки к празднику. Везде и по всему видно было, что праздник на улице ходит, а в хату еще боится взойти.

В такой-то критический вечер приехал на хутор Карл Осипович и привез письмо с почты, и письмо то было из Полтавы. От детей. И, как бы вы думали, от кого еще? От И. П. Котляревского. Прасковья Тарасовна, когда услышала, что письмо из Полтавы, вбежала в комнату и колбасу забыла оставить в вагони¹⁴⁴.

— Где же это письмо? Голубчик, Карл Осипович, где же письмо? Прочитайте мне, дайте мне его, я хоть поцелую.

— Отнесите сначала колбасу на место, а потом уже приходите письмо слушать, — сказал Никифор Федорович, развертывая письмо.

— Ах я божевильная, и не схаменуся! — вскрикнула она и выбежала за двери.

Вскоре все уселись вокруг стола, и началось торжественное чтение писем.

Сначала были прочтены письма детей, с повторением каждого слова по нескольку раз, собственно для Прасковьи Тарасовны, причем, разумеется, не обошлось без слез и восклицаний, как, например:

— Ах вы, мои богословы-философы! Соколы-орлы мои сизые, хоть бы мне одним оком посмотреть теперь на вас!

Так как уже начинало смеркаться, то догадливая Марина, без всякого со стороны хозяйки распоряжения, внесла в комнату свечу и поставила на стол. Никифор Федорович развернул письмо Ивана Петровича, сначала посмотрел на подпись и [потом] уже начал читать:

«Ласкавии мои други, Никифор Федорович, Прасковья Тарасовна и Степан Мартынович».

Все молча между собою переглянулись.

Но так как письмо было написано по-малороссийски, что не всякий поймет, а другой и понял бы, так уст своих марать не захочет мужицкими словами, а потому я расскажу только содержание письма, отчего повесть моя мизерная много потеряет.

После обыкновенных поздравлений с наступающими праздниками Иван Петрович описывает добрые качества детей их и удивляется их необыкновенному сходству, как физическому, так и нравственному, и говорит, что он по мундирам их только и узнает. «Я за ними, — говорит, — посылаю каждую субботу. Воскресенье они проводят со мною, и я не налюбуюсь ими. Не желал бы я у себя иметь лучших детей, как ваши дети. Моя «Муха»¹⁴⁵ наполняется еженедельно

описанием их детских прекрасных качеств». Далее он пишет, что лучше бы было повести их по одной какой-нибудь дороге: по военной или по гражданской. А далее пишет, что нет худа без добра, что от различного их воспитания выйдет психический опыт, который и покажет, какая произойти может разница от воспитания между двумя субъектами, совершенно одинаково организованными. А далее пишет, что он немало удивился, когда узнал, что они хорошо читают по-немецки и еще лучше по-латыни, и спрашивает, кто их учил. (Тут молча переглянулись Карл Осипович и Степан Мартынович.) Потом пишет, что Гапка их тоже полюбила и снабжает их каждое воскресенье пирожками и бубликами на целую неделю. «Раз у меня Зося попросил гривенник на какую-то кадетскую потребу, но я ему не дал: по опыту знаю, что нехорошо давать детям деньги».

— А может, оно, бедненькое, учителю хотело дать, чтобы лучше показывал, — проговорила Прасковья Тарасовна, но Никифор Федорович взглянул на нее по-своему, и она умолкла.

И говорит:

— «Чтоб вы об них не беспокоились: праздники они у меня проведут. А на Свят-вечер с вечерею пошлю их к моему другу N. У него тоже есть дети, и они там весело встретят праздник Р[ождества] X[ристов]а».

Дальше пишет, чтоб они не забывали его, старого, и чтоб на время каникул приезжали в Полтаву, и что в Полтаве квартиры очень дешевы, а что Гапка его варит отличный борщ из карасей сушеных. «Уж как это она делает, — говорит, — Бог ее знает.

*Оставайтесь здоровы, не забывайте
одынокого И. Котляревского.*

Р. S. Поклонитесь, як побачитесь, доброму моему Степану Мартыновичу Левицкому».

По окончании письма Карл Осипович встал, понюхал табаку и сказал: «Ессе homo!»¹⁴⁶, Степан Мартынович тоже встал и заплакал от умиления. Да и как не заплакать? Ему, ничтожному дьячку, пишет поклон, и кто же? Попечитель гимназии. Прасковья Тарасовна тоже встала и, обратясь к образам и крестясь, с слезами на глазах говорила: «Благодарю тебе, милосердый Господы, за твое милосердие, за твою благодать

святую. Послал ты ангела-хранителя моим малым сиротам на чужине». И она молча продолжала молиться. А Никифор Федорович сидел, облокотясь над письмом, и хранил глубокое молчание. Потом свернул письмо, поцаловал его, глубоко вздохнул, встал из-за стола и молча вышел в другую комнату. Через полчаса он вошел, и глаза его как будто покраснели. Прасковья Тарасовна обратилась к нему с вопросом:

— Есть ли у него пасика? Я тогда, как была в Полтаве, и забыла спросить у Гапки. А то послать бы ему хоть бочку меду. К празднику уже не успеем, то хоть к Великому посту.

— Пошлем две, — сказал Никифор Федорович и начал ходить молча по комнате.

Гости простились и пошли восвояси с миром, дивясь бывшему.

Прошли и праздники, и зима проходит, а весна наступает, вот уже и Велькдень через неделю. Степан Мартынович отпускает своих учеников в дома родительские и наказывает, чтобы прибывали в школу не раньше Вознесения Христова. По примеру семинарскому он тоже сделал вакацию своим школярам. После праздника, распорядившись хорошенько домом, т. е. перепоруча смотрение за школою и за меньшими братьями старшим братьям, двум богословам, а третьему философу, и наказав, чтобы в часы досуга рыли ров, не весьма глубокий, около древ насажденных, приведя все в порядок, он позычил у знакомого ему мещанина беду, разумеется не такую франтовскую, как у Карла Осиповича, а так себе, простенькую. А у другого, тоже знакомого, мещанина нанял коня с хомутом на двадцать дней и ночей. Запрет коня в беду и в одно прекрасное утро, простившись с хутором и со школою, сел и поехал легонькою рысцою в Полтаву.

Прасковья Тарасовна послала им свое, хотя заочное, родительское благословение и мешок бубличков, как-то особенно испеченных. А Зосе своему и полкарбованця денег, которые он должен был ему передать тихонько от Ивана Петровича. Степан Мартынович обещал все это исполнить, но не исполнил. Он за полкарбованця отслужил молебен угоднику Афанасию о здравии отроков Зосима и Савватия, а Зосе крепко-накрепко наказал, чтобы он не осмеливался просить гривенничков у Ивана Петровича.

В Полтаве с ним не случилось ничего необыкновенного, кроме разве, что он присутствовал в соборе при рукоположении во диакона его старого знакомого баса и что новый

диакон зазвал его к себе, напоил пьяным и вдобавок поколотил слегка. Из чего и заключил Степан Мартынович, что его приятеля никакой сан не исправит, что он как был басом, так и останется им даже до могилы.

По возвращении восвояси из далекого и не исполненного приключений странствия школу свою нашел он благополучною, а благодарные братья обрыли кругом новый вертоград его, да еще и лозою огородили. Поблагодарив их прилично, т. е. купив им по паре юхтовых сапог и демикотону на жилеты, и их же просил пособить ему перенести из хутора пчелы в свою пасику. Что на другой же день и было исполнено. Теперь он, кроме того, что стихарный дяк, учитель душ до тридцати учеников, да еще и пасичник немалый.

Проходили невидимо дни, месяцы и годы. Зося и Ватя росли духом и телом в Полтаве, а Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна старились себе безмятежно на хуторе и получали исправно каждый праздник поздравительные письма от детей. Потом стали получать ежемесячно, потом и чаще, и уже не наивные детские письма, а письма такие, в которых начал определяться характер пишущих. Так, например, Зося писал всегда довольно лаконически: что он почти нищий между воспитанниками и что по фронту он из числа первых. А Ватя писал пространнее: он скромно писал о своих успехах, о нищете своей он не упоминал. А о добром и благородном своем покровителе он исписывал целые страницы. Из его писем можно было узнать костюм, привычки, занятия, словом, ежедневный быт автора «Полтавки Наталки», «Москаля-чаривныка» и «Перелицованной “Энеиды”».

В конце четвертого года получены были от детей письма такого содержания:

«Дражайшие родители!»

Выпускной экзамен я сдал прекрасно: получил хорошие баллы во всех науках, а по фронту вышел первым. Меня посылают в дворянский полк в Петербург¹⁴⁷. А потому и прошу прислать мне сколько можете на первый раз денег на непредвиденные расходы.

Ваш покорный сын З. Сокирин».

— Сокирин, Сокирин, — худой знак, — говорил тихо Никифор Федорович и развертывал письмо другое.

«Мои нежные, мои милые родители!»

Бог благословил ваше обо мне попечение и мои посильные труды. Я сдал свой экзамен почти удовлетворительно, к великой моей радости и радости нашего всеми любимого и уважаемого благодетеля, который кланяется вам и достойному Степану Мартыновичу. По экзамену я удостоился драгоценной для меня награды: мне публично вручил сам ректор в изящном переплете Вергилиеву «Энеиду» на латинском языке и тут же публично объявил, что я удостоился быть посланным в университет, который я сам избираю, на казенный счет, по медицинскому факультету. И я теперь прошу вашего родительского благословения и совета, какой именно избрать мне университет: харьковский¹⁴⁸ или ближайший киевский? Я желал бы последний, потому что там профессора хорошие, особенно по медицинскому факультету¹⁴⁹. А более желал бы потому, чтобы быть ближе к вам, мои бесценные, мои милые родители!

Жду вашего благословения и совета и целую ваши родительские руки.

*Остаюсь любящий и благодарный
ваш сын С. Сокира.*

Р. S. Поцелуйте за меня незабвенного моего Степана Мартыновича. Вчера и сегодня благодетель наш жалуется на боль в ногах и пояснице и третий день уже из дому не выходит. Помолитесь вместе со мною о его драгоценном здравии».

По прочтении письма Никифор Федорович сказал:

— Ну, слава тебе Господи, хоть один походит на человека.

— Да еще на какого человека, — прибавил Карл Осипович. — Я вам предсказываю, что из него выйдет доктор, магистр, профессор — и знаменитый профессор медицины и хирургии. А вдобавок член многих ученых обществ. Уверяю вас, что так будет. Ай да юный эскулап! — воскликнул он, щелкая по табакерке.

— А из Зоси, вы думаете, ничего не выйдет путнего? — с таким вопросом обратилась Прасковья Тарасовна к Карлу Осиповичу.

— Боже меня сохрани так думать. Из него может выйти хороший офицер, полковник, генерал и даже фельдмаршал. Это будет зависеть от самого себя.

— Толците и отверзется, просите и дастся вам¹⁵⁰, — проговорил вполголоса Степан Мартынович.

— Что было, то видели, а что будет, то увидим, — сказал сухо Никифор Федорович и ушел к себе в пасику.

Долго ходил он около пасики, волнуемый каким-то смешанным, неопределенным чувством между радостью и грустью. И, успокоив себя надеждою на всеблагое провидение, он возвратился в хату, повторяя изречение Богдана Хмельницкого: «Що буде, то те й буде. А буде те, що Бог нам дасть».

На другой день написал он самое искреннее и благодарное письмо Ивану Петровичу, послал детям по 25 рублей, всепокорнейше прося Ивана Петровича вручить их детям, и чтобы он величайшую милость для него сделал: известил его, какие дети сделают употребление из денег. Потому, говорит, что деньги в молодых руках — вещь весьма опасная, и ему, как отцу, извинительна подобная просьба. Савватию он советовал избрать университет киевский, а Зосиму просил Ивана Петровича сделать наставление, какое Господь внушит его добродетельному сердцу.

Через месяц они имели великое счастье обнимать Ватю у себя на хуторе. Он проездом в Киев уговорил товарищей своих пробыть сутки в Переяславе, чтобы повидаться ему с родными. На что товарищи охотно согласились, тем более, что он и их пригласил на хутор. Зося тоже отправился с товарищами из Полтавы, но только по Харьковской дороге, а потому и не мог заехать на хутор.

После первых привитаний Ватя побежал в школу с заветною «Энеидою» в руках. И, найдя своего наставника в школе между жужжащими школярами, как матку между пчелами, бросился к нему на высокую шею. После первого, и второго, и третьего поцелуя он подал ему драгоценную книгу, говоря:

— Вы первый раскрыли мне завесу латинской мудрости, вам и принадлежит сия мудрейшая и драгоценнейшая для меня латинская книга.

С умилением принял и облобызал книгу Степан Мартынович. И, любуясь переплетом, он развернул ее и увидел между страницами красную бумагу. Это были 10 карбованцев благодарного Вати.

— Вы в книге забыли деньги. Вот они.

— Нет, это вам Иван Петрович посылает через меня, чтобы вы потрудились передать их вашим бедным родителям. (А в самом деле это были оставшиеся от 25 рублей, присланных ему в Полтаву.)

На радости Степан Мартынович распустил учеников гулять, а сам с Ватей пошел на хутор, держа в руках развернутую книгу и декламируя стихи знаменитого поэта. И если бы Ватя так же внимательно слушал, как Степан Мартынович читал, то очутились бы оба по колена в луже, а то только один педагог.

Погостивши суток двое-трое на хуторе, Ватя начал собираться в дорогу, а товарищи так были довольны угощением гостеприимной Прасковьи Тарасовны, что и не думали о продолжении пути. А потому немало удивились, когда [он] стал прощаться с своими так называемыми родителями. Делать было нечего, и они простились. И через несколько дней, прогуливаясь в Шулявщине¹⁵¹, готовились держать экзамен для поступления в университет.

Во время пребывания своего в университете Савватий каждые каникулы приезжал на хутор и превращался в пасичника. Тогда начали уже показываться статьи в журналах Прокоповича о пчеловодстве¹⁵². Он их внимательно прочитывал и не без успеха применял к делу, к величайшей радости Никифора Федоровича. Иногда вместе с Карлом Осиповичем делали химические и физические опыты и даже лягушку [резали] по методу Мажанди¹⁵³. А по вечерам собирались все на крылечке, и он читал вслух «Энеиду» Котляревского или настоящую Вергилиеву «Энеиду». А так [как] он любил страстно музыку, особенно свои родимые заунывные напевы, то с большим успехом брал у Никифора Федоровича уроки на гусях и после десятка уроков пел уже, сам себе аккомпанируя:

Стала хмара наступаты,
Став дощик иты¹⁵⁴.

В Киев он всегда возвращался с порядочно набитой портфелью местной флоры и несколькими ящиками мотыльков и разных букашек.

В продолжение пребывания своего в дворянском полку Зося писал ежемесячно аккуратно письма содержания почти однообразного; некоторые, или, лучше сказать, большую часть своих писем вариировал фразой: «Я скоро Божию

милостию прапорщик, а у меня денег ни копейки нет». На что обыкновенно говорил Никифор Федорович: «А будешь офицером, и гроши будут».

Однажды писал ему Ватя, чтобы он прислал ему литографированный эстамп с картины «Последний день Помпеи»¹⁵⁵, и для сей требы послал ему три рубли денег. Но Зося благо-разумно рассудил, что три рубли — деньги, а эстамп что такое? Листок испачканной бумаги, больше ничего. И без обиняков написал брату, что об этойкой картине в Петербурге он и не слышал, а что деньги он ему после вышлет; а если хочет, то на Невском проспекте много разных картинок продается, то можно будет купить одну и переслать. Ватя написал ему, чтобы он купил какой-нибудь эстамп, если уж нельзя достать «Последний день Помпеи». Он и купил ему московское литографированное грошовое произведение «Тень Наполеона на о[строве] св. Елены». Ватя, получив сие произведение, не мог надивиться эстетическому чутью родимого брата. И знаменитый куншт полетел в пещь огненную.

Вскоре после всесожжения «Тени Наполеона» с шумом явились на свет «Мертвые души». «Б[иблиотека] для чтения»¹⁵⁶, в том числе и солидные, благомыслящие люди, разругали книгу и автора, называя книгу грязною и безнравственною, а автора просто сеятелем плевел на почве воспитания благородного юношества.

Несмотря, однако ж, на блюстителей нравственности и блюстительницу русского слова, «Мертвые души» разлетелись быстрее птиц небесных по широкому царству русскому. Прилетело несколько экземпляров и в древний Киев и дебютировали, разумеется, в университете. Инспектор с неудовольствием и даже страхом заметил, что студенты собираются в кружки и что-то с хохотом читают. Сначала он подумал (что весьма вероятно): «Верно, какая-нибудь каналья сочинила на меня пасквиль». Но, заметивши, что студенты читают печатанную книгу, [у него] от сердца отлегло. И, как человек, мало следивший за движением отечественной литературы, и человек, не принадлежащий к банде блюстителей нравственности, то, узнавши, что книга титулуется «Мертвые души» — должно быть, страшная, — и махнувши рукою, сказал: «Пускай их себе читают, лишь бы не пьянствовали да на Кресты¹⁵⁷ окон бить не ходили». Видно, на инспектора дворян п[оэма] «Мертвые души» не производила никаких опасений.

Савватий сначала со вниманием прослушал «Мертвые души», потом с большим вниманием прочитал, а прочитавши, возымел страсть во что бы то ни стало приобрести эту книгу и во время каникул читать вслух на хуторе. Собравшись с последними крохами и призяв рубля с полтора, отправился он в контору застрахования жизни, она же и книжный магазин¹⁵⁸. Спрашивает «Мертвые души», а книгопродавец и глаза вытаращил. Ему показалось, что посетитель спрашивает мертвые души те, которые застраховали свое земное бытие в его конторе. И, обратясь к посетителю, сказал, что [есть] только две.

— Пожалуйте мне один экземпляр. — Книгопродавец снова стал в тупик. — Вы меня не так понимаете. Получена ли у вас книга под названием «Мертвые души», сочинение Н. Гоголя?

— Никак нет-с, еще и объявления не читали.

— Значит, нет надежды и иметь от вас ее когда-нибудь, — сказал Савватий и вышел на улицу. Хотел было сходить к Глюзбергу¹⁵⁹, да вспомнил, что там не продают русских книг, зашел на минутку домой, написал брату письмо, вложил в него деньги и отнес на почту. Бедняк! Ему и в голову не пришла «Тень великого Наполеона».

Через месяц получает он повестку из почтовой конторы, что получена на его имя посылка на 5 руб[лей] сереб[ром]. В восторге бежит он к инспектору, а от него прямо в почтовую контору. Спрашивает посылку, ему подают. Пошупал — мягкое. «Она», — проговорил он и вышел из конторы. На улице разрезал он веревочку перочинным ножиком, распорол клеенку, развернул обертку и с ужасом прочитал: «Никлас — Медвежья Лапа»¹⁶⁰. Потемнело в глазах у бедняка, и полураскрытая посылка вывалилась из рук. Простояв с минуту, пошел он, грустный, сам не зная куда, а посылка так и осталась на улице, пока ее не поднял какой-то нищий и, осмотревши внимательно, пошел прямо в кабак. Целовальник имел счастье за шкалик приобрести бессмертное творение и, как человек грамотный и любознательный, и теперь коротает счастливые досуги, а иногда и вслух читает своим запоздалым посетителям.

При посылке письма не было, а была всунута лаконическая записка пренаивного содержания: «“Мертвые души” запрещены. И цензор, и автор сидят в крепости. А посылаю тебе дивную книгу — “Медвежью Лапу”. Твой брат такой-то».

Несмотря, однако ж, на то, что и цензор, и автор сидели в крепости, «Мертвые души» вскоре явились в конторе страхования жизни и продавались публично. И Ватя, проходя однажды мимо конторы, увидел экземпляр, выставленный в окне. Хорошо, что он не читал братней записки, а то, пожалуй, брата назвал бы бессовестным лгунишкой. Прочитавши несколько раз обертку и полюбовавшись ею же, он решился во что бы то ни стало приобрести великую книгу, тем более, что каникулы близились. После акта, в тот же день, снес он мундир свой, как вещь теперь совершенно ненужную, к одолжителю презренного металла за умеренные проценты. И, приобретя за вырученные деньги экземпляр великой книги, он имел неизъяснимое наслаждение читать ее вслух на хуторе. Вечером на крыльце, а днем под липою в пасике.

В сотый раз уже прочитывал он почти наизусть внимательно слушавшей его Прасковье Тарасовне «Повесть о капитане Копейкине»¹⁶¹, когда въехал на двор на своей беде Карл Осипович и издала показал письмо. Чтение о Копейкине, разумеется, было прервано, а чтение письма было начато самим Никифором Федоровичем и, разумеется, про себя. Прочитавши письмо, Никифор Федорович бросил его на пол и в досаде сказал:

— Только и знает, что денег просит. Шутка сказать, триста рублей. — И он ушел в покои, а за ним Карл Осипович.

Прасковья Тарасовна, поднявши осторожно письмо, передала его Вате и просила прочитать (сама она скорописи не читала, а только печать), только не так громко, как про того копытана. И он прочел вполголоса следующее:

«Драгоценные мои родители!

Божиею милостию я теперь прапор л[ейб]-г[вардии] гренадерского полка. А вы должны сами знать, как должен себя держать г[вардейский] офицер. Здесь не Полтава и не щедушный Переяслав, а, люди добрые говорят, столица. А потому-то мне и нужно на первое обзаведение по крайней мере 300 рублей серебром.

Затем остаюсь ваш сын З. Сокирин».

Ватя, прочитавши письмо, сложил его и подал Прасковье Тарасовне.

— Да ты все прочитай и тогда его отдай уже мне, я его спрячу.

— Да я все и прочитал.

Она, бедная, не поверила, развернула письмо, пересчитала строчки и, убедившись в горькой истине, бросила письмо под стол и, закрыв лицо руками, горько-горько зарыдала.

Бедная ты, бедная! Это только цветы, а ядовитый плод еще и не завязывался.

Через несколько дней со слезами вымолила она 300 рублей у Никифора Федоровича, и так [как] он отказался писать письмо, а Ватя уехал, то она сама церковными буквами написала письмо такое:

«Зосю мой, орле мой! Выплакала, вымолила я и посылаю тебе деньги, а Никифор Федорович на тебе гневается».

Завернула в письмо деньги и сама повезла на почту. Почтмейстер немало удивился, принявши письмо с деньгами и без адреса на конверте. Поехала она к Карлу Осиповичу, тот написал адрес, и письмо было отправлено.

Получивши деньги, гвардейский прапорщик не обратил внимания на письмо или, лучше сказать, на обертку. А другой, тоже гвардейский прапорщик, поднял эту обертку и, прочитавши, спрятал в карман, а на другой день в экзерцисгаузе¹⁶² показал ее полковой братии. И пошла потеха. Сначала не понимал Зося, в чем дело. А когда понял, то в одно прекраснейшее утро, после ученья, пригласил честную компанию к Сен-Жоржу¹⁶³, задал великолепный завтрак и полупьяный рассказал братии вот что насчет лаконического письма: что у него в Полтаве осталась а м и к а, т. е. любовница, богатая и безграмотная купчиха, которая крадет у мужа деньги и снабжает ими вашего покорнейшего слугу. «Ура! — заревела компания. — За здоровье всех безграмотных любовниц!» Тосты повторялись до самого вечера. Вечеру вся компания отправилась смотреть Тальони¹⁶⁴, разумеется, на счет счастливого любовника.

Не прошло и полгода, как от счастливого любовника было получено на хуторе письмо такого содержания:

«Через вас, нежные, попечительные родители, должен я оставить гвардию и просить перевода в армию, потому что я нищий, а у вас сундуки трещат от золота.

Ваш благодарный сын Сокирин».

А причина перевода его в армию была вот такая.

Однажды у Марцинкевича в танцклассе¹⁶⁵ (который он посещал каждую пятницу неукоснительно), так однажды в этом знаменитом танцклассе за какую-то изменницу завязал он, пьяный, и тоже с пьяными черкесами, драку. В дело вмешалась полиция, и кончилось тем, что черкесам, как азиатцам, извинили, а его, как европейца, перевели в армию тем же чином. После этого перевода не замедлил последовать другой, только без всякого сочинения со стороны моего забубенного героя, потому что он прекратил всякую корреспонденцию с скаредами, как он выражался, т. е. со своими благодетелями.

Для писателя, более плодовитого, нежели аз грешный, и более знакомого с военным бытом нашей многочисленной благородной молодежи, для такого писателя здесь открывается обширнейшее поле, усеянное такими горькими семенами, что плод их когда созреет, то потомкам нашим не нужно будет покупать сабура¹⁶⁶. А талантливый писатель, как хороший огородник, мог бы понемногу вырывать плевелы из пшеницы. И было бы благо. Но талантливые писатели, ведающие этот быт, обращают более свое наблюдательное внимание на солдатские поговорки и их безотрадные, хотя и кажущиеся удалые, песни.

Волей-неволей, а я должен объяснить причину перевода моего героя из армии во внутреннюю стражу, т. е. в астраханский гарнизонный батальон.

В городе Нежине¹⁶⁷ квартировал армейский пехотный полк NN. В этот полк был переведен мой приятель и поселился в белой хатке с садиком и цветничком, как раз против греческого кладбища. В первый же день он заметил в цветнике такой цветок, что у него и слюнки потекли. Этот очаровательный цветок была красавица на самой заре жизни и единственное добро беднейшего вдового старика мещанина Макухи. Продолжение и конец повести вам известен, терпеливые читатели. И я не намерен утруждать вас повторением тысячи и одной, к несчастью, не вымышленной, повести или поэмы в этом плачевном роде, начиная с «Эды» Баратынского¹⁶⁸ и кончая «Катериной» Ш[евченка] и «Сердечной Оксаной» Основьяненка¹⁶⁹. Продолжение и конец решительно один и тот же. С тою только разницею, что приятеля моего чуть было не заставили жениться — на мещанке Якилыне, дочери Макухи. Спасибо доброму старику, полковому командиру: он вступился за своего офицера. А то бы как раз

перевенчали офицера с мешанкою. Но и добрый старик, полковой командир, лучше ничего не мог придумать, как подать ему немедленно в перевод, и концы в воду. Он назавтра же подал в перевод. Он навещал Якилыну, едва движущуюся, и уверял старика, что он с каждой почтой ожидает родительского благословения. Пришел перевод. И он для такой радости зашел в так называемую кондитерскую Неминая¹⁷⁰ и порядком кутнул перед выездом, и начал рассказывать какому-то тоже нетрезвому, но богатому Попандопуло свое рыцарское похождение с Якилыною. И так увлекательно рассказывал, что богатый эллин не вытерпел и заехал ему всей пятерней в благородный портрет, а он эллина, а эллин опять его, и пошла потеха. Но как эллин был постарше летами и силами послабее, то он и изнемог. А к тому времени подоспел блюститель в виде городничего и повелел борющихся взять под арест. Завязалось дело. Богатого торгаша эллина оправдали, а благородного неимущего офицера оженали на мешанке Якилыне и перевели в астраханский баталион.

О моя бедная Якилыно! Если [бы] ты могла провидеть свое бесталанье, свою горькую будущую долю, ты убежала бы в лес или утопилась бы в гнилом Остре, но не венчалась бы с благородным офицером. Но ты, простодушная мешанка, в глубине непорочной души своей веровала пустой фразе, что любовь нежная укрощает и зверя лютого. Это только фраза, больше ничего. А ты, дурочка, думала, что в самом деле так. Бедная, как же ты страшно поплатилась за свое простодушие! Ты погибла, и не спасла тебя от горькой участи ни нежная любовь твоя к пьяному чудовищу, ни даже единая твоя золотая надежда — твой первенец, твое прекрасное дитя. Вы оба валялись [на] грязной астраханской улице, пока вас не прибрала и не похоронила великодушная полиция.

Но, несмотря на все проказы, приятель мой близился уже к чину капитана. А брат его только что кончал курс в университете св. Владимира.

По экзамену удостоился он скромного звания лекаря, с чином 12 класса. А после акта объявлено ему, что он, по воле правительства, как казеннокоштный воспитанник, назначается в оренбургский третьеклассный госпиталь. В канцелярии ему выдали треть жалованья вперед, прогоны и подорожную. И он, как бедняк, простился наскоро с товарищами и на другой день без особенной грусти оставил

древний Киев, быть может, навсегда. Товарищи хотели было проводить его по крайней мере до Рязанова¹⁷¹, но, вероятно, проспали, потому что он переправился через Днепр до восхода солнца, а в Бровари¹⁷² приехал к тому самому часу, как туркенья-смотрительша раздувала в снях на очаге огонь для кофейника. Выпивши за умеренную цену стакан кофе и взявши, тоже за умеренную цену, бутылочку броварского ликеру (изобретение той же туркени-смотрительши), он ввечеру уже весело рассказывал о своем экзамене благосклонным слушателям на ганку уединенного хутора.

Савватий решил провести недели две на хуторе, быть может, последние, проведенные им в кругу самых милых, самых дорогих его сердцу людей. Несмотря на однообразие сельской, а тем более хуторянской жизни, дни мелькали, как секунды. Так они вообще быстры в радости и так же медленны в печали. Если бы на хуторе все, не исключая и Марины, желали б скорого конца двум роковым неделям, то они продлились бы по крайней мере месяц. Но так как общее желание было отдалить роковой день расставания, то он, к досаде каждого, и близился так быстро.

Накануне отъезда, после обеда, Никифор Федорович взял под руку Савватия и по обыкновению повел его в пасику. Не доходя шагов несколько, он остановился и показал на две роскошные липы перед самым входом в пасику и сказал:

— Эти два дерева привез я из архиерейского гаю, что в Андрушах, в тот самый год, как вы были найдены на моем хуторе, и посадил на память той великой радости. Смотри, какие они теперь широкие и высокие и какой роскошный цвет дают. Вас же с братом не судил мне Господь на старости лет видеть такими же одинаково прекрасными, как эти липы. Брат твой оскорбил благородную природу человека. Он поругал все на земле святое в лице вашей нежнейшей, хотя и не родной, матери, а моей доброй жены. Меня он мог забыть: я человек суровый и не люблю излишних нежностей с детьми. Но она, она, моя бедная великомученица, она глаз с него не спускала. И теперь что же? Пятый год хоть бы какую-нибудь весточку о себе подал. Как в воду канул. А она, бедная, день и ночь за него молится и плачет. Правда, я сам виноват... Но это было ее желание, чтобы видеть его офицером, а не благородным человеком. Жни, что посеяла. — И они тихо вошли в пасику, сели под липою, и Никифор Федорович продолжал: — Да, тяжело, Ватя, очень тяжело кончать дни

свои и не видеть своих надежд осуществившихся. Ты, Ватя, едешь теперь в такую далекую страну, которой у нас и по слухам не знают. Пиши нам со старухой. Не ленись, опи-сывай все, что увидишь и что с тобой ни случится. Пиши все. Это для нас, почти отчужденных стариков, будет и ново, и поучительно. А если встретятся тебе нужды какие в чужой далекой стороне, пиши ко мне, как в ломбард, из которого выслали [бы] тебе твои собственные деньги. У меня для тебя всегда найдется четверик-другой карбованцев. А пока вот тебе 300 их, таких самых, как и Зосе послала моя старуха. Дорога далека, а дорога любит гроши. — И он подал пачку ассигнаций.

Савватий отказался от денег, говоря, что для дороги у него есть прогоны и треть жалованья, а на месте если нужны ему будут деньги, то он напишет, что в дороге лишние деньги — лишняя тяжесть.

— Ну, как знаешь. Тебя учить нечего. Кто не нуждается в деньгах, тот богаче богатого. Теперь я тебе, Ватя, все ска-зал, что у меня было на сердце. И еще раз прошу: не забывай нас, стариков, особенно ее. Она, бедная, совершенно убита молчанием Зоси.

После этого старик отправился отдохнуть по обыкнове-нию под навес, а Савватий взял «Энеиду» Котляревского и прочитал несколько страниц вполголоса, как бы убаюки-вая старика. Увидя, что монотонное чтение произвело же-лаемое действие, он закрыл книгу, встал и тихо вышел из пасики. И до самого вечера бродил вокруг хутора, туманно размышляя о своей одинокой будущности.

Вечеру, когда собрались все на ганку, пришел и он. И после нескольких слов, сказанных почти наобум, он как бы вспомнил что-то важное и, обратясь к Никифору Федорови-чу, сказал:

— Мне давно хотелось посмотреть на вашу скрипку, да все забываю, а вы как-то говорили, что это скрипка доро-гая.

— Да таки и очень дорогая, и тем более дорогая, что на ней играл благодетель мой, покойный отец Григорий. И мне завещал ее по смерти.

— Позвольте мне хоть взглянуть на нее.

— Взгляни, пожалуй, да что ты в ней увидишь?

— А может быть, и увижу. — И с этим словом он пошел в комнату Никифора Федоровича, вынул из ящика скрипку,

попробовал струны и, выйдя в большую светлицу, заиграл — сначала мелодию, а потом вариации Лепинского¹⁷³ на известную червонорусскую песню:

Чи я така уродылась,
Чи без доли охрестылась?¹⁷⁴

.....

Эффект был совершенный. Минуты две сидели слушатели молча, как бы очарованные. Первый вскочил со скамьи Никифор Федорович, вбежал в светлицу, со слезами обнял виртуоза и проговорил:

— Сыну мой, радость моя! Надеждо моя золотая. Когда ты, где ты выучился на скрипке играть эту божественную песню?

Савватий рассказал ему, что он случайно встретил в Киеве, по правде сказать, на Крестах, нищего старика-скрипача, «так играющего, что у меня волосы дыбом становились. Я познакомился с ним, просил его заходить ко мне, и он выучил меня не только играть на скрипке, но чувствовать и понимать музыку».

— Напиши в Киев, чтобы приехал ко мне этот божий человек. Я все ему отдам и даже мою пасику.

— Его уже нет между живыми. Я сам его на своих плечах вынес на Скавицу¹⁷⁵.

— Благодарю тебя, чадо мое единое, что покрыл ты землею прах великого человека. Вот что, — продолжал он с расстановкою. — Долго я думал, кому я оставлю, кому я завещаю мое дорогое наследие, мою скрипку, гусли и книги. Думал было, грешный, в гроб положить с собою, потому что не видел вокруг себя человека, достойного владеть таким добром. А теперь я человека вижу такого, и человек этот ты, моя золотая надеждо. Возьми же скрипку себе теперь. А книги и гусли наследуй мне вместе со всем добром моим, а пока пускай они улаждают нашу одинокую старость.

И он подошел к гуслиам, раскрыл их, попробовал струны и, расправивши обеими руками свою густую широкую серебряную бороду (он уже три года ее носит), как некий Оссиан¹⁷⁶, ударил по струнам —

И вещи зарокотали¹⁷⁷.

После прелюдии запел он своим старческим, дребезжащим, но вдохновенным голосом; к нему присоединил свой свежий тенор Савватий, и они пели:

У степу могла
З витром говорила:
Повий, витре буйнесенький,
Щоб я не чорнила¹⁷⁸.

.....

Карл Осипович, уже на что тугой на слезы, и тот не вытерпел, вышел из светлицы, вынимая из кармана платок. А когда запели они:

Летить орел через море:
Ой дай, море, пыты!
Тяжко, важко сыротыни
На чужини житы...¹⁷⁹ —

так Карл Осипович уже и в светлицу не мог войти, так и остался на ганку до того часу, пока не сел в свою беду и не уехал в город.

На другой день к обеду было приглашено покровское и благовещенское духовенство. Сначала сам протоиерей прочитал акафист Пресвятой Богородице¹⁸⁰, причем Степан Мартынович с своими школярами хором пели «О всепетая мати». Потом соборне служили молебен, а Степан Мартынович, облачась во стихарь, читал «Апостола». По окончании молебна пропето хором было «Многолетие»¹⁸¹ трижды.

Духовенство трапезовало в светлице, а школярам подан был обед на досках на дворе. А после обеда сама Прасковья Тарасовна выдала им по кнышу, по стильныку меду и по пятаку деньгами.

А к вечеру Савватий Никифорович переменял лошадей на первой станции, и, к немалому его удивлению, увидел он при перекладке вещей кадушку с медом и мешок яблок.

В Полтаве зашел он поклониться домику покойного Ивана Петровича¹⁸². Его встретил молодой, довольно неуклюжий человек и слепая Гапка. Отслужил панихиду в домике за упокой души своего благодетеля и, грустный, выехал он из Полтавы, благословляя память доброго человека.

Объехавши собор, спустился он с горы и как раз против темной трехглавой деревянной церкви, Мартыном Пушкарем¹⁸³ построенной, остановил он почтаря и долго смотрел не на памятник 17 века, а на противоположную сторону улицы, на беленькую, осененную зеленым садиком хатку. Прохожие думали, что он просил напиток, [а] ему долго не выносят. Хатка ему показалась пустою, и он хотел уже

сказать почтарю «пошел», как вдруг в разбитом окне хатки показалась молодица с ребенком на руках. Он вздрогнул и едва проговорил, глядя на молодицу:

— Можна зайты?

— Можна, — ответила молодица, и он соскочил с телеги, перешагнув перелаз и очутился в хатке.

— Здравствуй, Насте! Узнала ли ты меня?

— Ни. — И сама вспыхнула и вздрогнула.

Долго и грустно смотрел [он] на ее прекрасную и грациозно опущенную на грудь голову. Она тоже молчала. Если бы не шевелившиеся на груди складки белой сорочки, то ее можно бы принять за окаменелую. Мгновенный румянец сменился бледностью, и белокурый ребенок казался играющим на плечах мраморной Пенелопы¹⁸⁴. Савватий взял ее за руку и проговорил:

— Так ты мене и не узнала, Насте?

— Узнала... Я на дворе еще узнала, да только так... стыдно было сказать, — говорила она, и из карих прекрасных ее очей выкатывались медленно крупные слезы. Ребенок протягивал ручку к Савватию и лепетал:

— Тату! тату!

— Я еду далеко, Насте, и заехал к тебе проститься.

— Спасыби вам, — проговорила она шепотом.

— Прощай же, моя Настусю! — И он поцеловал ее в щеку и быстро вышел на улицу, сел в телегу и уехал.

Настя долго стояла на одном месте и только шептала:

— Прощайте, прощайте! — И, взглянув на ребенка, горько-горько заплакала.

Переехавши мост на Ворскле, Савватий обернулся лицом к Полтаве и, казалось, искал глазами беленькой хатки, давно уже спрятавшейся в зелени.

— Уже и не видно ей, — проговорил он тихо и стал смотреть на окунувшуюся в зелени Полтаву.

Долго смотрел на домик, лепившийся на горе около собора, и на каменную башенку, Бог знает для чего поставленную против заветного домика на другой стороне оврага. Многие напомнила эта полуразрушенная башенка моему грустному герою. Он, глядя на нее, вспоминал то время, когда он по воскресеньям приходил из гимназии и часто прятался в ней, играя в жмурки с резвою белокурою внучкой Гапки Настусею, теперь матерью такого прекрасного белокурого ребенка, как сама была когда-то.

Хороша была тринадцатилетняя Настуся, очень хороша, особенно по воскресеньям, когда приходила она к своей бабушке на целый день гостить. Повяжет, бывало, на головку красную ленту, натывает за ленту разных цветов, а коли черешни поспели, то и черешень, и чуть свет бежит к бабушке. Сядет себе, как взрослая, под хатую и задумается. О чем же могло бы задумываться тринадцатилетнее дитя? А оно задумывалось о том, что скоро ли паньчи встанут и пойдут, и она пойдет с ними. «А как выйдут из церквы та пообедают, и начнем играть в жмурки, я спрячуся у той коморке, что на горе. А Ватя прибежит, да и найдет меня». При этом она краснела краснее своей ленты, цветов и черешень и, забывшись, вскрикивала:

— Ах!

— Чого ты там ахаш? — спрашивала Гапка, высунувши голову в окно.

— Жаба, бабо.

— Вона не кусае, тилько як на ногу скочить, то борóдавка буде. Иды в хату: ты змерзла!

— Ни, бабо, я не змерзла. — И она оставалась под хатую и снова задумывалась.

Вате минуло уже шестнадцать, а Настусе пятнадцать лет, когда, бывало, спрячутся они от Зоси куда-нибудь в бурьян или убегут аж за Ворскло, насобирают разных-разных цветов и сядут под дубом. Ватя сплетет веночек из цветов, положит его на головку Настуси и смотрит на нее целый день до самого вечера. Потом возьмутся себе за руки и придут домой, и никто их не спросит, где были и что делали. Зося разве иногда скажет: «Ишь, убежали, а меня не взяли с собою!» Прошел еще год, и детская любовь приняла уже характер не детский. Уже Настуся была стройная, прекрасная шестнадцатилетняя девушка, а Ватя 17-летний красавец юноша. Он долго уже по ночам не мог заснуть, Настуся тоже. Она под горою, у себя в садике, до полуночи пела:

Зийшла зоря извечора,

Не назорилася¹⁸⁵.

.....

А он, стоя на горе, до полуночи слушал, как пела Настуся.

Вскоре началось трепетное пожимание рук, поцелуи на лету и продолжительное вечернее стояние под вербою.

Правда, что эти свидания оканчивались только продолжительным поцелуем. Ватя в этом отношении был настоящий рыцарь... Но сатана силен, и Бог знает, чем бы могли кончиться ночные стояния под вербою, если бы Ватя не сдал отлично своего экзамена и скоростижно не уехал в Киев.

То была его первая и, можно сказать, последняя любовь.

В Киеве, бывало, гуляя перед вечером в саду по большой аллее, встретит он красавицу — так холодом и обдаст его, и он, ошеломленный, долго стоял на одном месте и смотрел на мелькавшую в толпе красавицу и, придя в себя, шептал: «Не пара». И отводил глаза на освещенную заходящим солнцем панораму старого Киева. Потом спускался вниз по террасе и выходил на Крещатик. Приходил домой, зажигал свечу и садился за какую-нибудь энциклопедию и окунал в чернила вместе с пером и светлый пламенник своей одинокой юности.

У Зоси точно так же рано проснулась эта страстишка к Олимпиаде Карловне, уже взрослой дочери инспектора, и точно так же была прервана внезапным его отъездом в дворянский полк. Но когда он, стройный, прекрасный юноша, надел гвардейский мундир, он вдруг почувствовал в себе таинственную силу магнита для прекрасных очей. И он не останавливался в священном трепете при виде женской красоты, а прекрасные его глаза покрывались мутною влагою или горели огнем бешеного тигренка, и он, была ли то девушка или замужняя женщина, не задавал себе вопроса, с какою целью, а просто начинал ухаживать, и почти всегда с успехом. Он настоящий был донжуан с зародышами еще кое-каких мерзящих человека страстишек.

По прибытии в Астрахань он в скором времени между морскими и гарнизонными офицерами прослыл хватом на все руки, т. е. плутом на все руки, но в военном словаре это тривиальное слово заменено словом «хват».

Прибывши в Астрахань, он спрятал свою Якилыну вместе с сыном в грязном переулке на Свистуне. А себе нанял квартиру в городе и уверил ее, что этого служба требует. А она, простосердечная, и поверила. Один только баталионный командир да его адъютант знали из формуляра, что он женатый, да еще — и то только догадывался — квартальный, потому что во вверенном ему квартале жила штабс-капитанша Сокирина. Прочая же астраханская публика и не догадывалась. А маменьки так даже смотрели на него как на приличную партию своим

уже позеленевшим Катенькам и Сашенькам. Но он смотрел на все это сквозь пальцы и неистово гнул на пе¹⁸⁶. Еще неистовее пил голяком ром. А на чихирь¹⁸⁷ и смотреть не хотел, называя его армянским квасом. Ко всему этому он с необыкновенным успехом являл свою, можно сказать, гениальную способность делать и не платить долги, за что нередко его величали не Ноздревым (астраханской просвещенной публике еще не казались «Мертвые души»), а называли его просто шерамыжником, за что он несколько не был в претензии. Счастливый темперамент! Или, лучше сказать, до чего может усовершенствовать себя человек в кругу порядочных людей!

По воскресеньям и по праздникам начал он прилежно посещать армянскую церковь и загородные армянские гульбища, где не замедлил приобрести себе не одного матаха¹⁸⁸, особенно между молодыми сынами богатых и старых отцов, и где после бесчисленных якшиолов¹⁸⁹ и являлись картишки, и начиналася потеха, кончавшаяся почти всегда дракой, так что нередко он возвращался в город с поврежденным портретом. И после этой только неудавшейся спекуляции навещал он свою бедную Якилыну, уверяя ее, что он хотел купить для нее туркменского аргамака¹⁹⁰, привезенного из Новоп[етровского] ук[репления]¹⁹¹, сел попробовать, и вот что сделалось. Та, разумеется, верила. А он себе рапортовался больным и в ожидании, пока портрет примет настоящий вид, подрезывал на досуге карты, чему Якилына также дивилася немало. С окончанием портрета и с подрезанными картами он исчезал и в скором времени являлся опять портрет чинить. И на сей раз уверял Якилыну, что хотел для нее купить у купца NN. вятскую тройку, и вот что наделала проклятая тройка. История с портретом повторялася довольно часто, так что и простодушная Якилына начала подозревать что-то нехорошее.

Зимой 1847 [г.] не являлся он месяца три к Якилыне с поврежденным портретом. Она прождала еще месяц — нет, еще месяц — нет, нет и нет. Она уже думала, что, может быть, его кони убили, Боже сохрани, как в одно прекрасное утро явился к ней вестовой с главной гауптвахты и сказал ей, что «его благородие приказали вам, чтобы ваше благородие пожаловали им двугривенный или вещами что-нибудь».

— Какое благородие? — воскликнула она в ужасе.

— Его благородие штабс-капитан Зосим Никифорович.

— Де вин?

Вестовой сначала улыбнулся. Но как сам был мало-россиян[ин], то она без большого труда поняла, в чем дело,

и наскоро причепурилась. Взяла за руку Грыця и сказала вестовому:

— Ходимо.

Бедная, ты положила конец и следствию, и суду, сама того не подозревая. Он содержался на гауптвахте и судился за разные преступления, следствием почти не доказанные, а ты своим явлением все кончила. Ты при всем карауле назвала его своим мужем, тогда как всему городу известно, что он зять армянина NN., и всему городу также известно, что прекрасная армяночка позволила себя похитить и обвенчаться на ней тайно в Черном Яру¹⁹². Что он, как истинный герой романа, и совершил беспрекословно, воспламеняясь не столько прекрасными глазками своей возлюбленной, сколько червончиками ее почтенного родителя. Честолюбивый армянин охотно простил, но насчет прилагательного лаконически сказал: «Че к á»¹⁹³.

«Нехорошо! — подумал мой рыцарь. — Маненько дал маху. Надо будет зайти с другого боку». — И, придя домой, принялся сначала ругать, а потом уговаривать и просить свою армяночку, чтобы она обокрала отца, что для ее же счастья это необходимо сделать, что он, старый скряга, умрет с голоду, а деньги кухарка украдет. Но, несмотря на все доводы о необходимости обокрасть отца, армяночка решительно сказала:

— Че к á.

— А чека, так чека. Я приму свои меры. — И он выгнал свою армяночку из квартиры, снявши с нее салоп и дорогие бусы. За потери и убытки, как сам он выразился.

После этой катастрофы он начал умножать свои мерзости паче всякого описания и дошел, наконец, до того, что его [посадили] на сохранение в гауптвахту.

Пока доказано было законным порядком, что он хват на все руки и вдобавок двоеженец, и пока он находился на сохранении, бедная Якилына ходила в поденщицы обл¹⁹⁴ чистить и ввечеру приносила своему заключенному мужу заработанный гривенничек.

Пока определяется достойное возмездие моему рыцарю, я перенесу мой нехитростный рассказ в неисходимые киргизские степи.

— Отчего же это так премудро, Господи Боже мой милосердый, ты устроил все на свете? Не придумаю, не при-

гадаю! В один день и даже, может быть, и час они узрели свет Божий животворящий, а теперь Зося уже капитанского рангу, а Ватю только вчера из школы выпустили. И не придумаю и не пригадаю, как это воно так все на свете Божиим творится?

В тот самый день, как проводили Ватю из Переяслава, в тот самый день Прасковья Тарасовна задала себе такой вопрос и много дней спустя его себе задавала. Но, не находя в себе самой ответа на свой хитрый вопрос, подумала было сначала обратиться к Никифору Федоровичу, но, подумавши, отдумала. К Карлу Осиповичу разве? И тоже отдумала. «Он немец, — думала она, — так что-нибудь непутное и скажет по своей немецкой натуре. Степан Мартынович разве? Да нет! Он не вразумит меня. А может, и вразумит. Ведь я просто дура. А он по крайней мере книги читал, то, может, что и вычитал. Не знаю, придет ли он ввечеру к нам или нет? Или самой сходить к нему? Так, будто бы пасику посмотреть».

И, повязавши хорошую хустку на голову, а в другую завязавши десяток бубличков, отправилась за Альту.

Проходя мимо школы, она остановилась и послушала, как школяры учатся. А уходя, шепотом говорила:

— Бедные дети! Им бы надо хоть обед когда-нибудь сделать.

Степан Мартынович, увидя в окно свою дорогую посетительницу, выбежал из школы с непокровенною главою, только в белом полотняном халате, и в два прыжка нагнал ее у входа в сад и пасику, сказавши:

— Приветствую вас в нашей палестине...

— Ах, как вы мене перепугали!

— Смиренно прошу [прощения] прогрешений моих, — говорил Степан Мартынович, отворяя калитку в сад.

— А я сегодня сижу себе дома одна как палец. Никифор Федорович в пасике, а Марина огородину поле. Так я сижу себе да й думаю: пойду-ка я посмотрю, что там за сад и за пасика у Степана Мартыновича, да и его таки проведаю. Он что-то нас цурается.

— И подумать [про] меня, Боже сохрани, такое грешное! Да ведь я и вчера, и позавчера, и всякий вечер у вас сижу. Ну, и сегодня зайду, даст Бог управлюсь.

— А я, как не вижу вас целый день, то мне кажется, что целый год.

С этими словами они вошли в курень, или под навес из древесных ветвей и соломы. В курене, на земле сверх соломы, раскинута белое рядно и подушка. То было смиренное ложе Степана Мартыновича. Около ложа стоял глиняный глечик с водою и такой же кухоль. А из-под подушки выглядывал угол неизменной «Энеиды». Прасковья Тарасовна с минуту посмотрела на все это и с участием сказала:

— Прекрасно, все прекрасно, ничего больше и сказать. Только вот что, — сказала она, садясь на лежащий пустой улей. — Зачем вы книгу бросаете в пасике? Ну, Боже сохрани, худого человека: придет да и украдет, а книга-то, сами знаете, дорогая.

— Дорогая, дорогая книга, Прасковья Тарасовна. Она мое единственное назидание, пошли, Господи, царствие твое незлобивой душе нашего благодетеля Ивана Петровича.

— Мы думаем с Никифором Федоровичем, даст Бог дождать, после Семена служить панихиду по Иване Петровиче и обед тоже для нищей братии. Так нельзя ли вам будет с вашими школярами «Со святыми упокой» петь при панихиде?

— Можно, и паче можно.

— Как это у вас все скоро выросло. Смотрите, какая липа, просто прекрасная!

— Да, эта липа будет высокая. Но все-таки не будет такая, как я видел за Днепром около самых ворот Мошнинского монастыря¹⁹⁵. Так на той липе брат вратарь и ложе себе соорудил на случай от мух прятаться.

— Да, я думаю, там, за Днепром, все такие липы?

— Нет, не все, есть и меньшей меры.

— А не читали ли вы в какой-нибудь книге о такой притче, какая теперь случилась с нашими Зосей и Ватей? — И рассказала ему свои недоразумения насчет карьеры Зоси и Вати и прибавила: — Я думаю, что Зося генералом будет, а бедный Ватя и капитанского рангу не опануе! Отчего это, не знаете, не читали?

— Не знаю, не читал, — с минуту подумавши, ответил Степан Мартынович и, еще минуту спустя, прибавил: — Думаю, об этом пространно есть писано у Ефрема Сирина¹⁹⁶. Или же у Юстина Философа¹⁹⁷. Но у Тита Ливия нет.

— Оставайтесь здоровы, — сказала Прасковья Тарасовна, быстро поднявшись с улья. — Вот я вам гостинчика при-

несла, да заговорила с вами и забыла. — Говоря это, она торопливо вывязывала бублички из хустки.

— Минуточку б подождали, я достал бы вам своего медку стильнычок.

— Благодарствую, другим разом, — уже за калиткою проговорила Прасковья Тарасовна, а Степан Мартынович намеревался еще только приподыгать правую ногу, чтобы проводить ее хоть до Альты.

В продолжение свидания в пасике школа как будто опустела и стояла себе, как самая обыкновенная хата. В это непродолжительное время школяры переговаривались между собою шепотом о собственных интересах, но когда часовой школяр проговорил: «Двери ада разверзаются» — значит, в пасике калитка отворяется, — то при этом возгласе все разом загудели, как будто испуганный рой пчел. Прасковья Тарасовна, проходя мимо школы, уже не останавливалась, а на ходу проговорила: «Бедные дети! Как они прекрасно читают. А он, я думаю, их, бедных, еще бьет — настоящий вовкулака».

— Если не удалось проводить до Альты, то хоть човен придержу, пока она сядет в него, и перепихну на другой берег, — так говорил про себя Степан Мартынович, выходя из пасики. Но, увы! его кавалерскому намерению не суждено [было] исполниться. Прасковья Тарасовна не рассчитывала на такую неслыханную вежливость, прыгнула в челн, как приднепрянский рыбак, махнула веслом, и челн уперся уже о другой [берег] речки. Степан Мартынович только успел ахнуть и больше ничего.

Подходя к дому, Прасковья Тарасовна заметила беду Карла Осиповича и лошадь почти в мыле, а когда у такого хорошего хозяина, каков Карл Осипович, лошадь в поту, то это значит, что что-нибудь да не так. Только что она успела подумать это, как увидела из пасики скоро идущего Никифора Федоровича — только борода белая ветром развеивается, а Карл Осипович за ним в своем синем фраке с металлическими и без всякого изображения пуговицами. Завидя свою Парасковию, Никифор Федорович вскрикнул обрадованно:

— Параско! — И при этом поднял правую руку, и она ясно увидела письмо в руке и тоже вскрикнула:

— От которого?

— От Вати. Из самого Оренбурга!

Прасковья Тарасовна на минуту как бы онемела, а Карл Осипович, поздоровавшись, спросил, ни к кому собственно с вопросом не обращаясь:

— Что, месяца два будет, как выехал?

— На Пречисту буде сим недиль! — ответила Прасковья Тарасовна.

— Скоренько, право, скоренько, — говорил он скороговоркою. — Я не думал так скоро. Хорошо, очень хорошо! — И все они взошли на крыльцо. Никифор Федорович пошел к себе в комнату за окулярами и тут же послал Марину за Степаном Мартыновичем:

— Чтоб шел, скажи, скорее письмо читать. От Вати, скажи, получили!

Не успел он протереть в очках стекла и выйти на ганок, как Степан Мартынович уже переправлялся через Альту. Удивительная быстрота!

Когда все уселись по своим местам, Никифор Федорович вооружил свои старые очки окулярами, вскрыл письмо, развернул его и, легонько прокашлявшись, начал читать:

«Мои незабвенные, мои дражайшие родители!»

Голос Никифора Федоровича задрожал, и он стал жаловаться, что очки его совершенно ослабели или просто запылились, так что письмо читать нельзя, почему он и передал его Карлу Осиповичу, прося прочесть неторопко. Карл Осипович в свою очередь вооружился очками и, вместо того чтобы кашлянуть, он понюхал табуку и начал:

— «Мои незабвенные, мои дражайшие родители!»

Никифор Федорович затаил дыхание, а Прасковья Тарасовна превратилась вся в слух и даже слез не утирала. Карл Осипович продолжал:

«Целую заочно ваши добродетельные руки и молю Бога-жизнедавца, да продлит он вашу драгоценную для меня жизнь. В продолжение дороги и здесь на месте я постоянно, слава Богу, пользуюсь хорошим здоровьем, только все еще как-то чудно, ни к кому и ни к чему еще не присмотрелся. Еще и недели не прошло со дня пребывания моего здесь. Простите мне великодушно, мои незабвенные родители: я хотел было писать вам на другой же день, но за хлопотами никак не успел. Нужно было явиться по начальству, то то, то се, так неделя и пролетела. Теперь же я, слава Богу, поуспокоился, нанял себе маленькую, о двух комнатах, квартиру, как раз против госпиталя, в Старой Слободке¹⁹⁸. Вчера я был дежурным, а се-

годня совершенно свободный день, и, чтоб не потратить его всуе, я взялся за перо и думал описать вам мимолетное мое путешествие, но как подумал хорошенько, то оказалось, что и писать нечего, что все пространство, промелькнувшее перед моими глазами, теперь так же само и в памяти моей мелькает, ни одной черты не могу схватить хорошенько. Смутно только припоминаю то неприятное впечатление, которое произвели на меня заволжские степи. Переправясь через Волгу, я в Самаре¹⁹⁹ только пообедал и сейчас же выехал. И после волжских прекрасных берегов передо мною раскрылась степь, настоящая калмыцкая степь. Первая станция от Самары была для меня тяжела, вторая легче, и глаза мои начали осваиваться с бесконечными равнинами.

Первые три переезда показывались еще кое-где вдали неправильными рядами темные кустарники в степи, по берегам речки Сакмары²⁰⁰. Наконец, и те исчезли. Пусто, хоть шаром покати. Только — и то местах в трех — я видел: над большой дорогой строятся новые переселенцы, а около их багажа шляются в четырехугольных красных шапочках, наподобие кучерских, безобразные калмычки с грудными детьми на плечах, совершенно цыганки, только что не ворожат. Проехавши город Бузулук²⁰¹, начинают на горизонте в тумане показываться плоские возвышенности Общего Сырта²⁰². И, любуясь этим величественным горизонтом, [я] незаметно въехал в Татищеву крепость²⁰³. Я отдал подорожную смотрителю, а сам остался на улице, и, пока переменяли лошадей, я припоминал «Капитанскую дочку», и мне как живой представился грозный Пугач в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне. Совершенно наш старинный палач. Солнце только что закатилось, когда я переправился через Сакмару, и первое, что я увидел вдали, это было еще розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание называется здесь караван-сарай, недавно воздвигнутое по рисунку А. Брюллова²⁰⁴. Проехавши караван-сарай, мне открылся город, то есть земляной высокий вал, одетый красноватым камнем, и неуклюжие сакмарские ворота²⁰⁵, в [которые] я и въехал в Оренбург.

На мой взгляд, в физиономии Оренбурга есть что-то антипатичное, но наружность иногда обманчива бывает. И я лучше сделаю, если не буду вам писать о нем, пока к нему не присмотрюся. Я намерен вести здесь дневник и посылать к вам по листочку каждую неделю; вы и будете видеть меня как бы перед

собою, прочитывая мои листочки. А пока простите меня, что я не пишу вам о себе подробнее. Поклонитесь Карлу Осиповичу и скажите Степану Мартыновичу, что я люблю его великую душу всем сердцем моим и всем помышлением моим. Целую ваши благодатные руки, мои незабвенные, мои бесценные родители. Не забывайте вечно любящего вас сына Ватю».

Прочитавши письмо, Карл Осипович бережно сложил и, подавая его Никифору Федоровичу, проговорил:

— Прекрасный молодой человек!

А тот принял молча письмо, поцеловал его, положил в лежащую на столе летопись Конисского и молча сошел с крылечка. Прасковья Тарасовна молилась Богу и плакала. А Степан Мартынович, глубоко вздохнувши, призадумался. И, надумавшись досыта, встал со скамьи и мигнул глазом Карлу Осиповичу, давая знать, что он что-то важное выдумал. А, отведши его в сторону, говорил ему шепотом:

— Я по себе знаю, как я странствовал в Полтаву, как трудно на чужой стороне без грошей. А он теперь, я добре знаю, что нуждается. А что он не просит, то это ничего. Я прошлого года продал немно[го] воску и меду московским купцам. Школа меня кормит и одевает, а деньги гниют, как талант, в землю зарытый. Пошлю я ему мое достояние. Как вы скажете, послать?

— Нет, подождите, — говорил тоже шепотом Карл Осипович. — Если у вас есть лежащие деньги, то на них можно найти лучшую дырочку.

Они расстались.

Переправившись через Альту, Степан Мартынович не пошел в школу, чтобы школяры не помешали ему думать, какую дырочку нашел Карл Осипович его деньгам. Думал он лежа, и сидя, и стоя в своей пасике до самого вечера. И все-таки не мог придумать, что бы это за дырочка могла быть. Дело в том, что Карл Осипович получил из Астрахани два письма в одном конверте: одно на свое имя, а другое на имя сотника Сокиры, если он жив еще, или же на имя Прасковьи Тарасовны.

Зося в письме своем Карлу Осиповичу описывал в общих выражениях свое горестное положение и просил, если старики здравствуют, то чтобы он улучил добрый час, вручил бы им письмо и сам ходатайствовал о добром их к нему расположении, то есть просил бы о присылке денег. В случае же отказа он просто в петлю полезет.

Карл Осипович хорошо знал, что письмо Зоси не понравится Никифору Федоровичу, и потому раздумал его даже и показывать ему, а решил прочитать его одной Прасковье Тарасовне и Степану Мартыновичу и общими силами сложиться и послать на выручку бедному Зосе. На эту-то дырочку и намекал он недогадливому Степану Мартыновичу.

Случай не замедлил представиться прочитать письмо Зоси наедине, именно, когда Никифор Федорович по обыкновению отдыхал в пасике после обеда. Письмо было такого нехитрого содержания:

«Великодушные мои родители!

Четыре года я находился в плену у немилосердых горцев и, наконец, щедротами великодушных людей освобожден из оногo и теперь нахожусь в г. Астрахани в крайнем положении. По случаю расстроенного на службе здоровья, я хлопочу теперь себе отставку хоть с третью жалованья. А пока не оставьте вашего покорного сына, пришлите мне хоть сто рублей пока, за что буду вам вечно благодарен. Остаюся ваш несчастный сын Зосим Сокирин. Карл Осипович знает мой адрес».

Прасковья Тарасовна не дослушала письма, ахнула и грохнулась на пол. Карл Осипович засуетился около, а педагог мой тоже ахнул при виде сей трагедии, да так и остался с разинутым ртом до тех пор, пока не очнулась Прасковья Тарасовна. Простак, он совершенно незнаком был с сими женскими слабостями. Придя в себя, Прасковья Тарасовна воскликнула:

— Зосю мой, дитя мое! — и снова упала без чувств.

Педагог начал было делать проект на улыбку, но не успел и остался при прежнем выражении. Прасковья Тарасовна снова пришла в себя и попросила воды, прошептала что-то и зарыдала, бедная, как малое дитя. К этому времени Никифор Федорович, отдохнувши в пасике, пришел в светлицу, чтобы попросить напиться у Прасковьи Тарасовны яблочного кваску, который они на прошлой неделе только почали. Но, увидя сидящую на полу и неутешно рыдающую свою Прасковию, спросил у предстоящих о причине такого горького рыдания. Карл Осипович рассказал ему несколькими словами содержание всей трагедии и подал ему роковое письмо, а тот, вооружившись очками, медленно и внима-

тельно прочитал его и так же медленно сложил и, подавая Карлу Осиповичу, сказал: «Бреше!», — но так тихо, что Прасковья Тарасовна не могла слышать. Карл Осипович был почти такого же мнения, тем более, что Зося в письме своем к нему ни слова не говорит о своем плене у бесчеловечных горцев. Но на сей раз не высказал своего мнения, а только почесал нос и понюхал табаку. «Неужли он, доннер-веттер²⁰⁶, вздумал употребить его, почтенного старца, орудием своей гнусной лжи?» — так или почти так думал простодушный добряк.

Между тем Прасковья Тарасовна начала понемногу утихать и уже не плакала, а только всхлипывала. Окружающие, как могли, утешали ее. А чтоб совершенно ее успокоить, Никифор Федорович вынул из своей шкатулы стокарбованную ассигнацию и вручил ее неутешной своей Прасковии, сказавши:

— На, пошли ему.

— Мой голубе сизый, — говорила Прасковья Тарасовна, принимая деньги, — напиши ты ему хоть одно слово, обрадуй ты его, бесталанного!

— Пиши сама.

— Да как же я буду писать, коли я и писать не умею?

— Как хочешь, а я писать не буду.

— Разве вы, Карл Осипович, напишете?

— Попросите вот Степана Мартыновича, пускай они напишут: у меня нехороший почерк.

— Вы его учитель, Степан Мартынович. Напишите, голубчику, хоть единое словечко, я за тебе денно и ночью буду Богу молиться и пистри на халат возьму, а то вы все в полотноному ходите.

Степан Мартынович изъявил согласие писать. А Никифор Федорович достал из той же шкатулы перо, чернильницу и бумагу и, положив все это на стол, вышел из светлицы вместе с Карлом Осиповичем.

Оставшись вдвоем в светлице, Степан Мартынович сел за стол, положил перед собою бумагу, взял перо в руку и принял такую позу, какую обыкновенно дают живописцы сочинителям, когда изображают их бессмертные лики, осененные сапфирными крылами гения творчества. Принявши такую позу, он просил диктовать. Прасковья Тарасовна села тоже за стол против писателя и бессознательно приняла позу самой скорбной матери.

— Пишите так, — сквозь слезы проговорила она. — «Зосю мой, дитя мое единое!»

Степан Мартынович долго, долго думал и, наконец, написал:

«Единственный сын мой, милостивый государь Зосим Никифорович!»

Он очень хорошо знал, что неприлично писать такие слова, какие будет говорить неграмотная баба. Написавши титул, он спросил, что писать далее.

— Далее пишите так: «Орле мой, Зосю! Посылаю тебе сто карбованцев».

Он, разумеется, и эту, и все последующие фразы писал по-своему. Письмо вышло довольно оригинальное и нельзя сказать краткое, потому что оно кончилось тогда только, когда исписан был весь лист кругом, а другого листа боялася просить Прасковья Тарасовна у Никифора Федоровича.

Когда громогласно и не борзяся было прочитано письмо, то Прасковья Тарасовна подумала: «А я-то, дура, мелю себе, что на язык попало, а вот оно как надобно было говорить». И она посмотрела на писателя с благоговением.

К вечеру было все кончено, письмо и деньги были вручены Карлу Осиповичу с просьбою подать назавтра же на почту. Карл Осипович, принявши комиссию сию, простился с хозяевами и, сядя в свою беду, подозвал к себе Степана Мартыновича и сказал ему на ухо:

— Ваши рубли свободны: дырочка заткнута.

Хлыснул своего буланого и был таков. А Степан Мартынович побрел в свою школу, недоумевая, что это за дырочка проклятая. А хитрый немец не хочет объясниться просто.

Деньги были получены в Астрахани как нельзя более кстати, потому что бедная Якилына занемогла лихорадкою и лежала в городской больнице, следовательно, дневное пропитание для моего героя прекратилось. И вдруг как манна с неба упала. Ему выдавали, как арестанту, понемногу. Но и за этим немногим стали втихомолку наведываться товарищи и прорицали ему, не как прежде — хламиду поругания²⁰⁷, но совершенную свободу и полное удовлетворение. Этого уж он и сам не понимал. Под словом «совершенная свобода» он разумел волчий паспорт²⁰⁸. Но «полное удовлетворение»? Как ни бился, а не мог разжевать.

Через месяц после этого происшествия хуторяне мои были обрадованы первым недельным листком, полученным из Оренбурга. Ватя назвал свой недельный дневник, в подражание своему благодетелю Ивану Петровичу Котляревскому, «Оренбургская муха». Хуторяне мои его так же называли, например: «К нам прилетела “Оренбургская муха”», или «Мы ожидаем “Оренбургскую муху”» и т. д. Покойного Котляревского «Полтавская муха» была настоящая пчела, а это было только невинное подражание в одном названии. Эта муха ни на какую пошлость или низость людскую не [на]падала, подобно полтавской; это было просто описание вседневной, прозаической жизни честного и скромного молодого человека. А для хуторян моих это было выше всякой поэзии. Прочитывая недельный отчет своего милого Вати, они с любовью следили каждое его движение. Они видят его, как он идет по большой улице и ему встречаются эполеты да каски, каски да эполеты, козаки да солдаты, солдаты да козаки, даже бабы ходят по улице в солдатских шинелях, чего он не видал даже на красныце²⁰⁹ в Киеве. Или видят его, как он сидит на горе и смотрит на Урал, и на рощу за Уралом, и за рощей на меновой двор, а за двором степь и степь, хоть и не смотри, далее ничего не увидишь, а он все смотрит да о чем-то думает. И видят его, как он, скучный, возвращается к себе на квартиру, молится Богу и ложится спать. А завтра рано встает, надевает мундир, идет дежурить в госпиталь. Все, совершенно все видят. Даже и то, как ему делает словесный выговор главный доктор за то, что у него на мундире одна пуговица расстегнулась, причем Прасковья Тарасовна говорила, что у этих главных хоть ангелом будь, а все-таки без выговору не обойдется.

«Оренбургская муха» исправно являлась на хутор каждую неделю. И чем далее, тем однообразнее. Наконец, до того дошло, что все дни недели были похожи точь-в-точь на понедельник; воскресенье только и отличалось от понедельника тем (если не был дежурным), что был в обедне. Старики с наслаждением читали «Муху», никак не подозревая ее убийственного однообразного содержания.

Наконец, дошло до того, что он открыто начал жаловаться на скуку и однообразие. «Хоть бы на гауптвахту хоть раз посадили для разнообразия, — писал он, — а то и того нет». На оренбургское общество смотрел он как-то неприязненно,

а дам высшего полета называл просто безграмотными кокетками. Словом, он начинал хандрить. Отправляясь в Оренбургский край, он думал было на досуге приготовить защищать диссертацию на степень доктора медицины и хирургии. Но вскоре им овладела такая тоска, что он готов был забыть и то, что знал, а о обширнейших знаниях и думать было нечего.

Более полутора года длился для него этот нравственный застой. Один вид Оренбурга наводил на него сон. Думал было он просить перевода, ссылаясь на климат, но от основания Оренбурга не было еще человека, который бы жаловался на его климат. Климат отличнейший, хотя лук и прочие огородные овощи и не родятся. Но это, я думаю, больше оттого, что все это добро из Уфы получают, для кого оно необходимо. А до Уфы, заметьте, не более, не менее как 500 верст. Однажды он, скуки ради, посетил Каргалу²¹⁰. «Все же таки, — думал он, — село, следовательно, не без зелени». И представьте его разочарование: дома, ворота да мечети. А зелени только и есть, что крапивы кусточки под забором, а вонь такая, что он не мог и чаю напитокся. «Вот тебе и село! Ну, это не диво. Сказано — татарин: ему был бы кумыс да кусок сдохлой кобылятины, он и счастлив. Поедем в другую сторону». Поехал он в Неженку²¹¹. Это будет по Орской дороге. Что же? И там дома да ворота, только мечетей не видно. Зато не видно и церкви. Но как день был июльский, жаркий, то он поневоле должен был изменить проект, плюнуть и возвратиться вспять, дивясь бывшему. Постучал он в тесовые ворота, ему отворила их довольно недурная собою молодка, но удивительно заспанная и грязная, несмотря на день воскресный.

— Можно у вас остановиться отдохнуть на полчаса? — спросил он.

— Мозно, для ца не мозно! — сказала она протяжно.

Он взошел на двор и хотел было в избу зайти, на него из дверей пахло такой тухлятиной, что он только нос заткнул. На дворе расположиться совершенно было негде. Велел он своему вознице раскинуть кошомку под телегою на улице и прилег помечтать о блаженстве сельской жизни, пока лошади вздохнут. А между тем вышла к нему на улицу та самая заспанная грязная молодка и, щелкая арбузные семечки, смотрела... или, лучше сказать, ни на что не смотрела. Он повел к ней такую речь:

— А как бы ты мне, моя красавица, состряпала чего-нибудь перекусить?

— Да рази я стряпка какая?

— Ну, хоть уху, например. Ведь у вас Урал под носом, чай, рыбы пропасть?

— Нетути. Мы ефтим не занимаемся.

— Чем же вы занимаетесь?

— Бакци сеем.

— Ну, так сорви мне пару огурчиков.

— Нетути. Мы только арбузы сеем.

— Ну, а еще что сеете? Лук, например?

— Нетути. Мы лук из городу́ покупаем!

«Вот те на! — подумал он. — Деревня из города зеленью довольствуется».

— Что же вы еще делаете?

— Калаци стряпаем и квас творим.

— А едите что?

— Калаци с квасом, покаместь бакца поспееть.

— А потом бакчу?

— Бакцу.

— Умеренны, нечего сказать. — И он замолчал, размышляя о том, как немного нужно, чтобы сделать человека похожим на скота. А какая благодатная земля! Какие роскошные луга и за-тоны уральские! И что же? Поселяне из городу лук получают и... И он не додумал этой тирады; извозчик прервал ее, сказавши:

— Лошади, барин, отдохнули.

— А, хорошо. Закладывай, поедем.

И пока извозчик затягивал супони, он уже сидел на телеге. Через минуту только пыль взвилася и, расстилаясь по улице, заслонила и ворота, и стоящую у ворот молодку.

С тех пор он не выезжал уже из Оренбурга аж до тех пор, пока ему в одно прекрасное апрельское утро не объявили, что он командирован с транспортом на Раим²¹².

О, как живописно описал он это апрельское утро в своем дневнике! Он живо изобразил в нем и не виданную им киргизскую степь, уподобляя ее Сахаре, и патриархальную жизнь ее обитателей, и баранту²¹³, и похищения. Словом, все, что было им прочитано: от «П[етра] И[вановича] Выжигина»²¹⁴ даже до «Четырех стран света»²¹⁵, решительно все припомнил.

Отправивши субботний учетверенный листок на почту, явился куда следует по службе, и на другой день поутру у Орских ворот ефрейтор скороговоркою спрашивал:

— Позвольте узнать чин и фамилию и куда изволите следовать?

Из воротника шинели довольно грубые вылетели слова:

— Лекарь Сокира. В Орскую крепость. Подвысь! Пошел!

И тройка понеслася через форштат²¹⁶, мимо той церкви и колокольни, на которую Пугачев встацил две пушки, осаждая Оренбург.

До станицы Островной²¹⁷ он только любовался окрестностями Урала и заходил только в почтовые станции, и то, когда хотелось пить. Но, подъезжая к Островной, он вместо серой обнаженной станции увидел село, покрытое зеленью, и машинально спросил ямщика:

— Здесь тоже оренбургские козаки живут?

— Тоже, ваше благородие, только что хохлы.

Он легонько вздрогнул.

— А почтовая станция здесь?

— Дальше, в Озерной²¹⁸.

— Там тоже хохлы живут?

— Нет-с, наши русские.

Подъезжая ближе к селу, ему, действительно, представилась малороссийская слобода. Те же вербы зеленые, и те же беленькие в зелени хаты, и та же девочка в плахте и полевых цветах гонит корову. Он заплакал при взгляде на картину, так живо напомнившую ему его прекрасную родину.

У первой хаты он велел остановиться и спросил у сидящего на призбе усача, можно ли будет ему переночевать у них?

— Можна, чому не можна. Мы добрым людям ради.

Он отпустил ямщика и остался ночевать.

Здесь он впервые в Оренбургском крае отвел свою душу родною беседою. А чтобы больше оживить несловоохотного (как и вообще земляки мои) хозяина, то он спросил, чи есть у них шинк?

— Шинку то у нас, признаться, нема, а так люды добри держать про случай.

Он послал за водкою, попотчевал хозяина и хозяйку. А маленькому Ивасеви дал кусочек сахару.

Хозяин стал говорливее, хозяйка проворнее заходила около печки с чаплиею. Только один Ивась стоял, воткнувши в рот пальцы вместе с сахаром, и исподлобья посматривал на гостя.

Не замедлили цыплята закричать за хатую и также не замедлили явиться на столе с парюю свежепросольных огурцов к услугам гостя.

— Закушуйте, будьте ласкови, — говорила хозяйка, ставя на стол цыплята. — А я тым часом побижу до Домахи, чи не позычу з 10 яець, а то в нас, признаться, вси выйшлы.

И она проворно вышла из хаты.

На другой день поутру хозяин нанял ему пару лошадей до станции, а догадливая хозяйка поднесла ему в складне на дорогу пару цыплят жареных, 10 яиц и столько же свежепросольных огурцов. Принимая все это, он спросил, что он им должен за все.

— Та, признаться, нам бы ничего не треба. Та думка та, що треба б дытыни чобитки купыть.

Он подал ей полтинник.

— Господь з вами, та ему и за грывеннычок Вакула пошие.

— Ну, там соби як знаешь, — сказал он и простился с своими гостеприимными земляками.

Переночевал он еще в Губерле²¹⁹ (предпоследняя станция перед Орской крепостью²²⁰), собственно для того, чтобы полюбоваться на другой день Губерлинскими горами²²¹. На другой день перед вечером он был уже в виду Орской крепости.

Вот как он рассказывает в своей «Мухе» впечатление, произведенное видом этой крепости.

«29 апреля. До 12 часов я гулял в губерлинской роще и любовался окружающими ее горами, чистой речечкой Губерлей, прорезывающей рощу и извивающейся около самых козачьих хат. Пообедавши остатками подарка моей догадливой землячки, я оставил живописную Губерлю. Несколько часов подымался я извиристою дорогою на Губерлинские горы. У памятника, поставленного в горах, на дороге, на память какого-то трагического происшествия, я напился прекраснейшей родниковой воды. Поднявшись на горы, открылась плоская однообразная пустыня. А среди пустыни торчит одинокая будочка и около нее высокий шест, обернутый соломою. Это козачий пикет. Проехавши пикет, я начал спускаться по плоской наклонности к станции Подгорной²²². Переменивши лошадей, я подымался часа два на плоскую возвышенность. С этой возвышенности открылась мне душу

леденящая пустыня. Спустя минуту после тягостного впечатления, я стал всматриваться в грустную панораму и заметил посредине ее беленькое пятнышко, обведенное красно-бурою лентою.

— А вот и Орская белеет, — сказал ямщик, как бы про себя.

— Так вот она, знаменитая Орская крепость! — почти проговорил я, и мне сделалось грустно, невыносимо грустно, как будто меня бог знает какое несчастье ожидало в этой крепости. А страшная пустыня, ее окружающая, казалась мне разверстою могилой, готовою похоронить меня живо. В Губерле я был совершенно счастлив, вспоминал вас, мои незабвенные, воображал себе, как Степан Мартынович читает Тита Ливия под липою, а батюшка, слушая его, делает иногда свои замечания на римского витию-историка. И вдруг такая перемена! Неужели так сильно действует декорация на воображение наше? Выходит, что так. Подъезжая ближе к крепости, я думал (странная дума), поют ли песни в этой крепости. И готов был Бог знает что прозакладывать, что не поют. При такой декорации возможно только мертвое молчание, прерываемое тяжелыми вздохами, а не звучными песнями. Подвигаясь ближе и ближе к широкому, едва зеленому подернутому лугу, я ясно уже мог различать крепость: белое пятнышко — это была небольшая каменная церковь на горе, а красно-бурая лента — это были крыши казенных зданий, как-то: казарм, цейхгаузов²²³ и прочая. Переехавши по деревянному, на весьма жидких сваях, мостику, мы очутились в крепости. Это обширная площадь, окруженная с трех сторон каналом аршина в три шириною да валом с соразмерною вышиною, а с четвертой стороны — Уралом. Вот вам и крепость. Недаром ее киргизы называют Яманкала²²⁴. По-моему, это самое приличное ей название. И на месте этой Яманкалы предполагалось когда-то основать областной город! Хорош был бы город! Хотя, правду сказать, и Оренбург малым чем выигрывает в отношении местности. Вот что оживляло первый план этой сонной картины: толпа клейменных колодников, исправлявших дорогу для приезда корпусного командира, а ближе к казармам на площади маршировали солдаты. Проезжая тихо мимо марширующих солдат, мне резко бросился в глаза один из них: высокий, стройный и — странная игра природы — чрезвычайно похож на брата Зосю. Меня так поразило это сходство, что я целую ночь не

мог заснуть, создавая разные самые несбыточные истории насчет брата. Да еще вонючая татарская лачуга, отведенная мне в виде квартиры, окончательно разогнала мой сон.

30 апреля. С больною головою явился я сегодня к коменданту, а от него пошел познакомиться к собрату по науке. Собрат по науке показался мне чем-то вроде жердели²²⁵ спелой и после обоюдных приветствий сказал мне, в виде комплимента, что я чрезвычайно похож на одного несчастного, недавно сюда присланного из Астрахани. Я спросил его, что значит слово «несчастный», он пояснил мне. И я, простившись с ним, пошел искать баталионную канцелярию. В канцелярии у писаря спросил я, нет ли в их баталионе недавно присланного рядового Зосима Сокирина. Писарь отвечал:

— Есть, — и, взглянувши мне в лицо, прибавил: — Зосим Никифорович.

— Можно ли мне прочесть его конфирмацию?

— Можно-с.

И я прочитал вот что: «По конфирмации военного суда, за разные противузаконные и безнравственные поступки, пишется в Отдельный Оренбургский корпус рядовым Зосим Сокирин, с выслугою».

— Нельзя ли мне видеть этого рядового? — спросил я писаря.

— Можно-с. Извольте следовать за мною.

И услужливый писарь привел меня в казармы.

Я не описываю вам нечистоты и смрада, возмущающих душу и вечно сущих во всех казармах. Не читайте маменьке, ради Бога, этого письма: она, бедная, не перенесет этого тяжкого удара. На нарах в толстой грязной рубахе сидел Зося и, положа голову на колени, как титан Флаксмана²²⁶, пел какую-то солдатскую нескромную песню. Увидя меня, он сконфузился, но сейчас же оправился и заговорил:

— Это ты, брат Ватя?

— Я.

— А это я, — сказал он, вытягиваясь передо мною во фронт.

Меня в трепет привело его непритворное равнодушие. Я был ошеломлен его ответом и движением и долго не мог сказать ему ни слова, а он все стоял передо мною навтыяжку, как бы издеваясь надо мною. Наконец, я собрался с духом, спросил его, не нужно ли ему чего-нибудь?

— Нужно, — ответил он, не переменяя позиции.

— Что же тебе нужно?

— Деньги!

— Но я много не могу предложить.

— Сколько можешь.

Я дал ему десятирублевый билет.

— Спасибо, брат, — сказал он, принимая деньги, и потом прибавил: — Мы ей протрем глаза.

Я, уходя из казарм, просил его, чтобы он заходил ко мне в свободное время, пока я уйду в степь.

Бывало мне иногда грустно, тяжело грустно, но такой гнетущей грусти я никогда еще не испытывал. Мне казалось, что я видел Зосю во сне, что на самом деле такое превращение невозможно в человеке. Такое помертвление всего человеческого. Придя на квартиру, я посмотрел свой бумажник и, не находя 10 рублей, убедился, что это действительно Зося. Боже мой! Что же тебя так страшно превратило? Неужели воспитание? Нет, воспитание скорее ничего не сделает из человека или только опошлит его, но превратить его в грубое животное никакое воспитание не в силах.

Что же, наконец, довело тебя до этого жалкого состояния, мой бедный Зосю?

И я не мог в себе найти ответа».

Во все остальные дни пребывания своего в Орской крепости в дневнике Вати ничего интересного не было записано. Транспорт собирался в крепость и готовился к 12 мая выступить в степь. Следовательно, кроме башкирцев, телег, верблюдов, козаков, солдат, он ничего больше не видел, а виденное им в эти дни весьма неинтересно, особенно на бумаге. Брат навестил его только один раз с каким-то пьяным офицером, с которым он был на «ты». Просил у него денег, сначала 100 рублей, потом 50, потом 25 и, наконец, 10. Десять он обещал дать ему завтра, когда он отрезвится. Он божился ему, что он совершенно трезвый. Товарищ даже его честью ручался, что у Зосима росинки во рту не было, а не то, чтобы... Видя недействительность ручательства благороднейшего малого, он попросил у него целковый на выпивку, в чем ему Ватя благоразумно не отказал. А иначе он мог бы довести пьяного зверя до неистовства, а там недалеко и до полиции; одним словом, заключение визита могло выйти самое сценическое.

Взявши целковый, он ловко щелкнул пальцем, проговоря:

— Живем! — и, сделав налево кругом, вышел из комнаты.

— Чудак, а благороднейший малый! — говорил его товарищ, раскланиваясь с Ватей.

Это было последнее свидание его с братом в Орской крепости.

Спустя два дня после этого грустного свидания, Ватя слушал за Орью²²⁷ напутственный молебен, а через полчаса огромной темною массою транспорт двинулся в степь, подымая серые облака пыли. Спустя еще полчаса, из-за Ори начали возвращаться в крепость провожавшие транспорт, но между ими не видно было «чудака, но благороднейшего малого». Ватя бесприветный исчезал в облаках пыли.

В последнем письме из Орской крепости Ватя писал своим хуторянам, чтоб они долго не ждали от него «Мухи», что он выходит в степь, а в походе, и при таком огромном транспорте, ему, может быть, некогда будет и подумать о письме. «А когда возвращуся из Раима, тогда, даст Бог, опишу вам все, мною виденное, с возможными подробностями». Но случилось так, что он должен был в Раимском укреплении сменить лекаря N. и остаться вместо его в степи в продолжение четырех лет.

«Мои милые, мои незабвенные хуторяне!»

Я обещался вам описать подробно свой поход по возвращении в Оренбург. Но мне суждено туда возвратиться не скоро: я сменил здесь товарища и остануся в укреплении, пока суждено будет кому-нибудь сменить или заменить меня. А пока это случится, я обещаю вам по-прежнему посылать мою уже «Раимскую муху» с каждою почтою. Но так как почта приходит и от нас отходит не в определенное время, то вы и не беспокойтесь о неаккуратном появлении моей «Мухи» на вашем благодатном хуторе.

12 мая транспорт, в том числе 3000 телег и 1000 верблюдов, выступил из Орской крепости. Первый переход (с непривычки, может быть) я ничего не мог видеть и слышать, кроме облака пыли, телег, башкирцев, верблюдов и полубогаженных верблюдовожатых киргизов. Словом, первый переход пройден был быстро и незаметно.

На другой день мы тронулись с восходом солнца. Утро было тихое, светлое, прекрасное. Я ехал с передовыми ураль-

скими козаками впереди транспорта за полверсты и вполне мог предаваться своей тихой грусти и созерцанию окружающей меня природы. Это была ровная, без малейшей со всех сторон возвышенности, степь, и, как белой скатертью, ковылем покрытая необозримая степь. Чудная, но вместе и грустная картина! Ни кусточка, ни балки, совершенно ничего, кроме ковыла, да и тот стоит, не пошевелится, как окаменелый; ни шелесту кузнечика, ни чиликанья птички, ни даже ящерица не сверкнет перед тобою своим пестреньким грациозным хребтом — все, кроме ковыла, умерщвлено. Немо все и бездыханно, только сзади тебя глухо стонет какое-то исполинское чудовище — этодвигающийся транспорт. Солнце подымалось выше и выше, степь как будто начала вздрагивать, шевелиться. Еще несколько минут — и на горизонте показались белые серебристые волны, и степь превратилась в океан-море. А боковые аванпосты начали расти, расти и мгновенно превратились в корабли под парусами. Очарование длилось недолго. Через полчаса степь приняла опять свой безотрадный, монотонный вид; только боковые козаки попарно двигались, как два огромные темные дерева. Из-за горизонта начала показываться белая тучка. Я ужасно обрадовался этому явлению: все-таки разнообразие. Начинаю любоваться ею, а она, лукавая, вдруг расплывется в воздухе, то снова вдруг покажется из-за горизонта.

— Вишь ты, собаки, что выдумали! — проговорил один козак.

— А что такое, Дий Степаныч? — спросил у него другой.

— Рази ослеп, не видишь? Степь горит!

— И всамделе горит. Вишь, собаки!

Я стал внимательнее всматриваться в горизонт и, действительно, вместо тучки увидел белые клубы дыма, быстро исчезающие в раскаленном воздухе. К полдню пахнул навстречу нам тихий ветерок, и я почувствовал уже легкий запах дыма.

Вскоре открылась серебряная лента Ори, и далеко выдавшийся к нам навстречу залив освежил воздух. И я вздохнул свободнее. И пока транспорт раскидывался своим исполинским каре вокруг залива, я уже купался в нем. Пожар был все еще впереди нас, и мы могли видеть только один дым, а пламя еще не показывалось из-за горизонта. С закатом солнца начал освещаться горизонт бледным заревом.

С приближением ночи зарево покраснело и к нам близилось. Из-за темной горизонтальной, чуть-чуть кое-где изогнутой линии начали показываться красные струи и язычки. В транспорте все затихло, как бы ожидая чего-то необыкновенного. И, действительно, невиданная картина представилась моим изумленным очам. Все пространство, виденное мною днем, как бы расширилось и облилось огненными струями почти в параллельных направлениях. Чудная, неописанная картина! Я всю ночь просидел под своею джеломейкою и, любуясь огненной картиною, вспоминал нашего почтенного художника Павлова²²⁸. Он часто мне говаривал: «Учися, учися рисовать, эта наука никакой науке не помешает». И правда, как бы теперь было кстати это прекрасное искусство.

Вблизи транспорта, на темной, едва погнутой линии и на огненном фоне, показался длинный ряд движущихся верблюжьих силуэтов. Тут мне не на шутку стало досадно, что я не умею рисовать. Верблюды двигались один за другим по косогору и исчезали в красноватом мраке, точно китайские тени. На одном из них, между горбов, сидел обнаженный киргиз и импровизировал свою однотонную, как и степь его, песню. Картина была полная. И я в изнеможении тут же, под джеломейкою, уснул. Во сне повторилась та же огненная картина с прибавлением «Содома и Гоморры» Мартена²²⁹. Меня разбудил вестовой. Транспорт готов был двинуться. Я успел еще кое-как выпить стакан чаю, пока убирали мою джеломейку, сел на коня и поехал с передовыми козаками.

Мы долго ехали по обгорелой степи, и теперь-то, глядя на эти черные бесконечные равнины, я убедился, что не во сне, а я вчера видел настоящий пожар. К полдню мы подошли опять к берегам Ори и расположились на ночлег. Следующий переход мы шли в виду Ори, и степь казалась разнообразнее: кой-где выдавались косогоры, местами даже белели обрывы берегов Ори, кой-где показывался камыш и даже кусты саксаула. Переправившись на другой берег Ори, транспорт опять раскинул свое гигантское каре.

По обыкновению транспорт снялся с восходом солнца, только [я], не по обыкновению остался в арьергарде. Орь осталась вправо, степь принимала по-прежнему свой однообразный, скучный вид. В половине перехода я заметил: люди начали отделяться от транспорта, кто на коне, а кто пешком. И все в одном направлении. Я спросил о причине у ехавшего около меня башкирского тюря²³⁰, и он сказал

мне, указывая нагайкою на темную точку: «Маня ауля агач» (здесь святое дерево). Это слово меня изумило. Как? В этой мертвой пустыне дерево? И уж, конечно, коли оно существует, так должно быть святое. За толпою любопытных и я пустил своего воронка. Действительно, верстах в двух от дороги, в ложбине, зеленело тополевое старое дерево. Я застал уже вокруг него порядочную [толпу], с удивлением и даже (так мне казалось) с благоговением смотревшую на зеленую гостью пустыни. Вокруг дерева и на ветках его навешано набожными киргизами кусочки разноцветных материй, ленточки, пасма крашенных лошадиных волос, и самая богатая жертва — это шкура дикой кошки, крепко привязанная к ветке. Глядя на все это, я почувствовал уважение к дикарям за их невинные жертвоприношения. Я последний уехал от дерева и долго еще оглядывался, как бы не веря виденному мною чуду. Я оглянулся еще раз и остановил коня, чтобы в последний раз полюбоваться на обоготворенного зеленого великана пустыни. Подул легонький ветерок, и великан приветливо кивнул мне своей кудрявой головою. А я, в забытьи, как бы живому существу, проговорил: «Прощай» — и тихо поехал за скрывшимся в пыли транспортом.

Мы остановились на речке Карабутаке²³¹, вблизи воздвигавшегося в то время форта. Здесь у нас была дневка. И как с нами следовал священник, то на другой день был пет молебен и освящено место для форта. Меня, в числе других, пригласил строитель форта разделить его походный обед в кибитке, и здесь-то я познакомился с ним, с единственным человеком во всем безлюдном Оренбургском крае²³². После долгой, самой душевной беседы мы с ним расстались уже ночью. На дорогу подарил он мне бутылку астрогону²³³ и пару лимонов, драгоценный дар в такой пустыне, каковы Каракумы, где я и оценил эту драгоценность по достоинству.

От Карабутика до Иргиза²³⁴ перешли мы еще две небольшие речки: Яманкайраклы²³⁵ и Якшикайраклы²³⁶. Физиономия степи одна и та же безотрадная, с тою только разницею, что кой-где на плоских возвышенностях чернеют, как маяки, киргизские, из камней или просто из камышу и глины сложенные, мазарки²³⁷, как их называют уральские козаки. Да еще замечательно, что все это пространство усыпано кварцем. Отчего никому в голову не придет на берегах этих речек поискать золота? Может быть, и в киргизской степи возник бы новый Санто-Франциско²³⁸. Почему знать?

Пройдя усеянное кварцем пространство, мы перешли вброд реку Ирғиз и пошли по левому, плоскому ее берегу. Вдали, на самом горизонте, синела гора, увенчанная могилами батырей и киргизских ауля, называемая мана ауля, т. е. здесь святой.

Оставив гору в правой руке, мы остановились на берегу Ирғиза вблизи могилы батыря Дустана. Этот грубо из глины слепленный памятник напоминает общей формой саркофаги древних греков.

Мы остановились на том самом месте, где вчера на предшествовавший нам транспорт напала шайка хивинцев, и несколько человек захватили с собою, а несколько оставили убитыми. И здесь я в первый раз видел обезглавленные и обезображенные трупы, валяющиеся в степи, как какая-нибудь падаль. Начальник транспорта приказал зарыть их, а священник отпел панихиду по убиенным. Еще переход — и мы в Уральском укреплении²³⁹.

Никогда не забуду того грустного впечатления, какое произвел на меня вид этого укрепления. Верст за пятнадцать мы увидели на возвышенности кучку чего-то неопределенного, и на спрос наш у жоака, что это такое, он нам ответил: «Ирғизкала»²⁴⁰.

Мы подошли на такое расстояние, что можно было ясно различать предметы. Представьте себе на сером фоне кучку серых мазанок с камышовыми кровлями, обнесенную земляным валом. Это было первое мною виденное степное укрепление, поразившее меня так неприятно своею грустною наружностью. И действительно, оно издали больше похоже на загоны или кошары, чем на жилище людей.

Пройдя Уральское укрепление, мы два раза останавливались на озерах, а третий ночлег и дневку провели на речке Джаловлы²⁴¹. За этой гнилой речкой начинаются страшные Каракумы (черные пески). День был тихий и жаркий. Целый день у нас только и разговору было, что про Каракумы. Бывалые в Каракумах рассказывали ужасы, а мы, разумеется, как не бывалые, слушали и ужасались.

Задолго до рассвета начали выучить плачущих верблюдов и мазать телеги. Начальник транспорта [торопил], чтобы как можно раньше сняться и до жаров пройти переход. Но представьте наше удивление: когда мы вошли в песчаные бугры, солнышко уже было довольно высоко, а ожидаемого жару и знаку не было. И чем выше солнце подымалось, нордовый

ветер свистел и делалось холоднее, так что к полдню мы принуждены были вооружиться шинелями.

Трое суток мы не снимали шинелей и над рассказчиками про ужасы Каракумов начали было уже подтрунивать. Как вдруг ветер начал быстро стихать и к полдню совершенно стих. До колодцев оставалось еще верст десять, и эти десять верст показались мне десятью десять. Жара была нестерпимая.

Никогда в жизни я не чувствовал такой страшной жажды и никогда в жизни я не пил такой гнусной воды, как сегодня. Отряд, посылаемый вперед для расчистки колодцев, почему-то не нашел их, и мы пришли на гнилую солоно-горько-кислую воду. А вдобавок ее в рот нельзя [взять] не процедивши: она пенилась вшами и микроскопическими пьядками. Тут-то я вспомнил подарок моего карабутацкого друга, и, благодаря его догадливости, я с помощью лимона выпил стакан чая. Ничем так быстро не утолишь жажды, как горячим чаем вприкуску. Тот только почувствует всю цену сему китайскому продукту, кому пришлось хоть раз пройти эту киргизскую Сахару.

Транспорт снялся часа за два до рассвета. Ночью, по моему, самое лучшее проходить Каракумы. Ночью не замечаешь однообразия песчаных бугров и не нуждаешься в отдаленном горизонте. Но лошади и верблюды иначе об этом думают. Они днем — и под тяжестью, и на свободе — должны сражаться с своим злейшим врагом — оводом, а ночью враг умолкает, и они наслаждаются миром.

С восходом солнца открылась перед нами огромная бледно-розовая равнина. Это — высохшее озеро, дно которого покрылось тонким слоем белой, как рафинад, соли. Такие равнины и прежде встречались в Каракумах между песчаными буграми, но не так обширны, как эта, и не были освещены восходящим солнцем. Я долго не мог отвести глаз от этой гигантской белой скатерти, слегка подернутой розовую тенью.

Один из козачков заметил, что я пристально смотрю на белую равнину, сказал: «Не смотрите, ваше благородие, ослепнете». Действительно, я почувствовал легонькое дрожание света и, зажмуривши глаза, пустился догонять жожака, далеко выехавшего вперед. Так я перебежал всю ослепляющую равнину. На противоположной стороне с высокого бугра я любовался не виданною мною картиной, будучи сам атомом

этой громадной картины. Через всю белую равнину черной полосой растянулся наш транспорт, то есть половина его, а другая половина, как хвост черной змеи, извивалась, переваливаясь через песчаные бугры. Чудная, страшная картина! Блестящий белый фон картины опять начал действовать на мое зрение, и я скрылся в песчаных буграх.

Вечеру многие явились ко мне за медицинским пособием: они ничего, кроме серого тумана, не видели. На глазах не было никакого знака их слепоты, и я им на другой день закрыл глаза волосяными черными сетками. Тем дело и кончилось.

Бугры начали сглаживаться, начали показываться довольно широкие равнины. Вправо от дороги мы уже третий день видим синюю гору, и она, кажется, как будто от нас уходит.

По мере того, как сглаживались песчаные бугры, уже становилась широкая белая лента лошадиных и верблюжьих остовов, протянутая через Каракумы.

Еще переход, и мы видели на горизонте, к югу, едва заметную синюю горизонтальную линию. То было Аральское море. Унылый транспорт мгновенно оживился. Как бы почувствовал свежесть в воздухе, отрадное дуновение моря.

На другой день мы уже купались в Сары-чеганаке (залив Аральского моря). Еще один день следовали по берегам гнилых соленых озер того же залива и вышли опять на равнину, покрытую кустарниками саксаулу. Этот и следующий переход, до озера Камышлыбаша (залив Сырдарья), мы проходили ночью, потому что не было возможности пройти днем. Жару было в тени 40° , а в раскаленном песке в продолжение 5 минут яйцо пеклося всмятку. Последний переход мы прошли ночью. С восходом солнца мы близко уже подошли к Раимскому укреплению. Вид со степи на укрепление грустнее еще, нежели на Калу-Иргиз. На ровной горизонтальной линии едва-едва возвышается над валом длинная, камышом крытая казарма. Вот и весь [Раим]. Навстречу нам вышел почти весь гарнизон. Бледные, безотрадные, точно у арестантов, лица. Мне сделалось страшно. «Не свирепствует ли у вас какая-нибудь эпидемия?» — спросил я у одного офицера. «Слава Богу, благополучно», — отвечал он мне.

Подъезжая к самому укреплению, открывается зеленая широкая полоса камыша, и кой-где из темной зелени выглядывает серебристая Сырдарья.

Итак, я на Раиме.

Между двумя широкими озерами высовывается высокий мыс, на котором построено укрепление, называется Раим, от абы, воздвигнутой здесь за сто лет над прахом батыря Раима, остатки которой вошли в черту укрепления.

Подробнейшее описание моего теперешнего местопребывания опишу вам в следующем листке.

А теперь молюся Богу о вашем здравии, мои милые, мои незабвенные хуторяне, и прошу вас, не забывайте меня в сей безотрадной пустыне.

Р. С. Степан Мартынович пускай подробно опишет мне, какова его школа и пасика, а Карлу Осиповичу просто кланяюсь, ему, я знаю, писать некогда».

Года два спустя по получении этого письма на хуторе я, по обязанностям службы, должен был прожить несколько месяцев в Золотоноше²⁴² и в Переяславе. Во время пребывания моего в Переяславе я почти ежедневно посещал хуторян, как старых и близких моих друзей, и, разумеется, всегда участвовал почти в публичном чтении «Раимской мухи». Я говорю «почти публичном чтении», потому что Никифор Федорович читал ее всем, кто посещал его хутор. Следя в продолжение зимы за «Мухой», я заметил в ней какое-то унылое, монотонное жужжание, чего, разумеется, хуторяне и не подозревали. Первые листки свои из степи он еще кое-как разнообразил, например, описывая быт кочующих полунагих киргиз, сравнивая их с библейскими евреями, а аксакалов их — с патриархом Авраамом²⁴³. Иногда касается [он] слегка обитателей самого укрепления, сравнивая их с разнохарактерной толпой, выброшенной на необитаемый остров, а помещения юмористически сравнивает с хижинкой, которая не защищает ни от солнца, ни от дождя, ни от холода и рождает в несметном количестве блох и клопов. А от скорпионов и тарантулов расстилают на земляном полу хижинки войлок, которого они, по сказаниям киргиз, страшно боятся, потому что от войлока пахнет бараном, а баран, как известно, лакомится ими, как мы (не в осуд будь сказано) устрицами.

В одном из листков своих описывает он (тоже в юмористическом тоне) земляка своего, находившегося при описной экспедиции на Аральском море и возвратившегося в укрепление с широчайшей бородою, где уральские козаки (не исключая и офицеров) приняли его за своего расстригу-попа, за веру пострадавшего (земляк-то, види-

те, был из числа несчастных), и [он], знай благословляет их большим крестом да собирает посильное подаяние натурою, т. е. спиртом. И эта комедия продолжалась до тех пор, пока ротный командир не приказал ему сбрить бороду. С бородой, разумеется, и поклонения, и приношения прекратились. Впрочем, как он пишет, что это человек неглупый, и с которым он сошелся весьма близко. Так близко, что если бы не словоохотный и образованный земляк, то он мог бы назваться самым неистовым камедулом²⁴⁴; и что этот счастливый земляк (счастливым он его называет потому, что несмотря на свое гнусное положение, настоящее и будущее — ему уже за пятьдесят лет, — он не слышал от него в самой откровенной беседе ни малейшего ропота на судьбу свою, почему он его шутя и называет кантонистом²⁴⁵, т. е. повитым, вместо пеленки, солдатской шинелью), и что, пишет он, этот счастливый земляк сообщил ему самые дельные сведения о берегах и островах Аральского моря, — такие сведения (в геологическом отношении), за сообщение которых сам Мурчисон²⁴⁶ сказал бы спасибо.

В последнем конверте был получен и печатный приказ по Отдельному О[ренбургскому] корпусу, где напечатано, что Савватий Сокирин из унтер-офицеров в прапорщики производится за отличие, чему немало и радуется, и удивляется, и сам себя спрашивает, чем он мог отличиться?

А самое последнее письмо, в котором он только и писал, что в укреплении свирепствует скорбут, а лошади от сибирской язвы десятками падают, — так это-то письмо читал уже почтеннейший Степан Мартынович на смертном одре лежащему Никифору Федоровичу. На другой день совершенно было над ним елеосвящение, а на третий, в 3 часа пополуночи, он отослал свою честную душу на лоно Авраамле²⁴⁷. В духовном своем завещании он назначил душеприказчиками меня и Степана Мартыновича, а Карл Осипович уехал эту же зиму на побывку в свой Дорпат да там и остался. Прасковье Тарасовне в своем завещании утверждает власть матери только в отношении Савватия, а о Зосиме ни слова не упоминает. Еще завещает, чтобы отпевание совершенно было в церкви Покрова и чтобы исторический образ Покрова Пресвятыя Богородицы на время отпевания поставлен был в головах около его домовыны; и что приносит он на церковь Покрова 2 пуда желтого воску и пудовый ярого воску ставник перед образ Покрова. А чтобы бранные останки его

были преданы земле непременно в пасике; и чтоб над его могилою была посажена липа в головах, а черешня в ногах; и чтоб каменного креста в Трахтемирове не заказывали, потому, говорит, что камень только лишняя тяжесть на гробе грешника, а чтобы повесили на липе и черешне образа святых Зосима и Савватия; и чтобы ежегодно в день Покрова служить панихиду по его душе грешной и по душе праведного И. П. Котляревского; и чтобы раз в год кормить сытно нищую братию и кто пожелает — сто душ. Гусли же и летопись Конисского положить в шкаф с книгами, замкнуть и ключ по почте переслать Савватию. «А еще, — прибавляет он, — кто дерзнет, кроме моего Савватия, наложить святотатственную руку на сие неоцененное мое сокровище, да будет проклят». Марине завещал по смерти ее выдавать ежегодно 10 рублей серебром, а Степану Мартыновичу — 25 и 25 ульев пчел одновременно.

Похоронивши буквально по завещанию своего наилучшего друга, я вскоре уехал в Киев на место службы, поручив Степану Мартыновичу писать ко мне ежемесячно подробно обо всем, что делается на хуторе.

Каждое первое число аккуратно я получал письмо от почтеннейшего моего товарища. Письма его, разумеется, не сверкали той ослепительной молнией ума и воображения, ни ученостью, ни новым взглядом на вещи, ни новыми идеями, ни даже блестящим слогом, как, например, поражают «Письма из-за границы» законодателя русского слова²⁴⁸ или задушевного друга и помощника его «Письма из Финляндии»²⁴⁹. Нет. В письмах моего товарища ничего этого не просвечивало. Зато в его нехитрых посланиях, как алмаз в короне добродетели, горела его непорочная душа.

Прочитывая его письма, я как [бы] сам присутствовал на хуторе, малейшие подробности я видел; видел, например, как неосторожную Марину, пришедшую на досуге в пасику, пчела за нос укусила, и она была такая смешная, что даже Прасковья Тарасовна улыбнулись.

Школу свою распустивши на Пасху, он уже не собирал ее, чтобы иметь больше времени для наблюдений за пасиками и вообще по хозяйству на хуторе, потому что Прасковья Тарасовна совершенно ото всего отказалась и собиралась уже принять чин инокини, только не во Фроловском монастыре в Киеве²⁵⁰, а в Чигиринской богоспасаемой

пустыни²⁵¹. Уже было совсем собралась, и паспорт взяла, и котомку сшила. Только вдруг, как с неба упал, явился на хуторе Зосим Никифорович. Явился, и все пошло вверх дном. Сначала он скрывал свои гнусные страстишки, потом слегка начал обнаруживаться, а потом завел в доме кабак и игорное сборище, отрешил от всякого вмешательства в дела по хозяйству смиренного моего товарища и, наконец, выгнал из дому почтеннейшую кроткую старушку Прасковью Тарасовну. Она, бедная, приютилась в школе у сердобольного Степана Мартыновича и более трех лет слушала неистовые песни пьяных картежников. Я хотел вступить за права законного наследника, но она меня умоляла не трогать Зосю, авось либо само все придет к лучшему концу.

Прошел еще и еще год, а лучшего конца не было. Наконец я решился написать Савватию письмо, которым советовал ему: хочет успокоить последние дни своей матери и сохранить хоть малую часть своего наследия, то взял бы, если можно, отставку, а нельзя, то шестимесячный отпуск и — чем скорее, тем лучше — приезжал на хутор.

Савватий так и сделал. Взял отставку, потому что срок службы, назначенный за воспитание правительством, был кончен, и, следовательно, он мог располагать собою по произволу. По приезде своем на хутор он тоже должен был приютиться в школе, потому что в дом срамно было войти. Сначала обратился он к брату с лаской, но тот вернул ему такое словцо, какого не найдете в словаре любого городничего. Тогда обратился он к властям, и в силу духовного завещания был введен во владение хутором и принадлежащими ему добрами. А Зосим был изгнан с посрамлением.

Возмутилось твое безмятежное, кроткое сердце, когда ты подошел с ключом в руках к заветному шкафу, стерегущему святыню, в нем хранимую, проклятием умирающего человека. Возмутилось твое благородное сердце, когда ты прикоснулся к замку, уже сломанному. Возмутилось твое бедное сердце, когда ты, растворив шкаф, увидел заветные гусли, на которых бряцал вдохновенный, как Давид, Григорий Гречка и маститый, благородный отец твой возмущал иногда тихими аккордами невозмутимое сердце своей подруги и безмятежное, благородное сердце своего единого друга Степана Мартыновича. Ты увидел их разбитыми, струны живые изорванными, а прекрасное изображение пляшущих пастушек запятнанное горя-

чей табачной золою. Псалтырь же его священная, Геродот²⁵² его, единая его радость — летопись Конисского наполовину изорвана для закуривания трубок.

Увидя все это, Савватий остолбенел. Слезы градом покапались по его мужественным бледным щекам, и он тихо, едва внятно проговорил: «Бог вам судия! Вандалы! Варвары!»

На третий день после этой сцены получил я разбитые гусли с письмом в Киеве и тотчас же отдал их искусному гардировщику. А когда они были готовы и струны натянуты, я уложил их в ящик, и взял отпуск на 28 дней, и уехал в Переяслав, т. е. на хутор. Я застал их еще в школе, но дом был уже вычищен, выбелен и к завтраму приглашено уже духовенство, то есть соборный протоиерей с причетом и покровский отец Яков, тоже с причетом, чтобы освятить обновленное жилище. Раскупорили гусли, и откуда взялась радость и веселие? Савватий, легонько касаяся струн, запел своим прекрасным тенором свою любимую песню:

Чи я така уродылась,
Чи без доли охрестылась,
Чи такии кумы бралы,
Талан-долю одибралы²⁵³.

Степан Мартынович ему тихонько вторил, а Прасковья Тарасовна, сидя в уголку, навзрыд плакала.

На завтрашний день, часу около десятого, явилось духовенство с крестами и хоругвями. Освятивши дом, совершен был крестный ход вокруг хутора и пасики, с пением псалмов и стихирей. Сам протоиерей, почерпнув воды из Альты и осеня ее знамением животворящего креста, кропил сначала всех предстоящих, а потом каждого по одиночке. И по совершении священнодействия, разоблачась, благословил ястие и питье, сел за трапезу, а за ним и прочий чин духовный и светский.

Прасковья Тарасовна просто помолодела. Она вспомнила бывалые свои религиозные пиры и, как во время оно, обходила стол кругом с бутылкой и рюмкой, умаливая каждого гостя хоть покуштовать. Гости, разумеется, по обыновению отнекивались; один только либерал, стихарный соборный пономарь, не отнекивался.

Когда же трапеза приблизилась к концу и ничего уже не подавалось съедобного, опроче сливянки, тогда духовенство, не выходя из-за стола, встало и возгласило стройным хором:

Спаси уповающих на тя,
Мати незаходимого солнца²⁵⁴.

По окончании гимна и послеобеденной благодарственной молитвы духовенство благодарило хозяев и снова село на места, уже не трапезы ради, а ради назидательной беседы. Низший чин духовный, как-то: дьячки, пономари и клир, вышли из светлицы и, погулявши малый час по саду, вышли на левую. А там стоял ожеред только вчера сложенного сена. Вот они, с общего согласия, расположились в тени и почили сном праведных все до единого.

В светлице же беседа длилась почти что до вечерень. Было говорено много о предметах, касающихся общежития, и также о предметах, касающихся философии и богословия. Особенно отец Никанор, молодой священник богослов, говорил много, и все из Писания, и все по-римски, гречески и еврейски, всех писателей христианской древности так и валял наизусть. Старцы, дивясь его великому гениусу, только брадами белыми помавали и значительно посматривали друг на друга, как бы говоря: «Вот так голова!» А Прасковья Тарасовна, слушая витию, просто плакала. Степан Мартынович, может быть, больше всего собора разумел говорящего, но не обнаруживал этого ни единым движением. Когда же Прасковья Тарасовна заплакала, то он начал утешать ее, говоря, что отец Никанор читает совсем не жалобное, а более сатирическое.

Отец же протоиерей, чтобы положить конец сей слезоточивой трагедии, просил подать себе гусли. Гусли поданы. И он встал, расправил руками белоснежную свою бороду, завернул широкие рукава своей фиолетовой рясы, возложил персты своя на струны и тихим старческим голосом запел:

О всепетая мати.

К нему присоединился собор духовенства, Савватий и даже сам Степан Мартынович. Сверх ожидания пение было тихое и прекрасное. После этого гимна были петы еще разные канты духовного содержания. Дошло, наконец, и до песень мирского, житейского содержания. Уже начали было хором:

Зажурылась попадя
Своею бидою²⁵⁵.

Но отец протоиерей, видя близкий соблазн и недремлющие силы врага человеческого, повелел садиться в брички

и рушать восворяси. Что, к немалому огорчению Прасковьи Тарасовны, и было исполнено.

Причет же церковный вышел из-под сена уже в сумерки и, не заходя на хутор, перелез через тын и, выйдя на шлях, ведущий к городу, с общего согласия запели хором:

Жито, маты, жито, маты,
Жито не полова²⁵⁶.

Вечер был тихий, и Степан Мартынович, подойдя к Альте, остановился и долго слушал стихающую вдали песню и никак не мог догадаться, кто бы это мог петь так сладкогласно?

Исполнив священный долг душеприказчика, возложенный на меня покойным другом моим Никифором Федоровичем Сокирою, я на другой день после описанного мною праздника уехал в Киев. Савватий Сокира мне чрезвычайно понравился своими правилами — образом взгляда на вещи вообще и на человека в особенности, своим юношеским девственным взглядом на все прекрасное в природе.

Когда он говорил о закате солнца или о восходе луны над сонным озером или рекою, то я, слушая его, забывал, что он медик, [и радовался], что физические науки не погасили в его великосильной душе священной искры божественной поэзии.

Прощаясь с ним, я не мог ему (по праву старшинства) ничего лучше посоветовать, как следовать влечению собственных чувств и убеждений, и только завещал ему писать ко мне как можно чаще.

По приезде в Киев выгрузили из моей нетычанки и трехведерную кадущку белого, как сахар, липцу. «Это, — говорит мой Ярема, — подарок Степана Мартыновича. Они сами поставили и крепко наказали, чтобы не говорить вам ни слова».

— Ну, спасибо ему, что полакомил нас с тобою, стариков. Нужно будет и ему что-нибудь послать, а? Как ты думаешь, Яремо?

— Разумеется, нужно, мы с вами не скотина какая-нибудь бесчужденная.

— Да что же ему послать-то такое? Право, не придумаю. Заказать разве Сенчилову²⁵⁷ образ для его пасики? Так образ у него есть хороший. Да! Он как-то говорил, что ему хотелось бы прочитать Ефрема Сирина. Прекрасно. Возьми,

Яремо, эти деньги и эту записку и ступай в лавру, спроси там отца типографа. Отдай ему все это, а от него возьми большую книгу и принеси домой.

Через несколько дней Степан Мартынович сидел в своей пасике и пытался [найти] у Ефрема Сирина, отчего вышла такая противоположность между родными братьями, а прочитавши от доски до доски, он крепко призадумался. После раздумья написал письмо отцу типографу, прося его прислать ему Иустина Философа, на что и прилагает 5 руб[лей] сере[бром]. Но как Иустина Философа не нашлось в киево-печерской книжной лавке, то Степан Мартынович и остался при своем убеждении, что такие чудеса совершаются токмо единою всемогущею волею Божиею и что он не подозревает даже ниже малейшего влияния человека на человека.

Вместо Иустина Философа отец типограф прислал ему акафист Пресвятой Богородицы Одигитрии и «Киевский патерик»²⁵⁸, из которого он почерпнул прекрасные назидательные идеи и решил по гроб свой подражать святому прекрасному юному отроку праведного князя Бориса²⁵⁹.

В продолжение года получил я всего два письма от Савватия Сокиры, и те без всякого внутреннего содержания. Письма эти напоминали мне школьника, пишущего письмо к своим родителям по диктовке своего наставника. Впрочем, он сам чувствовал пустоту своих писем и извинялся тем, что материалов еще не накопилось для порядочного письма, говоря, что самая скучная и монотонная история — самого счастливого народа.

Зато аккуратно, каждый месяц, снабжал меня длинными посланиями почтеннейший Степан Мартынович. Все происшествия, не имеющие никакого отношения к моим хуторам, он описывал с усыпляющими подробностями. Например: «Накануне Воздвижения честного и животворящего креста Господня у приятеля моего, мещанина Карпа Зозули, кобыла ожеребилась буланым жеребчиком. А у соседа нашего той же ночи вола украдено».

Что же касалось собственно хуторян, тут плодovitости его не было пределов. Словом, он воображал себя душеприказчиком, а меня своим товарищем.

В одном из своих нелаконических писем описывает он появление Зосима на хуторе, в самом жалком виде: «Он постучался в двери моей школы, когда я уже совер-

шил молитвы на сон грядущий и читал уже третий кондак акафиста Пресвятой Богородицы Одигитрии. Страх и трепет прииде на мя.

— Кто там? — воскликнул я во гневе.

— Отвори, — говорит, — Христа ради, Степан Мартынович.

Я чувствую, что называет меня по имени, взял каганец, пошел и отворил двери. Свет помрачился в очах моих, когда увидел я едва рубищем прикрытого входящего в школу блудного сына Зосю.

— Что, — говорит, — не узнал меня, дядюшка, а? Каков я молодец?

— Очам своим не верю! — говорю я.

— Ну, так ощупай хорошенько и рукам поверь.

— Не верю! — проговорил я снова.

— Я, — говорит он, — твой бывший ученик, а теперь заслуженный вор, пьяница и привилегированный картежник Зосим Сокирин. Ну, теперь знаешь?

— Знаю, — говорю я.

— А коли знаешь, так и толковать больше нечего. Посылай за сивупле. Разумеешь? За водкой. Да поищи, нет ли где заплесневелого кныша от прошлогодней хавтуры?

— Горилки, — говорю, — нет, и послать некого.

— Давай денег, я сам пойду.

Я дал ему на квартиру денег, и он поспешно удалился. Достал я из коморы меду, хлеба, поставил на стол и хотел было продолжать акафист, но дух мой был возмущен и помышления мои омрачены были внезапным видением. Долго ходил я по школе, как в лесу неисходимом, а Зося не являлся. Свеча перед образом догорела, я другую засветил, и та уже на половине. А Зоси нет как нет. «Господи, — думаю себе, — живой на небесех сердцеведче наш! Не навождение ли сатанинское было надо мною?» И, прочитавши «Да воскреснет Бог», я успокоился духом, прочитал снова акафист Пресвятой Богоматери Одигитрии и осенил крестным знамением двери, окна и комин, прочитал трижды «Да воскреснет Бог» и отошел ко сну.

На другую ночь повторилось то же самое видение, на третью то же, и я все ему даю на квартиру горилки, и оно исчезает. Я сообщил о сем видении Прасковье Тарасовне, и она, бедная, изъявила желание провести ночь в моей школе, чтоб увидеть сие видение.

Вечеру мы с Прасковьей Тарасовной вышли из хутора, как будто на проходку. Савватий Никифорович были в городе по долгу службы. Когда смерклося, мы пришли в школу. Я засветил свечу и достал «Патерик», начал читать, утешения ради житие преподобного мученика Мойсея Угрина, за целомудрие пострадавшего от некия блудные болярыни. И дочитал уже, как он, прекрасный юноша, в числе прочих плененных, по разделу достался на долю вдовы-воеводыни, лицом зело красная, а сердцем аспиду подобная. Первая услы[ша]ла стук в двери Прасковья Тарасовна, а потом уже я. Закрывши книгу, я пошел отворить дверь, и она вышла за мною, чтобы спрятаться в сенях и не быть видимою. Но когда я отворил дверь с каганцем в руке и она увидела лицо, омраченное развратом, своего Зоси, то вскрикнула и повалилася на землю, лишенная всякого чувства. Он же рыкнул на меня, аки лев свирепый:

— А, подлец, христопродавец, ты меня продать хотел! Говори, кто здесь, а не то тут тебе и аминь. — И так сдавил мне горло, что я едва выговорил:

— Твоя маты.

— А! Когда она только, то это хорошо. Мне давно с ней переговорить хотелось. Где она?

Я посветил ему каганцем и указал на распростертую на земле Прасковью Тарасовну. Он, взглянув на нее, проговорил:

— Ничего, пусть отдохнет, а мы с вами побеседуем. А что, исполнил ты мое приказание? Сегодня последний срок. Деньги, или молися Богу, — говорит.

В это самое мгновение Прасковья Тарасовна застонала. Я вышел в сени, взял ее, бедную, на руки и, как дитя малое, положил на мое суровое ложе. Немного погодя, она пришла в себя и проговорила:

— Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!

— Я здесь, маменька, что прикажете?

Она взглянула на него и залилася горькими слезами. Он долго молча смотрел на ее горькие слезы и, наконец, проговорил:

— Вот что, маменька! Ни обмороки, ни слезы, ни молитвы, ни даже ваши проклятия не в силах поколебать меня. Это все вздор, чепуха. Одно, скажу вам, что меня может обратить на путь истинный, — это деньги, и только одни деньги. Дайте денег, и чем больше, тем лучше. Да и в самом деле,

за что же я лишен своего наследства? Верно, по протекции вашей! Ну, теперь и раскошеливайся!

— Зосю мой! Сыну мой единый! — проговорила она снова.

— Нечего тут «единый»! Я тебе такой же сын, как ты мне мать. Ну! поворачивайся, Степан Мартынович. Она тебе после отдаст!

Достал я из бодни все, что у меня было, и передал ему в руки. Он взял деньги, пересчитал их и сказал:

— Больше нет?

— Нету, — говорю, — все до единого пенязя.

— Смотри, врать грешно. Ты сам меня учил. Ну, на первый раз достаточно. Теперь марш на Пидварки²⁶⁰! Теперь я им покажу, кто я таков. До свидания, маменька. Потрудитесь заплатить долг.

И с этим словом он вышел из школы. Прасковья Тарасовна еще раз проговорила:

— Зосю мой! Сыну мой единый! — и упала на постель, аки мертвая.

Оставя ее в беспамятстве, я пошел на хутор дать знать Савватию Никифоровичу о случившемся и просить помощи, но он, возвратясь из города, лег спать, того не зная, что матери дома нету: он думал, что она тоже спит. Когда я возвратился в школу, Прасковья Тарасовна уже сидела на кровати и тяжело плакала. Я не рассудил утешать ее в горести, а, засветивши свечу перед образом, начал читать акафист Божией матери Одигитрии. Она тоже встала на ноги и, горько плача, молилася. По акафисте прочел я еще канон той [же] Божией матери Одигитрии, а потом молитвы на сон грядущий и с коленопреклонением прочел молитву «Господи, не лиши мене небесных твоих благ»²⁶¹. По отпуске я молча вышел из школы, и когда возвратился, то она уже спала сном праведницы на моем старческом одре. Я тихо раскрыл Ефрема Сирина, и, охраняя сон праведницы, сидел я за книгою до самого утра.

Поутру пошли мы на хутор, и я рассказал Савватию Никифоровичу все случившееся в ночи. И на рассказ мой [он] только заплакал.

Вечеру того же дня получил он предписание от городничего произвести медицинское освидетельствование, по долгу уездного врача, над обезображенным телом, найденным в пустке покритки N. на Пидварках.

Прочитавши сие предписание, он молча посмотрел на Прасковью Тарасовну, а та залилась слезами и проговорила:

— Зосю мой, сыну мой единый!»

Между прочими мелкими событиями на хуторе сообщил мне почтенный мой сотоварищ и это довольно крупное событие, но сам Савватий не писал мне об этом ни слова, ни даже о том, что он занимает теперь место уездного врача в г. Переяславе.

Далеко, очень далеко от моей милой, моей прекрасной, моей бедной родины я люблю иногда, глядя на широкую безлюдную степь, перенестися мыслию на берег широкого Днепра и сесть где-нибудь, хоть, например, у Трахтемирове, под тенью развесистой вербы, смотреть на позолоченную закатом солнца панораму, а на темном фоне этой широкой панорамы, как алмазы, горят переяславские храмы Божии, и один из них ярче всех сверкает своею золотою головою. Это собор, воздвигнутый Мазепою. И много, много разных событий воскресает в памяти моей, воображая себе эту волшебную панораму.

Но чаще всего я лелею мое старческое воображение картинами золотоглавого, садами повитого и тополями увенчанного Киева. И после светлого, непорочного восторга, навеянного созерцанием красоты твоей неувядающей, упадет на мое осиротевшее старое сердце тоска, и я переносуся в века давноминувшие и вижу его, седовласого, маститого, кроткого старца с писаною большою книгою в руках²⁶², проповедующего изумленным дикарям своим и кровожадным и корыстолюбивым поклонникам Одина²⁶³. Как ты прекрасен был в этой ризе кротости и любомудрия, святой мой и незабвенный старче!

И мы уразумели твои кроткие глаголы и тебя, как старого и ненужного учителя, не выгнали и не забыли. А одели тебя, как Горыню-богатыря, в броню крепкую, сначала осурили твое кроткое сердце усобицами, кровосмешениями и братоубийствами, сделали из тебя настоящего варяга и потом уже надели броню и поставили сторожить поработенное племя и пришельцами поруганную, самим Богом завещанную тебе святыню.

Кто, посещая Киево-Печерскую лавру, не отдыхал на типографском крыльце, про того можно сказать, что был в Киеве и не видал киевской колокольни.

Мне кажется, нигде никакая внешность не дополнит так сердечной молитвы, как вид с типографского крыльца.

Я долго, а может быть, и никогда не забуду этого знаменитого крыльца.

Однажды я, давно когда-то, отслушав раннюю обедню в Лавре, вышел по обыкновению на типографское крыльцо. Утро было тихое, ясное, а перед глазами вся Черниговская губерния и часть Полтавской. Я хотя был тогда и не меланхолик, но перед такой величественной картиной невольно предался меланхолии. И только было начал сравнивать линии и тоны пейзажа с могущественными аккордами Гайдна²⁶⁴, как услышал тихо произнесенное слово: «Мамо!.. Мне, мамо, всегда кажется, что я на этом крыльце как бы слушаю продолжение обедни». Я оглянулся невольно. (Грешно прерывать нескромным взглядом такое прекрасное настроение человеческой души. Но я согрешил, потому что говор этот показался мне паче всякой музыки.) Говорившая была молодая девушка, стройная, со вкусом и скромно одетая, но далеко не красавица. А кого она называла «мамо» — это была женщина высокого роста, сухая, смуглая и когда-то блестящая красавица. Она была в черном шерстяном капоте или длинной блузе, опоясана кожаным поясом с серебряною пряжкой. Голова накрыта была, вместо обыкновенной женской шляпы, белым широким, без всяких украшений чепцом. Я, не знаю почему-то, не предложил им скамейку, а они, тоже не знаю почему, с минуту молча посмотрели на пейзаж и ушли. Я тоже встал и ушел за ними. Они прошли лаврский двор, тихо разговаривая между собою, и вышли в святые ворота Николы Святоши²⁶⁵, и я за ними. Они вышли из крепости, и я за ними. Они пошли по направлению к «Зеленому трактиру»²⁶⁶, и я за ними. Они вошли в ворота трактира, и я тут только опомнился и спросил у самого себя, что я делаю? И, не решивши вопроса, я вошел в трактир и стал разбирать иероглифы, выведенные мелом на черной доске. По долгом разбирании таинственных знаков разрешил, наконец, тайну, что такой-то № занят такой-то с воспитанницею. Я, хотя и теперь даже не могу похвалиться знанием тактики в деле волокитства, а тогда и по давню. Разобравши хитрое изображение, я, и сам не знаю как, очутился в общей столовой и спросил себе, тоже не знаю, чего-то, а с слугою заговорил тоже о чем-то, случившемся когда-то. А после всего этого я зашел к здесь же, на Московской улице, квартировавшему моему знакомому, художнику Ш[евченко],

недавно приехавшему из Петербурга. Поговорил с ним об искусствах вообще, о живописи в особенности, и, думая пойти в лавру, я пошел в сад (здесь, видимо, предопределения дело). Хожу только я себе по большой аллее один-одинешенек (день был будний) и присяду иногда, чтобы полюбоваться старым Киевом, освещенным заходящим солнцем. Только смотрю, из-за липы, из боковой аллеи, выходят мои утренние незнакомки. Тут я встал, вежливо раскланялся и предложил скамейку отдохнуть немного, извиняясь, что поутру этого не сделал на типографском крыльце. Они молча сели. И сестра милосердия (как я тогда думал) спросила у меня:

— Вы, вероятно, живописец?

Я отвечал:

— Да.

— И рисуете виды Киева?

Я отвечал:

— Да.

После длинной паузы она спросила:

— Вы давно уже в Киеве?

Я отвечал:

— Давно!

— Нарисуйте для меня этот самый вид, которым мы теперь любуемся, и пришлите в «Зеленый трактир» в № N. N.

Рисунок акварельный был у меня давно начат. Я его тщательно окончил и на первом плане между липами нарисовал моих незнакомок и себя тоже нарисовал, сидящего на скамейке в поэтическом положении, в соломенном брыле.

На другой день поутру я сидел с оконченным рисунком на типографском крыльце и дожидался моих незнакомок, как будто они мне велели самому принести рисунок не в «Зеленый трактир», а на типографское крыльцо. Не успел я помечтать хорошенько, как незнакомки мои явились.

— А! Вы уже здесь? — почти воскликнула старшая.

— Здесь, — ответил я.

— Давно?

— Давно, — ответил я.

— Да и портфель с вами. Вы, верно, рисовали?

— Нет, не рисовал! — И вынул из портфеля рисунок, заказанный ею вчера. Она долго молча смотрела на рисунок и на меня, потом взяла мою руку, крепко пожала и сказала:

— Благодарю вас. И будемте знакомыми, хорошими приятелями, а если можно, друзьями. А это, кажется, воз-

можно! — прибавила она, глядя на свою молодую подругу. — Сядемте, отдохнем немного, — сказала она. И мы все трое сели. После непродолжительного молчания она обратилась ко мне и сказала: — А знаете ли, Глафира у меня выиграла сегодня пари. Мы с нею вчера спорили. Я уверяла ее, что вы идиот, а она доказывала противное!

— Благодарю вас, — сказал я младшей, а старшей сказал: — Не стоит благодарности, — после чего мы все расхохотались и сошли с типографского крыльца.

Следующую осень прожил я у них в деревне и уже называл их своими родными сестрами. А к концу осени старшую называл уже мамою, а меньшую невестою. Я совершенно был счастлив. Весной они приехали в Киев, но, увы! меня там уже не было. Я далеко уже был весною и о мелькнувшей радости вспоминал, как о волшебном очаровательном сне.

Вот почему так люблю мне вспоминать о типографском крыльце.

Много лет и зим пролетело после этого события над моею одинокою, уже побелевшею головою. Я опять в Киеве и опять посещаю заветное крыльцо. И теперь, накануне праздника Успения Богородицы, после ранней обедни, вышел я на типографское крыльцо и, любуясь пейзажем, вспоминал то счастливое, давно мелькнувшее счастье и как бы слушал голос ангела, произносящего слово «мамо». Я так предался воспоминанию, что мне как бы действительно послышалось это детское милое слово, так живо, что я оглянулся. И представьте мое изумление: из коридора на крыльцо выходила Прасковья Тарасовна, а за нею, как журавль, шагал друг мой и сотоварищ Степан Мартынович, но таким щеголем, что если бы не жиденская белая борода, то я подумал бы, что он просто жениться приехал в Киев. Сертук на нем длинный из гранатового дорогого сукна, шляпа черная пуховая с широкими полями, сапоги, правда, личные, но тщательно вычищенные, а патерица просто архиерейская, с серебряным набалдашником. Франт, да и только.

После первых приветствий и лобызаний я усадил их на скамейку и спросил, давно ли они в Киеве.

— Уже третий день, — отвечал Степан Мартынович, — и привезли вам письмо от Савватия Никифоровича, та не можем найти Рейтарскую улицу²⁶⁷, она где-то на старом Киеве, а мы еще там не были. Сегодня думаем идти на акафист В[арвары]-в[еликомученицы], а завтра, если Господь даст,

приобщимся святых таин Христовых здесь, в лавре. И тогда уже думали искать Рейтарскую улицу. А Господь дал так, что и искать ее не нужно: вы сами нам ее покажете. Письмо бы я вам и теперь отдал, да оно у меня в шкатулке на квартире. А квартира наша здесь же, на Печерском, в доме мещанки Сиволапихи.

Я, слушая этот монолог, смотрел на Прасковью Тарасовну. Она сидела, закрывши очи, и казалась мне уснувшей страдальцей. На кротком лице ее выражалось так много сердечного горя, что я не мог смотреть на нее и обратился с новым вопросом к Степану Мартыновичу:

— Ну, что у вас хорошего на хуторе творится?

— Хвала милосердому Богу, все хорошо и все благополучно. Скоро думаем совершить бракосочетание. Но об этом вам сам Савватий Никифорович подробно пишет.

— Куда же намерены теперь идти?

— А мы думаем, если Господь благословит, поклониться святым угодникам печерским. Только теперь тесно. И мы подождем, пока благочестивые поклонники выйдут из пещер, и тогда думаем просить отца ключаря повести нас самому или же послать с нами кого из братии.

Мне был знаком отец Досифей²⁶⁸, настоятель больничного монастыря, и я отправился к нему просить оказать нам великую услугу и просить кого следует, чтобы позволено было посетить нам пещеры не в числе многочисленных богомольцев. Просьба моя была уважена, и с нами послали в провожатые маститого старца отца Иоакима²⁶⁹.

Поклонившись святым угодникам печерским, мы отправились на квартиру. Взявши письмо, я оставил своих приятелей, и пошел домой, и по обыкновению зашел в сад, сел на своей любимой скамейке, и, раскрывши письмо, читал вот что:

«Бесценный друже отца моего и мой заступниче и покровителю.

Простите меня великодушно за мое долгое молчание, ничем не извиняющее мою ленивую натуру. И то правда, что писать письмо без содержания — то же самое, что переливать из пустого в порожнее. Правда, материалы случались для откровенного дружеского письма, но материалы такого рода, что не подымалось перо сообщать их кому бы то ни было. Теперь же грустные тяжелые тучи скрываются за горы и на горизонте показывается блестящая Аврора, пред-

шественница моего светлого, невозмутимого счастья. Проще сказать, я женюсь. Невеста моя живет теперь с своею матерью в школе доброго моего будущего посаженного отца Степана Мартыновича и дожидает вашего благословения. Приезжайте, мой благодетелю, и благословите ее, сироту, на великий путь новой улыбающейся жизни! У нее, как у меня, отца нету, только мать осталась. И мы, с согласия матерей наших, решили, чтобы ее благословили вы, а меня — мой единственный, благородный мой друг и наставник Степан Мартынович. Приезжайте хоть только взглянуть на мою прекрасную невесту.

По обязанности уездного медика я часто теперь хутор наш передаю во владение Степана Мартыновича и, кажется, скоро совсем его передам.

Однажды по обязанностям службы я еду проселочною дорогою. Грязь была, лошадка обывательская едва передвигала ноги; смеркало, дождик накрапал — словом, перспектива была неотрадная. Возница мой, тоже не видя в будущем ничего отрадного, предложил мне подночевать.

— Да где же, — говорю я, — серед шляху, что ли?

— Крый Боже, серед шляху! Нехай ляхи, татары ночуют в таку непогодь серед шляху. А мы звернемо. Он бачите лисок?

— Бачу, — говорю я.

— Отже в тим лиску есть хутир пани Калытыхи. От вона нас и впустит ночувать.

— Добре, — говорю я, — звертай з шляху!

— Стривайте, отут буде шляшок.

Проехавши с полверсты, я увидел едва заметную дорожку, ведущую к сказанному хутору. Мы поехали по этой едва заметной дорожке и вскоре очутились в лесу. Возница мой начал насвистывать какую-то заунывную песню, а я задумался бог знает о чем.

— Сей лис зоветься, пане, Лапын риг, — проговорил возница, — а за що його так зовуть, то бог його знае. Брешуть стари люде, що тут жив колысь давно розбойнык Лапа и що вельки сокровыща поховав тут у озерах. И стари люды говорят, що як высохнуть ти болота та озера, то можна буде мишкамы золото носыть. Бог его знае, колы-то те буде. А он и хутир.

Действительно, огонь показался между деревьями, и вскоре мы подъехали к затворенным воротам. Собаки страшным

даем нас встретили, потом раздался женский, довольно грубый голос:

— Кто тут?

— Благословить, матушка, переночувать на вашем хуторе, — отвечал мой возница.

— Боже благословы, тилько сами вже одчиняйте ворота, бо мои наймиты вечеряють, им никола, а я не в сылах.

Возница мой слез с телеги, отворил ворота, втащил меня с телегою и своею лошадкою на двор и снова затворил ворота. И, обращаясь к хозяйке, сказал:

— Добрывечир, матушко.

— Добрывечир, добрый чоловиче. Видкиля Бог несе?

— Та от везу панка з Глымязова. Та бачите, яка непогодь.

Я тоже подошел к хозяйке и сказал:

— Позвольте, если можно, переночевать у вас.

— Извольте, с большим удовольствием, — отвечала она мне с едва заметным малороссийским акцентом. — Прошу покорно в комнату.

Я взошел на крылечко. На пороге меня встретила девушка со свечой в руке, по-крестьянски одетая, но опрятно и даже изысканно. Отступая назад в комнату, она сказала чисто по-русски: «Прошу покорно!» Из чего я заметил, что это не служанка.

Войдя в комнату, мы остановились друг против друга и простояли до тех пор, пока не вошла хозяйка хутора в комнату и не сказала:

— Наташа, что же ты не просишь гостя садиться? Стоит себе со свечою, как пономарь. Рекомендую вам, это полтавская институтка. Прошу покорно, садитесь! И бог их знает, чему они их учат в том институте! Ну, я уже по хозяйству у своей и не спрашиваю, да хоть бы человека чужого умела привитать. А то стоит себе!

Потом обратилась она к девушке, сказала ей что-то шепотом, и та вышла в другую комнату. Хозяйка ушла вслед за нею, сказавши:

— Извините нас!

Я между тем стал осматривать комнату. Комната была для хутора довольно большая и по величине своей низкая, но чистая и опрятная; мебель старинная и разнохарактерная; на стене висел в черной деревянной раме портрет Богдана Хмельницкого, а на круглом столе, рядом с каким-то

вязаньем, лежала книжка «О[течественных] з[аписок]», развернутая на «Давиде Копперфильде»²⁷⁰. В это время вошла хозяйка. Я теперь только обратил на нее должное внимание. Это была женщина высокого роста, полная не до безобразия, с лицом довольно еще молодежым и добродушным. Одета она была на манер богатой мещанки или солидной попадьи. А если б у нее на голове вместо платка был кораблик²⁷¹, то я подумал бы, что это явилась передо мною с того света какая-нибудь сотничиха или полковница.

— Что это вы, — сказала она, снявши со свечи, — любопытствуете, что читает моя Наташа? Да, она у меня, слава Богу, большая охотница читать. Да и меня на старости лет приучила, так что мне теперь и скучно сидеть за работой без чтения. Думаю на будущий год выписать еще «Современника»²⁷², а то одной книги в месяц для нас мало, мы ее наизусть выучиваем.

Вскоре был подан чай, то есть самовар. А вслед за самоваром вышла и Наташа, одетая уже барышнею.

— Не втерпила-таки... — проговорила мать, улыбнувшись, и потом прибавила: — Наливай же чаю, Наталочко. Я ее, знаете, приучаю понемногу к хозяйству, — сказала она, обращаясь ко мне.

— И прекрасно делаете, — ответил я. — Зачем они только костюм переменили? Им наш народный костюм к лицу.

— Мне она сама больше нравится в простом платье, так вот подите поговорите с нею.

Наташа краснела, краснела и, наконец, покраснела, как вишня, и выбежала из комнаты.

— Ах ты, бессережная! — проговорила ей мать вслед и принялася сама разливать чай.

Незнакомки мои принадлежали к числу тех немногих людей, с которыми сходишься при первом свидании. В продолжение трех часов я с ними совершенно освоился и со всеми подробностями узнал их домашний быт, склонности, привычки, доходы и расходы и даже часть их биографий.

Елена Петровна Калыта, вдова небогатого помещика нашего уезда, воспитывалась тоже в институте, только хутор, как говорит она, перевоспитал ее по-своему.

— А когда Наташа родилась у нас, то мы с покойным моим Яковом того же дня положили, чтобы каждый год уделять из наших бедных доходов маленькую сумму собственно

для воспитания Наталочки. От и воспитали, — прибавила она шутя, — а она не умеет и чаю налить.

После ужина я с ними простился, чтобы завтра с рассветом пуститься в дорогу.

И действительно, перед восходом солнца я оставил хутор. Меня проводило за ворота стадо индеек и стадо гусей; кроме их, никто еще на хуторе не шевелился. Лошадки отдохнули, возница мой повеселел и, еще не садясь в телегу, насвистывал какую-то песенку.

Выехавши за ворота, он поворотил вправо, а мне казалось, что нужно взять влево. Но так как вчера ночью приехали на хутор, то я и не мог утвердительно сказать, которая наша дорога. А потому и рассудил положиться на опытность возницы, говоря сам себе: «Он же меня завез на хутор, он и вывезет». Пустив вожжи, словоохотливый возница, после панегирика хозяйке хутора и ее дочке, стал мне описывать ее богатство:

— Оце все, що тилько оком скинеш лису, все ии. А лис-то, лис мыленный: дуб, наголо дуб, хоч бы тоби одна погана осыка. Та що тут лис? А други добра, а степы, а озера, а ставы та млыны! Та що й казать! Сказано, пани — так пани и есть. А ще я вам скажу... — Тут лошади остановились. Возница, увлекшись рассказом, не посмотревши вокруг себя, прикрикнул на лошадей, лошади дернули, и задняя ось отскочила, а я вывалился с телеги. Тогда он закричал:

— Прруу, скажени! — И, посмотревши вокруг, проговорил: — От тоби й на... Дывыся, проклятый пень де став: якраз посеред шляху. Я ще вчора думав, що мы в цим диявольским лиси де-небудь та зачепимось. Воно так и сталося.

— Що ж мы тепер будемо робыть? — спросил я.

— А бог его знае, що тут робыть! — И, подумавши, прибавил: — Эх, головко бидна, сокиры нема, а то б повалыв дуба — от тоби и вись. Вернемося на хутир, там чи не дамо якои рады.

Я обрадовался, не знаю почему, этой благой идее и, разумеется, беспрекословно изъявил согласие. И, пока возница укладывал колесо на телегу, я тихо пошел между деревьями по направлению к хутору.

Солнце уже прорезывало золотыми полосками чащу леса, когда я подошел к живой изгороди хутора. Тут я остановился, чтобы подумать, в которой руке я оставил дорогу. В эту минуту разлился как-то чудно по лесу прекрасный девичий

голос. У меня сердце замерло, и я как окаменелый стоял и долго не мог вслушаться в мелодию. Голос ко мне близился, я уже стал разбирать слова песни:

Ой ты, козаче, ты, зеленый барвиночку!

Хто ж тобі постеле в поли билую постиленьку²⁷³?

Голос становился слабее и слабее и, наконец, совсем замолк. Я, освободившись от обаяния лесной музыки, пошел около изгороди и вскоре очутился на хуторе. Первое, что мне попалося на глаза, это была выходящая из садовой калитки Наташа. Она мне показалась настоящей богиней цветов: вся голова в цветах, между волосами, вместо жемчугу, бусы из белых черешень. Будь она одета барышней, эффект был бы не полный, но к наряду крестьянки так шли эти огромные цветы и черешневые бусы, что пестрее, гармоничнее и прекраснее я в жизнь свою ничего не видывал. Она, с минуту простоявши, исчезла за калиткой, а на крыльце показалась мать, одетая по-вчерашнему. Увидя меня, она громко засмеялась и проговорила:

— Что, далеко уехали?

Я приветствовал ее с добрым утром и вошел на крыльцо.

— Что, небось с нами не скоро разделаетесь? — говорила она, смеясь. — Прошу покорно, — прибавила она, указывая на скамейку. Я сел. — Наталочко! — закричала она. — Скажи Одарци, нехай самовар вынесе сюди, на ганок! Я с нею так привыкла к своему простому языку, что иногда и гостей забываю!

— Я сам чрезвычайно люблю наш язык, особенно наши прекрасные песни!

Вслед за Одаркою, выносившею самовар, потупя голову, скромно выступала зардевшаяся Наташа.

— Слышишь, Наталочко, они тоже любят наши песни! А уж она у меня так и во сне их, кажется, поет. И, знаете ли, ни одного романса не знает. По возвращении с Полтавы пела, бывало, иногда какой-то «Черный цвет»²⁷⁴, а теперь и тот забыла.

Я рассеянно слушал и любовался Наташей, и мне почти досадно было, зачем она опять нарядилась барышней.

— Ах я божевильная! — воскликнула вдруг хозяйка. — А ты, Наталочко, и не напомнишь. Ведь сегодня суббота. А мы в субботу собирались ехать в Переяслав... Одарко!

Служанка появилась в дверях, сказавши тихо:

— Чого?

— Скажи Корниеву, щоб бричку лагодыв и кони годував. А пообидавши, рушимо в дорогу.

— Добре, — сказала Одарка и скрылась.

— Как же это хорошо, что я вовремя вспомнила. Если вы не торопитесь, то пообедайте с нами и будьте нашим кавалером до города.

— Даже и в городе, если вам угодно.

До обеда я гулял с Наташей в саду и около хутора, осматривали и критиковали их уютный, прекрасный хутор. Показывала она мне в саду и собственное хозяйство, т. е. цветник. Правда, в нем не было больших редкостей, зато была чистота, какой не найдете и у голландского цветовода. Я с наслаждением смотрел на ее незатейливый цветник.

— Я маме, — говорила она самодовольно, — я маме каждое утро с мая и до октября месяца приношу букет цветов. А барвинок у нас зеленеет до глубокой осени. А с весны так он еще под снегом зеленеть начинает. Я ужасно люблю барвинок.

— Да, барвинок превосходная зелень. А имеете ли вы плющ?

— Нет, не имеем.

— Так я обещаю вам несколько отсадков.

— Благодарю вас.

Я только вслух обещал ей плющ, а втихомолку обещал много разных цветов и даже выписать цветочных семян из Риги, но, не знаю почему, мне не хотелось сказать ей об этом.

После обеда без особенных сборов мы сели в бричку, а Одарку усадили в мою реставрированную телегу и пустились в путь. К вечеру мы были уже в Переяславе, и мне большого труда стоило залучить моих новых знакомок к себе на хутор. Наконец, они согласились. Они погостили у нас два дни и так подружились с матерью, что расстались со слезами. Маменька была в восторге от своих друзей и в продолжение этих двух дней была бы совершенно счастлива, если бы не свежее воспоминание о покойном Зосе, которое не дает ей покою ни днем, ни ночью.

Взаимные наши посещения продолжались без малого год и кончились тем, что я уже другой месяц в роли жениха и совершенно счастлив. Приезжайте же, благословите

мое счастье. А чтобы не откладывать в долгий карман, то соберитесь на скорую руку и приезжайте вместе с маменькой и моим посаженным отцом и другом Степаном Мартыновичем. Приезжайте, незабвенный мой, искренний друге. Много не пишу вам, собственно потому, чтобы удивить вас прекрасною неожиданностью.

До свидания.

*Ваш почтительный сын и искренний друг
С. Сокира».*

Сборы в дорогу старого холостяка немногосложны. Ярема мой все устроил, а я только потрудился влезть на нетычанку, и мы в дороге.

Вслед за мною приехала на хутор и Прасковья Тарасовна с своим чичероне Степаном Мартыновичем. К свадьбе было все приготовлено, и мы в первое же воскресенье поехали к заутрене, потом к обедне в церковь Покрова и после обедни скрутили с Божиим благословением наших молодых и задали пир на всю переяславскую палестину, словом, пир такой, что Степан Мартынович, несмотря на свои лета и сан, ни даже на свой образ, пустился танцевать журавля.

После свадьбы я прожил еще недели две в школе Степана Мартыновича и был свидетелем полного счастья своих названных детей.

Прасковья Тарасовна вполне разделяла мою радость, только иногда, глядя на юную прекрасную подругу своего Савватия, шепотом сквозь слезы повторяла: «Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!»

20 июля [1855]

ХУДОЖНИК

25 января 1856

Великий Торвальдсен начал свое блестящее артистическое поприще вырезыванием орнаментов и тритонов с рыбьими хвостами для тупоносых копенгагенских кораблей¹. Герой мой тоже, хотя и не так блестящее, но тем не менее артистическое поприще начал растиранием охры и мумии в жерновах и крашеньем полов, крыш и заборов. Безотрадное, безнадежное начинание. Да и много ли вас, счастливых гениев-художников, которые [иначе] начинали? Весьма и весьма немного. В Голландии, например, во время самого блестящего золотого ее периода Остаде², Бергем³, Теньер⁴ и целая толпа знаменитых художников (кроме Рубенса⁵ и Ван-Дейка⁶) в лохмотьях начинали и кончали свое великое поприще. Несправедливо было бы указывать на одну только меркантильную Голландию. Разверните Вазари⁷ и там увидите то же самое, если не хуже. Я говорю потому хуже, что тогда даже политика наместников святого Петра требовала изящной декорации для ослепления толпы и затмения еретического учения Виклефа⁸ и Гуса⁹, уже начинавшего воспитывать неустрашимого доминиканца Лютера¹⁰. И тогда, говорю, когда Лев X¹¹ и Леон II¹² спохватились и сыпали золото встречному и поперечному маляру и каменщику, и в то золотое время умирали великие художники с голоду, как, например, Корреджио¹³ и Цампиери¹⁴. И так случилось (к несчастью, весьма нередко) всегда и везде, куда только проникало божественное животворящее искусство!

[Случается] и [в] наш девятнадцатый просвещенный век, век филантропии и всего клонящего[ся] к пользе человечества, при всех своих средствах о[т]странить и укрыть жертвы Карающей богине обреченной.

За что же, вопрос, этим олицетворенным ангелам, этим представителям живой добродетели на земле, выпадает почти

всегда такая печальная, такая горькая доля? Вероятно, за то, что они ангелы во плоти.

Эти рассуждения ведут только к тому, что отдаляют от читателя предмет, который я намерен ему представить как на ладони.

Летние ночи в Петербурге я почти всегда проводил на улице или где-нибудь на островах, но чаще всего на академической набережной. Особенно мне нравилось это место, когда Нева спокойна и, как гигантское зеркало, отражает в себе со всеми подробностями величественный портик Румянцовского музея¹⁵, угол сената и красные занавеси в доме графини Лаваль¹⁶. В зимние длинные ночи этот дом освещался внутри, и красные занавеси как огонь горели на темном фоне, и мне всегда досадно было, что Нева покрыта льдом и снегом и декорация теряет свой настоящий эффект.

Любил я также летом встречать восход солнца на Троицком мосту¹⁷. Чудная, величественная картина!

В истинно художественном произведении есть что-то обаятельное, прекраснее самой природы, — это возвышенная душа художника, это божественное творчество. Зато бывают и в природе такие чудные явления, перед которыми поэт-художник падает ниц и только благодарит Творца за сладкие, душу чарующие мгновения.

Я часто любовался пейзажами Щедрина¹⁸, и в особенности пленяла меня его небольшая картина «Портичи перед закатом солнца». Очаровательное произведение! Но оно меня никогда не очаровывало так, как вид с Троицкого моста на Выборгскую сторону перед появлением солнца.

Однажды, насладившись вполне этую нерукотворенною картиною, я прошел в Летний сад¹⁹ отдохнуть. Я всегда, когда мне случалось бывать в Летнем саду, не останавливался ни в одной аллее, украшенной мраморными статуями: на меня эти статуи делали самое дурное впечатление, особенно уродливый Сатурн, пожирающий такое же, как и сам, уродливое свое дитя²⁰. Я проходил всегда мимо этих неуклюжих богинь и богов и садился отдохнуть на берегу озера и любовался прекрасною гранитною вазою и величественною архитектурою Михайловского замка²¹.

Приближаясь к тому месту, где большую аллею пересекает поперечная аллея и где в кругу богинь и богов Сатурн пожирает свое дитя, я чуть было не наткнулся на живого

человека в тиковом грязном халате, сидящего на ведре, как раз против Сатурна.

Я остановился. Мальчик (потому что это, действительно, был мальчик лет четырнадцати или пятнадцати) оглянулся и начал что-то прятать за пазуху. Я подошел к нему ближе и спросил, что он здесь делает.

— Я ничего не делаю, — отвечал он застенчиво. — Иду на работу, да по дороге в сад зашел. — И, немного помолчав, прибавил: — Я рисовал.

— Покажи, что ты рисовал.

И он вынул из-за пазухи четвертку серой писчей бумаги и робко подал мне. На четвертке был назначен довольно верно контур Сатурна.

Долго я держал рисунок в руках и любовался запачканным лицом автора. В неправильном и худошавом лице его было что-то привлекательное, особенно в глазах, умных и кротких, как у девочки.

— Ты часто ходишь сюда рисовать? — спросил я его.

— Каждое воскресенье, — отвечал он. — А если близко где работаем, то и в будни захожу.

— Ты учишься малярному мастерству?

— И живописному, — прибавил он.

— У кого же ты находишься в ученьи?

— У комнатного живописца Ширяева²².

Я хотел расспросить его подробнее, но он взял в одну руку ведро с желтой краской, а в другую желтую же обтертую большую кисть и хотел идти.

— Куда ты торопишься?

— На работу. Я и то уж опоздал, хозяин придет, так достанется мне.

— Зайди ко мне в воскресенье поутру, и если есть у тебя какие-нибудь рисунки своей работы, то принеси мне показать.

— Хорошо, я приду, только где вы живете?

Я записал ему адрес на его же рисунке, и мы расстались.

В воскресенье поутру рано я возвратился из всеобщей своей прогулки, и в коридоре перед № моей квартиры встретил меня мой новый знакомый, уже не в тиковом грязном халате, а в чем-то похожем на сертук коричневого цвета, с большим свертком бумаги в руке. Я поздоровался с ним и протянул ему руку; он бросился к руке и хотел по-

целовать. Я отдернул руку: меня сконфузило его раболепие. Я молча вошел в квартиру, а он остался в коридоре. Я снял сертук, надел блузу, закурил сигару, а его все еще нет в комнате. Я вышел в коридор, смотрю, приятеля моего как не бывало. Я сошел вниз, спрашиваю дворника:

— Не видал такого?

— Видал, — говорит, — малого с бумагами в руке, выбежал на улицу.

Я на улицу — и след простыл. Мне стало грустно, как будто я потерял что-то дорогое мне. Скучал я до следующего воскресенья и никак не мог придумать, что бы такое значил внезапный побег моего приятеля. Дождавшись воскресенья, я во втором часу ночи пошел на Троицкий мост и, полюбовавшись восходом солнца, пошел в Летний сад, обошел все аллеи — нет моего приятеля. Хотел было уже идти домой, да вспомнил Аполлона Бельведерского, т. е. пародию на Бельведерского бога²³, стоящего особнячком у самой Мойки. Я туда. А приятель мой [тут] как тут. Увидя меня, он бросил рисовать и покраснел до ушей, как ребенок, пойманный за кражею варенья. Я взял его за дрожащую руку и, как преступника, повел в павильон. И мимоходом велел трактирному заспанному гарсону принести чаю.

Как умел, обласкал моего приятеля, и когда он пришел в себя, я спросил его, зачем он убежал из коридора.

— Вы на меня рассердились. И я испугался, — отвечал он.

— И не думал я на тебя сердиться, — сказал я ему. — Но мне неприятно было твое унижение. Собака только руки лижет, а человек этого не должен делать. — Это сильное выражение так подействовало на моего приятеля, что он опять было схватил мою руку.

Я рассмеялся, а он покраснел как рак и стоял молча, потупя голову. Напившись чаю, мы расстались. На расставаньи я сказал ему, чтобы он непременно зашел ко мне или сегодня, или в следующее воскресенье.

Я не имею счастливой способности сразу разгадывать человека, зато имею несчастную способность быстро сближаться с человеком. Потому, говорю, несчастную, что редкое быстрое сближение мне обходилось даром. В особенности с кривыми и косыми: эти кривые и косые дали мне знать себя. Сколько ни случалось мне с ними [встречаться], хоть бы один из них порядочный человек. Начисто дрянь. Или это уже мое такое счастье.

Всего третий раз я вижу моего нового знакомого, но я уже с ним сблизился, я уже к нему привязался, уже полюбил его. И действительно, в его физиономии было что-то такое, чего нельзя не полюбить. Физиономия его, сначала некрасивая, с часу на час делалась для меня привлекательнее. Ведь есть же на свете такие счастливые физиономии!

Я пошел прямо домой, бояся, чтобы не заставить приятеля своего ждать себя в коридоре. Что же? Вхожу на лестницу, а он уже тут. В том же коричневом сертучке, умытый, причесанный и улыбающийся.

— Ты порядочный скороход, — сказал я. — Ведь ты еще заходил к себе на квартиру? Как же ты успел так скоро?

— Да я торопился, — отвечал он, — чтобы быть дома, как хозяин от обедни придет.

— Разве у тебя хозяин строгий? — спросил я.

— Строгий и...

— И злой, ты хочешь сказать.

— Нет, скупой, хотел я сказать. Он побьет меня, а сам рад будет, что я опоздал к обеду.

Мы вошли в комнату. У меня стояла на мольберте [копия] с старика Веласкеца, что в Строгановой галерее²⁴, и он прильнул к ней глазами. Я взял у него из рук сверток, развернул и стал рассматривать. Тут было все, что безобразит Летний сад, от вертлявых, сладко улыбающихся богинь до безобразного Фраклита и Гераклита²⁵. А в заключение несколько рисунков с барельефов, украшающих фасады некоторых домов, в том числе и барельефы из купидонов, украшающие дом архитектора Монферрана, что на углу набережной Мойки и Фонарного переулка²⁶.

Одно, что меня поразило в этих более нежели слабых контурах, это необыкновенное сходство с оригиналами, особенно контуры Фраклита и Гераклита. Они выразительнее были своих подлинников, правда и уродливее, но все-таки на рисунки нельзя было смотреть равнодушно.

Я в душе радовался своей находке. Мне и в голову тогда не пришло спросить себя, что я буду делать с моими больше нежели ограниченными средствами с этим алмазом в кожуре? Правда, у меня и тогда мелькнула эта мысль, да тут же и окунулась в поговорку: «Бог не без милости, козак не без доли».

— Отчего у тебя нет ни одного рисунка оттушеванного? — спросил я его, отдавая ему сверток.

— Я рисовал все эти рисунки поутру рано, до восхода солнца.

— Значит, ты не видал их, как они освещаются?

— Я ходил и днем смотреть на них, но тогда нельзя было рисовать: люди ходили.

— Что же ты намерен теперь делать: остаться у меня обедать или идти домой?

Он, с минуту помолчав и не подымая глаз, едва внятно сказал:

— Я остался бы у вас, если вы позволите.

— А как же ты после разделаешься с хозяином?

— Я скажу, что спал на чердаке.

— Пойдем же обедать.

У мадам Юргенс²⁷ еще посетителей никого не было, когда мы пришли, и я был очень рад. Мне неприятно бы было встретить какую-нибудь чиновничью выутюженную физиономию, бессмысленно улыбающуюся, глядя на моего, далеко не щеголя, приятеля.

После обеда я думал было повести его в Академию²⁸ и показать ему «Последний день Помпеи»²⁹. Но не все вдруг. После обеда я предложил ему или идти погулять на бульвар, или читать книгу. Он выбрал последнее. Я же, чтобы проэкзаменовать его и в этом предмете, заставил читать вслух. На первой странице знаменитого романа Диккенса «Никлас Никльби»³⁰ я заснул. Но в этом ни автор, ни чтец не повинны: мне просто хотелось спать, потому что я ночью не спал.

Когда я проснулся и вышел в другую комнату, мне как-то приятно бросилась в глаза моя отчаянная студия. Ни окурков сигар, ни табачного пеплу нигде не было заметно, везде все было убрано и выметено, даже палитра, висевшая на гвозде с засохшими красками, и она была вычищена и блестяла как стеклушко; а виновник всей этой гармонии сидел у окна и рисовал маску знаменитой натурщицы Торвальдсена Фортунаты.

Все это было для меня чрезвычайно приятно. Эта услуга ясно говорила в его пользу. Я, однако ж, не знаю почему, не дал ему заметить моего удовольствия. Поправил ему контур, проложил тени, и мы отправились в «Капернаум» чай пить. «Капернаум» — сиречь трактир «Берлин» на углу Шестой линии и Академического переулка. Так окрестил его, кажется, Пименов³¹ во время своего удалого студенчества.

За чаем рассказал он мне про свое житье-бытье. Грустный, печальный рассказ. Но он рассказал его так наивно-просто, без тени ропота и укоризны. До этой исповеди я думал о средствах к улучшению его воспитания, но, выслушавши исповедь, и думать перестал. Он был крепостной человек.

Меня так озадачило это грустное открытие, что я потерял всякую надежду на его переобразование. Молчание длилось по крайней мере полчаса. Он разбудил меня от этого столбняка своим плачем. Я взглянул на него и спросил, чего он плачет? «Вам неприятно, что я...» Он не договорил и залился слезами. Я разуверил его как мог, и мы возвратились ко мне на квартиру.

Дорогой встретился нам старик Венецианов³². После первых приветствий он пристально посмотрел на моего товарища и спросил, добродушно улыбаясь:

— Не будущий ли художник?

Я сказал ему:

— И да, и нет.

Он спросил причину. Я объяснил ему шепотом. Старик задумался, пожал мне крепко руку, и мы расстались.

Венецианов своим взглядом, своим пожатием руки как бы упрекнул меня в безнадежности. Я ободрился и вспомнил некоторых художников, учеников и воспитанников Венецианова, увидел, правда, неясно, что-то вроде надежды на горизонте.

Protégé мой ввечеру, прощаясь со мною, просил у меня какого-нибудь эстампика срисовать. У меня случился один экземпляр, в то время только что напечатанный «Геркулес Фарнежский», выгравированный Служинским по рисунку Завьялова, и еще «Аполлино» Лосенка³³. Я завернул оригиналы в лист петергофской бумаги, снабдил его итальянскими карандашами, дал наставление, как предохранять их от жесткости, и мы вышли на улицу. Он пошел домой, а я к старику Венецианову.

Не место, да и некстати распространяться здесь об этом человеколюбце-художнике; пускай это сделает один из многочисленных учеников его, который подробнее меня знает все его великодушные подвиги на поприще искусства.

Я рассказал старику все, что знал о моей находке, и просил его совета, как мне действовать на будущее время, чтобы привести дело к желаемым результатам. Он, как человек практический в делах такого рода, не обещал мне и не сове-

товал ничего положительно. Советовал только познакомиться с его хозяином и по мере возможности стусевывать его настоящее жесткое положение.

Я так и сделал. Не дожидаясь воскресенья, я на другой день до восхода солнца пошел в Летний сад, но, увы! не нашел там моего приятеля; на другой день тоже, на третий тоже. И я решился ждать, что воскресенье скажет.

В воскресенье поутру явился мой приятель. И на спрос мой, почему он не был в Летнем саду, сказал мне, что у них началась работа в Большом театре (в то время Кавос переделывал внутренность Большого театра³⁴) и что по этой причине он теперь не может посещать Летний сад.

И это воскресенье мы провели с ним, как и прошедшее. Вечеру, уже расставаясь, я спросил имя его хозяина и в какие часы он бывает на работе.

На следующий же день я зашел в Большой театр и познакомился с его хозяином. Расхвалил безмерно его п р и п о р о х и³⁵ и потолочные чертежи собственной его композиции, чем и положил прочный фундамент нашему знакомству.

Он был цеховой мастер живописного и малярного цеха. Держал постоянно трех, иногда и более замарашек в тиковых халатах под именем учеников и, смотря по надобности, от одного до десяти нанимал, поденно и помесечно, костромских мужичков — маляров и стекольщиков, — следовательно, он был в своем цеху не последний мастер и по искусству, и по капиталу. Кроме помянутых материальных качеств, я у него увидел несколько гравюр на стенах Одрана³⁶ и Вольпато³⁷, а на комодe несколько томов книг, в том числе и «Путешествие Анахарсиса Младшего»³⁸. Это меня ободрило. Но, увы! когда я ему издалека намекнул о улучшении состояния его тиковых учеников, он удивился такой дикой мысли и начал мне доказывать, что это не повело бы ни к чему больше, как к собственной их же гибели.

На первый раз я ему не противоречил. Да и напрасно было б уверять его в противном. Люди материальные и неразвитые, прожившие свою скудную юность в грязи и испытаниях и кое-как выползшие на свет Божий, не веруют ни в какую теорию. Для них не существует других путей к благосостоянию, кроме тех, которые они сами прошли. А часто к этим грубым убеждениям примешивается еще грубейшее чувство: меня, дескать, не гладили по головке, за что я буду гладить?

Мастер живописного цеха, кажется, не чужд был этого античеловеческого чувства. Мне, однако, со временем удалось уговорить его, чтобы он не препятствовал моему protégé посещать меня по праздникам и в будни, когда работы не бывает, например зимою. Он хотя и согласился, но все-таки смотрел на это как на баловство, совершенно ни к чему не ведущее, кроме гибели. Он чуть-чуть не угадал.

Минуло лето и осень, настала зима. Работы в Большом театре были окончены, театр открыт, и очаровательница Тальони³⁹ начала свои волшебные операции. Молодежь из себя выходила, а старичье просто бесновалось. Одни только суровые матроны и отчаянные львицы упорно дулись и во время самых неистовых аплодисментов с презрением проносили: «Mauvais genre»⁴⁰. А неприступные пуританки хором воскликнули: «Разврат! разврат! открытый публичный разврат!» И все эти ханжи и лицемерки не пропускали ни одного спектакля Тальони. И когда знаменитая артистка согласилась быть *princesse Troubeckoу*⁴¹ — они первые оплакивали великую потерю и осуждали женщину за то, чего сами не могли сделать при всех косметических средствах.

Карл Великий (так называл покойный Василий Андреевич Жуковский покойного же Карла Павловича Брюллова)⁴² безгранично любил все прекрасные искусства, в чем бы они ни проявлялись, но к современному балету он был почти равнодушен, и если говорил он иногда о балете, то не иначе, как о сахарной игрушке. В заключение своего триумфа Тальони протанцовала качучу (в балете «Хитана»)⁴³. В тот же вечер разлетелась качуча по всей нашей Пальмире⁴⁴. А на другой день она уже владычествовала и в палатах аристократа, и в скромном уголке коломенского чиновника. Везде качуча: и дома, и на улице, и за рабочим столом, и в трактире, и... за обедом, и за ужином — словом, всегда и везде качуча. Не говорю уже про вечера и вечеринки, где качуча сделалась необходимым делом. Это все ничего, красоте и юности все это к лицу. А то почтенные матери и даже отцы семейств — и те туда же. Это просто была болезнь св. Витта⁴⁵ в виде качучи. Отцы и матери вскоре опомнились и нарядили в хитан своих едва начинавших ходить малюток. Бедные малютки, сколько вы слез пролили из-за этой проклятой качучи! Но зато эффект был полный, эффект, дошедший до спекуляции. Например, если у амфи-триона⁴⁶ не имелось собственного карапузика, то вечеринка украшалась карапузиком-хитаном, взятым напрокат.

Свежо предание, а верится с трудом.

В самый разгар качучемании посетил меня Карл Великий (он любил посещать своих учеников), сел на кушетке и задумался. Я молча любовался его умной кудрявой головой. Через минуту он быстро поднял глаза, засмеялся и спросил меня:

— Знаете что?

— Не знаю, — ответил я.

— Сегодня Губер (переводчик «Фауста») ⁴⁷ обещал мне достать билет на «Хитану». Пойдемте.

— В таком случае пошлите своего Лукьяна к Губеру, чтобы он достал два билета.

— Не сбегает ли этот малый? — сказал он, показывая на моего протеже.

— И очень сбегает, пишите записку.

На лоскутке серой бумаги он написал италианским карандашом: «Достань два билета. К. Брюллов». К этому лаконическому посланию я прибавил адрес, и Меркурий мой полетел.

— Что это у вас, модель или слуга? — спросил он, показывая на затворяющуюся дверь.

— Ни то, ни другое, — отвечал я.

— Физиономия его мне нравится: не крепостная.

— Далеко не крепостная, а между тем... — Я не договорил, остановился.

— А между тем, он крепостной? — подхватил он.

— К несчастью, так, — прибавил я.

— Барбаризм! — прошептал он и задумался. После минуты раздумья он бросил на пол сигару, взял шляпу и вышел, но сейчас же воротился и сказал: — Я дождусь его, мне хочется еще взглянуть на его физиономию. — И, закуривая сигару, сказал: — Покажите мне его работу!

— Кто вам подсказал, что у меня есть его работа?

— Должна быть, — сказал он решительно. Я показал ему маску Лаокоона, рисунок оконченный, и следок Микель-Анжело ⁴⁸, только проложенный. Он долго смотрел на рисунки, т. е. держал в руках рисунки, а смотрел — Бог его знает, на что он смотрел тогда. «Кто его господин?» — спросил он, подняв голову. Я сказал ему фамилию помещика. «О вашем ученике нужно хорошенько подумать. Лукьян обещался угостить меня ростбифом, приходите обедать. — Сказавши это, он подошел к двери и опять остановился: — Приведите его когда-нибудь ко мне. До свидания». И он вышел.

Через четверть часа возвратился мой Меркурий и объявил, что они, т. е. Губер, хотели сами зайти к Карлу Павловичу.

— А знаешь ли ты, кто такой Карл Павлович? — спросил я его.

— Знаю, — отвечал он, — только я его никогда в лицо не видел.

— А сегодня?

— Да разве это он был?

— Он.

— Зачем же вы мне не сказали, я хоть бы взглянул на него. А то я думал, так просто какой-нибудь господин. Не зайдет ли он к вам еще когда-нибудь? — спросил он после некоторого молчания.

— Не знаю, — сказал я и начал одеваться.

— Боже мой, Боже мой! Как бы мне на него хоть издали посмотреть. Знаете, — продолжал он, — я, когда иду по улице, все об нем думаю и смотрю на проходящих, ищу глазами его между ими. Портрет его, говорите, очень похож, что на «Последнем дне Помпеи»⁴⁹?

— Похож, а ты все-таки не узнал его, когда он был здесь. Ну, не горюй, если он до воскресенья не зайдет ко мне, то в воскресенье мы с тобой сделаем ему визит. А пока вот тебе билет к мадам Юргенс. Я сегодня дома не обедаю.

Сделавши такое распоряжение, я вышел.

В мастерской Брюллова я застал В. А. Жуковского и М. Ю. графа Вельегорского⁵⁰. Они любовались еще неоконченной картиной «Распятие Христа», писанной для лютеранской церкви Петра и Павла⁵¹. Голова плачущей Марии Магдалины уже была окончена, и В. А. Жуковский, глядя на эту дивную плачущую красавицу, сам заплакал и, обнимая Карла Великого, целовал его, как бы созданную им красавицу.

Нередко случалось мне бывать в Эрмитаже вместе с Брюловым. Это были блестящие лекции теории живописи. И каждый раз лекция заключалась Теньером и в особенности его «Казармой». Перед этой картиной надолго, бывало, он останавливался и после восторженного, сердечного панегирика знаменитому фламандцу говаривал:

— Для этой одной картины можно приехать из Америки.

То же самое можно теперь сказать про его «Распятие» и в особенности про голову рыдающей Марии Магдалины.

После объятий и поцелуев Жуковский вышел в другую комнату; Брюллов, увидевши меня, улыбнулся и пошел за Жуковским. Через полчаса они возвратились в мастерскую, и Брюллов, подойдя ко мне, сказал улыбаясь: «Фундамент есть». В это самое время дверь растворилась, и вошел Губер, уже не в путейском мундире, а в черном щегольском фраке. Едва успел он раскланяться, как подошел к нему Жуковский и, дружески пожимая ему руку, просил его прочитать последнюю сцену из «Фауста», и Губер прочитал. Впечатление было полное, и поэт был награжден искренним поцелуем поэта.

Вскоре Жуковский и граф Вельегорский вышли из мастерской, и Губер на просторе прочитал нам новорожденную «Терпсихору»⁵², после чего Брюллов сказал:

— Я решительно не еду смотреть «Хитану».

— Почему? — спросил Губер.

— Чтобы сохранить веру в твою «Терпсихору».

— Как так?

— Лучше верить в прекрасный вымысел, нежели...

— Да ты хочешь сказать, — прервал его поэт, — что мое стихотворение выше божественной Тальони. Мизинца! ногтя на ее мизинце не стоит, Богом тебе божусь. Да, я чуть было не забыл: мы сегодня у Александра едим макароны и стофатто с лакрима-кристи⁵³. Там будет Нестор, Миша и setera, setera... И в заключение Пьяненко⁵⁴. Едем! — Брюллов взял шляпу. — Ах, да! Я и забыл... — продолжал Губер, вынимая из кармана билеты. — Вот тебе два билета. А после спектакля к Нестору на биржу (так в шутку назывались литературные вечера Н. Кукольника).

— Помню, — отвечал Брюллов и, надевая шляпу, подал мне билет.

— И вы с нами? — сказал Губер, обращаясь ко мне.

— И я с вами, — ответил я.

— Едем! — сказал Губер, и мы вышли на коридор. Лукьян, затворяя двери, проворчал:

— Вот тебе и ростбиф!

После макарон, стофатто и лакрима-кристи компания отправилась на биржу, а мы, т. е. я, Губер и Карл Великий, пошли в театр. В ожидании увертюры я любовался произведениями моего protégé. (Для всех орнаментов и арабесок,

украшающих плафон Большого театра, рисунки были сделаны им по указаниям архитектора Кавоса. Это сообщил мне не сам он и не честолюбивый его хозяин, а машинист Карташов⁵⁵, который присутствовал постоянно при работах и по утрам рано угощал чаем моего протеже.) Я хотел было сказать Брюллову про арабески своего ученика, но увертюра грянула. Все, в том числе и я, устремил[и] глаза на занавесь. Увертюра кончилась, занавесь вздрогнула и поднялась. Начался балет. До качучи все шло благополучно, публика держала себя, как и всякая благовоспитанная публика. С первым ударом кастаньет все вздрогнуло и затрепетало. Аплодисменты тихо, как раскаты грома вдаль, пронеслись по зале, потом громче и громче, и — качуча кончена, — и гром разразился. Благовоспитанная публика, в том числе и я, грешный, взбеленилась, ревет, кто во что горазд: кто браво, кто да саро⁵⁶, а кто только стонет да ногами и руками работает. После первого припадка взглянул я на Карла Великого, а у него, бедного, пот катится — работает руками и ногами и что есть духу кричит: «Да саро!» Губер тоже. Я немного перевел дух, да и себе ну валять за учителем. Мало-помалу ураган начал стихать, и в десятый раз вызванная чаровница выпорхнула на сцену и после нескольких самых грациозных приседаний исчезла. Тогда Карл Великий встал, вытер пот с чела и, обращаясь к Губеру, сказал:

— Пойдем на сцену, познакомь меня с ней.

— Пойдем, — сказал Губер восторженно. И мы пошли за кулисы.

За кулисами уже роилась толпа поклонников, состоящая большею частию из почтенных лысин, очков и биноклей. Мы и себе пристроились к толпе. Не без труда просунулись мы в центр этой массы. И Боже, что мы там увидели! Порхающая, легкая, как зефир, очаровательница лежала в вольтеровских креслах с разинутым ртом и раздутыми, как у арабской лошади, ноздрями, а по лицу, как мутные ручьи весной, текут смешанные с потом белила и румяна.

— Отвратительно! — сказал Карл Великий и обратился вспять. Я за ним, а бедный Губер! Воистину бедный! Он только что кончил приличный случаю комплимент и, произнеся фамилию Брюллова, оглянулся вокруг себя, а Брюллов исчез. Не знаю, как он выпутался из беды.

Оставалось еще один акт балета, но мы оставили театр, чтобы не портить десерта капустой, как выразился Брюллов.

Не знаю, посещал ли он балет после «Хитаны», знаю только, что он никогда не говорил о балете.

Обращаюсь к моему герою. После слов, сказанных мне Брюлловым: «Фундамент положен», в воображении моем надежда начала принимать более определенные формы. Я начал думать, чем бы лучшим занять своего ученика. Домашние средства мои ничтожны. Я думал об античной галерее. Андрей Григорыч (смотритель галереи)⁵⁷, пожалуй, и согласился бы, да в галерее статуи так освещены, что рисовать невозможно. После долгих размышлений я с двугривенным обратился к живому Антиною, натурщику Тарасу⁵⁸, чтобы он в неклассные часы пускал моего ученика в гипсовый класс. Так и сделано. В продолжение недели (он и обедал в классе) нарисовал он голову Люция Вера⁵⁹, распутного наперсника Марка Аврелия⁶⁰, и голову «Гения», произведение Кановы⁶¹. Потом перевел я его в фигурный класс и велел ему на первый раз нарисовать анатомию с четырех сторон. В свободное время я приходил в класс и поощрял неутомимого труженика фунтом ситника и куском колбасы. А постоянно он обедал куском черного хлеба с водою, если Тарас воды принесет. Бывало, и я полюбуюсь Бельведерским торсом⁶², да не утерплю и сяду рисовать. Дивное, образцовое произведение древней скульптуры! Недаром слепой Микель-Анжело⁶³ ощупью восхищался этим куском отдыхающего Геркулеса. И странно. Некий господин Герсеванов⁶⁴ в своих путевых впечатлениях так художнически верно оценивает педантическое произведение Микель-Анжело «Страшный суд», фрески божественного Рафаэля и многие другие знаменитые произведения скульптуры и живописи, а в торсе Бельведерском видит только кусок мрамора, ничего больше. Странно!

После анатомии сделал он рисунок Германика и танцующего фавна⁶⁵. И в одно прекрасное утро я его представил Карлу Великому. Восторг его был неописанный, когда Брюллов ласково и снисходительно похвалил его рисунки.

Я в жизнь мою не видал веселее, счастливее человека, как он был в продолжение нескольких дней. «Неужели он всегда такой добрый, такой ласковый?» — спрашивал он меня несколько раз. «Всегда», — отвечал я. «И эта красная — любимая его комната?» — «Любимая», — отвечал я. «Все красное! Комната красная, диван красный. Занавеси у окна красные.

Халат красный, и рисунок красный! Все красное! Увижу ли я еще его когда-нибудь так близко?» И после этого вопроса он начинал плакать. Я, разумеется, не утешал его. Да и какое участие, какая утеха может быть выше этих счастливых, этих райских, божественных слез? «Все красное!» — повторял он сквозь слезы.

Красная комната, увешанная большею частию восточным дорогим оружием, сквозь прозрачные красные занавеси освещенная солнцем, меня, привыкшего к этой декорации, на минуту поразила, а ему она осталась памятною до гроба. После долгих и страшных испытаний забыл он все: и искусство, духовную жизнь свою, и любовь, отравившую его, и меня, искреннего друга своего, — все и все забыл, но красная декорация и Карл Павлович было его последним словом.

На другой день после этого визита встретился я с Карлом Павловичем, и он спросил у меня адрес, имя и фамилию его господина. Я сообщил ему. Он взял извозчика и уехал, сказавши мне:

— Вечером зайдите!

Вечеру я зашел.

— Это самая крупная свинья в торжевских туфлях⁶⁶! — этими словами встретил меня Карл Павлович.

— В чем дело? — спросил я его, догадавшись, о ком идет речь.

— Дело в том, что вы завтра сходите к этой амфибии, чтобы он назначил цену вашему ученику.

Карл Великий был не в духе. Долго он молча ходил по комнате, наконец плюнул и проговорил: «Вандализм! Пойдемте наверх», — прибавил он, обращаясь ко мне. И мы молча пошли в верхние комнаты, где помещались его спальня, библиотека и вместе столовая.

Он велел подать лампу. Просил меня читать что-нибудь вслух, а сам сел кончать рисунок — сепию «Спящая одалиска» для альбома, кажется, Владиславлева⁶⁷.

Мирные занятия наши, однако ж, продолжались недолго. Его, как видно, все еще преследовала свинья в торжевских туфлях.

— Пойдемте на улицу, — сказал он, закрывая рисунок.

Мы вышли на улицу, долго ходили по набережной, потом вышли на Большой проспект⁶⁸.

— Что, он у вас теперь дома? — спросил он меня.

— Нет, — отвечал я, — он у меня не ночует.

— Ну, так пойдёмте ужинать. — И мы зашли к Дели⁶⁹.

Я видел немало на своем веку разного разбора русских помещиков: и богатых, и средней руки, и хуторян. Видел даже таких, которые постоянно живут во Франции и в Англии и с восторгом говорят о благосостоянии тамошних фермеров и мужичков, а у себя дома последнюю овцу у мужика грабят. Видел я много оригиналов в этом роде. Но такого оригинала, русского человека, который бы грубо принял у себя в доме К. Брюллова, не видал.

Любопытство мое в сильной степени было возбуждено; я долго не мог заснуть, все думал и спрашивал сам себя, что это такое за свинья в торжевских туфлях. Любопытство мое, однако ж, охладело, когда я на другой день поутру стал надевать фрак. Благоразумие взяло верх. Благоразумие говорило мне, что эта свинья не такая интересная редкость, чтобы из-за нее жертвовать собственным самолюбием, хотя дело требовало и большей жертвы. Но вот вопрос: а если и я, по примеру моего великого учителя, не выдержу пытки? Тогда что?

Подумавши немного, я снял фрак, надел свое повседневное пальто и отправился к старику Венецианову. Он практик в подобных делах, ему, верно, не раз и [не] два приходилось иметь стычки с этими оригиналами, стычки, из которых он [выходил] с честью.

Венецианова я застал уже за работою. Он делал тушью рисунок собственной же картины «Мать учит дитя молиться Богу». Рисунок этот предназначался для альманаха Владиславлева «Утренняя заря»⁷⁰.

Я объяснил ему причину несвоевременного визита, сообщил адрес амфибии, и старик оставил работу, оделся, и мы вышли на улицу. Он взял извозчика и уехал, а я возвратился на квартиру, где уже и застал моего веселого счастливого ученика. Веселость его и счастливость как будто омрачались чем-то. Он был похож на человека, желающего поделиться с приятелем великою тайной, но и боится, чтобы эта тайна не сделалась не тайной. Прежде чем я снял пальто и надел блузу, я заметил, что с моим приятелем что-то так, да не так.

— Ну, что же у тебя новенького? — спросил я его. — Что ты делал вчера ввечеру? Как поживает твой хозяин?

— Хозяин ничего, — отвечал он запинаясь. — Я читал «Андрея Савояра»⁷¹, пока не легли спать. А потом зажег стеариновую свечу, что вы мне дали, и рисовал.

— Что же ты рисовал? — спросил я его. — С эстампа или так что-нибудь?

— Так, — сказал он краснея. — Я недавно читал сочинения Озерова, и мне понравился «Эдип в Афинах»⁷², так я пробовал компоновать...

— Это хорошо. Ты принес с собой свою композицию? Покажи мне ее.

Он вынул из кармана небольшой сверток бумаги и, дрожащими руками развертывая его и подавая мне, проговорил:

— Не успел пером обрисовать.

Это было первое его сочинение, которое с таким трудом решился он показать мне. Мне понравилась его скромность или, лучше сказать, робость. Это верный признак таланта. Мне понравилось также и самое сочинение его по своей несложности: Эдип, Антигона и вдали Полиник. Только три фигуры. В первых опытах редко встречается подобный лаконизм. Первоначальные опыты всегда многосложны. Молодое воображение не сжимается, не сосредоточивается в одно многоговорящее слово, в одну ноту, в одну черту. Ему нужен простор, оно парит и в парении своем часто запутывается, падает и разбивается о несокрушимый лаконизм.

Я похвалил его за выбор сцены, посоветовал читать, кроме поэзии, историю, а больше всего и прилежнее срисовывать хорошие эстампы, как, например, с Рафаэля, Вольпато⁷³ или с Пуссена, Одрана⁷⁴.

— И те, и другие есть у твоего хозяина, вот и рисуй в свободное время. А книги я тебе буду доставать. — И тут же снабдил его несколькими томами Гилиса («История Древней Греции»)⁷⁵.

— У хозяина, — проговорил он, принимая книги, — кроме тех, что на стенах висят, у него полная портфель эстампов, но он мне не позволяет рисовать с них: боится, чтобы я не испортил. Да... — продолжал он, улыбаясь, — я сказал ему, что вы водили меня к Карлу Павловичу и показывали мои рисунки и что... — тут он запнулся, — и что он... да, впрочем, я сам тому не верю.

— Что же? — подхватил я. — Он не верит, что Брюллов похвалил твои рисунки?

— Он не верит, чтобы я и видел Карла Павловича, и называл меня дураком, когда я его уверял.

Он хотел еще что-то говорить, как в комнату вошел Венецианов и, снимая шляпу, сказал усмехаясь:

— Ничего не бывало! Помещик как помещик! Правда, он меня с час продержал в передней. Ну, да это уж у них обычай такой. Что делать, обычай — тот же закон. Принял меня у себя в кабинете. Вот кабинет мне его не понравился. Правда, что все это роскошно, дорого, великолепно, но все это японски великолепно. Сначала я повел [речь] о просвещении вообще и о филантропии в особенности. Он молча долго меня слушал со вниманием и наконец прервал: «Да вы скажите прямо, просто, чего вы хотите от меня с вашим Брюлловым? Одолжил он меня вчера. Это настоящий американский дикарь!» И он громко захохотал. Я было сконфузился, но вскоре оправился и хладнокровно, просто объяснил ему дело. «Вот так бы давно сказали. А то филантропия! Какая тут филантропия! Деньги, и больше ничего! — прибавил он самодовольно. — Так вы хотите знать решительную цену. Так ли я вас понял?» Я ответил: «Действительно так». — «Так вот же вам моя решительная цена: 2500 рублей! Согласны?» — «Согласен», — отвечал я. «Он человек ремесленный, — продолжал он, — при доме необходимый...» И еще что-то хотел он говорить. Но я поклонился и вышел. И вот я перед вами, — прибавил старик улыбаясь.

— Сердечно благодарю вас.

— Вас благодарю сердечно! — сказал он, крепко пожмая мне руку. — Вы мне доставили случай хоть что-нибудь сделать в пользу нашего прекрасного искусства и видеть, наконец, чудака: чудака, который называет нашего великого Карла американским дикарем. — И старик добродушно засмеялся. — Я, — после смеха сказал он, — я положил свою лепту. Теперь за вами дело. А в случае неудачи я опять обращусь к Аглицкому клубу⁷⁶. До свидания пока.

— Пойдемте вместе к Карлу Павловичу, — сказал я.

— Не пойду, да и вам не советую. Помните пословицу: «Не вовремя гость хуже татарина». Тем паче у художника, да еще и поутру. Это бывает хуже целой орды татар.

— Вы меня заставляете краснеть за сегодняшнее утро, — проговорил я.

— Нисколько. Вы поступили как истинный христианин. Для труда и отдыха мы определили часы. Но для доброго дела нет назначенных часов. Еще раз сердечно благодарю вас за ваш сегодняшний визит. До свидания! Мы сегодня

обедаем дома. Приходите. Бельведерского если увидите, тащите и его за собой, — прибавил [он] уходя. Бельведерским называл он Аполлона Николаевича Мокрицкого⁷⁷, ученика Брюллова и страстного поклонника Шиллера.

На улице расстался я с Венециановым и пошел сообщить Карлу Павловичу результат собственной дипломатии. Но, увы! даже Лукьяна не нашел. Липин⁷⁸, спасибо ему, выглянул из кухни и сказал, что они ушли в портик. Я в портик — и там заперто. (Портиком называлось у нас здание за тепе-ришним академическим садом, где помещались мастерские Брюллова, барона Клодта⁷⁹, Заурвейда⁸⁰ и Басина⁸¹.) Через Литейный двор я вышел на улицу и, проходя мимо лавки Довициелли⁸², увидел в окне кудрявый профиль Карла Великого. Увидя меня, он вышел на улицу.

— Ну что? — спросил он.

— Где вы сегодня обедаете? — спросил я.

— Не знаю. А что?

— А вот что, — говорю я. — Пойдемте к Венецианову обедать, он вам такие чудеса расскажет про амфибию, каких вы, наверное, никогда не слыхали да никогда и не услышите.

— Хорошо, пойдем, — сказал он, и мы отправились к Венецианову.

За обедом старик рассказал нам историю своего сегодняшнего визита, и, когда дошла речь до американского дикаря, все мы захохотали, и обед кончился истерическим смехом.

Между Большим и Средним проспектом, в Седьмой линии, в доме Кастюрина, нанималась большая квартира Обществом поощрения художников для своих пяти пансионеров⁸³. Кроме комнат, занимаемых пансионерами, там еще были две учебные залы, украшенные античными статуями, как-то: Венерой Медициейской, Аполлино, Германиком и группю гладиаторов. Этот приют (вместо гипсового класса под покровительством Тараса-натурщика) я прочил для своего ученика. Кроме сказанных статуй, там был еще человеческий скелет, а познание скелета для него было необходимо; тем более, что он наизусть рисовал анатомическую статую Фишера, а о скелете не имел понятия.

С такою-то благою целью, на другой день после обеда у Венецианова, сделал я визит бывшему тогда секретарю Об-

щества В. И. Григоровичу⁸⁴ и испросил у него позволения моему ученику посещать пансионерские учебные залы.

Обязательный Василий Иванович дал мне в виде билета на вход записку к художнику Головне⁸⁵, живущему вместе с пансионерами в виде старшины.

Не следовало бы мне останавливаться [на таком] жалком явлении, как художник Головня. Но как он явление редкое, тем более редкое между художниками, то я и скажу о нем несколько слов.

Сильно, резко нарисованная фигура Плюшкина бледнеет перед этим антихудожником Головней. У Плюшкина, по крайней мере, была юность, а следовательно, и радость, хоть не полная, не ликующая радость, но все-таки радость, а у этого бедняка ничего и похожего не было на юность и на радость.

Он был пансионером Общества поощрения художников, и когда он, по конкурсу Академии художеств, должен был исполнить программу на вторую золотую медаль (сюжет программы был: Адам и Ева над трупом своего сына Авеля), для исполнения картины понадобилась женская модель; а ее в Петербурге не легко, а главное, не дешево достать можно. Парень смекнул делом и отправился к щедрому покровителю художников и тогдашнему президенту Общества поощрения художников Кикину⁸⁶ просить вспомоществования, т. е. денег для наемки натурщицы. И, получивши сторублевую ассигнацию, зашил ее в тюфяк, а первозданную красавицу написал с куклы, которую употребляют живописцы для драпировок.

Кто знает, что значит золотая медаль для молодого художника, тот поймет отвратительную душонку юноши-скареды. Перед ним Плюшкин просто мотыга.

Этому-то нравственному уроду представил я при записке моего нравственно прекрасного найденыша.

На первый раз я сам вынул из шкафа скелет, усадил его на стуле в позиции самого отчаянного кутилы и, легкими чертами назначивши общее положение скелета, предложил ученику своему нарисовать подробности.

Через два дня я с великим удовольствием сравнивал его рисунок с анатомическими литографированными рисунками Басина и находил подробности отчетливее и вернее. Но это, может быть, увеличительное стекло виновато, в которое я смотрел на своего найденыша. Как бы то ни было, только мне его рисунок нравился.

Он продолжал в разных положениях рисовать скелет и, под покровительством натурщика Тараса, статую повешенного Аполлоном Мидаса⁸⁷.

Все это шло своим чередом; и своим же чередом зима уходила, а весна близилась. Ученик мой заметно стал худеть, бледнеть и задумываться.

— Что с тобою? — я спрашивал его. — Здоров ли ты?

— Здоров, — отвечал он печально.

— Чего же ты плачешь?

— Я не плачу, я так. — И слезы ручьем лилися из его выразительных прекрасных очей.

Я не мог разгадать, что все это значит? И начинал уже я думать, не стрела ли злого Амура поразила его непорочное молодое сердце; как в одно почти весеннее утро он сказал мне, что ежедневно посещать меня не может, потому что с понедельника начнутся работы и он должен будет опять заборы красить.

Я как мог ободрял его. Но о намерениях Карла Павловича не говорил ему ни слова, и более потому, что сам я положительно ничего такого не знал, на чем бы можно было основать надежду.

В воскресенье посетил я его хозяина с тем намерением, что нельзя ли будет заменить моего ученика обыкновенным простым маляром.

— Почему нельзя? Можно, — отвечал он. — Пока еще живописные работы не начались. А тогда уж извините. Он у меня рисовальщик. А рисовальщик, вы сами знаете, что значит в нашем художестве. Да вы как полагаете? — продолжал он. — В состоянии ли он будет поставить за себя работника?

— Я вам поставлю работника.

— Вы? — с удивлением спросил он меня. — Да из какой радости, из какой корысти вы-то хлопчете?

— Так, — отвечал я. — От нечего делать. Для собственного удовольствия.

— Хорошо удовольствие! Зря сорить деньгами. Видно, у вас их и куры не клюют? — И, улыбнувшись самодовольно, он продолжал: — Например, по сколько вы берете за портрет?

— Каков портрет, — отвечал я, предугадывая его мысль. — И каков давалец. Вот с вас, например, я более ста рублей серебра не возьму.

— Ну, нет, батюшка, с кого угодно берите по сту целковых, а с нас кабы десяточек взяли, так это еще куда ни шло.

— Так лучше же мы сделаем вот как, — сказал я, подавая ему руку. — Отпустите мне месяца на два вашего рисовальщика, вот вам и портрет.

— На два? — проговорил он в раздумьи. — На два много, не могу. На месяц можно.

— Ну, хоть на месяц. Согласен, — сказал я. И мы, как барышники, ударили по рукам.

— Когда же начнем? — спросил он меня.

— Хоть завтра, — сказал я, надевая шляпу.

— Куда же вы? А могорычу-то?

— Нет, благодарю вас. Когда кончим, тогда можно будет. До свидания!

— До свидания!

Что значит один быстрый месяц свободы между многими тяжелыми, длинными годами неволи? В четверике маку одно зернышко. Я любовался им в продолжение этого счастливого месяца. Его выразительное юношеское лицо сияло такою светлою радостью, таким полным счастьем, что я, прости меня Господи, позавидовал ему. Бедная, но опрятная и чистая его костюмировка казалась мне щегольской, даже фризовая шинель его казалась мне из байки, и самой лучшей рижской байки. У мадам Юргенс во время обеда никто не посматривал искоса то на его, то на меня. Значит, не я один в нем видел такую счастливую перемену.

В один из этих счастливых дней мы шли вдвоем к мадам Юргенс и встретили на Большом проспекте Карла Павловича.

— Куда вы? — спросил он нас.

— К мадам Юргенс! — отвечал я.

— И я с вами, мне что-то вдруг есть захотелось, — сказал он и повернул с нами в Третью линию.

Карл Великий любил изредка посетить досужую мадам Юргенс. Ему нравилась не сама услужливая мадам Юргенс и не служанка ее Олимпиада, которая была моделью для Агари покойному Петровскому⁸⁸. Ему нравилось, как истинному артисту, наше разнохарактерное общество. Там он мог видеть и бедного труженика, сенатского чиновника, в единственном, весьма не с иголки вицмундире, и университетского студента, тощего и бледного, лакомившегося

обедом мадам Юргенс за деньгу, полученную им от богатого бурша-кутилы⁸⁹ за переписку лекций Фишера⁹⁰. Тут многое и многое он видел такое, чего не мог видеть ни у Дюме, ни у Сан-Жоржа⁹¹.

Зато всегда, когда он приходил, внимательная мадам Юргенс предлагала ему в особенной комнате накрытый стол и особенное какое-нибудь кушанье, наскоро приготовленное, от чего он, как истинный социалист, всегда отказывался. В этот же раз не отказался и велел накрыть стол в особой комнате на три прибора и послал Олимпиаду к Фоксу⁹² за бутылкой джаксона.

Мадам Юргенс земли под собой не слышала; так забегала, засуетилась, что чуть-чуть было свой новый парик не сдернула вместе с чепцом, когда вспомнила, что надо чепец переменить для столь дорогого гостя.

Для нее он был, действительно, дорогой гость.

С того самого дня, как он в первый раз посетил ее, нахлебники стали множиться со дня на день. И какие нахлебники! Не шушера какая-нибудь — художники, да студенты, да двугривенные сенатские чиновники, а люди, для которых нужна была бутылка медаку и какой-нибудь особенный беф-стек.

И это весьма естественно. Если платят четвертак за то, чтобы посмотреть даму из Амстердама, то почему же не заплатить тридцать копеек, чтобы посмотреть вблизи на Брюллова? И мадам Юргенс вполне это понимала и по мере возможности пользовалась.

Ученик мой молча сидел за столом, молча и бледнее выпил стакан джаксона, и молча пожал он руку Карла Великого, и на квартиру пришел молча, а дома уже, не раздеваясь, упал на пол и проплакал остаток дня и целую ночь.

Еще неделя оставалась его независимости, но он на другой день после описанного мною обеда свернул в трубку свои рисунки и, не сказавши мне ни слова, вышел за двери. Я думал, что он пошел по обыкновению в Седьмую линию, а потому и не спрашивал его, куда он идет? Пришло время обеда — его нет, и ночь пришла — его нет. На другой день я пошел к его хозяину, и там нет. Я испугался и не знал, что думать. На третий день перед вечером он приходит ко мне более обыкновенного бледный и растрепанный.

— Где ты был? — спрашиваю я. — Что с тобою? Ты болен? Ты нездоров?

— Нездоров, — едва внятно отвечает он.

Я послал дворника [за] Жидовцовым⁹³, частным лекарем, а сам принялся раздевать его и укладывать в постель. Он, как кроткий ребенок, повиновался мне.

Жидовцов пощупал у него пульс и посоветовал мне отправить его в больницу.

— Потому, — говорит, — что горячку при ваших средствах дома лечить опасно.

Я послушался его и в тот же вечер отвез своего бедного ученика в больницу св. Марии Магдалины, что у Тючкова мосту⁹⁴.

Благодаря влиянию как частного лекаря Жидовцова, больного моего приняли без узаконенных формальностей. На другой день я дал знать его хозяину о случившемся, и форма была исполнена со всеми аксессуарами.

Я посещал его каждый день по нескольку раз, и всякий раз, когда я выходил из больницы, мне становилось грустнее и грустнее. Я так привык к нему, я так сроднился с ним, что без него я не знал, куда мне деваться. Пойду, бывало, на Петербургскую сторону, сверну в Петровский парк (в то время еще [только] и начинавшийся)⁹⁵, выйду к дачам Соболевского⁹⁶ и опять назад в больницу. А он все еще горит огнем. Спрашиваю у сиделки:

— Что, не приходит в себя?

— Нет, батюшка.

— Не бредит?

— Одно только: красный и красный!

— Ничего больше?

— Ничего, батюшка.

И я опять выхожу на улицу, и опять прохожу Тючков мост, и посещаю дачу г. Соболевского, и опять возвращаюсь в больницу. Так прошло восемь дней; на девятый он пришел в себя, и, когда подходил я к нему, он посмотрел на меня так пристально, так выразительно, так сердечно, что я этого взгляда никогда не забуду. Хотел он сказать мне что-то и не мог, хотел протянуть мне руку и только заплакал. Я ушел.

В коридоре встретившийся мне дежурный медик сказал, что опасность миновалась, что молодая сила взяла свое.

Успокоенный добрым медиком, я пришел к себе на квартиру. Закурил сигару, сигара как-то плохо курится, я бросил ее. Вышел на бульвар. Все что-то не так, все

чего-то недостает для моей радости. Я пошел в Академию, зашел к Карлу Павловичу, его нет дома. Выхожу на набережную, а он стоит себе у огромного сфинкса и смотрит, как по вскрывшейся Неве скользит ялик с веселыми пассажирами и за ним тянется длинная тоненькая серебряная струйка.

— Что, вы были у меня в мастерской? — спросил он меня, не здороваясь.

— Не был, — отвечал я.

— Пойдемте.

И мы молча пошли в его домашнюю мастерскую. В мастерской застали мы Липина. Он принес с свежими красками палитру и, усевшись в спокойные кресла, любовался еще не высохшим подмалевком портрета Василия Андреевича Жуковского⁹⁷. При входе нашем бедный Липин соскочил, переконфузился, как школьник, пойманный на месте преступления.

— Спрячьте палитру. Я сегодня работать не буду, — сказал Карл Павлович Липину. И сел на его место. По крайней мере полчаса молча смотрел он на свое произведение и, обращаясь ко мне, сказал: — Взгляд должен быть мягче. Его стихи такие мягкие, сладкие. Не правда ли? — И, не дав мне ответить, продолжал: — А знаете ли вы назначение этого портрета?

— Не знаю, — отвечал я.

Еще минут десять молчания. Потом он встал, взял шляпу и проговорил: «Пойдемте на улицу, я расскажу вам назначение портрета».

Выйдя на улицу, он сказал: «Я раздумал. Об этих вещах не рассказывают прежде времени. Притом же я вполне уверен, что вы не любопытны», — прибавил он шутя.

— Если вам так хочется, — сказал я, — пусть это останется загадкой для меня.

— Только до другого сеанса. Ну, что ваш протеже, лучше ли ему?

— Начал приходить в себя.

— Стало быть, опасность миновала?

— По крайней мере, так медик говорит.

— До свидания, — сказал он, протягивая руку. — Зайду к Гальбергу⁹⁸. Едва ли он, бедный, встанет, — прибавил он грустно, и мы расстались.

Меня чрезвычайно заинтересовал этот таинственный портрет. Я издали догадывался о его назначении, и как ни

сильно хотелось мне убедиться в истине моей догадки, однако я имел столько мужества, что даже и не намекнул о ней Карлу Великому. Правда, в одно прекрасное утро сделал я визит В. А. Жуковскому, под предлогом полюбоваться сухими контурами Корнелиуса⁹⁹ и Петра Гессе¹⁰⁰, а на самом деле, не проведая ли чего о таинственном портрете. Однако ж я ошибся.

Кленц¹⁰¹, Валгалла¹⁰², Пинакотека¹⁰³ и вообще Мюнхен занял все утро, так что даже о Дюссельдорфе¹⁰⁴ не было упомянуто ни одного слова, а портрета просто на свете не существовало.

Восторженные похвалы германскому искусству незабвенного Василия Андреевича были прерваны приходом г[рафа] М. Ю. Вельегорского.

— Вот вина и причина теперишних хлопот ваших, — сказал Василий Андреевич, указывая на меня графу.

Граф с чувством пожал мне руку. Я сделал уже проект на вопрос, как вошел слуга и проговорил какую-то незнакомую мне превосходительную фамилию. Я нашел свой проект неудобоисполнимым, раскланялся и вышел, как говорится, с носом.

А между тем молодое здоровье брало свое. Ученик мой, как тот сказочный пресловутый богатырь, оживал и крепел не по дням, а по часам. Он в какую-нибудь неделю после двухнедельной горячки стал на ноги и ходил, хотя придерживаясь за свою койку, но так скучно и невесело, что я, невзирая на наставление медика не говорить с ним об отвлеченных предметах, спросил его однажды:

— Ты здоровеешь? Тебе весело, чего же ты скучаешь?

— Я не скучаю, мне весело, но я не знаю, чего мне хочется... Мне хотелось бы читать.

Я спросил у медика, можно ли ему дать читать что-нибудь?

— Не давайте. Тем более чтения сурьезного...

— Что же мне с ним делать? Сиделкой я его не могу быть, а более помочь ему нечем.

В этом тяжелом раздумье вспала мне на память «Перспектива» Альберта Дюрера¹⁰⁵ с русским толкованием, которую я во время оно изучал, изучал, да и бросил, не добравшись толку. И странно. Я вспомнил о путанице Альберта Дюрера и совсем забыл о толковом прекрасном курсе линейной перспективы нашего профессора

Воробьева¹⁰⁶. Чертежи этого курса перспективы у меня были в портфели (правда, в беспорядке). Я собрал их и, сначала посоветовавшись с медиком, отдал их ученику своему вместе с циркулем и треугольником и тут же прочитал ему первый урок линейной перспективы. Второй и третий уроки перспективы мне уже нечего было толковать ему: он как быстро выздоравливал, так быстро и понимал эту математическую науку, не зная, впрочем, четырех правил арифметики.

Уроки перспективы кончились. Я просил старшего медика выписать его из больницы, но медик гигиенически растолковал мне, что для окончательного излечения ему необходимо еще пробыть под медицинским надзором по крайней мере месяц. Скрепя сердце я согласился.

В продолжение этого времени часто я встречался с Карлом Павловичем, видел раза два или три портрет Василия Андреевича после второго сеанса. В разговоре с Карлом Павловичем замечал неумышленные намеки на какой-то секрет, но, не знаю почему, я сам отстранял его откровенность. Я как будто чего-то боялся. А между прочим, почти угадывал секрет.

Тайна вскоре открылась. 22 апреля 1838 года¹⁰⁷ поутру рано получаю я собственноручную записку В. А. Жуковского такого содержания:

«Милостивый государь N. N!

Приходите завтра в одиннадцать часов к Карлу Павловичу и дождитесь меня у него, дождитесь меня непременно, как бы я поздно ни приехал.

В. Жуковский.

Р. S. Приведите и его с собою».

Слезами облил я эту святую записку и, не доверяя ее карману, сжал в кулаке и побежал в больницу. Швейцар, хотя и имел приказание пропускать меня во все часы дня, на этот раз, однако ж, не пустил, сказавши: «Рано, ваше благородие, больные еще спят». Меня это немножко охолодило. Я разжал кулак, развернул записку, прочитал ее чуть-чуть не по складам, бережно сложил ее, положил в карман и степенными шагами воротился на квартиру, в душе благодаря швейцара за то, что он остановил меня.

Давно, очень давно, еще в приходском училище, украдкою от учителя читал я знаменитую перелицованную «Энеиду» Котляревского. И

Колы чого в руках не маеш,
То не кажи, що вже твое¹⁰⁸, —

эти два стиха так глубоко мне врезались в память, что я и теперь их повторяя часто применяю к делу. Эти-то два стиха и пришли мне на память, когда я возвращался на квартиру. И в самом деле. Знал ли я наверное, что эта святая записка относится к его делу? Не знал, только предчувствовал, а предчувствие часто обманывает. А что, если б оно и теперь обмануло? Какое бы я страшное сделал зло, и кому еще? Любимейшему человеку. Я сам себя испугался при этой мысли.

В продолжение этих длинейших суток я раз двадцать подходил к двери Карла Павловича и с каким-то непонятным страхом возвращался назад. Чего я боялся, и сам не знаю. В двадцать первый раз я решился позвонить, и Лукьян, выглянувши в окно, сказал: «Их нет дома». У меня как гора с плеч свалилась. Как будто я совершил огромный подвиг и наконец вздохнул свободно.

Бодро выхожу я из Академии на Третью линию, и [тут] как тут Карл Павлович навстречу. Я совершенно растерялся и хотел было бежать от него, но он остановил меня вопросом:

— Вы получили записку Жуковского?

— Получил, — едва внятно ответил я.

— Приходите же ко мне завтра в одиннадцать часов. До свидания. Да... Если он может, приведите и его с собой, — прибавил он удаляясь.

«Ну, — подумал я, — теперь ни малейшего сомнения. А все-таки:

Колы чого в руках не маеш,
То не кажи, що вже твое.

Прошло несколько минут, и это мудрое изречение выпарилось из моей весьма непрактической головы. Мною овладело непреодолимое желание привести его завтра к Карлу Павловичу. А позволит ли медик? Вот вопрос. И чтобы разрешить его, я пошел к доктору на квартиру, застал его дома и рассказал ему причину моего внезапного визита. Доктор привел мне несколько фактов умопомешательства, причину которых были внезапная радость или внезапное горе.

«А тем более, — заключил он, — что ваш протез не совсем еще оправился после горячки». На такие аргументы отвечать было нечем. И я, поблагодаривши доктора за добрый совет, откланялся и вышел на улицу. Долго шлифовал я мостовую без всякого намерения; хотел было зайти к старику Венецианову, не скажет ли он мне чего определеннее, но было уже за полночь; а он не наш брат холостяк, — следовательно, и думать нечего о полунощном посещении. «Не пойти ли мне, — подумал я, — на Троицкий мост¹⁰⁹ полюбоваться восходом солнца?» Но до Троицкого моста не близко, а я начинал уже чувствовать усталость. Не ограничиться ли мне безмятежным сидением у сих огромных сфинксов? Ведь все равно та же Нева. Та же, да не та. И, подумавши, я направился к сфинксам. Севши на гранитную скамью и прислонясь к бронзовому грифону, я долго любовался на тихоструйную красавицу Неву.

С восходом солнца пришел на Неву за водой академический швейцар и разбудил меня, приговаривая вроде почтения:

— Благо еще люди не ходят, а то б подумали б, какой гулящий.

Поблагодарив гривенником швейцара за услугу, я отправился на квартиру и заснул уже настоящим, как говорится, хозяйским сном.

Ровно в одиннадцать часов явился я на квартиру Карла Павловича, и Лукьян, отворяя мне двери, сказал: «Просили подождать». В мастерской в глаза мне бросилась только по славе и Миллерову эстампу знаемая знаменитая картина Цампиери «Иоанн Богослов»¹¹⁰. Опять недоумение! Не по случаю ли этой картины пишет мне Василий Андреич? Зачем же он пишет: «Приводите и его с собою»? Записка была при мне, я достал ее и, прочитавши несколько раз p[ost] s[criptum], немного успокоился и подошел к картине поближе, но проклятое сомнение мешало мне вполне наслаждаться этим в высшей степени изящным произведением.

Как ни мешало мне сомнение, однако ж я не заметил, как вошел в мастерскую Карл Великий в сопровождении графа Вельегорского и В. А. Жуковского. Я с поклоном уступил им свое место и отошел к портрету Жуковского. Они долго молча любовались великим произведением бедного мученика Цампиери, а я замирал от ожидания. Наконец Жуковский вынул из кармана форменно сложенную бумагу и, подавая мне, сказал:

— Передайте это ученику вашему.

Я развернул бумагу. Это была его отпускная, засвидетельствованная г[рафом] Вельегорским, Жуковским и К. Брюлловым.

Я набожно перекрестился и трижды поцеловал эти знаменитые рукоприложения.

Благодарил я, как мог, великое и человеколюбивое трио, и, раскланявшись как попало, я вышел в коридор и побежал прямо к Венецианову.

Старик встретил меня радостным вопросом:

— Что нового?

Я молча вынул из кармана драгоценный акт и подал ему.

— Знаю, все знаю, — сказал он, возвращая мне бумагу.

— Да я-то ничего не знаю! Ради Бога, расскажите мне, как это все совершилось?

— Слава Богу, что совершилось, а мы сначала пообедаем, а потом и примуся рассказывать. История длинная, а главное, прекрасная история.

И, возвыся голос, он прочитал стих Жуковского:

Дети, овсяный кисель на столе, читайте молитву¹¹¹.

— Читаем, папаша, — раздался женский голос, и в сопровождении А. Н. Мокрицкого вышли из гостиной дочери Венецианова, и мы сели за стол. За обедом против обыкновения как-то было шумнее и веселее. Старик воодушевился и рассказал историю портрета В. А. Жуковского. И почти не упомянул о собственном участии в этой благородной истории. Только в заключение прибавил: «А я только был простым маклером в этом великодушном деле».

А самое-то дело было вот как.

Карл Брюллов написал портрет Жуковского, а Жуковский и граф Вельегорский этот самый портрет предложили августейшему семейству за 2500 руб[лей] ассиг[нациями] и за эти деньги освободили моего ученика. А старик Венецианов, как он сам выразился, разыграл в этом добром деле роль усердного и благородного маклера.

Что же мне теперь делать? Когда и как мне объявить ему эту радость? Венецианов повторил мне то же самое, что и врач сказал, и я совершенно убежден в необходимости этой предосторожности. Да как же я утерплю! Или прекратить свои посещения на некоторое время? Нельзя, он подумает,

что я тоже заболел или покинул его, и будет мучиться. Подумавши, я вооружился всею силою воли, пошел в больницу Марии Магдалины. Первый сеанс я выдержал как лучше не надо, за вторым и третьим визитом я уже начал его понемногу приготавливать. Спрашивал медика, как скоро его можно выписать из больницы? И медик не советовал торопиться. Я опять начал мучиться нетерпением.

Однажды поутру приходит ко мне его бывший хозяин и без дальних околичностей начинает меня упрекать, что я ограбил его самым варварским образом, что я украл у него лучшего работника и что он через меня теряет по крайней мере не одну тысячу рублей! Я долго не мог понять, в чем дело? И каким родом я попал в грабители? Наконец он мне сказал, что вчера призывал его помещик и что рассказал ему весь ход дела и требовал от него уничтожения контракта. И что вчера же он был в больнице, и что он ничего про это не знает. «Вот тебе и предосторожность!» — подумал я.

— Чего же вы теперь от меня хотите? — спросил я у него.

— Ничего, хочу узнать только, правда ли все это?

Я отвечал:

— Правда. — И мы расстались.

Я был доволен таким оборотом дела. Он теперь уже приготовлен и может принять это известие спокойнее, чем прежде.

— Правда ли? Можно ли верить тому, что я слышал? — таким вопросом встретил он меня у дверей своей палаты.

— Я не знаю, что ты слышал.

— Мне говорил вчера хозяин, что я... — И он остановился, как бы боясь окончить фразу. И, помолчав немного, едва слышно проговорил: — Что я отпущен!.. Что вы... — И он залился слезами.

— Успокойся, — сказал я ему, — это еще только похоже на правду. — Но он ничего не слышал и продолжал плакать.

Через несколько дней выписался из больницы и помещился у меня на квартире, совершенно счастливый.

Много, неисчислимо много прекрасного в божественной, бессмертной природе, но торжество и венец бессмертной красоты — это оживленное счастием лицо человека. Возвышеннее, прекраснее в природе я ничего не знаю. И этою-то прелестью раз в жизни моей удалось мне вполне насладиться.

В продолжение нескольких дней он был так счастлив, так прекрасен, что я не мог смотреть на него без умиления. Он переливал и в мою душу свое безграничное счастье.

Восторги его сменились тихой, улыбающейся радостью. Во все эти дни хотя он и принимался за работу, но работа ему не давалась. И он, было, положит свой рисунок в портфель, вынет из кармана отпускную, почитает ее чуть не по складам, перекрестится, поцелует и заплачет.

Чтобы отвлечь его внимание от предмета его радости, я взял у него отпускную под предлогом засвидетельствования ее в гражданской палате, а его каждый день водил в академические галереи. А когда было готово платье, я, как нянька, одел его, и пошли мы в губернское правление. Засвидетельствовавши драгоценный акт, сводил я его в Строганова галерею, показал ему оригинал Веласкеца. И тем кончились в тот день наши похождения.

На другой день, часу в десятом утра, одел я его снова и отвел к Карлу Павловичу, и, как отец любимого сына передает учителю, так я передал его бессмертному нашему Карлу Павловичу Брюллову.

С того дня он начал посещать академические классы и сделался пансионером Общества поощрения художников.

Давно уже я собирался оставить нашу северную Пальмиру для какого-нибудь смиренного уголка гостеприимной провинции. В текущем году желаемый уголок опростался при одном из провинциальных университетов, и я не преминул воспользоваться им. Во время оно, когда я посещал гипсовый класс и мечтал о стране чудес, о всемирной столице, увенчанной куполом Буонарроти¹¹², в то время, если бы мне предложили место рисовального учителя при университете, я бросил бы карандаш и воскликнул: «Стоит ли после этого изучать божественное искусство!» А теперь, когда уравновесилось воображение с здравым смыслом, когда в грядущее не сквозь радужную призму, а так просто смотришь, то против воли лезет в голову поговорка: «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки».

Еще зимою мне следовало отправиться на место, но кое-какие собственные делишки, а в особенности дело ученика, теперь уже не моего, а К. Брюллова, меня задержали в столице, потом болезнь его и продолжительное выздоровление и, наконец, финансы. Когда все это пришло к благополучному концу, я, как сказал уже, приютил своего любимца

под крылом Карла Великого и в первых числах мая оставил, и надолго оставил, столицу.

Оставляя возлюбленного моего, я передал ему свою квартиру с мольбертом и прочею мизерною мебелью, и со всеми гипсовыми вещами, которые тоже нельзя было взять с собою. Советовал ему до следующей зимы пригласить товарища к себе. А зимой приедет к нему Штернберг, который был тогда в Малороссии¹¹³ и с которым я условился встретиться у одного общего знакомого нашего в Прилуцком уезде¹¹⁴ и при этой встрече [собирался] просить добрейшего Вилю, по возвращении в столицу, поселиться с ним на квартире. Что и случилось к величайшей моей радости. Советовал еще ему посещать Карла Павловича, но осторожно, чтобы не надоедать ему частыми визитами, не манкировать¹¹⁵ классами и как можно больше читать. А в заключение просил его писать мне чаще письма, и писать так, как он бы писал отцу родному.

И, поручивши его покрову Предвечной Матери, я расстался с ним, и, увы! расстался навеки.

Первые письма его однообразны и похожи на подробный и монотонный дневник школьника. И только для меня они интересны, ни для кого больше. В последующих письмах начали проявляться и склад, и грамотность, а иногда и содержание, как, например, его девятое письмо.

«Сегодня, в десятом часу утра, свернули мы на вал картины распятия Христова¹¹⁶ и с натурщиками отправили в лютеранскую Петропавловскую церковь. Карл Павлович поручил мне сопровождать ее до самой церкви. Через четверть часа он и сам приехал; при себе велел натянуть опять на раму и поставить на место. Так как она не была еще покрыта лаком, то издали и не показывала ничего, кроме темного матового пятна. После обеда пошли мы с Михайловым¹¹⁷ и покрыли ее лаком. Вскоре пришел и Карл Павлович; сначала сел он на передней скамейке; недолго посидевши, он перешел на самую последнюю. Тут и мы подошли к нему и тоже сели. Долго он сидел молча и только изредка проговаривал: «Вандал! Ни одного луча свету на алтарь. И для чего им картины? Вот если бы! — сказал он, обращая к нам и показывая на арку, разделяющую церковь. — Если бы во всю величину этой арки написать картину «Распятие Христа», то это была бы картина, достойная Богочеловека».

О, если бы хоть сотую, хоть тысячную долю мог я передать вам того, что я от него тогда слышал! Но вы сами знаете, как он говорит. Его слова невозможно положить на бумагу, они окаменеют. Он тут же сочинил эту колоссальную картину со всеми мельчайшими подробностями, написал и на место поставил. И какая картина! Николая Пуссена «Распятие»¹¹⁸ — просто суздальщина. А про Мартена и говорить нечего.

Долго он еще фантазировал, а я слушал его с благоговением; потом надел шляпу и вышел, а вслед за ним и я с Михайловым. Проходя мимо статуй апостолов Петра и Павла, он проговорил: «Куклы в мокрых тряпках! А еще с Торвальдсена!» Проходя мимо магазина Дациаро¹¹⁹, он вмешался в толпу зевак и остановился у окна, увешанного раскрашенными французскими литографиями. «Боже мой, — подумал я, глядя на него. — И это тот самый гений, который сейчас только так высоко парил в области прекрасного искусства, теперь любитесь приторными красавицами Гревидона!¹²⁰ Непонятно! А между прочим, правда».

Сегодня в первый раз я не был в классе, потому что Карл Павлович не пустил меня, усадил нас с Михайловым за шашки двоих против себя одного и проиграл нам коляску на три часа. Мы поехали на острова, а он остался дома дожидать нас ужинать.

P. S. Не помню, в прошедшем письме писал ли я вам, что я в сентябрьский третней экзамен переведен в натурный класс за «Бойца»¹²¹ № первым.

Если бы не вы, мой незабвенный, и через год меня бы не перевели в натурный класс. Я начал посещать анатомические лекции профессора Буяльского¹²². Он теперь читает остов. И тут вы причина, что я знаю наизусть остов. Везде и везде вы, мой единственный, мой незабвенный благодетель. Прощайте.

Всем существом моим преданный вам N. N.»

Я намерен досказать его историю собственными его письмами, и это будет тем более интересно, что в своих письмах он часто описывает занятия и почти вседневный домашний быт Карла Павловича, которого он был и любимым учеником, и товарищем. Для будущего биографа К. Брюллова я со временем издам все его письма, а теперь помещу только те, которые непосредственно касаются его занятий и развития

на поприще искусства и развития его внутренней высоко-
нравственной жизни.

«Вот уже октябрь месяц в исходе, а Штернберга все нет как нет. Я не знаю, что мне делать с квартирою. Она меня не обременяет, я плачу за нее пополам с Михайловым. Я почти безвыходно нахожусь у Карла Павловича, только ночевать прихожу домой, а иногда и ночую у него. А Михайлов и на ночь домой не приходит. Бог его знает, где он и как он живет? Я с ним встречаюсь только у Карла Павловича да иногда в классах. Он очень оригинальный, доброго сердца человек. Карл Павлович предлагает мне совсем к нему перейти жить, но мне и совестно, и, боюсь вам сказать, мне кажется, что я свободнее при своей квартире, а во-вторых, мне ужасно хочется хоть несколько месяцев прожить вместе с Штернбергом, потому собственно, что вы мне так советовали. А вы мне дурного не посоветуете.

Карл Павлович чрезвычайно прилежно работает над копией с картины Доменикино «Иоанн Богослов». Копию эту заказала ему Академия художеств. Во время работы я читаю. У него порядочная своя библиотека, но совершенно без всякого порядка; несколько раз мы принимались дать ей какой-нибудь толк, но только все безуспешно. Впрочем, недостатка в чтении нет. Карл Павлович обещался Смирдину сделать рисунок для его «Ста литераторов»¹²³, и он служит ему всею своей библиотекою. Я прочитал уже почти все романы Вальтер Скотта¹²⁴ и теперь читаю «Историю крестовых походов» Мишо¹²⁵. Мне она нравится лучше всех романов, и Карл Павлович то же говорит. Я начертил эскиз, как Петр Пустынник¹²⁶ ведет толпу первых крестоносцев через один из германских городков, придерживаясь манеры и костюмов Ре ча¹²⁷. Показал Карлу Павловичу, и он мне строжайше запретил брать сюжеты из чего бы то ни было, кроме Библии, древней греческой и римской истории. «Там, — сказал он, — все простота и изящество. А в средней истории — безнравственность и уродство». И у меня теперь на квартире, кроме Библии, ни одной книги нет. «Путешествие Анахарсиса» и «Историю Греции» Гилиса я читаю у Карла и для Карла Павловича, и он всегда слушает с одинаковым удовольствием.

О, если бы вы видели, с каким вниманием, с какой сердечною любовью кончает он свою копию! Я просто благо-

говую перед ним, да и нельзя иначе. Но что значит волшебное, магическое действие оригинала! Или это просто предубеждение, или время так очаровательно ступало эти краски, или Доменикино... Но нет, это грешная мысль. Доменикино никогда не мог быть выше нашего божественного Карла Павловича. Мне иногда хочется, чтобы скорее унесли оригинал.

Как-то раз за ужином зашла речь о копиях, и он сказал, что ни в живописи, ни в скульптуре он не допускает истинной копии, т. е. воссоздания. А что в словесной поэзии он знает одну-единственную копию — это «Шильонский узник» Жуковского¹²⁸. И тут же прочитал его наизусть. Как он дивно стихи читает, ей-богу, лучше Брянского¹²⁹ и Каратыгина¹³⁰.

Кстати о Каратыгине. На днях случайно зашли мы в Михайловский театр¹³¹. Давали «Тридцать лет, или Жизнь игрока»¹³² — пересоленная драма, как он выразился. Между вторым и третьим [актом] он ушел за кулисы и одел Каратыгина для роли нищего. Публика бесновалась, сама не знала отчего! Что значит костюм для хорошего актера.

Тальони уже приехала в Петербург и вскоре начнет свои волшебные полеты. Он, однако ж, что-то ее не жалует. Ах, если бы скорее Штернберг приехал! Я не выдавши полюбил его. Карл Павлович для меня слишком колоссален, и, несмотря на его доброту и ласки, мне иногда кажется, что я один. Михайлов прекрасный и благородный товарищ, но ничем не увлекается, никакая прелесть его, кажется, не чарует; а может быть, я его не понимаю. Прощайте, мой незабвенный благодетель».

«Я в восторге! Давно и так нетерпеливо ожидаемый мною Штернберг наконец приехал! И как внезапно, нечаянно! Я испугался и долго не верил своим глазам; думал, не видение ли. Я же в то время компоновал эскиз «Иезекииль на поле, усеянном костями»¹³³. Это было ночью, часу во втором. Вдруг двери растворяются, — а я углубился в «Иезекииля» и двери забыл запереть на ключ, — двери растворяются, и является в шубе и в теплой шапке человеческая фигура. Я сначала испугался и сам не знаю, как проговорил:

— Штернберг!

— Штернберг, — отвечал он мне, и я не дал ему шубу снять, принялся целовать его, а он отвечал мне тем же.

Долго мы молча любовались друг другом, наконец, он вспомнил, что ящик у ворот дожидается, и пошел к ящику, а я к дворнику — просить перенести вещи в квартиру. Когда все это было сделано, мы вздохнули свободно. И странно. Мне казалось, что я встретил старого знакомого или, лучше сказать, вижу вас самих перед собою. Пока я расспрашивал, а он рассказывал, где и когда он вас видел, о чем говорили и как расстались, пока все это было, и ночь минула. И мы тогда только рассвет заметили, когда увидели от подсвечника упавшую ярко-голубую тень.

— Теперь, я думаю, можно и чаю напиться, — сказал он.

— Я думаю, можно, — отвечал я. И мы пошли в «Золотой якорь»¹³⁴.

После чая уложил я его спать, а сам пошел сказать о моей радости Карлу Павловичу, но он тоже спал. Делать нечего, я вышел на набережную и не успел пройти несколько шагов, как встретил Михайлова, тоже, кажется, всю ночь не спавшего; он шел с каким-то господином в пальто и в очках.

— Лев Александрович Элькан¹³⁵, — сказал Михайлов, указывая на господина в очках.

Я сказал свою фамилию, и мы пожали друг другу руку. Потом я сказал Михайлову о приезде Штернберга, и господин в очках обрадовался, как прибытию давножданного друга.

— Где же он? — спросил Михайлов.

— У нас на квартире, — отвечал я.

— Спит?

— Спит.

— Ну, так пойдем в «Капернаум», там, верно, не спят, — сказал Михайлов. Господин в очках в знак согласия кивнул головою, и они, взявшись под руки, пошли, и я вслед за ними. Проходя мимо квартиры Карла Павловича, я заметил в окне голову Лукьяна, из чего и заключил, что маэстро уже встал. Я простился с Михайловым и Эльканом и пошел к нему. В коридоре я [встретил его] с свежей палитрой и чистыми кистями, поздоровался с ним и возвратился назад. Теперь я не только вслух, и про себя читать был не в состоянии. Походивши немного по набережной, я пошел на квартиру. Штернберг еще спал; я тихонько сел на стуле против его постели и любовался его детски-непорочным лицом. Потом взял карандаш и бумагу и принялся рисовать спящего

вашего, а следовательно, и моего друга. Сходство и выражение вышло порядочное для эскиза, и только я очертил всю фигуру и назначил складки одеяла, как Штернберг проснулся и поймал меня на месте преступления. Я сконфузился; он это заметил и засмеялся самым чистосердечным смехом.

— Покажите, что вы делали? — сказал он вставая.

Я показал; он снова засмеялся и до небес расхвалил мой рисунок.

— Я когда-нибудь отплачу вам тем же, — сказал он смеясь. И, вскочив с постели, умылся и, развязавши чемодан, начал одеваться. Из чемодана, из-под белья, вынул он толстую портфель и, подавая ее мне, сказал: «Тут все, что я сделал прошлого лета в Малороссии, кроме нескольких картинок масляными красками и акварелью. Посмотрите, если время позволяет, а мне нужно кое-куда съездить. До свидания! — сказал он, подавая мне руку. — Не знаю, что сегодня в театре. Я ужасно за ним соскучился. Пойдемте вместе в театр.

— С большим удовольствием, — сказал я, — только вы зайдите за мною в натуральный класс.

— Хорошо, зайду, — сказал он уже за дверями.

Если бы не пришел за мною Лукьян от Карла Павловича, мне обед и на мысль не пришел [бы], мне даже досадно было, что для лукьяновского ростбифа я должен был оставить портфель Штернберга. За обедом я сказал Карлу Павловичу о моем счастье, и он пожелал его видеть. Я сказал ему, что мы условились с ним быть в театре. Он изъявил желание сопутствовать нам, если дают что-нибудь порядочное. К счастью, в тот день на Александринском театре¹³⁶ давали «Заколдованный дом»¹³⁷. В конце класса Карл Павлович зашел в класс, взял меня и Штернберга с собою, усадил в свою коляску, и мы поехали смотреть Людовика XI. Так кончился первый день.

На второй день поутру Штернберг взял свою толстую портфель, и мы отправились к Карлу Павловичу. Он был в восторге от вашей однообразно-разнообразной, как он выразился, родины и от задумчивых земляков ваших, так прекрасно-верно переданных Штернбергом.

И какое множество рисунков, и как все прекрасно. На маленьком лоскутке серенькой оберточной бумаги проведена горизонтально линия, на первом плане ветряная мельница, пара волов около телеги, наваленной мешками.

Все это не нарисовано, а только намекнуто, но какая прелесть! Очей не отведешь. Или под тенью развесистой вербы у самого берега беленькая, соломой крытая хатка вся отразилась в воде, как [в] зеркале. Под хаткою старушка, а на воде утки плавают. Вот и вся картина, и какая полная, живая картина!

И таких картин или, лучше сказать, животрепещущих очерков полна портфель Штернберга. Чудный, бесподобный Штернберг! Недаром его поцеловал Карл Павлович.

Невольню вспомнил я братьев Чернецовых¹³⁸; они недавно возвратились из путешествия по Волге и приносили Карлу Павловичу показать свои рисунки: огромная кипа ватманской бумаги, по-немецки аккуратно перышком исчерченная. Карл Павлович взглянул на несколько рисунков и, закрывши портфель, сказал, разумеется, не братьям Чернецовым: «Я здесь не только матушки Волги, и лужи порядочной не надеюсь увидеть». А в одном эскизе Штернберга он видит всю Малороссию. Ему так понравилась ваша родина и унылые физиономии ваших земляков, что он сегодня за обедом построил уже себе хутор на берегу Днепра, близ Киева, со всеми угодиями в самой очаровательной декорации. Одно, чего он боится и чего никак устранить от себя не может, — это помещики, или, как он называет их, феодалы-собачники.

Он совершенное дитя, со всею прелестью дитя.

И сегодняшний день мы заключили спектаклем; давали Шиллеровых «Разбойников». Оперы почти не существует, изредка появится или «Роберт»¹³⁹, или «Фенелла»¹⁴⁰. Балет или, лучше сказать, Тальони все уничтожила.

Прощайте, мой незабвенный благодетель».

«Вот уже более месяца, как мы живем вместе с несравненным Штернбергом, и живем так, как дай Бог, чтобы братья родные жили. Да и какое же он доброе, кроткое создание! Настоящий художник! Ему все улыбается, как и он сам всему улыбается. Счастливый, завидный характер! Карл Павлович его очень любит. Да и можно ли, зная, не любить его?

Вот как мы проводим дни и ночи. Поутру, в девять часов, я ухожу в живописный класс. (Я уже делаю этюды масляными красками и в прошедший экзамен получил третий номер.) Штернберг остается дома и делает из своих эскизов или рисунки акварелью, или небольшие картины масляными красками. В одиннадцать часов я или захожу к Карлу

Павловичу, или прихожу домой и завтракаем с Штернбергом чем Бог послал. Потом я опять ухожу в класс и остаюсь там до трех часов. В три часа мы идем обедать к мадам Юргенс. Иногда и Карл Павлович с нами, потому что я почти каждый день в это время заставлял его у Штернберга, и он часто отказывался от роскошного аристократического обеда для мизерного демократического супа. Истинно необыкновенный человек! После обеда я отправляюсь в классы. К семи часам в классы приходит Штернберг, и мы идем или в театр, или, немного погулявши по набережной, возвращаемся домой, и я читаю что-нибудь вслух, а он работает, или я работаю, а он читает. Недавно мы прочитали «Вудсток» Вальтера Скотта. Меня чрезвычайно заинтересовала сцена, где Карл II Стюарт, скрывающийся под чужим именем в замке старого баронета Ли, открывается его дочери Юлии Ли, что он король Англии, и предлагает ей при дворе своем почетное место наложницы. Настоящая королевская благодарность за гостеприимство. Я начертил эскиз и показал Карлу Павловичу. Он похвалил мой выбор и самый эскиз и велел изучать Павла Делароша¹⁴¹.

Штернберг недавно познакомил меня с семейством Шмидта¹⁴². Это какой-то дальний его родственник, прекрасный человек, а семейство его — это просто благодать Господня. Мы часто по вечерам бываем у них, а по воскресеньям и обедаем. Чудное, милое семейство! Я всегда выхожу от них как будто чище и добрее. Я не знаю, как и благодарить Штернберга за это знакомство.

Еще познакомил он меня с домом малороссийского аристократа, того самого, у которого вы с ним встретились прошедшее лето в Малороссии¹⁴³. Я редко там бываю и то, собственно, для Штернберга. Не нравится этот покровительственный тон и подлая лесть его неотесанных гостей, которых он кормит своими роскошными обедами и поит малороссийскою сливянкой. Я долго не мог понять, как это Штернберг терпит подобные картины? Наконец дело открылось само собой. Он однажды возвратился от Тарновских совершенно не похож на себя, т. е. сердитый. Долго молча ходил он по комнате, наконец лег в постель, встал и опять лег; и это повторил он раза три, наконец успокоился и заснул. Слышу, он во сне произносит имя одной из племянниц Тарновского. Тут я начал догадываться, в чем дело. На другой день Виля мой опять отправился

к Тарновским и возвратился поздно ночью в слезах. Я притворился, будто не замечаю этого. Он упал на диван и, закрыв лицо руками, рыдал, как ребенок. Так прошло по крайней мере час. Потом поднялся он с дивана, подошел ко мне, обнял меня, поцеловал и горько улыбнулся; сел около меня и рассказал мне историю любви своей. История самая обыкновенная. Он влюбился в старшую племянницу Тарновского, а та хоть и отвечала ему тем же, но в деле брака предпочла ему какого-то лысого доктора Бурцова¹⁴⁴. Самая обыкновенная история. После исповеди он немного успокоился, и я уложил его в постель.

На другой и третий день я его почти что не видел: уйдет рано, придет поздно, а где он проводит дни, Бог его знает. Пробовал я с ним заговаривать, но он едва мне отвечает. Предлагал посетить Шмидтов, но он отрицательно кивнул головою. В воскресенье поутру предложил я ему поехать в оранжереи Ботанического сада¹⁴⁵, и он, правда принужденно, но согласился. Оранжерея на него подействовала благотворительно. Он повеселел. Начал мечтать о путешествии в те волшебные края, где растут все эти удивительные растения, как у нас чертополох.

Выйдя из оранжерей, я предложил пообедать на Крестовском¹⁴⁶, в немецком трактире; он охотно согласился. После обеда мы послушали тирольцев, посмотрели, как с гор катаются, и поехали прямо к Шмидту. Шмидты в тот день обедали у Фицтума¹⁴⁷ (инспектора университета) и вечер там остались. Мы туда, нас [встретили] вопросом с восклицанием, где мы пропадали? У Фицтума насладившись квинтетом Бетговена¹⁴⁸ и сонатой Моцарта¹⁴⁹, где солировал знаменитый Бем¹⁵⁰, часу в первом ночи возвратились на квартиру. Бедный Виля опять задумался. Я не утешаю его, да и чем я его могу утешить?

На другой день, по поручению Карла Павловича, пошел в магазин Смирдина и между прочими книгами взял два номера «Библиотеки для чтения», где помещен «Никлас Никльби», роман Диккенса. Думаю устроить литературные вечера у Шмидтов и пригласить Штернберга. Как затеяно, так и сделано. В тот же день, после вечерних классов, отправились мы к Шмидтам с книгами под мышкой. Выдумка моя была принята с восторгом, и после чая началось чтение. Первый вечер читал я, второй Штернберг, потом опять я, потом опять он, и так мы продолжали, пока кончили ро-

ман. Это имело прекрасное влияние на Штернберга. После «Никласа Никльби» таким же порядком прочитали мы «Замок Кенильворт», потом «Пертскую красавицу» и еще несколько романов Вальтер Скотта. Часто просиживали мы за полночь и не видали, как и Рождественские праздники наступили. Штернберг почти пришел в себя, по крайней мере работает и меньше грустит. Даст Бог, и это пройдет. Прощайте, мой отец родной. Не обещаю писать вам в скором времени, потому что праздники наступают, а я уже сделал себе по милости Штернберга, кроме Шмидтов, еще некоторые знакомства, и знакомства, которые следует поддерживать. Сделал я себе к празднику новую пару платья и из английской байки пальто, точно такое, как у Штернберга — чтобы недаром нас Шмидты называли Кастором и Поллуксом¹⁵¹. А к весне думаем заказать себе камлотовые шинели. У меня теперь деньги водятся. Я начал рисовать акварельные портреты, сначала по-приятельски, а потом и за деньги, только Карлу Павловичу еще не показываю, боюсь. Я больше придерживаюсь Соколова¹⁵², Гау¹⁵³ мне не нравится, приторно-сладкий. Думаю еще заняться французским языком, это необходимо. Предлагала мне свои услуги одна пожилая вдова с тем, чтобы я ее сына учил рисовать. Взаимное одолжение, но мне оно не нравится: во-первых, потому, что далеко ходить (в Эртелев переулок)¹⁵⁴, а во-вторых, возиться два часа с избалованным мальчуганом — это тоже порядочная комиссия. Лучше же я эти два часа употреблю на акварельный портрет и заплачу учителю деньги. Я думаю, и вы скажете, что лучше. У Карла Павловича есть Гиббон на французском языке¹⁵⁵, и я не могу смотреть на него равнодушно. Не знаю, видели ли вы его эскиз или, лучше сказать, небольшую картину «Посещение Рима Гензерихом»¹⁵⁶. Теперь она у него в мастерской. Чудная! как и все чудное, что выходит из-под его кисти. Если не видали, то я сделаю небольшой рисунок и пришлю вам. «Бакчисарайский фонтан»¹⁵⁷ тоже пришлю. Это, кажется, еще при вас начато?

Ах, да! чуть-чуть было не забыл. Готовится необыкновенное событие. Карл Павлович женится, после праздника свадьба. Невеста его — дочь рижского почетного гражданина Тимма¹⁵⁸. Я не видел ее, но, говорят, удивительная красавица. Брата ее я встречаю иногда в классе: он ученик Заурвейда¹⁵⁹, чрезвычайно красивый юноша. Когда все это совершится,

то опишу вам с самомельчайшими подробностями, а пока еще раз прощайте, мой незабвенный благодетель».

«Вот уже два месяца, как я не писал вам. Такое долгое молчание непростительно. Но я как будто нарочно выжидал, пока кончится интересный эпизод из жизни Карла Павловича. В последнем письме писал я вам о предполагаемой женитьбе. Теперь опишу вам подробно, как это совершилось и как разрушилось.

В самый день свадьбы Карл Павлович оделся, как он обыкновенно одевается, взял шляпу и, проходя через мастерскую, остановился перед копией Доменикино, уже оконченной. Долго стоял он молча, потом сел в кресла. Кроме его и меня, в мастерской никого не было. Молчание длилось еще несколько минут. Потом он, обращаясь ко мне, сказал:

— Цампиери как будто говорит мне: «Не женись, погибнешь».

Я не нашелся, что ему сказать, а он взял шляпу и пошел к своей невесте. Во весь этот день он не возвращался к себе на квартиру. Приготовлений к празднику не было совершенно никаких. Даже ростбифа Лукьян не жарил в этот день. Словом, ничего похожего не было на праздник. В классе я узнал, что будет он венчаться в восемь часов вечера в лютеранской церкви Св. Анны, что в Кирочной¹⁶⁰. После класса взяли мы с Штернбергом извозчика и отправились в Кирочную. Церковь уже была освещена, и Карл Павлович с Заурвейдом и братом невесты был в церкви. Увидя нас, он подошел, подал нам руку и сказал: «Женюсь». В это самое время вошла в церковь невеста, и он пошел ей навстречу. Я в жизнь мою не видел да и не увижу такой красавицы. В продолжение обряда Карл Павлович стоял, глубоко задумавшись. Он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту. Обряд кончился, мы поздравили счастливых супругов, проводили их до кареты и по дороге заехали к Клею¹⁶¹, поужинали и за здоровье молодых выпили бутылку клико¹⁶². Все это происходило 8 января 1839 года. И у Карла Павловича свадьба кончилась бутылкой клико. Ни в тот, ни в последующие дни не было никакого праздника.

Через неделю после этого события встретился я с ним в коридоре, как раз против квартиры графа Толстого¹⁶³, и он зазвал меня к себе и оставил обедать. В ожидании обеда он что-то

чертил в своем альбоме, а меня заставил читать «Квентин Дорварда»¹⁶⁴. Только что я начал читать, как он остановил меня и довольно громко крикнул:

— Эмилия! — Через минуту вошла ослепительная красавица, жена его. Я неловко поклонился ей, а он сказал: — Эмилия! На чем мы остановились? Или нет, садись ты сама читай. А вы послушайте, как она мастерски читает по-русски. — Она сначала не хотела читать, но потом раскрыла книгу, прочитала несколько фраз [с] сильным немецким выговором, захохотала, бросила книгу и убежала. Он позвал ее опять и с нежностью влюбленного просил ее сесть за фортепиано и спеть знаменитую каватину из «Нормы»¹⁶⁵. Без малейшего жеманства она села за инструмент и после нескольких прелюдий запела. Голос у нее не сильный, не эффектный, но такой сладкий, чарующий, что я слушал и сам себе не верил, что я слушаю пение существа смертного, земного, а не какой-нибудь воздушной феи. Или это магическое влияние красоты, или она действительно хорошо пела, теперь я вам не могу сказать основательно, только я и теперь как будто слышу ее волшебный голос. Карл Павлович тоже был очарован ее пением, потому что сидел он сложа руки над своим альбомом и не слышал, как вошел Лукьян и два раза повторил:

— Кушанье подано.

После обеда на тот же стол подал Лукьян фрукты и бутылку лакрима-кристи. Пробыло пять часов, и я оставил их за столом и ушел в класс. На прощанье Карл Павлович подал мне руку и просил приходить к ним каждый день к обеду. Я был в восторге от такого приглашения.

После классов встретил я их на набережной и присоединился к ним. Вскоре они пошли домой и меня пригласили к себе. За чаем Карл Павлович прочитал «Анджело» Пушкина и рассказал, как покойный Александр Сергеевич просил его написать с его жены¹⁶⁶ портрет и как он бесцеремонно отказал ему, потому что жена его косая. Он предлагал Пушкину с самого его написать портрет, но Пушкин отплатил ему тем же. Вскоре после этого поэт умер и оставил нас без портрета. Кипренский изобразил его каким-то денди, а не поэтом¹⁶⁷.

После чаю молодая очаровательная хозяйка выучила нас в гальбе-цвельф¹⁶⁸ и проиграла мне двугривенный, а мужу каватину из «Нормы» и сейчас же села за фортепиано

и расплатилась. После такого великолепного финала я поблагодарил очаровательную хозяйку и хозяина и отправился домой. Это уже было далеко за полночь; Штернберг еще не спал, дожидался меня. Я, не снимая шляпы, рассказал ему свои похождения, и он назвал меня счастливецом.

— Позавидуй же и мне, — сказал он. — Меня приглашает генерал-губернатор Оренбургского края¹⁶⁹ к себе в Оренбург на лето, и я был сегодня у Владимира Ивановича Даля¹⁷⁰, и мы условились уже насчет поездки. На будущей неделе — прощай! — Меня это известие ошеломило. Я долго говорить не мог и, придя в себя, спросил его:

— Когда же это ты так скоро успел все обделать?

— Сегодня, — отвечал он. — Часу в десятом присылает за мною Григорович, я явился. Он предлагает мне это путешествие. Я соглашаюсь, отправляюсь к Далю — и дело кончено.

— Что же я буду без тебя делать? Как же я буду жить без тебя? — спросил я его сквозь слезы.

— Так, как и я без тебя. Будем учиться, работать — и одиночества не заметим. Вот что, — прибавил он, — завтра мы обедаем у Йохима¹⁷¹. Он тебя знает и просил меня привести тебя к себе. Согласен?

Я отвечал:

— Согласен. — И мы легли спать.

На другой день мы обедали у Йохима. Это сын известного каретника Йохима. Веселый, простой и прекрасно образованный немец. После обеда показывал он нам свое собрание эстампов и, между прочим, несколько тетрадей только что полученных превосходнейших литографий Дрезденской галереи. Так как это было в субботу, то мы и вечер провели у него. За чаем как-то речь [зашла] о любви и о влюбленных. Бедный Штернберг как на иголках сидел. Я старался переменить разговор, но Йохим, как нарочно, раздувал его. И в заключение про самого себя рассказал следующий анекдот:

— Когда я был влюблен в мою Адельгайду, а она в меня нет, то я решился на самоубийство. Я решился умертвить себя угаром. Приготовил все, что следует, как-то: написал записки нескольким друзьям, и между прочим ей (и он указал на жену), достал бутылку рому и велел принести жаровню с холодным угольем, лучины и свечу. Когда все это было готово, я запер на ключ двери, налил стакан рому,

выпил, и мне начал грезиться «Пир Балтазара» Мартена¹⁷². Я повторил дозу, и мне уже ничего не грезилось. Уведомленные о моей преждевременной и трагической смерти друзья сбежались, выломали двери и нашли меня мертвецки пьяного; дело в том, что я забыл уголья зажечь, а то бы непременно умер. После этого происшествия она сделалась ко мне благосклоннее и, наконец, решила сделать меня своим мужем.

Рассказ свой заключил он добрым стаканом пунша. Йохим мне чрезвычайно понравился своею манерой, и я вменил себе в обязанность навещать его как можно чаще.

Воскресенье мы провели у Шмидта, в одиннадцать часов возвратились на квартиру и уже раздеваться начали. Штернбергу понадобился носовой платок, он сунул руку в карман и вместо платка вынул афишу.

— Я и забыл! Сегодня в Большом театре маскарад, — сказал Штернберг, развертывая афишу. — Поедем!

— Пожалуй, поедем, спать рано, — сказал я, и, надевши вместо сертуков фраки, поехали сначала к Полицейскому мосту¹⁷³ в магазин костюмов, взяли капуцины, черные полумаски и отправились в Большой театр. Сияющий зал быстро наполнялся замаскированной публикой, музыка гремела, и в шуме общего говора визжали маленькие капуцины. Скоро сделалось жарко, и маска мне страшно надоела; я снял ее, Штернберг тоже. Может быть, иным показалось это странным, да нам-то какое дело.

Мы пошли в верхние боковые залы вздохнуть от тесноты и жару. Нас, хоть бы на смех, не преследовала ни одна маска. Только на лестнице встретил нас Элькан, тот самый господин в очках, что встретился мне однажды с Михайловым. Он меня узнал, Штернберга он тоже узнал и, хохоча во все горло, заключил нас в свои объятия. В это время подошел к нему молодой мичман, и он отрекомендовал нам, называя его своим искренним другом Сашею Оболонским. Был уже третий час, когда мы поднялись наверх. В одной из боковых зал накрытый стол и жующая публика возбудили во мне аппетит. Я это сообщил Штернбергу шепотом, а он вслух изъявил согласие. Но Элькан и Оболонский против этого протестовали и предложили ехать к неизменному Клею и поужинать как следует. «А то, — прибавил Элькан, — здесь не накормят, а возьмут вдесятеро». Мы единодушно изъявили согласие и отправились к Клею.

Мне молодой мичман понравился своею разбитною манерою. До сих пор встречался я только с своими скромными товарищами, а светского юношу еще в первый раз увидел вблизи. Каламбурами и остротами так и сыплет, а водевильных куплетов без счету, — просто прелесть юноша. Мы просидели у Клея до рассвета, и как удалый мичман был немного подгулявши, то мы взяли его к себе на квартиру, а с Эльканом расстались в трактире.

Вот как я нынче живу! По маскарадам шляюсь, в трактире ужинаю, деньги как попало трачу. А давно ли, давно ли сияло над Невой то незабвенное утро, в которое вы меня в первый раз увидели в Летнем саду перед статуей Сатурна? Незабвенное утро, незабвенный мой благодетель. Чем я и как я достойно возблагодарю вас? Кроме чистой сердечной слезы-молитвы, я ничего не имею.

В девять часов я по обыкновению пошел в класс, а Штернберг с гостем остались дома, гость еще спал. В одиннадцать часов зашел я к Карлу Павловичу и получил милейший выговор от милейшей Эмилии Карловны. До второго часу играли мы в гальбе-цвельф. Она хотела, чтобы я до обеда оставался с ними. Я уже начал было соглашаться, но Карл Павлович заметил, что манкировать не должно, и я, сконфуженный по уши, пошел в класс. В три часа я опять явился, а в пять часов оставил их за столом и опять ушел в класс.

Так проводил я все дни у них, как вышеописанный, кроме субботы и воскресенья. Суббота была посвящена Йохиму, а воскресенье Шмидту и Фицтуму. Вы замечаете, что все мои знакомые — немцы. Но какие прекрасные немцы! Я просто влюблен в этих немцев.

Штернберг в продолжение недели хлопотал о своем путешествии и, верно, что-нибудь забыл, это в его натуре. В субботу мы отправились к Йохиму, встретили там старика Кольмана¹⁷⁴, известного акварелиста и учителя Йохима.

После обеда заставил Кольман ученика своего показать нам свои этюды с деревьев, на что ученик неохотно согласился. Этюды сделаны черным и белым карандашом на серой бумаге. И сделаны так превосходно, так отчетливо, что я не мог налюбоваться ими. За один из этих этюдов он получил вторую серебряную медаль. И добрый Кольман, как торжество ученика своего, хвалил этот рисунок до небес и всем святым божился, что он сам не нарисует так прекрасно.

Так как Штернбергу оставалось только два дня, не более, провести с нами, то Йохим и спросил у него, как он намерен распорядиться этими днями? Штернберг, кажется, об этом и не подумал. И Йохим предложил вот что. Завтра, т. е. в воскресенье, посетить Строганова и Юсупова галереи, а в понедельник Эрмитаж. Проект был принят. И на другой день заехали мы к Йохиму и отправились в галерею Юсупова¹⁷⁵. Доложили князю, что такие-то художники просят позволения посмотреть его галерею, на что вежливый хозяин велел сказать нам, что сегодня воскресенье и прекрасная погода, а потому и советует нам, вместо изящных произведений, насладиться лучше великолепной погодой. Нам, разумеется, осталось поблагодарить князя за обязательный совет и больше ничего. Чтобы не выслушать подобного совета и у Строганова, мы отправились в Эрмитаж и часа три наслаждались, как истинные поклонники прекрасного искусства. Обедали у Йохима, а вечер провели в театре.

В понедельник поутру Штернберг получил записку от Даля. Владимир Иванович писал ему, чтобы он в три часа был готов к выезду. Он поехал проститься с своими друзьями, а я принялся укладывать его чемодан. К трем часам мы уже были у Даля, а в четыре мы поцеловались с Штернбергом у Средней рогатки¹⁷⁶, и я один возвратился в Петербург, чуть-чуть не в слезах. Думал было заехать к Йохиму, но мне хотелось уединения и не хотелось ехать к себе на квартиру: я боялся пустоты, которая меня поразит дома. Отпустив у заставы извозчика, я пошел пешком. Пространство, пройденное мною, не утомило меня, как я этого ожидал, и я долго еще [ходил] по набережной против Академии. В квартире Карла Павловича светился огонь; огонь вскоре погас, и через минуту вышел он с женою на набережную. Я, чтобы не встретиться с ними, ушел к себе и, не зажигая огня, разделся и лег в постель.

Я теперь почти не бываю дома: скука и пустота без Штернберга. Михайлов опять поселился со мною и по-прежнему не сидит дома. Он тоже где-то познакомился с мичманом Оболонским, вероятно у Элькана. Он часто приходит ночью, и если Михайлова нету дома, то он ложится спать на его постели. Юноша этот мне начинает менее нравиться, чем прежде: или он действительно однообразен, или это мне так кажется, потому что я сам теперь на себя не похож. И в самом деле, классы посещаю по-прежнему

исправно, но работаю вяло. Карл Павлович это заметил; мне это досадно, и я не знаю, как исправиться. Эмилия Карловна со мною по-прежнему любезна и по-прежнему играет со мною в гальбе-цвельф. Вскоре после уезда Штернберга он велел мне приготовить карандаши и бумагу. Он хочет нарисовать 12 головок с жены своей в разных поворотах для предполагаемой картины из баллады Жуковского «12 спящих дев». Бумага и карандаши лежат, однако ж, без всякого употребления.

Это было в конце февраля; я по обыкновению обедал у них. В этот роковой день она мне показалась особенно очаровательною; за обедом потчевала меня вином и была так любезна, что когда пробило пять часов, то я готов был забыть про класс, однако ж она сама мне про него напомнила. Делать было нечего, я встал из-за стола и ушел не прощаясь, обещаясь зайти из класса и непременно обыграть ее в гальбе-цвельф.

Классы кончились. Захожу я по обещанию к ним, меня в дверях встречает Лукьян и говорит, что барин никого принимать не приказали. Я немало удивился такому превращению и пошел к себе на квартиру. Против обыкновения застал я дома Михайлова и удалого мичмана. Вечер пролетел у нас в веселой болтовне. Часу в двенадцатом они пошли ужинать, а я лег спать.

На другой день поутру из класса захожу я к Карлу Павловичу, вхожу в мастерскую, и он встречает меня весело такими словами: «Поздравьте меня, я холостой человек!» Сначала я его не понял, но он повторил мне еще раз. Я все еще не верил, и он прибавил совсем невесело: «Жена моя вчера после обеда ушла к Заурвейдовой и не возвращалась». Потом он велел Лукьяну сказать Липину, чтобы тот подал ему палитру и кисти. Через минуту все было подано, и он сел за работу. На станке стоял неоконченный портрет графа Мусина-Пушкина¹⁷⁷. Он принялся за него. Как ни старался он казаться равнодушным, работа ему сильно изменяла. Наконец, он бросил палитру и кисти и проговорил как бы про себя: «Неужели это меня так тревожит? Работать не могу». И он ушел к себе наверх. Во втором часу я ушел в класс, все еще не совсем уверенный в случившемся. В три часа я вышел из класса и не знал, что делать: идти ли мне к нему или оставить его в покое. Лукьян встретил меня в коридоре и разрешил мое недоумение, сказавши: «Барин просят обе-

дать». Обедал я, однако ж, один, а Карл Павлович ни до чего не дотронулся, даже за стол не садился, жаловался на головную боль, а сам курил сигару. На другой день он слег в постель и пролежал две недели; в это время я не отходил от него. В нем по временам показывался горячечный бред, но он ни разу не произнес имя жены своей. Наконец, он начал поправляться и в один вечер пригласил брата своего Александра и просил его рекомендовать ему адвоката, чтобы хлопотать о формальной разводной. Теперь он уже выходит и заказал Довициелли большой холст — думает начать картину «Взятие на небо Божией Матери» для Казанского собора. А в ожидании холста и лета начал портрет во весь рост князя Александра Николаевича Голицына [для] Федора Ивановича Прянишников¹⁷⁸. Старик будет изображен в сидячем положении, в Андреевской ленте и в сером фраке.

Не пишу вам о слухах, которые ходят о Карле Павловиче и в городе, и в самой Академии; слухи самые нелепые и возмутительные, которые повторять грешно. В Академии общий голос называет автором этих гадостей Заурвейда, и я имею основание этому верить. Пускай все это немного постареет, и тогда я вам сообщу мои подозрения. А пока скопятся и выработаются материалы, прощайте, мой незабвенный благодетель.

P. S. От Штернберга из Москвы получил я письмо. Добрый Виля, он и вас не забывает. Кланяется вам и просит, если случится вам встретить в Малороссии племянницу Гарновского, госпожу Бурцову, то засвидетельствуйте ей от него глубочайшее почтение. Бедный Виля, он все еще ее помнит».

Следующее за этим письмо я не помещаю, потому что оно, кроме нелепых сплетен и самой гнусной клеветы, адресованной на имя Карла Великого, ничего в себе не заключает, а такие вещи не должны иметь места в сказании о благороднейшем из людей. Несчастное его супружество кончилось любовной сделкой, т. е. разводом, за который он заплатил ей 13 000 рублей ассигнациями. Вот и весь интерес письма.

«Петербургского серенького лета как не бывало. На дворе сырая, гнилая осень, а в Академии нашей блистательная выставка¹⁷⁹. Что [бы] вам приехать взглянуть на ее? А я на вас бы полюбовался. По части живописи из ученических работ особенно замечательного ничего нет, кроме программы

Петровского «Явление ангела пастухам»¹⁸⁰. Зато скульпторы отличились — Рамазанов¹⁸¹ и Ставассер¹⁸², особенно Ставассер. Он исполнил круглую статую молодого рыбака. И как исполнил! Просто прелесть, особенно выражение лица — живое, дыхание затаившее лицо, следя[щее] за движением поплавок. Я помню, когда статуя была еще в глине, Карл Павлович нечаянно зашел в кабинет Ставассера и, любуясь его статуею, посоветовал ему вдавить немного нижнюю губу рыбака. Он это сделал, и выражение изменилось. Ставассер готов был молиться на великого Брюллова.

О живописи вообще скажу вам, что для одной картины Карла Павловича¹⁸³ стоило приехать из Китая, а не только из Малороссии. Чудо-богатырь за один присест и подмалевал, и кончил, и теперь угощает алчную публику своим дивным произведением. Велика его слава! И необъятен его гений!

Что мне вам про [себя] самого сказать? Получил первую серебряную медаль за этюд с натуры¹⁸⁴. Еще написал небольшую картину масляными красками. «Сиротка мальчик делится милостыней с собакою под забором»¹⁸⁵. Вот и все. В продолжение лета постоянно занимался в классах и рано по утрам ходил с Йохимом на Смоленское кладбище¹⁸⁶ лопухи и деревья рисовать. Я более и более влюбляюсь в Йохима. Мы с ним почти каждый день видимся, он постоянно посещает вечерние классы, хорошо сошелся с Карлом Павловичем, и часто бывают друг у друга. Иногда мы позволяем себе прогулки на Петровский¹⁸⁷ и Крестовский острова с целью нарисовать черную ель или белую березу. Раза два ходили пешком в Парголово¹⁸⁸, и там познакомил я его со Шмидтами. Они летом живут в Парголове. Йохим чрезвычайно доволен этим знакомством. Да кто же не будет доволен семейством Шмидта!

Расскажу вам еще одно презабавное происшествие, недавно со мною случившееся. В одном этаже со мною поселился недавно какой-то чиновник с семейством. Семейство его — жена, двое детей и племянница, прекрасная девушка лет пятнадцати. Каким родом я узнал все эти подробности, я вам сейчас расскажу.

Вы помните хорошо вашу бывшую квартиру: из крошечной прихожей дверь отворяется на общий коридор. Однажды я отворяю эту дверь, и представьте мое изумление! Передо мною стоит прекрасная девушка, сконфуженная и раскрасневшаяся до ушей. Я не знал, что сказать ей, и, с минуту

помолчавши, поклонился, а она, закрыв лицо руками, убежала и скрылась в соседней двери. Я не мог понять, что бы это значило, и после долгих догадок и предположений пошел в класс. Работал я плохо; мне все мешала загадочная девушка. На другой день она [встретилась мне] на лестнице и вспыхнула, как и прежде; я тоже по-прежнему остолбенел. Через минуту она захохотала так детски, так чистосердечно, что я не утерпел и начал ей вторить. Чьи-то шаги послышались на лестнице и уняли наш смех. Она приложила палец к губам и убежала. Я тихо поднялся по лестнице и вошел в свою квартиру, еще больше озадаченный, чем в первый раз. Она мне несколько дней покою не давала. Я поминутно выходил в коридор в надежде встретить знакомую незнакомку, но она, если и выбегала на коридор, то так быстро пряталась, что я не успевал ей кивнуть головою, а не то чтобы порядочно поклониться. В таком положении прошла целая неделя. Я уже начал было ее забывать. Только слушайте, что случилось. В воскресенье, часу в десятом утра, входит ко мне Йохим, и отгадайте, кого он ввел за собою? Мою таинственную раскрасневшуюся красавицу.

— Я у вас поймал вора, — говорил он смеясь.

При взгляде на загадочную шалунью я сам сконфузился не меньше пойманного вора. Йохим это заметил и, выпуская руку красавицы, лукаво улыбнулся. Освобожденная красавица не исчезла, как можно было предполагать, а осталась тут же и, поправивши косыночку и косу, осмотрелась и проговорила:

— А я думала, что вы как раз против дверей сидите и рисуете, а вы вон где, в другой комнате.

— А если бы против дверей он рисовал, тогда что бы? — сказал Йохим.

— Тогда бы я смотрела в дырочку, как они рисуют.

— Зачем в дырочку? Я уверен, что товарищ мой настолько вежлив, что позволит оставаться в комнате во время работы. — И я в подтверждение слов Йохима кивнул головою и предложил стул гостье. Она, на мою вежливость не обратив внимания, обратилась к стоявшему на станке недавно мною начатому портрету госпожи Соловой¹⁸⁹. Только что она начала приходить в восторг от нарисованной красавицы, как послышался резкий голос в коридоре:

— Где же это она пропала! Паша!!

Гостья моя вздрогнула и побледнела.

— Тетенька, — прошептала она и бросилась к дверям, у дверей остановилась, и, приложив палец к губам, с минутой постояла, и скрылась.

Посмеявшись этому оригинальному приключению, отправились мы с Йохимом к Карлу Павловичу.

Приключение это само по себе ничтожно, но меня оно как будто беспокоит, оно у меня из головы не выходит, и я об нем постоянно думаю; Йохим иногда подтрунивает над моей задумчивостью, и мне это не нравится. Мне даже досадно, зачем он случился при этом приключении.

Сегодня я получил письмо от Штернберга. Он собирается в какой-то поход на Хиву¹⁹⁰ и пишет, чтобы не ждать его к праздникам, как он прежде писал, в Петербург. Мне скучно без него. Он для меня никем не заменимый. Михайлов уехал к своему мичману в Кронштадт, и я уже более двух недель его не вижу. Прекрасный художник, благороднейший человек и, увы! самый безалаберный. На время его отсутствия я пригласил к себе, по рекомендации Фицтума, студента Демского. Скромный и прекрасно образованный и, вдобавок, бедный молодой поляк. Он целый день проводит в аудитории, а по вечерам занимается со мною французским языком и читает Гиббона. Два раза в неделю по вечерам я хожу в залу Вольного экономического общества слушать лекции физики профессора...¹⁹¹ Хожу еще, вместе с Демским, раз в неделю слушать лекции зоологии профессора Куторги¹⁹². У меня, как вы сами видите, даром время не проходит. Скучать совершенно некогда, а я все-таки скучаю. Мне чего-то недостает, а чего — я и сам не знаю. Карл Павлович теперь ничего не делает и почти дома не живет. Я с ним вижуся весьма редко, и то на улице. Прощайте, мой незабвенный, мой благодетель. Не обещаю вам писать вскоре: время у меня проходит скучно, монотонно — писать не о чем, и я не хотел бы, чтобы вы дремали над моими однообразными письмами так, как я теперь дремлю над этим посланием. Еще раз прощайте!»

«Я обманул вас. Не обещал вам писать вскоре, и вот не прошло еще и месяца после последнего моего послания, я опять принимаюсь за послание. Событие поторопило! Оно-то обмануло вас, а не я. Штернберг заболел в хивинском походе, и умный, добрый Даль посоветовал ему оставить военный лагерь и возвратиться восвояси, и он совершенно неожиданно явился передо мною 16 декабря ночью. Если

бы я был один в комнате, то я принял бы его за видение и, разумеется, испугался бы; но мы были с Демским и перевели самую веселую главу из «Брата Якова» Поль де Кока¹⁹³. Следовательно, явление Штернберга мне показалось почти естественным явлением, хотя удивление и радость моя от этого нисколько не уменьшились. После первых объятий и лобзаний отрекомендовал я ему Демского, и как еще было только десять часов, то мы отправились в «Берлин» выпить чаю. Ночь, разумеется, прошла в расспросах и рассказах. На рассвете Штернберг изнемог и заснул, а я, дождавшись утра, принялся за его портфель, такую же полную, как и прошлого года он привез из Малороссии. Но здесь уже не та природа, не те люди. Хотя все так же прекрасно и выразительно, но совершенно все другое, кроме меланхолии, но это, может быть, отражение задумчивой души художника. Во всех портретах Ван-Дейка господствующая черта — ум и благородство, и это объясняется тем, что Ван-Дейк сам был благороднейший умница. Так и я толкую себе общую экспрессию прекрасных рисунков Штернберга.

О, если б вы знали, как весело, как невыразимо быстро и весело мелькают для меня теперь дни и ночи. Так весело, так быстро, что я не успеваю выучивать миньютюрного урока г. Демского, за что и грозит он вовсе от меня отказаться. Но, Боже сохрани, я себя до этого не доведу. Знакомства наши не уменьшились, не увеличились, все те же, но все они расцвели, так повеселели, что мне просто не сидится дома. Хотя, правду вам сказать, дома у меня тоже не без прелести, не без очарования! Я говорю о соседке, о той самой воровке, что у дверей поймал Йохим. Что это за милое, невинное создание! Настоящий ребенок! И самый прекрасный, неиспорченный ребенок. Она ко мне каждый день несколько раз забежит, попрыгает, полепечет и выпорхнет, как птичка. Просит меня иногда рисовать ее портрет, но никак более пяти минут не высидит. Просто ртуть. Недавно понадобилась мне женская рука для дамского портрета. Я попросил ее подержать руку; она, как добрая, и согласилась. И что ж вы думаете? Секунды не подержит спокойно. Настоящий ребенок. Так я бился, бился и, наконец, должен был пригласить модель для руки. Что ж вы думаете? Только что я усадил модель и взял палитру в руки, вбегает в комнату соседка, как всегда резвая, смеющаяся и, только увидела натурщицу, вдруг окаменела, потом зарыдала и, как тигренок, бросилась на нее. Я не знал,

что и делать. По счастью, случилась у меня малиновая бархатная мантилья той самой дамы, с которой портрет я писал. Я взял мантилью и накинул ей на плечи. Она опомнилась, подошла к зеркалу, полюбовалась на себя с минуту, потом бросила на пол мантилью, плюнула на нее и выбежала из комнаты. Я отпустил модель, и рука по-прежнему осталась неоконченною.

Три дня после этого происшествия не показывалась соседка в моей квартире. Если встречалась со мной в коридоре, то закрывала лицо руками и убегала в противоположную сторону. На четвертый день, только что я пришел из класса домой и начал готовить палитру, как входит соседка, скромная, тихая, я просто не узнавал ее. Молча обнажила по локоть руку, села на стул и приняла позицию изображаемой дамы. Я, как ни в чем не бывало, взял палитру, кисти и принялся за работу. Через час рука была окончена. Я рассыпался в благодарности за такую милую услугу. Но она хоть бы улыбнулась, встала, опустила рукав и молча вышла из комнаты. Меня это, признаюсь вам, задело за живое, и я теперь ломаю голову, как восстановить мне прежнюю гармонию. Так прошло еще несколько дней, гармония начала видимо восстанавливаться. Она уже не бегала от меня в коридоре, а иногда даже и улыбалась. Я уже начинал надеяться, что вот-вот дверь растворится и влетит моя птичка красноперая. Дверь, однако ж, не растворялась и птичка не показывалась. Я начинал беспокоиться и придумывать силки для коварной птички. И когда рассеянность моя стала делаться несносною не только мне самому, но и добрейшему Демскому, в это самое время, как ангел с неба, является ко мне Штернберг из киргизской степи.

Теперь я живу совершенно одним Штернбергом и для одного Штернберга, так что если б соседка не попадалась мне иногда в коридоре, то, может быть, я бы и совсем ее забыл. Ей ужасно хочется забежать ко мне, но вот горе: Штернберг постоянно дома, а если уходит со двора, то и я с ним ухожу. На празднике она, однако ж, не утерпела, и так как нас по вечерам дома не бывает, то она замаскировалась днем и прибежала к нам. Я притворился, что не узнаю ее. Она долго вертелась и всячески старалась показать, чтобы я узнал ее, но я упорно стоял на своем. Наконец, она не утерпела, подошла ко мне и почти вслух сказала:

— Несносные! ведь это я!

— А когда вы, снимите маску, — сказал я шепотом, — тогда узнаю, кто вы!

Она немного замялася, потом сняла маску, и я отрекомендовал ей Штернберга.

С того дня у нас пошло все по-прежнему. С Штернбергом она не церемонится точно так же, как и со мною. Мы ее балуем разными лакомствами и обращаемся с нею, как добрые братья с родною сестрою.

— Кто она такая? — однажды спросил меня Штернберг.

Я не знал, что отвечать на этот внезапный вопрос. Мне никогда и в голову не приходило спросить ее об этом.

— Должно быть, или сирота, или дочь самой беспечной матери, — продолжал он. — Во всяком случае она жалка. Умеет ли она хоть грамоте?

— И этого не знаю, — отвечал я нерешительно.

— Давать бы ей читать что-нибудь. Все бы голова не совсем была праздна. А кстати, узнай, если она читает, то я ей подарю весьма моральную и мило изданную книгу. Это «Векфильдский священник» Гольдсмита¹⁹⁴. Прекрасный перевод и прекрасное издание. — А минуту спустя продолжал он, обращаясь ко мне с улыбкою: — Ты замечаешь, я сегодня чувствую себя в припадке морали. Например, вопрос такого рода: чем могут кончиться визиты этой наивной резвушки?

По мне пробежала легонькая дрожь. Но я сейчас же оправился и отвечал:

— Я думаю, ничем.

— Дай Бог, — сказал он и задумался.

Я всегда люблю его благородной, детски-беззаботной физиономией. Но теперь эта милая физиономия мне показалась совсем не детской, а созревшей и прочувствовавшей на свою долю физиономией. Не знаю почему, но мне невольно на мысль пришла Тарновская, и он как бы подстерег эту мысль, посмотрел на меня и глубоко вздохнул.

— Береги ее, мой друг! — сказал он. — Или сам берегись ее. Как ты сам себе чувствуешь, так и делай. Только помни и никогда не забывай, что женщина — святая, неприкосновенная вещь и вместе так обольстительна, что никакая сила воли не в силах противустать этому обольщению. Кроме только чувства самой возвышенной евангельской любви. Оно одно только может защитить ее от позора, а нас от вечного упрека. Вооружись же этим прекрасным чувством, как рыцарь железным панцирем, и иди смело на врага. — Он на минуту

замолчал. — А я страшно постарел с прошлого года, — сказал он улыбаясь. — Пойдем лучше на улицу, в комнате что-то душно кажется.

Долго молча мы ходили по улице, молча возвратились на квартиру и легли спать.

Поутру я ушел в класс, а Штернберг остался дома. В одиннадцать часов я прихожу домой и что же вижу? Вчерашний профессор морали нарядил мою соседку в бобровую с бархатным верхом с золотою кистью татарскую шапочку и какой-то красный шелковый, татарский же, шугай¹⁹⁵, и сам, надевши башкирскую остроконечную шапку, наигрывает на гитаре качучу, а соседка, что твоя Тальони, так и отделяет соло.

Я, разумеется, только всплеснул руками, а они хоть бы тебе глазом повели — продолжают себе качучу, как ни в чем не бывало. Натанцовавшись до упаду, она сбросила шапочку, шугай и выбежала в коридор, а моралист положил гитару и захохотал как сумасшедший. Я долго крепился, но наконец не вытерпел и так чистосердечно завторил, что прямо заглушил. Нахохотавшись до упаду, уселись мы на стульях один против другого, и, с минуту помолчав, он первый заговорил:

— Она самое увлекательное создание. Я хотел было нарисовать с нее татарочку, но она не успела нарядиться, как принялася танцевать качучу, а я, как ты видел, не утерпел и вместо карандаша и бумаги схватил гитару, и остальное ты знаешь. Но вот чего ты не знаешь. До качучи она рассказала мне свою историю, разумеется, лаконически, да подробности едва ли она и сама знает, но все-таки, если б не эта проклятая шапка, она бы не остановилась на половине рассказа, а то увидела шапку, схватила, надела — и все забыто. Может быть, она с тобою будет разговорчивее, выпроси у нее хорошенько. Ее история должна быть самая драматическая история. Отец ее, говорит она, умер в прошлом году в Обуховской больнице¹⁹⁶.

В это время дверь растворилась, и вошел давно не виданный Михайлов, а за ним удалый мичман. Михайлов без дальних околичностей предложил нам завтрак у Александра. Мы переглянулись с Штернбергом и, разумеется, согласились. Я заикнулся было насчет класса, но Михайлов так неистово захохотал, что я молча надел шляпу и взялся за ручку двери.

— А еще хочет быть художником! Разве в классах образуются истинные великие художники? — торжественно произнес неугомонный Михайлов.

Мы согласились, что лучшая школа для художника — таверна, и в добром согласии отправились к Александру.

У Полицейского моста мы встретили Элькана, прогуливающегося с каким-то молдаванским бояром и разговаривающего на молдаванском наречии. Мы взяли и его с собой. Странное явление этот Элькан. Нет языка, на котором бы он не говорил. Нет общества, в котором бы он не встречался, начиная от нашей братии и оканчивая графами и князьями. Он, как сказочный волшебник, везде и нигде. И на Англинской набережной¹⁹⁷, у конторы пароходства — приятеля за границу провожает, и в конторе дилижансов или даже у Средней рогатки — тоже провожает какого-нибудь задушевного москвича, и на свадьбе, и на крестинах, и на похоронах, и все это в продолжение одного дня, который он заключает присутствием своим во всех трех театрах. Настоящий Пинетти¹⁹⁸. Его иные остерегаются, как шпиона, но я в нем не вижу ничего похожего на подобное создание. Он, в сущности, неумолкаемый говорун и добрый малый и вдобавок плохой фельетонист. Его еще в шутку называют Вечным Жидом¹⁹⁹, и это он сам находит для себя приличным. Он со мною иначе не говорит как по-французски, за что я ему весьма благодарен, это для меня хорошая практика.

Вместо завтрака у Александра мы плотно пообедали и разошлись восвояси. Михайлов и мичман у нас переночевали и поутру уехали в Кронштадт. Святки прошли у нас быстро, значит весело. Карл Павлович велит мне приготовляться к конкурсу на вторую золотую медаль. Не знаю, что-то будет? Я так мало еще учился. Но с Божиею помощью попробуем. Прощайте, мой незабвенный благодетель. Не имею вам ничего сказать более».

«Уже и Масляница, и Великий пост, и, наконец, праздники прошли, а я вам не написал ни одного слова. Не подумайте, мой бесценный, мой незабвенный благодетель, что я забываю вас! Боже меня сохрани от подобного греха. Во всех помышлениях, во всех начинаниях моих вы, как самое светлое, самое отрадное существо, присутствуете в моей благодарной душе. Причина же моего молчания очень проста: не о чем писать, однообразие. Нельзя сказать, чтобы

это однообразие было скучное, монотонное. Напротив, дни, недели и месяцы для меня летят незаметно. Какое благодетельное дело труд, особенно если он находит поощрение! А я, слава Богу, в поощрении не нуждаюсь: на экзаменах я постоянно не сажусь ниже третьего №. Карл Павлович постоянно мною доволен — какое же может быть отраднее, существеннее поощрение для художника? Я безгранично счастлив! Эскиз мой на конкурсе приняли без малейшей перемены, и я уже принялся за программу. Сюжет я полюбил, он мне совершенно по душе, и я весь ему предан. Это сцена из «Илиады» — Андромаха над телом Патрокла²⁰⁰. Теперь только я совершенно понял, как необходимо изучение антиков и вообще жизни и искусства древних греков. И как мне в этом случае французский пригодился. Я не знаю, как [благодарить] доброго Демского за эту услугу.

Мы очень оригинально встретили праздник Христова Воскресения с Карлом Павловичем. Он днем еще говорил мне, что намерен идти к заутрене в Казанский собор²⁰¹, чтобы посмотреть свою картину при огненном освещении и крестный ход. Вечеру велел он подать чай в 10 часов, чтобы незаметнее прошло время. Я налил ему и себе чаю. Он закурил сигару, лег на кушетку и начал читать вслух «Пертскую красавицу». А я ходил взад и вперед по комнате. Только я и помню. Потом слышу неясно как будто гром, раскрываю глаза — в комнате светло, лампа на столе едва горит, Карл Павлович спит на кушетке, книга на полу лежит, а я лежу в креслах и слушаю, как из пушек стреляют. Погасивши лампу, я тихонько вышел из комнаты и пошел к себе на квартиру. Штернберг еще спал. Я умылся, оделся и вышел на улицу. Люди уже с освященными пасками выходили из Андреевской церкви²⁰². Утро было настоящее праздничное. И знаете, что меня больше всего занимало в это время? Совесть сказать. А сказать необходимо, необходимо потому, что мне грешно было бы скрывать от вас какую бы то ни было мысль или ощущение. Я был в это время настоящий ребенок. Меня больше всего занимал тогда мой новый непромокаемый плащ. Не странно ли? Меня тешит праздничная обнова. А если подумать, так и не странно. Глядя на полы своего блестящего плаща, я думал: «Давно ли я в затрапезном, запачканном халате не смел и помышлять о подобном блестящем наряде. А теперь! Сто рублей бросаю за какой-нибудь плащ. Просто Овидиево превращение.

Или, бывало, промыслишь как-нибудь эту бедную полтину и несешь ее в раек²⁰³, не выбирая спектакля. И за полтину, бывало, так чистосердечно нахохочуся и горько наплачуся, что иному и во всю жизнь свою не придется так плакать и так смеяться. И давно ли то было? Вчера, не дальше, — и такая чудная перемена. Теперь, например, я уже иначе не иду в театр, как в кресла и редко когда в места за креслами, и иду смотреть не что попало, а норовлю попасть или на бенефис, или на повторение бенефиса, или хоть и старое что-нибудь, то всегда с выбором. Правда, что я утратил уже тот непритворный смех и искренние слезы, но мне их почти не жаль». Вспоминая все это, я вас вспоминаю, мой незабвенный благодетель, и то святое утро, в которое вас сам Бог навел на меня в Летнем саду, чтобы взять меня из грязи и ничтожества.

Праздник встретил я в семействе Уваровых²⁰⁴. Не подумайте — графов. Боже сохрани, мы еще так высоко не летаем. Это простое, скромное купеческое семейство, но такое доброе, милое, гармоничное, что дай Бог, чтобы все семейства на свете были таковы. Я принят у них как самый близкий родной. Карл Павлович тоже их нередко посещает.

Праздник провели мы весело. В продолжение недели ни разу не обедали у мадам Юргенс, а все в гостях — то у Юхима, то Шмидта, то Фицтума, а вечера или в театре, или Шмидта. Соседка наша по-прежнему нас посещает, и все такая же шалунья, как и прежде была. Жаль, что она не может служить мне моделью для Андромахи: слишком молода и субтильна, если можно так выразиться. Я удивляюсь, что это за женщина ее тетенька. Она, кажется, и не думает о своей шалунье-племяннице. Она иногда у нас бесится часа два сряду, а тетеньке и нуждушки нет. Странно! Штернберг досказал мне ее историю. Матери она не помнит, а отец ее был какой-то бедный чиновник и, как кажется, пьяница, потому что, когда они жили в Коломне²⁰⁵, то он каждый день приходил из должности «краснехонькой» (как она сама выразилась) и сердитый, и если у него были деньги, то он посылал ее в кабак за водкою, а если денег не было, то посылал ее на улицу просить милостыню. А вицмундир носил всегда с прорванными локтями. Тетка ее, теперишняя покровительница, а его родная сестра, иногда приходила к ним и просила его, чтобы он Пашу отдал ей на воспитание, но он и слышать не хотел. Долго ли они так жили в Коломне,

она не помнит. Только однажды зимою он из должности не пришел ночевать на квартиру, она одна ночевала дома и ничего не боялась. На другую ночь он тоже не приходил, а на третий день уже пришел за нею от отца из Обуховской больницы служитель. Она пошла к нему, и служитель дорогой ей рассказал, что отца ее будочники ночью подняли на улице и отправили в часть, а из части уже на другой день в горячке привезли его в больницу, и что прошлой ночью он ненадолго пришел в себя, сказал свою фамилию, рассказал, где его квартира, и просил привести ее к себе. Больной отец не узнал ее и прогнал от себя. Тогда она пошла к тетке и осталась у нее.

Вот и вся ее грустная история.

На днях подарил ей Штернберг «Векфильдского священника». Она схватила книгу, как дитя хватает хорошенькую игрушку, и, как дитя, поиграла ею, посмотрела картинки и бросила на стол, а уходя и не вспомнила о книге. Штернберг решительно уверен, что она безграмотна, я то же думаю, судя по ее печальному детству. У меня даже родилась мысль (если она действительно безграмотна) выучить ее по крайней мере читать. Штернбергу мысль моя понравилась, и он вызвался помогать мне. И он так уверен в ее безграмотности, что в тот же день пошел в книжную лавку и купил азбучку с картинками. Но благой проект наш только проектом и остался. Вот почему. На другой день, когда мы хотели приступить к первой лекции, приехал из Крыма Айвазовский²⁰⁶ и остановился у нас на квартире. Штернберг с восторгом встретил своего товарища. Но мне, не знаю почему, на первый раз он не понравился. В нем есть, несмотря на его изящные манеры, что-то не симпатическое, не художническое, а что-то вежливо-холодное, отталкивающее. Портфели своей он нам не показывает, говорит — оставил в Феодосии у матери, а дорогой ничего не рисовал, потому что торопился застать первый заграничный пароход. Он прожил с нами, однако ж, с лишком месяц, не знаю по каким обстоятельствам. И в продолжение этого времени соседка нас ни разу не посетила: она боится Айвазовского. И я его за это готов каждый день проводить за границу. Но вот мое горе: с ним вместе и мой бесценный Штернберг уезжает²⁰⁷.

Еще прошло несколько дней, и мы проводили моего Штернберга до Кронштадта. Около его собралось нас человек десять, а около Айвазовского ни одного. Странное явле-

ние между художниками! В числе провожавших Штернберга был и Михайлов. И одолжил же он нас! После дружеского веселого обеда у Стеварта он заснул богатырски. Мы его хотели разбудить, но не могли и, взявши пару бутылок клико, отправились с Штернбергом на пароход. На палубе «Геркулеса» выпили вино, вручили нашего друга г. Тыринову²⁰⁸ (начальнику парохода), простились и возвратились уже вечером в трактир. Михайлов уже полупроснулся. Мы принялись рассказывать ему, как провожали мы Штернберга, — он молчал, и как были на пароходе, — он все молчал, и как выпили две бутылки клико. «Негодяи! — проговорил он при слове «клик». — Не разбудили товарища проводить!..»

Скучно мне без моего милого Штернберга. Так скучно, что я не только от квартиры, где мне все его напоминает, даже от резвой соседки своей готов бежать. Не пишу вам теперь ничего больше — скучно, а я вам не хочу навести скуку своим монотонным посланием. Примуся лучше за программу. Прощайте».

«Лето так у меня быстро промелькнуло, быстрее, чем у праздного денди одна минута. Я после выставки едва только заметил, что оно уже кануло в вечность. А между прочим, в продолжение лета мы с Йохимом несколько раз посещали на Крестовском острове старика Кольмана, и под его руководством я сделал три этюда: две ели и одну березу. Добрейшее создание этот Кольман! Шмидты возвратились уже в город, и они-то мне напомнили своими упреками, что уже прошло лето. Я их ни разу не посетил. Далекое, а у меня все дни и ночи были отданы программе. Зато как они искренно поздравляли меня с успехом. Да, с успехом, мой незабвенный благодетель! Какое великое дело для ученика программа! Это его пробный камень, и какое великое для него [счастье], если он на этом камне оказался не поддельным, а истинным художником. Я это счастье вполне испытал. Не могу описать вам этого чудного, этого беспредельно сладкого чувства. Это продолжительное присутствие всего святого, всего прекрасного в мире в одном человеке. Зато какое горькое, какое мучительное состояние души предшествует этой святой радости. Это ожидание. Несмотря на то, что Карл Павлович уверял меня в успехе, я так страдал, как страдает преступник перед смертной казнью. Нет, больше. Я не знал, умру ли я или остануся в живых.

А это, по-моему, тягостнее. Приговор еще не был произнесен. И в ожидании этого страшного приговора зашли мы с Михайловым к Дели сыграть партию в бильярд, но у меня дрожали руки, и я не мог сделать ни одного шара, а он, как ни в чем не бывало, так и режет. А ведь он тоже был под судом. Его программа стояла рядом с моею. Меня бесило такое равнодушие. Я бросил кий и ушел к себе на квартиру. В коридоре встретила меня смеющаяся, счастливая соседка.

— Что? — спросила она меня.

— Ничего, — ответил я.

— Как ничего? А я убрала вашу комнату, как для светлого праздника. А вы идете такой скучный. — И она тоже хотела сделать скучную мину, но никак не могла.

Я поблагодарил ее за внимание и просил в комнату. Она так детски-непритворно [стала] утешать меня, что я не утерпел, расхохотался.

— Ничего еще неизвестно, экзамен еще не кончился, — сказал я.

— Так зачем же вы меня обманули, бессовестный! Если б знала, не убирала и комнату. — И она надула розовенькие губки. — У Михайлова, — продолжала она, — небось я не убрала. Пускай себе с своим мичманом валяются, как медведи в берлоге, мне какое дело!

Я поблагодарил ее за предпочтение и спросил ее — будет ли она рада, если Михайлов медаль получит, а я нет.

— Я ему руки переломаяю. Глаза выцарапаю. Я его убью до смерти!

— А если я?

— Я тогда сама умру от радости.

— За что же мне такое предпочтение? — спросил я ее.

— За что?.. За то... за то... что вы меня обещались зимою грамоте учить...

— И сдержу слово, — сказал я.

— Идите же в Академию, — сказала она, — и узнайте, что там делается, а я вас подожду в коридоре.

— Зачем же не здесь? — спросил я.

— А если придет мичман, что я тогда буду делать?

«Правда», — подумал я и, не говоря ни слова, вышел в коридор. Она замкнула дверь и ключ спрятала в карман.

— Я не хочу, чтобы они без вас вошли в вашу комнату и что-нибудь испортили. — «С чего она взяла, что они у меня

что-нибудь испортят, — подумал я, — так просто, детский каприз».

— До свидания! — сказал я, спускаясь по лестнице. — Пожелайте мне счастья.

— От всей души! — сказала она восторженно и скрылась. Я вышел на улицу. Я боялся войти в Академию. Академические ворота мне показались разинутою пастью какого-то страшного чудовища. Побродивши до поту на улице, я перекрестился и пробежал в страшные ворота. Во втором этаже, в коридоре, как тени у Харонова перевоза²⁰⁹, блуждали мои нетерпеливые товарищи. В толпу их и я вмешался. Профессора уже прошли из цыркуля в конференс-залю. Ужасная минута близилась. Андрей Иванович (инспектор)²¹⁰ вышел из круглой залы, я ему первый попался навстречу, и он, проходя мимо меня, шепнул мне:

— Поздравляю.

Я в жизнь свою не слыхал и не услышу такого сладкого, такого гармонического звука. Я стремглав бросился домой и в восторге расцаловал мою соседку. Хорошо еще, что никто не видел, потому что это было на лестнице. Хотя я здесь ничего предосудительного не вижу, но все-таки слава Богу, что никто не видел.

Так или почти так совершился этот душу потрясающий экзамен. И все то, что я вам написал теперь, это только темный силуэт с живой природы, слабая тень настоящего происшествия. Его ничем нельзя выразить — ни пером, ни кистью, ни даже живыми словами.

Михайлову экзамен не удался. Боже сохрани, если бы со мной случилось подобное несчастье. Я бы с ума сошел, а он как ни в чем не бывало, зашел на квартиру, надел теплое пальто и уехал к своему мичману в Кронштадт. Я не знаю, что у него за симпатия к этому мичману. Я в нем совершенно ничего не нахожу привлекающего, а он от него без души. Сначала, правда, он и мне понравился, но это ненадолго. А бедный мой учитель Демский! Вот истинно симпатический человек. Он, бедный, болен, и неизлечимо болен. Чахотка в последнем периоде. Он еще ходит, но едва-едва ходит. На днях зашел поздравить меня с медалью, и мы с ним провели вечер в самой сладкой дружеской беседе. Он мне предсказывал мое будущее с таким убеждением, так натурально, живо, что я невольно ему верил. И бедный Демский, он и не подозревает своей болезни. Он так искренно

увлекается своим будущим, как может увлекаться только полный здоровья юноша. Счастливец, если можно назвать мечту счастьем! Он говорит, что главное и самое трудное уже уничтожено, т. е. нищета, что он не обязан уже просиживать ночи над перепиской лекций за какой-нибудь рубль, что он теперь совершенно не зависим от нищеты, может предаться своей любимой науке, что он, если не превзойдет своего идола Лелевеля²¹¹ в отечественной истории, то по крайней мере сравняется с ним, что будущая его диссертация откроет ему все средства осуществить свои блестящие надежды. А между тем бедняк кашляет кровью и старается это скрыть от меня. И, Боже мой, чего бы я не отдал за осуществление его пламенных желаний! Но, увы! совершенно никакой надежды. Едва ли проживет он и до вскрытия Невы.

В минуту самых сердечных излияний Демского с шумом отворилась дверь и вошел удалый мичман.

— Что, Мишка у себя? — спросил он, [не снимая] шапки.

— Он вчера еще уехал к вам, — отвечал я.

— Значит, мы с ним разъехались. Пусть его прогуляется. А между прочим, я у вас ночую.

И он вошел в комнату Михайлова. Я ему подал свечу. Что мне было делать? Я Демскому предложил постель Михайлова в совершенной надежде, что у нас ее никто не завоюет. Демский заметил мое невыгодное положение, улыбнулся, взял шапку и протянул мне руку. Я тоже молча взял шапку и вышел с ним на улицу, предоставив мичмана самому себе. Проводивши Демского до его квартиры, я весьма неохотно возвратился назад, и что же застаю дома? Соседка моя не знала, что меня дома нет, и забежала в мою комнату, а удалый полураздетый мичман схватил ее и хотел было дверь на ключ запереть, но в это время я подошел к двери и помешал ему. Соседка вырвалась у него из рук, плюнула ему в лицо и убежала.

— Настоящая ртуть, — сказал мичман утираясь. Меня эта сцена оскорбила, но я этого не дал ему заметить, и как еще было не поздно, то без церемонии оставил его на квартире, а сам пошел искать лучшего товарища коротать осенний вечер.

Визиты мои товарищам были неудачны, я кланялся только замкам дверей, к Шмидтам идти было поздно, Карла Павловича тоже не было дома, и я не знал, что с собою

делать. Меня мучил проклятый мичман. Я ненавижу его. Не знаю, была ли то ревность. Или просто чувство отвращения к человеку, который поругал святое чувство скромности в женщине. Женщина, какая бы она ни была, мы ей обязаны если не уважением, так по крайней мере приличием. А мичман пренебрег и то, и другое. Он просто пьян или в глубине души мерзавец. Я как-то невольно верую в последнее.

В квартире Карла Павловича засветился огонь, и я зашел к нему и у него переночевал. Карл Павлович заметил, однако ж, мое ненормальное состояние, но был так любезен, что не сделал мне ни одного вопроса. Велел мне сделать постель в одной комнате с собою и сам стал читать вслух. То была книга Вашингтона Ирвинга «Христофор Колумб»²¹². Читая, он тут [же] импровизировал картину, как неблагоприятные испанцы выводят с баркаса на берег обремененного цепями великого адмирала. Какая грустная, поучительная картина. Я предложил ему лоскуток бумаги и карандаш, но он отказался и продолжал читать.

Так однажды во время ужина, рассказывая свое путешествие по древней Элладе, он набросал чудную картину под названием «Афинский вечер». Картина представляла афинскую улицу, освещенную вечерним солнцем. На горизонте вчерне оконченный Парфенон²¹³, но еще леса не убраны. На первом плане среди улицы пара буйволов везут мраморную статую «Река Илис» Фидия²¹⁴. Сбоку сам Фидий, встречаемый Периклом и Аспазией²¹⁵ и всем, что было славного в Перикловых Афинах, начиная с знаменитой гетеры и до Ксантиппы²¹⁶. И все это освещено лучами заходящего солнца. Великолепная картина. Что «Афинская школа»²¹⁷ перед этой животрепещущей картиной? А он именно потому только ее и не исполнил, что уже существует «Афинская школа». И сколько подобных картин [он] оканчивает или вдохновенным словом, или вершковым эскизом в своем весьма невеликолепном альбоме. Так, например, прошедшей зимой он начертил несколько самых миниатюрных эскизов на одну и ту же тему. Я ничего не мог понять и только догадывался, что великий мой учитель замышляет что-то великое. И я не обманулся в своих догадках.

Нынешнее лето я стал замечать, что он до восхода солнечного ежедневно начал уходить в свою мастерскую, в портик, в своей серой рабочей куртке и оставался там до самого вечера. Один Лукьян только знал, что там совершается,

потому что он приносил ему воду и обед. Я тогда работал над программой и не мог предложить ему услуг книгочия, хотя я был уверен, что он охотно принял бы такую услугу, потому что он любит чтение. Так прошло три недели. Я трепетал от нетерпения. Никогда он так постоянно не посещал свою студию. Должно быть, что-нибудь необыкновенное. Да и что обыкновенное создает такой колоссальный гений!

Однажды я перед вечером отпустил натурщика, хотел выйти на улицу. В коридоре встретился мне Карл Павлович с небритой бородою. Он пожелал видеть мою программу. Я с трепетом ввел его в свой кабинет, он сделал несколько неважных замечаний и сказал: «Теперь пойдем посмотреть мою программу». И мы пошли в портик. Я не знаю, рассказывать ли вам о том, что я там увидел? Рассказать я вам должен. Но как я расскажу нерассказываемое?

Отворив двери в мастерскую, мне представилось огромное темное полотно, натянутое на раму. На полотне черной краской написано: «Нач. 17 июля». За полотном музыкальный ящик играл хор ноблей из «Гугенотов»²¹⁸. С замиранием сердца прошел я за полотно, оглянулся, и у меня дыхание захватило: передо мною стояла не картина, а со всем ужасом и величием живая осада Пскова²¹⁹. Вот где смысл крошечных эскизов. Вот для чего он прошедшее лето делал прогулку в Псков. Я знал о его предположении, но никогда не мог вообразить себе, чтобы это так быстро исполнилось. Так быстро и так прекрасно! Пока я сделаю для вас небольшой контур с этого нового чуда, опишу вам его, разумеется, очень ограниченно.

На правой стороне от зрителя, на третьем плане картины, взрыв башни, немного ближе пролом в стене и в проломе рукопашная схватка. Да такая схватка, что смотреть страшно: кажется, слышишь крики и звон мечей о железные ливонские, польские, литовские и бог знает еще о какие железные шлемы. На левой стороне картины, на втором плане, крестный ход с хоругвями и иконой Божией Матери, торжественно-спокойно предшествуемый епископом с мечом святого Михаила, князя псковского. Какой удивительный контраст! На первом плане, в середине картины, бледный монах с крестом в руке, верхом на гнедой лошади. По правую сторону монаха издыхающий белый конь Шуйского²²⁰, а сам Шуйский бежит к пролому с поднятыми вверх руками. По левую сторону монаха благоче-

стивая старуха благословляет юношу, или, лучше сказать, мальчика, на супостата. Еще левее девушка поит водою из ведра утомленных воинов. А в самом углу картины полуобнаженный умирающий воин, поддерживаемый молодою женщиною, быть может, будущей вдовою. Какие чудные, разнообразные эпизоды! И я вам их и половины не описал. Мое письмо было бы бесконечно и все-таки не полно, если бы я вздумал описывать все подробности этого совершенства искусства.

Удовольствуйтесь на первый раз хоть этим прозаическим очерком в высшей степени поэтического произведения. Со временем пришло вам контур с него, и вы тогда яснее увидите, что это за божественное произведение.

О чем же мне еще писать вам, мой незабвенный благодетель? Я так редко и так мало пишу вам, что мне совестно. Упреки ваши, что я ленив писать, не совсем справедливы. Я не ленив, а не мастер о обыденной жизни своей рассказывать увлекательно, как это другие умеют делать. Я недавно (собственно для писем) прочитал «Клариссу»²²¹, перевод Жюль Жанена, и мне понравилось одно предисловие переводчика²²². А письма такие сладкие, такие длинные, что из рук вон. И как это достало терпения у человека написать такие бесконечные письма? А письма из-за границы мне еще менее понравились: претензии много, а толку мало. Педантизм и больше ничего. Я, признаюсь вам, имею сильное желание выучиться писать, да не знаю, как это сделать. Научите меня. Ваши письма так хороши, что я их наизусть выучиваю. А пока овладею вашим секретом, буду вам писать, как сердце продиктует. И моя простосердечная откровенность пускай пока заменит искусство.

Переночевавши у Карла Павловича, я часу в десятом весьма неохотно пошел к себе на квартиру. Михайлов уже был дома и наливал в стакан едва проснувшемуся мичману какое-то вино, а моя ветренная соседка как ни в чем не бывало выглядывала из моей комнаты и хохотала во все горло. Никакого самолюбия, ни тени скромности. Простая ли это, естественная наивность? Или это следствие уличного воспитания? Вопрос для меня неразрешимый. Неразрешимый потому, что я к ней безотчетно привязан, как [к] самому милому ребенку. И, как настоящего ребенка, я посадил ее за азбучку. По вечерам она твердит склады, а я что-нибудь черчу или с нее же портрет рисую. Головка

просто прелесть. И замечательно что? С тех пор как она начала учиться, перестала хохотать. А мне смешно становится, когда я смотрю на ее серьезное детское личико. От нечего делать в продолжение зимы я думаю написать с нее этюд при огненном освещении. В таком точно положении, как она сидит, углубившись в азбучку, с указкою в руке. Это будет очень миленькая картинка — а la Грез²²³. Не знаю, совладаю ли я с красками. В карандаше она порядочно выходит.

На днях я познакомился с ее тетушкой и весьма оригинально. По обыкновению в одиннадцать часов утра возвращаюсь я из класса; в коридоре встречает меня Паша и именем тетеньки просит к себе на кофе. Меня это изумило. Я отказываюсь. Да и в самом деле, как войти в незнакомый дом и прямо на угощение? Она, однако ж, не дает мне выговорить слова, тащит меня за рукав к своим дверям, как упрямого теленка. Я, как теленок, упираюсь и уже чуть-чуть не освободил свою руку, как растворилась дверь и явилась на помощь сама тетенька. Не говоря ни слова, схватывает меня за другую руку, и втаскивают в комнату; двери на ключ — и просят быть как дома.

— Прошу покорно, без церемонии, — говорит запыхавшись хозяйка. — Не взыщите на простоте. Пашенька, что же ты рот разинула? Неси скорее кофе!

— Сейчас, тетя! — отозвалась Паша из другой комнаты и через минуту явилась с кофейником и чашками на подносе. Настоящая Геба²²⁴. Тетя тоже немного смахивала на Тучегонителя.

— Нам с вами давно хотелось познакомиться, — так начала гостеприимная хозяйка. — Да все как-то случаю не выпадало, а сегодня, слава Богу, я таки поставила на своем. Уж вы нас извините за простоту. Не угодно ли чашечку кофею? Давно что-то нашей охтянки²²⁵ не видать. А в лавочке сливки такая дрянь, да что будешь делать? Ко мне Паша давно уже пристаёт, чтоб я познакомилась с вами, да вы-то такой нелюдим, настоящий затворник, и в коридор-то вы лишний раз не выглянете. Кушайте еще чашечку. Вы с нашей Пашенькой просто чудо сотворили. Мы ее просто не узнаем. С утра до ночи за книжкой, воды не замутит, так что даже любо. А вчера, вообразите наше удивление. Достала с картинками книжку, ту самую, что ваш товарищ подарил ей, раскрыла и принялася читать,

правда, еще не совсем бойко, но понимать совершенно все можно. Как бишь называется эта книга?

— «Векфильдский священник», — сказала Паша, выходя из-за перегородки.

— Да, да, священник. Как он, бедный, и в остроге сидел, как он и дочь свою беспутную отыскивал. Всю книжку, как есть, прочитала; куда и сон девался. «Кто это выучил тебя?» — спрашиваю я ее. Она говорит — вы. Вот уж, правду сказать, одолжили вы нас. Кирило Афанасьич мой, если не в должности, так дома сидит за бумагами. Настанет вечер, мы и примемся за молчанку, и вечер тебе годом кажется. А теперь! Да я просто и не видала, как он пролетел! Не угодно ли еще чашечку?

Я отказался и хотел уйти. Не тут-то было. Самым нецеремонным образом хозяйка схватила меня за руку и усадила на свое место, приговаривая:

— Нет, у нас, — не знаем, как у вас! — так не делают. Вошел и вышел. Нет. Просим покорно побеседовать с нами да закусить, чем Бог послал.

От закуски и от беседы я, однако ж, отказался, ссылаясь на боль в животе и на колотье в боку, чего у меня, слава Богу, никогда не бывало. А дело в том, что мне нужно было идти в класс, первый час уже был в исходе. На честное слово я был отпущен до семи часов вечера. Верный данному слову, в семь часов вечера я явился к гостеприимной соседке. Самовар уже был на столе, и она меня вст[ретила] со стаканом чая в руках. После первого стакана чая она отрекомендовала меня хозяину своему, как она выразилась, лысому в очках старичку, сидевшему в другой комнате за столиком над кипюю бумаг. Он встал со стула, поправил очки и, протянувши мне руку, сказал:

— Прошу покорно, садитесь.

Я сел. А он снял с носа очки, протер их носовым платком, надел их опять на нос, сел молча на свое место и по-прежнему углубился в свои бумаги. Так прошло несколько минут. Я не знал, что мне делать. Положение мое становилось смешным. Хозяйка, спасибо, меня выручила.

— Не мешайте ему, — сказала она, выглядывая из другой комнаты. — Идите к нам. У нас веселее.

Я молча оставил трудолюбивого хозяина и перешел к хлопотунье хозяйке. Смиреница Паша сидела за «Векфильдским священником» и рассматривала картинки.

— Видели нашего хозяина? — сказала хозяйка. — Вот он всегда такой. Так он привык к этим бумагам, что минуты без них не проживет.

Я сказал какой-то комплимент трудолюбию и попросил Пашу, чтобы она читала вслух. Довольно медленно, но правильно и внятно прочитала она страницу из «Векфильдского священника» и была награждена от тетеньки стаканом чаю внакладку и панегириком, которого и на трех страницах не упишешь. А мне, как ментору, кроме бесконечной благодарности, предложено было рому с чаем. Но как он был еще у Фогта и Паша должна была за ним сбегать, то я отказался от рому и от чая, к немалому огорчению гостеприимной хозяйки.

В одиннадцатом часу поужинали, и я ушел, давши обещание навещать их ежедневно.

Не могу вам ясно определить, какое впечатление произвело на меня это новое знакомство. А первое впечатление, говорят, весьма важно в деле знакомства. Я доволен этим знакомством потому только, что знакомство мое с Пашей до сих пор казалось мне предосудительным, а теперь как бы все это устранилось, и наша дружба как будто бы скреплялась этим нечаянно-новым знакомством.

Я стал бывать у них каждый день и через неделю был уже как старый знакомый, или, лучше сказать, как свой семьянин. Они мне предложили у себя стол за ту самую цену, что и у мадам Юргенс. И я изменил доброй мадам Юргенс и не раскаиваюсь: мне наскучила беззаботная холостая компания, и я охотно принял предложение соседки. У них мне так хорошо, тихо, спокойно, все это по-домашнему, все это так в моем характере, так в гармонии с моей миролюбивою натурой. Пашу я называю сестрицей, а тетеньку ее своей тетенькой называю, а дяденьку никак не называю, потому что я его только и вижу за обедом. Он, кажется, и по праздникам ходит в должность. Мне так хорошо у них, что я почти никуда не выхожу, кроме Карла Павловича. У Йохима не помню когда и был, у Шмидтов и Фицтума тоже. Сам вижу, что нехорошо я делаю, но что же делать: не умею врать перед добрыми людьми. Недостаток светского образования, ничего больше. В следующее воскресенье сделаю им всем визиты и вечер у Шмидта проведу, а то как бы и в самом деле не раззнакомиться. Все это ничего, все это как-нибудь уладится. А вот мое горе: не могу поладить с Михайловым,

т. е. собственно не с Михайловым, а с его сердечным другом мичманом. Он почти каждую ночь ночует у нас. Это бы еще ничего, а то наведет с собою Бог знает каких людей и напролет всю ночь карты и пьянство. Не хотелось бы мне перемещать квартиры, а, кажется, придется, если эти оргии не прекратятся. Хоть бы скорее весна настала, пускай бы себе ушел в море этот несносный мичман.

Начал я этюд с Паши красками при огне, очень миленькая выходит головка; жаль только, что проклятый мичман мешает работать. Хотелось бы к празднику кончить и начать что-нибудь другое, да едва ли. Я пробовал уже у соседок расположиться с работой, да все как-то неловко. Мне так понравилось огненное освещение, что, окончивши эту головку, я думаю начать другую, с Паши же — «Весталку»²²⁶. Жаль только, что теперь нельзя достать белых роз для венка, а это необходимо. Но это еще впереди.

Паша начинает уже хорошо читать и полюбила чтение. Это мне чрезвычайно приятно. Но я затрудняюсь в выборе чтения для ее. Романы, говорят, нехорошо читать молодым девушкам. А я, право, не знаю, почему нехорошо. Хороший роман изощряет воображение и облагораживает сердце. А сухая какая-нибудь умная книга, кроме того, что ничему не научит, да, пожалуй, еще и поселит отвращение к книгам. Я ей на первый раз дал «Робинзона Крузо», а после предложу путешествие Араго²²⁷ или Дюмон-Дюрвиля²²⁸, а там опять какой-нибудь роман, а потом Плутарха²²⁹. Жаль, что нет у нас переведенного Вазари, а то бы я ее познакомил и с знаменитостями нашего прекрасного искусства. Хорош ли мой план? Как вы находите? Если имеете что-нибудь сказать против его, то сообщите мне в следующем письме, и я вам буду сердечно благодарен. Меня она теперь занимает, как будто что-то близкое, родное. Я на нее, грамотную, теперь смотрю, как художник на свою неоконченную картину. И великим грехом считаю для себя предоставить ей самой теперь выбор чтения или, лучше сказать, случай чтения, потому что ей не из чего выбирать. Лучше было не учить ее читать.

Я надоел вам своими соседками. Но что делать? По пословице: «У кого что болит, тот о том и говорит».

А если правду сказать, то у меня теперь и говорить больше не о чем. Нигде не бываю и ничего не делаю. Не знаю, что-то мне судьба готовит будущего лета? А я его не без трепета

ожидаю, да и можно ли его ожидать иначе. Будущее лето должно положить настоящий фундамент избранному мною или, лучше сказать, вами поприщу. Карл Павлович говорит, что вскоре после праздников будет объявлена программа на первую золотую медаль. Со мной чуть-чуть не делается обморок при одной мысли об этой роковой программе. Что, если мне удастся? Я с ума сойду. А вы? Неужели вы не приедете посмотреть трехгодовую выставку и взглянуть на мою одобренную программу и на смиренного творца ее, как на свое собственное создание? Я уверен, что вы приедете. Напишите мне о вашем приезде в следующем письме. И я буду иметь благовидный предлог отказать Михайлову от квартиры. Мичман, кажется, и ему уже надоел. Хорошо еще, что я имею приют у соседок. А то пришлось бы бегать собственной квартиры. Напишите, сделайте милость, что вы приедете. Тогда я все разом покончу.

Прощайте, мой незабвенный благодетель. В следующем письме сообщу вам о дальнейших успехах моей ученицы и о следствиях предстоящего конкурса. Прощайте.

Р. С. Бедный Демский уже с комнаты не может выйти. Не пережить ему весны».

По получении этого письма я написал ему, что не к выставке, а может быть, и к Святой неделе приеду к нему в гости и что приеду к нему прямо на квартиру, как Штернберг приезжал. Я написал ему это для того собственно, чтобы избавить его от неотвязчивого мичмана. Я, правду сказать, опасался за его еще не установившийся молодой характер. Чего доброго, как раз может сделаться двойником беспардонного мичмана. Тогда прощай все — и гений, и искусство, и слава, и все очаровательное в жизни. Все это уляжется, как в могиле, на дне всепожирающей рюмочки. Примеры эти, к несчастью, весьма и весьма даже нередки, в особенности у нас в России. И что за причина? Неужели одно пьяное общество может умертвить всякий зародыш добра в молодом человеке? Или тут есть еще что-нибудь для нас непонятное? А впрочем, народная мудрость вывела одно заключение: «Скажи, с чем ты знаком? Я тебе скажу, кто ты таков». А Гоголь, вероятно, тоже не без основания, заметил, что русский человек, коли хороший мастер, то непременно и пьяница²³⁰. Что бы это значило? Ничего больше, я полагаю, как недостаток всеобщей цивилизации. Так, например, сельский или другой какой пи-

сарь в кругу честных безграмотных мужичков — все равно, что Сократ²³¹ в Афинах. А посмотрите — самое безнравственное, беспросыпно пьяное животное, потому именно, что он мастер своего дела, что он один-единственный грамотей между сотнею простодушных мужичков, на счет которых он упивается и распутничает. А они только удивляются его досужеству и никак не могут себе растолковать, что бы такое значило, что такой умнейший человек и такой великий пьяница. А простакам и невдомек, что он один между ими мастер письменного или другого какого дела, что нет ему соперника, что давальцы его навсегда останутся ему верны, потому что, кроме его, не к кому обратиться. И он себе спустя рукава, кое-как делает свое дело, а легкие заработки пропивает.

Вот, по-моему, одна-единственная причина, что у нас, коли мастер своего дела, то непременно и горький пьяница. А кроме этого, замечено, что и между цивилизованными нациями люди, выходящие из круга обыкновенных людей, одаренные высшими душевными качествами, всегда и везде более или менее были читателями, а нередко и усердными поклонниками веселого бога Бахуса. Это уже, должно быть, неременное свойство необыкновенных людей.

Я лично и хорошо знал гениального математика нашего О[строградского]²³² (а математики вообще люди неувлекающиеся), с которым мне случилось несколько раз обедать вместе. Он, кроме воды, ничего не пил за столом. Я и спросил его однажды: «Неужели вы вина никогда не пьете?» — «В Харькове еще когда-то я выпил два погребка, да и забастовал», — ответил он мне простодушно.

Немногие, однако ж, кончают двумя погребками, а непременно принимаются за третий. Нередко и за четвертый и на этом-то роковом четвертом кончают свою грустную карьеру, а нередко и самую жизнь.

А он, т. е. мой художник, принадлежал к категории людей страстных, увлекающихся, с воображением горячим. (А это-то и есть злейший враг жизни самостоятельной, положительной. Хотя я и далеко не поклонник монотонной трезвой аккуратности и вседневно-однообразной воловьей деятельности, но не скажу, чтобы и был я открытый враг положительной аккуратности. Вообще в жизни средняя дорога есть лучшая дорога. Но в искусстве, в науке и вообще в деятельности умственной средняя дорога ни к чему, кроме безыменной могилы, не приводит.)

В художнике моем хотелось бы мне видеть самого великого, необыкновенного художника и самого обыкновенного человека в домашней жизни. Но эти два великие свойства редко уживаются под одной кровлей.

Сердечно желал бы я предвидеть и предотвратить все вредно действующее на молодое воображение моего любимца, но как это сделать, не знаю. Мичмана я решительно боюсь. Да и от соседки нельзя ожидать ничего доброго. Это ясно, как день. Теперь еще это могло бы кончиться разлукой и слезами, как обыкновенно кончается первая пламенная любовь. Но при содействии тетушки, которая ему так понравилась с первого разу, кончится все это факелом Гименея²³³ и, дай Бог мне ошибиться, развратом и нищетой.

Он мне прямо не говорит, что он влюблен по уши в свою ученицу. Да и какой юноша прямо откроет эту священную тайну? По одному слову своей обожаемой он бросится в огонь и в воду, прежде чем [выговорит] ей словами свое нежное чувство. Таков юноша, любящий искренно. А бывають ли юноши, любящие иначе?

Чтобы хоть сколько-нибудь отвлечь его от соседок, с умыслом не упоминая об них ни слова, я советовал ему посещать как можно чаще Шмидта, Фицтума и Йохима как людей, необходимых для его внутреннего образования. Навещать старика Кольмана, которого добрые советы по части пейзажной живописи ему необходимы. И каждый Божий день, как храм, как светильник прекраснейшего искусства, посещать мастерскую Карла Павловича. И во время этих посещений сделать для меня акварелью копию с «Бакчисарайского фонтана». А в заключение описал ему всю важность предстоящей программы, для которой он должен посвятить всего себя и все свои дни и ночи до самого дня экзамена, т. е. до октября месяца, — такой срок и такого рода занятие мне казались достаточными хотя немного охладить первую любовь, — и что если мне нельзя будет на все лето остаться в столице, то к осени я непременно опять приеду собственно для его программы.

Письмо мое, как я и ожидал, имело свое доброе действие, но только вполовину: программа ему удалась, а соседки — увы! Но зачем прежде времени подымать завесу таинственной судьбы? Прочитаем еще одно и последнее его письмо.

«Волею или неволею, не знаю, а знаю только то, что вы меня жестоко обманули, мой незабвенный благодетель.

Я дожидал вас как самого дорогого моему сердцу гостя, а вы, — Бог вам судия... И зачем было обещать? А сколько было хлопот мне с моими жильцами, насилу выжил. Михайлов, правда, сейчас же согласился, но неугомонный мичман дотянул-таки до самой весны, т. е. до Страстной недели, и на расставаньи мы чуть было с ним не поссорились. Он непременно хотел остаться и на Святую неделю, но я решительно сказал ему, что это невозможно, потому, говорю ему, что я вас дожидаю.

— Эка важная фигура ваш родственник! И в трактире может поселиться! — сказал [он], покручивая свои глупые усы.

Меня это взбесило. И я готов уже был наделать Бог знает каких дерзостей, да, спасибо, Михайлов остановил меня. Я не знаю, что ему особенно понравилось в нашей квартире, вероятно только то, что она даровая, не нанятая. Зимой, бывало, Михайлов по нескольку ночей дома не ночует и днем изредка заглянет и сейчас же уйдет. А он только и выйдет пообедать да напиться пьяным и опять лежит на диване — или спит, или трубку курит. Последнее время он уже было и чемодан с бельем перетащил. И когда уже совсем я ему отказал от квартиры, так он все еще приходил несколько раз ночевать. Просто бессовестный. И еще одна странность. До самого его выезда в Николаев (он переведен в Черноморский флот) я его каждый вечер, возвращаясь из класса, встречал или в коридоре, или на лестнице, или у ворот. Не знаю, кому он делал вечерние визиты. Но Бог с ним. Слава Богу, что я его избавился.

Какие успехи сделала в продолжение зимы моя ученица! Просто чудо! Что, если бы начать ее учить в свое время, — из нее могла бы быть просто ученая. И какая она сделалась скромная, кроткая, просто прелесть. Детской игривости и наивности и тени не осталось.

Правду сказать, мне даже жаль, что грамотность — если это только грамотность — уничтожила в ней эту милую детскую резвость. Я рад, что хоть тень той милой наивности осталась у меня на картине. Картинка вышла очень миленькая. Огненное освещение, правда, не без труда, но удалось. Прево²³⁴ предлагает мне сто рублей серебром, на что я охотно соглашаюсь, только после выставки. Мне непременно хочется представить мою милую ученицу на суд публики. Я был бы совершенно счастлив, если б вы не обманули меня

в другой раз и приехали к выставке. А она в нынешнем году особенно будет интересна. Многие художники — и наши, и иностранцы из-за границы — обещают прислать свои произведения, в том числе Горас Верне²³⁵, Гюден²³⁶ и Штейбен²³⁷. Приезжайте, ради самого Аполлона и девяти его прекрасных сестриц.

До сих пор моя программа идет тупо; не знаю, что дальше будет. Композицией Карл Павлович доволен, больше ничего не могу вам о ней сказать. С будущей недели примусь вплотную. А до сих пор я ее как будто бегаю. Не знаю, что это значит? Ученица моя, и та уже начинает понукать меня. Ах, если б я вам мог рассказать, как мне нравится это простое доброе семейство. Я у них как сын родной. Про тетушку и говорить нечего: она постоянно добрая и веселая. Нет, угрюмый и молчаливый дядюшка, и тот иногда оставляет свои бумаги, садится с нами около шумящего самовара и исподтишка отпускает шуточки. Разумеется, самые незамысловатые. Я иногда позволяю себе роскошь, разумеется, когда лишняя копейка зазвенит в кармане: угощаю их ложей третьего яруса в Александринском театре. И тогда всеобщее удовольствие безгранично, особенно, если спектакль составлен из водевилей, а ученица и модель моя несколько дней после такого спектакля и во сне, кажется, поет водевильные куплеты. Я люблю или, лучше сказать, обожаю все прекрасное как в самом человеке, начиная с его прекрасной наружности, так само, если не больше, и возвышенное, изящное произведение ума и рук человека. Я в восхищении от светски образованной женщины, и мужчины тоже. У них все, начиная от выражений до движений, приведено в такую ровную, стройную гармонию. У них во всех пульс, кажется, одинаково бьется. Дурак и умница, флегма и сангвиник — это редкие явления, да едва ли они и существуют между ими. И это мне бесконечно нравится. Ненадолго, однако ж. Это, может быть, потому, что я родился и вырос не между ими, а грошовым воспитанием своим и подавно не могу равняться с ними. И потому-то мне, несмотря на всю очаровательную прелесть их жизни, мне больше нравится простых людей семейный [быт], таких, например, как мои соседи. Между ними я совершенно спокойный, а там все чего-то как будто боишься. Последнее время я и у Шмидтов чувствую себя неловко. И не знаю, что бы это значило? Бываю я у них почти каждое воскресенье, но не засиживаюсь,

как это прежде бывало. Может быть, это оттого, что нету милого, незабвенного Штернберга между нами. А кстати, о Штернберге. Я недавно получил от него письмо из Рима. Да и чудак же он препорядочный! Вместо собственных впечатлений, какие произвел на него Вечный город, он рекомендует мне: и кого же вы думаете? Дюпати²³⁸ и Пиранези²³⁹. Вот чудак! Пишет, что у Лепри²⁴⁰ видел он великий собор художников, в том числе и Иванова, автора будущей картины «Иоанн Предтеча проповедует в пустыне»²⁴¹. Русские художники подтрунивают исподтишка над ним, говорят, что он совсем завяз в Понтийских болотах и все-таки не нашел такого живописного сухого пня с открытыми корнями, который ему нужен для третьего плана своей картины. А немцы вообще в восторге от Иванова. Еще встретил он, в кафе Греко²⁴², безмерно расфранченного Гоголя, рассказывающего за обедом самые сальные малороссийские анекдоты. Но главное, что он встретил при въезде в Вечный город, в виду купола св. Петра и в виду бессмертного великана Коллизея²⁴³, это качуча. Грациозная, страстная, такая, как она есть в самом народе, а не такая чопорная, нарумяненная, как ее видим на сцене. «Вообрази себе, — пишет он, — что знаменитая Тальони — копия с копии с того оригинала, который я видел бесплатно на римской улице!» Но для чего мне делать выписки, я пришлю вам его письмо в оригинале. Там вы и про себя кое-что небезынтересное прочитаете. Он, бедный, все еще вспоминает о Тарновской. Вы ее часто видите. Скажите, счастлива ли она с своим эскулапом? Если счастлива, то не говорите ей ничего про нашего друга. Не тревожьте пустым воспоминанием ее тихого семейного покоя. Если же нет, то скажите ей, что друг наш Штернберг, благороднейшее создание в мире, любит ее до сих пор так же искренно и нежно, как и прежде любил. Это усладит ее сердечную тоску. Как бы человек ни страдал, какие бы ни терпел испытания, но, если он услышит одно приветливое, сердечное слово, слово искреннего участия от далекого неизменного друга, он забывает гнетущее его горе хоть ненадолго, хотя на час, на минуту. Он совершенно счастлив. А минута полного счастья, говорят, заменяет бесконечные годы самых тяжелых испытаний!

Прочитывая эти строки, вы улыбнетесь, обожаемый мой друже. И, чего доброго, подумаете, не терплю ли и я какого-нибудь испытания, потому что так красно рассуждаю

об испытании. Божусь вам, у меня никакого горя, а так что-то взгрустнулось. Я совершенно счастлив, да и может ли быть иначе, имея таких друзей, как вы и милый незабвенный Виля. Немногим из людей выпадает такая сладкая участь, как выпала на мою долю. И если бы не вы, пролетела бы мимо меня слепая богиня, но вы ее остановили над заброшенным бедным замарашкой. О Боже мой! Боже мой! Я так счастлив, так беспредельно счастлив, что, мне кажется, я задохнуся от этой полноты счастья, задохнуся и умру. Мне непременно нужно хоть какое-нибудь горе, хоть ничтожное. А то сами посудите: что бы я ни задумал, чего бы я ни пожелал, мне все удается. Все меня любят, все ласкают, начиная с нашего великого маэстро. А его любви, кажется, достаточно для совершенного счастья.

Он часто заходит ко мне на квартиру, иногда даже и обедает у меня. Скажите, мог ли я тогда думать о таком счастье, когда я в первый раз увидел его у вас, в этой самой квартире? Многие и весьма многие вельможи-царедворцы не удостоены такого великого счастья, каким я, неизвестный нищий, пользуюсь. Есть ли на свете такой человек, который не позавидовал бы мне в настоящее время?

На прошедшей неделе заходит ко мне в класс, взглянул на мой этюд, сделал наскоро кое-какие замечания и вызывает меня на пару слов в коридор. Я думал, что и Бог знает какой секрет. И что же? Он предлагает мне ехать с ним вместе на дачу к Уваровым обедать. Мне не хотелось оставить класс. И я начал было отговариваться, но он мои резоны назвал школьничеством и неуместным прилежанием и что один класс ничего не значит пропустить. «А главное, — прибавил он, — я вам дорогою прочитаю такую лекцию, какой вы и от профессора эстетики никогда не услышите». Что я мог сказать на это? Убрал палитру и кисти, переоделся и поехал. Дорогой, однако ж, и помину не было об эстетике. За обедом, как обыкновенно, был общий веселый разговор, а после обеда уже началась лекция. Вот как было дело.

В гостиной, за чашкой кофе, старик Уваров завел речь о том, как быстро летят часы и как мы не дорожим этими алмазными часами. «Особенно юноши», — прибавил старик, глядя на сыновей своих. «Да вот вам животрепещущий пример, — подхватил Карл Павлович, показывая на меня. — Он сегодня оставил класс, чтоб только побаклушничать на даче». Меня как кипятком обдало. А он, ничего не замечая,

прочитал мне такую лекцию о всепожирающем быстролетящем времени, что я теперь только почувствовал и понял символическую статую Сатурна, пожирающего детей своих. Вся эта лекция была прочитана с такой любовью, с такой отцовской любовью, что я тут, в присутствии всех гостей, заплакал, как ребенок, уличенный в шалости.

После всего этого скажите, чего мне еще недостает? Вас! Только одного вашего присутствия недостает мне. О! дождусь ли я той радостной великой минуты, в которую обниму вас, моего родного, моего искреннего друга? А знаете что? Не напишите вы мне, что вы приедете ко мне к Святой, я непременно посетил бы вас прошедшею зимой. Но, видно, святые в небе позавидовали моему земному счастью и не допустили этого радостного свидания.

Несмотря, однако ж, на всю полноту моего счастья, мне иногда бывает так невыносимо грустно, что я не знаю, куда укрыться от этой гнетущей тоски. В эти страшно продолжительные минуты одна только очаровательная моя ученица имеет на меня благотворное влияние. И как бы мне хотелось тогда раскрыть ей мою страдающую душу! разлиться, растаять в слезах перед нею... Но это оскорбит ее девственную скромность. И я себе скорее лоб разобью о стену, чем позволю оскорбить какую бы то ни было женщину, тем более ее. Ее, прекрасную и пренепорочную отроковицу.

Я, кажется, писал вам прошедшей осенью о моем намерении написать с нее весталку в пандан²⁴⁴ прилежной ученицы. Но зимою трудно было достать лилии или белой розы, а главное, мне мешал несносный мичман. Теперь же эти препятствия устранены, и я думаю между делом, т. е. между программю, привести в исполнение мой задушевный проект. Тем более это возможно, что программа моя немногосложна, всего три фигуры. Это — Иосиф толкует сны своим союзникам, виночерпию и хлебодару²⁴⁵. Сюжет старый, избитый, и поэтому-то нужно хорошенько его обработать, т. е. сочинить, механической работы тут немного. А впереди еще с лишком три месяца времени. Вы мне пишете о важности моей, быть может, последней программы. И советуете как можно прилежнее изучить ее, или, как вы говорите, проникнуться ею. Все это прекрасно, и я совершенно убежден в необходимости всего этого. Но, единственный мой друже! Я боюсь выговорить. «Весталка» меня более и постоянно занимает. А программа — это второй

план «Весталки». И как я ни стараюсь поставить ее на первый план, — нет, не могу. Уходит, и что бы это значило — не знаю. Думаю прежде окончить «Весталку» (она у меня уже давно начата). Окончу, да и с рук долой, тогда свободнее примусь за программу.

Программа! Я что-то недоброе предчувствую с моею программой. И откуда берется это роковое предчувствие? Не отказаться ли мне от нее до следующего года? Но потерять год времени! Чем вознаградится эта потеря? Верным успехом. А кто поручится за этот успех? Не правда ли, я болен? Я, действительно, немножко как будто бы рехнулся. Я становлюсь похожим на Метафизика Хемницера²⁴⁶. Бога ради, приезжайте, восстановите мою падающую душу.

Какой же я бессовестный эгоист! На каком основании я почти требую вашего визита? Во имя какой разумной идеи вы должны оставить ваши занятия, ваши обязанности и ехать за тысячу верст для того только, чтобы увидеть какого-то полудиота?

Прочь недостойное малодушие! Ребячество, ничего больше. А я уже, слава Богу, допущен к программе на первую золотую медаль. Я уже человек кончающий... нет, нет, художник, начинающий свою, быть может, великую карьеру. Мне стыдно перед вами, мне стыдно самого себя. Если только не имеете крайней надобности, то, Бога ради, не ездите в столицу, не приезжайте по крайней мере до тех пор, пока я не окончу мою программу и мою задушевную «Весталку». А тогда, если приедете, т. е. к выставке, о, тогда моя радость, мое счастье будет бесконечно.

Еще одно и странное, и постоянное мое желание: мне ужасно хочется, чтобы вы хоть мимоходом взглянули на модель моей «Весталки», т. е. на мою ученицу. Не правда ли, странное, смешное желание? Мне хочется показать вам ее, как самое лучшее, прекраснейшее произведение божественной природы. И, о самолюбие! Как будто и я споспешествовал нравственному украшению этого чудного создания, т. е. выучил русской грамоте. Не правда ли, я бесконечно самолюбив? А кроме шуток, грамотность придала [ей] какую-то особенную прелесть. Один маленький недостаток в ней, и это маленькое несовершенство недавно я заметил: она, как мне кажется, неохотно читает. А тетенька ее давно уже перестала восхищаться своей грамотницей Пашей. После праздников дал я ей прочитать «Робинзона Крузо». Что ж бы вы думали?

Она в продолжение месяца едва-едва прочла до половины. Признаюсь вам, такое равнодушие меня сильно огорчило. Так огорчило, что я начал уже раскаиваться, что и читать ее выучил. Разумеется, я ей этого не сказал, а только подумал. Она же как будто подслушала мою думу. На другой же день дочитала книгу и ввечеру за чаем с таким непритворным увлечением и с такими подробностями рассказала бессмертное творение Дефо своей равнодушной тетеньке, что я готов был расцаловать свою умницу ученицу. В этом отношении я нахожу много общего между ей и мною. На меня иногда находит такое деревянное равнодушие, что я делаюсь совершенно ни на что не способен. Но со мною, слава Богу, эти припадки непродолжительны бывают, а она... И что для меня непонятно? С тех пор, как оставил меня неугомонный мичман, сделалась как-то особенно скромнее, задумчивее и равнодушнее к книге. Неужели она?.. Но я этого допустить не могу: мичман — создание чисто антипатическое, жесткое, и едва ли может он заинтересовать женщину самой грубой организации. Нет, это мысль нелепая. Она задумывается и впадает в апатию просто оттого, что ее возраст такой, как уверяют нас психологи.

Я вам надоедаю своею прекрасною моделью и ученицей. Вы, чего доброго, пожалуй, подумаете, что я к ней неравнодушен. Оно, действительно, на то похоже. Она мне чрезвычайно нравится, но нравится как что-то самое близкое, родное. Нравится, как самая нежная сестра родная.

Но довольно о ней. А кроме ее, в настоящее время мне и писать вам больше не о чем. О программе теперь писать еще нечего, она едва подмалевана. Да и по окончании ее я вам писать не буду. Мне хочется, чтобы вы о ней в газете прочитали. А больше всего мне хочется, чтобы сами ее увидели. Я говорю с такою самоуверенностью, как будто уже все кончено, остается только медаль взять из рук президента и туш на трубах прослушать.

Приезжайте, мой незабвенный, мой сердечный друг. Без [вас] мой [триумф] неполный будет. Потому неполный, что вы один-единственный виновник моего настоящего и будущего счастья.

Прощайте, мой незабвенный благодетель. Не обещаю вам писать вскоре. Прощайте!

Р. С. Бедный Демский и вскрытия Невы не дождался: умер, и умер как истинный праведник, тихо, спокойно, как будто

бы заснул. В больнице Марии Магдалины мне часто удавалось наблюдать за последними минутами угасающей жизни человека. Но такого спокойного, равнодушного расставанья с жизнью я не видел. За несколько часов перед кончиной я сидел у его кровати и читал вслух какую-то брошюру легкого содержания. Он слушал, закрывши глаза, и по временам едва заметно приподымались у него углы рта; это было что-то вроде улыбки. Чтение продолжалось недолго. Он раскрыл глаза и, обратя их на меня, едва слышно проговорил:

— И охота же вам на такие пустяки дорогое время тратить. — И, переведя дух, прибавил: — Лучше бы рисовали что-нибудь. Хоть с меня. — Со мной по обыкновению была книжка, или так называемый альбом, и карандаш. Я начал очерчивать его сухой, резкий профиль. Он опять взглянул на меня и сказал, грустно улыбаясь: — Не правда ли, спокойная модель? — Я продолжал рисовать. Тихонько растворилась дверь, и в дверях, обернутое чем-то грязным, показалось грязное лицо квартирной хозяйки, но, увидя меня, спряталось; и дверь притворилась. Демский, не раскрывая глаз, улыбнулся и дал знак рукою, чтобы я наклонился к нему. Я наклонился. Он долго молчал и наконец едва внятно, со вздрагиванием, проговорил: — Заплатите ей, Бога ради, за квартиру. Даст Бог, сквитаемся. — Со мною не было денег, и я тотчас пошел на квартиру. Дома меня, не помню, что-то задержало. Тетушкин кофе или что-то в этом роде. Не помню. Пришел я к Демскому уже перед закатом солнца. Комнатка его была освещена ярко-оранжевым светом заходящего солнца. Так ярко, что я должен был на несколько минут глаза зажмурить. Когда я раскрыл глаза и подошел к кровати, то под одеялом уже остался только труп Демского, в таком точно положении, как я его оставил живым. Складки одеяла не сдвинулись с места, улыбка на пол-линии не изменилась, глаза закрыты, как у спящего. Так спокойно умирают только праведники, а Демский принадлежал к сонму праведников. Я сложил ему на груди полуостывшие руки, поцеловал его в холодное чело и прикрыл одеялом. Нашел хозяйку, отдал ей долг покойника, просил распорядиться похоронами на мой счет, а сам пошел к гробовщику. На третий день пригласил я священника из церкви Св. Станислава²⁴⁷, взял ломового извозчика, и с помощью дворника вынесли и поставили скромный гроб на роспуски и двинулись с Демским в далекую дорогу. За гробом шел я, патер Посяда и маленький причетник. Ни одна нищая

не сопутствовала нам, а их немало встречалось дорогою. Но эти бедные тунеядцы, как голодные собаки, носом чуют милостыню. От нас они не предвидели подачи и не ошиблись. Ненавижу я этих отвратительных промышленников, спекулирующих именем Христовым. С кладбища пригласил я патера на квартиру покойника, не с тем, чтобы тризну править, а затем, чтобы показать ему скромную библиотеку Демского. Вся библиотека заключалась в небольшом, едва сколоченном ящике и состояла из 50 с чем-то томов, большею частью исторического и юридического содержания, на языках греческом, латинском, немецком и французском. Ученый патер весьма равнодушно перелистывал греческих и римских классиков весьма скромного издания, а я откладывал книги только на французском языке. И странно, кроме Лелевеля, на польском языке только один крошечный томик Мицкевича²⁴⁸ самого лубочного познанского издания. [Больше] ничего не было. Неужели он не любил своей родной литературы? Не может быть. Когда библиотека была разобрана, я взял себе французские книги, а все остальные предложил ученому патеру. Добросовестный патер никак не соглашался приобрести такое сокровище совершенно даром. И предложил на свой счет положить гранитную плиту над прахом Демского. Я со своей стороны предложил половину издержек. И мы тут же определили величину и форму плиты и надпись сочинили. Надпись самая нехитрая: «Leonard Demski, mort. anno 18...»²⁴⁹ Покончивши все это и взявши всякий свою долю наследства, мы расстались как давнишние приятели.

Странно, однако ж, неужели покойный Демский не приближал к себе и сам не приближался ни к кому, кроме меня? В квартире его я никогда никого не встречал. Но когда выходили мы с ним на улицу, на улице часто встречались его знакомые, по-приятельски здоровались, а некоторые даже пожимали ему руку. И все это были люди порядочные. И то правда, так называемый порядочный человек посетит ли труженика бедняка в его мрачной лачуге? Грустно! Бедные порядочные люди!

Прощайте еще раз. Не забывайте меня, мой незабвенный благодетель».

Из этого пространного и пестрого письма я вычитал, во-первых, что художник мой, как и следует быть истинному

художнику, в высокой степени благородный и кроткий человек. Простые люди не могут так искренно, так бескорыстно прилепляться к таким горьким, всеми покинутым беднякам, каков был покойник Демский. В этой прекрасной, бескорыстной привязанности я ничего не вижу особенного: это обыкновенное следствие взаимного сочувствия ко всему великому и прекрасному в науке и в человеке. По своей природе и по завещанию нашего Божественного Учителя мы все должны быть таковы. Но, увы! весьма и весьма немногие из нас соблюли святую заповедь Его и сохранили свою божественную природу в любви и целомудрии. Весьма немногие! И потому-то нам и кажется необыкновенным чем-то человек, любящий бескорыстно, человек истинно благородный. Мы, как на комету, смотрим на такого человека. И, насмотревшись досыта, и чтобы наше грязное, себялюбивое существо не так резко самим нам бросалось в глаза, начинаем и его, чистого, пачкать, сначала скрытой клеветой, потом явной, а когда и эта не взяла, обрекаем его на нищету и страдания. Это еще счастье, если запрем в дом умалишенных. А то просто вешаем, как самого гнусного злодея. Горькая, но, увы, истина!

Я, однако ж, некстати зарепортовался.

Второе, что я вычитал из нескладного письма моего возлюбленного художника, — это то, что он, сердечный, сам того не замечая, влюбился по уши в свою хорошенькую вертлявую ученицу. Это в порядке вещей. Это хорошо, это даже необходимо, тем более художнику, а иначе закоптится сердце над академическими этюдами. Любовь есть животворящий огонь в душе человека. И все, созданное человеком под влиянием этого божественного чувства, отмечено печатью жизни и поэзии. Все это прекрасно, но только вот что. Эти, как называет их Либельт²⁵⁰, огненные души удивительно как неразборчивы в деле любви. И часто случается, что истинному и самому восторженному поклоннику красоты выпадает на долю такой нравственно безобразный идол, что только дым кухонного очага ему впору, а он, простота, курит перед ним чистейший фимиам. Очень и очень немногим этим огненным душам сопутствовала гармония. От Сократа, Бергема²⁵¹ и до наших дней одна и та же безобразная нескладница в обыденной жизни. И, к большому горю, эти огненные души влюбляются совсем не по-кавалерийски, а хуже всякого самого мизерного пехотинца, т. е. на всю жизнь.

Вот что для меня непонятно и чего я боюсь в моем художнике. Пожалуй, и он, по примеру всемирных гениев, закабалит свою нежную, восприимчивую душу какому-нибудь сатане в юбке. И хорошо еще, если он, подобно Сократу и Пуссену, шуточкой отделается от домашней сатаны и пойдет своею дорогой, а в противном случае — прощай, искусство и наука, прощай, поэзия и все очаровательное в жизни, прощай навеки. Сосуд разбит, драгоценное миро пролито и с грязью смешано, а лучезарный светильник мирной аргистической жизни погас от ядовитого дыхания домашней медяницы²⁵². О, если бы могли эти светочи мира обойтись без семейного счастья, как бы прекрасно было! Сколько бы великих произведений не потонуло в этом домашнем омуте, а остались бы на земле в назидание и наслаждение человечеству. Но, увы! и для гения, вероятно, как и для нашего брата, домашний камин и семейный кружок необходим. Это, верно, потому, что для души, чувствующей и любящей все возвышенно-прекрасное в природе и в искусстве, после высокого наслаждения этой обаятельной гармонией необходим душевный отдых. А сладкий этот успокоитель утомленного сердца может существовать только в кругу детей и доброй, любящей жены. Блажен! стократ блажен тот человек и тот художник, чью так несправедливо называемую прозаическую жизнь осенила прекрасная муза гармонии. Его блаженство, как Господний [мир], необъятно.

В наблюдениях своих по делу семейного счастья я вот что заметил. Замечание мое относится вообще к людям, но в особенности к вдохновенным поклонникам всего благого и прекрасного в природе. Они-то, бедные, и бывают тяжкою жертвою своего обожаемого идола — красоты. И их винить нельзя, потому что красота вообще, а красота женщины в особенности, действует на них всеокрушительно. Иначе и быть не может. А это-то и есть мутный, всеотравляющий источник всего прекрасного и великого в жизни.

— Как так? — закричат неистовые юноши. — Красавица Богом созданная для того только, чтобы усладить нашу исполненную слез и треволнений жизнь.

Правда. Назначение ее от Бога такое. Да она-то, или, лучше сказать, мы ухитрились изменить ее высокое божественное назначение. И сделали из нее бездушного, безжизненного идола. В ней одно чувство поглотило все другие прекрасные чувства. Это эгоизм, порожденный сознанием собственной

всесокрушающей красоты. Мь еще в детстве дали ей почувствовать, что она будущая раздирательница и зажигательница сердец наших. Правда, мы ей только намекнули, но она так это быстро смекнула, так глубоко поняла и почувствовала эту будущую силу, что с того же рокового дня сделалася невинной кокеткой и домогильной поклонницей собственной красоты; зеркало сделалося единственным спутником ее жалкой одинокой, жизни. Ее не может переменить никакое воспитание в мире. Так глубоко упало случайно брошенное нами зерно себялюбия и неизлечимого кокетства.

Таков результат моих наблюдений над красавицами вообще, а над привилегированными красавицами в особенности. Привилегированная красавица ничем не может быть, кроме красавицы. Ни любящей кроткою женою, ни доброй, нежной матерью, ни даже пламенной любовницей. Она деревянная красавица и ничего больше. И было бы глупо с нашей стороны и требовать чего-нибудь больше от дерева.

Вот почему я и советую любоваться этими прекрасными статуями издали, но никак с ними не сближаться, а тем более не жениться, в особенности художникам и вообще людям, посвятившим себя науке или искусству. Если необходима красавица художнику для его любимого искусства, для этого есть натурщицы, танцовщицы и прочие мастерицы цеховые. А в доме ему, как и простому смертному, необходима добрая, любящая женщина, но никак не привилегированная красавица. Она, привилегированная красавица, на одно только мгновение осветит яркими, ослепительными лучами радости мирную обитель любимца Божия; а потом, как от мелькнувшего метеора, так от этой мгновенной радости и следа не останется. Красавице, как и истинной актрисе, необходима толпа поклонников, истинных или ложных, для нее все равно, как для древнего идола: были бы поклонники, а без них она, как и древний кумир, прекрасная мраморная статуя и ничего больше.

«Не всякое слово в строку», — говорит наша пословица, бывают же исключения и между красавицами: природа бесконечно разнообразна. Я глубоко верую в это исключение, но верю как в самое необыкновенное явление; потому я так осторожен в своем веровании, что проживя уже между порядочными людьми с лишком полвека, а такого чудного явления не случилось мне видеть. А нельзя сказать, чтобы я принадлежал к числу мизантропов или к числу беспардон-

ных хулителей всего прекрасного. Напротив, я самый неистовый поклонник прекрасного, как в самой природе, так и в божественном искусстве.

Недавно со мною вот что случилось. Далеко, очень далеко от порядочного или цивилизованного общества, в захолустье, почти необитаемом, досталось мне случайно прозябать довольно не короткое время. И в это самое захолустье залетела, только не случайно, светская красавица, — такую, по крайней мере, она впоследствии сама себя называла. Вот я знакомлюсь, а я, нужно вам заметить, на знакомства не очень туг. Знакомлюсь, наблюдаю новую знакомку-красавицу и, о чудо из чудес! Ни тени сходства с прежде виденными мною красавицами. «Не одичал ли я в этой пустыне?» — думаю себе. Нет, во всех отношениях прекрасная женщина. И умная, и скромная, и даже начитанная, и, что называется, ни тени кокетства. Мне совестно самому стало моей наблюдательности, и я всякую недоверчивость в сторону, и делаю не то что поклонником, — это ремесло мне не далось, — а делаюсь добрым, искренним приятелем. Не знаю за что, но и я ей понравился, и мы сделались почти друзьями. Я не навосхищаюсь моим открытием, так даже, что в старом сердце пошевелилось больше обыкновенной простой привязанности, чуть-чуть было не сыграл роль водевильного старого дурака. Случай спас. И самый обыкновенный случай. Однажды поутру, — я был принят ими в доме как свой, так что они меня часто на утренний чай приглашали, — так однажды поутру я заметил у нее над самым затылком в мелкие косочки заплетенные волосы. Мне это открытие не понравилось. Я прежде думал, что у нее естественно завиваются волосы на затылке, а это вот что. И это-то самое открытие остановило меня к признанию в любви. Я снова стал простым добрым приятелем. Почти ежедневно разговаривая о литературе, музыке и прочих искусствах, с образованной женщиной совестно же сплетничать. В этих разговорах я заметил, и то уже на другой год, что она весьма поверхностна и о прекрасном в искусстве или в природе говорит довольно равнодушно. Это немного поколебало мою веру. Далее. Нет на свете на немецком и русском языке такой книги, которой бы она не читала, и ни одной не помнит. Я спросил причину. Она сослалась на какую-то женскую болезнь, которая отшибла у нее память еще в девицах. Я простодушно поверил. Только замечаю: какие-нибудь пошленькие стишки, читанные ею

еще в девицах, она и теперь читает наизусть. После этого мне стало совестно говорить с нею о литературе. А после этого вскоре я заметил, что у них ни одной книжки в доме, кроме памятной на текущий год. По вечерам зимою она играла в карты, если собиралась партия, но это из приличия, а того и не замечал, что она была ужасно не в духе, ежели ей не удавалось составить партию. У нее сейчас же началась страшно голова болеть. Если же партия собиралась у мужа, то она как ни в чем не бывало садилась около стола и смотрела в карты игроков, как бы в свои собственные карты, и это милое занятие часто продолжалось у нее далеко за полночь. Я, как только начиналась эта бездушная сцена, сейчас же уходил на улицу. Отвратительно видеть молодую прекрасную женщину за таким бесчувственным занятием. Я тогда совершенно разочаровывался; и она казалась мне тогда полипом или, вернее, настоящей привилегированной красавицей.

И если бы продлилось ее уединение еще год-другой в этом темном углу без кровожадных обожателей, т. е. без львов и онагров²⁵³, я уверен, что она бы одурела или сделалась бы настоящей идиоткой. Состояния полуидiotки она уже достигла. А я-то, я-то, простофиля! Вообразил себе, что вот, наконец, открыл Эльдorado²⁵⁴. А это Эльдorado — просто деревянная кукла, на которую я впоследствии не мог смотреть без отвращения.

Прочитывая эту грозную сентенцию красавицам, иной подумает, что я второй Буонарроти²⁵⁵ в этом роде. Ничего не бывало. Такой же самый поклонник, как и любой из леопардов, а может быть, еще и неукротимее. А дело в том, что люблю открывать мои убеждения во всей их наготе, несмотря на чин и звание. Притом же я это делаю теперь собственно для друга моего художника, а не с намерением печатать свое мнение о красавицах. Боже меня сохрани от этой глупости. Да меня тогда сестра родная готова б была повесить на первой осине, как Иуду-предателя. Впрочем, она не красавица, ее нечего опасаться.

Где же начало этого зла? А вот где: начало в воспитании. Если нежных родителей Бог благословит красавицей дочечкой, они сами начинают ее портить, предпочитая ее другим детям. А о образовании своей любимицы они вот [что] думают и даже говорят: «Зачем напрасно убивать дитя над пустою книгою? Она и без книги и даже без приданого сделает себе

блестящую карьеру». И красавица, действительно, делает блестящую карьеру. Предсказание родителей сбылось, чего же больше? Это начало зла. А продолжение (я, впрочем, не уверяю, а только предполагаю), продолжение вот где.

Наше любезное славянское племя, хотя и причисляется к семейству кавказскому, но наружностью своею немногим взяло перед племенами финским и монгольским. Следовательно, у нас красавица — явление весьма редкое. И это редкое явление едва только из пеленок, мы начинаем его набивать своими нелепыми восторгами, себялюбием и прочю дрянью. И, наконец, делаем из нее деревянную куклу на шарнирах, наподобие той, какую живописцы употребляют для драпировок.

В странах, которые Бог благословил породю прекрасных женщин, там они должны быть обыкновенными женщинами. А обыкновенная женщина, по-моему, есть самая лучшая женщина.

К чему же это я развел такую длинную рацею о раздира- тельницах сердец человеческих, в том числе и моего? Кажет- ся, в назидание моему другу. Но я думаю, что это наставле- ние будет для него совершенно лишнее. Да и весталка его, сколько мог я заключить из его описаний, едва ли способ- на залезть поглубже в сердце художника, который так пре- красно чувствует и понимает все возвышенно-прекрасное в природе, как мой приятель. Это должна быть быстрогла- зая, курносенькая плутовка, вроде швеи или бойкой горнич- ной. А подобные субъекты не редкость, и они совершенно безопасны.

А вот такие субъекты, как ее шелковая тетушка, они тоже не редки, но чрезвычайно опасны. Тетушка ее, хотя и слад- ко он ее описывает, напоминает мне гоголевскую сваху, которая отвечает [на вопрос] искателя невесты, оженит ли она его? «Ох, оженю, голубчик! Да так ловко, что и не услы- шишь»²⁵⁶. Приятель мой, разумеется, не имеет ничего обще- го с гоголевским героем, и в этом отношении я за него поч- ти не опасуюсь. Огонь первой любви хотя и жарче, но зато и короче. Но опять, как подумаю, нельзя и не опасаться, потому что эти удивительные браки без услышанья очень часто случаются не только с умными, но даже с осторож- ными людьми. А в друге моем я большой осторожности не предполагаю. Эта добродетель — не художника. На всякий случай я написал ему письмо, разумеется, не назидательное

(Боже меня сохрани от этих назидательных посланий). Я написал ему дружески-откровенно, чего я опасюсь и чего он должен опасаться. Указал ему без церемонии на милую тетеньку как на самую главную и самую опасную западную. На письмо мое я не получил, однако ж, ответа: вероятно, оно ему не понравилось. А это худой знак. А впрочем, в продолжение лета он был занят программой, так немудрено, что мог и забыть о моем письме.

Прошло лето, прошел сентябрь и октябрь месяц, приятель мой ни слова. Читаю в «Пчеле»²⁵⁷ разбор выставки, бойко написанный, должно быть, Кукольниковом²⁵⁸. «Весталку» моего друга превозносят до небес, а о программе ни слова. Что бы это значило? Неужели она ему не удалась? Я написал ему еще письмо, прося его объяснить мне свое упорное молчание, о программе и вообще о его занятиях не упоминая ни слова, зная из опыта, как неприятно отвечать на приятельский вопрос — каково идет работа? — когда работа идет скверно. Через месяца два получил я на письмо мое ответ. Ответ лаконический и крайне бестолковый. Он как бы стыдился или боялся высказать мне откровенно то, что его терзало, а его что-то ужасно терзало. Между прочим, в письме своем он намекает на какую-то неудачу (вероятно, на программу), которая его чуть в гроб не свела. И если он существует на свете, то существованием своим он обязан добрым своим соседям, которые в нем приняли самое живое, самое искреннее участие; что он теперь почти ничего не работает, страдает и душевно, и физически и не знает, чем все это кончится.

На все это я [смотрел], разумеется, как на преувеличение. Это обыкновенно в молодых восприимчивых натурах: они всегда делают из мухи слона. Мне хотелось узнать что-нибудь обстоятельнее о его положении. Меня что-то беспокоило. Но как, от кого? От самого его я толку не добьюся. Я обратился к Михайлову, прося его написать мне все, что он знает о моем друге. Обязательный Михайлов не заставил долго ждать своего оригинального и откровенного послания. Вот что написал мне Михайлов:

«Друг твой, брат, дурак. Да еще какой дурак. От сотворения мира не было еще такого необыкновенного дурака. Ему, видишь ли, не удалась программа; что же он сделал с отчаяния? Вот уже не отгадаешь: женился. Ей-богу, же-

нился. И знаешь на ком? На своей весталке! Да еще на беременной. Вот потеха! Беременная весталка. И, как он сам говорит, что беременность именно и заставила его жениться. Но не думай, чтобы он сам был причиною этого греха. Ничего не бывало. Это бестия мичман напакостил. Она сама созналась. Молодец мичман! Накуролесил, да и уехал себе в Николаев, как ни в чем не бывало. А твой-то великодушный дурак и бух, как кур во щи. Куда, говорит, она теперь денется? Кто ее приютит теперь, бедную, когда родная тетка выгоняет из дому? Взял да и приютил. Ну, скажи сам, видал ли ты подобного дурака на белом свете? Верно, и не слышал даже. Правду сказать, беспримерное великодушие. Или, вернее, беспримерная глупость. Это все еще ничего. А вот что до бесконечности смешно. Он написал с нее свою «Весталку», с беременной. Да как написал! Просто прелесть. Такого, такой наивно-невинной прелести я еще не видывал ни на картине, ни в природе. На выставке толпа от нее не отходила. Она сделала в публике такой шум, как, помнишь, когда-то сделала «Девушка с тамбурином» Тыранова²⁵⁹. Превосходная вещь! Сам Карл Павлович перед нею много раз останавливался. А это что-нибудь да значит. Ее купил какой-то богатый вельможа и хорошо заплатил. Копий и литографий с нее — во всех лавках и на всех перекрестках. Одним словом, успех полный. А он, дурак, женился. На днях я заходил к нему и нашел в нем какую-то неприятную перемену. Тетушка, кажется, его прибрала к рукам. У Карла Павловича он никогда не бывает. Вероятно, стыдится. Начал он с своей жены и не с своего дитяти Мадонну с Предвечным Младенцем. И если он кончит так хорошо, как начал, то это превзойдет «Весталку». Экспрессия младенца и матери удивительно хороша. Как это ему не удалась программа, я удивляюсь. Не знаю, допустят ли его, как женатого, будущий год к конкурсу. Кажется, нет. Вот все, что я могу тебе сообщить о твоём бестолковом друге. Прощай. Карл Павлович наш не совсем здоров; весною думает начать работать в Исакиевском соборе²⁶⁰.

Твой М.»

Невыразимая грусть овладела мною по прочтении этого простого приятельского письма. Блестящую будущность моего любимца, моего друга я видел уже оконченную, оконченную на самом рассвете лучезарной славы. Но помочь горю уже было невозможно. Как человек, он поступил

неблагоразумно, но в высокой степени благородно. Будь он простой живописец-ремесленник, это событие не имело бы на его занятия никакого влияния. Но на него, на художника, на художника истинно пламенного, это может иметь самое гибельное влияние. Потерять надежду быть посланным за границу на казенный счет — этого одного достаточно, чтобы уничтожить самую сильную энергию. На свой счет побывать за границей — об этом ему теперь и думать нечего. Если усиленный труд и даст ему средства, то жена и дети отнимут у него эти бедные средства прежде, нежели он подумает о Риме и его бессмертных чудесах.

Итак.

Италия, счастливый край,
Куда в волшебном упоеньи
Летит младое вдохновенье
Узреть мечтательный свой рай²⁶¹, —

этот счастливый, очаровательный край закрылся для моего друга навсегда. Разве какой необыкновенный случай раскроет ему двери этого не мечтательного рая. Но эти случаи весьма и весьма даже редки. У нас перевелися те истинные покровители, которые давали художнику деньги, чтобы он ехал за границу и учился. У нас теперь если и рискнет какой-нибудь богач на подобную роскошь, то из одного только детского тщеславия. Он берет художника с собою вместе за границу, платит ему жалованье, как наемному лакею, и обращается с ним, как с лакеем, заставляет его рисовать отель, где он остановился, или морской берег, где жена его принимает морские ванны, и тому подобные весьма нехудожественные предметы. А простофили барабанят: «Вот истинный любитель и знаток изящного, художника с собою возил за границу!» Бедный художник! Что в твоей кроткой душе совершается при этих неистовых глупых возгласах? Не завидую тебе, бедный поклонник прекрасного в природе и искусстве. Ты, как говорится, был в Риме и папы не видал. И слава, что ты был за границею, тебе должна казаться жесточайшим упреком. Нет, лучше с котомкой идти за границу, нежели с бароном ехать в карете. Или вовсе отказаться видеть

Мечтательный свой рай,

а приютиться где-нибудь в уголку своего прозаического отечества и втихомолку поклоняться божественному кумиру Аполлона.

Глупо, удивительно как глупо распорядился своею будущностию мой приятель. Вот уже недели две как я ежедневно прочитываю откровенное письмо Михайлова и все-таки не могу убедиться в истине этой непростительной глупости. До того не верится, что мне приходит иногда мысль побывать самому в Петербурге и собственными глазами увидеть эту отвратительную истину. Если бы это было каникулярное время, я и не задумался бы. Но, к несчастью, теперь учебные месяцы. Следовательно, отлучка если и возможна, то только двадцативосьмидневная. А в половину этих дней что я могу сделать для его? Ровно ничего, увижу разве только то, чего бы не желал и во сне видеть. Подумавши хорошенько и оправившись от первого впечатления, я решился ждать, что скажет старый Сатурн²⁶². А между тем завести постоянную переписку с Михайловым. На его письма я потерял надежду. А надежда на письма Михайлова совершенно не сбылася. Рассчитывая на Михайлова, я упустил из виду, что этот человек менее всего способен к постоянной переписке. И если я получил от него ответ на мое письмо, и так скоро, как и не ожидал, то я должен был считать это осьмым чудом. И по одному письму никак не должно было рассчитывать на постоянную переписку. Делать нечего, ошибся. Да и кто же не ошибается? Сгоряча я написал ему несколько писем. И в ответ не получил ни одного. Это меня не остановило. Я — еще, и чем далее, тем чувствительнее. В ответ ни слова. Наконец, я вышел из себя и написал ему грубое и самое недлинное письмо. Это подействовало на Михайлова, и он прислал мне ответ такого содержания:

«Удивляюсь, как у тебя [хватает] терпения, время и, наконец, бумаги на твои уморительные, чтоб не сказать глупые, письма. И о ком ты пишешь? О дураке. Стоит ли он того, чтобы о нем думать, не только писать, да еще такие уморительные письма, как ты пишешь? Плюнь ты на него, — пропавший человек, ничего больше. А чтобы тебя утешить, то я вот еще что прибавлю. Он вместе с женою и мамашею, как он ее величает, начал тянуть проволоку, т. е. принялся за сивуху. Сначала он повторял все свою «Весталку», и повторял до того, что и на толкучем перестали брать его копии. Потом принялся раскрашивать литографии для магазинов, а теперь не знаю, что он делает. Вероятно, пишет портреты по цалковому с рыла. Его никто не видит. Забился где-то

в Двадцатую линию. В угоду твою я пошел его отыскивать на прошлой неделе. Насилу нашел его квартиру у самого Смоленского кладбища. Самого его не застал дома. Жена сказала, что на сеанс ушел к какому-то чиновнику. Любовался его неоконченной «Мадонной». И, знаешь ли, мне как-то грустно стало. За что, подумаешь, пропал человек? Не дождавшись его самого, я ушел и с хозяйкой не простился — мне она показалась отвратительной.

Карл Павлович, несмотря на болезнь, начал работать в Исакиевском соборе. Доктора советуют ему оставить работу до будущего года и уехать на лето за границу. Но ему не хочется расставаться с начатой работой. Что ты не приедешь хоть на короткое время в Питер, хоть только [взглянуть] на чудеса нашего чудотворца, Карла Павловича? Да и своим бы дураком любовался. Ты, кажется, тоже женился, только не признаешься. Не пиши ко мне, отвечать не буду. Прощай.

Твой М.»

Боже мой! Неужели одна-единственная причина, эта несчастная женитьба, могла так внезапно, так быстро уничтожить гениального юношу! Другой причины не было. Печальная женитьба!

С нетерпением ожидал я каникул. Наконец экзамены кончились. Я взял отпуск и марш в Петербург. Карла Павловича я уже не застал в Петербурге. Он, по совету врачей, оставил работу и уехал на остров Мадеру²⁶³. С большим трудом нашел я Михайлова. Этот оригинал никогда не имел своей постоянной квартиры, а жил, как птица небесная. Я встретил его на улице об руку с удалым мичманом, теперь уже лейтенантом. Не знаю, каким родом он очутился снова в Петербурге. Я не мог смотреть на этого человека. Поздоровавшись с Михайловым, я отвел его в сторону и начал спрашивать адрес моего приятеля. Михайлов сначала захохотал, а потом, едва удерживая смех, он обратился к мичману и сказал:

— Знаешь ли, чью квартиру он спрашивает? Своего любимца N. N. — И Михайлов снова захохотал. Мичман ему вторил, но неискренно. Михайлов бесил меня своим неуместным смехом. Наконец, он опомнился и сказал мне: — Твой друг живет теперь в самой теплой квартире. На седьмой версте. Его, видишь ли, не допустили к конкурсу, так

он, недолго думавши, спятил с ума, да и марш в теплое место. Не знаю, жив ли он теперь?

Я, не простясь с Михайловым, взял извозчика и отправился в больницу Всех скорбящих²⁶⁴. Меня к больному не пустили, потому что он был в припадке бешенства. На другой день я его увидел, и если б не сказал мне смотритель, что № такой-то — художник Н. Н., то сам бы я никогда его не узнал. Так страшно изменило его безумие. Он меня, разумеется, тоже не узнал. Принял меня за какого-то римлянина с рисунка Пинелли²⁶⁵. Захохотал и отошел от решетчатых дверей.

Боже мой, какое грустное явление — обезображенный безумием человек! Я не мог и несколько минут побыть зрителем этого печального образа. Простился с смотрителем и возвратился в город. Но несчастный друг мой не давал мне нигде покоя. Ни в Академии, ни в Эрмитаже, ни в театре, словом, нигде. Его страшный образ везде преследовал меня. И только ежедневное посещение больницы Всех скорбящих мало-помалу уничтожило первое ужасное впечатление.

Бешенство его с каждым днем становилось слабее и слабее. Зато и силы физические быстро исчезали. Наконец, он уже не мог подняться с кровати, и я свободно мог входить к нему в комнату. По временам он как будто приходил в себя, но все еще меня не узнавал. Однажды я приехал поутру рано. Утренние часы были для него легче. Застал я его совершенно спокойного, но так слабого, что он не мог рукою пошевелить. Долго он смотрел на меня, как будто что-то припоминая. После долгого задумчивого, умного взгляда он едва слышно произнес мое имя. И слезы ручьями хлынули из его просветлевших очей. Тихий плач перешел в рыдание, в такое душу терзающее рыдание, что я и не видел, и дай Господи не видеть никогда так страшно рыдающего человека.

Я хотел его оставить, но он знаками остановил меня. Я остался. Он протянул руку; я взял его за руку и сел около него. Рыдания мало-помалу утихли, катились одни крупные слезы из-под опущенных ресниц. Еще несколько минут, и он совершенно успокоился и задремал. Я потихоньку освободил свою руку и вышел из комнаты в полной надежде на его выздоровление. На другой день, также рано поутру, приезжаю я в больницу и спрашиваю попавшегося мне навстречу его сторожа:

— Каков мой больной?

И сторож мне ответил:

— Больной ваш, ваше благородие, уже в покойницкой. Вчера как уснул поутру, так и не проснулся.

После похорон я оставался несколько дней в Петербурге, сам не знаю для чего. В один из этих дней встретился мне Михайлов. После рассказа о том, как он провожал вчера мичмана в Николаев и как они кутнули на Средней рогатке, речь зашла о покойнике, о его вдове и, наконец, о его неоконченной «Мадонне». Я просил Михайлова проводить меня на квартиру вдовы, на что он охотно согласился, потому что ему самому хотелось еще раз посмотреть на неоконченную «Мадонну». В квартире покойника мы ничего не встретили, что бы свидетельствовало о пребывании здесь когда-то художника, кроме палитры с засохшими красками, которая теперь заменяла разбитое стекло. Я спросил о «Мадонне». Хозяйка не поняла меня. Михайлов растолковал ей, чтобы она показала нам ту картину, которую когда-то смотрел он у них. Она ввела нас в другую комнату, и мы увидели «Мадонну», служившую заплатой старым ширмам. Я предложил ей десять рублей за картину. Она охотно согласилась. Я свернул в трубку свое драгоценное приобретение, и мы оставили утешенную десятью рублями вдову.

На другой день я простился с моими знакомыми и, кажется, навсегда оставил Северную Пальмиру. Незабвенный Карл Великий уже умирал в Риме²⁶⁶.

4 октября 1856

ПРОГУЛКА С УДОВОЛЬСТВИЕМ И НЕ БЕЗ МОРАЛИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Посвящаю Сергею Тимофеевичу Аксакову¹
в знак глубокого уважения

I

Вздумалось мне в прошлом году встретить нашу прекрасную украинскую весну где-нибудь подальше от города. Хотя и в таком городе, как садами укрытый наш златоглавый Киев, она не теряет своей прелести, но все же — город, а мне захотелось уединенного тихого уголка. Эта поэтическая мысль пришла мне в голову в начале или в половине апреля, не помню хорошенько. Помню только, что это случилось в самый развал нашей знаменитой малороссийской грязи. Можно бы и подождать немного — весною грязь быстро сохнет. Но уж если что мне раз пришло в голову, хотя бы самое несбыточное, так хоть роди, а подавай. На этом пункте я имею большое сходство с моими неподатливыми земляками. Писатели наши и вообще люди приличные чувство это называют силою воли; а его просто можно назвать воловьим упрямством. Оно живописнее и выразительнее.

Долго я перебирал в памяти своей моих добрых приятелей, укрывшихся в тени уединения, т. е. посвятивших себя совершенному бездействию. После тщательной переборки я остановился на одном отставном гусаре, называвшем меня своим родичем, чему я совершенно не противоречил. Лежал он или, как бы выразиться иначе, прозябал он в самом живописном уединенном уголке Киевской губернии, верстах в трех от местечка Лысянки². На него-то и пал мой выбор.

На тройке добрых почтовых лошадей я с Трохимом и с чемоданом поутру рано выехал из Киева. До первой станции — Виты³, мы добрались без особых приключений и Виту оставили благополучно. Только как раз против самого Белокняжего поля⁴, не доезжая каплицы, или часовни, у левой пристяжной лопнули постромки. Мы думали было на паре кое-как дотащиться до Василькова⁵. Не тут-то было. Грязь

по ступицы, и наша пара ни с места. К счастью нашему, мужик вез лозы для изгороди, мы у него, не без труда, правда, выпросили пару лозин и устроили себе кое-как постройку.

В Василькове мы закусили с Трохимом фаршированной жидовской шукой, крепко приправленной перцем, и потянулись дальше. Пошел мелкий, тихий дождик, потом крупнее и крупнее, наконец полил как из ведра; можно бы было заехать в корчму в Мытныци (село)⁶ и переждать дождь, но я как сказал себе, чтобы нигде не останавливаться до Белой Церкви⁷, так и сделал. В Белую Церковь приехали мы уже ночью. Посоветовавшись с Трохимом, решились мы ночевать на почтовой станции, и, я вам скажу, мы хорошо сделали, что так придумали умно: а иначе мне, может быть, никогда не пришлось бы писать этой «Прогулки», а вам читать ее, мои терпеливые читатели, потому что узел описываемого мною происшествия завязался именно в эту достопамятную ночь. Только не на почтовой станции, как это большею частью случается, а... но зачем забегать вперед?

Решившись ночевать на станции, я спросил у смотрителя, есть ли у них комната для проезжающих.

— Есть две, — отвечал он, — только обе заняты. Какая-то барыня, должно быть, с [молодою] дочерью заняли обе комнаты.

«Барыня с молодою дочерью?» — подумал я.

Эх, как досадно, что я не гусар или хоть просто [не] военный, я бы знал, как тут распорядиться: просто по праву проезжающего по казенной надобности (военные не ездят на почтовых по своей надобности) закупорил бы мать с дочерью в одну комнату, а в другой сам расположился и на досуге занялся бы обсервациею в замочную скважину. Вот вам и начало романа, чисто в гусарском вкусе. Я было, признаться, и того... да нет, не хватило духу; сказано: кому не написано на роду быть военным человеком, так тот хоть в аршин запусти усы, а все останется штафиркой⁸.

До местечка оставалось еще с добрую версту, а до жидовского трактира, где мы предположили провести ночь, по крайней мере версты две, но делать было нечего, и мы потащились ночью под проливным дождем отыскивать жидовский трактир. Трохим, не совсем довольный моим решением, начал было что-то возражать, но я махнул рукою, и мы пустились в дорогу. Через час времени мы благополучно достигли желаемой цели.

Пользуясь сим удобным случаем, я мог бы описать вам белоцерковский жидовский трактир со всеми его грязными подробностями, но фламандская живопись мне не далась, а здесь она необходима. Замечу мимоходом: во-первых, меня никто не вышел встретить, как то бывает в русских трактирах, но этому могла быть причиною темная, ненастная ночь, — причина важная для самого храброго жидовина; во-вторых, по скользким ступеням вскарабкивался я кое-как в темный коридор и наткнулся на что-то железное, так ловко наткнулся, что чуть себе лба не раскроил. Поутру я же увидел, что это были дроги с рессорами из-под какого-то экипажа. Таково было мое вшествие в иудейскую гостеприимную обитель. В комнате уже меня встретил жид, довольно благовидной наружности, и помог мне стащить с плеч насквозь промокшую непромокаемую шинель и униженно спросил, что мне будет угодно?

— Чаю и комнату, — отвечал я.

Жид сказал:

— Зараз, — и скрылся за дверью.

В ожидании жидовского «зараз» я грелся и разминался, ходя взад и вперед по комнате. Комната была что-то вроде лавки, с шкафами около стен и стеклянным ящиком вдоль комнаты вроде застойки. Перед ящиком я остановился и между галантерейными безделушками, как бы вы думали, что я увидел? Книгу в желтой обертке. А я только хотел было сказать Трохиму, чтобы достал книгу из чемодана, а тут она сама в руки лезет, и Трохима тревожить не нужно. Беру со стола свечу и читаю заглавие, кажется, славянскими буквами: «Украинская поэзия» Н. Падурь⁹. «Поди-ко, голубчик, сюда, я тебя давно не видал». Ящик, однако ж, был заперт. Я позвал хозяина, но вместо хозяина явился какой-то жидок с рыжей бородкой. Я просил его достать мне из ящика книгу, но он рекомендовался мне, что он фактор, а не хозяин лавки. Я велел ему позвать хозяина. Явился хозяин, тот самый благовидный жид, что помогал мне снимать непромокаемую шинель. Я просил его достать книгу. Он достал и, подавая ее мне, сказал:

— Десять золотых.

— А если только прочесть, — спросил я, принимая книгу, — что будет стоить?

— Пять золотых, — сказал жид, побрякивая ключами.

Делать нечего, я отдал пять злотых и спросил нож, чтобы разрезать дорожную книгу, но это было напрасно: книга была разрезана и даже запачкана. Кроме сальных пятен, я заметил на полях листов то прямые черты, крепко проведенные где ногтем, а где и карандашом, то знак восклицательный, то знак вопросительный, то черт знает что. «Ай, ай! — подумал я. — Да ты побывала уже в руках у нашего брата критика».

Портить карандашом или ногтем чужую книгу непростительно, но тут все-таки есть хоть какая-нибудь мысль, что я, дескать, читал такую книгу и нашел в ней это хорошо, а это дурно, хотя это подобного читателя совсем не извиняет в порче чужой собственности. Чем же извинить господ, портящих стекла на почтовых станциях своим драгоценным алмазом, выводя на стекле свой замысловатый вензель, как на каком-нибудь важном документе, четко и выразительно? Чем извинить этих господ? Для чего они это делают? Какая тут мысль? А какая-нибудь да кроется же в этих замысловатых вензелях и росчерках? Неужели только та, что такой-то и такой проезжал здесь с алмазным перстнем? Только, и ничего больше. Какое мелкое, ничтожное тщеславие! А говорят и даже пишут, будто бы знаменитый лорд Байрон изобразил где-то в Греции на скале свою прославленную фамилию¹⁰. Неужели и этот крупный человек не чужд был сего мелкого, ничтожного тщеславия?

Странно, между прочим. Это мелкое тщеславие заставляет меня (да, может быть, и не одного меня) смотреть, разумеется, от нечего делать, на эти исцарапанные стекла и прочитывать давно знакомую книгу, исчерченную карандашом и ногтем. Так и теперь со мной случилось. Поэзия Падурь мне известна и переизвестна, а я заплатил за нее пять злотых, так, из одной прихоти, как говорится, чтобы себя потешить; а между тем, когда увидел каракули на полях, начал читать, как бы никогда не читанную книгу.

Над песней под названием «Запорожская песня» было весьма четко написано: «Скальковский врет». Что бы значила эта весьма нецеремонная заметка? Я прочитал песню. Песня начинается так: «Гей, козаче, в имя Бога». Какое же тут отношение к ученому автору «Истории нового коша»¹¹? Не понимаю. Ба! вспомнил. Эту самую песенку ученый исследователь запорожского житья-бытья вкладывает в уста запорожским лыцарям. Честь и слава ученому мужу! Как он глубоко изучил изображаемый им предмет. Удивительно! А может быть, он

хотел просто подсмеяться над нашим братом хохлом и больше ничего, — Бог его знает, только эта волыно-польская песня столько же похожа на песню днепровских лыцарей, сколько похож я на китайского богдыхана¹².

— А что же чай и комната? — спросил я, закрывая книгу.

— Зараз, — сказал торчащий в углу рыжебородый жидок. И он вышел в другую комнату.

«Ах вы, проклятые жида! Я уже целую книгу прочитал, а они и не думали приготовить чаю!»

Через минуту жидок возвратился и снова притаился в углу.

— Что же чай? — спросил я.

— Зараз закипит, — отвечал жидок.

— Чего же ты тут переминаешься с ноги на ногу? — спросил я у услужливого жидка.

— Я фактор. Может быть, пан чего потребует, то я все зараз для пана доставить могу, — прибавил он, лукаво улыбаясь.

— Хорошо! — сказал я. — Так ты говоришь, что все, чего я пожелаю?

— Достану все, — отвечал он не запинаясь.

«Какую же мне задать ему задачу, так что-нибудь вроде пана Твардовского?»¹³ — спросил я сам себя и, подумавши, сказал ему:

— Ты знаешь английский портер под названием «Браунстут Берклей Перкенс и компания»¹⁴?

— Знаю, — отвечал жидок.

— Достань мне одну бутылку, — сказал я самодовольно.

— Зараз, — сказал жидок и исчез за дверью.

«Ну, — подумал я, — пускай поищет. Теперь этого вражеского продукта и в самой столице не достанешь, не только в Белой Церкви». — Не успел я так подумать, как является мой жидок с бутылкой настоящего «Браунстута». Я посмотрел ярлык на бутылке и только плечами двинул, но виду не показал, что это меня чрезвычайно удивило. Жидок поставил бутылку на стол и как ни в чем не бывало стал себе по-прежнему в углу и только пот с лица утирает полою своего засаленного пальто.

Чудотворцы же эти проклятые факторы!

— Скажи ты мне истину, — сказал я, обращаясь к фактору, — каким родом очутился английский портер в вашей Белой Церкви?

— Через наш город, — отвечал жидок, — возят из Севастополя пленных аглицких лордов¹⁵, — так мы и держим для них портер.

— Дело, — сказал я, — значит, ящик просто отпирался¹⁶.

— Не прикажете ли еще чего-нибудь достать вам на ночь? — спросил фактор.

— Подожди, братец, подумаю, — сказал я. «Какой бы ему еще крючок загнуть, да такой, чтобы проклятый жид зубами не разогнул?» — подумал я, и, подумавши хорошенько, вот какой загнул я ему крючок, истинно во вкусе Твардовского. — Вот что, любезный чудотворец, — сказал я, обращаясь к мизерному Меркурию¹⁷. — Если уж ты достал мне портрету... Пстой, у вас есть в городе книжная лавка?

— Книжной лавки нет в городе, — отвечал он.

— Хорошо, так достань же мне новую, неразрезанную книгу, и тогда я поверю, что ты все можешь достать.

— Зараз, — сказал невозмутимо рыжий Меркурий, повернулся и вышел.

II

— Эй, хозяин! Что же чаю? — сказал я громче обыкновенного, обращаясь к растворенной двери.

— Зараз, — откликнулся из третьей комнаты жидовский женский голос.

— А чтобы вам своего мессии ждаты и не дождаты так, как я не дождусь вашего чаю!

Не успел я проговорить эту гневную фразу, как в дверях показалась кудрявая черноволосая прехорошенькая жидовочка, но такая грязная, что смотреть было невозможно.

— Где же чай? — спросил я у запачканной Гебы¹⁸.

— У нас чаю нет, а не угодно ли...

— Как нет! Где хозяин? — прервал я запачканную Гебу.

— Хозяин пошли спать, — отвечала она робко.

— Если чаю нет, так что же у вас есть? — спросил [я] ее с досадой.

— Фаршированная щука и...

— И больше ничего, — прервал я ее.

А меня прервал вошедший в комнату фактор с двумя новенькими книгами в руках. Я изумился, но сейчас же пришел в себя и велел подать щуку и потом уже обратился к фактору, равнодушно взял у него книги. Смотрю, — книги действительно новые, неразрезанные. Я хотя и привык, как

человек благовоспитанный, скрывать внутренние движения, но тут не утерпел, ахнул и назвал жидка настоящим слугою пана Твардовского. Жидок улыбнулся, а я на обертке прочитал: «Морской сборник» 1855 года, № 1¹⁹. Я еще раз удивился и, обратясь к фактору, сказал:

— Скажи же ты мне, ради самого Мойсея, какую ты силою творишь подобные чудеса? И расскажи, как и от кого достал ты эти книги?

— О!.. Эти книги дорого стоят, если рассказать вам их историю, — сказал жидок и провел по голове пальцами, как бы поправляя ермолку.

— Сослужи же мне последнюю службу, — сказал я ласково своему рыжему Меркурию, — расскажи ты мне историю этих дорогих книг.

Жидок замялся и почесал за ухом. Я посулил ему злотый на пиво, это его ободрило, он вежливо попросил позволения сесть и, почесавши еще раз за ухом, рассказал мне такую драму, что если бы не его жидовская декламация, то я непременно бы расплакался. Содержание драмы очень просто и так обыкновенно, что поневоле делается грустно. Происшествие такого рода.

Из Севастополя в Смоленскую губернию ехал какой-то флотский офицер, Бог его знает, раненый ли, или просто больной, с двумя малютками детьми и с женой. Дело было зимой или в конце зимы; дорога так его, бедного, измучила, что он принужден был остановиться в Белой Церкви на несколько дней — отдохнуть. Болезнь усилилась и положила его в постель. Что им оставалось делать? Сидеть в жидовской грязной и дорогой хате и дожидать какого-нибудь конца. Началась распутица, все вздорожало. Своих денег не было, расходовались прогоны. И прогоны израсходовались, а больной не вставал. Какой-то проезжий медик навестил его и только покачал головой, и ничего больше. Рецепт не для чего было писать, потому что в местечке какая аптека? На другой день после визита медика больной умер, оставив свою вдову и детей, что называется, без копейки. Что оставалось ей, бедной, делать в таком горьком положении? Она написала письмо родственникам мужа в Смоленскую губернию, а в ожидании ответа начала продавать за бесценок мужнин гардероб и иные бедные крохи, чтобы удовлетворить самую крайнюю необходимость. Услужливый за деньги жид, если узнает, что у вас наличных — и в виду не имеется, то он вам и воды не даст

напиться, а о хлебе и говорить нечего. А впрочем, русский человек сделает то же, с тою только разницею, что побожится и перекрестится, что у него все было и все вышло; а денежному гостю подаст все, что бы тот ни просил, и принесет все требуемое перед вашим же носом. При слове «деньги» редкий из нас — не жид. Бедная вдова продавала все, даже необходимое, если оно имело хотя какую-нибудь цену в глазах покупателя жида. Книги, которые мне принес всеведущий фактор, были взяты у нее и, вероятно, за бесценок. В хозяйстве вдовы они были только лишней тяжестью, да и покойник, как видно, не высоко ценил печатную мудрость: он книги даже не разрезал. Ну, да как бы то ни было, только я был изумлен и обрадован таким беспримерным явлением.

— Что же ты заплатил за книги? — спросил я фактора, разрезывая первый номер.

— Два карбованца — меньше не отдает, — отвечал он запинаясь.

«Врешь, сребролюбец Иуда», — подумал я, а уличить его нечем.

— Хорошо, — говорю я ему, — деньги я отошлю с моим мальчиком завтра, ты только покажешь ему квартиру.

— Я уже деньги заплатил, она в долг не поверила, — сказал он, обтирая рукой свою грязную шляпу.

— Жаль, я больше полтинника тебе не дам за книги.

— Зачем же вы испортили книгу? — сказал он почти дерзко.

— Чем же я ее испортил? — спросил я.

— Всю ножом изрезали, теперь она не возьмет книги назад. За мое жито мене и быто, — проговорил он едва внятно и замолчал.

— Утро вечера мудренее, — сказал я ему. — Ложись спать, а завтра рассчитаемся. — Он поклонился и вышел.

По уходе фактора я разбудил Трохима, который спал себе сном невинности около чемодана во всем своем промокшем облачении. Велел я ему полуразоблачиться и, войдя в другую комнату, сказал довольно громко, почти крикнул:

— А что же шука?

— Зараз, — послышался прежний женский голос, и через минуту явилась та же самая курчавая запачканная жидовочка.

— Что шука? — повторил я.

— Уже готова, только на стол поставить, — проговорила жидовочка.

— Ставь же ее на стол скорее, да не забудь и водку поставить.

Жидовочка ушла и вскоре опять явилась со щукою и с осьмиугольным штофом с какой-то буро-красноватой водкой.

Я принялся за щуку и, несмотря что она крепко была приправлена перцем и гвоздикой, с таким аппетитом убирал ее, что если бы Трохим провозился с своим разоблачением еще хоть минуту, то застал бы одну голову да хвост; но он поторопился и захватил еще порядочную долю щуки. После щуки спросил я у запачканной Гебы, нет ли еще чего-нибудь заглушить перец и гвоздику. Она отвечала, что ничего они больше сегодня не варили. Я велел подать графин воды, стакан и расположился на скрипучей, вроде дивана, деревянной скамейке, а Трохим, окончивши щуку, помолился Богу и тоже расположился на каком-то войлоке у печки, на полу. Тишина водворилась в жидовской обители. Снявши со свечи, я начал перелистывать «Морской сборник» № 1-й.

III

Перелистывая машинально книгу, я начал было дремать и поднял уже руку за щипцами, чтобы погасить свечу и заснуть, а случилось не так. Я нечаянно взглянул на реестр увечных, выздоровевших, но неспособных продолжать службу нижних чинов; я стал читать, и что же я прочитал? Прочитал я то, чего не прочитывал ни в одной печатной книге, а я их таки немало прочитал.

Дело вот в чем. В присутствии комитета раненых были спрошены эти увечные бедняки, какую кто из них пожелает себе награду за верную службу престолу и отечеству. Бедняки сначала отказались от всякой награды, только чтобы их отпустили на родину. Комитет настаивал, чтобы они, кроме этого, требовали себе всякий, что ему нужно. Иные попросили денежной награды, другие — чтобы освободить детей их из кантонистов²⁰. А последний из них, молодой матрос, со слезами на глазах просил, чтобы освободили сестру его родную от крепостного звания. Великодушная просьба этого простого человека меня поразила, я дальше не мог читать, закрыл книгу и погасил свечу.

Мне, однако ж, не спалось. Матрос расшевелил мое воображение и отогнал услужливого Морфея²¹. Простое и самое естественное дело простого человека рисовалось

в моей душе яркими, лучезарными красками. Должно быть, я сильно обнищал сердцем, когда меня так поразило это, по-видимому, обыкновенное явление? Неужели вместе с цивилизацией так плотно к нам прививается эгоизм, что мы, т. е. я, едва верим в подобное бескорыстие? Должно быть, так. А по-настоящему не должно быть так; образование должно богатить, а не окрадывать сердце человеческое. Но, к несчастью, это теория. Подобное ни к чему не ведущее рассуждение не давало мне заснуть, и чем глубже я входил в эти рассуждения, тем возвышеннее, благороднее казался мне поступок увечного бедняка матроса. Он отдал все сестре, а себе ничего не оставил, кроме сумы и костыля. Как хотите, а подвиг не совсем обыкновенный. «Что, если бы, — подумал я, — удалось мне этот простой сюжет облачить в форму героической поэмы или... Но нет, никакая другая форма поэзии, кроме поэмы, нейдет этому сюжету. Поэма или ничего». И я начал сочинять поэму.

Во дни минувшие, во дни невинности моей²², как говорит поэт, и я втихомолку кропал стишонки, да и кто из нас их не кропал? Следовательно, мне это рукоделье было несколько знакомо. Оставалось придумать ход действий и обстановку, а место действия — страшный четвертый бастион в Севастополе²³, еще страшнее лазарет там же и, в заключение, укрытое цветущими вишневыми садами малороссийское село, и среди улицы этого очаровательного села встречается свободная сестра своего великодушного калеку брата. Канва готова, — осталось подобрать тени, и за работу. Я уже начал было и тени раскладывать, не теряя из виду общего эффекта. Слушаю, в комнате будто что-то шепчет. Не бредит ли Трохим во сне после жидовской шуки? Прислушиваюсь, действительно Трохим, только не бредит, а наяву про себя шепчет:

— А... хочется пить, а не хочется встать.

Минуту спустя он еще раз повторил громче свое желание, а через минуту он проговорил его почти вслух.

— Трохиме, — сказал я громко. Трохим молчит. — Трохиме! — повторил я тем же тоном.

— Чого? — отозвался он как бы спросонья.

— Подай мне графин с водою.

Он глубоко и продолжительно вздохнул, лениво поднялся с постели, отыскал впотьмах графин и подал мне.

— Напейся сам, — сказал я ему, — а я не хочу пить.

Трохим напился, поставил графин на место и проговорил:

— Покорно вам благодарю.

— То-то ж, дурню, — сказал я ему вместо наставления, но он едва ли это наставление слышал, потому что спал.

Оригинал порядочный этот Трохим. Я опишу его когда-нибудь в другом, более приличном месте, а теперь буду продолжать собственное похождение.

Я принялся было опять за прерванную нить своей поэмы, но Морфей-приятель задернул занавес, и едва зримая и великолепная декорация скрылась от моих очей. На другой день очень нерано мы оставили Белую Церковь. Это потому, что я заснул уже на рассвете; сначала матрос не давал мне покою, а потом жидовские блохи. Дорога была повчерашнему скверная, если не хуже: от продолжительного дождя густая грязь превратилась в настоящую кашу, как выразился недовольный Трохим. Дорога, впрочем, меня мало беспокоила, я ее почти не замечал. Меня, если можно так выразиться, поглотила моя поэма; я все устанавливал подробности действия и так увлекся этими подробностями, что начал уже стихи импровизировать. Импровизация моя была прервана не самым обыкновенным происшествием. Кони наши остановились перед берлином²⁴ или дормезом²⁵, по самый кузов зарезавшимся в грязь. Четыре пары добрых волов едва-едва двигали его вперед, а почтовая четверка, вся в мыле, отдыхала по ту сторону плотины. «Не вчерашняя ли это барыня с дочерью с таким комфортом путешествует?» — спросил я сам себя и нечаянно взглянул на Трохима. У него была такая кислая, недовольная рожа, что я расхохотался. Он как будто бы не замечал моего хохота и оттого делался еще смешнее.

— О чем это вы так задумались, Трохим Сидорович? — наконец спросил я его шутя. Трохим мой вздохнул, повернулся лицом к дормезу и проворчал что-то похожее на брань.

— Не «Отче наш» ли вы читаете? — спросил я его, едва удерживаясь от смеху.

— «Отче наш», — проговорил он сквозь зубы.

— За чью ж это душу? — спросил я его смеясь.

— За чертову, — отвечал он тем же тоном и, оборотясь ко мне, сказал: — Правду сказал жид, у которого мы ночевали, что вы не похожи не только на пана, не походите даже

на простого шляхтича голопуз... — Последнего слова он не договорил и опять отвернулся от меня.

Так вот где причина, почему благообразный жид вчера и сегодня не ухаживал за мною, как это обыкновенно делают они, особенно содержатели заезжих домов и так называемых уездных трактиров; а я уже думал, что бы значило, что хозяин так равнодушно принял меня, так равнодушно, что не почел нужным попотчевать даже чаем, а вот он где секрет. Интересно бы знать, за кого он меня принял?

— За кого же он меня принял? Не говорил тебе жид? — спросил я у Трохима.

— Так, говорит, ни то ни се, и еще прибавил какое-то слово по-своему. Я не понял, а верно, что-нибудь скверное, потому что, сказавши это слово, он плюнул.

— Ах он проклятый жид! Еще и плюнул! Ну а ты как думаешь, Трохиме, похож ли я на пана, хотя сбоку? — спросил я его шутя.

— Ни сбоку, ни спереду, — отвечал он не задумавшись и, отворотясь от меня, продолжал вполголоса: — Не только пан, порядочный мужик в такую погоду собаки из хаты не выгонит, а он поехал в гости — очень нужное дело! Да еще хочет, чтобы его паном жида величали. Небось, жида знают, как кого назвать.

Последнее слово он проговорил шепотом. Я внутренне смеялся досаде озлобленного Трохима. В это время сзади нас послышался почтовый колокольчик. Я оглянулся: в полверсте за нами тащилась по грязи тройка, такая же, как и наша.

— Слава тебе Господи! — вскрикнул протяжно Трохим и перекрестился.

— А что? — спросил я его.

— Выехали из грязи, — сказал он весело.

Дормез, действительно, стоял уже по ступицы в грязи, а волы, совершивши свой подвиг, попарно вылезали из болота на более сухое место. Вдали слышимый колокольчик запел уже у меня за плечами. Я снова оглянулся и, кроме тройки и ямщика, увидел стоящую в телеге фигуру в черной бурке и в каком-то мудреном картузе. Через минуту тройка, телега и стоящая в ней фигура очутились у самых окон дормеза. Фигура на минуту наклонилась к окну, как бы спрашивая о здоровье закупоренных в подвижной светлице красавиц. Потом фигура в бурке и картузе приподнялась и хриплым голосом стала кричать на ямщиков, чтобы подавали скорее

лошадей. Я занялся фигурой, Трохим не знаю чем занимался, ямщик накладывал табаку в свою носогрейку, а кони, опустив морды в самую лужу, о чем-то призадумались.

— Что же ты не трогаешь? — сказал я ямщику.

— А я думал, — сказал ямщик, не вынимая трубки изо рта, — что мы за ними и поедем до самой станции.

— Ах ты, хохол! Как ты скверно думал. Трогай-ка лошадей проворнее! — сказал я. И мы оставили фигуру в бурке и дормез. Когда мы проезжали около дормеза, я заглянул в окно, и передо мной мелькнула необыкновенно прекрасная женская головка, повитая чем-то черным. У меня как будто бы молотком ударило в сердце, и я уже до самой станции ничего не видел, кроме очаровательной головки.

— Самовар есть? — спросил я у станционного смотрителя, вылезая из телеги.

— Есть, — отвечал он.

— А коли есть, так прикажите его нагреть. — И, обращаясь к Трохиму, прибавил: — Делать нечего, Трохиме, чемодан нужно развязать, а то мы пропадем без чаю.

— А разве жидовский вам не понравился? — проговорил он иронически, вынимая чемодан из телеги.

Правду сказать, так чай был только предлогом, а настоящим делом-то была волшебница, закупоренная в подвижном тереме. Мне ужасно хотелось еще хоть мельком взглянуть на эту дивную головку. Казалось, что я рассчитал недурно. Они непременно войдут в комнату, пока им лошадей перепрягут, и я... все случиться может, буду иметь счастье предложить ей стакан чаю. В дороге что за церемония! Пока я так предполагал, самовар кипел уже на столе, и Трохим вытирал черный глиняный чайник и зеленоватые кабачные стаканы. Ну как же я в таком стакане предложу ей чаю? Срам и... еще что-то я хотел подумать, как растворилась дверь и в комнате явилась фигура в бурке и в мудреном картузе. Не снимая картуза, фигура хриплым басом спросила стоявшего пред ней смотрителя:

— Есть ли лошади?

— Есть, — отвечал почтительно смотритель.

— Мне нужен осмерик, — проговорила фигура.

— И осмерик будет, — отвечал смотритель тем же тоном.

Фигура бросила подорожную на стол и, заметя третье лицо, т. е. меня, приподняла картуз и кивнула головой.

Я отвечал тем же, только немного скромнее, и предложил фигуре стакан чаю с дороги. Фигура не отказалась, пожалела только, что даже в Киеве нельзя достать порядочного араку²⁶. Я не противоречил, и разговор наш тем кончился. Фигура, не допивши стакан чаю, скрылась за дверь. Так как этот субъект играет или будет играть не последнюю роль в нашем повествовании, то не мешает его очертить с некоторыми подробностями.

«Отставной ротмистр гвардии, помещик Курнатовский» — так гласила подорожная, которую я прочитал не без любопытства.

О подробностях фигуры господина гвардии отставного ротмистра не могу сказать ничего положительно, потому что она скрывалась под буркой. А лицо? Лицо довольно обыкновенное, особенного ничего не выражает, такие лица можно встретить на конной ярмарке в Бердичеве или в Полтаве, между ремонтерами. Нос большой, довольно аляповатый и довольно красный, глаза тоже красные, навыва-те. Губы толстые, особенно нижняя, усы искрасна-черные, большие; о волосах на голове тоже ничего положительно не могу сказать, потому что он не снимал своей затейливой фуражки. Вот вам и вся недолга. Если всмотреться в него попристальнее, так, может быть, нашлись бы какие-нибудь особенности. Но я не успел попристальнее всмотреться и подробнейшее окончание портрета оставляю до следующего сеанса.

— Опять поехали волами! — сказал Трохим, входя в комнату.

— Вели долить самовар и прибавить угольев, — сказал я ему и вышел из комнаты. — Во что бы то ни стало, а я ее дождусь, — говорил я сам себе, глядя на бесконечную плотину, по которой четыре пары волов едва двигали знакомый мне дормез. Час, если не больше, дожидался я заветного дормеза; наконец, остановился он перед воротами почтовой станции.

— Не угодно ли будет, — не совсем смело сказал я отставному ротмистру, — вашим дамам выпить чаю с дороги?

Ротмистр кивнул головой и подошел к окну экипажа. Через минуту огромный лакей разложил ступени, отворил дверцы и из подвижного терема высадил... кого бы вы думали, кого? Вместо прекрасной волшебницы — бабу-ягу, закутанную во что-то черное. «А чтобы ты провалилась!» —

подумал я. А лакей между тем сложил ступеньки и тихонько притворил дверцы.

— А что же панна Гелена? — спросил по-польски старуху ротмистр.

— Спит, — отвечала старуха и поплелась в комнату, поддерживаемая огромным гайдуком.

Ротмистр закурил колоссальный трубукас²⁷ и пошел на конюшню посмотреть, каких ему лошадей заложат, а я посмотрел грустно на экипаж, как лисица на виноград²⁸, и отправился скрепя сердце потчевать старуху чаем. Напрасно я беспокоился, она уже сама себя потчевала, и когда я взошел в комнату, она даже и не взглянула на меня. Я сказал Трохиму, чтобы он налил себе стакан чаю и укладывал чемодан. Старуха тогда взглянула на меня и отвернулась, а я вышел из комнаты, как бы не замечая ее взгляда. Лошади для меня были готовы. И я, дождавшись Трохима и чемодана, посмотрел еще раз на облепленный грязью дормез, сел в телегу и уехал в полной надежде увидеть таинственную красавицу на следующей станции, т. е. в городе Тараше²⁹. Тараша — город! Не понимаю, зачем дали такое громкое название этой грязной жидовской слободе. Наверное можно сказать, что покойный Гоголь и мельком не видал сего нарочито грязного города, иначе его родной Миргород показался бы ему если не настоящим городом, то по крайней мере прекрасным селом. В Миргороде хотя и не пышной растреллевской³⁰ или тоновской византийской архитектуры³¹, а все-таки есть беленькая каменная церковь. Хоть небольшое белое пятно на темной зелени, а оно делает свой приятный эффект в однообразном пейзаже. В Тараше и этого нет. Стоит на пригорке себе над тухлым болотом старая темная деревянная церковь, так называемая козацкая, т. е. постройка времен козачества. Три осмиугольных конических купола с пошатнувшимися черными железными крестами, и ничего больше. И все это так неуклюже, так грубо, печально, как печальна история ее неугомонных строителей. Едва-едва к вечеру дотащились мы до сего так называемого города. О дальнейшем следовании и думать было нечего. О дормезе и спящей красавице тоже. Следовательно, я могу смело распоряжаться одной-единственной комнатой в почтовой станции. Так и сделано. Трохиму предоставил я распорядиться насчет ужина. Но как усердно ни распорядился Трохим, а ужин наш ограничился парюю сушеных карасей, ломтем черного хлеба и рюмкой

вонючей водки. Трохим был, как говорится, в своей тарелке и подтрунивал над чернечею вечерею, — так называл он наш ужин. Трунил он собственно не над ужином, а над мной, что, дискать, как приятно путешествовать во время такой прекрасной погоды. Мне самому было досадно, но я молчал и старался не думать о погоде, а о чем-нибудь другом. Другое мне, однако ж, плохо давалось. Я вспомнил о матросе, и — вообразите мою досаду: я вспомнил, что мы забыли «Морской сборник» в Белой Церкви. Спрашиваю у станционного смотрителя, не найдется ли из ямщиков охотник съездить верхом в Белую Церковь. Охотник нашелся, я рассказал ему, в чем дело. Он запросил у меня за поездку три целковых, я не торговался и дал задаток. Ямщик тотчас же отправился в дорогу; а мы с Трохимом, помолясь Богу, привели утомленные тела свои в горизонтальное положение. Он на скамейке, а я тоже на скамейке, обгороженной с трех сторон чем-то вроде перил, что делало ее похожею на чухонские сани.

IV

«Морской сборник» таки не дешево мне обошелся, а интересного в нем, я думаю, один только и есть матрос; впрочем, я еще и не просмотрел его хорошенько. Но дело не в том, интересен он или нет, а в том дело, что я с собою взял только две или три книги, и то не знаю какие. Трохим у меня и по этой части распорядился. А нужно вам сказать, что книги для меня, как хлеб насущный, необходимы. И две недели, которые я предполагал посвятить моим родичам, без какой-нибудь книги покажутся бесконечными. Поэтому-то я и дорожил «Морским сборником», и еще потому, что родич мой, хотя и не без образования человек, но книги боялся, как чумы, и, следовательно, на его библиотеку нечего было рассчитывать. Станным и ненатуральным покажется нам, грамотным, человек, существующий без книги! А ежели всмотреться попристальнее в этого странного человека, то он покажется нам самым естественным. Родич мой, например, начал свое образование в каком-то кадетском корпусе, а окончил его в каких-то казармах и в лагере. Когда же и где ему можно было освоиться с книгою? Штык и книги — самая дикая дисгармония. И родич мой, выходит, самый натуральный человек, и тем еще натуральнее, что он не притворяется читающим, как делают это дру-

гие, ему подобные, как, например, делает его благоверная половина, а моя прекрасная родичка, или, яснее, кузина, у которой вся библиотека состоит из «Опытной хозяйки»³², переписанной каким-то не совсем грамотным прапорщиком. А как занесется о литературе, так только слушай. Другой, пожалуй... да что тут говорить про другого, я сам сначала уши развесил, да потом уже спохватился. Я познакомлю вас, мои терпеливые читатели, хоть слегка с моей кузиной-красавицей (правда, не первой молодости). С такими субъектами, как она, не мешает иногда познакомиться. Сам я познакомился с нею, когда она была еще невестой моего родича. И, правду сказать, чуть-чуть было не втюрился по уши — извините за выражение, другого не мог придумать, — тогда она была восхитительно хороша. А это известно: если женщина восхитительно хороша собой, то значит, что она и добра, и умна, и образованна, и одарена ангельскими, а не человеческими свойствами. Это уж так водится. А на самом-то деле, чем женщина красивее, тем более похожа она на движущуюся прекрасную, но бездушную куклу. Это я говорю по собственному многолетнему опыту; красавицы только в романах олицетворенные ангелы, а на деле они автоматы или просто гипсовые фигурки.

И кузина моя во время оно казалась мне ангелом красоты и образцом воспитания. Я не волочился за ней открыто, — это не в моей натуре, — но втайне боготворил ее. Это общая черта антивоенного характера. Вскоре она вышла замуж за моего родича и с ним уехала в деревню. Я поохладил свою глубоко-робкую любовь двухлетним несвиданием и потом уже видался с нею довольно часто, но не как пламенный обожатель, а просто как старый знакомый, и притом родственник. Тут-то и стал я наблюдать отчетливее за моим бывшим кумиром. Как-то раз зашла речь (это было в деревне) о германской поэзии. Кроме Гете и Шиллера, она с восторгом говорила о Кернере³³; мне это понравилось, я и выписал сдуру экземпляр Кернера да и послал ей в деревню. Через год или больше случилось мне завернуть к ним мимоездом, и что же? Мой Кернер валяется под диваном, и даже неразрезанный. Это меня заставило усомниться в любви к немецкой поэзии моей красавицы кузины. Для чего же она так непритворно восхищалась этим Кернером? Неужели эти, сквозь слезы, восклицания была ложь? Увы, да! Она, как я впоследствии

узнал, боготворила все, что имело какое-нибудь подобие военного, начиная от скромного ученого кантика до великолепно кавалерийского штандарта, а об аксельбантах и говорить нечего: аксельбанты были для нее выше всякого обожания. Так извольте видеть, в чем секрет: при берлинском издании сочинений Кернера, которое она где-то видела, приложен портрет поэта в военном мундире, а мой экземпляр был другого издания и без портрета, так она его и швырнула под диван. Вот вам и секрет. Книги она просто ненавидит, и если бы была какой-нибудь маркграфиней во времена Гутенберга³⁴, то не задумалась бы возвести знаменитого типографа на костер.

Это верно. Зато озолотила бы изобретателя тузов, королей, дам, валетов и т. д., словом, изобретателя карт; она воздвигла бы кумир и молилась ему, как Богу — просветителю человеческого рода. Из какого болота вытекает и так широко разливается эта топорная, безобразная страсть в мягком, нежном сердце женщины? Вопрос не головоломный: из болота бездействия и из тины нравственной пустоты. Врожденных таких отвратительных способностей я не признаю даже в ремонтере. У нас говорят про пьяницу, вора и тому подобного художника, что он, бедненький, уж с этим и родился. Пренаивное понятие! И если бы спросить и у знаменитого череповеда Лафатера³⁵, то и он, положив руку на сердце, сказал бы: «Пренаивное понятие!» Играть самому в ералаш, в носки³⁶ и прочая, — тут есть еще удовольствие, разумеется, удовольствие не совсем эстетическое, но все-таки удовольствие: по крайней мере длинные минуты праздной жизни делаются короче. Но какая нравственная радость просидеть у стола игроков до трех часов пополуночи и безмолвно считать выигрыш и проигрыш безмолвных картежников? Совершенно не понимаю! А прекрасная кухня моя находит в этом созерцании высокое наслаждение, — она готова неделю не есть, не пить, только бы сидеть автоматом и смотреть, как играют в ералаш или даже в три листика; а если ей самой удастся составить партию для ералаша, то она готова, как Илья Муромец, сиднем просидеть за картами месяцы и годы без куса хлеба и стакана воды. Неужели так тлетворно действует на пустую красавицу отсутствие толпы обожателей, ее единой насущной пищи? Действительно так, — по крайней мере я другой причины не знаю. Красавицы в обще-

стве заняты делом, т. е. кокетничеством, а дома, да еще и в деревне, что ей прикажете делать? Не румяниться же и белиться для своего медведя-мужа. Все это ничего! Все это только отвратительно, а вот что горько. У моей прекрасной кузины растет прекраснейшее дитя, девочка лет четырех или около этого, резвая, милая, настоящий херувим, слетевший с неба; и херувим этот, это прекраснейшее создание отдано в руки грязной деревенской бабы. А нежная мамаша шнуруется себе да припекает папильотки, даже на затылке, и знать больше ничего не хочет. Однажды привез я для Наташи³⁷ (так называется дитя) азбуку и детскую естественную историю с картинками. Надо было видеть, с каким недетским восторгом она любовалась моим подарком и с каким любопытством расспрашивала она свою красавицу мамашу значение каждой картинки; но мамаша, увы! обращалась или ко мне, или просто посылала ее к няньке играть в куклы. Мне стало грустно, и я не совсем издали повел речь об обязанностях матери; кузина сначала слушала меня, но когда я вошел поглубже в предмет и начал живо и рельефно рисовать перед ней эти священные обязанности, она вполголоса запела: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»³⁸. — «Хоть кол на голове теши», — подумал я и чуть-чуть было не выкинул штуки, т. е. хотел плюнуть и уйти; однако ж удержался и только закурил сигару и вышел в другую комнату.

Зачем они детей родят, эти амфибии, эти бездушные автоматы? С какой целью они выходят замуж, эти мертвые красавицы? Чтобы сделать карьеру, как выражается моя кузина; а дети — это уже необходимое следствие карьеры, и ничего больше. Бедные бездушные матери! Вы свой долг, свою священную обязанность передаете наемнице гувернантке и еще хуже — деревенской неграмотной бабе. И диво ли после этого, что порода хорошеньких кукол у нас не переводится. Да и будет ли когда-нибудь конец этой породе? Едва ли, она страшно живуча на нашей тучной заматерелой почве.

Но не пора ли оставить мою темную красавицу родственницу в покое и обратиться к более светлым предметам?

На другой день поутру ящик с книгами явился передо мной, как лист перед травой³⁹. Я расплатился с ним окончательно и спросил его, не видал ли он на дороге берлина.

«Ночуе посеред гребли в Ковшоватий», — отвечал он и вышел. «Значит, я ее более не увижу», — подумал я и велел старосте запрягать лошадей. Через несколько минут лошади были готовы, книги в чемодан спрятаны, и, помолившись Богу, мы благополучно отправились в дорогу.

«Станный, однако ж, человек этот сочинитель, — подумает благосклонный читатель. — Ругает на чем свет стоит свою родственницу, а сам к ней в гости едет, — тут что-то да не так». — «Совершенно так», — отвечаю я благосклонному читателю. И по моему мнению, так и следует. «Хлеб-соль ешь, а правду режь», — говорит пословица, и пословица говорит благородно. Если бы мы, не только сочинители, но вообще люди честные, не смотрели ни на родство, ни на покровительство, а указывали пальцем прямо, благородно на шута-родственника и на грабителя-покровителя, то эти твари по крайней мере днем бы не грабили и не паясничали. «Да это невозможно, — скажут честные люди вообще, а сочинители в особенности. — Какое нам дело до его хозяйства, до его средств и источников? Он ведет себя хорошо, безукоризненно хорошо, и притом покровительствует даже... даже художникам. Чего ж нам более? А родственник?.. Да Бог с ним, если он приличный человек, — пускай себе паясничает на здоровье, а нам какое дело. Если же он вдобавок и богатый человек, это дело другого рода, тут даже извинительно отчасти и себе поподличать; тут даже можно и очень поподличать, это не бог знает какой грех. А между тем если уж на большее нельзя рассчитывать, так по крайней мере можно лишний раз хорошенько пообедать». То-то и есть, что все мы более или менее лисицы с пушком на рыльце. «Все это так. Все это в порядке вещей, — скажет благосклонный читатель. — Да как же ехать в гости за двести верст к людям, которые не нравятся? Ну, а если она когда-нибудь да прочитает этот ядовитый пасквиль, эту желчную правду, тогда что?» У всякого свой вкус: во-первых, я еду для прекрасного весеннего сельского пейзажа, а не для карикатурных фигур на первом плане этого прекрасного пейзажа; а насчет второго замечания я совершенно спокоен. Если бы даже я посвятил сие нехитрое творение моей милой кухне и даже поднес бы ей экземпляр в сафьяновом великолепном переплете, то, я уверен, и тогда бы она скорее употребила его на папильотки, чем удосужилась бы прочесть сие неложное изображение

собственной персоны. Она... да ну ее с Богом! Разносился я с своей красавицей кузиной, как дурень с писаной торбой. Правда, что она весьма интересный, я не говорю редкий, сюжет для наблюдателя; но... пора знать и честь.

Только к вечеру дотащились мы до Баранполя⁴⁰. Переезд сам по себе небольшой, но, кроме грязи, место довольно гористое. Во время этого, на удивление медленно, переезда я занимался моим героем, т. е. матросом, и по временам совершенно против воли предугадывал, кто такая была обитательница подвижного терема, т. е. рывдана. Жена ли она усатого ротмистра? или дальняя родственница? или же просто красавица, взятая напрокат по кавалерийскому обычаю? Решить было трудно, и потому я старался ее забыть. Но она, как чертенок, вертелась в моем воображении и прерывала стройный ход моей задушевной поэмы.

Трохим советовал заночевать в Баранполе и хоть кусок хлеба съесть: мы действительно в продолжение дня ничего не ели. Я и спросил смотрителя, нет ли чего перекусить? Оказалось, что перекуски никакой не было. «Потому, — прибавил смотритель, — что теперь Страстная неделя». — «Резон», — подумал я и велел поставить самовар, но и самовара не оказалось. «Хоть хлеба и воды дайте нам», — сказал я равнодушному смотрителю. Он молча отворил висевшее на стене что-то вроде шкафа и вынул оттуда тоже что-то вроде пирога. Это был черствый кныш с постным маслом. Трохим не без труда отломил кусок кныша, поморщился и начал есть, предлагая мне остальное, но я отказался. Голод меня, не знаю почему, не беспокоил. Предоставив распоряжение кнышом Трохиму, я велел вопреки ему, — что я редко позволял себе, — запрягать лошадей. Не успел он первого куса дожевать, как лошади были готовы. Не без негодования посмотрел он на меня, спрятал остальной кусок за пазуху, лениво вскарабкался на телегу, и мы пустились дальше. Вскоре настала ночь, тихая, теплая и темная. Удивительная ночь! Красноватые звезды казались крупнее обыкновенного и как-то особенно прекрасно горели на темном фоне. Очаровательная ночь! Таким очаровательным ночам обыкновенно предшествует продолжительный весенний дождь, а это не редкость в Малороссии. Жаль, что луны не было. А люблю я ее, полную, круглую, румяную, перерезанную длинными золотыми тучками и в каком-то обаятельном тумане подымающуюся над едва потемневшим горизонтом.

Как ни прекрасна, как ни обаятельна лунная ночь в природе, но на картине художника, как, например, Калама⁴¹, она увлекательнее, прекраснее. Высокое искусство (как я думаю) сильнее действует на душу человека, сильнее, нежели самая природа. Какая же непостижимая божественная тайна сокрыта в этом деле руки человека, в этом божественном искусстве? Творчеством называется эта великая божественная тайна, и... завидный жребий великого поэта, великого художника. Они братья наши по плоти, но, вдохновенные свыше, уподобляются ангелам Божиим, уподобляются Богу. И к ним только относятся слова пророка, их только создал Он по образу Своему и по подобию⁴², а мы — толпа безобразная, и ничего больше!

Догадливый почтарь или ямщик вместо русской телеги, в которой и самый отчаянный фельдъегерь едва ли вздремнет, заложил нам бричку, вроде нетычанки⁴³, длинную и широкую, а вдобавок навалил в нее сена. Трохиму это так понравилось, что он, не дожевавши своего кныша, заснул, с куском в руке, сном свежей юности и непорочности. Немного погодя и аз, многогрешный, последовал его мудрому примеру.

V

Как мы проехали эту станцию, кроме ямщика и лошадей, никто из нас не знает. Я проснулся на рассвете у самой царины, или выгона, местечка Лысянки, а Трохима я разбудил уже перед дверьми почтовой станции. Так как конец моего путешествия был уже очень не в далеком расстоянии, — не принимая, разумеется, в расчет грязь и полуверстовую греблю, — то я и рассудил, что лучше немного отдохнуть в Лысянке и потом уже пуститься дальше. До Будищ⁴⁴, т. е. до резиденции моего родича, оставалось версты две, не более. Долго ли их проехать? Час, а много два, — так я рассчитывал. Но как я сомневаюсь во многом, то и в этом расчете усомнился, и, чтоб определить это предположение точнее, я спросил Трохима, что он на это скажет? А он, подумавши, сказал, что если мы поедем сейчас же, то приедем в Будища не ранее полудня.

— Одна гребля чего стоит! — прибавил он. Я согласился с его тонким замечанием и попросил смотрителя дать мне лошадей в сторону, т. е. от почтовой дороги. Он охотно согласился, разумеется, за двойные прогоны, считая про-

гоны не за две версты, как я думал, а за двадцать с чем-то, т. е. до следующей станции, до Звенигородки⁴⁵. Он не только меня, но даже Трохима уверил, что ему совершенно все равно. Делать нечего, я согласился. На деле оказалось, что и Трохим прав, сказавши, что мы раньше полудня не будем в Будищах; и смотритель прав, считая полуверстную греблю за 20 верст.

Напившись чаю и, хотя не совсем плотно, закусивши, мы тронулись в дорогу. При выезде из Лысянки мы со всею осторожностью въехали на греблю и завязли, что называется, по самые уши в грязи. Тут пришлось нам в первый раз употребить волов в дело. Это было заключение и без того монотонно-длинного спектакля. Я вскарабкался кое-как с телеги на близ стоящую развесистую вербу, потом спустился на землю и сторонкой, выделявая через лужи антраша⁴⁶, перебрался через греблю и, немного отдохнувши, поднялся на гору и у памятника на жидовском кладбище расположился отдохнуть. Лысянка передо мной, как на ладони, красовалась. Все жидовские лачуги можно было пересчитать, а христианские нельзя, потому что они закрыты темными, еще обнаженными садами. Долго я искал глазами в этом лесу груш и яблонь давно и хорошо знакомый мне домик отца диакона Ефрема, у которого я давно когда-то брал первые уроки не рисования, а прямо живописи. Отец Ефрем, чтобы испытать, есть ли у меня способность к этому хитрому делу, заставил меня на листе железа тереть какую-то черно-бурую краску. Я не выдержал испытания и на другой же день показал пяты отцу диакону. Многое переиспытал я после этого первого урока, но ничто так не врезалось в моей памяти, как это первое наивное испытание. Но перейдем лучше к чему-нибудь другому, пока волы вытащат из грязи телегу с Трохимом. Местечко Лысянка имеет важное значение в истории Малороссии. Это родина отца знаменитого Зиновия Богдана Хмельницкого, Михайла Хмиля⁴⁷. И еще замечательна (если верить туземным старикам) своей вечерней, не хуже сицилийской вечерни, которую служил здесь ляхам и жидам Максим Железняк в 1768 году⁴⁸. Да если считать все подобные события, недостойные памяти человека, замечательными, то не только какая-нибудь Лысянка, каждое село, каждый шаг земли будет замечателен в Малороссии, особенно по правую сторону Днепра. В чем другом, а в этом отношении мои покойные земляки ничуть

не уступили любой европейской нации, а в 1768 году Варфоломеевскую ночь⁴⁹ и даже первую французскую революцию⁵⁰ перещеголяли. Одно, в чем они разнились от европейцев, — у них все эти кровавые трагедии были делом всей нации и никогда не разыгрывались по воле одного какого-нибудь пройдохи, вроде Екатерины Медичи, что допускали нередко у себя западные либералы.

Наконец смешная и скучная процессия с телегой была кончена. Я полтинником поблагодарил угрюмого мужика, а выпачканного грязью мальчугана, его усердного сотрудника, поощрил гривною меди. И, благополучно усевшись в телеге, продолжал финальный акт монотонной комедии, т. е. последние версты моей бестолковой поездки.

Трохим мой хотя и не знахарь, а будущее определяет не хуже любого знахаря. Во время самого обеда телега наша остановилась перед домом моего гостеприимного родича. Встретил он меня на крыльце с салфеткою в руке, а кузина в столовой с озабоченным лицом и с выпачканным в муке носом. Это значило, что куличи в печке еще не поднялись до определенной высоты; этот важный процесс еще не свершился и своей томительной неизвестностью тревожил заботливую хозяйку. Я только так догадывался и, разумеется, не без основания. Страстная неделя уже была на исходе, а в эти дни известно, чем белятся и румянятся усердные ученицы профессорши Авдеевой.

Я подобно Чацкому⁵¹. Как выразился бессмертный поэт, он попал с корабля на бал⁵², а я с телеги да прямо за стол, и еще чуть-чуть не в непромокаемом плаще и в калошах.

Два раза, с извинением, хозяйка вставала из-за стола и куда-то на минуту выходила и опять возвращалась, храня глубокое молчание. В третий раз она, уже и не извинясь, оставила нас за столом, промедлила минутой более, чем в первые отсутствия, и возвратилась с сияющим лицом и с умытым носом. Значит, великий химический процесс совершился к общему в доме благополучию. Слава Богу! Теперь только посыпались вопросы и расспросы о Киеве, о родне, о знакомых, о приятелях и приятельницах и, наконец, о монахах. Я отвечал как попало; меня занимал рычаг, которым была двинута моя неподвижная кузина на такую необыкновенную деятельность! Рычаг этот — ничего больше, как крошечное тщеславие; ей захотелось блеснуть, что называется, своими куличами перед необразованными провинциалками, — так обыкновенно называла

она своих соседок. К концу обеда и я немного поразмялся, передал, разумеется, с безукоризненной точностью глубочайшие поклоны моим родичам, сообщил им новорожденные, свеженькие городские сплетни и в заключение рассказал про дормез и заключенную в нем красавицу, про встречу мою с ротмистром Курнатовским и, наконец, про старую дуэнью, которая так невежливо распорядилась моим чаем.

— Так он теперь только возвращается с контрактов?⁵³ — воскликнула хозяйка.

А хозяин однотонно прибавил:

— Это наш хороший сосед по имению.

— И во всех отношениях прекраснейший человек. Жаль только, что он рано оставил службу, а с таким состоянием, как он имеет, можно бы далеко уйти. Настоящий кавалерист! — прибавила хозяйка неравнодушно.

— А кто такая эта молодая красавица, что с ним путешествует? — спросил я, обращаясь к ней. Ее заметно сконфузил мой вопрос; она замялась, покраснела, быстро встала из-за стола и побежала в пекарню. Я посмотрел вслед удалившейся хозяйке и хотел обратиться с таким же вопросом к хозяину. Но увы! Родич мой почти спал с недопитым стаканом сливки в руке. Постный обед возымел свое действие. Он бессмысленно взглянул на меня, и мы молча встали из-за стола, пожали друг другу руки и расстались, проговоривши: «До свидания». Что же значит мой вопрос о путешествующей красавице, от которого моя не весьма конфузная кухня так сконфузилась? Тут что-то интересное кроется. А что именно, известно одному аллаху и, наверное, моей кухне. А когда известно ей, значит, известно всем и всякому, кроме меня, но я постараюсь открыть этот таинственный ларчик. А для чего? И на этом серьезном вопросе я заснул на уготованном мне ложе в так называемом флигеле, в квартире № 1.

Квартира № 1 состояла из небольшой одной комнаты с узеньким, вроде готического, окном. Где же я помещу своего Трохима? Это был первый вопрос, представившийся мне, когда я проснулся и осмотрел мою временную обитель. В этой каморке невозможно, здесь и одному тесно. А он у меня, как истинный хохол, любит развернуться; ему необходим простор. Где же мне его поместить? Оставить его на произвол самого себя невозможно. Он, пожалуй, приютится у ленивой и избалованной дворни, и через неделю я своего Трохима не узнаю. Нет, это непозволительно и грешно

даже. Он, не знаю, что вперед будет, а в настоящее время чист и непорочен, как новорожденное дитя. И по наивно-оригинальному характеру своему нисколько не подходит к категории лакеев, а тем более крепостных лакеев.

Хотя он, т. е. Трохим, и не первопланная фигура на изображаемой мною картине, но по своей оригинальности требующая некоторой отделки, а тем более, что я дал слово читателю очертить его с некоторыми подробностями. А у меня слово закон, и я теперь намерен сделать два дела за одним присестом: исполнить закон и пополнить пробел сегодняшнего дня, т. е. дня прибытия моего к родичам.

Породою своею Трохим не принадлежит к слоям высшего круга людей. Он просто сын киевского мещанина, и когда взял я его к себе в жокеи, то он бóльшую частью лежал на ларе в передней, но не спал, а глубокомысленно смотрел в потолок. Чтобы переменить род его занятия и предохранить от скорбута, я принялся учить его русской грамоте. Ленивый мальчуган сверх ожидания оказался прилежен и чрезвычайно понятлив. В продолжение месяца он начал читать гражданской печати книгу не хуже своего учителя, т. е. меня. Выучивши грамоте Трохима, я успокоился насчет скорбута и его умственного застоя. Прошло несколько времени, я замечаю, что Трохим мой опять потолком любит, как будто он совершенно неграмотный.

— Что же ты не возьмешь какую-нибудь книгу и не читаешь? — сказал я ему однажды.

— Я не хочу читать ваши книги, — отвечал он, вставая с ларя. — Они все толстые, их и в год не прочитаешь, да и непонятные, — прибавил он. «Резон», — подумал я и, в виде пробы его вкуса и понятия, дал ему полтинник и послал его в книжную лавку Должикова⁵⁴ купить себе книгу по своему нраву. Ушел Трохим мой и пропал. Мне нужно было выйти со двора, а квартиру не на кого оставить. Я сердился, но это не помогло. Он возвратился уже в сумерки. Я против обыкновения моего спросил его сердито — где он пропадал во весь день.

— Та все на Подоле, — отвечал он как ни в чем не бывало. — Там все про войну говорили, так я и слушал, — прибавил он, вынимая из кармана книги.

В это время наши войска блокировали Силистрию⁵⁵, — меня подстрекнуло любопытство спросить Трохима, что же он слышал о войне.

— Я ничего не слышал, потому что далеко стоял. — И, подавая мне книги, прибавил: — Посмотрите-ка, какое я себе добро купил.

Я чуть не захохотал на его ответ о войне. Книги на меня произвели такое же действие. Одна из них была какая-то физика времен Екатерины II с чертежами; а другая, на синей, толстой бумаге, — переписка той же Екатерины II с Вольтером⁵⁶. «Пропали мои труды и деньги», — подумал я и, отдавая книги, спросил его, для чего он накупил себе этой дряни. Вопрос мой его озадачил, но он тут же оправился.

— Не дрянь, — сказал он, развертывая переписку фернейского мудреца⁵⁷. — Вы только пощупайте бумагу, просто лубок. Не только на мой век, и детям, и внукам достанет такой дебелий книги.

— Хорошо, — сказал я. — Ну, а другую книгу кому ты после себя оставишь? — спросил я.

— Это ничего, что в ней листы немного потоньше; зато она с кунштами. — И минуту спустя спросил он меня:— А вы мне будете рассказывать, что значат эти куншты?

— Лучше закажи ты завтра столяру липовую таблицу (доску), разведи в чем-нибудь мелу и принимайся писать, выучишься писать, тогда я и расскажу тебе, что значат эти картины, — сказал я ему и велел ставить самовар.

На другой день Трохим принялся за каллиграфию и так же быстро постиг тайну сего изобразительного искусства, как и тайну букваря. Исписавши дести две бумаги, он стал записывать довольно красиво и четко мелочной расход и переписывать песни из московского песенника, который достался ему от отца и лежал до сих пор в сундуке без всякого употребления.

Нужно мне было съездить в Каменец-Подольский⁵⁸, я и Трохима взял с собой, а чтобы занять его чем-нибудь в дороге, я дал ему чистую тетрадку и велел записывать все, что случится во время дороги, начиная с названия почтовых станций, сел, городов и рек. Я был доволен моей выдумкой. «Но кто проникнет зрячим оком непроницаемую тьму грядущего?» — со вздохом должен был я сказать впоследствии.

Возвратясь из путешествия, я, как порядочный хозяин, велел Трохиму показать мне вещи, которые брaты были в дорогу. Увы! чемодан был наполовину опорожнен.

— А где же такие и такие-то вещи? — спросил я Трохима.

— А бог их знает, — отвечал он спокойно.

— Хороший же ты слуга. А я еще, как доброму, словутку⁵⁹ купил. Чего же ты смотрел в дороге? — прибавил я с досадой.

— Я все смотрел, что мне нужно было записывать в тетрадку. Вы же сами приказали, — сказал он с упреком.

Он был совершенно прав, а я кругом виноват. Заставить лакея дорожный журнал вести! Глупо, оригинально глупо!

— Покажи же мне свою тетрадку, я посмотрю, что ты там записывал? — Он вынул из кармана запачканную тетрадку и самодовольно подал мне свое произведение. Манускрипт начинался так:

«До света рано выехали мы из Киева и на десятой версте перед уездным трактиром остановились, спросили у горбатого трактирщика рюмку лимонки, кусочек бублика и поехали дальше.

Того же дня и часа, станция Вита. Пока запрягали кони, я сидел на чемодане, а они — т. е. я, — сидели на рундуку, пили сливянку и с курчавою жидовкою жартовали».

— Ты слишком в подробности вдаешься, — сказал я ему, отдавая тетрадку. — Спрячь ее, в другой раз я дочитаю. — И, почесавши затылок, пошел к портному и заказал новое платье вместо растерянного в дороге. С тех пор я уже не заставляю его вести путевые записки.

Оригинал порядочный мой Трохим, но что в особенности мне в нем нравится, так это отсутствие малейшей лакейской способности.

VI

Постный обед, а в особенности постный борщ, который едва ли едал и сам великий знаток и сочинитель борщей, гетман Скоропадский⁶⁰, так на меня подействовал, что я, проснувшись после этого постного обеда, часа два по крайней мере лежал, что называется, пластом. Сам Лукулл⁶¹ не доказал бы такой удали. Леню пальцем пошевелить; чувствую, что начинает темнеть в комнате, — леню на окно взглянуть. Такого рода припадок может случиться только в деревне, и то после постного обеда. Принимался думать о моем матросе, — куда тебе, и чепуха даже в голову не лезет. Просто оцепенение моральное и физическое. Пришел Трохим, постоял у дверей, посмотрели мы молча минут пять друг на друга, и на том кончилось наше

свидание. Я хотел было посоветоваться с ним насчет помещения, но решительно не мог. Что бы подумал честный, аккуратный или, лучше сказать, умеренный немец, если бы прочитал сие простодушное сказание? «Варвар», — подумал бы умеренный немец. А будь у немцев такой постный борщ, как у нас, православных, то и немец бы не в силах был ничего подумать, а только сказал бы, что все это в порядке вещей.

В комнате едва можно было уже различать предметы, а я все еще находился под влиянием великопостного обеда и был, как бы сказал крючкодей минувших дней, — был нем, аки рыба, и недвижим, аки клада. Что же вывело меня из этого полусуществования? Никто, и даже сам знахарь, не отгадает! За стеной, во втором номере, раздался молодой женский голос. Я вздрогнул, как будто чего испугался. Оправившись, я приложил ухо к стене, или, правильнее, к перегородке, и только стал вслушиваться в волшебные звуки, как вошел в комнату оборванный, запачканный козачок и именем барыни просил меня в покои кушать чай. Не успел я сказать ему: «приду», — как вошел Трохим с фонарем в руках; это меня окончательно уже поставило на ноги.

— А знаете, кто приехал к нам в гости? — спросил меня Трохим, ставя фонарь на стол.

— Не знаю, — отвечал я, стараясь быть равнодушным.

— Берлин, что мы оставили на дороге, — сказал он просто, а не таинственно, как бы следовало.

— Не может быть! Ты ошибаешься, — сказал я, торопливо одеваясь. Он молча взглянул на меня, как бы говоря: разве я могу ошибаться?

Я оделся тщательнее обыкновенного и вышел на двор. Среди двора темнело что-то вроде экипажа; я подошел поближе, — действительно, это был знакомый мне дормез. Не веря собственным глазам, я пощупал рессору, замарал грязью руку — и медленно, в ожидании чего-то необыкновенного, пошел в дом.

Растворяя дверь, услышал я знакомый мне хриплый бас и потом такой же хохот ротмистра Курнатовского. Весьма несмело вошел я в гостиную и остановился в изумлении: за чайным столом сидела одна хозяйка и никого больше из нежного пола. Поклонившись хозяйке и поздоровавшись с ротмистром как с старым знакомым, я против воли заглянул в другую комнату; хозяйка это заметила, немного поморщилась и предложила

мне стул. Я, как провинившийся, но уже прощенный школьник, сел осторожно на стул и молча все время сидел. Хозяйка необыкновенно была любезна с ротмистром и совершенно не по-светски позволяла себе трунить над моею задумчивостью; мне это не понравилось, и я, тоже не по-светски, взял стакан чаю и вышел в другую комнату. Тут я нашел еще не совсем проснувшегося хозяина, глотавшего постные сухари с чаем. Не только умеренный немец, но и рыжий Джон Буль⁶² стал бы в тупик, увидя, как уплетал мой едва проснувшийся родич сухари с чаем после такого гомерического обеда, как мы с ним уходили. На меня, однако ж, это курьезное явление не произвело должного впечатления. Я был погружен в вопрос, куда девалась непостижимая красавица. Загадка, таинственный сфинкс для меня эта обитательница подвижного терема! А может быть, она и теперь, как заколдованная, спит в своем тереме? Где же ее старая спутница? Опять сфинкс! Но этот последний если и останется неразгаданным, то мы с читателем не много потеряем. А первый необходимо разгадать. Я вспомнил женский тоненький голосок, слышанный мною из-за стены, и, грешный человек, подумал, как бы теперь кстати была замочная скважина. Прочь, недостойная мысль! Я порядочный человек и с препорядочной лысиной, а не гусар и не донжуан какой-нибудь. Ну, что ж, что красавица? И моя кузина красавица, да черт ли в ней. Она, верно, теперь кокетничает перед зеркалом, натешится досыта, оденется, и она же к нам придет, а не мы к ней.

И чай уже убрали со стола, и хозяйка вышла в темную столовую со своим дорогим гостем, а красавица не являлась. Верно, она нашла себя неавантажной⁶³ с дороги и сказалась больной. Завтра все объяснится. Я хотел уже идти в свою келию, но нашел это невежливым и остался.

Хозяйка долго хохотала с своим дорогим кавалеристом в темной столовой и говорила про какую-то мадам Прехтель, которая, по ее словам, вся позеленеет от зависти, когда увидит ее гениальные куличи.

— И поделом, не скромничай, не секретничай, — сказала она, укротив свой голосок настолько, однако ж, что я из третьей комнаты мог слышать все ее слова. — Сегодня я послала ей подарок — живого барашка. Вежливость, ничего больше. И, между прочим, велела своей посланнице хоть мимоходом взглянуть на ее произведения, — я говорю о куличах. Она ведь полька, а польки, вы знаете,

гениальны на эти вещи. Мне хотелось иметь хотя отдаленное понятие о высоте ее произведений. Вообразите же вежливость мадам Прехтель! И на двор не пустила мою женщину, за воротами встретила и приняла мой подарок. Настоящая светская женщина!

— Сама? За ворота? По этой грязи? — спросил с расстановкой изумленный ротмистр и во все горло захохотал.

— А как бы вы думали? — взаимно спросила восторженная ораторша.

— Это ужасно! — воскликнул вежливый слушатель, и, довольные друг другом, они возвратились в гостиную.

«Кухарка ты, кухарка! моя милая кузина, — подумал я, — да и кухарка-то еще сомнительная! Зато несомненная сплетница».

В гостиной они поместились на чем-то вроде кушетки домашнего изделия, и поместились так близко друг к другу, как только помещаются кум с кумою. Гость, опустя на грудь свои щетинные усы, глубокомысленно погрузился в созерцание одной из замысловатых пуговиц на своей венгерке, напоминавшей ему о недавно минувших попойках и прочих гусарских подвигах. А гостеприимная хозяйка, положа свою полную, до плеча обнаженную белую руку на осьмиугольный столик, тоже домашнего изделия, с немым участием смотрела на, увы! недавно бывшего гусара.

Не только я, — сам почтеннейший родич мой любовался этим живым изображением самой нелицемерной дружбы.

Глубокая тишина была нарушена глубоким вздохом хозяйки, потом продолжительным «ах... да...» и быстро обращенным вопросом к бывшему гусару:

— Правда ли... нам привез эту милую новость один наш хороший приятель, — она взглянула искоса на меня, — будто бы эполеты уничтожают? Это несбыточно. Я скорее поверю пришествию жидовского мессии, чем этой нелепой басне!

— И я тоже, — сказал бывший гусар.

— И я тоже, — отозвался полуспящий хозяин.

— Да с чем же это сообразно! — подхватила неистово хозяйка. — Да тогда ни одна порядочная девица замуж не выйдет, все останутся в девках, разве какая-нибудь... — Что она еще хотела сказать, — не знаю.

— А скажите, — прервал ротмистр, обращаясь к негодующей заступнице эполет, — какой тогда порядочный человек вступит в военную службу? Какая перспектива для

порядочного человека? Что за карьера для порядочного молодого человека? Решительный вздор! И кто вас одолжил этой бессмыслицей? Не из Кирилловского ли монастыря (дом умалишенных в Киеве) вырвался ваш хороший приятель, скажите Бога ради, это чрезвычайно любопытно?

Кузина с торжествующей улыбкой взглянула на своего уничтоженного врага, т. е. на меня, а простодушный мой родич, тот просто показал на меня пальцем и воскликнул:

— Вон он!

— Хватили же вы, батюшка, шилом патоки! — сказал популярно бывший гусар, обращаясь ко мне, забывши, что он светский человек. Так велико было торжество его. А я, как блокированная со всех сторон крепость, чтобы не раздражить напрасным сопротивлением сильного неприятеля, т. е. чтобы прекратить грубую пошлость, сдался на капитуляцию и сказал, что я пошутил.

— Хороша шутка! — воскликнул неистово ротмистратор. — Да знаете ли вы, чем пахнет эта пошлая шутка? Порохом, милостивый государь! Да, порохом! А если пойдет дальше да выше, так, пожалуй, и Сибирью не отделаетесь! — И, переведя дух, он продолжал: — За такую шутку, сударь, вам каждый порядочный, и говорить нечего — каждый, сударь, офицер имеет полное право предложить шутку поострее вашей: я говорю о шпаге, — понимаете? — Небольшая пауза. — Хотя я теперь и не ношу этого благородного украшения, т. е. эполет, но случись это не в вашем доме, — тут он обратился к улыбающейся хозяйке, — я первый готов предложить эту любовную сделку! — И, заложа руки в карманы, ярый заступник благородного украшения гордо прошелся несколько раз по комнате, потом остановился перед ликующей моей кузиной и, покручивая свои темно-красные щетинистые усы, сказал самодовольно: — В наш просвещенный девятнадцатый век, — он грозно взглянул на меня, как бы говоря: каково! — турки, персияне, китайцы даже надели эполеты. А мы, кажется, не азиатские варвары, а, слава Богу, европейцы, если не ошибаюсь. Не так ли, madame?

Madame в знак согласия кивнула головой и, хлопая рукою о тюфяк кушетки, сказала:

— Не угодно ли?

Оратору было угодно, и он под самым носом своей приятельницы закурил темную огромную сигару и развалился, как только мог, на узенькой кушетке.

Я растерялся и не знал, что с собою делать. Я всегда верил в непритворное обожание эполет всех вообще красавиц, а родственницы моей в особенности, но такое шаманское поклонение мишуре я в первый раз увидел. Значит, я до этого вечера не встречал ни истинной красавицы, ни истинного гусара? Однако что же мне теперь с собою делать? Доказывать ослам, что они ослы, — нужно самому быть хоть наполовину ослом, — это неоспоримая истина. Что же мне предпринять? Взять шапку и уйти в свою светлицу? Это было бы чересчур по-родственному. Однако ж я взял шапку в руки и в ожидании счастливой мысли, как застенчивый школьник перед бойкими экзаменаторами, остановился у дверей, поворачивая в руках свою шапку, как будто бы допытываясь у ней ответа на бойко заданный вопрос. Не думаю, чтоб это было сделано с умыслом (на подобную вежливость ее не хватит), однако ж она сама, т. е. моя кухня, вывела меня из затруднительного положения, переменявши фронт: она открыла снова свирепый огонь, сначала повзводно, а потом всем дивизионом, по беззащитной madame Прехтель. Эта езуитка, как называет ее моя кухня, должна быть порядочная женщина, потому что кухня ее ненавидит. Я, однако ж, был доволен, что она хоть на порядочную женщину обратила свои ядовитые стрелы и вывела меня из осады в чистое поле.

Ободрился я и начал подумывать о ретираде⁶⁴, как подошел ко мне хозяин, глупо улыбаясь, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Что, брат, попался! То-то же, приятель, вперед будь осторожнее с подобными новостями, в особенности... — и, понизя голос, он прибавил: — с кавалеристами, это народ беспардонный!

— Теперь я и сам вижу, что беспардонный, да вижу-то поздно, — сказал я ему шепотом, поблагодарив его за дружеский совет, и обратился к хозяйке с поклоном и с пожеланием покойной ночи.

— А ужинать? — сказала она.

— Я никогда не ужинаю, — сказал я — и соврал: за неимением волчьего или помещичьего желудка я вынужден был на такую уловку.

— А какие пирожки с луком и грибами! Просто гениальные! — сказала она и сделала мину самую гостеприимную.

Но я и от гениальных пирожков отказался. На что светский кавалерист заметил мне, что я препорядочный оригинал.

— Решительный монах! — сказал хозяин; а хозяйка, лениво подымаясь с кушетки, с самую очаровательную улыбкою едва внятно проговорила:

— Чудак! (т. е. дурак).

Отвесив по поклону за любезные эпитеты, я оставил своих остроумных собеседников и удалился в свою мрачную келью.

VII

Вошел я в свою комнату и остановился у двери, чтобы полюбоваться настоящей Рембрандтовой⁶⁵ картиной. Трохим мой, положив крестообразно руки на раскрытую огромную книгу, а на руки голову, спал себе сном невозмутимым, едва-едва освещенный нагоревшей свечью, а окружающие его предметы почти исчезали в прозрачном мраке; чудное сочетание света и тени разливалось по всей картине. Долго я стоял на одном месте, очарованный невыразимой прелестью гармонии. Я боялся пошевелиться, даже дохнуть боялся. Как мираж степной исчезает при легчайшем ветерке, так, мне казалось тогда, исчезнет вся эта прелесть от моего дыхания.

Насладившись до усталости этой импровизированной картиной, я тихо подошел к столу, с сожалением снял со свечи и разбудил Трохима. Спросонья он что-то бормотал; я спросил его:

— Что ты говоришь?

И он внятно и медленно прочитал:

— «Глаз есть орган, служащий проводником впечатлений света».

— Что ты читаешь? — спросил я его. Он повторил ту же самую фразу и тем же тоном. Я посмотрел ему в лицо — глаза были закрыты. Он спал. Я хотел испытать, может ли двигаться спящий человек, взял его за руку, с тем чтоб провести по комнате, но он проснулся.

— Что ты видел во сне? — спросил я его.

— Нашу квартиру в Киеве, — отвечал он.

— А что ты во сне читал?

— Свою физику.

— А перед сном что ты читал? — спросил я его, глядя на большую раскрытую книгу.

— Житие и страдание священномученика Евстафия Плакиды⁶⁶. — И, протирая глаза, он прибавил, глядя на книгу: — А я думал, что мы в Тараще на станции.

— Напрасно ты так думал, — сказал я, раздеваясь.

— Я сам теперь вижу, что напрасно.

— Где же ты достал такую большую книгу?

— У здешнего священника.

— Разве ты знаком с ним?

— Я был сегодня у вечерни и познакомился, попросил для чтения какую-нибудь книгу, он и дал мне «Житие святых отец» — эту самую, — прибавил он, указывая на книгу.

— Это хорошо, что ты познакомился с священником, и хорошо, что достал себе такую святую книгу. А не узнал ли ты чего-нибудь о гостях, приехавших в берлине? — спросил я его как бы случайно.

— Как же, я все узнал, — отвечал он самоуверенно, — мне все до ниточки рассказал их высокий лакей.

«Наконец-то я раскрыл эту курьезно-таинственную завесу», — подумал я.

— Что же тебе до ниточки рассказал высокий лакей? — спросил я его как бы случайно, мимоходом.

— Они поехали в Киев на контракты, — я весь превратился в слух, — да там и зазимовали. На середокрестной неделе отговелись в Лавре, а на пятой выехали из Киева. В Василькове поставили свой берлин на колеса и, дождавшись грязи, поехали дальше.

— Для чего же они дожидались грязи? — спросил я его. — И для чего она им понадобилась?

— Не знаю, так говорил лакей! — ответил он простодушно и продолжал свой рассказ. — А сюда заехали для того, чтобы оставить свой берлин, пока хоть немного грязь подсохнет, потому что проселочной дорогой его с места не сдвинет и десять пар волов, а им завтра нужно быть дома — они где-то недалеко живут; забыл, как он называл свое село. Здесь они завтра пересядут в бричку и в ней уже поедут в свое село. Да, чуть было не забыл, — сказал он и остановился. — «Теперь-то, — подумал я, — польется вся эссенция рассказа». — Сам пан верхом поедет, а в бричке только они.

— Кто они? — спросил я с нетерпением.

— Лакей с барынями, — сказал он спокойно и, отойдя в угол, стал развертывать и расстилать свою постель.

— А что же дальше? — спросил я его с досадой.

— Ничего, — отвечал он преспокойно.

— А кто же эта молодая панна и старуха, что ехали в берлине?

— Не знаю, я не спрашивал, — отвечал он тем же тоном и, прочитав молитву «Да воскреснет Бог», потом перекрестил изголовье своей постели [и] лег спать.

Я только посмотрел на него и ничего больше. «Ловко же ты разведаль все до ниточки, — тебе только и служить у какого-нибудь донжуана, а не у меня», — подумал я, раздеваясь и следуя его благоразумному примеру. За стенкой было совершенно тихо. Мне не спалось. Что же я буду делать? Кстати вспомнил я о «Морском сборнике» и, доставши из чемодана № 1, принялся перелистывать. На реестре увечных бедняков, как на чем-то трогательно-привлекательном, я остановился. Долго не мог я отвести глаз от этого заветного реестра или, лучше сказать, от моего героя, великодушного матроса. Я уже начинал чувствовать обаяние дремоты, хотел уже положить книгу и погасить огонь, но мне жаль было расстаться с прозрачным полумраком, образовавшимся от нагоревшей свечи. Я начал ощущать удивительно приятную середину между сном и бдением. В гармоническом полумраке я искал воображением и почти с закрытыми глазами какого-нибудь хотя слабо освещенного предмета, на чем бы остановить погасающее зрение. Мрак становился гуще, и свет слабее. Ресницы мои тихо сближались между собою и, наконец, сомкнулись. Мрак сделался прозрачней и светлее, а в глубине этого синевато-бледного полусвета едва видимо образовался темный, широкий, ровный, как по линейке очерченный, горизонт; за горизонтом тихо, медленно начал являться слабый розовый свет, и, усиливаясь, он принимал какой-то серо-мрачный тон. Горизонт потемнел и издавал гул наподобие соснового бора. Я превратился в слух и зрение. Еще минута, гул сделался слышнее, а горизонт темнее. Еще минута, и я уже слышал не неопределенный гул, а страшный рык какого-то чудовища. Свет усиливался и принимал серовато-млечный колорит. Из-за темного необозримого горизонта бесконечную стеною с огромными фантастическими куполами медленно подымались тучи. Подымаясь выше и выше, они теряли свои колоссальные причудливые формы и обращались в темно-серую массу нескончаемого пространства. Над горизонтом становилось светлее, и тихо, едва заметно тихо, как бы из самого горизонта, подымался

огромный беловато-серебристый шар, только одним абрисом похожий на солнце. Свет проник повсюду и окончил прекрасно-страшную картину моря под названием «Пролог ужасной бури». Бледный шар подымался выше и выше и становился бледнее и бледнее, наконец, как бы растопился и исчез в млечно-серой массе. Буря, как миллионы невидимых чудовищ, ревела на просторе. На фоне темных туч блестяли стаями белые мартыны⁶⁷, а на белых скалах длинными вереницами уселись, как любопытные зрители, черные бакланы. Рев бури спустился как будто бы тоном ниже и стал ослабевать, как усердный бас в конце обедни. В густой и тихой октаве бури мне послышалась грустно-заунывная мелодия нашей народной думы. «Думы об Алексее, пирятинском поповиче»⁶⁸. Мелодия сделалась слышнее, слова внятнее, и так, наконец, внятны, что я мог вторить поющему и голосом, и словами. И я вторил следующие стихи:

На мори сынему, на камени билому
Ясный сокил квылыть-проквыляе,
На сынее море пыльно поглядае,
З моря добычи выжидае, выглядае⁶⁹.

Мелодия, которой я начал вторить, переходит в речитатив и медленно стихает, как безнадежные стоны одиноко умирающего страдальца; наконец и речитатив умолк. А из-за огромной белой скалы на прибрежный влажный песок выходит Трохим и ведет за собою высокого согбенного, с белою, как снег, бородою, слепого старца в синем кафтане и в черной высокой бараньей шапке. В правой руке у старика длинный посох, а левой рукой придерживает он что-то похожее на ящик, покрытое полою длинного кафтана. Это непременно лирнык либо кобзарь. «Да где же мог встретить Трохим в такие дни божьего человека? — так спрашивал я сам себя. — Знает, лукавец, что мне нужно, выкопал-таки, несмотря и на Страстную пятницу». Когда я стал пристальнее всматриваться, то и увидел, что это был не лирнык и не кобзарь, а шотландский королевский нищий, так живо описанный Вальтер Скоттом в его «Антикварию»⁷⁰. «Каким же чудом, — опять я спрашиваю сам себя, — принесло из Шотландии в Будища королевского нищего, да и зачем? Разве в плен попался как-нибудь под Севастополем? Ведь англичане народ оригинальный, они и на войне не чуждаются домашнего комфорта». Я, однако ж, ошибался, — это был

настоящий лирный к. Он сел у самого дормеза, положил лиру на колени и начал строить свою лиру, а Трохим, нагнувшись, шептал ему на ухо:

— Про Ивася Коновченка⁷¹ заспивайте, дядюшка.

Старик тихо кивнул головою, повернув колесо лиры, проиграл прелюдию и начал речитативом заунывную рапсодию про славного лыцаря Ивана Коновченка. Окно, т. е. стекло дверец дормеза, опустилось, зеленая шторка поднялась, и в окне показалась чудной, невыразимой красоты женская головка, с большими карими глазами, немножко заспанными. Я вздрогнул и проснулся. В комнате уже серело и страшно воняло погасшей сальной свечкой. Я наскоро надел сапоги, плащ, фуражку и вышел на двор. Весеннее утро сияло во всей своей прелести, из ворот в поле потянулась бричка с двумя пассажирками, сопровождаемыми всадником в венгерке и в затейливом картузе. «Это они, непременно они», — подумал я, глядя на удаляющуюся бричку. «Прощай, лукавая надежда!» — прошептал я и пошел навстречу уже бодрствующему хозяину.

После словесных и ручных приветствий он предложил мне прогулку в парке. Так называл он небольшой ольховый и дубовый лесок, перерезанный узкою, аршина в три, просекою, именуемой большой аллеєю. Балансируя по намошенным доскам, кое-как добрались мы до калитки так называемого парка. Аллея была суха и даже посыпана толченым кирпичом, но, по причине ее убогой широты и необрезанных ветвей, мы не могли идти рука об руку, а прогуливались гуськом, а следовательно, не могли завести разговора даже о погоде! Итак, хозяин мой молчал, а я красноречиво слушал и, слушая его мудрое молчание, думал. Сначала думал я о таинственной красавице, потом о моем герое матросе, а потом о том, что я видел во сне прошлую ночь: море, буря, — все это мимо, думы мои остановились на лирных к. Сон в руку, как говорится. Я искал рукавиц, а они за поясом торчат; я искал образца для своего будущего произведения, и искал черт знает где. Перебрал в памяти литературы всех образованных и древних и новых народов, кроме литературы санскритской и своей возлюбленной родной. Чудаки мы, в том числе и я.

Недавно кто-то печатно сравнивал наши, т. е. малороссийские, исторические думы с рапсодиями хиосского слепца, праотца эпической поэзии⁷². А я смеялся такому высо-

комерному сравнению, а теперь, как разобрал да разжевал, так и чувствую, что сравнитель прав, и, с своей стороны, я готов даже увеличить его сравнения. Я читал, разумеется, в переводе Гнедича⁷³, и вычитал, что у Гомера ничего нет похожего на наши исторические думы-эпопеи, как, например, дума «Иван Коновченко», «Савва Чалый», «Алексей, попovich пирятинский», или «Побег трех братьев из Азова», или «Самойло Кишка», или, или, — да их и не перечтешь. И все они так возвышенно-просты и прекрасны, что если бы воскрес слепец хиосский да прослушал хоть одну из них от такого же, как и сам он, слепца, кобзаря или лирника, то разбил бы вдребезги свое лукошко, называемое лирой, и поступил бы в михоноши к самому бедному нашему лирнику, назвавши себя публично старым дурнем. Увы! теперь я себя так назвать должен. Во-первых, за то, что хотел подражать, а во-вторых, за то, что не знал, кому подражать. А где причина этой несамосознательности, этой безнравственной несамосознательности? Известно где, в школе. В школе нас всему, совершенно всему научат, кроме понимания своего милого родного слова. О школа, школа! как бы тебя скорее перешколить. Я знаю, как это сделать, только не знаю, как бы сделать это так, чтобы кузина моя не пронохала о моем замысловатом проекте. Она тогда проклянет меня, потому что по смыслу этого хитрого проекта ее, как мать, первую придется отвести в школу, да еще и в хорошую школу, а за нею и прочих на нее похожих матерей, а об отцах и говорить нечего, в особенности о моем родиче. Не правда ли, глубокомысленный проект?

— Неблагодарный! — скажет с негодованием благородный читатель. — Ежели ты попрад священные узы родства и дружбы, то вспомнил бы вчерашний обед. Вспомнил бы, кому ты обязан гостеприимством. Вспомнил бы, против кого ты ухищряешься, на кого ты руку поднимаешь. — Нехорошо, сам вижу, что нехорошо делаю, что проект мой хотя и удобоисполнимый, но суровый, бесчеловечный! Но, увы! единственный и необходимый.

После, нельзя сказать, приятной, но, смело можно сказать, оригинальной прогулки по трехаршинной просеке хозяин предложил мне еще прогулку по конюшням и коровникам, недавно им воздвигнутым по иностранному образцу, напечатанному в каком-то журнале. Несмотря на такую заманчивую рекомендацию, я отказался

от обозрения монументальных зданий. Не выдавши этих построек, я имел об них ясное понятие: это должны быть собачьи конуры, а не конюшни и коровники. Ты, брат, из какого хочешь образца сделаешь на свой образец; в моем бедном родиче совершенно все выравнено и выглажено. Не думайте, однако ж, чтоб тут светское образование работало, нисколько: сама всемогущая природа его так оболванила. Ни одной черты, ни одного малейшего бугорка, ни одного пятнышка, словом, ничего такого, за что бы можно было ухватиться и дойти хоть до пошлой самобытности характера. От лакированных сапогов до узенького плоского лба — все гладко. Его можно бы назвать ничем, если бы он не был помещиком нескольких сот душ крещеной собственности и если бы он строил свои конюшни и коровники, как их обыкновенно строят, просто, прочно и просторно. А он все это делает совершенно напротив: вычурно, мелко и только на один год. В особенности мелко. Начиная с парка и просеки, покоторой нельзя иначе ходить, как гуськом, до домашней мебели и фальшивого циферблата, нарисованного в треугольнике фронтона, все у него мелко, непрочно и крайне безобразно. Вот одна-единственная черта в абрисе этого человека, на которой может остановиться глаз даже и не быстроглазого наблюдателя. Сказавши друг другу: «до свидания», — мы расстались; он пошел в свои чуланы, а я в свой чулан.

Войдя в комнату, то бишь — в чулан, я разбудил Трохима и послал его в село искать для себя квартиру, а сам, как был в плаще и сапогах, лег на постель и, как это обыкновенно бывает после ранней прогулки, заснул. Спасибо вежливым хозяевам, что не разбудили к чаю. Я проспал бы до вечера, если бы Трохим, возвратившись около полудня из села, не разбудил меня, сказавши, что я похож на пьяного чумака. Сходство действительно было небольшое, но я не обратил на его колкое замечание никакого внимания и напустился на него, зачем он так долго шлялся.

— Шлялся, — процедил он сквозь зубы. — Ни до одной светлицы приступу нет, а их в селе что хата, то и светлица.

— Что же это значит? — спросил я с удивлением, принимая слово «приступу» за дороговизну.

— А то значит, что солдаты только вчера выступили в поход, так бабы сегодня и принялись мазать свои хаты. Просто содом и гомор в селе, — и где они столько белой глины

взяли? И меня одна сердитая баба чуть не вымазала белой глиной, — прибавил он, оглядывая свое платье.

— Что же нам теперь делать без светлицы? — спросил я у Трохима.

— Я уже все сделал! — отвечал он.

— Что же ты сделал?

— А вот что я сделал. Из бурсы приехал попович на праздники. Ему и отвели квартиру в саду, в той клетке, где летом матушка варенья варит и разные настойки делает. Так вот они, т. е. матушка с батюшкой и сам попович, просят меня, чтобы я приходил ночевать к их поповичу, чтобы ему не так было страшно. Так вы теперь дома ночуйте один, а я буду ходить к поповичу. Он привез с собою много тетрадок и одну большую, всю исписанную разными стихами, так мы ее и будем по вечерам читать, чтобы не страшно было.

— Сама судьба за тебя, Трохиме! С Богом! — Я еще что-то хотел сказать, но грязный козачок вошел в комнату и сказал, что барин с барыней меня ждут обедать. Я вспомнил вчерашний обед и призадумался. Не идти нехорошо, — подумают, что я сержусь за вчерашние эполеты. А идти тоже нехорошо, — обожрუსя по-вчерашнему. Подумавши, я решил на последнее зло.

Была пятница, — и обед, хоть не совсем умеренный, но был совершенно постный, т. е. без рыбы; это-то и спасло меня от объедения. Однако ж я все-таки всхрапнул часика два после обеда. Всхрапнувши, я вышел на двор, но, кроме парка, совершенно некуда было выйти, и я пошел в парк. Узенькая аллея показалась мне просторнее, и я принялся ее мерять. Утренние мысли посетили меня снова и были уже гораздо розовее и нисколько не касались ни родственников, ни вообще современного человека. Они витали в минувшей бурной жизни, в уныло-сладких песнях задумчивых земляков моих. Мне было весело, приятно, меня сладко волновали эти задушевные унылые думы. Я был околдован ими. Я был настроен на их заунывный тон, и, несмотря что близился вечер, самый восхитительный весенний вечер, я пошел в свою комнату, достал чистую бумагу, перо, чернила и написал эпиграф к первой части своей будущей поэмы:

«На мори сынему, на камени билому»
и проч.

Потом достал огня, зажег свечу, лег на кровать, и, странное дело, мысли мои вдруг перешли от поэмы в мое

собственное прошлое. Мне представилась комната в 9-й линии, в доме булочника Донерберга⁷⁴, комната со всеми ее подробностями, не говорю — с мебелью: это была бы неправда. Вдоль передней стены над рабочим столом висят две полки; верхняя уставлена статуэтками и лошадаками барона Клодта⁷⁵, а нижняя в беспорядке завалена книгами. Стена, противоположная полузакрытому единственному окну, увешана алебастровыми слепками следков и ручек, а посреди их красуется маска Лаокоона и маска знаменитой натурщицы Фортунаты⁷⁶. Непонятное украшение не для художника. Вдобавок мне вообразился тот самый день, когда мы с покойным Штернбергом на последние деньги купили себе простую рабочую лампу, принесли ее в нашу келью и среди белого дня засветили, поставили среди стола и, как маленькие дети, восхищались нашим приобретением. После первых восхищений Штернберг взял книгу и сел по одну сторону лампы, а я взял какую-то работу и сел по другую сторону лампы. Так мы днем с огнем просидели до пяти часов вечера, в пять часов пошли в Академию и всему натурному классу разблагостили о своем бесценном приобретении. Некоторых из товарищей пригласили полюбоваться нашим дивом и по этому случаю задали вечерку, т. е. чай с сухарями. Мы были тогда бедные, но невинные дети. Боже мой! Боже мой! куда умчались эти светлые, эти золотые дни? Куда девалась прекрасная семья непорочных вдохновенных юношей?

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал⁷⁷.

Я так искренно, так чистосердечно предался моему прекрасному прошедшему, что несколько раз принимался плакать, как дитя, у которого отняли красивую игрушку. И эти благодатные слезы обновили, воскресили меня. Я внезапно почувствовал ту свежую, живую силу духа, которая одна способна чудо сотворить в нашем воображении. Передо мною открылся чудный, дивный мир самых восхитительных, самых грациозных видений. Я видел, я осязал эти волшебные образы, я слышал эту небесную гармонию, словом, я был одержим воскреснувшим духом живой святой поэзии.

Грязный козачок приходил меня звать на чай, но я сказался нездоровым и не пошел.

Успокоившись немного и приведя в порядок свои возмущенные мысли, я, помолившись Богу, принялся за работу.

Последний день Страстной, вся Святая и половина Фоминой недели невидимо мелькнули надо мною. Я только и помню, что приходил Трохим, приносил обед и свежую воду, ставил все это осторожно на столе и молча выходил в двери. В среду, уже на Фоминой неделе, перед рассветом, я написал последний стих, поставил точку, положил перо, вздохнул, перекрестился и сказал: «Слава тебе, Господи».

После всего этого попытался я заснуть, но попытка мне не удалась, и я напрасно только погасил свечу. Дождать рассвета в горизонтальном положении и впотьмах мне показалось скучным, я оделся, как мог, и вышел на двор. На дворе тоже было темно и тихо, как в моей келии. Свежий, чистый воздух и упоительный аромат распускавшейся зелени оживил меня, как усталого путника в пустыне оживляет глоток свежей воды. Под ногами уже было сухо, и я попробовал сделать несколько шагов вперед, — тоже сухо; я еще отошел немного. Из-за какого-то сарая или конюшни я увидел вдали освещенные окна церкви. Заутреня. «Должно быть, сегодня праздник», — подумал я и хотел идти в церковь, но опасался вместо церкви попасть в лужу, что весьма естественно в теперешнее время. Вскоре птички в воздухе зачиликали и начало светать. Я ощупью пошел далее по направлению к церкви, но тут случился забор, окружающий господский двор, нужно было переменить направление и поискать сначала выхода. Рассветало быстро, и я без большого труда нашел ворота и вышел на площадь, или царыну. Через царыну я прямо пошел к слабо освещенной церкви. Солнце вступило в свои права, и свет огня бледнел, как трус, в круглых облоночках темной старинной церкви. Заутреня кончилась, и народ выходил на паперть, когда я подошел к церковной ограде. Трохим, увидя меня, пробрался сквозь толпу и с радостным лицом бросился ко мне на шею; я показался ему из гроба вставшим. Обнявшись братски, мы с ним похристосовались и отошли в сторону, чтоб не затруднять мужичков сниманием шапок. За толпою из церкви вышел и священник, человек средних лет с едва заметною проседью в волнистой бороде и раскинутой по плечам косе. Наружность его мне понравилась. Снявши шапку, я подошел к священнику, и после троекратного благословения мы с ним похристосовались. Я отрекомендовал ему себя. Он отвечал тем же мне, сказавши: «Отец Савва Нестеровский», — и тут же просил

меня с Трохимом Сидоровичем на чашку чаю после обедни. Я дал слово, и мы расстались.

«Эге, — подумал я, — Трохим мой, значит, не уронил себя. Молодец!» Мне это очень понравилось.

Утро было самое прекрасное, и мне не хотелось возвращаться в свою мрачную обитель. Я предложил Трохиму прогуляться немного со мною по улицам села, предложил ему, как человеку уже знакомому с местностью и могущему служить мне хорошим чичероне⁷⁸, а в случае нужды оборонить и от собак, — последнее для меня было важнее первого. Пройдя десятка два шагов, я остановился и нечаянно взглянул на церковь. Церковь была обыкновенная. Ее вы увидите в каждом селе в Малороссии. Деревянная, темная, о трех осьмиугольных конических куполах, с почерневшими узорными железными крестами. Самая обыкновенная церковь, но теперь она показалась мне необыкновенно грациозною. Солнечные лучи трепетали розовым огнем на ее круглых оболонках и осьмиугольных, бляхою крытых куполах. Развесистые старые вербы и стройные высокие тополи, окружая, полузакрывали ее, выпукло и мягко тушуясь солнечным розовым цветом. Виньетка, какой не увидите ни в самом роскошном кепсаке⁷⁹.

Налюбовавшись досыта этой очаровательной виньеткой, пустились мы далее. Село хоть куда. Хаты большие, не пошатнувшиеся в разные стороны, как пьяные бабы на базаре. Чистые, белые, нередко с светлицами и почти все окруженные темными фруктовыми садами, клунями и стогами разного хлеба. И скотины разной также немало выгоняют из дворов на выгон свежие, здоровые девки, в новеньких белых свитках, в красных и желтых сапогах на вершковых подковах. Везде все чисто и опрятно, так что хоть бы и в казенном имении, так впору. Выходит, что родич мой хотя и не книгочий, а человек хоть куда и, как видно, хозяин не из последних. Исполать тебе⁸⁰, Лукьян Алексеевич! Пойми ж теперь и уразумей этот неразгаданный иероглиф, эту курицу без перьев под именем человека!⁸¹ Он, кажется, и думает только о том, как бы поуютнее, т. е. потеснее или поуже, конюшню или голубятню выстроить, и больше ничего. Нет, не так. Он и в игрушки играет, и молча свое человеческое дело делает. А другой такой же, кажется, человек, да не такой. Все у него громадность — от хлыстика, шпор и до голубятни. Кричит, распинается за новые идеи, за цивилизацию, за человечество, а сам...

Пойми ж теперь, уразумей этот неразгаданный иероглиф, этого хитро созданного человека!

Проект мой о перевоспитании благовоспитанных родителей действительно проект превосходный, но если бы мне привелось его приводить в исполнение, то, не обинуясь, я исключил бы своего родича из общей категории. Кузина — это другое дело. Ее тоже можно бы исключить, но совершенно на других данных, по пословице, например: горбатого могила исправит.

Кривая, неправильная улица, обведенная плетнями и частоколами, вывела нас на такую же криво, неправильно, но прочно устроенную плотину с двумя небольшими, соломой крытыми мельницами, увенчанными огромными гнездами аистов, уже возвратившихся с зимовки и тщательно обновлявших свои на время покинутые жилища. Вода лилась из открытых шлюзов и шумела, не шевеля огромных мельничных колес. Религиозные земляки мои не только своим волам и коням, воде своей не позволяют работать в праздник. За широким прудом, на желтовато-бледной возвышенности из молодого березника и ольшника выглядывает несколько белых хат с размалеванными ставнями и с аистовыми гнездами на гребешках. Хаты, как нарядные сельские красавицы в чистых белых свитках, подошли к зеркалу пруда полюбоваться своею красотой. А весь этот незатейливый пейзаж оглашался стаями плававших по воде крикливых гусей и уток. Я сел на инвалидном жерновом камне, лежавшем на берегу пруда, полюбоваться этой живописной картиной. А любознательный Трохим сообщал мне свои топографические сведения о представляющейся перед нами местности. Он сообщил мне, что это не просто пруд, а речка, называемая Гнилой Тикич, и что село называется не просто Будища, а Гнилые Будища, а такие, просто Будища, находятся за Шестеринцами. Трохим соврал: за селом Майдановкою⁸³ просто Будища находятся, а не за Шестеринцами. У меня эта местность крепко засела в памяти. Я изучил ее еще тогда, когда ходил искать себе маляра-учителя и нашел его в персоне отца диакона Ефрема, у которого я, как уже известно читателям, не выдержал первого искуса.

Заблаговестили к обедне, и мы отправились на квартиру. Побрившись и одевшись наскоро, мы пошли в церковь. После обедни зашли к отцу Савве на Отчешаш или, пожалуй, на чашку чаю.

Дом отца Саввы наружностью своею ничем не отличался от большой мужицкой хаты, разве только двумя дыма-рями, одним белым, а другим закопченным, и небольшим навесом над дверями на точеных столбиках. И внутренность дома, т. е. светлицы, тоже не многим отличалась от внутренности хаты зажиточного мужика, разве только липовым чистым полом, посыпанным белым, как сахар, киевским песком. Такой роскоши мне не случалось видеть не только у богатого мужика, ниже у полупанка. Дубовый резной сволок с надписью, кем и в котором году дом сей построен, и такие же резные косяки у дверей и окон. В переднем углу образ Почаевской Божьей Матери, и вместо лампы теплились простого желтого воску свечи. Стол обыкновенной величины и фигуры, покрыт неважным килымом (ковром) и сверху как снег белой скатертью. Вместо стульев около стен широкие чистые липовые лавы (скамьи); между окнами боковой стены небольшой столик с фигурными ножками; на столике лежат раскрытые гусли с изображением на внутренней стороне крышки пляшущих пастушек и играющего на флейте пастушка. Над гуслиями, в почерневшей золотой раме, портрет Богдана Хмельницкого с гетманским гербом на фоне, окруженным какими-то буквами. Портрет, или, как матушка его называет, запорожец, — старинного, но нехитрого письма. Над портретом длинная полка, уставленная большими и маленькими книгами в темных кожаных переплетах. Налево от двери, в углу, толстая неуклюжая печка из разрисованных кафель, очень похожая на свою хозяйку, матушку Евдокию, в штофной узорчатой споднице и такой же юпке с золотыми позументами.

На нескольких кафлях между цветами и птицами нарисованы двуглавые орлы. Они мне напомнили наивный рассказ Конисского о таком же изображении на кафле, стоившей бедному хохлу пытки и жизни. Самое же лучшее украшение светлицы отца Саввы — это безукоризненная чистота и обаятельная свежесть. Не успел я, как говорится, оглянуться в сей обители мира и тишины, как стол уже был уставлен разнокалиберными графинами с разноцветными жидкостями и тарелками с разнородными закусками, а в заключение —

около стола стояла свежая, розовая поповна с подносом в руках, уставленным чашками с чаем. Отец Савва прочитал «Отче наш», благословив ястие и питье сие, налил в рюмку какой-то настойки, перекрестился и выпил, а другую рюмку предложил мне. Я от рюмки отказался, он предложил ее Трохиму, а меня просил выкушать чашку чаю. После чаю сама матушка предлагала какой-то особой наливки под названием семибратняя кровь и жареную утку с яблоками, но я опять-таки отказался. А Трохим Сидорович не устояли против семибратней крови и утки с яблоками, чем и сделали величайшее одолжение гостеприимной матушке Евдокии. Поблагодарив за угощение хозяина и хозяйку и сказавши: «до приятного свидания», — я вышел в сопровождении хозяев на двор. На дворе нам встретился человек без левой руки и с солдатским «георгием» в петлице. Хозяева остановились с незнакомцем, а я вышел на улицу. У ворот на улице стояла бричка, небольшая, о паре лошадях и с кучером мальчиком. Не обращая внимания на это весьма обыкновенное явление, я пошел далее. Дорогою спросил я у Трохима о его друге, поповиче, и он сказал мне, что ученый друг его, попович, во вторник отправился в Киев, и начал мне описывать самыми радужными красками своего ученого бурсака, а в заключение прибавил, что он к нам придет в Киеве и принесет тетрадку, называемую «Слово о птицах небесных, як стали жити и Бога хвалити, а беса проклинати»⁸⁴. Хорошее, должно быть, сочинение. Я просил Трохима сообщить мне его, когда будет можно. У ворот господского дома мы растались с Трохимом; он возвратился в село, а я отправился с визитом к моей милой кузине и почтенному моему родичу. Встретился я с ними в столовой, — они работали над какой-то бабой и холодным поросенком. Приличное «ах!» вылетело из жующих губ кузины, и безмолвное поднятие руки родича с вилок приветствовало мой внезапный приход. После поздраванья они нашли, что я очень похудел, и советовали поправляться после болезни. Я смиренно подсел к ним и последовал их мудрому совету и принялся за поросенка с бабою, как за прелюдию грядущего обеда. Не успел я воткнуть вилку в фаршированный желудок приятеля, как у крыльца загредел экипаж. Кузина вскрикнула: «Мосье Курнатовский!» — бросила нож, вилку и выбежала в другую комнату. Размашисто и ловко вошел ротмистр в столовую и, мимо хозяина протягивая мне руку, сказал:

— Я виноват перед вами! Простите! Эполеты существуют только до нового года. — Из третьей комнаты вылетело «ах!» и вслед за ахом — тревожный вопрос кухни:

— А аксельбанты остаются?

— Остаются! — сказал ротмистр и распростер свои объятия над изумленным хозяином.

Через минуту, много через две, явилась кухня, точно «Аврора» Гвидо Рени⁸⁵, свежая, улыбающаяся, румяная, как едва развившийся лепесток сантифолии⁸⁶. Склонив на грудь голову, ротмистр благоговейно подошел к ручке, и после поклонения они пошли в гостиную, а мы с хозяином принялись снова за фаршированного приятеля. Я дивился волшебному превращению кухни. «Давно ли, — думал я, — видел ее, эту самую женщину, самой обыкновенной женщиной, а теперь — фея, нимфа и т. д. Недаром сказал вдохновенный царь Давид: «Господь умудряет слепцы»⁸⁷; он же умудряет и красавицу до гробовой доски оставаться если не красавицей, так по крайней мере кокеткой». Лакеи не дали мне кончить моих размышлений и фаршированного приятеля. Они стали раскрывать и накрывать стол, а я, положив оружие, волею-неволею должен был удалиться в гостиную. В гостиной увидел я совершенно не то, что ожидал. Вместо любезной милой болтуни, кухня моя сидела молча на кушетке ничуть не в живописном положении, щипала свой батистовый платок и едва обращала внимание на отборные восторги ротмистра. «Что бы это значило?» — спросил я сам себя и посмотрел на родича. Но тот даже бровью не мигал на мой вопросительный взгляд. В недоумении я хотел удалиться, опасаясь быть лишним человеком, но меня предупредил лакей в нитяных перчатках и с салфеткой, одним концом наверху на большой палец левой руки. Он доложил, что закуска подана. Кухня молча подала руку ротмистру, а мы с родичем, взглянув друг на друга, тоже взяли за руки и пошли чинно в столовую. За обедом та же самая история. После пирожного уже кухня как бы нехотя сообщила, что на второй неделе праздника была у ней с визитом madame Прехтель и, увидевши куличи ее и бабы, так вот вся и позеленела от зависти.

— Коварная женщина! — проговорил ротмистр, и мы встали из-за стола. Сейчас же после обеда ротмистр раскланялся, сел в свою нетычанку и уехал. Я тоже взялся за шапку

с благим намерением удалиться в свой приют, но кухня меня остановила, сказавши:

— А знаете ли, зачем приезжал к нам Курнатовский?

— Буду знать, если удостоюсь вашей доверенности! — сказал я не без лукавства.

— Просит меня в посаженные матери, а его, — она показала на уже дремавшего своего супруга, — посаженным отцом. Я наотрез отказала, — сказала она с негодованием. — И в самом деле! — продолжала она тем же тоном. — Что я ему за маменька такая далась? Бессовестный! Да и партию-то делает какую? Ни больше ни меньше как своя собственная крепостная девка! Прекрасная! превосходная! самая блестящая партия! — восклицала она в исступлении.

— А нам-то какое дело? — перебил ее разбуженный супруг. — Крепостная так крепостная, нам с ней не детей крестить, перевенчали — да и баста! Пускай с нею возится, как знает. Да! — сказал он, обращаясь ко мне. — В следующее воскресенье он хочет венчаться в нашей церкви, просил вас тоже быть свидетелем обряда и расписаться в церковной книге.

— С удовольствием, — сказал я и удалился в свою каюту.

IX

В ожидании воскресенья или, лучше сказать, в ожидании этой архилюбопытной свадьбы я принялся было за свою поэму, но дело у меня не клеилось: нужно было дать ей время вылежаться, как выражается вообще пишущее сословие. Утвердившись в этом благом мнении, я в одно прекрасное утро собрал разбросанные листочки моего заветного творения, перенумеровал их, и, как самая нежная мать укладывает в колыбель дитя свое, так я уложил в портфель свою поэму, свое бесценное сокровище. Утро было действительно прекрасное, и я, как Вальтер Скотт, перевесил кожаную сумку с карандашами и бумагой через плечо и, вооружась походною дубиной, отправился к пруду и мельницам. Пройдя пруд и мельницы через плотину, я уединился в молодую березовую рощу, что по ту сторону пруда, или, правильнее, Гнилого Тикича, и в тени распускающихся деревьев, обаянных самым свежим ароматическим дыханием весны, предался созерцанию оживающей божественной природы. «Для одного такого утра, — думал я, — без сожаления

можно оставить в городе образованных друзей и поваляться недельку-другую с медведями в берлоге». Прогулки я возобновлял каждое утро, и каждое утро с новым наслаждением. Бывало, выйду из тенистой березовой рощи на светлую поляну и по извилистой дорожке подымусь на пригорок, сяду себе подле креста (такие кресты ставятся на возвышенностях для знаку о близости воды), достану из сумы карандаш, бумагу и рисую себе широкую прекрасную долину Гнилого Тикича, освещенную утренним весенним солнцем. Это были для меня самые сладкие минуты. И тем более сладкие, что панорама, лежавшая предо мною, живо напоминала мне мастерской рисунок незабвенного моего Штернберга, сделанный им с натуры где-то в Башкирии.

Когда солнце подымется над бесконечным горизонтом и широкие тени спрячутся за кусты и пригорки, тогда я бережно укладываю мою работу в сумку и продолжаю свою прогулку в тени развесистых дубов и вязов. В одну из таких прогулок я нечаянно попал на совершенно рюисдалевское болото (известная картина в Эрмитаже⁸⁸), даже первый план картины с мельчайшими подробностями тот же самый, что и у Рюисдаля. Я просидел около болота несколько часов сряду и сделал довольно окончанный рисунок с фламандского двойника. Интересно было бы сравнить его с знаменитой картиной. На другой день я сделал небольшой этюд с суховерхой старой ивы; хотел было сделать такой этюд и с полуусохшего старого береста, но на живой его половине не развернулась еще зелень, так я ограничился только одним остовом. И такой рисунок не пролежит даром места в портфеле доброго художника. Много еще нарисовал я верб и берестов в ожидании заветного воскресенья, или курьезной свадьбы.

В субботу вечером, возвращаясь в село, встретил я на плотине своего Трохима, гуляющего с безруким кавалером, с тем самым, что встретился мне на дворе у отца Саввы. И теперь, как и прежде, я не обратил на него особенного внимания и прошел мимо. Около квартиры догнал меня Трохим и без дальних околичностей сказал мне, что я ничего не знаю.

— А ты много знаешь? — спросил я его также фамильярно.

— А я знаю, что завтра будет свадьба, да еще знаете ли, какая свадьба? — прибавил он таинственно. — Тот самый

пан, что мы видели на дороге и что заезжал сюда, тот самый пан женится на своей подданке, на той самой, что видели тогда в берлине и что ночевала у нас за стеной.

«Так вот где она — таинственная загадка! — подумал я. — И как все это просто и натурально, а мне-то сдуру и Бог знает каким она неразгаданным сфинксом показалась».

— А кто этот кавалер, с которым ты гулял на плотине? — спросил я у Трохима.

— Он-то мне и рассказал всю эту историю, — отвечал Трохим.

— Да сам-то он кто такой?

— А я его и не спросил, кто он такой. Бог его знает, что он за человек. Отец Савва говорит, что он отставной солдат.

— Не матрос ли? — спросил я, прерывая длинноречивого Трохима.

— Нет, не матрос, а просто солдат, — на своем стоял невозмутимый Трохим.

— Хорошо, пускай будет и солдат, — сказал я и, не заходя в квартиру, как был с сумкою и с походною дубиной, пошел навстречу моему амфитриону и его благоверной половине.

— А знаете ли, что я вам скажу? — кричала мне кузина издали.

— Буду знать, когда вы скажете, — отвечал я, приближаясь.

— Я завтра на свадьбе! — сказала она торжественно. — И к вам, как к артисту, обращаюсь с моей просьбою. Посоветуйте, как мне одеться так, чтоб было сообразно с ролью, которую я займу в этой комедии.

— Оденьтесь так, как вы всегда одеваетесь, — сказал я.

— Какой вы любезный артист, — сказала она и сделала самую пленительную гримасу. — Как всегда! Разве я каждый день играю роль посаженной матери? Растрепанный вы человек! — сказала она полушутя, полусерьезно и еще пленительнее улыбнулась.

— Вы, кажется, отказались от этой высокой чести? — сказал я в недоумении.

— Никак невозможно! Он пишет ко мне так убедительно, пишет так, что я не в силах отказать ему. Прочитайте, как он пишет. — И подала мне розовую раздушенную записку. Я повертел ее в руках, понюхал и отдал обратно. — Фу!

какое ледяное равнодушие. Хотя бы на почерк посмотрел. А кто привез мне это розовое послание, так уж этого ни за что не скажу, — сказала она, бережно укладывая записку в ридикюль.

— Лакей или кучер, кому же больше, — сказал я наугад.

— Ошиблись, подымайте выше! Так и быть, не буду вас больше мучить. Сам родной брат невесты, какой-то отставной матрос. Я его не видала, сам не изволил подать письмо, а переслал от священника. Тоже гордость! Ну, как же я завтра оденусь? Добьюсь ли я от вас какого-нибудь совета или нет? — спросила она меня в ту самую секунду, как я вспомнил о безруком кавалере. Я сказал ей что-то невпопад, и она захохотала самым непорочным девичьим смехом. Непорочный этот хохот толкнул меня на мысль самую лукавую, и я, оправившись, сказал:

— Оденьтесь вы завтра... это для вас ничего не значит. Оденьтесь вы завтра так, чтобы уничтожить и его красавицу невесту, и его самого.

— А самого-то как? — спросила она с волнением.

— Сделайтесь похожей на его дочь, вот и все!..

— И прекрасно! — прервала она в восторге. — Я сама то же думала. Это будет маленькая мистификация, не правда ли? — прибавила она, обращаясь к мужу, а тот в знак согласия кивнул головой и, глядя на меня, как бы говорил: да и ты, брат, смиренник, — штука препорядочная!

Довольная моим проектом, кухня позволила мне, не переодеваясь, пожаловать к ней на чай. Я повиновался и, следуя по стопам красавицы, думал чуть-чуть не вслух:

«Неужели вы, красавицы, так слепы, так удивительно слепы в отношении собственных прелестей, что, не говоря уже о морщинах, — седых волос у себя не замечаете?»

А это действительно так. Я совершенно убежден в этой горькой истине. Во времена оны, бывало, пригласят меня нарисовать портрет с какой-нибудь действительно почтенной матери семейства. Старушка благочестивая, богомольная, тихая, кроткая, вся в черном, лучшей модели не может быть для отшельницы готических времен: садись и рисуй без малейшей фантазии. Попробуй же нарисовать портрет этой отшельницы без малейшей фантазии, т. е. а ля Жерар Доу⁸⁹. Да тебе не только не заплатят — из дому выгонят, как злейшего карикатуриста. Тогда и узнаешь, кто такая благочестивая отшельница.

Я долго переносил подобные неприятные приключения, пока не смекнул, в чем дело. Догадался, и пошло как по маслу! Простота-матушка.

Пишу я сию мою заповедь молодым друзьям моим, имеющим несчастье прокладывать себе художественную дорогу такими жалкими, такими горькими средствами.

В продолжение вечера кухня моя была, что называется, в своей тарелке: острила, смеялась и чуть-чуть не танцевала, как девчонка при одном слове о газовом платье и о какой-то еще невиданной в мире тюнике. Она до того была весела и любезна, что сделалась приторною и, наконец, несносною. Чужая радость вообще как-то нас мало радует, а несносная радость моей кухни меня просто бесила. Чтобы не быть безмолвным зрителем глупости и пошлости, я забрал свою мизерию и вышел, от ужина даже отказался. А после такой прогулки, как сделал [я] в этот день, это была большая жертва. С досады попробовал я заснуть, проба совершенно не удалась. Попробовал читать — еще хуже. Какую-то отвратительную скуку навеяла на меня кухня своей глупой радостью. Как безобразная каракатица, скука опутала меня своими гнусными ветвями и во всю ночь не давала мне покою. Что бы я ни вспомнил, о чем бы ни подумал, все скучно, все невыносимо, противно. Если английская хандра имеет хоть фамильное сходство с нашей русской тоскою, то я верю в возможность путешествия пешком в Камчатку, как это сделал какой-то лорд, да еще вдобавок и женился на дочери петропавловского пономаря⁹⁰. Свадьба, например, кажется, веселый, радужный предмет для размышлений? Попробуйте же вы размышлять о нем во время скуки. Да он вам покажется таким черным, таким гадким предметом, что вы и глаза закроете, а если вы уже с проседью, с лысиной и не женаты вдобавок, то лучше и не размышляйте о свадьбе. Тут вам ползет в голову и старость, и одиночество, и кончится тем, что вы на первой же попавшейся вам дуре возьмете да и женитесь во избежание одиночества. Правда, участь старого холостяка самая незавидная, но и участи старого мужа молодой жены нельзя позавидовать. По-моему, лучше доживать свой век старым холостяком, нежели окружить себя чужими розовыми крошками, а свою лысую почтенную голову украсить украшением, не внушающим ни малейшего почтения.

Перед рассветом немного освободился я от этой проклятой ведьмы-скуки и заснул, а проснулся уже на благовест к обедне. Хорошо еще, что Трохим — бог его знает каким наитием — догадался с вечера фрак и прочее приготовить; так я духом оделся и вышел из квартиры в ту самую минуту, как разодетая моя кузина садилась в коляску, чтобы ехать к обедне. Она предложила мне место около своей пышной персоны, но я отказался от этой чести и пошел пешком. Я думал уже около церкви увидеть великолепные экипажи жениха и невесты. Ничего не бывало: одна только коляска моей кузины красовалась да какая-то маленькая бричка с маленьким кучером. В церкви, как обыкновенно, мужички усердно шепотом молились Богу. На клиросе дьячок выводил басом «херувимы»⁹¹ с помощью вчерашнего безрукого кавалера. А где же молодые? Не случилось ли какого-нибудь недоумения, как это часто бывает в подобных случаях? После обедни отец Савва просил меня и Трохима Сидоровича на чашку чаю, и мы не отказали. Едва успел отец Савва прочитать «Отче наш» и благословить ястие и питие сие, как вошел в светлицу усердный помощник охрипшего дьячка, безрукий кавалер. Матушка после обыкновенного приветствия назвала его Осипом Федоровичем и просила садиться. Сначала он повесил свою шапку на колышек, нарочно для этого около дверей вбитый в стенку, и потом уже сел, почти у порога, на чем-то вроде табурета. Эта скромность понравилась мне, а тем более в военном человеке. Я стал наблюдать его внимательнее. Это был молодой здоровый парень, с черными жесткими волосами, стриженными под гребенку, с такими же черными густыми бровями и с подстриженными усами. Глаза он постоянно опускал и прятал под черными длинными ресницами, а потому об них положительно сказать ничего нельзя, как и о верхней губе, которой контур прятался под усами, а нижняя была прекрасно очерчена, только немного толстовата. Вообще же он казался физиономии грубой, но такой кроткой и выразительной, что я невольно им любовался. В разговор наш он не ввязывался, как это делают обыкновенно бывалые ребята его сословия. Если отец Савва адресовался к нему с каким-нибудь вопросом, то он отвечал коротко и основательно. Так, например, матушка спросила его, когда намерен их посетить господин Курнатовский? Он отвечал: «Перед вечером». И тем кончи-

лось. Полюбовавшись скромным незнакомцем, я, поблагодарив хозяина за угощение, ушел, а Трохима Сидоровича оставила матушка у себя обедать. В продолжение дня незнакомец вертелся у меня на уме. И сам не знаю, чем он мог меня так заинтересовать. Отставной солдат и больше ничего. За обедом я порывался было спросить у кузины, не брат ли это невесты стоял на клиресе, но кузина была сегодня не в ударе, и я спрятал в карман свой нескромный вопрос. Думал после обеда спросить у родича, но тот за обедом еще чуть не захрапел. Трохим не являлся до самого вечера, и мое любопытство оставалось неудовлетворенным до самого вечера.

Х

Дни ожидания так скучны и длинны, как этот нехитросплетенный рассказ. А часы ожидания еще длиннее и скучнее. И странно, мы постоянно надеемся и ожидаем, и не можем приучить себя к этому томительному чувству, не можем сократить бесконечного часа ожидания ни одной секундой. Несмотря на то что я дурно спал ночью и на то что я не весьма умеренно пообедал, а все-таки после обеда хотя и пробовал, но заснуть не мог. А все нелепое ожидание мешало. Чего же я жду и что меня тревожит? И сам не знаю, а чувствую, что тревожит что-то. Чтобы избавиться от этого чего-то, я надел свою рабочую блузу, взял сумку, дубину и пошел на свой любимый пригорок, осененный дубовым крестом. День был прекрасный, небо светлое, голубое, глубокое и ясное, как мысль великого поэта. Белые прозрачные тучки-красавицы, как непорочные сновидения младенца, сменялись одна другою, и, пролетая небесное пространство, они набрасывали широкие темные пятна на мою ненаглядную панораму. С этими очаровательными пятнами панорама казалась и шире, и глубже, и бесконечнее. Я глаз не мог отвести от этого импровизированного освещения. Мне казалось, что я вижу на бесконечном горизонте и Звенигородку, и Тальне⁹², и даже самую Умань.

Я принялся за работу. Разложил темные и светлые пятна на моем неоконченном рисунке, и рисунок ожил, заговорил и сам собою окончился. Вот где твои чары, колдовство твое, очаровательный Каналетти⁹³.

Освещение изменилось. Рисунок я положил в портфель и хотел уже идти в село. Смотрю, золотое солнце повисло

над фиолетовым горизонтом и рассыпало свои изумрудные лучи по всему необъемлемому пространству. Новая прелесть! Новое очарование! Пораженный чудной гармонией, я в безмолвии опустил руки и, не переводя дыхания, смотрел на эту великолепную ораторию без звуков.

Солнце уже закатилось, а я все еще стоял около креста, и, не странно ли, мне слышалась из березовой рощи флейта, играющая прелюдию вальса Авроры⁹⁴. А ничего этого не было, о флейте никто и не слышал в этом околотке. Родич мой говорит, что он когда-то превосходно играл на флейте, но потерял ключ от футляра, где хранится инструмент, и перестал играть. И он не шутит, по его понятиям это совершенно в порядке вещей. В эти недолгие минуты я был настоящим поэтом и носился мыслию бог ведает где, в каких надзвездных областях. Но как житель земли, то и вспомнил, правда довольно поздно, про земное, т. е. про свадьбу. «Фи, какой цыник! — скажет влюбленная читательница. — Свадьбу называет просто земным делом». Согласен, пускай это будет делом самого Ориона⁹⁵, только я об нем вспомнил уже в сумерки.

Спотыкаясь на пни и кочки, кое-как пробрался я сквозь березовую рощу и вышел на плотину. Смотрю, церковь уже освещена. Я прибавил шагу и, как был с сумой и в блузе, прямо пошел в церковь, — хорошо, что догадался шляпу снять. Спрятался я за какого-то плечистого мужика и выглядываю, как мышь из ларя. Обряд уже начался, и безрукий мой кавалер-незнакомец держит венец над головой невесты. Сбоку вижу, что невеста красавица, а посмотреть в лицо нельзя. Досадно. Стало быть, этот кавалер — ее брат. Больше быть некому. Жаль, что не познакомился я с ним покороче. Тут непременно кроется какая-нибудь романическая драма. Да и какие могут быть отношения между богатым помещиком и бедняком, изувеченным инвалидом? Нужно поручить Трохиму разведать все это дело хорошенько, — не выкроится ли из этой материи какая-нибудь историйка, а может быть, и оперетка вроде «Москаль-чаривнык»⁹⁶. Да, не иначе, как чарами, заставляет он надменного ротмистра жениться на своей крепостной крестьянке. Как я тщательно ни прятал свою особу за плечистым мужиком, а все-таки спрятать не мог от зоркого глаза Трохима. Он меня заметил и, подойдя, сказал шепотом:

— Молодые прошены на чай в дом. Если и вы пойдете, то нужно приготовить фрак и сапоги почистить.

— Ступай чисти, — сказал я ему лаконически. Трохим вышел. Дождавшись «И с а и я, л и к у й»⁹⁷, и я вышел из церкви и бегом пустился на квартиру. Вот еще беда немалая: в моем изысканном гардеробе белого галстуха не оказалось, а он теперь необходим. Что делать? Трохим догадался: сложил белый носовой платок, и вышел препорядочный галстух, бант только оказался не надлежащей величины. Приведя к концу свое облачение, напялил я фрак и пошел в комнату. В дверях встретили меня общим смехом; особенно кухня так усердно заливалась, что я подумал, не над моим ли галстухом они смеются! и страшно сконфузился. Оказалось совсем другое. После первого пароксизма смеха кухня меня взяла за руку и подвела к зеркалу. О ужас! У меня все лицо было выпачкано карандашом. Не говоря ни слова, выбежал я из комнаты. Во время работы я отгонял комаров запачканными карандашом руками, хватался за лицо, да и отделал свою физиономию а ля Отелло, а зоркий глаз Трохима и не заметил, когда повязывал галстух.

Преобразившись, я в другой раз явился в гостиную и после обыкновенных поклонений и пожеланий взглянул на невесту. Господи, что это за красота совершенная! До седых волос дожил, а не видывал ничего подобного этой неописанной красоте. Знаменитая красавица графиня Коловрат (которую я видел в парижской литографии) при всевозможных косметических средствах едва ли выдержала бы роль наперсницы при этой скромной героине. Долго я не мог глаз отвести от этого типа совершенной красоты. И чем внимательнее и хладнокровнее смотрел я на нее, тем более видел прелесть и гармонию в чертах ее удивительного лица. Божественному Рафаэлю и во сне не снилась подобная красота и гармония линий. А знаменитый Канова вдребезги разбил бы свою сахарную «Психею»⁹⁸, если бы увидел это божество, грациозно принимающее чашку с чаем. А между тем в ее красоте ничего не было общего с очертаниями принятой красоты, это была самобытная одушевленная красота. Это был тип моей землячки, в высшей степени совершенный. И как ты побледнела, как ты потемнела, моя бедная кухня, перед этой лилией, едва распустившейся. Где твой смех? Где твои хитрые вчерашние затеи? Не помогли

тебе ни притиранья, ни умыванья, ниже газовое платье! Бедная ты, жалкая ты красавица!

Молодые недолго гостили. После чаю они сейчас же уехали, я тоже раскланялся и ушел к себе на квартиру, далеко не в нормальном состоянии духа. Красота на меня, в чем бы она ни проявлялась, в существе ли живущем или прозябающем, всегда имеет одинаковое и благотворное влияние. Под ее благим влиянием я чувствую себя другим, обновленным человеком, чем-то вроде старого младенца. Мне тогда необходим хоть какой-нибудь человек, чтоб разделить свои добрые ощущения или хоть наговориться досыта. А иначе я похож на того пьяного, который не заснет, пока не отрезвится. Я тоже долго не мог заснуть, но это была не утомительная, а успокоительная бессонница. Приятное, невыразимо приятное ощущение! Благодарю тебя, всемогущий Боже, что одарил ты меня чувством человека, любящего и видящего прекрасное, совершенное в твоём нерукотворном бесконечном творении. Если бы красота во всех ее образах хотя на половину человечества имела свое благотворное влияние, тогда бы мы быстро приблизились к совершенству и, наконец, олицетворили бы собой божественную заповедь нашего божественного учителя. Тогда бы Шварц⁹⁹ и Ривольер¹⁰⁰ пошли по миру со своими гениальными изобретениями или открыли бы лучшие и благороднейшие источники человеческих усовершенствований. — Долго я фантазировал на эту прекрасную тему, пока, наконец, физика пересилила мораль, и я заснул. Во сне повторилось виденное мною наяву, с тою только разницею, что вместо ротмистра возле невесты сидел с козлиными ногами и рогами рубенсовский сатир¹⁰¹, с лица очень похожий на ротмистра. Сатир жметя к нимфе, шепчет ей что-то на ухо. Нимфа улыбнулась, я вздрогнул и проснулся. Солнце уже заглядывало в готическое окно моей миниатюрной кельи, когда я вздрогнул и проснулся. Трохим нечаянно, но весьма кстати явился передо мной. Я объявил ему, что имею намерение сегодняшней же день после обеда выехать в Лысянку, взять почтовых лошадей и — восвояси. Он против обыкновения не прекословил моей воле и тут же начал складывать фрак и прочие доспехи, живо напомнившие мне о вчерашнем происшествии.

Прежние благородные обладатели крепостных душ только гаремы заводили из собственных девок, а теперь

жениться начали. Выходит, что идея о коммунизме не одна только пустая идея, не глас вопиющего в пустыне¹⁰², а что она удобоприменима к настоящей прозаической жизни. Честь и слава поборникам новой цивилизации! Трохим с увлечением занялся чемоданом, а я, чтоб не мешать ему, заблагорассудил сделать прощальный визит отцу Савве. Но на пороге своей идиллической мирной обители встретил меня сам отец Савва вместе с безруким кавалером.

— Вы к нам, а мы к вам собрались на визитациум, — говорил весело отец Савва. — Сей божий человек, — прибавил он, указывая на кавалера, — имеет к вам экстраординарное послание.

Не успел я придти в изумление от этой неожиданности, как сей божий человек достал из пустого рукава миниатюрный, разрисованный наподобие конфетки конверт и, подавая его мне, сказал:

— Зять и сестра, ваше благородие, кланяются и просят вас пожаловать к себе сегодня вечером.

Я не отнекивался, как пьяница от рюмки водки, и, не читая раздушенного послания, сказал: «Буду». Тогда он подал мне другой такой же конверт и просил передать супруге Лукьяна Алексеевича, т. е. моей кухне. Я обещался. Отец Савва заметил, что не мешало бы самому господину кавалеру отдать письмо и лично просить их милость. Кавалер, не сказав ни слова на это замечание, только как-то чрезвычайно выразительно улыбнулся. Отказавшись от приглашения отца Саввы на чашку чаю и прочее такое, я с ними простился и пошел к себе на квартиру сказать Трохиму, чтобы он фрака не укладывал.

— А чтобы он сгорел, ваш этот проклятый фрак! Только и дела, что с ним возимся. Пообедать некогда. — И много еще кое-чего было сказано в пользу фрака, чего уж я не слышал, потому что ушел передать дружеское послание кухне. Она встретила меня восклицанием:

— А какова невеста!..

Я отвечал, что в жизнь мою не видывал такой красавицы.

— Значит, вы не так разборчивы, как я полагала, — сказала она холодно. — Для вас, значит, — прибавила она тем же тоном, — образование в женщине вещь совершенно лишняя?

«Не тебе бы говорить, а не мне бы слушать», — подумал я и вместо возражения передал ей раздушенное письмецо.

За обедом речь опять зашла о невесте, опять заметила мне язвительно кузина, что я в грош не ставлю хороший тон и образование в женщине. Я отмалчивался, ее это бе-сило.

— Да! — сказала она, зеленея. — Вы художник, а художнику нужна только модель, натурщица, а не женщина.

Опять подумал я: «Не тебе бы говорить, а не мне бы слушать». Но вслух не нашел приличного возражения на ее весьма не тонкое замечание, и молчание воцарилось.

Как истинный гомерид, родич мой уходил чуть не все-го жареного с капустою гуся, с наслаждением запил его не последней величины стаканом сливянки и, самодовольно улыбнувшись, сказал:

— Вот теперь так! Подавай, что там еще есть у тебя, — сказал он козачку. Козачок вышел. — Да, — продолжал он, приняв тон таинственности. — Это такая, я вам скажу, исто-рия, что хоть в газетах публикуй.

— Какая это история? — спросил я не совсем равно-душно.

— Да хоть бы вчерашняя свадьба, — сказал он, взглянув на жену.

— А что такое? — спросил я и тоже посмотрел на ку-зину.

— Да так-с, ничего-с, — сказал он тоном человека, вла-деющего великой тайной. — Вы заметили вчера невестиного шафера? — спросил он меня и снова взглянул на свою мрач-ную супругу.

— И даже сегодня имел честь его видеть, — отвечал я.

— Это не больше не меньше как отставной матрос, род-ной и единственный брат теперешней госпожи Курнатов-ской и помещицы пятисот душ крестьян, чистых, незало-женных, — сказал он, наливая еще стакан сливянки. При слове «матрос» я невольно вздрогнул. «Не герой ли это моей поэмы?» — подумал я и, обращаясь к родичу, просил его по-яснить мне эту загадочную историю.

— А вот какая это история... — Кузина фыркнула, выска-чила из-за стола и уже из другой комнаты проговорила:

— Невежа, мужик! От тебя, кроме пошлости, ничего не услышишь. — Он спокойно перекрестил дверь, из которой летели эти слова, и сказал:

— Вот такая это история. Господин Курнатовский, или, как она его называет, мусье Курнатовский, человек во всех отношениях благородный. Мы его от души любим, как вы это сами могли заметить. Одно только: несмотря на его святую наружность, ужаснейший волокита. После первой женитьбы он оставил службу и приехал, как говорится, на покой в деревню; жена — прекраснейшая была женщина — не перенесла первых родов и умерла, оставив ему в залог любви своей здоровенькое прекрасное дитя. Молодец наш, как попечительный и нежный отец, кроме кормилицы, для большего соблюдения ребенка приставил к нему еще четырех молодых красивых няnek. Из всей деревни выбрал, разбойник. В число этих няnek попала и теперишняя жена его. Дитя вскоре умерло. Кормилицу-то он отпустил, а нянюшек при себе оставил в доме. Предполагал, видите ли, завести коверную фабрику, плут! Вместо фабрики он образовал небольшой домашний гаремик. Ничего, все шло хорошо. Женатые соседи на первых порах отказали от дому, да после раздумали. По-моему, самое лучшее не обращать внимания на чужие недостатки. «Всякий Еремей про себя разумеи!» — говорит наша пословица. Хорошо, вот дошла очередь и до Оленки, теперишней госпожи Курнатовской. Только не тут-то было. Оленка заартачилась, он около ее и так и сяк — нет, да и баста! Ни ласки, ни угрозы, ни усовещивание — ничто не помогло. А главною причиною упрямства ее был брат, теперешний отставной матрос. Чтобы устранить эту помеху, наш молодец не задумался — в первый же набор и царап приятеля в солдаты. Одним ударом все покончил. Так по крайней мере он вообразил себе, а на деле вышло совершенно не то, что он вообразил себе. Красавица пуше прежнего заломалась, — и близко не подходи! Бежала было в Киев, к губернатору, да, слава Богу, вовремя схватились и поймали уже за Лысянкой. Наделала бы кутерьмы, если б удалось ей до Киева добраться. Приятель наш таки порядочно было трухнул. Дело-то, знаете, опекою запахло, если не больше. А из-за чего? Из-за сущей дряни! Из-за капризной девки. Правду сказать, так наши помещики порядочно избалованы, позволяют иногда себе такие причуды, за которые в другом месте не посмотрели бы, что он помещик... Ну, да что об этом толковать, наше дело сторона. Проходит год, прошел другой, приятель наш из кожи лезет, а дело ни на шаг не подвинулось вперед. С лица переменялся, позеленел.

«Брось, — говорю, — плюнь на нее». — «Не могу», — говорит. Что значит эта проклятая страстишка! Сначала он держал ее за замком, как невольницу, но увидел, что это не помогает, дал ей полную свободу. Мало, отдал ей весь дом в ее распоряжение, окружил ее всевозможною роскошью. Сам сделался ее лакеем, чего ей больше? Нет, батюшка, не тут-то было! И на глаза не пускает. Вот оно где хохлацкое упрямство или вообще упрямство женское. Помучился он с нею еще полгода и думал уже бросить ее, окаянную, и ехать на воды лечиться. Как бац! от предводителя дворянства письмо, или, лучше сказать, формальное требование, чтобы он, ротмистр такой-то, по требованию высшего начальства, назначил цену крепостной своей крестьянке такой-то и получил деньги из комитета раненых на законном основании. Он с этою бумагою прямо ко мне, я прочитал и, признаюсь, стал в тупик. «Уж не проведало ли высшее начальство, — подумал я, — о его шашнях? Да нет, высшему начальству теперь не до того». Думали мы, думали, да тем и кончили, что ничего не выдумали. Прошел еще месяц. Приятель наш ни гу-гу — дожидает, не пройдет ли гроза мимо. Не прошла гроза. Получается другая бумага от того же предводителя, с прибавлением, что такой-то матрос Яков Обеременко за свою храбрость и увечье, полученное им при защите Севастополя, просит у комитета раненых освободить родную сестру его от крепостного состояния, а в заключение было сказано, чтобы он или сам, или доверил кому получить деньги в Киеве — сумму, какую он сам назначит. А он, чтобы не назначать и не получать этой суммы, он уехал с нею в Киев, да там и обручился. Каков молодец! Он и венчаться там же думал, да ей-то захотелось, чтобы брат венец над нею держал.

«Вот тебе и героическая поэма!» — подумал я.

— Не правда ли, прекрасная история? — спросил родич, зевая.

— Порядочная! — отвечал я рассеянно.

Часа за два до захода солнца кухня подвязала себе щеку и осталась дома, а мы с родичем поехали к новобрачным.

Дорогой я переделал свою героическую поэму на сию скромную «Прогулку с удовольствием и не без морали», а что дальше будет, увидим.

К[обзарь] Дармограй

Итак, мы с приятелем вдвоем, то бишь с родичем, поехали в гости к новобрачным, оставив мнимобольную кухню дома обдумывать на досуге, как ей вести себя с выскочкой, очаровательной соседкой. Выехав из села и потом из липовой темной рощи, мы очутились на извилистом живописном проселке, вьющемся по открытому полю, изредка уставленному огромными суховерхими дубами. Проехав легкой рысью версты две, родич мой велел кучеру остановиться около колоссального сухого дуба, положившего свои обнаженные сухие корни, как длинные безобразные ноги, поперек дороги.

— Хотите, — сказал родич, обращаясь ко мне, — я вам покажу темную историческую букву? Вы человек ученый, не нам чета. Может быть, вы ее и прочитаете.

Я просил родича показать мне эту историческую темную букву. Он указал мне на круглую небольшую дыру в стволе дуба, из которой в это мгновение вылетела сова.

— Вишь ты, куда спряталась, — сказал кучер, глядя на улетающую сову.

А родич спросил меня, знаю ли я это дупло? Я отвечал, что не знаю.

— Так отгадайте, если мудрец, — продолжал он таинственно.

— Дятел выдолбил на досуге, я думаю, — сказал я, ни о чем не думая.

— Дятел, только не простой, а чугунный. Посмотрите хорошенько да пощупайте, так и узнаете, какой там сидит дятел, — проговорил он самодовольно.

Я вышел из экипажа, посмотрел в загадочное дупло, и как бы вы думали, что я там увидел? Величины в добрый кулак чугунное ядро.

— Каков дятел, а? — спросил родич, смеясь.

— Хорош, — отвечал я, подходя к экипажу. — Каким же родом и когда он сюда залетел? — спросил я своего спутника.

— А это уже ваше дело. Мы люди темные, как и эта историческая буква. Стало быть, и вы не прочитаете? — продолжал он иронически.

— Не прочитаю, — сказал я, садясь в коляску.

— Полагать надо, что здесь происходило когда-то в старину большое сражение, — проговорил он значительно и, подумавши, прибавил: — А может быть, и артиллерийская мишень где-нибудь близко стояла.

— И то быть может, — сказал я, и мы пустились далее.

Его простая догадка разом разрушила мои мрачные исторические предположения насчет засевающего в дупле ядра, и я взглянул веселее на едва позеленевшее поле, уставленное изредка суховерхими дубами. «И какое могло быть сражение на этой райской местности?» — спросил я сам себя простосердечно, забыв, что и в самом даже раю зарезал брат брата. Едва успел я вспомнить это первое братоубийство, как на горизонте райского поля нарисовались два кургана, и на одном из них торчал какой-то пирамидальный маяк. За двумя большими курганами открылось еще несколько могил меньшего размера. А у самой опушки темного леса, в котором прятался наш извилистый проселок, показалось небольшое земляное четырехугольное укрепление. Точно такой формы и величины, как на поле около Листвена, близ Чернигова, где Мстислав Удалой резался с единоутробным братом своим Ярославом¹⁰³, — с тою разницею, что лиственское укрепление засеивается хлебом, а в этом забытом историей бастионе догадливый хозяин сложил в скирды собранный с поля хлеб. Прежде боевая ограда теперь служит оградой плодов трудолюбивого земледельца. Отрадное превращение!

— А мой дурак эконоом, небось, не догадается устроить и у себя такой же фольварок, — проговорил мой спутник, глядя на укрепление, украшенное скирдами прошлолетнего хлеба.

— У вас разве есть такое же гнездо? — спросил я его.

— Есть, только поросшее лесом, — отвечал он. — А знатная выдумка! Непременно велю вырубить лес и устроить у себя такую же штуку.

Я не сказал ему ни слова на эту гениальную агрономическую затею, и мы безмолвно въехали в темный безмолвный лес.

От берегов тихого Дона до кремнистых берегов быстро текущего Днестра — одна почва земли, одна речь, один быт, одна физиономия народа; даже и песни одни и те же. Как одной матери дети. А минувшая жизнь этой кучки задумчивых детей великой славянской семьи не одинакова. На полях

Волыни и Подолии вы часто любуетесь живописными развалинами древних массивных замков и палат, некогда великолепных, как, например, в Остроге или Корце¹⁰⁴. В Корце даже церковь, хранилище бальзамированных трупов фамилии графов Корецких¹⁰⁵, сама собою в развалину превратилась. Что же говорят? о чем свидетельствуют эти угрюмые свидетели прошедшего? О деспотизме и рабстве! О хлопах и магнатах! Могила, или курган, на Волыни и Подолии — большая редкость. По берегам же Днепра, в губерниях Киевской, Полтавской, вы не пройдете версты поля, не украшенного высокой могилой, а иногда и десятком могил. И не увидите ни одной развалины на пространстве трех губерний. Кроме разве у богатого затейника помещика нарочно развалившийся в саду деревянный размалеванный храм Весты а ля ротонда Тиволи¹⁰⁶. Что же говорят пытливому потомку эти частые темные могилы на берегах Днепра и грандиозные руины дворцов и замков на берегах Днестра? Они говорят о рабстве и свободе. Бедная, малосильная Волынь и Подолия, она охраняла своих распинателей в неприступных замках и роскошных палатах. А моя прекрасная, могучая, вольнолюбивая Украина туго начиняла своим вольным и вражьем группом неисчислимы огромные курганы. Она своей славы на поталу не давала, ворога деспота под ноги топтала и свободная, нерастленная умирала. Вот что значат могилы и руины. Не напрасно грустны и унылы ваши песни, задумчивые земляки мои. Их сложила свобода, а пела тяжкая одинокая неволя.

Пока я разоблачал эту мрачную археологическую задачу, темный лес, которым мы ехали, стал еще темнее. Верхушки высоких старых кленов и ясеней, недавно блестящих на светло-фиолетовом фоне неба, потемнели. Значит, солнце закатилось. «Не мешало бы и шагу прибавить», — подумал я. Да прибавить-то его трудно. На каждом шагу или выбоина, наполненная жидкой грязью, или древесный корень, как бревно, растянулся поперек дороги и ждет, как бы доброму человеку колесо сломать или иначе как-нибудь напакостить.

Случится иногда шагов десятка два-три и хорошей дороги. Зато, как нарочно, сухой пенек выйдет из лесу, как разбойник Гаркуша¹⁰⁷, и станет посередине бархатной дороги. Что хочешь, то и делай. Несколько поколений чубатых земляков моих ломают оси о подобного разбойника,

а он стоит себе как ни в чем не бывало, только белые бока его немного выпачканы смолою и ничего больше. Хоть бы зарубка, хоть бы тень намерения уничтожить этого сокрушителя осей. Ничего, ни малейшего знака. «Пускай стоит себе, где его Бог поставил», — говорят наивно земляки мои и преспокойно продолжают ломать свои крепкие грабовые оси. Это еще ничего. В лесу не штука сломать одну-другую ось. Сказано — лес. А попробуйте-ка вы доказать эту удаль среди бела дня и среди гладкой широкой степи. Вот это так штука, и немцу, пожалуй, не ухитриться. А земляк мой ухитрился. Он, извольте видеть, ехал столбовой дорогой. Вез сено в город продать москалям уланам. Это было утром рано. Волы двигались тихо вперед, а земляк мой, лежа на сене, тоже тихо пел песню: вероятно, панегирик своим круторогим товарищам. Пел, пел, да, не кончивши песни, и уснул. А круторогие товарищи шли, шли себе потихоньку, да и остановились, задев осью за размалеванную новую версту, как нарочно поставленную край дороги. Под влиянием ароматического сена и плотного с н и д а н н я, т. е. завтрака, земляк мой таки порядочно всхрапнул. Проснулся он в самый полдень, благодаря палящим лучам солнца. Проснулся и видит, что его круторогие братья лукавят, остановились. Он взмахнул на них длинным батогом своим, братья тронулись, и передней оси как не бывало. А изумленный земляк мой с мягкой душистой постели скатился на жесткую сухую землю. Лениво поднялся он, осмотрелся вокруг себя и, видя размалеванную причину катастрофы, с расстановкою проговорил: «Проклятая нимота що наробыла, доброму чоловікови и в степу тисно стало!»

О мои милые, непорочные земляки мои! Если бы и материальным добром вы были так богаты, как нравственной сердечной прелестью, вы были бы счастливейший народ в мире! Но увы! Земля ваша как рай, как сад, насажденный рукою Бога-человеколюбца. А вы только безмездные работники в том плодоносном, роскошном саду. Вы Лазари убогие, питающиеся падающими крупичами от роскошной трапезы ваших прожорливых ненасытных братий.

— Напрасно, — сказал я, обращаясь к родичу, — вы взяли коляску, в бричке мы бы скорей приехали.

— Думали, что и барыня поедет с нами, — ответил кучер за безмятежно храпевшего своего барина.

— А далеко еще до Курнатовских? — спросил я у кучера.

— А бог его знает, — отвечал он. — Если бы вырубить этот проклятый лес да поставить версты, то можно бы их сосчитать и тогда сказать. А так как его скажешь, недолго до греха, пожалуй и соврешь. А если не вырубить лес да поставить версты, так, я вам скажу, и версты ничего не помогут. Сказано — лес, — прибавил он, обращая ко мне лицо. — Пустыня непроходимая! Того и смотри, экипаж сломаешь, да и простиошь сутки-другие. Вот тебе и версты! Они только помеха в лесу, ничего больше.

— Какая же помеха? — спросил я его.

— А такая помеха. Заглядишься на его, ирода размалеванного, а пень или ухабина как тут. Будто сам сатана, не при нас будь сказано, — и он перекрестился, — подсунет под экипаж. Вот вам и версты. Вам-то, разумеется, ничего. Вы любуетесь ею сколько хотите, читаете себе цифру, и ничего больше. А нашему брату так не под стать этим делом заниматься. Слава Богу, что я неграмотный, а то бы часто доставалось мне за эти иродовы версты. И кто их повывдумывал? Верно, москали, чтобы в поход ходить было веселее. Больше некому выдумать такую штуку.

Проговоривши остроумное заключение, он достал из-за пазухи трубку, огниво и стал высекать огонь.

Густая, темная пустыня мало-помалу начинала редеть, проясняться и, наконец, совсем расступилась. Остались только черные великаны дубы по сторонам дороги, как заколдованные пастухи вокруг заколдованного черного стада.

Дорога была ровная, гладкая. Коляска, однако ж, двигалась так же медленно, как и в лесу. Осторожный философ-кучер покуривал трубочку и не давал воли своему кнуту. А разумные кони и подавно не давали воли своим быстрым ногам. Мы двигались, что называется, ощупью. Через несколько минут лошади укоротили свой и без того короткий шаг. Я почувствовал, что мы спускаемся с горы.

— Не нужно ли затормозить? — спросил я у кучера.

— Не нужно. Гора не крутая, и дорога хорошая, — отвечал он, не вынимая изо рта трубки. И мы продолжали спускаться потихоньку. Спустившись с горы, мы опять очутились в лесу. Только тут дорога уже была заметно шире и ровнее. Вправо показались конические черные верхушки тополей. Подъехав к тополям, кучер взял круто направо,

и мы очутились в широкой тополевой аллее. На горизонтальной линии показались огоньки, не в равном один от другого расстоянии.

— Вот вам и Курнатовка, — проговорил кучер, по-прежнему не вынимая трубки изо рта.

— А где это огни видно? Не [на] фабрике ли какой-нибудь? — спросил я его, глядя на разной величины светящиеся пятна.

— Какое на фабрике! Это в господском доме, — отвечал он насмешливо. — Там такие палаты, что вы только ахнете. У нашего пана кошары лучше будут, — прибавил он тем же тоном и медленно махнул кнутом.

Лошади фыркнули от этой нечаянности и пошли едва заметной рысцей. Из широкой тополевой аллеи мы въехали на широчайший двор, окруженный с трех сторон одноэтажным приземистым зданием. В углу налево, над растворенной небольшой дверью, горели два фонаря. Неужели это парадный подъезд? Не успел я задать себе этот вопрос, как коляска остановилась именно у этой дыры, освещенной двумя фонарями.

II

Не без труда разбудил я своего любезного спутника, и мы выгрузились из экипажа. В дверях нас встретил колоссальный великолепный швейцар с булавою и чистейшим моим родным наречием спросил, как мы прикажем о себе доложить панови. Доложение оказалось лишним, потому что сам пан выбежал в коридор и принял нас в свои широкие объятия. После неоднократных лобызаний хозяин вывел нас из узенького коридора в большую, но низкую и грязную комнату, освещенную одной зеркальной солнцеобразной лампой. В комнате пахло подвалом. Мы отдали верхнее платье заспанному и тоже колоссальному лакею и последовали за хозяином. Вошли в длинную, узкую и тоже низкую, вроде коридора, комнату, обитую красными под штоф обоями, освещенную великолепной лампой с бумажным разноцветным колпаком. Кроме овального стола и красного длинного оттомана, мебели никакой не было в этой уродливой комнате. Из этой уродливой комнаты, и так же вслед за хозяином, проникнули мы в потайную, иначе назвать нельзя, узенькую и низенькую дверь, покрытую такими же обоями, как и стены комнаты, в бесконечно длинный узкий коридор,

освещенный двумя солнцеобразными лампами. Не пройдя и половины коридора, хозяин открыл такую же потайную дверцу и впустил нас в большую четырехугольную комнату, уставленную разноманерными, не домашней, а чуть ли не Гамбсовой работы¹⁰⁸, кушетками и так же освещенную столовой лампой с каким-то бородатым оруженосцем, поднявшим на копье разноцветный бумажный колпак.

— А что же ваша милейшая Агата к нам не пожаловала? — спросил хозяин у моего родича, пожимая ему руки.

— Она что-то не совсем здорова, — отвечал мой спутник запинаясь.

— Жаль, очень жаль! — проговорил хозяин трогательно и тоже запинаясь. — А мы бы составили преферансик. Жаль, очень жаль. Прошу садиться, господа! — прибавил он развязно, указывая на разноманерные кушетки, и, лукаво улыбаясь, прибавил: — На каком угодно инструменте. — Хлопнул в ладоши, и на этот султанский зов явился мальчик в красной гусарской куртке. — Чай и трубки! — сказал хозяин, и гусарик исчез.

Из той самой двери, в которой скрылся миниатюрный гусар, вылезла высокая, тощая, лысая, с огромными усами, довольно грязная фигура в военном сюртуке без эполет.

— Рекомендую, — сказал хозяин, указывая на представляющую фигуру, — однополчанин, однокашник, Иван Иванович поручик Бергоф.

Незнакомец молча поклонился и протянул нам свои длинные, костлявые руки. Мы ответили тем же, и тощая длинная фигура молча отошла в угол и расположилась на одном из инструментов. Тишина была нарушена миниатюрным гусариком, явившимся с бесконечными чубуками, и бесконечным, как чубуки, лакеем, принесшим на огромном серебряном подносе чай в стаканах и ром в реповидном зеленом графине, не миниатюрного размера. Хозяин бесцеремонно долил ромом нарочито неполный стакан моего родича и передал графин мне.

— Гелена моя... — сказал хозяин и остановился. — Гелена моя, — продолжал он, усаживаясь на кушетку с ногами, — сегодня тоже не совсем здорова.

— Что с нею? — спросил я с участием.

— Так, ничего... Я на эти вещи совершенный философ: пускай их что хотят, то и говорят. Собаки лают, да и перестанут.

Я совершенно ничего не понял из сказанного хозяином-философом. Родич мой значительно кивал головой и улыбался, из чего я заключил, что и он понял не больше моего.

После третьих стаканов чаю с прибавкою речь зашла о лошадях, о собаках и, наконец, о соседях и соседках. В числе последних несколько раз произносилась фамилия мадам Прехтель, и всякий раз с каким-нибудь додаточным, например «каракатица» или «кубическая».

Верно, эта мадам Прехтель порядочная женщина, а иначе они с уважением бы об ней говорили. Разговор становился оживленнее, бестолковее и грязнее и кончился тем, что хозяин велел подать стол, карты и просить панну Дороту. В одну минуту все было исполнено, а в довершение всего явилась и панна Дорота. Она молча кокетливо присела и подошла к столу. Не без удивления узнал я в панне Дороте ту самую старую дуэнью, у которой я так нецеремонно отнял свой чай на почтовой станции.

Игроки уселись по местам, и я остался ни при чем.

В обществе картежников, занятых своей профессией, самая жалкая и пошлая фигура — это зритель. А кухня моя, не тем будь помянута, не знает в своей жизни ничего трепетнее и сладостнее, как безмолвно созерцать чужие двойки и тройки. Это для нее выше всякой картинной галереи. Все равно, что для Скотинина¹⁰⁹ свинарник, если не сладостнее. Но, увы! она не предвидела блаженства, случайно выпавшего на мою долю, и сдуру повязала щеку и осталась дома. Простофиля! А я дурень необтесанный! Чтобы не играть роли автомата, любимой роли моей красавицы кухни, я оставил равнодушно сонмище картежников и вышел из кабинета или гостиной, — черт его знает, что оно такое, — в ту самую дверь, из которой выползла безмолвная панна Дорота. Пройдя узенький недлинный коридорчик, очутился я в большой круглой комнате, раскрашенной синими и красными полосами, на манер турецкой палатки. Круглый большой посередине стол и красный турецкий диван около стен составляли украшение и мебель комнаты. Да еще о четырех рожках висячая лампа ярко освещала затейливую залу и длинновязого лакея, убиравшего со стола чайные атрибуты. Простак, не видя меня, приложил горлышко зеленого репообразного графина к своим огромным губам, но, увы! вотще: хозяин и гости ничего не оставили.

Из мнимой турецкой палатки было четыре выхода, и я выбрал противоположный тому, из которого вошел в мнимую палатку. Новое, и совершенно новое явление. Длинная галерея, освещенная несколькими тоже солнцеобразными лампами, разделялась с одной стороны деревянными перегородками на небольшие чуланы, заномерованные римскими золотыми цифрами. Чуланов было десять, и каждый из них украшался горбатой кушеткой и топорной работы картиной отвратительного содержания. Это ничего больше, как домашний гарем господина Курнатовского, открытый и лампами освещенный вертеп разврата! Гнусно! отвратительно гнусно! Не это ли та самая всевозможная роскошь, которою окружил он теперишнюю жену свою и о которой мне говорил мой простодушный родич? Еще гнуснее и отвратительнее! Посмотрим, что дальше откроется. Из возмутительной галереи вошел я в осьмиугольную большую комнату, размалеванную в китайском вкусе и освещенную китайскими фонарями. Комната имела тоже четыре выхода, украшенные надписями красными буквами. Над дверью, из которой я вышел, было написано: «Наслаждение», над противоположной дверью — «Д в и ж е н и е», направо — «О т р а д а», а налево — «Н а г р а д а». Со стороны «Отрады» и «Награды» несло конюшней и псарней; я выбрал фирму «Движение» и очутился в темном ароматическом саду.

III

Не успел я сделать несколько шагов по узенькой дорожке, как услышал звуки шарманки, наигрывавшей какой-то вальс. Звуки неслись с левой стороны и казались недалеко от меня. Я сделал еще несколько шагов вперед и остановился. Влево тянулась длинная и узкая тополевая аллея, а в конце ее светился красный фонарь. Я направился к красному фонарю. Пройдя аллею, я остановился в изумлении. Перед мной нарисовался ярко освещенный павильон или что-то вроде сарая. И в нем-то визжала неугомонная шарманка и двигались какие-то белые фигуры. Шарманка играла вальс, а фигуры не кружились, как бы этого следовало ожидать, а двигались взад и вперед, звучно притопывая ногами. «Странная дисгармония», — подумал я, подходя тихонько к павильону. Осторожно, как кошка, подкрался я к одному окну и увидел... Как бы вы думали, что я увидел? Толпу прехорошеньких деревенских девушек в белых свитках,

преусердно танцующих метелыцю. А мой великодушный однорукий герой еще усерднее играет на шарманке вальс.

Из толпы прекрасных наивных танцовщиц бросалась в глаза [одна], прекраснее и грациознее своих подруг, с барвинковым венком на голове. Это была сестра моего героя, мадам Гелена Курнатовская. Я прильнул к окну так плотно, что чуть стекла не выдавил своим лысым портретом. Танцовщицы так искренно, чистосердечно делали свое дело, что я не опасался за свою нескромность. Они не только меня — и пожару не заметили бы в эти блаженные минуты.

Это, впрочем, меня несколько не извиняет. Я все-таки немного смахивал на волокиту Актеона. Недоставало только быстроглазой Дианы, чтобы увенчать меня венцом, недоверчивым мужьям приличным¹¹⁰.

Вчера — пышная прекрасная невеста богатого пана, а сегодня — крестьянка, подруга своих бедных подруг. Сегодня она прекраснее и великолепно вчерашней пышной невесты. И как она искренно обнимает и целует своих подруг... Я замирал от умиления, глядя на этот простор непорочного и высокоблагородного сердца.

Пан Курнатовский, значит, соврал. Его Геленочка здорова и совершенно счастлива. Она и не думала приглашать к себе своих высокомерных и пустых соседок. Она, как верная, любящая подруга, пригласила своих таких же верных и любящих подруг и простосердечно весело празднует с ними свое необыкновенное весиля (свадьба).

Неутомимый виртуоз устал, наконец, вертеть шарманку, отнял свою единственную руку от блестящего завитка и медленно опустил на стул. Танец кончился. Первая из танцовщиц подошла к нему его сестра, поклонилась ему чуть не до земли, заплакала, зарыдала, судорожно обвила его широкие плечи своими белыми руками и прильнула к его суровому лицу своим нежным прекрасным лицом. Суровый оборонитель Севастополя не устоял. Как жемчуг светлый, заблестели крупные слезы на его смуглых щеках и покатались на расплетенные черные косы счастливейшей сестры.

Если это не полное счастье, так полного счастья нет между людьми. Я прильнул еще плотнее к стеклу, а она, изменица, отскочила от своего всхлипывавшего брата и скрылась в толпе тоже всхлипывающих подруг. Подруги одна за другою чинно подходили к своему обязательному музыканту, кланялись в пояс и благодарили за труды. А между тем

явилась и она, зардевшаяся, огромным подносом в руках, заваленным разнородными сладостями, и с припрашиванием потчевала своих воистину дорогих гостей.

Неутомимый виртуоз, принявши должную дань трудолюбия и искусству, спокойно встал со стула, пощупал шарманку с другой стороны и принялся вертеть. Шарманка вместо вальса запищала полонез Огинского¹¹¹, а танцорки, завернув торопливо в платочки неконченные лакомства, стали одна против другой в прежнем порядке и дружно приуदारилы прежнюю метельцу.

После продолжительного танца была отдана та же честь трудолюбивому музыканту и то же угощение неутомимым танцоркам. Окончив потчеванье, хозяйка поставила тяжелый поднос на шарманку, сказала что-то шепотом брату, а обратившись к подругам, проговорила вслух:

— Нумо, сестры, вечерять.

— Нумо, — отозвались подруги в один голос.

Я рассудил за благо оставить свой обсервационный пост и убраться восвояси с миром, дивясь бывшему. Да и что интересного в жующих людях, а тем более в девушках? Плотоядные, травоядные животные, и только. Даже в зоологическом отношении не интересно.

Как ловкий вор, невидимкою нырнул я в какой-то колючий кустарник, пробрался к красному фонарю и выполз на знакомую тополевою аллею.

Только что почувствовал я себя вне опасности быть открытым, как передо мной показались два мужика с большими корзинами на головах. Нечаянная встреча эта так меня ошеломила, что я совершенно растерялся. Остановился среди аллеи и не знал, что с собою делать. Мужики проходили мимо меня, и один из них, забыв о своей ноше, вздумал мне поклониться. Корзина потеряла равновесие, и звонкие тарелки с громом посыпались на землю и окончательно меня уничтожили. На этот предательский гром выбежала из павильона сама хозяйка и за нею несколько девушек. А я сделал три шага им навстречу, — глупее я ничего не мог сделать, — и остановился. А вежливый виновник всей этой суматохи на вопрос хозяйки: «Что сделалось?» — подбирая битые тарелки и бережно их складывая в корзину, проговорил едва слышно: «Паныч» (так называли они Курнатовского). Хозяйка взглянула вокруг и, увидя меня, бросилась ко мне, обхватила руками мою преступную голову и принялася целовать, восторженно

приговаривая: «Серце мое! Дружино моя! — И я почувствовал ее теплую слезу у себя на лице. — Ты приходил посмотреть на мою свадьбу, на мою радость?» Тут я догадался, в чем дело: она приняла меня за своего мужа. С сожалением, правда, я отвел ее лицо от моего лица. Мы взглянули друг на друга.

— Боже мой, что я сделала! — вскрикнула она, закрыв лицо руками. Через минуту она открыла лицо и, обращаясь ко мне, сказала: — Простите мне, я приняла вас за своего мужа. Я думала, он пришел посмотреть мою деревенскую свадьбу.

— Вы меня простите ли за мою нескромность? — и тут же ей открыл все свое похождение.

— Так вы гость наших добрых соседей? — сказала она с расстановкой и, взяв меня за руки, прибавила: — Так будьте же и моим дорогим гостем. Зайдите хоть на минуточку, хоть только взгляните на мою свадьбу и на моего единого друга, на моего милого брата!

Едва она кончила фразу, как брат ее стоял уже перед нами и неловко кланялся. Как старому знакомцу, я протянул ему руку, хозяйка взяла меня за другую, и мы пошли к павильону. У самого входа у меня родилась оригинальная мысль. Я остановился, просил сестру и брата оставить меня за дверью и выслать ко мне мужика, виновника суматохи. Мужик тотчас вышел. Я не без труда уговорил его надеть мой фрак, а сам нарядился в его праздничную белую свитку. Преобразившись таким образом и взявшись за руки, вошли мы в павильон. Брат и сестра после мгновенного недоумения с восторгом обняли меня и, взявши под руки меня и моего товарища, подвели к тесно скүпившимся девушкам в другом конце залы. Девушки сначала молчали, но, взглянув на своего Гарасыма во фраке и в беспредельно широких шароварах, фыркнули и звонко захохотали во весь девичий молодой хохот.

— Майстер! Майстер! Гарасым-майстер! — повторяли они сквозь хохот.

А Гарасым, майстер тарелки бить, не в шутку рассердился и начал было снимать с себя смехотворный фрак. Чего ему, однако ж, не позволили. А когда угомонились и меня осмотрели девушки, то в один голос назвали настоящим гречко с и ем. Чем я был сердечно доволен. Простодушные, они не знали, что сказали мне любезнейший комплимент как актеру. После этого чистосердечного комплимента я так во-

шел в свою роль, что, не говоря о гостях, сама хозяйка и ее брат, оставив принужденное великороссийское наречие, заговорили со мной по-своему, т. е. по-малороссийски.

Сколько я был весел, развязен и счастлив, столько бедный Гарасым-майстер угрюм, связан и несчастлив. Насмешницы не давали ему покоя и довели его, бедного, до того, что он снял с себя фрак, и если б не хозяйка удержала его мощные руки, то не рисоваться бы мне больше на свадьбах и крестинах в моем долговечном, неизносимом фраке. Он разорвал бы его и бросил, как тряпку, негодную даже на онучи, чем, между нами будь сказано, Трохим был бы очень доволен. А мне пришлось бы продолжать роль гречко-с и я до возвращения к родичам. Кончилось, однако ж, тем, что по настоянию хозяйки майстер Гарасым натянул на себя снова фрак. И до того повеселел и развернулся неуклюжий Гарасым, что, когда после ужина вынесли стол из павильона и шарманка загудела снова какой-то вальс, майстер Гарасым, взявшись в боки, да так ударил козачка, что только окна зазвенели. Хозяйка, гости, я и даже молчаливый защитник Севастополя залились самым чистосердечным смехом.

И, правду сказать, было чему смеяться. Если бы мертвый встал из гроба да взглянул на земляка моего, одетого, как Гарасым теперь был одет, и плясал бы вдобавок козачка, то, уверяю вас, если бы он не захохотал, то по крайней мере улыбнулся бы. Такое смешное превращение и самому Овидию Назону в голову не приходило.

Хозяйка и гости уже устали хохотать и только усмехались, поглядывая друг на друга. А неутомимый майстер Гарасым, казалось, только что начал входить в душу своих бесконечно выразительных па. Резвые насмешницы, наконец, и улыбаться перестали, и только некоторые из них от избытка удивления восклицали:

— Оце-то так!

— Настоящий пан в кургузому жупани! — прибавляли другие.

Но Гарасым, ничего не видя и не слыша, продолжал с успехом начатое дело.

— Та цур тобі, Гарасyme! — сказали девушки в один голос. — Який ты там у черта пан! Ты наш настоящий майстер Гарасым!

Танцор, услышав, что с него снято позорное название пана, остановился, выдергал из-под рукава фрака широкий рукав

своей белой рубахи, вытер им мокрое свое лицо и, начиная с хозяйки, перецеловал всех насмешниц, приговаривая:

— От вам и пан! От вам и пан! — Потом снял с себя фрак и, подавая мне, поклонился и сказал: — Спасыби за позычки!

— И вам спасыби, пане майстре Гарасыме! — сказал я, передавая ему свитку. Он надел свою свитку, поклонился хозяйке и вышел из павильона. Тогда я обратился к одной из девушек и спросил:

— Какой Гарасым майстер?

— Всякий, — отвечала она, — що схоче, то те й зробить. Не много же узнал я о настоящей профессии Гарасыма.

Гости, почувствовав, что лучшего финала им не придумать, поблагодарили звонкими поцалуями свою счастливую подругу за угощение и вышли вслед за Гарасымом.

Хозяйка велела другому мужику, товарищу Гарасыма, погасить огни и ложиться спать, где ему заблагорассудится. Потом, взяв меня и брата за руки, вывела нас в сад. В саду сказала она брату:

— Иди ты, Осипе, приготовь квартиру нашему дорогому гостю в новом доме и приставь к ней старого Прохора для услуги. А вы, мой дорогой единый гость, — прибавила она, дружески пожимая мою руку, — проводите меня в покои.

Расставшись с моим героем, мы тихо, молча пошли вдоль аллеи.

IV

Проходя молча знакомую тополевую аллею, мы несколько раз останавливались и слушали, как резвые подруги моей прекрасной грустной спутницы пели свадебные песни, удаляясь от павильона. В последний раз мы остановились у самой двери, ведущей в дом, под фирмою «Движение», и долго слушали исчезающие звуки веселой песни. Постепенно стихая, звуки, наконец, затихли, а спутница моя все еще стояла молча, как бы прислушиваясь к родным сердцу, милым звукам.

— По хатам разошлись мои подруги, — едва слышно она проговорила и, как ребенок, зарыдала.

Малейшим движением я не смел нарушить ее глубокого тихого стенания. Она искренно, чистосердечно прощалась с своими подругами, с своей бедной девичьей волею. Она теперь только сознавала свое тесное рабство. Теперь только она почувствовала над собою волю немилостивого и чуждого ей

человека во всех отношениях. Бедная, что ждет тебя впереди? Что встретишь ты на избранной тобой дороге?

— Не правда ли, я совершенно счастлива? — сказала она, утирая слезы и судорожно пожимая мне руку. Я недоверчиво взглянул на нее, и она продолжала: — Вы не верите? Скажите же, друже мой добрый, имела ли хоть одна на всем свете сестра такого брата, как я имею? И как я виновата перед ним! — прибавила она вполголоса. — Мне бы надо идти в черницы и молиться за его Богу. А я что сделала? — И она снова заплакала.

«Минуты счастья минули, настали годы испытаний^{112!}» — говорит какой-то поэт. А я, глядя на мою героиню, сказал: «Если останешься навсегда такую чистою и непорочною, как теперь, то минута твоей светлой радости продлится до гроба». Она как бы подслушала мою мысль, вдруг остановила слезы, перекрестилась, кротко взглянула на меня, улыбнулась, и мы молча вошли в китайскую комнату.

— Видите, какое у нас сегодня праздничное освещение в доме? — сказала она, снимая с головы своей барвинковый венок. — Он, муж мой, ждал к себе сегодня гостей, а гости, кроме вас, и не приехали. Значит, я наполовину угадала. Да и кто теперь поедет к нему? Никто, кроме Прехтелей, а он сам их чуждается.

— Скажите мне, Бога ради, что за люди эти Прехтели? — прервал я ее.

— Наши близкие соседи, добрые люди. Он искусный доктор, а она лучшая женщина во всем околотке.

Значит, я не ошибся, выводя заключение из слов моей милой кузины и ее благородного друга. Молча и быстро прошли мы галерею о десяти загадочных чуланах и очутились в круглой комнате, раскрашенной под палатку, перед лицом самой панны Дороты.

Она стояла у круглого стола, покрытого белой чистой скатертью. Засучив рукава и повязав салфетку вместо фартуха, она глубокомысленно готовила к ужину кресс-салат¹¹³ с душистым огурешником.

— Моя кохана панно Дорото, — сказала по-польски моя спутница, — витай моего дорогого гостя, пока я переоденуся. — И она мгновенно скрылась.

Панна Дорота медленно подняла голову, неопределенно взглянула на меня и едва заметно кивнула головой. Я сделал то же. Она прошептала: «Прошу садиться». Я сел. Я чувствовал, что мое положение самое незавидное, если не самое

глупое. В критических обстоятельствах, в таких, например, как теперь, я тупо ненаходчив, да и панна Дорота, кажется, не острее меня. Долго молча сидел я и смотрел на старую идиотку и, наконец, подумал:

«Так это твоя мать, наставница и гувернантка? Хороша, нечего сказать! От кого же ты, моя милая героиня, выучилась русскому и польскому языку? А главное, от кого ты приняла и так глубоко усвоила этот нежный такт и эти милые, сердечные манеры? От Бога? От природы? Так, но и помощь людская тут необходима».

Такие и подобные вопросы и задачи вертелись в голове моей до тех пор, пока тихо, как ласковая кошечка, вошла в комнату моя прекрасная спутница, одетая изящно и просто. Пока я удивлялся ее превращению, она, приложив пальчик к губам, на цыпочках зашла в тыл панне Дороте и быстро закрыла ее опущенные глаза своими детски маленькими ручками. Пока панна Дорота вытирала салфеткой свои мокрые руки, шалунья отняла свои руки и быстро, как кошечка же, отпрыгнула ко мне и, падая на диван, звонко засмеялась.

— С в а в о л и ш ь, Гелено! — ворчала недовольная панна Дорота, поправляя свой измятый чепец.

— Не буду, не буду, моя добрая, моя любая мамочка! — говорила Гелена и, подойдя к старой ворчунье, нежно поцеловала ее в лоб. Старуха улыбнулась и, возвратив шалунье поцелуй, спросила ее о чем-то шепотом. Та отвечала ей тем же тоном. Вероятно, речь шла обо мне. Пока все это происходило, я продолжал удивляться превращению резвушки. Ни тени бывшей крестьянки. От волоска до ноготка барышня, да еще и барышня какая! Самая элегантная. В какой школе, в каком институте она выучилась так к лицу, так изящно-просто одеваться? Удивительная вещь чувство изящного! На ней было темно-серое шелковое платье с такими широкими прекрасными складками, какими щеголяют только одни Рафаэлены музы. В темной роскошной косе с несколькими листочками зелени, как яхонт, блестел яркий синий барвинковый цветок. Узенький воротничок и такие же рукавчики довершали ее изящный наряд. Кому бы в голову пришло, глядя на эту четвертую грацию¹¹⁴, спросить у нее, читает ли она русскую грамоту? Вот же мне пришел в голову такой, и скажу основательный, вопрос.

— О чем это вы так тяжело задумались, мой драгоценный гость? — проговорила она, подходя ко мне.

— О том, о том, — говорил я, глядя в ее прекрасные умные глаза, и чуть-чуть не проговорился.

— О чем же, скажите? — спросила она вкрадчиво.

— Завтра скажу, а сегодня не могу. Или вот что, — прибавил я нерешительно, — наденьте опять барвинковый веночек, тогда скажу.

— Скажете?

Не успел я произнести «да», как она выпорхнула в галерею с отвратительными чуланами. И пока я поднимался с мягкого оттомана, как впорхнула она опять в круглую комнату с барвинковым венком на голове.

— Муза Терпсихора!¹¹⁵ — воскликнул я от изумления.

— Где музыка? — спросила она наивно.

— Вы муза гармонии! Вы самая вдохновенная, самая возвышенная музыка! — отвечал я восторженно.

Я восхищался ее замешательством, ее восхитительно живописной юной головкой в барвинковом венке с яркими синими цветами. Иной хват тут же бы упал на колени, как перед богиней, и в любви объяснился. Я сделал иначе. Налюбовавшись досыта моей музою, я усадил ее на оттомане и, полюбовавшись еще немножко, сказал:

— Вы прекрасно объясняетесь по-русски и по-польски: читаете ли вы хоть на одном каком языке?

— Читайте, — отвечала она без малейшего смущения, — и даже писать начинаю. По-польски меня учит панна Дорота, а по-русски старый Прохор, тот самый, что будет вам прислуживать.

— Простите же мне мой грубый, но дружеский вопрос, мадам Гелена, — прибавил я почтительно.

— Как хотите, так и называйте. Только полюбите меня и моего единственного брата, — прибавила она, сквозь слезы улыбаясь. — А за вопрос ваш я вам сердечно благодарна. Вы мне желаете добра... — Она хотела еще что-то сказать, как вошел в комнату длинный лакей и, подойдя к безмолвной слушательнице нашего разговора, спросил:

— Не пора ли на стол накрывать?

Панна Дорота отвечала тихим наклоном головы и, обращаясь к нам, проговорила по-русски:

— Не угодно ли будет пожаловать в кабинет?

— Не угодно ли вам самим пожаловать в кабинет? Я буду за порядком смотреть. Я теперь хозяйка.

— И прекрасно, — сказал ядружески и последовал за непрекословною панною Доротою в кабинет.

Молча, как безобразные привидения, в облаках табачного дыма сидели приятели и резались в штос, или, как выражается мой немноглаголивый родич, недоимку собирали.

Так как талия была в ходу, — она лилась из искусных костлявых рук Ивана Ивановича Бергофа, — то наше присутствие в кабинете и не было никем замечено. Пользуясь неизвестностию, я отошел в темный угол и кое-как уселся на горбатой кушетке. Панна Дорота тоже воспользовалась неизвестностию и, поморщившись, отошла в сторону от немилосердно курящих рыцарей зеленого стола. И тоже кое-как опустилась на горбатую кушетку и призадумалась. Полно, так ли? Она, кажется, просто бессмысленно смотрела на густой табачный дым и совершенно ничего не думала. Глядя на ее жалкую фигуру, я в первый раз спросил себя, кто она? и что она у господина Курнатовского? Дальняя ли родственница, шляхтянка бесприютная? Нянька ли его и тоже шляхтянка бесприютная? Может быть, и то и другое, кроме порядочной женщины. Порядочная женщина несовместна в доме у человека, даже ближайшего родственника, который заводит гарем из собственных крепостных крестьянок. И, женившись на одной из одалисок своих, он и не думает сделаться ее другом, ее заступником. Он по-прежнему ее владыка, он настоящий султан, гусар. На второй день после свадьбы понтирует¹¹⁶ себе молодецки и знать ничего не хочет. Он сделал свое дело, да и в сторону. А она, простодушная, с восторгом встречает его в саду, думает, что он, добрый, идет разделить с нею ее непорочную радость, хотя в окно взглянуть на ее счастье, на ее задушевный праздник! А он... животное! Самое отвратительное животное! А что же панна Дорота? Тоже грязное животное. Порядочная женщина скорее протянет руку во имя Христа за гнилым огрызком хлеба, чем станет готовить салат для роскошного стола сластолюбца и развратителя.

Не слишком ли я прогулялся насчет панны Дороты? Она, если не любит, по крайней мере не презирает бывшей невольницы. А это много. Развращенная женщина этого не сделает. Кузина моя? Но это дело другого рода. Что же, наконец, такое эта безмолвная панна Дорота? Гиероглиф пока, таинственный гиероглиф, над которым сам Шампо-

льон¹¹⁷ призадумался бы. Но время открывает истину. Время и прилежное исследование открывает возмутительные дела сильных мира сего, давно уже забытых великодушным потомством. Время, надеюсь, и мне объяснит эту, пока загадочную, жалкую панну Дороту.

А пока не войдет лакей и не возвестит о уготованной трапезе, нарисую вам, благосклонные слушатели, картину самого задорного штоса, а в особенности штосмейстера, т. е. банкомета. Нет, не могу! Я не живописец пошлых, отвратительных сцен и бледных, деревянных физиономий. Да и что нового, оригинального в этой безнравственной, гнусной картине? Содержание ее одно и в Сан-Франциско, и в кабинете Курнатовского, и на любой ярмарке. Декорация только не одна. В Сан-Франциско, например. Там содержатель игорного вертепа нанимает женщину, т. е. подобие женщины, чтобы она, как адская царица Прозерпина¹¹⁸, на троне присутствовала при состязающихся шулерах.

Нет худа без добра. Хорошо, что моя милая кузина ничего не читает. Иначе она прочитала бы записки Ротчева о Калифорнии¹¹⁹ и заставила бы своего тетерю ограбить крестьян и ехать прямо в Сан-Франциско для того только, чтобы покрасоваться в интересной роли Прозерпины. Шепнуть ей разве когда-нибудь об этой назидательной роли? Да она меня расцелует за эту новость. Забудет все нанесенные мною ей оскорбления. Забудет даже, что я первый сообщил ей известие об уничтожении ее идола — эполет. Забудет все. Но все-таки усомнится о таком неслыханном блаженстве на земли.

Но не о ней речь. Она нечаянно под перо подвернулась. А речь о том... Где у нас в России та великая академия, которая образовывает таких бездушных автоматов, штос- и банкомейстеров, как, например, Иван Иванович Бергоф? Нигде больше, я думаю, как в кавалерии. Хотя и пехотинец иной при случае лицом в грязь не ударит, но все-таки далеко не то, что кавалерист. Далеко не то! Недаром моя милая кузина благоговееет перед кавалеристами, в особенности перед гусарами.

Наконец длинный лакей явился и сиплым басом возгласил о уготованной трапезе. Картежники не шевельнулись, они как будто ничего не слышали, а мы с панной Доротой молча вышли в круглую залу, она же и столовая.

Посередине залы стоял круглый великолепно сервированный стол. А посередине стола возвышалась поставленная в серебряную вазу античной формы сосновая ветка, увешанная конфетами, пучками колосьев овса и повитая гирляндой из барвинковых цветов. Это была не немецкая елка, а так называемое гильце, непременно украшение свадебного стола у малороссиян.

Безмолвная панна Дорота взглянула на милую затею своей Гелены, улыбнулась и прошла к дивану. Я, тоже безмолвный, остановился [перед] наивным украшением, возведенным до изящества. Сам Бог тебя умудряет, моя прекрасная Елена. Самой прекрасной Елены не было в зале, когда я так думал, любуясь ее милым произведением. И, чтобы хоть с кем-нибудь разделить свой тихий восторг, я обратился к безмолвно улыбающейся панне Дороте и сказал ей по-польски какой-то современный ее юности комплимент за воспитание ее милой Гелены. Она вместо улыбки сделала гримасу, и любезность ее тем кончилась.

Один за другим вошли в залу картежники и, ничего не замечая, молча, торопливо сели за стол, не рядом и не один против другого, а так, как попало.

— Подавай! — сказал хозяин длинному лакею. Лакей скрылся в одну дверь, а из другой двери тихо, плавно, как лучезарная Аврора, вышла хозяйка в белом шелковом платье такого же самого покроя, как и прежде. Я замер от восторга и едва мог подняться с оттомана, чтобы благоговейно приветствовать восходящее светило. Картежники не заметили ее торжественного появления. Они мрачно погрузились в свои серебряные приборы. Она, как испуганная белая голубка, на мгновение остановилась, робко взглянула на гостей, тихо, едва слышно подошла к мужу, поцеловала его в зардевшийся лоб и молча села возле него, давая мне знак, чтобы я садился рядом с нею. Я повиновался. Панна Дорота села с другой стороны около своего фаворита. Тишина царила в нашей разнообразной компании. Наконец, хозяин возмутил ее мрачное владычество, сказавши, обращаясь к жене:

— Я думал, ты сегодня не совсем здорова.

— Совершенно здорова, — сказала она, принужденно улыбаясь. — И совершенно счастлива, — прибавила она, глядя ему в очи.

— А я не совсем счастлив, — проворчал он.

— Что случилось? — спросила она быстро.

— Ничего, друг мой, продулся малую толику, — отвечал он принужденно.

Она не поняла, в чем дело, и, минуту помолчав, сказала:

— А у меня сегодня были гости, мои подруги. И как мы танцевали! Как было весело! Особенно когда пришел к нам наш дорогой гость. — И, улыбаясь, она взглянула на меня.

— Кто же это такой наш дорогой гость? — спросил он ее, набивая свой широкий рот ароматическим патефуа.

— Мой сосед, — сказала она, показывая на меня.

— Я думаю, вам было очень приятно в таком милом обществе? — сказал хозяин иронически.

— Больше, нежели приятно, — весело! — сказал я.

— Правда, вы художник, это в вашем вкусе, — проговорил он, гложа кость.

Я не нашел нужным подтверждать его справедливое замечание, и тишина снова воцарилась.

Прекрасная хозяйка растерялась и не находила слов для своих мрачных гостей. Как голодные собаки, они молча грызли кости и запивали каким-то вином. Гости торопились и давились костями. Им было недосуг. Изумленная и оскорбленная хозяйка, как овечка кроткая, робко поглядывала на своих волков-гостей и не знала, чему приписать эту мрачную торопливость. После жаркого картежники выпили по стакану шампанского, налили по другому, переглянулись меж собой, встали из-за стола, молча поклонились хозяйке и вышли в кабинет вместе с хозяином и со стаканами в руках.

— А пирожное! а яблока! — сказала смущенная хозяйка.

— Пришли нам в кабинет, — говорил ротмистр, возвращаясь, и, оскоря свои белые большие зубы, прибавил, протягивая жене руку: — Поддай мне на счастье свою руку.

Она молча подала ему руку и вскрикнула от нелicenseрного пожатия. А он как ни в чем не бывало повернулся и вышел из залы.

Как беломраморная надгробная статуя, опустила она свою прекрасную голову на высокую грудь и неподвижно, молча сидела оскорбленная, моя прекрасная Елена. Я смотрел на нее, прекрасную, поруганную, и с замиранием сердца чего-то ожидал. Она тяжело вздохнула, грустно улыбнулась, взглянула мне в глаза и едва слышно прошептала: «В е с и л л я!»

И, как жемчуг, крупные блестящие слезы полились из-под ее длинных опущенных ресниц.

Панна Дорота смотрела на нее и молчала. Я тоже не мог выговорить ни слова. А она плакала, тихо и горько плакала. Я дыханием не смел нарушить тишины. Тишины, во время которой на алтарь семейного счастья приносилась великая таинственная жертва. Она, простая, бедная крестьянка, она, пламенная, непорочная, любящая и так грубо оскорбленная, — она глубоко и в первый раз в жизни почувствовала эту ядовитую горечь оскорбления. И заплакала не как обыкновенная женщина, но как женщина возвышенная, глубоко сознающая собственное и вообще женское достоинство. Горе тебе, едва распустившаяся лилия Эдема! Тебя сорвала буря жизни и бросила под ногу человеку грубому, сластолюбцу холодному. Теперь только ты узнала настоящее горе. И, как над дорогим сердцу покойником, ты заплакала над своим умершим счастьем.

— От вам и весилля! — сказала она, улыбаясь и утирая слезы. — Я думала, что не буду сегодня плакать, да и заплакала... А вы, моя милая панно Дорото, — продолжала она дрожащим голосом, — что же вы не плачете? Вы моя мать, вы меня замуж снаряжаете. — И она снова зарыдала.

Панна Дорота посмотрела на нее пристально и принялась чистить яблоко. Я понимал настоящую причину ее слез и, как мог, растолковал ей, что значит картежник. Она поняла меня и непритворно успокоилась. А вскоре до того развеселилась, что налила себе, мне и панне Дороте в бокалы шампанского.

— За здоровье вашего брата! — сказал я, подымая бокал. Она медленно, сердечно, нежно посмотрела мне в глаза, молча подала мне руку, мы чокнулись и дружно выпили вино.

— С в а в о л и ш ь! — проворчала панна Дорота.
А Гелена вместо ответа вполголоса запела:

Упылася я,
Не за ваши я.
В мене курка неслася,
Я за яйца выпылася¹²⁰.

И, кончивши куплет, наклонилась к своей старой ворчунье, крепко поцаловала ее в нахмуренный лоб.

— С в а в о л и ш ь, Гелено! — повторила панна Дорота, и мы встали из-за стола.

— Что же нам теперь делать? — сказала хозяйка, опускаясь на оттоман.

— Спать, — сказал я добросовестно.

— Я спать не хочу. Я теперь бы танцевала, до самого утра танцевала бы, — говорила она, смеясь и лукаво поглядывая на панну Дороту.

— За чем же дело стало? — сказал я. — Пойдем опять в павильон, я буду вертеть шарманку, а вы танцуйте с панной Доротой.

— Нет, не так, мы панну Дороту заставим играть, а с вами будем танцевать. Мамуню моя! — прибавила она, нежно целуя свою дуэнью. — Пойдем в павильон.

— С в а в о л и ш ь, Гелено! — проворчала невозмутимая старуха и отрицательно кивнула головой.

— А я вам не буду читать «Остапа» и «Ульяну»¹²¹, когда вы ляжете спать. Я ей каждую ночь читаю, — продолжала она, обращаясь ко мне, — а она один час не хочет для меня повертеть шарманку. Ей-богу, читать не буду! А завтра и цветы не полью до восхода солнца. Пускай вянут! Вам же хуже будет. Придется другие садить. А я и другие не полью. Пойдем же, моя мамусенько, хоть на один часочек! — И она нежно прижалась к панне Дороте.

— С в а в о л и ш ь, Гелено! — проговорила та своим деревянным голосом. Гелена задумалась на минуту и потом сказала, обращаясь к своей дуэне:

— Пойдем лучше спать. Я вас раздену, моя мамочко, накрою вас и буду вам читать, до самого утра буду вам читать.

— Желаю вам короткой ночи, — сказал я, кланяясь.

— Подождите, я вас проведу до швейцара, а то вы заблудите в нашем Вавилоне, и передам вас на руки старому Прохору, — говорила она, вставая и охорашиваясь.

Я не отнекивался от этой милой услуги и вслед за хозяйкой вышел в одну из четырех дверей. Пройдя узкий коридор и известную уже читателю красную комнату, мы вышли опять в коридор и очутились у выхода на двор. Она постучала в дверь. И вместо колоссального швейцара явился маленький жиденский старичок с фонарем в руке.

— От вам и Прохор, — сказала она мне и, обращаясь к старичку, продолжала: — А ты, Прохоре, будь ласкав, як очей своих стережи сего пана. Прощайте, — сказала она, подавая мне руку.

Едва успел я выговорить: «Прощайте!» — как она уже исчезла в глубине коридора, и только шум шелкового платья долетал до меня.

Я стоял неподвижно и слушал этот гармонический шум. Прохор, казалось, тоже был под влиянием этой безгласной гармонии. Так прошло несколько минут. Прохор первый очнулся и выпустил меня на двор.

Пройдя небольшое пространство за Прохором или, вернее, за фонарем, мы очутились на лестнице и, взойдя во второй этаж, вошли в чистую небольшую комнату, а потом в большую, освещенную восковой свечой. Я поблагодарил и отпустил Прохора. Разделся. Погасил свечу и утонул в чистой свежей постели.

VI

Против обыкновения я скоро заснул. Спал крепко, но не долго. Едва начал проникать слабый свет сквозь белые прозрачные шторы, как я проснулся. Отвернувшись к стене, попробовал было заснуть снова, но напрасно и пробовал. Происшествия минувшей ночи разом завертелись в моем воображении и не давали мне покоя. Не припомню, которой ногой я встал с постели и подошел к окну, чтобы взглянуть на фасад этого безобразного лабиринта, в котором я встретил такую прекрасную волшебницу.

Приподнял стору, и первое, что мне попалося на глаза, — это старый Прохор. Он шел через двор с умывальной посудой в руках и с полотенцем через плечо. Ничего не могло быть для меня больше кстати. Стало быть, Прохор не промах в лакейской профессии. А с виду-то он не похож на члена этого многочисленного праздного, растленного сословия. Он более смахивал на скотника, дворника или огородника, но никак не на лакея. И что ей вздумалось назначить мне такую нецеховую прислугу? Не сказал ли ей кто-нибудь, что я терпеть не могу цеховых мастеров лакейского дела? Сочувствие, ничего больше. А между тем в переднюю комнату тихо вошел мой личарда¹²². Минуту спустя он едва слышно кашлянул и, отворив тихонько дверь, показал мне свою кроткую, тощую физиономию.

— Добрыдень вам, — сказал он хриплым дискантом. — Чом же вы не спыте? — прибавил он, растворяя дверь.

— Не спытсья, Прохоре! — отвечал я ему его же наречием.

— Не спытаться, — повторил он едва слышно. — Дыво, и в карты не граете, и не спыте. Так будем умываться, колы так, — говорил он, ставя умывальный прибор на стул.

— А разве паны все еще играют в карты? — спросил я его.

— Грають, — отвечал он лаконически.

«Молодцы!» — подумал я тоже лаконически. И, любясь кроткой, грустно улыбающейся миной Прохора, спросил его, не был ли он когда-нибудь садовником или пастухом чужого стада?

— И садовником, и пастухом був, — отвечал он, глядя на меня пытливо.

— А еще чем был? — спросил я его.

— И паламарем, и бродягою, и кобзаря слипого водыв колысь, ще малым. От и в лакеях Бог велив побувать. — Последние слова проговорил он едва слышно.

После омовения я наскоро, без помощи Прохора, оделся, взял шапку, палку и вышел в переднюю.

— Вы, мабуть, такой самый пан, як я ваш лакей, — сказал Прохор, оглядывая меня. — Я еще и сапоги не вычистил, а вы вже и одяглись.

— Завтра вычистишь, Прохоре, — сказал я и вышел за двери.

— Не заблудите в наших вертепах, — сказал догадливый Прохор, притворяя дверь.

Вышел я на середину широкого, покрытого зеленой муравой двора и посмотрел вокруг себя. И во сне не видал я безобразно-оригинальнее здания, какое уви[дел] теперь наяву. Ни тени стройности! ни малейшей симметрии! Двух окон во всем здании нет одной величины. Во всем здании какое-то умышленное безобразное разнообразие. Окна, двери, крыши, трубы — все ссорилось между собою, как пьяные бабы на базаре. Из-за какого-то сарая с круглым окном и шестиугольной дверью выглядывали три старых вяза, точно три мужика подошли полюбоваться на свое пьяное неугомонное подружие. Все, что я видел вокруг себя, было действительно похоже на базар в самом развале. С какой мыслью, с какой целью нагромождено это бестолковое безобразие?

Необходимо войти в ближайшие отношения с Прохором. Он должен знать хоть по преданию этого сумасшедшего строителя. Интересно узнать такого чудака. Мне кажется, тут есть что-то общее между панной Доротой

и этим зданием. Да нет ли еще в народе легенды или песни про этот Вавилон? Ежели есть, то Прохор, верно, ее знает. Решено: во что бы то ни стало, а я добьюсь толку в этом бестолковом деле.

А пока со двора вышел я на широкую тополевую аллею, по которой мы вчера въехали в этот лабиринт. Пройдя аллею, вышел я на пригорок. Посмотрел вокруг — лес непроходимый, из лесу кой-где рядами в разных направлениях торчали верхушки тополей и вился яркий голубой дымок по направлению к дому. «Не бывший ли это разбойничий притон?» — спросил я сам себя и возвратился вспять, дивясь виденному.

Мне хотелось пробраться как-нибудь в сад. Но как? Этого я не знал. И благоразумно предоставил это дело случаю. Случай не замедлил представиться. Из аллеи, по которой я выходил и теперь возвращался в дом, показалась мне в правой руке узенькая дорожка, или, как говорят земляки мои, волчья стезька. Я воспользовался волчьей стезей и вошел в темный липовый лес. Пройдя шагов сотню, в лесу показался фруктовый сад без всякой ограды. Пройдя фруктовый сад, я, как околдованный богатырь, остановился перед тремя ветвями расходившейся дорожки. Подумал с минуту и выбрал крайнюю слева, ведущую, как мне казалось, к дому. Избранная мною дорожка вилась между старой лещины (орешник), между которой торчали тоже старые, толстые, развесистые липы и такие же суховерхие грабы и клены. Все это было освещено теплым утренним солнцем и, как пишется, само просило под кисть живописца. Но мне в это время было не до живописи, меня занимал вопрос, куда приведет меня волчья дорожка? А чтобы разрешить эту задачу, я удвоил шаги, и только что я удвоил шаги, как наткнулся на толстый белый корень, лежащий поперек дорожки. Я остановился, поднял голову. Смотрю — и вижу: старый, сухой огромный клен распустил свои обнаженные ветви, как патриарх седой воздел дряхлеющие руки над чадами чад своих, моля о благословении Вездесущего.

Как ни был я занят результатом таинственной дорожки, но перед дряхлым праотцем орешника остановился и чуть-чуть было не снял шапку. Так иногда случается встретить на улице благообразного старца, и рука невольно подымается к шапке. Это прекрасное чувство, я думаю, врожденное уже в человеке, а не воспитанием усвоенное. Как бы там

ни было, только я, как перед живым существом, с благоговением остановился перед усохшим величественным кленом. Солнечные лучи, проскользнув сквозь густые ветви орешника, упали на его древние, обнаженные стопы, т. е. на корни. И так эффектно, так ярко, прекрасно осветили их, что я сколько можно дальше отодвинулся назад, уселся в тени орешника и, как настоящий живописец, любовался светлым, прекрасным пятном на темном серо-зеленом фоне. Как долго я наслаждался этой картиной, не помню. Помню только, как крупная капля росы с листьев орешника упала на лицо и разбудила меня.

Проснувшись, я рассудил, что тут мне делать нечего, потому что светлое пятно исчезло. Остался только сухой клен и его самые обыкновенные корни. Лениво приподнялся я, стряхнул с себя сухие листья и, как ни в чем не бывало, пустился дальше по волчьей дорожке. Дорожка привела меня к какому-то сараю без окон и дверей, примкнутому к главному корпусу здания с разнокалиберными окнами. Сарай, вероятно, заключал в себе какую-нибудь фирму «Отраду» или «Наслаждение», т. е. конюшню или псарню. Дорожка, коснувшись помянутого сарая, повернула вправо. Я пошел далее. Кустарники орешника сменились кустарниками бузины, крыжовника и смородины. Значит, я добрался уже до настоящего господского сада. «Ладно», — думаю себе и продолжаю свой загадочный путь. Вскоре вышел я в тополевую аллею. Смотрю, в конце аллеи белеет какое-то здание. Не вчерашний ли это павильон? Он же и есть. Я прибавил шагу и через минуту очутился у знакомого павильона. Двери были растворены, вхожу и вижу безмолвную панну Дороту, сидящую за круглым столом перед блестящим огромным серебряным кофейником.

— Доброго рана, — сказал я ей, кланяясь.

— Доброго полудня, — ответила она, кивнув головой, и почти улыбнулась.

Едва успел я нецеремонно сесть против панны Дороты, как вбежала или, лучше сказать, впорхнула в павильон ранней птичкой моя прекрасная Елена и повисла у меня на шее.

— С в а в о л и ш ь, Гелено! — проворчала дуэна и принялась разливать кофе.

— Где вы пропадали? — быстро спросила меня резвушка Гелена и, не дав мне выговорить ответа, продолжала: — А брат

хотел уже ехать за вами в Будище. А бедный Прохор плачет от горя. Я тоже чуть-чуть не заплакала, — прибавила она, улыбаясь. — Да! — сказала она, как бы вспоминая что-то. — Мне нужно вам приятную новость сказать по секрету. — И, наклонясь ко мне, прошептала:

— Вы понравились панне Дороте!

— Рад стараться, — сказал я смеясь, а про себя подумал: «Убил бобра!¹²³»

— Не смейтесь, — сказала она серьезно. — Это большая редкость. Ей даже брат мой не нравится. Я не знаю, чтобы ей кто нравился, кроме меня и Прохора. А вы третий. Вот что! — прибавила она, взглянув на безмолвную панну Дороту.

— А когда так, — сказал я шутя, — так нечего напрасно время тратить. Честным пирком да и за свадебку.

— Она не пойдет замуж, — пресерьезно сказала прекрасная Елена. — Она давно уже черница, сестра-кармелитка¹²⁴, и для меня только остается здесь и не едет в свой кляштор.

— Гелено! Кофе стынет! — сказала громко панна Дорота.

— Зараз, моя мамочко! — сказала нежно моя прекрасная собеседница и протянула руку к чашке.

После минутного молчания она снова обратилась ко мне и сказала:

— Я слышала, что вы умеете рисовать портреты. Нарисуйте мне мою мамочку, мою милую панну Дороту.

— С ваволишь, Гелено! — проворчала панна Дорота и едва заметно улыбнулась.

— Не сваволю, моя любая мамуню, не сваволю. Когда вы уедете в свой кляштор, я буду смотреть на портрет ваш и буду ему книгу читать, как вам теперь читаю. Нарисуете? — прибавила она, быстро обращаясь ко мне.

Я дал слово исполнить ее желание.

— И брата нарисуете? — спросила она наивно.

— И вас, и брата, и всех нарисую.

— Как я рада! Как я рада! — сказала она, хлопая в ладоши.

— А есть ли у вас краски? — спросила она после минутного восторга.

— Есть в Будищах, — сказал я.

— Так это все равно, что и здесь, — сказала она и выбежала из павильона.

Через полчаса она возвратилась назад и сказала:

— Брат сам едет в Будища и привезет вам все, и даже вашего Трохима. Брат мой его очень любит. А я его еще и не видала, — прибавила она. — Должен быть хороший человек, когда брат полюбил.

— Родной внук вашему Прохору, — сказал я.

— Ну, так, верно, хороший. И грамотный?

— Грамотный, — отвечал я.

— Как бы я была рада и счастлива, если бы мой брат выучился грамоте, — сказала она как бы про себя и призадумалась, склонив свою прекрасную головку на плечо траурной, неподвижной панны Дороты.

— Я сама его выучу читать, — сказала она, как бы от сна пробуждаясь. — А кто же его писать выучит? Прохор тоже писать не умеет. Он и читает только одну Псалтырь. Посоветуйте, что мне делать? — прибавила она, обращаясь ко мне.

— Не только посоветую, даже помогу вам в этом добром деле, — сказал я и тут же предложил своего Трохима в наставники моему однорукому герою.

Теперь уже не по привычке и не напрасно проворчала панна Дорота: «С в а в о л и ш ь, Гелено!» — потому что ее шалунья Гелена не дослушала моего предложения, бросилась ко мне на шею и принялась целовать меня со всей нежностью пламенно любящей сестры.

— Чем же мы с братом заплатим вам за любовь вашу? — сказала она, успокоившись.

— Любовью, — отвечал я спокойно. — Выслушайте меня, — продолжал я. — Вот мой план. Я вам оставляю моего Трохима на весь год. А вы отпустите со мною своего Прохора в Киев тоже на весь год.

Панна Дорота взглянула на меня и как бы испугалась.

— Если только Прохор согласится оставить вас.

Панна Дорота по-прежнему опустила голову.

— О, наверно согласится. Я уговорю его.

Панна Дорота поморщилась и взглянула на свою Гелену. А та, поняв ее взгляд, и со слезами на глазах бросилась перед нею на колени и, целуя ее руки, приговаривала: «Мамуню моя! Серце мое! Я сама возьму заступ и буду копать твои гряды еще лучше Прохора. Только отпусти его, моя мамочко, мое серденько!»

Панна Дорота, с минуту помолчав, наклонилась к ней, поцеловала ее в голову и едва слышно проговорила:

— Згода.

В это время робко вошел в павильон Прохор и, увидя меня, перекрестился и сказал:

— Слава тебе Господи, царю небесный, найшлыся-таки! А я думав, що вы вже од нас на Бассарабию помандрувалы, — прибавил он, улыбаясь и утирая пот с лица.

Подойдя к Прохору, я объяснил ему, в чем дело, не подозревая его несогласия. Но вышло иначе. Он выслушал меня внимательно, призадумался, а через несколько минут раздумья посмотрел на панну Дороту и лаконически сказал:

— Не поиду.

— Почему? — спросил я тоже лаконически.

— А на чии руки я их покину? — сказал он, указывая на панну Дороту.

— На их руки, — сказал я, указывая на хозяйку.

— Молоде! — сказал он и вышел из павильона.

Решительный отказ этого полуубитого бедняка мне чрезвычайно понравился. Это задело за живое мою хохлацкую натуру. Он человек, а не безответный раб, который умеет только сказать: «Как прикажете!» Я тут же дал себе слово склонить его на свою сторону. С этим упрямым намерением я обратился к своим собеседницам, сказал им про отказ Прохора и просил их уговорить его ехать со мною в Киев, хоть бы для того только, чтобы поклониться печерским чудотворцам.

— От вас теперь зависит, — прибавил я, — привести мой проект в исполнение.

Панна Дорота обещала свое содействие, я поцаловал ее костлявую руку. Предложил прекрасной Елене прогуляться со мной, но прекрасная Елена мне, своему Парису¹²⁵, отказала. Я раскланялся и вышел в сад.

VII

— А куды вас тепер Бог понесе? — спросил меня стоявший за дверьми Прохор.

— А куда глаза глядят, — отвечал я.

— Куда глаза глядят, — повторил он шепотом. — А де вас тойди шукать, як заблудыте в нашому Вавилони?

На разумный его вопрос я не знал, что сказать ему. А он, глядя на меня, улыбался, поворачивая в руках свою шапку-чабанку.

Я никогда не любил прогулки с кем бы то ни было, ни даже с прекрасной и не сентиментальной женщиной. Про-

гулка сам на сам имеет для меня какую-то особенную прелесть. И я был в душе доволен отказом даже прекрасной Гелены. Теперь же, сознавая истину слов предусмотрительного Прохора, я готов был просить его сопутствовать мне по загадочному лабиринту, или, как он сказал, по Вавилону. И оно было бы весьма кстати. Во время прогулки я мог бы завести речь о панне Дороте и узнать всю подноготную. А ее подноготная меня сильно интересует.

— Не пойдешь ли ты, Прохоре, со мною погулять по вашему Вавилону?

— Ходимо, — сказал он, улыбаясь и накрывая свою лысину чабанкой.

В это самое мгновение выглянула из дверей очаровательная Гелена и позвала Прохора к панне Дороте. Я понял причину этой внезапной аудиенции и, отложив розыск о панне Дороте до другого раза, пустился наудалую, куда глаза глядят.

Между заглохшими колючими кустарниками смородины и крыжовника выбрался я к жиденькому обветшалому мостику, перекинутому через бурно-зеленую лужу без всякой надобности, потому что лужу скорее и безопаснее можно обойти. Я благоразумно обошел болото и по уступам между такими же колючими кустарниками поднялся на гору. На горе торчали в беспорядке старые полуусохшие тополи и одна широкая, развесистая липа, как добрая купчиха между тощими ассессоршами¹²⁶. Я прилег отдохнуть на горе, разумеется, около купчихи. Передо мною открылась панорама, на удивление неживописная в этом живописном уголке моей прекрасной родины. Прямо перед глазами — широкий сплошной черный лес, из которого торчали кое-где конические верхушки тополей и выглядывали широко и неправильно раскинутые черепичные крыши господского дома, уставленные безобразными трубами, из которых вился голубоватый дым. В правой стороне леса блестел широкий пруд. За прудом по косоугору раскинулось серенькое село, а в центре села торчала тоже серенькая деревянная церковь безыменной архитектуры. За селом, на отлогой возвышенности, махали крыльями, как будто жаркий спор вели между собою, две ветряные мельницы, а между ними по зеленому полю вилась темная дорожка и исчезала в узком однообразном горизонте, украшенном двумя небольшими могилами.

Неотдаленный горизонт для меня имеет, не скажу прелесть, но своего рода очарование. Меня всегда подмывает выйти на него и посмотреть, что за ним скрывается. Это неугомонное чувство мне еще в детстве покою не давало. Так, однажды, будучи лет шести или семи, смотрел я на подобный же горизонт, и мне вообразилось, что за ним небо склонилось к земле и непременно уперлось на железные столбы. А иначе как же бы оно держалось? Я не мог отказать себе в удовольствии взглянуть на эту интересную колоннаду. Пошел. И, к невыразимой досаде, увидел на медленно открывшемся таком же горизонте точно такое же село, как и наше. Так и теперь: лежу под липою, а самого так и подергивает посмотреть, что за картина откроется за этими неугомонными мельницами. Но философ Бэкон учит сначала удовлетворять необходимое, а потом уже и любопытное¹²⁷. И я последовал его мудрому совету, тем более, что желудок мой начинал уже хлопотать о необходимом.

Любопытное я отложил до другого раза и тем же путем возвратился к павильону. Там уже никого не было. Не изменяя прежнего маршрута, я через час времени благополучно прибыл в штаб-квартиру. На дворе, как надо полагать, перед окнами кабинета, стояла коляска моего родича, а через двор его же кучер вел лошадей к экипажу.

— Поедем домой? — спросил я кучера.

— Поидемо назад пятамы, — отвечал он с неудовольствием, закручивая поводья около дышла.

Что бы значил его замысловатый ответ? Неужели мой плоский, бесстрастный родич не совсем плоский и бескровный? Неужели он не устоял против искушения и храбро загнул угол на свою капитальную подвижность? Но — «прежде заключения необходимо убеждение», — учит не Бэкон, а какой-то другой философ-юрист.

Войдя в свою комнату, я полуразделся, привел свою особу в горизонтальное положение и задумался о виденном вчера и сегодня. Дума поселила во мне неприятное, оскорбляющее чувство. Одна она, моя прекрасная, непорочная Елена, она, как светлая звездочка, горит в этом густом, тлетворном мраке. И для контраста ей, точно Магелланово облако¹²⁸, эта темная, неразгаданная старая идиотка панна Дорота! Интересно бы узнать, на чем она покончила с Прохором. Едет ли он со мной в Киев или поставил на своем? Эта ли мысль или что другое заставило меня встать и подойти к окну. Прохор

медленно шел через двор к моей квартире, а кучер моего родича тоже медленно шел ему навстречу. Они встретились, взялись за шапки, на минуту остановились и разошлись.

— Что проиграл? — спросил я входящего Прохора.

— И кони, и коляску, и Корния. Нашому Ивану Ивановичу. А до вечера, — прибавил он, — може, Бог поможе, и себе програе. Наш Иван Иванович молодець!

«Да и родич мой, как видно, не промах», — подумал я и спросил Прохора, чем он кончил с панной Доротой.

— Повезу вас у Киев, — сказал он нехотя.

— И давно бы так, — сказал я, сердечно радуясь, что переупрямил старого хохла. Полюбовавшись его кроткой физиономией, я самодовольно возвратился в комнату с намерением привести свою особу в горизонтальное положение и достойно отпраздновать одержанную викторию. Вслед за мною вошел в комнату Прохор и своим присутствием разрушил мое гордое намерение. Он остановился у дверей и молчал, а я ходил по комнате и тоже молчал. Он, кажется, ждал, пока я заговорю, а я ждал, что он мне скажет. Наше немое тет-а-тет могло быть очень продолжительным, — это в хохлацкой натуре, — если бы не нарушил его стук колес, раздавшийся под окнами моей квартиры. Этот неожиданный стук заставил Прохора открыть уста с намерением произнести: ах! Но этот глубокомысленный проект ему не удался. Стук колес еще отдавался в ушах моих, как в комнату вошел однорукий герой мой и после приветствия отрапортовал мне, что приказания мои в точности исполнены.

— А где же Трохим? — спросил я моего героя, усердно пожимая ему руку.

— Они едут в карете, — отвечал он.

— Трохим? В карете? — восклицал [я] от удивления. — Расскажите мне, ради Бога, как это Трохим попал в карету? — спросил я улыбающегося моего героя.

— Весьма просто. Здешняя дорожная карета с поста еще оставалась в Будищах. А чтобы она там не гнила на дворе, я рассудил привезти ее в свое место.

— Прекрасно! — прервал я его. — Значит, вы лошади взяли у моего родича? — Вопрос этот я сделал для того, чтобы лошади сейчас же возвратить назад, а то как бы они не очутились на какой-нибудь шестерке или четверке.

— Зачем напрасно гонять кони? — отвечал он. — Я позычил две пары волов у отца Саввы, ее на волах и привезут

сюда вместе с вашими вещами с Трохимом Сидор... — Последнее слово почему-то он не договорил.

Я внутренне смеялся, воображая себе моего Трохима, величаво выглядывающего из великолепного дормеза, влекомого четырьмя волами. Я поблагодарил моего героя за хлопоты и думал уже идти навстречу Трохиму.

— Бог знает, кто о ком хлопочет, — сказал он кротко и выразительно, хватая меня за руку. Я отдернул свою руку. Тогда он охватил мою шею своей единственной рукой, и карие глаза его сверкнули слезою. Он принялся целовать мою голову. Безмолвно-красноречивая эта сцена была прервана входом старого Прохора; он спрашивал меня, где я хочу обедать: с панями ли в кабинете, или с панями в саду?

— Ни там, ни там, — сказал я. — А ты принеси нам сюда, мы будем обедать вместе с Осипом Федоровичем.

— И так добре! — сказал Прохор и скрылся за дверью.

Герой мой начал было отнекиваться от моей импровизированной вежливости. Но я уверил его, что его компания интереснее для меня генеральской и даже адмиральской компании. Последнее выражение смутило простака, и он скрыл его смущение в пестром бумажном носовом платке.

А Прохор-то, старый немощный Прохор! Словно козачок покоевый, так и бегаёт взад и вперед. Не прошло и десяти минут, как уже все было готово. Водка, закуска и серебряная ваза с супом дымилась на столе. А Прохор, как ни в чем не бывало, стоял себе у дверей с салфеткой в руке и только улыбался.

Едва успели мы сесть за стол, как дверь растворилась и впорхнула к нам легкокрылой бабочкой сама очаровательная хозяйка.

— И я с вами обедаю, — сказала она, садясь между мной и братом. — А панна Дорота, — продолжала она, — поцеремонилась, пускай одна обедает.

— Ей, я думаю, совершенно все равно, — сказал я.

— О нет! Панна Дорота любит веселую компанию. — Едва успела она проговорить последнее слово, как вошел длинный лакей с высокою серебряною вазою и с торчащею в ней бутылкой шампанского. Ставя на стол сию интересную посудину, лакей проговорил:

— Панна Дорота приказали.

— Поблагодари панну Дороту. А ты, Прохоре, принеси бокалы, — прибавила она.

В продолжение обеда Прохор работал быстрее и ловчее французской камеристки. Я восхищался моим будущим слугою. Но когда дело дошло до шампанской бутылки, тут не только Прохор и мой благородный герой, я сам призадумался. Тайнства сего гусарского искусства для меня закрыты. Но заменить меня было некем. И я принялся за дело. После долгих усилий пробка, наконец, вылетела и ударилась в потолок, а вино фонтаном брызнуло на стол. Я, однако ж, не растерялся, а как следует направил бешеную струю в законное русло. Хитрая моя операция привела старого Прохора в восторг. А чтобы продлить это наивное восхищение, я предложил ему выпить бокал скаженой воды. Он решительно отказался. С помощью милой хозяйки, наконец, я его уверил, что не так черт страшен, как його малюють. Против такого сильного аргумента сказать было нечего. И мы все четверо чокнулись и дружно выпили сердитое вино. Прохор легонько крикнул и едва слышно проговорил:

— Ничого сказать, смашна собака!

VIII

Очаровательная хозяйка после обеда сейчас же удалилась вместе с братом. За ними последовал и догадливый Прохор. А я, подумавши немного, сладко, мягко, бархатно-мягко сомкнул мои очарованные вежды, уложив свою особу на мягкой постели. Но увы! Не успел я переступить границу действительности, как до полуслуха моего коснулись какие-то странные неясные звуки, похожие на чтение Псалтыря над покойником. Вслушиваюсь, действительно, чтение. И чтение церковное. И голос как будто знакомый. Но где этот знакомый голос? За стеной или под полом, не пойму. Я раскрыл глаза, но зрение слуху не помогло. Я встал, подошел тихонько к двери, растворил ее, смотрю, — в передней никого нет. А звуки сделались явственнее и все-таки похожи на чтение Псалтыря. Нет ли и в самом деле у меня соседа какого-нибудь преставльшегося? Отворяю другую дверь, выхожу на лестницу — и ларчик просто отворялся. Псалмолюбивый сторож мой Прохор, чтобы не беспокоить меня своим псалмолюбием, расположился на самой последней ступеньке лестницы и по всем правилам дьячковской декламации борзо читает: «Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие»¹²⁹. С удовольствием прослушал я псалом до конца и возвратился восвояси, дивясь бывшему.

Благоговейное чтение Прохора теперь на меня действовало иначе. Через несколько минут неясные звуки совсем исчезли, и мне уже начало представляться какое-то очаровательное видение, вроде прекрасной Елены, как вдруг раздалось прозаическое громкое: «Цабе! цабе!.. соб! тпрру...» Не могу сказать, что именно, но мне представилось что-то страшное. Я вскочил, подбежал к окну — и, о зрелище, достойное кисти Вувермана¹³⁰! Великолепный дормез, запряженный четырьмя огромными серыми волами, остановился против моей квартиры. Прохор отворил дверцу и, как какого-нибудь кардинала, высаживал из дормеза моего непышного Трохима. Это оригинальная сцена во мне уничтожила даже мысль не только о сне, но и о самом полежаньи.

Земляки мои, в том числе и я, самую серьезную материю не могут не проткать хоть слегка, хоть едва заметной шуточкой. Земляк мой (разумеется, невольно) в потрясающий финал «Гамлета» всучит такое словцо, что сквозь слезы улыбнешься. В доказательство я приведу пример исторический.

Сообщники Искры и Кочубея, поп N. N. и писарь Подобайло, после доброй пытки кнутом лежали окровавленные на полу под рогожею и рассуждали о том, что не мешало бы позычить у москаля кропила (кнута) для своих непослушных жен¹³¹. Не правда ли, на своем месте шуточка?

Вот и я теперь. Готовлю своего Трохима в педагоги, к делу в высокой степени благородному и серьезному. Так бы и начать следовало это доброе дело. Нет, я вздумал его начать шуточкой, а от шуточки чуть было в прах не рассыпалось мое доброе и серьезное намерение.

Без малейшей причины пришла мне в голову нелепая фантазия притвориться сердитым на Трохима и посмотреть, что из этого выйдет. Когда он с помощью Прохора внес чемодан в комнату, я даже не взглянул на него, т. е. на Трохима. Он это заметил и взглянул на меня недоверчиво. Я продолжаю свою роль. Не обращая внимания на сконфуженного Трохима, приказываю Прохору принять по счету белье, книги и прочие вещи, а сам наскоро одеваюсь и ухожу. Глупо, удивительно глупо! Но я, как школьник, был доволен этой импровизированной глупостью.

Известной уже читателю волчьей тропинкой прошел я мимо патриарха-клена в также известную аллею и потом в заветный павильон. Тут встретила меня с братом прекрасная Елена и панна Дорота с чашкой чаю в руке. После чаю и ве-

селого живого разговора героймой взялся за шарманку. Она завизжала какой-то вальс, а я с прекрасною Еленою, как неистовый немец, закружился под это визжанье. Панна Дорота выглядывала из-за самовара и заметно улыбалась. А между тем начало уже заметно темнеть в павильоне. Мы вышли в сад. И тут-то я вспомнил о Трохиме и сообщил о его прибытии моему герою. Герой мой, как умел, раскланялся и пошел приветствовать своего профессора и друга. Я предложил моим спутницам прогулку по волчьей тропинке, они охотно согласились, и мы без особенных приключений засветла еще добрались до большой тополевой аллеи, ведущей к дому. В аллее встретился нам Иван Иванович Бергоф, едущий четверней в коляске моего возлюбленного родича. Гордый успехом, Иван Иванович показал вид, что нас не видит. А мы даже отвернулись, когда он проехал мимо нас. И поделом тебе, немецкий шулер!

При входе на широчайший двор нас встретил герой мой и с ужасом объявил нам, что Трохим пропал.

«Вот тебе и шуточка!» — подумал я, раскланиваясь с своими спутницами, и побежал на квартиру.

— Где Трохим? — спросил я торопливо Прохора.

— А бог его святой знает, — ответил он равнодушно.

— Он тебе ничего не сказал, когда уходил? — спросил я нетерпеливо.

— Сказал... — и Прохор остановился.

— Что же он тебе сказал? Говори скорее.

— Он сказал... та цур ему! он нехорошее слово сказал...

— Говори скорее. Я все хочу знать!

— Он сказал, что на вас не только добрый человек, сам черт не угодит. И что когда он вам понадобится, так чтобы вы его и в Киеве не шукалы.

— Попроси ко мне Осипа Федоровича, — сказал я Прохору. Он поспешно скрылся, а через минуту явился ко мне опечаленный герой мой. Я объяснил ему, в чем дело, и просил его не медля отправиться в погоню за Трохимом.

— Он, верно, теперь в Будищах, у отца Саввы, — прибавил я. Герой мой вышел. Я остался и от нечего делать начал углубляться в смысл моей глупой шуточки.

Значит, я плохо знал моего Трохима, когда позволил себе подобную выходку. Глупо и еще раз глупо! И даже неоригинально глупо! Прохор первый думает теперь, что я тиран, что я бешеная собака, что со мною не только добрый человек, сам черт не уживется. Еще раз глупо!

— Пожалуйте, вас просят в покои, — проговорил Прохор, отворяя дверь.

— А в покоях ничего не говорят о Трохиме? — спросил я его экспромтом.

— А бог их святой знае. Назар-лакей говорит, что...

— Что Назар-лакей говорит? — перебил я его.

— Что, говорит, Трохим от вас убежал...

— Врет он! Трохим забыл в Будищах очень нужную мне книгу и пошел за нею. Кто же виноват? Не забывай! — прибавил я экспромтом, весьма неудачно и даже непростительно глупо. Ну к чему мне было врать перед Прохором? Чтобы утвердить его мнение, что я действительно бешеная собака, да еще и хитрая собака. Одна ошибка ведет за собою другую. Это в порядке вещей. Как бы, однако ж, вывернуться из этого глупого порядка вещей?

Прохор лукаво посмотрел на меня, а я, как будто ничего не замечая, беспечно просвистал качучу, взял шапку и вышел.

«Врет да еще и присвистывает», — наверное, так подумал Прохор.

Скрепя сердце вошел я в известную круглую залу а ля турецкая палатка. В зале никого не было. Скрепя сердце расположился я на оттомане в ожидании кого-нибудь. Наскучив ожиданием, скрепя сердце вошел я в кабинет хозяина и наткнулся на происшествие такого свойства. Хозяин и мой возлюбленный родич сидели молча за испачканным ломберным столом, вперив багровые глаза и такие же носы в стаканы с дымящимся пуншем. По временам произносилось слово «моя», и за словом передвигался цалковый с одного конца стола на другой. Я долго не мог понять, что между ними происходит. Они играют, это верно. Но в какую игру? Наконец я догадался. Они забавляются в муху, т. е. в чей стакан прежде упадет муха, того и приз. «Хороши мальчики!» — подумал я, глядя на приятелей. И, гнушаясь их отвратительной забавой, вышел из кабинета, не замеченный ими.

Я оставил приятелей, ругающихся за сомнительное плиз¹³². В палатке-зале по-прежнему никого не было. Мимо десяти загадочных чуланов прошел я в китайскую залу с загадочными фирмами. И там никого не было. Я вышел в сад. Никого. В павильоне тоже. Куда же скрылась моя прекрасная Елена со своею дуэною? Задавши себе такой вопрос, я прежними переходами возвратился в свою квартиру, лег

и занялся внимательным созерцанием потолка. В непродолжительном времени Прохор отворил дверь и сказал, что меня просят на вечерю. Я отказался от вечери и снова принялся за потолок. Не помню, на чем я остановился в своих тонких наблюдениях. Помню только, что я проснулся, погасил свечу, повернулся к стене и опять заснул.

Проснулся я рано, и мне живо представился заманчивый горизонт с двумя ветряными мельницами. Сем-ка проведу, что там делается за мельницами? Встал, надел шапку, взял палку и вышел. Златовласая, румяноланитая Аврора уже умытая алмазною росой и радостно улыбалась сладко дремавшей земле. Вздохнув свежим влажным воздухом, вздрогнул легонько и, помолившись Богу, направился к широкой тополевой аллее. Пройдя аллею, остановился я на распутии двух дорог. Одна мне знакома, она ведет в село Будища, а другая бог знает куда приведет. Я выбрал ту, которая бог знает куда приведет. Иду. Направо лес, налево поле, а впереди сереет село, подернутое облаком прозрачного дыма. Вхожу в село. Извилистая улица спускается вниз и соединяется с греблей. Ниже гребли мельница и винокурня, а по другую сторону, почти в уровень с греблей, блестящий широкий пруд. За прудом такое же сероватое село и вьющаяся улица по красноватому пригорку. На пригорке шинок. За шинком царына, поле и две ветряные мельницы. Вас-то мне и нужно, голубушки!

— Добрыдень, батьку! — сказал я седобородому старику, прилаживавшему лубочные двери к своему куреню. — Нехай Бог помагае! — прибавил я, приподымая шапку.

— Добрыдень, сыну! Нехай и вам Бог помагае, — проговорил он, снимая шапку. — А куда Бог несе? — спросил он почтительно.

— Гуляю, батьку! — ответил я, проходя мимо его.

— Гуляй соби с Богом, сыну! — проговорил он, надел шапку и снова принялся за лубковую дверь. А я вышел в поле и пошел себе шляхом-дорогою, насвистывая какую-то украинскую песню.

Прошел я мимо ветряных мельниц и шаг за шагом незаметно поднялся на заманчивую возвышенность и вдруг остановился. Передо мною открылась не оригинальная и не новая для меня, но очаровательная картина. Обрамленная темным лесом, широкая и бесконечно длинная поляна раскинулась на отлогой покатости, уставленная в беспорядке

старыми суховерхими дубами. Налюбовавшись до отвалу, мне вдруг пришла охота пощупать ногами эту старую, неоригинальную картину. Крепко захотел — вполовину сделал. Проговоривши эту святую истину, пустился я ощупывать старую картину, и, переходя от дуба к дубу, я нечаянно наткнулся на широкий и глубокий ров. Смотрю, за рвом на большом (приблизительно) пространстве двух квадратных верст зеленеет бархатная молодая пажить. А между этой тучной, роскошной зелени, как темные ленты, протянулись два обнижка (межа), и на одном из них гуляет высокий человек, весь в белом. Я далек от веры в заколдованные клады, которые счастливым являются тоже в белом. Но тут чуть-чуть не приблизился я к этой нелепой вере. Хорошо, что этот мнимый клад, увидя меня, стал ко мне приближаться. Когда он подошел на несколько шагов ко рву, я приподнял шапку, пожелал ему доброго утра и спросил:

— Чья это такая прекрасная пшеница?

— Доктора Прехтеля, т. е. моя! — Он приподнял белую фуражку и прибавил: — Имею честь рекомендоваться.

Я посмотрел на него внимательнее. Это был белый, свежий, худощавый, высокого роста старик в кавалерийском белом кителе и в таких же широких шароварах. С минуту стояли мы молча друг против друга. Я уже намерен был сказать что-то, как он внезапно уничтожил мой проект вопросом:

— Вы нездешний? И, вероятно, заблудились?

— Ваша правда, я нездешний! Я художник Дармограй, — ответил я, как будто растерявшись, что со мною делается всегда при первой встрече.

— Вашу руку! Я люблю художников, истинных божьих детей, — проговорил он быстро и протянул мне руку. Я сделал то же и очутился в канаве. Он сделал мне сначала выговор за неосторожное движение. Потом подал мне руку и вытащил, аки пророка Даниила из рва левского¹³³, немного выпачканного грязью.

— Теперь здравствуйте как следует, — сказал он, улыбаясь и пожимая мои руки.

— Ваше имя? — спросил я его.

— Степан Осипович Прехтель. А ваше? — прибавил он быстро. Я сказал ему свое имя.

— Очень хорошо. Теперь пойдем к моей старухе. Она, как и я сам, тоже любит художников. — И, говоря это, он

вывел меня на о б н и ж о к. Но как эта дорога оказалась тесною для двоих пешеходов, то он пустил меня вперед, а сам пошел за мною. Молча прошли мы зеленую ниву и вступили в молодую, аккуратно подчищенную дубовую рощу. Тут нас встретил красивый здоровый парень в белой чистой рубахе и таких же широких шароварах. Парень снял смушевую черную шапку и, кланяясь, проговорил:

— Добрыдень, дядюшка!

— Добрыдень, Сидоре! — отвечал ему мой новый знакомый. — Что хорошее скажешь, Сидоре? — спросил он его.

— Тетушка Софья Самойловна вас послали шукать, — отвечал парень, кланяясь.

— Добре, скажи — приедем! — сказал доктор Прехтель моим родным наречием, что меня немало удивило, приняв в соображение его ученую степень и немецкую фамилию.

Пройдя дубовую рощу, мы очутились перед белою большою хатою с ганком (крылечко) и четырьмя, одной величины, окнами. Из-за хаты выглядывали еще какие-то строения, но я не успел их рассмотреть, потому что в дверях показалась кубическая, свежая, живая старушка в ширококрылом белом чепце и в белейшей широкой блузе.

— Рекомендую вам мою Софью Самойловну, — сказал Прехтель, показывая на приближающуюся к нам старушку. Я поклонился и проговорил свое имя и звание.

— Ах! — произнесла моя новая знакомка. И, обратясь к мужу, спросила: — Где это ты взял такого дорогого гостя?

— Бог нам послал, друг мой, — сказал он, нежно целуя свою Софью Самойловну.

— Я вам пришлю кофе сюда в рощу, в комнатах еще беспорядок, — сказала она скороговоркой и скрылась в хату.

«Телемон и Бавкида»¹³⁴, — подумал я, возвращаясь с хозяином в рощу.

IX

— Теперь отдохнем, — сказал мой вожатый, садясь на дерновую полукруглую скамейку.

— Отдохнем, — повторил я, опускаясь на ту же скамейку. Через минуту к нам подошла белолицая, свежая девушка в малороссийском костюме и, кланяясь, сказала едва слышно:

— Де, дядюшка, прикажете стол поставить?

— Хоть за воротами, мне совершенно все равно, давай нам только кофе, — сказал мой амфитрион, улыбаясь.

Девушка вспыхнула и закрыла лицо белым широким рукавом рубахи.

— Ты слова путного никогда не скажешь, — сказала тут же очутившаяся Софья Самойловна. — Принеси скорее, Параско, круглый столик, — прибавила она, обращаясь к своей сконфуженной сотруднице. А старик взглянул на меня и лукаво мигнул глазом, как бы говоря: каков я!

В одну минуту белолицая Геба-Параска¹³⁵ уготовала для нас пир с самомалейшими подробностями. На небольшом круглом столике она поместила все: и кофейник, и кофейничек, и кипяченые сливки в миниатюрных горшочках, и булочки, и сухари, и сухарики, и, наконец, две большие черные сигары и зажигательные спички. Недоставало одной Софьи Самойловны. Не замедлила и она явиться, но уже не в блузе, а в черном шелковом пальто и в щеголеватом свежем чепчике. Она присоединилась к нам, и после первой чашки кофе беседа завязалась. Я рассказал им подробно, кто я и что я. А они или, лучше сказать, она рассказала мне, не вдаваясь в мелочи, как это обыкновенно бывает у женщин ее лет, она рассказала мне все про свое житье-бытье, не касаясь ни одним словом своих соседок. Большая редкость у женщин даже и не ее лет. В заключение она сказала мне, что у них есть дочь, красавица, в Киевском институте¹³⁶, и что через месяц она оставит институт, и как она ее будет дома учить хозяйничать, и как замуж думает выдать. Тут только она вдалась в подробности, но матери это простительно.

Есть на свете такие счастливые люди, которым не нужна никакая рекомендация, с которыми не успеешь осмотреться хорошенько, как уже, сам того не замечая, делаешься своим, родным, без малейшего с твоей стороны усилия. А есть и такие несчастнейшие люди, с которыми и из семи печей хлеба поешь, а все-таки не узнаешь, что оно такое, человек или амфибия.

Не вставая с дерновой скамьи и до половины не докурив сигары, я узнал, что Степан Осипович Прехтель был когда-то штаб-лекарем в Курляндском драгунском, теперь уланском, полку¹³⁷. И что учился в Дорпате¹³⁸. И что Софья Самойловна — воспитанница графини Гудович, жены командира того самого Курляндского драгунского полка¹³⁹, в котором он служил когда-то медиком. И что в местечке Ольшане (Киевской губернии)¹⁴⁰ они спозналися с Софьей Самойловной, там же и побралися. И что сначала было не

без нужды, пока Степан Осипович не открылся, т. е. пока не выслужил пансион и не оставил службу. Потом купили себе этот хуторок, обзавелись хозяйством да и живут, как у Бога за дверью.

В свою очередь и я разговорился и нарисовал им самыми радужными красками мою прекрасную Елену и ее благородного, великодушного рыцаря-брата. Я так увлек стариков своим рисунком, что они со слезами на глазах стали меня просить познакомить их с братом и с сестрою, о которых они уже слышали, но еще не имели счастья видеть благородную чету. Я обещал. Я предвидел от этого знакомства много прекрасного и полезного для моей героини и еще более для образованной красавицы, дочери Софьи Самойловны. Они разделят свое нравственное добро, как родные сестры, и обе будут богаты.

Старики предложили мне остаться у них обедать. Я не отказался. А в ожидании обеда Степан Осипович предложил мне прогуляться по его палестине. Я тоже не отказался. И мы пустились соглядать не широкое, но милое, чистое, аккуратное хозяйство медика-агронома.

О подробностях виденного мною я распространюсь в другом месте, а теперь и не место, и не время, потому что Софья Самойловна послала уже своего Сидора-Меркурия просить нас к обеду. Я, однако ж, ошибся: Сидор действительно шел искать к обеду, только не нас, а карасей в пруду. И когда мы проходили греблю, то я уви[де]л сквозь тростник, как он вытащил тяжелую вершу и из нее посыпались в човен крупные золотистые караси. Я посмотрел и только облизался. «Каковы же эти приятели будут поджаренные со сметаной!» — подумал я и еще раз облизался. Приятели оказались, действительно, такими, как я думал. А вообще обед превзошел мое воображение своею простотою и чистотою до педантизма. После обеда Степан Осипович пригласил меня в свою лабораторию-библиотеку прочитать, как он выразился, знаменитое творение осьмого и первого мудреца Морфея. Перейдя темные сени, вступили мы в половину Степана Осиповича. Это была большая комната с четырьмя небольшими окнами, украшенными разной величины бутылками с разноцветными жидкостями. В промежутках окон помещались шкафы — одни с аптекарскими банками, а другие с книгами. На столах сушились первовесенние ароматические травы. А венцом

украшения комнаты были две койки с чистыми, свежими постелями, на которые мы возлегли и заснули, да не как-нибудь по-воровски, а заснули по-хозяйски, т. е. до заката солнца.

Чтение знаменитого творения мудреца Морфея продлилось бы и далее, если бы не послышался из-за дверей знакомый звонкий голос Софьи Самойловны, спрашивавшей, не желаем ли мы чаю; на что Степан Осипович лаконически отвечал:

— Желаем!

— А когда желаете, так выходите в сад, — сказала Софья Самойловна, стукнувши чем-то металлическим в дверь, вероятно, ключом.

Встряхнулись, умылись, оделись и, как ни в чем не бывало, вышли мы уже не в дубовую рощу, а в настоящий фруктовый сад, расположенный по другую сторону хаты. Уселись мы на дерновой скамье под старою огромною липою, раскинувшейся посередине сада.

— А как бы нам кто-нибудь преподнес воды и сахару или варенья, — сказал Степан Осипович идущей к нам Софье Самойловне.

— Ты настоящий немец! — сказала она, улыбнувшись одним углом рта, что делало ее необыкновенно милою старушкою. — Все бы ему воду да сахар. А чай куда денешь? Настоящий немец! — повторила она.

— И не сидел около немца! — сказал без улыбки Степан Осипович, закуривая сигару.

Софья Самойловна возвратилась в хату. И в скором времени белолицая, чернобровая Геба-Параска вынесла на подносе требуемый продукт, поставила на скамейку и проговорила краснея:

— Дяденька!.. Тетенька велели спросить у вас, не подать ли вам еще чего-нибудь.

— Перцу с луком и горчицы немного попроси у своей тетеньки. А потом уже чаю, — прибавил он, не улыбаясь.

Как спелое яблоко, зарделася белолицая Геба и, закрыв лицо рукавом, убежала в хату.

Зачайная речь вертелась сначала на шуточках Степана Осиповича, потом перешла на прекрасную сестру и великодушного брата и, наконец, на панну Дороту.

— Что за субъект эта безмолвная панна Дорота? — спросил я у Степана Осиповича.

— Мрачный психический феномен, — отвечал он. — Она идиотка вследствие обмана и оскорбления. Ее печальная история тесно и даже родственно связана с гнусной историей старого Курнатовского, отца теперешнего владельца. Я вам расскажу ее историю, мне она более, нежели кому другому, известна. И по-моему, такие истории не только рассказывать — печатать следует. Эти растлители-беззаконники законом ограждены от кнута. То их следует и должно печатно казнить и позорить, как гнусное нравственное безобразие.

Только что Степан Осипович вошел в сущность речи, а я превратился в слух, как подошла ко мне белолица Геба и, краснея, вполголоса сказала, что меня какой-то однорукий пан спрашивает. Я теперь только хватился, что я сделал непростительную глупость: ушел из дому, не сказав даже Прохору, куда я ушел. А впрочем, я и сам тогда не знал, куда я ушел.

— Что случилось? — спросили меня вдруг оба мои амфирионы.

— Ничего особенного, — отвечал я, смутившись. — Меня, как беглеца, разыскивают в околотке.

— Кто вас ищет?

— Человек, великодушием которого мы недавно восхищались.

— Неужели он сам? Где он?

— Отут стоять за хатою, — отвечала простодушная Геба.

— Что же ты остановилась? Проси их сюда к нам, — сказала Софья Самойловна, обращаясь к Гебе.

— Вы нам сегодня гору золота подарили, — говорил Степан Осипович, пожимая мне руку.

Белолица Параска пошла просить гостя до компании, а мы все трое вслед за Параскою пошли триумфально встретить моего героя.

— Вы меня знаете, а я вас еще лучше знаю, и кончено, — так встретил Степан Осипович своего гостя и, пожимая ему руку, прибавил, показывая на Софью Самойловну: — А вот и моя старая немка. Прошу полюбить.

Софья Самойловна сделала книксен и благоговейно посмотрела на моего героя. А он, простодушный, покраснел, как девушка при встрече с незнакомым юношей. И, подойдя ко мне, шепнул на ухо: «За воротами Трохим вас дожидает». Я исчез, как кошка.

За воротами стояла бричка. А в бричке сидел, понуря голову, мой оскорбленный Трохим. Увидя меня, он отвернулся. Подходя к бричке, я слегка кашлянул. Он еще больше отвернулся. Я вижу, что дело плохо, зашел с другой стороны. Он отвернулся в противоположную сторону. Плохо, нужно переменить маневр.

— Здравствуйте, Трохим Сидорович, — сказал я, едва удерживаясь от смеха.

— Здравствуйте и вам, — сказал он и еще отвернулся от меня.

— Не хотите ли чего покушать?

— Не хóчу, — сказал он протяжно и оборотился ко мне спиною.

Не без труда умаслил я моего Трохима и ввел его в освещенный гинекей¹⁴¹ Софьи Самойловны. На дворе уже было темно. Я отрекомендовал его как моего верного слугу и сподвижника и как будущего учителя моего героя.

— Bravo! молодой профессор! Будем учиться, и все пойдет хорошо, — проговорил Степан Осипович, пожимая ему руки.

Софья Самойловна приласкала его, как сына, попотчевала ватрушкой и посадила около себя на диване. Трохим не без церемонии исполнил ее желание, сначала поцеловав ее руку. Из чего я заметил, что он парень бывалый.

После весьма нелегкого ужина, к немалому изумлению Софьи Самойловны, мы собрались в путь. А она уже велела в клуни на соломе и постели нам приготовить. Услыхав о такой роскоши, я уже было и нюни распустил. Но герой мой, как истинный спартаец, решительно отказался от этого невинного плотоугодия. И тем более, что панна Дорота вчера вечером крепко захворала и сестры некем переменить у ее постели.

«Так вот где причина вчерашнего безмолвия», — подумал я. И, пожелав хозяевам покойной ночи, мы вышли на двор, дав слово навещать их чаще и чаще.

— А все-таки лучше было б, если бы вы переночевали, — говорила ярко освещенная свечой Софья Самойловна.

Степан Осипович, проводив нас до ворот и прощаясь, просил учителя и ученика без церемонии обращаться к нему за учебными книгами и достаивать его сведениями о ходе своих занятий по педагогической части. Я молча пожал ему руку, и мы расстались.

Западный небосклон еще рделся, как потухающее зарево отдаленного пожара. На мягком красноватом фоне рисовалась темная прозрачная дубовая роща. Из-за рощи фиолетовой игривой струйкою подымался вверх дым, вероятно, из кухни Софьи Самойловны. Глядя на этот невозмутимый мир природы, сладкие успокоительные грезы посетили мою треволненную душу:

Не для волнений, не для битв —
Мы рождены для вдохновений,
Для звуков сладких и молитв¹⁴².

Стихи Пушкина не сходили у меня с языка, пока мы не подъехали к селу. При въезде в село вместо царынного дида нам отворил ворота Прохор. И вместо обыкновенного приветствия произнес он клятвенное обещание в том, что не будь он Прохор Хиврыч, а будь он собачий сын, если он с этого часу отпустит меня от себя хотя на две пяди, — возьму, говорит, на веревку, та й буду водить, як того медведя, — и что другой рады он не может дать с таким божевильным паном, как я. При этих словах Трохим посмотрел на меня значительно, как бы говоря: «Что, небось, неправда?»

— Посунься к тому боку, — сказал Прохор Трохиму, влезая в бричку. — С самого ранку на ногах, як той хорт на ловли! Рушай! — сказал он кучеру, усаживаясь.

Мимо едва освещенного шинка спустилися мы тихо с пригорка и очутилися на гребли. На гладком зеркале пруда кое-где всплескивала рыбка и оставляла по себе тихо расширявшийся на воде круг. Проехав село и тополевую аллею, мы остановились на широком дворе. Из темного фона выдвигалась черная женская фигура. Я узнал в ней мою прекрасную Елену.

— Чи вси дома? — спросила она, встречая нас.

— Вси! — сказал я, выскакивая из брички.

— Где вы пропадали до сих пор? — спросила она, взяв меня за руку. Я сказал ей о моей находке.

— А что, разве я не говорила тебе, что они непременно там? — сказала она, обращаясь к брату.

— Да почему вы узнали, что я именно там? — спросил я ночную красавицу.

— Потому, что вы рано поутру прошли за царыну и не возвращались. А до хутора Прехтеля недалеко, я и догадалась.

«Умница», — подумал я и подал ей руку. И мы молча отошли от брички.

— Как здоровье вашей панны Дороты? — спросил я мою молчаливую спутницу.

— Очень нехорошо. Завтра необходимо попросить Степана Осиповича, и я не знаю, как это сделать. Муж уехал, а я...

— Куда ваш муж уехал? — прервал я ее, как будто меня тяготило его присутствие.

— Не знаю куда. Он уехал с вашим родичем. Верно, в Будища, — отвечала она, не изменяя тона.

Разговор наш как-то не вязался. Она сегодня не была похожа на себя. Я ей это заметил, и она сказала, что ей сегодня скучно. Я нарисовал ей привлекательную Софью Самойловну и в заключение объявил ее искреннее желание познакомиться с нею. Она и эту любезность приняла заметно сухо, из чего я мог догадаться, что мне осталось пожелать ей приятных сновидений и ретироваться восвояси. Что я благо-разумно и исполнил.

Что ее так сильно беспокоит? Неужели болезнь панны Дороты, этого живого автомата? Или отсутствие беспутного мужа? Или и то и другое? И то и другое поодиночке дрянь, а вместе — безнравственная гадость. А она скучает без них. Странно!

Долго я еще шлялся в темноте по двору и повторял зады, пока, наконец, устал и пошел к себе на квартиру.

Во ожидании меня Трохим читал вступительную лекцию своему ученику. Когда я входил в комнату, он заставлял его узнавать буквы на обертке «Морского сборника» и прехитро толковал ему, что означают две палочки с перекладиной наверху и что значат такие же две палочки с перекладиной посередине. Прохор же, не обращая ни малейшего внимания на любознательную молодежь, читал вслух псалмы Давидовы, осторожно переворачивая пожелтевшие листы Псалтыря. Эта новая сцена освободила меня от томительного впечатления предшествовавших ощущений. Похвалив моего героя за понятливость и прилежание, Трохима за точное исполнение своей новой обязанности, а Прохора за борзое чтение Писания, я хотел поклониться им и ложиться спать, как Прохор выступил вперед и взял смелость спросить у меня, что значит «Коль возлюбленна селения твоя, Господи сил»^{143?} Я, признаюсь, был озадачен таким неча-

янным вопросом, но, сейчас же оправившись, отвечал ему наудалую:

— Селение возлюбленное Господне, — сказал я ему, — означает не что иное, как монастырь.

Прохор посмотрел на меня с благоговением, а на предстоящих с удивлением, и больше ничего.

— Я и сам так думал, — говорил Прохор, придя в себя. — А может быть, и не так, думаю себе. А спросить не у кого. Панна Дорота — они хотя и читают книгу, так не по-нашему, а по-польски. Так ее и спрашивать нечего. Слава Богу, что вас Господь послал к нам, а то бы я и до гробовой доски не выразумел сего святого слова. Чи вы вечерялы? — спросил он меня внезапно.

— Вечерял, — отвечал я.

— Кладитея ж з Богом та спить. Ходимо, хлопци! — прибавил он, обращаясь к своим собеседникам.

В продолжение речи Прохора я, как бы от нечего делать, перелистывал «Морской сборник» и, найдя то место, где было сказано о подвиге моего героя, заставил Трохима прочитывать вслух. Героя моего этот напечатанный секрет на минуту озадачил, но он вскоре отправился и сказал:

— Да если бы не сам граф Вельегорский, царство ему небесное, нас тогда допрашивал, то я другому бы и слова не высказал.

— Мир праху твоему, достойный представитель человеколюбия! — почти вслух проговорил я и, пожелав покойной ночи честной компании, ушел в свою комнату.

Расставшись с моими protégé-друзьями, я нелицемерно принялся мерить вдоль и поперек свою комнату. Но как я тщательно ни работал над ее измерением, а кончил тем, что, не узнавши точной величины, я потушил огонь и лег спать. Я рассчитывал на богатырский сон, а вышло совсем не так. Меня что-то беспокоило, а что именно меня беспокоило, этого я, как ни старался, определить не мог. В эти жестокие и бесконечно длинные минуты я немного смахивал на влюбленного. Следовательно, и на помешанного. Но этого сходства быть не может. Во-первых, потому, что я не прапорщик. А во-вторых, что я уже хотя и не в чинах, то по крайней мере в летах и вдобавок совершенно не эротической комплекции. А между тем, о чем бы я ни задумал — о старых красавцах дубах, о белом ли Прехтеле, о Софье ли Самойловне, о ее милой оригинальной улыбке, — везде

и во всем проглядывает она. Она, прекрасная и непорочная моя простушка героиня. «Боже мой! Боже мой! — восклицал я мысленно. — Сохранит ли она свежесть, эту девственную чистоту, как сохранила ее Софья Самойловна? Едва ли. Она полна самой нежной, самой возвышенной любви. Ей необходима по крайней мере привязанность. Ей необходима опора, на которой бы она могла сосредоточиться. Ей необходим разумный, верный друг, а не пьяный сластолюбец-ремонтёр или жалкая идиотка панна Дорота, к которой она привязана из необходимости к кому-нибудь привязаться. А если эта жалкая руина совсем рушится, тогда что? Тогда... тогда все может случиться. Хорошо еще, если она после томительной холодной пустоты делается только похожею на мою бездушную кухню. А если, что также естественно, утратив святое женское достоинство, она прямо перейдет в подноскицы своего растлителя? И, наконец, истощив слабые остатки нравственной силы, она разом увидит всю отвратительную мерзость собственного унижения. Тогда... тогда она — второй экземпляр жалкой юродивой панны Дороты. Как же отвести эту темную густую тучу от ее блистательно прекрасной головки?» И я, как великий Франклин¹⁴⁴, задумался над этим нравственным отводом.

После долгих соображений я остановился на Софье Самойловне и ее институтке дочери. И, не откладывая в длинный ящик, решил завтра же познакомить между собой моих приятельниц. Эта неоригинальная мысль так мне понравилась, что я развил ее до самой дикой несбыточности. И, убавленный республиканцами, внучатами моей прекрасной Елены, и прочими тому подобными мечтами, заснул сном блаженного.

Проснулся я довольно поздно. И первое, что представилось моему уже бодрствующему воображению, это вчерашний проект с самомалейшими подробностями. Несмотря на то, что это было чадо моей собственной фантазии, я не узнал его. Оно было слишком вычурно. Я его уничтожил и на тех же данных принялся строить другое здание — солиднее, положительнее, приноравливая его более к климату и обычаям.

— А не пора ли вам вставать? — сказал Прохор, тихонько отворяя дверь.

— Не знаю, как ты думаешь? — спросил я его, вставая с постели.

— Я так думаю, что пора. Уже два раза вас приходили просить на чай туда, в сад, — говорил он, развертывая полотенце.

Через несколько минут я уже подходил к дверям заветного павильона. И как дверь была растворена, то я издали внутри его увидел белую блестящую голову Степана Осиповича.

— Какими судьбами вы здесь очутились? — сказал я, подходя к нему и кланяясь его собеседнице, прекрасной Елене.

— Очень просто. Я медик, — отвечал он, протягивая руку.

— А какова ваша больная? — спросил я его.

— Как вообще больные, — сказал он улыбаясь.

Хозяйка ушла проведать свою больную. Я принялся за чай, а Степан Осипович закурил сигару и принялся за панегирик моей прекрасной Елене. И только что дошел он до самого пафоса, как вошла в павильон сама героиня и объявила своему новому поклоннику, что больная заснула.

— И слава Богу, — сказал улыбаясь Степан Осипович и предложил прогулку сначала в саду, а потом к себе на хутор. «Сон в руку», — подумал я и, разумеется, охотно согласился на его милое предложение. Прекрасную Елену затрудняла больная, но Степан Осипович, как медик, уверил ее, что больная проспит до вечера и проснется здоровою. Она согласилась, приказала приготовить экипаж и догонять себя за ц а р ы н о ю.

По дороге я забежал на квартиру, взял портфель, карандаш и палку и пустился по следам моих спутников. Едва успели мы выйти за село, как нагнала нас коляска и приняла в свои мягкие недра. Проезжая мимо одного старого дуба, я велел кучеру остановиться и, к изумлению моих спутников, вышел из коляски. На вопрос, что я намерен делать, я показал на дерево и сказал, что намерен нарисовать этого суховерхого патриарха. Степан Осипович молча махнул рукой и велел кучеру трогать. А я на некотором расстоянии обошел вокруг широковетвистого Мафусаила¹⁴⁵ и, не найдя желаемого пункта по причине полдневного освещения, прилег в тени того же Мафусаила, любовался издали на его могучих сверстников, да и задремал.

Когда проснулся я, то увидел, что лесковая густая тень изменила мне. Она отскочила от меня сажени на три. Хорошо еще, что я догадался лицо закрыть платком от мух, а иначе из меня сделался бы препорядочный англичанин. А где же

мой портфель? Странническая дубина здесь, а портфеля нет. Обошел я несколько раз вокруг патриарха, заглянул в его широкое дупло, — нет моего портфеля. А освещение самое настоящее, и лысый Мафусаил как бы смеется надо мною, показывая свои соблазнительно широко освещенные сучья и ветви. С досады я подошел к другому патриарху, — тот еще лучше, к третьему — еще лучше, а четвертый как будто бы убежал из портфеля Калама и опять напрашивается под карандаш. Я чуть не плакал с досады.

Послав дюжину проклятий бессовестному вору, вышел я на дорогу и направил стопы свои к хутору Прехтеля. Кроме Софьи Самойловны и белолицей Параски, я на хуторе не нашел никого больше. На вопрос, обедал ли я, я отвечал отрицательно, и тотчас был введен на половину Софьи Самойловны и начинен всеми съедобными благодатями и, между прочим, узнал, что героиня моя просто очаровала Софью Самойловну, и что она гостила недолго, потому что боялась за свою больную панну Дороту, и что Степан Осипович поехал вместе с нею, а что она, Софья Самойловна, едет к ней на вечерний чай и просит меня быть ее кавалером, — честь, от которой я не отказался, — и мы полчаса спустя отправились в дорогу.

XI

В тополевой аллее, против самой волчьей тропинки, я велел остановиться и просил свою спутницу выйти из брички, намереваясь провести ее этой волчьей дорогой прямо в павильон, где предполагал я найти хозяйку и ее седого гостя. Предположение мое не сбылось, потому что не успели мы ступить на тропинку, как в конце аллеи, к стороне дома, показалась сама хозяйка, сопровождаемая Степаном Осиповичем и своим благоверным ротмистром. Мы пошли им навстречу. С непритворной радостью обнялись и поцеловались новые знакомки. А сам хозяин с ловкостью истинного гусара отрекомендовался Софье Самойловне и просил ее жаловать в комнаты.

— Удался ли вам сегодня рисунок? — спросил меня лукаво Степан Осипович.

— Очень, — отвечал я, стараясь быть серьезным.

— Правду ли вы говорите? — спросил он, глядя на меня пристально.

— Правду, — отвечал я тем же тоном.

— Нельзя ли нам полюбоваться вашей работой? — сказала хозяйка смеясь.

— И вы против меня, — сказал я ей, тоже смеясь.

Довольный Степан Осипович пожал ей дружески руку и тут же рассказал, как было дело: как я изменил их тройственному союзу во имя прекрасного искусства и как они на обратном пути заметили меня глубоко преданного этому божественному искусству. «До того глубоко, что он не заметил, как мы у него из рук портфель украли», — так заключил свой рассказ Степан Осипович. Рассказ его возбудил всеобщий смех, в том числе и мой.

Мне необходимо было зайти на квартиру, и я ненадолго расстался с моими веселыми друзьями. Прохор встретил меня на лестнице покиванием главы, как бы говоря: горбатого могила исправит. Я показал вид, что не замечаю его тонкого и справедливого упрека. Тут же встретил меня герой мой с предложением [посмотреть], сколько им книг привез Степан Осипович. Комната, в которую он меня ввел, была его и Трохима квартира и класс. Корзина с книгами разной величины и формы стояла на полу, над нею, как хищный беркут, сидел Трохим, погрузившись в изображение исторических героев, в систематическом порядке выведенных на хитрую таблицу по методу Язвинского¹⁴⁶.

Я освидетельствовал дорогой подарок и сделал приличное случаю наставление моим приятелям, как они должны быть внимательны и благодарны Степану Осиповичу за этот истинно драгоценный подарок. Окончивши речь с достоинством оратора, я оставил моих приятелей думать о случившемся, а сам вышел во двор. На дворе уже никого не было. Я пошел в дом; пройдя коридор и красную комнату-коридор, потом [вошел] в другой коридор и потом в круглую залу-палатку. Тут нашел нашу компанию за чайным столом, спотешаемую любезным хозяином каким-то тривиально-гусарским анекдотом. Дверь, ведущая в коридор с недвусмысленными десятью чуланами, была заставлена столом, украшенным разными сладостями и бутылкою какого-то вина. Кто это так мило догадался заслонить коридор беззакония? Во всяком случае не хозяин. Он в этой гнусной декорации не видит ничего предосудительного. Иначе он бы ее давно уничтожил.

Между разного содержания небылицами хозяин рассказал одну былицу. О том, с каким триумфом был встречен мой

проигравшийся родич своею неистовою половиной. И когда торжественные проклятия дошли до самого бешеного пиччикато¹⁴⁷, внезапно явился в комнату Иван Иванович Бергоф. Точно с креста снятый. Истощенный, измятый, в каком-то лакейском чекмене, выпачканном грязью и кровью.

— Он, изволите видеть, — заключил хозяин поучительную былицу, — он затесался куда-то в доброе место, в Звенигородку, кажется, к уральским козачкам; те его, добра молодца, в один денек облупили как липочку, да вдобавок поколотили. И поделом. В чужой монастырь с своим уставом не суйся.

Трагический рассказ был ловко замкнут поговоркой. Чайное угощение сменилось конфетным, конфетное — ужином, за которым любезный хозяин чуть-чуть не по-гусарски налился. Кончилось все, однако ж, как следует: расставаньем, поцелуями и приличным числом «до свидания».

Проводив моих старых друзей до брички, пожелав им счастливой дороги и покойной ночи, посмотрел, как они утопают во тьме ночной, да и сам отправился на боковую.

Следующий и несколько последующих дней я, как порядочный артист, провел за работой. Результатом моего трудолюбия вышел акварельный рисунок, представляющий мою героиню в том виде, как я ее подсмотрел в павильоне, в кругу своих нелицемерных подруг. Рисунок вышел эффектный и в отношении сходства очень удачный. В особенности хорош вышел герой мой, невозмутимо вертящий шарманку. Когда я окончил и показал рисунок свой во всеузрение, то Курнатовский десять раз сряду побожился, что он в жизнь свою не видел ничего прекраснее, художественнее, чему я совершенно верю. Потому что он в жизнь свою ничего не видел, кроме бутылки и карт. Но чтобы довершить свое торжество, я прибавил и его портрет в полутоне. Прибавка эта произвела желаемое впечатление. Курнатовский пришел в неописанный восторг. Называл меня и другом, и братом, товарищем по чувствам и в заключение предложил мне 1000 руб., от которых я должен был отказаться, потому что я делал рисунок для жены его и без всякого возмездия. Мое бескорыстие его озадачило. Он посмотрел на меня не как на товарища по чувствам, а как на заморского зверя. И, посоветовавшись с своим экономом, предложил мне бричку-нетычанку, пару добрых коней и кучера. От последнего я отказался, а прочее с благодарностию принял. У меня давно была мысль обза-

вестись эту в моем кочующем быту необходимой мебелью, но все как-то не удавалось. А тут разом удалось, и удалось недорого. Прохору удивительно как по нутру пришлось мое внезапное приобретение. Из чего я заметил, что у него орган скотолобья преимущественно развит.

— А не пора ли нам собираться в поход? — спросил я его, обревизовавши в десятый раз свое новое добро.

— Если вы в карты не играете, то не пора, а если играете, то пора, — сказал он, лукаво улыбнувшись.

Я похвалил его за остроумное слово, и мы решили завтра же отправиться восвояси. О чем было объявлено и гостеприимной хозяйке, и хозяину. И так как это дело было к вечеру и погода благоприятствовала, то мы и решили сообща сделать визит Прехтелям, а завтра по пути и моим милым родичам. Я велел Прохору вооружить свою бричку и самому вооружиться. Вооружение быстро совершилось, и я поехал к Прехтелям в своей собственности.

Когда я объявил моим старым друзьям о моем крепком намерении завтра оставить их, то они приняли это за шутку, и даже неуместную. Они пренаивно думали, что я непременно дождуся их милой Маши из института, нарисую ее портрет да тогда и поеду себе куда угодно. А если захочу, то и у них могу остаться хоть на всю жизнь.

— А какого бы я из вас сделал превосходного немца! — сказал Степан Осипович, пожимая мне руку.

— У тебя только немцы на уме, — прервала его Софья Самойловна. — Тут нужно говорить дело, — прибавила она и задумалась.

— О каком же это деле ты так глубоко призадумалась, моя старая немка? — спросил ее Степан Осипович ласково.

— А вот о каком, — отвечала она, улыбнувшись. — Теперь в исходе май. В июне будет выпуск. Возьмите и меня с собою в Киев, — прибавила она, быстро обращаясь ко мне.

— С удовольствием, — сказал я, принимая ее слова в прямом смысле. А Степан Осипович перекрестил ее большим крестом, на что она улыбнулась и посоветовала ему самому перекреститься, что он и исполнил.

— А теперь что прикажете? — спросил он, вытягивая руки по швам.

— Теперь ничего, а завтра готовить бричку и кормить лошади. А послезавтра я поеду в Киев. Вот вам и вся недолга, — прибавила она, прищелкнув пальцем.

Итак, по желанию Софьи Самойловны я решился отложить до послезавтра мою поездку. После чего Курнатовские и я пожелали старикам покойной ночи и поехали в дом свой.

Следующий день прошел в сборах и наставлениях Трохиму, как должно вести себя с чужими людьми. Вечером побывал я у моих старых друзей, узнал, что и как и когда именно мы пустимся в дорогу. Решено было выехать из дому рано, чтобы обедать в Богуславе¹⁴⁸ и на ночь поспеть в Потоки¹⁴⁹. Порешивши эту важную статью, я расстался со стариками.

За ужином у Курнатовских объявил я о нашем непреклонном решении, причем героиня моя медленно, сердечно, мягко посмотрела на меня, а хозяин велел подать бутылку шампанского на прощанье.

Солнце еще покоилось за горизонтом, а мы уже были на ногах. Прохор возился около брички и лошадей. Герой мой с Трохимом — около чемодана и корзины с пирожками и прочим добром. А я ничего не делал. Когда все пришло к концу и Прохор торжественно воссел на козлах, тогда я вышел на двор, перекрестился, и процессия двинулась. За бричкою пошел Трохим с моею палкою и с портфелем в руках, за Трохимом последовали мы с моим героем, взявшись за руки. В таком порядке мы прошли двор и часть тополевой аллеи. Тут порядок шествия был нарушен внезапным появлением моей прекрасной Елены. Она, как лучезарная денница, явилась пред нами и осветила наше мрачное шествие. Но этот лучезарный свет исчез в одно мгновение. Грустно опустя на грудь свою прекрасную головку, она молча пошла между мною и братом. И когда бричка выехала из аллеи, взяла круто вправо и скрылась за деревьями, тогда она остановилась, быстро схватив мою руку, поднесла ее к своим губам. Не успел я ахнуть, как она уже легче газели неслася по аллее к дому. Я посмотрел на улыбающегося моего спутника и не знал, что сказать на это.

— Она приедет с вами проститься к Софье Самойловне, — проговорил он простодушно, и мы молча пошли за бричкой. За селом к нашей процессии присоединился с тощей собакою мой старый знакомый, царынный дид. А когда мы уселись в бричку, то Прохор, прощаясь со своим ровесником, сказал ему:

— Зробы ж!

— Добре! — отвечал тот, и наша бричка покатила по дороге. Молчание царило над нами до самого хутора.

На хуторе Телемон и Бавкида хлопотали уже около своего ковчега, т. е. около дорожной брички, или, правильнее, крытого фургона. Белолицая Параска выносила из хаты в о р о ч к и, узелки, корзинки, ящички и все это передавала Степану Осиповичу. А он, тщательно осмотревши предлагаемую вещь, передавал ее бережно Софье Самойловне. А та, осмотревши вещь так же тщательно, укладывала ее на свое место.

— Бог помочь! — сказал я, подходя к бричке.

— Гут морген!¹⁵⁰ — отвечал мне Степан Осипович, улыбаясь. В это время были вынесены подушки и огромная перина, а когда и это добро было всунуто в ковчег, Степан Осипович снял свою белую фуражку, перекрестился и сказал: «Слава тебе, Господи!»

— А ковер, душко, и забыли, — сказала Софья Самойловна, выглядывая из фургона. Вынесен был и ковер.

— Теперь все, душко? — сказал Степан Осипович.

— Все! — отвечала Софья Самойловна.

— Еще раз слава тебе, Господи! И... — старик еще что-то хотел сказать, но не успел: в это время к нам подходили Курнатовские, оставив свой экипаж за воротами.

После взаимных приветствий и лобызаний был осмотрен всем комитетом ковчег. После удовлетворительного осмотра хозяйка предложила кофе и легенький фриштык¹⁵¹, состоящий из жареной индейки, дюжины цыплят и тому подобной овощи. Во время завтрака Степан Осипович просил моего героя и его профессора быть его постоянными гостями до приезда молодой хозяйки. Тогда Софья Самойловна обратилась к ним с просьбою, чтобы поберегли ее старого немца. А белолицей Параске крепко-накрепко наказала, чтобы гости без нее не голодали. А иначе она обещалась привезти ей из Киева дулю, а не гостинец.

— Ты знаешь, какой он у нас? — прибавила она, показывая на Степана Осиповича. — По нем хоть волк траву ешь, ему все равно. Ему был бы только флейш¹⁵². А другие хоть с голоду умри, он и не подумает о других. Я уже его, — продолжала она, обращаясь к гостям, — немного приучила к рыбному. А прежде ни среды, ни пятницы не знал. Настоящий тата... — да на этом «тата» и остановилась, ласково посмотрела на своего улыбающегося

Телемона, как бы прося прощения за такое нехристианское сравнение.

После кофе и так называемого легкого завтрака мы помолились Богу, на минутку присели по принятому обычаю и, помолясь еще раз, пошли по своим местам. Курнатовские вызвались нас провожать до Шендериевки¹⁵³, чему я был очень рад. Курнатовский, как истинный кавалерист, поехал верхом, а я занял его место в коляске возле моей прекрасной Елены.

До самого места расставанья прекрасная Елена ничего не говорила. Я тоже молчал. Мы были очень похожи на жениха и невесту, едущих к венцу по воле родителей.

Сцена расставанья, наконец, настала. Героиня моя молча пожалала мне руку и едва внятно проговорила: «Благодарю вас за брата».

Ротмистр, не слезая с лошади, тоже пожал мне руку и благодарил за какое-то одолжение. А Степан Осипович, пожимая мне руку, просил побережь его добрую старую немку. На том и расстались.

XII

Герой мой не так прост, как я себе воображал его. Он смекнул делом, что предполагаемый нами ночлег в Потоке состояться не может по причине так называемого легкого завтрака и вообще расставанья. Основываясь на этих данных, он незаметным образом обогнал нас и, не останавливаясь в Шендериевке, пустился далее в Богуслав с мыслию, которая сделала бы честь любому леопарду: с мыслию приготовить квартиру для Софьи Самойловны. Каков матрос! Солнце уже опускалось за горизонт, когда он с профессором своим встретил нас по сю сторону Роси и проводил на приготовленную квартиру. Софью Самойловну до слез тронула эта неожиданная любезность. Герой мой в глазах Софьи Самойловны всегда был необыкновенным человеком, а теперь сделался и человеком светским. В глазах женщины это венец всем добродетелям. Все бы хорошо. Только вот что случилось. Едва успела Софья Самойловна показаться на улице перед своей квартирой, как ее окружила густая грязная толпа самых отчаянных факторов и почти на руках внесла ее в комнату. Бедная до того растерялась от этой новой нечаянности, что не могла выговорить слова и только отмахивалась носовым платком, как от мух, от услужливых

хриstopродавцев. Но эта кроткая мера ни к чему не повела. Жидки и не думали отступить. Тогда она схватила в обе руки свой огромный ридикюль и начала прокладывать себе дорогу обратно к своему мирному ковчегу. Я вступил в дело и с помощью севастопольского защитника рассеял толпу израильтян и уговорил Софью Самойловну возвратиться в комнату. А на случай внезапного нападения поставил на часах у дверей неустрашимого Трохима.

На другой день рано поутру, напившись вместе чаю, я окончательно простился с моим доблестным героем и с моим бывшим сподвижником и верным слугою.

Из Богуслава через Росаву¹⁵⁴ и Поток мы на другой день благополучно приехали в Триполье¹⁵⁵. А из Триполья, понад Днепром, дремучим бором на другой день приехали мы в Киев, тоже благополучно. Можно было бы и в три дня совершить этот путь, но мы, как добрые хозяева, щадили скотину и, как люди неравнодушные к прелестям природы, останавливались по п а с а т ь у ручейка или над широким плесом Днепра, нечаянно врезавшимся в дремучий лес. И пока Софья Самойловна с Прохором хлопотала около кофейника, я рисовал сосну или березу, а лошади задумчиво траву щипали да хвостами помахивали. Словом, мы путешествовали, как следует путешествовать и всем порядочным людям. На последнем п о п а с е, или привале, я рисовал группу сосен и, для масштабу, пасущуюся лошадь. Софья Самойловна варила кофе и как-то нечаянно заговорила с Прохором о панне Дороте и о старом Курнатовском. Я приготовил уши, а карандаш только так, для блезиру, держал в руке. И в продолжение получаса узнал всю отвратительную подноготную седого сластолюбца и трогательно жалкую историю бедной панны Дороты. Историю, к несчастью, обыкновенную даже в наше время.

В своем месте я сообщу моим терпеливым читателям эту глубоко грустную и поучительную историю и, если умудрюсь, словами самого Прохора, а теперь поведу речь о пребывании Софьи Самойловны в Киеве.

Квартира у меня была в Киеве как раз против института, не на Крещатике, а на горе. Я предложил ее Софье Самойловне, а сам поселился на время в трактире, не на водах, а на Крещатике, в доме архитектора Беретти¹⁵⁶. В тот же день с помощью добрых людей представил я моей спутнице опрятную, скромную и расторопную хохлячку Марину,

которая вполне ей заменила белолицую Параску. Устроивши все как следует, мы держали совет, посещать ли Машу в институте или переждать экзамены и явиться прямо на акт. Как благоразумная и нежная мать, она отказала себе в радости поцеловать единое дитя свое прежде экзамена, чтобы не развлечь и не повредить ему в день испытания. В ожидании этого блаженного дня я развлекал мою гостью как мог и как умел. Потчевал ее прогулками по церквам и монастырям, возил раза два в Киньгрусть¹⁵⁷, уже было начал посвящать ее в таинства киевских древностей, как слух пронесся о выпускном акте и бале в институте, на котором покажут себя публично будущие пантеры и львицы.

Не помню, почему я не мог сопровождать мою гостью на это высокое торжество и видеть ее красавицу Машу в критические минуты испытания. На другой день уже увидел я ее в объятиях счастливой рыдающей матери. Это была юная, стройная, как леторосль тополи, гибкая прекрасная брюнетка, с бледным матовым лицом и с большими умными черными глазами. Через полчаса мы были уже свои люди и к неопisanному восторгу матери пели в два голоса малороссийскую песню:

Зийшла зоря из вечера,
не назорилася,
Прийшов мылий из походу,
я не надывылася¹⁵⁸.

Она превосходно владела своим баритоном, который сначала показался мне грубым для ее возраста. Я тут же окрестил ее знаменитым именем Альбони¹⁵⁹. Прошло еще полчаса, и мы уже друг друга обожали. Она мне, как обожаемому и обожателю, рассказала, разумеется по секрету, кого из учителей все девицы обожали, а кого только некоторые, и которого как они называли: минералога Ф.¹⁶⁰, например, они называли купчиком за то, что он на лекцию приходил всегда с ящичком; а инспектора П.¹⁶¹, так заключила она свою детскую исповедь, ни одна девица не обожала, потому что у него глаза кошачьи.

Наговорившись по секрету о предметах первой важности, я рассказал ей, тоже по секрету, историю про моего героя и про его очаровательную сестру. Внимательно выслушала она мою повесть и, чего я не чаял от ее возраста, глубоко задумалась. Я тоже призадумался и, глядя на нее, сам себя

спрашивал, не сочиняет ли и она теперь поэму на эту возвышенную тему, как я сочинял. А почему же и не так? Ее непорочной душе это доступнее, нежели записному поэту.

— Какой прекрасный! какой благородный брат! — проговорила она, едва удерживая слезы. — Мамо! — сказала она, обращаясь к матери. — А когда мы домой поедем?

— А как отговеемся, мое сердце, так тогда и поедем, — отвечала Софья Самойловна, целуя свое задумчивое дитя. — Что ты такая невеселая, пташечка моя! рыбка моя красноперая? За папою скучаешь? Не скучай, мое серденько, скоро, скоро увидишь. — На ласки матери она задумчиво вздохнула.

— Что вы с нею сделали? — спросила меня Софья Самойловна.

— Они рассказали мне историю про матроса.

— Про нашего соседа? Про Осипа Федоровича? — прервала ее догадливая Софья Самойловна, и, вдохновленная свыше, она повторила мой рассказ с таким задушевым красноречием, что я слушал ее, как бы никогда не знал о случившемся происшествии. Она открыла в моем герое такие романтические прелести, каких я и не подозревал. Например, мне и в голову не приходило, что мой герой владеет даром слова, а по словам Софьи Самойловны, он настоящий златоуст.

Рассказ про обожаемого матроса и его прекрасную сестру повторялся каждый день с новыми вариациями. Я начинал бояться, чтобы герой мой от частых повторений не опошлел в воображении его пламенной обожательницы. Опасения мои были напрасны. В последнюю ночь перед выездом из Киева она его уже видела во сне прекрасным, очаровательным.

Благочестивые мои приятельницы отслужили молебен Варваре-великомученице и в одно прекрасное утро закупились в свой ковчег и пустились восвояси. Я проводил их до самого того места, где я рисовал группу старых сосен и слушал трогательный рассказ Прохора про панну Дороту и про старого грешника Курнатовского. На прощанье просила меня Софья Самойловна приискать для Машеньки фортепиано и до зимы прислать им на хутор, что я не замедлил исполнить как нельзя удачнее.

В Киеве мне не сиделось, и я, посоветовавшись с Прохором, в одно прекрасное утро оставил его вместе с Прохором.

Завидное, очаровательное положение в свете человека, ни от кого не зависящее. Едешь себе, куда вздумается, в собственной бричке и на собственных лошадях, остановишься, где захочется, нарисуешь, что тебе понравится, и едешь далее. Волшебное состояние! И сколько есть этих независимых счастливых в свете, которые и не подозревают своей независимости. Бедные, жалкие рабы ничтожно узеньких страстишек и тонко обдуманых необходимостей!

Измеривши вдоль и поперек Волынь и Подолию и дождавшись в Житомире осенней грязи, мы возвратились благополучно в Киев.

Из Житомира послал я пачку огородных и садовых семян Степану Осиповичу, собранных мною у волынских и подольских агрономов. А юным прекрасным друзьям моим тетрадку малороссийских песен, записанных мною от подолян и волынян. И по возвращении в Киев, недели две спустя, я получил от Степана Осиповича письмо такого содержания:

«Любезный и незабвенный земляче!

С самого начала не удивляйтесь, что я вас называю земляком своим. Я сам до сих пор был уверен, что я настоящий дейч¹⁶². А вышло, что я такой же немец, как и вы, т. е. настоящий хохол. И знаете, кому я обязан этим открытием? С самого начала вам, т. е. вашему фортепиано и тетрадке хохлацких песен. Потом моей Маше и вашей приятельнице Курнатовской. Да и старуха моя туда же. Но — минуту терпения. Я вам расскажу все по порядку. С первого свидания Маша моя влюбилась в вашу приятельницу до обожания, как она сама выразилась. Мы с Сонечкой чрезвычайно обрадовались их сближению. Проходит неделя, другая, новые друзья неразлучны, как Кастор и Поллукс¹⁶³. Только замечает сначала Сонечка, а потом и я, что неразлучные друзья украдкой от нас какую-то книгу читают. Нам это не понравилось, я стал внимательнее следить за поведением неразлучных друзей. Да в одно прекрасное утро и накрыл приятелей под липою в саду! «Какую это ты книгу в карман спрятала?» — спрашиваю я свою. «Не покажу», — говорит она. Настоящая хохлачка! А приятельница ваша так и вспыхнула. Я сделал около своей искусный вольт да и выхватил из кармана книгу. Вообразите же себе мое изумление: вместо пошлого романа у меня в руках была немецкая грамматика. «Дурочки! — говорю я им. — Зачем же вы прячетесь с этим добром?» — «Гелена, —

говорит моя хохлачка, — хотела вам сюрприз сделать, нечаянно заговорив с вами по-немецки». Каковы проказницы? Потом моя повисла мне на шею да и просит, чтобы я учил ее Гелену по-немецки, а она будет учить ее по-французски. Я, разумеется, охотно взялся за это святое дело. И тем более охотно, что я, старый дурак, вообразил себя окруженного немками с Шиллером в руках. А какие удивительные способности у вашей приятельницы! Фортепиано все дело испортило. Т. е. не все. Немецкий и французский язык идет своим порядком. Да я-то сильно одурачен. Вместо чтения Шиллера и Гете пою под фортепиано хохлацкие песни да еще и ногою притопываю. Вот что сделали из меня ваши хохлачки! Я попробовал ключ прятать от инструмента и задать большие уроки. Ничего не помогло. Через полчаса урок готов, и по уговору инструмент должен быть открыт. Так вот какого рода обстоятельства. А ротмистра Курнатовского вы теперь не узнаете. Настоящий барашек. Выписывает из Петербурга рояль для своей обожаемой Гелены. А вы пришлите для меня еще тетрадку хохлацких песен, да, если можно, и с нотами. На праздники приедут к нам погостить герой ваш и его ученый профессор. Приезжайте-ка и вы с Прохором. А пока целуют вас ваши хохлачки, а мои будущие немки, и я. Прощайте! Благодарю за житомирскую присылку.

Р. S. Панна Дорота, увы! — не выдержала она, бедная, окончательно помешалась. И, Боже, какая она жалкая! Я в жизнь мою не видал такого жалкого субъекта. Помешательство ее тихое, спокойное и тем грустнее и безнадежнее. Яд этот медленно, с самой ранней юности, вливался в ее нежную организацию, — что я говорю, — в ее кроткую, непорочную душу. И Богу известно, когда кончится это горькое существование? Она может прожить еще несколько лет. В истории душевных болезней эти примеры не редки. Каков должен быть человек, решившийся очумить душу в то самое время, когда она только что начала сознавать прелесть и очарование жизни. Ужасное и безнаказанное преступление!

Но я заболтался с вами. Дети кончили уроки и требуют ключ от инструмента. Пойду. Не забывайте вашего старого земляка и моих будущих немок. Еще раз прощайте!» И так далее...

Я имею благородную привычку отвечать сейчас же на полученное письмо. Под влиянием прочитанных известий,

какие бы они ни были, как-то легче пишется. Не чувствуешь работы, не замечаешь того томительного труда, который сопряжен с ответом запоздалым, где необходимо извиняться, а нередко и врать. А это мне пуще ножа острого. Самая невинная ложь в моих глазах — уголовное преступление. Я начал письмо мое так: «Многоуважаемый мой друже и новый мой земляче!»

Не успел я поставить знак восклицания, как вошел в комнату Прохор и сказал, что сегодня погода такая прекрасная, что грешно было бы сидеть дома и смотреть в окно на улицу. И тем более, что у нас, слава Богу, все есть свое для езды. «Ты дело говоришь, Прохоре», — сказал я ему и начал придумывать, куда бы так махнуть подальше. А в ожидании доброй мысли я прочитал ему письмо Степана Осиповича. На что он весьма основательно заметил, что все хорошо написано, а одного так и совсем не написано.

— А чего же, по-твоему, тут недостает? — спросил я его.

— А, по-моему, недостает тут Осипа Федоровича да Трохима Сидоровича.

— Правда твоя. Я напишу ему об этом. А пока иди да приготовляйся в дорогу.

Прохор вышел, а я занялся вопросом, почему мне старый немец ничего не пишет о моем герое и его учителе. Сказал только, что они приедут к ним на праздники в гости, а откуда они приедут, ничего неизвестно. Странно. Предположениям моим и конца бы не было, если бы Прохор не постучал в окно и не сказал, что он готов хоть на край света.

XIII

Я по природе моей принадлежу к категории людей рассеянных и отчасти нерешительных. Эти, можно сказать, невинные недостатки нередко ставили меня в смешное, а иногда и в неприятное положение. Теперь, например. Совершенно невинно, а постриг себя в такие дурни, что хоть на выставку, так впору. Поехали мы с Прохором в Бровари, ну, и довольно. Воротиться бы назад, написать письмо Прехтелю, и дело в шляпе. Нет, нужно было проехать в Оглав да завернуть в Барышевку навестить старого прокурора Бориспольца¹⁶⁴. Очень нужно! А между тем прошел месяц, а письмо не написано. Хорошо еще, что я догадался послать ноты, книги и еще тетрадку малороссийских песен. А то бы мои добрые хуторяне могли подумать, что я уже на лоне Авраамле. Мало того,

что нехорошо, — бессовестно. Прекрасная мысль! и как раз пришло по моей комплекции: не писать до весны, а весной вдруг как с облаков свалиться. А каков будет эффект! А после эффекта все-таки придется извиняться, врать и краснеть. Лучше теперь же напишу, пускай что хотят думают, а я, по крайней мере, очищу совесть. Нужно только написать так, чтобы видна была правда, но правда опозитивированная. Для этого я начал письмо следующим эпиграфом:

Как в наши лучшие года,
Мы пролетаем без участия
Помимо истинного счастья.
Мы молоды, душа горда;
Как в нас заносчивости много!
Пред нами светлая дорога,
Проходят лучшие года¹⁶⁵.

Да вместо одного куплета выписал все стихотворение, да в этом же тоне и письмо нахватал. Эффект был необыкновенный. Под стихами забыл я написать: «В. Курочкин», и приятельницы мои не задумались вклеить меня в пантеон мировых поэтов. Вот какие могут быть последствия так называемой невинной рассеянности. Без всякого намерения можно попасть в самозванцы. И я отделался только тем, что послал моим хуторянам декабрьскую книжку «Б[иблиотеки] для чтения» за 1856 год. И после такого аргумента они разочаровались во мне только вполовину. В их понятиях я все-таки остался великим поэтом за то только, что я им сообщил это гениальное стихотворение.

Зима с контрактами и прочими радостями невидимо мелькнула предо мною. Перед лицом мартовского солнца сконфузился и почернел белый снег. Ручьи весело зашевелились в горах и побежали к своему пращуру Днепру-Белогруду сказать о приближении праздника богини Яры. С любовью принял лепечущих крошек старый Белогруд и распахнул свою синеполую ризу чуть-чуть не по самые Бровари. Рязанова трактир¹⁶⁶, как голова утопленника, показывается из воды. А гигант мост, как морское чудовище, растянулся поперек Днепра и показывает изумленному человеку свой темный хребет из блестящей пучины. Прекрасная, величественная картина!

Не говорю, весна, — один запах весны меня способен вывести в поле не только из Киева — из самого Парижа.

Что я и доказал в прошлом году моей черепашечьей прогулкой по неисходимой грязи. Но я годом постарел и сделался хладнокровнее к внешним впечатлениям. А все-таки трудно было мне выговорить роковое слово: «Не поеду!», т. е. пока грязь не уgomонится. Я, однако ж, сказал это роковое слово. А уж если я что однажды сказал, так это все равно, что напечатал. Никакая земная сила не заставит меня переменить однажды принятого намерения. Этим я без хвастовства могу похвалиться.

Сию я скрепя сердце в Киеве. А седьмое апреля (день Пасхи), так сказать, на носу висит. А грязь, как нарочно, жиже и жиже растворяется. Дождь за дождем так и льется. Все против меня — и небо, и земля. Посмотрим, кто кого пересилит? И я, наверное, переупрямил бы и небо, и землю, да случилось вот что. В самое Лазарево воскресенье получаю я письмо от нового земляка моего Прехтеля. Письмо самого курьезного содержания. Оно-то и поколебало мою энергическую или, лучше сказать, хохлацкую натуру. А чтобы недоверчивые читатели не сказали, что я хвостом верчу, то, как доказательство моей непорочности, прилагаю при сем письмо многоуважаемого мною Степана Осиповича Прехтеля. Чтобы они сами могли рассудить, основательно ли я поступил в этом необыкновенном случае.

«Вселюбезнейший земляче!

Начать с того, что вы эгоист. И самый закоренелый, холодный эгоист. Хотя простодушные немки мои и уверяют меня, что вы только лентяй и, следовательно, один из величайших поэтов-художников (не правда ли, наивное понятие?), но меня, старого воробья, на мякине не проведешь. Видал я вашу братью, великих чудотворцев. Но дело не в том. А вот в чем дело. Все мы, начиная с вашей приятельницы Гелены, глаза проглядели, дожидаячи вас к себе на праздниках, а вы?.. Ну, не эгоист ли вы после всего этого? А как у нас было весело — чудо! Героя вашего и его достойного профессора вы бы не узнали. Элеганты, первого сорта элеганты! Маша моя... ну, да Бог с нею. Мне нужен человек, а не мишурная тряпка. А герой ваш... но об этом после. Жаль, что вы не приехали. Вас только и недоставало для полной хохлацкой ассамблеи. Приезжайте же к Пасхе, непременно приезжайте. Вы у нас увидите большие перемены. Сонечка моя помолодела и похорошела, я тоже. Маша

и ее друг Гелена сделались настоящими немками, и я думаю к приезду вашему открыть немецкие литературные вечера, если только вы не привезете новых хохлацких песен. Ротмистра Курнатовского вы совсем не узнаете — прелесть мужик! Кузину вашу называет бездушной куклой. А ее благоверного сожителя — ослом в гусарском вицмундире. Панну Дороту вы совсем не увидите, и скажите: «Слава Богу». Она недавно умерла. Приезжайте, я вам сообщу интересные данные для ее печально-поучительной биографии. А теперь, чтобы более заинтересовать вас, скажу, что она была родною матерью ротмистра Курнатовского. Прощайте! Целуют вас мои немки и я.

Р. S. Болтал, болтал, а главного не сказал. Что Курнатовский из гусара делается человеком, вот вам доказательство. Он ломает отцовское гнездилище и строит новое, человеческое жилище. Не играет в карты, не пьет. И вашего бывшего слугу Трохима воспитывает на свой счет в Белоцерковской гимназии¹⁶⁷. Как обстановка изменяет человека! С прошлой осени герой ваш и его гимназист-профессор живут в Белой Церкви и учатся. Статью эту, правду сказать, я обделал с помощью вашей прекрасной Елены. Да это все равно, кто бы ни сделал, только бы сделал хорошо. И вам будет большой грех, если вы не приедете к нам на праздник, хотя бы для того только, чтобы взглянуть на своего Трохима-гимназиста и на храброго защитника Севастополя, на моего будущего... да что тут за секреты, на моего будущего зятя».

— Прохоре! Прохоре! — закричал я, выбегая в переднюю. С Псалтырью в руках явился Прохор.

— Едем, собирайся. Сегодня едем! — сказал я ему скороговоркой. На что он равнодушно произнес: «Добре!» — и пошел собираться в дорогу.

К[обзарь] Дармограй

1858,
Февраля 16

АВТОБІОГРАФІЯ

Тарас Шевченко — сын крепостного крестьянина Григория Шевченка¹. Родился в 1814 году, февраля 25. В селе Кирилловке, Звенигородского уезда, Киевской губернии². В имении помещика Василия Васильевича Энгельгардта³. На осьмом году, лишившись отца и матери⁴, приютился он у дьячка в школе в виде школяра-попыхача. По многотяжком двухлетнем испытании прошел он граматку, Часословец и, наконец, Псалтырь. Дьячок, убедившись в досужестве своего школяра-попыхача, посылал его вместо себя читать Псалтырь по усопших крепостных душах, за что и платил ему десятую копейку, яко поощрение. Но, несмотря на столь лестное к себе внимание сурового спартанца-учителя, в один из многих дней и ночей, когда спартанец-учитель со своим другом Ионою Лымарем были мертвецки пьяны, школяр-попыхач без зазрения совести, обнажив задняя своего наставника и благодетеля, всыпал ему великую дозу березовой каши. Помстившись до отвала и похитивши какую-то книжечку с кунштыками⁵, в ту же ночь бежал в местечко Лысянку⁶, где и нашел себе учителя живописи отца диакона, тоже спартанца. Терпеливо бродяга-школяр носил из Тикича три дня ведрами воду и растирал медянку на железном листе и на четвертый день бежал. Бежал он в село Тарасовку⁷ к дьячку-маляру, славившемуся в околотке изображением великомученика Никиты⁸ и Ивана-воина⁹; у последнего для большего эффекта рисовал он на левом рукаве две солдатские нашивки. К сему-то Апеллесу¹⁰ обратился школяр-бродяга с твердым намерением перенести все испытания, только бы хоть малость научиться его великому искусству. Но увы! Апеллес посмотрел внимательно на левую ладонь бродяги, отказал ему наотрез, не находя в нем таланта не только к малярству или к шевству, ниже к бондарству.

Потеряв всякую надежду сделаться когда-нибудь хоть посредственным маляром, с сокрушенным сердцем бродяга возвратился в свое родное село с намерением наняться в погоньчи или пасти громадскую ватагу и, ходя за стадом овец и свиней, читать краденую книжечку с кунштывками.

И это не сбылось. Помещику Павлу Васильевичу Энгельгардту¹¹, только что наследовавшему достояние побочного отца своего, понадобился расторопный мальчик, и оборванный школяр-бродяга попал прямо в тиковую куртку, в такие же шаровары и, наконец, в комнатные козачки. В должности козачка он втихомолку срисовывал украденным у конторщика карандашом картины суздальской школы, украшавшие панские покои. Странствуя с обозом за своим дидычем в Киев, Вильно и в Петербург, на постоянных дворах крал он изображения разных исторических героев, как-то: Соловья Разбойника¹², Кульнева¹³, Кутузова¹⁴, козака Платова¹⁵ и прочих, с намерением скопировать их на досуге точь-в-точь.

Случай и досуг представился в Вильне. Это было в 1829 году, декабря 6. Пан и пани уехали в ресурсы¹⁶ на бал, в доме все успокоилось, уснуло. Тогда он развернул краденые сокровища и, выбрав из них козака Платова, принялся благоговейно-тщательно копировать. Уже дошел до маленьких козачков, гарцующих около дюжих копыт коня козака Платова, как растворилась дверь — пан и пани возвратились с балу. Пан с остервенением выдрал его за уши, надавал пощечин за то, дескать, что он мог не только дом, — город сжечь. На другой день пан велел кучеру Сидорке выпороть его хорошенько, что и было исполнено сугубо.

В 1832 году в С.-Петербурге, по неотступной его просьбе, помещик законтрактовал его на четыре года разных живописных дел цеховому мастеру, некоему Ширяеву¹⁷. Ширяев был ретивее всякого дьячка-спартанца. Но, несмотря ни на какие стеснения, он в светлые летние ночи бегал в Летний сад рисовать с безобразных неуклюжих статуй (достойное украшение Петрового сада!). В этом саду и в то же время начал он делать этюды в стихотворном искусстве; из многочисленных попыток он впоследствии напечатал только одну балладу «Причинна». В один из этих сеансов познакомился он с художником Иваном Максимовичем Сошенком¹⁸, с которым и до сих пор в самых искренних братских отношениях. По совету Сошенка он начал пробовать портреты

с натуры акварелью. Для многочисленных проб терпеливо служил ему моделью его земляк и друг Иван козак Нечипоренко, дворовый человек того же Энгельгардта. Однажды тот же Энгельгардт увидел у Нечипоренка работу своего крепостного артиста, которая ему, верно, очень понравилась, потому что он начал употреблять его для снятия портретов с своих любимых любовниц, за которые иногда и награждал рублем серебра, не более.

В 1837 году И. М. Сошенко представил его конференц-секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу¹⁹, с целью освободить его от горестного состояния. В. И. Григорович просил о нем В. А. Жуковского²⁰, а В. А. Жуковский, предварительно узнавши цену от помещика, просил К. П. Брюллова²¹ написать его, В. А. Жуковского, портрет для императорской фамилии с целью разыграть его в лотерею в царском семействе. Великий Брюллов охотно согласился. Портрет написан. В. А. Жуковский с помощью графа М. Ю. Виельгорского²² устроили лотерею в 2500 рублей ассигнациями, и этою ценою была куплена свобода Т. Шевченка в 1838 году, апреля 22.

С того же дня начал он посещать классы Академии художеств и вскоре сделался одним из любимых учеников-товарищей великого Карла Брюллова.

В 1844 году удостоился он звания свободного художника²³, а в 1847 году был арестован вместе с Костомаровым²⁴, Кулишем²⁵ и многими другими по доносу студента Киевского университета, некоего Петрова²⁶. Без суда и следствия разослали их в разные крепости, а 30 мая того же года из каземата Третьего отделения Т. Г. Шевченко был сослан в Орскую крепость²⁷ и потом в Новопетровское укрепление²⁸ с строжайшим запрещением писать и рисовать.

В 1858 году 22 августа по ходатайству графини Анастасии Ивановны Толстой²⁹ освободили его из Новопетровского укрепления. И по ее же ходатайству всемилостивейше повелено быть ему под надзором полиции в столице и заниматься своим художеством.

В 1859 году летом, после долгой и тяжелой разлуки, увидел он свою прекрасную родину, крепостных братьев, сестру³⁰ и благополучно осенью возвратился в Академию художеств, где, благодаря правящим Академиею, с любовью истинного художника занимается гравюрою акватинта и аквафорта³¹.

После долгих двухлетних проволочек Главный цензурный комитет разрешил ему напечатать только те из своих сочинений, которые были печатаны до 1847 года, вычеркнувши из них десятки страниц (прогресс)³².

*[Перша половина 1860,
С.-Петербург]*

ЩОДЕННИК

1857

12 июня

Первое замечательное происшествие, которое я вношу в мои записки, суть следующее. Обрезывая сию первую тетрадь для помянутых записок, я сломал перочинный нож. Происшествие, по-видимому, ничтожное и не заслуживающее того внимания, которое я ему оказываю, внося его как что-то необыкновенное в сию пеструю книгу. Случись этот казус в столице или даже в порядочном губернском городе, то, натурально, он не попал бы в мою памятную книгу. Но это случилось в киргизской степи, т. е. в Новопетровском укреплении¹, где подобная вещь для грамотного человека, как, например, я, дорого стоит; а главное, что не всегда ее можно достать и даже за порядочные деньги. Если вам удастся растолковать свою нужду армянину-маркитанту, который имеет сообщение с Астраханью², то вы все-таки не ближе как через месяц — летом, а зимою — через пять месяцев получите прескверный перочинный ножик и, разумеется, не дешевле монеты, т. е. рубля серебром. А случается и так, и весьма часто, что вместо ожидаемой вами с нетерпением вещи он вас попотчует или московской бязью, или куском верблюжьего сукна, или, наконец, кислым, как он говорит, дамским чихирем. А на вопрос ваш, почему он вам не привез именно то, что вам нужно, он вам пренаивно ответит, — что мы люди коммерческие, люди неграмотные, всего не упомнишь. Что вы ему на такой резонный довод? Ругнете его, он усмехнется, а вы все-таки без ножа останетесь. Теперь понятно, почему в Новопетровском укреплении утрата перочинного ножа — событие, заслуживающее бытописания. Но Бог с ним — и с укреплением, и с ножом, и с маркитантом; скоро, даст Бог, вырвусь я из этой безграничной тюрьмы. И тогда подобное происшествие не будет иметь места в моем журнале.

13 июня

Сегодня уже второй день, как сшил я себе и аккуратно обрезал тетрадь для того, чтобы записывать, что со мною и около меня случится. Теперь еще только девятый час, утро прошло, как обыкновенно, без всякого замечательного происшествия, увидим, чем кончится вечер. А пока совершенно нечего записать. А писать охота страшная. И перья есть очищенные. По милости ротного писаря я еще не чувствую своей утраты. А писать все-таки не о чем. А сатана так и шепчет на ухо:

— Пиши, что ни попало, ври, сколько душе угодно. Кто тебя станет поверять? И в шанечных журналах³ врут, а в таком, в домашнем, и Бог велел.

Если бы я свой журнал готовил для печати, то, чего доброго, пожалуй, и искусил бы лукавый враг истины, но я, как сказал поэт наш,

Пишу не для мгновенной славы,
Для развлечения, для забавы,
Для милых искренних друзей,
Для памяти минувших дней⁴.

Мне следовало бы начать свой журнал со времени посвящения моего в солдатский сан, сиречь с 1847 года. Теперь бы это была претолстая и прескучная тетрадь. Вспоминая эти прошедшие грустные десять лет, я сердечно радуюсь, что мне не пришла тогда благая мысль обзавестись записной тетрадью. Что бы я записал в ней? Правда, в продолжение этих десяти лет я видел даром то, что не всякому и за деньги удастся видеть. Но как я смотрел на все это? Как арестант смотрит из тюремного решетчатого окна на веселый свадебный поезд. Одно воспоминание о прошедшем и виденном в продолжение этого времени приводит меня в трепет. А что же было бы, если бы я записал эту мрачную декорацию и бездушных, грубых лицедеев, с которыми мне привелось разыгрывать эту мрачную, монотонную десятилетнюю драму? Мимо, пройдем мимо, минувшее мое, моя коварная память! Не возмутим сердца любящего друга недостойным воспоминанием, забудем и простим темных мучителей наших, как простил милосердый человеколюбец своих жестоких распинателей. Обратимся к светлому и тихому, как наш украинский осенний вечер, и запишем все виденное и слышанное и все, что сердце продиктует.

От второго мая получил я письмо из Петербурга от Михайла Лазаревского⁵ с приложением 75 рублей. Он извещает меня, или, лучше, поздравляет с свободою⁶. До сих пор, однако ж, нет ничего из корпусного штаба, и я, в ожидании распоряжений помянутого штаба, собираю сведения о волжском пароходстве. Сюда приезжают иногда астраханские флотские офицеры (крейсера от рыбной экспедиции). Но это такие невежды и брехуны, что я, при всем моем желании, не могу до сих пор составить никакого понятия о волжском пароходстве. В статистических сведениях я не имею надобности, но мне хочется знать, как часто отходит пароход из Астрахани в Нижний Новгород и какая цена местам для пассажиров. Но увы! При всем моем старании я узнал только, что места разные и цена разная, а пароходы из Астрахани в Нижний ходят очень часто. Не правда ли, точные сведения?

Несмотря, однако ж, на эти точные сведения, я уже успел (разумеется, в воображении) устроить свое путешествие по Волге уютно, спокойно и, главное, дешево. Пароход буксирует (одно-единственное верное сведение) несколько барок, или, как их называют подчалками, до Нижнего Новгорода с разным грузом. На одной из таких барок я думаю устроить свою временную квартиру и пролежать в ней до нижегородского дилижанса. Потом в Москву, а из Москвы, помолившись Богу за Фультонову⁷ душу, через 22 часа и в Питер. Не правда ли, яркая фантазия? Но на сегодня довольно.

Нынешний вечер ознаменован прибытием парохода из Астрахани. Но как событие сие совершилось довольно поздно, в девятом часу, то до следующего утра я не получу от него никаких известий. Важного ничего я и не ожидаю от астраханской почты. Вся переписка моя идет через Гурьевгородок⁸. А через Астрахань я весьма редко получаю письма. Следовательно, мне от парохода ждать нечего. Не вздумает ли батяко кошовый Кухаренко⁹ написать мне? То-то бы одолжил меня старый черноморец. Замечательное явление между людьми этот истинно благородный человек. С 1847 года, по распоряжению высшего начальства, все друзья мои должны были прекратить со мною всякое сношение. Кухаренко не знал о таком распоряжении. Но также не знал и о моем местопребывании. И, будучи в Москве во время коронации¹⁰ депутатом от своего войска, познакомился со стариком Щепкиным¹¹ и от него узнал о месте моего заклю-

чения. И, благороднейший друг! написал мне самое искреннее, самое задушевное письмо. Через девять лет и не забыть друга, и еще в несчастьи друга. Это редкое явление между себялюбивыми людьми. С этим же письмом, по случаю, как он пишет, по случаю получения им Станислава первой степени, прислал он мне на поздравку 25 рублей серебром. Для семейного и небогатого человека большая жертва. И я не знаю, чем и когда я ему воздам за эту искреннюю, неллицеприятную жертву.

По случаю этого дружеского неожиданного приветствия я расположил было мое путешествие таким образом: через Кизляр¹² и Ставрополь¹³ проехать в Екатеринодар¹⁴ прямо к Кухаренку. Насмотревшись досыта на его благородное, выразительное лицо, я думал проехать через Крым, Харьков, Полтаву, Киев и Минск, Несвиж¹⁵ и, наконец, в село Чиркo в и ч и¹⁶ и, обняв своего друга и товарища по заключению Бронислава Залецкого¹⁷, через Вильно проехать в Петербург. План этот изменило письмо М. Лазаревского от 2 мая. Из письма этого я увидел, что мне, нигде не останавливаясь, нужно поспешить в Академию художеств и облобызать руки и ноги графини Настасии Ивановны Толстой¹⁸ и ее великодушного супруга, графа Федора Петровича¹⁹. Они единственные виновники моего избавления, им и первый поклон. Независимо от благодарности, этого требует простая вежливость. Вот главная причина, почему я, вместо ухарской тройки, выбрал тридцатидневное монотонное плавание по матушке по Волге. Но состоится ли оно, я этого еще наверное не знаю. Легко может статься, что я еще в хламиде поругания и с ранцем за плечами попунтирую в Уральск²⁰ в штаб баталиона № 1. Всего еще можно ожидать. И потому не следует давать слишком много воли своему неугомонному воображению. Но утро вечера мудренее. Посмотрим, что завтра будет. Или, лучше сказать, что привезет гурьевская почта.

14 июня

Я что-то чересчур усердно и аккуратно взялся за свой журнал. Не знаю, долго ли продлится этот писательский жар? Как бы не сглазить. Если правду сказать, я не вижу большой надобности в этой пунктуальной аккуратности. А так — от нечего делать. На бездельи и это рукоделье. Записному литератору или какому-нибудь поставщику фельетона, — тому

необходима эта бездушная аккуратность как упражнение, как его насущный хлеб. Как инструмент виртуозу, как кисть живописцу, так литератору необходимо ежедневное упражнение пера. Так делают и гениальные писатели, так делают и пачкуны. Гениальные писатели потому, что это их призвание. А пачкуны потому, что они иначе себя и не воображают, как гениальными писателями. А то бы они и пера в руки не брали.

Какое же казусное событие запишу я сегодня? А вот какое. Вчерашний пароход разрешился порядочным мешком целковых²¹ и арапчиков²². Это третное жалованье гарнизона. Офицеры сегодня же его и получили и сегодня же отнесли его Попову²³ (маркитанту) и спиртомеру (целовальнику), а остальное тоже отослали к спиртомеру и начали кутить, или, вернее, пьянствовать. Завтра выдадут жалованье солдатам, и солдаты тоже начнут кутить, т. е. пьянствовать. И это продлится несколько дней сряду. И кончится как солдатская, так и офицерская попойка дракой и, наконец, курятником, т. е. гауптвахтой.

Солдаты — самое бедное, самое жалкое сословие в нашем православном отечестве. У него отнято все, чем только жизнь красна: семейство, родина, свобода, одним словом, — все. Ему простительно окунуть иногда свою сирую, одинокую душу в полштофе сивухи. Но офицеры, которым отдано всё, все человеческие права и привилегии, чем же они разнятся от бедняка солдата? (Я говорю о Новопетровском гарнизоне.) Ничем они, бедные, не разнятся, кроме мундира. И добро бы еще были так называемые старые бурбоны. А то ведь юноши и воспитанники кадетских корпусов. Хорошо должно быть воспитание? Бесчеловечное воспитание. Зато дешевое. А главное, скорое. Восемнадцатилетний юноша — уж он офицер. Восторг и загляденье матери и опора дряхлого отца. Жалкая мать и глупый отец.

Кажется, Казак Луганский²⁴ написал книгу под заглавием «Солдатские досуги»²⁵. Заглавие ложное. У русского солдата досуга не имеется. А если же солдат и встречается с ним иногда, то непременно в кабаке. Какая же, спрашивается, была цель прославленного сочинителя писать подобные досуги? И что нравственного в подобных досугах, если они написаны с натуры (я книги не читал)? А если же это просто сочинение, т. е. фантазия, то опять — какая цель подобной фантазии? А не лучше ли бы сделал почтеннейший автор

сих ненужных фантастических досугов, если бы написал истинные досуги линейных, армейских и даже гвардейских молодых офицеров. Этим он оказал бы величайшую услугу чадолюбивым и эполетолюбивым родителям.

15 июня

Что же я сегодня занесу в свой журнал? Совершенно нечего занести. А ни-ни, ничего хоть сколько-нибудь выходящего из круга обыденной монотонной жизни. Сегодня поутру начал я рисовать портрет г. Бажанова²⁶ черным и белым карандашом в киргизской кибитке на огороде. Прекрасное освещение. И я с охотой принялся за работу. Черт принес приятельницу — помешала. Я закрыл портфель и вышел из кибитки. Скромная приятельница не утерпела, взглянула одним глазком на мою работу и нашла решительное сходство, если бы рот и нос поменьше. И, не удовольствовавшись собственным замечанием, спросила мнения у горничной и у своего фаворита Молчалина А.²⁷ Это меня решительно взбесило, и я, не простившись, ушел в укрепление. В укреплении видел пьяную официю и выслушал историю о том, как вчерашнего числа раскроил лоб чубуком тесть²⁸ своему будущему зятю Чарцу²⁹ тоже по случаю жалованья. Солдатам выдавали жалованье. Мне тоже выдали, я передал его своему еще трезвому дядьке и велел ему сшить из подкладочного холста торбу для дороги. Потом зашел к Мостовскому³⁰, выслушал в другой раз историю (с некоторыми прибавлениями) о будущем тесте и зяте, выпил рюмку водки и возвратился на огород. Обедал, после обеда, по доброму обычаю предков, заснул часика два, и тем кончилось 15 число июня. О вечере совершенно нечего написать.

16 июня

Сегодня воскресенье. Я ночевал на огороде. Поутру был в укреплении. Дождь (весьма редкое явление) помешал мне возвратиться на огород, и я остался обедать у Мостовского. Мостовский один-единственный человек во всем гарнизоне, которого я люблю и уважаю. Человек не сплетня, не верхогляд, человек аккуратный, положительный и в высокой степени благородный. Говорит плохо по-русски, но русский язык знает лучше воспитанников Неплюевского корпуса³¹. Во время восстания поляков в 1830 году служил он в артиллерии бывшей польской армии и из военнопленных

зачислен был рядовым в русскую службу. Я много от него слышал чрезвычайно интересных подробностей о революции 1830 года³². Достоин замечания то, что поляк рассказывает о собственных подвигах и неудачах без малейших украшений: редкая черта в военном человеке, тем более — в поляке. Одним словом, Мостовский — человек, с которым можно жить, несмотря на сухость и прозаичность его характера.

Сегодня же милейшая миледи Мешкова³³ сообщила мне, впрочем не по секрету, со всеми подробностями, историю о побоище, происшедшем между будущим тестем и будущим зятем. Из этой истории можно бы выкроить водевиль, разумеется, водевиль для здешней публики. Назвать его можно «Свадебный подарок, или Недошитая кофта». Дело вот в чем. Жених в прошедшем месяце отправился в Астрахань купить свадебные подарки для своей невесты. Для этой милой необходимости взял он у своего будущего тестя, такого же голыша, как и сам, последние крохи с тем, чтобы при получении жалованья возвратить эти крохи. Хорошо. Жених возвращается из Астрахани и отдает унтер-офицерше Петровой³⁴ сшить для своей невесты ситцевое платье и колленкоровую кофту. Хорошо. Унтер-офицерша шьет, а между тем получается на гарнизон жалованье. Но увы! Несчастному жениху выдают на руки всего-навсего два с полтиной, а все остальное удержано в батальоне, по его же собственным распискам. Но герой, как ни в чем не бывало, посылает своего верного раба Григория к спиртомеру за четвертью полугару и с торжествующей физиономией, сопровождаемый Григорием с четвертью в руках, отправляется к будущему тестю. Начинается поздравка с получением жалованья. Но увы! И на старуху бывает проруха. Бедный жених слишком увлекся будущим счастьем и в жару мечтаний проговорился, что он получил жалованья всего-навсего только два с полтиной. Разочарованный будущий тесть, тоже в жару негодования, хватил своего милого зятя чубуком по лбу, да так хватил ловко, что кровь полилась с благородного чела. Но чтобы не показать соседям, что между ими вышло контро, они принялись вдвоем бить собаку. Бедная собака! Но этим дело не кончилось. Догадливый раненый герой бежит к портнихе, но, увы, платье уже отдано невесте, осталась только недошитая кофта; он отбирает у портнихи этот неоконченный предмет и закладывает жидку-солдату за две чары водки. Премиленький и назидательный мог бы выкроиться водевильчик.

И это гнусное происшествие — не выходящее из круга обыкновенных происшествий в Новопетровском укреплении. И я в этом омуте, среди этого нравственного безобразия, седьмой год уже кончаю. Страшно! Теперь, когда уже узнали о моем освобождении, то ближайшие мои начальники, фельдфебель и ротный командир, не увольняя меня от ученья и караула, позволили мне свободные часы от службы проводить на огороде, за что я им сердечно благодарен. На огороде, или в саду — летняя резиденция нашей комендантши³⁵, и все свободное время теперь я провожу в ее семействе; у нее двое миленьких детей, Наташенька³⁶ и Наденька³⁷, и это единственный мой отдых и рассеяние в этом отвратительном захолустье.

17 июня

Сегодня, в четвертом часу утра, пришел я на огород. Утро было тихое, прекрасное. Иволги и ласточки нарушали изредка только сонную и сладкую тишину утра. С некоторого времени, с тех пор как мне позволено уединяться, я чрезвычайно полюбил уединение. Милое уединение! Ничего не может быть в жизни слаще, очаровательнее уединения, особенно перед лицом улыбающейся, цветущей красавицы матери Природы. Под ее сладким, волшебным обаянием человек невольно погружается сам в себя и видит Бога на земле, как говорит поэт³⁸. Я и прежде не любил шумной деятельности, или, лучше сказать, шумного безделья. Но после десятилетней казарменной жизни уединение мне кажется настоящим раем. А я все-таки не могу ни за что приняться. Ни малейшей охоты к труду. Сажу или лежу молча по целым часам под моею любимую вербу, и хоть бы на смех что-нибудь шевельнулось в воображении. Таки совершенно ничего. Настоящий застой. И это томительное состояние началось у меня с 7 апреля, т. е. со дня получения письма от М. Лазаревского³⁹. Свобода и дорога меня совершенно поглотили. Спасибо еще Кулишу⁴⁰, что догадался прислать книг, а то я не знал бы, что с собою делать. В особенности благодарен я ему за «Записки о Южной Руси»⁴¹. Я эту книгу скоро наизусть буду читать. Она мне так живо, так волшебным образом напомнила мою прекрасную бедную Украину, что я как будто с живыми беседую с ее слипыми лирниками и кобзарями. Прекраснейший, благороднейший труд. Бриллиант в современной исторической литературе. Пошли тебе Господи,

друже мой искренний, силу, любовь и терпение продолжать эту неоцененную книгу. Прочитавши в первый раз эту алмазную книгу, я дерзнул было делать замечания, но когда прочитал в другой и в третий раз, то увидел, что заметки мои — заметки пьяного человека и ничего больше. Кроме Субботова⁴², т. е. насчет места бывшего дома Богдана Хмельницкого. Но такое ничтожное пятнышко не должно быть замечаяемо на драгоценной ткани. Я обещал, начитавшись до отвала этой книги, послать ее Кухаренку и теперь жалею, что обещал. Во-первых, потому, что я ее никогда не начитаюсь до отвала. А во-вторых, потому, что поля книги испачканы нелепыми замечаниями. Даст Бог, я ему из Петербурга вышлю чистенький экземпляр.

Вчерашний водевиль кончился, как и следовало ожидать, сегодня миром и гомерической попойкой с песельниками. Интересно знать, чем кончится свадьба. Вероятно, дракой.

18 июня

Сегодня я, как и вчера, точно так же рано пришел на огород, долго лежал под вербою, слушал иволгу и наконец заснул. Видел во сне Межигорского Спаса⁴³, Дзвонковую криницу⁴⁴ и потом Выдубецкий монастырь⁴⁵. А потом — Петербург и свою милую Академию⁴⁶. С недавнего времени мне начали грезиться во сне знакомые, давно не виданные предметы. Скоро ли увижу все это я наяву? Сновидение имело на меня прекрасное влияние в продолжение всего дня, а тем более, что сегодня гурьевскую, т. е. оренбургскую, почту ожидали. К вечеру действительно почта пришла, но ни мне, ни обо мне ничего не привезла. Опять я спустил нос на квинту⁴⁷. Опять тоска и бесконечное ожидание. Неужели от 16 апреля до сих пор не могли сделать в корпусном штабе насчет меня распоряжения? Холодные, равнодушные тираны! Вечером возвратился я в укрепление и получил приказание от фельдфебеля готовиться к смотру. Это результат давно ожидаемой почты и с таким трепетом ожидаемой свободы. Тяжело, невыразимо тяжело! Я одурею наконец от этого бесконечного ожидания.

Как быстро и горячо исполняется приказание арестовать, так, напротив, вяло и холодно исполняется приказание освободить. А воля одного и того же лица. Исполнители одни и те же. Отчего же эта разница? В 1847 году, в этом месяце, меня на седьмые сутки доставили из Петербурга в Оренбург.

А теперь дай Бог на седьмой месяц получить от какого-нибудь баталионного командира приказание отобрать от меня казенные вещи и прекратить содержание. Форма, но я не возьму себе в толк этой бесчеловечной формы.

19 июня

Вчера ушел пароход в Гурьев и привезет оттуда вторую роту и самого баталионного командира. А по случаю прибытия сюда этой важной особы остающаяся здесь рота, к которой принадлежу и я, готовится к смотру. Для этого важного грядущего события мне сегодня пригоняли амуницию. Какое гнусное грядущее важное событие! Какая бесконечная и отвратительная эта пригонка амуниции! Неужели и это еще не в последний раз меня выведут на площадь, как бессловесное животное, напоказ? Позор и унижение! Трудно, тяжело, невозможно заглушить в себе всякое человеческое достоинство, стать навывтяжку, слушать команды и двигаться, как бездушная машина. И это единственный, опытом дознанный способ убивать разом тысячу себе подобных. Гениальное изобретение! Делающее честь и христианству, и просвещению.

Странно, что даже благоразумные люди, как, например, наш лекарь Никольский⁴⁸, любят посмотреть, как вытягивает носок посиневший от напряжения человек. Не понимаю этого нечеловеческого наслаждения. А наш почтенный Гиппократ⁴⁹, несмотря на зной и холод, целые часы просиживает у калитки и любит унижением себе подобного. Палач ты, как видно, по призванию и только по названию лекарь.

В детстве, сколько я помню, меня не занимали солдаты, как это обыкновенно бывает с детьми. Когда же я начал приходить в возраст разума вещей, во мне зародилась неодолимая антипатия к христолюбивому воинству. Антипатия усиливалась по мере столкновения моего с людьми сего христолюбивого звания. Не знаю, случай ли, или оно так есть в самой вещи, только мне не удалось даже в гвардии встретить порядочного человека в мундире. Если трезвый, то непременно невежда и хвастунишка. Если же хоть с малой искрою разума и света, то также хвастунишка и вдобавок пьяница, мот и распутник. Естественно, что антипатия моя возросла до отвращения. И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито, злобно посмеяться надо мною, толкнув меня в самый вонючий осадок этого христолюбивого

сословия. Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный Оренбургский корпус солдатом. Вот где причина моих невыразимых страданий. И ко всему этому мне еще запрещено рисовать. Отнято благороднейшую часть моего бедного существования. Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодно-го, нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительной точностью.

Август-язычник, ссылая Назона к диким гетам⁵⁰, не запретил ему писать и рисовать. А христианин Николай⁵¹ запретил мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин! И христианин девятнадцатого века, в глазах которого выросло огромное государство в мире, выросло на началах Христовой заповеди. Флорентинская республика⁵² — полудикая, иступленная средневековая христианка, но все-таки как материальная христианка она поступила с своим строптивым гражданином Дантом Алигьери⁵³. Боже меня сохрани от всякого сравнения себя с этими великомучениками и светочами человечества. Я только сравниваю материального, грубого язычника и полуозаренную средневековую христианку с христианином девятнадцатого века.

Не знаю наверное, чему я обязан, что меня в продолжение десяти лет не возвели даже в чин унтер-офицера. Упорной ли антипатии, которую я питаю к сему привилегированному сословию? Или своему невозмутимому хохлацкому упрямству? И тому, и другому, кажется. В незабвенный день объявления мне конфирмации я сказал себе, что из меня не сделают солдата. Так и не сделали. Я не только глубоко, даже и поверхностно не изучил ни одного ружейного приема. И это льстит моему самолюбию. Ребячество — и ничего больше. Майор Мешков⁵⁴, желая задеть меня за живое, сказал однажды мне, что я когда буду офицером, то не буду уметь в порядочную гостиную войти, если не выучусь, как следует бравому солдату, вытягивать носка. Меня, однако ж, это не задело за живое. И бравый солдат мне казался менее осла похожим на человека, почему я и мысли боялся быть похожим на бравого солдата.

Вторая и не менее важная причина моего неповышения. Бездушному сатрапу и наперснику царя⁵⁵ пригрезилось, что я освобожден от крепостного состояния и воспитан на счет царя, и в знак благодарности нарисовал карикатуру своего

благодетеля. Так пускай, дескать, казнится, неблагодарный. Откуда эта нелепая басня — не знаю. Знаю только, что она мне не дешево обошлась. Надо думать, что басня эта сплелась на конфирмации, где в заключении приговора сказано: «Строжайше запретить писать и рисовать». Писать запрещено за возмутительные стихи на малороссийском языке. А рисовать — и сам верховный судья не знает, за что запрещено. А просвещенный блюститель царских повелений непоясненное в приговоре сам пояснил, да и прихлопнул меня своим бездушным всемогуществом. Холодное, развращенное сердце. И этот гнилой старый развратник пользуется здесь славою щедрого и великодушного благодетеля края. Как близоруки, или, лучше сказать, как подлы эти гнусные славельщики. Сатрап грабит вверенный ему край и дарит своим распутным прелестницам десятитысячные фермуары⁵⁶, а они прославляют его щедрость и благодеяния. Мерзавцы!

20 июня

Сегодня рота придет в Гурьев, а по случаю полноводия в Урале она пройдет прямо на Стрелецкую косу и сегодня же сядет на пароход. Завтра рано пароход подымет якорь и послезавтра высадит роту в Новопетровской гавани. Держись, наша официя. Гроза, гроза ужасная близится. Баталионный командир⁵⁷, подобно тучегонителю Крониону⁵⁸, грядет на тебя во облаце мрачне, в том числе и на нас бессловесных. В ожидании сего грозного судии и карателя пропившиеся до снаги блажат и умоляют эскулапа выдумать и форменно засвидетельствовать их небывалые немощи душевные и телесные, и паче душевные, и тем спасти их от праведного суда громоносного Крониона. Но мрачный эскулап неумолим. И только нашего брата солдата, также пропившегося до снаги и не имеющего в чем явиться пред лицо отца-командира, Никольский кладет на койки и прописывает слабительное. Непопулярный эскулап наш намерен сделаться популярным коновалом. Сегодня не без видимого удовольствия сказал смотритель полугоспиталя⁵⁹, что на его попечение, т. е. продовольствие, прибыло семнадцать жильцов. Следовательно, рубль семь гривен в продолжение суток в кармане, не считая отопления и освещения. Не здесь ли скрывается и причина великодушия нашего эскулапа? Шепнуть разве Нагаеву⁶⁰ и другим чающим и не могущим вымолить защиты у жестокосердного эскулапа?

К добру ли это я так сегодня расфантазировался? В прежние годы, в эти истинно критические дни, со мною этого не было. Не было, однако же, и того, не в похвалу будь сказано, чтобы я прятался под кровом стонов и вздыханий. В этом случае я никогда не искал медицинского пособия. С трепетным замиранием сердца я всегда фабрировал усы, облачался в броню и являлся пред хмельно-багровое лицо отца-командира сдать экзамен в пунктах, ружейных приемах и в заключение выслушать глупейшее и длинейшее наставление о том, как должен вести себя brave солдат и за что он обязан любить Бога, царя и своих ближайших начальников, начиная с дядьки и капрального ефрейтора.

Смешно. Потому смешно, что я освоился с этим отвратительным спектаклем. Но каково было прежде, когда я не умел, а должен был похоронить в самом себе всякое человеческое чувство, сделаться бездушным автоматом и слушать молча, не краснея и не бледнея, слушать нравственное наставление от грабителя и кровопийцы. Нет, тогда это не было смешно. Гнусно! Отвратительно! Дожду ли я тех блаженных дней, когда из памяти моей испарится это нравственное безобразие? Не думаю. Потому что медленно и глубоко врезывалось в нее это безобразие.

Странно еще вот что. Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе. Опыт, говорят, есть лучший наш учитель. Но горький опыт прошел мимо меня невидимкою. Мне кажется, что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины души благодарю моего всемогущего Создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться своими железными когтями моих убеждений, моих младенчески светлых верований. Некоторые вещи просветлели, округлились, приняли более естественный размер и образ. Но это следствие невозмутимо летущего старика Сатурна⁶¹, а никак не следствие горького опыта.

Получивши от Кухаренка письмо⁶² с приложением 25 рублей, значит, с приложением весьма вещественным, я отблагодарил его письмом же, со вложением собственного поличия, и вторым письмом⁶³, со вложением еще менее вещественным. Со вложением небывалого рассказа мнимого варнака под названием «Москалева криныця»⁶⁴. Я написал

его вскоре по получении письма от батька-атамана кошового. Стихи оказались почти одной доброты с прежними моими стихами. Немного упруге и отрывистее. Но это ничего; даст Бог, вырвуся на свободу, и они у меня потекут плавнее, свободнее, и проще, и веселее. Дождусь ли я этой хромой волшебницы свободы?

21 июня

Вперед, вперед, моя история,
Лицо нас новое зовет⁶⁵.

У кого что болит, тот о том и говорит. Сегодня вечером, возвращаясь из огорода в укрепление вместе с комендантом⁶⁶, он мне в сотый раз повторил со всевозможными подробностями историю о коварном друге своем, некоем полковнике Киреевском⁶⁷. Полковник этот Киреевский, как видно, птица высшего полета, а по словам коменданта, настоящий аристократ. А что он птица высокого полета, это я заключаю по тому, что он служил чиновником особых поручений при графе В. А. Перовском и был с ним в весьма близких отношениях. Следовательно, это не какая-нибудь шваль, а человек с достоинством. Потому что такой вельможа, как граф Перовский, какую-нибудь шваль к себе и в прихожую не допустит. А следующее дело показывает, что граф Перовский весьма неразборчив на своих приближенных и приближает к своей высокой персоне именно шваль. Да еще какую шваль? Самую грязную, кабашную шваль, прикрытую полковничьим мундиром и 600-ми крепостных душ.

История такого содержания. Ираклий Александрович Усков (наш комендант), будучи хорошо знаком в Оренбурге с помянутым полковником и аристократом Киреевским, просил его, когда он выехал в Петербург, просил он его и лично, и письмом из Новопетровского укрепления, как в некотором роде химика и знатока фотографического дела, просил выслать ему из Петербурга камеру со всем необходимым для фотографии. Киреевский изъявил (тоже письмом) самую обязательную готовность услужить другу. И потребовал на эту услугу 350 рублей серебром. Деньги тотчас же были посланы (в сентябре прошлого года). Получено также весьма дружеское письмо о получении этой суммы, с означением месяца и даже числа, в которое непременно получится помянутая камера с прибором и со всеми необходимыми хи-

мическими солями. Тем все и кончилось. Благородный, обязательный друг как в воду канул. Ираклий Александрович между бесконечными предположениями решил, что друг его отправился на пароходе Харона прогуляться в Елисейском парке⁶⁸. Другой причины его молчания и подозревать нельзя. Но чтобы убедиться в этой непреложной истине, я написал, по просьбе Ираклия Александровича, в Петербург приятелю своему Марковичу⁶⁹, чтобы он разведал и сообщил мне, что случилось с таким-то полковником Киреевским. От Марковича еще известие не получено. А из «Русского инвалида»⁷⁰ видно, что обязательный друг мая 16 выехал из Петербурга в Москву. А из Оренбурга уведомляют коменданта, что полковник Киреевский принят новым генерал-губернатором Катениным⁷¹ тоже в чиновники по особым поручениям, но по домашним обстоятельствам подал в отставку. Из всего этого оказывается, что помещик 600 душ крестьян, аристократ, наперсник графа Перовского, наконец, полковник Киреевский — подлец и негоднейшая тряпка.

Ираклий Александрович дает мне форменную доверенность получить обратно от Киреевского эти деньги; я охотно готов услужить ему, если не удастся добром и миром, то, делать нечего, бесконечными стезями закона. Во всяком случае, я буду очень рад, если удастся мне эта сомнительная операция.

Сегодняшним же числом мне хочется записать или, как зоологи выражаются, определить еще одно отвратительное насекомое. Но как бы не напичкать мой журнал этой негодной тварью до того, что и порядочному животному в нем места не останется. А впрочем, ничего, это миниатюрное насекомое места немного требует. Это — двадцатилетний юноша, сын статского советника Порциенка⁷². Следовательно, тоже птица не низкого полета.

25 июня

Только что успел я написать «Следовательно, тоже птица не мелкого полета», как раздалось во всех концах огорода слово «пароход». Я, разумеется, бросил свое писание и побежал в крепость. С пароходом я ожидал оренбургской почты, а с почтой и свободы. Вышло, однако ж, совершенно противное тому, чего я ожидал. Пароход почты не привез, а следовательно, и волшебного, очаровательного слова. А вместо оногo слова привез дело в виде рыжей весьма не-

привлекательной персоны, т. е. привез баталионного командира⁷³, первым делом которого было обегать казармы, надавать зубочисток фельдфебелям и прочим нижним чинам, даже до профоса. А ротным командирам и прочей официи, смотря по лицу и образу жизни, — приличное родительское наставление. И после этого нежного, грациозного вступления назначен был формальный смотр той несчастной роте, к которой и я имею несчастье принадлежать. Бедная рота всю ночь готовилась к этому истинно страшному суду и в пять часов утра 23 июня, умытая, причесанная, нафабренная, выстроилась на полянке, точно игрушка, вырезанная из картона. От 5-ти и до 7-ми часов, в ожидании судии праведного, рота равнялась. В 7 часов явился во всем своем грозном величии сам судия и испытывал, или, лучше сказать, пытал ее, несчастную, ровно до 10-ти часов. В заключение спектакля спросил претензию, ругнул в общих выражениях, посулил суд и розги и даже зеленую аллею, т. е. шпицрутены. Для всех гроза прошла, а для меня она еще только собиралась. В числе прочих подтвержденных должен был и я предстать после обеда в 5 часов на вторичное, и еще горшее, испытание. К этому вторичному испытанию я готовился довольно равнодушно, как человек вполовину свободный. Но когда предстал пред неумолимого экзаменатора, куда что девалось. Ниже малейшей тени, ничего похожего на человека, вполовину свободного, во мне не осталось, та же самая мучительная холодная дрожь пробежала по моему существу. То же самое, что и в прежние года, чувство — нет, не чувство, а мертвое бесчувствие — охватило меня при взгляде на эту деревянную выкрашенную фигуру. Одним словом, я превратился в ничто. Не знаю, на всех ли так сильно действует антипатия, как на меня? Экзамен повторился слово в слово, как и десять лет тому назад, четверти буквы ни прибавлено, ни убавлено. Зато и я а ни на йот не подвинулся на поприще военного просвещения. Упорство обоюдное и невозмутимое. По примеру прежних годов экзаменатор и блюститель нравственности спросил нас по ранжиру, кто и за что удостоился нести сладкую сердцу обязанность солдата.

— Ты за что? — спросил он у первого.

— За утрату казенных денег, ваше высокоблагородие.

— Да, знаю, ты неосторожно загнул угол. Надеюсь, вперед не будешь гнуть углы, — сказал он насмешливо и обратился к следующему: — А ты за что?

— По воле родительницы, ваше высокоблагородие.

— Хорошо. Надеюсь, вперед не будешь и... — и обратился к следующему: — Ты за что?

— За буйные поступки, ваше высокоблагородие.

— Хорошо. Надеюсь, вперед... и... Ты за что? — спросил он у следующего.

— По воле родителя, ваше высокоблагородие.

— Надеюсь... а ты за что? — спросил он, обращаясь ко мне.

— За сочинение возмутительных стихов, ваше высокоблагородие.

— Надеюсь, вперед не будешь... А ты за что, за что? — спросил он у последнего.

Последний отвечал, что тоже по воле родительницы, и, не выслушавши последнего, он обратился к нам сильную назидательную речь, замкнувшуюся весьма новой истиной, что за Богом молитва и за царем служба не пропадают.

В заключение церемонии спросил он у ротного командира, почему Порциенко не явился на испытание, на что тот отвечал, что Порциенко болен, т. е. пьян, и находится под сохранением у свинопаса. Все эти подтвержденные, так называемые господа дворяне, с которыми я теперь представлялся пред лицо отца-командира, все они люди замечательные по своим нравственным качествам, но последний субъект, под названием Порциенко, всех их перещеголял. Все их отвратительные пороки вместил в своей подлой двадцатилетней особе. Странное и непонятное для меня явление этот отвратительный юноша. Где и когда успел он так глубоко заразиться всеми гнусными нравственными болезнями? Нет мерзости, низости, на которую бы он не был способен. Романы Сю⁷⁴ с своими отвратительными героями — пошлые куклы перед этим двадцатилетним извергом. И это сын статского советника, следовательно, нельзя предполагать, чтобы не было средств дать ему не какое-нибудь, а порядочное воспитание. И что же? Никакого. Хорош должен быть и статский советник. Да и вообще должны быть хороши отцы и матери, отдающие детей своих в солдаты на исправление. И для чего, наконец, попечительное правительство наше берет на себя эту неудобноисполнимую обязанность? Оно своей неуместной опекой растлевает нравственность простого хорошего солдата, и ничего больше. Рабочий дом, тюрьма, кандалы, кнут и неисходимая Сибирь — вот место

для этих безобразных животных, но никак не солдатские казармы, в которых и без них много всякой сволочи. А самое лучшее — предоставить их попечению нежных родителей, пускай спотешаются на старости лет своим собственным произведением. Разумеется, до первого криминального проступка, а потом отдавать прямо в руки палача.

До прибытия моего в Орскую крепость⁷⁵ я и не воображал о существовании этих гнусных исчадий нашего православного общества. И первый этого разбора мерзавец меня поразили своим зловредным существованием. Особенно, когда мне сказали, что он тоже несчастный, такой же, как и я, разжалованный, и, следовательно, мой товарищ по званию и по квартире, т. е. по казармам. Слово «несчастный» имело для меня всегда трогательное значение, пока я его не услышал в Орской крепости. Там оно для меня опошлено, и я до сих пор не могу возвратить ему прежнего значения. Потому что я до сих пор вижу только мерзавцев под фирмою несчастных.

По распоряжению бывшего генерал-губернатора, довольно видного политика Обручева⁷⁶, я имел случай просидеть под арестом в одном каземате с колодниками и даже с клейменными каторжниками и нашел, что к этим заклеянным злодеям слово «несчастный» более к лицу, нежели этим растленным сыновьям безличных эгоистов-родителей.

26 июня

Два дня уже прошло, как выехал от нас отец командир наш, но я все еще не могу освободиться от тяжелого влияния, наведенного его коротким присутствием. Этот отвратительный смотр так плотно притиснул мои блестящие розовые предположения, так меня обескуражил, что если бы не Лазаревского письмо у меня в руках, то я бы совсем обессилен под гнетом этого тяжелого впечатления. Но слава Богу, что у меня есть этот неоцененный документ; значит, у меня есть канва, по которой я могу выводить самые прихотливые, самые затейливые арабески.

«Надеждою живут ничтожные умы», — сказал покойник Гете⁷⁷. И покойный мудрец сказал истину вполнину. Надежда свойственна и мелким, и крупным, и даже самым материальным положительным умам. Это наша самая нежная, постоянная, до гробовой доски неизменная нянька-любовница. Она, прекрасная, и всемогущего царя, и мирового мудреца,

и бедного пахаря, и меня, мизерного, постоянно лелеет доверчивое воображение и убаюкивает недоверчивый ум своими волшебными сказками, в которые всякий из нас так охотно верит. Я не говорю — безотчетно. Тот действительно ничтожный ум, который верит, что на вербе вырастут груши. Но почему же не верить мне, что я хотя к зиме, но непременно буду в Петербурге? Увижу милые моему сердцу лица, увижу мою прекрасную Академию, Эрмитаж, еще мною не виденный⁷⁸, услышу волшебницу оперу. О, как сладко, как невыразимо сладко веровать в это прекрасное будущее. Я был бы равнодушный, холодный атеист, если бы не верил в этого прекрасного бога, в эту очаровательную надежду.

Материальное свое существование я предполагаю устроить так, разумеется, с помощью друзей моих. О живописи мне теперь и думать нечего. Это было бы похоже на веру, что на вербе вырастут груши. Я и прежде не был даже и посредственным живописцем. А теперь и подавно. Десять лет неупражнения в состоянии сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного, кабашного балалаечника. Следовательно, о живописи мне и думать нечего. А я думаю посвятить себя безраздельно гравюре акватинта. Для этого я полагаю ограничить свое материальное существование до крайней возможности и упорно заняться этим искусством. А в промежутке времени делать рисунки сепией с знаменитых произведений живописи, рисунки для будущих эстампов. Для этого, я думаю, достаточно будет двух лет прилежного занятия. Потом уеду на дешевый хлеб в мою милую Малороссию и примусь за исполнение эстампов, и первым эстампом моим будет «Казарма» с картины Теньера⁷⁹. С картины, про которую говорил незабвенный учитель мой, великий Карл Брюллов⁸⁰, что можно приехать из Америки, чтобы взглянуть на это дивное произведение. Словам великого Брюulloва в этом деле можно верить.

Из всех изящных искусств мне теперь более всего нравится гравюра. И не без основания. Быть хорошим гравером — значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит быть распространителем света истины. Значит быть полезным людям и угодным Богу. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера. Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца? Божественное призвание гравера!

Кроме копии с мастерских произведений, я думаю со временем выпустить в свет в гравюре акватинта и собственное чадо — «Притчу о блудном сыне»⁸¹, приноровленную к современным нравам купеческого сословия. Я разделил эту поучительную притчу на двенадцать рисунков, они уже почти все сделаны на бумаге. Но над ними еще долго и прилежно нужно работать, чтобы привести их в состояние, в котором они могут быть переданы меди. Общая мысль довольно удачно приноровлена к грубому нашему купечеству. Но исполнение ее оказалось для меня не по силе. Нужна ловкая, меткая, верная, а главное — не карикатурная, скорее драматический сарказм, нежели насмешка. А для этого нужно прилежно поработать. И с людьми сведущими посоветоваться. Жаль, что покойник Федотов⁸² не наткнулся на эту богатую идею, он бы из нее выработал изящнейшую сатиру в лицах для нашего темного полутатарского купечества.

Мне кажется, что для нашего времени и для нашего среднего полуграмотного сословия необходима сатира, только сатира умная, благородная. Такая, например, как «Женях»⁸³ Федотова или «Свои люди — сочтемся» Островского⁸⁴ и «Ревизор» Гоголя. Наше юное среднее общество, подобно ленивому школьнику, на складах остановилось и без понуканья учителя не хочет и не может перешагнуть через эту бестолковую тму-мну⁸⁵. На пороки и недостатки нашего высшего общества не стоит обращать внимания. Во-первых, по малочисленности этого общества, а во-вторых, по застарелости нравственных недугов, а застарелые болезни если и излечиваются, то только героическими средствами. Кроткий способ сатиры тут недействителен. Да и имеет ли какое-нибудь значение наше маленькое высшее общество в смысле национальности? Кажется, никакого. А средний класс — это огромная и, к несчастью, полуграмотная масса, это половина народа, это сердце нашей национальности, ему-то и необходима теперь не суздальская лубочная притча о блудном сыне, а благородная, изящная и меткая сатира. Я считал бы себя счастливейшим в мире человеком, если бы удался мне так искренно, чистосердечно задуманный мой бессознательный негодяй, мой блудный сын.

Свежо предание, а верится с трудом. Мне здесь года два тому назад говорил Н. Данилевский⁸⁶, человек, стоящий веры, что будто бы комедия Островского «Свои люди — сочтемся» запрещена на сцене по просьбе московского купечества⁸⁷.

Если это правда, то сатира, как нельзя более, достигла своей цели. Но я не могу понять, что за расчет правительства покровительствовать невежество и мошенничество. Странная мера!

27 июня

От купечества перехожу к офицерству. Переход не резкий, даже гармонический. Эта привилегированная каста также принадлежит среднему сословию. С тою только разницею, что купец вежливее офицера. Он офицера называет: вы, ваше благородие. А офицер его называет: эй ты, борода. Их, однако ж, нисколько не разъединяет это наружное разъединение, потому что они по воспитанию родные братья. Разница только та, что офицер вольтерьянец, а купец — старовер. А в сущности — одно и то же.

Сегодня к вечеру появились комары на огороде, и я, чтобы избавиться этих несносных насекомых, ушел на ночь в укрепление. Но увы! Неумолимая Немезида⁸⁸ преследует меня на каждом шагу. Избегая комаров, я наткнулся на шмелей. С подобающим почтением проходя мимо офицерского флигеля, я услышал новую для меня песню, начинающуюся так:

Коврики на коврики

И шатрики на шатрики.

Далее я ничего не мог расслышать, потому что певец слишком густо забасил и потому что пьяный Кампиньони⁸⁹, инженерный офицер и отчаянный пьяница, выбежал на площадь, не знаю для какой надобности, и, увидя меня, вздумал оказать мне небольшую услугу, покровительство, познакомив меня с вновь прибывшими офицерами, с лихими ребятами, по его выражению. Для этого схватил он меня за рукав и потащил в коридор. Вновь прибывшие лихие ребята сидели и лежали в одних красных рубахах на разостланной кошме, и перед ними красовалась полуведерная бутылка сивухи. Живая сцена из «Двумужницы» князя Шаховского⁹⁰. Я, чтобы не дополнить собою группы волжских разбойников, вырвался из объятий покровителя и выбежал на площадь. Покровитель выбежал за мною, закричал дежурного унтер-офицера по роте и велел взять меня на гауптвахту за лично нанесенную дерзость офицеру. Приказание офицерское было исполнено в точности. После пробития зори дежурный по караулам доложил коменданту о вновь прибывшем арестанте, и комендант сказал: «Пускай проспится». Итак я,

избегая кровопийц комаров, отдан был на терзание клопам и блохам. Как после этого не верить в предопределение?

Сегодня новый дежурный по караулам разъяснил темное происшествие коменданту, и я милостиво освобожден от беспощадных инквизиторов. Записывая в журнал эту весьма обыкновенную в моем положении трагишутку, я в глубине души прощаю моих гонителей и только молю всемогущего Бога избавить скорее от этих получеловеков.

Сегодня ожидают пароход с почтою из Гурьева. И никто его не ожидает с таким трепетным нетерпением, как я. Что, если не привезет он мне так долго ожидаемой свободы? Что я тогда буду делать? Придется, во избежание гауптвахты с блохами и клопами, знакомиться со вновь прибывшими офицерами и в ожидании будущих благ пьянствовать с ними. Мрачная, отвратительная перспектива! А если, паче чаяния, привезет эту ленивую колдунью свободу? О какая радостная, какая светлая перспектива! Иду в укрепление и, на всякий случай, упакую в ч у в а л (торба) мою мизерию, авось-либо и совершится.

28 июня

Совершилось, только совершенно не то, чего я ожидал. А совершилась мерзость, которую нельзя было предполагать даже в совершителе ее, мерзавце Кампиньони. Пошел я вчера в укрепление, во ожидании парохода, паковать свою мизерию, и как это обыкновенно бывает, когда человек ожидает чего-нибудь хорошего, то на этом хорошем и хорошие строит планы. Так и я, во ожидании вестника благодатной свободы, развернул ковер-самолет, и еще одна, одна только минута, и я очутился бы на седьмом Магометовом небе⁹¹. Но, не доходя укрепления, встретился мне посланный за мною вестовой от коменданта.

— Не пришел ли пароход? — спрашиваю я у вестового.

— Никак нет, — отвечает он.

«Какая же встретилась во мне надобность коменданту?» — спросил я сам себя и прибавил шагу.

Прихожу. И комендант, вместо всякого приветствия, молча подает мне какую-то бумагу. Я вздрогнул, принимая эту таинственную бумагу, как несомненную вестницу свободы. Читаю и глазам не верю. Это рапорт на имя коменданта от поручика Кампиньони о том, что я в нетрезвом виде наделал ему дерзости матерными словами. В чем свидетельствуют

и вновь прибывшие офицеры. И в заключении рапорта он просит и требует поступить со мной по всей строгости закона, то есть немедленно произвести следствие. Я остолбенел, прочитавши эту неожиданную мерзость.

— Посоветуйте, что мне делать с этой гадиной? — спросил я коменданта, придя в себя.

— Одно средство, — сказал он, — просите прощения или, по смыслу дисциплины, вы арестант. Вы имеете свидетелей, что вы были трезвы, а он имеет свидетелей, что вы его ругали.

— Я приму присягу, что это неправда, — сказал я.

— А он примет присягу, что правда. Он офицер, а вы все еще солдат.

У, как страшно отозвалось во мне это почти забытое слово. Делать нечего, спрятал гордость в карман, напялил мундир и отправился просить прощения. Простоял я в передней у мерзавца битых два часа. Наконец он допустил меня к своей опохмелившейся особе. И после многих извинений, прошений, унижений даровано мне было прощение с условием сейчас же послать за четвертью водки. Я послал за водкой, а он пошел к коменданту за рапортом. Принесли водку. А он принес рапорт и привел своих благородных свидетелей.

— Что, батюшка, — сказал один из них, подавая мне пухлую, дрожащую с похмелья руку, — вам не угодно было познакомиться с нами добровольно, как следует с благородными людьми, так мы вас заставили.

На эту краткую и поучительную речь уже пьяная компания захохотала, а я чуть-чуть не проговорил: мерзавцы! да еще и патентованные мерзавцы.

29 июня

«Широкий бытый шлях из раю, а в рай узенька стежечка, та й та колючим терном поросла»⁹², — говорила мне, еще ребенку, одна замиравшая старуха. И она говорила истину. Истину, смысл которой я теперь только вполне разгадал.

Пароход из Гурьева пришел сегодня и не привез мне совершенно ничего, ни даже письма. Писем, впрочем, я не ожидаю, потому что верные друзья мои давно уже не воображают меня в этой отвратительной конуре. О мои искренние, мои верные друзья! Если бы вы знали, что со мною делают на расставанье десятилетние палачи мои, вы бы не поверили, потому что я сам едва верю в эти гнусности. Мне

самому это кажется продолжением десятилетнего отвратительного сна. И что значит эта остановка? Никак не могу себе ее растолковать. Мадам Эйгерт⁹³, от 15 мая, из Оренбурга поздравляет меня со свободой. А свобода моя где-нибудь с дельцом-писарем в кабаке гуляет. И это верно, верно потому, что ближайшие мои мучители смотрами, ученьями, картами и пьянством проклажаются, а письменные дела ведает какой-нибудь писарь Петров, разжалованный в солдаты за мошенничество. Так принято искони, и нарушить священный завет отцов из-за какого-то рядового Шевченка было бы противно и заповеди отцов, и правилам военной службы.

На сердце страшная тоска, а я себя шуточками спотешаю. А все это делает со мною ветреница надежда. Не вешаться же и в самом деле из-за какого-нибудь пьяницы отца-командира и достойного секретаря его.

Сегодня празднуется память величайших двух провозвестников любви и мира⁹⁴. Великий в христианском мире праздник. А у нас колоссальнейшее пьянство по случаю храмового праздника.

О святые, великие, верховные апостолы, если бы вы знали, как мы запачкали, как изуродовали провозглашенную вами простую, прекрасную, светлую истину! Вы предрекли лжеучителей, и ваше пророчество сбылось. Во имя святое, имя ваше так называемые учителя вселенские подрались, как пьяные мужики, на Никейском вселенском соборе⁹⁵. Во имя ваше папы римские ворочали земным шаром и во имя ваше учредили инквизицию и ужасное автодафе. Во имя же ваше мы поклоняемся безобразным суздальским идолам и совершаем в честь вашу безобразнейшую вакханалию. Истина стара и, следовательно, должна быть понятна, вразумительна, а вашей истине, которой вы были крестными отцами, минает уже 1857 годочек. Удивительно, как тупо человечество.

30 июня

Чтобы придать более прелести моему уединению, я решил завестись медным чайничком. И эту мысль привел я в исполнение только вчера вечером, и то случайно. К тихому прекрасному утру на огороде прибавить стакан чаю — мне казалось это роскошью позволительною. С самого начала весны меня преследует эта милая, непышная затея. Но я никак не мог привести ее в исполнение по неимению здесь в продаже такой затейливой вещицы. Только вчера вечером

пошел я к Зигмонтовским⁹⁶ (поверенный винной конторы и отставной чиновник 12 класса), и, проходя мимо кабака, увидел я оборванного, но трезвого денщика одного из вновь прибывших офицеров с медным чайником в руке такой величины, какой мне нужно.

— Не продаешь ли чайник? — спросил я его.

— Продаю, — отвечает он.

— Не хапаный ли?

— Никак нет-с. Сами барин велели продать. Они думают самовар завести.

— Хорошо, я спрошу. А что стоит?

— Рубль серебра.

— Полтину серебра, — сказал я, сколько мог хладнокровнее, и пошел своей дорогой.

Едва успел я сделать несколько шагов, как он догнал меня и без торгу вручил мне давно желанную посуду. А денщик, получивши полтину серебра, отправился прямо в кабак и через минуту вышел из него со штофом в руке и направился прямо к офицерским квартирам. «Туда и дорога», — подумал я. Проведя вечер в сообществе Филемона и Бавкиды⁹⁷ (так я в шутку называю Зигмонтовских), по дороге зашел я к маркизанту, взял у него полфунта чаю, фунт сахара и сегодня в 4 часа утра сибаритствую себе на огороде и вписываю в свой журнал происшествие вчерашнего вечера, благословляя судьбу, пославшую мне медный чайник.

Собираясь плыть по Волге от Астрахани до Нижнего, я обзавелся чистой тетрадью для путевого журнала и пологом от комаров, которые неумоимо преследуют путешественника от устьев Волги до самого Саратова. Запасаясь этими необходимыми вещами, мне и в ум не приходил медный чайник. И вчера только, спасибо старику Зигмонтовскому, он объяснил мне важность этой нехитрой посуды во время плавания на речной воде, где необходим крепкий чай во избежание поноса и просто для препровождения времени, как он выразился в заключение. И многим еще кое-чем советовал он мне запастись в Астрахани на дорогу. Но это все лишнее. Я отправлюсь, да не на пароходе, а на одной из барок, буксируемых пароходом, просто отставным солдатом.

Странно, что меня считают здесь все, в том числе и Зигмонтовские, темным богачом. Это, вероятно, потому, что если я делаю долги, разумеется, ничтожные, то в сказанный

срок аккуратно их выплачиваю, не прибегая к помощи Израиля, и не закладываю последней рубашки, как это делают многие из офицеров. Когда я сказал Зигмонтовским, что весь мой капитал состоит из 100 рублей серебра, на который я, кроме дорожных издержек, намерен еще сделать в Москве необходимое платье, то они в один голос назвали меня Плюшкиным⁹⁸. Я не нашел нужным разочаровывать их своей нищетой и расстался с ними, как настоящий богач.

Странные старые люди эти Зигмонтовские! Бездетные, старые, одинокие, имеют обеспечивающее даже прихотливую старость состояние, вздумали поселиться в этой безводной, бесплодной пустыне. И добро бы на отдых! Нет, он взял обязанности почти целовальника. Я думаю, что это необходимая потребность усвоенной в юности физической деятельности или просто жажда к приобретению. Последнее, может быть, только вполовину, потому что в нем не заметно скряжничества, нередко сопровождающего в могилу одинокую, беспомощную старость. Она, т. е. Зигмонтовская, мне очень нравится; это — добродушно улыбающаяся, гостеприимная кубическая старушка, бывшая немка, а теперь православная. Он тоже добродушный старик, но пренаивный и самый безвредный лгунишка. Например, он очень простодушно и каждый раз с новыми вариациями рассказывает, какие он прошел мытарства, пока достиг настоящего звания. Происхождение свое ведет он от какого-то короля польского Сигизмунда, вероятно — Третьего⁹⁹. О ближайших предках он не упоминает, равно как и о виновнике собственного существования. Детство тоже покрыто мраком неизвестности. Первую часть юности провел он в звании домашнего учителя у известного табачника Онисима Головкина в Петербурге. И в этот-то период его жизни случилось с ним таинственное происшествие, которое разом поставило его на ноги. Происшествие такого сорта. Однажды ночью на улице, ему кажется, что на Литейной, но за достоверность не ручается, схватывают его два гайдука, сажают в карету, завязывают глаза, везут, везут и наконец приводят прямо в роскошнейший будуар, надо думать, какой-нибудь графини или княгини. Является наконец и таинственная обитательница будуара, вся в дезабилье¹⁰⁰ (собственное выражение), только лицо покрыто маской. По совершении таинства любви завязывают ему опять глаза, сажают в карету, привозят на то самое место, где взяли, и один из гайдуков вручает ему пачку ассигнаций — не более

не менее как 20 тысяч. Долго он думал, какую основать будущность на этом незыблемом фундаменте и, хладнокровно отринув почести и злато, вступил (внемя внутреннему призыванию) в скромный кружок поклонников Мельпомены¹⁰¹, где имел блестящий успех в ролях Эдипа, Фингала, Дмитрия Донского¹⁰² и в «Ябеде» Капниста¹⁰³ — к несчастью, не помнит, в какой именно роли. Но по проискам знаменитого учителя Каратыгина¹⁰⁴, Яковлева¹⁰⁵, должен был оставить избранное поприще и вступить в морскую службу, разумеется, лейтенантом. Здесь он совершил плавание (два раза) вокруг света и один только раз к Южному полюсу вместе с Лазаревым¹⁰⁶. И что во время этих плаваний он узнал досконально, откуда добывается деревянное масло, неправильно называемое прованским. Вот где его родник. Между Ливорно и Сингапуро (удивительное знание географии!) есть остров Прованс. А на этом острове Провансе растет огромное масляное дерево, из которого и выпускают масло, как у нас, например, весною сок из березы. Островом и деревом владеет англичанин, француз и итальянец, а мы и немцы уже от них получаем этот дорогой продукт. Из корабля переселился он в земский одесский суд, неизвестно в каком ранге. Тут он вел жизнь отчаянного кутилы, попал в сонмище декабристов и был сослан бессрочным арестантом в крепость Измаил¹⁰⁷, где в скором времени сделался правой рукой коменданта и по стечению удивительных обстоятельств был переведен в город Астрахань в звании квартального надзирателя. Но не всегда чистые обязанности по долгу этого звания заставили его подать в отставку и принять от питейной конторы звание поверенного в Новопетровском укреплении, где его окрестили именем Спиртомора.

Кампиньони, мой покровитель, не меньший враль, но вредный и бессовестный, заврался однажды до того, что назвал себя племянником графа Закревского, московского генерал-губернатора¹⁰⁸, и кандидатом Дерптского университета. Чтобы разом озадачить и уничтожить дерзкого лгунишку, Зигмонтовский разом махнул в ротмистры лейб-гусар и в ближайšie родственники фельдмаршалу графу Гудовичу¹⁰⁹. Знай наших!

Но несмотря на этот невинный недостаток, он все-таки добрый и наивный старик. А она также добрая, кроткая, невинная говорунья и немножко сентиментальная старушка. И я их не иначе называю, как Филемон и Бавкида.

Они получают вместе с Никольским «Петербургские ведомости»¹¹⁰. И я частенько приношу им с огорода укроп, петрушку и тому подобный злак, пью чай, прочитываю фельетон и выслушиваю волшебные похождения наивного Филемона, за что и пользуюсь полной доверенностью Бавкиды.

1 июля

Сегодня послал я с пароходом письмо М. Лазаревскому. Быть может, последнее из душевной тюрьмы — дал бы Бог. Я много виноват перед моим нелицемерным другом. Мне бы следовало отвечать ему на письмо его от 2 мая тотчас же по получении, т. е. 3 июня. Но я, в ожидании радостной вести из Оренбурга, которую хотелось мне сообщить ему первому, прождал напрасно целый месяц и все-таки должен был ему написать, что я не свободен и до 20 июля, а может быть, и августа, такой же точно солдат, как и прежде был, с тою только разницею, что мне позволено нанимать за себя в караул и ночевать на огороде, чем я и пользуюсь с благодарностью. До 20 июля я удалил от себя всякие возмутительные помышления. И наслаждаюсь теперь по утрам роскошью совершенного уединения и даже стаканом, правда, неказистого, но все-таки чаю. Если бы еще хорошую сигару воткнуть в лицо, такую, например, как прислал мне 25 штук мой добрый друг Лазаревский, тогда бы я себя легко мог вообразить на петергофском празднике¹¹¹. Но это уж слишком. А сегодня действительно в Петергофе праздник. Великолепный царский праздник! Когда-то давно, в 1836 году, если не ошибаюсь, я до того был очарован рассказами об том волшебном празднике, что, не спросясь хозяина (я был тогда в ученье у маляра, или так называемого комнатного живописца, некоего Ширяева¹¹², человека грубого и жестокого) и пренебрегая последствиями самовольной отлучки (я знал наверное, что он меня не отпустит), с куском черного хлеба, с полтиною меди в кармане и в тиковом халате, какой обыкновенно носят ученики-ремесленники, убежал с работы прямо в Петергоф на гулянье. Хорошо, должно быть, я был тогда. Странно, однако ж, мне и вполтину не понравился тогда великолепный Самсон и прочие фонтаны, и вообще праздник против того, что мне об нем наговорили. Слишком ли сильно было воспламенено воображение рассказами или я просто устал и был голоден. Последнее обстоятельство, кажется, вернее. Да ко всему этому я еще увидел в толпе своего грозного хозяина

с пышною своею хозяйкой. Это-то последнее обстоятельство вконец помрачило блеск и великолепие праздника. И я, не дождавшись иллюминации, возвратился вспять, совершенно не дивясь бывшему. Прodelка эта сошла с рук благополучно. На другой день нашли меня спящим на чердаке, и никто и не подозревал о моей самовольной отлучке. Правду сказать, я и сам ее считал чем-то вроде сновидения.

Во второй раз, в 1839 году, посетил я петергофский праздник совершенно при других обстоятельствах. Во второй раз, на Бердовском пароходе¹¹³, сопровождал я в числе любимых учеников, Петровского¹¹⁴ и Михайлова¹¹⁵, сопровождал я своего великого учителя Карла Павловича Брюллова. Быстрый переход с чердака грубого мужика-маляра в великолепную мастерскую величайшего живописца нашего века. Самому теперь не верится, а действительно так было. Я из грязного чердака, я, ничтожный замарашка, на крыльях перелетел в волшебные залы Академии художеств. Но чем же я хваляюсь? Чем я доказал, что я пользовался наставлениями и дружеской доверенностью величайшего художника в мире? Совершенно ничем. До его неуместной женитьбы и после уместного развода я жил у него на квартире, или, лучше сказать, в его мастерской. И что же я делал? Чем занимался я в этом святилище? Странно подумать, я занимался тогда сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали такой страшной тяжестью на мою убогую душу. Перед его дивными произведениями я задумывался и лелеял в своем сердце своего слепца кобзаря и своих кровожадных гайдамаков. В тени его изящно-роскошной мастерской, как в знойной дикой степи надднепровской, передо мною мелькали мученические тени наших бедных гетманов. Передо мной расстилалась степь, усеянная курганами. Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина во всей непорочной меланхолической красоте своей. И я задумывался, я не мог отвести своих духовных очей от этой родной чарующей прелести. Призвание, и ничего больше.

Странное, однако ж, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись — моя будущая профессия, мой насущный хлеб. И вместо того, чтобы изучить ее глубокие таинства, и еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил и которые наконец лишили меня свободы и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки

втихомолку кропаю. И даже подумываю иногда о тиснении (разумеется, под другим именем) этих плаксивых, тощих детей своих. Право, странное это неугомонное призвание.

Не знаю, получу ли я от Кухаренка здесь его мнение насчет моего последнего чада («Москалева криныця»). Я дорожу его мнением чувствующего, благородного человека и как мнением неподдельного, самобытного земляка моего. Жаль мне, что я не могу теперь посетить его на его раздольной Черномории. А как бы хотелось! Но что делать? Сначала уплачивается долг, потом удовлетворяется голодная нужда, а на остатки покупается удовольствие. Так, по крайней мере, делают порядочные люди. А я и тенью боюсь быть похожим на безалаберного разгильдяя. Кутнул и я на свой пай когда-то. Довольно.

Пора, пора душой смириться,
Над жизнью нечего глумиться,
Отведав горького плода¹¹⁶.

В прошлом году получалась здесь комендантом «Библиотека для чтения»¹¹⁷. Бывало, хоть перевод Курочкина¹¹⁸ с Беранже¹¹⁹ прочитаешь, все-таки легче станет, а нынче, кроме фельетона «Петербургских ведомостей», совершенно ничего нет современно литературного. Да и за эту тощую современность нужно платить петрушкою и укропом. Хоть бы редька скорее вырастала, а то совестно уже стало потчевать стариков одним и тем же продуктом.

2 июля

Две случайно сделанные мною вещи так удачно, как редко удаются произведения глубоко обдуманые. Первая вещь — это сей журнал, который в эти томительные дни ожиданий сделался для меня необходимым, как страждущему врач. Вторая вещь — это медный чайник, который делается необходимым для моего журнала, как журнал для меня. Без чайника, или без чаю, я как-то лениво, бывало, принимался за сие рукоделие. Теперь же, едва успею налить в стакан чай, как перо само просится в руку. Самовар — тот шипением своим возбуждает к деятельности, это понятно. Правда, я не имел случая испытать на себе это благодетельное влияние самовара. Но имел случай существенно убедиться в этом волшебном влиянии на других. А именно. Был у меня во время оно приятель в Малороссии, некто г. Афанасьев, или Чужбинский¹²⁰. В 1846 году судьба столкнула нас в «Цареграде»¹²¹, не в Оттоманской столице, а в единственном трактире

в городе Чернигове. Меня судьба забросила туда по делам службы, а его по непреодолимой любви к рассеянности, или, как он выражался, по влечению сердца. Я знал его как самого неистового и неистощимого стихотворца, но не знал скрытого механизма, которым приводилось в движение это неутомимое вдохновение. И тогда только, когда поселились мы, во избежание лишних расходов, во-первых, а во-вторых, чтобы, как товарищи по ремеслу, созерцать друг друга во все минуты дня и ночи, — тогда только узнал я тайную пружину, двигавшую это истинно неутомимое вдохновение. Пружина эта была шипящий самовар. Сначала я не мог взять в толк, почему мой товарищ по ремеслу не спросит, когда ему вздумается, стакан чаю из буфета, как я это делаю, а непременно велит подать самовар. Но когда я рассмотрел приятеля поближе, то оказалось, что он, собственно, не самовар велел подавать, а велел подавать вдохновение, или пружину, приводящую в движение эту таинственную силу. Я прежде удивлялся, откуда, из какого источника вытекают у него такие громадные стихотворения, а оказалось, что ларчик просто открывался.

Мы прожили с ним вместе весь великий пост, и не оказалось в городе не только барышни, дамы, даже старухи, которой бы он не написал в альбом не четырехстишие какое-нибудь (он мелочь презирал), а полную увесистую идиллию. Если же альбома не обреталось у какой-нибудь очаровательницы, как, например, у старушки Дороховой¹²², вдовы известного генерала 1812 года, то он преподносил ей просто на шести и более листах самое сентиментальное послание.

Но это все ничего. Кто из нас без слабостей? А главное дело в том, что когда пришлось нам платить дань обладателю «Цареграда», то у товарища по ремеслу не оказалось наличной дани. И я должен был заплатить, не считая другие потребления, но собственно за локомотив, приводивший в движение вдохновение, 23 рубля серебром, которые, несмотря на дружеское честное слово, и до сих пор не получил. Вот почему я существенно узнал действие шипящего самовара на нравственные силы человека.

В моем положении естественно, что я постоянно нуждался в копейке. И я писал ему в Киев два раза о помянутых 23 руб., но он даже стихами не ответил. Я так и подумал, что увы! Россия лишилась второго Тредьяковского¹²³. Но я ошибся. Прошлой зимой в фельетоне «Русского инвалида» вижу на бесконечных столбцах бесконечное малороссийское стихотворение,

по случаю, не помню, по какому именно случаю, — помню только, что отвратительная и подлая лесть русскому оружию¹²⁴. Ба, думаю себе, не мой ли это приятель так отличается? Смотрю, действительно он, А. Чужбинский. Так ты, мой милый, жив и здоров, да еще и подличать научился. Желаю тебе успеха на избранном поприще, но встретиться с тобою не желаю.

Не помню, кто именно, а какой-то глубокий сердцеведец сказал, что вернейший дружбомер есть деньги. И он сказал справедливо. Истинная, настоящая дружба, которая высказывается только в критических, трудных случаях, и она даже требует этого холодного мерил. Самый живой, одушевленный язык дружбы — это деньги. И чем более нужда, тем дружба искреннее, прогоняющая эту голодную ведьму. Я был так счастлив в своей, можно сказать, коловратной жизни, что неоднократно вкушал от плода этого райского дерева. И в настоящее, мне кажется, самое критическое, время я получаю 75 рублей — за что? За какое одолжение? Мы с ним виделись всего два раза. Первый раз в Орской крепости; второй раз в Оренбурге. Пошли, Господи, всем людям такую дружбу и такого друга, как Лазаревский. Но искорени эти плевелы, возросшие на ниве благороднейшего чувства. Искорени друзей, подобных Афанасьеву, Бархвицу¹²⁵ и Апрелеву¹²⁶. Положим, это дрянь, мелочь, и Бархвиц, и Афанасьев, но Апрелев — это крупный, видный человек. Это не какой-нибудь чугуевский улан или забулдыга линейный поручик, а ротмистр кавалергардского ее величества полка. Сибарит и обжора, известный в столице. Это, как говорится, видное лицо. С этим видным лицом познакомился я в 1841 году у одного земляка моего, у некоего Соколовского¹²⁷. Первое впечатление было в его пользу. Молодой, свежий, румяный толстяк (я, не знаю почему, особенно верую в доброкачественность подобного объема и колорита людей). И чтобы довершить свое очарование, я вообразил его еще и либералом. Вот мы знакомимся, потом дружимся, переходим на «ты» и, наконец, входим в финансовые отношения. Он мне заказывает свой портрет. И я ему позволяю приезжать ко мне на сеансы с собственным фриштиком, состоящим из 200 устриц, четверти холодной телятины, 6 бутылок портеру и 1 бут. джину. Все это съедалось и выпивалось в продолжение сеанса самым дружеским образом. Третий сеанс начался у нас на «ты» и кончился шампанским. Я был в восторге от друга-аристократа. Кончились сеансы, отправился я к другу за мздой; друг занят, никого

не принимает; другой раз — то же самое; третий, четвертый, и так до десяти раз — все то же самое. Я плюнул другу на порог да и ходить перестал. Таких друзей у меня было много, и, как на подбор, все люди военные. Я уверен, что если бы Афанасьев не был прежде уланом¹²⁸, он мог бы писать стихи без помощи самовара, и мы бы с ним расстались иначе.

Вера без дел мертва есть¹²⁹. Так и дружба без существенных доказательств — пустое, лукавое слово. Блаженны, стократ блаженны друзья, которых жизнь была осенена радужным сиянием улыбающегося счастья и голодная нужда своим железным посохом испытания ни разу не постучала в дверь их бескорыстной дружбы. Блаженны, они и в могилу сойдут, благословляя друг друга.

3 июля

Сегодня во сне видел я Лазаревского. Будто бы он приехал за мною в укрепление и, несмотря на мои доводы о невозможности оставить мне укрепление без пропуска, увез меня насильно, не позволив проститься даже с Мостовским. Вскоре очутились мы в каком-то русско-татарско-немецком городе, вроде Астрахани. И верблюды, и англазированные лошади по улице ходят, и фонтаны бьют, и кумыс продают, и папиросная фабрика, и театр, наконец — вечер, ночь. Лазаревский скрылся, ищу его, спрашиваю и просыпаюсь. Проснувшись, я обрадовался, что это только сон и что я, слава Богу, не дезертир. А иначе опять бы меня вооружили лет на десять за престол и отечество. Нужно будет зайти к сотнику Чеганову¹³⁰ посмотреть в сонник, что значит видеть во сне самовольную отлучку.

Сегодня, т. е. 4 июля, когда я, по обыкновению, встал в три часа, согрел свой чайник, налил стакан чаю и взялся за перо, начали собираться дождевые тучки. А через несколько минут пошел тихий, меланхолический дождик, и я, оставив всякое писание и мечтание, люблюсь этим прекрасным и чрезвычайно редким здесь явлением. Ветер из Астрахани, т. е. норд-вест. Можно надеяться, что дождик усилится и продлится за полдень. Какая была бы благодать для этой безводной пустыни.

4 июля

Ночевал на огороде, в комендантской беседке. Это моя теперешняя резиденция. Вскоре по пробитии вечерней зори

пошел тихий дождик, и по этому случаю я ранее обыкновенного лег спать. Под тихий гармонический шум падающих на крышу беседки капель дождя я сладко задремал. И видел во сне покойника Карла Павловича Брюллова и с ним вместе товарища своего Михайлова. Сначала в какой-то огромной галерее, в которой, кроме какого-то эскиза Гвидо Рени¹³¹, ничего не было и который Михайлов собирался копировать. Потом перешли мы в мастерскую, что в портике, вместе с Карлом Павловичем. Тут тоже ничего не было, кроме большого, во всю залу натянутого и загрунтованного полотна, как это делается для декораций, и к стене приклеенной грубо раскрашенной литографии Калама¹³² с подписью Рио-Джанейро. Потом Карл Павлович пригласил нас на лукьяновский ростбиф¹³³, как это бывало во времена незабвенные. Но ударил гром и я проснулся. Пошел проливной дождь. Затворив двери и окна беседки, я снова уснул. Во второй сеанс увидел я в Москве Михайла Семеновича Щепкина таким же свежим и бодрым, как видел я его в последний раз в 1845 году. Говорили о театре, о литературе. Я ему заметил, почему он не продолжает свои «Записки артиста», начало которых напечатано в первой книжке «Современника» за 1847 год. На что он мне сказал, что жизнь его протекла так тихо, счастливо, что не о чем и писать. Я хотел ему на это возразить что-то, но мы очутились в Новопетровском укреплении и встретились с П. А. Кулишом, собирающим какие-то тощие растения. Я, как хозяин, захлопотал об обеде и пошел искать полевой спаржи, которой здесь и в помине нет. Но новый удар грома разбудил меня и я уже не мог заснуть.

С недавнего времени мне начали представляться во сне давно виденные мною милые сердцу предметы и лица. Это, вероятно, оттого, что я об них теперь постоянно думаю. Ложась спать вчера, я думал об «Осаде Пскова»¹³⁴ и о «Гензерихе» Брюллова¹³⁵. И увидел во сне самого их великого творца. Довольно! Утро после ночной грозы тихое, свежее, редкое в здешней знойной пустыне утро. И я буду большой руки тетеря, если проведу его за своим журналом.

5 июля

Голенький ох, а за голеньким Бог. Из моей библиотеки, которую я знаю наизусть всю и которую уже давно упаковал в ящик, не нашлось книги, достойной сопутствовать мне в моем радостном одиноком путешествии по Волге.

Ригельмана¹³⁶ «История Донского войска»¹³⁷ показалась мне слишком старою спутницей, и я упаковал ее на самый спуд. Что же делать без книги в таком медленно-спокойном путешествии, как плавание по Волге от Астрахани до Нижнего? Это меня беспокоило. И в самом деле, что я буду делать целый месяц без хоть какой-нибудь книги? Но фортуна, эта гордая повелительница повелителей мира, эта безглазая царица царей, — сегодня мой лакей, хуже — бердичевский фактор.

Насладившись прекрасным, свежим утром на огороде, я в девятом часу пошел в укрепление. Мне нужно было взять хлеба у артельщика и отдать высушить на сухари для дороги. Прихожу в ротную канцелярию, смотрю, на столе рядом с образцовыми сапогами лежат три довольно плотные книги в серой подержанной обертке. Читаю заглавие. И что же я прочитал? «Estetyka czyli umnictwo piękne przez Karola Libelta»¹³⁸. В казармах! Эстетика!

— Чьи это книги? — спрашиваю я писаря.

— Каптенармуса унтер-офицера Кулиха¹³⁹.

Отыскал я вышеречекогого унтер-офицера Кулиха. И на вопрос мой, не продаст ли он мне «Umnictwo piękne», он отвечал, что оно принадлежит мне. Что Пшевлоцкий¹⁴⁰, уезжая из Уральска на родину, передал ему, Кулиху, эти книги с тем, чтобы они были переданы мне. И что он, Кулих, принес их с собою сюда, положил в цейхгауз и забыл про их существование, и что вчера только они попались ему на глаза, и что он очень рад, что теперь может их препроводить по принадлежности. Для вящей радости я послал за водкой, а книги положил в свою дорожную торбу.

Видимое, осязательное дело услужливой факторши фортуны. Итак, по милости этой слепой царицы царей я имею в дороге чтение, на которое вовсе не рассчитывал. Чтение, правда, не совсем по моему вкусу, но что делать, на безрыбьи и рак рыба. Я, несмотря на мою искреннюю любовь к прекрасному в искусстве и в природе, чувствую непреодолимую антипатию к философиям и эстетикам. И этим чувством я обязан сначала Галичу¹⁴¹ и окончательно почтеннейшему Василию Ивановичу Григоровичу¹⁴², читавшему нам когда-то лекции о теории изящных искусств, девизом которых было: побольше рассуждать и поменьше критиковать. Чисто Платоновское¹⁴³ изречение.

С Либельтом я немного знаком по его «Деве Орлеанской»¹⁴⁴ и по его критике и философии. На первый взгляд

он мне показался мистиком и непрактиком в искусствах. Посмотрим, что дале будет. Боюсь, как бы вовсе не разнакомиться.

6 июля

Видел во сне Академию художеств. Михайлов показывал мне какую-то неоконченную копию и потом скрылся от меня вместе с копией. Из Академии я вышел на Большой проспект и, не доходя церкви Андрея Первозванного¹⁴⁵, встретился с семейством здешнего коменданта и от радости проснулся.

Третьего дня вечером был я случайным зрителем, кажется, последней сцены из водевиля под названием «Недошитая кофта». Я не хотел было вносить в мой журнал эту балаганную сцену, но как она оказалась важною по своему неожиданному результату, то я и заношу ее со всею пошлою точностию в мою неизменную хронику.

Сие событие совершилось 5 числа текущего месяца. В отсутствие родителя нареченной жениху пришла благая мысль попотчевать свою будущую супругу серенадой со всеми онерами¹⁴⁶. Для этого собрал он из двух рот песельников, также со всеми онерами: с бубном, тарелками, ложками, треугольником и еще с какими-то погремушками. И когда был пропет, разумеется, с танцами, весь репертуар солдатских песен и даже «После батюшки остался сиротою молодец» с небольшими изменениями, восторженному этой последней песней жениху, которая изображала в некотором роде его собственное положение, ему захотелось, чтобы ребята маненько его покачали. Почему же и не так? Ребята принялись за дело, и, о судьба-злодейка! Когда верные и усердные ребята затанули десятое «ура», в воротах показался комендант. Протяжное громкое «ура» вдруг оборвалось, и верные, неизменные ребята бросили своего отца-командира среди улицы, а сами скрылись, где кто мог. Положение жениха действительно критическое, и тем более критическое, что он без нежного участия своей возлюбленной нареченной не мог стать на ноги по случаю бесхитростной радости, или, проще, он был мертвецки пьян.

На другой день рано является с рапортом к коменданту отец нареченной и просит на законном основании избавить его опозоренную дочь, а равно и все его семейство, от гнусного, безобразного пьяницы жениха, подпоручика Чарца. На такое законное требование резолюция еще не воспоследовала.

Каково же быть порядочному и семейному человеку комендантом этого заграничного гнездилища безграничных мерзостей! Быть судьей и разбирателем этих бесконечных ежедневных гадостей! А он, как начальник, обязан пачкаться в этой вонючей грязи. Отвратительная обязанность.

7 июля

Видел сегодня во сне Москву, не встретил никого знакомых и храма Спаса не видал. Был на Красной площади и Василия Блаженного не видал. Искал в Гостином дворе ивановского полотна для рубаш и не нашел. Так и проснулся. Проснувшись, я по обыкновению нагрел свой чайник, положил чаю и начал вытирать стакан, как является ко мне мой дядька и объявляет мне повеление фельдфебеля немедленно явиться к пригонке амуниции.

— Да ее недавно пригоняли, — говорю я.

— Не могу знать-с, приказано, — отвечает он.

Итак, для воскресенья не удалось мне чайком побаловать себя. Прихожу в укрепление и узнаю, что вчера пришел какой-то татарин из Астрахани с казенным провиантом и распустил слух, что в конце августа месяца в Астрахань дожидаются великого князя Константина Николаевича¹⁴⁷ и что по этому случаю в Астрахани делаются большие приготовления для встречи августейшего гостя. Капитан Косарев¹⁴⁸, заведующий двумя ротами 1 батальона, тотчас смекнув дело и, чтобы не ударить в грязь лицом, вчера же, с помощью писаря Петрова, назначил почетный караул, в число которого, по протекции писаря Петрова, назначен и я. Головоломная эта задача была кое-как решена к рассвету, а с восходом солнца (несмотря на воскресенье) приказано пригнать амуницию и, как будет готова, вывести людей на смотр перед телячьим лицом капитана Косарева и верного его сподвижника писаря Петрова.

Сказано — сделано. К 7 часам все было готово, в полной амуниции люди были выведены на полянку, в том числе и я; в 7 часов явился сам капитан Косарев во всем своем ослином величии и после горделивого приветствия подошел прямо ко мне, благосклонно хлопнув меня по плечу, и сказал:

— Что, брат, отставка? Нет, мы еще из тебя сделаем отличного правофлангового, а потом и с Богом.

И тут же отдал приказание капральному ефрейтору заняться со мной маршировкой и ружейными приемами

часика четыре в день. Я ужаснулся, услышав это благосклонное приказание. Вот тебе и безмятежное уединение на огороде!

Тот же самый татарин вместе с накладной привез коменданту письмо из Астрахани, в котором его уведомляют, что адмирал Васильев¹⁴⁹ получил известие из Петербурга, чтобы его высочество в Астрахань не ожидали и, следовательно, не трепетали. Комендант, узнавши о распоряжении предупредительного капитана Косарева, натянул ему нос и даже погрозил ему гауптвахтой, если он вперед осмелится тревожить людей без его ведома. Тем все и кончилось. И я, как ни в чем не бывало, встал сегодня по обыкновению в 3 часа утра, нагрел свой чайник, очинил новое перо и занес сей невероятный казус в мою верную хронику. Господи, настанет ли наконец для меня час искупления? Настанут ли когда-нибудь для меня те блаженные дни, когда я буду читать эти отвратительные правдивые сказания, как ложный сон, как небывалую небылицу?

8 июля

Сегодня ушла почтовая лодка в Гурьев. Ветер — зюйд-вест. В среду или в четверг она должна быть на Стрелецкой косе, 15 верст от Гурьева. В субботу получит последнюю оренбургскую почту. Воскресенье поспразднует, а в понедельник в обратный путь. Как раз через неделю. При благополучном ветре ее должно ожидать 17-го или 18-го числа. И никак не дальше 20-го. Неужели она для меня ничего не привезет? Не может быть. Это было бы уже умышленное тиранство.

Сегодня же поутру пригласил я к себе на огород унтер-офицера Кулиха, того самого, что принес мне из Уральска «Umnićtwo piękne» Libelta. Разговор наш, разумеется, вертелся на баталионе, и в особенности на 2-й роте, которая два года назад тому ушла отсюда и которая теперь сюда возвратилась. И тогда, и теперь я имею несчастье состоять в этой роте. Начиная с бывшего тогда ротного командира поручика Обрядина¹⁵⁰, мы перебрали всю роту поодиночке и наконец дошли до рядового Скобелева. Этот рядовой Скобелев, несмотря на свое прозвание, был мой земляк, родом Херсонской губернии. И в особенности мне памятен по малороссийским песням, которые он пел своим молодым мягким тенором удивительно просто и прекрасно. С особенным же выражением он пел песню:

Тече річка невеличка
З вишневого саду.

Я забывал, что я в казармах слушаю эту очаровательную песню. Она меня переносила на берега Днепра, на волю, на мою милую родину. И я никогда не забуду этого смуглого полунагого бедняка, штопающего свою рубаху и уносившего меня своим безыскусственным пением так далеко из душной казармы.

По сложению своему и по манерам он не был похож на бравого солдата, за что я его особенно уважал. Но он пользовался в роте славою честного и смышленного солдата. И несмотря на смуглое, аляповатое и оспую изрытое лицо, в его лице светилась отвага и благородство. И я любил его как земляка и как честного человека, независимо от песен. Он был, как он мне говорил по секрету, беглый крепостной крестьянин. Попался в бродяжничестве, сказался непомнящим родины и семейства и был зачислен в солдаты, где и дали ему прозвище Скобелева, в честь известного балагура — Русского Инвалида, Скобелева¹⁵¹. Так об этом-то бедняке Скобелеве Кулих мне рассказал следующую возмутительную повесть.

Вскоре по прибытии 2-й роты в г. Уральск командир роты поручик Обрядин взял к себе в постоянные вестовые рядового Скобелева, как трезвого и благонадежного, но слабого по фронту солдата. А рядовой Скобелев неумышленно сделался поверенным сердечных тайн своего командира и постоянным лакеем его любовницы. Не прошло и полгода, как неуклюжий лакей Скобелев также неумышленно сделался любовником любовницы своего повелителя. И однажды, в минуты сердечных излияний, коварная изменница открыла Скобелеву, что два месяца тому назад на его имя получены Обрядиным из Москвы 10 рублей серебром от какого-то его бывшего товарища (вероятно, по бродяжничеству), теперь лавочного сидельца. И в доказательство истины слов своих показала ему конверт с пятью печатями. Поручик же Обрядин, будучи еще батальонным адъютантом и казначеем, не только подозреваем, но даже был уличаем в краже подобных присылок. Но он как-то умел концы в воду прятать и слыть вообще порядочным человеком. Скобелев, узнавши такую проделку отца-командира, явился к нему с пустым пакетом в руках требовать вынутых из него денег. Отец-командир попотчевал его пощечиной, а он отца-командира оплеухой.

Будь это сам на сам, тем бы и кончилось, но как эта сцена была представлена при благородных зрителях, при офицерах, то сконфуженный поручик Обрядин, арестовав рядового Скобелева, подал баталионному командиру рапорт о случившемся. Вследствие рапорта произведено следствие, а вследствие следствия поручику Обрядину велено подать в отставку, а рядового Скобелева предали военному суду. А по приговору военного суда рядовой Скобелев прошел по зеленой аллее, как выражаются солдаты, сквозь 200 шпиц-рутенов и сослан в Омск на семь лет в арестантские роты. Печальное и, к несчастью, не единственное в этом роде происшествие.

Бедный Скобелев! Родился ты и вырос в невольничестве. Вздумалось тебе попробовать широкой, сладкой вольной воли, и ты залетел в Эдикуль¹⁵² (так обыкновенно называют солдаты Новопетровское укрепление), залетел ты в мою семилетнюю тюрьму певуньей-птицей из Украины, как будто для того только, чтобы своими сладкими, заунывными песнями напомнить мне мою милую, мою бедную родину. Бедный, несчастный Скобелев! Ты честно, благородно возвратил пощечину благородному вору, грабителю, и за это честное дело прошел ты сквозь строй и понес тяжелые кандалы на берега пустынного Иртыша и Оми. Встретишь ли в своей новой неволе такого внимательного и благородного слушателя, товарища твоих заунывных сладких песен, как я был? Встретишь и не одного такого же, как и ты, невольника-сирому, земляка, варнака заклеяменного, который прольет слезу благодарности на твои тяжелые кайданы за отрадные, сердцу милые, родные звуки. Бедный, несчастный Скобелев.

9 июля

Перед закатом солнца заштило. А в сумерки поднялся свежий ветер от норд-оста, прямо в лоб нашей почтовой лодке. Она теперь в открытом море бросила якорь, а когда подымет, бог знает. Норд-ост здесь господствующий ветер. Он может простоять долго и продлит мою и без того длинную неволю далеко за предначертанную мною границу, т. е. за 20-е июля. Грустно, невыразимо грустно. В продолжение ночи я не мог заснуть; меня грызла и гоняла, как на корде, вокруг огорода самая свирепая тоска. На рассвете я пошел к морю, выкупался и тут же на песке заснул. Видел во сне покойника Аркадия Родзянку¹⁵³ в его Веселом Подоле, близ

Хорола. Показывал он мне свой чересчур затейливый сад. Толковал о возвышенной простоте и идеале в искусствах вообще и в литературе в особенности. Ругал наповал грязного циника Гоголя, и в особенности «Мертвые души» казнил немилосердно, потом потчевал какими-то герметически закупоренными кильками и своими грязнейшими малороссийскими виршами вроде Баркова¹⁵⁴. Отвратительный старикишка. Разбудил меня мелкий тихий дождик, и я прибежал на огород мокрой курицей.

Говорят, о чем наяву думаешь, то и во сне пригрезится. Это не всегда так. Я, например, Аркадия Родзянку видел всего один раз, и то случайно, в 1845 году, в его деревне Веселый Подол, и он мне в несколько часов так надоел своею глупой эстетикой и малороссийскими грязнейшими и глупейшими стихами, что я убежал к его брату Платону¹⁵⁵, к его ближайшему соседу и, как водится, злейшему врагу. Я забыл даже, что я виделся когда-то с этим сальным стихоплетом, а он мне сегодня во сне пригрезился. Какая же связь между моими вчерашними грустными мечтами и между этим давно забытым мною человеком? Каприз нашей нравственной природы, и совершенно никакой логической связи. И оракул сотника Чеганова едва ли объяснит загадку подобных сновидений. Пойду, однако ж, на всякий случай, посмотрю в это зеркало сокровенных таинств природы.

10 июля

Ветер все тот же. Тоска та же самая. Дождь продолжает омыывать новую луну. Такие длинные любезности здесь с ним редко случаются. Я недвижимо пролежал весь день в беседке и слушал однотонную тихую мелодию, производимую мелкими и частыми каплями дождя о деревянную крышу беседки. Принимался несколько раз дремать, но неудачно. Проклятые мухи со всего огорода слетелись в беседку и не дают покоя. Принимался несколько раз строить воздушные замки на своих будущих эстампах акватинта также неудачно. «Гензерих» и «Осада Пскова» Брюллова мне особенно не удавались. Нужно избегать на первый раз наготы. Нужен опыт и опыт, а иначе эта очаровательная брюлловская нагота выйдет в эстампе безобразие. Я не желал бы, чтобы мои будущие эстампы были похожи на парижский эстамп акватинта с картины «Последний день Помпеи»¹⁵⁶. Топорный, безобразный эстамп. Поругано, обезображено гениальное произведение.

В таком скверном настроении унывающей души вспомнил я про «Umnistwo riękne» Либельта, принялся жевать: жестко, кисло, приторно. Настоящий немецкий суп-вассер. Как, например, человек, так важно трактующий о вдохновении, простосердечно верит, что будто бы Иосиф Вернет¹⁵⁷ велел себя во время бури привязывать на марсах к мачте для получения вдохновения. Какое мужицкое понятие об этом неизреченно божественном чувстве! И этому верит человек, пишущий эстетику, трактующий об идеальном, возвышенно-прекрасном в духовной природе человека. Нет, и эстетика сегодня мне не далась. Либельт, он только пишет по-польски, а чувствует (в чем я сомневаюсь) и думает по-немецки. Или, по крайней мере, пропитан немецким идеализмом (бывшим, не знаю, как теперь?). Он смахивает на нашего В. А. Жуковского¹⁵⁸ в прозе. Он так же верит в безжизненную прелесть немецкого тощего, длинного идеала, как и покойный В. А. Жуковский.

В 1839 году Жуковский, возвратившись из Германии с огромною портфелем, начиненною произведениями Корнелиуса¹⁵⁹, Гессе¹⁶⁰ и других светил мюнхенской школы живописи, нашел Брюллова произведения слишком материальными, придавляющими к грешной земле божественное, выпретенное искусство. И, обращаясь ко мне и покойному Штернбергу¹⁶¹, случившемуся в мастерской Брюллова, предложил зайти к нему полюбоваться и поучиться от великих учителей Германии. Мы не преминули воспользоваться сим счастливым случаем. И на другой же день явились в кабинете германофила. Но Боже! Что мы увидели в этой огромной развернувшейся перед нами портфели! Длинных безжизненных мадонн, окруженных готическими тощими херувимами, и прочих настоящих мучеников и мучеников живого, улыбающегося искусства. Увидели Гольбейна¹⁶², Дюрера¹⁶³, но никак не представителей живописи девятнадцатого века. До какой степени, однако ж, помешались эти немецкие идеалисты-живописцы. Они не заметили, что в архитектуре Кленца¹⁶⁴, для которой они творили свои готические безобразные творения, и тени нет напоминающего готическую архитектуру. Странное, непонятное затмение.

«Umnistwo riękne» Либельта спрятал я в дорожную торбу и снова привел свою фигуру в горизонтальное положение. Что дальше будет, не знаю.

Незабвенные, золотые дни, мелькнули вы светлым, радостным сновидением передо мною, оставив по себе

неизгладимый след чарующего воспоминанья. Мы были тогда с Штернбергом едва оперившиеся юноши и, рассматривая эту единственную коллекцию идеального безобразия, высказывали вслух свое мнение и своим простодушием довели до того кроткого, деликатного Василия Андреевича, что он назвал нас испорченными учениками Карла Павловича и хотел было уже закрыть портфель перед нашими носами, как вошел в кабинет князь Вяземский¹⁶⁵ и помешал благому намерению Василия Андреевича. Мы продолжали с невозмутимым равнодушием перелистывать портфель и были награждены за терпение первоначальным эскизом «Последнего дня Помпеи», ловко начерченным пером и слегка попятнанным сепиею. За этим гениальным очерком, почти не измененным в картине, следовало несколько топорных чертежей Бруни¹⁶⁶, которые ужаснули нас своим заученным, однообразным безобразием. И где и из какого тлетворного источника почерпнул и усвоил г. Бруни эту ненатуральную манеру? Неужели это одно желание быть оригинальным так страшно обезобразило произведения неутомимого Бруни? Жалкое желание. Грустный результат. И этот человек мечтал еще равняться с Карлом Великим! (так обыкновенно называл Брюллова В. А. Жуковский).

Один мой знакомый, не художник и даже не записной, а так просто любитель изящного, смотря на «Покров Божией Матери», картину Бруни, в Казанском соборе¹⁶⁷, сказал, что если бы он был матерью этого безобразного ребенка, что валяется на первом плане картины, то он не только взять на руки, — боялся бы подойти к этому маленькому крестину. Замечание чрезвычайно верное и ловко высказано. А «Медный змий»¹⁶⁸ его? Это толпа безобразных и самых бесталанных актрис и актеров. Я видел эту картину в подмалевке, и она меня ужаснула. Неприятное, но все-таки впечатление. Оконченная же эта огромная картина не произвела на меня даже и этого неприятного чувства. А ведь цель ее была уничтожить «Последний день Помпеи». Колоссальное, но, увы, неудачное намерение.

11 июля

В полночь переменился ветер. Отошел к норд-весту. Я любовался прозрачными исчезающими облаками и лег спать. Проснулся до восхода солнца. Небо было чисто. Только одна-единственная звездочка, как алмаз, горела высоко на вос-

токе. Это должна быть Аврора. Солнце не успело выглянуть из-за горизонта, и она исчезла. Я весело принялся за свой чайник. И когда все было готово для моего утреннего одинокого пиршества, я очинил внимательно перо, развернул свой журнал и, что называется, полбуквы не мог написать, так мне вдруг сделалось весело. И я, напившись чаю и наслушавшись чирикания веселых ласточек, отправился в укрепление заказать торбу для сухарей и взять второй том Либельта. Зашел к Мостовскому, он мне предложил стакан чаю, от которого я не имел силы отказаться, потому что чай был с лимоном — неслыханная роскошь в этой пустыне. За чаем сообщил он мне о начавшемся следствии над женихом и невестой. Следствие началось медицинским освидетельствованием невесты, как водится, в присутствии понятых. Причем лекарь Никольский сострил, найдя невесту нерастленную, что подало повод к грубым насмешкам над женихом. Мерзость!

Заказавши торбу для сухарей, я окончательно упаковал свою мизерию, взял второй том Либельта и три оставшиеся сигары, из числа тех 25 сигар, что прислал мне Лазаревский вместе с сепиею. Отличные сигары, настоящие гаванские. Возвратившись на огород, я по обыкновению до обеда лежал под своею любимую вербою и читал Либельта. Сегодня и Либельт мне показался умеренным идеалистом и более похожим на человека с телом, нежели на бесплотного немца. В одном месте он (разумеется, осторожно) доказывает, что воля и сила духа не может проявиться без материи. Либельт решительно похорошел в моих глазах. Но он все-таки школяр. Он пренаивно доказывает присутствие всемогущего творца вселенной во всем видимом и невидимом нами мире. И так хлопочет об этой старой, как свет, истине, как будто это его собственное открытие.

За обедом было веселее обыкновенного. Комендант подтрунивал над моими сборами в поход, другие ему вторили более или менее любезно, но вообще вся компания была, как говорится, в своей тарелке. После обеда я, также по обыкновению, заснул под своей фавориткою-вербою, а перед вечером надел чистый китель, соломенную шляпу-самодельщину и пошел на туркменские бакчи (баштаны), и, несмотря на скудость зелени, мне и бакчи понравились. Я зашел к хозяевам в аул. Около кибиток играли с козлятами нагие смуглые дети, визжали в кибитках женщины, должно быть, ругались. А за аулом мужчины творили свой

намаз перед закатом солнца. Вечер был тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря, а на берегу его горели в красноватом свете скалы, и на одной из скал блестели белые стены второй батареи и всего укрепления. Я любовался своею семилетнею тюрьмою. Возвращаясь на огород, набрел я на тропинку, на уже засохшей грязи которой видны были отпечатки миниатюрных детских ножек. Я любовался и следил этот крошечный детский след, пока он не исчез в степной пыли вместе с тропинкою. На огород пришел я к вечернему чаю и попотчевал Ираклия Александровича (коменданта) и Николая Ефремовича (смотрителя полугоспиталя) своими заветными сигарами. И сам закурил остальную. Все, начиная с Наташеньки¹⁶⁹, немало удивились, увидев в моем лице торчащую дымящуюся сигару. А нянька Авдотья, уральская козачка, та совершенно во мне разочаровалась, она до сих пор думала, что я, по крайней мере, часовенный, а я такой же еретик-щепотник, как и другие. Все же вообще находили, что мне сигара к лицу и что с сигарой в лице я похож на вояжера порядочного тона. Такому удачному сравнению я и не думал противуречить. И мысленно переносился на палубу парохода «Меркурия» или «Самолета»¹⁷⁰. А о скромной расшиве, о бурлацких песнях, о преданиях про Стеньку Разина¹⁷¹ забыл и думать.

Уж сколько раз твердили миру,

Что лезть гнусна, вредна. Но все не впрок¹⁷².

Отуманенный лестию, я, против обыкновения и, разумеется, во вред желудку, не имел силы отказаться от пельменей. Пельмени были мастерски приготовлены, и я оказал им неложную честь. После ужина я долго гулял вокруг огорода. И мало-помалу освобождаясь от влияния самолюбия, привел наконец свой гордый дух в нормальное состояние и тихо запел гайдамацкую песню:

Ой поїжджає по Україні та козаченько Швачка...¹⁷³

От этой любимой моей песни я незаметно перешел к другой, не менее любимой:

Ой ізійди, зійди, ти, зіронька та вечірняя...

Эта меланхолическая песня напомнила мне тот вечер, когда я и молодая жена Кулиша¹⁷⁴ пели в два голоса эту очаровательную песню. Это было на другой день после их

свадьбы, в роковом 1847 году. Увижу ли я эту прекрасную блондинку? Запою ли с нею эту задушевную песню?

Воспоминания меня убаюкали, я сладко заснул. И видел во сне Новгород-Северский (вероятно, вследствие недавнего чтения «Алексея Однорога»¹⁷⁵). По улице ездили в старосветском огромном берлине огромные рыжие пьяные монахи, и между ними очутился мой трезвый друг Семен Гулак-Артемовский¹⁷⁶. Это все пельмени так наметаморфозили.

12 июля

Одиннадцатым нечетным, но счастливым для меня числом кончился первый месяц моего журнала. Какой добрый гений шепнул мне тогда эту мысль? Ну, что бы я делал в продолжение этого минувшего бесконечно длинного месяца? Хотя и это занятие мимоходное, но все-таки оно отнимает у безотвязной скуки несколько часов дня. А это важная для меня теперь услуга. В первые дни не нравилось мне это занятие, как не нравится всякое занятие, пока мы его себе не усвоим, не смешаем его с нашим насущным хлебом. Сначала я принимался за свой журнал, как за обязанность, как за пункты, как за ружейные приемы. А теперь, и особенно с того счастливого дня, как завелся я медным чайником, журнал для меня сделался необходимым, как хлеб с маслом для чая. И не случись этого несносного ожидания, этого тягостного бездействия, мне бы и в голову никогда не пришло обзавестись этой эластической мебелью, на которой я теперь каждое утро так безмятежно отдыхаю. Справедливо говорится: нет худа без добра.

Сегодня утром, записавши счастливое одиннадцатое число, я вздумал попробовать ветчины собственного приготовления. Для этого я выпил фундаментальную рюмку водки, закусил молодой редькой, потом уже приступил к собственному производству. Ветчина оказалась превосходною, свежею, несмотря на то, что приготовлена еще в генваре месяце. Первого генваря текущего года получил я первое радостное письмо из Петербурга от графини Толстой¹⁷⁷. И с того же дня начал готовиться в дорогу. Так как путешествовать мне предстояло, может быть, и теперь еще предстоит, по серебряным берегам Урала, где благочестивые уральцы, а особенно уралки, нашему брату нераскольнику воды напиться не дадут, то я и заготовил для трудного пути сей необходимый копченый продукт. Не знаю, чем восхищается

в уральцах этот статистико-юмористик и вдобавок враль Небольсин¹⁷⁸? Грязнее, грубее этих закоренелых раскольников я ничего не знаю. Соседи их, степные дикари киргизы, тысячу раз общежительнее этих прямых потомков Стеньки Разина. А помянутый враль в восторге от их общежития и мнимого гостеприимства. Верно, ему пьяному в грязном погребке диктовал какой-нибудь Железнов¹⁷⁹ статейку под названием «Уральские козаки», а он под веселую руку записал да и посвятил еще В. И. Далю. Бессовестны, вредны и подлы, наконец, такие писатели.

Попробовавши дорожного продукта и найдя оный более нежели удовлетворительным, я самодовольно успокоился под своей фавориткою-вербою и принялся за Либельта. Он сегодня мне решительно нравится. Или он в самом деле хорош, или он мне только кажется таким потому, что мне вот уже другой день даже вовсе непривлекательные предметы кажутся привлекательными. Блаженное состояние. Либельт, например, весьма справедливо замечает и высказывает эту, правда, не совсем молодежавую истину, коротко, изящно и ясно, что религия и древних, и новых народов всегда была источником и двигателем изящных искусств. Это верно. А вот это так не совсем. Он, например, человека-творца в деле изящных искусств вообще, в том числе и в живописи, ставит выше природы. Потому, дескать, что природа действует в указанных ей неизменных пределах, а человек-творец ничем не ограничен в своем создании. Так ли это? Мне кажется, что свободный художник настолько же ограничен окружающею его природою, насколько природа ограничена своими вечными неизменными законами. А попробуй этот свободный творец на волос отступить от вечной красавицы природы, он делается богоотступником, нравственным уродом, подобным Корнелиусу и Бруни. Я не говорю о дагерротипном¹⁸⁰ подражании природе. Тогда бы не было искусства, не было бы творчества, не было бы истинных художников, а были бы только портретисты вроде Зарянка¹⁸¹.

Великий Брюллов черты одной не позволял себе провести без модели, а ему, как исполненному силою творчества, казалось бы это позволительным. Но он, как пламенный поэт и глубокий мудрец-сердцеведец, облакал свои выпренье светлые фантазии в формы непорочной вечной истины. И потому-то его идеалы, полные красоты и жизни, кажутся нам такими милыми, такими близкими, родными.

Либельт сегодня мне решительно нравится. В продолжение десяти лет я, кроме степи и казармы, ничего не видел и, кроме солдатской рабской речи, ничего не слышал. Страшная, убийственная проза. И теперь случайный собеседник Либельт — самый очаровательный мой собеседник. Искренняя, сердечная моя благодарность унтер-офицеру Кулиху.

Как начался приятно, так и кончился этот второй для меня день приятно. Вечер был тихий, прекрасный. Для мочина я обошел два раза укрепление. Начал было и третий обход, только у второй батарее остановил меня уральский козак своею старинной песней про Игнашу Степанова сына Булавина¹⁸². Первый стих песни мне чрезвычайно нравится:

Возмутился наш батюшка,
Славный тихий Дон,
От верховьица
Вплоть до устьяца¹⁸³.

Эта песня, собственно, донская, но она усвоена и уральцами, как братьями по происхождению. Я немало удивился, услышав в первый раз здесь эту песню, потому что приходящие сюда на службу уральцы большею частию народ бывалый в Москве и в Петербурге и поют всё модные нежные романсы, захваченные ими в салонах на Козихе¹⁸⁴ и в Мещанских и Подьяческих улицах. Так я немало удивился, услышав этого отступника от закона моды.

С удовольствием слушал я незримого певца, пока он замолчал и, вероятно, заснул, чему и я благоразумно последовал. На рассвете приснилось мне, будто бы приехал в Новопетровское укрепление фельдмаршал Сакен¹⁸⁵ вместе с другом своим митрополитом киевским Евгением¹⁸⁶ и потребовал меня к себе. Но так как у меня не оказалось солдатского облачения, кроме шинели, и то без эполет, то, пока нашивали эполеты, я проснулся. И был сердечно рад этой неудаче.

13 июля

Сегодня суббота, ветер все тот же — норд-вест. Это хорошо, значит волею-неволею лодка должна дожидаться оренбургской почты. Чем ближе ко мне это радостное событие, тем делаюсь я нетерпеливее и трусливее. Семь тяжелых лет в этом безвыходном заточении мне не казались так длинными и страшными, как эти последние дни испытания. Но все

от Бога. Заглушив в себе по мере возможности это ядовитое сомнение, я принялся за моего неизменного друга Либельта и с наслаждением побеседовал с ним до самого вечера. Вечером пошел я опять ко второй батарее в надежде услышать вчерашнего Баяна¹⁸⁷. Но вчерашний Баян обманул мои ожидания. Я возвратился на огород, лег под своей заветною вербою, и, сам не знаю, как это случилось, уснул, и проснулся уже на рассвете. Редкое, необыкновенное событие! Такие дни и такие события я должен вносить в мою хронику, потому что я вообще мало спал, а в последние дни сон меня решительно оставил.

14 июля

Сегодня воскресенье, ветер все тот же. Не пора ли отойти к норд-осту? О, как бы он меня обрадовал, если бы хоть к завтраму отошел. Лучше решительный удар обуха, нежели тупая деревянная пила ожидания.

В полдень ветер засвежел и отошел к норду. Добрый знак. Сегодня третьи сутки, как я не посещал вертепа мерзостей, т. е. укрепления. И это теперь мое единственное счастье, что я безнаказанно могу делать такое укрывательство. И чтобы не видеть еще сутки топорной декорации вертепа и его пьяных разбойников, я не побрился и не пошел к обедне. А перед вечером, во избежание встречи с теми же разбойниками (они по праздникам имеют обыкновение нарушать спокойствие обитателей огорода), я, надевши чистый белый чехол на фуражку и положивши в карман огурец и редьку, отправился к Филемону и Бавкиде. Филемон, вопреки своему постоянному расположению духа, был не в духе. И Бавкида, вопреки своей постоянной улыбке, была тоже не в духе и даже не показала мне своей новой соломенной шляпки, о которой я слышал стороною. Я вспомнил пословицу: «Не вовремя гость — хуже татарина» — и взялся за фуражку. Но Филемон остановил меня, просил садиться и также просил свою печальную Бавкиду подать на пробу недавно полученного из Астрахани варенья, а сам принес кружку холодной воды. И после первой апробации поведал мне свое горе. Неосторожный или жадный лоцман, взявшийся представить ему товар из Астрахани, нагрузил свою утлую ладью так грузно, что при первом свежем ветре должен был половину груза выбросить в море. К несчастью Филемона и Бавкиды, их товары лежали на палубе, состоящие из двух ящиков

горячих напитков и 30 мешков муки, и, разумеется, первые полетели за борт. Уцелели только ничтожные мелочи, как-то: варенья, лимоны, соленые огурцы и соломенная шляпка. Откровенная беседа, как исповедь, умиляет наше тоскующее сердце. Старики, рассказавши мне про постигшее их несчастье, пришли в свое нормальное положение. Филемон простодушно начал врать о какой-то стычке с французами в 1812 году, а Бавкида показала мне шляпку и даже мантилью, а на прощанье подарила мне лимон, с которым я имею радость сегодня, т. е. в понедельник, пить чай, записывая сей визит и грустное событие, совершившееся в ущерб торговле моего Филемона и Бавкиды.

Вчера, как я сегодня узнал, несмотря на воскресенье и хорошую погоду, ни один из официю имеющих не появлялся на огороде. Странная, непонятная антипатия к благоухающей зелени. Они предпочитают пыль и несносную вонючую духоту в укреплении прохладной тени, цветам и свежей зелени на огороде. Непонятное затвердение органов. Настоящие суровые сыны Беллоны¹⁸⁸. Одно, чем я могу растолковать себе это отсутствие обоняния и зрения у суровых детей Беллоны, это всепокоряющая владычица водочка. На огороде, извольте видеть, хотя и можно пропустить рюмочку-другую, потому что сам комендант предлагает, но нельзя нализаться как следует. Не потому, чтобы это было неприлично, а потому, чтобы не очутиться в Калабрии¹⁸⁹, т. е. на гауптвахте. Так что же и в самом деле за удовольствие посещать огород? Не лучше ли дома втихомолку нализаться так, чтобы в глазах позеленело? Вот тебе и огород с цветами и с благоуханием.

Независимо от этой глубокой политики, в великороссийском человеке есть врожденная антипатия к зелени, к этой живой блестящей ризе улыбающейся матери природы. Великороссийская деревня — это, как выразился Гоголь, наваленные кучи серых бревен с черными отверстиями вместо окон, вечная грязь, вечная зима! Нигде прутика зеленого не увидишь¹⁹⁰, а по сторонам непроходимые леса зеленеют. А деревня, как будто нарочно, вырубилась на большую дорогу из-под тени этого непроходимого сада, растянулась в два ряда около большой дороги, выстроила постоянные дворы, а на отлете часовню и кабачок, и ей ничего больше не нужно. Непонятная антипатия к прелестям природы.

В Малороссии совсем не то. Там деревня и даже город укрыли свои белые приветливые хаты в тени черешневых

и вишневых садов. Там бедный, не улыбающийся мужик окутал себя великолепную, вечно улыбающуюся природою и поет свою унылую, задушевную песню в надежде на лучшее существование. О моя бедная, моя прекрасная, моя милая родина! Скоро ли я вздохну твоим живительным, сладким воздухом? Милосердый бог — моя нетленная надежда.

15 июля

Ветер все тот же — норд. Хоть бы на одну четверть румба отошел к осту, все бы мне легче было. В продолжение двухлетнего плавания по не исследованному еще Аральскому морю¹⁹¹ я одного раза не взглянул на компас, а в эти последние бесконечно длинные дни и ночи я изучил его во всех самонаименьших направлениях. О ветер, ветер, если бы ты мог сочувствовать моему неусыпному горю, ты бы еще третьего дня отошел к норд-осту, и сегодня я бы уже сидел с карандашом в руке на палубе аргонавтом татарского корабля, идущего к берегам Колхиды¹⁹², т. е. к Астрахани, и в последний раз рисовал бы вид своей тюрьмы. Хорошо, если бы так. А если иначе, тогда что? Тогда я и сам не знаю что.

Вчера вечером обошел я два раза укрепление и, придя на огород, прилег усталый под своей заветною вербою с крепким намерением вздремнуть хоть полчаса. Я уже другие сутки глаз не смыкаю. Но Морфей, по обыкновению, изменил мне, и я лежал себе под вербою и рассеянно слушал болтовню огородников, недалеко от меня расположившихся на травке. Между ними был уральский козак, он-то и владел разговором или болтовнею. После разных случаев, случившихся с рассказчиком в разных походах, свел он речь на колдунов, мертвецов и наконец на самоубийц. Он рассказал историю о каком-то самоубийце, которая меня совершенно не интересовала, но меня заинтересовало религиозное поверье уральских козаков о душе самоубийцы, которое он при этом случае рассказал. Самоубийцу хоронят без всяких церковных обрядов и не на общем кладбище, а выносят далеко в поле и закапывают, как падаль. В дни поминовения усопших родственники несчастного или просто добрые люди выносят и посыпают его могилку хлебным зерном — житом, пшеницею, ячменем и прочая, — для того, чтобы птицы клевали это зерно и молили Бога о отпущении грехов несчастному. Какое поэтически христианское поверье!

За моей памяти в Малороссии на могилах самоубийц совершался обряд не менее поэтический и истинно христианский, который наши высшие, просвещенные пастыри, как обряд языческий, повелели уничтожить.

В Малороссии самоубийц хоронили также в поле, но непременно на перекрестной дороге. В продолжение года идущий и едущий мимо несчастного покойника должен был что-нибудь бросить на его могилу. Хоть рукав рубашки оторвать и бросить, если не случилось чего другого. По истечении года, в день его смерти, а более в зеленую субботу (накануне Троицына дня), сжигают накопившийся хлам как очистительную жертву, служат панихиду и ставят крест на могиле несчастного.

Может ли быть чище, возвышеннее, богоугоднее молитва, как молитва о душе нераскаявшегося грешника? Религия христианская, как нежная мать, не отвергает даже и преступных детей своих, за всех молится и всем прощает. А представители этой кроткой, любящей религии отвергают именно тех, за которых должны бы молиться. Где же любовь, завещанная нам на кресте нашим спасителем-человеколюбом? И что языческое нашли вы, лжеучители, в этом христианском всепрощающем жертвоприношении?

В требнике Петра Могилы есть молитва, освящающая нареченное или крестовое братство¹⁹³. В новейшем требнике эта истинно христианская молитва заменена молитвою о изгнании нечистого духа из одержимого сей мнимой болезнью и о очищении посуды, оскверненной мышью. Это даже и не языческие молитвы. Богомудрые пастыри церкви к девятнадцатому веку стараются привить двенадцатый век. Поздненько спохватились.

Туркменцы и киргизы святым своим (аулье) не ставят, подобно батырям¹⁹⁴, великолепных абу (гробниц), на труп святого наваливают безобразную кучу камней, набрасают верблюжьих, лошадиных и бараньих костей. Остатки жертвоприношений. Ставят высокий деревянный шест, иногда увенчанный копьём, увивают этот шест разноцветными тряпками, и на том оканчиваются замогильные почести святому. Грешнику же, по мере оставленного им богатства, ставят более или менее великолепный памятник. И против памятника, на двух небольших изукрашенных столбиках, ставят плоски, в одной по ночам ближние родственники жгут бараний жир, а в другую плоску днем наливают воду для

птичек, чтобы птичка, напившись воды, помолилась Богу о душе грешного и любимого покойника. Безмолвная поэтическая молитва дикаря, в чистоте и возвышенности которой наши просвещенные архипастыри, вероятно бы, усомнились и запретили бы как языческое богохуление.

16 июля

После заката солнца заштило, и в первом часу ночи ветер поднялся от зюйд-оста. Ветер тихий и ровный, такой самый, какой нужен для нашей почтовой лодки. Дождавшись рассвета, я вскарабкался на самую высокую прибрежную скалу и просидел там до тех пор, пока мне захотелось есть, т. е. до полудня. Не увидевши на горизонте ни заветного, ни какого паруса, я в унынии пришел на огород и, в ожидании обеда, принялся за свою ветчину подорожную. Копченый продукт мой с каждым днем умалается. Еще несколько дней ожидания, и от него останутся ни к чему не годные руины. Хорошо, если я поеду через Астрахань. Там есть лавки сарептских колонистов¹⁹⁵, а между ими, вероятно, есть и колбасные: без колбасы немец и дня не проживет. Следовательно, копченый продукт можно пополнить. А если придется прогуляться через Гурьев и Уральск, по злачным и серебряным берегам благочестивого Урала, тогда что? Аппетит в торбу, а зубы на полку. Или, во избежание голодной смерти, прикинуться ворожейкой, а лучше всего — мучеником за веру, расстригою-попом: тогда, как по щучью веленью, все явится перед тобой, начиная с каймака¹⁹⁶ и джурмицы¹⁹⁷ и оканчивая свальным грехом. Мать единственную дочь свою предложит святому мученику за веру для ночной забавы. Отвратительно! Хуже всяких язычников.

В 1848 году, после трехмесячного плавания по Аральскому морю, возвратились в устье Сыр-Дарьи, где должны были провести зиму. У форта на острове Кос-Арале¹⁹⁸, где занимали гарнизон уральские козаки, вышли мы на берег. Уральцы, увидев меня с широкою, как лопата, бородою, тотчас смекнули делом, что непременно мученик за веру, донесли тотчас же своему командиру, есаулу Чарторогову¹⁹⁹. А тот, не будучи дурак, зазвал меня в камыш да бац передо мною на колени.

— Благословите, — говорит, — батюшка, мы, — говорит, — уже все знаем.

Я тоже, не будучи дурак, смекнул, в чем дело, да и хватил самым раскольничьим крестным знаменем. Восхищенный есаул облобызал мою руку и вечером задал нам такую пирушку, какая нам и во сне не грезилась.

Вскоре после этого казуса, уже обривши бороду, отправился я в Раим²⁰⁰, главное тогда укрепление на берегу Сыр-Дарьи. В Раиме встретили меня уральцы с затаенным восторгом, а отрядный начальник их, полковник Марков²⁰¹, тоже не будучи дурак, испросив мое благословение, предложил мне 25 рублей, от которых я неблагоразумно отказался и этим, по их понятиям, беспримерным бескорыстием подвинул благочестивую душу старика отговориться в табуне, в кибитке, по секрету и, если возможность позволит, приобщиться Святых Тайн от такого беспримерного пастыря, как я.

Чтобы не нажить себе хлопот с этими седыми беспримерными дураками, я поскорее оставил укрепление и уже аккуратно, каждую неделю два раза, брею себе бороду. Случись это глупое, смешное происшествие где-нибудь на берегах Урала, где были бы женщины, я не разделался бы так легко с этими изуверами. Весь фанатизм, вся эта мерзость гнездится в их распутных дочерях и женах. В Уральске постоянно набит острог беглыми солдатами, их мнимыми пресвитерами. И, несмотря на явные улики, они благоговеют перед этими разбойниками и бродягами. И это не простые, а почетные, чиновные козачки. Непонятная закоснелость.

После полудня отошел ветер к зюйд-весту, прямо в лоб почтовой лодке.

17 июля

Ветер все тот же, как заколдованный. Перед вечером по направлению Астрахани на горизонте показался пароход. В укреплении засуетились, увидя это неожиданное явление, а в особенности капитан Косарев с своим почетным караулом и с ординарцами. Но кого несет пароход? Никому положительно не известно, но все, даже самые умеренные фантазеры, догадывались, что ежели не великого князя Константина Николаевича, то непременно адмирала Васильева, губернатора астраханского. Последней догадки, или предположения, капитан Косарев сначала и слушать не хотел, не внимая доводам ученого друга своего, лекаря Никольского, о невозможности такого чисто исторического

события в таком темном уголке империи, как наше укрепление. И ученый муж подкрепил свое мнение историческим фактом, сказавши, что после Петра Великого никто из членов царской фамилии не посетил не только полуострова Мангишлака²⁰², даже знатного портового города Астрахани. Против этого аргумента сказать было нечего. Но сметливый капитан Косарев нашелся, сказавши:

— Ну, что ж, если и не великий князь, так, по крайней мере, губернатор, все же особа в генеральском чине, и почетный караул необходим.

На такое простое, по-видимому, слово даже ученый муж полез в карман за возражением. Но увы, пока ученый эскулап рылся в своем умственном кармане, таинственная загадка разрешилась. Прискакал козак с пристани и донес коменданту, что на пароходе, кроме его командира, лейтенанта Поскочина²⁰³, никого не имеется. Гора мышь родила.

Комендант послал тарантас за командиром парохода и велел его просить к себе на огород. А я, чтобы мой поход в укрепление не втуне совершился, зашел в казармы и побрился. Потом зашел к Мостовскому. Посмеявшись над совершившимся, мы, по поводу подобного же происшествия, случившегося в 1847 году в Орской крепости, перенесли наш разговор в Орскую крепость, как ему, так и мне хорошо памятную. И Мостовский своим неживописным слогом так живо описывал эту неживописную пустынную крепость, что я заслушался его. И первые темные дни моей неволи просветлели и улыбнулись в моем воспоминании. Неужели и для настоящего моего положения придет когда-то светлое, улыбающееся воспоминание? Факт перед глазами, а все-таки не верится.

В девятом часу вечера возвратился я на огород и застал еще моряков, громко любезничавших с комендантшею. Но мне так опротивели эти пустые хвастунишки, астраханские моряки, что я, издали заслышав их громкие голоса, сделал поворот направо и до пробития зори обошел вокруг укрепления. Несвоевременная прогулка утомила меня и прежде времени, к великому моему удовольствию, уложила спать. За что я в душе поблагодарил любезных астраханских мореходов.

Сон мой не был, однако ж, так спокойный, как я ожидал. В продолжение ночи я несколько раз просыпался и наблюдал ветер. Перед рассветом ветер затих, и я в надежде на его

непостоянство успокоился и заснул. Во сне видел Кулиша, Костомарова²⁰⁴ и Семена Артемовского, будто бы я встретил их в Лубнах во время успенской ярманки²⁰⁵. Кулиша и Костомарова в обыкновенных, а Артемовского в каком-то театральном костюме. В этом фантастическом наряде он представлялся на улице Петру Великому, а я тут же для Кулиша рисовал молодого слепого лирныка в тирольском костюме. Продолжению этой безалаберщины помешал мой услужливый дядька. Он принес мне на огород новый китель и разбудил меня, за что наградил я его большим огурцом и редькой.

Ветер не изменил моей надежде. К утру отошел к зюйд-осту. Пароход поутру вышел из гавани и направился к Кизляру. Я проводил его глазами на горизонт, принялся за свой чайник и потом за журнал.

18 июля

Кончивши сказание о вчерашнем событии, я подумал о рюмке водки и о умеренном куске ветчины, как присылает за мной Бажанова, просит на чашку кофе. Наш Филат чему и рад. Пошел я. Прихожу. Комендантша тут же. После поздорованья речь началась о вчерашних гостях. Я спросил о цели их кратковременного пребывания на наших берегах. И на прямой мой вопрос получил ответ довольно косвенный и перепутанный, как водится, отступлениями, ни к чему не ведущими. Одним словом, я выслушал из милых уст такую чепуху, какой иному не удастся выслушать и в модном салоне. Гостей оказалось не двое, как я полагал, а пятеро. Кроме флотских, командира парохода и его штурмана, весьма образованного (по словам рассказчиц) молодого человека, еще трое штатских, два ученые, а третий доктор. И что пароход ходит около наших берегов для каких-то наблюдений, и что штатские ученые должны быть не ученые, а просто политические шпионы, потому что говорили все о влиянии на здешнюю Туркменскую орду. Один из них, что помоложе, блондин с длинными волосами à la мужик, может быть, и действительно ученый, потому что вместе с Данилевским и другими участвовал в экспедиции Бэра²⁰⁶. И что точно так же, как и Бэр, собирает степной полынь и другие травы. И что он спрашивал обо мне, но так двусмысленно, что милые собеседницы даже косвенно не умели удовлетворить его любопытства, и, как я догадываюсь, ловко отстранивши

этот, по их понятиям, щекотливый вопрос, они, как водится, перенесли свою болтовню в Астрахань, прямо в персидские лавки с канаусом²⁰⁷ и другими недорогими материями.

Если это был сколько-нибудь порядочный человек, то какое понятие получил он о нашем бонтоне, о сливках здешнего дамского общества. Заплесневшие, прокисшие сливки.

Собравши такие положительные сведения о вчерашних таинственных посетителях, я, разумеется, перестал об них думать и до самого обеда лежал под вербою и читал Либельта. О ветре я также старался не думать. Он из меня душу вытянет, этот проклятый зюйд-вест. На одни сутки, на полсутки отойди он к осту, и я свободен. Невыносимая пытка!

За обедом опять завязался разговор о таинственных путешественниках. И, благодаря коменданту, он вполтину пояснил это загадочное событие. В числе вчерашних гостей не было главного двигателя всей этой суматохи, именно астронома, который остался на пароходе и делал вычисления. Звездочет сей прислан гидрографическим департаментом проверить астрономические пункты на берегах Каспийского моря, определенные в прошлом году каким-то не совсем дошлым звездочетом. Вот настоящая цель неожиданного прибытия парохода к нашему берегу. А два ученые мужи, которые сделали честь огороду и его милым обитательницам своим посещением, не кто иные как один чиновник, мнимый политический агент, отправляющийся на службу в гебрийский город Баку²⁰⁸, а другой — учитель словесности при астраханской гимназии, пользующийся свободным каникулярным временем, и чуть ли еще не земляк мой, потому что передал мне поклон через здешнего плац-адъютанта, за что я ему сердечно благодарен.

Таинственное происшествие, к немалому удивлению наших романтических дам, объяснилось очень просто и даже прозаически. Но новость, которую сообщил коменданту плывущий в Баку чиновник, мне кажется просто сочинением будущего великого администратора. Он сообщил, и даже с подробностями, что образовалась коммерческая компания пароходства на Каспийском море, на началах Триестской Ллойды²⁰⁹, и что уже вызывает морских офицеров служить на ее пароходах с правом чинопроизводства, и что уже назначены три директора, и что он, сей будущий великий администратор, едет в Баку занять место помощника при директоре, некоем бароне Врангеле²¹⁰, с содержанием 1500 рублей

серебром в год. Что будет делать эта Ллойда на Каспийском озере? И какое доверит поручение этому помощнику директора, выпущенному в настоящем году, по его словам, из Петербургского университета?

С закатом солнца ветер отошел к зюйд-осту, но слабый, безнадежный. Кончится ли наконец это гнусное существование, это однообразное записывание однообразнейших бесконечных дней?

19 июля

С закатом солнца ветер засвежел и отошел к норду. Обрадовавшись такому неожиданному явлению, я принялся ходить вокруг укрепления. И до пробития зори обошел четыре раза. Значит, я сделал без присесту 12 верст. Прогулка порядочная, но я не почувствовал и тени усталости. Ночь лунная, прекрасная, и я не перенес своего лагеря в беседку, оставив его под вербою, чтобы удобнее было наблюдать ветер по флюгеру, вертящемся на голубятне. Часы в укреплении пробили 12, ветер не переменялся и не ослабел. Добрый знак. В надежде на добрый знак я задремал и на крыльях волшебника Морфея перелетел в Орскую крепость и в какой-то татарской лачуге нашел М. Лазаревского, Левицкого²¹¹ и еще каких-то земляков, играющих на скрипках и поющих малороссийские песни. Я присоединил свой тенор к капелии, и мы пели стройно и согласно:

У степу могила з вітром говорила...

Не кончивши этой песни, мы начали другую, а именно «Петруся», и я так громко пропел стихи —

Люблю, мамо, Петруся,

Поговору боюся²¹², —

что капелия замолчала, а я на последней ноте проснулся. Очнувшись от этого сладкого сновидения, я посмотрел на флюгер. Ветер, слава Богу, все тот же, не переменялся. Поворочался, прочитал сколько помню стихов из песни про счастливого белолицого соперника Грыця, снова заснул, моля Морфея продолжить прерванное милое сновидение.

Морфей исполнил мою молитву, только не совсем. Он перенес меня в какой-то восточный город, утыканный, как иглами, высокими минаретами. В тесной улице этого восточного города встречаю я будто ренегата Николая Эврестовича Писарева²¹³ в зеленой чалме и с длинной бородой. А безру-

кий Бибииков²¹⁴ и рядом с ним Софья Гавриловна Писарева²¹⁵ сидят на балконе и тоже в турецком костюме. Они что-то говорили о Киевском пашалыке²¹⁶. Но мне на лицо вскочила холодная лягушка, и я проснулся. Перенеся одр свой в беседку, я снова было скорчился под шинелью, но при всем моем старании заснуть не мог. У меня все вертелся перед глазами ренегат Писарев со своим всемогущим покровителем и со своею бездушной красавицей супругой. Где он? И что теперь с этим гениальным взяточником и с его целомудренной помощницей? Я слышал здесь уже, что он из Киева переведен был в Вологду гражданским губернатором и что в Вологде какой-то подчиненный ему чиновник публично в церкви во время обедни дал ему пощечину. И после этой истинно торжественной сцены неизвестно куда скрылся так громогласно уличенный взяточник.

В ожидании утра я на этом полновесном фундаменте построил каркас поэмы вроде «Анджело» Пушкина, перенеся место действия на Восток. И назвал ее «Сатрап и Дервиш»²¹⁷. При лучших обстоятельствах я непременно исполню этот удачно проектированный план. Жаль, что я плохо владею русским стихом, а эту оригинальную поэму нужно непременно написать по-русски.

Есть еще у меня в запасе один план, основанный на происшествии в Оренбургской сатрапии. Не присоединить ли его как яркий эпизод к «Сатрапу и Дервишу»? Не знаю только, как мне быть с женщинами. На Востоке женщины — безмолвные рабыни. А в моей поэме они должны играть первые роли. Их нужно провести, как они и в самом деле были, немыми, бездушными рычагами позорного действия.

Если бы я знал, что эта общипанная «Ласточка» (название почтовой лодки) не принесет мне свободы, я сегодня же приступил бы к делу, вопреки поговорке: тише едешь, дальше будешь.

Пока я записывал свои сновидения, ветер отошел к весту и «Жаворонок» (другая почтовая лодка) на всех парусах полетела в Гурьев. Несносный ветер, мучительная неизвестность.

20 июля

Ильин день. Илья-космат²¹⁸; так пишется он в Библии. Должно быть, этот библейский циник был безграмотный, потому что не оставил по себе, подобно другим пророкам,

писаного пророчества. У палестинских магометан (если верить Норову²¹⁹) он пользуется таким же почетом, как у евреев и христиан.

Ильин день. Ильинская ярманка в Ромни, теперь, кажется, в Полтаве²²⁰. В 1845 году я случайно видел это знаменитое торжище. Три дня сряду глотал пыль и валялся в палатке покойного Павла Викторовича Свички²²¹. Сам он себя называл только огарком от большой свечки, и сальным огарком. Это был сын того самого полковника Свички, что, шутки ради, закупил во время контрактов в Киеве все шампанское вино без всякой коммерческой цели, а так, чтобы подурочить польских панов, приехавших в Киев с единственной целью покутить. А в своем местечке Городище (Пирятинского уезда) он учредил заставу, чтобы не пропускать никого, ни идущего, ниже в берлине едущего, не накормив его до отвала и не напоив до положения риз. После таких шуток натурально, что после большой Свечки едва остался маленький огарок. Да и тот скоро погас. Мир праху твоему, мой благородный друже!

Тогда же я в первый раз видел гениального артиста Соленика²²² в роли Чупруна («Москаль-чаривный»). Он показался мне естественнее и изящнее неподражаемого Щепкина. И московских цыган тогда же я в первый и в последний раз слышал и видел, как они отличались перед ремонтерами и прочею пьяною публикою и как в заключение своего дико-грязного концерта они хором пропели:

Не пылит дорога,
Не дрожат листы,
Подожди немного,
Отдохнешь и ты²²³, —

намекая этим своим пьяным покровителям, что им тоже не мешало бы отдохнуть немного и с силами собраться для завтрашнего пьянства.

Думал ли великий германский поэт, а за ним и наш великий Лермонтов, что их глубоко поэтические стихи будут отвратительно-дико петы пьяными цыганками перед собором пьянейших ремонтеров? Им и во сне не снилась эта грязная пародия.

Что же я еще видел тогда замечательного на этом замечательном торжище? Кажется, ничего больше. Познакомился с распутным стариком Якубовичем²²⁴ (отцом декабриста) и с

его меньшим сыном Квазимодо²²⁵, которому дал на честное слово до завтра два полуимпериаля и которые, разумеется, пропали. Еще познакомился с одним из бесчисленных членов фамилии Родзянки²²⁶. И на третий день моего пребывания в Ромни купил на жилет какой-то материи, фунт донского балыка и с непоименованным Родзянкою выехал из этого омута на Ромодановский шлях²²⁷.

Вот и все, что я на досуге припомнил о роменской ярманке по поводу Ильина дня.

20 июля — день, в который я предполагал проститься с моею тюрьмою, так написал и Лазаревскому, и Кухаренку, а ветер, олицетворенная судьба, распорядился иначе. Что делать, посидим еще за морем да подождем погоды. В продолжение Ильина дня и ночи ветер не шелохнулся. Мертвая тишина.

21 июля

Записавши роменские воспоминания, я по случаю воскресенья пошел в укрепление побриться и от первого унтер-офицера Кулиха услышал, что в 9-м часу утра пришла почтовая лодка. Побрившись, скрепя сердце, я возвращался на огород, и, выходя из укрепления, встретил смотрителя полугоспиталя Бажанова, и он первый поздравил меня с свободой. 21 июля 1857 года в 11 часов утра.

В первом часу получил Залесского письмо от 30 мая.

От трех часов пополудни до трех часов пополуночи под вербою с Фиалковским²²⁸ пили чай и лимоновку, и на выдержку прочитали несколько мест Либельта, и нашли, что подобные книги пишутся для арестантов, которым даже Библии не дают читать. Замечание довольно резкое и почти верное. Но об этом на досуге.

22 июля

По случаю сего радостного для меня события можно бы и оставить небольшой пробел в сей прозаической хронике. Но так как в физической моей деятельности, или, лучше сказать, бездействии не последовало решительной перемены и, как кажется, раньше 8 дня августа не должно ожидать сицевой перемены, то во избежание решительного бездействия, а паче — соблазнительной лимоновки, и буду, не нарушая заведенного порядка, по утрам нагревать свой чайник и число за числом стройно, как солдатская шеренга, вести свой журнал. От безделья и это рукоделье.

Сегодня комендант сказал мне, что он не может дать мне пропуск от Новопетровского укрепления через Астрахань до Петербурга, потому что он не имеет приказа по корпусу о моем увольнении, и если таковой приказ не получится на следующей почте, то предполагаемое мною живописное, спокойное и дешевое путешествие Волгою не состоялось. Но это поправная беда. В Оренбурге, с помощью друзей моих Бюрно²²⁹ и Герна²³⁰, я восстановлю свои оскудевшие финансы. Жаль только, что ненужное удаление от прямого пути заставляет меня отказаться от желания видеть в нонешнем году художественную выставку в Академии, опоздаю, а еще больше жаль, что я должен отсрочить радостное свидание с Лазаревским и прочими моими земляками-друзьями. А еще более жаль мне, что совершенно лишние 1000 верст отдалят от меня минуту блаженнейшего счастья. Минуту, в которую я сердечною слезою благодарности омочу руку моей благороднейшей заступницы графини Настасии Ивановны и ее великодушного супруга графа Федора Петровича. О мои незабвенные благодетели! Без вашего человеколюбивого заступничества, без вашего теплого, родственного участия к моей печальной судьбе меня бы задушил всемогущий сатрап в этом безотрадном заточении. Благодарю вас, мои заступники, мои избавители. Вся радость, все счастье, вся моя светлая будущность суть ваше нетленное добро, мои единые, мои святые заступники!

Графу Федору Петровичу с этой же почтою я напишу письмо²³¹. О, как бы мне не хотелось писать этих бездушных каракуль, которые выражают только одну чопорную вежливость, и ничего больше. Графине Настасии Ивановне я не могу теперь писать: все, что бы я ни написал ей, это и тени не выскажет того восторженно-сладкого чувства благодарности, которым переполнено мое сердце и которое я могу излить только слезами при личном моем свидании с нею.

Лазаревскому вместо письма pošлю эти две тетради моего журнала, пускай читает с Семеном во ожидании меня, его искреннего, счастливого друга.

На сегодня довольно. Пойду в укрепление, достану свежих чернил от Кулиха, новое перо и бумаги на третью тетрадь для сего журнала. Настала новая эпоха, в моей старой жизни должно быть все новое.

Кулих, снабдивши меня бумагою, пером и чернилом, предложил мне с собою пообедать, быть может, в последний раз. На такой трогательный довод сказать было нечего, и я согласился тем охотнее, что и Фиалковский, веселый и умный малый, случился тут же и тоже не отказывался от солдатской трапезы. Кулих, как каптенармус, к обыкновенным щам и каше прибавил кусок жареной баранины, я достал из кармана большой огурец (без этого лакомства я не являюсь в укреплении). А Фиалковский тоже достал из кармана и поставил на стол бутылку с водкой. Непышно, но с аппетитом и так искренно-весело мы пообедали, как дай Бог всем добрым людям так каждый день обедать. За обедом и после обеда Фиалковский забавно подтрунивал над Кулихом, его чином и в особенности над его тепленьким местом. Кулих, чтобы отделаться от неистощимого Фиалковского, обратился ко мне с вопросом, как мне нравится книга, которую он принес для меня из Уральска. Я, разумеется, сказал, что очень нравится, на что Фиалковский страшно захохотал и громогласно назвал Либельта просто дурнем за то, что он написал такую книгу, Пшевлотского, за то, что он купил эту книгу, а Кулиха дубельтовым дурнем за то, что он 500 верст нес на плечах своих эту пустую увесистую книгу. Кулих не на шутку обиделся такой нецеремонной критикой и требовал ясных доказательств на такую грубую клевету. Чтобы утишить возникавшую ссору, я пригласил приятелей к себе на огород пить чай. Предложение было принято, и мы отправились под мою вербу. Либельт лежал у меня под подушкой, и я, во ожидании чайника, предложил Фиалковскому прочесть вслух страничку из сего великого творения. Он охотно это исполнил. Кулих не поверил слышанному. Он думал, что Фиалковский импровизирует и продолжает трунить над его тяжелою ношею. Вырвал у него из рук книгу и прочитал сам весь параграф «О фантазии».

— Что? — спросил Фиалковский наивно изумленного Кулиха.

— Пшевлотский, — отвечал он, — цивилизованный дурень, вот и все.

Насмешки Фиалковский возобновил с прежней силою, пока не остановил его своим приходом общий наш приятель Кампиньони. Этот бессовестный пьяница, ради рюмки лимонки, не постыдился подойти к нам и поздравлять меня

с получением свободы. Мы встали и разошлись в разные стороны, предоставив в полное распоряжение незваного гостя чайник и бутылку с лимоновкой. Вежливость за вежливость.

Ночь была лунная, тихая, очаровательная ночь. Я долго гулял по огороду. А нежные наши дамы (комендантша и Бажанова), из опасения простудиться, сидели за сальным огарком в вонючей киргизской кибитке и, разумеется, сплетничали. Им бы предложить эстетику Либельта, что бы они из нее сделали? Наверное, папильотки. И это естественно. Для человека-материалиста, которому Бог отказал в святом, радостном чувстве понимания его благодати, его нетленной красоты, для такого получеловека всякая теория прекрасного — ничего больше, как пустая болтовня. Для человека же, одаренного этим божественным разумом-чувством, подобная теория также пустая болтовня, и еще хуже — шарлатанство. Если бы эти безжизненные ученые эстетики, эти хирурги прекрасного, вместо теории писали историю изящных искусств, тут была бы очевидная польза. Вазари²³² переживет целые легионы Либельтов.

24 июля

Перед рассветом прошел сильный дождь с грозой, и около огорода в запруженную балку налилось с каменных оврагов столько воды, что можно плавать порядочной лодке, что мы и пробовали с Ираклием Александровичем после обеда. Жаль, что в этой лощине песчаный грунт и вода на поверхности его не может удержаться долго. А какое бы было украшение и польза этому безводному месту.

Вечером капитан Косарев объявил мне, с претензией на благодарность, что он, по приказанию коменданта, отдал приказ по полубатальону о моем увольнении. За что я ни-жайше благодарил господина коменданта.

25 июля

Весь день провел в гостях у Мостовского на ближней пристани. Он арестован на неделю по распоряжению окружного начальника артиллерии генерала Фреймана²³³, вследствие кляуз своего цейхвахтера, отвратительнейшего надворного советника Мешкова²³⁴. Арест Мостовского — ничего больше как маска. А надворному советнику велено подать в отставку и передать свою подполковничью должность нижнему чину, какому-то фейерверкеру Михайлу Иванову²³⁵. Это в своем роде маска.

Перед вечером приехал на пристань комендант и взял меня с собою на огород. А ввечеру еще раз покатались мы в лодке по дождевому ставу.

26 июля

Сегодня во весь день и до половины ночи работал я над письмом графу Федору Петровичу и ничего не мог сделать с этим неудавшимся письмом. Мне хочется высказаться как можно проще и благороднее, а оно выходит или высокопарно до смешного, или чувствительно до нелепого, или, наконец, льстиво до подлого, но никак не выходит то, чего бы мне хотелось. Это, вероятно, оттого оно у меня не клеится, что я еще не пришел в себя от радости; нужно подождать, еще время терпит, раньше 8 августа почта не отправится из укрепления. Время еще терпит. Записать разве черновое на память и исподволь на досуге поправить во избежание поговорки: поспешить — людей насмешить, как я это сделал моим ответом на письмо графини Настасии Ивановны от 12 октября минувшего года²³⁶, которым она первая известила меня о предстоящей свободе и на которое я хватил ей такую восторженную чепуху (второпях, разумеется), что она сочла меня или с ума спятившим, или просто пьяным. А чтобы этого и теперь не случилось, то напишу сначала черновое письмо, а, попростывши немного, напишу и беловое.

«Ваше сиятельство, граф Федор Петрович!»

Вашему великодушному заступничеству и святому, человеколюбивому участию графини Настасии Ивановны обязан я моей новою жизнью, моим радостным обновлением. Я теперь так счастлив, так невыразимо счастлив, что не нахожу слов достойно выразить вам мою сердечную, мою бесконечную благодарность. Без вашего человеколюбивого, христианского участия в моей безотрадной судьбе меня задушили бы в этой широкой тюрьме, в этой бесконечной безлюдной пустыне. А теперь я свободен, теперь независимо ни от чьей воли я строю свое радужное будущее, свое безмятежное грядущее. Какая радость, какое полное счастье наполняет мою душу при мысли, что я снова увижу Академию, увижу вас, моего единого спасителя, и слезами радости и благодарности омочу ваши чудотворящие руки. Молю милосердного Господа сократить путь и время к этому беспредельному счастью. А теперь, Боже всемогущий, услыши мою чистую, ис-

кренную молитву и надолго, долго продли ваши драгоценные дни для славы божественного искусства и для счастья людей, близких вашему любящему сердцу.

21 июля получено здесь официальное известие о моем освобождении. В тот же день я просил коменданта дать мне пропуск через Астрахань до Петербурга, но он без воли высшего начальства не может этого сделать. И я, для получения драгоценного этого паспорта, должен побывать еще раз в Оренбурге и сделать по этому случаю 1000 верст лишних почти по пустыне. Но Господь милосердый, помогавший мне исходить во всех направлениях эту безлюдную пустыню, не оставит меня и на этом, теперь коротком, пути. Грустно только, что этот ненужный путь отдалит, по крайней мере, на месяц радостную минуту свидания с вами и с графиней Настасией Ивановной, главной виновницей моего счастья.

Всемогущий и премилосердый Господь не оставил меня здоровьем в этом долголетнем и суровом испытании; и любовь, которую я с раннего детства бессознательно питал к прекрасным искусствам, теперь посылает он мне любовь сознательную, и светлую, и крепкую, как алмаз. Живописцем-творцом я не могу быть, об этом счастья неразумно было бы и помышлять. Но я, по приезде в Академию, с Божью помощью и с помощью добрых и просвещенных людей, буду гравером à la aquatinta и, уповая на милость и помощь Божью и на ваши советы и покровительство, надеюсь сделать что-нибудь достойное возлюбленного искусства. Распространять посредством гравюры славу славных художников, распространять в обществе вкус и любовь к доброму и прекрасному — это чистейшая, угоднейшая молитва человеколюбцу-Богу и по-сильно бескорыстная услуга человеку. Это мое единственное, непреложное стремление. На большее я не могу надеяться. И только буду просить не оставить меня вашим просвещенным содействием в этой моей милой лучезарной надежде.

Целую руки моей святой заступницы графини Настасии Ивановны, целую вас, ваше семейство, целую все близкое вашему доброму сердцу и остаюсь по гроб благодарный.

Художник Т. Шевченко»

Я не мог себе отказать в радости подписать под этим черновым письмом «художник Т. Шевченко». В продолжение 10 лет я писался и подписывался «рядовой Т. Шевченко». И сегодня в первый раз написал я это душу радующее звание.

27 июля

Сегодня за обедом Ираклий Александрович сообщил мне важную художественную новость, вычитанную им в «Русском инвалиде». Новость эта для меня интересна своею новостью. «Инвалид» извещает, что наконец колоссальное чудо живописи, картина Иванова «Иоанн Креститель» окончена!²³⁷ И была представлена римской публике во время пребывания в Риме вдовствующей императрицы Александры Федоровны. И, по словам самого художника, в газете сказано — скромного, произвела фурор, какого он не ожидал. Дай Боже нашему теляті вовка з'їсти. Но мне что-то страшно за автора «Марии Магдалины»²³⁸. Двадцатилетний труд сохранил ли сочность и свежесть жизни? Не увял ли он, как южный роскошный цветок от долгого и ненужного поливания? Не заплесневел ли он, как хмельное пиво от долгого брожения? Боже сохрани всякого артиста от такого печального и запоздалого урока.

Еще будучи в Академии, я много слышал об этом колоссальном, тогда уже почти оконченном, труде. Художники нерешительно говорили о нем. Аматоры решительно восхищались, в том числе и покойный Гоголь. Карл Павлович Брюллов никогда ни слова не говорил о картине Иванова, самого же Иванова в шутку называл немцем, т. е. кропуном. А кропанье, по словам великого Брюллова, верный признак бездарности, с чем я не могу согласиться в отношении Иванова, глядя на его «Марию Магдалину».

Восторженное письмо Гоголя²³⁹ ничего не сказало художнику, ни даже опытному знатоку об этом произведении. Теоретики все одним миром мазаны. Граф де Кенси написал отличнейший трактат о «Юпитере Олимпийском» — статуе Фидия²⁴⁰. Издал его *in folio* великолепно для своего времени (в начале текущего столетия), и если бы не приложил к своему роскошному изданию рисунков, художники бы подумали, что душа самого великого Фидия говорит устами вдохновенного графа. Но неуклюжие изобличители-рисунки испортили все дело. Как после этого верить этим восторженным теоретикам? Говорит как будто бы и дело, а делает черт знает что. Почтенному графу, вероятно, нравились эти рисунки-уроды, если он приложил их к своему ученому трактату.

Как бы я был рад, если бы картина Иванова опровергла мое предубеждение. К коллекции моих будущих эстампов *à la aquatinta* прибавился бы еще один великолепный эстамп.

О картине Моллера²⁴¹ «Иван-богослов проповедует на острове Патмосе во время праздника вакханалий», о которой я случайно прочитал в «Русском инвалиде», что она показывается в Петербурге публично в пользу раненных в Севастополе. Не знаю, почему я имею выгоднее понятие о картине Моллера, чем о многолетнем произведении Иванова.

28 июля

Еще вчера, т. е. в субботу вечером, уговорились мы с Фиалковским провести сегодняшней воскресный день где-нибудь подальше от противного укрепления, и для сей уединенной радости назвали место в балке, в глубоком диком овраге, верстах в пяти от укрепления, где можно найти и защиту от солнца под скалами, и родниковую свежую воду. Уговорились мы идти туда рано и провести весь день в ущельях этого мрачного оврага. Насчет провианта положено было, чтобы он взял кусок сырой баранины, фунтов 5, для к е б а б а, хлеба соразмерную долю и бутылку водки. А я — чайник, чаю, сахару, стакан и 5 огурцов. Все улажено как нельзя лучше, и дешево, и забористо. И я уже по своему обыкновению сибаритствовал умственно в объятиях мрачного оврага. Прошла ночь, настало утро, и солнышко взошло, а Фиалковский не является на огород, как мы условились. Я ждатель-пождать, а его все нет как нет. Я нагрел чайник и принялся за чай, не переставая смотреть на укрепление. Наконец ругнул я изменника хорошенько и принялся строчить новую тетрадь. А Андрий Обеременко (огородник от подвижной команды и близкий мой земляк), которого я пригласил с собою в балку в виде товарища и мехоноши, выпивши вместо стакана чаю рюмку водки, принялся ругать проклятого нечестивого ляха.

Поусумнившись достаточно в достоинстве многолетнего труда Иванова, я закрыл тетрадь и пошел в укрепление разрешать задачу, заданную мне паном Фиалковским. Прихожу, а он сидит на крылечке около казарм и ругает Дахмищина, солдата-жида, за то, что он не дает ему более 20 копеек за койку. «А что же ты, — говорю я, — про балку забыл?» — «Постой, дай кончить гандель», — говорит он. Кончивши гандель, он признался мне, что от заката до восхода солнца тянул штоса и протянулся до снаги. Кулих даже подушку взял. Пособолезновав немного о его неудаче, я предложил снова путешествие в балку уже в 3 часа после обеда, взявши

на свой кошт и хлеб, и мясо, и водку. Он охотно согласился, и мы, сказавши друг другу «непременно», расстались. Взял я у артельщика в долг 5 фунтов баранины, столько же фунтов хлеба и, возвратясь на огород, послал Обеременка в кабак за водкою.

После обеда я по обыкновению вздремнул немного под вербою, и ровно к трем часам собрались мы с Обеременком в дорогу. Собравшись, уселись мы снова под вербою; пробило 4 часа, нема нашего пана Фиалковского. Андрий молча посмотрел на меня и принялся снова за свою люльку-буруньку. Пробило и пять часов, а пана Фиалковского не видать. Андрий снова посмотрел на меня и уже не вытерпел — плюнул. Прошло еще полчаса, и Андрий начал розташовувать торбу з провиантом и, вынимая баранину, проговорил: «Понапрасну тільки добро звівечили. Сказано — лях, — прибавил он как бы про себя, — невіра. То так і пропаде, так і здохне невірою».

Я не нашел нужным убеждать Андрия в противном, велел ему отдать баранину в комендантскую кухню и просить повара зажарить ее к вечеру, а сам пошел на ближнюю пристань навестить заключенного друга Мостовского.

Проходя мимо первой батареи, или флагштока, я увидел внизу под скалою кучку солдат, играющих в орлянку. Сначала я не обратил внимания на эту весьма обыкновенную картину. Но мне как будто шепнул кто-то: не здесь ли Фиалковский? Всматриваюсь и глазам не верю. Мой Фиалковский, спустив с правого плеча шинель, с ловкостью знатока дела бросил что-то вверх, кружок игроков быстро поднял головы и потом медленно опустил, крикнувши: «Орел!» Фиалковский нагнулся очистить кон, а я, пожелав ему успеха, пошел далее.

Погостивши у Мостовского до восхода едва ущербленной луны, я собрался в обратный путь. Прощаясь, он благодарил меня за навещение и еще за то, что два года тому назад я не принял его благородного предложения поселиться у него на квартире. Теперь он только понял, какую подлую клязу мог вывести Мешков из нашего сожительства. У него не дрогнула бы рука воспользоваться силою военных уголовных законов, где сказано, что офицер, позволивший себе фамильярное обращение с нижним чином, предается военному суду. Теперь только он увидел пропасть, от которой я его отвел, зная лучше отвратительного надворного советника Мешкова.

Ночь лунная, тихая, волшебная ночь. Как прекрасно верно гармонировала эта очаровательная пустынная картина с очаровательными стихами Лермонтова, которые я невольно прочитал несколько раз, как лучшую молитву создателю этой невыразимой гармонии в своем бесконечном мироздании. Не доходя укрепления, на каменистом пригорке я сел отдохнуть. И, глядя на освещенную луной тоже каменистую дорогу, еще раз прочитал:

Выхожу один я на дорогу,
Предо мной кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездой говорит²⁴².

Отдыхая на камне, я смотрел на мрачную батарею, высоко рисовавшуюся на скале, и многое, многое вспомнил из моей прошлой невольнической жизни. В заключение поблагодарил всемогущего человеколюбца, даровавшего мне силу души и тела пройти этот мрачный, тернистый путь, не уязвив себя и не унизив в себе человеческого достоинства.

Успокоив себя святою молитвою, я побрел тихонько на огород, нарушив глубокую тишину очаровательной ночи песнею:

Та нема в світі гірш нікому,
Як сіромі молодому²⁴³.

Не доходя с полверсты до огорода (это уже было в первом часу ночи), меня встретил Андрий Обеременко вопросом:

— Де це вас бог носить до такої доби?

— У гостях, — кажу, — був.

— Та я бачу, що в гостях, бо добрі люди, тільки йдучи з гостей, співають.

Я, как будто не слышу его слов, запел:

Іде багач, іде дукач,
П'ян шатається,
Над бідною голотою
Насміхається.

— Та годі вже вам, — перебивает меня ласково Андрий, — ідіть лучче та покладіться спать.

А я продолжаю:

Один веде за чуприну,
Другий з тилу б'є, —
Не йди туди, вражий сину,
Де голота п'є.

Андрій, убевдывшысь, что я совершенно пьяный, взял меня осторожно под руку, привел к вербе, разостлал свою шинель, нарвал и положил под голову бурьяну, положил меня, перекрестил и ушел. Мне не приходилось разочаровывать старика в его богоугодном подвиге и тем более являть перед ним свои лицедейские качества. Я от души молча поблагодарил его и, недолго поворочавшись, заснул.

29 июля

Видел во сне Семена Артемовского с женою²⁴⁴, выходящего от обедни из церкви Покрова. На Сенной площади²⁴⁵ будто бы разведен парк, деревья еще молодые, но огромные, в особенности поразил меня своею величиною папоротник. Настоящий китайский ясень. В парке встретили Кулиша, тоже с женой, и вместе пошли в гости к Михайлу Лазаревскому.

Все, что сердцу дорого, сгруппировалось на этот раз в моем сновидении. И если б не проклятые курчата своим несносным чокотаньем меня разбудили, я непременно бы увидел еще кого-нибудь из дорогих моих друзей. И мало того, что бегают около тебя, визжат, кокочут. Нет, нужно еще тебе на лицо вскочить да за нос ущипнуть. Счастлив ты, храбрый молодец, что не попался мне под руку, а то бы я оторвал смелую голову, чтобы ты знал, как клевать доброго человека, когда он спит и видит во сне такие отрадные, милые сердцу лица.

Разбуженный так некстати чубатеньким нахалом, я встал и ушел в беседку с твердым намерением продолжить прекрасное видение. Но при всем моем желании этот проект мне не удался. Солнце, которое другой раз так вяло, медленно поднимается из-за горизонта, тут, как на смех, быстро выскочило, как бы желая поощрить бесчеловечный поступок чубатого нахала и поднять на ноги смиренно в углах дремавших мух. Делать нечего. Трудно противу рожна прати; делать нечего, я встал, уготовал себе трапезу, т. е. чай, и пошел искать человеколюбивого Андрія, так любовно успокоившего меня вчера под вербою. Чтобы столь милосердый подвиг достойно оценить, я думал его попотчевать

Чаєм шклянкою

І горілки чаркою²⁴⁶.

Но увы! Это доброе намерение мне не удалось. Андрій (чего я никак не ожидал) спал сном праведника в своей темной

землянке. Зная из недавнего опыта, как невежливо и нехорошо нарушать чужой покой, я оставил Андрия в покое, вполне уверенный, что старик позволил себе вчера лишнюю чарку, что с ним если и случается, то весьма-весьма редко. Артиллерийский огородник, его друг и товарищ по землянке, приятно рассеял мое не совсем выгодное предположение в отношении Андрия. Он сказал мне, что прошлой ночью Андрий был очередным ночным сторожем огорода и, разумеется, всю ночь не спал. Так теперь и пополняет ущерб.

Делать нечего. Чаю шклянку і горілки чарку отложил до другого разу, а теперь напишу несколько строк в моем журнале на память о тебе, мой настоящий, простой, благородный земляк.

Вскоре по прибытии моем в укрепление я заметил в солдатской публике (другой публики в укреплениях не имеется), в этой однообразной жалкой публике, совершенно не солдатскую фигуру. Походка, физиономия, даже шапка-чабанка — все в нем обличало моего земляка. Спрашиваю, что это за человек такой. Мне отвечают, что это Андрий, госпитальный служитель и хохол. Этого-то мне и нужно. Физиономия его показалась мне более суровою, нежели вообще у земляков моих. И потому-то я начал с ним сближаться издалека и осторожно. Удостоверившись от его ближайшего начальства, от унтер-офицера Игнатьева²⁴⁷ и капитана Балагурова²⁴⁸, смотрителя полугоспиталя, что Андрий Обеременко примерной честности и трезвой жизни человек, я начал искать случая поговорить с ним наедине по-своему. Но он как будто бы заметил мои маневры и, как казалось, старался отклонить от себя эту честь. Меня это более подстрекало на сближение.

Большую часть бессонных ночей в Новопетровском укреплении провел я, сидя на крылечке у офицерского флигеля. Однажды, это было зимой часу в третьем ночи, сижу я по своему обыкновению на крылечке, смотрю — из лазаретной кухни выходит Андрий. Он тогда занимал должность хлебопека и квасника. Завидное место огородника я уже ему выхлопотал.

— А що, — говорю, — Андрию, і тобі, мабуть, не спиться?

— Та не спиться, матері його ковінька, — сказал он.

Я затрепетал, услыша его чистый, неиспорченный родной выговор. Я попросил его посидеть трохи со мною, на что он неохотно согласился. Разговор начал я, как это обыкновенно

водится между солдатами, спросом, которой земляк губернии и т. д. На мой спрос Андрий отвечал, что он губернии Киевской, повита Звенигородского, из села Ризаной²⁴⁹, — тут, коло Лысянки, коли чували, — прибавил он; а я прибавил, что не тільки чував, а сам бував і в Лисянці, і в Різаний, і в Русалівці²⁵⁰, і всюди. Одним словом, оказалось, что мы самые близкие земляки.

— Я сам бачу, — сказал он, — що ми свої, та не знаю, як до вас приступити, бо ви все то з офіцерами, то з ляхами тощо. Як тут, думаю, до його підійти. Може, воно й сам який-небудь лях, та так тільки ману пускає.

Я принялся снова уверять его, что я настоящий его земляк, искренно желал продолжать разговор, но пробило 3 часа, и он ушел топить печь для хлебов и для квасу.

Так началось наше личное знакомство с Андрием Обеременком. И чем далее — более узнавали мы друг друга и более привязывались друг к другу. Но наружные отношения наши остались те же самые, что и в первое наше свидание. Он себе не позволял ни одного шагу наружного сближения, ни тени ласкательства, как это делали другие. Подозревая во мне, не знаю почему, богача-земляка и даже родственника коменданта, Андрий наравне с другими верил во всё это, но при других он даже не кланялся со мною, чтобы не подумали другие, что он навязывается ко мне в друзья. Местом наших постоянных свиданий было помянутое крылечко, а время — ночь, когда всё, кроме перекликавшихся часовых, спало. Невозмутимо холодная и даже суровая наружность его обличала в нем человека жестокого, равнодушного. Но это маска. Он страстно любит маленьких детей, а это верный знак сердца кроткого, незлобивого. Я часто, как живописец, любовался его темно-бронзовой усатой физиономией, когда она нежно льнула к розовой щечке младенца. Это была одна-единственная радость в его суровой одинокой жизни. Независимо от его простого, благородного характера, я полюбил его за то, что он в продолжение двадцатилетней солдатской пошлой, гнусной жизни не опошил и не унизил своего национального и человеческого достоинства. Он остался верным во всех отношениях своей прекрасной национальности. А такая черта благородит и даже неблагородного человека. Если мелькали светлые минуты в моем темном долголетнем заточении, то этими сладкими минутами я обязан ему, моему простому, благородному другу Андрию Обеременку.

Пошли ж тебе Господи, мой неизменный друже, скорый конец испытанию. И поможи тебе Пресвятая Матерь всех скорбящих пройти эти безводные пустыни, напиться сладкой днепровой воды и вдохнуть в измученную грудь живительный воздух нашей прекрасной, нашей милой родины!

В продолжение дня я не видался с Андрием. Перед вечером пошел я нарисовать вид первой батареи с того самого места, с которого я ночью любовался ею, возвращаясь от Мостовского. Когда-нибудь сделаю акварельный рисунок. Уже стемнело, когда я возвратился на огород. Под вербою сидел Андрий и встретил меня таким вопросом:

— А що ми будем робить з отим м'ясом?

— З яким?

— А що на льоді другий день валяється.

— Собакам його викинуть. А як не смердить, то повечеряєм.

— Я вже вечеряв.

— А я не хочу вечеряти, — сказал я и уже хотел идти в беседку.

— А знаєте що? — сказал Андрий, останавливая меня.

— Не знаю що.

— Ходімо з отим м'ясом завтра раненько в балку та поснідаємо до ладу.

— Добре, ходімо.

— Та не беріть з собою отого цигана, отого проклятого ляха. Нехай він сказиться.

— Добре, не візьмемо нікого.

И мы расстались.

5 августа

В 5 часов вечера приплыл я на самой утлой рыбацкой ладье в город Астрахань. Все это так нечаянно и так быстро совершилось, что я едва верю совершившемуся. Я, как во сне виденную, припоминаю теперь прогулку мою в балку с Андрием Обеременком, после которой на другой день, т. е. 31 июля, Ираклий Александрович внезапно согласился дать мне пропуск прямо в Петербург. На другой же день он сдержал свое слово, а на третий, т. е. 2 августа в 9 часов вечера, оставил я Новопетровское укрепление. И после трехдневного благополучного плавания по морю и по одному из многочисленных рукавов Волги прибыл в Астрахань.

6 августа

Астрахань — это остров, омываемый одним из протоков Волги, перерезанный рядом вонючих болот, называемых рекою Кутумом²⁵¹, и каналом, ни в чем не уступающим реке Кутуму. Полуостров этот окружен густым лесом мачт и уставлен живописными бедными лачугами и серыми, весьма неживописными деревянными домиками с мезонинами, не похожими на лачуги потому только, что из них выглядывают флотские и вообще официальные физиономии. Всю эту огромную безобразную серую кучу мусора венчают зубчатые белые стены кремля и стройный великолепный пятиглавый собор московской архитектуры 17-го столетия²⁵². Таков город Астрахань. Но не таким он мне представлялся, когда я, подходя к Бирючей косе (главная застава в устьях Волги), увидел сотни, правда, безобразных, кораблей, нагруженных большею частью хлебом; мне представлялась Венеция времен дождей, а оказалось — гора мышь родила. А проток Волги, окружающий Астрахань и сообщающий ее с Каспийским морем, глубиной и шириной Босфору не уступит. Но проток этот омывает не Золотой Рог²⁵³, а огромную кучу вонючего навоза. Где же причина этой нищеты (наружной) и отвратительной грязи (тоже наружной) и, вероятно, внутренней? Где эта причина? В армяно-татарско-калмыцком народонаселении или в другой какой политическо-экономической пружине? Последнее вероятнее. Потому вероятнее, что и другие наши губернские города ничем не уступают Астрахани, исключая Ригу.

Из множества частных пароходов теперь ни одного нет в Астрахани по причине Макарьевской ярманки²⁵⁴. Пароход «Меркурий»²⁵⁵ возвратится в Астрахань не прежде 15 августа, а к 20 августа нагрузится и пойдет в Рыбинск²⁵⁶ и меня довезет до Нижнего. А пока я волею-неволею делаюсь соглядатаем сего нарочито грязного города.

7 августа

Ай да Астрахань! Ай да портовый город! Ни одного трактира, где бы можно хоть как-нибудь пообедать, а о квартире в гостинице и говорить нечего. Зашел я в одну сегодня из так называемых гостиниц на косе Герап (на астраханском Золотом Роге), спросил чего-нибудь поесть. И запачканный вертлявый половой отвечал мне, что все, что прикажете, все есть, кроме чаю. А на поверку оказалось, что ничего не

имеется, кроме чаю, даже обыкновенной ухи. Это в Астрахани, в городе, который половину огромного русского царства кормит осетриной! И если бы не приехал сюда по делам службы, двумя месяцами прежде меня, Новопетровского укрепления плац-адъютант Бурцов²⁵⁷, то мне пришлось бы ночевать если не на улице, так в калмыцкой кибитке. Они здесь так же чисты, как и грязные лачуги, но гостеприимнее. Спасибо Бурцову, он приютил и накормил меня в этом негостеприимном улусе.

8 августа

На человека, прозябавшего, как я, семь лет в нагой пустыне, всякий, даже богоспасаемый город Белебей²⁵⁸ (самый ничтожный городишко Оренбургской губернии), должен бы был сделать приятное впечатление. Со мной случилось не так. Стало быть, я не совсем еще одичал. Это хорошо. Сегодня поутру вышел я в город с намерением отыскать колбасную лавку, чтобы запастись прочной провизией для дороги и попристальнее всмотреться в наружность города. Проходя по Московской улице (Невский проспект), у меня начало сглаживаться первое неприятное впечатление. Улица — хоть куда. Дома большей частью трехэтажные, украшенные снизу, как водится, вывесками, преимущественно голубыми с золотом. Из лавок, преимущественно галантерейных, выглядывают вяло красивые армянские, а изредка и персидские выразительные физиономии. Гостиный двор, несмотря на массу, здание легкое и даже грациозное, здание во вкусе Гваренги²⁵⁹. Губернаторский дом тоже здание массивное, в отношении к частным домам, бельэтаж а-ля ренессанс, смотрит весело, вроде бонтонного отеля, поддерживаемый массивною галереєю аркад, под которыми помещаются лавки с разными благородными товарами, в том числе и с кумысом. Сначала меня это поразило своей дисгармонией — в жилище представителя верховной власти лавки с разными товарами, в том числе и с кумысом. Странно. Но как мирная промышленность не может иначе процветать, как под эгидою власти, то я на этой мысли помирился и пошел далее. Обойдя вокруг покрытый пылью сквер, я вышел в другую, параллельную Московской улице, уже менее украшенную вывесками и армянами. Из этой, ничем особенно не примечательной улицы я взял налево и, перейдя деревянный мост, очутился за Кутумом.

Пройдя шагов сто по улице, перед домом, наружностью своей напоминающим загородный трактир средней руки, — деревянный одноэтажный с бельведером, и по широкой, окружающей бельведер галерее усатый кавалер в сером пальто-сак и с серебряным Георгием прохаживается и с достоинством посматривает на снующихся плебеев, калмыков и татар. Настоящий гренадер под фирмою Лон-лакея²⁶⁰. «Не дворянское ли это астраханское собрание?» — подумал я и хотел идти далее, как мне мелькнула в глазах над воротами желтая табличка с надписью: «Дом Сапожникова». Не будь Александр Александрович Сапожников²⁶¹ бриллиантовою звездю астраханского горизонта и безмездным астраханским метрдотелем, я зашел бы к нему, как к старому знакомому, но эти великолепные его недостатки меня остановили.

За домом и садом Сапожникова видны вдаль лачуги. Я, как живописец, люблю шляться по этим грязным живописным закоулкам, но как человек, искренно любящий человека, я перед домом миллионера сделал налево кругом и вскоре очутился в центре города.

В центре города, т. е. на Московской улице, зашел я в гостиницу под фирмою «Москва», спросил себе пару чаю и уселся в компании татар и армян. Машину накрутил какой-то молодец в солдатской шинели, и она задрезжала увертюру «Роберта-Дьявола»²⁶². Несмотря на отсутствие всякой гармонии, меня тронула, и до слез тронула, эта изуродованная красавица мелодия. Значит, я давно уже не слушал ничего и похожего на музыку. Барабан и горн очерствил мой слух, но не очерствил сердца, воспринимающего прекрасное.

После увертюры «Роберта» машина зашипела «Уж как веет ветерок»²⁶³. Я и это шипение прослушал с наслаждением и, почти примиренный с Астраханью, заплатил пятиалтынный за чай, вышел на улицу.

Московская улица. Существует ли хоть один губернский город в России без Московской улицы? Кажется, нет. А без колбасной лавки существуют многие губернские города, в том числе и портовый город Астрахань. Дрянь, никуда не годный портовый город Астрахань. Я обошел все главные и неглавные улицы. Прочитал всех цветов большие и малые вывески, говорившие большею частью о продаже чихиря и панских товаров, но ни одна из них не сказала о продаже копченых колбас. Эх, немцы, немцы сарептские, и вы

акклиматизировались, а я наверняка рассчитывал на вашу стойкую колбасолюбивую натуру.

После обеда, по наставлению Авдотьи, кухарки Бурцова, пошел я отыскивать немецкую булочную, в которой, по ее словам, продаются и немецкие колбасы. Топография города уже мне более или менее известна. И я, по указаниям той же Авдотьи, без особенного труда нашел немецкую булочную. Добродушная, круглая физиономия немца вытянулась и осторожно улыбнулась, когда я вместо булки спросил колбасу. Но как я не шутя спрашивал, то немец не шутя и отвечал мне, что он булочный, но не колбасный мастер, и что колбасного мастера во всем городе нет ни одного, и что если в сарептской лавке я не найду этого товара, то до самого Саратова я не увижу ни одной колбасы. Но так как сарептская лавка, по сказаниям того же немца, весьма не близка к центру города, то я и отложил мои поиски до завтрашнего дня.

Сегодня 8 августа. Сегодня выйдет почтовая лодка из Новопетровского укрепления в Гурьев-городок и возьмет с собою Фиалковского и прочих освобожденных вместе со мною. Желая тебе лучшей будущности, Фиалковский, ты вполне ее достоин. На расставанье он и Мостовский дали мне свои будущие адреса, но едва ли у нас завяжется когда-нибудь переписка, потому что я не принадлежу к касте пустомелей, а они, как люди более меня практические, тоже не будут переливать из пустого в порожнее. Но я всегда сохраню воспоминание об вас, мои благородные друзья.

9 августа

В 5 часов утра пошел я от нечего делать на косу (пристань) проведать моих новопетровских аргонатов, так быстро переплывших со мною Хвалынское море²⁶⁴. Рыбу они свою продали, купили хлеба и с этим золотым руном отплывут завтра к пустынным берегам полуострова Мангишлака. Желая вам счастливого плавания, бесстрашные плователи. Поклонитесь от меня прибрежным скалам, на которых я провел столько бессонных ночей. Поклонитесь от меня коменданту и благородному Мостовскому. И больше никому.

Простившись с аргонатами, я прошел на малые и сады (съестной базар). Кроме фруктов, огородной зелени и хлеба печеного, на этих исадах я ничего не заметил, мясо не продается по случаю поста, а рыба продается на лодках. Публика рыночная, как и везде, перекупки, повара и кухарки,

изредка попадаетея заплывшая жиром купчиха-гастрономка да такого же содержания особа духовного чина, сугубо рачащая о плоти греховной. У щеголя краснобородого кизыл-баша купил я за 5 копеек серебра 5 головок чесноку (это добро доставляется сюда из Персии) и отправился в кремль полюбоваться вблизи красавцем собором²⁶⁵. Он, как щеголь 17-го века, красуется в кружевах перед всем городом.

По слухам знаю я о существовании книги под названием «Описание города Астрахани»²⁶⁶. Но о приобретении ее здесь на месте и помышлять нечего. Город, не имеющий книжной лавки, значит и читателей не имеет. А как бы кстати иметь теперь в руках эту книгу. Там, верно, помещены документальные сведения о времени построения кремля и собора, как главного украшения города. Кто же мне заменит эту дорогую книгу? К кому обратиться мне с моим любопытством? И как ранняя обедня еще не отошла, то я пошел прямо в собор с целию встретить там священника и обратиться к нему с моей антикварской любознательностью. К счастью моему, я встретил самого ключаря собора отца Гавриила Пальмова²⁶⁷. Так он мне рекомендовался. Но удовлетворить мое любопытство сегодня он не мог по недостатку времени и назначил мне свидание в соборе в воскресенье после поздней обедни. Подожду.

10 августа

Ходил в контору «Меркурия» узнать, скоро ли прилетит этот сын Юпитера. И мне сказали, что его ожидают не ближе 15 августа, а к 20 августа выйдет обратно в Нижний. Ожидание, как всякое ожидание, несносно. Но к этому ожиданию лепятся еще издержки, которые я думал устранить, прилепившись у Бурцова на квартире. А он, на грех, вздумал жениться (это общая слабость Новопетровского гарнизона). 17 августа у него свадьба, и я, разумеется, оказался совершенно лишним человеком. С целью отыскать себе угол на несколько дней, пошел я шляться по переулкам вокруг конторы «Меркурия». Здесь все заперто, кроме скворешниц на высоких шестах, свидетельствующих о жилищах меломанов. Постучался я в несколько запертых ворот наугад, потому что билетиков здесь над воротами не приклеивают, как это водится в порядочных городах. После долгих поисков удалось мне открыть наемный чулан с миниатюрным окном, выходящим прямо на помойную яму. На безрыбье и рак рыба, на

безлюдье и Фома человек, говорит пословица. Вследствие этой мудрой пословицы, с завтрашнего дня я ночую в чулане за 20 коп. серебра в сутки. 6 рублей в месяц чулан с помойною ямой! Да это хоть и в Сан-Франциско²⁶⁸, так впору.

Давши задаток, я пришел к Бурцову, и по случаю духоты и пыли на улице я пробыл весь день в комнате, написал радостные письма друзьям моим Лазаревскому и Герну. Кухаренку напишу завтра. Ожидаю от него ответа на «Москалеву криныщу». Не знаю, что значит его молчание?

Перед вечером вышел я, как говорится, и себя показать, и на людей посмотреть. Вышел я на набережную канала. Здесь это английская набережная²⁶⁹, в нравственном отношении, а в физическом — деревянная, досчатая. Канал сам по себе дрянь. Но как дело частного лица, это произведение гигантское, капитальное. Я не мог добиться время его построения, узнал только, что он построен на кошт некоего богатого грека Варвараца²⁷⁰. Честь и слава покойному эллину. Так на этой-то набережной по вечерам рисуется цвет здешнего общества.

Женщины здешние ненатурально белы и преимущественно чахоточны. Мужчины вообще в белых фуражках с кокардою, не исключая и мужчин гражданского ведомства. Непонятная любовь к ливрее. Нередко попадаются львы и львицы, эти повсеместные плотоядные не климатизируются, они и здесь такой же шерсти, как и в Архангельске, как и везде. Плебейская же физиономия калмыка и татарина здесь редко покажется, ее место на и са да х²⁷¹ и в грязных переулках. Всматриваясь пристальнее в господствующую здесь узкоглазую физиономию калмыка, я нахожу в ней прямодушное, кроткое выражение. И эта прекрасная черта благородит этот некрасивый тип. Вернейшие слуги и лучшие работники здесь суть калмыки. Любимый цвет — желтый и синий, пища — какая угодно, не исключая и падали. Место жительства — кибитки, а занятия — рыбная ловля и вообще тяжелая работа. Мне понравились эти родоначальники монгольского племени.

11 августа

После поздней обедни в соборе обязательный отец Гавриил показал мне ризницу собора, замечательную немногими, но по достоинству работы и старины весьма редкими вещами. Первое, что он мне показал, это плащаница,

шитая шелками и золотом, времен Ивана Грозного²⁷² и, по преданию, отбитая у Марины Мнишек²⁷³. 2. Печатное, плохо сохранившееся Евангелие 1606 года. 3. Сакос, шелками и золотом шитый, епископа Иосифа²⁷⁴, убиенного Разинным. 4. Фелон, шелками и золотом шитый, того же епископа. 5. Архиерейский посох удивительно тонкой работы, дар царя Бориса Годунова²⁷⁵. 6. Серебряный ковш искусной работы, дар царя Петра Первого 1701 года. Огромный потир²⁷⁶ венецианской работы 1705 года. Время заложения собора — 1698 года и освящения — 1710 года 14 августа. На вопрос мой, кто был архитектором этого колоссального и прекрасного собора, отец Гавриил отвечал — простой русский мужичок²⁷⁷. Не мешало бы Константину Тону²⁷⁸ поучиться строить соборы у этого русского мужичка. Я, разумеется, не противуречил и спросил его о времени построения кремля. Он отвечал: «Борисом Годуновым. А малый Троицкий собор построен царем Иваном Грозным вскоре после взятия у татар Астрахани», — прибавил он, закрывая ризницу. И на том спасибо.

12 августа

В 7 часов утра пришел сверху пароход «Князь Пожарский», принадлежащий компании «Меркурия». Я пошел в контору справиться о его обратном рейсе. Определительно в конторе мне ничего не сказали. Хотел взять билет, и его не дали за отсутствием главного приказчика. В надежде на скорое отплытие и по случаю умеренной духоты, я пошел шляться из улицы в улицу, не теряя надежды отыскать хоть какую-нибудь колбасную лавку. Но увы! Кроме пыли, смраду и вечной вывески — продажа чихиря, — я ничего не встретил.

Чем дальше в лес, тем больше дров. Возвращаясь из сарептского магазина, в котором все есть, кроме копченой колбасы и сарептской горчицы в банках, ругнул я моих приятелей-немцев, разумеется, выйдя на улицу. Полюбовался вычурно-грубой старой архитектурой церкви Рождества Богородицы, морского ведомства. И, по наставлению отца Гавриила, пошел отыскивать градскую библиотеку. Против губернаторского сквера прочитал я на бледно-голубой вывеске: «Публичная библиотека для чтения». «Браво, — подумал я, — в Астрахани публичная библиотека. Стало быть, и тещы имеются». Замарашка мальчуган указал мне вход в это святы-

лице, и я благоговейно поднялся во второй этаж и вступил в единственную залу библиотеки. Библиотекарь, в сюртуке с красным воротником и с гренадерскими усами, которого я принял за полицейского чиновника, сказал мне, что книги Рыбушкина «Описание города Астрахани» в настоящее время в библиотеке не имеется, а что она находится у бухгалтера общественного призрения Васильева. Я объяснил ему, что я нездешний, но он все-таки послал меня в приказ общественного призрения. Делать нечего, отправился я к помянутому бухгалтеру Васильеву. И от сего почтенного старичка получил надежду прочитать книгу Рыбушкина завтра в 9 часов утра.

13 августа

Переночевал кое-как в новой квартире, или, вернее, в чулане. Поутру пошел отворить ставню, и меня какой-то сытый бородач окатил помоями из полоскательной чашки и меня же выругал за то, что меня черт носит спозаранку под окнами. Я ругнул его бородастым старым ослом и отправился к Бурцову чай пить. После чаю написал Кухаренку письмо, нарочито небольшое²⁷⁹. И с лоскутком бумаги и кусочком карандаша пошел в Публичную библиотеку для чтения. Библиотекарь с красным воротником и гренадерскими усами объявил мне, что бухгалтер Васильев не сообщил еще желаемой мною книги. Я остался ждать, потому что бухгалтер Васильев вчера сам мне обещал представить книгу в библиотеку непременно к 9 часам.

В ожидании «Описания города Астрахани» Рыбушкина я спросил каталог Публичной астраханской библиотеки. Каталог тоже был на дому у какого-то важного лица (не у Сапожникова ли?), и так без каталога в руках я увидел на полках запыленный «Вестник Европы»²⁸⁰, длинную фалангу «Московского телеграфа»²⁸¹, в нескольких экземплярах графа Хвостова²⁸², Державина²⁸³, Карамзина²⁸⁴, «Дух законов»²⁸⁵ и свод законов с прибавлениями²⁸⁶, а остальные полки завалены творениями Дюма²⁸⁷ и Сю²⁸⁸ не в подлиннике. О манускриптах, касающихся истории города и края, я, не знаю отчего, совестился спросить.

Но что всего интереснее было для меня в этой Публичной библиотеке, это «Русский вестник»²⁸⁹, журнал, уже несколько лет издаваемый, а я его сегодня в первый раз вижу. В какой же я дикой пустыне прозябал до сих пор!

Первая книжка «Русского вестника» за 1856 год попала мне в руки, оглавление мне понравилось. Там были выставлены имена Гоголя, Соловьева²⁹⁰, Аксакова²⁹¹, имена, хорошо известные в нашей литературе. Я разворачиваю книгу, и мне попала литературная летопись. Читаю. И что же я читаю? Наша славная-преславная Савор-Могила раскопана²⁹². Нашли в ней какие-то золотые и другие мелочи, не говорящие даже, действительно ли это была могила одного из скифских царей.

Я люблю археологию. Я уважаю людей, посвятивших себя этой таинственной матери истории. Я вполне сознаю пользу этих раскапываний. Но лучше бы не раскапывали нашей славной Савор-Могилы. Странная и даже глупая привязанность к безмолвным, ничего не говорящим курганам. Во весь день и вечер я все пел:

У степу могила
З вітром говорила:
«Повій, вітре буйнесенький,
Щоб я не чорніла».

14 августа

В продолжение ночи шел проливной дождь. И из пыльной, серой Астрахани поутру я увидел Астрахань черную, грязную. Вооружившись туркменским чапаном, я пошел к Бурцову пить чай. Потом отнес на почту письмо и пошел в библиотеку. Но сия Публичная библиотека, вероятно, по случаю дождя и грязи, была заперта. И я, поклонившись дверям сего недоступного таинственного святилища, ушел восвояси с миром, дивясь бывшему.

И что мне этот Рыбушкин так завяз в зубах? Интереснейшее в Астрахани и без его указаний я видел (соборную ризницу), а об остальном стоит ли хлопотать? Не стоит.

15 и 16 августа²⁹³

В день Успения Пресвятой Богородицы встретил я в Астрахани старого моего бывшего профессора Киевского университета, дражайшего и любимейшего нашего поэта, и встретил я его с величайшей радостью в такой далекой стороне, которого я встретил, как отца, как брата, как величайшего друга, и имел счастье прожить с ним несколько дней почти вместе.

*Воспитанник Киевского университета
Иван Клоповский²⁹⁴*

В тот же день, и я был очастливлен встречею с любимым и уважаемым мною поэтом Тарасом Григорьевичем Шевченко, с которым я провожу эти дни, что оставит во мне глубокое воспоминание навсегда.

*Воспитанник того же университета
Степан Незабытовский²⁹⁵*

Я запишу в своем дневнике, что 16 августа я провел день с поэтом Малороссии Шевченко.

Евгений Одинцев²⁹⁶

16 августа

С душевным восторгом я встретил и провел несколько часов с моим милым батьком, старым козаком Тарасом Григорьевичем Шевченко, за что очень благодарен Богу, что он довел меня быть вместе с ним.

Федор Чельцов²⁹⁷

17 августа

Иван Рогожин из дружбы к Перфилю поступил за него на полгода в солдаты; но как ни хитер и ни изворотлив был бес, но никак не мог примениться к порядку, и его, бідного, драли, як сидорову козу, так что, когда прошло уже полгода, ему стыдно было показаться к своему набольшему. Бедный бес не рассчитал, что как наденет ранцы, то выходит крест, и так ему поистине пришлось несть крест Господень, а Перфил, когда услышал от него рассказ о службе, сказал ему: «В чужие сани не садись». С тех пор ни один бес уже не хотел служить в солдатах: а ти ж то, батьку, десять літ пробув в них. Офицеры, як почули от Перфила о том, что Рогожин за него пробыл полгода, выразили свой восторг словами: «Знатно, и бес побывал в наших руках».

*Скрепил Иван Рогожин
Фельдфебель Перфил²⁹⁸*

18 августа

В. Кишкин²⁹⁹, встреча со старым знакомым.

19 августа

Lekarz Karol Nowicki³⁰⁰

Paweł Radziejowski

Tytus Szalewicz³⁰¹.

*20 августа*³⁰²

Krasomowstwo niewielu otrzymało w udziale; mnie zaś, pozbawionemu tego boskiego daru, pozostaje w milczeniu tylko podziwiać i hołdować tworczej twej potędze, Święty narodowy wieszczumęczeniku Małejrosii. Twoja dzisiejsza przytomność wśród nas zupełnie szczęśliwym mnie czyni i chwile obecne nigdy się w mej pamięci nie zatrą. O, stokroć, stokroć błogosławię ten drogi dzień, w którym niebo pozwoliło mi osobiście poznać się z tobą, gorliwy i nieulekły opowiadaczu słowa prawdy. Niech że słów tych kilka przypominają ci [...] ³⁰³ poetomalarzu głęboką czcią poważającego ciebie Tomasza Zbrożka³⁰⁴.

23 августа

С 15 по 22 августа был у меня в грязной и пыльной Астрахани такой светлый, прекрасный праздник, какого еще не было в моей жизни. Земляки мои, большею частью кияне, так искренно, радостно, братски приветствовали мою свободу и до того распростерли свое гостеприимство, что лишили меня свободы самому вести свой журнал и взяли эту обязанность на себя. Благодарю вас, благородные, бескорыстные друзья мои. Вы подарили меня такую радостью, таким полным счастьем, которое едва вмещаю я в моем благодарном сердце. И память об этих счастливейших днях я вношу не в прозаический журнал мой, — я внесу в сокровищницу моего сердца.

15 же августа вечером Зброжек случайно у Сапожниковых проговорился, что я в Астрахани. И 16 августа я возобновил старое знакомство с Александром Александровичем. Это уже был не шалун-школьник в детской курточке, которого я видел в последний раз в 1842 году. Это уже был мужчина, муж и, наконец, отец прекрасного дитяти. А сверх всего этого, я встретил в нем простого, высокоблагороднейшего, доброго человека. Черта, характеризующая семейство Сапожниковых. Он, не знаю как надолго, оставляет Астрахань и до Нижнего Новгорода предложил мне каюту на абонированном им пароходе «Князь Пожарский». Пятирублевый билет, взятый мною, я возвратил в контору пароходной компании

«Меркурий» с тем, чтобы он был отдан первому бедняку безденежно. Капитан парохода «Князь Пожарский» Владимир Васильевич Кишкин распорядился так, что вместо одного бедняка поместил на барже пять бедняков, не могших заплатить за место до Нижнего даже по целковому. Черта практически благородная.

25 августа

Парохода «Князь Пожарский» буфетчик Алексей Панфилов Панов, отпущенник г-на Крюкова³⁰⁵.

27 августа

Ночи лунные, тихие, очаровательно поэтические ночи! Волга, как бесконечное зеркало, подернутая прозрачным туманом, мягко отражает в себе очаровательную бледную красавицу ночи и сонный обрывистый берег, уставленный группами темных деревьев. Восхитительная, сладко-успокоительная декорация! И вся эта прелесть, вся эта зримая немая гармония оглашается тихими, задушевыми звуками скрипки. Три ночи сряду этот вольноотпущенный чудотворец безмездно возносит мою душу к творцу вечной гармонии пленительными звуками своей лубочной скрипицы. Он говорит, что на пароходе нельзя держать хороший инструмент, но и из этого нехорошего он извлекает волшебные звуки, в особенности в мазурках Шопена³⁰⁶. Я никогда не наслаждаюсь этих общеславянских, сердечно, глубоко унылых песен. Благодарю тебя, крепостной Паганини³⁰⁷. Благодарю тебя, мой случайный, мой благородный. Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный, мрачный, глубокий стон миллионов крепостных душ. Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего свинцового уха, наш праведный, неумолимый, необлажимый Боже?

Под влиянием скорбных вопиющих звуков этого бедного вольноотпущенника пароход в ночном погребальном покое мне представляется каким-то огромным, глухо ревущим чудовищем с раскрытой огромной пастью, готовую проглотить помещиков-инквизиторов. Великий Фультон! И великий Уатт!³⁰⁸ Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции

энциклопедисты³⁰⁹, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное гениальное дитя. Мое пророчество несомненно. Молю только многотерпеливого Господа умалить малую часть своего бездушного терпения. Молю его коснуться своим свинцовым ухом хоть одной полноты этого душу раздирающего вопля, вопля своих искренних, простосердечных молителеей.

28 августа

Со дня выхода парохода из Астрахани, т. е. с 22 августа, я не могу ни за что, ни даже за свой журнал, приняться аккуратно, как это было в Новопетровском укреплении. Я все еще не могу и не желаю освободиться из-под влияния, произведенного на меня в Астрахани моими земляками. И повторившего это чудное влияние Александром Александровичем Сапожниковым, и всеми сопутствующими ему его родственниками и друзьями. Все они, начиная с хозяйки (Нины Александровны)³¹⁰ и хозяина, все они так дружелюбно просты, так внимательны, что я от избытка восторга не знаю, что с собою делать, и, разумеется, только бегаю взад и вперед по палубе, как школьник, вырвавшийся из школы. Теперь только я сознаю отвратительное влияние десятилетнего уничтожения. Теперь только я вполне чувствую, как глубоко во мне засела казарма со всеми ее унижительными подробностями. И такой быстрый и неожиданный контраст мне не дает еще войти в себя. Простое человеческое обращение со мною теперь мне кажется чем-то сверхъестественным, невероятным.

Берега Волги от Царицына³¹¹ и Дубовки³¹² с часу на час делаются выше, живописнее, очаровательнее. И я не сделал еще ни одного очерка. Недосуг. Все книги всех русских журналов за текущий год добрейший Александр Александрович предложил к моим услугам, и я только сегодня начал читать «Королеву Варвару» Попова³¹³. И только начал. А журнал свой, который в эти дни должен бы был наполняться такими очаровательными событиями, я совсем оставил, извиняя себя невозможностью писать по случаю вздрагивания палубы. О как бы я желал продлить это сладкое состояние, это чувство животворного, очаровательного бездействия.

Я оставил знойную степь в кителе и туркменском верблюжьем чапане. В Астрахани я думал только о пологе от комаров. А север, к которому стремлюсь, мне и в голову

не приходил. И сегодня я мог бы быть порядочно наказан за невнимание к беловласому Борею³¹⁴, если бы не выручил меня Александр Александрович. В продолжение ночи дул свежий норд-ост, и к утру сделалось порядочно холодно, так порядочно, что не прочь бы был и от тулупа. А у меня, кроме кителя и помянутого чапана, совершенно ничего не оказалось. Александр Александрович, спасибо ему, предложил мне свое теплое пальто, брюки и жилет. Я с благодарностью принял все это, как дар, ниспосланный мне свыше, и через минуту явился на палубе преображенным в настоящего денди. Бог да наградит тебя, мой добрый Саша, за это братски-дружеское преображение!

29 августа

Берега Волги с каждым часом делаются выше и привлекательнее. Я попробовал сделать очерк одного места с палубы парохода, но, увы, нет никакой возможности. Палуба дрожит, и контуры берегов быстро меняются. И я со своим давнишним новопетровским предположением рисовать берега матушки Волги должен теперь проститься. Сегодня с полуночи и до восхода солнца пароход грузился дровами около Камышина³¹⁵, и я едва успел сделать легонький очерк камышинской пристани с правым берегом Волги. Дров взято до Саратова, и, значит, я ближе Саратова ничего не сделаю. Выше Камышина в 60 верстах на правом берегу Волги лоцман парохода показал мне бугор Стеньки Разина. Это было на рассвете, и я не мог хорошо рассмотреть этой замечательной, но неживописной местности. Исторический бугор этот, — я не знаю, почему его называют бугром, — он и на вершок не выше окружающей его местности. И если бы лоцман мне не указал его, я и не заметил бы этой ничтожной твердыни славного лыцаря Стеньки Разина, этого волжского барона и, наконец, пугала московского царя и персидского шаха. Открытые большие грабители испугались скрытого ночного воришки! Так белоголового великана хищника беркута пугает иногда ничтожный нетопырь.

Самое плоское суздальское изображение прославленного предмета так же интересно, как и самое изящное произведение живописи. Сознывая эту истину, мне еще досаднее, что я не мог сделать ниже слабого очерка с этого весьма прославленного бугра. Солнце еще не всходило, а бугор оставался за нами верстах в десяти, и я должен был

довольствоваться небольшим фантастическим рассказом не-словоохотливого лоцмана.

Волжские ловцы и вообще простой народ верит, что Стенька Разин живет до сих пор в одном из приволжских ущелий близ своего бугра и что (по словам лоцмана) прошедшим летом какие-то матросы, плившие из Казани, останавливались у его бугра, ходили в ущелье, видели и разговаривали с самим Семеном Степановичем Разиным³¹⁶. Весь он, сказывали матросы, оброс волосами, словно зверь какой, а говорит по-человечьи. Он уже начал было рассказывать что-то про свою судьбу, как настал полдень, и из пещеры выполз змий и начал сосать его за сердце, а он так страшно застонал, что матросы от ужаса разбежались, куда кто мог. А за то его, прибавил лоцман, ежедневно змий за сердце сосет, что он проклят во всех соборах, а проклят он за то, что убил астраханского архиерея Иосифа. А убил он его за то, что тот его волшебству сопротивлялся.

По словам того же рассказчика, Разин не был разбойником, а он только на Волге брандвахту³¹⁷ держал и собирал пошлину с кораблей и раздавал ее неимущим людям. Коммунист, выходит.

30 августа

Из уважения к имениннику и принятому обычаю дарить именинников, я сегодня подарил Александру Александровичу портрет его тещи m-me Козаченко³¹⁸. Портрет сделан в один сеанс белым и черным карандашами, довольно аляповато, но не лишен экспрессии. Именинник, по обыкновению своему, был весел и любезен, а гости его, в том числе и нас Господи устрой, также охулки на руку не положили, и нецеремонная милая гармония царила на палубе «Князя Пожарского».

Вечеру от саратовской пассажирки, некоей весьма любезной дамы Татьяны Павловны Соколовской, случайно узнал я, что Н. И. Костомаров уехал за границу³¹⁹. А мать его живет в Саратове. Я просил у нее адрес Костомаровой и...³²⁰

31 августа

Едва пароход успел остановиться у саратовской набережной, как я уже был в городе и, по указаниям обязательной m-me Соколовской, я как по писаному, без помощи дорогого извозчика нашел квартиру Татьяны Петровны Костомаровой³²¹. Добрая старушка, она узнала меня по голосу, но, взглянувши

на меня, усомнилась в своей догадке. Убедившись же, что это действительно я, а не кто иной, она привитала, как родного сына, радостным поцелуем и искренними слезами.

Пароход постоял в саратовской пристани до следующего утра, и я с полудня до часу пополуночи провел у Татьяны Петровны. И, Боже мой, чего мы с ней ни вспомнили, о чем мы с ней ни переговорили. Она мне показывала письма своего Николаши из-за границы и лепестки фиалок, присланные ей сыном в одном из писем из Стокгольма, от 30 мая. Это число напомнило нам роковое 30 мая 1847 года³²², и мы, как дети, зарыдали. В первом часу ночи я расстался с счастливейшею и благороднейшею матерью прекраснейшего сына.

*Петр Ульянов Чекмарев*³²³.

1 сентября

Новый месяц начался новым приятнейшим знакомством. За полчаса до поднятия якоря явился в капитанской каюте и в моем временном обиталище человек некрасивой, но привлекательно-симпатической наружности. После монотонно произнесенного: «Петр Ульянов Чекмарев», — он сказал с одушевлением: «Марья Григорьевна Солонина³²⁴, не знаемая вами ваша милая землячка и поклонница, поручила мне передать вам ее сердечный сестрин поцелуй и поздравить вас с вожделенной свободой». И тут напечатлел на моей лысине два полновесных искренних поцелуя, один за землячку, а другой за себя и за саратовскую братию. Долго я не мог опомниться от этого нечаянного счастья, и, придя в себя, я вынул из моей бедной коморы какую-то песенку и просил своего нового друга передать эту лепту моей милой, сердечной землячке. Вскоре начали подымать якорь, и мы расстались, давши друг другу слово увидеться будущей зимой в Петербурге.

2 сентября

Пятнадцать лет не изменили нас,
Я прежний Сашка все, ты также все Тарас.

*Александр Сапожников*³²⁵

Сегодня в 7 часов утра случайно собрались мы в капитанской каюте и слово за слово из обыденного разговора перешли к современной литературе и поэзии. После недолгих

пересудов я предложил А. А. Сапожникову прочесть «Собачий пир» из Барбье³²⁶ Бенедиктова³²⁷, и он мастерски его прочитал. После прочтения перевода был прочитан подлинник, и общим голосом решили, что перевод выше подлинника. Бенедиктов, певец кудрей и прочего тому подобного, не переводит, а воссоздает Барбье. Непостижимо! Неужели со смертью этого огромного нашего Тормоза, как выразился Искандер³²⁸, поэты воскресли, обновились? Другой причины я не знаю. По поводу «Собачьего пира» наш добрый, милый капитан Владимир Васильевич Кишкин достал из своей заветной портфели его же, Бенедиктова, «Вход воспрещается»³²⁹ и с чувством поклонника родной обновленной поэзии прочитал нам, внимательным слушателям. Потом прочитал его же «На новый 1857 год»³³⁰. Я дивился и ушам не верил. Много еще кое-чего упруго-свежего, живого было прочитано нашим милым капитаном. Но я все свое внимание и удивление сосредоточил на Бенедиктове. А прочее едва слушал.

Итак, у нас сегодня из обыкновенной болтовни вышло необыкновенно эффектное литературное утро. Приятно было бы повторять подобную импровизацию. В заключение этой поэтической сходки А. А. Сапожников вдохновился и написал двестише, грациозное и братски-искреннее.

Ночью против города Волжска³³¹ (место центральной конторы дома Сапожниковых) пароход на несколько часов остановился. А. А. сошел на берег и в скором времени возвратился на пароход с своим главным управляющим Тихоном Зиновьевичем Эпифановым. Белый с черными бровями, свежий, удивительно красивый старик, с прекрасными манерами, и тени не напоминающими русского купца. Он мне живо напомнил своей изящной наружностью моего дядю Шевченка-Грыня³³².

3 сентября

Не забывайте любящего вас И. Явленского³³³.

Ел, пил, спал. Во сне видел Орскую крепость и корпусного ефрейтора Обручева. Я так испугался этого гнусного ефрейтора, что от страха проснулся и долго не мог прийти в себя от этого возмутительного сновидения.

4 сентября

В продолжение ночи пароход грузился дровами против города Хвалынска³³⁴: одно-единственное место на берегах

Волги, напоминающее древнее название Каспийского моря. Поутру, снявшись с якоря, мы собрались в каюте нашего доброго капитана, и после недлинного прелюдия составилось у нас опять литературно-поэтическое утро. Обязательный Владимир Васильевич прочитал нам из своей заветной портфели несколько животрепещущих стихотворений неизвестных авторов и, между прочим, «Кающуюся Россию» Хомякова³³⁵. Глубоко грустное это стихотворение я занес в свой журнал на память о наших утренних беседах на пароходе «Князь Пожарский».

КАЮЩАЯСЯ РОССИЯ

*Неуклони сердце твое в словеса
лукавствия нещевати о гресех твоих.*

Тебя призвал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да совершишь ты волю злую
Слепых, безумных, буйных сил.

Вставай, страна моя родная,
За братьев Бог тебя зовет
Чрез волны гневного Дуная
Туда, где, землю огибая,
Шумят струи Эгейских вод.

Но помни, быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело;
Своих рабов он судит строго,
А на тебе, увы, как много
Грехов ужасных налегло.

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Бесчестной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

И, недостойная избранья,
Ты избрана; скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой.

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели.

И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сеч.
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи сталь крепкой Божьей дланью,
Рази мечом — то Божий меч!

А. Хомяков

5 сентября

Берега Волги более и более изменяются, принимают вид однообразный и суровый. Плоские возвышенности правого берега покрыты лесом, большею частию дубовым. Кое-где изредка блестят белые стволы берез и серые матовые стволы осины. Древесный лист заметно желтеет. Температура воздуха изменяется, холодеет. Как бы она меня не захватила врасплох. Сегодня был первый утренник. Ноги прозябли. Нужно будет в Самаре купить коты и дубленый полушубок. Ничего не читаю и не рисую. Рисовать не дает машина своим неугомонным шумом и трепетанием, а читать — ненаглядные берега Волги. Во сне видел церковь Святыя Анны в Вильне³³⁶ и в этой церкви молящуюся милую Дуню, чернобровую Гусиковскую³³⁷. Это, верно, вследствие чтения «Королевы Варвары Радзивилл». Г. Попов историк нового и прекрасного стиля. Он, кажется, ученик Соловьева³³⁸. Нужно будет прочитать его в «Русском вестнике» «Турецкую войну при царе Федоре Алексеевиче»³³⁹. Мне теперь много нужно прочитать. Я совершенно отстал от новой литературы. Как хороши «Губернские очерки», в том числе и «Мавра Кузьмовна» Салтыкова³⁴⁰, и как превосходно их читает Панченко (домашний медик Сапожникова)³⁴¹, без тени декламации. Мне кажется, что подобные, глубоко грустные произведения иначе и читать не должно. Монотонное, однообразное чтение сильнее, рельефнее рисует этих бездушных, холодных, этих отвратительных гарпий. Я благоговею перед Салтыковым. О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостью возрадовалася бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние мои! Пишите, подайте

голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного бессловесного смерда!

6 сентября

В 10 часов утра «Князь Пожарский» бросил якорь у набережной города Самары³⁴². Издали эта первой гильдии отроковица весьма и даже весьма неживописна. Я вышел на берег и пошел взглянуть поближе на эту чопорную юную купчиху и купить коты. На улице попался мне И. Явленский, и мы сообща пустились созерцать город. Ровный, гладкий, набеленный, нафабранный, до тошноты однообразный город. Живой представитель царствования неудобозабываемого Николая Тормоза.

Как из любопытства, так и вследствие вопиющего аппетита — это случилось часу около второго — мы велели извозчику ехать к самому лучшему трактиру в городе; он и поехал и привез нас к самому лучшему заведению, т. е. трактиру. Едва вступили мы на лестницу сего заведения, как оба в один голос проговорили: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»³⁴³ — т. е. салом, гарью и всевозможной мерзостью. У нас, однако ж, хватило храбрости заказать себе котлеты, но, увы, не хватило терпения дожидаться этих бесконечных котлет. Явленский бросил половому полтинник, ругнул маненько, на что тот молча с улыбкою поклонился, и мы вышли из заведения. Огромнейшая хлебная пристань на Волге, приволжский Новый Орлеан!³⁴⁴ И нет порядочного трактира. О Русь!

После мнимого завтрака мы поехали в лавки. В лавках, даже в лавочках не оказалось такого товару, какой мне был необходим (коты), и мы отправились на пароход.

В капитанской каюте на полу увидел я измятый листок старого знакомого «Русского инвалида», поднял его и от нечего делать принялся читать фельетон. Там говорилось о китайских инсургентах³⁴⁵ и о том, какую речь произнес Гонг, предводитель инсургентов, перед штурмом Нанкина³⁴⁶. Речь начинается так: «Бог идет с нами. Что же смогут против нас демоны? Мандарины эти — жирный убойный скот, годный только в жертву нашему небесному отцу, высочайшему владыке, единому истинному богу». Скоро ли во всеуслышание можно будет сказать про русских бояр то же самое?

В Самаре живет богатый купец Светов. Глава секты молочанов³⁴⁷. Правительство (кроткими мерами) заставляло

его принять православие, но он, несмотря на кроткие меры, решительно отказался от православия и изъявил желание принять кальвинизм³⁴⁸. На что, однако ж, правительство не изъявило своего желания и оставило его в покое, запретив ему и его секте торговать (одна из кротких мер)³⁴⁹.

7 сентября

В 10 часов утра при свежем норде с дождем и снегом мы оставили Самару. От Самары вверх начинает подыматься левый берег Волги; это плоская возвышенность Жигулевских гор³⁵⁰. Через два часа мы подошли к воротам Жигулевских гор. Это ущелье, сузившее Волгу до одной версты; за горами, как за рамой, открылась нам новая, доселе не виданная панорама, испятнанная темно-синими полосами. Это — обитатель севера, сосновый лес. На первый план этой панорамы из-за ущелья, поросшего черным лесом, высунулась обнаженная отдельная гора. Это Царев курган³⁵¹; народное предание говорит, что Петр Первый, путешествуя по Волге, оставался на этом месте и всходил на эту гору, вследствие чего она и получила название Царева кургана.

Гора эта своею формою и величиною напомнила мне такую же гору близ Звенигородки, Киевской губернии, в селе Гудзивци³⁵². И Гудзивскую гору, быть может, какой-нибудь помазанник-пройдоха освятил своим восшествием, но земляки мои как-то тупо сохраняют в своей памяти подобные освящения. Они (земляки мои) чуть ли не догадываются, что если царь взойдет на такую гору, то, верно, не даром, а уповательно для того, чтобы несатым оком окинуть окрестность, на которой (если он полководец) сколько в один прием можно убить верноподданных. А если он, Боже сохрани, агроном, то это еще хуже, особенно если окрестность окажется бесплодною, то он высочайше повелит ее сделать плодоносною, и тогда потом и кровью крепостного утучнится бесплодный солончак. Земляки мои, верно, не без причины, не освящают своей памятью подобных урочищ.

Не мог я дознаться, на каком народном предании основываясь, покойный князь Воронцов³⁵³ назвал в своих Мошнях³⁵⁴ гору обыкновенную Святославою горою, с которой будто бы этот пьяный варяг-разбойник любовался на свою шайку, пенившую святой Днепр своими разбойничьими ладьями. Я думаю, это просто фантазия сиятельной башки, и ничего больше. Сиятельному англоману просто пожела-

лося украсить свой великолепный парк башнею вроде маяка, вот он и сочинил народное предание, приноровив его к местности, и аляповатую свою башню назвал башнею Святослава³⁵⁵. А Михайло Грабовский³⁵⁶ (не в осуд будь сказано) чуть-чуть было документально не доказал народного предания о Святославовой горе.

Капитан наш, спасибо ему, догадался сегодня из своей каюты-ажур сделать посредством кошом каюту-темницу и учредил в ней чугунную печь, и я теперь буквально нахожусь в теплых объятиях друга.

Вот тебе и волжские комары, которых я так боялся.

8 сентября

Утро ясное, тихое, с морозцем. Левый берег Волги от самого Царева кургана заметно понижается, и сегодня рано я его увидел таким точно, как и до Самары: ровный, плоский, однообразный. Правый берег по-прежнему угрюмо возвышен и покрыт мелким лесом. Если бы и можно было рисовать, то совершенно рисовать нечего, кроме разве огромной расшивы³⁵⁷, стоящей на якоре посредине Волги, как на зеркале.

Я рассчитывал, что казенные смотровые сапоги послужат мне, по крайней мере, до Москвы, а они и до Симбирска³⁵⁸ не дотянули, изменили, проклятые, то бишь казенные. Иван Никифорович Явленский заметил этот ущерб в моем весьма нещегоольском костюме и предложил мне свои сапоги из числа запасных, за что я ему сердечно благодарен. Сапоги его пришлись мне по ноге, и я теперь щеголяю почти в новых сапогах, вдобавок на высоких каблуках, что мне не совсем нравится, но дареному коню в зубы не смотрят.

9 сентября

Симбирск-от видишь,

А неделю идешь.

Бурлацкая поговорка

С восходом солнца далеко, на пологой возвышенности, упирающейся в Волгу, показался Симбирск, т. е. несколько белых пятнышек неопределенной формы. Матрос вахтенный, указывая мне на беленькие пятнышки, проговорил бурлацкую поговорку, которую я тут же и записал. От Сенгиля³⁵⁹ до Симбирска 50 верст, и это пространство мы прошли не в продолжение недели, но в продолжение битых

десяти часов. «Князь Пожарский» сегодня как-то особенно медленно двигался вперед. А может быть, мне это так показалось, потому что Симбирск не сходил с горизонта, в котором мне хотелось побывать засветло, взглянуть на монумент Карамзина³⁶⁰. Симбирск же, вместо того чтобы приблизиться ко мне, он — увы! — совершенно скрылся за непроницаемой завесой, сотканной из дождя и снега. Мерзость эта усиливалась, вечер быстро близился, и я терял надежду видеть на месте, видеть музу истории, которую я видел только в глине в мастерской незабвенного Ставассера³⁶¹. Чего я боялся, то и случилось. Едва к пяти часам «Князь» положил свой якорь у какой-то досчатой пристани, прочая декорация была закрыта дождем с снегом. Несмотря на все это, я решился выйти на берег. Черноземная, моя родная грязь по колена, и ни одного извозчика. Промочивши в луже и грязи ноги, я возвратился, нельзя сказать — благополучно, на пароход.

Другой раз я проезжаю мимо Симбирска, и другой раз не удастся видеть мне монумент придворного историографа. Первый раз в 1847 меня провез фельдъегерь мимо Симбирска. Тогда было не до монумента Карамзина. Тогда я едва успел пообедать в какой-то харчевне, или, вернее сказать, в кабаке. Во мне была (как я после узнал) экстренная надобность в Оренбурге, и потому-то фельдъегерь неудобозабываемого Тормоза не дремал. Он меня из Питера на осьмье сутки поставил в Оренбург, убивши только одну почтовую лошадь на всем пространстве. Теперь же, в 1857 году, вместо экстренности, ночь и с такими отвратительными вариациями, что глупо бы и думать о монументе Карамзина.

По случаю двадцатиоднолетней супружеской жизни Катерины Никифоровны Козаченко за завтраком побороли мы двух великанов, под именем пироги, с разными удивительными внутренностями, и по этому-то необыкновенному случаю обедали поздно, ровно в 7 часов, и ровно в 7 часов положил рядом с «Князем» якорь пароход «Сусанин». Капитан «Сусанина» Яков Осипович Возницын³⁶² был приглашен самим хозяином к обеду. По случаю неудачи видеть Симбирск и монумент Карамзина у меня родился и быстро вырос великолепный проект: за обедом напиться пьяным. Но, увы, этот великолепный проект удался только вполовину.

После обеда зашли мы в капитанскую светелку (так называют волжские плаватели (матросы) напалубную капитанскую каюту) и принялись за чай. Между прочими ин-

тересными разговорами за чаем Возницын сказал, что он после закрытия волжской навигации едет в свое поместье (Тверской губернии) по случаю освобождения крепостных крестьян. Он хотя и либерал, но, как сам помещик, проговорил эту великолепную новость весьма не с удовольствием. Заметь сие филантропическое чувство в помещике Тверской губернии, я почел лишним завести разговор с помещиком о столь щекотливом для него предмете. И не разделив восторга, пробужденного этой великой новостью, я закутался в свой чапан и заснул сном праведника.

В 6 часов приходил к капитану нашему некий герр Ренненкампф, агент компании фирмы «Меркурий»³⁶³. Пошлая, лакейско-немецкая физиономия, и ничего больше! А между прочим, эта придворно-лакейская физиономия принадлежит статскому советнику и председателю какой-то палаты, чуть ли не казенной!

10 сентября

Вчерашний мой великолепный, вполовину удавшийся проект сегодня, — и то уже, слава Богу, только вечером, — удался, и удался с мельчайшими подробностями, с головной болью и прочим тому подобным.

11 сентября

Так как от глумления пьянственного у Тараса колеблется десница и просяй шуйцу — но и она в твердости своей поколебася (тож от глумления того ж пагубного пьянства), вследствие чего из сострадания и любви к немощному приемлю труд описать день, исчезающий из памяти ослабевающей, дабы оный был неким предречением таковых же будущих и столпом якобы мудрости (пропадающим во мраке для человечества — не быв изречено литератами), мудрости, говорю, прошедшего; историк вещает одну истину, и вот она сицевая:

Борясь со страстями обуревающими — и по совету великого наставника — «не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, блажен убо»³⁶⁴ — и совлекая ветхого человека — Тарас имк, вооружася духом смирения, и удаливыйся во мрак думы своя — ретива-бо есть за человечество — во един вечер, — был причастен уже крещению духом по смыслу Св. Писания «окрестивыйся водою и духом — спасен будет»³⁶⁵, вкусив по первому крещению водою (в зловонии

же и омерзении непотребного человечества — водкою сугубо прозываемое) — был оный Тарас зело подходящ по духу св. Еванг. — пропитан бе зело; не остановился на полупути спасения, глаголивый «Елицы во Христа крестистися — во Христа облекостеса»³⁶⁶. Не возможивый — по тлению и немощи телесне — достичи сего крайнего предела идеже ангелы уподобляются. — Тарас зашел таки далеко уподобясь — тому богоприятному состоянию — коим не все сыны божи на граждаются — иже на языке — порока и лжи тлетворной — мухою зовется. И бе свиреп в сем положении — не давая сомкнуть мне зеницы в ночи — часа одного — и вещая неподобные изреки — греховному миру сему — изрыгая ему проклятия — выступая с постели своей бос и в едином рубище — яко Моисей преобразенный, иже бе писан рукою Брюно, выступающим с облак к повергшемуся во прах израильтянину, жертвоприносящему тельцу злату. В той веси был человек некий — сего излияния убояхуся — шубкой закрыся — и тут же яко мельчайший инфузорий легким сном забывся. — Тут следует пробел — ибо Тарас имел свидетелем своего величия и торжества немудрого некоего мужа — мала, неразумна и на языке того же злоречия кочегаром зовомого, кой бе тих и тупомыслен на дифирамбы невозмутимого Тараса. — В. Кишкин.

Р. С. Далее не жди тож от Тараса, о! бедное, им любимое человечество! никакого толку, и большого величия, и мудрого слова, ибо опохмелившийся, яко некий аристократ (по писанию крестивыйся водкою); опохмеление не малое и деликатности не последней водка вишневая счетом пять (а он говорит 4, нехай так буде), при оной цыбуль и соленых огурцов велие множество.

12 сентября

Погода отвратительная. «Князь Пожарский» и «Сусанин» положили на ночь якорь в Спасском затоне. Это зимняя стоянка пароходов Меркуриевской компании. Здесь устроены мастерские, квартиры для капитанов, помещение для мастеровых, школа и кабак. Местность прекрасная, окруженная молодыми дубовыми рощами, и, несмотря на холодную погоду, в рощах сохранилась свежая зелень и некоторые цветы, из которых я набрал маленький букет и, как истинный Терсис Посошков³⁶⁷, преподнес его милейшей баронессе Медем³⁶⁸, одной из пассажирок «Князя Пожарского» и жене

одного из капитанов Меркуриевской компании. Милая, привлекательная женщина.

Утро ясное с морозом до пяти градусов. К двенадцати часам дня погода по-вчерашнему изменилась в перемежающийся дождь с снегом. «Князь Пожарский» благополучно перешел Красновидовский переказ (мели)³⁶⁹ и в одиннадцать часов вечера положил якорь в десяти верстах от Казани³⁷⁰.

13 сентября

Казань городок —
Москвы уголок.

Эту поговорку слышал я в первый раз в 1847 году на почтовой станции в Симбирской губернии, когда препровождался я на фельдъегере в Оренбург. Какой-то упитанный симбирский степняк, описывая моему препроводителю великолепие города Казани, замкнул свое описание этою ловкою поговоркою. Сегодня поутру увидел я издали Казань, и давно слышанная поговорка сама собою вспомнилась и невольно проговорилась. Едва пароход успел положить якорь, как я выскочил на берег, поместился за четвертак в татарской тележке и пустился в город. Как издали, так и вблизи, так и внутри Казань чрезвычайно живо напоминает собою уголок Москвы: начиная с церковей, колоколен до саек и калачей, — везде, на каждом шагу, видишь влияние белокаменной Москвы. Даже башня Сумбеки³⁷¹, несомненный памятник времен татарских, показалась мне единоутробною сестрою Сухаревой башни³⁷². Большая улица (конечно, Московская), ведущая в кремль, смахивает на Невский проспект своею чопорностью и торцовой мостовою. Улица эта начинается великолепным зданием университета, украшенного грандиозными тремя ионическими портиками. Жаль, что этому прекрасному зданию недостает площади. Оно бы много выиграло, и монумент певца Екатерины не красовался бы на дворе в миниатюрном палисаднике, меланхолически созерцаемый рудою коровою³⁷³.

Полюбовавшись вместе с рудою коровою статуею сплетателя торжественных од и иной гнусной лести, я, проходя через двор, встретил студента с порядочно синим подбородком, по чему и заключил, что он не новичок в здешней аудитории. На этом основании я обратился к нему с вопросом, не помнит ли он Посяду³⁷⁴ и Андрузского³⁷⁵, переведенных

в 1847 году из Киевского университета в Казанский. Он сказал, что не помнит, и советовал мне обратиться к старому сторожу Игнатьеву. Я вежливо поблагодарил его за наставление, но, не находя нужным применить к делу это милое наставление, я вышел на улицу. Выйдя на улицу, я услышал глухой шум барабана и увидел густую толпу народа, провожавшего на казнь преступника. Чтобы не встретить эту гнусную процессию, я своротил в переулок, и в числе бегущих смотреть эту процессию я увидел молодую девушку с шарманкою за плечами и ободранного мальчика с тамбурином в руках. Мне сделалось не грустно, а как-то особенно скверно, и я опять взял за четвертак татарскую тележку и возвратился на пароход.

Возвращаясь на пароход, я увидел в правой стороне от дороги памятник, воздвигнутый над костями убитых при взятии Казани царем Иваном Лютым. Это усеченная пирамида с портиками, поставленная будто бы на том самом месте, где стоял шатер царя Лютото. Печальный памятник.

14 сентября

По случаю принятия нового груза пароход наш простоял до 11 часов утра у казанского берега. Пользуясь этим редким случаем и хотя пасмурною, но не мокрою погодою, я вышел на берег, и сделал два абриса: общий вид Казани и вид на Волгу против Казани и села Услон³⁷⁶. Возвращаясь на пароход, купил я у смазливой перекупки соленого отваренного ляща. И, придя на пароход, задал себе настоящий плебейский пир. Кроме ляща и новопетровской ветчины, заключил я свой пир головкой чесноку с черным хлебом и провонял не только капитанскую светелку, — всего «Князя Пожарского». Сопутники мои бегали от меня, как черт от ладану. Одна только милая хозяйка и добрейшая ее мамаша Катерина Никифоровна Козаченко нашли, что чеснок хотя и воняет, но не так несносно, чтобы при встрече со мною необходимо было закрывать нос, и еще более, чтобы доказать им, господам, не любящим чесноку, что чеснок вещь не только не противная, но даже приятная, обещались заказать обед с чесноком и обкормить хулителей. Милейшая Катерина Никифоровна.

Против города Свияжска³⁷⁷ прошли благополучно Васильевский пережат (мель)³⁷⁸ и встретили пароход «Адашев» Меркуриевской же компании. Он буксирует две баржи с дровами и одну из них посадил на мель. «Князь Пожарский» попытался было стащить ее с мели, но безуспешно и,

пройдя несколько верст вперед, положил якорь на ночь, из опасения сесть на Вязовском перекате. Выше устья Камы Волга заметно сделалась уже и мельче.

15 сентября

Проспал я ровно до девяти часов утра. Надо думать, что это случилось со мною под глухой шум «Князя Пожарского», потому что со мною этого прежде не случалось, ни даже под нетрезвую руку. Это на диво долгое спание заключилось отвратительным сновидением. Будто бы Дубельт³⁷⁹ с своими помощниками (Попов³⁸⁰ и Дестрем³⁸¹) в своем уютном кабинете перед пылающим камином меня тщетно навращал на путь истинный, грозил пыткой и в заключение плюнул и назвал меня извергом рода человеческого. Едва успел он произнести этот милый эпитет, как явился в полном мундире капитан Косарев и сделал мне почти палочный выговор за то, что я опоздал на учение. Тем и кончилось это позорное сновидение. Меня разбудил гром падающего якоря, т. е. цепи, перед Ураковским перекатом.

Пользуясь сей непродолжительной стоянкой и продолжительным тихим переходом через сей Ураковский перекат, я нарисовал белым и черным карандашом, довольно удачно, портрет Михайла Петровича Комаровского³⁸², будущего капитана будущего парохода А. Сапожникова, за то, что он подарил мне свои бархатные теплые сапоги.

В 10 часов вечера «Князь Пожарский» положил якорь перед Гремячевским перекатом.

За ужином Нина Александровна наивно рассказывала содержание «Дон-Жуана» Байрона, который она прочитала на днях в французском переводе. И еще милее и наивнее просила своего мужа учить ее английскому языку.

16 сентября

СОБАЧИЙ ПИР

(Из Барбье)

Когда взошла заря и страшный день багровый,
Народный день настал;
Когда гудел набат и крупный дождь свинцовый
По улицам хлестал;

Когда Париж взревел, когда народ воспрянул
И малый стал велик;
Когда, в ответ на гул старинных пушек, грянул
Свободы звучный клик!
Конечно, не было там видно ловко сшитых
Мундиров наших дней;
Там действовал напор лохмотьями прикрытых
Запачканных людей,
Чернь грязною рукой там ружья заряжала,
И закопченным ртом
В пороховом дыму там сволочь восклицала:
«Е[...]м[...], умрем!»

А эти баловни в натянутых перчатках,
С батистовым бельем,
Женоподобные, в корсетах на подкладках,
Там были ль под ружьем?
Нет! Их там не было, когда, все низвергая
И сквозь картечь стремясь,
Та чернь великая и сволочь та святая
К бессмертию неслась!
А те господчики, боясь громов и блеску
И слыша грозный рев,
Дрожали где-нибудь вдали за занавеской,
На корточки присев!

Их не было в виду, их не было в помине
При общей свалке там.
Затем, что, видите ль, свобода не графиня,
И не из модных дам,
Которая, нося на истощенном лике
Румян карминных слой,
Готова в обморок при первом падать крике,
Под первую пальбой.
Свобода — женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке.

17 сентября

Вчера мне ничто не удалось. Поутру начал рисовать портрет Е. А. Панченка, домашнего медика А. Сапожникова. Не успел сделать контуры, как позвали завтракать. После завтрака пошел я в капитанскую светелку с твердым наме-

рением продолжать начатый портрет, как начал открываться из-за горы город Чебоксары³⁸³. Ничтожный, но картинный городок. Если не больше, то, по крайней мере, наполовину будет в нем домов и церквей. И все старинно-московской архитектуры. Для кого и для чего они построены? Для чувашей? Нет, для православия. Главный узел московской старой внутренней политики — православие. Неудобозабываемый Тормоз по глупости своей хотел затянуть этот ослабевший узел и перетянул. Он теперь на одном волоске держится.

Когда скрылися от нас живописные грязные Чебоксары, я снова принялся за портрет. Но принялся вяло, неохотно. Принялся для того, чтобы его кончить, и кончил, разумеется, скверно.

От этой первой неудачи я с досады лег спать и проспал прекрасный вид села Ильинского. Вечеру, когда «Князь Пожарский» положил на ночь якорь и все успокоилось, я, чтобы хоть чем-нибудь вознаградить две неудачи, принялся переписывать «Собачий пир», как вошел в светелку А. Сапожников с Кишкиным и Панченко, и ни с сего ни с того составилась у нас литературный вечер. Капитан наш вытащил из-под спуда «Полярную звезду» 1824 года и прекрасно прочитал нам отрывки из поэмы «Наливайко», а Сапожников — отрывки из поэмы «Войнаровский»³⁸⁴. Потом Александр Александрович пригласил нас ужинать. И как это случилось в 12 часов, то за ужином оказалась именинница, а именно, бабушка Любовь Григорьевна Явленская³⁸⁵. Поздравили, и не один, и не два, а три раза поздравили. Потом начали отсутствующих именинниц поздравлять, и я таки порядком напоздравлялся.

Несмотря на последнее вчерашнее событие, я сегодня проснулся рано и, как ни в чем не бывало, принялся за свой журнал и, пока братия еще в объятиях Морфея, буду продолжать «Собачий пир» до новой перепойки.

С зажженным фитилем, приложенным к орудию,
В дымящейся руке!

Свобода — женщина с широким гордым шагом,
Со взором огневым

Под гордо вьющимся по ветру красным флагом,
Под дымом боевым;

И голос у нее не женственный сопрано,
Но жерл чугунный ряд,

Ни медь (звон) колоколов, ни палка барабана
Его не заглушат!
Свобода — женщина, но в сладострастье щедром,
Избранникам своим верна,
Могучих лишь одних к своим приемлет недрам
Могучая жена.
Ей нравится плебей, окрепнувший в проклятьях,
А не гнилая знать.
И в свежей кровию дымящихся объятых
Ей любо трепетать.

Когда-то ярая, как бешеная дева,
Явилась вдруг она,
Готовая дать плод от девственного чрева,
Грядущая жена.
И гордо вдаль она, при кликах иступленья,
Свой совершая ход,
И целые пять лет горячкой вождельня
Сжигала свой народ!
А после кинулась вдруг к палкам, к барабану.
И маркитанткой в стан
К двадцатилетнему явилась капитану:
«Здорово, капитан!»
Да, — это все она! Она с отрадной речью
Являлась нам в стенах,
Избитых ядрами, испятнанных картечью, —
С улыбкой на устах;
Она! Огонь в глазах, в ланитах жизни краска,
Дыханье горячо,
Лохмотья, нищета, трехцветная повязка
Чрез голое плечо!
Она! В трехдневный срок французов жребий вынут!
Она! Венец долой!
Измята армия, трон скомкан, опрокинут
Кремнем из мостовой!

И что же? О позор! Париж, столь благородный
В кипенье гневных сил,
Париж, где некогда великий вихрь народный
Власть львиную сломил, —
Париж, который весь гробницами уставлен
Величий всех времен!

Париж, где камень стен пальбою продырявлен,
Как рубище знамен!
Париж — отъявленный сын хартий, прокламаций,
От головы до ног
Обвитый лаврами, апостол в деле наций,
Народов полубог!
Париж, что некогда, как светлый купол храма
Всемирного, блистал,
Стал ныне скопищем нечистоты и срама,
Помойной ямой стал.
Вертепом подлых душ, мест ищущих в лакеи
Паркетных шаркунов,
Просящих нищенски для рабской их ливреи
Мишурных галунов;
Бродяг, которые рвут Францию на части
И сквозь плевки, толчки,
Визжа, зубами рвут издохшей тронной власти
Кровавые клочки!

Так вепрь израненный, сраженный смертным боем,
Чуть дышит в злой тоске
Покрытый язвами, палимый солнца зноем,
Простертый на песке;
Кровавые глаза померкли; обессилен
Могучий зверь. Поник,
Отверстый зев его шипучей пеной взмылен
И высунут язык...
Вдруг рог охотничий пустынного простора
Всю площадь огласил.
И спущенных собак неистовая свора
Со всех рванулась сил!
Завыли, жадные! Последний пес дворовый
Оскалил острый зуб
И с визгом кинулся на пир ему готовый,
На неподвижный труп!
Борзые, гончие, лягавые, бульдоги;
«Пойдем! — и все пошли: —
Нет вепря-короля! Возвеселитесь, боги!
Собаки короли!
Пойдем! Свободны мы! Нас не удержат сетью,
Веревкой не скрутят!

Суровый сторож нас не приударит плетью,
Не крикнет: «Пес, назад!»
За те щелчки, толчки хоть мертвому отплатим!
Коль не в кровавый сок
Запустим морду мы, так падали ухватим
Хоть нищенский кусок!
Пойдем!» И начали из всей собачьей злости
Трудиться что есть сил;
Тот пес щетины клочок, а тот кровавой кости
Обгрызок ухватил,
И рад бежать домой, вертя хвостом мохнатым,
Чадолубивый пес,
Ревнивой суке в дар и в корм своим щенятам
Хоть что-нибудь принес.
И, бросив из своей окровавленной пасти
Добычу, говорит:
«Вот, ешьте! Эта кость — урывок царской власти!
Пируйте! Вепрь убит».

Бенедиктов

18 сентября

Вчера праздновали именины милейшей бабушки Любовь Григорьевны Явленской. Сегодня празднуем день рождения ее милейшего внука А. А. Сапожникова. А пока еще не грозит завтрак, то я по-вчерашнему воспользуюсь безмятежным утром и перепишу еще одно стихотворение из заветной портфели нашего обязательнейшего капитана.

РУССКОМУ НАРОДУ³⁸⁶

1854 года

«Меня поставил Бог над русскою землею, —
Сказал нам русский царь. —
Во имя Божие склонитесь предо мною,
Мой трон — Его алтарь!
Для русских не нужны заботы гражданина,
Я думаю за вас!
Усните. Сторожит глаз царский властелина
Россию всякий час.
Мой ум вас сторожит от чуждых нападений,
От внутреннего зла,

Пусть наша жизнь течет вдали забот в смиренье
Спокойна и светла!

Советы не нужны помазаннику Бога:

Мне Бог дает совет.

Гордитесь, русские, быть царскими рабами.

Закон ваш — мысль моя!

Отечество вам — флаг над гордыми дворцами,

Россия — это я».

Мы долго верили, в грязи восточной лени

И мелкой суеты,

Покорно целовал ряд русских поколений

Прах царственной пяты.

Бездействие ума над нами тяготело.

За грудями бумаг,

За перепискою мы забывали дело

В присутственных местах.

В защиту воровства, в защиту нераденьея

Мы ставили закон;

Под буквою скрывались преступления,

Но пункт был соблюден;

Своим директорам, министрам мы служили,

Россию позабыв,

Пред ними ползали, чинов у них просили,

Крестов наперерыв.

И стало воровство нам делом обыденным,

Кто мог схватить, тот брал,

И тот меж нами был всех более почтенный,

Кто более украл.

Развод определял познание генерала —

Глуп он или умен,

Церемониальный марш и выправка решала,

Чего достоин он.

Бригадный командир был лучший губернатор,

Отличный инженер, правдивейший сенатор,

Честнейший человек;

Начальник, низшие права не признавая,

Был деспот, полубог;

Бессмысленный сатрап был царский бич для края,

Губил, вредил, где мог;

Стал конюх цензором, шут царский — адмиралом,

Клейнмихель графом стал!³⁸⁷

Россия отдана в аренду обиралам...
Что ж русский? Русский спал...
Кряхтя, нес мужичок, как прежде, господину
Прадедовский оброк, —
Кряхтя, помещик нес вторую половину
Именья в залог,
Кряхтя, по-прежнему дань русские платили
Подьячьим и властям,
Качали головой, шептались, говорили,
Что это стыд и срам,
Что правды нет в суде, что тратят миллионы —
России кровь и пот —

На путешествия, киоски, павильоны,
Что плохо все идет.
Потом за ералаш садились по полтине,
Косясь по сторонам;
Рашели³⁸⁸ хлопали, бранили Фреццолини³⁸⁹,
Лорнировали³⁹⁰ дам
И низко кланялись продажному вельможе
Отечества сыны!
Иль удалялись в глушь прадедовских имений
В бездействии жиреть,
Мечтать о пироге, беседовать о сене,
Животным умереть.
А если кто-нибудь, средь общей летаргии
Мечтою увлечен,
Их призывал на брань за правду и Россию, —

Как был, бедняк, смешон!
Как ловко над его безумьем издевался
Чиновный фарисей;
Как быстро от него, бледнея, отрекался
Вчерашний круг друзей!
И под анафемой общественного мненья,
Средь смрада рудников
Он узнавал, что грех прервать оцепененья
Тяжелый сон рабов.
И он был позабыт; порой лишь о безумце
Шептали здесь и там:
«Быть может, он и прав... да, жалко вольнодумца,
Но что за дело нам?»

Спасибо Ивану Никифоровичу Явленскому за то, что он отказался от завтрака и помог мне кончить превосходную прелюдию к превосходнейшему стихотворению, которое я, если Бог поможет, перепишу завтра.

19 сентября

Не хвалися, идучи на рать,
А хвалися, идучи с рати.

Вчера вечером путешественники и путешественницы сыграли по последней пульке преферанса в кают-компани «Князя Пожарского», рассчитались и расплатились до денежки за все пульки, сыгранные в продолжение рейса, т. е. от 22 августа. Покончивши эту статью, сели за ужин, приготовленный из последней провизии. Поужинали, разумеется, в последний раз в кают-компани. Выпили последний херес, мадеру и, кажется, шампанское, составили проект завтрашнего обеда в Нижнем Новгороде и разошлись спать. Хорошо. С рассветом «Князь Пожарский» поднял якорь, свистнул, фыркнул и весело захлопал своими огромными колесами. Хорошо. Берега быстро меняют свои контуры. Пролетаем мимо красивого по местоположению села Зименки помещика Дадьянова и замечательного по следующему происшествию. Прошедшего лета, когда поспело жито и пшеница, мужичков выгнали жать, а они, чтобы покончить барщину за один раз, зажгли его со всех концов при благополучном ветре³⁹¹. Жаль, что яровое не поспело, а то и его бы за один раз покончили бы. Отрадное происшествие. Так вот, летим мы во весь дух мимо этого замечательного села. Как вдруг левое колесо перестало вертеться и из «Князя Пожарского»-дельфина сделалась черепаха.

— Что случилось? — раздался общий голос.

— Ш а т у н лопнул! — раздался в ответ одинокий голос машиниста.

Я смекнул, что прежде вечера мы не будем в Нижнем Новгороде, т. е. прежде вечера не будем обедать; смекнувши делом, я пошел в капитанскую светелку, выпил добрую чару лимонки, закусил остатком новопетровской ветчины, взял какую-то газету, лег да и заснул себе с Богом. Просыпаюсь, а наш «Князь Пожарский» стоит себе, тоже с Богом, на Телячьем броде. Собачий брод кое-как переполз, а Телячий неумоготу стало. Что делать? Паузиться, т. е. перегружаться.

Пауза эта длится до сих пор, т. е. до первого часу ночи. А путешественницы и путешественники пробавляются натошак в ералаш³⁹² в ожидании нижегородского обеда.

20 сентября

Пауза продолжалась за полночь. С рассветом «Князь Пожарский» поднял якорь и, как подстреленный орел, захлопал одним колесом своим. Взошло солнце и осветило очаровательные окрестности Нижнего Новаграда. Я хотел было хоть что-нибудь начертить, но, увы, дрожание палубы при одном колесе еще ощутительнее, а серые сырые тучки не замедлили закрыть животворящее светило и задернуть прозрачным серым туманом живую декорацию. Декорация от тумана сделалась еще очаровательнее, но рисовать ее решительно невозможно; тучки небесные, вечные странницы³⁹³, пустили из себя такую мерзость, что я укрылся в капитанскую светелку и принялся за свои чувалы (торбы).

В одиннадцать часов утра «Князь Пожарский» положил якорь против Нижнего Новаграда. Тучки разошлись, и солнышко приветливо осветило город и его прекрасные окрестности. Я вышел на берег и без помощи извозчика, мимо красавицы 17 столетия, церкви Св. Георгия³⁹⁴, поднялся на гору. Зашел в гимназию к Бобржицкому³⁹⁵, бывшему студенту Киевского университета; не нашел его дома, я пошел в кремль. Новый собор — отвратительное здание. Это огромная квадратная ступа с пятью короткими толкачами³⁹⁶. Неужели это дело рук Константина Тона?³⁹⁷ Невероятно. Скорее это произведение самого неудобозабываемого Тормоза. Далее. Приношение благодарного потомства гражданину Минину и кн. Пожарскому³⁹⁸. Копеечное, позорящее неблагодарное потомство — приношение! Утешительно, что этот грошовый обелиск уже переломился.

Из кремля зашел я опять к Бобржицкому и опять не застал его дома. Из гимназии пошел я искать в Покровской улице³⁹⁹ дом Сверчкова⁴⁰⁰, квартиру А. А. Сапожникова. Нашел. И только что успел поздравить с временным новосельем хозяйку, хозяина и вообще сопутниц и сопутников, как является Николай Александрович Брылкин (главный управляющий компании пароходства «Меркурий»)⁴⁰¹ и по секрету от других объявляет сначала хозяйку, а потом мне, что он имеет особенное предписание полицеймейстера дать знать ему о моем прибытии в город. Я хотя и тертый калач, но такая неожи-

данность меня сконфузила. Позавтракавши кое-как, я отправился на пароход, поблагодарил моего доброго друга капитана за его обязательности, взял свой паспорт и передал его вместе с вещами Н. А. Брылкину. Успокоившись немного, я в третий раз пошел к Бобржицкому и на сей раз нашел его дома с широко распростертыми объятиями. В 8 часов вечера я отправился к Н. А. Брылкину, провел у него часа два времени в дружеской беседе, взял у него для прочтения «Голоса из России», лондонское издание⁴⁰², и отправился к Павлу Абрамовичу Овсянникову⁴⁰³, на мою временную квартиру.

21 сентября

Добрые мои новые друзья, Н. А. Брылкин и П. А. Овсянников, посоветовали мне прикинуться больным, во избежание путешествия, пожалуй по этапам, в Оренбург, за получением указа об отставке. Я рассудил, что не грех подлость отратить лицемерием, и притворился больным. До первого часу лежал, читал «Голоса из России» и дожидал медика и полицеймейстера. А в первом часу махнул рукою и отправился к Сапожниковым. После обеда проводил моих добрых, милых спутников и спутниц до почтовой конторы и простился с ними. Они в почтовых каретах отправились в Москву. Когда увижусь я с вами, прекраснейшие люди? Просил Комаровского и Явленского целовать в Москве моего старого друга М. С. Щепкина, а Сапожникова просил в Петербурге целовать мою святую заступницу графиню Н. И. Толстую. Вот тебе и Москва! Вот тебе и Петербург! И театр, и Академия, и Эрмитаж, и сладкие дружеские объятия земляков, друзей моих Лазаревского и Гулака-Артемовского! Проклятие вам, корпусные и прочие командиры, мои мучители безнаказанные! Гнусно! Бесчеловечно! Отвратительно гнусно!

В 7 часов вечера зашел я к Н. А. Брылкину, встретил у него Овсянникова и Кишкина и дружеской откровенной беседой заглушил вопли так внезапно, так гнусно, подло уязвленного сердца. Если бы не эти добрые люди, мне бы пришлось теперь сидеть за решеткой и дожидать указа об отставке или просто броситься в объятия красавицы Волги. Последнее, кажется, было бы легче.

22 сентября

Сегодня, как и вчера, погода дрянь, слякоть и мерзость. На улицу выйти нет возможности. Из-за стены кремля

показывает собор свои безобразные толкачи с реповидными верхушками, и ничего больше не видно из моей квартиры. Скучно. Медика и полицеймейстера по-вчерашнему дождал и, не дождавшись, пошел к Н. А. Брылкину обедать. После обеда, как и до обеда, лежал и читал «Богдана Хмельницкого» Костомарова⁴⁰⁴. Прекрасная книга, вполне изображающая этого гениального бунтовщика. Поучительная, назидательная книга! Историческая литература сильно двинулась вперед в продолжение последнего десятилетия. Она осветила подробности, закопченные дымом фимиама, усердно кадимого перед порфирородными идолами.

23 сентября

Погода постоянно скверная. Я постоянно лежу и читаю «Зиновия Богдана». Прекрасная, современная книга! От нечего делать нарисовал сегодня портрет В. В. Кишкина удовлетворительно. Обедал по обыкновению у Н. А. Брылкина и по обыкновению после обеда читал и спал.

24 сентября

Н. А. Брылкин ездил в Балахну⁴⁰⁵ с мистером Стремом, американским инженером⁴⁰⁶, посмотреть на строящийся там пароход и баржи для компании «Меркурий». От нечего делать и я напросился им сопутствовать. Щегольской, новенький пароход «Лоцман» в полдень поднял якорь и понес нас вверх по Волге. С разными остановками в 5 часов вечера мы наконец остановились у Балахны. Едва успел вскарабкаться на кучу бревен и взглянуть на эту родительницу бесчисленных живописных расшив, как инспектация кончилась, и я пошел к «Лоцману».

Из рассказов я узнал, что Балахна одна из главных верфей на берегах Волги, то же, что на Оке Дедново⁴⁰⁷, где строился голландскими мастерами первый русский корабль «Орел». В десятом часу возвратились в Нижний, пообедали или поужинали и разошлись спать.

25 сентября

Утро было хотя и неясное, — по крайней мере, без ветру и дождя. Воспользовавшись сиею бесцветною погодой, я с крылечка моей квартиры начертил верхушку церкви Св. Георгия. Хоть что-нибудь да делал.

26 сентября

Опять дождь, опять слякоть. Настоящее безвыходное положение. Старинные нижегородские церкви меня просто очаровали. Они так милы, так гармонически пестры, и отвратительная погода не дает мне рисовать их. Я, однако ж, сегодня перехитрил упрямую погоду. Рано поутру пошел в трактир, спросил себе чаю и нарисовал из окна Благовещенский собор⁴⁰⁸. Древнейшая в Нижнем церковь. Нужно будет узнать время ее построения. Но от кого? К пьяным косматым жрецам не хочется мне обращаться, а больше не к кому. Нижний Новгород во многих отношениях интересный город и не имеет печатного указателя. Дико! Потатарски дико!

27 сентября

Проходя мимо церкви Святого Георгия и видя, что двери церкви растворены, я вошел в притвор и в ужасе остановился. Меня поразило какое-то безобразное чудовище, нарисованное на трехаршинной круглой доске. Сначала я подумал, что это индийский Ману или Вишну⁴⁰⁹ заблудил в христианское капище полакомиться ладаном и деревянным маслом. Я хотел войти в самую церковь, как двери растворились и вышла пышно, франтовски разодетая барыня, уже не совсем свежая, и, обратясь к нарисованному чудовищу, три раза набожно и кокетливо перекрестилась и вышла. Лицемерка! Идолопоклонница! И наверное б[...]. И она ли одна? Миллионы подобных ей бессмысленных, извращенных идолопоклонниц. Где же христианки? Где христиане? Где бесплотная идея добра и чистоты? Скорее в кабаке, нежели в этих обезображенных животных капищах. У меня не хватило духу перекреститься и войти в церковь; из притвора я вышел на улицу, и глазам моим представилась по темному фону широкого луга блестящая, грациозно извивающаяся красавица Волга. Я вздохнул свободно, невольно перекрестился и пошел домой.

28 сентября

Нарисовал портрет мамзель Анхен Шауббе. Гувернантка Брылкиных, очень милая молодая немочка, резвая, наивная, настоящий мальчик в юбке.

Прочитал комедию Островского «Доходное место». Не понравилось. Много лишнего, ничего не говорящего.

И вообще аляповато, особенно женщины ненатуральны. В скором времени ее будут давать на здешней сцене. Нужно будет посмотреть.

Перед вечером требовала меня зачем-то полиция, но я не пошел.

29 сентября

Солнце сегодня взошло светло, весело. Я пошел в кремль и начал рисовать соборную колокольню, но руки так озябли, ооченели, что я едва мог сделать общий абрис. Пользуясь улыбкою осеннего дня, я после завтрака отправился к Печерскому монастырю⁴¹⁰ с намерением нарисовать эту живописную обитель. Выбрал точку. Прилег отдохнуть. И, лелеемый теплыми лучами солнца, задремал, и так плотно задремал, что проснулся уже перед закатом солнца. Возвращаясь на квартиру мимо Георгиевского публичного сада, я зашел в сад, встретил много гуляющей публики обоих полов и всех возрастов. Между женщинами, как на подбор, ни одной не только красавицы или хорошенькой, даже сносной не встретил. Уроды и, как кажется, большей частью старые девы! Бедные старые девы!

30 сентября

В ожидании незваного гостя, г. полицеймейстера, я предложил сеанс моему доброму хозяину Павлу Абрамовичу Овсянникову. Портрет был окончен к двум часам довольно удачно, а г. Лапа⁴¹¹ (так прозывается) к нам не жаловал. Погода прекрасная. Я вышел на бульвар. Между прочей публикой встретил я на бульваре детей — три девочки и мальчик. Прехорошенькие и резвые дети. Костюм их показался и странным, и жалким. На девочках были какие-то коротенькие легонькие дырявые мантильки дворянско-немецкого покроя. Ручонки нагие, и почти босиком. На мальчике — поярковая серая шляпа с пером, мантилька такая же, как и на девочках, а башмаки еще хуже. Вообще показались мне они похожими на труппу младенцев-комедиантов. Я дошел с ними до кондитерской, купил им сладких пирожков на полтину и познакомился. Зовут их: Катя (самая бойкая), Надя и Дуня, а мальчика Саней; дети они некоего Арбеньева, театрального музыканта. Значит, я немногим ошибся. На расставанье они просили меня к себе в гости, и я, разумеется, обещал прийти.

Расставшись с детьми, вспомнил я Алексея Панфилыча Панова, крепостного Паганини на «Князе Пожарском». Он зимует в Нижнем и квартирует где-то против архиерейского дома⁴¹². С Георгиевской набережной⁴¹³ пошел я к архиерейскому дому с целью найти квартиру и навестить моего возлюбленного виртуоза. Квартиры виртуоза я, однако ж, не нашел, а мимоходом зашел в архиерейский сад. Это преимущественно липовая роща, обнесенная деревянным забором, посередине которой красуется, вроде казармы, огромное трехэтажное здание (архиерейская келья). Невдалеке от здания, между деревьями, беседка с колоколами, и в другой стороне, также между деревьями, четыре улья, отделаны наподобие надгробных памятников. Везде пусто и уныло, физическая гниль и нравственный застой на всем отражается. Скверно. Придя на квартиру, я на сон грядущий прочитал «Рассказ маркера» графа Толстого⁴¹⁴. Поддельная простота этого рассказа слишком очевидна.

1 октября

Грязь, туман, слякоть и прочая атмосферическая гадость, вследствие чего я предложил сеанс г. Грасу⁴¹⁵, зятю Н. А. Брылкина. Сеанс на половине был прерван приходом г. Лапы и г. Гартвига⁴¹⁶. Первый — бравый и любезный гвардейский полковник и полицеймейстер. Второй — не бравый, но не менее любезный полицейский медик. Оба поляки или литвины, и оба не говорят по-польски. Гартвиг, спасибо ему, без малейшей формальности нашел меня больным какой-то продолжительной болезнью, а обязательный г. Лапа засвидетельствовал действительность этой мнимой болезни, и после взаимных нецеремоний мы расстались. Вследствие этого обязательного визита я представляю себе мое возвращение в Оренбург сомнительным.

С сегодняшнего дня начинаются здесь спектакли, и после обеда Н. А. Брылкин пригласил меня в свою ложу. Давали народную сентиментально-патриотическую драму Потехина «Суд людской — не Божий»⁴¹⁷. Драма — дрянь с подробностями. Г. Мочалова⁴¹⁸, независимо от своей бедной, натянутой роли, мне понравилась. У нее есть движения настоящей артистки. Г. Климовский⁴¹⁹, как и роль его, приторен. Водевиль — «Коломенский нахлебник»⁴²⁰. Водевиль балаганный и исполнен был соответственно своему назначению. Маленький оркестр в антрактах играл

несколько номеров из «Дон-Жуана» Моцарта⁴²¹ прекрасно, может быть, потому что это очаровательное создание трудно сыграть не прекрасно. Зала театра небольшая, но отделана просто и со вкусом. Публика, в особенности женская, замечательно неблестящая и немногочисленна.

2 октября

Утро ясное, тихое, с морозом. Нужно было вчера начатый портрет г. Граса сегодня кончать, и я принялся за работу с тем, чтобы скорее кончить и идти к Печерскому монастырю с целью нарисовать его. Но, увы, монастырь этот мне не дается. Кончивши портрет, я нечаянно, но нелицемерно позавтракал, прилег на минутку вздохнуть и проспал ровно до двух часов. Непростительное свинство! Едва успел я проснуться, как вошел Н. А. Брылкин и предложил мне идти с ним на бульвар погулять перед обедом. На бульваре встретили мы некоего господина Якоби⁴²². Н. А. отрекомендовал меня сему господину Якоби. Он просил нас к себе обедать, и мы не отказались. Г. Якоби — один из нижегородских аристократов, весьма любезный и довольно едкий либерал и вдобавок любитель живописи. Он показал мне свой альбом, ничем особенно не замечательный, и картину, плохо освещенную, картину с большими достоинствами, изображающую молящегося какого-то молодого святого; выражение лица прекрасно. По уверению хозяина, эта драгоценность принадлежит кисти Гверчино⁴²³, а по-моему она больше похожа на хорошую копию с Доменикино Цампиери⁴²⁴. Но я хозяину не сказал моего мнения, по опыту зная, как трудно противуречить знатокам живописи. На расставанье он взял с нас слово быть завтра вечером в клубе при выборе старшин, где обещал меня познакомить со своими товарищами и угостить музыкой. Я не прочь и от музыки, и от знакомства, в особенности от знакомства. Мне необходима денежная работа, а иначе я должен буду обратиться опять за святыми финансами к моему искреннему М. Лазаревскому. Попробую, не удастся ли устранить эту необходимость.

3 октября

Русские люди, в том числе и нижегородцы, многим одолжились от европейцев и, между прочим, словом «клуб». Но это слово совершенно не к лицу русскому человеку. Им бы лучше было одолжиться подобным словом, — а оно, верно,

существует в китайском языке, — одолжиться бы у китайцев и японцев, если они отринули свое родное слово по сиделки, удивительно верно изображающее русские дворянские собрания. У европейцев клуб имеет важное политическое значение, а у русских дворян это даже и не мирская сходка, а просто посиделки. Они собираются посидеть за ломберными столами, помолчать, поесть, выпить, и если случай поблагоприятствует, то и по сусалам друг друга смазать.

После выбора старшин любезнейший г. Якоби представил меня своим товарищам, в том числе генералу Веймарну⁴²⁵ и г. Кудлаю⁴²⁶ (полицеймейстер № 2). Генерал Веймарн замечателен тем, что он не похож на русского генерала, а похож вообще на прекрасного простого человека, а г. Кудлай, кроме того, что не похож на полицеймейстера, как и товарищ его Лапа, замечателен тем, что он друг и дальний родственник моего незабвенного друга и товарища покойного Петра Степановича Петровского. Много и многое разбудил он в моем сердце своим живым воспоминанием о прекрасных минувших днях. Мы с ним до того увлеклись минувшим, что не заметили, как настоящие посиделки кончились. В заключение усоветовали мы писать к брату покойного моего друга, к Павлу Степановичу Петровскому⁴²⁷, чтобы он, отложив всякое попечение, навестил бы нас в Нижнем Новгороде. И, если можно, захватил бы с собою и моего искреннего Михайла Лазаревского.

*4 октября*⁴²⁸

Додвенадцати часов вел Себя хорошо Некончивше потрет адилаиди Алексеевне брилкиной попросил я уникалая Александровича брылкина екапажа снамереньям зделать очайныя везита, пришлого дома выридилса спомощию павла обрамовича овсяникова как первой статейной франт начил свою визидацью Г. веймора г. веймар наперьвой раз показалса мне вдомашнем виду человеком окуратном нонечопорном. вели мы речей о том что унас пути соопщенели вроссии болие нежели гнусны например 1843 году в Чернигови набазари продавали муку 20 ко серб пуд. А вместечко гомели туже самую му продавали 1 срб пуд. поговоривши апутей сообщеньи, мы, слегка коснулисa, и воено сословья — однам словом совсем отвритительне что конечно неподлежит немалейшем сомненью заключившим нашева обоюдного любезничество таким мнением овоеном сословии я простилса Г. Генералом и поехал гдотору градвингу.

5 октября

Михайло — хороший слуга, но в секретари не годится — малограмотен. Я хотел по примеру Юлия Цезаря⁴²⁹ и работать, т. е. рисовать, и диктовать, но мне ни то, ни другое не удалось. За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Пословица очень справедлива. Не знаю, умел ли Юлий Цезарь рисовать? А диктовать, говорят, он мог разом письма о пяти совершенно разных предметах, чему я почти не верю. Но не о том речь, а речь о том, что у меня и сегодня еще колеблется десница от позавчерашнего глумления пьянственного, и я вчера только вид показывал, что я будто бы рисую, а где там, и фон не мог конопатить. Так только, абы-то.

Остановились мы на том, как я приехал к доктору Гартвигу.

6 октября

Вчера только я успел обмакнуть перо в чернило, чтобы описать визит мой доктору Гартвигу и перейти к нецеремонному визиту г. Кудлаю, как дверь с шумом растворилась, и вошел в комнату сам Кудлай. Разумеется, я положил омоченное в чернило перо, встретил дорогого светского гостя в подштанниках, и после лобызаний ударились сначала в обыкновенный пустой разговор, а потом перешли к воспоминаниям о Питере, о покойном Петровском и о великом Брюллове. Воспоминания наши были прерваны приходом слуги от Н. А. Брылкина с предложением обеда. Я проводил моего гостя, оделся и отправился к Николаю Александровичу обедать. После обеда резвушка мамзель Анхен Шауббе предложила сопутствовать ей в театр. Я с удовольствием принял ее предложение и во второй раз слушал музыку Моцарта из «Дон-Жуана» и в первый раз видел драму Коцебу «Сын любви»⁴³⁰, о существовании которой я знал по слуху. Драма моей резвой сопутнице очень понравилась, как произведение Коцебу, а мне, к ужасу моей дамы, тоже понравилась, только не совсем. За что я и получил из улыбающихся уст восторженной немки название грубого варвара, не способного сочувствовать ничему прекрасному и моральному. Роль Амалии, дочери барона, исполняла артистка московского театра госпожа Васильева⁴³¹ натурально и благородно, а прочие, кроме г. Платонова⁴³² (роль барона), лубочно. За драмою последовала «Путаница»⁴³³; по-здешнему хорошо, а по моему — тоже лубочно. Спектакль кончился в первом часу,

к удовольствию публики вообще и моей спутницы в особенности.

7 октября

Мороз закалил наконец непроходимую грязь, это хорошо. Нехорошо только то, что если он установится, то лишит меня возможности нарисовать здешние старинные церкви, которые мне так понравились. Вследствие уже не слякоти, а преждевременного гостя — мороза — я сидел дома. Написал Михайлу Лазаревскому⁴³⁴ о притче, случившейся со мною в Нижнем Новгороде, и просил прислать мне сколько-нибудь денег, потому что я на публику здешнюю плохо надеюсь.

8 октября

Пользуясь хорошею погодою, я позавтракал сыто и пошел гулять. Обогнувши два раза кремль и полюбовавшись окрестными видами и коническими старинными колокольнями, как лисица виноградом, зашел к моему поставщику чтения, к милейшему Константину Антоновичу Шрейдерсу⁴³⁵, бывшему студенту Киевского университета и в некотором роде земляку моему. Встретил у него некоего барона Торнау⁴³⁶, полковника генерального штаба, человека либерала, прекрасно и неумоимо говорящего. Во время последней войны он был при русском посольстве в Вене военным агентом. Следовательно, ему есть о чем говорить. Жалею, что разговор его длился не более получаса, он здесь проездом и, кроме того, торопился на обед к губернатору.

Барон Торнау, между прочим, рекомендовал мне на всякий случай своего близкого приятеля, известного путешественника Петра Егоровича Ковалевского⁴³⁷, в настоящее время начальника азиатского департамента, по уверению барона, человека царем любимого⁴³⁸, а следовательно, и многомогущего.

9 октября

Сегодня поутру любезнейший Н. А. Брылкин принес мне давно жданное «Краткое историческое описание Нижнего Новгорода», составленное неким Н. Хранцовским⁴³⁹. Но так как сегодня погода довольно сносная, то я, оставя сию интересную книгу до вечера, отправился к Печерскому монастырю. Кое-как набросав вид монастыря, я с окоченелыми

руками прибежал домой. Позавтракал, поотогрелся и принялся за книгу. Книга хорошая и достаточно знакомит с историей края и города. Жаль, что г. Хранцовский об архитектурных памятниках и вообще о памятниках старины говорит слишком экономно. Но и за то спасибо. Печерский монастырь, что я сегодня рисовал, построенный при царе Федоре Ивановиче в 1597 году вместо разрушившегося древнего монастыря, основанного архимандритом Дионисием⁴⁴⁰.

10 октября

Сегодня погода не благоприятствовала моему доброму намерению рисовать Архангельский собор в кремле, и я предложил сеанс Н. А. Брылкину и нарисовал его портрет.

11 октября

А сегодня с горем пополам отправился поутру рисовать Архангельский собор⁴⁴¹, озяб до слез, и ничего бы не сделал, если бы не попался мне на глаза генерал Веймарн, командир учебного карабинерного полка и, разумеется, главный хозяин в казармах, под которыми я расположился рисовать. Я рассказал ему о своем горе, и он обязательно позволил мне поместиться у любого окна в казармах, чем я и воспользовался с благодарностью. Поработавши, отправился я обедать к Н. К. Якоби. Вместо десерта, он угостил меня брошюрой Искандера лондонского второго издания «Крещеная собственность»⁴⁴². Сердечное, задушевное человеческое слово! Да осенит тебя свет истины и сила истинного Бога, апостол наш, наш одинокий изгнанник!

12 октября

Окончил вчера начатый рисунок Архангельского собора. Оригинальное, красивое и самое древнее, прекрасно сохранившееся здание в Нижнем Новгороде. Собор этот построен во время великого князя нижегородского Юрия Всеволодовича⁴⁴³ в 1227 году.

13 октября

Рисовал карандашами портрет Анны Николаевны Поповой⁴⁴⁴, слывающей здесь красавицей первой стати. Действительно, она красивая и еще молодая женщина, но, увы, маненько простовата. Может быть, и к лучшему. Первый портрет рисую за деньги, за 25 рублей. Посмотрим, что даль-

ше будет. Не худо б, если б этаких тароватых красавиц было погуще в Нижнем. Хоть бы на портного заработал.

После сеанса отправился обедать к Н. К. Якоби, а после обеда отправился в театр. Спектакль был хоть куда. Васильева, в особенности Пиунова⁴⁴⁵ была естественна и грациозна. Легкая, игривая роль ей к лицу и по летам. Увертюра из «Вильгельма Телля»⁴⁴⁶ была исполнена прекрасно. Словом, спектакль был блестящий.

Каковы-то теперь спектакли в Питере, на Большом театре? Хоть бы одним глазом взглянуть, одним ухом послушать.

14 октября

К величайшему удовольствию красавицы и ее благоверного сожителя и, в особенности, к своему собственному удовольствию, сегодня я портрет окончил, отдал и весело вечер провел с моим милым капитаном В. В. Кишкиным. На днях он едет в Петербург. Когда же я поеду в Петербург? Отвратительное положение. Немногим лучше, чем в Новопетровском укреплении.

15 октября

При ветре и морозе нарисовал вид двух безыменных башен, часть кремлевской стены и вид на Заочье⁴⁴⁷. В целом вышел порядочный рисунок. Я тороплюсь сделать побольше эскизов на случай, если придется мне здесь зазимовать, так чтобы была хоть какая-нибудь работа. Обедал у Н. К. Якоби. Первую часть вечера провел у Брылкиных, а вторую с Овсянниковым в клубе за «Пчелой»⁴⁴⁸ и бутылкой эля⁴⁴⁹. В клубе познакомился с неким г. Варенцовым⁴⁵⁰. Это инспектор института благородного при здешней гимназии и товарищ по университету Н. И. Костомарова. От него я узнал, что Костомаров еще не возвратился из-за границы в Саратов и что Кулиш издал второй том «Записок о Южной Руси».

16 октября

От нечего делать зашел я сегодня к Варенцову. Заговорили, разумеется, о Костомарове, и он сообщил мне (по известиям, полученным им из Москвы), что будто бы в Москве между молодежью ходит письмо Костомарова, адресованное на имя государя. Письмо исполненное всякой истины и вообще пространнее и разумнее письма Герцена, адресованного тому же

лицу⁴⁵¹. Письмо Костомарова якобы написано из Лондона. Если это правда, то наверное можно сказать, что Николай Иванович сопричтен к собору наших заграничных апостолов. Благослови его, Господи, на сем великом поприще!

От Варенцова зашел я к новому знакомому, некоему Петру Петровичу Голиховскому⁴⁵², милому, любезному человеку. Он здесь мимоездом из Питера в Екатеринбург. Он отрекомендовал меня своей эффектной красавице жене. Она — мужественная брюнетка, родом молдаванка, и такой страстно-чувственно-электризирующей красоты, какой я не встречал еще на своем веку. Удивительная огненная женщина. П. П. Голиховский, между прочим, сообщил мне, что в Париже образовался русский журнал под названием «Посредник», редактор Сазонов⁴⁵³. Главная цель журнала — быть посредником между лондонскими периодическими изданиями Искандера и русским правительством и еще — обнаруживать подлости «Пчелы», «Le Nord»⁴⁵⁴ и вообще правительственные гадости. Прекрасное намерение. Жаль, что это не в Брюсселе или не в Женеве. В Париже как раз коронованный Картуш⁴⁵⁵ по-дружески прихлопнет это новорожденное дитя святой истины.

От красавицы Голиховской зашел я к красавице Поповой и остался у нее обедать. Но эта красавица не молдаванке чета: она показалась мне сладкою, мягкой, роскошною, но далеко не такую полную жизни красавицей, как бурная, огненная молдаванка.

После обеда у Поповых зашел я к Н. К. Якоби и познакомился у него с неким симбирским баринном Киндяковым⁴⁵⁶, родственником Тимашева, теперешнего начальника штаба корпуса жандармов⁴⁵⁷. Так как Киндяков едет в Петербург, то я и просил его узнать от своего родственника, долго ли еще продлится мое изгнание и могу ли я когда-нибудь надеяться на совершенную свободу?

У Якоби же встретился я и благоговейно познакомился с возвращающимся из Сибири декабристом, с Иваном Александровичем Анненковым⁴⁵⁸. Седой, величественный, кроткий изгнанник в речах своих не обнаруживает и тени ожесточения против своих жестоких судей, даже добродушно подтрунивает над фаворитами коронованного фельдфебеля — Чернышевым⁴⁵⁹ и Левашевым⁴⁶⁰, председателями тогдашнего верховного суда. Благоговейю перед тобою, один из первозванных наших апостолов!

Говорили о возвратившемся из изгнания Николае Тургене-
веве⁴⁶¹, о его книге⁴⁶², говорили о многом и о многих и в пер-
вом часу ночи разошлись, сказавши до свидания.

17 октября

Сегодня получил письмо от М. Лазаревского и два пись-
ма от милого моего, неизменного Залесского⁴⁶³. Лазаревский
пишет, что он виделся с графиней Настасией Ивановной
и что они усоветовали, в случае воспрещения мне въезда
в столицу, просить письмом графа Федора Петровича, чтобы
он исходатайствовал мне это разрешение через президента
нашего Марию Николаевну⁴⁶⁴ для Академии художеств, клас-
сы которой я буду с любовью посещать, как было во время
оно. Добрые, благородные мои заступники и советники.

Залесский, кроме обыкновенного своего сердечно-
искреннего прелюдия, пишет, что рисунки мои получил
все сполна, что некоторые из них уже пристроил в добрые
руки и деньги 150 рублей переслал на имя Лазаревского.
Неутомимый друг! Знакомит он меня еще с какой-то своей
землячкой-литвинкой, недавно возвратившейся из Италии с
огромным грузом изящных произведений⁴⁶⁵. Для меня и за
глаза подобные явления очаровательны, и я сердечно благо-
дарю моего друга за это письменное знакомство.

Что значит, что Кухаренко мне не пишет? Неужели он не
получил моего поличья и мою «Москалеву криницу»? Это
было бы ужасно досадно.

Упившись чтением этих дружеских милых посланий, ве-
чером, вместе с Овсянниковым, отправились мы к огнен-
ной молдаванке. Страшная, невиданная женщина! Намаг-
нетизировавшись хорошенько, мы пожелали ей счастливой
дороги до нелюбимого ею Екатеринбург⁴⁶⁶ и расстались,
быть может, навсегда. Чудная женщина! Неужели кровь
древних сабинянок⁴⁶⁷ так всемогуще, бесконечно жива?
Выходит, что так.

18 октября

Написал и отослал письма моим милым друзьям М. Лаза-
ревскому и Б. Залесскому.

19 октября

В клубе великолепный обед с музыкою и повальная гоме-
рическая попойка...

20 октября

Ночь и следующие сутки провел в очаровательном семействе madame Гильде⁴⁶⁸.

22 октября

Вздумалось мне просмотреть рукопись моего «Матроска»⁴⁶⁹. На удивление безграмотная рукопись, а писал ее не кто иной, как прапорщик Оренбургского отдельного корпуса, баталиона № 1, г. Нагаев, лучший из воспитанников Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Что же посредственные и худшие воспитанники, если лучший из них безграмотный и вдобавок пьяница? Проклятие вам, человекоубийцы — кадетские корпуса!

23 октября

При свете великолепного пожара вечером⁴⁷⁰, часу в 9, встретился я с А. К. Шрейдерсом. Он сообщил мне, что обо мне получена форменная бумага на имя здешнего военного губернатора от командира Оренбургского Отдельного корпуса. Для прочтения сей бумаги зашли мы в губернаторскую канцелярию, к правителю канцелярии, милейшему из людей, Андрею Кирилловичу Кадинскому⁴⁷¹. Бумага гласит о том, что мне воспрещается въезд в обе столицы и что я обретаюсь под секретным надзором полиции. Хороша свобода! Собака на привязи. Это значит, не стоит благодарности, ваше величество.

Что же я теперь буду делать без моей Академии? Без моей возлюбленной акватинты, о которой я так сладко и так долго мечтал? Что я буду делать? Обратиться опять к моей святой заступнице графине Настасье Ивановне Толстой? Совестно. Подожду до завтра. Посоветуюсь с моими искренними друзьями, с П. А. Овсянниковым и с Н. А. Брылкиным. Они люди добрые, сердечные и разумные. Они научат меня, что мне предпринять в этом безвыходном положении.

24 октября

Сегодня мы советовали так. На неопределенное время остаться мне здесь, по случаю мнимой болезни, а тем временем писать графу Ф. П. Толстому и просить его ходатайства о дозволении мне жительство в Петербурге хотя на два года. В продолжение двух лет я с помощью Божиею

успею сделать первоначальные опыты в моей возлюбленной акватинте.

25 октября

Продолжаю по складам прочитывать и поправлять «Матроса» и ругать безграмотного переписчика, пьяницу прапорщика Нагаева. Прочитывая по складам мое творение, естественно, что я не могу следить за складом речи. Убедился только в одном, что название этого рассказа необходимо переменить. Пока не придумаю моему «Матросу» другого, более приличного имени, назову его так: «Прогулка с пользой и не без морали».

26 октября

Заходил к Варенцову и взял у него для прочтения два номера, 2 и 3, «Русской беседы»⁴⁷². В эпилоге к «Черной раде»⁴⁷³ П. А. Кулиш, говоря о Гоголе, Квитке и о мне грешном, указывает на меня, как на великого, самобытного поэта. Не из дружбы ли это?

Во 2 номере «Русской беседы» я с наслаждением прочитал трехкуплетное стихотворение Ф. Тютчева⁴⁷⁴.

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что скользит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

27 октября

Несколько дней сряду хорошая, ясная погода, и я сегодня не утерпел, пошел на улицу рисовать. Нарисовал церковь Пророка Илии с частью кремля на втором плане. Церковь Пророка Илии построена в 1506 году в память огненного стреляния, спасшего Нижний от татар и ногаев⁴⁷⁵.

28 октября

Сегодня погода тоже почти позволила мне выйти рисовать на улицу. Нарисовал я кое-как церковь Николая за Почайной, построенную в 1372 году. Вероятно, тоже в ознаменование какого-нибудь кровопролития. По дороге зашел я к моему любезному доктору Гартвигу, застал его дома, позавтракал, выпил отличнейшей вишневки собственного приготовления и в старом изорванном нижегородском адрес-календаре прочитал, что в Княгининском уезде Нижегородской губернии в селе Вельдеманове, от крестьянина Мины и жены его Марьяны в 1605 году, в мае месяце, родился знаменитый патриарх Никон⁴⁷⁶.

29 октября

Ходил к Трубецкому⁴⁷⁷, весьма милому князю-человеку, и не застал его дома. Обедал у Н. К. Якоби, а после обеда в театре слушал между прочим увертюру из «Роберта» Мейербера⁴⁷⁸ в антрактах какой-то кровавой драмы. Возможно ли двадцатиинструментным, вдобавок нетрезвым, оркестром исполнять какую бы то ни было увертюру? А тем более увертюру «Роберта» Мейербера? Прости им, не видят-бо, что творят. К концу кровавой драмы половина ламп в зале погасла, и тем кончился великолепный спектакль.

30 октября

Пользуясь погодой, я совершил прогулку вокруг города с удовольствием и не без пользы. В заключение прогулки нарисовал Благовещенский монастырь. Старое, искаженное новыми пристройками здание. Главная церковь, колокольня не совсем уцелели от варварского возобновления. Остались только две башни над трапезой неприкосновенными. И какие они красавицы! Точно две юные, прекрасные, чистые отроковицы грациозно подняли свои головки к подателю добра и красоты и как бы благодарят его, что он заступил их от руки новейшего архитектора. Прекрасное, ненаглядное создание!

Благовещенский монастырь основан в XIV столетии св. Алексеем митрополитом⁴⁷⁹. К этому времени принадлежат и прекрасные башни. Соборная церковь монастыря построена в 1649 году. Местоположение монастыря очаровательное.

31 октября

Сегодня только наконец дочитал своего «Матроса». Он показался мне слишком растянутым. Может быть, оттого, что я по складам его читал. Прочитаю еще раз в новом экземпляре, и если окажется сносным, то пошлю его к М. С. Щепкину, пускай где хочет, там его и приютит.

Вечером И. П. Грас познакомил меня с Марьей Александровной Дороховой⁴⁸⁰. Директриса здешнего института. Возвышенная, симпатическая женщина! Несмотря на свою аристократическую гнилую породу, в ней так много сохранилось простого, независимого человеческого чувства, и наружной силы, и достоинства, что я невольно сравнил с изображением Свободы Барбье (в «Собачем пире»). Она еще мне живо напомнила своей отрывистой прямой речью, жестами и вообще наружностью моего незабвенного друга, княжну Варвару Николаевну Репнину⁴⁸¹. О, если бы побольше подобных женщин-матерей, лакейско-боярское сословие у нас бы скоро перевелось.

1 ноября

Рисовал портрет М. А. Дороховой и после удачного сеанса по дороге зашел к Шрейдерсу, встретил у него милейшего М. И. Попова и любезнейшего П. В. Лапу. Выпил с хорошими людьми рюмку водки, остался обедать с хорошими людьми и с хорошими людьми за обедом чуть-чуть не налился, как Селифан. Шрейдерс оставлял меня у себя отдохнуть после обеда, но я отказался и пошел к madame Гильде, где и положил якорь на ночь.

2 ноября

Возвращаясь домой с благополучного ночлега, зашел я проститься к Варенцову. Он сегодня едет в Петербург. У меня было намерение послать с ним в Москву своего «Матроса», но переписчик мой тоже с добрыми людьми загулял, и рукопись остановилась. Досадно. Придется подождать Овсянникова. Когда я сбуду с рук этого несносного «Матроса»?

Придя домой, от нечего делать раскрыл генварскую книжку «Отечественных записок»⁴⁸², и какая прелесть случайно попала мне на глаза. Это стихотворение без названия З. Тур.

Во время сумерек, когда поля и лес
Стоят, окутаны полупрозрачной дымкой,
С воздушных ступеней темнеющих небес
Спускается на землю невидимкой
Богиня стройная с задумчивым лицом.
Для ней нет имени. Она пугливей грезы;
Печальный взор горит приветливым огнем,
А на щеках заметны слезы.
С корзиною цветов, с улыбкой на губах,
Она украдкою по улицам проходит,
И озирается на шумных площадях,
И около дворцов пугливо бродит.
Но увидав под крышею окно,
Где одинокая свеча горит мерца,
Где юноша, себя и всех забыв давно,
Сидит, в мечтах стих жаркий повторяя,
Она порхнет туда и, просияв, войдет
В жилище бедное, как мать к родному сыну,
И сядет близ него, и счастье разольет,
И высыплет над ним цветов корзину.

3 ноября

Сегодня воскресенье, и я, как порядочный человек, прицепурился и вышел из дому с намерением навестить моих добрых знакомых. Зашел я к первому мистеру Гранду⁴⁸³, англичанину от волоска до ногтя. У него, у англичанина, я в первый раз увидел сочинения Гоголя, изданные моим другом П. Кулишом⁴⁸⁴. Друг мой немного подгулял. Издание вышло немного мужиковато, особенно портрет автора до того плох, что я удивляюсь, как знаменитый Иордан⁴⁸⁵ позволил подписать под ним свое прославленное имя.

У него же, у Гранда, и в первый же раз увидел я «Полярную звезду» Искандера за 1856 год, второй том⁴⁸⁶. Обертка, т. е. портреты первых наших апостолов-мучеников⁴⁸⁷, меня так тяжело, грустно поразили, что я до сих пор еще не могу отдохнуть от этого мрачного впечатления. Как бы хорошо было, если бы выбить медаль в память этого гнусного события. С одной стороны — портреты этих великомучеников с надписью «Первые русские благовестители свободы», а на другой стороне медали — портрет неудобозабываемого Тормоза с надписью «Не первый русский коронованный палач».

4 ноября

Кончил сегодня портреты М. А. Дороховой и ее воспитанницы Нины, побочной дочери Пущина⁴⁸⁸, одного из декабристов. Удивительно милое и резвое создание. Но мне как-то грустно делается, когда я смотрю на побочных детей. Я никому, и тем более заступнику свободы, не извиняю этой безнравственной независимости, так туго связывающей этих бедных побочных детей. Простительно какому-нибудь забубенному гусару, потому что он только гусар, но никак не человек. Или какому-нибудь помещику-собачнику, потому что он собачник, и только. Но декабристу, понесшему свой крест в пустынную Сибирь во имя человеческой свободы, подобная независимость непростительна. Если он не мог стать выше обыкновенного человека, то не должен и унижать себя перед обыкновенным человеком.

5 ноября

Сегодня окончательно проводил Варенцова в Петербург и сегодня же через него получил письмо от Костомарова из Саратова⁴⁸⁹. Ученый чудак пишет, что напрасно прождал меня две недели в Петербурге и не хотел сделать ста верст кругу, чтобы посетить меня в Нижнем. А сколько бы радости привез своим внезапным появлением. Ничего не пишет мне о своих глазах и вообще о своем здоровье.

6 ноября

Написал письмо Костомарову и моим астраханским землякам-друзьям. Хотя погода и не совсем благоприятствовала, но я все-таки отправился на улицу. С некоторого времени мне, чего прежде не бывало, нравится уличная жизнь, хотя нижегородская публика ни даже в воскресный ясный день не показывается на улице, и Большая Покровка, здешний Невский проспект, постоянно изображает собою однообразный длинный карантин. А я все-таки люблю побродить час-другой вдоль этого пустынного карантина. Откуда же эта нелепая любовь к улице? После десятилетнего поста я разом бросился на книги, объелся и теперь страдаю несварением в желудке. Другой причины я не знаю этому томительному нравственному бездействию. Рисовать ничего порядочного не могу, не придумаю, да и помещение мое не позволяет. Рисовал бы портреты, — за деньги не с кого, а даром работать совестно. Нужно что-нибудь придумать для разнообразия. А что — не знаю.

Погрузившись в это мудрое размышление или сочинение, я нечаянно наткнулся на дом Якоби. Зашел, пообедал и после обеда отправился в гостиную на чай к старушкам, т. е. madame Якоби и ее неумолимо говорливой сестрице⁴⁹⁰. В числе разных, по ее мнению, чрезвычайно интересных приключений ее быстроминувшей юности она рассказала мне о Лабзине⁴⁹¹, о том самом конференс-секретаре Академии художеств, который предложил Илью Байкова, царского кучера, выбрать в почетные члены Академии, потому что он ближе Аракчеева⁴⁹² к государю. За эту остроту Аракчеев сослал его в Симбирск, где он и умер на руках моей почтенной собеседницы. Мне приятно было слышать, что этот замечательный мистик-масон до самой могилы сохранил независимость мысли и христианское незлобие.

После Лабзина речь перешла на И. А. Анненкова, и я из рассказа моих собеседниц узнал, что происшествие, так трогательно рассказанное Герценом в своих воспоминаниях про Ивашева⁴⁹³, случилось с супругою И. А. Анненкова, бывшей некогда гувернанткой, мадмуазель Поль⁴⁹⁴.

Она жива еще и теперь. Меня обещали старушки познакомить с этою достойнейшею женщиною. Не знаю, скоро ли я удостоюсь счастья взглянуть на эту беспримерную, святую героиню.

Дюма, кажется, написал сентиментальный роман на эту богатырскую тему⁴⁹⁵.

По поводу портрета М. А. Дороховой и ее воспитанницы Ниночки, которые я на днях рисовал, старушки сообщили мне, что мать Ниночки простая якутка и теперь еще жива в Ялуторовске, а что отец ее, г. Пущин, служит где-то на видном месте в Москве и что он женился на богатой вдове, некоей madame Коцебу, собственно для того, чтобы достойно и прилично воспитать свою Ниночку⁴⁹⁶. Отвратительный отец.

7 ноября

На днях как-то проходил я через кремль и видел большую толпу мужиков с открытыми головами перед губернаторским дворцом. Явление это показалось мне чем-то необыкновенным, и до сегодняшнего дня я не мог узнать его содержания, а сегодня Овсянников рассказал мне, в чем было дело.

Крестьяне помещика Демидова⁴⁹⁷, того самого мерзавца Демидова, которого я знал в Гатчине кирасирским юнке-

ром в 1837 году и который тогда не заплатил мне деньги за портрет своей невесты, теперь он, промотавшийся до снаги, живет в своей деревне и грабит крестьян. Кроткие мужички, вместо того чтобы просто повесить своего грабителя, пришли к губернатору просить управы, а губернатор, не будучи дурак, велел их посечь за то, чтобы они искали управы по начальству, т. е. начинали с станowego.

Интересно знать, что дальше будет.

8 ноября

Рисовал сегодня до обеда портреты м. и м. Якоби, а вечером пошел к Веймарну; у него сегодня полковой праздник и, следовательно, пирушка. Войдя в первую комнату, я совершенно растерялся, меня поразила толпа военных людей. Я этих почтенных господ давно уже, слава Богу, не встречаю. В особенности один между ними так живо напомнил мне свою толстую телячью рожею капитана Косарева, что я чуть-чуть не вытянул руки по швам и не возгласил: «Здравия желаю, ваше благородие!» Из этого отвратительного состояния вывел меня сам гостеприимный хозяин, пригласив меня в гостиную; между прочими гостями в гостиной встретил я И. А. Анненкова, и в продолжение вечера я не расставался с ним.

9 ноября

Окончил портреты Якоби.

10 ноября

Получил от Кулиша книги: «Записки о Южной Руси», два тома, и «Чорну раду». Какой милый оригинал должен быть этот г. Жемчужников⁴⁹⁸. Как бы я счастлив был увидеть человека, который так искренно, нелицемерно полюбил мой милый родной язык и мою прекрасную бедную родину.

11 ноября

Сегодня у меня день великий, торжественный, радостный день. Сегодня получил я письмо от моей святой заступницы графини Н. И. Толстой, дружеское, родственное письмо⁴⁹⁹. За что она меня удостоивает этого неизреченного счастья? И чем я воздам ей за этот нечаянный светлый, сердечный праздник? Слезы радости и чистая молитва — твоя единая награда, моя благородная, моя святая заступница.

Она советует мне написать графу Федору Петровичу письмо и просить его ходатайства о разрешении явиться мне в столице. Это была моя первая мысль, но мне совестно было беспокоить старика. А теперь решительно решаюсь. Еще просит она передать поклон В. И. Далю⁵⁰⁰ от ее самой и от какого-то г. Жадовского. С Далем я здесь не виделся, хотя с ним прежде и был знаком, и теперь придется очима лупать. И поделом.

12 ноября

Ответивши на письмо моей святой заступницы, причепурился я и отправился к В. И. Далю. Но почему-то, не знаю, прошел мимо его квартиры и зашел к адъютанту здешнего военного губернатора, к Владимиру Федоровичу князю Голицыну⁵⁰¹, весьма милому молодому человеку, раненному под Севастополем. Вслед за мной зашла к нему сестра его, чернобривое, милое, задумчивое создание⁵⁰². О чем грустит, о чем задумывается эта едва развернувшаяся санфилия?⁵⁰³

От князя зашел я к его зятю Александру Петровичу Варенцову⁵⁰⁴, пообедал, послушал машинной музыки и отправился в театр. Все было порядочно, кроме г-жи Васильевой. Она, бедняжка, думала очаровать зрителей своим фанданго⁵⁰⁵ и совсем не надела панталон. Какое варварское понятие об искусстве. Г-н Климовский в роли Филиппа IV⁵⁰⁶ был прекрасен, одет изящно и верно портрету этого испанского государя. А вообще драма «Мать-испанка» — так себе, дюжинная драма⁵⁰⁷.

13 ноября

Сегодня написал, а завтра отошлю просительное письмо графу Ф. П. Толстому⁵⁰⁸. Прошу его просить кого следует о дозволении мне жить в Петербурге и посещать классы Академии. Письмо, кажется, мне удалось. Овсянников говорит, что при нужде я мог бы занять видное место между кропателями просьб. Посмотрим, пожнем ли желаемые плоды от сего хитрого сочинения.

Сегодня же написал письмо М. С. Щепкину. Прошу свидания с ним где-нибудь на хуторе в окрестностях Москвы. Как бы я рад был увидеть этого славного артиста-ветерана.

14 ноября

Начал портрет М. Варенцовой⁵⁰⁹. Плотная, кавалергард-мадам. Ничего женственного, ни даже самого обыкновенного кокетства.

15 ноября

Получил письмо от моего милого Бронислава⁵¹⁰, жалуется, что его отец захворал, и рекомендует мне какую-то свою приятельницу Елену Скирмонд, любительницу изящных искусств, мечтательницу и вообще женщину эксцентрическую. Это тоже нехорошо. Но все же лучше, нежели моя новая знакомая М. Варенцова, правда, она тоже женщина эксцентрическая. Только она сосредоточилась не на поэзии, не на изящных искусствах, а на конюшне и на псарне. А может быть, и это своего рода поэзия.

16 ноября

Кончил портрет своей отчаянной амазонки и начал ее милое чадо. Мальчик лет пяти, избалованный, будущий собачник, камер-юнкер и вообще человек дрянь.

17 ноября

Сделал визитацию В. И. Далю, и хорошо сделал, что я наконец решился на эту визитацию. Он принял меня весьма радушно, расспрашивал о своих оренбургских знакомых, которых я не видел с 1850 года, и в заключение просил заходить к нему запросто, как к старому приятелю. Не премину воспользоваться таким милым предложением, тем более, что мои нижегородские знакомые начали понемногу пошлеть.

18 ноября

После неудачного, вялого сеанса у М. Варенцовой зашел я по соседству к ее больному брату, князю Голицыну и застал у него его меньшую милую, задумчивую сестру. Впечатление неудачного сеанса как ветром свеяло. Полюбовавшись на это кроткое создание, я во весь день был счастлив. Какое животворно-чудное влияние красоты на душу человека.

19 ноября

К общему великому удовольствию сегодня наконец я окончил портрет гусароподобной М. Варенцовой и ее будущего собачника-сына. Она чрезвычайно довольна портретом, потому что он похож на какую-то кокетливую нимфу в амазонке с хлыстом, а я еще больше доволен, что наконец развязался с этою неуклюжею Бобелиною⁵¹¹.

26 ноября

Я хотел было совсем оставить свой монотонный журнал, но сегодня совершилось со мною то, чего прежде никогда не совершалось. Шрейдерс, Кадинский⁵¹² и Фрейлих⁵¹³ просили меня нарисовать их портреты и предложили деньги вперед. Я никогда не брал денег вперед за работу, а сегодня взял, и, добре помогорычовавши, отправился я в очаровательное семейство м. Гильды и там переночевал. И там украли у меня деньги — 125 рублей. И поделом, вперед не бери незаработанных денег. Поутру прихожу домой, другое горе: ночью проехал Федор Лазаревский⁵¹⁴. Был у Даля, посылал искать меня по всему городу и, разумеется, меня не нашли. И теперь его карточка лежит у меня на столе, как страшный упрек на совести.

27 ноября

Волей-неволей сегодня я должен был обедать у Даля и сочинять необыкновенное происшествие, случившееся со мною прошедшей ночью. Но вместо фигурной лжи, я сказал ложь лаконическую: я сказал, что ездил в Балахну с Брылкиным, так, ради собственного удовольствия, и тем покончил дело.

28 ноября

Жаль мне стало незаработанных денег. В такой досаде отправился я к Кудлаю просить полицейского участия в моем горе. Кудлай сам нездоров, не может выйти из квартиры, но обещался мне завтра прислать одного из своих сподручников, какого-то отъявленного доку. Посмотрим, сотворит ли чудо вышереченный дока.

29 ноября

Сегодня поутру в ожидании полицейского доки написал я М. Лазаревскому письмо и насчет роковой ночи повторил ему ту же самую ложь, что и В. И. Далю. Одна ложь ведет за собою другую, это в порядке вещей.

Часу в первом явился ко мне дока, я рассказал ему, в чем дело, и посулил за труды 25 рублей. Но, увы, при всем его старании результата никакого. Что с воза упало, то пропало. Следовательно, об этом скверном анекдоте и думать больше нечего. Я так и сделал. Пошел к Шрейдерсу обедать,

с досады чуть опять не налился. После обеда зашел к той же коварной мадам Гильде (какое христианское незлобие!), отдохнул немного в ее очаровательном семействе и в семь часов вечера пошел к князю Голицыну. У Голицына встретил я львов здешней сцены — актеров Климовского и Владимирова. Болтуны и, может быть, славные малые.

Князь прочитал нам свое «Впечатление после боя». Неважное впечатление. После «Впечатления» зашла речь о переводах Курочкина из Беранже. И я прочитал им наизусть не перевод, а собственное произведение. А чтобы не забыть это прекрасное создание поэта, то я вношу его в мой журнал.

Как в наши лучшие года,
Мы пролетаем без участия
Помимо истинного счастья!
Мы молоды, душа горда...
Как в нас заносчивости много!
Пред нами светлая дорога.
Проходят лучшие года.

Проходят лучшие года,
Мы все идем дорогой ложной
Вслед за мечтою невозможной,
Идем, неведомо куда.
Но вот овраг, — вот мы споткнулись...
Кругом стемнело... оглянулись —
Нигде ни звука, ни следа.

Нигде ни звука, ни следа,
Ни светлых дней, ни сожаленья,
На сердце тяжесть оскорбленья
И одиночество стыда.
Для утомительной дороги
Нет силы, подкосились ноги.
Погасла дальняя звезда.

Погасла дальняя звезда!
Пора, пора душой смириться —
Над жизнью нечего глумиться,
Отведав горького плода;
Или с бессильем старой девы
Твердить упорно: где вы, где вы?
Вотще минувшие года!

Вотще минувшие года
Не лучше ль справить честной тризной!
Не оскверним же укоризной
Господний мир — и никогда
С бессильной злобой оскорбленных
Не осмеем четы влюбленных,
Влюбленных в лучшие года⁵¹⁵.

В. Курочкин

30 ноября

Сегодня начал портреты в группе своих щедрых друзей⁵¹⁶. Не знаю, будет ли толк из этой затеи: приятели неаккуратны в сеансах, обстоятельство важное при работе. Посмотрю, что дальше будет, и если сеансы затянутся, то нарисую отдельно каждого карандашом и тем покончу мой счет с приятелями. Чего бы мне больно не хотелось, и тем более, что предполагаемый рисунок сепиею очень удачно сгруппировался. И мне бы хотелось достойно заплатить им свой долг.

1 декабря

Получил письмо от М. С. Щепкина, в котором он предлагает мне свидание в селе Никольском (имение его сына)⁵¹⁷, или же, если я не имею лишних денег на эту поездку (125 рублей были у меня совершенно лишние), то он обещает сам приехать ко мне в Нижний. Как бы он возвеселил и меня и своих нижегородских поклонников! Напишу ему, пускай едет сюда и пускай на здешней бедной сцене потрянет стариною. Теперь же, кстати, здесь дворянские выборы.

После сеанса у Шрейдерса и после обеда у Фрейлиха случайно попал я на полупьяный музыкальный вечер к путейскому офицеру Ультрамарку⁵¹⁸ и услышал там виртуоза на фортепьяно, какого я и не подозревал услышать здесь в захолустье. Виртуоз этот некто господин Татаринов⁵¹⁹. Между прочим он сыграл несколько номеров из «Пророка» и из «Гугенотов» Мейербера и вознес меня на седьмое небо.

2 декабря

Сегодня сделал я визит вдохновенному моему виртуозу Татаринovu и видел у него, чего я также не воображал увидеть в Нижнем. Я увидел у него настоящего, великолеп-

нейшего Гюдена⁵²⁰. Такие две прекраснейшие нечаянности разом — наслаждение редкое и высокое. И какие же варвары нижегородцы: они знают Татаринова только как чиновника при компании, строящей железную дорогу. А о картине Гюдена и даже о самом Гюдене никто и не слыхивал, кроме старика Улыбашева⁵²¹, с которым я сегодня познакомился в театре. Это известный биограф и критик Бетговена и самый неизменный посетитель здешнего театра.

3 декабря

Три дня сряду нечаянности и самые приятные нечаянности. Это великая редкость в здешней монотонной жизни. Сегодня посетил меня Густав Васильевич Кебер⁵²². Гость совершенно неожиданный. Он большой приятель Ф. Лазаревского, и тот, уезжая из Нижнего, поручил ему увидеться со мною, и добрейший Густав Васильевич сегодня исполнил поручение своего и моего друга. Если бы больше подобных нечаянностей, как бы прекрасно текли дни нашей жизни.

4 декабря

Написал письма Щепкину и Кулишу. Прошу их, друзей моих великих, отложить всякое житейское или служебное попечение⁵²³ и приехать ко мне недели на две, а еще совесть не зазрит, то и больше. Как бы я счастлив был, если б сбылось мое желание. Авось-либо и сбудется.

8 декабря

В продолжение этих четырех дней писал поэму, названия которой еще не придумал. Кажется, я назову ее «Неофиты, или Первые христиане». Хорошо, если бы не обманул меня Щепкин, я ему посвящаю это произведение, и мне бы ужасно хотелось ему прочитать и услышать его верные дружеские замечания. Не знаю, когда я примусь за «Дервиша и Сатрапа», а поползновение большое чувствую к писанию.

9 декабря

В компании честных артистов — Климовского, Владиморова и Платонова — праздновал именины общей и в особенности театральной красавицы, по имени Анны Дмитриевны, а по прозванию не знаю, и праздновал без хитрости, т. е. с приличным случаю и месту продолжением, — яснее, в ущерб очаровательному семейству мадам Гильды.

10 декабря

Сегодня вечером Варенцов возвратился из Петербурга и привез мне от Кулиша письмо⁵²⁴ и только что отпечатанную его «Граматку»⁵²⁵. Как прекрасно, умно и благородно составлен этот совершенно новый букварь. Дай Бог, чтобы он привился в нашем бедном народе. Это первый свободный луч света, могущий проникнуть в сдавленную попами невольничью голову.

Из Москвы Варенцов привез мне поклон от Щепкина, а от Бодянского⁵²⁶ поклон и дорогой подарок — его книгу «О времени происхождения славянских писмен» с образчиками древнего славянского шрифта. Сердечно благодарен Осипу Максимовичу за его бесценный подарок. Эта книга удивительно как пополнила современную нашу историческую литературу.

Еще привез он для Н. К. Якоби свинцовым карандашом нарисованный портрет нашего изгнанника, апостола Искандера. Портрет должен быть похож, потому что не похож на рисунки в этом роде. Да если бы и не похож, то я все-таки скопирую для имени этого святого человека.

12 декабря

Сегодня видел я на сцене «Станционного смотрителя» Пушкина⁵²⁷. Я был всегда против переделок и эту переделку пошел смотреть от нечего делать. И что же: переделка оказалась самую мастерскую переделкою, а исполнение неподражаемо. В особенности сцены второго акта и последняя сцена третьего были так естественно-трагически исполнены, что хоть бы и самому гениальному артисту так впору. Исполать тебе, господин Владимиров. Исполать тебе и тетенька Трусова⁵²⁸, ты так естественно-зло исполнила роль помещицы Лепешкиной, что сама Коробочка⁵²⁹ перед тобой побледнела. Вообще ансамбль драмы был превосходен, чего я никак не ожидал. И если бы не усатые отставные гусары-помещики пьяные шумели в ложе, то я вышел бы из театра совершенно доволен.

Кстати о помещиках. Их теперь нахлынуло в Нижний на выборы видимо и невидимо. И все без исключения с бородами и усами, в гусарских, уланских и других кавалерийских мундирах. Пехотинцев и флотских не заметно. Говорят между собою только по-французски. Пьянствуют и шумят в театре и, слышно, составляют оппозицию против освобождения крепостных крестьян. Настоящие французы!

13 декабря

Получил письма от Щепкина и от Лазаревского⁵³⁰. Старый дружка пишет, что он приедет ко мне колядовать на праздник. Добрый, искренний друг! Он намерен подарить несколько спектаклей нижегородской публике. Какой великолепный праздничный подарок!

Лазаревский между прочим пишет, что он получил на мое имя 175 рублей через Льва Жемчужникова, с оговоркой — не объявлять мне своего имени. Жертва тайная, великодушная! Чем же я заплачу вам, добрые, великодушные земляки мои, за эту искреннюю жертву? Свободной, искренней песней, песней благодарности и молитвы!

Сегодня же принимаюсь за «Сатрапа и Дервиша», и если Бог поможет окончить с успехом, то посвящу его честным, щедрым и благородным землякам моим. Мне хочется написать «Сатрапа» в форме эпопеи. Эта форма для меня совершенно новая. Не знаю, как я с нею слажу?

14 декабря

Вечером отправился к старику Улыбашеву с благою целью послушать музыку. Старик прихворнул и не принимал гостей. Возвращаясь домой, попалась мне на улице недавняя именинница и, не совершенно против желания, затащила меня в маскарад. Явление редкое и оригинальное в Нижнем. Это танцкласс Марцинкевича в Петербурге⁵³¹ со всеми подробностями. Небольшая разница в костюмах. Там пьяные черкесы заключают спектакль, а здесь просто офицеры с помощью приезжих помещиков-французов. Одним словом, блестящий маскарад!

15 декабря

Через В. И. Даля получил письмо от Федора Лазаревского⁵³². Пишет он, что незабаром поедет опять куда-то через Нижний, и просит меня не ездить в Балахну. Не поеду. Цур ий!

16 декабря

Ввечеру отправился я к В. И. Далю засвидетельствовать ему глубокое почтение от Ф. Лазаревского. После поздраванья и передачи глубочайшего почтения, одна из дочерей его⁵³³ села за фортепьяно и принялась угощать меня малороссийскими песнями. Я, разумеется, был в восторге не от

уродливых песен, а от ее наивной вежливости. Заметив, что она довольно смело владеет инструментом, я попросил ее сыграть что-нибудь из Шопена. Но так как моего любимца налицо не оказалось, то она заменила его увертюрой из «Гугенотов» Мейербера. И, к немалому удивлению моему, исполнила это гениальное произведение лучше, нежели я ожидал. Скромная артистка удалилась во внутренние апартаменты, а мы с Владимиром Ивановичем, между разговором, коснулись как-то нечаянно псалмов Давида и вообще Библии. Заметив, что я неравнодушен к библейской поэзии, Владимир Иванович спросил у меня, читал ли я Апокалипсис. Я сказал, что читал, но, увы, ничего не понял; он принялся объяснять смысл и поэзию этой боговдохновенной галиматьи и в заключение предложил мне прочитать собственный перевод откровения с толкованием и по прочтении просил сказать свое мнение. Последнее мне больно не по душе. Без этого условия можно бы, и не прочитав, поблагодарить его за одолжение, а теперь необходимо читать. Посмотрим, что это за зверь в переводе?

17 декабря

Получил письмо от П. Кулиша. Он отказывается от свидания со мною здесь не по недостатку времени и желания, но во избежание толков, которые могут замедлить мое возвращение в столицу. Я с ним почти согласен. От журнала, о котором я ему писал, он наотрез отказался. Готовит материалы для третьего тома «Записок о Южной Руси» и что-то начал писать серьезного, но что такое, не говорит.

Вечером был на бенефисе г. Климовского. И несмотря на порядочное исполнение, все-таки «Дообеденный сон» Островского мне не понравился⁵³⁴. Повторение, и повторение вялое. Прочее так себе шло, кроме попури, пропетого в антракте бенефициантом, вдобавок собственного сочинения.

18 декабря

Читал и сердцем сокрушился,
Зачем читать учился⁵³⁵.

Читая подлинник, т. е. славянский перевод Апокалипсиса, приходит в голову, что апостол писал это откровение для своих неофитов известными им иносказаниями,

с целью скрыть настоящий смысл проповеди от своих приставов. А может быть, и с целью более материальной, чтобы они (пристава) подумали, что старик рехнулся, порет дичь, и скорее освободили бы его из заточения. Последнее предположение мне кажется правдоподобнее.

С какую же целью такой умный человек, как Владимир Иванович, переводил и толковал эту аллегорическую чепуху? Не понимаю. И с каким намерением он предложил мне прочитать свое бедное творение? Не думает ли он открыть в Нижнем кафедру теологии и сделать меня своим неофитом? Едва ли. Какое же мнение я ему скажу на его безобразное творение? Приходится врать, и из-за чего? Так, просто из вежливости. Какая ложная вежливость.

Не знаю настоящей причины, а, вероятно, она есть. Владимир Иванович не пользуется здесь доброй славой, почему — все-таки не знаю. Про него даже какой-то здешний остряк и эпиграмму смастерил; вот она:

У нас было три артиста,
Двух не стало — это жаль.
Но пока здесь будет Даль,
Все как будто бы не чисто.

19 декабря

Monsieur Брас⁵³⁶ (учитель французского языка в гимназии) рассказал мне сегодня недавно случившееся ужасное происшествие в Москве. Трагедия такого содержания.

Ловкий молодой гвардеец по железной дороге привез в Москву девушку, прекрасную, как ангел. Привез ее в какой-то не слишком публичный трактир. Погулял с нею несколько дней, что называется, на славу и скрылся, оставив ее расплатиться с трактирщиком, а у нее ни денег, ни паспорта. Она убежала из дому со своим обожателем с целью в Москве обвенчаться, и концы в воду. Трактирщик посмотрел на красавицу и, как человек бывалый, смекнул делом, подослал к ней сводню. Ловкая тетенька приласкала ее, приголубила, заплатила трактирщику долг и взяла ее к себе на квартиру. На другой или на третий день она убежала от обязательной старушки и явилась к частному приставу, а вслед за нею явилась и ее покровительница. Подмазала частного пристава, а тот, несмотря на ее доводы, что она благородная, что она дочь генерала, высек ее розгами и отправил в рабочий дом на исправление, где она через несколько дней

умерла. Ужасное происшествие! И все это падает на военное сословие. Отвратительное сословие!

20 декабря

С благотворительной целью составляется спектакль из благородных субъектов под непосредственной дирекцией г. Гольнской⁵³⁷ и г. Варенцова⁵³⁸. Спектакль составят живые картины и концерт.

Г. Варенцов меня как живописца пригласил сегодня на репетицию, собственно для живых картин, т. е. для освещения этих бестолковых картин. Я по простоте души и попробовал осветить одну из них так, что главная фигура в свету, а прочие в полутоне. Освещение вышло довольно эффектно. Но жалкие маменьки подняли шум, почему одна такая-то освещена, а наши дочери разве хуже ее, что их совсем не видно, что их только по афише будут знать. Я плюнул и хотел уйти, но меня остановила Марья Александровна Дорохова и просила поставить и осветить ее Ниночку. Ниночка, не красавица, явилась в картине очаровательной. Чадолюбивые маменьки хотя и заметили, в чем дело, но все-таки не согласились оставить своих дочерей в полутоне.

Сегодня должен выехать из Москвы М. С. Щепкин. Ах, как бы он хорошо сделал, если бы выехал. Послезавтра я имел бы радость поцеловать моего старого, моего единственного друга!

21 декабря

Сегодня получил письмо от М. С. Щепкина⁵³⁹. Он сегодня выехал из Москвы, и послезавтра я обниму моего старого, моего искреннего друга. Как я счастлив этой нелицемерной дружбой! Не многим из нас Бог посылает такую полную радость, и весьма, весьма немногие из людей, дожив до семидесяти лет, сохранили такую поэтическую свежесть сердца, как Михайло Семенович. Счастливый патриарх-артист!

Сегодня же получил письмо от моей святой заступницы, от графини Настасии Ивановны Толстой⁵⁴⁰. Она пишет, что письмо мое, адресованное графу Федору Петровичу, на праздниках будет передано Марии Николаевне. И сообщает мне адрес Н. О. Осипова⁵⁴¹. Боже мой! Скоро ли я увижу мою Академию? Скоро ли обниму мою святую заступницу?

Спектакль с благотворительной целью сошел хорошо, кроме живых картин и народного гимна. Ниночка Пущина была очаровательна.

24 декабря

Праздникам праздник и торжество есть из торжеств! В три часа ночи приехал Михайло Семенович Щепкин.

29 декабря

В 12 часов ночи уехал от меня Михайло Семенович Щепкин. Я, Овсянников, Брылкин и Олейников⁵⁴² проводили моего великого друга до первой станции и ровно в три часа возвратились домой. Шесть дней, шесть дней полной, радостно-торжественной жизни! И чем я заплачу тебе, мой старый, мой единый друже? Чем я заплачу тебе за это счастье? За эти радостные, сладкие слезы? Любовью! Но я люблю тебя давно, да и кто, зная тебя, не любит? Чем же? Кроме молитвы о тебе, самой искренней молитвы, я ничего не имею.

30 декабря

Я все еще не могу прийти в нормальное состояние от волшебного, очаровательного видения. У меня все еще стоит перед глазами городничий, Матрос, Михайло Чупрун и Любим Торцов⁵⁴³. Но ярче и лучезарнее великого артиста стоит великий человек, кротко улыбающийся друг, мой единый, мой искренний, мой незабвенный Михайло Семенович Щепкин.

1858

1 января

Дружески весело встретил Новый год в семействе Н. А. Брылкина.

Как ни весело встретили мы Новый год, а придя домой, мне скучно сделалось. Поскучавши немного, отправился я в очаровательное семейство мадам Гильде, но скука и там меня нашла. Из храма Приапа⁵⁴⁴ пошел я к заутрени; еще хуже — дьячки с похмелья так раздирательно пели, что я заткнул уши и вышел вон из церкви. Придя домой, я нечаянно взялся за Библию, раскрыл, и мне попался лоскуток бумаги, на котором Олейников записал басню со слов Михайла

Семеновича. Эта находка так меня обрадовала, что я сейчас же принялся ее переписывать. Вот она:

На улице, и длинной, и широкой,
И на большом дворе стоит богатый дом.
И со двора разносится далеко
Зловоние кругом.

А виноват хозяин в том.

«Хозяин наш прекрасный, но упрямый, —
Мне дворник говорит, —
Раскапывать велит помойную он яму,
А чистить не велит».

Зачем раскапывать заглохшее дерьмо?

И не казнить воров, не предавать их сраму?

Не лучше ль облегчить народное ярмо
Да вычистить велеть помойную-то яму.

Сочинение этой басни приписывают московскому актеру Ленскому⁵⁴⁵. Это не похоже на водевильный куплет. Басня эта так благотельно на меня подействовала, что я, дописывая последний стих, уже спал.

Сегодня же познакомил я в семействе Брылкина милейшую Катерину Борисовну Пиунову (актрису). Она в восторге от этого знакомства и не знает, как меня благодарить.

Как благотельно подействовал Михайло Семенович на это милое и даровитое создание. Она выросла, похорошела, поумнела после «Москаля-чаривныка», где она сыграла роль Тетяны, и так очаровательно сыграла, что зрители ревели от восторга, а Михайло Семенович сказал мне, что она первая артистка, с которой он с таким наслаждением играл Михайла Чупруна, и что знаменитая Самойлова⁵⁴⁶ перед скромной Пиуновой — солдатка.

2 января

Обязательнейший Олейников сегодня сообщил мне стихотворение Курочкина на смерть Беранже⁵⁴⁷, но так скверно переписанное, что я едва мог прочесть. Прочитал, однако, и записал на память. Прекрасное, сердечное стихотворение.

16 ИЮЛЯ 1857 ГОДА

Зачем Париж волнуется опять?
На площадях и улицах солдаты,
Народных масс не может взор обнять,

Кому хотят последний долг воздать?
Чей это гроб и катафалк богатый?
Тревожный слух в Париже пролетел,
Угас поэт — народ осиротел.

Великая скатилась звезда,
Светившая полвека кротким светом
Над алтарем страданья и труда!
Простой народ простился навсегда
С своим родным учителем-поэтом,
Воспевшим блеск его великих дел.
Угас поэт — народ осиротел.

Зачем же блеск и роскошь похорон?
Мундиры войск и ризы духовенства?
Тому, кто жил так искренно, как он,
Певец любви, свободы и равенства,
Несчастливым льстил, но с сильными был смел,
Угас поэт — народ осиротел.

Зачем певцу напрасный фимиам?
И почестей торжественных забава?
Не быть ничем хотел он в жизни сам,
И в бедности нашла любимца слава.
И слух о нем далеко прогремел!
Угас поэт — народ осиротел.

Народ всех стран; страданье, труд
И сладких слез над звуками — отрада,
И в них, поэт, тебе великий суд!
Великому великая награда,
Когда, свершив завидный свой удел,
Угас поэт — народ осиротел.

3 января

Получил от Кулиша письмо со вложением 250 рублей⁵⁴⁸. Деньги эти выручены им за рисунки, которые я послал из Новопетровского укрепления Залесскому для продажи. Залесский передал их Сераковскому⁵⁴⁹, от Сераковского я не имел об них никакого известия и совершенно потерял их из виду. Не знаю, как они попали в руки Кулиша, и тот нашел им какого-то щедрого земляка-любителя, и мне как будто подарил 250 рублей к Новому году. Спасибо ему.

4 января

Весь день был посвящен писанию писем. Обязанность скучная, но неизбежная. Написал полдюжины посланий, в том числе и автору «Семейной хроники»⁵⁵⁰, приславшему мне с Михайлом Семеновичем экземпляр своей очаровательной хроники. Кулишу при письме послал свои «Неофиты». Интересно мне знать его мнение о сем новом моем произведении⁵⁵¹.

В 8 часов вечера проводил своего хозяина Овсянникова в Петербург и отправился на бал-маскарад к Варенцову, директору театра, и познакомился там с доктором Рейковским⁵⁵², ученым и весьма интересным человеком.

5 января

Возвратился почталион из Москвы, который сопровождал Михаила Семеновича. Привез мне от него письмо и четыре экземпляра своего портрета для раздачи своим нижегородским друзьям. Письмо свое заключает он печальным известием, полученным на пороге своего дома, о смерти сына Димитрия, умершего за границей⁵⁵³.

6 января

Пиунова сегодня в роли Простушки (водевиль Ленского)⁵⁵⁴ была такая милочка, что не только московским — петербургским, парижским бы зрителям в нос бросилась. Напрасно она румянится. Я ей скажу об этом. С роли Тетяны (в «Москали-чаривныку») она видимо совершенствуется, и, если замужество ей не попрепятствует, из нее выработается самостоятельная великая артистка.

7 января

Круликевич⁵⁵⁵, возвращаясь на родину из изгнания (с берегов Сыр-Дарьи), узнал случайно о моем пребывании в Нижнем и сегодня посетил меня. Между многими неинтересными степными новостями он сообщил отвратительно интересную новость. Побочный сын гнилого сатрапа Перовского собственноручно зарезал своего денщика, за что был только разжалован в солдаты; но мелкая душонка не вынесла и этого всемилостивейшего наказания: он вскоре умер или отравил себя⁵⁵⁶. Туда й дорога. Выходит, яблоко недалеко от яблони упало. Мать этого малодушного тигренка, жена какого-то паршивого барона Зальц и ку-

пленная б[...] растленного сатрапа Перовского, однажды, собираясь к обедне, рассердилась за что-то на горничную да ихватила ее утюгом в голову. Горничную похоронили, и тем дело покончил всемогущий сатрап. О Николай, Николай! Какие у тебя лихие сподручники были. По Сеньке шапка.

8 января

С сегодняшнего числа я занимаю две квартиры. Прежнюю — у Овсянникова и новую — у Шрейдерса. Остается наделать долгов, а спрятаться есть куда.

9 января

На новоселье у Шрейдерса нарисовал сегодня портрет Олейникова с условием, чтобы он написал фельетонную статейку для «Московских ведомостей»⁵⁵⁷ о пребывании М. С. Щепкина в Нижнем. Хорошо, если бы не соврал.

10 января

Нарисовал портрет Шрейдерса, и довольно удачно. Часть долга, значит, уплачена. Нужно еще нарисовать Фрейлиха и Кадинского, и тогда — квиты. Но когда это случится, не знаю.

11 января

Сегодня суббота. По субботам я и милейшая К. Б. Пиунова обедаем у М. А. Дороховой. Но сегодня я должен отказаться от этой радости, и моя милая компаньонка отправилась сам-друг с портретом М. С. Щепкина, присланным им в подарок Марье Александровне, а я поехал провожать до первой станции, по Казанской дороге, моего привлекательно-благородного капитана В. В. Кишкина.

Грустно расставаться с такими добрыми людьми, как этот симпатический Кишкин. Я, возвратившись домой, чувствовал себя совершенным сиротой. Но тягостное мое одиночество недолго длилось. Я вскоре вспомнил, что я один из счастливцев мира сего. М. С. Щепкин, уезжая из Нижнего, просил меня полюбить его милую Тетясю, т. е. Пиунову, и я буквально исполнил его дружескую просьбу. А сегодня, прощаясь со мной, Кишкин со слезами на глазах просил меня полюбить его кроткую любимицу Вареньку Остафьеву⁵⁵⁸. И после таких милых обязанностей я скучаю. Дурень,

дурень, а в школы вчився. Остафьева выехала куда-то из города, и я в 6 часов вечера отправился к Пиуновой. Застал ее дома. Продиктовал ей стихи Курочкина «Как в наши лучшие года», а она прочитала мне некоторые вещи Кольцова и потом чуть-чуть не все басни Крылова. Я в восторге был от этого импровизированного литературного вечера и пришел домой совершенно счастлив. Она любит чтение, значит, она далеко пойдет в своем искусстве. Дай Бог, чтобы сбылось мое пророчество.

12 января

Не ради воскресенья и светского пошлого визита пошел я к П. М. Голынской (племянница здешнего губернатора), а по просьбе моего искреннего Михайла Семеновича пошел передать ей его портрет и приятельский поклон. В огромной гостиной старушку Шаховскую⁵⁵⁹ и Голынскую окружали столь холодные, официальные, чопорные фигуры, что после приветствия и самого коротенького присеста и на меня пахло холодом от этой честной компании. Вышел сам губернатор⁵⁶⁰, я поздравил его с получением через плечо Анны, раскланялся и вышел вместе с А. Э. Бабкиным⁵⁶¹. Заехал к Бабкину на квартиру, взял у него Пушкина и Гоголя и повез к Пиуновой. Прочитал ей «Сцены из рыцарских времен»⁵⁶² и отогрел губернаторским холодом обвеянную душу. Она прочитала мне «Каменного гостя»⁵⁶³, и потом мы поехали к Брылкиным обедать. После обеда М. А. Грас⁵⁶⁴ повезла ее в театр, куда последовал и я, совершенно доволен таким теплым, прекрасным окончанием холодно начавшегося дня.

13 января

Бабкин подарил мне прекрасную акватинту, изображающую смерть Людовика XVI, а я сегодня, за это назидательное изображение, изобразил его собственную персону, и довольно удачно. Вечер провел у милейшего юноши, виртуоза виолончелиста Весловского⁵⁶⁵, и, возвратясь домой, нашел у себя на столе письмо Сергея Тимофеевича Аксакова. Самое любезное, самое сердечное письмо.

В заключение любезностей он пишет, что «Матрос» мой наконец пошел в ход — он передал его Каткову, редактору «Русского вестника»⁵⁶⁶. В ожидании будущих благ принимаюсь переписывать вторую часть «Матроса».

14 января

Сегодня случайно зашел я к Пиуновой. Речь зашла о конце ее театрального года, о возобновлении контракта. Ей, бедняжке, ужасно не хочется оставаться в Нижнем, а не знает, куда девать себя. В Казань ей и хотелось бы, но она боится там какой-то Прокофьевой, не соперницы, но ужасной интриганки. В таком ее горе я предложил ей посильные услуги. Я напишу письмо директору Харьковского театра и буду просить Михаила Семеновича Щепкина о ее заступничестве. Как бы это хорошо было, если б удалось ей переселиться в Харьков.

15 января

Не откладывая в длинный мешок, сегодня же я написал и директору Харьковского театра⁵⁶⁷, и моему великому другу. Каков-то будет результат из моих нехитрых затей?

16 января

Только что хотел заключить письмо моему великому другу, да вспомнил, что сегодня не почтовый день. Оставил послание и принялся за «Матроса». Несносно скучная работа. Литераторам должны платить не за писание, а за переписывание собственных произведений.

Вечером возвратился я из театра и нашел у себя письмо моего гениального друга⁵⁶⁸. И хорошо, что я своего письма не кончил. Между прочим он пишет мне, что рисунки мои он уж пустил в ход. Спасибо ему, неутомимому.

17 января

Окончил неоконченное письмо⁵⁶⁹, отправил на почту и принялся за «Матроса». Несносная работа, когда я ее кончу?

18 января

К немалому моему удивлению, сегодня встретил я у Брылкина давнишнего и нелицемерного своего поклонника В. Н. Погожева⁵⁷⁰. Он здесь по делам службы и завтра едет в Москву.

19 января

Сегодня повторилась моя любимица в роли Тетяны. Очаровательна, как и в первый раз. Но Климовский в роли Чупруна и по выговору, и по мимике — вандал. Лапти плел, варвар, и только мешал моей милой Тетяси.

20 января

Проводил в Петербург доктора Кутерема⁵⁷¹, Кебера, Шрейдерса, Фрейлиха и Н. А. Брылкина — в Казань и на компанейский завод близ Казани. Сегодня у меня день провод.

21 января

Бенефис милочки Пиуновой. Полон театр зрителей и очаровательная бенефициантка, — прекрасная тема для газетной статейки. Не попробовать ли? Попробуем наудалую⁵⁷².

22 января

Проездом из Петербурга в Вятку⁵⁷³ на службу посетил меня сегодня Яков Лазаревский⁵⁷⁴. Он недавно из Малороссии. Рассказал о многих свежих гадостях в моем родном краю, в том числе и о грустном Екатеринославском восстании 1856 года⁵⁷⁵, и про своего соседа и родственника Н. Д. Белозерского⁵⁷⁶. Этот филантроп-помещик так оголил своих крестьян, что они сложили про него песню, которая кончается так:

А в нашего Білозера
Сивая кобила, —
Бодай же його побила
Лихая година.
А в нашего Білозера
Червоная хустка, —
Ой не одна в селі хата
Осталася пустка.

Наивное, невинное мщение!

23 января

«Дочь второго полка» — глупейшее произведение Доницетти⁵⁷⁷. Либретто тоже нелепо и неестественно. Покойному нашему Тормозу, надо думать, очень нравилось это топорное произведение. Да не по его ли заказу оно и родилось на свет Божий? При нем, я помню, когда-то в Петербурге оперетка эта исполнялась с большей дисциплиной. Теперь она и это существенное свое достоинство утратила. Что бы сказал на это Тормоз? Он бы Гедеонова⁵⁷⁸ на месяц на гауптвахту упрятал.

Старуха Шмитгоф⁵⁷⁹ в роли Марии безобразна, а мой любимец Владимиров в роли старика, дворецкого маркизы, был тоже безобразен.

24 января

Получил письма от Кулиша и от М. Лазаревского⁵⁸⁰.

25 января

Получил письмо от Костомарова с выговором за молчание⁵⁸¹. Я действительно виноват перед ним на сей раз. Но что писать? О чем писать? Что я здесь скучаю и ничего не делаю? И не могу, наконец, ничего делать. Лучше молчать, нежели переливать из пустого в порожнее.

26 января

Встретил Масленицу катанием за город. Я предложил это удовольствие милейшей Пиуновой с семейством. Она согласилась. И мы поехали в село Бор⁵⁸², напились чаю в каком-то кабаке, и на обратном пути она все пела известную свадебную или святочную песню:

Меня миленькой он журил-бранил,
Он журил-бранил, добром говорил,
Ай люли-люли, выговаривал,
Не ходи, девка молода, замуж,
Наберись, девка, ума-разума,
Ума-разума да сундук добра,
Да сундук добра, коробок холста.

Жидовское начало в русском человеке. Он без приданого не может даже полюбить.

27 января

В церкви Покрова⁵⁸³ отпели тело Д. А. Улыбашева⁵⁸⁴, знаменитого критика и биографа Бетговена и Моцарта.

28 января

Николай Петрович Болтин, губернский дворянский предводитель⁵⁸⁵, изъявил желание познакомиться со мною. Я удовлетворил его любезному желанию и не раскаиваюсь. Он человек здраво и благородно мыслящий, горячо сочувствующий вопросу о крепостных крестьянах и усердно хлопочет о составе комитета, который должен порешить это дело в Нижегородской губернии.

29 января

Аляповатый бенефис г-жи Васильевой и сплетни.

30 января⁵⁸⁶

Любимая и многоуважаемая Катерина Борисовна!

Я сам принес вам книги и принес их с тем, чтобы вы их прочитали. Но вы, не прочитавши их, прислали мне назад. Как объяснить мне ваш поступок? Он ставит меня решительно в тупик, особенно если принять в соображение наш сегодняшний разговор. Уж не ответ ли это на мое предложение? Если это так, то я прошу вас высказать мне его яснее. Дело слишком для меня важно. Я вас люблю и говорю это вам прямо, без всяких возгласов и восторгов. Вы слишком умны для того, чтобы требовать от меня пылких изъяснений в любви, я слишком люблю и уважаю вас, чтобы употреблять в дело пошлости, так принятые в свете. Сделаться вашим мужем для меня величайшее счастье и отказаться от этой мысли будет трудно. Но если судьба решила иначе, если я имел несчастье не понравиться вам и если возвращенные мне вами книги выражают отказ, то, нечего делать, я должен покориться обстоятельствам. Но во всяком случае ни чувства мои, ни уважение к вам не изменятся, и если вы не можете или не хотите быть моей женою, то позвольте мне оставить себе хоть одно утешение — остаться вашим другом и постоянною преданностью и почтительностью заслужить ваше доброе расположение и уважение.

В ожидании ответа, который должен решить мою участь, остаюсь преданный вам и глубококолюбящий

Тарас Шевченко

31 января

Я совершенно не годюсь для роли любовника. Она, вероятно, приняла меня за помешанного или просто за пьяного и вдобавок за мерзавца. Как растолковать ей, что я ни то, ни другое, ни третье и что не пошлый театральный любовник, а искренний, глубоко сердечный ее друг. Сам я ей этого не умею рассказать. Обращусь к моему другу М. А. Дороховой. Если и она не вразумит ее, тогда я самый смешной и несчастный жених.

1 февраля

Получил письмо от М. С. Щепкина с двумястами рублей и с самой сердечной готовностью переселить мою прекрасную невесту в Харьков. Он желает знать ее условия, а она

не желает свидания со мной. Но так как это свидание не любовное, а деловое, то оно и необходимо. Делать нечего, принимаюсь опять за послание.

2 февраля

Дело мое не так плохо, как я думал. Она приняла мое внезапное предложение за театральную сцену. Настоящая актриса, она во всем видит свое любимое искусство, даже во мне она открыла сценического артиста тогда, когда я менее всего был похож на актера. Я действительно тогда был похож на помешанного или, скорее, на пьяного, а она, бедняжка, приняла меня за лицедея. Но перемелется — мука́ будет.

Все это объяснил мне ее отец, который явился на мое приглашение по поводу письма Михайла Семеновича. Старик не высказал прямо своего мнения насчет моего сватовства, но согласился со мною, что ей необходимо чтение, и взял у меня «Губернские очерки»⁵⁸⁷ и несколько ливрезонов⁵⁸⁸ Гогарта⁵⁸⁹. Добрый знак.

В заключение спектаклей дана была драма «Парижские нищие»⁵⁹⁰. Роль Антуанетты исполнила она, и исполнила лучше, нежели в первый раз, но я не аплодировал. А почему, и сам не знаю. Мне казалась она выше всяких аплодисментов. Но я этого никому не сказал.

3 февраля

Ниночка Пушина именинница. Вчера я уведомил Пиунуву об этом, с намерением увидеться и поговорить с нею, но политика мне не далась. Возлюбленная моя явилась, поздравила именинницу и через полчаса уехала, и я успел, и то уже в передней, пожать и поцеловать ее руку и не проговорить ни слова. Лукавое создание! Теперь я тебе не западню, а капкан поставлю. Посмотрим, кто кого перехитрит?

Тут же при ней прочитал я вслух уже напечатанную статью собственного изделия о ее бенефисе. Быть может, ей не понравилось мое нельстивое рукоделие, и она поторопилась уехать. Да не плюнуть ли мне на эту сердечную затею? Не плюй в колодец, придется воду пить.

4 февраля

Лучше хоть что-нибудь, нежели ничего. Другой день нет спектаклей, бедных нижегородских спектаклей. И будто чего-то необходимого недостает.

5 февраля

Я видел ее во сне. К добру ли это? Будто бы она слепая нищая, но такая молодая и хорошенькая. Стоит у какой-то ограды или забора и протягивает руку Христа ради. Я хотел подойти с какою-то мелкою монетою, но она внезапно исчезла. Это продолжение роли Антуанетты. Ничего больше.

Вечером был у Татарина. Белов⁵⁹¹ и Татарин играл в четыре руки увертюру из «Вильгельма Телля» и из «Фрей-шица»⁵⁹², а потом некоторые вещи духовного содержания Гайдена⁵⁹³. Божественный Гайден! Божественная музыка!

После музыки зашла речь о театре и о таланте моей возлюбленной Пиуновой. Сначала слушал я с удовольствием расточаемые ей похвалы, но потом так мне грустно стало, что я хотел уйти. Что бы это значило? Не ревность ли? Глупо, нелепо ревновать актрису к зрителям, ее истинный любовник должна быть публика, а муж — друг.

В заключение вечера хозяин прочитал нам песню Беранже, переведенную Ленским, под названием «Старый холостяк»⁵⁹⁴. Мне она очень понравилась, потому, может быть, что я, если не одружуся с моей возлюбленной артисткой, должен буду вступить в эту непочтенную категорию.

СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК

(Беранже)

Десятый час, пора на боковую,
Маланьюшка, поди ко мне, душа;
Сем, я тебя разочек поцелую...
Кухарочка, а как ведь хороша!
Мне кажется, ты видишь и по взгляду,
Что стал бодрей я в эти шесть недель...
Свари-ка мне с ванилью шоколаду
Да приготовь мою постель.

Маланьюшка, ты не дивись нимало,
Что я хочу служанкой быть любим:
Я в старину ухаживал бывало
За личком — дрянь перед твоим.
Что есть любовь, пять лет не знал я сряду,
А прежних чувств все не проходит хмель.
Свари-ка мне с ванилью шоколаду
Да приготовь мою постель.

Дружочек, будь со мною без отлучки.
Ты с этих пор на кухне не слуга,
И можно ли, чтоб щечки, ручки
Коптились весь день у очага.
Я дам тебе хорошую награду,
Одену так, как лучшую мамзель...
Свари-ка мне с ванилью шоколаду
Да приготовь мою постель.

Что слышу я? Опять ответ всегдашний:
«Да полноте! Как можно! Стыд какой!»
Сударыня, я знаю ваши шашни
С Петрушкою, племянника слугой!..
В знакомстве с ним ни складу нет, ни ладу.
Того смотри, что сядешь тут на мель...
Свари-ка мне с ванилью шоколаду
Да приготовь мою постель.

Маланьюшка! Ты на мое желанье
Без дальних слов должна бы отвечать,
Вот, видишь ли, я скоро завещанье
Духовное намерен написать.
Чем приводить хозяина в досаду,
Пойми, мой друг, его благую цель...
Свари-ка мне с ванилью шоколаду
Да приготовь мою постель.

А! Наконец мои приятны ласки...
Но... Как я слаб!.. Проклятие судьбе!..
Не плачь, душа: я не боюсь огласки
И немощен женюсь на тебе.
Пожалуйста, в крови моей прохладу
Хоть как-нибудь поразогрей, мамзель...
Свари-ка мне с ванилью шоколаду
Да приготовь мою постель.

6 февраля

М. А. Дорохова сегодня репетировала предстоящий акт выпускным своим юным питомицам. Юные питомицы в зеленых платицах и белых пелеринках числом⁵⁹⁵ чинно сидели на скамейках, вроде театральных зрителей, и благоговейно внимали, как их досужие подруги исполняли на фортепиано руколомные пьесы. Между прочим, была исполнена на двух

инструментах, весьма недурно, увертюра из «Вильгельма Телля». Потом прочитаны стихи по-французски, по-немецки и в заключение девица Беляева⁵⁹⁶ прочитала русские стихи собственного сочинения на тему — благодарность за воспитание. Для ее возраста стихи хороши, за что я ей обещался подарить сочинения И. Козлова⁵⁹⁷, если найду в Нижнем. В заключение пропет был хором так называемый народный гимн, и репетиция тем кончилась.

Все это обыкновенно дурно, но вот что отвратительно. В залах института, кроме скамеек и грозного лубочного изображения самодержца, ни одной картины, ни одной гравюры. Чисто, гладко, как в любом манеже. Где же эстетическое воспитание женщины? А оно для нее, как освежающий дыхание воздух, необходимо. Душегубцы.

После этой театральной репетиции зашел к Марье Александровне. Встретил у нее старого моего знакомого, некоего г. Шумахера⁵⁹⁸. Он недавно возвратился из-за границы и привез с собою 4 № «Колокола»⁵⁹⁹. Я в первый раз сегодня увидел газету и с благоговением облобызал.

7 февраля

Сегодня получил письмо, да еще страховое, от директора Харьковского театра. Он весьма любезно просит меня сообщить ему условия Пиуновой и ее самое поторопить приездом. Сердечно рад, что мне удалось это дело. Вечером пошел я обрадовать ее этим любезным письмом и поговорить окончательно об условиях и о времени выезда в Харьков. Ее самой не застал дома, а глупая мамаша⁶⁰⁰ так меня приняла, что я едва ли когда-нибудь решусь переступить порог моей милой протее. Необходимо прибегнуть к письменным объяснениям.

8 февраля

Она прислала за мной, чтобы объясниться по поводу харьковского предложения. Я, разумеется, охотно согласился на это деловое свидание, имея в виду и любовное. Но увы! Старая ворчунья мамаша одного шагу не ступила из комнаты, и я должен был ретироваться с одними поручениями. Она предпочитает с отцом ехать в Харьков. Это стеснит ее денежные средства, потому что отец должен оставить контору, от которой получает 30 рублей в месяц. Но, вероятно, мамаша и ей навязла в зубах.

9 феврала

После беспутно проведенной ночи я почувствовал стремление к стихословию, попробовал и без малейшего усилия написал эту вещь. Не следствие ли это раздражения нервов?

I

ДОЛЯ

Ти не лукавила зо мною,
Ти другом, братом і сестрою
Сіромі стала. Ти взяла
Мене, маленького, за руку
І в школу хлопця одвела
До п'яного дяка в науку.
«Учися, серденько, колись
З нас будуть люде!» — ти сказала.
А я й послухав, і учивсь,
І вивчився. А ти збрехала.
Які з нас люде? Та дарма!
Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.
Ходімо ж, доленько моя,
Мій друже щирий, нелукавий!
Ходімо дальше: дальше слава,
Ходімо ж, доленько моя.

II

МУЗА

І ти, пречистая, святая,
Ти, сестро Феба молодая!
Мене ти в пелену взяла
І геть у поле однесла;
І на могилі серед поля,
Як тую волю на роздоллі,
Туманом сивим сповила.
І колихала, і співала,
І чари діяла... І я...
О чарівниченько моя!
Мені ти всюди помагала,

І всюди, зоренько моя,
Ти не марніла, ти сіяла!
В степу безлюднім, в чужині,
В далекій неволі
Ти в кайданах пишалася,
Як квіточка в полі.
Із казарми смердячої
Чистою, святою
Вилетіла, як пташечка,
І понадо мною
Полинула, заспівала,
Моя сизокрила...
Мов живущою водою
Душу окропила.

І я живу, і надо мною
Своєю Божою красою
Витаєш ти, мій херувим,
Золотокрилий серафим,
Моя порадонько святая!
Моя ти доле молодая!
Не покидай мене; вночі,
І вдень, і ввечері, і рано
Витай зо мною... і учи,
Учи неложними устами
Хвалити правду. Поможі
Молитву діяти до краю...
А як умру, моя святая,
Моя ти мати, положи
Свого ти сина в домовину...
І хоть єдиную сльозину
В очах безсмертних покажи.

III

СЛАВА

А ти, задрипанко, шинкарко,
Перекупко п'яна!
Де ти в ката забарилась
З своїми лучами?
У Версалі над злодієм
Набор розпустила?

Чи з ким іншим мизкаєшся
З нудьги та з похмілля?
Горнись лишень коло мене,
Та вітнемо з лиха,
Гарнесенько обіймемось
Та любо та лихо
Пожартуєм, чмокнемося
Та й поберемося,
Моя крале мальована.
Бо я таки й досі
Коло тебе мизкаюся.
Ти хоча й пишалась
І з п'яними королями
По шинках шаталась,
І курвила з Миколою
У Севастополі...
Та мені про те байдуже.
Мені, моя доле,
Дай на себе надивитись,
Дай і пригорнутись
Під крилом твоїм, і любо
З дороги заснути.

10 феврала

Получил письмо от кошевого батька Я. Кухаренка от 7 августа. Оно из Екатеринодара прогулялось через Новопетровское укрепление и Оренбург и только сегодня достигло своей цели. А все-таки лучше позже, нежели никогда. Кухаренко не знал о моей резиденции. А я не знал, как растолковать себе его молчание. А теперь все объяснилось.

И. А. Усков из Новопетровского укрепления пишет, что у них все обстоит благополучно⁶⁰¹. Не завидую вашему благополучию.

В. Н. Погожев пишет из Владимира⁶⁰², что он на днях виделся в Москве с М. С. Щепкиным и что он ему читал наизусть какую-то мою «Пустку»⁶⁰³. Совершенно не помню этой вещи. А слышу о ней уже не в первый раз.

11 феврала

М. С. Щепкин с сокрушением сердца пишет мне о моем безалаберном и нетрезвом существовании⁶⁰⁴. Интересно

бы знать, из какого источника он почерпнул эти сведения. Стало быть, и у меня не без добрых людей. Все же лучше, нежели ничего.

Благодарю тебя, мой старый, мой добрый, но чем тебя разуверить, не знаю.

Далее он пишет о перемещении Пиуновой в Харьков. Он сомневается, чтобы ей дали там требуемое ею содержание. Будет досадно, если не состоится это перемещение. Подождем, что скажет Иван Александрович Щербина.

Боже мой, как бы мне хотелось вырвать ее из этой тухлой грязи.

12 февраля

Сегодня нарисовал портрет Кадинского. Остается нарисовать Фрейлиха — и квиты.

14 февраля

Кончил наконец вторую часть «Матроса». Переписывание — это самая несносная работа, какую я когда-либо испытывал. Она равняется солдатскому учению. Нужно будет прочитать еще это рукоделие, что из него выйдет? Как примет его С. Т. Аксаков?⁶⁰⁵ Мне ужасно хочется ему нравиться, и только ему. Странное чувство!

15 февраля

Приглашал запиской свою мучительницу обедать у М. А. Дороховой. Сказалась больной, несносная лгунья. Мне необходимо с ней поговорить наедине до выезда из Нижнего, а как это устроить, не придумаю. Писать не хочется, а, кажется, придется писать. Опять видел ее во сне слепую нищею, только уже не у церковной ограды, как в первый раз, а в живой картине, в малороссийской белой свитке и в красном очипке.

16 февраля

Отправивши на почту письма Кухаренку и Аксакову, зашел в собор⁶⁰⁶ послушать архиерейских певчих. Странно, или это с непривычки, или оно так есть. Последнее вернее. В архиерейской службе с ее обстановкою и вообще в декорации мне показалось что-то тибетское или японское. И при этой кукольной комедии читается Евангелие. Самое подлое противуречие.

Нерукотворенный чудовищный образ, копия с которого меня когда-то испугала в церкви Георгия. Подлинник этого индийского безобразия находится в соборе и замечателен как древность⁶⁰⁷. Он перенесен из Суздаля князем Константином Васильевичем в 1351 году⁶⁰⁸. Очень может быть, что это оригинальное византийское чудовище.

Вечером были живые картины в театре, которые я не пошел смотреть, несмотря даже на то, что в них участвовала моя несравненная. Я боялся увидеть византийский стиль в этих картинах. Опасения мои основательны. Г. Майоров⁶⁰⁹ малейшего понятия не имеет в этом простом деле. В театральном кафе, или, как его здесь называют, в кабаке, встретил старика Пиунова, которому, как он мне сказал, очень бы хотелось, чтобы его Катя что-нибудь прочитала в следующее воскресенье на сцене. Я обещал порыться в российской поэзии. Порылся. И выбор мой пал на последнюю сцену из «Фауста» Гете, перевод Губера⁶¹⁰. Она прочитает хорошо, только нужно будет одеть ее сообразно с местом и временем. Жаль, что нет под рукой Реча⁶¹¹. Да достану ли еще и книгу Губера в этом затхлом городе?

17 февраля

Не без труда, однако же, достал «Фауста» Губера. Послал книгу моей артистке и часа через три являюсь к ней в полной уверенности, что она уже наизусть читает роль Маргариты. Ничего не бывало. Она нашла почему-то неудобной эту сцену для чтения. На зов матери вышла из комнаты, а я полчаса проболтал с отцом и ушел, как несолоно хлебал. Замечательная простота нравов.

18 февраля

Проездом из Киева в Иркутск посетили меня земляки мои Волконский⁶¹² и Малюга⁶¹³. Они едут в звании медиков заслуживать казне за воспитание. Какая нелепость посылать молодых медиков в такую даль от центра просвещения! Где средства на будущее развитие? Варварство!

Малюга сообщил мне, что Марко Вовчок — псевдоним некоей Маркович⁶¹⁴ и что адрес ее можно достать от Данила Семеновича Каменецкого⁶¹⁵, поверенного Кулиша в Петербурге. Какое возвышенно прекрасное создание эта женщина. Не чета моей актрисе. Необходимо будет ей написать письмо и благодарить ее за доставленную радость чтением ее вдохновенной книги.

19 февраля

В шесть часов утра приехал Шрейдерс из Петербурга, привез мне письмо от Лазаревского⁶¹⁶, песни Беранже Курочкина⁶¹⁷ и четыре экземпляра моего портрета, фотографированного с моего же рисунка.

В 12 часов в зале дворянского собрания происходило торжественное открытие комитета, собранного для окончательного решения свободы крепостных крестьян. Великое это начало благословлено епископом⁶¹⁸ и открыто речью военного губернатора А. Н. Муравьева, речью не пошлою, официальною, а одушевленною, христианскою, свободою речью. Но банда своекорыстных помещиков не отозвалась ни одним звуком на человеческое святое слово. Лакеи! Будет ли напечатана эта речь? Попрошу М. А. Дорохову, не может ли она достать копию.

20 февраля

Один экземпляр моего нерукотворенного образа подарил М. А. Дороховой, он ей не понравился: выражение находит слишком жестким. Просил достать копию речи Муравьева, обещала.

21 февраля

Писал Лазаревскому⁶¹⁹, чтобы он свои письма ко мне адресовал на имя М. С. Щепкина в Москву.

Начал переписывать свою поэзию для печати, писанную с 1847 года по 1858 год. Не знаю, много ли выберется из этой половины доброго зерна?

22 февраля

Третий раз вижу ее⁶²⁰ во сне, и все нищею. Это уже не вследствие роли Антуанетты, а вследствие каких данных — не уразумею. Сегодня представилась мне она грязною, безобразною, оборванною, полунагою и все-таки в мало-российской свитке, но не в белой, как прежде, а в серой, разорванной и грязью запачканной. Со слезами просила у меня и милостыни, и извинения за свою невежливость по случаю «Фауста» Губера. Я, разумеется, простил ее и в знак примирения хотел поцеловать, но она исчезла. Не предсказывают ли эти ночные грезы нам действительную нищету?

23 февраля

Сон в руку. Возвращаясь с почты, зашел я к Владимирову и услышал, что моя возлюбленная Пиунова, не дождавшись письма из Харькова, заключила условие с здешним новым директором театра, с г. Мирцовым⁶²¹. Если это правда, то в какие же отношения поставила она меня и Михайла Семеновича со Щербиною? В отвратительные!

Вот она где, нравственная нищета, а я боялся материальной. Дружба врозь, и черти в воду. Кто нарушил данное слово, для того клятва не существует.

24 февраля

Получил письмо от Кулиша⁶²² с дороги в Бельгию, с хутора Матроновки около Борзны⁶²³. Он предлагает мне рисовать сцены из малороссийской истории, из песен и из современного народного быта. Рисунки, которые бы можно было вырезать на дереве, печатать в большом количестве, раскрашивать и продавать по самой дешевой цене. Мысль его та, чтобы заменить в нашем народе суздальское изделие. Прекрасная, благородная мысль, но она может осуществиться только при больших деньгах и принести даже материальную пользу. Теперь я не могу приняться за такую работу. Для этого нужно жить постоянно в Малороссии, чтобы была разница между моими рисунками и суздальскими. И потому еще, что я не теряю надежды быть в Академии и заняться любимой акватинтой.

Я так много перенес испытаний и неудач в своей жизни, казалось бы, пора уже освоиться с этими мерзостями. Не могу. Случайно встретил я Пиунову, у меня не хватило духу поклониться ей. А давно ли я видел в ней будущую жену свою, ангела-хранителя своего, за которого готов был положить душу свою? Отвратительный контраст. Удивительное лекарство от любви — несамостоятельность. У меня все как рукой сняло. Я скорее простил бы ей самое бойкое кокетство, нежели эту мелкую несамостоятельность, которая меня, а главное, моего старого знаменитого друга поставила в самое неприличное положение. Дрянь госпожа Пиунова! От ноготка до волоска дрянь!

Завтра Кудлай едет во Владимир, попрошу его взять и меня с собой. Из Владимира как-нибудь доберусь до Никольского и в объятиях моего старого искреннего друга, даст Бог, забуду и Пиунову, и все мои горькие утраты и неудачи.

Отдохну и на досуге займусь перепиской для печати моей невольничьей поэзии. А сегодня перепишу чужую, не поэзию, но довольно удачные стишки, посвященные памяти неудобозабываемого фельдфебеля.

Когда он в вечность преселился,
Наш незабвенный Николай,
К Петру апостолу явился,
Чтоб дверь ему он отпер в рай.
— Ты кто? — спросил его ключарь.
— Как кто? Известно, русский царь.
— Ты царь? Так подожди немного;
Ты знаешь, в рай тесна дорога
И узки райские врата,
Смотри, какая теснота!
— Что ж это все за сброд?
— Простой народ!
Аль не узнал своих? Ведь это россияне,
Твои бездушные дворяне,
А это — вольные крестьяне.
Они все по миру пошли
И нищими к нам в рай пришли.
Тогда подумал Николай:
«Так вот как достается рай!»
И пишет сыну: «Милый Саша!
Плоха на небе участь наша.
И если подданных своих ты любишь,
То их богатства поубавь,
А если хочешь в рай ввести,
То всех их по миру пусти»⁶²⁴.

25 февраля

В 7 часов утра получил письмо Лазаревского⁶²⁵. Он пишет, что мне дозволено приехать и жить в Петербурге. Лучшего поздравления с днем ангела⁶²⁶ нельзя желать.

В три часа собрались к обеду Н. Брылкин, П. Брылкин⁶²⁷, Грас, Лапа, Кудлай, Кадинский, Фрейлих, Климовский, Владимиров, Попов, Товбич⁶²⁸. За обедом было и шумно, и весело, и изящно, потому что компания была единодушна, проста и в высокой степени благородна. За шампанским я сказал спич: сначала поблагодарил гостей моих за сделанную мне честь и в заключение прибавил, что я не буду на Бога

в претензии, если буду встречать всюду таких добрых людей, как они, теперь сущие со мною, и что память о них навсегда сохраню я в моем сердце.

Праздник мой совершился в квартире добрейшего К. Шрейдерса.

Вечером пошел я проводить отъезжающего в Петербург Климовского, с которым предполагал и сам отправиться в гости к М. С. Щепкину, но письмо Лазаревского меня вовремя остановило.

26 февраля

Товбич предложил мне прогулку за 75 верст от Нижнего. Я охотно принял его предложение, с целью сократить длинное ожидание официального объявления о дозволении жить мне в Питере. Мы пригласили с собой актера Владимирова и некую девицу Сашу Очеретникову, отчаянную особу. Скверно пообедали на мой счет в трактире Бубнова и пустились в дорогу.

27 февраля

В селе Медновке⁶²⁹, цели поездки Товбича, пробыли мы до 8 часов вечера. Тут встретился я с путевым капитаном Петровичем⁶³⁰, приехавшим туда по одному делу с Товбичем. Петрович по происхождению серб, образованный, прямой и сердечный человек, хорошо разумеющий и глубоко сочувствующий всему современному. Мне больно, что я прожил столько времени в Нижнем и только сегодня встретился с этим редким человеком.

28 февраля

В 7 часов утра возвратились мы благополучно в Нижний. Поездка наша была веселая и не совсем пустая. Саша Очеретникова была отвратительна, она немилосердно пьянствовала и отчаянно на каждой станции изменяла, не разбирая потребителей. Жалкое, безвозвратно потерянное, а прекрасное создание. Ужасная драма!

1 марта

На имя здешнего губернатора от министра внутренних дел получена бумага о дозволении проживать мне в Петербурге, но все еще под надзором полиции. Это работа старого распутного японца Адлерберга⁶³¹.

2 марта

Получил письмо от графини Н. И. Толстой⁶³². Она пишет, что ее сердечное желание наконец исполнилось и что она с нетерпением ждет меня к себе. Доброе, благородное создание! Чем я воздам тебе за добро, которое ты для меня сделала? Молитвою, бесконечною молитвою!

Овсянников просит, чтобы подождать его здесь до 7 числа. Подожду. А если он обманет, прокляну и без денег уеду.

3 марта

Давно ожидаемую книгу «Детство Багрова внука» сегодня получил с самою лестною надписью сочинителя⁶³³. Книга была послана из Москвы 7 февраля и пролежала до сегодня у сухого Даля. Могла бы и навсегда остаться у него, если бы я сегодня случайно не зашел к нему и не увидел ее. Он извиняется рассеянностью и делами. Чем хочешь извиняйся, а все-таки ты сухой немец и большой руки дрянь. И что вздумалось Сергею Тимофеевичу делать моим комиссионером Даля, тогда как ему мой адрес известен? Не думал ли он через это познакомить меня с ним? Добрейший Сергей Тимофеевич!

4 марта

В ожидании Овсянникова и полицейского пропуска в Питер принялся переписывать «Видьму» для печати. Нашел много длинного и недоделанного. И слава Богу, работа сократит длинные дни ожидания.

5 марта

Послал письмо графине Н. И. Толстой. Писал ей, что 7 числа в 9 часов вечера оставлю Нижний Новгород. Сбудется ли это? Это будет зависеть от Овсянникова, а не от меня. Глупо.

Продолжаю работать над «Видьмою».

6 марта

Я слишком плотно принялся за свою «Видьму», так плотно, что сегодня кончил, а работы было порядочно, и, кажется, порядочно кончил. Переписал и слегка поправил «Лилею» и «Русалку». Как-то примут земляки мои мою невольническую музу?

Часов в 7 вечера явился ко мне жандармский унтер-офицер и предложил довезти меня за 10 рублей до Москвы. Сердечно благодарен за предложение. Он отвозил в Вятку какого-то непокорного отцу своему капитана Шлипенбаха⁶³⁴. И на обратном пути искал себе попутчика и нашел меня в Нижнем. Еще раз спасибо ему.

Условившись в цене и времени выезда, я пошел к Кудлаю поторопить его насчет полицейского пропуска. Кудлая не застал дома и по дороге зашел к Вильде⁶³⁵, где встретил Татаринова, мамзелей Шмитгоф и брата их, молодого, весьма талантливую скрипача и сценического артиста⁶³⁶. После ужина хозяин, прощаясь со мной, подарил мне на память несколько миниатюрных медальонов, копии с известных скульптурных произведений древних и новых, сделанных разными художниками. Милый и умный подарок.

7 марта

От часу пополудни до часу пополуночи прощался с моими нижегородскими друзьями. Заключил расставанье у М. А. Дороховой ужином и тостом за здоровье моей святой заступницы графини А. И. Г о л с т о й.

10 марта

В три часа пополудни 8 марта оставил Нижний на санях, а во Владимир⁶³⁷ приехал 9-го ночью на телеге. Кроме этого весьма обыкновенного явления в настоящее время года, ничего особенного не случилось, кроме легкого воспаления в левом глазе и зуда на лбу. Во Владимире я взял розовой воды и думал все покончить этим ароматическим медикаментом. А вышло не так, как я думал.

Во Владимире на почтовой станции встретил А. И. Бутакова⁶³⁸, под команду которого плавал я два лета 1848 и 49 по Аральскому морю. С тех пор мы с ним не видались. Теперь он едет с женою⁶³⁹ в Оренбург, а потом на берега Сыр-Дарьи. У меня при одном воспоминании об этой пустыне сердце холодеет, а он, кажется, готов навсегда там поселиться. Понравилась сатана лучше ясна сокола.

В 11 часов вечера приехал в Москву. Взял номер за рубль серебра в сутки в каком-то великолепном отеле и едва мог добиться чаю, потому что уже было поздно! О Москва! О караван-сарай! Под громкою фирмою — отель. Да еще и со швейцаром.

11 марта

В 7 часов утра оставил я караван-сарай со швейцаром и пустился отыскивать своего друга М. С. Щепкина. Нашел его у старого Пимена⁶⁴⁰ в доме Щепотьевой⁶⁴¹ и у него поселился, и, кажется, надолго, потому что глаз мой распух и покраснел, а на лбу образовалось несколько групп прыщей. Облобызав моего великого друга, отправился я к доктору Ван-Путерену, моему нижегородскому знакомому. Он прописал мне английскую соль⁶⁴², зеленый пластырь, диету и, по крайней мере, неделю не выходить на улицу. Вот тебе и столица! Сиди да смотри в окно на старого безобразного Пимена.

12 марта

Посетил меня доктор Ван-Путерен, прибавил еще два лекарства для внутреннего и наружного употребления. И посулил мне, по крайней мере, неделю заточения и поста. Веселенькая перспектива!

Вслед за доктором посетил меня почтеннейший Михайло Александрович Максимович⁶⁴³. Молодеет старичина, женился, отпустил усы да и в ус себе не дует.

Вечером, по настоянию моих гостеприимных хозяев, сошел я вниз в гостиную с повязанной головой, где встретил несколько человек гостей и между ними Кетчера⁶⁴⁴, Бабста⁶⁴⁵ и Афанасьева⁶⁴⁶, с которыми тут и познакомил меня хозяин. Время быстро прошло до ужина. Подали ужин, гости сели за стол, а я удалился в свою келию. Проклятая болезнь!

13 марта

Доктор Ван-Путерен уехал сегодня в Нижний; рекомендовал мне своего приятеля, какого-то немца, которого я, однако ж, не дождался и просил Михайла Семеновича пригласить медика, какого он лучше знает, потому что болезнь моя не шутя меня беспокоит. Михайло Семенович пригласил доктора Мина⁶⁴⁷. Завтра я его дожидаю.

Навестил меня Маркович, сын Н. Марковича, автора «Истории Малороссии», и М. А. Максимович с брошюрой «Исследование о Петре Конашевиче-Сагайдачном»⁶⁴⁸. Сердечно благодарен за визит и за брошюру.

14 марта

Отправил Лазаревскому два рисунка, назначенные для преподнесения Марии Николаевне.

После обеда явились ко мне два доктора, хорошо еще, что не вдруг. Приятель Ван-Путерена прописал какую-то микстуру в темной банке, а Мин — пильнавскую воду и диету. Я решился следовать совету последнего.

Дмитрий Егорович Мин — ученый переводчик Данта и еще более ученый и опытный медик. Поэт и медик. Какая прекрасная дисгармония!

У старого друга моего Михайла Семеновича везде и во всем поэзия, у него и домашний медик поэт.

15 марта

Вчера было у меня два доктора, а сегодня ни одного. Мне, слава Богу, лучше, скоро, может быть, они для меня будут совсем не нужны. Как бы это хорошо было. Надоело смотреть в окно на старого Пимена.

Михайло Семенович ухаживает за мною, как за капризным больным ребенком. Добрейшее создание! Сегодня вечером пригласил он для меня какую-то г. Грекову⁶⁴⁹, мою полудемлячку, с тетрадью малороссийских песен. Прекрасный, свежий, сильный голос, но наши песни ей не дались, особенно женские. Отрывисто, резко, национальной экспрессии она не уловила. Скоро ли я услышу тебя, моя родная задушевная песня?

Петр Михайлович, старший сын моего великого друга⁶⁵⁰, подарил мне два экземпляра — фотографические портреты апостола Александра Ивановича Герцена.

16 марта

Нарисовал портрет, не совсем удачно, Михайла Семеновича. Причиной неудачи были сначала Максимович, а потом Маркович. Пренаивные посетители. Им и в голову не пришла поговорка, что не вовремя гость — хуже татарина. А кажется, люди умные, а простой вещи не понимают.

После обеда посетил меня Д. Е. Мин и, кроме диеты и пильнавской воды, ничего не присоветовал. Дня через три обещает выпустить на улицу. Ах, как бы было хорошо!

17 марта

Сегодня опять посетили меня оба медика и, слава Богу, кроме диеты и сидения в комнате, ничего не прописали. Я, однако ж, и этого немного не исполнил. Вечером втихомолку навестил давно не виданного друга моего, княжну

Варвару Николаевну Репнину. Она счастливо переменялась, потолстела и как будто помолодела, и вдарилась в ханжество, чего я прежде не замечал. Не встретила ли она в Москве хорошего исповедника?

18 марта

Кончил переписывание или процеживание своей поэзии за 1847 год. Жаль, что не с кем толково прочесть. Михайло Семенович в этом деле мне не судья. Он слишком увлекается. Максимович — тот просто благоговееет перед моим стихом, Бодянский тоже. Нужно будет подождать Кулиша. Он хотя и жестоко, но иногда скажет правду; зато ему не говори правды, если хочешь сохранить с ним добрые отношения.

В первом часу поехали мы с Михайлом Семеновичем в город. Заехали к Максимовичу. Застали его в хлопотах около «Русской беседы». Хозяйки его не застали дома⁶⁵¹. Она была в церкви. Говееет. Вскоре явилась она, и мрачная обитель ученого просветлела. Какое милое, прекрасное создание. Но что в ней очаровательней всего — это чистый, нетронутый тип моей землячки. Она проиграла для нас на фортепиано несколько наших песен так чисто, безманерно, как ни одна великая артистка играть не умеет. И где он, старый антикварий, выкопал такое свежее, чистое добро? И грустно, и завидно. Я написал ей на память свой «Весенний вечер»⁶⁵², а она подарила мне для ношения на шее киевский образок. Наивный и прекрасный подарок.

Расставшись с милою, очаровательною землячкою, заехали мы в школу живописи, к моему старому приятелю А. Н. Мокрицкому⁶⁵³. Старый приятель не узнал меня. Немудрено, мы с ним с 1842 года не видались. Потом заехали в книжный магазин Н. Щепкина⁶⁵⁴, где мне Якушкин⁶⁵⁵ подарил портрет знаменитого Николая Новикова⁶⁵⁶. Потом приехали домой и сели обедать.

Вечером был у О. М. Бодянского. Наговорились досыта о славянах вообще и о земляках в особенности, и тем заключил свой первый выход из квартиры.

19 марта

В 10 часов утра вышли мы с Михайлом Семеновичем из дому и, несмотря на воду и грязь под ногами, обходили пешком, по крайней мере, четверть Москвы. Я не видал

Кремля с 1845 года. Казармовидный дворец его много обезобразил, но он все-таки оригинально прекрасен. Храм Спаса вообще, а главный купол в особенности безобразен. Крайне неудачное громадное произведение. Точно толстая купчиха в золотом повойнике остановилась напоказ среди белокаменной. Из Кремля прошли мы на Большую Дмитровку⁶⁵⁷, зашли к Елене Константиновне Станкевич⁶⁵⁸, моей старой знакомой; напились чаю, отдохнули и пошли в книжный магазин Н. М. Щепкина. Из магазина возвратились опять к Станкевич, где я встретил еще одну мою старую знакомую, Олимпиаду Ивановну Миницкую. Пообедали у Станкевич и в 6 часов вечера благополучно пешком же возвратились восвояси, дивясь бывшему.

20 марта

Мой неразлучный спутник и чичероне Михайло Семенович сегодня ставил себе банки, и я один от 10 до 4 часов месил московскую грязь. Поутру велел я кучеру вымазать себе сапоги добрым дегтем. Вооружился и по Тверской отправился в Кремль. Полюбовавшись старым красавцем Кремлем, прошел я к юному некрасавцу Спасу, с целью посмотреть скульптурные работы. Но меня и на двор не пустили. «Не приказано», — сказал сторож. Я ему не противуречил и возвратился в Кремль. Полюбовавшись еще раз стариком, вышел я на Ильинку⁶⁵⁹ и потом на Покровку⁶⁶⁰. Зашел к А. А. Сапожникову, моему спутнику из Астрахани до Нижнего. Болен, никого не принимает. И хорошо делает, потому что я весь облеплен грязью. Расспросил у будочника дорогу к почтамту⁶⁶¹, поплелся тихонько к Мокрицкому. Отдохнул у него, полюбовался эскизами незабвенного друга моего, покойного Штернберга, и пошел к уральскому козачине Савичу⁶⁶². Взял у него летопись Велички⁶⁶³, которую он получил от О. М. Бодянского два года тому назад для пересылки мне и держал у себя, сам не знает, с каким намерением. От Савичева зашел в харчевню, напился чаю с кренделями и Страстным бульваром вышел на Дмитровку⁶⁶⁴. Потом к старому Пимену и ровно в 4 часа пришел домой.

Вечером Михайло Семенович был готов на новые подвиги, и мы отправились к Станкевичам. Весело, нецеремонно поболтали о Малороссии, о днях минувших, и на расставанье А. В. Станкевич⁶⁶⁵ подарил мне экземпляр стихотворений Тютчева⁶⁶⁶.

21 марта

В 10 часов утра не пешком, а в пролетке пустились мы с Михайлом Семеновичем Москву созерцать. По дороге заехали к сыну его Николаю. Выпили по стакану чаю и потягли далее. Заехали также по дороге к Кетчеру, встретили там Бабста. Кетчер подарил мне все издания своей компании⁶⁶⁷, кроме своего перевода Шекспира, — он еще в типографии. А Бабст подарил свою речь о умножении народного капитала, издание той же компании⁶⁶⁸. Выпили у Кетчера по рюмке сливянки и поехали к Якушкину. Хозяина не застали дома, а милейшая хозяйка⁶⁶⁹ подарила нам по экземпляру портрета кн. Волконского⁶⁷⁰, декабриста, и мы раскланялись и поехали к Красным воротам⁶⁷¹, к Забелину⁶⁷². Это молодой еще человек, самой симпатической кроткой физиономии, обитающий не в квартире, а в библиотеке. Он не совсем здоров, и я не решился просить его показать мне Оружейную палату⁶⁷³, где он служит помощником Вельтмана⁶⁷⁴. От Забелина поехали мы в книжный магазин Николая Михайловича, и тут расстался я с моим путеводителем.

Грешно роптать мне на судьбу, что она затормозила мой поезд в Питер. В продолжение недели я здесь встретился и познакомился с такими людьми, с какими в продолжение многих лет не удалось бы встретиться. Итак, нет худа без добра.

Вечер провел у своей милой землячки М. В. Максимович. И несмотря на Страстную пятницу, она, милая, весь вечер пела для меня наши родные задушевные песни. И пела так сердечно, прекрасно, что я вообразил себя на берегах широкого Днепра. Восхитительные песни! Очаровательная певица!

22 марта

Радостнейший из радостных дней. Сегодня я видел человека, которого не надеялся увидеть в теперешнее мое пребывание в Москве. Человек этот — Сергей Тимофеевич Аксаков. Какая прекрасная, благородная старческая наружность! Он нездоров и никого не принимает. Поехали мы с Михайлом Семеновичем сегодня поклониться его семейству. Он узнал о нашем присутствии в своем доме и, вопреки заповеди доктора, просил нас к себе. Свидание наше длилось несколько минут. Но эти несколько минут сделали меня

счастливым на целый день и навсегда останутся в кругу моих самых светлых воспоминаний.

После постного обеда в Троицком трактире⁶⁷⁵ отправился я домой с намерением приготовиться к ночному кремлевскому торжеству. Намерение мне не удалось... Прочитав статью в 3 № «Полярной звезды» о записках Дашковой⁶⁷⁶, в 11 часов я отправился в Кремль. Если бы я ничего не слышал прежде об этом византийско-староверском торжестве, то, может быть, оно бы на меня и произвело какое-нибудь впечатление, теперь же ровно никакого. Свету мало, звону много, крестный ход, точно вяземский пряник, движется в толпе. Отсутствие малейшей гармонии и ни тени изящного. И до которых пор продлится эта японская комедия?

В 3 часа возвратился домой и до 9 часов утра спал сном праведника.

23 марта

Христос воскрес!

В семействе Михайла Семеновича торжественного обряда и урочного часа для разговен не установлено. Кому когда угодно. Республика. Хуже, — анархия! Еще хуже, — кощунство! Отвергнуть веками освященный обычай обжираться и опиваться с восходом солнца. Это просто поругание святыни!

В 10-м часу пришел к Михайлу Семеновичу с праздничным поклоном актер Самарин⁶⁷⁷ и сообщил ему очень миленькую эпиграмму Щербины⁶⁷⁸, которую при сем и прилагаю.

Боже! В каком я теперь упоении
С «Вестником русским» в руках,
Что за прекрасные стихотворения.

Ах!

Тут Данилевский, Плещеев таинственный,
Майков, наш флюгер-поэт.
Лучше же всех несравненный, единственный

Фет!

Много нелепостей патетических,
Множество фраз посреди.
Много и рифм. Но красот поэтических —

Жди!

24 марта

Еще раз виделся с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и с его симпатическим семейством и еще раз счастлив. Очаровательный старец! Он приглашает меня к себе в деревню⁶⁷⁹ на лето, и я, кажется, не устою против такого искушения. Разве попечительная полиция воспрепятствует.

От Аксаковых заехали к В. Н. Репниной. А от нее к актеру Шумскому⁶⁸⁰. Вкусили священной пасхи с вестфальской колбасой и поехали к Станкевичам. Не застали дома. Отправились в книжный магазин Н. М. Щепкина и ком., где и остались обедать. Обед был званый. Николай Михайлович праздновал новоселье своего магазина и по этому случаю задал пир московской учено-литературной знаменитости. И что это за очаровательная знаменитость! Молодая, живая, увлекающая, свободная! Здесь я встретил Бабста, Чичерина⁶⁸¹, Кетчера, Мина, Кронеберга-сына⁶⁸², Афанасьева, Станкевича, Корша⁶⁸³, Крузе⁶⁸⁴ и многих других. Я встретился и познакомился с ними, как с давно знакомыми родными людьми. И за всю эту полную радость обязан я моему знаменитому другу М. С. Щепкину.

В 8 часов вечера отправились к купцу Варенцову⁶⁸⁵, музыканту и любителю искусств. Тут встретился я с некоторыми московскими художниками и музыкантами и, послушавши Моцарта, Бетховена и других великих представителей слышимой гармонии, в 11 часов удалились восвояси, дивясь бывшему.

25 марта

Многоуважаемый М. А. Максимович задал мне обед, на который пригласил, между прочим, и ветхих деньми товарищей своих — Погодина⁶⁸⁶ и Шевырева⁶⁸⁷. Погодин еще не так стар, как я его воображал себе. Шевырев старше и, несмотря на седенькую свою благопристойную физиономию, почтения к себе не внушает. Сладкий до тошноты старичок. В конце обеда амфитрион⁶⁸⁸ прочел в честь мою стихи собственного сочинения⁶⁸⁹. А после обеда милейшая хозяйка пропела несколько малороссийских песен, и восхищенные гости разошлись кто куда, а я заехал к Сергею Тимофеевичу Аксакову с намерением проститься. Он спал, и я не имел счастья облобызать его седую прекрасную голову. До 9 часов пробыл я у Аксаковых и с наслаждением слушал мои родные песни, петые Надеждой Сергеевной⁶⁹⁰. Все семейство Акса-

ковых непритворно сердечно сочувствует Малороссии, и ее песням, и вообще ее поэзии. В 9 часов с Иваном и Константином Аксаковыми⁶⁹¹ поехал я к Кошелеву⁶⁹², где встретился и познакомился с Хомяковым и со стариком декабристом кн. Волконским. Кротко, без малейшей желчи рассказал он мне некоторые эпизоды из своей 30-летней ссылки и в заключение прибавил, что те из его товарищей, которые были заточены поодиночке, все перемерли, а те, которые томились по несколько вместе, пережили свое испытание, в том числе и он.

26 марта

В 9 часов утра расстался я с Михайлом Семеновичем Щепкиным и с его семейством. Он уехал в Ярославль⁶⁹³, а я, забравши свою мизерию, поехал к железной дороге⁶⁹⁴, и в 2 часа, закупоренный в вагоне, оставил я гостеприимную Москву. В Москве более всего радовало меня то, что я встретил в просвещенных москвичах самое теплое радушие лично ко мне и непритворное сочувствие к моей поэзии. Особенно в семействе С. Т. Аксакова.

27 марта

В 8 часов вечера громоносный локомотив свистнул и остановился в Петербурге. В 9 часов я был уже в квартире моего искреннейшего друга М. М. Лазаревского⁶⁹⁵.

28 марта

По снегу и слякоти пешком обегал я половину города почти без надобности. На перепутье зашел в гостиницу Клея⁶⁹⁶ и нашел там только что приехавшего из Москвы Григория Галагана⁶⁹⁷. Он передал мне письмо Максимовича с его стихами, читанными им за обедом 25 марта, записку на получение «Русской беседы» и моего в Москве обретшегося «Еретика», т. е. «Яна Гуса», которого я считал невозвратно погибшим. В 3 часа возвратился я домой и обнял моего задушевного Семена Артемовского. А через полчаса я был уже в его доме, как в своей родной хате. Много и многое мы вспомнили и переговорили, а еще большего не успели ни вспомнить, ни переговорить. Два часа мелькнули быстрее одной минуты. Я расстался с моим милым Семеном, и в 6 часов вечера вместе с Лазаревским отправились мы к графине Н. И. Толстой⁶⁹⁸.

Сердечнее и радостнее не встречал меня никто и я никого, как встретились мы с моей святой заступницей и с графом Федором Петровичем. Эта встреча была задушевнее всякой родственной встречи. Много хотелось мне пересказать ей, и я ничего не сказал. В другой раз. Бутылкой шампанского освятили мы святое радостное свидание и в 8 часов расстались.

Вечер провели мы у В. М. Белозерского⁶⁹⁹, моего соизника и соседа по каземату в 1847 году. У него встретил я моих соизгнанников оренбургских — Сераковского, Станевича⁷⁰⁰ и Желяковского (Сову)⁷⁰¹. Радостная, веселая встреча. После сердечных речей и милых родных песен мы расстались.

29 марта

В 10 часов утра явился я казанским сиротой к правителю канцелярии обер-полицеймейстера, к земляку моему И. Н. Мокрицкому⁷⁰². Он принял меня полуофициально, полуфамильярно. Старое знакомство сказалось в скобках. В заключение он мне посоветовал сбрить бороду, чтобы не произвести неприятного впечатления на его патрона, графа Шувалова⁷⁰³, к которому я должен явиться, как главному моему надзирателю.

От Мокрицкого я опять пошел гранить уже высушенную мостовую и упражнялся в сем хитром ногодельи до 12 часов, а в 12 часов с М. Лазаревским поехали к Василию Лазаревскому⁷⁰⁴. На удивление симпатические люди эти прекрасные братья Лазаревские, и все шесть братьев, как один, замечательная редкость. Василь принял меня как давно не виданного своего друга. А мы с ним в первый раз в жизни встречаемся. От земляк, так земляк!

Вечером отправились мы в цирк-театр смотреть и слушать живописную лекцию геологии профессора Роде⁷⁰⁵. Лекция мироздания прекрасна. И астрономические картины почти не лишни, но к чему эти аляповатые суздальские виды городов и зданий, оскорбляющих искусство? И к чему эти живые вертящиеся ситцевые узоры, оскорбляющие науку? Странно! А еще более странно то, что публика рукоплещет этой балаганной пошлости. Толпа. Да еще столичная толпа!

30 марта

Заказал фотографический портрет в шапке и тулупе для М. А. Дороховой. Искал квартиру Бабста и не нашел. Жаль.

Несмотря на возмутительную погоду, прошел на Васильевский остров, зашел к художнику Лаврову⁷⁰⁶ и от него узнал о смерти Павла Петровского. Отвратительная новость. Бедная старуха мать, она не переживет этой страшной новости.

Вечером графиня Настасья Ивановна представила меня своим знакомым, собравшимся у нее в этот вечер порядочной толпой. Они приветствовали меня как давно ожидаемого и дорогого гостя. Спасибо им. Боюсь, как бы мне не сделаться модной фигурой в Питере. А на то похоже.

31 марта

С художником Лукашевичем⁷⁰⁷ был в Эрмитаже. Новое здание Эрмитажа показалось мне не таким, как я его воображал. Блеск и роскошь, а изящества мало. И в этом великолепном храме искусств сильно напечаталась тяжелая казарменная лапа неудобозабываемого дрессированного медведя.

В три часа возвратился домой и, под влиянием виденного, привел себя в горизонтальное положение, как вошел ко мне мой старый, не забытый, но из виду потерянный знакомый и ширый земляк Л. Н. Дзюбин. Вспомнили старину и отправились в отель «Париж» обедать. После обеда прошлись по Невскому и на сегодняшний день расстались.

Вечер провел у Семена.

1 апреля

Обманывают и обманываются. Хорошо, если бы это случилось только первого апреля. Откуда взял свое начало этот нелепый обычай?

Долго шлялся по Невскому проспекту без всякой цели. Потом прошел на Бассейную, нашел квартиру Кокорева⁷⁰⁸, а самого хозяина не нашел дома. Обедал у Белозерского. После обеда получил записку от графини Настасьи Ивановны и вечером отправился к ней. Никакой экстренности. Ей просто хотелось меня видеть. Доброе создание! К графине заехал Сошальский и увез меня к имениннице землячке Марье Степановне⁷⁰⁹. Мы с ней не видались с 1845 года. Едва заметно постарела. На удивление прочная землячка.

2 апреля

В первом часу Сошальский повез меня к землячке Ю. В. Смирновой⁷¹⁰. Я знал ее наивной, милой институткой

в 1845 году. А теперь черт знает что! Претензия на барыню, а в самом деле и на порядочную горничную не похожа. От Смирновой заехали к Градовичу⁷¹¹. Тоже старый знакомый. От Градовича зашел я, уже без Сошальского, в Палкин трактир⁷¹², пообедал и отправился домой.

Вечером в цирке-театре смотрел и слушал «Бронзового коня»⁷¹³. Великолепная постановка, и больше ничего. Один старик Петров⁷¹⁴ и Семен со славою поддержали «Бронзового коня». А прочее — чепуха.

3 апреля

НАВУХОДОНОСОР

(Из Беранже. В. Курочкина)

В давнопрошедшие века,
До Рождества еще Христова,
Жил царь под шкурою быка:
Оно для древних это ново,
Но так же точно льстил и встарь,
И так же пел придворных хор:
Ура! Да здравствует наш царь
Навуходоносор!

«Наш царь бодается — так что ж?
И мы топтать народ здоровы», —
Решил совет седых вельмож.
Да здравствуют рога царевы!
Ведь и в Египте государь
Был божество с давнишних пор.
Ура! Да здравствует наш царь
Навуходоносор.

Державный бык коренья жрет,
Вода речная ему пойло.
Как трезво царь себя ведет!
Поэт воспел бычачье стойло.
И над поэмой государь,
Мыча, уставил мутный взор.
Ура! Да здравствует наш царь
Навуходоносор.

В тогдашней «Северной пчеле»
Печатали неоднократно,
Что у монарха на челе
След виден думы необъятной,
Что из сердец ему алтарь
Воздвиг народный приговор.
Ура! Да здравствует наш царь
Навуходоносор.

Бык только ноздри раздувал,
Упитан сеном и хвалами,
Но под ярмо жрецов попал...
И, управляемый жрецами,
Мычал рогатый государь —
За приговором приговор.
Ура! Да здравствует наш царь
Навуходоносор.

Тогда не выдержал народ.
В цари избрал себе другого,
Как православный наш причет,
Жрецы — любители мясного...
Как злы-то были люди встарь!
Придворным-то какой позор!
Был съеден незабвенный царь
Навуходоносор.

Льстецы царей! Вот вам сюжет
Для оды самой возвышенной,
Да и цензурный комитет
Ее одобрит непременно.
А впрочем... слово государь
Не вдохновляет вас с тех пор,
Как в бозе сгнил последний царь
Навуходоносор.

Только что успел я положить перо, дописавши последний куплет этого прекрасного и меткого стихотворения, как вошел ко мне Каменецкий, за ним Сераковский, а за ним Ко-невич⁷¹⁵, в заключение Дзюбин, который и пригласил меня обедать. Вот тебе и письма. Нужно где-нибудь спрятаться.

После не совсем умеренного обеда вышли мы на улицу и, пройдя несколько шагов, встретили мы вездесущего вечного

жида, брехуна Элькана⁷¹⁶. После продолжительной прогулки мы с ним расстались и по его указаниям пошли искать квартиру актера Петрова и, разумеется, не нашли. Ругнули всеведущего Элькана и по дороге зашли к Бенедиктову. Встретил он меня непритворно радостно и после разнородных разговоров он по моей просьбе прочитал нам некоторые места из «Собачьего пира» (Барбье), и теперь только я уверился, что этот великолепный перевод принадлежит действительно Бенедиктову.

4 апреля

Каменецкий сообщил мне все мои сочинения, переписанные Кулишом, кроме «Еретика». Нужно будет сделать выбор и приступить к изданию. Но как мне приступить к цензуре?

В 3 часа пообедал с Дзюбиным, тоже не совсем умеренно, и вечер провел у Семена.

5 апреля

Приезжал Смаковский просить меня обедать с ним и с Дзюбиным. Я спал. Меня, спасибо, не збудили. И я, под предлогом болезни, не поехал на лукулловский обед⁷¹⁷. Бог с ними. С непривычки можно серьезно захворать. Вечер провел у Галагана.

6 апреля

Имел великое несчастье облачиться во фрак и явиться к своему главному надзирателю графу Шувалову. Он принял меня просто, неформенно, а главное, без приличных случаю назиданий, чем сделал на меня выгодное для себя впечатление.

При этом удобном случае познакомился с женою правителя канцелярии обер-полицеймейстера И. Н. Мокрицкого. Она урожденная Свичка и настоящая моя землячка⁷¹⁸. Мы с ней встретились, как старые знакомые.

Расставшись с милейшей землячкой, прошел я в Академию художеств на выставку. Пейзажи преимущественно перед другими родами живописи мне бросились в глаза. Калам имеет сильное влияние на пейзажистов. Самого Калама две вещи не первого достоинства⁷¹⁹.

Вечер провел у графини Настасьи Ивановны. Слышал в первый раз игру Антония Контского⁷²⁰ и лично познакомился с поэтом Щербиною.

7 апреля

Было намерение съездить в Павловск⁷²¹ к старику Бюрно. Но этому доброму намерению невинно поперечил художник Соколов⁷²², к которому я зашел по дороге, пробыл у него до 4 часов и опоздал на железную дорогу. Непростительная рассеянность.

Вечером пошли с Михайлом до Семена и не застали его дома.

8 апреля

Воспользовавшись хорошею погодою, пустился я пешком в Семеновский полк⁷²³ искать квартиру Олейникова. Квартиру нашел, а хозяина не нашел и прошел в Бассейную к Кокореву. И сего откупщика-литератора не нашел дома. По дороге зашел на Литейную к Василию Лазаревскому, отдохнул немного и пустился пешком же в Большую Подьяческую к Семену обедать. После обеда вышли на улицу и случайно зашли к бедному бесталанному генералу Корбе⁷²⁴. Плачет, бедный, не о том, что из службы выгнали, а о том, что Станислава не дали. Бедный, несчастный человек!

Вечером зашел к Кроневичу, к моему соизгнаннику, и между многими поляками встретил у него и людей русских, между которыми и две знаменитости: графа Толстого, автора солдатской севастопольской песни⁷²⁵, и защитника Севастополя генерала Хрулева⁷²⁶.

Последняя знаменитость мне показалась приборканою.

9 апреля

Квитался за неумеренный ужин Кроникевича⁷²⁷.

10 апреля

Посетил московского знакомого, некоего Безобразова⁷²⁸. Потом Рамазанова⁷²⁹ и Михайлова, хотел пройти на выставку, да не удалось. Царь помешал. Смотрел в цирке-театре «Москаля-чаривныка». Очаровательный Семен. А прочие — чушь.

11 апреля

Поручил Каменецкому хлопотать в цензурном комитете о дозволении напечатать «Кобзаря» и «Гайдамаки» под фирмою «Поэзия Т. Ш.». Что из этого будет?

Зашел по пути к певцу-актеру Петрову. Он только потолок-стел, а она, увы, из миленькой Анны Яковлевны⁷³⁰ сделалась почтенная, но все-таки милая старушка. Непрочный пол! Забежал к Семену, выпил рюмку водки и пошел к Корбе обедать. Скучно и грязно, как у старого холостяка, и вдобавок у военного. Вечером у Белозерского слушал новую драму Желяковского (Совы)⁷³¹ и с успехом доказал Сераковскому, что Некрасов⁷³² не только не поэт, но даже стихотворец аляповатый.

12 апреля

Снег, слякоть, мерзость; невзирая на все это, отправились мы, т. е. я, Семен и М. Лазаревский, в Академию смотреть выставку. Во избежание простуды завернули к Смурову, выпили по рюмке джину и проглотили по десятку устриц. С выставки пошли мы на званый обед к графине Настасье Ивановне, данный ею своим близким многочисленным приятелям по случаю моего возвращения. За обедом граф Федор Петрович сказал коротенькое слово в честь милостивого царя. А в честь моего невольного долготерпения сказал почти либеральное слово Николай Дмитриевич Старов⁷³³. Потом Щербина, и в заключение сама графиня Настасья Ивановна. Мне было и приятно, и вместе неловко. Я не чаял себе такой великой чести. Для меня это было совершенно ново. Семен заметил, что за столом все были бледны, тощи и зелены, кроме несчастного изгнанника, т. е. меня. Забавный контраст.

После обеда повез меня Сошальский к землячке М. С. Кржисевич, а часу в первом — к Борелю⁷³⁴. А от Бореля к Адольфине, где я его и оставил.

13 апреля

От Н. Д. Старова поехали мы с Семеном к М. В. Остроградскому⁷³⁵. Великий математик принял меня с распростертыми объятиями, как земляка и как надолго отлучившегося куда-то своего семьянина. Спасибі йому. Остроградский с семейством едет на лето в Малороссию. Пригласил бы, говорит, и Семена с собою, но боится, что в Полтавской губернии сала не хватит на его продовольствие.

Обедал у Семена, вечер провел у графини Настасьи Ивановны. Слушал стихотворения Юлии Жадовской⁷³⁶. Жалкая, бедная девушка!

14 апреля

Семен познакомил меня с весьма приличным юношею, с В. П. Энгельгардтом⁷³⁷. Многое и многое пошевелилось в душе моей при встрече с сыном моего бывшего помещика. Забвение прошедшему. Мир и любовь настоящему.

Вечером Грицько Галаган познакомил меня с черниговскими землячками, с Карташевскими⁷³⁸. Не жеманные, милые, настоящие землячки.

15 апреля

По желанию графини Настасьи Ивановны представлялся шефу жандармов кн. Долгорукову⁷³⁹. Выслушал приличное случаю, но вежливое наставление, и тем кончилась аудиенция.

Вечер провел у земляка Трохима Тупыци⁷⁴⁰, где встретился с Громекою⁷⁴¹, автором статьи «О полиции и о взятках», и познакомился с стариком Персидским⁷⁴². С декабристом.

16 апреля

Грицько Галаган приехал просить записать ему мой «Весенний вечер». Я охотно исполнил его желание, а он, чтобы не остаться у меня в долгу, записал прекрасное стихотворение Хомякова⁷⁴³.

И. Н. Дзюбина познакомил я с Семеном, а он, чтобы тоже не остаться в долгу, вздумал попотчевать меня каким-то молодым генералом Крыловым⁷⁴⁴, земляком из Харькова. Несмотря на молодость и любезность, генерал оказался далеко не симпатичным. А обед его, почти царский, тоже показался как-то приторным.

Вечером Мей⁷⁴⁵ прислал мне тот самый «Весенний вечер», который я поутру записал для Галагана, в русском переводе собственного изделия. Спасибо ему.

СТИХОТВОРЕНИЕ ХОМЯКОВА

Тебя избрал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слепых, безумных, буйных сил.

Вставай, страна моя родная,
За братьев Бог тебя зовет

Чрез волны буйного Дуная
Туда, где, землю огибая,
Шумят струи Эгейских вод!

Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело,
Своих рабов он судит строго,
А на тебе, увы! как много
Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени гнусной и позорной,
И всякой мерзости полна.

О! Недостойная избранья, ты избрана,
Скорей омой себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой.

С душой коленапреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели.

И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сеч,
Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечом, — то Божий меч.

17 апреля

Н. Д. Старов прислал М. Лазаревскому написанное слово, сказанное им в честь мою на обеде у графини Н. И. Толстой. Как вещь, дорогую для меня, заношу его в мой журнал.

«Признательное слово Т. Г. Шевченку.»

Несчастье Шевченка кончилось, а с тем вместе уничтожилась одна из вопиющих несправедливостей. Мы не нарушим скромности тех, чье участие способствовало этому добру и приобрело благодарность всех, сочувствующих достоинству блага... Мы скажем, что нам отрадно видеть Шев-

ченка, который среди ужасных, убийственных обстоятельств, в мрачных стенах казармы смердячою — не ослабел духом, не отдался отчаянию, но сохранил любовь к своей тяжелой доле, потому что она благородна. Здесь великий пример всем современным нашим художникам и поэтам, и уже это достойно обессмертить его!..

Позвольте же предложить тост признательности за Шевченка, который своими страданиями поддержал то святое верование, что истинно нравственную природу человека не в силах подавить никакие обстоятельства!..

Н. Старов
12 апреля, 1858».

В. М. Белозерский познакомил меня с профессором Ка-велиным⁷⁴⁶. Привлекательно-симпатическая натура.

Тот же Белозерский познакомил меня с тремя братьями Жемчужниковыми⁷⁴⁷. Очаровательные братья!

Вечером в цирке-театре слушал оперу «Жизнь за царя». Гениальное произведение! Бессмертный М. И. Глинка! Петров в роли Сусанина по-прежнему хорош, и Леонова⁷⁴⁸ в роли Вани хороша, но далеко не Петрова, которую я слышал в 1845 году.

18 апреля

Получил милейшее письмо от милейшего Сергея Тимофеевича Аксакова, на которое буду отвечать завтра, — сегодня я увлекся своею «Лунатиною»⁷⁴⁹. Если бы не помешал обязательный Сошальский, то я кончил бы «Лунатику». Но, увы, нужно было оставить невещественное слово и приняться за вещественное дело, т. е. за увесистый обед.

Вечером с тем же обязательным Сошальским поехали мы к милой и талантливо-голосистой певице мадмуазель Грубнер⁷⁵⁰. Там встретился я с Бенедиктовым, Даргомыжским⁷⁵¹ и с архитектором Кузьминым⁷⁵², старым и хорошим знакомым. Музыкальное наслаждение заключилось смешным и приторным мяуканьем Даргомыжского. Точно мышонок в когтях кота. А ему аплодируют. Странные люди эти меломаны. А еще страннее такие певцы, как Даргомыжский.

19 апреля

Вчера Сошальский пригласил меня с Михайлом на борщ с сушеными карасями и на вареники. А сегодня графиня

Настасья Ивановна просит запиской к себе обедать и обещает познакомить с декабристом бароном Штейнгелем⁷⁵³. Мы предпочли декабриста борщу с карасями и за измену были наказаны бароном. Он не пришел к обеду. Одичалый барон.

За обедом познакомился я с адмиралом Голенищевым⁷⁵⁴. Адмирал — товарищ графа Федора Петровича. Простой и, кажется, хороший человек.

Вечер провел у Галагана. Он прочитал описание своего будынка, збудованого им в старом малороссийском вкусе в Прилуцком уезде. Барская, но хорошая и достойная подражания затея.

20 апреля

Обедал у К. Д. Кавелина и там же познакомился с Галаховым, составителем русской хрестоматии⁷⁵⁵.

21 апреля

Без всякой цели до обеда шлялся по городу. Вечером пошел в театр. Спектакль вообще был хорош, а увертюра «Вильгельма Телля» очаровательна. Хваленый тенор Сетов⁷⁵⁶ ниже всякой посредственности. Просто дрянь. А ему аплодируют. Семен в роли отца Линды де Шамуни очень хорош.

Из театра зашел к Белозерскому и застал у него К. Д. Кавелина. С разговора о минувшей и будущей судьбе славян мы перешли к психологии и философии. И просидели до трех часов утра. Школьничество. Но очаровательное школьничество!

22 апреля

Тоже без всякой цели шлялся до обеда, только уже не один, а с Семеном. Вечером с Семеном же пошли к землячке М. Л. Мокрицкой и до второго часу с удовольствием переливали из пустого в порожнее.

23 апреля

Вчера условились мы с Семеном, чтобы сегодня часу в первом ехать посмотреть дачи. Ровно до двенадцати часов была погода хорошая, потом пошел дождь, затяжной, как его называют. Мы просидели весь день дома, читали Гумбольдта «Космос»⁷⁵⁷ и, глядя в окно, повторяли поговорку: «Вот те, бабушка, и Юрьев день».

24 апреля

Предположения мне никогда не удаются, а не могу отказать себе в удовольствии сочинять предположения. Сегодня, например. Выходя из дому, я располагал провести время до обеда так: сначала зайти в Академию посмотреть выставку, потом зайти к Иордану, своему будущему профессору, потом к барону Клодту⁷⁵⁸ и в заключение к графине Настасье Ивановне и у нее остаться обедать. Таков был проект. А случилось вот как. В первой зале в Академии встретился мне Зимбулатов⁷⁵⁹ и Бориспольц⁷⁶⁰, мои старые и искренние друзья. Наскоро обошли мы выставку, отправились к Зимбулатову и время до обеда провели в воспоминаниях. Я совершенно доволен неудачею.

Вечером собрались мы с Михайлом к брату его Василию, да зашли к Семену и там провели вечер. Тоже неудача.

25 апреля

В 10 часов утра пошел проститься с А. Н. Мокрицким, отъезжающим в Москву. По дороге зашел к М. И. Сухомлинову⁷⁶¹ да по дороге же зашел к барону Клодту, полюбовался монументом неудобозабываемому⁷⁶² и прошел в Академию на выставку. В первой зале встретился с Жемчужниковым, а в последней с Семеном. Из Академии поехали с Семеном на Петербургскую сторону искать дачу. Дачу нашли, оставили задаток и в 6 часов вечера приехали домой. Вечером с Семеном же были у Н. И. Петрова⁷⁶³, слушали бесконечные и бесплодные толки о эмансипации.

26 апреля

На обеде у Сошальского лично познакомился с поэтом Курочкиным и с братом его Николаем⁷⁶⁴, достойным молодым человеком. Поэт Курочкин много обещает в будущем. Дай Бог, чтобы сбылись мои надежды.

27 апреля

Обещался обедать у художника Лукашевича и по рассеянности соврал.

28 апреля

Сошальский подарил мне часы стенные. А Василь Лазаревский — термометр. По милости добрых людей главные инструменты имею для опытов над акватинтой. Когда же я примусь за самые опыты?

29 апреля

Зашел к Дзюбину. Не застал его дома, спросил завтрак и оставил ему за угощение случившуюся со мною рукопись: «Послание к мертвым, живым и ненарожденным землякам»⁷⁶⁵, надписавши: «На память 1 мая», тоже по рассеянности.

30 апреля

Пошли с Семеном в Летний сад⁷⁶⁶ с намерением посмотреть монумент Крылова⁷⁶⁷. По дороге зашли в Казанский собор⁷⁶⁸ посмотреть картину Брюллова⁷⁶⁹. Но, увы, она так умно, удачно поставлена премудрыми попами, что и кошачьими глазами видеть ее невозможно. Отвратительно! По дороге зашли в Пассаж⁷⁷⁰, полюбовались шляющимися красавицами и алеутскими болванчиками и прошли в Летний сад. Монумент Крылова, прославленный «Пчелой» и прочими газетами, ничем не лучше алеутских болванчиков. Бесовестные газетчики! Жалкий барон Клодт! Вместо величественного старца он посадил лакея в нанковом сюртуке с азбучкой и указкою в руках. Барон без умысла достиг цели, вылепивши эту жалкую статую и барельефы именно для детей, но никак не для взрослых. Бедный барон! Оскорбил ты великого поэта, и тоже без умысла.

Оскорбленные бароном, мы взяли ялик и поплыли на биржу⁷⁷¹. Полюбовались величественной биржевой залой, прошли в сквер, посмотрели на обезьян и попугаев и зашли на постоянную выставку художественных произведений. Бедный Тыранов⁷⁷², он и свое болезненное маранье тут же выставил. Грустное, тяжелое впечатление!

Находившись до упаду, мы на ялике переплыли Неву, прошли часть бульвара, в окнах магазина Дациаро⁷⁷³ полюбовались акватинтами, взяли извозчика и отправились домой обедать.

Вечером был у Белозерского и у Кроневица.

1 мая

Решили мы с Семеном провести день как-нибудь, а вечером отправиться в Екатерингоф⁷⁷⁴ посмотреть праздничную публику. Часу в первом пошли мы в Академию на выставку и зашли к графине Настасье Ивановне. Не застали ее дома и прошли к Остроградскому⁷⁷⁵ с намерением там и пообедать. Не удалось. Михайло Васильевич и его

благочестивая В. Д. больны, а дети гулять ушли. Мы последовали их примеру и, пошлявшись по набережной Невы, возвратились домой.

В 8 часов вечера вместо Екатерингофа зашли к Белозерскому и весело проболтали до первого часа.

2 мая

Были с Семеном в Эрмитаже, в отделении древней и новой скульптуры. Я не воображал в таком количестве остатков древней скульптуры в Эрмитаже, вероятно, они собраны со всех дворцов. Прекрасная мысль. В отделении новой скульптуры меня очаровал Танерини⁷⁷⁶ своей умирающей Душенькой⁷⁷⁷ и обидно разочаровал покойник Ставассер своей неуклюжей русалкой⁷⁷⁸. Смотрели музей древностей, библиотеку и на первый раз тем кончили. Внимание утомилось. Залы музея отделаны с бóльшим вкусом, нежели картинная галерея.

Из Эрмитажа прошли мы на выставку цветов. Изумительная роскошь цветов и растений. Но густая толпа хорошеньких зрительниц мешает вполне наслаждаться произведениями флоры. В толпе посетителей встретил старых друзей моих Маслова⁷⁷⁹ и толстейшего Серезу Уварова⁷⁸⁰. Не графа⁷⁸¹, а просто Уварова.

3 мая

Был в Эрмитаже один, без Семена. Его утомила вчера античная галерея и древности, и он отказался мне сопутствовать. Ледащо! В Эрмитаже встретился и познакомился с знаменитым гравером Иорданом. Он слышал о моем намерении заняться акватинтой и предложил мне свои услуги в этом новом для меня деле. Обрадованный его милым, искренним предложением, я обошел два раза все залы, с целью выбрать картину для первой пробы избранного мною искусства. После внимательного обозрения остановился я на эскизе Мурильо⁷⁸² «Святое семейство»⁷⁸³. Наивное, милое сочинение. Я не видал картины этого содержания, которой бы так шло это название, как гениальному эскизу Мурильо. Итак, с Божию и Иордановою помощью принимаюсь за опыты, а потом и за Мурильо.

В 4 часа оставил я Эрмитаж и зашел на выставку цветов. Волшебный переход! В продолжение нескольких часов внимательного созерцания произведений великих мастеров

я утомился, отяжелел духом, и вдруг живая, свежая прелесть природы и искусства благотворно охватывает меня и обновляет. Разнообразная зелень, массы свежих роскошных цветов, музыка и в довершение очарования — толпы прекрасных, молодых и свежих, как цветы, женщин. Я обещался в 5 часов обедать у Уваровых и пробыл в этом раю до 6 часов. О столица!

Вечером передавал мои впечатления Семену и его милой Александре Ивановне.

4 мая

Был у Ф. И. Иордана. Какой обязательный, милый человек и художник и вдобавок живой человек, что между граверами большая редкость. Он мне показывал в продолжение часа все новейшие приемы гравюры акватинты, изъявил готовность помогать мне всем, что от него будет зависеть. Я расстался с ним вполтину будущим гравером.

От Иордана зашел ненадолго к графине Настасье Ивановне, а от нее прошел к граверу и печатнику Служинскому⁷⁸⁴, тоже за сведениями; застал его за обедом, и о деле не было речи.

Зашел к старым друзьям, к Уваровым, с целью у них обедать. Старик Уваров⁷⁸⁵ сообщил мне, что спутник мой от Астрахани до Нижнего, А. А. Сапожников, здесь и завтра уезжает в Москву. Я пустился к нему, застал его дома, но он меня не принял по случаю скорого обеда. Это меня немного сконфузило, я отряхнул прах от ног своих и по дороге зашел к черниговскому земляку своему Н. И. Петрову, где и пообедал нараспашку.

Вечером поехали с Семеном к графине Настасье Ивановне, где и пробыли до бела дня.

5 мая

В Эрмитаже встретил товарища по Академии Михайлова, бывшего фаворита К. П. Брюллова. Обойдя картинную и античную галерею, зашли мы в «Лондон»⁷⁸⁶ позавтракать. До выезда своего из Рима в Мадрид Михайлов часто виделся с К. П. Брюлловым в Риме. И рассказал про его изумительное, неслыханное скаредничество. Великий Брюллов великого Рембрандта⁷⁸⁷ перещеголял в этом таинственном искусстве. Расставшись с Михайловым, пошел я обедать к Лукашевичу. Тоже ученик и любимец великого Брюллова.

Лукашевич повторил мне слова Михайлова с вариациями. Кроме нравственного бессилия, нечем растолковать подобное явление.

С Служинским зашел к Н. И. Уткину⁷⁸⁸ и не застал его дома. Вечером с М. Лазаревским пошли к Семену и тоже не застали дома.

6 мая

С Семеном поехали мы к Энгельгардту и не застали дома. Зашли к Курочкину — тоже, зашли к землячке, М. С. Кржижевич, и она нас встретила резвая, веселая, молодая, как и десять лет назад. Чудная женщина, ее и горе не берет. А горя у нее немало. Она на днях возвратилась из Москвы и привезла мне три короба поклонов от моих московских друзей. Гостеприимная землячка предложила нам завтрак, а мы не отказались. Плотно позавтракавши и весело поболтавши, мы взялись за шапки, как вошел Громека и с ним еще какой-то киевский земляк. Громека по праву кума вместо ручки поцеловал ножку у хозяйки. Эта нежность нам не понравилась, и мы вскоре ушли.

Семен за какой-то надобностью зашел к Юзефовичу⁷⁸⁹, обер-секретарю Синода, и меня потащил с собою. Новый знакомый, несмотря на приветливость, мне не понравился, быть может потому, что он родной брат предателя — киевского Юзефовича⁷⁹⁰.

Расставшись с новым знакомым, поехали мы обедать тоже к новым знакомым, к Степановым из Харькова. После обеда Семен пошел в театр, а я к Сухомлинову, где и встретил старого знакомого и земляка, академика Никитенка⁷⁹¹. Из декламатора, актера, профессора Никитенко превратился в простого любезного старика, в разговоре не избегающего даже малороссийских выражений. Приятное превращение!

7 мая

От 10 до 12 часов Семен с своим учеником пел разные дуэты, а Александра Ивановна им аккомпанировала на фортепиано, а я слушал и по временам аплодировал. С каким трепетным наслаждением я воображал подобную сцену в Новопетровском укреплении. А теперь, когда осуществилось мое лихорадочное ожидание, я смотрю и слушаю как самую обыкновенную вещь. Станный человек вообще,

в том числе и я. После дуэтов вышли мы с Семеном на улицу без всякой цели. Зашли случайно в музыкальный магазин Пеца⁷⁹², поболтали и потом зашли к художнику Соколову; полюбовались рисованными нашими земляками и землячками и пошли к Дзюбину — не застали дома; зашли к М. Лазаревскому, тоже не застали дома. Возвратились к Семену и, дождавшись Юзефовича⁷⁹³ с семейством, принялись обедать.

8 мая

Написал письмо Н. А. Брылкину, отослал на почту и собрался идти в Эрмитаж работать, как вошел Н. Курочкин и Вильбуа⁷⁹⁴. План мой внезапно изменяется. Вместо Эрмитажа пошли мы к Семену потолковать насчет постановки на сцену оперы Вильбуа⁷⁹⁵. Семена не застали дома. Зашли к Софье Федоровне — то же самое. Зашли в трактир, пообедали и разошлись.

9 мая

Было намерение вытащить Дзюбина в Павловск, он не согласился, и я пустился пешком на Крестовский к Старову. В ожидании обеда обошел с Ноздровским половину Крестовского и Петровского острова. Пообедал и пешком же возвратился домой.

Вечером были с Семеном у миленькой Гринберг. Она много и прекрасно пела. Досадно, что она мала ростом, для сцены не годится, а какая бы славная, пламенная была актриса.

10 мая

Начал работать в Эрмитаже. В добрый час сказать, в худой помолчать. Во втором часу пошел на Английскую набережную проводить Сухомлинова за границу. Простившись с Сухомлиновым, зашел к Н. И. Петрову. У него случился билет для входа в Исаакиевский собор⁷⁹⁶, и мы отправились, и нас не впустили, потому что билет подписан Васильчиковым⁷⁹⁷, а не Гурьевым⁷⁹⁸. Китайский резон.

11 мая

Работал в Эрмитаже до трех часов. Обедал с Желяковским у Белозерского, и за успех будущего польского журнала «Слово»⁷⁹⁹ выпили бутылку шампанского. Вечером

с Семеном отправились к графине Н. И. Толстой и возвратились в четыре часа утра. К великой радости хозяйки, последний весенний вечер был оживлен, как обыкновенно, и необыкновенно весел. Семен и мадмуазель Гринберг были душою общей радости.

12 мая

Проводил Грицька Галагана в Малороссию и пошел к графине Настасье Ивановне с целью устроить себе постоянную квартиру в Академии. Она обещает, и я верю ее обещанию. Расставшись с Настасьей Ивановной, зашел ненадолго к художнику Микешину⁸⁰⁰ и потом к Глебовскому⁸⁰¹. Счастливые юноши и пока счастливые художники!

По приглашению Троцины⁸⁰² и прочих земляков пришел я к Дюссо⁸⁰³ в 5 часов обедать и неожиданно встретил нижегородских моих приятелей — Лапу и Бабкина. После обеда ездили с Троциною и Макаровым⁸⁰⁴ кое-куда неудачно.

13 мая

Заказал медную доску. По дороге зашел к Курочкину и не застал дома. Зашел к землячке Кржисевич — то же самое. Зашел к Градовичу и в дверях встретил сестру Троцины, сегодня возвратившуюся из-за границы. Свежая и здоровая. Поездки за границу старых больных дев без прислуги должно принять за нормальное лекарство.

DO BRATA TARASA SZEWCZENKI

Wieszczu ludu — ludu synu,
Tyś tem dymny, boś szlachetny,
Bo u skroń twych liść wawrzynu,
Jak ton pieśń twych, smutny, świetny.

Dwa masz wieńce męczenniku,
Oba piękne, chociaż krwawe,
Boś pracował nie na sławę,
Lecz swe braci słuchał krzyku.

Im zamknięto w ustach jęki —
Ach! i jęk im liczon grzechem!
Tyś powtorzył głośnem echem
Zabronionych jęków dźwięki.

I nad każdym tyś przebolał
I przeplakał nim urodził,
Lecz duch ś wyżyn się okolał
I duch pierś twą oswobodził,

Smutny wieszczu! patrz cud słowa!
Jako słońca nikt nie schowa.
Gdy dzień wszędzie, tak nie może
Schować słowa nikt z tyranów;
Bo i słowo jest też boże
I ma wieszczow za kapłanow.

Jak przed grotem słońca pryska
Ciemnej nocy mrok i chłód,
Tak zbawienia chwila bliska,
Kiedy wieszczow rodzi lud!

Antoni Sowa

Забілили сніги, заболіло тіло, ще й головонька,
Та ще й головонька.
Ніхто не заплаче по білому тілу, по бурлацькому,
Та й по бурлацькому.
Ні отець, ні мати, ні брат, ні сестриця, ні жона його,
Та й ні жона його,
Ой тільки заплаче по білому тілу товариш його,
Та й товариш його.
«Прости мене, брате, вірний товаришу, можеть, я умру,
Та й, можеть, я умру.
Зроби мені, брате, вірний товаришу, з клен-древа труну,
Та з клен-древа труну.
Поховай мене, брате, вірний товаришу, в вишневім саду,
Та в вишневім саду;
В вишневім садочку, на жовтім пісочку під рябиною,
Та й під рябиною.
Рости, рости, древо тонке, високеє, кучерявее,
Та й кучерявее;
Та іспусти гілля зверху до коріння, лист додолоньку,
Та й лист додолоньку;
Покрий тее тіло бурлацькеє біле, ще й головоньку,
Та ще й головоньку.

А щоб тее тіло бурлацькее біле та й не чорніло,
Та й не чорніло,
Од буйного вітру, од ясного сонця та й не марніло,
Та й не марніло.

Вечером был у Желяковского, и он мне записал свое прекрасное стихотворение⁸⁰⁵. А Каменецкий записал малороссийскую песню. Первая песня, которую я знаю без рифмы.

14 мая

Дни нечаянных встреч. Третьего дня с Лапой, вчера с Троциной, а сегодня прихожу к графине Настасье Ивановне обедать и встречаюсь с моим единым, моим незабвенным другом М. С. Щепкиным. Он приехал сюда по случаю юбилея Гедеонова⁸⁰⁶, и, не зная моего адреса, искал меня в Академии и зашел к графине, зная, что я там бываю. Догадливый мой великий друг.

После обеда графиня со всем семейством и мы с нею отправились к адмиралу А. В. Голенищеву. Старик был в восторге от неожиданного гостя. Тут же встретил я и познакомился с декабристом бароном Штейнгелем, с тобольским другом М. Лазаревского.

15 мая

Обещался быть у Михайла Семеновича в 7 часов утра и проспал до 10. Хорош приятель. Ушел в Эрмитаж и работал до трех часов. Вечером пошел до Семена и не застал дома.

16 мая

Не умывшись, поехал к Михайлу Семеновичу, но он уже исчез. С горя зашел к Курочкину — спит. Зашел к Энгельгардту — в ванне. Пошел к меднику, взял доску и на авось зашел к землячке Марье Степановне⁸⁰⁷ — застал дома. Наболтавшись досыта, провел ее к Градовичам и пошел домой. Вечером восхищался пением милочки Гринберг; с Сошальским и Семеном в восторге заехали ужинать к Борелю и погасили свои восторги у Адольфины. Цинизм!

17 мая

Из приюта Адольфины в 7 часов утра отправился к Михайлу Семеновичу, застал еще в халате. Наговорились и уговорились

обедать у К. Д. Кавелина, что и исполнили в 4 часа. Вечером был у Семена и не застал дома. Гульвиса!

18 мая

Очаровательная Александра Ивановна Артемовская сегодня именинница. М. Лазаревский купил для нее роскошный букет цветов, а я отнес ей и преподнес. И я в барышах, и она не вправе сказать, что я поздравил ее с пустыми руками. И вежливо, и дешево.

Отобедав у именинницы, я с Лазаревским вскоре отправились к графине Настасье Ивановне и нашли там М. С. Щепкина. Великий друг мой по просьбе графини прочитал монолог «Скупого рыцаря» Пушкина, «Фейерверк»⁸⁰⁸ и рассказ охотника из комедии Ильина⁸⁰⁹. И прочитал так, что слушатели видели перед собою юношу пламенного, а не 70-летнего старика Щепкина. Гениальный актер и удивительный старик. По обещанию и я с горем пополам прочитал им свои «Неофиты». Не знаю, насколько они меня поняли. По крайней мере, внимательно слушали.

19 мая

В 12 часов проводил моего великого друга М. С. Щепкина на Московскую железную дорогу. На Михайловском театре⁸¹⁰ смотрел Садовского⁸¹¹ в роли Расплюева («Свадьба Кречинского»)⁸¹². После Щепкина я не знаю лучшего комика. Самойлов⁸¹³ далеко уступает Садовскому. Г. Снеткова 2-я⁸¹⁴ просто кукла. Как бы хороша была в этой роли моя незабвенная Пиунова.

20 мая

До трех часов работал в Эрмитаже. Обедал у моих старых друзей Уваровых. Сергей Уваров, веселейший толстяк на свете, сказал следующий экспромт разносчику апельсинов:

Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь
Под бременем тягостной ноши.
Напрасно ты голосом звонким кричишь:
«Лемоны, пельцины хороши!»
Не обольщай меня мечтой
Плодов привозных из чужбины,
Нет, душу, полную какой-то пустотой,
Не соблазнят златые апельсины.

Я отжил жизнь свою давно
И все души моей желанья
Сосредоточивши в одно
Разоблаченное от счастья ожиданье.

Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь⁸¹⁵.

Вечером был у Семена, и милейшая Александра Ивановна играла лучшие места из «Трубадура»⁸¹⁶. Очаровательно играла.

Повернувся я з Сибірі,
Та не маю долі,
Хоч, здається, не в кайданах,
Та не маю волі.

Слідять мене злії люди
День, час і годину, —
Прийде туга до серденька,
То ледве не згину.

Комісари, ісправники
За мною ганяють;
Більше вони людей вбили,
Чим я грошей маю.

Зовуть мене розбойником,
Кажуть, що вбиваю, —
Я нікого не вбив іще,
Бо сам душу маю.

Возьму гроші в багатого,
Убогому даю,
І, так людей поділивши,
Сам гріха не маю.

Маю жінку, маю діток,
Однак їх не бачу;
Як згадаю про їх долю,
То гірко заплачу.

Треба мені в лісі жити,
Треба стерегтися,
Хоть, здається, світ широкий,
Та ніде подіться.

Сочинение этой весьма немудрой песни приписывают самому Кармелюку⁸¹⁷. Клевещут на славного льщаря. Это рудоделье мизерного Падуры⁸¹⁸.

13 июля

СОН

На панщині пшеницю жала,
Втомилася. Не спочивать
Пішла в снопи, пошкандибала
Івана сина годувать.
Воно сповитеє кричало
У холодочку за снопом;
Розповила, нагодувала,
Попестила і, ніби сном,
Над сином сидя, задрімала.
І сниться їй: той син Іван
І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий
На вольній, бачиться: бо й сам
Уже не панський, а на волі;
Та на своїм веселім полі
Удвох собі пшеницю жнуть,
А діточки обід несуть...
Та й усміхнулася небога.
Прокинулась — нема нічого.
На Йвася глянула, взяла
Його гарненько сповила;
Та щоб дожать до ланового,
Ще копу дожинать пішла...
Остатню, може; Бог поможе,
То й сон твій справдиться.

ПРИМІТКИ ТА КОМЕНТАРИ

КНЯГИНЯ

¹ Ідеться про Катерину Григорівну Шевченко (в заміжжі — Красицьку) (1804—1848).

² Шевченко говорить про парк «Софіївка», заснований у 1796 р. поблизу Умані польським магнатом Станіславом Шенським Потоцьким і названий на честь його дружини Софії Віт-Потоцької.

³ Парк у Петергофі — місті на південному березі Фінської затоки, заснованому в 1710-х рр. як заміська резиденція Петра I.

⁴ Ідеться про Микиту Григоровича Шевченка (1811 — бл. 1870).

⁵ Кирилівка — село Звенигородського повіту Київської губернії (тепер село Шевченкове Звенигородського р-ну Черкаської обл.).

⁶ Моринці — село Звенигородського повіту Київської губернії (тепер Звенигородського р-ну Черкаської обл.).

⁷ Шевченко говорить про кирилівського дяка Павла Хомича Рубана (1802—?).

⁸ Не поспішаючи (*старослов.*).

⁹ Насправді під час «субітки» читали четверту заповідь: «Пам'ятай день суботній...» (Книга Вихід 20: 8). Див. також: Повторення Закону 5: 12.

¹⁰ Початок останнього, 151-го, псалма: «Мал біх во братіи моеї...».

¹¹ Ідеться про духовні пісні Сковороди із циклу «Сад божественных пісней», які ввійшли до репертуару кобзарів та лірників: «Всякому городу нрав и права», «Ах поля, поля зелены», «Ой ты, птичко жолтобоко».

¹² Парафраза Дій св. апостолів 9: 5; 26: 14. Пор.: «Жестоко ти есть противу рожна прати».

¹³ Фраза «дивися бывшему», яка не раз зринає в Шевченка, взята з Євангелії від св. Луки 24: 12.

¹⁴ Ідеться про Павла Івановича Шевченка (1797—?), який після смерті Тарасового батька став опікуном сиріт.

¹⁵ Варіація на тему поезії Олексія Кольцова «Горькая доля» (1837). Пор.: «Соловьем залетным / Юность пролетела, / Волной в непогоду / Радость прошумела». І далі через чотири строфи: «Без любви, без счастья / По миру скитаюсь: / Разойдусь с бедою — / С горем повстречаюсь!».

¹⁶ Козелець — повітове місто Чернігівської губернії (тепер районний центр Чернігівської обл.).

¹⁷ Чорна рада, яка відбулася 17—18 (27—28) червня 1663 р. і на якій гетьманом Лівобережної України був обраний Іван Брюховецький, проходила не в Козельці, а в Ніжині.

¹⁸ Ідеться про собор Різдва Богородиці в Козельці, споруджений у 1752—1763 рр. за проектом архітекторів Андрія Васильовича Квасова (1720 — після 1770) та Івана Григоровича Григоровича-Барського (1713—1785).

¹⁹ Ідеться про Наталію Дем'янівну Розумовську (?—1762) — статс-даму імператриці Єлизавети Петрівни, матір графа, генерал-фельдмаршала й морганатичного чоловіка Єлизавети Петрівни Олексія Григоровича Розумовського (1709—1771) та останнього гетьмана Лівобережної України генерал-фельдмаршала Кирила Григоровича Розумовського (1728—1803).

²⁰ Село Лемеші (тепер) Козелецького р-ну Чернігівської обл. — батьківщина Розумовських.

²¹ Див. прим. до поеми «Тарасова ніч».

²² Герард Доу (1613—1675) — голландський художник. Шевченко має на думці його портрети літніх жінок: «Стара жінка за книжкою», «Стара зі свічкою» та ін.

²³ Рафаель Санті (1483—1520) — італійський живописець, графік і архітектор. Шевченко має на думці херувимів на картині «Сікстинська Мадонна».

²⁴ Чабак — лях.

²⁵ Тобто був візником під час наполеонівської кампанії.

²⁶ Остер — повітове місто та річка на Чернігівщині.

²⁷ Тут і далі йдеться про Василя Семеновича Катеринича (1771—1847) — київського цивільного губернатора в 1828—1832 рр.

²⁸ Ідеться про Київський контрактний ярмарок (на Подолі), який відбувався, починаючи з 1797 р.

²⁹ Чистий четвер — найважливіший день останнього тижня перед Великоднем.

³⁰ Гоголів (стара назва — Оглав) — містечко Остерського повіту Чернігівської губернії (тепер село Броварського р-ну Київської обл.).

³¹ Шевченко говорить про історичний роман Михайла Миколайовича Загоскіна (1789—1852) «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829).

³² Прототипом князя Мордатова став князь Микола Іванович Кейкуатов (1806—1865), а прототипом Катрусі — його друга дружина Катерина Федорівна (уроджена Бутович) (1827—1848).

³³ Ідеться про святу великомученицю Катерину Александрійську (287—305).

³⁴ Ідеться про беклярбека й темника Золотої Орди Мамаю (бл. 1335—1380).

³⁵ Тобто в психіатричну лікарню, яка в 1803 р. відкрилася на території колишнього Кирилівського монастиря.

МУЗЫКАНТ

¹ Ілля Гаврилович Бодянський (1782—1848) — прилуцький протоієрей, батько історика, етнографа й видавця Павла Ілліча Бодянського (1809—1867).

² Див. прим. до повісті «Наймичка».

³ Удай — права притока Сули.

⁴ Місце дії роману «Ліс, або Сен-Клерське абатство», виданого під ім'ям англійської письменниці Енн Редкліфф (1764—1823).

⁵ Шевченко вважав засновником Густинського Свято-Троїцького монастиря гетьмана Івана Самойловича, хоча насправді ця обитель була заснована 1600 р. ченцем Йоасафом.

⁶ Вальтер (Скотт) (1771—1832) — відомий британський письменник, засновник жанру історичного роману.

7 Ідеться про Тимчасову комісію для розгляду давніх актів у Києві, створену 1843 р. при канцелярії київського, гудільського й волинського генерал-губернатора.

8 Головний храм Густинського монастиря — Свято-Троїцький собор — будувався в 1674—1676 рр. на кошти гетьмана Самойловича.

9 Шевченко має на увазі свої акварелі «В Густині. Церква Петра і Павла», «В Густині. Брама з церквою Св. Миколи Чудотворця», «В Густині. Трапезна церква» з альбому 1845 р.

10 Микола Григорович Рєпнін-Волконський, князь (1778—1845) похований у склепі під Воскресенською трапезною церквою Густинського монастиря.

11 Шевченковорить про Мгарський (Лубенський) Спасо-Преображенський монастир, заснований 1619 р. коштом княгині Раїни Вишневецької (Могилянки) (1589—1619) — матері Яреми Вишневецького.

12 Ідеться про Петра Григоровича Галагана (1792—1855) — власника села Дігтярі Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер селище Срібнянського р-ну Чернігівської обл.), який був нащадком Гната Івановича Галагана (?—1748) — чигиринського (1709—1713) та прилуцького (1714—1739) полковника.

13 Іваниця — село Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер Ічнянського р-ну Чернігівської обл.).

14 Сокиринці — село Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер Срібнянського р-ну Чернігівської обл.), маєток Григорія Павловича Галагана (1819—1888).

15 За картину «Свячення пасок у Малоросії» Василь Штернберг (див. прим. до поезії «На забудь Штернбергові») у 1838 р. був нагороджений золотою медаллю Санкт-Петербурзької академії мистецтв.

16 Тобто без штанів.

17 Тобто провідник. Алюзія на першу частину «Божественної комедії» Данте.

18 Ідеться про два напрямки садово-паркового мистецтва: 1) розроблений Андре Ленотром та його школою французький (регулярний, геометричний) парк і 2) англійський (пейзажний, іррегулярний, ландшафтний) парк.

19 Див. прим. до поеми «Іржавець».

20 Врізана в дуб ікона, як свідчив Лев Жемчужников, була не в Дігтярях, а в Сокиринцях.

21 Сергій Костянтинович Зарянко (1818—1871) — російський портретист, академік Санкт-Петербурзької академії мистецтв. Для його робіт характерна пильна увага до деталі навіть в аксесуарах.

22 Прототипом цього образу була дружина Петра Григоровича Галагана Софія Олександрівна Галаган (уроджена Казадаєва) (?—1864).

23 Ідеться про оперу італійського композитора Джоаккіно Антоніо Россіні (1792—1868), написану за сюжетом драми Фрідріха Шиллера.

24 Климентій Карлович Бодє — секретар російського посольства в Персії у 1850-х рр., автор подорожніх записок, які друкувалися в журналі «Библиотека для чтения» за 1854 р.

25 Персеполь (Персеполис) — місто, яке виникло в VI—V ст. до н. е. й було столицею імперії Ахеменідів, розташоване за 900 кілометрів на південь від Тегерана.

26 Ідеться про долину Марвдашт неподалік міста Шираз, де збереглися руїни Персеполя (Тахте-Джамшид).

²⁷ Думка Климентія Бодє передана неточно. У другій статті під назвою «Путешествие в Луристан и в Аравистан» («Библиотека для чтения», 1854, т. 126) він писав про те, що може лиш побіжно розповісти про пам'ятки Персеполя, оскільки для докладної розмови потрібно багато чого вивчити, до того ж він не має змоги тривалий час перебувати в Персеполі.

²⁸ Шевченко має на думці повість російського письменника Олександра Олександровича Бестужева (Марлінського) «Фрегат “Надежда”», яка розпочинається чималою картиною балу в Петергофі.

²⁹ Шевченко має на думці описану Гоголем у «Мертвых душах» «пирушку на русскую ногу с немецкими затеями», яку сольвичегодські купці влаштували купцям устьсисольським і яка закінчилася переможною для перших бійкою, після якої вони вибачились, сказавши, що «немного пошалили».

³⁰ Офіцери військових частин, служба в яких вимагала спеціальної освіти (артилеристи тощо), мали особливий («учений») кант на мундири.

³¹ Ім'я героя грецької міфології Амфітріона як гостинного господаря стало прозивним від часу появи комедії Мольєра «Амфітріон» (1668).

³² Г р о с ф а т е р — старовинний німецький танець: хода журавля, після якої починається жваве скакання.

³³ О н о р е д е Б а л ь з а к (1799—1850) — французький письменник. Тут ідеться про роман «Жінка тридцяти років», з якого розпочалася літературна слава Бальзака.

³⁴ Ідеться про серію малюнків німецького художника Ганса Гольбейна Молодшого (1497—1543) «Образи смерті» (або «Танець смерті»), створену в 1524—1526 рр.

³⁵ Згідно з грецьким міфом, Актеон під час полювання побачив Артеміду, яка купалася зі своїми німфами. Розгнівана богиня перетворила юнака на оленя, і його розірвали власні собаки.

³⁶ Шевченко говорить про персонажа трагікомедії Вільяма Шекспіра «Буря» (1610—1611).

³⁷ Л ю д в і г (Л у ї) Ш п о р (1784—1859) — німецький скрипаль, композитор, диригент і педагог.

³⁸ Очевидно, Шевченко має на думці увертюру до комедії Шекспіра «Сон літньої ночі» — один із найвідоміших творів німецького композитора Якоба Людвіга Фелікса Мендельсона-Бартольдї (1809—1847).

³⁹ А д р і є н Ф р а н с у а С е р в е (1807—1866) — бельгійський віолончеліст і композитор, якого називали «Паганіні віолончелі».

⁴⁰ Шевченко говорить про музику німецького композитора, диригента й піаніста Карла Марії Фрідріха Августа фон Вебера (1786—1826) до п'єси німецького актора й драматурга Пія-Александра Вольфа (1782—1828) «Преціоза» (1821).

⁴¹ Мінезингерями в Німеччині XII—XIII ст. називали поетів-музикантів, які оспівували куртуазну любов.

⁴² Шевченко говорить про перекладену для віолончелі каватину Норми з однойменної опери італійського композитора Вінченцо Сальваторе Кармело Франческо Белліні (1801—1835).

⁴³ Ф р і д е р і к Ф р а н ц і ш е к Ш о п е н (1810—1849) — польський композитор і піаніст; Шопен написав понад шість десятків мазурок.

⁴⁴ Варіант народної пісні «Котилися вози з гори», що її авторство приписують Марусі Чурай.

⁴⁵ Людвіг Шпор у Берліні не жив. У 1812 р. він стає капельмейстером Віденської опери, потім їде до Італії, з 1817 р. працює музичним

керівником Франкфуртського театру, а з 1822 р. до кінця життя був придворним капельмейстером у Касселі.

⁴⁶ Російський композитор Михайло Іванович Глінка (1804—1857) влітку 1838 р. тривалий час мешкав у селі Качанівка Борзнянського повіту Чернігівської губернії, у маєтку Григорія Степановича Тарновського.

⁴⁷ Ал е м б і к — скляний перегонний куб; р е т о р т а — посудина з повернутим назад носиком для перегонки речовин.

⁴⁸ Т о м а г а в к — холодна зброя (сокирка) індіанців Північної Америки.

⁴⁹ Шевченко говорить про так звані «єфимки з признаком» — монети часів царя Олексія Михайловича.

⁵⁰ І в а н Н и к и ф о р о в и ч З о л о т а р е н к о (?—1655) — полковник корсунський (1652) та ніжинський (1653—1655). Як наказний гетьман очолював козацьке військо в поході на Білорусь (1654—1655), але в боях за Смоленськ участі не брав (Шевченко говорить про це вслід за «Історією русов»). Натомість в облозі Смоленська брав участь його брат Василь (?—1663).

⁵¹ 17 вересня за ст. ст. православна Церква вшановує святих мучениць Віру, Надію, Любов та їхню матір Софію (?—137).

⁵² С м о л ь н и й і н с т и т у т — перший у Росії інститут шляхетних панночок, заснований за ініціативою Івана Івановича Бецького в 1764 р. у Санкт-Петербурзі при Воскресенському Смольному Новодівичому монастирі.

⁵³ Полтавський інститут шляхетних панночок був заснований 1818 р. за ініціативою княгині Варвари Олексіївни Рєпніної-Волконської.

⁵⁴ Рядки з поеми «Катерина».

⁵⁵ Слова з української народної пісні-танцю «Гречаники».

⁵⁶ І д е т ь с я п р о з а у п о к і й н у м е с у М о ц а р т а — останній твір великого композитора.

⁵⁷ Початок української народної пісні «Ходить гарбуз по городу».

⁵⁸ Перші рядки думи про Олексія Поповича.

⁵⁹ Н е т и ч а н к а — бричка з плетеним кузовом.

⁶⁰ Т о б т о С в я т о - Т р о і ц ь к о г о с о б о р у.

⁶¹ І д е т ь с я п р о д з в і н и ц ю В а р в а р и н с ь к о ї ц е р к в и, р е к о н с т р у й о в а н у в 1844—1845 рр.

⁶² У реконструкції Густинського монастиря брав участь російський архітектор-будівельник, академік Санкт-Петербурзької академії мистецтв (з 1839 р.) Дмитро Єгорович Єфимов (1811—1864).

⁶³ А в т о м е д о н (Автомедонт) — у давньогрецькій міфології візник Ахілла. У переносному сенсі — вправний візник. Саме такого значення надавали йому письменники ХІХ ст., наприклад, Пушкін у романі «Евгеній Онегин».

⁶⁴ І д е т ь с я п р о п р и л у ц ь к и й С п а с о - П р е о б р а ж е н с ь к и й с о б о р (1705—1720), кошти на побудову якого дав Гнат Іванович Галаган (див. прим. до поезії «Іржавець»).

⁶⁵ Прилуцький полковник Іван Яремович Ніс (?—1715) у 1714 р. був призначений генеральним суддею, а його місце посів Гнат Галаган.

⁶⁶ О л е к с а н д р О л е к с а н д р о в и ч Б е с т у ж е в (М а р л і н с ь к и й) (1797—1837) — російський письменник і публіцист, надзвичайно популярний у 1830-х рр., коли його називали «Пушкіним прози».

⁶⁷ У червні 1844 р. Михайло Глінка виїхав із Санкт-Петербурга в Париж.

⁶⁸ П р о т е, щ о М і к е л а н д ж е л о після завершення розписів Сікстинської капели на якийсь час втратив зір, писав Джорджо Вазарі у своїй книзі «Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів» (1550).

⁶⁹ Великі Луки — старовинне російське місто, повітовий центр Псковської губернії (нині районний центр Псковської обл. Росії).

⁷⁰ Серути — поштова станція неподалік Великих Лук.

⁷¹ Ідеться про Петропавлівську лікарню, відкриту в 1835 р. Кошти (400 тис. карбованців асигнаціями) на побудову «больницы, учреждаемой на Петербургской стороне», дав імператор Микола I.

⁷² Герман Кох (1807—1868) — головний лікар Петропавлівської лікарні.

⁷³ Хазяїн Качанівки Григорій Тарновський відзначав свої іменини на «теплого Юрія» — 23 квітня (6 травня).

⁷⁴ Прототипом цього образу могла бути племінниця Тарновського Марія Степанівна Кржисевич (уроджена Задорожна) (1824—1905).

⁷⁵ Прототипом цього образу був Григорій Степанович Тарновський (1784—1853) — український поміщик і меценат.

⁷⁶ Григорій Тарновський був обраний предводителем дворянства Борзнянського повіту Чернігівської губернії в 1831 р.

⁷⁷ Ференц Ліст (1811—1886) — угорський композитор, диригент, педагог, найбільший піаніст-віртуоз XIX ст.

⁷⁸ Шевченко має на думці трагедію «Синав и Трувор» (1750) російського поета й драматурга Олександра Петровича Сумарокова (1717—1777).

⁷⁹ Ідеться про здійснений російським письменником і перекладачем Степаном Івановичем Вісковатовим (1786—1831) переклад французької адаптації шекспірівського «Гамлета» пера Жана Франсуа Дюссі (1733—1816).

⁸⁰ Ідеться про водевіль російського письменника й актора Дмитра Тимофійовича Ленського (1805—1860) «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» (1840).

⁸¹ Тобто влітку 1838 р.

⁸² Арія Людмили з четвертої дії опери «Руслан и Людмила» була написана пізніше — у 1841 р.

⁸³ Смоленське кладовище було засноване згідно з указом Сенату на Васильєвському острові в 1756 р. Свою назву отримало, очевидно, від храму на честь смоленської ікони Божої Матері.

⁸⁴ Плакатний білет, чи плакат, — тимчасовий паспорт для людей податного стану в Російській імперії.

⁸⁵ Крестовський острів — острів у західній частині Санкт-Петербурга, у дельті Неви.

⁸⁶ Піски — історична назва місцевості, розташованої в центрі Санкт-Петербурга між Невою, Невським та Ліговським проспектами, по обидва боки від Суворовського проспекту.

⁸⁷ Ідеться про Нікольський морський собор на Нікольській площі в одному з центральних районів Петербурга — Казанській частині (відомий під іменем Миколи Морського, чи Миколи Мокрого). Побудований у 1753—1762 рр. учнем Растреллі Савою Івановичем Чевакинським.

⁸⁸ Очевидно, ідеться про «Школу для віолончелі» («Methode de violoncelle») (1840) німецького віолончеліста й композитора Бернгардта Гайнріха Ромберга (1770—1841).

⁸⁹ Великий (Кам'яний) театр — найстаріший постійний театр Санкт-Петербурга, відкритий у 1783 р.

⁹⁰ Казанський собор у Санкт-Петербурзі — монументальна пам'ятка архітектури російського класицизму. Побудований у 1801—1811 рр. архітектором Андрієм Никифоровичем Воронініним (1759—1814). Соборне прокляття — церковний обряд, який відправлявся під час однієї з неділь Великого посту.

⁹¹ Ідеться про будинок Енгельгардта на Невському проспекті (№ 30/16), який належав Ользі Михайлівні Енгельгардт (уродженій Кусовниковій). З початку XIX ст. тут відбувалися концерти Санкт-Петербурзького філармонічного товариства.

⁹² Анрі В'єтан (1820—1881) — бельгійський скрипаль і композитор. З 1846 р. жив і працював у Санкт-Петербурзі як соліст імператорських театрів.

⁹³ Александринський театр — найстаріший драматичний театр Росії, створений у 1756 р. Александринським став називатися з 1832 р. на честь імператриці Олександри Федорівни.

⁹⁴ Михайлівський театр — театр опери й балету в Санкт-Петербурзі, відкритий у 1833 р.

⁹⁵ Ідеться про ораторію «Створення світу» австрійського композитора Франца Йозефа Гайдна (1732—1809), написану 1798 р. за сюжетом поеми Джона Мільтона «Втрачений рай».

⁹⁶ Михайлівський манеж — найбільший манеж Санкт-Петербурга, побудований у 1798—1801 рр.

⁹⁷ Ідеться про імператорський Патріотичний інститут, заснований Санкт-Петербурзьким жіночим патріотичним товариством у 1822 р. на базі Училища жінок-сиріт 1812 р. Містився на Десятій лінії Васильєвського острова.

⁹⁸ Ідеться про графа Матвія Юрійовича Вієльгорського (1787—1863), який був блискучим віолончелістом, учнем Ромберга.

⁹⁹ Литовський замок — в'язниця в Санкт-Петербурзі, в окрузі Коломна, на перетині Мойки й Крюкового каналу.

¹⁰⁰ Московська застава — історична назва північної частини сучасного Московського р-ну Санкт-Петербурга. Назва походить від застави, яка була на перетині Московського тракту й Ліговського каналу.

¹⁰¹ Річка, що протікає в Ленінградській та Новгородській обл. Росії.

¹⁰² Тобто сонце (Феб) сіло за морем (Фетіда).

¹⁰³ Луга — повітове місто Санкт-Петербурзької губернії (тепер районний центр Ленінградської обл.). Через нього проходив поштовий Білоруський тракт.

¹⁰⁴ Порхов — повітове місто Псковської губернії (тепер районний центр Псковської обл.), через яке проходив Білоруський тракт.

¹⁰⁵ Шелонь — річка у Псковській і Новгородській губерніях (тепер у Псковській і Новгородській обл. Росії), на якій стоїть Порхов.

¹⁰⁶ Шевченко має на думці славетну Порховську фортецю, засновану ще в 1387 р. за часів Новгородської республіки.

¹⁰⁷ Ідеться про санкт-петербурзького купця першої гільдії Василя Григоровича Жукова (1804—1881), який був уродженцем Порхова.

¹⁰⁸ Усвяті — містечко Веліжського повіту Вітебської губернії (тепер районний центр Псковської області Росії).

¹⁰⁹ Добре (*ital.*).

¹¹⁰ Прерасно (*ital.*).

¹¹¹ 26 серпня православна Церква відзначає день святої мучениці Наталії Нікомідійської (IV ст.).

¹¹² Фронтиспіс — малюнок, вміщений поруч з титульною сторінкою.

¹¹³ Веленевий папір — високоякісний цупкий папір, схожий на пергамент.

¹¹⁴ Ідеться про пісню австрійського композитора Франца Петера Шуберта (1797—1828) «Серенада» (1827) на слова Франца Грільпарцера.

¹¹⁵ Див. прим. до повісті «Наймичка».

¹¹⁶ Семіраміда — легендарна цариця Ассирії, дружина царя Ніна, яка за допомогою хитрощів убила свого чоловіка й узяла владу в свої руки.

¹¹⁷ Ідеться про Клеопатру VII Філопатор (69—30 рр. до н. е.) — останню царицю Єгипту з македонської династії Птолемеїв.

¹¹⁸ Ідеться про партитуру концертної увертюри «Сон літньої ночі». Очевидно, Шевченко читав Шекспірову комедію в перекладі Миколи Михайловича Сатіна (1814—1873), де її назва подана як «Сон в Иванову ночь».

¹¹⁹ За православним календарем, день славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла припадає на 29 червня за ст. ст.

¹²⁰ Вознесенськ — містечко Єлисаветградського повіту Херсонської губернії (тепер районний центр Миколаївської обл.). Очевидно, Шевченко має на думці маневри, які проходили тут у червні — жовтні 1837 р. і на яких був присутній імператор Микола I.

¹²¹ За 2500 карбованців асигнаціями було викуплено з кріпацтва самого Шевченка.

НЕСЧАСТНИЙ

¹ Погане місто (*казах.*). Так казахи називали російську кріпость, засновану в серпні 1735 р. на правому березі Уралу, там, де в нього впадала річка Ор.

² *Нім.* Exerzierhaus — манеж для проведення військових вправ узимку або в погану погоду.

³ Марі Ежен Жозеф Сю (1804—1857) — французький письменник, якого вважають одним із засновників масової літератури.

⁴ Тобто із засувними вікнами в курній хаті.

⁵ Адріан ван Остаде (1610—1685) — голландський художник і гравер, майстер жанрових картин із життя простолюду.

⁶ Тобто художників-жанристів (з *фр.* tableau de genre — жанрова картина).

⁷ Бельведер — надбудова над спорудою, звідки можна бачити далеко навкруги.

⁸ Так називають два обеліски, встановлені колись у Геліополі Тутмосом III, один з яких у 1878 р. був перевезений до Лондона і встановлений на набережній Темзи.

⁹ Литейна — вулиця (тепер проспект) у центрі Санкт-Петербурга, яка йде від Литейного моста до Невського проспекту.

¹⁰ Таврійський сад розбитий у центрі Санкт-Петербурга в 1783—1800 рр. англійським садовим майстром Вільямом Гульдом у ході побудови Таврійського палацу.

¹¹ Див. прим. до повісті «Музикант».

¹² Так звані «лінійні батальйони», засновані в Росії в 1804 р., — війська, призначені для оборони прикордонної лінії. В Оренбурзькому краї таких батальйонів було десять.

¹³ Ідеться про 23-ю піхотну дивізію Окремого Оренбурзького корпусу, куди Шевченко прибув «9-го юня и зачислен в Оренбургский линейный № 5 батальон, с учреждением сторожайшего за ним надзора».

¹⁴ Кантоністами називали синів нижніх військових чинів, які від народження належали до військового відомства. Цей стан існував у 1805—1856 рр.

¹⁵ «Синя панчоха» (*англ.* bluestocking) — іронічне окреслення жінки-інтелектуалістки. З'явилося в Англії в 1780-х рр. у салоні леді

Монтегю, а популярності набуло після появи Байронової сатири на цей салон під назвою «The Blues» («Сині»).

¹⁶ Образ, запозичений з поеми Миколи Гоголя «Мертвые души», де про Манілова сказано таке: «В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года».

¹⁷ Квазіmodo — персонаж роману французького письменника Віктора Марі Гюго (1802—1885) «Собор Паризької Богоматері» (1831); мав потворну зовнішність.

¹⁸ «Доброго дня, тату» (*фр.*).

¹⁹ Ідеться про оперу німецького композитора Карла Марії фон Вебера (1786—1826) «Der Freischütz» («Вільний стрілець»), створену в 1817—1820 рр. У Росії вона йшла під назвою «Волшебный стрелок». Застільна пісня Каспара, про яку говорить Шевченко, у російському перекладі має назву «Что б мы были без вина».

²⁰ Вислів «Авраамове лоно» походить з Євангелії від св. Луки 16: 22. Може виступати як синонім раю або потойбічного світу взагалі.

²¹ Цей епізод описано в «Повісті минулих літ» під 945 р.: «А Ольга, взявши трохи дружини і йдучи без нічого, прийшла до гробу його [Ігоря] і плакала по мужеві своєму. І повеліла вона людям своїм насипати могилу велику...»

²² Див. прим. до повісті «Музикант».

²³ Офіцер, який займався закупкою коней для війська.

²⁴ Катерининський інститут (Училище ордену Св. Катерини) — інститут шляхетних панночок для доньок потомствених дворян, заснований у 1798 р.

²⁵ Тобто з Виборга.

²⁶ Тобто вдовою колезького реєстратора — цивільного чиновника 14-го класу.

²⁷ «Чухонцями» в Санкт-Петербурзі називали фіннів з передмістя.

²⁸ Тобто нісенітниці.

²⁹ Микола Михайлович Лонгінов (1775—1853) — статс-секретар, сенатор, управляючий «закладами вдови-імператриці Марії Федорівни».

³⁰ Кафізма — розділ Псалтиря в богослужбовій традиції православної Церкви. Перша кафізма включає 1—8 псалми. Її читають у суботу ввечері.

³¹ «Перший час» — ранкова служба, що починається після утрені, «часи» — див. коментар до повісті «Наймичка»; псалом 25 (26): «Суди мя, Господи, яко аз незлобою моею ходих...»

³² Псалом 50 (51): «Помилуй мя, Боже, по великій милости твоей...»

³³ Початок 1-го псалма.

³⁴ Початок останнього, 151-го, псалма.

³⁵ Слова з Великого повечір'я.

³⁶ Слова з кондака Пресвятій Богородиці.

³⁷ Трохи неточна цитата з Книги псалмів 36 (37): 1.

³⁸ Ідеться про Московську ямську слободу, яка була по Великій Московській дорозі (нині Ліговський проспект).

³⁹ Ідеться про церкву Воздвиження Чесного й Животворящего Хреста Господнього, яку інакше називали Ямська Іоанна-Предтеченська.

⁴⁰ Ліговка — невелика річка в Санкт-Петербурзі.

⁴¹ Ідеться про Церкву в ім'я Входу Господнього в Єрусалим, яку в народі називали Знаменською (за назвою приділу Знамення Пресвятої Богородиці) і яка була на перехресті Невського проспекту та Ліговського каналу.

⁴² Місто-порт на острові Котлін у Фінській затоці (нині адміністративний район Санкт-Петербурга).

⁴³ Астрахань — місто у верхній частині дельти Волги, адміністративний центр Астраханської губернії (тепер обласний центр Росії).

⁴⁴ Л а с т о в и й (від *нім.* Last — вантаж) — моряк, що служить на вантажних кораблях торговельного флоту.

⁴⁵ Кость для гри в бабки, залита свинцем.

⁴⁶ Переробка початкових рядків російської народної пісні «Во лузях, лузях...». Пор.: «Во лузях, лузях, / Во зеленых лузях...»

⁴⁷ Підопічну (*фр.*).

⁴⁸ Азартна гра в карти, яку інакше називають «сіка» чи «російський покер».

⁴⁹ Ідеться про якусь одну з трьох граматик письменника, видавця й публіциста Миколи Івановича Греча (1787—1867): «Начальные правила русской грамматики» (1826), «Практическая русская грамматика» (1827), «Пространная русская грамматика» (1827).

⁵⁰ О р л я н к а — старовинна азартна гра. Суть гри полягає в тому, що кидають монету, і той, хто вгадає, яким боком вона впаде, виграє її.

⁵¹ По-дитячому (*фр.*).

⁵² А у д и т о р — чиновник для військового судочинства.

⁵³ О б е р - п о л і ц м е й с т е р — начальник міської поліції. У Російській імперії обер-поліцмейстери були в трьох містах: Москві, Санкт-Петербурзі та Варшаві.

⁵⁴ Ідеться про св. Іпполіта, який був начальником римських в'язниць при Декії та Валеріані (249—259 рр.).

⁵⁵ М а к і н т о ш — плащ або літнє чоловіче пальто з непромокальної тканини, винайденої шотландським хіміком Черльзом Макінтошем у 1823 р.

⁵⁶ Історія зі щурами є в другій частині «Мандрів Гуллівера», але вислів, що його наводить Шевченко, зринає не в цьому романі, а в листі Свіфта до віконта Болінброка від 21 березня 1730 р. Російський переклад епістолярія Свіфта був, зокрема, у Карла Брюллова, де його й міг читати Шевченко.

⁵⁷ Слова з кондака Богородиці.

КАПИТАНША

¹ Див. прим. до повісті «Наймичка».

² Братський монастир заснований Київським братством у 1616 р. на Подолі неподалік Дніпра. У 1845 р. вода в Дніпрі піднялася тут на 7 метрів.

³ Шевченко говорить про свою поїздку на Україну навесні 1845 р. Будівництво Тульського шосе, тобто дороги від Москви до Орла, було завершено в січні цього ж таки року.

⁴ П о д о л ь с ь к — повітове місто Московської губернії (тепер районний центр Московської обл. Росії).

⁵ Ідеться про преподобного Антонія Великого (251—356) — засновника християнського монашества.

⁶ О к а й О р л и к (притока Оки) — річки, що протікають через Орел.

⁷ Ідеться про Дмитрівський повіт Орловської губернії (тепер Дмитрівський р-н Орловської обл. Росії).

⁸ Г л у х і в — повітове місто Чернігівської губернії (тепер районний центр Сумської обл.).

⁹ Жанрова картина (*фр.*).

¹⁰ Очевидно, Шевченко має на думці чималу за обсягом поезію Івана Савича Нікітіна (1824—1861) «Ночлег извозчиков» (1854), яка розпочинається словами: «Далеко, далеко раскинулось поле, / Покрытое снегом, что белым ковром...». Уперше надрукована в статті Нестора Кукольника «Листки из записной книжки русского» (Библиотека для чтения», 1854, № 7).

¹¹ К р о м и — повітове містечко Орловської губернії (тепер районний центр Орловської обл. Росії).

¹² Е с м а н ь — село Глухівського повіту Чернігівської губернії (тепер селище Глухівського р-ну Сумської обл.).

¹³ Шевченко має на думці народну баладу «Що в полі верба, під вербою корчма».

¹⁴ Ідеться про блакитну стрічку медалі «В память Отечественной войны 1812 года», якою нагороджували всіх учасників бойових дій до 1 січня 1813 р.

¹⁵ Очевидно, Шевченко має на думці книгу Івана Івановича Лажечникова (1792—1869) «Походные записки русского офицера» (1820).

¹⁶ Мова йде про кампанію 1810 р. російсько-турецької війни 1806—1812 рр.

¹⁷ «М а х е н в е й н» (нім.) — робити вино; «камрад» (фр.) — товариш; «м а м з е л ь х е н л и б е р» (нім.) — любі панночки.

¹⁸ Ч о р т (нім.).

¹⁹ Ідеться про російського письменника Нестора Васильовича Кукольника (1809—1868), який назвав цілу низку своїх творів «драматическими фантазиями».

²⁰ Прототипом Віктора Олександровича був український поет-романтик Віктор Миколайович Забіла (1808—1869).

²¹ Ідеться про Григорія Степановича Тарновського, власника маєтку в Качанівці (див. коментар до повісті «Музикант»).

²² Микола Гоголь та Віктор Забіла навчалися разом у Ніжинській гімназії вищих наук у 1822—1824 рр., а з 1825-го по 1834 рік Забіла служив у Київському драгунському (з 1826 р. — гусарському) полку.

²³ Михайло Глінка поклав на музику дві поезії Забіли: «Гуде вітер вельми в полі...» та «Не щебечи, соловейку...».

²⁴ У 1764 р. російський поет і перекладач Іван Семенович Барков (1732—1768) видав у Санкт-Петербурзі книгу «Федра, Августова отпущенника, нравоучительные басни, с Эзопова образца сочиненные, а с латинских российскими стихами преложенное...».

²⁵ Поема російського поета Михайла Матвійовича Хераскова (1733—1807) «Царь, или Спасенный Новгород» з'явилася в Москві 1800 р.

²⁶ Гебхард Леберехт фон Блюхер, князь вальштадський (1742—1819) — пруський фельдмаршал, учасник наполеонівських війн, командувач пруського війська в битві при Ватерлоо.

²⁷ Барон Брамбеус — псевдонім Осипа-Юліана Івановича Сенковського (1800—1858) — письменника, сходознавця, редактора й публіциста.

²⁸ Ідеться про фортепіано бельгійського майстра Гайнріха Германа Ліхтенталя (?—1854), який після банкрутства своєї фабрики в Брюсселі, перебрався в Санкт-Петербург і в 1840 р. заснував на Фонтанці фортепіанну фабрику, яка існувала до смерті майстра.

²⁹ Тобто старший полковий барабанщик.

³⁰ Жарт, дотеп (фр.).

³¹ Ф а н а б е р і я — чванство.

³² Субретка — тут: служниця.

³³ Ідеться про Сухопутний шляхетний кадетський корпус, який існував у Санкт-Петербурзі з 1743 р.

³⁴ В укладеному російським письменником і видавцем Володимиром Андрійовичем Владиславлевим (1807—1856) довіднику «Памятная книжка военных узаконений для штаб- и обер-офицеров» (1851) про українців сказано так: «Самі дуже добрі, вони не терплять грубості й жорстокості від інших. Ласкавістю з українцем можна всього досягти».

³⁵ Ідеться про найбільшу битву російсько-французької війни 1812 р., яка відбулася 7 вересня 1812 р. під селом Бородіно за 125 кілометрів на захід від Москви.

³⁶ Богдиханами в російській літературі тривалий час називали китайських імператорів.

³⁷ Краги — накладні халяви із застібками; кутаси — аксельбанти, шнури та плетінки на ківерах.

³⁸ «Донька полку» (пол.). Польська назва комічної опери у двох діях італійського композитора Гаetano Доніцетті (1797—1848), лібрето якої написали Жюль-Анрі Верной де Сен-Жорж та Жан-Франсуа Баяр.

³⁹ Борисов — повітове місто Мінської губернії (тепер районний центр Мінської обл. Білорусі).

⁴⁰ Ідеться про старовинне містечко Красний, (тепер районний центр Смоленської обл. Росії).

⁴¹ Ідеться про собор Успіння Пресвятої Богородиці на Соборній горі, побудову якого було розпочато в 1677 р. під наглядом архітектора Олексія Королькова, а завершено в 1732—1740 рр. під орудою Антона Шеделя.

⁴² Див. прим. до поеми «Неофіти».

⁴³ Ідеться про полковника Андрія Васильовича Енгельгардта (бл. 1780—1834) — брата Павла Васильовича Енгельгардта, чийм кріпаком був Шевченко. 24 травня 1807 р. в битві під Фрідландом під час російсько-прусько-французької кампанії 1807 р. він був важко поранений і втратив ногу.

⁴⁴ Книга псалмів 50 (51): 12.

⁴⁵ Ідеться про російського воєначальника, фельдмаршала (з 1826 р.) Фабіана Вільгельмовича Остен-Сакена (1752—1837).

⁴⁶ Джозеф Ланкастер (1778—1838) — англійський педагог, один із творців так званої белл-ланкастерської системи взаємного навчання учнів у початковій школі.

⁴⁷ Ідеться про комедію Квітки-Основ'яненка «Шельменко, волостной писарь» (1831).

⁴⁸ Муром — повітове місто Владимирської губернії (тепер районний центр Владимирської обл. Росії).

⁴⁹ Тобто асигнацію в 5 крб.

⁵⁰ Ідеться про байку Івана Андрійовича Крилова «Червонец», де є такі слова: «Как станешь грубости кору с людей сдирать, / Чтоб с ней и добрых свойств у них не растеряшь, / Чтоб не ослабит дух их, не испортит нравы...».

⁵¹ У 1832 р. Ніжинська гімназія вищих наук була перетворена на ліцей.

⁵² Журнал «Благонамеренный» виходив у Санкт-Петербурзі в 1818—1826 рр. Його видавцем був байкар, прозаїк і журналіст Олександр Юхимович Ізмайлов (1779—1831).

⁵³ «Московские ведомости» — газета, яка належала Московському університету й видавалася впродовж 1756—1917 рр.

⁵⁴ Ідеться про Дениса Васильовича Давидова (1784—1839) — поета «Пушкінської плеяди», генерал-лейтенанта, героя війни 1812 р., співця гусарського життя.

⁵⁵ Ідеться про пісні французького поета П'єра-Жана Беранже (1780—1857).

⁵⁶ Див. прим. до містерії «Великий льох».

⁵⁷ Ідеться про коронацію Миколи I, яка відбулася в Москві 22 серпня (3 вересня) 1826 р.

⁵⁸ Вологда — губернське місто Вологодської губернії (нині обласний центр Росії).

⁵⁹ *Him. Wagenburg* — буквально: укріплення з возів; тут: полковий обоз.

⁶⁰ Ідеться про Муромський Благовіщенський чоловічий монастир Борисоглібської церкви в ньому немає.

⁶¹ Очевидно, Шевченко говорить тут про старовинні споруди Муромського Борисоглібського монастиря, який від початку мав дві церкви: одну — Бориса і Гліба, а другу — Флора і Лавра.

⁶² Діоскор (Діоскур) — батько св. Варвари, через якого вона зазнала мук і смерті.

⁶³ «Повесть о Петре и Февроніи» — давньоруське житіє, яке було написане в середині XVI ст. Єрмолаєм-Еразмом (Єрмолаєм Прегрішним). Вважають, що Петро і Февронія — реальні особи: муромський князь Давид Юрійович і його дружина Єфросинія, що померли 1227 р., як розповідає легенда, в один день і поховані разом в одній домовині.

⁶⁴ Насправді мощі святих Петра і Февронії зберігалися в муромському соборі Різдва Богородиці.

⁶⁵ Шевченко має на думці картину російського художника Ореста Адамовича Кіпренського (1782—1836) «Сивіла Тибуртинська».

⁶⁶ Гарменс ван Рейн Рембрандт (1606—1669) — голландський художник і гравер.

⁶⁷ За легендою, в італійського художника Рафаеля Санті (1483—1520) була коханка й натурниця Форнаріна, зображена на картинах «Форнаріна» та «Донна Велата».

⁶⁸ Ідеться про портрет Беатріче Ченчі (див. прим. до поеми «Княжна»), виконаний італійським живописцем Гвідо Рені (1575—1642).

⁶⁹ Архалук — верхній одяг у вигляді короткого каптана.

⁷⁰ Очевидно, ідеться про маневри Другої російської армії, які проходили в Тульчині (містечко Брацлавського повіту Подільської губернії) в 1822 р.

⁷¹ Брегет — кишеньковий годинник, названий за ім'ям французького механіка й годинникаря Луї-Авраама Бреге (1747—1823), відомого своїми вдосконаленнями годинникових механізмів і багатьма відкриттями в галузі механіки та фізики.

⁷² Очевидно, ідеться про Пошехоння — місто на Ярославщині, або (ширше) про місцевість по берегах річки Шексни, яка раніше мала назву Шехонь.

⁷³ Молога — повітове місто Ярославської губернії, знаходилося при впадінні річки Мологи у Волгу.

⁷⁴ Ідеться про Миколаївську церкву в Глухові, побудовану в 1696 р. за проектом російського архітектора Матвія Єфимова.

⁷⁵ Малоросійська колегія — центральний орган державного управління Російської імперії, заснований за указом Петра I від 16 травня 1722 р. у Глухові замість Малоросійського приказу. Існувала до 1728 р.

⁷⁶ Тобто князя Олександра Даниловича Меншикова (1673—1729) — російського державного й військового діяча, сподвижника й фаворита Петра I.

⁷⁷ Почеп — місто, (тепер) районний центр Брянської обл. Росії. У другій половині XVII — на початку XVIII ст. Почеп був сотенним

містечком Стародубського полку, а в 1710—1720-х рр. — центром володінь князя Меншикова («Почепська волость»).

⁷⁸ Таємна канцелярія — орган політичного розслідування й суду в Росії, який існував у 1718—1801 рр. Про існування Таємної канцелярії в Глухові Шевченко говорить услід за «Історією русов». Насправді її там не було.

⁷⁹ Тобто Гомер.

⁸⁰ Кадм — син фінікійського царя Агенора й Телефісси, засновник міста Фіви.

⁸¹ Скопас (бл. 395 до н. е. — 350 до н. е.) — давньогрецький скульптор і архітектор доби пізньої класики.

⁸² Фідій (бл. 490 до н. е. — бл. 430 до н. е.) — давньогрецький скульптор і архітектор доби високої класики.

⁸³ Шевченко цитує по пам'яті рядки з трагедії російського драматурга Владислава Олександровича Озерова (1769—1816) «Едип в Афинах» (дія друга, ява перша). Пор.: «Нет, никогда уже мой не увидит взор / Ни красоты долин, ни возвышенных гор, / Ни в вешний день лесов зеленые одежды, / Ни мужа кроткого приятного чела, / Которого рука богов произвела».

⁸⁴ Див. прим. до поезії «N. N. (О думи мої! О славо злая!..)».

⁸⁵ Клеменс Венцель Лотар фон Меттерніх (1773—1859) — австрійський державний діяч і дипломат.

БЛИЗНЕЦЫ

¹ Шевченко говорить про книгу російського письменника Миколи Гавриловича Курганова (1725/1726—1796) «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие...» (Санкт-Петербург, 1769), яка, починаючи з другого видання, називалася «Письмовник» і була дуже популярна в Росії наприкінці XVIII — на початку XIX ст.

² Халдеї — вавилонські жерці, які займалися магією й пророкуванням.

³ Зороастр (Заратустра) (VII ст. до н. е.) — засновник зороастризму (маздеїзму), жрець і пророк, імовірний автор «Авести».

⁴ Карл фон Еккартсгаузен (1752—1803) — німецький письменник, популярний у Росії на початку XIX ст. Шевченко говорить про його твір під назвою «Ключ к тайнствам природы» (Санкт-Петербург, 1804).

⁵ Олексій Єгорович Єгоров (1776—1851) — російський художник, професор історичного живопису Санкт-Петербурзької академії мистецтв.

⁶ Ідеться про Переяслав — повітове місто Полтавської губернії.

⁷ Шевченко має на думці фразу з повісті Євгена Гребінки «Кулик» (1841): «Нет, оно не холодно, а дождик идет, такой, знаете, ехидный, так всего и измочит...».

⁸ Бориспіль — містечко Переяславського повіту Полтавської губернії (тепер районний центр Київської обл.).

⁹ Див. прим. до поезії «Сон ("Гори мої високіі...")».

¹⁰ Ідеться про святого мученика Івана Воїна, який жив у IV ст. за часів імператора Юліана Відступника. Особливою пошаною цей святий здавна користується в Україні як заступник і помічник у скорботі.

¹¹ Таких слів у казці про Єруслана Лазаровича немає.

¹² Березань — містечко Переяславського повіту Полтавської губернії (тепер Баришівського р-ну Київської обл.).

¹³ Баришівка — містечко Переяславського повіту Полтавської губернії (тепер районний центр Київської обл.).

¹⁴ Аккерман — старовинне місто на Дністровському лимані (тепер Білгород-Дністровський, районний центр Одеської обл.).

¹⁵ Дубоссари — заштатне місто Тираспольського повіту Херсонської губернії (тепер районний центр Молдови).

¹⁶ Див. прим. до поеми «Тарасова ніч».

¹⁷ Дорпат (Дерпт) — німецька назва естонського міста Тарту. Ідеться про Тартуський (Дерптський) університет (нім.: Universität Dorpat).

¹⁸ Латвійське місто Єлгава спершу називалося по-німецькому Mitau, у польській та російській версіях — Mitawa, Митава.

¹⁹ За народними уявленнями, самогубців можна поминати тільки в цей день.

²⁰ «Каноник» — книга для церковного та домашнього вжитку, що містить канони на честь Христа, Богородиці, апостолів і святих.

²¹ Церква відзначає пам'ять преподобних Зосими (?—1478) та Савватія (?—1435) Соловечьких, зокрема, 17 квітня. Ці святі здавна вважалися покровителями бджільництва.

²² У Володимира Даля трохи інакша версія: «Каков в колыбельку, таков и в могилку».

²³ Александр Дюма (батько) (1802—1870) — один з найпопулярніших французьких письменників, автор пригодницьких романів.

²⁴ Ремінісценція початкового рядка «Слова о полку Ігоревім». Пор.: «Не ліпо ли ны бяшет, братіє, начати старыми словесы...».

²⁵ За наказом Святополка Володимировича (Окаянного) (бл. 980—1019) — князя туровського (з 988 р.) і великого київського (1015—1016, 1018—1019) — на Альбі в 1015 р. було вбито не князя Гліба, а князя Бориса Володимировича.

²⁶ Див. прим. до поеми «Тарасова ніч». Дата битви вказана в повісті неточно.

²⁷ Ідеться про картини Якоба Ісаака ван Рейсдаля (1628/1629—1682) — голландського художника-пейзажиста.

²⁸ Ідеться про Свято-Вознесенський собор у Переяславі, побудований у 1695—1700 рр. на кошти гетьмана Мазепи.

²⁹ Голштинські полки, сформовані в Україні під час війни з Данією 1761—1762 рр., яку імператор Петро III (1728—1762) вів в інтересах Голштинського герцогства, були розформовані після його смерті.

³⁰ Ідеться про Григорія Григоровича Іваненка (бл. 1720 — бл. 1790) — переяславського полковника впродовж 1766—1781 рр. Засновник роду Іваненків Іван Багатий Іоненко був вихідцем з Молдови.

³¹ Очевидно, ідеться про вояків гусарського Цобельтиша полку голштинських військ Петра III.

³² Тобто в Києво-Могилянську академію.

³³ Ідеться про Житній ринок у Києві на Подолі.

³⁴ Іван Васильович Леванда (1734—1814) — український церковний проповідник, протоієрей Софійського собору.

³⁵ Ідеться про Григорія Гречку (?—1848) — ігумена Свято-Миколаївського монастиря (Богуслав), а згодом начальника Китаївської пустині.

³⁶ Див. прим. до поезії «А. О. Козачковському».

³⁷ Див. прим. до поеми «Сліпий».

³⁸ Михайлик — маленький дерев'яний ківш для пиття.

³⁹ Про зустріч Антона Головатого з Катериною II Шевченко читав в історичному нарисі Квітки-Основ'яненка «Головатий».

⁴⁰ Про обід, влаштований генерал-аншефом Петром Текелі для козацької старшини, Шевченко міг читати в книзі Аполлона Скальковського «История Новой Сечи, или Последнего Коша Запорожского» (Одесса, 1846).

⁴¹ Див прим. до поезії «Сон (“Гори мої високії...”»).

⁴² Тобто герой повісті Шевченка ввів читати трьома «священними» мовами: давньоєврейською, грецькою й латинською.

⁴³ Серапіон (Александровський) (1747—1822) — митрополит київський і галицький (з 1803 р.).

⁴⁴ Початкові рядки 10-ї пісні циклу Сковороди «Сад божественных пісней».

⁴⁵ Див прим. до поезії «Сон (“Гори мої високії...”»).

⁴⁶ Ідеться про батька українського етнографа й мовознавця Платона Якимовича Лукашевича (бл. 1809—1887).

⁴⁷ Можливо, Шевченко має на думці міркування Сковороди про мікрота макрокосмос, висловлені в цілій низці творів філософа.

⁴⁸ Стайки — село Київського повіту Київської губернії (тепер Кагарлицького р-ну Київської обл.).

⁴⁹ Яготин — місто Пирятинського повіту Полтавської губернії (тепер районний центр Київської обл.).

⁵⁰ Український і російський композитор Дмитро Степанович Бортнянський (1751—1825) у Київській академії не навчався.

⁵¹ Ідеться про велику пожежу, яка сталася 2—6 (14—18) вересня 1812 р. в Москві під час окурації міста військами Наполеона I.

⁵² Україна дала в народне ополчення 1812 р. 13.358 кінних козаків і 47.493 піших.

⁵³ Пирятин — повітове місто Полтавської губернії (тепер районний центр Полтавської обл.).

⁵⁴ Ідеться про Миколу Свічку — організатора й командира 6-го піхотного полку.

⁵⁵ Наполеонівську інтервенцію часто називали «нашештьем дванадцяти языков».

⁵⁶ Після поразки під Ватерлоо імператор Наполеон Бонапарт опинився на острові Святої Єлени, у селищі Лонгвуд. Територія острова досі належить Великобританії.

⁵⁷ Ідеться про одне з найважливіших довідкових видань XVIII ст. «Енциклопедію, або Тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел» («Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers») у 35 томах, яка видавалася в 1751—1780 рр.

⁵⁸ Тобто «Історії русов».

⁵⁹ Неточна цитата з Книги Буття 2: 18. Пор.: «...не добро быти чоловіку єдиному...».

⁶⁰ Сулимівка — село Пирятинського повіту Полтавської губернії (тепер Яготинського р-ну Київської обл.).

⁶¹ Див. прим. до поеми «Сотник».

⁶² Неточно зацитований рядок з пісні «Стонет сизый голубочек» (1792) на слова російського поета Івана Івановича Дмитрієва (1760—1837).

⁶³ Неточна цитата з другого куплету пісні «Среди долины ровныя...» на слова російського поета Олексія Федоровича Мерзлякова (1778—1830). Пор.: «Высокий дуб, развесистый, / Один у всех в глазах; / Один, один, бедняжка, / Как рекрут на часах!».

⁶⁴ Можливо, тут ідеться про еротичну пісеньку невідомого автора з першої половини XVIII ст. «Лишь только занялась заря и солнце взошло вверх, горя...».

⁶⁵ Можливо, Шевченко має на думці пісеньку «Твой гром гремел над нами...», де є слова: «О Борнгольм! милой Борнгольм!...».

⁶⁶ Ідеться про династію банкірів Ротшильдів, засновником якої був Маєр Амшель Ротшильд (1744—1812).

⁶⁷ Стародуб — повітве місто Чернігівської губернії (тепер центр Стародубського р-ну Брянської обл. Росії).

⁶⁸ Петро Іванович Прокопович (1775—1850) — український бджоляр, чия пасіка була свого часу найбільшою у світі, винахідник рамочного вулика (1814).

⁶⁹ 16 серпня за ст. ст. православна Церква відзначає свято Нерукотворного Спаса.

⁷⁰ «Георгіки» — дидактична поема Публія Вергілія Марона (70—19 рр. до н. е.), в якій ідеться про життя хліборобів.

⁷¹ Ідеться про популярний свого часу «Kalendarz gospodarski», що його видавала бердичівська друкарня босих кармелітів.

⁷² Ідеться про герцога Карла Карловича Бірона — старшого брата Ернеста-Йоганна Бірона, фаворита імператриці Анни Іоанівни. Ця інформація взята з «Історії русов».

⁷³ Гулакові переспіви од Горація («Две оды Горація (До Пархома. I—II)») були надруковані не в «Украинском вестнике», а в «Вестнике Европы» за 1827 р.

⁷⁴ Порівняння Сковороди з грецьким філософом-кініком Діогеном було досить поширеним у першій половині ХІХ ст.

⁷⁵ Ідеться про російського драматурга князя Олександра Олександровича Шаховського (1777—1846) — автора водевілів «Козак-стихотворец» і «Малороссийская Сафо», чії персонажі розмовляють українсько-російським суржиком.

⁷⁶ Ідеться про «Пісню на Новий 1805 год пану нашому і батьку князю Олексію Борисовичу Куракіну» (1804), уперше надруковану в 1849 р.

⁷⁷ «Енеїда» була надрукована ще в 1798 р.

⁷⁸ Шевченко має на думці Вознесенський собор у Переяславі.

⁷⁹ Іван Мирович (?—1706) — переяславський полковник у 1692—1706 рр. Покровська церква побудована на його кошти.

⁸⁰ Андрій Матвійович Матвеев (1701—1739) — один із засновників портретного жанру в російському живописі.

⁸¹ Див. прим. до містерії «Великий льох».

⁸² Початкові рядки пісеньки: «Ой хто до кого, / А я до Параски, / Бо у мене чортма штанів, / а в неї запаски!..»

⁸³ Ідеться про популярну австрійську народну пісню ХVІІ ст. «O, du lieber Augustin» (або: «Ach, du lieber...», «Och, du lieber...»).

⁸⁴ Неточна цитата з української пісні «Одна гора високая, а другая низька». Пор.: «Одна гора високая, а другая низька; / Одна мила далекая, а другая близька».

⁸⁵ На добраніч! (нім.).

⁸⁶ Біда — двоколісний однокінний візок на одну або дві особи.

⁸⁷ Див. прим. до поеми «Наймичка».

⁸⁸ Йоганн Крістоф Фрідріх фон Шіллер (1759—1805) — німецький поет, філософ і драматург.

⁸⁹ Август Фрідріх Фердинанд фон Коцебу (1761—1819) — німецький драматург і романіст, якийсь час перебував на російській службі в Остзейському краї.

⁹⁰ Парафраза латинського афоризму «Ars longa, vita brevis», наведеного Гете в першій сцені першої частини «Фауста»: «Ach, Gott! die Kunst ist lang; / Und kurz ist unser Leben». У знаному Шевченком російському перекладі Едуарда Івановича Губера (1814—1847) ця фраза звучить так: «Искусство времени не знает, / А наша жизнь так коротка».

⁹¹ Див. прим. до поеми «Наймичка».

⁹² Ідеться про село Гельмязів Золотоніського повіту Полтавської губернії (тепер Золотоніського р-ну Черкаської обл.).

⁹³ Іркліїв — село Золотоніського повіту Полтавської губернії (тепер Чернобаївського р-ну Черкаської обл.).

⁹⁴ Андруші — село Переяславського повіту Полтавської губернії (нині затоплене).

⁹⁵ Підопічного (фр.).

⁹⁶ Див. прим. до повісті «Наймичка».

⁹⁷ Див. прим. до поезії «Сон (“Гори мої високії...”»).

⁹⁸ Тіт Лівій (59 р. до н. е. — 17 р. н. е.) — римський історик, автор «Історії від заснування міста» («Ab urbe condita»).

⁹⁹ Можливо, ідеться про Гедеона Вишневського II (1797—1849) — архієпископа полтавського й переяславського.

¹⁰⁰ Ідеться про Петровський Полтавський кадетський корпус, відкритий у 1840 р.

¹⁰¹ Гофманські краплі — краплі з ефіру та спирту, які застосовують для лікування нервових розладів. Названі за ім'ям їхнього винахідника — німецького терапевта Фрідріха Гофмана (1660—1742).

¹⁰² У Мгарському (Лубенському) Спасо-Преображенському монастирі (див. прим. до повісті «Музикант») зберігалися мощі святителя Афанасія III Пателларія, константинопольського патріарха, який помер тут 5 квітня 1654 р. (тепер зберігаються в харківському соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці).

¹⁰³ Див. прим. до повісті «Музикант».

¹⁰⁴ Багачка — містечко Миргородського повіту Полтавської губернії (тепер селище Велика Багачка, районний центр Полтавської обл.).

¹⁰⁵ Див. прим. до поезії «Заступила чорна хмара...».

¹⁰⁶ Див. прим. до повісті «Наймичка».

¹⁰⁷ Решетилівка — містечко Хорольського повіту Полтавської губернії (тепер районний центр Полтавської обл.).

¹⁰⁸ Ковалівка — село Пирятинського повіту Полтавської губернії (тепер Драбівського р-ну Черкаської обл.).

¹⁰⁹ Тобто в містечко Городище — маєток поручика у відставці Левка Миколайовича Свічки, чоловіка сестри Євгена Гребінки Ганни Павлівни.

¹¹⁰ Ідеться про князя Кароля Станіслава Радзивілла (1734—1790), чий образ («Пане Коханку») звично асоціювали з обжерством і пиятикою.

¹¹¹ Книга Псалмів 67 (68): 3.

¹¹² Дмитро Прокопович Трощинський (1754—1829) — вихованець Київської духовної академії, видатний державний діяч Російської імперії при імператриці Катерині II, імператорах Павлові та Олександрові I, таємний радник, сенатор, член Державної ради.

¹¹³ Сволок із написом: «Создася дом сей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Року 1705, місяця августа 1» тепер знаходиться в музеї-садибі Котляревського.

¹¹⁴ Очевидно, Шевченко мав на думці не Леду, а Гебу — богиню, яка частувала олімпійців нектаром та амброзією.

¹¹⁵ Євангелія від св. Матвія 7: 7; Євангелія від св. Луки 11: 9

¹¹⁶ Ідеться про Андрія Федоровича Лук'яновича (1776—1846) — дійсного статського радника, симбірського цивільного губернатора.

¹¹⁷ Ідеться про Хрестовоздвиженський монастир у Полтаві, заснований у 1650 р.

¹¹⁸ Тут і далі — рядки з української народної бурлацької пісні «Та нема в світі гірш нікому...».

¹¹⁹ Гориня (Горинич, Вертогор) — персонаж російських казок, богатир-велетень, український відповідник — Вернигора.

¹²⁰ Слова з великої (мирної) ектенії.

¹²¹ Тут і далі — рядки з української народної чумацької пісні «Ой ішов чумак з Дону...».

¹²² Українська народна пісня, один з варіантів якої використав Котляревський у п'єсі «Наталка Полтавка» (ява 3-я першої дії).

¹²³ Молитва Чесному Хресту.

¹²⁴ Контамінація із Псалтиря. Пор.: «Спаси мя от уст львовых...» (Книга псалмів 21 (22): 22); «Сохрани мя, Господи, из руки грешничи...» (Книга псалмів 139 (140): 4).

¹²⁵ Книга псалмів 118 (119): 133.

¹²⁶ Див. прим. до повісті «Наймичка».

¹²⁷ Книга псалмів 2: 11.

¹²⁸ Пародія на кондак на честь Богородиці.

¹²⁹ Варіант української народної пісні «Ой ходила дівчина бережком...».

¹³⁰ Українська народна сороміцька пісня «Ой мій чоловік...».

¹³¹ Див. прим. до повісті «Наймичка».

¹³² Шевченко згадує тут церкву в яготинській садибі Репніних, побудовану за часів гетьмана Кирила Розумовського.

¹³³ Вишняки — село Хорольського повіту Полтавської губернії (тепер Хорольського р-ну Полтавської обл.).

¹³⁴ Хорол — повітове місто Полтавської губернії (тепер районний центр Полтавської обл.).

¹³⁵ На початку XIX ст. поміщицький маєток у Вишнях належав Надії Дем'янівні Пламенець (уродженій Оболонській).

¹³⁶ Ідеться про княгиню Варвару Олексіївну Репніну-Волконську (вроджену графиню Розумовську) (1778—1864) — дружину князя Миколи Григоровича Репніна-Волконського.

¹³⁷ Неточна цитата з Євангелії від св. Луки 3: 16. Пор.: «...нісьмь достоин отрішити ремень сапогу его».

¹³⁸ Молитва на сон грядущий св. Макарія Великого.

¹³⁹ Книга Псалмів 6: 7. Пор.: «Утрудихся въздыханіем моим, измыю на всяку ношь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу».

¹⁴⁰ Рядок з водевілю Шаховського «Казак-стихотворец» (слова Климовського): «Ну-те готовьте пляскы, забавы, / Ійде козаче в дом от Полтавы / З горней добычей чести и славы, / Ну же Маруся на встричу бижи!»

¹⁴¹ Див. прим. до містерії «Великий льох».

¹⁴² Шевченко має на думці книжку Миколи Івановича Греча «Опыт краткой истории русской литературы» (Санкт-Петербург, 1822).

¹⁴³ Семен Климовський (Климов, Климів) (1690/1700—?) — писар Харківського полку, автор пісні «Їхав козак за Дунай» та віршованих дидактичних трактатів: «О правосудію началствующих...» та «О смиреніи височайших», подарованих 1824 р. Петрові І. Образ Климовського змальований у водевілі Шаховського «Казак-стихотворец».

¹⁴⁴ Вагани — довгасті дерев'яні ночви для продуктів.

¹⁴⁵ Ідеться про рукописну газету «Полтавська муха», в якій, за спогадами сучасників, брав участь Котляревський.

¹⁴⁶ Див. прим. до поеми «Тризна».

¹⁴⁷ У 1804 р. в Санкт-Петербурзі при 2-му кадетському корпусі було створено Волонтерський корпус для підготовки офіцерів з бідних дворян старших 16 років. У 1808 р. цей корпус став називатися Дворянським полком.

¹⁴⁸ Харківський імператорський університет був відкритий у 1805 р. і став першим університетом Наддніпрянської України.

¹⁴⁹ Київський університет (Університет св. Володимира) був заснований 1834 р. Медичний факультет з'явився тут у 1841 р. Його першим деканом був видатний хірург Володимир Опанасович Караваєв (1811—1892).

¹⁵⁰ Неточна цитата з Євангелії від св. Матвія 7: 7 та Євангелії від св. Луки 11: 9. Пор.: «Просите, и дастся вам; ищите, и обрящете; толцете, и отвержется вам».

¹⁵¹ Шулявщина (Шулявка) — мальовнича місцина поблизу Либеді (до 1847 р. — Шульжанське подвір'я Софійського монастиря).

¹⁵² Статті Прокоповича про бджільництво почали з'являтися наприкінці 1820-х років. Серед них варто згадати такі: «О пчеловодстве и о гнильце в ульях» (1827); «О семействах пчелиных», «О матках пчелиных» (1828), «Описание естественного хода пчеловодства и бывших в нем происшествий и приключений в нынешнем году» (1829), «Политические действия при управлении пчелиным заводом» (1833), «Грамота пчеловодства...» (1836).

¹⁵³ Франсуа Мажанді (1783—1855) — французький фізіолог, якого вважали найкращим вівісектором свого часу.

¹⁵⁴ Рядки з української народної пісні «Ой наступає та чорна хмара».

¹⁵⁵ «Останній день Помпеї» (1827—1833) — історична картина Карла Брюллова, виконана на замовлення Анатолія Миколайовича Демидова.

¹⁵⁶ Ідеться про рецензію Осипа Сенковського «Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя», надруковану в журналі «Библиотека для чтения» за 1842 р., в якій автор закидав Гоголеві карикатурність образів і кепську стилістику.

¹⁵⁷ Хрести — місцевість у Києві на Печерську між теперішніми вулицями Суворова та Московською. Місце розваг киян, що мало сумнівну репутацію. Існувало навіть окреслення «хрестівські дівчатка», тобто повії з Хрестів.

¹⁵⁸ Ідеться про розташовану на Подолі книжкову крамницю відставного капітана Павла Петровича Должикова.

¹⁵⁹ Ідеться про книжкову крамницю Глюксберга на Подолі, в якій продавалися іноземні видання.

¹⁶⁰ Ідеться про історичний роман Рафаїла Михайловича Зотова (1795—1871) «Никлас — Медвежья Лапа, атаман контрабандистов, или Некоторые черты из жизни Фридриха II» (Санкт-Петербург, 1838).

¹⁶¹ Вставне оповідання в десятому розділі першого тому «Мертвых душ» Гоголя.

¹⁶² Екзерцісгауз — крите приміщення для військових вправ у холодну чи дощову погоду.

¹⁶³ «Сен-Жорж» — знаменитий ресторан-кафе на набережній Мойки, 24.

¹⁶⁴ Балерина Марія Тальйоні (1804—1884) у 1837—1842 рр. з успіхом гастролювала в Росії.

¹⁶⁵ Ідеться про так звані «Марцинки» — кафешантан і танцклас Марцинкевича на розі Горохової та Фонтанки, розважальний заклад сумнівної репутації.

¹⁶⁶ Сабур — випаруваний, згущений і затверділий сік алое.

¹⁶⁷ Ніжин — повітове місто Чернігівської губернії (тепер районний центр Чернігівської обл.).

¹⁶⁸ «Эда» — поема російського поета Євгена Абрамовича Баратинського (1800—1844), написана в 1826 р.

¹⁶⁹ «Сердешна Оксана» — повість Квітки-Основ'яненка, написана в 1841 р.

170 Ідеться про кондитерську «Не минай» у Ніжині, яка знаходилась поблизу готелю «Не минай».

171 Ідеться про трактир М. Рязанова, який знаходився на Микільській Слобідці (тепер частина Дарницького та Дніпровського районів Києва).

172 Див. прим. до поеми «Катерина».

173 Ідеться про польського віртуоза-скрипаля й композитора Кароля Юзефа Ліпінського (1790—1861).

174 Рядки з української народної пісні «Шумить, шумить дібровонька...».

175 Ідеться про створене в 1772 р. Подільське кладовище, розташоване на Шекавиці.

176 Оссіан (Ойсін) — легендарний кельтський співець III ст., від імені якого написані поеми шотландського поета Джеймса Макферсона (1736—1796).

177 Парафраза «Слова о полку Ігоревім»: «...своя вещія персты на живая струны воскладаше, они же сами князем славу рокотаху».

178 Варіант української народної пісні «Ой у полі могила з вітром говорила».

179 Схожі слова є в народній пісні «Тікай, сину, в Волощину...».

180 Так званий Великий акафіст, який приписують Роману Солодко-співцю (друга половина V—VI ст.).

181 Тобто поліхронія — завершення урочистої церковної відправи.

182 Іван Котляревський помер 29 жовтня 1838 р.

183 Мартин Пушкар (?—1658) — полтавський полковник у 1648—1658 рр.

184 Пенелопа — дружина Одисея, ідеал подружньої вірності.

185 Рядки з української народної пісні «Зійшла зоря ізвечора...».

186 «Гнутися на пе» — йти на ставку, збільшену попереднім виграшем.

187 Кавказьке червоне домашнє вино.

188 Матаха (*вірм.*) — молодий. Тут: молодий друг.

189 Тобто братань.

190 Аргмак — старовинна назва ахалтекинських коней чи взагалі породистих верхових коней східної породи.

191 Новопетровське укріплення — фортеця в Оренбурзькій губернії на півострові Мангишлак. У 1850—1857 рр. Шевченко служив тут рядовим 4-ї роти 1-го лінійного батальйону.

192 Чорний Яр — повітове місто Астраханської губернії (тепер адміністративний центр Чорноярського р-ну Астраханської обл. Росії).

193 Чека (*спотворене вірм.*) — ні, нема.

194 Обла — вобла, тараня.

195 Ідеться про Виноградський-Успенський-Мошногірський чоловічий монастир, заснований у 1656 р. поблизу містечка Мошни Черкаського повіту Київської губернії (тепер село Черкаського р-ну Черкаської обл.).

196 Див. прим. до повісті «Наймичка».

197 Святий Юстин Філософ (бл. 100—163/167) — один з апологетичних мужів і отців Церкви.

198 Після повернення з Аральської експедиції Шевченко деякий час (на початку 1850 р.) мешкав у будинку в Старій, або Голубиній, Слобідці (нині вулиця Козаковська) в Оренбурзі.

199 Самара — місто на лівому березі Волги, засноване 1586 р., центр Самарської губернії (тепер обласний центр Росії).

200 С а к м а р а — річка на території Башкирстану й Оренбурзької обл.

Росії, права притока Уралу.

201 Б у з у л у к — повітове місто Самарської губернії (тепер районний центр Оренбурзької обл. Росії).

202 О б щ и й С и р т — гориста височина (сирт) на південному сході європейської частини Росії.

203 Ф о р т е ц я в Оренбурзькій губернії (тепер Татищево Село Переволоцького р-ну Оренбурзької обл. Росії).

204 І д е т ь с я про Олександра Павловича Брюллова (1798—1877) — російського архітектора й художника, старшого брата Карла Брюллова. Оренбурзький караван-сарай, який існує й нині, був збудований у 1837—1842/1844 рр.

205 С а к м а р с ь к і (Бердські) ворота — головні в'їзні-виїзні ворота міської фортеці Оренбурга.

206 Н і м. Donnerwetter — лайка.

207 Х л а м и д а поругання — багряниця, в яку був одягнений Христос під час знування над ним.

208 В о в ч и й п а с п о р т (білет) — свідоцтво з позначкою про неблагонадійність, яке закривало людині доступ на державну службу.

209 К р а с н и ц я — урочище й селище в Києві на спуску до Дніпра біля Аскольдової могили. Існувало з початку XVIII ст. до 1852 р., коли було знесене в ході побудови Ланцюгового моста.

210 І д е т ь с я або про село Каргала Оренбурзького повіту Оренбурзької губернії, або про село Татарська Каргала (Сеїтова слобода), розташоване за 20 кілометрів від Оренбурга.

211 Н е ж и н к а — село Оренбурзького повіту Оренбурзької губернії (тепер Оренбурзького р-ну Оренбурзької обл.).

212 Р а ї м (Аральське укріплення) — форт на річці Сирдар'ї, заснований у 1847 р. (тепер аул Казалинського р-ну Кизилординської обл. Казахстану).

213 В а р а н т а — викрадення худоби.

214 «П е т р И в а н о в и ч В ы ж и г и н» — роман російського письменника Фаддея Венедиктовича Булгаріна (1789—1859), опублікований у 1831 р., продовження роману «Іван Выжигин» (Санкт-Петербург, 1829). Очевидно, Шевченко мав на думці саме цей твір, де описано, зокрема, перебування героя в «киргизькому» полоні.

215 М а б у т ь, Шевченко має на думці роман Миколи Олексійовича Некрасова та М. Станицького (псевдонім Євдокії Яківни Панаєвої) «Три страны света» (Санкт-Петербург, 1851), де описано, зокрема, життя «киргизького» народу.

216 Ф о р ш т а д т — східне передмістя Оренбурга.

217 О с т р о в н а (Островне) — одне з перших українських поселень в Оренбурзькій губернії (1812—1813 рр.) (тепер село Сарахташського р-ну Оренбурзької обл. Росії).

218 І д е т ь с я про Верхньо-Озерну кріпость (тепер село Верхнеозерне Беляєвського р-ну Оренбурзької обл. Росії)

219 К о з а ч а Г у б е р л я — село Орського повіту Оренбурзької губернії (тепер Гайського р-ну Оренбурзької обл. Росії).

220 О р с ь к а ф о р т е ц я — військове укріплення в Оренбурзькій губернії, засноване в 1735 р. (тепер місто Орськ Оренбурзької обл. Росії).

221 Г у б е р л и н с ь к і г о р и — скелясті окраїни долини річки Губерлі в 30—40 кілометрах на захід від Орська.

222 Т е п е р село Підгорне Кувандикського р-ну Оренбурзької обл. Росії.

223 В і д н і м. Zeughaus — військовий склад для зброї та амуніції.

²²⁴ Яман кала (казах.) — погана фортеця.

²²⁵ Жерделя — дикий абрикос.

²²⁶ Ідеться про англійського художника, скульптора й гравера Джона Флаксмана (1755—1826).

²²⁷ Ор — річка в Актюбінській обл. Казахстану та Оренбурзькій обл. Росії, ліва притока Уралу.

²²⁸ Капітон Степанович Павлов (1792—1852) — український і російський художник, викладав малювання в Ніжинському ліцеї (1820—1839) та Київському університеті (1839—1846).

²²⁹ Ідеться про картину англійського художника й гравера Джона Мартіна (1789—1854) «Знищення Содому й Гоморри» (1852).

²³⁰ Тобто людини знатного роду.

²³¹ Карабута́к — річка, що впадає в Іргіз — праву притоку Тургая. Форт Карабута́к був збудований у травні — жовтні 1848 р.

²³² Шевченко має на увазі знайомство з Карлом Івановичем Герном (1816—?) — військовим інженером, з 1844 р. — квартирмейстером 23-ї піхотної дивізії Окремого Оренбурзького корпусу, з 1853 р. — чиновником для особливих доручень при оренбурзькому генерал-губернаторі.

²³³ Очевидно, ідеться про горілку, настояну на естрагоні (тархуні).

²³⁴ Іргіз — річка в Казахстані, притока Тургая.

²³⁵ Яманкайрали — притока Іргизу.

²³⁶ Якшикайрали — притока Іргизу.

²³⁷ Мазарка — східне кладовище.

²³⁸ Ідеться про місто Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США), яке було засноване в 1776 р. як форт Св. Франциска і чий бурхливий розвиток розпочинається з часу «золотої лихоманки» (1848).

²³⁹ Уральське укріплення було побудоване в 1845 р., у 1868 р. стало повітовим містом Іргиз (тепер село, адміністративний цент Іргизького р-ну Актюбінської обл. Казахстану).

²⁴⁰ Казахська назва Уральського укріплення.

²⁴¹ Джаловли — притока Іргизу.

²⁴² Див. прим. до повісті «Наймичка».

²⁴³ Див. прим. до поеми «Марія».

²⁴⁴ Камедули, точніше камальдули, чи камальдолійці, — католицькі чернечі автономні конгрегації, які живуть згідно з правилами св. Ромуальда Равеннського (951—1027). Назва походить від заснованого на початку XI ст. св. Ромуальдом монастиря Камальдолі, розташованого високо в горах центральної Італії поблизу Ареццо.

²⁴⁵ Див. прим. до повісті «Несчастный».

²⁴⁶ Ідеться про шотландського геолога сера Родеріка Імпі Мурчісона (1792—1871).

²⁴⁷ Див. прим. до повісті «Несчастный».

²⁴⁸ Ідеться про твір російського історика, письменника й публіциста Миколи Михайловича Карамзіна «Письма русского путешественника» (1791—1792). Очевидно, Шевченко сплутав назву цих подорожніх записок з назвою подорожніх записок Павла Анненкова «Письма из-за границы» (1841).

²⁴⁹ Судячи з усього, ідеться про твір російського поета Костянтина Миколайовича Батюшкова (1787—1855) «Картина Финляндии (отрывок из писем русского офицера)» (1809).

²⁵⁰ Ідеться про Київський Свято-Вознесенський Фролівський жіночий монастир.

²⁵¹ Ідеться про Чигиринський Свято-Троїцький жіночий монастир.

252 Геродот Галікарнаський (484 до н. е. — 425 рр. до н. е.) — давньогрецький історик, автор трактату «Історія». «Псалтирем» і «Геродотом» названо тут «Історію русов».

253 Рядки з української народної пісні «Шумить, шумить дібровонька...».

254 Неточно зацитована Богородична молитва. Пор.: «Спасай надію- щися на Тя, Мати Незаходимаго Соннца...».

255 Початкові рядки жартівливої народної пісні «Журилася попада».

256 Початкові рядки жартівливої народної пісні «Жито, мати, жито, мати...».

257 Ідеться про Олексія Фроловича Сенчила-Стефановського (1808—1866) — українського художника, учителя малювання Києво-Подільського дворянського училища (1840—1860).

258 «Києво-Печерський патерик» — славетна житійна збірка першої половини XIII ст., уперше видана друком у 1661 р. і багато разів перевидавана.

259 Ідеться про преподобного Мойсея Угрина (?—1043) — колишнього вояка ростовського князя Бориса Володимировича, а потім ченця Києво-Печерського монастиря.

260 Підварки — передмістя Переяслава.

261 Початок сьомої молитви св. Іоанна Златоуста.

262 Очевидно, Шевченко має на думці св. апостола Андрія Первозваного, який, згідно з «Повістю минулих літ», виконував апостольську місію на берегах Дніпра.

263 Один (Вотан) — верховний бог у германо-скандинавській міфології.

264 Франц Йозеф Гайдн (1732—1809) — австрійський композитор, представник Віденської класичної школи.

265 Ідеться про Святі ворота з Троїцькою надбрамною церквою. Преподобний Микола Святоша (в миру чернігівський князь Святослав Давидович) (бл. 1080—1143) після постригу служив воротарем Києво-Печерської лаври.

266 Ідеться про готель «Зелений трактир», який належав Києво-Печерській лаврі й був розташований на Московській вулиці.

267 Вулиця в Києві, яка веде від Золотоворітської вулиці до Львівської площі.

268 Ідеться про ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (в миру — Максима Яковича Іващенко) (1780—?), який з 1841 р. був ігуменом лікарняного лаврського монастиря.

269 Ідеться про ієродиякона Києво-Печерської лаври Іоакима Яроцького, який у 1840-х рр. був служителем при лаврській лікарні, а також відправляв богослужіння в лаврських печерах.

270 Російський переклад роману англійського письменника Чарлза Джона Гаффама Діккенса (1812—1870) «Давид Копперфільд» друкувався в журналі «Отечественные записки» за 1851 р.

271 Кораблик — очіпок у формі кораблика, зроблений із дорогої тканини на цупкій основі.

272 «Современник» — російський літературний і громадсько-політичний журнал, заснований Пушкінім. Виходив у Санкт-Петербурзі в 1836—1866 рр.

273 Рядки з української народної пісні «Ой у полі древо...».

274 Ідеться про сентиментальний романс «Черный цвет, мрачный цвет...» на слова Павла Олександровича Гвоздева (1815—1851).

¹ Данський художник і скульптор Бертель Торвальдсен (1770—1844) був сином ісландського різьбяря по дереву.

² Брати Андріан (1610—1685) та Ісаак ван Остаде (1621—1649) — голландські художники-жанристи.

³ Ніколас (Клас) Пітерс Берхем Старший (1620—1683) — голландський художник, графік і гравер.

⁴ Давид Тенірс Молодший (1610—1690) — фламандський художник-жанрист.

⁵ Пітер Пауль Рубенс (1577—1640) — фламандський художник доби бароко.

⁶ Антон Ван Дейк (1599—1641) — фламандський живописець і графік доби бароко.

⁷ Ідеться про популярну книгу «Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів» (1550) італійського художника, архітектора й історика мистецтва Джорджо Вазарі (1511—1574).

⁸ Джон Вікліф (1320/1324—1384) — англійський богослов, професор Оксфордського університету, предтеча протестантизму; у 1415 р. був визнаний єретиком на Констанцькому соборі.

⁹ Див. прим. до поеми «Єретик».

¹⁰ Див. прим. до поеми «Єретик». Лютер Мартін був ченцем августинського ордену.

¹¹ Лев X (у миру — Джованні Медічі) (1475—1521) — 217-й папа римський (1513—1521).

¹² Юлій II (у миру — Джуліано делла Ровере) (1543—1513) — 216-й папа римський (1503—1513).

¹³ Антоніо Корреджо (справжнє ім'я — Антоніо Аллегрі) (бл. 1489—1534) — італійський живописець епохи Високого Відродження.

¹⁴ Доменіко Цамп'єрі (Доменікіно) (1581—1641) — італійський живописець Болонської школи.

¹⁵ Румянцевський музей, заснований графом Миколою Петровичем Румянцевим (1754—1826) у 1831 р., до 1861 р. містився в особнякові Румянцева на Англійській набережній.

¹⁶ Будинок Олександри Григорівни Лаваль (1772—1850) — дружини камергера двору Івана Степановича Лавалля (1761—1846) — знаходився на Англійській набережній, 4.

¹⁷ Тоді це був наплавний міст через Неву, що з'єднував центральну частину міста з Петербурзькою стороною.

¹⁸ Сильвестр Феодосійович Щедрін (1791—1830) — російський живописець-пейзажист. З 1818 р. до кінця життя мешкав в Італії.

¹⁹ Літній сад — найстаріший сад у Санкт-Петербурзі, заснований у 1704 р. Створювався у стилі регулярних садів з геометрично правильним розташуванням алей, великою кількістю квітників, фонтанів і скульптур.

²⁰ Ідеться про роботу венеціанського скульптора Франческо Пенсо (Кабіанка) (бл. 1665—1737) «Сатурн».

²¹ Ідеться про вазу біля ставка в Літньому саду, встановлену восени 1839 р., а також про Михайлівський замок, зведений за наказом Павла I в 1797—1800 рр. за проектом Василя Івановича Баженова (1737/1738—1799).

²² Василь Григорович Ширяєв (1795—?) — майстер декоративного живопису; походив з кріпаків, навчався в Арзамаській художній школі академіка Олександра Васильовича Ступіна та в рисувальному класі Товариства заохочування художників у Санкт-Петербурзі.

²³ Статуя «Аполлон», яка стоїть у Літньому саду з 1830 р., — це копія з римського оригіналу I ст. з музею Ватикану, виконана італійським скульптором Паоло Трискорні (1757—1833).

²⁴ Дієго Родрігес де Сільва і Веласкес (1599—1660) — іспанський художник. Картина, про яку говорить Шевченко (вона не належить Веласкесу), знаходилась у картинній галереї, заснованій бароном, генерал-лейтенантом Сергієм Григоровичем Строгановим (1707—1756) у палаці, побудованому Растреллі на Невському проспекті, 17. На час описуваних подій галерея належала графу Олександрові Сергійовичу Строганову (1818—1864).

²⁵ Очевидно, Шевченко має на думці бюст «Дволикий Янус» роботи невідомого італійського майстра XVIII ст., який він потрактував як портрети Демокріта й Геракліта.

²⁶ Будинок Анрі Луї Огюста Рікара де Монферрана (1786—1858) — французького архітектора, який з 1816 р. мешкав у Санкт-Петербурзі, — стоїть на набережній Мойки, 86.

²⁷ «Кухмістерська» Кароліни Карлівни Юргенс, куди часто заходили художники та письменники, була на 6-й лінії Васильєвського острова.

²⁸ Ідеться про Санкт-Петербурзьку академію мистецтв, засновану в 1757 р.

²⁹ Див. прим. до повісті «Близнець».

³⁰ Російський переклад роману Чарлза Діккенса «Nicholas Nickleby» (1838—1839) з'явився в журналі «Библиотека для чтения» за 1840 р., тобто пізніше за описувані події.

³¹ Микола Степанович Пименов (1812—1864) — російський скульптор, професор Санкт-Петербурзької академії мистецтв.

³² Олексій Гаврилович Венеціанов (1780—1847) — російський художник-жанрист, академік Санкт-Петербурзької академії мистецтв (з 1811 р.).

³³ Ідеться про гравюру Франца Осиповича Служинського (Слюджинського) (?—1864) «Геркулес Фарнезький» з рисунка Федора Семеновича Зав'ялова (1810—1856), яка правила за учбовий зразок для копіювання учнями Академії мистецтв, а також про гравюру Василя Петровича Осипова (1780—?) «Аполліно» з рисунка Антона Павловича Лосенка (1737—1773), яка входила до альбому «Изъяснение краткой пропорции человека...» (1772).

³⁴ Роботи з оздоблення Великого театру тривали з липня по листопад 1836 р. під керівництвом італійського і російського архітектора Альберта Катериновича Кавоса (1800—1863).

³⁵ Припорох — трафарет чи рисунок з проколотими контурами для переведення його на папір чи полотно шляхом набивання через проколи порошку фарби.

³⁶ Одран (Audran) — рід французьких граверів XVII—XVIII ст., найбільш відомими з яких були чотири: Шарль (1594—1674), Жерар (1640—1703), Бенуа (1661—1721) та Жан (1667—1756).

³⁷ Джованні Вольпато (1738—1803) — італійський гравер.

³⁸ «Путешествие Анахарсиса Младшего» — російський переклад роману французького археолога Жан-Жака Бартелемі (1716—1795) «Voyage du jeune Anarcharsis en Grèce» (1788).

³⁹ Знаменита італійська балерина Марія Тальйоні (1804—1884) вперше виступила в Санкт-Петербурзі у Великому театрі 6 вересня 1837 р. в балеті «Сільфіда».

⁴⁰ Поганий тон (*фр.*).

⁴¹ Насправді Марія Тальйоні в 1832 р. вийшла заміж за графа Жілбера де Вуазена; за князем Трубецьким була її донька.

⁴² Карл Павлович Брюллов (1799—1852) — російський художник академічної традиції, член Міланської та Пармської академій, професор Санкт-Петербурзької та Флорентійської академій мистецтв, учитель і друг Шевченка.

⁴³ Качуча — танець іспанських циган у балеті Йогана Шмідта (1779—1853) та Данієля Обера (1782—1871) «Гітана». Вперше балет поставлено в Санкт-Петербурзі 23 листопада 1838 р.

⁴⁴ Пальміра — стародавнє місто в Сирії, торговий центр на Сході, зруйноване римлянами. «Північною Пальмірою» називали Санкт-Петербург.

⁴⁵ Ідеться про хорею, чи «танець св. Вітта». За переказом, у XIV ст. Німеччину охопила психічна епідемія, коли люди починали збуджено рухатись. Вони одужували, побувавши в каплиці Св. Вітта.

⁴⁶ Див. прим. до повісті «Музикант».

⁴⁷ Едуард Іванович Губер (1814—1847) — російський поет і перекладач.

⁴⁸ Ідеться про рисунки з гіпсового зліпка старогрецької статуї «Лаокоон» (Ватикан) та зліпка «слідка» (стопа ноги) з якоїсь скульптури Мікеланджело.

⁴⁹ Однією з другорядних фігур цієї картини є художник зі скринькою малярського приладдя на голові, чиєму обличчю Брюллов надав власних рис.

⁵⁰ Граф Михайло Юрійович Вієльгорський (1788—1856) — російський музичний діяч і композитор, гофмейстер імператорського двору.

⁵¹ Лютеранська церква Петра і Павла (Петрикірхе), яка знаходиться на Невському проспекті, 22—24, була збудована в 1833—1838 рр. за проектом Олександра Брюллова.

⁵² Очевидно, Шевченко має на думці відому поезію Губера «Цыганка», яка змальовує запальний циганський танець.

⁵³ «Стофатто с лакрима-кристи» — м'ясо, тушене у вині лакримакресті («Христова сльоза»).

⁵⁴ Ідеться про друзів Брюллова: Михайла Івановича Глинку, Нестора Васильовича Кукольника та художника-портретиста Якова Федосійовича Яненка (1800—1852).

⁵⁵ Петро Іванович Карташов (1812—1875) — машиніст-театрмейстер Великого театру.

⁵⁶ Від початку, наново (*итал.*).

⁵⁷ Ідеться про Андрія Григоровича Ухтомського (1770—1852) — російського гравера по міді, академіка Санкт-Петербурзької академії мистецтв (з 1808 р.), хранителя музею академії мистецтв (з 1831 р.).

⁵⁸ Антіной (бл. 110—130) — юнак з Віфінії, коханець римського імператора Адріана, обожнений після смерті. «Живим Антіноєм» Шевченко називає академічного натурника Тараса Михайловича Малишева.

⁵⁹ Луцій Цейоній Коммод Вер (130—169) — римський імператор у 161—169 рр., співправитель Марка Аврелія.

⁶⁰ Марк Аврелій Антоній (121—180) — римський імператор (161—180) і філософ-стоїк.

⁶¹ Ідеться про «Голову генія смерті» (1792) італійського скульптора Антоніо Канови (1757—1822), яка зберігається в Ермітажі.

⁶² Ідеться про гіпсову копію знаменитої скульптури з ватиканського музею Пія — Климента.

⁶³ Див. прим. до повісті «Музыкант».

⁶⁴ Шевченко говорить про вярження генерал-майора Миколи Борисовича Герсеванова (1809—1871), висловлені в подорожніх нотатках «Рим. Отрывок из путевых впечатлений туриста», надрукованих в «Отечественных записках» за 1846 р.

⁶⁵ Тобто рисунки з гіпсових копій статуї римського консула Юлія Цезаря Клавдіана Германіка (Лувр) і танцюючого фавна (галерея Уффіці).

⁶⁶ Тобто в туфлях, виготовлених у місті Торжку Тверської губернії (тепер центр Торжокського р-ну Тверської обл. Росії).

⁶⁷ Володимир Андрійович Владиславлев (1808—1856) — російський письменник, видавець альманаху «Утренняя заря», в якому 1840 р. була вміщена гравюра з картини Карла Брюллова «Турчанка» («Одалиска»).

⁶⁸ Головна магістраль Васильєвського острова.

⁶⁹ Кафе Деллі було на розі 7-ї лінії та Великого проспекту Васильєвського острова.

⁷⁰ Гравюра Томаса Райта (1792—1849) з малюнка Олексія Венеціанова «Мать учит детей своих молитве» була вміщена в альманасі «Утренняя заря» за 1838 р.

⁷¹ Ідеться про роман французького письменника Шарля Поля де Кока (1793—1871) «André le Savoyard» (1825).

⁷² Див. прим. до повісті «Капитанша».

⁷³ Джованні Вольпато вважають одним з найкращих інтерпретаторів Рафаеля.

⁷⁴ З картин засновника французького класицизму Ніколя Пуссена (1594—1665) гравірували Жерар, Бенуа та Жан Одрани.

⁷⁵ Ідеться про працю шотландського історика Джона Гілліса (1747—1836) «History of Ancient Greece, its Colonies and Conquests», російський переклад якої вийшов у 1830—1831 рр.

⁷⁶ Ідеться про Санкт-Петербурзький «Англійський клуб» («Англійське зібрання»), створений у 1770 р.

⁷⁷ Аполлон Миколайович Мокрицький (1810—1870) — український і російський художник-портретист.

⁷⁸ Ілля Іванович Липін (сер. XIX ст.) — живописець, сторонній учень Санкт-Петербурзької академії мистецтв.

⁷⁹ Петро Карлович Клодт (Клодт фон Юргенсбург) (1805—1867) — російський скульптор, академік Санкт-Петербурзької академії мистецтв (з 1838 р.).

⁸⁰ Олександр Іванович Зауервейд (1782—1844) — російський художник-баталіст, професор Санкт-Петербурзької академії мистецтв.

⁸¹ Петро Васильович Басін (1793—1877) — російський художник, професор Санкт-Петербурзької академії мистецтв.

⁸² У крамниці італійця Паоло Довіціеллі на Великому проспекті Васильєвського острова продавалося малярське приладдя, картини та репродукції.

⁸³ Квартира Товариства заохочування художників для пансіонерів була на 7-й лінії Васильєвського острова, у будинку № 6. У будинку Кастюріна (чи Кастюріної) на 5-й лінії Васильєвського острова Шевченко мешкав пізніше.

⁸⁴ Див. прим. до поеми «Гайдамаки».

⁸⁵ Тимофій Родіонович Головня (1790—1837) — український і російський художник.

⁸⁶ Петро Андрійович Кікін (1775—1834) — статс-секретар імператора Олександра I, один з організаторів Товариства заохочування художників.

⁸⁷ Шевченко має на думці повішеного Аполлоном сатира Марсія. Герой Шевченкової повісті малює гіпсову копію статуї Марсія, яка зберігається в Латеранському музеї.

⁸⁸ Ідеться про картину російського художника Петра Степановича Петровського (1814—1842) «Агар та Ізмаїл у пустелі» (1841).

⁸⁹ Буршами називали в Німеччині студентів, належних до студентських корпорацій.

⁹⁰ Адам Андрійович Фішер (1799—1861) — професор філософії та педагогіки в Санкт-Петербурзькому університеті, Санкт-Петербурзькій духовній академії та Головному педагогічному інституті.

⁹¹ Ресторан Дюме знаходився на вулиці Малій Морській (тепер вулиця Гоголя, 15), у будинку Смурова, а ресторан Сен-Жоржа був на березі річки Мойки біля Певчеського мосту.

⁹² Фохтс — власник винних погребів у Санкт-Петербурзі, жив на 2-й лінії Васильєвського острова.

⁹³ «Частний» лікар — лікар, що обслуговував певну «часть», поліцейсько-адміністративну частину міста. Олексій Сергійович Жидовцов мешкав на 2-й лінії Васильєвського острова в Санкт-Петербурзі.

⁹⁴ Лікарня на Васильєвському острові по 1-й лінії біля Тучкового мосту (тепер лікарня ім. Віри Слуцької).

⁹⁵ Петровський парк розташований на низинних островах Петербурзької сторони біля Тучкового мосту, насаджений у 30-ті роки XIX ст.

⁹⁶ Дача Сергія Олександровича Соболевського (1803—1870) — російського бібліографа, бібліофіла, колекціонера й поета, друга Пушкіна — знаходилася в Петровському парку.

⁹⁷ Над портретом Василя Жуковського Брюллов працював у 1837—1838 рр., а остаточно закінчив його в 1841 р.

⁹⁸ Самуїл Іванович Гальберг (1787—1839) — російський скульптор, професор Санкт-Петербурзької академії мистецтв, приятель Брюллова.

⁹⁹ Петер Йозеф фон Корнеліус (1783—1867) — німецький художник, учасник групи художників-романтиків «Спілка св. Луки» («Lukasbund»), яких називають «назарейцями».

¹⁰⁰ Петер фон Гесс (1792—1871) — баварський придворний художник-баталіст.

¹⁰¹ Лео фон Кленце (1784—1864) — німецький архітектор, художник і письменник.

¹⁰² Валгалла (Walhalla) — «Зала Слави», збудована за проектом фон Кленце в 1830—1842 рр. під Регенсбургом на березі Дунаю.

¹⁰³ Пінакотекка («Стара пінакотекка», «Alte Pinakothek») — картинна галерея в Мюнхені, збудована фон Кленце в 1826—1836 рр.

¹⁰⁴ Ідеться про славетну Дюссельдорфську академію мистецтв (Staatliche Kunstakademie Düsseldorf), засновану в 1773 р.

¹⁰⁵ Ідеться про трактат німецького живописця й графіка Альбрехта Дюрера (1471—1528) «Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt» (1525) (у російському перекладі: «Руководство к измерению циркулем и линейкой»).

¹⁰⁶ Максим Никифорович Воробйов (1787—1855) — російський художник-пейзажист романтичного напрямку, викладав курс перспективи в Санкт-Петербурзькій академії мистецтв (з 1823 р.).

¹⁰⁷ Цим числом датована «відпускна» Шевченка.

¹⁰⁸ Неточна цитата з «Енеїди» Котляревського. Пор.: «Коли чого в руках не маєш, / То не хвалися, що твоє» (IV, 26).

¹⁰⁹ Троїцький міст єднає Суворовську (перед Марсовим полем) та Троїцьку площі.

¹¹⁰ Ідеться про картину Доменіко Цамп'єрі «Святий Іоанн Богослов» (1621—1629), яку герой повісті знав за гравюрою професора Дрезденської академії мистецтв Йоганна Фрідріха Вільгельма Мюллера (1780—1816).

¹¹¹ Перший рядок перекладеної Василем Жуковським у 1816 р. поезії німецького поета Йоганна-Петера Гебеля (1760—1826) «Вівсяний кисіль» («Das Habermuss»).

¹¹² Тобто мріяв про Рим, про собор Св. Петра, в будівництві якого брав участь Мікеланджело.

¹¹³ На Україні Штернберг бував у 1836-му, 1837-му та 1838 рр.

¹¹⁴ Ідеться про маєток Григорія Степановича Тарновського в Качанівці.

¹¹⁵ Тобто не легковажити.

¹¹⁶ Ідеться про великий алтарний образ «Розп'яття», виконаний Брюловим у 1838 р. для лютеранської церкви Св. Петра і Павла.

¹¹⁷ Григорій Карпович Михайлов (1814—1867) — російський художник.

¹¹⁸ Ідеться про картину Ніколя Пуссена «Зняття з хреста» (1829—1830 рр.), яка зберігається в Ермітажі.

¹¹⁹ Ідеться про крамницю Даціаро на Невському проспекті (в будинку Греффа), де продавалися картини та мистецьке приладдя.

¹²⁰ Анрі Греведон (справжнє ім'я — П'єр-Луї Греведон) (1776—1860) — французький художник.

¹²¹ Ідеться про рисунок з гіпсової копії знаменитої статуї «Боргезький боєць» («Гладіатор»), яка зберігається тепер у Луврі.

¹²² Ілля Васильович Буяльський (1789—1866) — російський анатом і хірург, професор Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії.

¹²³ Ідеться про альманах Олександра Пилиповича Смірдіна (1795—1857) «Сто русских литераторов».

¹²⁴ Див. прим. до повісті «Музикант».

¹²⁵ Праця французького історика Жозефа-Франсуа Мішо (1767—1839) «Histoire des croisades» була перекладена російською мовою Іваном Григоровичем Бутовським (1785— бл. 1859).

¹²⁶ Петро Ам'єнський (Пустельник) (бл. 1050—1115) — ченець, якому приписують організацію Першого хрестового походу (1095).

¹²⁷ Ідеться про німецького живописця й гравера Моріца Фрідріха Августа Ретцша (1779—1857).

¹²⁸ Ідеться про здійснений Василем Жуковським переклад поеми Байрона «Шильонський в'язень».

¹²⁹ Яків Григорович Брянський (справжнє прізвище — Григор'єв) (1790—1853) — російський актор, один з останніх представників класицизму.

¹³⁰ Василь Андрійович Каратигін (1802—1853) — російський актор-трагик.

¹³¹ Див. прим. до повісті «Музикант».

¹³² Ідеться про мелодраму французького драматурга Віктора Дюканжа (1783—1833) (переробка комедії Реньяна «Гравець»), перекладену російською мовою Рафаїлом Михайловичем Зотовим (1796—1871).

¹³³ Сюжет, узятий із 37-ї глави Книги пророка Єзекіїля: видіння долини, повної кісток.

142 «Золотої якорь» — ресторан на 6-й ліній Васильєвського острова, 7, відкритий у 1823 р. Улюблене місце викладачів і студентів розташованої поруч Академії мистецтв.

¹³⁵ Ідеться про Олександра Львовича Елькана (1819—1868) — російського репортера, письменника й перекладача.

¹³⁶ Див. прим. до повісті «Музикант».

¹³⁷ Ідеться про п'єсу німецького драматурга й поета Йозефа Фрайгерра фон Ауффенберга (1798—1857), що є переробкою повісті Оноре де Бальзака «Метр Корнеліус», перекладену російською мовою Платоном Григоровичем Ободовським (1803—1861) під назвою «Заколдованный дом, или Смерть Людовика XI».

¹³⁸ Російські художники Григорій Григорович (1801—1865) та Никанор Григорович (1804—1879) Чернецови подорожували по Волзі влітку 1837-го та 1838 р. На виставці в Академії мистецтв 1839 р. експонувалися їхні краєвиди Волги.

¹³⁹ Опера французького композитора Джакомо Мейєрбера (1791—1864) «Роберт-Диявол» (1831).

¹⁴⁰ Опера французького композитора Данієля Обера (1782—1871) «Фенелла» (1828).

¹⁴¹ Поль (справжнє ім'я — Іпполіт) Деларош (1797—1856) — французький художник, автор картин на історичні теми та портретів.

¹⁴² Тобто із сім'єю надвірного радника Олександра Єгоровича Шмідта (1794—1862).

¹⁴³ Ідеться про Григорія Степановича Тарновського.

¹⁴⁴ Ідеться про старшу небогу Григорія Тарновського Емілію Василівну Тарновську, яка вийшла заміж за петербурзького домашнього лікаря Тарновських Бурцова.

¹⁴⁵ Петербурзький Ботанічний сад розбитий на Аптекарьському острові в північній частині дельти Неви.

¹⁴⁶ Див. прим. до повісті «Музикант».

¹⁴⁷ Олександр Іванович Фіцтум фон Екштедт (1804—1873) — інспектор Санкт-Петербурзького університету.

¹⁴⁸ Див. прим. до повісті «Варнак».

¹⁴⁹ Див. прим. до повісті «Варнак».

¹⁵⁰ Франц Людвіг Бем (1788—1846) — петербурзький музикант і педагог, перший скрипаль придворного оркестру.

¹⁵¹ Кастор і Поллукс — брати-близнюки, сини Зевса (Діоскури).

¹⁵² Петро Федорович Соколов (1791—1848) — російський художник-аквареліст.

¹⁵³ Володимир Іванович Гау (1816—1895) — російський аквареліст і мініатюрист.

¹⁵⁴ Ертелів провулок (тепер вул. Чехова) — вулиця в центрі Санкт-Петербурга, яка йде від Малої Італійської (тепер Жуковського) до Басейної (тепер Некрасова).

¹⁵⁵ Едвард Гіббон (1737—1794) — англійський історик, автор фундаментальної праці «History of the decline and fall of the Roman empire» («Історія занепаду і руйнування Римської імперії») (1776—1783).

¹⁵⁶ На замовлення письменника Олексія Олексійовича Перовського (1787—1836) Брюллов виконав картину-ескіз «Нашестя Гензеріха на Рим» (1833—1936).

¹⁵⁷ Над картиною «Бахчисарайський фонтан» (за мотивами поеми Пушкіна) Карл Брюллов працював у 1838—1849 рр.

¹⁵⁸ Дружиною Брюллова була донька ризького бургомистра Емілія

Федорівна Тімм (1821—1877).

¹⁵⁹ Ідеться про Василя Федоровича Тімма (1820—1895), який у 1834—1839 рр. навчався в Академії мистецтв, у професора батального живопису Олександра Івановича Зауервейда.

¹⁶⁰ Вінчання Брюллова з Емілією Тімм відбулося 27 січня 1839 р. не в церкві Св. Анни на Кірочній (Annenkirche), а в церкві Петра і Павла на Невському проспекті.

¹⁶¹ Ресторан Клея був на колишній Михайлівській площі (тепер площа Мистецтв).

¹⁶² «Вдова Кліко» — сорт французького шампанського.

¹⁶³ Ідеться про графа Федора Петровича Толстого (1783—1873) — російського художника, скульптора й медальєра, віце-президента Санкт-Петербурзької академії мистецтв (1828—1859).

¹⁶⁴ «Квентін Дорвард» — роман Вальтера Скотта, опублікований у 1823 р., про пригоди молодого шотландського дворянина на службі в короля Франції Людовіка XI Обережного.

¹⁶⁵ Див. прим. до повісті «Музикант».

¹⁶⁶ Портрет Наталії Миколаївни Пушкіної (уродженої Гончарової) Брюллов виконав у 1831—1832 рр.

¹⁶⁷ Ідеться про портрет Пушкіна, виконаний Орестом Адамовичем Кіпренським (1782—1836) у 1827 р.

¹⁶⁸ Картярська гра.

¹⁶⁹ Ідеться про графа Василя Олексійовича Перовського.

¹⁷⁰ Володимир Іванович Даль (1801—1872) — російський письменник, перекладач, етнограф і лексикограф.

¹⁷¹ Карл Іванович Йоахім (1805—1859) — російський художник, скульптор і ливарник.

¹⁷² Ідеться про картину англійського художника Джона Мартіна «Belshazzar's Feast» (1821).

¹⁷³ Поліцейський (Зелений) мост поєднує Казанський та Адміралтейський острови через Мойку.

¹⁷⁴ Карл Іванович Кольман (1786—1846) — російський художник-аквареліст.

¹⁷⁵ Колекція, зібрана князем Миколою Борисовичем Юсуповим (1750—1831), знаходилася в будинку на набережній Мойки, 94.

¹⁷⁶ Середня Рогатка — історичний район на півдні Санкт-Петербурга, колишня німецька колонія, заснована в 1765 р. вихідцями з Бранденбурга та Вюртемберга.

¹⁷⁷ Ідеться про портрет графа Володимира Олексійовича Мусіна-Пушкіна (1789—1854), виконаний Брюлловим у 1838 р.

¹⁷⁸ Ідеться про портрет князя Олександра Миколайовича Голіцина (1773—1844), виконаний Брюлловим 1840 р. на замовлення колекціонера Федора Івановича Прянишникова (1793—1867).

¹⁷⁹ Ідеться про виставку, яка відкрилась у вересні 1839 р. в залах Академії мистецтв.

¹⁸⁰ За цю картину Петровський одержав першу золоту медаль.

¹⁸¹ На цій виставці Микола Олександрович Рамазанов (1815—1867) показував скульптури «Фавн, що несе козеня», «Мілон Кротонський» та барельєф «Святки».

¹⁸² На цій виставці Петро Андрійович Ставассер (1816—1850) показував скульптуру «Хлопчик, який вудить рибу».

¹⁸³ Тут експонувалася картина Брюллова «Розп'яття» (1837—1838).

¹⁸⁴ Ідеться про Шевченків рисунок з натури «Два натурники».

185 Ідеться про Шевченкову картину «Хлопчик-жебрак дає хліб собаці».

186 Див. прим. до повісті «Музикант».

187 Петровський острів — третій за величиною острів Петербурзької (тепер Петроградської) сторони. Свою назву дістав на початку XVIII ст., коли був власністю Петра I.

188 Парголово — північне передмістя Санкт-Петербурга.

189 Ідеться, очевидно, про Наталію Андріївну Петрово-Соловово (уроджену княжну Гагаріну) (1815—1893) — відому петербурзьку красуню.

190 Ідеться про зимовий похід російської армії під командуванням генерал-ад'ютанта Василя Олексійовича Перовського на Хівинське ханство в 1839—1840 рр.

191 На ту пору лекції читав російський фізик, професор Санкт-Петербурзького університету Емілій Християнович Ленц (1804—1865).

192 Степан Семенович Куторга (1805—1861) — російський природознавець і геолог, професор Санкт-Петербурзького університету.

193 Ідеться про роман Шарля Поля де Кока «Frere Jacques» (1842).

194 Ідеться про роман ірландського письменника Олівера Голдсмита (1728—1774) «The Vicar of Wakefield» (1766).

195 Шугай — короткопола кофта з рукавами.

196 Обухівська лікарня, заснована в 1779 р., знаходиться на набережній Фонтанки, 106.

197 Англійська набережна тягнеться лівим берегом Великої Неви між Сенатською площею та Ново-Адміралтейським каналом.

198 Пінетті (сценічне ім'я — Жан-Жозеф де Вільдаль, кавалер Пінетти, маркіз де Мерсі) (1750—1803) — ілюзіоніст, який гастролював, зокрема, в Росії.

199 Вічний Жид — Агасфер, чоловік, який, за легендою, відмовився допомогти Христові нести хрест і був приречений на вічні мандри до другого пришествя.

200 Насправді йдеться про Гектора.

201 Собор Казанської Божої Матері в Санкт-Петербурзі розташований на Невському проспекті, 25.

202 Собор Св. апостола Андрія Первозваного знаходиться на Васильєвському острові, на перетині Великого проспекту й 6-ї лінії.

203 Райок — верхній ярус театральної зали.

204 Ідеться про родину купця 2-ї гільдії Івана Олександровича Уварова (1777—1858).

205 Коломна — історичний район в центральній частині Санкт-Петербурга (тепер муніципальний округ № 1 у складі Адміралтеского р-ну міста).

206 Іван Костянтинович Айвазовський (1817—1900) — російський художник-мариніст, колекціонер і меценат вірменського походження.

207 Штернберг та Айвазовський виїхали до Італії в липні 1840 р.

208 Ідеться про капітан-лейтенанта Сергія Петровича Тирінова.

209 Див. прим. до поезії «Чи не покинуть нам, небого...».

210 Ідеться про колезького радника Андрія Івановича Крутова (1796—1860).

211 Йоахім Лелевель (1786—1861) — польський історик і політичний діяч, професор Віленського університету.

212 Мається на увазі книжка американського письменника-романтика Вашингтона Ірвінга (1783—1859) «The Life and Voyages of Christopher Columbus» (1828), російський переклад якої з'явився в 1836—1837 рр.

²¹³ Брюллов змалював прикрашення Парфенона, яке відбувалося в 438—431 рр. до н. е. під керівництвом Фідія.

²¹⁴ Шевченко має на увазі зображену на рисунку Брюллова статую роботи Фідія «Ріка Кефіс», яка зараз зберігається в Британському музеї.

²¹⁵ Фідій (бл. 490 р. до н. е. — бл. 430 рр. до н. е.) — грецький скульптор і архітектор; Перікл (490—429 рр. до н. е.) — афінський політичний діяч, полководець і оратор; Аспазія (бл. 470 р. до н. е. — бл. 400 до н. е.) — друга дружина Перікла.

²¹⁶ Ксантіппа — сварлива дружина Сократа.

²¹⁷ «Афінська школа» — фреска Рафаеля в станції делла Сеньятура Ватиканського палацу, створена в 1508—1511 рр.

²¹⁸ «Гугеноти» («Les Huguenots») — опера німецького й французького композитора Джакомо Меєрбера (1791—1864), створена в 1836 р.

²¹⁹ Ідеться про незавершену картину «Облога Пскова королем Стефаном Баторієм у 1581 році», над якою Брюллов працював здебільшого в 1839—1843 рр.

²²⁰ Боярин Іван Петрович Шуйський (?—1588) — псковський намісник і воєвода.

²²¹ Ідеться про роман англійського письменника Семюела Річардсона (1689—1761) «Clarissa, or, the History of a Young Lady» (1748), надрукований у російському перекладі (скорочено) в журналі «Библиотека для чтения» за 1848 р.

²²² Ідеться про французького письменника й публіциста Жюля Габрієля Жанена (1804—1874).

²²³ Жан-Батіст Грез (1725—1805) — французький живописець-жанрист.

²²⁴ Геба — богиня юності в грецькій міфології, була виночепицею на Олімпі до того, як її замінив Ганімед.

²²⁵ Охтянка — мешканка Охти, історичного району Санкт-Петербурга на правому березі Неви.

²²⁶ Весталка — жриця богині Вести в Стародавньому Римі.

²²⁷ Ідеться про книгу французького мандрівника й письменника Жака Етьєна Віктора Араго (1790—1855) «Voyage autour du monde» (1843), російський переклад якої під назвою «Воспоминания слепого: путешествие вокруг света» з'явився в 1844—1845 рр.

²²⁸ Шевченко має на думці російський переклад книги французького мореплавця Жюля-Сезара Себастьяна Дюмон-Дюрвіля (1790—1842): «Всеобщее путешествие вокруг света» (Москва, 1835—1837).

²²⁹ Ідеться про працю грецького філософа й історика Плутарха Херонейського (бл. 45 — бл. 127) «Порівняльні життєписи», російський переклад якої під назвою «Плутарховы сравнительные жизнеописания» виходив у Санкт-Петербурзі в 1810-му, 1814—1816-му, 1817—1821 рр.

²³⁰ Шевченко має на думці слова Гоголя з повісті «Нос»: «Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный».

²³¹ Див. прим. до поезії «N. N. ("О думи мої! О славо злая!..")».

²³² Михайло Васильович Остроградський (1801—1862) — український та російський математик і механік, академік чотирьох академій наук, один із засновників Петербурзької математичної школи.

²³³ Див. прим. до поеми «Неофіти».

²³⁴ Ідеться про підприємця й колекціонера Андрія Михайловича Прево (1801—1867).

235 Еміль Жан Орас Верне (1789—1863) — французький живописець-баталіст.

236 Жан Антуан Теодор Гюден (1802—1880) — французький живописець-мариніст.

237 Барон Шарль (Карл Карлович) Штейбен (1788—1856) — французький живописець німецького походження; тривалий час жив у Росії.

238 Шарль-Маргеріт Дю Пати (Дюпати) (1746—1788) — французький письменник, автор книги подорожніх нарисів, російський переклад якої вийшов під назвою «Путешествие г. Дю Пати в Италию в 1785 году» (Санкт-Петербург, 1800—1801).

239 Джованні Баттіста Піранезі (1720—1778) — італійський археолог, архітектор і художник-графік, майстер архітектурних пейзажів.

240 Римський ресторан, де любили збиратися російські художники. Про це писав, зокрема, Олександр Островський у своєму щоденнику за 1845 р.

241 Шевченко має на увазі картину російського художника Олександра Андрійовича Іванова (1806—1858) «Явлення Христа народів» (1837—1857).

242 Кафе Греко, розташоване неподалік площі Іспанії на вулиці Кондотті, — місце зустрічей художників, письменників, композиторів; тут бували Байрон, Берліоз, Бізе, Вагнер, Гете, Ліст, Міцкевич, Россіні, Стендаль, Шеллі та інші.

243 Ідеться про собор Святого Петра та Колізей, або амфітеатр Флавіїв.

244 В п ан д а н — під пару.

245 Академічний сюжет за 40-ю главою Книги Буття.

246 Байка «Метафізик» російського поета Івана Івановича Хемніцера (1745—1784) — це варіація старовинного мотиву про філософа Фалеса, який, задивившись на зорі, не побачив під ногами ями й упав туди.

247 Католицький храм Св. Станіслава, побудований у 1823—1825 рр., розташований на вулиці Майстерській, 9 (тепер: вул. Спілки Друкарів, 22).

248 Адам Бернард Міцкевич (1798—1855) — польський поет-романтик.

249 «Леонард Демський, помер року 18...» (лат.).

250 Шевченко читав книжку польського філософа Кароля Фридеріка Лібельта (1807—1875) «Estetyka czyli umniectwo piękne».

251 Берхем був одружений на Катарині Клас де Грот — жінці жадібній і владній, яка примушувала його безугавно працювати.

252 Мідянка — безнога ящірка із семейства сцинкових; цілком безпечна, хоч часто думають, що вона отруйна.

253 Можливо, Шевченко має тут на думці нарис Івана Панаєва «Онагр» (1841), де є така фраза: «Санкт-петербургские онагры, по-моему, гораздо любопытнее Санкт-петербургских “львов”».

254 Ельдорадо — країна золота й коштовного каміння, міф про яку розробив іспанський історик, францисканець Педро Симон (1574— бл. 1628).

255 Ідеться про любов Мікеланджело до Форнаріни.

256 Слова Кочкарьова з комедії Гоголя «Женитьба» (11-а ява першої дії): «...Я тебя женю так, что и не услышишь».

257 Див. прим. до містерії «Великий льох».

258 Див. прим. до повісті «Капитанша».

259 Олексій Васильович Тиранов (1801—1859) — російський художник; за картину «Дівчина з тамбурином» отримав звання академіка. У 1844 р. психічно захворів.

260 Брюллов працював над малярським оформленням Ісакіївського собору в 1843—1847 рр.

²⁶¹ Можливо, це варіація на тему поезії Миколи Гоголя «Італія» (1827): «Італія — роскошная страна!..».

²⁶² Тобто час.

²⁶³ Брюллов виїхав на лікування на острів Мадейра в 1849 р.

²⁶⁴ Лікарня Всіх скорботних була розташована за містом, на Петергофській дорозі (тепер проспект Стачок, 158).

²⁶⁵ Бартоломео Пінеллі (1781—1835) — італійський художник-жанрист і гравер.

²⁶⁶ Брюллов помер 23 червня 1852 р. у містечку Марчіано поблизу Рима.

ПРОГУЛКА С УДОВОЛЬСТВИЕМ И НЕ БЕЗ МОРАЛИ

¹ Сергій Тимофійович Аксаков (1791—1859) — російський письменник, критик, мемуарист, громадський діяч.

² Див. прим. до поеми «Гайдамаки».

³ Ідеться про станцію Віта-Поштова (тепер село Києво-Святошинського р-ну Київської обл.).

⁴ Див. прим. до повісті «Наймичка».

⁵ Васильків — повітове місто Київської губернії (тепер районний центр Київської обл.).

⁶ Митниця — село Васильківського повіту Київської губернії (тепер районний центр Київської обл.).

⁷ Біла Церква — місто Київської губернії (тепер районний центр Київської обл.).

⁸ Штафірка — зневажлива назва цивільної людини в старому російському військовому жаргоні.

⁹ Тимко Падура (Tomasz Padurra) (1801—1871) — українсько-польський поет і композитор.

¹⁰ У 1810 р. Байрон вирізав своє ім'я на одній з колон храму Посейдона на мисі Суніон.

¹¹ Шевченко говорить про перше видання праці українського історика Аполлона Олександровича Скальковського (1808—1899) «История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского» (Одеса, 1841), в якій поезія Тимка Падури «Гей, козаче, в ім'я Бога!» подана як уснопоетична пам'ятка.

¹² Див. прим. до повісті «Капитанша».

¹³ Пан Твардовський — легендарний польський шляхтич, який продав душу дияволу, герой балади Адама Міцкевича «Pani Twardowska» (1820), опери Олексія Верстовського «Pan Twardowski» (1820), повісті Юзефа Ігнаці Красінського «Mistrz Twardowski» (1840).

¹⁴ Ідеться про коричневе англійське міцне пиво (brown stout). Очевидно, Шевченко має на думці напій фірми «Barclay and Perkins».

¹⁵ Під час Кримської війни 1854—1855 рр. полонених англійців, відправляючи вглиб Росії, провозили через Україну.

¹⁶ Алюзія на останній рядок байки Івана Крилова «Ларчик». Пор.: «А Ларчик просто открывался».

¹⁷ Тобто торговцеві (Меркурій — покровитель торгівлі в римській міфології).

¹⁸ Див. прим. до повісті «Художник».

¹⁹ «Морской сборник» — російський щомісячний журнал, офіційний орган військово-морського відомства, заснований адміралом Федором Петровичем Літке; виходив у Санкт-Петербурзі з 1848 р.

²⁰ Див. прим. до повісті «Несчастный».

²¹ Морфей — бог сновидень у грецькій міфології.

²² Очевидно, Шевченко неточно цитує початковий рядок поезії Аполлона Майкова «Гезиод» (1839). Пор.: «Во дни минувшие, дни радости блаженной».

²³ У ході оборони Севастополя в 1854—1855 рр. на Четвертому бастионі точилися найкровопролитніші бої.

²⁴ Див. прим. до поеми «Катерина».

²⁵ Дормез — дорожня закрита карета з розкладними сидіннями для сну.

²⁶ Міцний алкогольний напій, поширений на Сході. Тут, очевидно, ідеться про горілку.

²⁷ Трабуко (трабукос) — сорт легких товстих сигар.

²⁸ Алюзія на езопівську байку «Лисиця й виноград».

²⁹ Тараша — повітове місто Київської губернії (тепер районний центр Київської обл.).

³⁰ Франческо Бартоломео Растреллі (1700—1771) — російський архітектор, яскравий представник стилю бароко.

³¹ Костянтин Андрійович Тон (1794—1881) — придворний архітектор Миколи I, засновник так званого «російсько-візантійського» стилю.

³² Ідеться про книгу, як скаже Шевченко трохи далі, «профессорши Авдеевой», тобто російської письменниці Катерини Олексіївни Авдєєвої (1789—1865) «Ручная книга русской опытной хозяйки» (Санкт-Петербург, 1842), яка багато разів перевидавалася.

³³ Карл Теодор Кернер (1791—1813) — німецький поет і драматург.

³⁴ Йоганн Генсфляйш цур Ладен цум Гутенберг (1397/1400—1468) — німецький ювелір, винахідник книгодрукування.

³⁵ Йоганн Каспар Лафатер (1741—1801) — швейцарський письменник і богослов, автор популярної книги «Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe» («Фізіогномічні фрагменти для заохочування людських знань і любові», 1772—1778).

³⁶ Картярські ігри.

³⁷ Її прообразом була, очевидно, старша донька Ускових Наталя.

³⁸ Романс на слова російського актора й поета Миколи Григоровича Циганова (1797—1831), автор музики — Олександр Єгорович Варламов (1801—1848).

³⁹ Алюзія на російську народну казку «Сивка-Бурка»: «Сивка-бурка, веший каурка, встань передо мной, как лист перед травой!».

⁴⁰ Село Бране Поле (тепер Богуславського р-ну Київської обл.)

⁴¹ Александр Калам (1810—1864) — швейцарський живописець і графік, засновник жанру альпійського пейзажу.

⁴² Див.: Книга Буття 1: 26.

⁴³ Див. прим. до повісті «Музыкант».

⁴⁴ Див. прим. до поеми «Гайдамаки».

⁴⁵ Див. прим. до повісті «Варнак».

⁴⁶ Антраша — у класичному балетному танці стрибок, під час якого ноги танцівника швидко схрещуються в повітрі.

⁴⁷ Михайло Хмельницький (?—1620) — чигиринський підстароста; де народився — невідомо.

⁴⁸ Шевченка каже про Коліївщину, одним з керівників якої був Максим Залізняк (див. прим. до поеми «Гайдамаки»). Він порівнює її з

так званою «Сицилійською вечірнею» — повстанням сицилійців проти Анжуйської гілки династії Капетингів, яке розпочалося 30 березня 1282 р. Сигналом до повстання став церковний дзвін до вечірні, а гаслом повстанців стали слова «Morte Alla Francia, Italia Anela» («Смерть Франції, Італіє, зітхни»). Керівником повстання був Джованні ді Прочіда.

⁴⁹ Варфоломійвська ніч — масова різанина протестантів-гугенотів католиками в ніч на 24 серпня 1572 р. (на день св. Варфоломія) в Парижі.

⁵⁰ Ідеться про кровопролиття Великої французької революції 1789—1794 рр.

⁵¹ Олександр Андрійович Чацький — герой комедії Грибоєдова «Горе от ума».

⁵² Шевченко має на думці рядки з восьмого розділу роману Пушкіна «Евгеній Онегин»: «И путешествия ему, / Как все на свете, надоели, / Он возвратился и попал, / Как Чацкий, с корабля на бал».

⁵³ Див. прим. до повісті «Княгиня».

⁵⁴ Ідеться про магазин-бібліотеку на Подолі, який належав українському підприємцю, книговидавцю, поету й бібліофілу Павлові Петровичу Должикову (1798—1884).

⁵⁵ Ідеться про блокаду турецької фортеці Сілістрії на Дунаї російськими військами генерал-фельдмаршала Івана Федоровича Паскевича в травні — червні 1854 р.

⁵⁶ Можливо, ідеться про видання: «Переписка российской императрицы Екатерины II и господина Вольтера, продолжавшаяся с 1763 по 1778 год» (Москва, 1803).

⁵⁷ Вольтера називали «фернейським мудрецем (пустельником, патріахом, філософом)» з огляду на те, що він мешкав у місті Ферней поблизу Юрських гір на кордоні зі Швейцарією.

⁵⁸ Кам'янець-Подільський — місто, центр Подільської губернії (тепер районний центр Хмельницької обл.).

⁵⁹ Словутка (славутка) — плащ з відлогою із сукна, яке виробляли в заснованій 1795 р. суконній фабриці в місті Славуті (тепер районний центр Хмельницької обл.).

⁶⁰ Гетьман Іван Ілліч Скоропадський був знавцем кулінарії. Про «борщ Скоропадського» згадував Квітка-Основ'яненко в романі «Пан Халявський».

⁶¹ Як свідчив Плутарх, римський консул і полководець Луцій Ліціній Лукулл (бл. 106 р. до н. е. — 56 р. до н. е.) полюбляв влаштовувати розкішні бенкети. Звідки походить вислів «лукуллів бенкет».

⁶² Джон Буль (John Bull) — персонаж англійського сатирика Джона Арбетнота (1667—1735), прозивне ім'я англійця.

⁶³ Тобто непривабливою.

⁶⁴ Відступ (*фр.*).

⁶⁵ Див. прим. до повісті «Капитанша».

⁶⁶ Тобто житіє св. великомученика Євстафія Плакиди (?—118).

⁶⁷ Мартин — народна назва великої чайки.

⁶⁸ У «Думі про Олексія Поповича» буря на морі стихає, коли герой визнає свої гріхи.

⁶⁹ Рядки з «Думи про Олексія Поповича».

⁷⁰ Ідеться про Еді Охілтрі.

⁷¹ Тобто «Думу про Івася Коновченка (Вдовиченка)».

⁷² Очевидно, Шевченко має на думці Пантелеймона Куліша, який порівнював українські думи з гомерівським епосом у передмові до поеми «Україна».

⁷³ Микола Іванович Гнідич (1784—1833) — вихованець

Харківського колегіуму та Московського університету, поет і перекладач.

⁷⁴ У будинку булочника Йоганна Донерберга, який був на 11-й лінії Васильєвського острова, Шевченко жив у 1840 р.

⁷⁵ Див. прим. до повісті «Художник».

⁷⁶ Ідеться про натурницю данського скульптора Бертеля Торвальдсена.

⁷⁷ Рядки з роману Пушкіна «Евгеній Онегин» (VIII, 51), в якій зринає афоризм великого перського поета Сааді (Мусліхаддін Абу Мухаммед Абдаллах ібн Мушріфаддін) (бл. 1181—1291) з поетичного трактату «Бустан».

⁷⁸ Ч и ч е р о н е (*итал.* cicogone) — провідник, який розповідає чужинцеві про місцеві пам'ятки.

⁷⁹ Тобто «кіпсек» (*англ.* keepsake) — розкішне, багато ілюстроване видання.

⁸⁰ Хвала тобі! (*старослов.*).

⁸¹ Алюзія на історію, розказану Діогеном Лаерцієм (Diogenes Laertius VI, 40): «Коли Платон дав визначення, яке мало великий успіх: “Людина — це істота з двома ногами й без пір'я”, — Діоген обпатрав півня й приніс до нього в школу, сказавши: “Ось платонівська людина!”».

⁸² Рядки із «Современной песни» (1836) російського поета Дениса Васильовича Давидова. Сьома строфа цієї поезії звучить так: «А глядишь: наш Лафайет, / Брут или Фабриций / Мужичков под пресс кладет / Вместе с свекловицей».

⁸³ Шестеринці, Майданівка — села Звенигородського повіту Київської губернії (тепер Звенигородського району Черкаської обл.).

⁸⁴ «Сказаніє о птицах небесных» — пам'ятка народної сатири, відома здебільшого в рукописах XVII—XVIII ст.

⁸⁵ Ідеться про фреску італійського художника Гвідо Рені «Аврора» (1614; палаццо Роспільозі в Римі).

⁸⁶ Сантифолія — різновид троянди з квітками ніжних відтінків білого або червоного кольору.

⁸⁷ Книга Псалмів 145 (146): 8.

⁸⁸ Оригінал картини Якоба Ісаакса ван Рейсдала (1628/1629—1682) «Болото» зберігається в Ермітажі.

⁸⁹ Див. прим. до повісті «Княгиня».

⁹⁰ Ідеться про англійського мандрівника Джона-Дундаса Кокрена (John Dundas Cochrane) (1780—1825), який пройшов через Сибір аж до Камчатки, прожив там 11 місяців і в 1822 р. одружився. Цю подію в Росії жваво обговорювали.

⁹¹ Тобто «Иже херувимы».

⁹² Тальне — містечко Уманського повіту Київської губернії (тепер районний центр Черкаської обл.).

⁹³ Джованні-Антоніо Каналь (Каналетто) (1697—1768) — італійський живописець, майстер архітектурних пейзажів у стилі бароко.

⁹⁴ Ідеться про вальс принцеси Аврори з балету Петра Ілліча Чайковського «Спящая красавица».

⁹⁵ Тобто неба: згідно з грецьким міфом, після смерті мисливця Оріона боги перетворили його на однойменне сузір'я.

⁹⁶ «Москаль-чарівник» — водевіль Івана Котляревського.

⁹⁷ Див. прим. до поеми «Гайдамаки».

⁹⁸ Ідеться про скульптуру Антоніо Канови «Амур і Псіхея», пізніша версія якої зберігається в Ермітажі.

⁹⁹ Бертольд Шварц (справжнє ім'я — Костянтин Анклітцен) — німецький ченець-францисканець XIV ст., якого вважають винахідником пороху.

¹⁰⁰ Очевидно, Шевченко говорить про револьвер.

¹⁰¹ Рубенс не раз малював сатириків. Можна пригадати, наприклад, його картину 1618—1619 рр. «Два сатири».

¹⁰² Книга пророка Ісаї 40: 3; Євангелії від св. Матвія 3: 3; Марка 1: 3; Луки 3: 4; Івана 1: 23.

¹⁰³ Ідеться про велику битву при Листвені в 1024 р. між військами Ярослава Володимировича (Мудрого) (бл. 978—1054) та його брата Мстислава Володимировича (Хороброго) (бл. 983—1036), в якій переміг Мстислав.

¹⁰⁴ Див. прим. до повісті «Варнак».

¹⁰⁵ Корецькі були князями з династії Гедиміновичів; виводили себе від Патрикєя Наримунтовича (XIV ст.).

¹⁰⁶ Ідеться про храм Вести в Тіволі.

¹⁰⁷ Семен Іванович Гаркуша (бл. 1739 — після 1784) — ватажок гайдамаків; у літературі XIX ст. його трактували як шляхетного розбійника.

¹⁰⁸ Тобто меблями Санкт-Петербурзької фірми «поставників Двора» братів Гамбс.

¹⁰⁹ Скотинін — персонаж комедії Дениса Івановича Фонвізіна (1744 або 1745—1792) «Недоросль» (1783).

¹¹⁰ Див. прим. до повісті «Музикант».

¹¹¹ Граф Міхал Клеофас Огінський (1765—1833) — польський композитор і державний діяч.

¹¹² Очевидно, це парафраза поезії Кондратія Рилєєва «Минуты счастья промчались...» (1816—1817). Пор.: «Минуты счастья промчались / И вечно, вечно не придут, / Печали, горести остались / И вечно, вечно не пройдут».

¹¹³ Крес-салат (*Lepidium sativum*) — рослина сімейства капустяних.

¹¹⁴ Шевченко називає свою героїню «четвертою грацією», маючи на увазі мотив «трьох грацій-харит» (Аглая, Євфросина, Талія), відомий з греко-римської міфології та пізнішої мистецької традиції, наприклад, з картини Сандро Боттічеллі «Весна» (1477—1478).

¹¹⁵ Терпсіхора — муза танців у грецькій міфології.

¹¹⁶ Понтирувати — брати участь у картярській грі в ролі понтера, тобто ставщика.

¹¹⁷ Жан-Франсуа Шампольйон (1790—1832) — французький орієталіст і мовознавець; завдяки його розшифровці тексту Розетського каменя вчені отримали змогу читати єгипетські ієрогліфи.

¹¹⁸ Прозерпіна — богиня підземного царства в римській міфології.

¹¹⁹ Олександр Гаврилович Ротчев (1806/1807—1873) — комісіонер Російсько-американської компанії в Каліфорнії, публіцист, який багато писав про Каліфорнію.

¹²⁰ Див. прим. до повісті «Наймичка».

¹²¹ Ідеться про романи польського письменника, публіциста й видавця Юзефа Ігнаці Крашевського (1812—1887) «Ostap Bondarczuk» (1847) та «Ułana» (1843).

¹²² Лічарда — старовинна іронічна назва чоловічої прислуги; походить від імені одного з героїв «Повісті про Бову Королевича».

¹²³ «Убити бобра» — добитися чогось важливого.

¹²⁴ Див. прим. до повісті «Варнак».

¹²⁵ Алюзія на історію викрадення Єлени Прекрасної троянцем Парісом.

¹²⁶ Тобто дружинами колезьких асесорів.

¹²⁷ Англійський філософ Френсіс Бекон (1561—1626) виказував схожі думки, зокрема, у своєму потрактуванні грецької міфології (див., наприклад, X розділ «Нового Органону» під назвою «Актеон та Пенфей, або Цікавий»).

¹²⁸ Магелланові Хмари — дві галактики-супутники Чумацького шляху (Велика Магелланова Хмара й Мала Магелланова Хмара). Одним з перших їх описав учасник кругосвітньої подорожі Фернандо Магеллана Антоніо Франческо Піфагетта (1480/1491 — після 1534).

¹²⁹ Трохи неточна цитата з Книги псалмів 36 (37): 1.

¹³⁰ Філіпс Вуверман (1619—1668) — голландський художник, який любив змальовувати коней та вершників.

¹³¹ Очевидно, Шевченко переказує по пам'яті анекдот про те, як катували спільників Іскри та Кочубея — священника Івана Святайла й сотника Петра Кованьки, — що його подав Дмитро Бантиш-Каменський у третьому томі своєї «Истории Малой России».

¹³² Пліє — картярський термін.

¹³³ Див.: Книга пророка Даниїла 6: 16—23.

¹³⁴ Персонажі грецької міфології Філемон (Телемон) і Бавкіда здавна були символом довгого й щасливого сімейного життя.

¹³⁵ Див. прим. до повісті «Художник».

¹³⁶ Ідеться про Київський інститут шляхетних панночок.

¹³⁷ Курляндський драгунський полк був сформований у травні 1803 р. генерал-майором Лешерн фон Герцфельдом. У жовтні 1827 р. став Курляндським уланським полком.

¹³⁸ Див. прим. до повісті «Близнецы».

¹³⁹ Графиня Олександра Григорівна Гудович — рідна сестра баронеси Софії Григорівни Енгельгардт, дружини Павла Енгельгардта. Чоловік Олександри Григорівни — полковник граф Василь Васильович Гудович був командиром Курляндського драгунського полку з 1815-го по 1826 рік.

¹⁴⁰ Див. прим. до поеми «Гайдамаки».

¹⁴¹ Див. прим. до поеми «Неофіти».

¹⁴² Неточна цитата з поезії Пушкіна «Поэт и толпа» (1829). Пор.: «Не для житейского волненья, / Не для корысти, не для битв, / Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв».

¹⁴³ Книга псалмів 83 (84): 2.

¹⁴⁴ Бенджамін Франклін (1706—1790) — американський учений, журналіст і дипломат, один з батьків-засновників США.

¹⁴⁵ За Священною історією, Мафусаїл жив 969 років (Книга Буття 5: 27).

¹⁴⁶ Олександр Андрійович Язвинський (перша пол. XIX ст.) — російський педагог, винахідник мнемонічного методу вивчення історії.

¹⁴⁷ Прийом гри на струнних смичкових інструментах, при якому виникає специфічний звук, схожий на речитатив.

¹⁴⁸ Богуслав — містечко Канівського повіту Київської губернії (тепер районний центр Київської обл.).

¹⁴⁹ Потік — містечко Канівського повіту Київської губернії (тепер село Миронівського р-ну Київської обл.).

¹⁵⁰ Доброго ранку! (нім.).

¹⁵¹ Сніданок (нім.).

¹⁵² М'ясо (нім.).

¹⁵³ Очевидно, ідеться про Шандру — тепер село Миронівського району Київської обл.

¹⁵⁴ Росава — село Канівського повіту Київської губернії (тепер Миронівського району Київської обл.).

¹⁵⁵ Трипілля — старовинне містечко Київського повіту Київської губернії (тепер село Обухівського району Київської обл.).

¹⁵⁶ Квартира, про яку пише Шевченко, була в одноповерховому будинку, побудованому архітектором Олександром Вікентійовичем Беретті (1816—1895) на початку 1840-х рр. на вулиці Інститутській, 14. Пізніше він був перебудований. Поруч із цим будинком, вище по горі (очевидно, будинок № 16), у Беретті був котедж (пізніше на цьому місці був будинок Гінзбурга).

¹⁵⁷ Історична місцевість у районі Подолу на Пріорці (тепер поблизу площі Тараса Шевченка).

¹⁵⁸ Див. прим. до повісті «Близначе».

¹⁵⁹ Марієтта Альбоні (справжнє ім'я — Марія Анна Марція) (1826—1894) — італійська співачка (контральто).

¹⁶⁰ «Мінералог Ф.» — це Костянтин Матвійович Феофілакт (1818—1901), згодом заслужений професор (з 1851 р.) і ректор Київського університету (1880—1881).

¹⁶¹ «Інспектор П.» — колезький радник Олександр Григорович Петров, згодом директор одеського Рішельєвського ліцею (1844—1852).

¹⁶² Німець (нім.).

¹⁶³ Див. прим. до повісті «Художник».

¹⁶⁴ У листопаді 1846 р. Шевченко провідував у Баришівці батька свого друга, живописця й літографа Платона Тимофійовича Бориспольця Тимофія Никифоровича (?—1849).

¹⁶⁵ Уривок з поезії Василя Курочкіна «Как в наши лучшие года...». Шевченко тільки трохи змінив пунктуацію. Ця поезія була надрукована в грудневому числі журналу «Библиотека для чтения» за 1856 р.

¹⁶⁶ Ідеться про відомий трактир Рязанова на Трухановому острові.

¹⁶⁷ Ідеться про чоловічу гімназію, яка була відкрита у Вінниці в 1832 р., а в 1847 р. переведена в Білу Церкву.

АВТОБІОГРАФІЯ

¹ Григорій Іванович Шевченко (1781—1825) — батько поета.

² Насправді Шевченко народився в селі Моринці (див. прим. до повісті «Княгиня»).

³ Василь Васильович Енгельгардт (1755—1828) — російський державний діяч, сенатор.

⁴ Шевченкові було вісім років, коли 20 серпня 1823 р. померла його мати. Батько помер 21 березня 1825 р.

⁵ Тобто з гравюрами.

⁶ Див. прим. до поеми «Гайдамаки».

⁷ Тарасівка — село Звенигородського повіту Київської губернії (тепер Звенигородського р-ну Черкаської обл.).

⁸ Великомученик Микита (Микита Готський) (?—372) — християнський святий, спалений за часів готського вождя Атанаріха.

⁹ Див. прим. до повісті «Близначе».

¹⁰ Аpellес (бл. 370—306 до н. е.) — давньогрецький художник, прирять Александра Македонського.

¹¹ Павло Васильович Енгельгардт (1798—1849) — ад'ютант фельдмаршала Олександра Римського-Корсакова, згодом полковник лейб-гвардії Уланського полку.

¹² Соловей-розбійник — у східнослов'янській міфології лісове чудовисько, яке володіло смертоносним свистом.

¹³ Яків Петрович Кульнев (1763—1812) — російський воєначальник, генерал-майор, герой війни 1812 р., командир авангарду 1-го піхотного корпусу генерала Петра Вітгенштейна.

¹⁴ Світліший князь Михайло Іларіонович Голенищев-Кутузов (1745—1813) — російський полководець, генерал-фельдмаршал (з 1812 р.), герой війни 1812 р.

¹⁵ Граф Матвій Іванович Платов (1753—1818) — отаман Донського козачого війська, генерал від кавалерії, герой війни 1812 р.

¹⁶ Тобто у дворянське зібрання.

¹⁷ Див. прим. до повісті «Художник».

¹⁸ Іван Максимович Сошенко (1807—1876) — український художник і педагог. У 1834—1838 рр. навчався в Санкт-Петербурзькій академії мистецтв.

¹⁹ Див. прим. до поеми «Гайдамаки».

²⁰ Див. прим. до поеми «Катерина».

²¹ Див. прим. до повісті «Художник».

²² Див. прим. до повісті «Музикант».

²³ Насправді Шевченко став некласним художником 22 березня 1845 р.

²⁴ Див. прим. до поезії «Н. Костомарову».

²⁵ Пантелеймон Олександрович Куліш (1819—1897) — український письменник, публіцист, учений, перекладач, один із провідних ідеологів українського романтизму, близький друг Шевченка.

²⁶ Олексій Михайлович Петров (1827—1883) — студент Київського університету, який доповів помічникові куратора Київського учбового округу Михайлові Юзефовичу про існування Кирило-Мефодіївського братства.

²⁷ Див. прим. до повісті «Близнецы».

²⁸ Див. прим. до повісті «Близнецы».

²⁹ Графиня Анастасія Іванівна Толстая (уроджена Іванова) (1816—1889) — друга дружина графа Федора Петровича Толстого.

³⁰ Шевченко говорить про братів Микиту (1811—1870) та Йосипа (1821— бл. 1878) і сестру Ярину (1816—1865).

³¹ Акватинта й аквафорта — способи гравірування.

³² Ідеться про дозвіл на видання «Кобзаря» 1860 р.

ЩОДЕННИК

¹ Див. прим. до повісті «Близнецы».

² Див. прим. до повісті «Несчастный». Докладний опис Астрахані Шевченко подав у повісті «Близнецы».

³ Шканечний (від *шканці* — верхня палуба кормової частини корабля) журнал — вахтовий журнал на військових суднах.

⁴ Див. прим. до поезії «Не для людей, тієї слави...».

⁵ Михайло Матвійович Лазаревський (1818—1867) — приятель Шевченка. Навчався в Ніжинському ліцеї кн. Безбородька. Працював чиновником у Чернігові, Тобольську, Оренбурзі, Санкт-Петербурзі, Москві.

⁶ Ідеться про лист Михайла Лазаревського від 2 травня 1857 р.

⁷ Роберт Фултон (1765—1815) — американський інженер, винахідник першого річкового колесного пароплава. Шевченко мав на

думці не його, а англійського інженера-механіка Джорджа Стефенсона (1781—1848), який винайшов паровоз.

⁸ Місто на березі річки Урал неподалік Каспійського моря, засноване в 1640 р. (тепер — Атирау, обласний центр Республіки Казахстан).

⁹ Див. прим. до другої редакції поеми «Москалева криниця».

¹⁰ Ідеться про коронацію Олександра II, яка відбулася 26 серпня 1856 р. в Московському кремлі.

¹¹ Див. прим. до поезії «Заворожи мені, волхве...».

¹² Кизляр — місто на річці Терек, засноване в 1735 р., повітовий центр Ставропольської губернії (тепер адміністративний центр Кизлярського р-ну Дагестану).

¹³ Ставрополь-Кавказький — губернське місто на Ставропольській височині (тепер центр Ставропольського краю Росії).

¹⁴ Катеринодар — місто на річці Кубань, столиця Кубанського козачого війська (тепер Краснодар — адміністративний центр Краснодарського краю Росії).

¹⁵ Несвіж — місто Слуцького повіту Мінської губернії (тепер Мінської обл. Республіки Білорусь).

¹⁶ Чирковичі — село (тепер) Світлогорського р-ну Гомельської обл. Білорусії. Шевченко має на думці село Рачкевичі — маєток Залеських неподалік Несвіжа.

¹⁷ Броніслав Залеський (1820—1880) — польський художник і письменник, приятель Шевченка. За участь у революційному русі відбував заслання в Окремому Оренбурзькому корпусі (1848—1856).

¹⁸ Див. прим. до «Автобіографії».

¹⁹ Граф Федір Петрович Толстой (1783—1873) — російський художник, медальєр і скульптор. Свого часу був одним з керівників «Союза благоденствия», віце-президент Санкт-Петербурзької академії мистецтв.

²⁰ Уральськ — місто на річці Урал, засноване в 1613 р., центр Уральського козачого війська (тепер адміністративний центр Західно-Казахстанської обл. Республіки Казахстан).

²¹ Цілковий — народна назва срібної монети вартістю 1 карбованець.

²² Арапчик — червінець.

²³ Ідеться про Івана Попова — купця, який торгував у Новопетровському укріпленні.

²⁴ Казак Луганский — приbrane ім'я російського письменника, лексикографа й фольклориста Володимира Івановича Даля.

²⁵ Книга Даля «Солдатские досуги» була вперше видана в Санкт-Петербурзі в 1843 р.

²⁶ Ідеться про Миколу Єфремовича Бажанова — плац-ад'ютанта, у 1840-х рр. — прапорщика, з 1855 р. — підпоручика, наглядача півгоспітала в Новопетровському укріпленні.

²⁷ Молчалін — персонаж комедії Олександра Сергійовича Грибоєдова «Горе от ума».

²⁸ Ідеться про губернського секретаря Андрія Васильовича Васильєва — письменника контори Новопетровського півгоспіталаю.

²⁹ Ідеться про підпоручика 1-го Оренбурзького лінійного батальйону Астафія Васильовича Чирца.

³⁰ Мацей Валентінович Мостовський (1805—?) — колишній учасник Листопадового повстання, штабс-капітан Оренбурзького артилерійського округу в Новопетровському укріпленні.

³¹ Ідеться про Оренбурзький Неплюєвський кадетський корпус, створений у 1844 р. на базі Оренбурзького Неплюєвського військового училища.

³² Ідеться про повстання поляків проти Російської імперії в листопаді 1830 — жовтні 1831 рр. (Powstanie listopadowe).

³³ Ідеться про Варвару Василівну Мешкову — дружину унтерцейхвартера Михайла Федотовича Мешкова.

³⁴ Ідеться про Ганну Олексіївну Петрову — дружину унтер-офіцера 1-го Оренбурзького лінійного батальйону Костянтина Петровича Петрова.

³⁵ Шевченко говорить про дружину коменданта Новопетровського укріплення Іраклія Олександровича Ускова Агафію (Агату) Омелянівну Ускову (в дівоцтві Колосову) (1828—1899).

³⁶ Наталія Іракліївна Ускова (в заміжжі — Зарянка) (1853—1918) — старша донька Ускових.

³⁷ Надія Іракліївна Ускова (в заміжжі — Смоляк) (1856—1935) — молодша донька Ускових.

³⁸ Шевченко має на думці заключний рядок поезії Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837): «И в небесах я вижу Бога...».

³⁹ У цьому листі Лазаревський сповіщав, що «о увольнении его [Шевченка] в отставку уже последовало разрешение царя».

⁴⁰ Див. прим. до «Автобіографії».

⁴¹ «Записки о Южной Руси» — упорядкований і виданий Кулішем двотомний збірник фольклорних та історичних матеріалів, а також літературних творів (Санкт-Петербург, 1856—1857).

⁴² Див. прим. до містерії «Великий льох».

⁴³ Див. прим. до поеми «Сліпий».

⁴⁴ Дзвонкова криниця — джерело неподалік Межигірського монастиря під горою Шиголь.

⁴⁵ Ідеться про Видубицький чоловічий монастир у Києві, заснований у другій половині XI ст. князем Всеволодом Ярославовичем.

⁴⁶ Див. прим. до повісті «Художник».

⁴⁷ Російська приказка «повесить (опустить) нос на квинту» означає «зажуритися».

⁴⁸ Сергій Родіонович Нікольський (1817—?) — старший лікар Новопетровського військового півгоспіталю, колезький асесор, з 1856 р. — надвірний радник.

⁴⁹ Гіппократ (бл. 460—377 до н. е.) — давньогрецький лікар, якого називають «батьком медицини».

⁵⁰ У 9 р. н. е. римський імператор Гай Юлій Цезар Октавіан Август (63 р. до н. е. — 14 р. н. е.) заслав поета Публія Овідія Назона (43 р. до н. е. — 17 р. н. е.) до міста Томи (тепер Констанца в Румунії), у край, де мешкали гети й сармати.

⁵¹ Тобто імператор Микола I.

⁵² Флорентійська республіка (*итал.* Repubblica fiorentina) — самостійна держава на півночі Італії, яка існувала в 1115—1185, 1197—1532 рр.

⁵³ У 1302 р. автор «Божественної комедії» Данте Аліг'єрі (1265—1321) був назавжди вигнаний із Флоренції.

⁵⁴ Дмитро Васильович Мешков (1790—1860) — майор, командир 5-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу.

⁵⁵ Шевченко говорить про графа Василя Олексійовича Перовського (1794—1857) — російського державного діяча, оренбурзького й самарського генерал-губернатора, командира Окремого Оренбурзького корпусу, завідувача Оренбурзького прикордонного краю.

Ф е р м у а р — коштовна застібка на намисто або намисто з такою застібкою.

⁵⁷ Ідеться про підполковника (з 1855 р.) Геронтія Ілліча Львова — командира 1-го Оренбурзького лінійного батальйону.

⁵⁸ Тобто верховному богу-олімпійцю Зевсу.

⁵⁹ Тобто Микола Єфремович Бажанов.

⁶⁰ Григорій Миколайович Нагаєв — прапорщик 1-го Оренбурзького лінійного батальйону; був направлений суди у вересні 1853 р., одразу після закінчення Оренбурзького Неплюєвського кадетського корпусу.

⁶¹ Шевченко говорить про час, оскільки римляни ототожнювали Сатурна з богом часу Кроносом.

⁶² Ідеться про лист Якова Кухаренка від 18 грудня 1856 р.

⁶³ Шевченко говорить про свої листи до Якова Кухаренка від 22 квітня і 5 червня 1857 р.

⁶⁴ Ідеться про другу редакцію цієї поеми, робота над якою була завершена 16 травня 1857 р.

⁶⁵ Рядки із шостої глави роману Пушкіна «Евгеній Онегин». Шевченко змінює пунктуацію.

⁶⁶ Ідеться про майора, потім підполковника Іраклія Олександровича Ускова (1810—1882) — коменданта Новопетровського укріплення з 1853 р.

⁶⁷ Ідеться про полковника (з 1855 р.) Іллю Олександровича Кирєєвського (1825—?) — чиновника для особливих доручень при командирі Окремого Оренбурзького корпусу.

⁶⁸ Тобто помер.

⁶⁹ Ідеться про лист від 22 квітня 1857 р. до громадського діяча, юриста, музиканта Андрія Миколайовича Маркевича (1830—1917) — сина Миколи Андрійовича Маркевича.

⁷⁰ «Русский инвалид» — російська військова газета, яка була заснована в Санкт-Петербурзі філантропом Павлом Павловичем Пезаровіусом і виходила в 1813—1917 рр.

⁷¹ Олександр Андрійович Катенін (1803—1860) — генерал-ад'ютант, оренбурзький і самарський генерал-губернатор, командир Окремого Оренбурзького корпусу з квітня 1857 р.

⁷² Ідеться про Юліана Антоновича Порцієнка (Порцьянка) (1827—?) — рядового 1-го Оренбурзького лінійного батальйону, сина статського радника з Мінської губернії Антона Івановича Порцьянка.

⁷³ Ідеться про Геронтія Ілліча Львова.

⁷⁴ Див. прим. до повісті «Несчастный».

⁷⁵ Див. прим. до повісті «Близнецы».

⁷⁶ У 1850 р. Шевченко був заарештований за наказом оренбурзького військового губернатора, командира Окремого Оренбурзького корпусу (до 1851 р.), генерала від інфантерії Володимира Афанасійовича Обручова (1793—1866). Називаючи Обручова «політиком», Шевченко підкреслює його здатність пристосовуватися до обставин.

⁷⁷ Рядок із «Фауста» Гете в російському перекладі Едуарда Івановича Губера.

⁷⁸ Ідеться про Новий Ермітаж, зведений у 1839—1852 рр. за проектом німецького архітектора Лео фон Кленце (див. прим. до повісті «Художник»).

⁷⁹ Ідеться про картину Давида Тенірса Молодшого (див. прим. до повісті «Художник»).

⁸⁰ Див. прим. до повісті «Художник».

⁸¹ Ідеться про вісім малюнків сепією («Програвся в карти», «У шинку», «У хліві», «На кладовищі», «Серед розбійників», «Кара колодкою», «Кара шпіцрутенами», «У в'язниці») із серії «Притча про блудного сина», над якою Шевченко працював у Новопетровському укріпленні в 1856—1857 рр.

⁸² Павло Андрійович Федотов (1815—1852) — російський художник, графік і поет.

⁸³ Ідеться про картину Павла Федотова «Сватовство майора» (1848).

⁸⁴ Комедія Олександра Миколайовича Островського (1823—1886) «Свои люди — сочтемся» була написана в 1849 р., а опублікована в 1850 р. Шевченко брав участь в її аматорській постановці в Новопетровському укріпленні, виступаючи на сцені в ролі Рисположенського.

⁸⁵ Див. прим. до поеми «Гайдамаки».

⁸⁶ Микола Якович Данилевський (1822—1885) — російський природознавець, статистик, публіцист. Свого часу був учасником гуртка петрашевців. У 1853—1856 рр. брав участь у каспійській експедиції академіка Карла Максимовича Бера.

⁸⁷ Комедія була заборонена до постановки на сцені за особистим розпорядженням імператора Миколи I. Цензурна заборона тривала 11 років.

⁸⁸ Немезіда (Немесіда) — крилата богиня кари в грецькій міфології.

⁸⁹ Ідеться про Андрія Олексійовича Компіоні — гарнізонного інженера-підпоручика Новопетровського укріплення.

⁹⁰ Шевченко говорить про п'єсу російського драматурга Олександра Олександровича Шаховського «Двумужниця, или За чем пойдешь, то и найдешь» (1830).

⁹¹ Згідно з ісламським вченням, той, хто потрапляє на сьоме небо, відчуває найвищу насолоду.

⁹² Пор. з народними приказками на зразок: «Широка дорога до пекла».

⁹³ Ідеться про Анну Богданівну Еггерт — дружину Фрідріха Карловича Еггерта, вихованця Дерптського університету, чиновника для особливих доручень при оренбурзькому й самарському генерал-губернаторові.

⁹⁴ Ідеться про святих першOVERХОВНИХ апостолів Петра і Павла.

⁹⁵ Ідеться про Перший Нікейський собор, скликаний 325 р. імператором Константином Великим. На цьому соборі було засуджене аріанство.

⁹⁶ Ідеться про Костянтина Миколайовича Зигмунтовського — відставного губернського секретаря, повіреного Астраханського акцизного комісіонерства для відпуску «винних порцій» гарнізону Новопетровського укріплення, та про його дружину Софію Самійлівну.

⁹⁷ Див. прим. до повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».

⁹⁸ Плюшкін — персонаж поеми Миколи Гоголя «Мертвые души», втілення скнарості.

⁹⁹ Ідеться про польського короля Сигізмунда III Вазу (1566—1632).

¹⁰⁰ Тобто в домашньому вбранні, не розрахованому на присутність сторонніх.

¹⁰¹ Мельпомена — муза трагедії.

¹⁰² Ідеться про героїв трагедій російського драматурга Владислава Олександровича Озерова «Едип в Афинах», «Фингал» і «Димитрий Донской».

¹⁰³ Ідеться про сатиричну комедію українського та російського поета й драматурга Василя Васильовича Капніста (1756—1823) «Ябеда».

¹⁰⁴ Василь Андрійович Каратигін (1802—1853) — російський актор-трагік. Дебютував у 1920 р. на сцені Санкт-Петербурзького Велико-го театру в ролі Фінгала.

¹⁰⁵ Російський трагік Олексій Семенович Яковлев (1773—1817) не був учителем Василя Каратигіна.

¹⁰⁶ Михайло Петрович Лазарев (1788—1851) — російський флотоводець і мореплавець, адмірал, першовідкривач Антарктиди. Шевченко має на думці участь Лазарева як командира шлюпу «Мирный» у першій російській антарктичній кругосвітній експедиції 1819—1821 рр.

¹⁰⁷ Ізмаїл — старовинне місто на Дунаї за 80 кілометрів від Чорного моря (тепер районний центр Одеської обл.).

¹⁰⁸ Граф Арсеній Андрійович Закревський (1783/1786—1865) свого часу був московським градоначальником.

¹⁰⁹ Граф Іван Васильович Гудович (1741—1820) — генерал-фельдмаршал, завойовник Хаджибея, Анапи, Дагестану, член Державної ради Росії, сенатор, московський градоначальник.

¹¹⁰ «Санкт-Петербургские ведомости» — щоденна «літературно-політична газета», заснована Петром I у 1702 р.

¹¹¹ Ідеться про свято в Петергофі, яке за часів Миколи I влаштувалося на день народження імператриці Олександри Федорівни.

¹¹² Див. прим. до повісті «Художник».

¹¹³ Ідеться про перші в Росії пароплави, які будувалися на заводі Чарльза (Карла Миколайовича) Берда, починаючи з 1815 р.

¹¹⁴ Петро Степанович Петровський (1814—1842) — російський художник, учень Карла Брюллова, приятель Шевченка за часів навчання в Академії мистецтв. У 1841 р. Петровський як пансіонер Академії мистецтв поїхав до Рима, де й помер.

¹¹⁵ Див. прим. до повісті «Художник».

¹¹⁶ Рядки з поезії Василя Степановича Курочкіна «Как в наши лучшие года...». Шевченко змінює пунктуацію.

¹¹⁷ «Библиотека для чтения» — щомісячний універсальний журнал, який виходив у Санкт-Петербурзі в 1834—1865 рр.

¹¹⁸ Василь Степанович Курочкін (1831—1875) — російський поет, журналіст, перекладач Беранже.

¹¹⁹ Див. прим. до повісті «Капитанша».

¹²⁰ Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський (1816—1875) — український та російський письменник, етнограф, фольклорист, мовознавець.

¹²¹ «Царград» — готель у Чернігові на Воздвиженській вулиці.

¹²² Євдокія Яківна Дорохова (1779—1849) — вдова генерал-лейтенанта Івана Семеновича Дорохова (1762—1815), прообразу Долохова з роману Толстого «Война и мир».

¹²³ Василь Кирилович Тредіаковський (1703—1769) — російський поет, перекладач і вчений.

¹²⁴ У газеті «Русский инвалид» за 1856 р. віршів Афанасьєва-Чужбинського немає.

¹²⁵ Станіслав Августович Бархвіц — підпоручик 5-го Оренбурзького лінійного батальйону. Бархвіц позичив у Шевченка гроші й відмовився їх повертати.

¹²⁶ Василь Петрович Априєв (1805—1855) — ротмістр кавалергардського полку; у 1841 р. Шевченко намалював його портрет, але гонорару не отримав.

¹²⁷ Микола Павлович Соколовський — корнет лейб-гвардії Уланського полку, з яким Шевченко познайомився на початку 1840-х рр.

¹²⁸ У 1836—1843 рр. Афанасьєв-Чужбинський служив у Белгородському уланському полку.

129 Слова із Соборного послання св. ап. Якова 2: 17.

130 Федір Юхимович Чаганов — хорунжий, а згодом сотник Уральського козачого війська. Зі служби звільнився в 1860-х рр. в чині військового старшини, отримавши особисте дворянство.

131 Гвідо Рені (1575—1642) — італійський живописець Болонської школи.

132 Див. прим. до повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».

133 Тобто на ростбіф, приготований слугою Карла Брюллова Лук'яном.

134 Див. прим. до повісті «Художник».

135 Див. прим. до повісті «Художник».

136 Олександр Іванович Рігельман (1720—1789) — російський історик.

137 Надрукована в Москві в 1846 р. праця Рігельмана називається «История, или Повествование о донских казаках...».

138 Книга польського філософа Кароля Фридеріка Лібельта (1807—1875) «Estetyka czyli umnictwo рієчне» була видана в Познані (1849) та в Санкт-Петербурзі (1854).

139 Франц Карлович Куліх — рядовий, а потім унтер-офіцер 1-го Оренбурзького лінійного батальйону, польський політичний засланець.

140 Пшевлоцький (Пржевллоцький) Северин — рядовий 1-го Оренбурзького лінійного батальйону, польський політичний засланець.

141 Олександр Іванович Галич (справжнє прізвище — Говоров) (1783—1848) — професор Санкт-Петербурзького університету, один з перших послідовників Шеллінга в Росії.

142 Див. прим. до поеми «Гайдамаки».

143 Платон (428/427—348/347 до н. е.) — давньогрецький філософ-ідеаліст.

144 Шевченко має на думці історичний нарис Лібельта «Dziewica Orleańska», виданий у Познані в 1847 р.

145 Див. прим. до повісті «Художник».

146 Стара російська жартівлива приказка «со всеми онерами» означає «з усім належним».

147 Ідеться про другого сина імператора Миколи I великого князя Костянтина Миколайовича (1827—1892), який з 1853 р. керував морським міністерством.

148 Єгор Михайлович Косарев (1818—1891) — командир роти, потім півбатальйону 1-го Оренбурзького лінійного батальйону в Новопетровському укріпленні.

149 Микола Олександрович Васильєв (1807—1877) — генерал-лейтенант, віце-адмірал, астраханський військовий губернатор і головний командир Астраханського порту та Каспійської флотилії.

150 Петро Іванович Обрядін — підпоручик, а згодом поручик 1-го Оренбурзького лінійного батальйону. У 1850—1852 рр. був субалтерн-офіцером 2-ої роти, тобто одним з безпосередніх начальників Шевченка.

151 Іван Микитович Скобелев (1778—1849) — російський генерал, письменник (виступав під псевдонімом «Русский Инвалид»).

152 Єдикюль — замок у Стамбулі.

152 Аркадій Гаврилович Родзянко (1793—1846) — письменник, полтавський поміщик, власник маєтку Веселий Поділ (тепер село Семенівського р-ну Полтавської обл.).

154 Іван Семенович Барков (1732—1768) — російський поет і перекладач, учень Михайла Ломоносова, перекладач Горація, Федра, Діонісія Катона, автор сороміцьких творів на зразок «Девическая игрушка» тощо. Йому приписують також авторство поеми «Лука Мудищев» та деяких інших творів.

155 Платон Гаврилович Родзянко (1802—?) — відставний полковник, у 1844—1846 рр. був предводителем дворянства Хорольського повіту.

156 Шевченко має на думці гравюру французького гравера Алексіса Франсуа Жірара (1789—1870) з картини Карла Брюллова «Останній день Помпеї».

157 Клод Жозеф Верне (1714—1789) — французький художник-пейзажист.

158 Див. прим. до поеми «Катерина».

159 Див. прим. до повісті «Художник».

160 Див. прим. до повісті «Художник».

161 Див. прим. до поезії «На незабудь Штернбергові».

162 Ганс Гольбейн Молодший (1497—1543) — німецький живописець і рисувальник.

163 Див. прим. до повісті «Художник».

164 Див. прим. до повісті «Художник».

165 Князь Петро Андрійович Вяземський (1792—1878) — російський поет і критик, член Російської академії (з 1839 р.).

166 Федір Антонович Бруні (1799—1875) — російський художник, професор, згодом ректор Санкт-Петербурзької академії мистецтв, член Болонської та Міланської академії мистецтв.

167 Велика композиція «Покров Пресвятої Богородиці» була створена Бруні в 1836—1838 рр. для алтаря Казанського собору.

168 Картину «Мідний змії» Бруні закінчив у Римі в 1840 р. Ця картина зберігається в Російському музеї поруч з картиною Брюллова «Останній день Помпеї».

169 Ідеться про Наталю Ускову.

170 «Меркурій» і «Самолет» — великі волзькі пароплавні компанії.

171 Степан Тимофійович Разін (бл. 1630—1671) — донський козак, керівник повстання 1670—1671 рр. у Росії.

172 Неточна цитата з байки Крилова «Ворона и Лисица». Пор.: «Уж сколько раз твердили миру, / Что лезть гнусна, вредна, но только все не впрок».

173 Див. прим. до поезії «Швачка».

174 Ідеться про Олександру Михайлівну Куліш (у дівоцтві — Білозерську) (1828—1911) — українську письменницю, яка виступала в літературі під прибраним ім'ям Ганна Барвінок.

175 Ідеться про історичну повість Пантелеймона Куліша, де змальовано облогу Новгород-Сіверського військами Лжедмитрія I.

176 Семен Степанович Гулак-Артемівський (1813—1873) — український оперний співак (соліст Імператорської опери в Санкт-Петербурзі та Великого театру в Москві), композитор, драматург.

177 Ідеться про лист Анастасії Толстої від 8 жовтня 1856 р.

178 Ідеться про Павла Івановича Небольсіна (1817—1893) — російського журналіста, етнографа, географа, історика й мандрівника.

¹⁷⁹ Йоасаф Гнатович Желєзов (1824—1863) — російський письменник, фольклорист, етнограф, родом з уральських козаків, автор праць «Уральцы. Очерки быта уральских казаков» (1858), «Предания и песни уральских казаков» (1859), «Сказания уральских казаков» (1861).

¹⁸⁰ Дагерротипія — поширений у 1850-х рр. спосіб фотографування на металевій пластинці, покритій шаром йодистого срібла.

¹⁸¹ Див. прим. до повісті «Музыкант».

¹⁸² Шевченко має на думці одну з пісень козаків-некрасівців, де є слова: «А он донской казак Игнатьюшка Некрасов. / А он, братцы, Игнатьюшка, да сын Некрасов».

¹⁸³ Перші два рядки цієї пісні звучать так: «Ой возмутился да наш батышка Дон, возмутился / Да он от самой было вершинушки до самой устюжи...».

¹⁸⁴ Козиха — район у центрі Москви. На середину XIX ст. був свого роду московським «Латинським кварталом», бо тут жили студенти-бідняки (на Козисі здавались недорогі кімнати).

¹⁸⁵ Див. прим. до повісті «Капитанша».

¹⁸⁶ Ідеться про митрополита київського та галицького Євгенія (в миру: Євфимій Олексійович Болховитінов) (1767—1837) — історика, археограф і бібліографа.

¹⁸⁷ Шевченко має на думці легендарного співця Бояна, згаданого в «Слові о полку Ігоревім».

¹⁸⁸ Беллона — давньоримська богиня війни.

¹⁸⁹ Калабрія — адміністративний регіон в Італії, розташований на південному кінці Апеннінського півострова.

¹⁹⁰ Шевченко має на думці гоголівський опис Маніловки в поемі «Мертвые души». Пор.: «У подошвы этого возвышения, и частию по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту ж минуту принялся считать и насчитал более двухсот; нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно».

¹⁹¹ Шевченко говорить про свою участь в описовій експедиції 1848—1849 рр. по Аральському морю, яку очолював Олексій Бутаков.

¹⁹² Алюзія на міф про аргонавтів, які вирушили в Колхиду (Західну Грузію) на пошуки золотого руна.

¹⁹³ Шевченко має на думці невеличкий розділ «О братотворені» (с. 393—394 — першої пагін.) з «Євхологіону» (1646) Петра Могилы (1596—1647).

¹⁹⁴ Батир (барирь, батор, батур, богатур) — у тюркських народів — вправний вершник, сміливець.

¹⁹⁵ Тобто купців із Сарепти-на-Волзі — німецької колонії поблизу Царицина.

¹⁹⁶ Каймак — вершки з топленого молока, чи просто густі вершки.

¹⁹⁷ Джурма — борошняна юшка-затірка.

¹⁹⁸ Див. прим. до поезії «Готово! Парус розпустили...».

¹⁹⁹ Ідеться про Дениса Петровича Черторогова — сотника Уральського козачого війська, начальника Косаральського форту до літа 1849 р.

²⁰⁰ Див. прим. до повісті «Близнецы».

²⁰¹ Никон Степанович Марков — осавул, потім військовий старшина Уральського козачого війська, у 1847—1852 рр. — командир козачого загону в Раїмському форті.

²⁰² Мангишлак (Мангістау) — півострів на східному узбережжі Каспійського моря в Казахстані.

203 Микола Петрович Поскочин (1826—1857) — лейтенант, командир поштового пароплава «Куба». Потонув під час шторму біля мису Шоулан.

204 Див. прим. до поезії «Н. Костомарову».

205 Шевченко має на думці Преображенський серпневий ярмарок.

206 Карл Ернст (Карл Максимович) фон Бер (1792—1876) — російський ембріолог, географ і антрополог, академік Санкт-Петербурзької академії наук, президент Російського ентомологічного товариства.

207 Тканина з шовку-сирцю.

208 Гебри — нащадки персів, які залишились прихильниками зороастризму, мешкали, зокрема, в районі Баку.

209 Ідеться про австрійське товариство «Lloyd», засноване в 1832 р. в Трієсті за зразком відповідної лондонської компанії, спершу як страхова, а згодом як пароплавне.

210 Барон Олександр Євстафійович Врангель (1804—1880) — російський воєначальник, генерал від інфантерії.

211 Сергій Петрович Левицький (1822—1855) — чиновник Оренбурзької прикордонної комісії.

212 Слова української народної пісні «Була собі Маруся, полюбила Петруся...».

213 Див. прим. до поеми «Юродивий».

214 Див. прим. до поеми «Юродивий».

215 Софія Гаврилівна Писарева (1814—?) — дружина Миколи Еварестовича Писарева.

216 Пашалик — адміністративна одиниця Османській імперії, яка перебувала під владою паші.

217 Ця поема так і не була написана.

218 Див.: Четверта книга царств I: 8.

219 Авраам Сергійович Норов (1795—1869) — російський державний діяч, учений, мандрівник і письменник.

220 Див. прим. до поеми «Княжна».

221 Шевченко має на думці власника села Городище Пирятинського повіту Льва Миколайовича Свічку (1800—1845).

222 Карпо Трохимович Соленик (1811—1851) — український актор-комік.

223 Рядки з поезії Гете «Wanderers Nachtlied» у вільному перекладі Михайла Лермонтова (1840).

224 Іван Олександрович Якубович — поміщик, роменський повітовий предводитель дворянства, батько декабриста Олександра Якубовича (1792—1845).

225 Див. прим. до повісті «Несчастный».

226 Ідеться про власника села Василівка Хорольського повіту Віталія Васильовича Родзянка.

227 Див. прим. до поезії «Заступила чорна хмара...».

228 Фелікс Фіалковський (1823—?) — рядовий, а потім унтер-офіцер 1-го Оренбурзького лінійного батальйону, польський політичний засланець.

229 Карл Іванович Бюрно (1796—?) — військовий інженер, генерал-майор, учасник російсько-турецької війни 1828—1829 рр., Кавказької війни, польської кампанії 1831 р., з 1855 р. був у розпорядженні графа Перовського.

230 Див. прим. до повісті «Близнецы».

231 Ідеться про лист до Федора Толстого від 26—31 липня 1857 р.

232 Див. прим. до повісті «Художник».

233 Густав Антонович Фрейман (1790—?) — генерал-майор (з 1845 р.), начальник артилерії гарнізонів Оренбурзького округу.

234 Ідеться про Михайла Федотовича Мешкова.

235 Ідеться про Михайла Івановича Іванова (?—1860) — колезького реєстратора, унтер-цейхвартера артилерійського відомства.

236 Шевченко говорить про свій лист від 9 січня 1857 р., який був відповіддю на лист графині Толстої від 8 жовтня 1856 р.

237 Ідеться про картину російського художника Олександра Андрійовича Іванова (1806—1858) «Явлення Христа народу» («Явлення Месії»), над якою він працював упродовж 1837—1857 рр.

238 Ідеться про картину Іванова «Явлення Христа Марії Магдалині після Воскресіння» (1835).

239 Ідеться про адресований Матвію Юрійовичу Віельгорському лист Гоголя «Исторический живописец Иванов» (у книжці «Выбранные места из переписки с друзьями»).

240 Ідеться про книгу «Le Jupiter olympien» (1814) французького мистецтвознавця Антуана-Крізостома Катрмера-де-Кенсі (1755—1849).

241 Федір Антонович (Отто Фрідріх Теодор) Моллер (1812—1874) — російський художник, професор Санкт-Петербурзької академії мистецтв, учень Карла Брюллова. Ідеться про його картину «Апостол Іоанн Богослов проповідує на острові Патмос під час вакханалій» (1856).

242 Неточна цитата з поезії Лермонтова «Вихожу один я на дорогу...» Пор.: «Вихожу один я на дорогу; / Сквозь туман кремнистый путь блестит. / Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, / И звезда с звездой говорит».

243 Тут і далі рядки з чумацької пісні «Та нема в світі гірш нікому...».

244 Ідеться про Олександрю Іванівну Гулак-Артемівську (1825—?) — дружину Семена Гулака-Артемівського.

245 Площа в центрі Санкт-Петербурга на перетині Московського проспекту й Садової вулиці.

246 Парафраза слів «Думи про Фесьма Ганжу Андибера». Пор.: «Медом шклянкою. / І горілки чаркою».

247 Єгор Ігнат'єв — унтер-офіцер астраханської пересувної інвалідної команди, розквартированої в Новопетровському укріпленні.

248 Олександр Васильович Балагуров — капітан, згодом майор, наглядач Новопетровського півгоспітала.

249 Від початку воно називалось Різана Криниця (тепер — Ризине Звенигородського р-ну Черкаської обл.).

250 Село Уманського повіту Київської губернії.

251 Річка Кутум — один з рукавів Волги.

252 Ідеться про собор Успіння Пресвятої Богородиці (1698—1710), побудований за проектом кріпосного майстра Дорофея М'якишева на території Астраханського кремля.

253 Золотий Ріг (Халіч) — затока в протоці Босфор.

254 Свою назву ярмарок отримав тому, що до 1817 р. проводився біля Макаріївського монастиря, розташованого на березі Жовтого озера.

255 Тобто пароплав компанії «Меркурій».

256 Рибінськ — повітове місто Ярославської губернії (тепер районний центр Ярославської обл.).

257 Лев Олександрович Бурцов (Бурцев) — підпоручик, плац-ад'ютант Новопетровського укріплення.

258 Белебей — повітове місто Оренбурзької губернії (тепер районний центр Башкортостану).

259 Шевченко має на думці Джакомо Антоніо Доменіко Кваренгі (1744—1817) — італійського архітектора й художника класицистичного стилю, який жив у Росії.

260 Служка, якого наймає за плату приїжджий.

261 Олександр Олександрович Сапожников (1828—1887) — астраханський рибпромисловець, купець першої гільдії, мільйонер, колекціонер творів малярства.

262 «Роберт-Диявол» («Robert le diable») — опера німецького й французького композитора Джакомо Мейєрбера (1791—1864).

263 «Уж как веет, веет ветерок» — пісня з опери російського композитора Олексія Миколайовича Верстовського (1799—1862) «Аскольдова могила» (1835).

264 Старовинна назва Каспійського моря.

265 Тобто собором Успіння Пресвятої Богородиці.

266 Ідеться про книгу «Записки об Астрахани» (1841) російського педагога й журналіста Михайла Самсоновича Рибушкіна (1792—1849).

267 Гаврило Якович Пальмов — ключар Астраханського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці.

268 Див. прим. до повісті «Близнецы».

269 Шевченко говорить про набережну Варваціївського каналу, порівнюючи її з Англійською набережною в Санкт-Петербурзі.

270 Шевченко має на думці Івана Андрійовича Варваці (Іоанніс Варвакіс) (1732—1825) — колишнього пірата, учасника грецької національно-визвольної революції, російського дворянина й філантропа, який багато зробив для благоустрою Астрахані.

271 Ісад — торгова пристань. Головний ринок Астрахані мав назву Великі Ісади.

272 Іван IV Грозний (1530—1584) — великий князь московський і всієї Русі (з 1533 р.), цар всієї Русі (з 1547 р.).

273 Марина (Маріанна) Юріївна Мнішек (1588—1614) — дружина Лжедмитрія I та Лжедмитрія II.

274 Митрополит астраханський і терський Йосиф (1598—1671) був убитий козаками Василя Уса, залишеними в Астрахані Степаном Разіним.

275 Борис Федорович Годунов (1552—1605) — боярин, у 1587—1598 рр. фактичний правитель Росії, з 1598 р. — російський цар.

276 Потир — чаша, яку використовують для освячення вина й причастя.

277 Ідеться про Дорофея М'якишева.

278 Див. прим. до повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».

279 Ідеться про лист до Якова Кухаренка від 15 серпня 1857 р.

280 «Вестник Европы» — журнал, який виходив у Москві в 1802—1830 рр.

281 «Московский телеграф» — енциклопедичний журнал, який видавав у Москві в 1825—1834 рр. прозаїк, драматург, журналіст та історик Микола Олексійович Полевой (1796—1846).

282 Дмитро Іванович Хвостов (1757—1835) — російський поет-класицист.

283 Гаврило Романович Державін (1743—1816) — російський державний діяч, член Російської академії, поет-класицист.

284 Микола Михайлович Карамзін (1766—1826) — російський історик, прозаїк, поет, почесний член Санкт-Петербурзької академії наук.

285 «О духе законов» — російський переклад трактату французького письменника й філософа Шарля-Луї де Монтеск'є (1689—1755).

286 Ідеться про «Свод законов Российской империи» в 15 томах (видання 1832-го чи 1842 р.).

287 Див. прим. до повісті «Близнецы».

288 Див. прим. до повісті «Несчастный».

289 Ідеться про «Русский вестник», що його видавав Михайло Никифорович Катков (1817/1818—1887); цей журнал почав виходити в 1856 р.

290 Сергій Михайлович Соловйов (1820—1879) — російський історик, професор (з 1848 р.) і ректор (1871—1877) Московського університету, член Санкт-Петербурзької академії наук (з 1872 р.).

291 Див. прим. до повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».

292 У першому числі «Русского вестника» за 1856 р. повідомлялося про розкопки не Савур-могили, а Лугової могили на Катеринославщині.

293 Записи в «Щоденнику» від 15 до 20 серпня зроблені астраханськими знайомими Шевченка.

294 Іван Петрович Клопотовський — вихованець Київського університету, де навчався в 1845—1849 рр., з 1850 р. — учитель історії та географії в астраханській гімназії.

295 Степан Андрійович Незабитовський (1829—1902) — своєкоштный вихованець Київського університету, молодший лікар 45-го флотського екіпажу в Астрахані.

296 Євтихій (Євген) Іванович Одинцов (1831—?) — вихованець Казанського університету, молодший лікар 46-го флотського екіпажу в Астрахані.

297 Федір Іванович Чельцов (1826—?) — вихованець Київського університету, молодший лікар Астраханської строївої ласової роти.

298 Цей запис зроблено Федором Чельцовим.

299 Володимир Васильович Кишкін (1825—1911) — військовий моряк Чорноморського, Балтійського та Каспійського флотів, лейтенант, з 1857 р. — капітан пароплава «Князь Пожарский».

300 Кароль (Карл) Йосипович Новицький (1823—?) — вихованець Віленської медико-хірургічної академії, старший лікар 44-го флотського екіпажу в Астрахані.

301 Про Павла Радзейовського й Тита Шалевича даних немає.

302 Запис зроблений Томашем (Хомою) Івановичем Зброжеком (1821—?) — вихованцем Київського університету, старшим лікарем 17-го робочого екіпажу в Астрахані.

303 Рукопис пошкоджений.

304 «Красномовство небагатьом випадає на долю; тим часом мені, тому, хто не має цього божественного дару, залишається тільки мовчки дивуватися й благословляти твою творчу силу, святий народний пророчемученику Малоросії. Твоє теперішнє перебування серед нас робить мене цілком щасливим, і ці хвилини спілкування ніколи не зітруться з моєї пам'яті. О стократ, стократ благословляю той безцінний день, коли небо дало мені змогу особисто познайомитися з тобою, ревний і безстрашний речнику слова правди. Нехай же ці кілька слів нагадують тобі [...], поете-художнику, про глибоку повагу сповненого пошани до тебе Томаша Зброжека» (польськ.).

305 Запис зроблений рукою Олексія Панфіловича Панова — буфетника пароплава «Князь Пожарский», вільновідпущеника поміщика Олексія Єгоровича Крюкова.

306 Див. прим. до поеми «Музыкант».

³⁰⁷ Нікколо Паганіні (1782—1840) — італійський скрипаль-віртуоз, композитор.

³⁰⁸ Джеймс Ватт (1736—1819) — шотландський інженер, механік, винахідник універсальної парової машини подвійної дії.

³⁰⁹ Енциклопедисти — французькі філософи і вчені (близько 60 чоловік), які працювали над створенням 35-томової «Енциклопедії, чи Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел» («Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers») (1751—1780), редактором якої був Дені Дідро.

³¹⁰ Ніна Олександрівна Сапожникова (1839—1898) — дружина Олександра Олександровича Сапожникова.

³¹¹ Царицин — повітове місто Саратовської губернії, засноване в 1589 р. (тепер Волгоград — обласний центр Росії).

³¹² Дубовка — місто (з 1803 р.) на Волзі, на 52 км вище Царицина (тепер районний центр Волгоградської обл. Росії).

³¹³ Ідеться про «історичне оповідання» «Королева Варвара» російського історика, славіста й архівіста Ніла Олександровича Попова (1833—1891), надруковане в 1-му числі журналу «Русский вестник» за 1857 р. й присвячене дружині Сигізмунда II Августа Барбарі Радзивілл (1520—1551).

³¹⁴ Борей — бог північного вітру в грецькій міфології.

³¹⁵ Камишин — місто на правому березі Волги, засноване в 1668 р. (тепер районний центр Волгоградської обл.).

³¹⁶ Ідеться про Степана Тимофійовича Разіна.

³¹⁷ Брандвахта — сторожове військове судно в порту.

³¹⁸ Катерина Никифорівна Козаченко (1819—1866) — дружина статського радника, голови Астраханської казенної палати Олександра Петровича Козаченка (1808—1870), теща Олександра Сапожникова.

³¹⁹ У травні 1857 р. Костомаров виїхав за кордон. Він побував у Швеції, Німеччині, Франції, Швейцарії, Італії, Австрії, Чехії.

³²⁰ Речення обірване.

³²¹ Див. прим. до поезії «Н. Костомарову».

³²² День оголошення вироку учасникам Кирило-Мефодіївського братства.

³²³ Петро Ульянович Чекмарьов — відставний ротмістр, з 1859 р. — репертуарний директор Саратовського театру.

³²⁴ Марія Григорівна Солонина (1829—1917) — дружина Захара Костянтиновича Солонини, ротмістра Лубенського 8-го гусарського полку, а після відставки — чиновника провіантської комісії в Саратові.

³²⁵ Запис Олександра Сапожникова.

³²⁶ Анрі-Огюст Барб'є (1805—1882) — французький поет і драматург романтичної школи. Поезія «Собачий бенкет» входить до збірки «Ямби» (1831).

³²⁷ Володимир Григорович Бенедиктов (1807—1873) — російський поет і перекладач.

³²⁸ Іскандер — приbrane ім'я російського письменника, філософа й публіциста Олександра Івановича Герцена (1812—1870). Герцен називав імператора Миколу I «гальмом» у своїй книзі «Былое и думы» та в деяких інших творах.

³²⁹ Ця поезія написана в лютому 1857 р.

³³⁰ Ідеться про політичну поезію Бенедиктова «На Новый 1857-й».

³³¹ Ідеться про повітове місто Саратовської губернії Волгськ (нині Вольськ — районний центр Саратовської обл.).

³³² Григорій Євстратович Шевченко (бл. 1775—?) — батько Варфоломія Григоровича Шевченка (1821—1892).

³³³ Іван Никифорович Явленський (1824—1890-і рр.) — чиновник астраханської губернської канцелярії.

³³⁴ Хвалинськ — повітове місто Саратовської губернії, засноване в 1556 р. (тепер районний центр Саратовської обл.).

³³⁵ Далі Шевченко нотує поезію Олексія Степановича Хом'якова (див. прим. до поезії «Умре муж велій в власяниці...») «России» (1854).

³³⁶ Готичний костел св. Анни у Вільно, перша згадка про який належить до 1394 р., знаходиться в Старому місті на вул. Майроньо.

³³⁷ Ядвіга (Дзюня) Гусиковська — швачка, з якою Шевченко познайомився у 1830 р. у Вільно.

³³⁸ Сергій Михайлович Соловійов був науковим керівником Попова, до того ж Попов одружився з його донькою Вірою Сергіївною.

³³⁹ Стаття «Турецкая война в царствование Федора Алексеевича» належить перу російського історика Олександра Миколайовича Попова (1820/1821—1877).

³⁴⁰ Михайло Євграфович Салтиков-Шедрін (1826—1889) — російський державний діяч і письменник-сатирик.

³⁴¹ Єлисей Харлампійович Панченко (1813—?) — вихованець Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії, медичний інспектор астраханського порту. У «Щоденнику» ім'я по-батькові цього чоловіка «Олександрович», але в формулярних списках він фігурує як «Харлампійович».

³⁴² Див. прим. до повісті «Близнецы».

³⁴³ Неточна цитата з поеми Пушкіна «Руслан и Людмила». Пор.: «Там русский дух... Там Русью пахнет».

³⁴⁴ Шевченко порівнює Самару з Новим Орлеаном — портовим містом на півдні США, заснованим у 1718 р.

³⁴⁵ Ідеться про статтю «Новейшие сведения о действиях китайских инсургентов», надруковану в «Русском инвалиде» за 31 липня 1857 р. й присвячену Тайпінському повстанню 1850—1864 рр.

³⁴⁶ Нанкін — портове місто в нижній течії Янцзи. Тайпіни взяли його приступом 19 березня 1853 р.

³⁴⁷ Молокани — один із напрямків духовного християнства, який виник у Росії наприкінці XVIII ст. і був поширений у Тамбовській, Саратовській, Воронежській, Астраханській та інших губерніях.

³⁴⁸ Кальвінізм — один з напрямків протестантизму, створений французьким богословом і проповідником Жаном Кальвіном (1509—1564).

³⁴⁹ Про цю історію достеменно відомо тільки те, що в 1856—1858 рр. уряд робив заходи щодо висилки Светога із Самари у Вологду, які закінчилися безрезультатно.

³⁵⁰ Жигулівські гори — височина на правому березі Середньої Волги.

³⁵¹ Царів курган — гора в Самарській Луці.

³⁵² Гудзівка — село у Звенигородському повіті (тепер Звенигородського р-ну Черкаської обл.).

³⁵³ Світліший князь Михайло Семенович Воронцов (1782—1856) — російський державний діяч, генерал-фельдмаршал, почесний член Санкт-Петербурзької академії наук, новоросійський та бессарабський генерал-губернатор.

³⁵⁴ Мошни — містечко в Черкаському повіті Київської губернії (тепер село Черкаського р-ну Черкаської обл.); було власністю Воронцова як посаг його дружини Єлизавети Ксаверіївни Браницької.

³⁵⁵ Ідеться про Святославову вежу, зруйновану в 1943 р.

³⁵⁶ Міхал Грабовський (1804—1863) — польський письменник, представник «української школи» в польській літературі. Шевченко має на думці його статтю «Парк князя М. С. Воронцова в Киевской губернии», надруковану в «Современнике» за 1853 р.

³⁵⁷ Расшива — плоскодонне парусне річкове судно з гострим носом.

³⁵⁸ Симбірськ — губернське місто на правому березі Волги, засноване в 1648 р. (тепер Ульяновськ — обласний центр Росії).

³⁵⁹ Сенгілей — повітове місто Симбірської губернії, засноване в 1666 р. (тепер районний центр Ульяновської обл. Росії).

³⁶⁰ Пам'ятник Карамзіну був споруджений у Симбірську в 1845 р. за проектом скульптора Самуїла Івановича Гальберга.

³⁶¹ Петро Андрійович Ставассер (1816—1850) був одним з авторів статуї музи Клію — основного елементу пам'ятника Карамзіну в Симбірську.

³⁶² Яків Осипович Возніцин — капітан пароплава «Сусанин», колишній морський офіцер, який служив на Балтійському та Чорному морях.

³⁶³ Рудольф Петрович Ренненкампф — голова симбірської палати кримінального суду, агент компанії «Меркурій» у Симбірську.

³⁶⁴ Книга псалмів 1: 1.

³⁶⁵ Очевидно, це парафраза Євангелії від св. Івана 3: 5. Пор.: «аще кто не родится водою и духом, не может внити во Царствие Божие».

³⁶⁶ Послання св. ап. Павла до галатів 3: 27.

³⁶⁷ Терсіс — персонаж байки Лафонтена «Риби та пастух із флейтою» («Les Poissons et le Berger qui joue de la flute»), який ладен був зробити все для своєї коханої пастушки Анети. До чого тут Посошков, сказати важко.

³⁶⁸ Емілія Богданівна Медем — пасажирка пароплава «Князь Пожарский», дружина титулярного радника з Балахни.

³⁶⁹ Красновидовський переказ — мілина на Волзі неподалік Казані, яка здавна вважалася дуже підступною.

³⁷⁰ Казань — губернське місто-порт на лівому березі Волги при впадінні в неї Казанки (тепер столиця Татарстану).

³⁷¹ Башня Сумбеки (Сююн-Біке) в Казанському кремлі є пам'яткою часів Казанського ханства. За легендою, це мавзолей, зведений ханшою Сумбекою на пам'ять про свого чоловіка Сафа-Гірея, який помер у 1549 р.

³⁷² Сухарева вежа — архітектурна споруда, яка була в Москві на перетині Садового кільця, Сретинки та 1-ої Міщанської вулиці. Зруйнована в 1934 р.

³⁷³ Ідеться про пам'ятник Гаврилу Романовичу Державіну, встановлений у 1847 р. в університетському дворі.

³⁷⁴ Іван Якович Посяда (1823—1894) — студент Київського університету, учасник Кирило-Мефодіївського братства, переведений після арешту до Казанського університету.

³⁷⁵ Георгій (Юрій) Володимирович Андрузький (1827—?) — студент Київського університету, учасник Кирило-Мефодіївського братства, засланий, як і Посяда, в Казань.

³⁷⁶ Верхній Услон — село на правому березі Волги навпроти Казані (тепер районний центр Татарстану).

³⁷⁷ Свіязьськ — повітове місто Казанської губернії при впадінні Свіаги у Волгу (тепер село Зеленодольського р-ну Татарстану; знаходиться на острові).

³⁷⁸ Васильєвський переказ — волзька мілина поблизу Свіязьська.

³⁷⁹ Леонтій Васильович Дубельт (1792—1862) — генерал від кавалерії, начальник штабу Окремого корпусу жандармів, керівник III відділу власної його імператорської величності канцелярії.

³⁸⁰ Михайло Максимович Попов (1800—1871) — статський радник, начальник секретної експедиції III відділу.

³⁸¹ Іван Андрійович Нордстрем (1814—1878) — надвірний радник, чиновник III відділу.

³⁸² Михайло Петрович Комаровський (1811—?) — капітан другого рангу, колишній морський офіцер, який служив на Балтійському морі, а згодом на Каспії.

³⁸³ Чебоксари — місто на Волзі, засноване в 1469 р., повітовий центр Казанської губернії (тепер столиця Чувашії).

³⁸⁴ Ідеться про поеми поета-декабриста Кондратія Федоровича Рилєєва (1795—1826), уривки з яких були надруковані в Санкт-Петербурзькому альманасі «Полярная звезда».

³⁸⁵ Любов Григорівна Явленська — пасажирка пароплава «Князь Пожарский», вдова доктора медицини, старшого лікаря тифліського військового госпіталю Никифора Явленського (1788—1840).

³⁸⁶ Це поезія Петра Лавровича Лаврова (1823—1900) — російського соціолога, філософа й публіциста. Переписано 96 віршів із 288-и.

³⁸⁷ Ідеться про російського державного діяча Петра Андрійовича Клейнміхеля (1793—1869), якому імператор Микола I надав у 1839 р. графське достоїнство.

³⁸⁸ Ідеться про французьку акторку Елізу Рашель Фелікс (1821—1858), яка в 1853—1854 рр. здійснила турне по Росії. Шанувальником її таланту був імператор Микола I.

³⁸⁹ Ідеться про італійську оперну співачку Ермінію Фреццоліні (1818—1884), яка гастролювала в Санкт-Петербурзі в сезоні 1847—1848 рр.

³⁹⁰ Тобто розглядали в лорнет.

³⁹¹ Зименки — село на Волзі неподалік Нижнього Новгорода, власником якого був князь Антон Олександрович Дадіан (1841 — після 1902). Пожежа, про яку говорить Шевченко, трапилася в листопаді 1856 р.

³⁹² Єралаш — старовинна гра в карти, схожа на віст і преферанс.

³⁹³ Трохи неточно зацитований перший рядок поезії Лермонтова «Тучи» (1840). Пор.: «Тучки небесные, вечные странники!».

³⁹⁴ Ідеться про зруйновану в 1920-х рр. церкву святого Георгія на Відкосі, зведену на честь засновника Нижнього Новгорода Святого благовірного князя Георгія (Юрія) Всеволодовича (1189—1238).

³⁹⁵ Олексій Олександрович Бобржицький — вихованець Київського університету, учитель латинської мови нижньгородської гімназії.

³⁹⁶ Ідеться про Спасо-Преображенський собор, побудований у XVII ст. й зведений заново в 1834 р. Автором проекту був, очевидно, академік Санкт-Петербурзької академії мистецтв Авраам Іванович Мельников (1784—1854).

³⁹⁷ Див. прим. до повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».

³⁹⁸ Ідеться проobelіск на честь Мініна й Пожарського, встановлений у 1828 р. в Нижньгородському кремлі (проект архітектора Авраама Івановича Мельникова; барельєфи — за ескізами Івана Петровича Мартоса).

³⁹⁹ Ідеться про Велику Покровську вулицю, яка поєднує площу Мініна й Пожарського з площею Лядова.

⁴⁰⁰ Ідеться про двоповерхову кам'яницю (архітектор Афанасій Єрмилович Турмишев) на вул. Велика Покровська, побудовану в 1820-х рр. У 1823 р. будинок став власністю купця-виноторговця Герасима Пилиповича Сверчкова. У 1844 р. будинок згорів. Проект відновлення розробив той самий Турмишев, а затвердив Микола I у 1845 р.

⁴⁰¹ Микола Олександрович Брилкін — колишній морський офіцер, титулярний радник, управитель нижньгородської контори пароплавної компанії «Меркурій».

⁴⁰² «Голоса из России» — збірники статей, які друкували Герцен та Огарьов у 1856—1860 рр. у лондонській Вільній російській типографії.

⁴⁰³ Павло Абрамович Овсянников — колезький секретар, помічник управителя нижньгородської контори пароплавного товариства «Меркурій» з господарської частини.

⁴⁰⁴ Ідеться про працю Миколи Костомарова «Богдан Хмельницький и возвращение Южной Руси к России», надруковану в «Отечественных записках» за 1857 р.

⁴⁰⁵ Балахна — місто на правому березі Волги, повітовий центр Нижньгородської губернії (тепер районний центр Нижньгородської обл. Росії).

⁴⁰⁶ Ідеться про інженера-суднобудівника Джона Ністрема.

⁴⁰⁷ Дедново (чи Дединово) — село на Оці (тепер Луховицького р-ну Московської обл.). У 1667—1668 рр. там був споруджений корабель «Орел», призначений для плавання по Каспію і спалений Степаном Разіним в 1671 р.

⁴⁰⁸ Благовіщенський собор, розташований на Верхньобазарній, чи Благовіщенській, площі, — один з найстаріших храмів Нижнього Новгорода, побудований у 1370-х рр. Дмитрієм Константиновичем (?—1383) — князем суздальським (з 1356 р.), великим князем володимирським (1360—1363) та нижньгородським (з 1364 р.).

⁴⁰⁹ Ману — родоначальник людей в індійській міфології, а Вішну — верховний бог у вайшнавській традиції індуїзму.

⁴¹⁰ Ідеться про Вознесенський Печерський чоловічий монастир, заснований у 1328—1330 рр. св. Діонісієм — митрополитом київським і всієї Русі (1383—1385), єпископом суздальським і нижньгородським (з 1374 р.) на березі Волги.

⁴¹¹ Ідеться про старшого поліцмейстера Нижнього Новгорода, полковника Павла Вільгельмовича Лаппо-Старженецького.

⁴¹² Архієрейський дім у Нижньому Новгороді був споруджений від часу заснування тут у 1672 р. митрополії. Пізніше не раз перебудовувався. Шевченко бачив його в тому вигляді, який надали йому в 1827 р. архітектор Антон Лаврентійович Леер та селянин села Вершилове Єгор Блинов зі своїми майстрами, які виконували роботи з перебудови архієрейської резиденції.

⁴¹³ Тобто з набережної біля Георгіївської церкви.

⁴¹⁴ Ідеться про оповідання Льва Миколайовича Толстого «Записки маркера», яке було надруковане в 1-му числі журналу «Современник» за 1855 р.

⁴¹⁵ Ілля Петрович Грасс (1829—?) — колишній офіцер, а після відставки — службовець пароплавного товариства «Меркурій».

⁴¹⁶ Осип Андрійович Гартвіг — нижньгородський лікар, мешкав у власному будинку на вул. Польовій.

⁴¹⁷ Олексій Антипович Потехін (1829—1908) — російський письменник. Драму «Суд людской — не Божий» написав у 1854 р.

418 Анастасія Микитівна Мочалова (уроджена Данилова) — російська драматична актриса. Виступала на сценах Москви, Одеси, у 1850-х рр. переїхала до Нижнього Новгорода.

419 Євген Іванович Климовський (справжнє прізвище — Оглоблін) (1824—1865/1866) — російський оперний співак (тенор) і драматичний актор. Виступав на сценах Москви, Санкт-Петербурга, Костроми, Нижнього Новгорода, Пензи та інших міст. У драмі «Суд людской — не Божий» грав роль Івана.

420 «Коломенский нахлебник» — переробка французького водевілю, здійснена драматургом Павлом Степановичем Федоровим (1803—1879).

421 Ідеться про «веселу драму» Вольфганга-Амадея Моцарта «Дон Жуан, або Покараний розпусник» (1787) на лібрето Лоренцо да Понте.

422 Микола Карлович Якобі — дійсний статський радник, керівник Нижньогородського соляного управління.

423 Гверчино (справжнє ім'я — Джованні-Франческо Барб'єрі) (1591—1666) — італійський художник Болонської школи.

424 Див. прим. до повісті «Художник».

425 Олександр Володимирович Веймарн — генерал-майор, командир Нижньогородського учбового карабінерного полку.

426 Петро Дмитрович Кудлай (1819—?) — капітан, молодший поліцеймейстер Нижнього Новгорода.

427 Павло Степанович Петровський — брат художника Петра Петровського, чиновник департаменту внутрішніх справ.

428 Запис зроблено рукою слуги Петра Овсянникова Михайла.

429 Гай Юлій Цезар (102/100 — 44 до н. е.) — давньоримський державний і політичний діяч, полководець і письменник.

430 Август Фердинанд Фрідріх фон Коцебу (1761—1819) — німецький письменник, драматург і поет. Драма «Син любові» («Das Kind der Liebe») була написана Коцебу в 1791 р.

431 Катерина Миколаївна Васильєва (1829—1877) — актриса московського Малого театру, яка в цей час була на гастролях у Нижньому Новгороді.

432 Платонов — актор Нижньогородського театру.

433 «Путаница» — російська переробка французького водевілю, здійснена в 1840 р. Павлом Степановичем Федоровим.

434 Ідеться про лист до Лазаревського від 8 жовтня 1857 р.

435 Костянтин Антонович Шрейдерс (?—1894) — вихованець Київського університету, колезький секретар, секретар Нижньогородської казенної палати, секретар губернського благодійного комітету.

436 Барон Федір Федорович Торнау (Торнов) (1810—1890) — полковник генерального штабу, бойовий офіцер, дипломат, розвідник, письменник.

437 Єгор Петрович Ковалевський (1809/1811—1868) — український і російський мандрівник, письменник, дипломат, вихованець Харківського університету, у 1856—1861 рр. — директор Азіатського департаменту міністерства закордонних справ Росії; один з організаторів і перший голова «Літературного фонду».

438 Симпатія Миколи I до Єгора Ковалевського сягає ще 1837 р. Тоді Ковалевський був у Чорногорії, де йому довелося взяти участь у прикордонних конфліктах з австрійцями. За це вченого могли жорстко покарати, і тоді за порадою князя Горчакова Ковалевський подав доповідну Миколі I. Прочитавши її, той написав на берегах: «Le capitaine

Ковалевский а agi en vrai russe» («Капитан Ковалевський учинив, як справжній росіянин»).

⁴³⁹ Ідеться про першу частину книги Миколи Івановича Храмцовсько-го (1818—1890) «Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода», яка вийшла в нижньогородській губернській типографії в 1857 р.

⁴⁴⁰ 18 липня 1597 р. Печерський монастир був зруйнований обвалом гори. Цього ж таки року монастир було перенесено на версту вгору за течією Волги.

⁴⁴¹ Ідеться про Михайло-Архангельський собор — найдавніший кам'яний храм Нижнього Новгорода, відомий від часу заснування міста.

⁴⁴² Друге видання брошури Герцена «Крещенная собственность» вийшло в Лондоні в 1857 р.

⁴⁴³ Юрій (Георгій) Всеволодович (1188—1238) — великий князь володимирський у 1212—1216 та 1218—1238 рр., засновник Нижнього Новгорода.

⁴⁴⁴ Ганна Миколаївна Попова — дружина статського радника, начальника нижньогородської секретної експедиції III відділу Михайла Івановича Попова (1800—1871).

⁴⁴⁵ Катерина Борисівна Піунова-Шмідтгоф (1843—1909) — акторка російської провінційної сцени.

⁴⁴⁶ Див. прим. до повісті «Музыкант».

⁴⁴⁷ Заоччя — район Нижнього Новгорода за річкою Ока.

⁴⁴⁸ Ідеться про газету «Северная пчела» (див. прим. до містерії «Великий льох»).

⁴⁴⁹ Тобто світлого густого англійського пива.

⁴⁵⁰ Віктор Гаврилович Варенцов (1825—1867) — педагог, фольклорист, перекладач, ад'юнкт кафедри російської словесності Казанського університету.

⁴⁵¹ Ідеться про герценівське «Письмо к императору Александру Второму», опубліковане в «Полярной звезде на 1855 год». Тим часом Микола Костомаров ніяких листів до імператора не писав.

⁴⁵² Петро Петрович Голяховський — колезький секретар, чиновник Товариства заводської обробки тваринних продуктів у Санкт-Петербурзі.

⁴⁵³ Микола Іванович Сазонов (1815—1862) — російський публіцист і громадський діяч. Чутки про видання «Посредника» не мали підстав.

⁴⁵⁴ «Le Nord» — французькомовна російська напівофіційна газета, заснована в Брюсселі в 1856 р. журналістом і дипломатом Миколою Петровичем Поггенполем (1824—1894).

⁴⁵⁵ Картуш (справжнє ім'я — Луї-Домінік Бургіньон) (1693—1721) — отаман розбійників, які діяли в Парижі та на його околицях. Шевченко називає Картушем імператора Наполеона III Бонапарта (див. прим. до поезії «Слава»).

⁴⁵⁶ Олександр Львович Киндяков (1805—1884) — колишній офіцер, підполковник, поміщик Сибірської губернії.

⁴⁵⁷ Олександр Єгорович Тимашев (1818—1893) — російський державний діяч, генерал-ад'ютант, генерал від кавалерії, перегодом начальник штабу корпусу жандармів, міністр внутрішніх справ при Олександрі II, член Державної ради.

⁴⁵⁸ Іван Олександрович Анненков (1802—1878) — декабрист, засуджений на двадцятирічну каторгу. З 1857 р. після амністії був чиновником для особливих доручень при губернаторі Нижнього Новгорода.

⁴⁵⁹ Світліший князь Олександр Іванович Чернішов (1786—1857) — генерал-ад'ютант, генерал від кавалерії, з 1832 р. — військовий міністр, а з 1848 р. — голова Державної ради Російської імперії.

⁴⁶⁰ Граф Василь Васильович Левашов (1783—1848) — генерал від кавалерії, генерал-ад'ютант, член Державної ради (з 1838 р.), згодом — голова Державної ради Росії.

⁴⁶¹ Микола Іванович Тургенєв (1789—1871) — російський економіст і публіцист, активний діяч декабристського руху, з 1826 р. — політичний емігрант. Амністований імператором Олександром II. У 1857 р. приїздив у Росію.

⁴⁶² Ідеться про тритомну книгу Тургенєва «La Russie et les Russes» («Росія і росіяни»), яка вийшла в Парижі в 1847 р.

⁴⁶³ Ідеться про лист Лазарєвського від 12 жовтня 1857 р. та про листи Залеського від 20 серпня і 15 вересня 1857 р.

⁴⁶⁴ Ідеться про велику княгиню Марію Миколаївну (1819—1876) — доньку імператора Миколи I, сестру Олександра II, герцогиню Лейхтенберзьку, яка в 1852—1876 рр. була президентом Академії мистецтв і головою Товариства заохочування художників.

⁴⁶⁵ Ідеться про білоруську художницю й меценатку Гелену Скірмунт (1827—1874). Залеський написав про Скірмунт книгу під назвою «З життя литвинки», яка побачила світ у 1876 р. в Гданську.

⁴⁶⁶ Єкатеринбург — четверте за величиною місто Росії, розташоване на східному схилі Уральських гір, великий промисловий центр.

⁴⁶⁷ Сабіни, чи сабіняни, — плем'я, яке жило в Італії до заснування Рима.

⁴⁶⁸ Тобто в будинку розпусти.

⁴⁶⁹ Початкова назва повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».

⁴⁷⁰ 23 жовтня 1857 р. в Нижньому Новгороді сталася велика пожежа.

⁴⁷¹ Шевченко має на думці Андрія Кириловича Кадницького — колезького асесора, управителя канцелярії нижньгородського генерал-губернатора.

⁴⁷² Див. прим. до поезії «Умре муж велій в власяниці...».

⁴⁷³ Ідеться про епілог Куліша до роману «Чорна рада», який мав назву «Об отношении малороссийской словесности к общерусской».

⁴⁷⁴ Федір Іванович Тютчев (1803—1873) — російський поет, дипломат, публіцист, член-кореспондент Санкт-Петербурзької академії наук (з 1857 р.).

⁴⁷⁵ Церква Святого пророка Божого Іллі була побудована в 1506 р. за річкою Почайною, на тому місці, де, за переказом, стояв намет убитого гарматним пострілом ногайського мурзи.

⁴⁷⁶ Патріарх Никон (у миру — Микита Мінін) (1605—1681) — шостий патріарх московський і всієї Русі (з 1652 р.). Народився в мордовській селянській сім'ї в селі Вельдеманово (тепер Перевозького р-ну Нижньгородської обл.).

⁴⁷⁷ Князь Володимир Олександрович Трубецької (1825—1879) — голова нижньгородської палати цивільного суду.

⁴⁷⁸ Див. прим. до повісті «Художник».

⁴⁷⁹ Благовіщенський чоловічий монастир — найстаріша обитель Нижнього Новгорода, заснована в 1221 р. великим князем володимиро-суздальським Юрієм Всеволодовичем та володимирським єпископом Симоном. Потім обитель була зруйнована, а відновлена

в 1370 р. московським митрополитом Алексієм (в миру — Єлевферій Федорович Бяконт).

⁴⁸⁰ Марія Олександрівна Дорохова (у дівочтві Плещеева) (1811—1867) — начальниця Нижньогородського інституту шляхетних дівчат.

⁴⁸¹ Див. прим. до поеми «Тризна».

⁴⁸² «Отечественные записки» — російський літературний журнал, який виходив у Санкт-Петербурзі в 1818—1884 рр.

⁴⁸³ Ідеться про Олександра Олександровича Гранта — одного з організаторів Волзького пароплавства, судновласника й підприємця. Пізніше жив у Санкт-Петербурзі, був одним з директорів правління Тамбово-Саратовської залізниці.

⁴⁸⁴ Ідеться про підготовлене Кулішем шеститомове видання «Сочинения и письма Н. В. Гоголя» (Санкт-Петербург, 1857).

⁴⁸⁵ Федір Іванович Йордан (1800—1883) — російський гравер і рисувальник.

⁴⁸⁶ Ідеться про альманах, який видавали в 1855—1869 рр. Герцен і Огарьов у Лондоні та в Женеві.

⁴⁸⁷ Ідеться про барельєфні портрети страчених декабристів: Павла Івановича Пестеля, Кондратія Федоровича Рилеева, Михайла Павловича Бестужева-Рюміна, Сергія Івановича Муравйова-Апостола, Петра Григоровича Каховського.

⁴⁸⁸ Ідеться про Анну Іванівну Пушину (1842—1863) — доньку декабриста Івана Івановича Пушина (1798—1859), яку взяла на виховання Марія Дорохова.

⁴⁸⁹ Ідеться про лист Костомарова від 28 жовтня 1857 р.

⁴⁹⁰ Ідеться про дружину Миколи Карловича Якобі — Аграфену Миколаївну та про його ж таки сестру Марію Карлівну.

⁴⁹¹ Олександр Федорович Лабзін (1766—1825) — поет, перекладач, видавець, дійсний статський радник.

⁴⁹² Граф Олексій Андрійович Аракчеєв (1769—1834) — російський державний діяч, генерал від артилерії, військовий міністр (з 1808 р.), голова департаменту військових справ Державної ради (з 1810 р.), фаворит Павла I й Олександра I.

⁴⁹³ Ідеться про епізод з першої частини «Былого и дум», в якому розказана історія одруження засланого до Сибіру Василя Петровича Івашова (1794—1840) та гувернантки Каміли Ледантю (1808—1839).

⁴⁹⁴ Ідеться про Жанетту Поліну Гебль (у заміжжі — Парасковію Єгорівну Анненкову) (1800—1876) — дружину Івана Олександровича Анненкова.

⁴⁹⁵ Ідеться про роман Александра Дюма-батька «La maitre d'armes» (у російському перекладі — «Учитель фехтования»), прообразом героїні якого була Жанетта Поліна Гебль.

⁴⁹⁶ Насправді Пушин у 1857 р. одружився з Наталією Дмитрівною Апухтіною (1803/1805—1869) — удовою декабриста Михайла Олександровича Фонвізіна.

⁴⁹⁷ Денис Олексійович Демидов — відставний майор, поміщик Макар'євського повіту Нижньогородської губернії.

⁴⁹⁸ Лев Михайлович Жемчужников (1828—1912) — український і російський художник та фольклорист.

⁴⁹⁹ Ідеться про лист Толстої від 2 листопада 1857 р.

⁵⁰⁰ Володимир Іванович Даль (див. прим. до повісті «Художник») у 1849—1859 рр. був управителем Нижньогородської удільної контори.

⁵⁰¹ Князь Володимир Федорович Голіцин (1834—1876) — ад'ютант нижньгородського військового губернатора, бойовий офіцер, учасник Кримської війни.

⁵⁰² Ідеться про молодшу сестру Голіцина Лідію Федорівну (в заміжжі Мессінг) (1837—1889).

⁵⁰³ Див. прим до повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».

⁵⁰⁴ Олександр Петрович Варенцов (1818—1895) — директор ярмаркової контори та ярмаркового театру в Нижньому Новгороді, згодом — статський радник і камер-юнкер.

⁵⁰⁵ Фанданго — іспанський народний танець.

⁵⁰⁶ Філіпп IV (1605—1665) — король Іспанії, Португалії та Альгарви (з династії Габсбургів).

⁵⁰⁷ «Мать-испанка» — драма Миколи Олексійовича Полевого.

⁵⁰⁸ Цей лист не зберігся.

⁵⁰⁹ Ідеться про Софію Федорівну Варенцову (уроджену княжну Голіцину) (1830—1893) — дружину Олександра Петровича Варенцова.

⁵¹⁰ Ідеться про лист Залеського від 5 листопада 1857 р.

⁵¹¹ Шевченко має на думці героїню грецької революції 1821 р., адмірала російського флоту Ласкаріну Бубуліну (1771—1825). Її образ у Росії був надзвичайно популярний, що засвідчують хоч би відповідні лубочні картинки, на яких вона названа, як і в Шевченка, Бобеліною.

⁵¹² Тобто Андрій Кирилович Кадницький.

⁵¹³ Ідеться про колезького секретаря Миколу Адамовича Фреліха — нижньгородського міського архітектора.

⁵¹⁴ Федір Матвійович Лазаревський (1820—1890) — чиновник, третій з братів Лазаревських. Був чиновником Оренбурзької прикордонної комісії, потім чиновником для особливих доручень при петербурзькому генерал-губернаторі, керівником удільними конторами в Орлі та Ставрополі.

⁵¹⁵ Тут є деякі розбіжності з текстом поезії Курочкіна.

⁵¹⁶ Ідеться про Костянтина Шрейдерса, Андрія Кадницького й Миколу Фреліха.

⁵¹⁷ Щепкін писав про це в листі від 27 листопада 1857 р.

⁵¹⁸ Шевченко має на думці Миколу Івановича Уттермарка (?—1881) — підпоручика, чиновника нижньгородської будівельної і шляхової комісії з виконання робіт.

⁵¹⁹ Сергій Петрович Татаринів — колезький секретар, чиновник компанії, яка будувала залізницю в Нижньому Новгороді.

⁵²⁰ Див. прим. до повісті «Художник».

⁵²¹ Ідеться про Олександра Дмитровича Улибишева (1794—1858) — російського публіциста, музичного критика, драматурга, перекладача, дійсного статського радника.

⁵²² Густав Васильович Кебер — помічник керівника Нижньгородської удільної контори.

⁵²³ Парафраз Херувимської пісні. Пор.: «Всякое отложим житейское попечение».

⁵²⁴ Ідеться про лист Куліша від 26 листопада 1857 р.

⁵²⁵ «Граматка» Куліша була видана в Санкт-Петербурзі в 1857 р.

⁵²⁶ Осип Максимович Бодянський (1808—1877) — український і російський філолог, історик, археограф, славіст, письменник, перекладач, професор Московського університету.

⁵²⁷ Сценічна переробка повісті Пушкіна, здійснена драматургом, режисером і актором Миколою Івановичем Куликовим (1812—1891).

⁵²⁸ Єлизавета Агафонівна Трусова (в дівоцтві — Вишеславцева) (1803—1859) — актриса Нижньгородського театру.

⁵²⁹ Коробочка — героїня поеми Гоголя «Мертвые души».

⁵³⁰ Ідеться про листи Михайла Лазаревського від 9 грудня 1857 р. та Михайла Щепкіна від 11 грудня 1857 р.

⁵³¹ Див. прим. до повісті «Близнець».

⁵³² Ідеться про лист Федора Лазаревського від 8 грудня 1857 р.

⁵³³ Ідеться про Марію Володимирівну Даль (1841—1903) — майбутню дружину болгарського громадського діяча й ученого Костянтина Станішева.

⁵³⁴ Ідеться про п'єсу Олександра Островського «Праздничный сон до обеда» (1857).

⁵³⁵ Парафраза автоепіграми Василя Капніста. Пор.: «Капниста я прочел и сердцем сокрушился, / Зачем читать учился».

⁵³⁶ Шевченко має на думці колезького секретаря Генріха Івановича Брона — викладача французької мови в Нижньгородському дворянському інституті.

⁵³⁷ Парасковія (Поліна) Михайлівна Голинська (1822—1892) — племінниця дружини нижньгородського військового губернатора Муравйова.

⁵³⁸ Ідеться про Олександра Петровича Варенцова.

⁵³⁹ Ідеться про лист Щепкіна від 17 грудня 1857 р.

⁵⁴⁰ Ідеться про лист Толстої від 13 грудня 1857 р.

⁵⁴¹ Микола Йосипович Осипов (1825—1901) — російський художник, академік Санкт-Петербурзької академії мистецтв (з 1855 р.).

⁵⁴² Ідеться про Миколу Сергійовича Аленникова (?—1888) — колезького секретаря, службовця пароплавної компанії «Меркурій», який на початку 1860-х рр. був керівником нижньгородської контори пароплавання та одним з директорів об'єднаної компанії «Кавказ и Меркурій».

⁵⁴³ Ідеться про ролі, які виконував Щепкін у «Ревизоре» Гоголя, водевілях «Матрос» Соважа й Делюр'є, «Москаль-чарівник» Котляревського, а також у п'єсі Островського «Бедность — не порок».

⁵⁴⁴ Пріап — в античній міфології бог чуттєвих насолод.

⁵⁴⁵ Дмитро Тимофійович Ленський (справжнє прізвище — Воробйов) (1805—1860) — драматург-водевіліст і актор, автор сатиричних поезій і перекладів з Беранже.

⁵⁴⁶ Надія Василівна Самойлова (у заміжжі — Макшеєва) (1818—1889) — російська драматична актриса й оперна співачка.

⁵⁴⁷ Далі Шевченко цитує поезію Курочкіна «18 июля 1857 года», що, правда, з численними різночитаннями порівняно з друкованою версією.

⁵⁴⁸ Ідеться про лист Куліша від 23 грудня 1857 р.

⁵⁴⁹ Зигмунд Сераковський (1826—1863) — капітан російського генерального штабу, командир повстанських загонів Литви під час польського повстання 1863—1864 рр., захоплений у полон і страчений.

⁵⁵⁰ Тобто Сергію Тимофійовичу Аксакову.

⁵⁵¹ У листі до Шевченка від 20 січня 1858 р. Куліш писав: «Твої «Неофіти», брате Тарасе, гарна штука, да не для друку! Не годиться на-поминать доброму синові про ледачого батька, ждучи від сина якого б не було добра».

⁵⁵² Ізмаїл Іванович Райковський — лікар Приказу громадської опіки в Нижньому Новгороді.

⁵⁵³ Старший син Михайла Щепкіна Дмитро помер 12 грудня 1857 р. в Мантуї.

⁵⁵⁴ Ідеться про воведів Дмитра Тимофійовича Ленського «Простушка и воспитанная».

⁵⁵⁵ Станіслав (Степан) Крулікевич (1816—?) — польський політичний засланиць, рядовий 5-го, а згодом 4-го лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу.

⁵⁵⁶ Ідеться про позашлюбного сина графа Перовського Олександра Васильовича Перекрестова, який був штабс-капітаном Окремого Кавказького корпусу, а потім його розжалували за зловживання та жорстоке поводження з підлеглими. У 1847 р. служив в Орській фортеці рядовим. Через рік став прапорщиком. Подальша доля невідома.

⁵⁵⁷ Див. прим. до повісті «Капітанша».

⁵⁵⁸ Варвара Рафаїлівна Остаф'єва — молодша сестра керівника контори Спаського затону Остаф'єва.

⁵⁵⁹ Марфа Михайлівна Шаховська (1799—1885) — друга дружина нижньгородського губернатора Олександра Миколайовича Муравйова.

⁵⁶⁰ Олександр Миколайович Муравйов (1792—1863) — учасник війни 1812 р., полковник генерального штабу, декабрист, відбував заслання в Якутську. Потім поновив службу кар'єру на різних посадах, з 1855 р. — нижньгородський губернатор.

⁵⁶¹ Ідеться про титулярного радника Олександра Євграфовича Бабкіна — справника нижньгородського земського суду.

⁵⁶² «Сцены из рыцарских времен» (1835) — незавершена драма Пушкіна.

⁵⁶³ «Каменный гость» (1830) — «маленька трагедія» Пушкіна на сюжет Дон-Жуана.

⁵⁶⁴ Марія Олександрівна Грасс (у дівоцтві — Брилкіна) — дружина Іллі Петровича Грасса.

⁵⁶⁵ Шевченко має на думці Володимира Павловича Веселовського — нижньгородського чиновника, члена губернської археографічної комісії.

⁵⁶⁶ «Русский вестник» Каткова був одним з найвпливовіших російських видань другої половини ХІХ ст.

⁵⁶⁷ Директором Харківського театру був на той час Іван Олександрович Щербина (1821—1869).

⁵⁶⁸ Ідеться про лист Щепкіна від 15 січня 1858 р.

⁵⁶⁹ Ідеться про лист до Щепкіна від 15—18 січня 1858 р.

⁵⁷⁰ Василь Миколайович Погожев (1802—1859) — інженер-майор відомства шляхів сполучення, батько піаністок Наталії та Віри Погожевих.

⁵⁷¹ Шевченко має на думці Дмитра Івановича Ван-Путерена (1823—1877) — хірурга нижньгородської лікарської управи, лікаря Маріїнського інституту шляхетних панночок.

⁵⁷² Шевченкова стаття «Бенефис г-жи Пиуновой, января 21, 1858 года» з'явилася без підпису в газеті «Нижегородские губернские ведомости» за 1 лютого 1858 р.

⁵⁷³ В'ятка — губернське місто, засноване в 1457 р. (тепер Кіров — обласний центр Росії).

⁵⁷⁴ Яків Матвійович Лазаревський (1829—1880) — четверний із братів Лазаревських, чиновник господарчого департаменту міністерства внутрішніх справ, у 1857 р. був направлений до В'ятки.

⁵⁷⁵ Ідеться про так званий «похід у Таврію за волею», коли 76.000 селян Катеринославської губернії почали самовільно переселятися в Крим.

576 Микола Данилович Білозерський (1800—1879) — двоюрідний брат Василя Михайловича Білозерського.

577 Ідеться про російську версію комічної опери Доніцетті «Дочь полка» (див. прим. до повісті «Капитанша»).

578 Олександр Михайлович Гедеонов (1790—1867) — дійсний статський радник, у 1833—1858 рр. — директор Санкт-Петербурзьких та (з 1842 р.) московських імператорських театрів.

579 Евеліна Карлівна Шмідтгоф (1828—1860) — актриса Нижньогородського театру.

580 Ідеться про лист Куліша від 20 січня 1858 р. та лист Михайла Лазаревського від 19 січня 1858 р.

581 Ідеться про лист Костомарова від 23 січня 1858 р.

582 Бор — село на лівому березі Волги навпроти Нижнього Новгорода (тепер місто — районний центр Нижньогородської обл. Росії).

583 Ідеться про церкву Покрова Пресвятої Богородиці в Покровському монастирі села Лукіно, де помер Олександр Дмитрович Улибишев.

584 Ініціали та прізвище подані неправильно.

585 Микола Петрович Болтін — відставний капітан-лейтенант, предводитель дворянства Нижньогородської губернії.

586 Цей начерк листа до Піунової написано чужою рукою.

587 Ідеться про твір Салтикова-Щедріна.

588 Ливрезон — випуск книги за частинами.

589 Вільям Гогарт (1697—1764) — англійський художник, ілюстратор, гравер і теоретик мистецтва.

590 «Парижские нищие» — мелодрама французького драматурга Теодора Барр'єра (1823—1877) за романом Ежена Сю, перекладена по-російськи Федором Олексійовичем Бурдінім (1827—1887).

591 Микола Олександрович Белов — столоначальник нижньогородської палати цивільного суду.

592 Див. прим. до повісті «Несчастный».

593 Ідеться про Йозефа Гайдна (див. прим. до повісті «Близнецы»).

594 Фривольна пісенька Беранже «Старий холостяк» («Le vieux célibataire») була свого часу дуже популярна, зокрема в Росії, поруч з такими його творами як «Вакханка», «Реліквії», «Добрий Бог» тощо.

595 Далі пропущене число 23.

596 Катерина Львівна Беляєва — вихованка Маріїнського інституту шляхетних дівчат, потім працювала в підготовчому класі нижньогородської жіночої гімназії.

597 Іван Іванович Козлов (1779—1840) — російський поет і перекладач.

598 Петро Васильович Шумахер (1817—1891) — російський поет-сатирик.

599 «Колокол» — безцензурна російська газета, яку видавали Герцен і Огарьов у 1857—1867 рр. спершу в Лондоні, а потім у Женеві.

600 Ідеться про Феону Іванівну Піунову.

601 Ідеться про лист Ускова від 7 січня 1858 р.

602 Ідеться про лист Погожева від 5 лютого 1858 р.

603 Ідеться про поезію «Заворожи мені, волхве...» (1844), яка під заголовком «Пустка» і без зазначення імені автора була надрукована (очевидно, Щепкіним) у 1857 р. в газеті «Русский инвалид».

604 Ідеться про лист Щепкіна від 6 лютого 1858 р.

605 У листі до Шевченка від 19 червня 1858 р. Сергій Аксаков не радив йому друкувати повість «Прогулка с удовольствием и не без морали».

⁶⁰⁶ Ідеться про кафедральний Спасо-Преображенський собор, який був у південно-східній частині Нижньгородського кремля (знищений у 1929 р.).

⁶⁰⁷ Ідеться про чудотворний образ Нерукотворного Спаса.

⁶⁰⁸ Костянтин Васильович (?—1355) — суздальський князь у 1332—1355 рр., племінник Олександра Невського. Після смерті Івана Калити хан Узбек у 1341 р. віддав під владу Костянтина Васильовича Нижній Новгород, Городець та Унжу, внаслідок чого утворилося Суздальсько-Нижньгородське велике князівство. Згодом князь переніс його столицю із Суздаля в Нижній Новгород, забравши із собою і чудотворний образ Нерукотворного Спаса.

⁶⁰⁹ Дмитро Майоров — актор і декоратор Нижньгородського театру.

⁶¹⁰ Ідеться про сцену побачення Фауста з Маргаритою в тюрмі — Едурд Губер (див. прим. до повісті «Художник») переклав тільки першу частину «Фауста».

⁶¹¹ Ідеться про німецького художника й гравера Моріца-Фрідріха-Августа Ретша (1779—1856) як про автора ілюстрацій до «Фауста».

⁶¹² Федір Миколайович Волхонський — лікар, вихованець медичного факультету Київського університету.

⁶¹³ Павло Потапович Малюга — лікар, вихованець медичного факультету Київського університету.

⁶¹⁴ Див. прим. до поезії «Сон» («На панщині пшеницю жала...»).

⁶¹⁵ Данило Семенович Каменецький (1830—1881) — український фольклорист, етнограф і видавець.

⁶¹⁶ Ідеться про лист Михайла Лазаревського від 10 лютого 1858 р.

⁶¹⁷ Ідеться про Санкт-Петербурзьке видання творів Беранже в перекладі Курочкина 1858 р.

⁶¹⁸ Ідеться про єпископа нижньгородського та арзамаського Антонія (Павлинського) (1804—1878).

⁶¹⁹ Ідеться про лист до Михайла Лазаревського від 22 лютого 1858 р.

⁶²⁰ Тобто Катерину Піунову.

⁶²¹ Микола Іванович Мирцев — антрепренер Казанського театру, на сцені якого Катерина Піунова почала виступати з наступного сезону.

⁶²² Ідеться про лист Куліша від 14 лютого 1858 р.

⁶²³ Мотронівка (Ганнина пустинь) — хутір Борзнянського повіту Чернігівської губернії (тепер Борзнянського р-ну Чернігівської обл.).

⁶²⁴ Автором цієї поезії був Петро Лаврович Лавров.

⁶²⁵ Ідеться про лист Михайла Лазаревського від 20 лютого 1858 р.

⁶²⁶ 25 лютого (10 березня) православна Церква відзначає день святителя Тарасія, патріарха Константинопольського.

⁶²⁷ Петро Олександрович Брилкін — старший брат Миколи Брилкіна, капітан пароплава «Мінін» компанії «Меркурій», колишній морський офіцер.

⁶²⁸ Лев Йосипович Товбич — майор, старший чиновник для особливих доручень при нижньгородському військовому губернаторі.

⁶²⁹ Медновка — село Нижньгородської губернії.

⁶³⁰ Григорій Фердинандович Петрович — капітан корпусу лісничих, чиновник нижньгородської будівельної та дорожньої комісії.

⁶³¹ Граф Володимир Федорович Адлерберг (1792—1884) — генерал-ад'ютант, генерал від інфантерії, міністр імператорського двору.

⁶³² Ідеться про лист Толстої від 24 лютого 1858 р.

⁶³³ Ідеться про перше видання книги Сергія Аксакова «Детские годы Багрова-внука» (Москва, 1858).

⁶³⁴ Ідеться про психічно хворого нижньгородського почтмейстера Павла Антоновича Шліппенбаха.

⁶³⁵ Микола Євстафійович (Карл Густавович) Вільде (1832—1896) — чиновник для особливих доручень при нижньгородському губернаторові, згодом — актор московського Малого театру й драматург.

⁶³⁶ Ідеться про актрис Нижньгородського театру Евеліну Карлівну та Люцію Карлівну Шмідтгоф, а також про актора й музиканта Максиміліана Карловича Шмідтгофа (1835—1879) — майбутнього чоловіка Катерини Піунової.

⁶³⁷ Владимир (Владимир-на-Клязьмі, Владимир Зелеський) — одне з найстаріших російських міст (перша згадка — 990 р.), за часів Шевченка — губернське місто (тепер обласний центр Російської Федерації).

⁶³⁸ Олексій Іванович Бутаков (1816—1869) — російський мореплавець і географ, контр-адмірал, дослідник Аральського моря.

⁶³⁹ Ідеться про дружину Бутакова — російську художницю Ольгу Миколаївну Бутакову (1830—1903).

⁶⁴⁰ «Старий Пимен» — церква Пимена Великого (Троїці Живоначальної) в Нових Воротниках.

⁶⁴¹ У 1847—1859 рр. Щепкін винаймав будинок у Воротниковському провулку, який належав домовласниці Щепотьєвій.

⁶⁴² Англійська сіль («гірка сіль», «магнезія», «епсом-сіль») — гептагідрат сульфату магнія.

⁶⁴³ Михайло Олександрович Максимович (1804—1873) — український і російський ботанік, історик, етнограф, філолог, професор Московського університету, перший ректор Київського університету.

⁶⁴⁴ Микола Христофорович Кетчер (1809—1886) — російський письменник і перекладач, лікар.

⁶⁴⁵ Іван Кіндратович Бабст (1823/1824—1881) — російський історик, економіст, публіцист, професор Казанського та Московського університетів.

⁶⁴⁶ Олександр Миколайович Афанасьєв (1826—1871) — російський історик літератури та фольклору.

⁶⁴⁷ Дмитро Єгорович Мін (1818—1885) — лікар, поет і перекладач, професор судової медицини Московського університету.

⁶⁴⁸ Шевченко має на думці відбитку статті Максимовича «Сказание о гетьмане Петре Конашевиче Сагайдачном», яка була надрукована 1850 р. в альманасі «Киевлянин».

⁶⁴⁹ Ірина Афанасівна Грекова (1823—1870) — родичка Станкевичів, приятелька Огарьових, Сатіних, Щепкіних.

⁶⁵⁰ Петро Михайлович Щепкін (1821—1877) — третій син Михайла Щепкіна, вихованець юридичного факультету Московського університету.

⁶⁵¹ Марія Василівна Максимович (уроджена Товбич) — дружина Михайла Максимовича.

⁶⁵² Тобто поезію «Садок вишневий коло хати...» (1847).

⁶⁵³ Аполлон Миколайович Мокрицький (1811—1871) — український і російський художник, учень Карла Брюллова, професор Училища живопису, скульптури і зодчества в Москві.

654 Микола Михайлович Шепкін (1820—1886) — син Михайла Шепкіна, видавець і громадський діяч.

655 Євген Іванович Якушкін (1826—1905) — російський юрист, етнограф, бібліограф, громадський діяч.

656 Микола Іванович Новиков (1744—1818) — російський письменник, громадський діяч, журналіст і видавець.

657 Вулиця в центрі Москви, яка веде від вулиці Охотний ряд до Страсного бульвару.

658 Олена Костянтинівна Станкевич (у дівочстві — Бодиско) (1824—1904) — дружина Олександра Володимировича Станкевича.

659 Іллінка — одна з найстаріших московських вулиць; веде від Красної площі до площі Іллінських Воріт, розташована між Нікольською вулицею та Варваркою.

660 Вулиця Покровка веде від Вірменського провулка до площі Земляний Вал, розташована між вулицею М'ясницькою та Воронцовим Полем.

661 Поштамт знаходився на вулиці М'ясницькій.

662 Микита Федорович Савичев (1820—1885) — хорунжий Уральського козачого війська.

663 Самійло Васильович Величко (бл. 1670 — після 1728) — український історіограф і перекладач, автор літопису, вперше опублікованого в 1848—1864 рр. під назвою «Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке».

664 Страсний бульвар веде від Пушкінської площі (тоді Страсної) до площі Петровських воріт.

665 Ідеться про Олександра Володимировича Станкевича (1821—1912) — російського письменника й видавця.

666 Ідеться про видання «Стихотворения Ф. Тютчева» (Санкт-Петербург, 1854).

667 Ідеться про «Товарищество книгоиздания К. Солдатникова и Н. Шепкина», створене в 1856 р.

668 Ідеться про видання «О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала. Речь, произнесенная 6 июня 1856 г. в торжественном собрании императорского Казанского университета» (Москва, 1857).

669 Ідеться про Олену Густавівну Якушкіну (вроджена Кноррінг) (1826—1905) — дружину Євгена Івановича Якушкіна.

670 Князь Сергій Григорович Волконський (1788—1865) — член «Союза благоденствия» й Південного товариства, засуджений до страти, замінені двадцятирічною каторгою.

671 Красні ворота — перша в Росії триумфальна арка, зведена в 1709 р. Петром I з нагоди перемоги в Північній війні. Зруйнована в 1928 р.

672 Іван Єгорович Забелін (1820—1909) — російський історик і археолог.

673 Оружейна палата — частина комплексу Великого Кремлівського палацу; розташовується в будинку, зведеному в 1851 р. Костянтином Тоном.

674 Олександр Хомич Вельтман (1800—1870) — російський письменник і археолог, з 1852 р. був директором Оружейної палати.

675 Троїцький трактир був на правому березі річки Неглинної.

676 Княгиня Катерина Романівна Дашкова (вроджена Воронцова) (1743/1744—1810) — подруга Катерини II, перший прези-

дент Російської академії наук, авторка славетних мемуарів. Шевченко говорить про статтю Герцена «Княгиня Катерина Романовна Дашкова» в 3-му числі «Полярної зvezди» за 1857 р.

⁶⁷⁷ Іван Васильович Самарін (1817—1885) — актор московського Малого театру, драматург, режисер, педагог.

⁶⁷⁸ Микола Федорович Щербина (1821—1869) — російський поет. Зацитована далі епіграма — це пародія Олексія Миколайовича Апухтіна (1840—1893) на поезію Афанасія Афанасійовича Фета (1820—1892) «Лесом мы шли по тропинке единственной...» (1858).

⁶⁷⁹ Ідеться про підмосковну садибу Абрамцево.

⁶⁸⁰ Сергій Васильович Шумський (справжнє прізвище — Чесноков) (1820—1878) — російський драматичний актор.

⁶⁸¹ Борис Миколайович Чичерін (1828—1904) — російський юрист, історик, філософ і публіцист, професор Московського університету, почесний член Санкт-Петербурзької академії наук (з 1893 р.).

⁶⁸² Олександр Іванович Кронеберг (1824—1865) — російський зоолог, син професора Харківського університету Івана Яковича Кронеберга (1788—1838).

⁶⁸³ Євген Федорович Корш (1810—1897) — російський журналіст, видавець, перекладач і бібліограф.

⁶⁸⁴ Микола Федорович фон Крузе (1823—1901) — вихованець Харківського університету, громадський діяч.

⁶⁸⁵ Микола Михайлович Варенцов (1818—?) — московський купець 1-ої гільдії, меценат, почесний громадянин Москви.

⁶⁸⁶ Михайло Петрович Погодін (1800—1875) — російський історик, журналіст, публіцист, письменник, колекціонер, видавець, професор російської історії Московського університету, член Російської академії наук (з 1836 р.).

⁶⁸⁷ Степан Петрович Шевирьов (1806—1864) — російський історик літератури, критик, поет, професор Московського університету, академік Санкт-Петербурзької академії наук (з 1847 р.).

⁶⁸⁸ Див. прим. до повісті «Музыканти».

⁶⁸⁹ Цю поезію Максимович згодом надрукував у 6-му числі журналу «Основа» за 1861 р.

⁶⁹⁰ Надія Сергіївна Аксакова (1829—1869) — молодша донька Сергія Аксакова.

⁶⁹¹ Іван Сергійович Аксаков (1823—1886) — російський публіцист, поет громадський діяч, молодший син Сергія Аксакова; Костянтин Сергійович Аксаков (1817—1860) — російський публіцист, поет, літературний критик, мовознавець, ідеолог слов'янофільства, старший син Сергія Аксакова.

⁶⁹² Олександр Іванович Кошелєв (1806—1883) — російський публіцист і громадський діяч.

⁶⁹³ На гостролі.

⁶⁹⁴ Тобто на Миколаївський вокзал.

⁶⁹⁵ Михайло Лазарєвський мешкав на Набережній Мойки, 88 (тепер — 93).

⁶⁹⁶ Готель Клея — тепер готель «Європейський» (Михайлівська вул., 1/7).

⁶⁹⁷ Григорій Павлович Галаган (1819—1888) — український громадський діяч і меценат, полтавський та чернігівський поміщик.

⁶⁹⁸ Тобто на квартиру Толстих, яка була на першому поверсі Академії мистецтв.

699 Василь Михайлович Білозерський (1825—1899) — учасник Кирило-Мefeldiївського братства, у 1861—1862 рр. — редактор журналу «Основа».

700 Ян Фердинандович Станевич (1832—1904) — діяч польського революційного руху.

701 Див. прим. до поезії «Подражаніє Едуарду Сові».

702 Іван Миколайович Мокрицький-Таволга (1822—1861) — управитель канцелярії Санкт-Петербурзького обер-поліцмейстера, брат художника Аполлона Мокрицького.

703 Граф Петро Андрійович Шувалов (1827—1889) — генерал-ад'ютант, генерал від кавалерії, член Державної ради Росії, Санкт-Петербурзький обер-поліцмейстер у 1857—1860 рр., начальник штабу корпусу жандармів, керівник III відділу.

704 Василь Матвійович Лазаревський (1817—1890) — письменник і перекладач, член ради при міністрі внутрішніх справ і Головного управління у справах друку, найстарший з братів Лазаревських.

705 Шевченко слухав лекцію «Оптичні картини до історії утворення земної кори».

706 Микола Андрійович Лавров (1820—1875) — художник-портретист, академік Санкт-Петербурзької академії мистецтв (з 1849 р.).

707 Микола Олексійович Лукашевич (?—1884) — учень Карла Брюллова, хранитель картин і малюнків в Ермітажі, згодом керівник господарською та репертуарною частинами Санкт-Петербурзьких театрів.

708 Василь Олександрович Кокорев (1817—1889) — російський підприємець, колекціонер і меценат, почесний член Санкт-Петербурзької академії мистецтв.

709 Очевидно, ідеться про Марію Степанівну Кржисевич (див. прим. до повісті «Музыкант»).

710 Юлія Василівна Смирнова — двоюрідна племінниця Григорія Степановича Тарновського.

711 Едуард Олександрович Градович — лікар Олександринської жіночої лікарні в Санкт-Петербурзі.

712 Ресторан «Палкін» містився на перехресті Невського, Литейного та Володимирського проспектів.

713 «Бронзовый конь» («Le cheval de bronze») (1835) — комічна опера французького композитора Даніеля-Франсуа-Еспрі Обера (1782—1871).

714 Йосип Афанасійович Петров (1806—1878) — російський оперний співак (бас). В опері «Бронзовый конь» виконував роль мандарина Теїн-сінга.

715 Павло Адамович Круневич (1825—1871) — польський політичний засланець, лікар 4-го лінійного Оренбурзького батальйону, особистий лікар генерал-губернатора Перовського; у 1857 р. прибув до Санкт-Петербурга.

716 Див. прим. до повісті «Художник».

717 Див. прим. до повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».

718 Ідеться про Марію Львівну Мокрицьку (вроджену Свічку) — дружину Івана Миколайовича Мокрицького-Таволги.

719 На цій виставці експонувалися дві картини Калама: «Ліс» і «Вид на частину Озера Чотирьох Кантонів у Швейцарії».

720 Антоні де Контські (Антоній Григорович Контський) (1817—1899) — польський піаніст, композитор і педагог. У 1853—1867 рр. жив у Санкт-Петербурзі.

721 Павловськ — місто, яке славиться своїми архітектурними й садово-парковими ансамблями (тепер входить до складу Пушкінського р-ну Санкт-Петербурга).

722 Іван Іванович Соколов (1823—1910) — російський художник, академік Санкт-Петербурзької академії мистецтв (з 1857 р.).

723 Слобода Семенівського полку займала місце між теперішніми Звенигородською вул., Обвідним каналом, Загороднім та Обухівським (Московським) проспектами.

724 Іван Михайлович Корбе (1800—1868) — полковник лейб-гвардії Уланського полку, згодом генерал-майор.

725 Ідеться про пісню «Как четвертого числа...», яку приписують Льву Миколайовичу Толстому. Тим часом цього вечора бачити Льва Толстого Шевченко не міг. Очевидно, ідеться про старшого брата Льва Миколайовича — Миколу Миколайовича Толстого (1823—1860).

726 Степан Олександрович Хрульов (1807—1870) — генерал-лейтенант, герой Кримської війни.

727 Шевченко має на думці Круневича.

728 Володимир Павлович Безобразов (1828—1889) — економіст і публіцист, сенатор.

729 Микола Олександрович Рамазанов (1817—1867) — скульптор, літератор, академік Санкт-Петербурзької академії мистецтв (з 1849 р.).

730 Ганна Яківна Петрова (у дівоцтві — Воробйова) (1816—1901) — оперна співачка, дружина Йосипа Афанасійовича Петрова.

731 Ідеться про драму Желіговського «Зорський» — продовження драми «Йордан».

732 Микола Олексійович Некрасов (1821—1878) — російський поет і публіцист.

733 Микола Дмитрович Старов (1823—1877) — педагог, викладач російської словесності в 1-му кадетському корпусі та Смольному інституті.

734 Ідеться про ресторан Бореля на Великій Морській.

735 Див. прим. до повісті «Художник».

736 Юлія Валеріанівна Жадовська (1824—1883) — російська поетеса. Жадовська була калікою від народження (не мала кисті однієї руки).

737 Василь Павлович Енгельгардт (1828—1915) — російський астроном, член-кореспондент Санкт-Петербурзької академії наук (з 1890 р.).

738 Ідеться найперше про Варвару Яківну Карташевську (1832—1902) — сестру чернігівського поміщика Миколи Яковича Макарова.

739 Князь Василь Андрійович Долгоруков (1803—1868) — генерал-ад'ютант, генерал від кавалерії, військовий міністр і шеф жандармів.

740 Трохим Семенович Тупиця (?—1870) — вихованець Ніжинського ліцею князя Безбородька, петербурзький чиновник.

741 Степан Степанович Громека (1823—1877) — російський публіцист, згодом таємний радник, седлецький губернатор, чиновник для особливих доручень при варшавському генерал-губернаторі.

742 Декабрист із таким прізвиськом невідомий.

743 Поезію Хом'якова «России» Шевченко вже нотував у «Щоденнику» (запис за 4 вересня 1857 р.).

744 Олександр Дмитрович Крилов (1819—1887) — чиновник військового міністерства, член головного військового суду.

⁷⁴⁵ Лев Олександрович Мей (1822—1862) — російський поет, драматург і перекладач.

⁷⁴⁶ Костянтин Дмитрович Кавелін (1818—1885) — російський соціолог, історик, публіцист, юрист, професор Санкт-Петербурзького університету (1857—1861).

⁷⁴⁷ Очевидно, ідеться про Олексія Михайловича (1821—1908), Володимира Михайловича (1830—1884) й Олександра Михайловича (1826—1896) Жемчужникових — російських поетів, які разом з Петром Павловичем Єршовим (1815—1869) виступали під прибраним ім'ям Козьма Прутков.

⁷⁴⁸ Дарина Михайлівна Леонова (1829—1896) — російська співачка (контральто).

⁷⁴⁹ Цей твір Шевченка невідомий.

⁷⁵⁰ Шевченко має на думці Ізабеллу Львівну Грінберг (1833—1877) — російську співачку й письменницю.

⁷⁵¹ Олександр Сергійович Даргомижський (1813—1869) — російський композитор.

⁷⁵² Роман Іванович Кузьмін (1811—1867) — російський архітектор.

⁷⁵³ Барон Володимир Іванович Штейнгель (Штейнгейль) (1783—1862) — декабрист, автор мемуарів.

⁷⁵⁴ Аркадій Васильович Голенищев (1792—1860) — генерал-лейтенант (з 1850 р.) морського відомства, з 1859 р. — у відставці.

⁷⁵⁵ Олексій Дмитрович Галахов (1807—1892) — російський історик літератури. Шевченко говорить про його «Русскую хрестоматию» (1842), яка витримала понад тридцять видань.

⁷⁵⁶ Йосип Якович Сетов (справжнє прізвище — Сетгоф) (1835—1894) — оперний співак (тенор), антрепренер, професор Московської консерваторії.

⁷⁵⁷ Ідеться про російський переклад фундаментальної праці німецького енциклопедиста, фізика, географа, ботаніка, зоолога й мандрівника Александра фон Гумбольдта (1769—1859) «Космос».

⁷⁵⁸ Див. прим. до повісті «Художник».

⁷⁵⁹ Михайло Іванович Зембулатов — російський художник і офіцер, у 1842—1857 рр. викладав малювання в Санкт-Петербурзькій школі гвардійських прапорщиків.

⁷⁶⁰ Платон Тимофійович Борисполець (1805—1880) — український художник і літограф.

⁷⁶¹ Михайло Іванович Сухомлинов (1828—1901) — вихованець Харківського університету, історик літератури, професор російської словесності Санкт-Петербурзького університету, академік Санкт-Петербурзької академії наук (з 1872 р.).

⁷⁶² Ідеться про Клодтів пам'ятник Миколі I, встановлений 1859 р. на Ісаакіївській площі в Санкт-Петербурзі.

⁷⁶³ Микола Іванович Петров (бл. 1825—1878) — вихованець Ніжинського лицю князя Безбородька, чиновник поштового департаменту в Санкт-Петербурзі.

⁷⁶⁴ Микола Степанович Курочкін (1830—1884) — російський поет, перекладач, публіцист, брат Василя та Володимира Курочкіних.

⁷⁶⁵ Про цей рукопис послання «І мертвим, і живим...» нічого не відомо.

⁷⁶⁶ Див. прим. до повісті «Художник».

⁷⁶⁷ Клодтів пам'ятник Крилову був встановлений поблизу головної алеї Літнього саду в 1855 р.

⁷⁶⁸ Див. прим. до повісті «Музикант».

⁷⁶⁹ Ідеться про запрестольний образ «Вознесіння Божої Матері», над яким Карл Брюллов працював у 1836—1839 рр.

⁷⁷⁰ Пасаж — один з найстаріших і найбільших торгових будинків у Санкт-Петербурзі, побудований у 1846—1848 рр. на Невському проспекті.

⁷⁷¹ Біржа — центральна будівля ансамблю на стрілці Васильєвського острова, зведена за проектом французького архітектора Жана Тома де Томона (1760—1813).

⁷⁷² Див. прим. до повісті «Художник».

⁷⁷³ Див. прим. до повісті «Художник».

⁷⁷⁴ Єкатерингоф — парк на південному заході Санкт-Петербурга.

⁷⁷⁵ Остроградські жили на початку 7-ї лінії Васильєвського острова.

⁷⁷⁶ Шевченко має на думці італійського скульптора П'єтро Тенерані (1789—1869).

⁷⁷⁷ Ідеться про скульптуру «Вмираюча Психея».

⁷⁷⁸ Ідеться про скульптуру Петра Андрійовича Ставассера «Русалка» (1847).

⁷⁷⁹ Іван Ілліч Маслов (1817—1891) — чиновник, у 1840-х роках — секретар коменданта Петропавловської фортеці.

⁷⁸⁰ Сергій Іванович Уваров (1816—1868) — статський радник, чиновник експедиції державної канцелярії.

⁷⁸¹ Шевченко натякає на графа Сергія Семеновича Уварова (1786—1855) — російського державного діяча, президента Санкт-Петербурзької академії наук.

⁷⁸² Бартоломе Естебан Мурільйо (1617—1682) — іспанський художник, глава Севільської школи.

⁷⁸³ Шевченко зробив гравюру з ескізу картини Мурільйо «Свята родина» (1650—1655).

⁷⁸⁴ Див. прим. до повісті «Художник».

⁷⁸⁵ Ідеться про батька Сергія Уварова — петербурзького купця Івана Олександровича (1777—1858).

⁷⁸⁶ Готель і трактир «Лондон» містилися на Середньому проспекті Васильєвського острова (тепер — будинок 37/47).

⁷⁸⁷ Див. прим. до повісті «Капітанша».

⁷⁸⁸ Микола Іванович Уткін (1780—1863) — російський гравер, професор Санкт-Петербурзької академії мистецтв.

⁷⁸⁹ Віктор Володимирович Юзефович (1817—1871) — оберсекретар розпорядчого відділу канцелярії Святійшого Синоду.

⁷⁹⁰ Ідеться про Михайла Володимировича Юзефовича (1802—1889) — поета, науковця, в юності — бойового офіцера, потім помічника куратора й куратора Київського учбового округу у (1842—1858), голову Київської археографічної комісії, дійсного статського радника.

⁷⁹¹ Олександр Васильович Нікітенко (1804—1877) — російський історик літератури, професор російської словесності Санкт-Петербурзького університету, академік (з 1853 р.), цензор Петербурзького цензурного комітету, родом зі Слобожанщини.

⁷⁹² Шевченко говорить про музикальну крамницю Петца, яка знаходиться на Великій Морській у будинку Лавферінга.

⁷⁹³ Ідеться про Віктора Юзефовича.

⁷⁹⁴ Костянтин Петрович Вільбоа (1817—1882) — російський композитор і диригент, у 1860-х рр. викладав музику в Харківському університеті.

⁷⁹⁵ Ідеться про оперу Вільбоа «Наташа, или Волжские разбойники» (лібрето Миколи Івановича Куликова).

⁷⁹⁶ Ісаакіївський собор (собор преподобного Ісакія Далматського) — найбільший православний храм Санкт-Петербурга, побудований у 1819—1858 рр. за проектом Анрі Луї Огюста Рікара де Монферрана (1786—1858).

⁷⁹⁷ Князь Віктор Іларіонович Васильчиков (1820—1878) — російський військовий і державний діяч, генерал-ад'ютант, керівник військового міністерства, член будівельної комісії Ісаакіївського собору.

⁷⁹⁸ Граф Олександр Дмитрович Гур'єв (1786—1865) — сенатор, голова департаменту економії Державної ради, керівник будівельної комісії Ісаакіївського собору.

⁷⁹⁹ Газета «Slowo» почала виходити в Санкт-Петербурзі на початку 1859 р. за редакцією Йосафата Огриска (1826—1890). Невдовзі була заборонена.

⁸⁰⁰ Михайло Йосипович Микешин (1835—1896) — російський скульптор і графік.

⁸⁰¹ Станіслав Хлебовський (1835—1885) — польський художник, вихованець Санкт-Петербурзької академії мистецтв.

⁸⁰² Костянтин Єлисейович Троцина (1827—?) — вихованець Ніжинського ліцею князя Безбородька, ніжинський повітовий предводитель дворянства.

⁸⁰³ Ресторан Дюссо, розташований на вул. Велика Морська, 11, був чи не найдорожчим рестораном Санкт-Петербурга.

⁸⁰⁴ Див. прим. до поезії «Барвінок цвів і зеленів...».

⁸⁰⁵ Желіговський написав поезію «Do brata Tarasa Schewczenki», коли Шевченко був на засланні.

⁸⁰⁶ Тобто двадцятип'ятиріччя його перебування на посаді директора імператорських театрів.

⁸⁰⁷ Ідеться про Кржисевич.

⁸⁰⁸ Монолог відкупщика Ведьоркіна з комедії Федора Федоровича Кокошкіна (старшого) «Воспитание, или Вот приданое» (1824).

⁸⁰⁹ Монолог мисливця Горлопанова з комедії «Женихи, или Век живи, век учишь». Автором цієї комедії насправді був Федір Федорович Іванов (1777—1816).

⁸¹⁰ Див. прим. до повісті «Музыкант».

⁸¹¹ Пров Михайлович Садовський-старший (справжнє прізвище — Єрмилов) (1818—1872) — російський драматичний актор, засновник акторської династії Садовських.

⁸¹² Садовський був першим виконавцем на сцені Малого театру ролі Розплюєва в комедії російського драматурга, філософа й перекладача Олександра Васильовича Сухова-Кобиліна (1817—1903) «Свадьба Кречинского» (1850—1854).

⁸¹³ Василь Васильович Самойлов (1813—1887) — російський драматичний актор.

⁸¹⁴ Фанні (Феодосія) Олександрівна Снеткова (у заміжжі — Перфильєва) (1838—1929) — російська драматична акторка.

⁸¹⁵ Ця пародійна поезія під назвою «Елегия» стала основою жартівливого романсу, популярного в купецькому середовищі.

⁸¹⁶ Ідеться про оперу Джузеппе Верді (1813—1901).

⁸¹⁷ Устим Якимович Кармелюк (1787—1835) — керівник селянського руху на Поділлі в 1813—1835 рр.

⁸¹⁸ Див. прим. до повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали».

ЗМІСТ

КНЯГИНЯ	3
МУЗЫКАНТ	31
НЕСЧАСТНЫЙ	96
КАПИТАНША	149
БЛИЗНЕЦЫ	204
ХУДОЖНИК	322
ПРОГУЛКА С УДОВОЛЬСТВИЕМ И НЕ БЕЗ МОРАЛИ	419
АВТОБІОГРАФІЯ	548
ЩОДЕННИК	552
ПРИМІТКИ ТА КОМЕНТАРІ. <i>Л. В.Ушкалов</i>	751

Літературно-художнє видання

ШЕВЧЕНКО
Тарас Григорович

ХУДОЖНИК

Повісті, автобіографія,
щоденник

Головний редактор *Є. В. Мезенцева*
Відповідальна за випуск *А. М. Гопаченко*
Художній редактор *Б. П. Бублик*
Комп'ютерна верстка: *В. А. Мурликін*
Коректор *Г. С. Таран*

Підписано до друку 23.01.12. Формат 84×108 ¹/₃₂.
Умов. друк. арк. 43,68. Облік.-вид. арк. 50,01.
Тираж 2000 прим. Замовлення № .

ТОВ «Видавництво Фоліо»
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 3194 від 22.05.2008 р.

61002, Харків, вул. Чубаря, 11
Електронна адреса:
www.folio.com.ua
E-mail: realization@folio.com.ua
Інтернет-магазин
www.bookpost.com.ua

Надруковано з готових позитивів
у ТОВ «Видавництво Фоліо»
61002, Харків, вул. Чубаря, 11
Свідоцтво про реєстрацію